

РОССИЙСКИЙ ЛИБЕРАЛИЗМ: ИДЕИ И ЛЮДИ

ФОНД «ЛИБЕРАЛЬНАЯ МИССИЯ»

РОССИЙСКИЙ ЛИБЕРАЛИЗМ: ИДЕИ И ЛЮДИ

Под общей редакцией А. А. Кара-Мурзы

МОСКВА 2007

УДК 329.12(47)
ББК 66.1(2)
Р76

Российский либерализм: идеи и люди /
2-е изд., испр. и доп., под общ. ред. А. А. Кара-Мурзы
М.: Новое издательство, 2007. — 904 с.

ISBN 978-5-98379-093-3

Книга представляет собой галерею портретов русских либеральных мыслителей и политиков XVIII–XX столетий, созданную усилиями ведущих исследователей российской политической мысли. Среди героев книги присутствуют люди разных профессий, культурных и политических пристрастий, иногда остро полемизировавшие друг с другом. Однако предмет их спора состоял в том, чтобы наметить наиболее органичные для России пути достижения единой либеральной цели — обретения «русской свободы», понимаемой в первую очередь как позитивная, творческая свобода личности.

УДК 329.12(47)
ББК 66.1(2)

ISBN 978-5-98379-093-3

© Фонд «Либеральная миссия», 2007
© Новое издательство, 2007

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	15
Никита Иванович Панин: <i>«В России кто может — грабит, кто не может — крадет!»</i> Нина Минаева	18
Николай Иванович Новиков: <i>«Худой человек всегда бывает и худой гражданин»</i> Надежда Коршунова	26
Александр Романович Воронцов: <i>«Не под царем, а рядом с ним...»</i> Нина Минаева	35
Адам Адамович Чарторьский: <i>«Я хотел политики, основанной на общем благе и соблюдении прав каждого...»</i> Нина Минаева	44
Михаил Михайлович Сперанский: <i>«Поменять шаткое своеволие на свободу верную...»</i> Ирина Худушина	54
Александр Иванович Тургенев: <i>«Я — космополит и русский в одно время...»</i> Евгения Рудницкая	60
Николай Иванович Тургенев: <i>«Нельзя произнести слово человек, чтобы не иметь вместе с сим понятия о свободе»</i> Вадим Парсамов	67
Никита Михайлович Муравьев: <i>«Масса людей может сделаться тираном так же, как и отдельное лицо»</i> Вадим Парсамов	77
Михаил Сергеевич Лунин: <i>«Для меня открыта только одна карьера — карьера свободы...»</i> Вадим Парсамов	87

Михаил Александрович Фонвизин: «Рабство есть главное условие несовершенства нашего общественного состава...»	96
Вадим Парсамов	
Иван Дмитриевич Якушкин: «Развернуть в человеке способность мышления, а значит, и политического самосознания...»	105
Нина Минаева	
Петр Андреевич Вяземский: «Что есть любовь к отечеству в нашем быту? — Ненависть настоящего положения...»	115
Евгения Рудницкая	
Тимофей Николаевич Грановский: «Рано или поздно действительность догонит мысль...»	125
Андрей Левандовский	
Андрей Александрович Краевский: «Нужно знать, что думает Россия о своих общественных интересах...»	132
Дмитрий Олейников	
Александр Иванович Герцен: «Свобода лица — величайшее дело; на ней и только на ней может вырасти действительная воля народа»	138
Алексей Кара-Мурза	
Михаил Никифорович Катков: «Основой преобразований должен быть существующий порядок...»	146
Владимир Кантор	
Иван Сергеевич Аксаков: «Фальшь и пошлость нашей общественной атмосферы давят нас...»	156
Дмитрий Олейников	
Александр Иванович Кошелев: «Пусть всего нам должно избегать фанфаронить либерализмом...»	164
Владимир Горнов	
Константин Дмитриевич Кавелин: «Наше больное место — пассивность, стертость нравственной личности...»	175
Владимир Кантор	
Борис Николаевич Чичерин: «В настоящее время в России потребны две вещи: либеральные меры и сильная власть...»	182
Сергей Секиринский	
Александр Дмитриевич Градовский: «Самоуправление требует искреннего обращения к земле, к истинному труду и народу...»	190
Андрей Медушевский	

Константин Николаевич Романов: «Обратиться к России, чтобы она сама собою правила...»	196
Татьяна Антонова	
Александр Васильевич Головнин: «Либерал означает человека, который не допускает произвола ни над другими, ни над самим собой...»	204
Татьяна Антонова	
Дмитрий Николаевич Замятнин: «Верность однажды сознательно избранному знамени...»	211
Виктор Шевырин	
Дмитрий Алексеевич Милютин: «Предпочитаю быть кредитором, чем должником...»	218
Валерий Степанов	
Николай Алексеевич Милютин: «Правительству, и только ему одному, принадлежит всякий почин в каких бы то ни было реформах на благо страны...»	229
Игорь Христофоров	
Михаил Христофорович Рейтерн: «Я всю жизнь готовился к должности министра финансов...»	240
Валерий Степанов	
Евгений Иванович Ламанский: «Иностранные капиталы только тогда обратятся в Россию, когда сами русские капиталы покажут возможность правильного употребления...»	251
Александр Бугров	
Николай Христианович Бунге: «Калоши и зонтик мои в порядке — я готов уйти отсюда каждую минуту»	264
Валерий Степанов	
Александр Илларионович Васильчиков: «Укротить порывы к государственному благоустройству, покуда не обеспечено народное благосостояние...»	275
Игорь Христофоров	
Александр Васильевич Никитенко: «Арена истории не от тебя зависит, но поприще внутреннего мира твое...»	283
Владимир Кантор	
Николай Андреевич Белоголовый: «Только конституция возводит жителей государства в народ...»	290
Борис Итенберг	
Виктор Александрович Гольцев: «Мой девиз: труд и политическая свобода...»	295
Сергей Секиринский	

Михаил Иванович Венюков: «Судьбу свою создавать по своей воле, а не из-под палки...»	302
Валентина Зимина	
Михаил Матвеевич Стасюлевич: «Где правительство называют кормильцем и благодетелем, там государство останется навсегда в состоянии детства...»	307
Нина Хайлова	
Василий Осипович Ключевский: «Цари со временем переведутся: это мамонты, которые могут жить лишь в допотопное время...»	321
Дмитрий Олейников	
Петр Александрович Гейден: «Думают реакцией водворить порядок — это грустное заблуждение еще много вреда принесет...»	332
Виктор Шевырин	
Дмитрий Николаевич Шипов: «Внутреннее устройство личности — главная основа улучшения и устройства всего социального строя...»	339
Станислав Шелохаев	
Сергей Андреевич Муромцев: «Великий труд на благо избравшего нас народа...»	347
Андрей Медушевский	
Николай Сергеевич Волконский: «Правительство делает большую ошибку, испытывая так долго терпение населения...»	355
Алексей Кара-Мурза, Ирина Тарасова	
Николай Алексеевич Хомяков: «Выполнить тяжелую государственную работу на почве законодательного строительства...»	369
Константин Могилевский, Кирилл Соловьев	
Иван Ильич Петрункевич: «Подготовить страну к самому широкому самоуправлению...»	386
Константин Могилевский	
Николай Иванович Кареев: «Основать новую Россию, которая будет существовать для своих граждан»	395
Кирилл Соловьев	
Василий Андреевич Караулов: «То, что я был каторжным, составляет мою гордость на всю мою жизнь...»	401
Алексей Кара-Мурза	
Федор Измайлович Родичев: «Я жил под знаком свободы...»	416
Евгения Клушина	

Дмитрий Иванович Шаховской: «Мы хотим дать людям возможность не служить тому, что они признают за зло...»	428
Валентин Шелохаев	
Александр Сергеевич Посников: «С уничтожением гражданского бесправия откроется целый ряд возможностей быстро поднять производительность земли...»	436
Нина Хайлова	
Петр Бернгардович Струве: «Соединить здоровое патриотическое чувство с гражданскими освободительными стремлениями...»	449
Сергей Секиринский	
Максим Максимович Ковалевский: «Без терпимости нет свободы...»	456
Нина Хайлова	
Михаил Александрович Стахович: «Мне приходится жить, думать и говорить так несвоевременно...»	464
Алексей Кара-Мурза	
Георгий Евгеньевич Львов: «Мы прошли тяжелый путь государственного труда под непрерывным обстрелом враждебной к нашей работе власти...»	477
Илья Соснер	
Сергей Дмитриевич Урусов: «Реформировать власть, не прибегая к мерам революционного характера...»	484
Нина Хайлова	
Петр Яковлевич Ростовцев: «Моя программа — программа народной свободы...»	497
Михаил Карпачев	
Петр Дмитриевич Долгоруков: «Являюсь сторонником правового демократического строя, осуществляемого при помощи народного представительства...»	501
Валентин Шелохаев, Надежда Канищева	
Павел Дмитриевич Долгоруков: «Последовательный демократизм, соединенный с суровой национальной дисциплиной...»	513
Надежда Канищева	
Павел Николаевич Милюков: «Идти соединением либеральной тактики с революционной угрозой...»	526
Алексей Кара-Мурза	
Александр Иванович Гучков: «Мы вынуждены отстаивать авторитет власти против самих носителей этой власти...»	539
Дмитрий Олейников	

Николай Иванович Гучков: «Необходимо создание правительства, сильного доверием общества...»	550
Юлия Воробьева	
Михаил Мартынович Алексеенко: «Мы не так богаты, чтобы исполнять фантазии каждого министра...»	561
Кирилл Соловьев	
Василий Михайлович Петрово-Соловово: «Нет специальной русской политической свободы, как нет специального русского электричества...»	566
Кирилл Соловьев	
Сергей Илиодорович Шидловский: «Патриархальный быт прошел, пора сменить его бытом правовым...»	571
Кирилл Соловьев	
Александр Александрович Корнилов: «Вести работу не разрушительным натиском, а положительным строительством...»	576
Алексей Кара-Мурза	
Максим Моисеевич Винавер: «Ни свобода, ни порядок немислимы, доколе нет в стране гражданского равенства...»	583
Александр Степанский	
Михаил Васильевич Челноков: «Из инстинкта государственности мы принуждены были вмешаться...»	589
Виктор Шевырин	
Евгений Николаевич Трубецкой: «Государство должно быть не опекуном, а миротворцем»	604
Виктор Шевырин	
Габриэль Феликсович Шершеневич: «Жизнь стремилась к освобождению индивида от опеки...»	622
Андрей Медушевский	
Павел Иванович Новгородцев: «Критически отнестись к действительности и оценить ее с точки зрения идеала...»	628
Андрей Медушевский	
Иосиф Викентьевич Михайловский: «Идея личности есть высшая нормативная идея»	639
Сергей Чижков	
Богдан Александрович Кистяковский: «У нашей интеллигенции правосознание стоит на крайне низком уровне развития...»	649
Андрей Медушевский	

Николай Николаевич Львов: «Примири́ть начало власти и начало свободы, чтобы они не пожрали друг друга...»	659
Виктор Шевырин	
Николай Николаевич Щепкин: «Мнение о неготовности народа к свободе порождается нежеланием выпускать из рук привилегии и власть...»	668
Сергей Вдовин	
Александр Александрович Кизеветтер: «Признать силу и ценность русского человека...»	675
Олег Будницкий	
Лев Иосифович Петражицкий: «Я юрист не только по званию, но и по убеждению...»	683
Кирилл Соловьев	
Владимир Дмитриевич Набоков: «Исполнительная власть да покорится власти законодательной!»	690
Кирилл Соловьев	
Василий Алексеевич Маклаков: «Счастье и благо личности скажут нам, куда направить развитие общества...»	699
Виктор Шевырин	
Федор Федорович Кокошкин: «Праву должны быть подчинены все — от высшего представителя власти до последнего гражданина»	707
Валентин Шелохаев	
Андрей Иванович Шингарев: «Всякий самовольный захват является незаконным расхищением народного богатства...»	716
Михаил Карпачев	
Николай Федорович Езерский: «Носитель власти, даже микроскопический, склонен забывать, что он член общества...»	723
Валерий Карнишин	
Константин Федорович Некрасов: «Надо энергичней готовиться к грядущим светлым дням...»	731
Алексей Лопатин, Александр Соколов	
Ариадна Владимировна Тыркова: «Социалисты сделали из моего отечества огромное опытное поле для своих догм и теорий»	737
Валентин Шелохаев	
Софья Владимировна Панина: «Только там, где есть свобода, может расти и развиваться справедливый и великодушный человек...»	745
Виктор Шевырин	

Николай Иванович Астров: «Свободная личность в правовом государстве...»	758
Виктор Шевырин	
Сергей Иванович Четвериков: «Самодержавие на Руси не должно отождествляться с правом царевых слуг не считаться с мнением народа»	770
Юрий Петров	
Павел Павлович Рябушинский: «Буржуазно мыслить и буржуазно действовать...»	778
Юрий Петров	
Александр Иванович Коновалов: «Промышленники должны объединиться в борьбе за права русского гражданина»	788
Юрий Петров	
Николай Виссарионович Некрасов: «Найти равнодействующую народного мнения...»	798
Валентин Шелохаев	
Сергей Андреевич Котляревский: «Даруемая свобода представляет нежное растение, которое может скоро заглохнуть на нашей холодной почве...»	806
Андрей Медушевский	
Степан Васильевич Востротин: «Сибирь — продукт вольного народного завоевания...»	816
Алексей Кара-Мурза	
Николай Елпидифорович Парамонов: «Рано или поздно правда и добро восторжествуют...»	822
Олег Будницкий	
Антон Владимирович Карташев: «Мы были слишком Гамлетами и не могли угнаться за катастрофическим ходом событий...»	831
Андрей Егоров	
Борис Александрович Бахметев: «Составлять как можно меньше законов и возможно меньше регулировать жизнь...»	843
Олег Будницкий	
Семен Людвигович Франк: «Существо человека лежит в его свободе...»	853
Владимир Кантор	
Георгий Петрович Федотов: «Духовное спасение России заключается в возрождении потребности в свободе...»	864
Алексей Кара-Мурза	

Федор Августович Степун: «Божье утверждение свободного человека как религиозной основы истории...»	872
Владимир Кантор	
Владимир Васильевич Вейдле: «Чем дальше отходила Россия от Европы, тем меньше становилась похожей на себя...»	878
Алексей Кара-Мурза	
Андрей Дмитриевич Сахаров: «Свобода нуждается в защите всех мыслящих людей...»	887
Владимир Кара-Мурза	
Алфавитный указатель статей	896
Справка об авторах	899

Предисловие

Первое издание этой книги¹, ставшей плодом сотрудничества фонда «Либеральная миссия» и «Нового издательства», увидело свет в 2004 году и разошлось очень быстро. Перед читателями — новое, существенно расширенное издание, куда, в дополнение к уже имевшимся 46 текстам, вошли 50 новых очерков о видных отечественных либералах прошлого.

Книга теперь открывается портретами видных конституционалистов рубежа XVIII–XIX веков: гр. Н. И. Панина, гр. А. Р. Воронцова, кн. А. А. Чарторыйского. «Диссидентскую» ветвь отечественного либерализма по праву открывает очерк о крупнейшем просветителе екатерининской эпохи Н. И. Новикове.

Подобное «углубление в историю» (старое издание открывал очерк о М. М. Сперанском) помогает четче прояснить истоки и причины генезиса либерализма в России, увидеть в этом взаимосвязь внутренних российских процессов и попыток имплантации общеевропейских образцов. Становится очевидным, что появление в России либеральных проектов (конституционно-реформаторских, просветительских и т.д.) является в первую очередь результатом осмысления причин и последствий всплесков «русской смуты» середины XVIII и рубежа XVIII–XIX столетий, связанных с крайней неустойчивостью самодержавно-бюрократического строя и его уязвимостью перед лицом «внутреннего варварства». А это означает, что Россия, с некоторой задержкой, пришла к общеевропейскому выводу, лежащему в основе *либерального проекта* как такового²: человеческой цивилизации угрожает не только «варварство снизу» (позднее Пушкин отчеканит формулу «бунта бессмысленного и беспощадного»), но и «варварство сверху», ибо самовольная, неправовая власть оборачивается в конечном счете главным врагом не только искомого гражданского строя, но и самой государственности.

Либеральный социокультурный (и в этом контексте — политический) проект, таким образом, состоит в том, чтобы промыслить и реализовать *срединный путь* между деспотизмом и хаосом, между Сциллой неправовой «Власти» и Харибдой неправовой «Антивласти». Роль Запада, как устоявшегося идентификационного зеркала для мыслящей России, становится, таким образом, более отчетливой: *путь Запада* является для российских либералов не только *образцом* для подражания, но и важным историческим уроком. И в этом смысле уроки западноевропейских революций (в первую очередь Французской) также лежат в основе зарождения и развития отечественного либерализма.

¹ Российский либерализм: идеи и люди / Под общ. ред. А. А. Кара-Мурзы. М.: Новое издательство, 2004. 616 с.

² См.: Очерки истории западноевропейского либерализма (XVII–XIX вв.) / Под общ. ред. А. А. Кара-Мурзы. М.: Институт философии РАН, 2004.

Реализация срединного, либерального пути связана в первую очередь с расширением личных прав и свобод и — параллельно — круга индивидуальной и общегражданской ответственности. Импульсы к реализации этой стратегии, как показывает опыт, могут исходить как от самой власти (реформаторство сверху), так и от становящейся все более ответственной (т.е. не скатывающейся ни в нигилизм, ни в угодничество) оппозиции. В этом общелиберальном проблемном поле неизбежно возникают внутренние, иногда чрезвычайно острые противоречия, поэтому конечный успех срединной стратегии зависит от степени просвещенности и толерантности не только «власти» и «народа», но и самого либерального лагеря.

Углубление в проблему генезиса российского либерализма в настоящем издании способствовало принципиальному расширению исследовательского поля. Так, в издании 2004 года был достаточно скудно представлен «декабризм», что объяснялось не только форматом книги, но и тем ощущением, что этот фрагмент русской эмансипаторской традиции наименее пострадал в советской историографии. Очевидно, однако, что произошло это за счет выхолащивания собственно либерально-реформаторской сути декабризма и искусственного «подтягивания» его к большевистской традиции. В настоящей книге на примере жизненных судеб Н. И. Тургенева, Н. М. Муравьева, М. С. Лунина, М. А. Фонвизина, И. Д. Якушкина предпринята попытка выделить *собственно либеральный* элемент декабризма — как программно-политический, так и этический.

Важной чертой первого издания книги явилось повышенное внимание к эпохе преобразований Александра II как к принципиально новому этапу либерального реформаторства в России. Представленные в книге 2004 года очерки о вел. кн. Константине Николаевиче, министрах-реформаторах А. В. Головнине, Д. Н. Замятнине, о других деятелях помогли представить Великие реформы 1860-х не просто как реализацию замысла Царя-Освободителя, но как *комплексный процесс*, ведомый слаженной «командой» и затронувший (в отличие от более ранних спонтанных либеральных инициатив) глубинную почву России. В новом издании эта плодотворная линия продолжена очерками о братьях Н. А. и Д. А. Милютиных, М. Х. Рейтерне, Е.И. Ламанском и других виднейших деятелях той эпохи.

Серьезная новация настоящего издания касается российского политического либерализма. Уже в предисловии к первому изданию мы постарались обосновать правомерность включения в книгу не только «классических либералов» начала XX века — конституционных демократов, но и их оппонентов из числа «консервативных либералов», часто критиковавших кадетов «справа». Некоторым рецензентам (надо заметить, в целом благожелательным) этого показалось недостаточным, и они справедливо указали на необходимость включения в отечественную либеральную традицию не только «демократического реформизма» М. М. Ковалевского или «мирнообновленчества» гр. П. А. Гейдена и М. А. Стаховича (что было сделано в первом издании), но и «либерального октябризма». В новое издание включены очерки о братьях А. И. и Н. И. Гучковых, кн. Н. С. Волконском, Н. А. Хомякове, М. М. Алексеенко, С. И. Шидловском, В. М. Петрово-Соловово, которые в целом сумели соблюсти меру сотрудничества с правительственным лагерем (например, с П. А. Столыпиным) и оппортунизма с либеральных позиций.

Впрочем, в первом издании мы, как оказалось, много «задолжали» и самим конституционным демократам. В новое издание включены очерки о В. Д. Набокове, А. А. Корнилове, В. А. Караулове, П. Я. Ростовцеве, К. Ф. Некрасове, С. В. Востротине. Представлены также виднейшие либеральные деятели, главные заслуги которых находятся не на партийном, а на общественном поприще: кн. Г. Е. Львов, Н. И. Кареев, А. С. Посников, кн. С. Д. Урусов, М. В. Челноков, кн. Е. Н. Трубецкой, Н. Н. Львов, гр. С. В. Панина, Н. И. Астров, С. А. Котляревский и др.

Проблемы соединения либерализма с отечественной правовой традицией нашли свое дальнейшее отражение в статьях о таких корифеях либерально-правовой мысли, как А. Д. Градовский, Г. Ф. Шершеневич, П. И. Новгородцев, И. В. Михайловский, Б. А. Кистяковский, Л. И. Петражицкий. Важную новацию по отношению к первому изданию являет собой включение в настоящую книгу очерков о крупнейших русских предпринимателях, активно участвовавших как в общелиберальных теоретических поисках, так и в практической политике (С. И. Четвериков, П. П. Рябушинский, А. И. Коновалов). Эмигрантский период развития русской либеральной мысли усилен в новом издании именами таких выдающихся интеллектуалов, как философ С. Л. Франк и культуролог В. В. Вейдле.

Новый формат издания позволил не только принципиально расширить «галерею портретов» отечественных либералов, но и усложнить саму концепцию книги, проследить *логику эволюции* самого русского либерализма как интеллектуального и политического явления. Мы, например, сочли содержательно оправданным включение в новое издание персонажей, которые, будучи одно время либералами *по преимуществу* (иногда даже лидерами либерального лагеря), при изменении общественной обстановки отошли от либеральных принципов. Имеются в виду в первую очередь очерки о кн. П. А. Вяземском, М. Н. Каткове, А. И. Герцене, Н. Х. Бунге. На наш взгляд, ошибкой было бы как раз обратное — полное отлучение этих важнейших фигур от истории отечественного либерализма.

За прошедшее с момента выхода первого издания время в нашей общественной жизни многое изменилось. Среди несомненно позитивных моментов можно отметить тот факт, что в российских регионах, буквально на глазах, возрождается интерес к истории отечественного либерализма. Постепенно приходит стойкое осознание того, что либерализм в России — это не поверхностное заимствование, якобы чуждое русской «цивилизационной матрице», а, напротив, важнейший и неустранимый элемент национальной традиции. Сегодня усилиями местных историков, краеведов, при поддержке общественных организаций, активистов либеральных политических партий (прежде всего — «Союза правых сил») во многих городах России восстанавливаются имена крупнейших российских либералов.

Во Владимире открыты мемориальные доски гр. М. М. Сперанскому и Ф. Ф. Кошкину. На Рязанской земле — А. В. Головнину и А. И. Кошелеву. В Ярославле — кн. Д. И. Шаховскому, кн. С. Д. Урусову и К. Ф. Некрасову. В Смоленске — Н. А. Хомякову, а в Вязьме — А. С. Посникову. В Москве — Б. Н. Чичерину и И. С. Аксакову. В Усмани и Воронеже — А. И. Шингареву. В Енисейске — С. В. Востротину. В Ельце — М. А. и А. А. Стаховичам. В Волоколамске — Д. Н. Шипову; в Рузе — кн. Павлу Д. Долгорукову. В Липецке — кн. А. И. Васильчикову, а в Чаплыгине (бывшем Раненбурге) — кн. Н. С. Волконскому. Усилиями энтузиастов установлено место захоронения кн. Петра Д. Долгорукова на Князь-Владимирском кладбище г. Владимира (он скончался в 1951 году в тюремной больнице Владимирского централа). Увековечена память гр. П. А. Гейдена в его имении в с. Глубокое Псковской области; приведена в порядок могила графа, разрушенная при большевиках.

Работа по изучению национального либерального наследия будет продолжена. Фонд «Либеральная миссия», в течение многих лет находящийся на переднем крае этой работы, рассчитывает на привлечение новых сторонников и новых авторов.

АЛЕКСЕЙ КАРА-МУРЗА

доктор философских наук,

член Совета фонда «Либеральная миссия»,

член Федерального Политсовета партии «Союз правых сил»

НИКИТА ИВАНОВИЧ ПАНИН: «В России кто может — грабит, кто не может — крадет!»

НИНА МИНАЕВА

Н. И. Панин родился 18 сентября 1718 года в Данциге. Его отец, генерал-поручик, служил там в комиссариате, снабжавшем русскую армию. После окончания Северной войны он был переведен в городок Пернов Ревельской губернии, где и прошли детские годы Никиты.

Никите Ивановичу удалось подняться выше всех в роду, хотя фамилия Паниных уходит своими корнями в глубокую старину. В 1530 году, в год рождения великого князя Ивана Васильевича, будущего царя Ивана Грозного, предок Никиты Ивановича — Василий Панин был убит в неудачном Казанском походе. Однако не только при Рюриковичах, но и при Романовых Панины не затерялись. При Михаиле Федоровиче, в 1626 году, другой предок — Никита Федорович — значился в числе дворян, пожалованных прибавкою оклада. На Земских соборах царя Алексея Михайловича звучал голос думского дворянина Панина, по отцу — Никитича.

При дворе Федора Алексеевича знатный дворянин Василий Васильевич Панин, комнатный стольник, участвовал в решении важных дел. И хотя он был близок к Милославским — врагам будущего царя Петра Алексеевича, это не помешало ему отдать своих сыновей на службу молодому государю. Немалые дипломатические способности пришлось применить тогда любящему отцу. Это умение приспособиться к обстоятельствам и одновременно быть на виду, постоять за себя стало родовой чертой Паниных. В походах Петра Великого уже числились генерал-поручик Иван Васильевич Панин и генерал-майор Андрей Васильевич Панин — сыновья ловкого и дальновидного Василия Васильевича.

Отец Никиты Ивановича Панина — Иван Васильевич — пережил опалу при Петре II и снова вошел в фавор при Анне Иоанновне, стал сенатором. Мать, Аграфена Васильевна, урожденная Эверкалова, была племянницей А. Д. Меншикова. Никита — старший сын в семье; далее следовал Петр, продвинувшийся на военном поприще. Одну из сестер Паниных, Александру Ивановну, выдали за князя Александра Борисовича Куракина, масона и блестящего светского щеголя, личного друга Павла Петровича, вместе с которым он воспитывался и часто совершал заграничные путешествия. Другая сестра, Анна Ивановна, была выгодно выдана замуж за Ивана Ивановича Неплюева, русского посланника в Константинополе, большого знатока Востока и восточной политики. Он прославился также строительством крепостей, позже стал сенатором и начальником Оренбургского края.

Никита Панин начал военную службу при Анне Иоанновне вахмистром конной гвардии, а потом корнетом. При Елизавете Петровне его карьера быстро пошла вверх. Он рано почувствовал вкус к интригам и тайным козням придворного мира и стал опасным соперником А. Г. Разумовскому и И. И. Шувалову. Канцлер А. П. Бестужев-Рюмин поспешил отправить его подальше из столицы — так Никита Панин получил пост русского посланника в Дании.

В Копенгаген он отправился в 1747 году и по дороге, в Берлине, был представлен Фридриху II. Молодой прусский король произвел на него сильное впечатление своим пониманием европейской политики: уже тогда у Панина зародилась мысль о возможном союзе северных европейских государств. В Гамбурге он получил известие о присвоении ему придворного звания камергера и отличительного знака — ключа на голубой ленте, так что в столицу Дании Никита Иванович прибыл вполне представительным дипломатом. Здесь он стал свидетелем открытия датского парламента в Кристианборге, а затем, не успев привыкнуть к европейской жизни и царящим здесь политическим порядкам, в 1748 году был переведен в том же ранге в Швецию. С этой страной императрица Елизавета Петровна вела оживленную дипломатическую переписку. Стокгольм, где Панин провел следующие двенадцать лет, оказал на него большое влияние. Благодаря своей общительности, проницательности и ироническому уму он был радушно принят королевским окружением, стал вхож в королевский дворец, посещал светские рауты, свел знакомство с дипломатами и высшим обществом. Там же, в Стокгольме, его приняли в одну из влиятельных масонских лож.

Масонство проникло в Швецию в 1730-х годах. К моменту прибытия Панина оно достигло такого влияния, что вскоре, в 1753 году, главным мастером был избран сам король Адольф Фридрих. Нигде в Европе масонство не пользовалось столь сильным покровительством царствующего дома; шведская система оказала весьма ощутимое воздействие на соседние страны. К этому времени в России масонство было давно известно. Источники хранят свидетельства о первой ложе, основанной Петром I или его другом Ф. Лефортом в 1698 году. В начале XVIII века здесь уже действовал основатель масонской ложи генерал Джеймс Кейт, брат лорд-маршала Шотландии Джорджа Кейта. На допросе в тайной канцелярии графа Николая Головина в 1747 году выяснилось, что он состоит в масонской ложе, а кроме него масонские взгляды разделяют братья Иван и Захар Чернышевы.

Постепенно европейские масоны развили структуру и порядки вольных каменщиков до целостного общественного учреждения, а «лекции» средневекового цеха стали переливаться в «конституции». Вполне вероятно, что подобную «конституцию» принимал при вступлении в масонскую ложу и Никита Панин. Он, по-видимому, был знаком и с главной книгой масонов — знаменитой «Книгой конституций» Дж. Андерсона, датированной 1723 годом. Она вобрала в себя «лекции» и «уставы» немецких вольных каменщиков, увидевшие свет еще в 1459 году, а также другие масонские документы XV–XVI веков.

Столь незаурядная личность, как Н. И. Панин, рано или поздно должна была быть востребована в своем отечестве. И такой момент настал: в 1759 году Никита Иванович был отозван в Россию, а в 1760-м по повелению Елизаветы Петровны назначен воспитателем малолетнего Павла Петровича. К моменту возвращения в Россию у Панина, судя по всему, уже сложился план конституционных преобразований абсолютной монархии в России по шведскому образцу. Казалось, обстановка в стране давала ему шанс.

Вскоре после вступления на престол Петра III (1761 год) бывший фаворит покойной императрицы И. И. Шувалов начал тайные переговоры с Паниным об отстранении императора и о передаче власти великому князю Павлу Петровичу при регентстве его матери, великой княгини Екатерины Алексеевны. В то время сама Екатерина соглашалась на такое развитие событий. Она признавалась датскому посланнику в Петербурге барону Остену: «Предпочитаю быть матерью императора, а не супругой!»

В результате переворота 28 июня 1762 года победила партия Орловых, которая поддерживала Екатерину Алексеевну именно как абсолютную монархиню, облеченную неограниченной властью. Однако помощь, оказанная в перевороте Паниным и его сторонниками-реформаторами, тоже не осталась без вознаграждения. В Мани-

фест о воцарении Екатерины, по настоянию Панина, было включено положение об «узаконении особых государственных установлений», фактически являвшееся обещанием императрицы ввести в России «твердые законы», т.е. «Конституцию».

Автором подготовленной «Конституции» выступил сам Никита Иванович, а ее идея могла быть навеяна масонскими конституциями, т.е. сводами правил вольных каменщиков. И тайна, которой окутан первый панинский проект, объясняется, возможно, масонской принадлежностью русского вельможи. Достоверно известно, однако, что в основу его легли принципы государственного устройства шведского королевства, где власть монарха какое-то время была ограничена представительным риксдагом.

В 1762 году Никита Панин представил Екатерине свой политический проект. При монархе планировался Императорский совет из шести–восьми советников. При Совете предполагалось иметь четырех статс-секретарей или министров для наблюдения над четырьмя департаментами: иностранных дел, внутренних дел, военного и морского. Тогда же автор информировал императрицу о круге лиц, разделявших его позицию. Среди них был елизаветинский канцлер Бестужев-Рюмин, в 1762 году первоприсутствующий в Сенате. Кроме него в «партию Панина» входили князь Я. П. Шаховской, граф М. И. Воронцов, генерал Н. В. Репнин (племянник братьев Паниных), Е. Р. Дашкова, граф А. Г. Разумовский. В декабре 1762 года императрица, казалось, решила пойти на уступки и скрепить проект своей печатью. Однако во время бурного объяснения с Никитой Ивановичем о полноте ее власти она в гневе надорвала лист с уже готовой подписью и бросила в огонь список сторонников ограничения самодержавия.

Со временем Екатерина постаралась устранить всех единомышленников Панина. Но самого автора проекта, которого она и ценила, и побаивалась, не тронула. Вступив на престол, императрица назначила своего сына Павла Петровича законным наследником и продолжала воспитывать его как цесаревича, как это было еще при Елизавете Петровне. Она считала своим долгом дать наследнику первоклассное европейское образование, для этого требовались опытные воспитатели. Одно время стать наставником русского цесаревича предлагали Ж. Л. Д'Аламберу. Французский просветитель ознакомился с манифестом о воцарении Екатерины II, в котором смерть Петра III приписывалась «геморроидальному припадку», и — отказался от почетного поручения, сославшись на то, что страдает тем же недугом. Его примеру последовали Дидро, Мормонтель и Сорент. Пришлось довольствоваться русскими воспитателями, из которых Панин был, несомненно, самым просвещенным.

После неудачной попытки 1762 года создать при Екатерине Императорский совет Никита Иванович сосредоточился на воспитании ее сына в европейском духе, как монарха, который бы советовался с представительным органом власти. В то время главным авторитетом для Панина был прусский король Фридрих II — именно с ним, участником первого раздела Речи Посполитой, они обсуждали когда-то план политического устройства Польши с Постоянным советом при короле.

В основу разработанного плана воспитания будущего монарха были положены принципы, заимствованные в Швеции. Предусматривались экзамены по главным дисциплинам (иногда в присутствии императрицы): истории, географии, математике и другим наукам. Воспитатель приказал перенести свою кровать в опочивальню подопечного и зорко следил за его самостоятельными занятиями. В этом отношении весьма интересны «Записки» С. А. Порошина — первого учителя Павла, человека простодушного и непосредственного, которого Никита Иванович оттеснил, как и всех прочих, кто стремился влиять на душу цесаревича. Автор «Записок» свидетельствует, что Панин оставался главным воспитателем Павла Петровича вплоть до его совершеннолетия. Получив звание гофмейстера двора Ее Императорского Величества, он безза-

стенчиво ограничил сферу деятельности других учителей. «Тебе, — обращался он к Порошину, — военные науки, русская история и география Отечества... Не стеснялся граф указывать и другим учителям их скромное место: Андрею Андреевичу Грекову, немцу Францу Ивановичу Эпинусу, тайному советнику Остервальду, французам Гранже и Теду». Все помыслы Панина были связаны с Европой, с приобщением России к европейскому миру; во имя этого он, по словам Порошина, прибегал «к хитростям и интригам».

Английский посланник в Петербурге сэр Гаррис вспоминал: «Сэр Панин — добрая душа, огромное тщеславие и необыкновенная неподвижность, — вот три его отличительные черты». А французский посланник в Петербурге М. Д. де Корберон так характеризовал его: «Величавый по манере держаться, ласковый, честный против иностранцев, которых очаровывал при первом знакомстве, он не знал слова „нет“, но исполнение редко следовало за его обещаниями, и если, по-видимому, сопротивление с его стороны — редкость, то и надежды, возлагаемые на его обещания, ничтожны. В характере его замечалась тонкость, но это вовсе не та обдуманная и странная тонкость Мазарини, которую скорее можно назвать двоедушием. Тонкость Панина более мелочна, соединенная с тысячью приятных особенностей, она заставляет говорящего с ним о делах забывать, она обволакивает собеседника, и он уже в плену обаяния графа, он забывает, что находится перед первым министром государыни; она, эта тонкость, может также заставить потерять из виду предмет дипломатической миссии и осторожность, которую следует соблюдать в этом увлекательном разговоре».

Суждения о личности Никиты Ивановича, истинного сына своего века, сохранились также в мемуарах одного из осведомленных и образованных его современников — Ф. Н. Головина, собеседника Вольтера и французских королей. Он утверждал, что Панин обладал большими достоинствами и «его отличала какая-то благородность в обращении, во всех его поступках... внимательность, так что его нельзя было не любить и не почитать: он как будто к себе притягивал. Я в жизни моей видел мало вельмож, столь по наружности приятных. Природа его одарила сановитостью и всем, что составить может прекрасного мужчину. Все его подчиненные его боготворили».

Желая показать императрице свое усердие, главный воспитатель придумал игру, которая должна была удержать великого князя от шалостей и дурных поступков. Он начал выпускать особые «Ведомости», где в отделе «Из Петербурга» упоминались все проступки Павла Петровича. Панин заверял, что о них будет знать вся аристократия Европы, так как «Ведомости» рассылаются по разным странам.

Сильное влияние гофмейстера на наследника не могло не беспокоить императрицу. Чтобы несколько уменьшить эту опасность, она через год после воцарения назначает его также главой департамента иностранных дел, и в самом деле полагая, что он, благодаря своим европейским связям, наиболее подходит для этой должности.

В 1767 году Екатерина привлекла Никиту Панина к работе Уложенной комиссии (1767–1769), которая была создана ею как бы в осуществление обещанных в Манифесте твердых «государственных установлений». Этот временный коллегиальный всеобщесловный орган предусматривал разработку и обсуждение важнейших законов. Он оказался малоэффективен, но работали в нем многие талантливые люди, в том числе Д. И. Фонвизин, в то время уже известный писатель. Там и состоялось его первое знакомство с Паниным. А в 1769 году Никита Иванович пригласил Фонвизина в департамент иностранных дел. С тех пор их сотрудничество, как по службе в департаменте, так и в качестве соавторов и единомышленников в разработке основных положений «конституции», стало постоянным. К тому же оба принадлежали к масонству, которое в 60-е годы XVIII века продолжало влиять на общественную жизнь русской аристократической верхушки.

Росту политического влияния Никиты Панина весьма способствовали обстоятельства подавления восстания Пугачева. 9 апреля 1774 года скончался генерал-аншеф А. И. Бибииков, руководивший всей кампанией. Пугачев набирал силу, была захвачена Казань, разорен Саратов. Требовалось срочно назначить нового опытного командующего карательной армией. Тогда-то ловкий Никита Иванович и напомнил императрице о своем брате — генерале Петре Панине, который пребывал в опале и жил в Москве. После героической баталии и взятия турецкой крепости Бендеры (27 ноября 1770 года) Петра Ивановича наградили орденом Святого Георгия и отстранили от дел. Его оппозиционные настроения были известны императрице. По свидетельству М. Пассек, именно Петр Панин стал инициатором московского восстания («чумного бунта») 15 сентября 1771 года, за что и поплатился. Но теперь, в трудный момент, Екатерина II закрыла на это глаза. А. С. Пушкин, изучая историю Пугачевского бунта, замечал: «В сие время вельможа, удаленный от двора и... бывший в немилости, граф Петр Иванович Панин сам вызвался принять на себя подвиг, недовершенный его предшественником. Екатерина с признательностью увидела усердие благородного своего подданного».

29 июля 1774 года был подписан рескрипт Военной коллегии, объявляющий Петра Панина командующим войсками, направленными против Пугачева. Однако, зная о политических амбициях братьев и не чувствуя себя уверенно, Екатерина одновременно призвала на помощь князя Г. А. Потемкина: она рассчитывала, что именно он первым известит ее о поимке Пугачева. И все-таки генералу Панину удалось послать курьера раньше. Весть об этом облетела всю Россию, и общественное мнение сложилось в пользу Паниных. Правда, спустя некоторое время Петр Иванович, пожалованный за поимку Пугачева должностью «властителя» Оренбургского края, мечом, алмазами украшенным, орденом Святого Андрея Первозванного и 6 тысячами рублей серебром, вновь оказался в опале.

Недоверие Екатерины к братьям Паниным возрастало по мере приближения совершеннолетия цесаревича, связанного с вопросом о его бракосочетании. Мать заблаговременно стала подбирать сыну невесту. Она повела переговоры с ландграфиней Гессен-Дармштадтской насчет смотрин трех ее дочерей. Выбор пал на Вильямину, образованную молодую принцессу, жаждущую известности. В эти переговоры вмешался Никита Панин, в чем и был уличен.

Озлобление сановников и усилившаяся настороженность самой императрицы совпала с новым витком работы Никиты Панина над конституционным проектом. Торопясь провести свой проект в жизнь, он инспирировал заговор против Екатерины. В эти планы Андрей Разумовский посвятил Вильямину — прямо на борту корабля, на котором принцесса плыла в Россию.

Брак великого князя Павла Петровича и крещенной в православную веру принцессы Вильямины (Наталии Алексеевны) оказался несчастливым. Вскоре молодая супруга умерла, то ли в результате происков Екатерины, то ли по другим причинам. Впавший в отчаяние Павел раскрыл матери замыслы заговорщиков. Императрица вынудила архиепископа, принимавшего исповедь умирающей, перечислить имена участников заговора. Среди них был назван и Никита Панин. С этого момента его отстранили от должности гофмейстера и воспитателя цесаревича. По своему обычаю императрица сопровождала отставку щедрыми дарами. Но огорчению Панина не было предела: его отлучили от его основного замысла. С досады он роздал часть царских подарков своим секретарям, в том числе Фонвизину — 4 тысячи крепостных крестьян.

Сведения о заговоре 1773–1774 годов скупы. Лишь спустя много лет о нем рассказал племянник Дениса Фонвизина Михаил Александрович Фонвизин, декабрист, участник «Союза благоденствия». В своих написанных уже в ссылке воспоминаниях он

приводит рассказы отца, очевидца тех событий. Михаил Александрович утверждал: когда великий князь Павел достиг совершеннолетия и женился на Наталии Алексеевне, граф Никита Панин, его брат Петр, княгиня Дашкова, князь Н. В. Репнин, митрополит Гавриил и несколько гвардейских офицеров составили заговор с целью свергнуть Екатерину и посадить на трон наследника, который должен был принять выработанную Паниным «Конституцию». Судя по всему, именно к этой редакции «Конституции» секретарь Панина Д. И. Фонвизин и написал пространное введение — «Рассуждение о непременных государственных законах». В основу его был положен первый панинский проект «конституции» 1762 года. Полностью проект не сохранился: его сожгли во время налета полиции, преследующей масонов в доме другого брата Д. Фонвизина — Павла Ивановича, директора Московского университета. Удалось спасти лишь введение, которое незаметно вынес младший брат Фонвизина — Александр Иванович. Он и сохранил его в своей библиотеке, где позднее с ним познакомились его сыновья-декабристы.

Сохранившаяся часть «проекта Панина — Фонвизина» 1773–1774 годов получила в литературе широкую известность. С нее была снята копия, активно распространявшаяся в обществе. Введение начинается с заявления: «Верховная власть вверяется государю для единого блага его подданных». Далее идет рассуждение в духе идей Просвещения в тесной связи с патримониальным правом: «Государь, подобие Бога на земле... не может равным образом ознаменовывать ни могущества, ни достоинства своего иначе, как поставя в государстве своем правила непреложные, основанные на благе общем и которых не мог бы нарушить сам». Просветительский принцип главенства закона явственно проявляется в следующем положении: «Без сих правил... без непременных государственных законов, непрочны ни состояние государства, ни состояние государя».

Было бы заблуждением считать, что «конституция Панина — Фонвизина» полностью оторвана от реальной жизни. Специальный раздел «О злоупотреблениях произвола власти» посвящен порокам общества и государства в России. Примечательно, что именно здесь приведена излюбленная поговорка Никиты Панина: «В России кто может — грабит, кто не может — крадет!» Новый проект исходил из постулата (появившегося лишь в редакции 1773–1774 годов) об определяющей роли дворянского сословия как главной опоры государства. Императорский совет, в раннем варианте состоящий из восьми аристократов, заменялся теперь Верховным сенатом. Часть несменяемых членов его назначалась «от короны», а другая избиралась «от дворянства» дворянскими собраниями в губерниях и уездах. Сенату же передавалась полнота законодательной власти, императору предоставлялась исполнительная власть и право утверждения законов, принятых Сенатом. Спустя полвека Александр I, занимаясь правкой Государственной уставной грамоты 1818–1820 годов, остановил свое внимание именно на том параграфе, где речь шла о компетенции законодательной власти, и оставил ремарку: «Избиратели могут, таким образом, назначать сами кого вздумается: Панина, например!»

Вторая половина 1770-х ознаменовалась в России новым оживлением масонского движения, которое также пропагандировало конституционную политическую идею. На собрании «Ложы Немезиды» в сентябре 1776 года «ложа Рейхеля» слилась с ложами патриарха русского масонства (по английскому обряду) И. П. Елагина. Были определены общие обряды и «акты трех степеней»; великим мастером был избран Елагин, наместным мастером — Никита Панин. Через несколько дней, 30 сентября, князь А. Б. Куракин отправился в Стокгольм, чтобы сообщить королю Швеции о втором браке наследника русского престола Павла Петровича. Куракин вернулся, облеченный особыми масонскими полномочиями, и привез специальную масонскую литературу.

Среди книг, которые читал в эти годы Н. И. Панин, обращает на себя внимание сочинение Л.-К. Сен-Мартена «О заблуждениях и истине», вышедшее в 1775 году. Известно, что именно Никита Панин познакомил с этой книгой цесаревича и его новую супругу Марию Федоровну.

Между тем утвердившаяся у власти императрица Екатерина Великая противопоставила панинскому пониманию роли монарха собственное толкование. Осуждая крайние проявления деспотии, она в то же время полагала «неудивительным», что «в России было среди государей много тиранов»: «Народ от природы беспокоен и полон доносчиков и людей, которые под предлогом усердия ищут лишь, как бы обратить в свою пользу все для них подходящее; надо быть хорошо воспитану и очень просвещену, чтобы отличить истинное усердие от ложного, отличить намерение от слов и эти последние от дел. Человек, не имеющий воспитания, в подобном случае будет или слабым, или тираном по мере его ума; лишь воспитание и знание людей может указать настоящую середину».

Самовластие, облеченное в просвещенные формы, — вот идеал русской власти. В этом своем убеждении Екатерина следовала принципам Фридриха II Великого, который ей покровительствовал, когда она была еще бедной немецкой принцессой Софией-Фредерикой-Августой. От Фридриха восприняла русская императрица и принципы общения с людьми: «Изучайте людей, старайтесь пользоваться ими, не верьте им без разбора; отыскивайте истинное достоинство, хоть оно было на краю света: по большей части оно скромно и прячется где-то в отдалении... Доблесть не лезет из толпы, не жадничает, не суетится и позволяет забывать о себе. Никогда не позволяйте льстецам осаждать вас: давайте почувствовать, что вы не любите ни похвал, ни низостей. Оказывайте доверие лишь тем, кто имеет мужество при случае вам поперечить и кто предпочитает ваше доброе имя вашей милости. Выслушивайте все, что хоть сколько-нибудь заслуживает внимания; пусть видят, что вы мыслите и чувствуете так, как вы должны мыслить и чувствовать. Поступайте так, чтобы люди добрые вас любили, злые боялись и все уважали. Храните в себе те великие душевные качества, которые составляют отличительную принадлежность человека честного, человека великого и героя».

Итак, между екатерининским представлением о государственной власти и панинскими замыслами преобразования России пролегла глубокая пропасть. Политика «просвещенного абсолютизма» принципиально противоречила идее Никиты Панина о создании «конституционного государства», опирающегося на закон, право и «фундаментальное законодательство».

Последняя, третья редакция «Конституции» Панина относится к 1783 году — году его кончины. Свидетельством ее существования являются две записки, написанные рукой великого князя Павла Петровича после последнего его свидания с бывшим воспитателем. «Рассуждение вечера 28 марта 1783 года» содержит текст Конституции, продиктованный умирающим Паниным своему воспитаннику. Записка открывается положением о главной функции государства, обязанного обеспечить безопасность своим подданным. Далее следует положение о разделении властей: законодательная власть отделена от власти, законов хранящей, и исполнительной. Законодательная власть сохраняется за государем, но «с согласия государства». Власть, законы хранящая, — «в руках всей нации», исполнительная — «под государем». Здесь повторяется мысль о роли дворянства, которое должно активно участвовать в государственном управлении через Сенат и министерства.

Вторая записка посвящена министерской структуре и утверждению нового закона о престолонаследии с «предпочтением мужской персоны». Этой запиской Панин убеждал Павла Петровича в его законных правах на российский престол.

После убийства императора Павла его сын Александр I обнаружил секретный ящик с «важными документами». Историк М. И. Семевский писал по этому поводу: «Все бумаги Павла Петровича после его насильственной смерти перепутанный сын его, ставший императором Александром I, поручил разобрать другу Павла Петровича князю Александру Борисовичу Куракину». Сам молодой царь обнаружил «собственную шкатулку отца, наткнувшись на потайной ящик письменного бюро». Куракин собственноручно скопировал эти документы и «озаботился оставлением у себя одной копии».

Известно, что долгое время секретарем при А. Б. Куракине работал молодой М. М. Сперанский, который, судя по всему, подробно ознакомился с «бумагами Павла Петровича». Возможно, именно оттуда, из найденных им конституционных проектов Никиты Панина, берут начало идеи Сперанского-реформатора.

В ночь с 30 на 31 марта 1783 года граф Никита Иванович Панин скоропостижно скончался. Говорили, что цесаревич Павел рыдал над телом покойного. О потере своего друга глубоко скорбел и Денис Фонвизин, сказавший тогда: «Всякий смертью Панина *Нечто* потерял!»

Нечто — это и есть та мечта Никиты Панина о твердых законах в России и об ограничении самовластья, за которую он боролся столько лет, сам не очень веря в быстрое осуществление своего замысла. Его излюбленная поговорка к концу жизни приобрела еще более горький оттенок. Теперь он повторял: «На Руси кто может, тот дерет; кто не может — тот берет; а кто работает — тот страдает!»

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ НОВИКОВ: *«Худой человек всегда бывает и худой гражданин»*

НАДЕЖДА КОРШУНОВА

Николай Иванович Новиков (1744–1818) — один из ярчайших русских просветителей, был наделен огромным литературным, журналистским и издательским талантом, а его судьба отразила все противоречия истории России последней трети XVIII — начала XIX века.

Н. И. Новиков родился 27 апреля 1744 года в селе Тихвинское-Авдотьино Коломенского (затем Бронницкого) уезда Московской губернии, в семье небогатого помещика. Как было принято в то время, начальное образование он получил дома: грамоте и арифметике его научил дьячок местной церкви. Однако его отец, Иван Васильевич, счел такое образование недостаточным и в 1755 году определил Николая во французский класс гимназии при Московском университете. Обучение длилось пять лет. Первый год — русская школа (русский язык, арифметика, латынь); второй и третий — французская школа (арифметика, география, история, геометрия, французский язык, «штиль российский и сочинение писем»); четвертый и пятый — школа «первых оснований наук» (география, геометрия, история, языки и философия). Французскую школу Новиков окончил в 1758 году с отличием, что было отмечено в газете университета «Московские ведомости». Но в дальнейшем учеба шла не так гладко: за «леность и нехождение в классы» Н. И. Новикова 3 июня 1760 года отчислили из гимназии. (По другим сведениям, из-за болезни отца он с середины 1760 года жил в деревне и не мог посещать занятия.) В дальнейшем Николай Иванович утверждал, что школьные философы просто «не лезли в его голову».

В начале 1762 года Н. И. Новиков был определен рядовым в лейб-гвардии Измайловский полк. В ночь переворота в пользу Екатерины II он стоял часовым у подъемного моста измайловских казарм, за что произведен в унтер-офицеры. Во время не слишком обременительной военной службы Новиков начал проявлять интерес к книжному делу: издал две переводные французские повести и сонет.

17 августа 1767 года, уже в звании каптенармуса, он, в числе других гвардейских офицеров, был определен «держателем дневной записи» в Уложенную комиссию. По должности ему полагалось вести журналы общего собрания депутатов и Малой комиссии «О среднем роде людей», а также докладывать Екатерине II о состоянии дел Комиссии (благодаря чему Новиков и познакомился с ней лично). Именно работа в Уложенной комиссии сыграла ключевую роль в формировании его мировоззрения.

После завершения работы Большой комиссии, 1 января 1768 года, Новиков перевелся из гвардии в армию в чине армейского поручика и 17 февраля был зачислен в Муромский пехотный полк Севской дивизии, однако к новому месту службы так и не прибыл. На год он задержался в Москве для оформления и сдачи документов по комиссии, а к маю 1769 года оформил свою отставку с военной службы и возвратился в Пе-

тербург. В 1770–1773 годах Новиков числился переводчиком Коллегии иностранных дел, однако сам никогда не упоминал об этой службе.

Не чувствуя в себе призвания к государственной службе вообще, в 1773 году Николай Иванович вышел в отставку в чине поручика. «Всякая служба, — писал он позднее, — не сходна с моей склонностью... военная — кажется угнетающей человечество... приказная — надлежит знать все пронырства... придворная — надлежит знать все притворства». В течение ряда последующих лет он занимался изданием сатирических журналов: «Трутень» (с 5 мая 1769 года по 27 апреля 1770-го), «Пустомеля» (1770), «Живописец» (1772–1773) и «Кошелек» (с 8 июля по 2 сентября 1774 года). Главную задачу журналистики Новиков видел в том, чтобы давать «сатиру на лицо», то есть указывать на конкретного носителя зла: «Меня никто не уверит в том, чтобы Мольеров Гарпагон писан был на общий порок. Всякая критика, писанная на лицо, по прошествии многих лет обращается в критику на общий порок».

На создание «Трутня» Н. И. Новикова отчасти вдохновил официальный журнал «Всякая всячина», где впервые в печати прозвучало моральное осуждение жестокого обращения с крепостными. Одной из главных тем нового издания стала проблема чиновничьего и судебного произвола. Был затронут также очень важный и щекотливый вопрос о превращении крепостного права в систему личного рабства; трутень — это крепостник-помещик. Эпиграфом для своего детища Николай Иванович избрал фразу из притчи Сумарокова: «Они работают, а вы их труд ядите».

Естественно, острая сатира «Трутня» не шла ни в какое сравнение с легкой иронией екатерининских журналов, поэтому вскоре он был закрыт. Однако Новиков не собирался расставаться с журналистикой. В июне 1770 года он, теперь через подставное лицо, фон Фока, начинает ежемесячное издание под нейтральным названием «Пустомеля». Хотя в нем должны были печататься произведения не только критического, но и положительного характера, все-таки два номера оказались слишком острыми. В одном из них были помещены две смелые театральные рецензии, в другом — «перевод с китайского А. Л. Леонтьева... Завещание Юнджена, китайского хана, к его сыну». В этой статье говорилось о долге и обязанностях государя и вельможи перед народом «в Китае»...

Свой следующий журнал — «Живописец» — Новиков посвятил Екатерине II («неизвестному» сочинителю комедии «О, время!»). Первоначально в нем высмеивались Наркис Худовоспитанник, Кривосуд, Молокосос, Волокита и др. Появились даже несколько статей самой Екатерины. Но от номера к номеру издание приобретало все более выраженную антикрепостническую направленность («Отрывок путешествия в*** И*** Т***», «Письма к Фалалею»). Правда, кроме чисто сатирических статей «Живописец» помещал также материалы о событиях в России и за рубежом: вероятно, Новиков получал их благодаря своим связям с Коллегией иностранных дел. Так, на его страницах были опубликованы письма Доминика Диодати о «Наказе» Екатерины II (1771) и Самуила Миславского к Е. А. Щербинину о заведении типографии в Харькове; перепечатано «Слово» Д. И. Фонвизина на выздоровление великого князя Павла Петровича и др. С журналом сотрудничали Е. Р. Дашкова, П. С. Потемкин, В. Г. Рубан. Однако из-за начавшейся войны с восстанием Пугачева и это издание было закрыто.

Н. И. Новиков нашел новое применение своим талантам. Он приступает, да к тому же при финансовой поддержке императрицы, к изданию ежемесячной (в течение 1773–1775 годов) «Древней российской вивлиофики». Это первый периодический источниковедческий журнал, где публикуются княжеские грамоты и договоры XIV–XVI веков, дипломатическая переписка и т.п. Самый древний документ, попавший в «Вивлиофику», — Устав князя Владимира Святославича «О церковных судах, и о десятинах, и о церковных людях». Материалы издатель получал из Московского

архива коллегии иностранных дел, находил рукописные памятники в библиотеках: Академии наук, Патриаршей, Успенского собора в Москве, Киево-Печерской лавры. Разумеется, проделать такую работу в одиночку невозможно. С Новиковым сотрудничали М. М. Щербатов, Г. Ф. Миллер, Н. Н. Бантыш-Каменский, текстолог и библиограф Дамаскин (Д. Е. Семенов-Руднев), а также владельцы личных библиотек.

Кроме этого, Н. И. Новиков издал «Опыт исторического словаря о российских писателях», составив его «из разных печатных и рукописных книг, сообщенных известий и словесных преданий». В подготовке ему помогали историк Г. Ф. Миллер и поэт А. П. Сумароков. «Словарь» включал 317 биографий (с X по XVIII век), а также перечень главных произведений каждого автора с раскрытием их содержания. Новиков считал необходимым «дать имена всех наших писателей», даже тех, кто опубликовал всего лишь одно произведение. Таким образом он хотел доказать, что русская история и культура ни в чем не уступают европейской: «Россия о преимуществах в науках спорит с народами, целые веки учением прославлявшимися; науки и художества в ней распространяются, а писатели наши прославляются». «Опыт исторического словаря...» получил широкую известность. Примечательный факт: Д. Дидро вывез его во Францию в числе других лучших русских книг.

Тогда же Новиков задумывает очередной сатирический журнал «Кошелек». Но теперь он решает несколько изменить направление своей сатиры: заняться порицанием галломании и космополитизма и, напротив, — прославлением национальных достоинств, «древних российских добродетелей». Название имело двойной смысл: мешочек для денег и кожаный или тафтяной мешок, куда укладывалась коса парика. В новом журнале были опубликованы «Разговоры» русского с французом и француз с немцем, «Письмо» из Парижа в защиту французов (явно новиковского сочинения); в этих статьях сопоставляются «добродетели» разных народов. Императрица начинанием заинтересовалась и рекомендовала присылать ей листы для просмотра. Однако Николай Иванович вскоре понял, что издавать журнал самостоятельно он не сможет. Существует также точка зрения, что «Кошелек» был запрещен цензурой по протесту французского посланника.

За эти пять лет журналистской деятельности сформировались взгляды Н. И. Новикова на воспитание граждан, общество, государство и крепостничество. Одновременно с изданием словарей и журналов он пробует себя и как книгоиздатель. Созданное им первое в России объединение «Общество, старающееся о напечатании книг» с девизом «Согласием и трудами» существовало с 1773 по 1775 год. Среди членов «Общества» были Н. А. Радищев, Д. Е. Семенов-Руднев, Я. Б. Княжнин и др. В течение двух лет удалось выпустить двадцать четыре книги: сочинения по истории и этнографии России, прозаические и драматические произведения французских, немецких, английских авторов (среди них «Путешествия Гулливера» Дж. Свифта, трагедии П. Корнеля «Сид» и «Смерть Помпеи», «Размышления о греческой истории» Г. Мабли).

В 1775 году Н. И. Новиков вступил в масонскую ложу «Астрея». Одной из главных причин обращения к масонству стало, безусловно, разочарование в политике Екатерины II, а также открывающиеся финансовые возможности. В 1779-м Николай Иванович переехал в Москву и в том же году получил предложение от одного из кураторов Московского университета, М. М. Хераскова, взять в аренду университетскую типографию. Он тут же взялся за дело и даже вступил в «Вольное Российское собрание». Однако рамки «Собрания» оказались издателю тесны, и поэтому 6 ноября 1782 года он открыл собственное «Дружеское ученое общество», ставившее перед собой обширные просветительские задачи. В 1783 году, после выхода указа, разрешающего иметь частные типографии, Новиков распустил «Общество» и 1 сентября 1784 года создал на его базе Типографическую кампанию. Сам он, с присущим ему юмором, так объяснял свой поступок: «Что касается до собственного моего побуждения к сему, то, признава-

ясь искренне, скажу, что хотя любовь к литературе и великое в сем подвиге участие имел, но главнейшее побуждение было, конечно, гордость и корыстолюбие; ибо я видел, что типография была в крайне худом состоянии, и я, по знанию моему, надеялся в скором времени ее поправить и тем себя высказать». И действительно, он серьезно обновил оборудование, выписал из-за границы новые шрифты и бумагу.

Занимаясь просветительской и издательской деятельностью, Новиков объединил около ста авторов, переводчиков, редакторов, книготорговцев. Он выпустил в свет труды как русских авторов (Я. Б. Княжнина, А. П. Сумарокова, Д. И. Фонвизина), так и известных западных писателей и философов (П. Корнеля, Ж. Б. Мольера, Дж. Свифта, Г. Мабли, Вольтера, Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, Дж. Локка, Д. Дидро и др.). Помимо научной и художественной литературы, в большом количестве выходили учебные книги, азбуки, грамматики, книги для чтения, а также труды по педагогике (Х. В. Геллерта «О нравственном воспитании детей», Дж. Локка «О воспитании детей», Р. Досли «Учитель, или Всеобщая система воспитания»).

Параллельно шло издание журналов просветительно-философской направленности: «Утренний свет» (с сентября 1777 по август 1780 в Петербурге, а с мая 1779 по 1780 — в Москве), «Московское издание» (1781), «Покоящийся трудолюбец». Издавал Новиков и газету «Московские ведомости». А в качестве журналов-приложений к ней выходили: «Экономический магазин» (1780–1789), «Прибавление к Московским ведомостям» (1783–1784), первый журнал для детей «Детское чтение для сердца и разума» (1785–1789), первый журнал для сельского населения «Городская и деревенская библиотека, или Забавы и удовольствие разума и сердца в праздное время, содержащая в себе как истории и повести нравоучительные и забавные, так и приключения веселые, печальные, смешные и удивительные» (1782–1786).

Одним из редакторов «Детского чтения» был Н. М. Карамзин. Впечатляет богатство и разнообразие тем: кроме нравоучительных повестей, рассказов и театральных пьес, печатались статьи по физике, астрономии, географии и древней истории, биографии и изречения мудрецов древности. При этом журнал имел собственное направление, основанное на любви и гуманизме.

«Утренний свет» явился первым в своем роде нравственно-философским журналом и, как другие новиковские издания, впоследствии был переиздан. Его девиз — «Познай самого себя». Деньги, полученные от этого предприятия, шли на содержание двух училищ — Александровского для мальчиков и Екатерининского для девочек. На страницах журнала появлялась информация об успеваемости учащихся, а также имена меценатов, которые помогали изданию. На средства масонов и на доходы от журналистской и книгоиздательской деятельности при участии Новикова в 1779 году была основана также учительская семинария при Московском университете — первое в России педагогическое учебное заведение.

Этот деятельный человек оказался новатором и еще в одной сфере: в 1779 году он инициировал «Модное ежемесячное издание, или Библиотеку для дамского туалета» — первый женский журнал в России. Издание было начато в Петербурге (с января по апрель), а затем (с мая по декабрь) продолжено в Москве, куда переехал Новиков. Свою цель он определил так: «доставить прекрасному полу в свободные часы приятное чтение, почему и будут в оном помещаться только такие сочинения или переводы, кои приятны или забавны», а также информация «о новых парижских модах». Всего вышло двенадцать книжек с сатирическими иллюстрациями «Щеголиха на гулянье», «Счастливый щеголь», «Убор а-ля белль пуль», «Чепец победы» и т.д.

Крупных работ по общественно-политической проблематике Н. И. Новиков не написал, но много размышлял на эти темы, анализируя в первую очередь природу человека. Подобно французским просветителям, он считал, что в «естественном состоянии» че-

ловек был слаб и беззащитен, «скитался в страхе и грубости... спасаясь от жадности себе подобных, от свирепства диких зверей». Сторонник теории «договорной природы государства», он полагал, что «с течением времени опыт показал выгоды нечаянного соединения», так как «после опасного своевольтва следовала, по счастью, всеобщая тишина».

Наиболее приемлемым государственным устройством для России Новиков считал «истинную монархию» во главе с просвещенным монархом, который следует «премудрым законам» и заботится о «народном благе». Только таким образом можно и спокойно править, и обеспечить спокойное преемство своей власти. Напротив, «всякий государь, утверждающий власть свою на неправосудии, скрывает пропасть, которую он или его преемники поглощены будут. Самые великие и жесточайшие возмущения не от чего иного произошли, как от своенравия и жестокостей государей». Поэтому Новиков и осуждал деспотизм в любых его проявлениях: «Если ж вместо пастыря народного... сделается монарх расхитителем оного, то покорность сему тирану учинится изменою против рода человеческого». В одном из своих произведений, «Фортуна велика, да ума мало», он рисует ужасные последствия нерадивого правления склонного к роскоши и удовольствиям правителя Лавида. По собственной неграмотности, не думая об общественной пользе, он повелел «не мешаться родителям в дела детей, мужьям в дела жен, бедным искать у богатых покровительства и самим собой обид им не делать, впрочем, жить каждому по своей воле: почитать меня... бояться и слушать. Кто сей закон нарушать станет, того лишать жизни, а имение взять на государя». Все эти распоряжения приводят к волнениям, и только смерть монарха спасает народ от разорения.

Впоследствии, разочаровавшись в политике Екатерины II, Новиков стал отходить от идеала «просвещенного самодержавия», склоняясь к идее конституционной монархии, где власть монарха определяется не только его личными добродетелями, но и строгими законами. Много внимания в своих работах он стал уделять проблеме воспитания «добрых граждан», счастливых и полезных отечеству. По убеждению Новикова, «причина всех заблуждений человеческих есть невежество, а совершенства — знание», поэтому целью его жизни стало максимальное распространение просвещения в самом широком смысле этого слова. Он полагал, что «процветание государства и благополучие народа зависит не отменно от доброты нравов, а доброта нравов — не отменно от воспитания». Если в обществе повреждены нравы, то перестают быть добродетельными законодательство, религия, благочиние, науки и искусства. «Стремительная волна разрушений, — размышлял Новиков, — обессилит законы, обезоружит религию, прекращает успех всякой полезной науки и делает искусства рабами глупости и роскоши». Только воспитание — подлинный творец нравов. У воспитанного человека появляется привычка к порядку. На истине и знании основывается его гордость за свой народ. Через воспитание человек получает любовь к простоте «со всеми человекодружескими, общественными и гражданскими добродетелями».

Достижение совершенства в воспитании ведет, по мнению Новикова, к идеальному состоянию общества, и «законы успевают тогда сами собою: религия в величестве своем исполнена простоты, пребывает тем, чем вечно ей быть надлежало, душою всякой добродетели и твердым успокоительным предметом духа». Науки являются настоящим источником выгод для государства, ремесла способствуют украшению жизни. При совершенном воспитании люди всякого сословия с успехом выполняют свои обязанности, отличаются трудолюбием, хорошим ведением хозяйства. Воспитание юношества — необходимая и первая забота правителя страны, каждого отца семейства. И хотя этим занимаются сама императрица и родители, результаты далеки от совершенства. А беспечность и небрежность в таком деле недопустимы; именно из-за недостатка просвещенности и воспитания «нередко бывают худые люди и негодные граждане». Огромные затраты не идут на пользу воспитуемому, ибо деньги часто упо-

требляют на то, чтобы «сообщить им некоторые знания и способности, которыми они могли бы блистать в свете», а воспитанием добродетели пренебрегают, делая «сердце их чувствительным только к малостям или совсем к глупостям или пороку», а не к добру, благородству и величеству. От этого и появляются Безрассуды, Недоумы, Змеяны, Забылчести и др. Основное их занятие — есть, пить и спать. Так, сын одного дворянина из Каширы, писал просветитель, «упражняется в весьма полезных делах для пользы земных обитателей, ибо он взыскивает, может ли боец-гусь победить на поединке лебедя». Мало проку и от обучения дворянских детей за границей: развращенные невежеством и ленью дома, молодые люди, обучаясь там, предаются больше веселью и праздному времяпрепровождению, нежели овладению науками. В своих сатирических ведомостях Н. И. Новиков предлагал желающим обратить внимание на «молодого российского поросенка, который ездил по чужим землям для просвещения своего разума и который, объездив с пользой, возвратился уже совершенною свиньей».

Писатель попытался ответить на вопрос, какими же должны быть воспитание и образование молодого поколения. В своем трактате «О воспитании и наставлении детей» он отмечал, что оно должно включать в себя как физическое воспитание («дабы дети были здоровы и имели крепкое телосложение»), так и воспитание нравственное. Ибо человек не может стать «добрым гражданином», если «сердце его волнуется беспорядочными пожеланиями, доводящими его либо до пороков, либо до дурачества, если благополучие ближнего возбуждает в нем зависть, или корыстолюбие заставляет его домогаться чужого имени, или сладострастие обессиливает его тело, или честолюбие и ненависть лишают его душевного покоя, без которого не можно иметь никакого удовольствия». Главная цель воспитания — просвещение или образование разума, которое необходимо человеку для исполнения обязанностей перед обществом и государством. Именно Новиков впервые употребил слово «педагогика», под которым он понимал «особую и важную науку... о воспитании тела, разума и сердца».

Николай Иванович одним из первых обратил особое внимание на ребенка как маленького человека, у которого есть не только обязанность повиноваться старшим: «Оно (дитя. — Н. К.) имеет такие же права, как и мы, с тем только различием, что ему более, нежели нам, нужна чужая помощь». Одним из ошибочных методов воспитания того времени Новиков считал требование беспрекословного подчинения. По его убеждению, основой должно стать формирование личности ребенка как будущего гражданина, полезного для общества и государства: «Воспитайте детей наших не ласкательными невольниками, но свободно и благородно мыслящими человеками, умеющими ценить себя, любящими паче всего истину и не боящимися ее сказать, когда их должность или благо других человек того требует. Верьте, что ни один чистосердечный, честный и откровенный человек не раскаялся еще в том, что он чистосердечен, честен и откровенен, что он враг всякого притворства и ласкательства... ибо худой человек всегда бывает и худой гражданин».

В своей воспитательной программе Новиков выступал против официальной доктрины образования детей. Во-первых, обучать и воспитывать всех детей необходимо одинаково, «без различия состояний». Во-вторых, семейное воспитание играет не меньшую роль, чем общественное. Особенно при этом важен положительный пример родителей: «ничего не действует в младых душах детских сильнее всеобщей власти примера, а между другими примерами ничей другой в них не впечатляется глубже и тверже примера родителей». (Велики, конечно, роль и значение грамотного учителя; более того, истинный учитель должен быть человеком высоких моральных качеств, добронравным и высокопрофессиональным, «иметь ясное и основательное знание тех языков и наук, которые обучать должен».) В-третьих, нужен комплексный подход к обучению детей, который предполагает получение не только теоретических, но и практических знаний.

Н. И. Новиков был ярким противником крепостничества, особо отмечая его бесчеловечность и экономическую нецелесообразность. Он писал, что подавляющее большинство помещиков не заботится о своих крестьянах; в деревнях и в помине нет тех идиллических патриархальных отношений, какие представляет официальная пропаганда. Крестьяне — это «питатели России», в то время как помещики (Змеяны, Безрассуды, Злорады и т.п.) — «изверги человечества».

Крепостная система жестко критикуется, например, в «Отрывке путешествия в*** И*** Т***»: «В три дня путешествия ничего не нашел я похвалы достойного. Бедность и рабство повсюду встречались со мной в образе крестьян». Они как «младенцы», которые «спокойно взирают на оковы свои» и требуют только «пропитания... чтобы не отнимали у них жизнь, чтобы не мучили». Помещики же, по мнению автора, «больны мнением, что крестьяне не суть человеки». А ведь помимо того, что это неверно по сути, им даже экономически выгодно заботиться о них: чем богаче крестьяне, тем богаче будет и их хозяин.

Масштабная книгоиздательская деятельность показала не только просветительский и организаторский, но и предпринимательский талант Н. И. Новикова. Работа большой типографии и создание сети книжных магазинов по всей стране требовали обширных хозяйственно-экономических знаний и навыков. Вероятно, именно этим обстоятельством объясняется интерес издателя к вопросам торговли. В начале 1780-х годов в руководимой им типографии вышел ряд сочинений на эту тему: «Историческое описание российской коммерции», «История об английской торговле, мануфактурах, селениях и мореплавании оныя в древние, средние, новейшие времена до 1776 года, с достоверным показанием справедливых причин нынешней войны в Северной Америке» и т.д. В своей газете «Московские ведомости» Новиков также стал постоянно публиковать информацию по торгово-экономическим вопросам: вексельный курс, сводки цен на продукты и товары в Москве, а также статьи о торговле в отдельных европейских странах.

В течение нескольких лет (1780–1789) дважды в неделю выходило приложение к «Московским ведомостям» — журнал «Экономический магазин», а в 1783–1784 годах еще и «Прибавление к Московским ведомостям», где много внимания уделялось хозяйственным вопросам, «опытам» в сельском хозяйстве, наставлениям, рецептам, «весьма полезным деревенским жителям». Редактором «Экономического магазина» и его главным автором был агроном А. Т. Болотов; полный комплект журнала составил сорок томов, и первые восемь вскоре были переизданы.

В первом номере «Прибавлений к Московским ведомостям» разъяснялось, что «купечество российское от сих „Прибавлений“ получить может пользу; ибо оно от сего чтения приобретает достаточное сведение о всех продуктах и товарах, в каких местах получить их можно в большом количестве и с большими выгодами перед другими городами». Кроме того, Новиков сам пишет большую программную статью «О торговле вообще», в которой размышляет «о полезном влиянии торговли в благосостояние государства». Судя по тексту, он был знаком с произведениями известных экономистов XVIII века — А. Смита, Рейнталя и др. — и в целом разделял их взгляды. Статья состоит из трех разделов. «В первом будем говорить о происхождении торговли в политических обществах. Во втором определим понятие о торговле, различные рейды ее и учрежденный в оных распорядок. В третьем представим исторически выгодные действия торговли в знатнейших торговых государствах. В четвертом, наконец, покажем то, каким образом торговля, имея влияние во все средства пропитания и в совокупленное с ними упражнение граждан, приводит чрез то благополучие гражданское в государстве в цветущее состояние».

Размышляя о происхождении торговли, автор статьи говорит, что первоначально, в древнем обществе, произошло разделение труда между земледельцами и ремесленниками. Обмен продукции между ними происходил в результате мены, например

пропитания на одежду. Постепенно все основные потребности оказались удовлетворенными, но «скоро преступлены были сии пределы» и появилась потребность в роскоши. Все это привело к возникновению денег, что облегчило распространение товаров. Н. И. Новиков одним из первых в России дал определение денег, определив их как «всеобщий масштаб цены товаров и замена всему, что продать можно». Кроме того, посредниками между производителями и потребителями товаров стали купцы. Их функция состояла в том, чтобы приобрести товар, поменяв его на деньги: «Вместо того чтоб суконщику должно было разносить свои сукна ко сту человек, имеющих нужду в оных, дабы получить от них деньги или другие потребности, которые ему надобны или которые должен он равным образом паки променять на другие, вместо всего сего ходит он к купцу, который принимает от него его товары на кредит или за наличные деньги гуртом и продает опять свои припасы порознь употребляющим оные».

Во втором разделе Новиков рассуждает о природе торговли в целом. Под торговлей он понимает «упражнение, имеющее предметом выгодную мену всех потребностей». Суть любой торговли, по его мнению, в том, чтобы рано или поздно получить прибыль. Третий раздел статьи посвящен выгоде «торгующих народов». На примере истории европейских и азиатских стран автор доказывал, что процветание многих государств было обусловлено активной внешнеторговой деятельностью. Наконец, в четвертой части подробно проанализировано, каким образом торговля «действует на благополучие государства». По мнению Новикова, «всеобщее действие или следствие торговли в отношении государства» заключается: «1) в производстве кредита, 2) обращения денег, 3) относительного богатства; 4) в умножении процветания прилежания и 5) государственной экономии; 6) в роскоши; 7) во нравственном просвещении и утончении; 8) в упражнении граждан; 9) в умножении народа и 10) в свободе». Таким образом, для того чтобы торговля действительно приносила прибыль государству, необходимо создать соответствующие условия: систему банков и кредитов, урегулированную внутреннюю и внешнюю торговлю. Новиков указывал, что следует развивать торговлю теми товарами, которыми богата страна: «в государстве, где граждане упражняются в земледелии, нужно привести в процветание сию ветвь торговли», как это делается в европейских странах. При этом он подчеркивал, что любая роскошь вредна государству, так как ведет к разорению.

Кроме вопросов собственно хозяйственных, Новикова занимает также вопрос о наилучшей системе управления экономикой, необходимой для процветания торговли. По его словам, налоги в государстве должны быть соразмерны доходам, в противном случае население разорится. В целом он на различных примерах прославлял «торговые республики»; это позволяет говорить, что к 1780-м годам идеалом правления для него стала именно республика, где опорой служит разумно устроенная экономическая система.

Будучи видным масоном и одним из организаторов ложи «Гармония», идеологом масонства Н. И. Новиков не являлся. Возможности масонских лож, главным образом финансовые, он использовал для просветительской и издательской деятельности. Тем не менее масонские учения, прежде всего мартинизм, оказали влияние на его религиозно-нравственное мировоззрение. Новиков считал, что истинное масонство — в просвещении, к которому можно прийти «стежами христианского нравоучения»; однако современные люди «забыли истинное христианство», заменив Христа золотом и плотскими удовольствиями. Вернуться же к Богу можно только через любовь и обретение Христа внутри самого себя: «Древние прекрасно сие изъясняли; они даже в человеке находили извлечение из трех миров и учили, что человек состоит из тела, души и духа. Отсюда произошло то, что они поставляли надпись над дверьми храма: Познай себя». Поэтому внутреннее счастье человека заключается только в совершенстве его духа, и то, что нельзя понять с помощью разума, доступно пониманию с помощью чувств.

В последнем своем журнале «Покоящийся трудолюбец» (1784–1785) Новиков спрашивал читателя: «Почему кто старается уменьшить силу разума с тем намерением, чтобы возвысить откровение, тот уменьшает свет обоих и как бы лишает человека очей, для того чтобы удобным посредством телескопа приблизить вдаль простирающиеся лучи невидимой планеты?» По его мнению, официальную церковь больше заботит внешнее проявление благочестия, а не совершенство духа. Поэтому своей жизненной задачей писатель считал просвещение и исправление заблуждений народа в духе «истинного христианства».

В 1789 году Н. И. Новиков не смог продлить аренду университетской типографии, а в 1791-м вынужден был полностью прекратить работу Типографической компании. В апреле 1792 года против Новикова и других масонов началось следствие, которое закончилось обвинением в «гнусном расколе», корыстных обманах, сношениях с герцогом Брауншвейгским и другими иностранцами. 1 августа 1792 года императрица подписала указ о заключении Новикова в Шлиссельбургскую крепость на пятнадцать лет. Он содержался в нижнем этаже тюрьмы, в камере № 9, вместе со слугой и врачом. А в 1796 году, уже при Павле I, был освобожден. Как писал потом Н. М. Карамзин, «император Павел в самый первый день своего восшествия на престол освободил Новикова, сидевшего около четырех лет в душной темнице; призывал его к себе в кабинет, обещал ему свою милость, как невинному страдальцу, и приказал возвратить конфискованное имение... несожженные книги».

Формально с Новикова были сняты все обвинения, однако разрешения продолжать издательское дело он не получил. Разоренный и больной, он провел последние годы жизни в Тихвинском-Авдотьино, лишь изредка посещая Москву. В 1805 году Николай Иванович пытался вернуться к книгоиздательской деятельности и вновь взять в аренду Московскую университетскую типографию, но это ему не удалось. После этого к общественной жизни он уже не возвращался и основал в своем селе суконную фабрику, заняв деньги в Опекуновом совете с обещанием «пособия и подкрепления со стороны правительства». Правда, дела шли не очень успешно, и Новиков постоянно нуждался. Несмотря на все свалившиеся на него невзгоды, он вел активную переписку (с А. Ф. Лабзиным, Д. П. Руничем и др.), с его мнением продолжали считаться. Карамзин, например, отправил в подарок Новикову свои сочинения, с просьбой высказать о них свое мнение.

Общественно-политическая и издательская деятельность Н. И. Новикова оказала большое влияние на общественное мнение России конца XVIII — начала XIX века. Так, его журнал «Живописец», пользуясь большой популярностью у читателей, выдержал пять переизданий. Даже князь А. А. Прозоровский, который курировал следственное дело Новикова как московский генерал-губернатор, написал о нем в письме: «лукав до бесконечности, бессовестен и смел, и дерзок». В. О. Ключевский так объяснял популярность этого общественного деятеля: он думал, что «удобнее кроить платье по плечу, чем выламывать плечо под платье», как порой предлагала верховная власть. А В. Г. Белинский, оценивая вклад Новикова в развитие культуры и образования в России, писал: «Этот человек, столь мало у нас известный и оцененный (по причине почти совершенного отсутствия публичности), имел сильное влияние на движение русской литературы и, следовательно, русской образованности... Благородная натура этого человека постоянно одушевлялась высокою гражданскою страстью — развивать свет образования в своем Отечестве».

АЛЕКСАНДР РОМАНОВИЧ ВОРОНЦОВ: «Не под царем, а рядом с ним...»

НИНА МИНАЕВА

Граф А. Р. Воронцов (1741–1805) — один из крупных государственных деятелей Российской империи рубежа XVIII–XIX веков, оставивших значительный след в истории модернизации страны. Дипломат, меценат, собиратель редких рукописей, художественных и исторических ценностей, он слыл известным «вольтерьянцем». Его усилиями собрана богатейшая Вольтеровская библиотека. Воронцов был почитателем, корреспондентом и русским переводчиком Вольтера: в «Автобиографии», написанной в 1805 году, в самом конце жизни, он поделился мыслями о причинах своего увлечения и о важности распространения идей французского философа в русском образованном обществе.

В архиве Воронцовых хранятся тексты политических памфлетов, среди которых имеется уникальный документ — «Всемиловнейшая Жалованная Грамота, российскому народу жалуемая» (1801). По существу, это Конституция, вторая в истории русской конституционной мысли, после Конституции Н. И. Панина — Д. И. Фонвизина XVIII века. Грамота была создана в качестве Правительственного Манифеста к воцарению нового императора Александра Павловича Романова, но так и не увидела свет.

Воронцовы — древний русский дворянский род, ведущий свое начало от легендарного Симона Африкановича, выехавшего из варяжской земли в Киев в 1027 году. Непосредственный основатель рода — Федор Васильевич Воронцов (около 1400). С половины XV и до конца XVII века Воронцовы служили воеводами, стряпчими стольниками, окольными и боярами. Михаил Илларионович Воронцов, генерал-поручик, в 1740-м был пожалован в графское достоинство императором Священной Римской империи (австрийским эрцгерцогом), тем самым, который вел войны за Испанское наследство. М. И. Воронцову дозволено было и в России пользоваться этим титулом. В 1741 году он — участник переворота и ареста правительства Анны Леопольдовны. При дворе Елизаветы Петровны Михаил Илларионович — камер-юнкер; служил он ей и пером, которым хорошо владел. Императрица пожаловала его камергером и наградила богатыми поместьями за поддержку при восхождении на российский престол. Женился Михаил Илларионович на ее двоюродной сестре — А. К. Скавронской, был близок ко двору, получил пост вице-канцлера, а после отставки А. П. Бестужева-Рюмина занимал в 1758–1762 годах пост канцлера Российской империи.

И братья Михаила Воронцова — старший Роман и младший Иван — были обласканы Елизаветой Петровной. А в 1760 году Франц I, основатель австрийской династии Габсбургов и последний император Священной Римской империи, Роману и Ивану Воронцовым также даровал графское достоинство, которое, однако, было признано в России только в 1797-м, т.е. уже при императоре Павле.

Роман Воронцов — генерал-поручик и сенатор при Елизавете Петровне, генерал-аншеф при Петре III — при Екатерине II попал в опалу. Правда, позже получил от нее ме-

сто наместника Владимирской, Пензенской и Тамбовской губерний. Его дети, все четверо, заслужили громкую славу. Старшая дочь, Елизавета Романовна, была фавориткой Петра III и позже, при императрице Екатерине, поплатилась за это. Младшая, Екатерина Романовна Воронцова-Дашкова, напротив, поддержала великую княгиню Екатерину Алексеевну и позже получила пост президента Российской Академии наук. Семен Романович Воронцов — известный дипломат, был русским послом в Венеции и Лондоне. Англоман и ярый сторонник Конституции, он отличался политическими симпатиями к английской парламентарной монархии. Его сын, Михаил Семенович, участвовал в Кавказской и Русско-турецкой войнах, в Отечественной войне 1812 года, заграничных походах русской армии. За заслуги получил титул светлейшего князя и в 1823 году — пост новороссийского и бессарабского генерал-губернатора. В 1844–1854 годах занимал пост наместника на Кавказе с неограниченными полномочиями.

Александр Романович Воронцов, старший сын деспотичного Романа Илларионовича и племянник елизаветинского канцлера Михаила Илларионовича, родился 15 сентября 1741 года. Он получил блестящее европейское образование. Учился во Франции, сначала в Страсбургском военном училище; побывал в Париже, где завязал знакомство с энциклопедистами. Жил в Италии, Испании, Португалии. Во время поездки в Испанию составил для дяди-канцлера Михаила Илларионовича «Описание испанского Управления». Потом снова вернулся во Францию, в Версаль, где продолжил образование в Рейтарской школе. Изящную словесность в этом учебном заведении преподавал бывший секретарь самого Вольтера — месье Арну. Воронцов не только прослушал его курс, но и стал брать у него частные уроки. С самим Вольтером он познакомился в Швейцарии в 1757 году, при дворе пфальцграфа в Шветцингене. Эта дружба затянулась на долгие годы; он переписывался с мэтром до конца его жизни, посещал его в поместье Ферней.

В графском архиве сохраняется целый том — «Воронцовский сборник писем Вольтера». И это не было модным увлечением и декларацией, как, например, у императрицы Екатерины II, чье увлечение французскими просветителями А. И. Герцен назвал «чернильным кокетством». Графы Воронцовы действительно возглавили «русское вольтерьянство» — своеобразное просветительское общественное течение.

В 1760 году А. Р. Воронцов был пожалован титулом графа. С 1761 года служил поверенным в делах России в Вене; в 1762–1764 годах был полномочным министром в Лондоне; в 1764–1768 — в Гааге. С 1773 года он — председатель Коммерц-коллегии, с 1779-го — сенатор. Летом 1788 года, в канун революции во Франции, когда явственно ощущалось общественное неблагополучие в стране (массовое бегство крестьян с насиженных мест, повсеместный опустошительный неурожай в провинциях, голод в Париже), Воронцовы присоединили свой голос к тем, кто осуждал абсолютную монархию во главе с Людовиком XVI и Марией-Антуанеттой. В письме к брату Александру Семен Воронцов рисовал картину распада французских верхов: «Король — глуп, королева — интриганка, без талантов и без твердости, столь же всеми ненавидимая, как ее муж презираем... Французское дворянство деморализовано, разночинцы, третья сословие поднимают головы, но народ всюду невежествен».

Сопоставляя положение в России и во Франции, братья Воронцовы видели многие общие черты загнивания абсолютизма. Но они были далеки от того, чтобы приветствовать революцию, — сословная принадлежность к аристократии оказалась фактором определяющим. В «Записке к графу А. А. Безбородко» по поводу событий 1791 года во Франции Александр Романович писал: «Сей перелом во Французской конституции и все то, что им опрокинуто, заслуживает особого внимания государей, дворянства». Отмена революционным правительством Франции сословных привилегий дворянства, ограничение власти короля цензовой конституцией 1791 года — все эти нововведения

Учредительного собрания вызвали и у автора записки, и у Безбородко резкий протест. Эта позиция близка позициям французского либерального дворянства.

В то время сам граф Александр Воронцов предлагал вполне определенную программу действий, созвучную Пильницкой декларации 27 августа 1791 года. (Этот австро-прусский дипломатический документ, подписанный в замке Пильниц в Саксонии, положил начало антифранцузской коалиции, направленной против революционной Франции.) Он призывал канцлера А. А. Безбородко содействовать вступлению России в антифранцузскую коалицию монархических правительств Австрии и Пруссии: «Нужно было бы государям между собой согласиться и по мере могущества, а особливо локального положения каждого государства силе неистовством преграду сделать». В этом документе Александр Воронцов обращается ко всем монархам Европы с призывом издать специальную декларацию, направленную против французской революции; консолидироваться с венским и иными дворами по охране королевской семьи Людовика XVI; покровительствовать королевской партии и разорвать дипломатические отношения с революционной Францией. Его позиция свидетельствует о полной неприемлемости для него революционных крайностей, опасных и для других европейских стран: «Если сей образ правления и мнимого равенства хоть тень окоренелости во Франции примет, оно будет иметь пагубные последствия и для прочих государств, с тою только разностию, что в одном ранее, в другом позже».

Осуждение Воронцовыми революции еще более обострилось после казни 21 января 1793 года Людовика XVI. «Лучше быть соседями антропофагов, чем ужасной французской республики... Лучше жить в Марокко, чем в этой стране мнимого равенства и свободы», — восклицал в сердцах Семен Романович.

Весь набор политических документов конца XVIII — начала XIX века, принадлежащих перу братьев Воронцовых, свидетельствует об их стремлении создать целостную программу борьбы с революциями. Однако их политическая позиция резко отличалась от официального курса абсолютизма и представляла собой довольно стройную программу модернизации России в рамках закона и современного им понимания политического прогресса.

Сохранилось много материалов, подтверждающих тесные контакты и даже искреннюю дружбу между Александром Романовичем Воронцовым и Александром Николаевичем Радищевым. Более того, некоторые автографы писателя несут на себе след правки и замечаний его патрона и покровителя — с 1776 года Радищев служил чиновником Коммерц-коллегии, председателем которой был Воронцов. Их многолетняя переписка не прервалась даже в годы гонения Радищева. Уже после осуждения Радищева как «политического преступника» Воронцов выразил сочувствие ему и даже симпатию в письме к брату Семену Романовичу в Лондон: «Я не знаю ничего более тяжелого, как потеря друга, в особенности когда не распространяешь широко свои связи... Я только что потерял, правда, в гражданском смысле, человека, пользовавшегося уважением двора и обладавшего наилучшими способностями для государственной службы. Его предполагалось назначить вместо г-на Даля, и на этом поприще его помощь мне была велика. Это господин Радищев; Вы несколько раз видели его у меня, но я не уверен, что вы хорошо знали друг друга. Кроме того, он исключительно замкнут последние семь или восемь лет. Я не думаю, чтобы его можно заменить; это очень печально. Не был ли он вовлечен в какую-то организацию? Но что меня, однако, более всего удивило, когда случившееся с ним событие стало широко известно, это то, что я в течение долгого времени считал его умеренным, трезвым и абсолютно ни в чем не заинтересованным, хорошим сыном и превосходным гражданином... Он только что выпустил книгу под названием „Путешествие из Петербурга в Москву“. Это произведение якобы имело тон Мирабо и всех бешеных Франции».

За приведенным выше письмом брату следует длинная цепь переписки А. Р. Воронцова с губернаторами тех городов, через которые пролегал путь политического ссыльного. Граф просит их оказать содействие Александру Николаевичу, дать ему возможность пожить в каждом городе по дороге в Сибирь, получше устроить. Обращает на себя внимание и его переписка с братом Радищева — Моисеем Николаевичем, который жил в Архангельске. К нему были отправлены сыновья ссыльного — Николай и Павел; Воронцов следит за их судьбой, поддерживая и словом, и делом.

Александр Романович интересовался бумагами Радищева и тщательно сохранял их до его возвращения. Из переписки графа с ссыльным писателем следует, что он хорошо знал содержание крамольного «Путешествия». Несомненный интерес представляет сохранившийся в рукописном собрании А. Р. Воронцова «Разбор книги „Путешествие из Петербурга в Москву“, сделанный императрицей Екатериной». Похоже, внимательный анализ екатерининского «Разбора» важен Воронцову не только для защиты Радищева, но и для прямого оппонирования императрице.

На одной из первых страниц «Разбора» написано: «На каждом листе видно, сочинитель... наполнен и заражен французскими заблуждениями, ищет всячески и защищает все возможное к умалению почтения к власти и властям, к приведению народа в негодование противу начальников и начальств». Воронцов на полях рукописи Екатерины помечает, что «Путешествие» писалось до развития бурных революционных событий во Франции. Разбирая комментарии Радищева к положению крепостных крестьян, императрица пишет: «Страницы 126–133 служат к описанию зверского обхождения помещика со крестьянами — суетное умствование...» Но и здесь Воронцов, сам крупный землевладелец, не может с ней согласиться. Граф подчеркивает такие слова Радищева: «Он был царь. Скажи, в чьей голове может быть больше несообразности, если не в царской?» Екатерина резко отреагировала в «Разборе» на эту реплику: «Сочинитель не любит царей и где может к ним убавить любви и почтения, тут жадно прицепляется с редкой смелостью». Воронцов же, судя по пометкам, согласен с радищевской оценкой абсолютизма; впоследствии он не раз выдвигал собственные предложения об ограничении абсолютной власти монарха в России представительным Сенатом.

Связь Воронцова с Радищевым не ослабела и после возвращения писателя из ссылки. С 1794 года граф находился в отставке, но в 1801-м, уже при императоре Александре, снова вернулся на государственную службу. Тогда же, по рекомендации своего покровителя, Радищев получил место в Комиссии составления Законов. Здесь им были подготовлены законодательные акты, включающие положения об узаконении крестьянской частной собственности на движимое и недвижимое имущество, а также положения о неприкосновенности личности, основанные на известном английском законодательном акте XVII века Habeas corpus act. Положения этого источника часто использовались и самим Александром Романовичем.

Как было сказано выше, в 1801 году граф подготовил документ, известный как «Всемиловитивейшая Жалованная Грамота, российскому народу жалуемая». Текст родился из нескольких предварительных «политических записок о Сенате», который братья Воронцовы предполагали превратить в представительный орган власти, модернизировав таким образом самодержавную империю в конституционную монархию, близкую по форме к английской политической системе. Однако в момент воцарения Александра I, 12 марта 1801 года, уже подготовленная в качестве царского Манифеста «Жалованная Грамота» так и не была обнародована. Вместо этого высокопоставленный чиновник Д. П. Трощинский за одну ночь составил традиционный Манифест, в котором молодой император обещал править «по уму и сердцу своей великой бабки Екатерины Великой». Огорченный граф Воронцов продолжил работу над «Грамотой», не теряя надежды со временем дать ей ход. Окончательную правку

он закончил к августу — ведь в сентябре намечалась коронация в Успенском соборе Московского Кремля. Опираясь на своих сторонников, Александр Романович предложил «Грамоту» в качестве коронационного Манифеста. Но и эта его попытка не увенчалась успехом.

Третья попытка относится к периоду деятельности так называемого «Негласного Комитета», состоящего из близких соратников молодого царя. А. Р. Воронцову удалось расположить в пользу документа двух влиятельных членов Комитета — Н. Н. Новосильцева и В. П. Кочубея. Те, зная о нелюбви императора к вельможе Воронцову, взяли составить краткий доклад — «Articles» — по основным положениям «Грамоты» и представить его как собственное политическое новшество. Но они недооценили подозрительного, осторожного и неуверенного в себе Александра Павловича. «Articles» не прошли даже сам «Негласный Комитет», как, впрочем, и многие другие реформаторские проекты, предложенные на рассмотрение этого странного «теневого» правительственного института.

«Жалованная Грамота» составлена в либерально-дворянском духе, и ее центральным принципом была защита свободы личности — краеугольное положение европейского буржуазного законодательства. В ее более подробной, второй редакции (август–сентябрь 1801), в полном соответствии с английским Habeas corpus act, говорилось: «Если кто будет взят под стражу и посажен в тюрьму, или задержан где насильственным образом, и если в течение трех дней не будет ему объявлено о причине, для которой он взят под стражу, посажен в тюрьму или задержан, и если в сей трехдневный срок он не будет представлен перед законный суд, для учинения ему допроса и для произведения над ним суда, то по единственному его требованию свободы от ближайшего начальства да освободится непременно в тот час, ибо преступление его неизвестно, а потому в законе еще не существует». Освобожденный таким образом «может произвести иск на взявшего его под стражу, или посадившего его в тюрьму, или давшего на то повеление, в оскорблении личной безопасности и убытках, и сей повинен ответствовать в суде в произведенном на него иске».

Основной текст «Грамоты», безусловно, составлен А. Р. Воронцовым (это подтверждается данными протоколов «Негласного Комитета», которые вел П. А. Строганов), но в ней есть положения, которые доказывают причастность к авторству и А. Н. Радищева. Впервые это заметили литературоведы и филологи, нашедшие параллели между параграфами «Грамоты» о положении крестьян и такими радищевскими сочинениями, как «Путешествие из Петербурга в Москву» и более позднее «Описание моего владения».

Итак, император отверг «Жалованную грамоту» в марте 1801 года, а затем, в сентябре, не решился обнародовать ее в качестве Манифеста во время коронации в Москве; документ снова прибыл в Петербург — с царской пометой «в Архив». Но в это время в канцелярии Александра I уже трудился Михаил Михайлович Сперанский. О несомненной его причастности к «Грамоте» свидетельствуют ремарки на полях «Второй редакции». Как это произошло? Вероятно, Трощинский, получив «Грамоту» в Непременный Совет, передал ее статс-секретарю Сперанскому, в 1802 году служившему под его началом. Тот, заинтересовавшись документом и будучи уверенным, что теперь он будет храниться в Государственном архиве до лучших времен, взял на себя смелость добавить в содержание 25-го параграфа свои мысли — карандашная вставка сделана его рукой. Этот параграф утверждает «право частной собственности во всех ее видах и отношениях», упраздняя деление имущества на родовое и благоприобретенное. Сперанский карандашом приписывает: «Желая утвердить право частной собственности во всех ее видах и отношениях, мы отступаем от права, казне присвоенного, на имение последних».

Столь же заинтересованно статс-секретарь отнесся и к перечислению форм крестьянской собственности в том же, 25-м параграфе «Грамоты»: «Сия собственность движимая (орудия пахотные и все то, что принадлежит до его ремесла, как то: соха, плуг, борона, лошади, волы), будучи единая только по нашим законам предоставленная крестьянину (ибо самоличная или недвижимая не суть принадлежащая его сану), — должна тем паче ему так утверждена быть, чтобы никаким образом он не мог оной лишиться, ни казною, за долг податей, ни господином своим».

В свое время к «Жалованной Грамоте» было приложено добавление — «Соображения и замечания к пунктам, предназначенные для составления указа или манифеста о привилегиях, вольностях и т.д.». В этом документе, написанном, по-видимому, главным автором — графом Александром Воронцовым, определены принципы, по которым в дальнейшем следует развивать положение «о поселянах»: предоставление государственным и помещичьим крестьянам права приобретать ненаселенные земли, оформляя купчие на свое собственное имя; расширение круга «движимой собственности» за счет «сельскохозяйственных строений». В дворянские собрания не допускаются дворяне, замеченные в тиранстве по отношению к своим крестьянам и т.д. Введение в «Грамоту» параграфов о крестьянской собственности и некотором правовом статусе помещичьих крестьян придает этому документу особенно новаторский оттенок.

Никаких следов рассмотрения правительством этого, по существу нового, расширенного и дополненного варианта не найдено. Император Александр I не удостоил вниманием документ, вобравший интеллектуальные усилия графа Александра Воронцова, редактуру А. Н. Радищева и М. М. Сперанского, участие крупных сановников: Н. Н. Новосильцева, В. П. Кочубея и, возможно, Адама Чарторыйского.

Анализ текста «Жалованной Грамоты» убеждает, что этот документ отражает ту идеологическую позицию, на которой попытались объединиться ведущие политические силы самого начала XIX столетия: дворянско-олигархическое, просветительское и дворянско-радикальное течения общественной мысли. Противодействующей силой оставался самодержавно-крепостнический стан; его возглавлял сам император Александр Павлович, испытывавший при этом мучительные колебания переходной эпохи рубежа веков.

В ноябре 1801 года, перед получением почетной должности канцлера (Воронцов занял ее в декабре), Александр Романович выступил с новой инициативой — политическим памфлетом «Записка о России в начале нынешнего века». В подлиннике после заглавия значится: «Из села Андреевского Владимирской губернии» (там автор «Записки» находился во время опалы при Павле и в первые месяцы воцарения наследника). Назначение документа определяет помета Семена Романовича: «Эта памятная записка моего брата императору Александру I».

Стремясь расширить социальную основу монархии в России, граф определяет роль дворянства в условиях нарастающей революционной опасности в Европе. Дворянство наступившего века, в его понимании, — это политическая и культурная сила, с которой нельзя обращаться петровскими методами. Новая роль сословия не позволяет ему быть «под царем», а заставляет встать «рядом с ним». Александр Романович связывал эту новую роль дворянства как советника и сотрудника государя — с новой ролью Сената, должно стать органом представительства дворянства.

А. Р. Воронцов мотивировал необходимость обновления системы управления территориальными приобретениями России к началу XIX столетия: «Столь пространственное государство, каково здешнее, не может в целости оставаться, как под царствованием Государя с большею властью и способами». Из этого утверждения выводится необходимость поднять авторитет Сената, который «пока обращен в большую ничтожность». Непосредственным органом управления должен стать «Непременный

Совет», превращенный из недееспособного института в законосовещательный орган при императоре. Ему подлежат дела военные, морские, дипломатические, внутреннего хозяйства: «В Совете все департаментские дела докладываются в присутствии государя... Так Советы во всех монархических порядочных правлениях устроены бывают». Чтобы обосновать свою точку зрения, автор «Записки» прибегает к авторитету европейской политической мысли и европейского общественного мнения: «И Европа увидит, что значит Россия, когда она под порядочным и осторожным правлением находится».

Мысль о создании законосовещательного органа находим и в другом документе — «Записке о царствовании Петра III, Екатерины II и вступлении Александра». Развивая положение о Государственном совете, Воронцов мотивирует нецелесообразность государственной реформы морально-нравственными нормами, пространно говорит о совести императора, о его ответственности перед историей, ссылаясь на уроки прошлого. Путь заговора, дворцового переворота, к которому прибегла Екатерина II, «заклучал в себе многие неудобства, кои имели влияние на все ее царствование». Вопрос о Сенате в этой «Записке» также не получил еще пространного развития, хотя вся аргументация подводит к тому, чтобы наделить его чрезвычайными, отличными от прежних, полномочиями.

Мысли о реформе Сената, постоянно присутствующие в бумагах Воронцова, в основном связаны с работой «Негласного Комитета», протоколы которого аккуратнейшим образом вел П. А. Строганов. Формально этот орган просуществовал два с лишним года (24 июня 1801 — 9 ноября 1803); всего было проведено около сорока заседаний. С 12 мая 1802 года по 26 октября 1803-го «Комитет» не собирался ни разу. Наиболее активным стал период с 24 июня 1801-го по 12 мая 1802-го, т.е. неполный год. В «Комитете» обсуждались самые разнообразные темы: отношение к иностранным державам, вопрос о Грузии, о тайной полиции, Московском университете, казаках, военном образовании. И в этом калейдоскопе поверхностно затронутых тем настойчиво поднимался вопрос о Сенате: он обсуждался на восьми заседаниях из сорока.

Из протоколов следует, что расширение прав Сената явилось предметом подробного обсуждения 5 августа 1801 года. Как известно, 5 июля Александр I издал Указ, подтверждающий прежние права Сената, и тем не менее спустя два месяца этот вопрос был снова поднят. Доклады делали сенаторы Г. Р. Державин и А. Р. Воронцов. Судя по всему, император остался непреклонным.

В архиве А. Р. Воронцова найден документ, на основе которого сам Александр Романович выступал в «Негласном Комитете». Это «Мнение о правилах и преимуществах Сената»; документ датирован 19 июня 1800 года; в нем приведены также соображения сенаторов П. В. Завадовского и Г. Р. Державина. Завадовский лаконичен и традиционен: следует оставить все по-старому, восстановить прежнее положение Сената; деятельность Александра I он сравнивает с деятельностью Петра Великого. Более развернуто и обоснованно мнение Державина. Он по-своему раскрывает понятие «общественного блага», которое определяется «просвещенным монархом»: «Петр Великий понимал „общественное благо“ таким образом, чтобы образовать для России „политическое бытие, установя суды нижние и верхние, а над ними — Сенат (Указ 1718 года, декабря 22 дня)“». Но, по мнению Державина, к началу XIX века положение изменилось: «Империя не в том уже нравственном и политическом положении, каким оно было во времена прошедшие... В самодержавном правлении все власти предполагаются в едином лице Государя. А всякий таковой единоначальный властитель или самодержец, не Бог, или, как сам он сказал (Александр I. — Н. М.), не ангел». Так, иносказательно, но Державин поддержал Воронцова в его намерении ограничить Сенатом всевластие монарха.

Обсуждение вопроса о Сенате в «Негласном Комитете» и воронцовский документ обнаруживают много общего. Но главный доклад на эту тему в «Комитете» делал Новосильцев. Строганов пишет в своем протоколе: «Доклад Новосильцева строился на принципах, которыми мы руководствовались в нашем Комитете, а потом почерпая в отдельных мнениях сенаторов то, что было в них лучшего». Лишь некоторые положения из документов Воронцова попали в круг обсуждаемых; другие серьезно видоизменились. В ходе обсуждения было решено слить все целесообразные идеи в некий «Ордонанс».

Главное предложение графа Воронцова (предоставить Сенату законодательную инициативу) встретило со стороны Новосильцева резкий протест. Он брал контраргументы в истории организации петровского Сената, пугал возникновением нарастающих противоречий между верховной властью и ее службами. Он соглашался лишь на предоставление Сенату судебной функции. В протоколах «Негласного Комитета» имеется также весьма любопытное примечание о чтении самим Александром I «Мемории Воронцова о пределах, которые необходимо положить произвольной власти». Судя по записям Строганова, Александр Романович с его идеей «внести всю власть в Сенат» был слишком радикален, «не подумав, что ему следует предоставить одну судебную власть и ничего больше».

Новое заседание «Негласного Комитета» проходило в Москве в доме П. А. Строганова 11 сентября все того же, 1801 года. Император, как обычно, демонстрировал присущую ему игру в либеральную фразу. Строганов и Новосильцев отстаивали преимущества единоличной власти. Им, безусловным поклонникам самодержавия, понадобилось прибегнуть к авторитету старого наставника императора, Цезаря Лагарпа, чтобы отрезвить молодого царя. Строганов записывает: «Прежде всего, мы убеждали императора, что наша точка зрения совпадает с точкой зрения Лагарпа по этому вопросу и что его принципы находят подтверждение в наших». На это царь отвечал: «Да, Лагарп не хочет, чтобы я отказался от власти», — выдавая свою истинную позицию сторонника единоличного правления.

Вопрос о Сенате возник еще раз на заседании 9 декабря 1801 года. Из доклада графа Воронцова и сенатора Зубова выделили проблему законодательной компетенции Сената, вновь подвергнув ее разбору и отклонению. Здравой признали лишь идею Воронцова составить свод всех действующих узаконений о Сенате.

Следующий важнейший документ графа о политическом значении Сената датирован 3 мая 1802 года — это уже то время, когда Александр Романович занял пост канцлера Российской империи. Документ именуется «О внутреннем положении России». Его автор задается целью разработать проект, «важный во всяком самодержавном правлении: каким образом, не разделяя власти по существу ее, так разделить ее по разным частям государственного управления, чтобы каждая из них имела свое постоянное движение и все бы соединялись в одном средоточии, в особе государя». набросок этой мысли в дальнейшем будет развит М. М. Сперанским в его «Плане государственного преобразования».

В записке «О внутреннем положении России» предложено наделить Сенат функциями верховного правления, где бы соединялись «все части внутреннего государственного управления». Он выступает с инициативой ввести следующие положения в готовящийся указ: «Повысить авторитет Сената предоставлением сенатору права высказывать свое особое мнение, подобно тому как несогласие генерал-прокурора может остановить решение дела... По разномыслию сему дела из департаментов могли переходить в общее собрание Сената, а из оногo, если в нем несогласно решены будут, к государю». В этой же «Записке» Воронцов наделяет Сенат чрезвычайными полномочиями, близкими к решающему законодательному голосу: «Я смею надеяться на пре-

доставление сенатору права вето, — что случаи сии будут редки и государь не будет обременен ими. Но, если по неодолимым причинам необходимо будет большинство голосов, по крайней мере нужно ограничить его степени двумя третями или другим образом». Из этого положения следует, что Воронцов предлагает дать Сенату право «суспенсивного вето», ограниченного двумя третями голосов в проведении нового законопроекта.

Объясняя необходимость наделить Сенат законодательными функциями, Александр Романович ссылается на хорошо ему известный пример Англии. Мажоритарное вето, предусматривающее большинство голосов при обсуждении законопроекта в английском парламенте, используется им как доказательство целесообразности введения элементов западноевропейского права: «Большинство голосов имеется в камерах английского парламента, в прежнем французском парламенте... Сенат должен быть блюстителем закона во всем государстве». Эти идеи графа А. Р. Воронцова нашли затем свое продолжение в законодательных проектах М. М. Сперанского, а также адмирала и сенатора Н. С. Мордвинова.

Но не только конституционные проекты занимали в первые годы XIX века российского канцлера. Менялась внутривполитическая обстановка в Европе: резкое усиление наполеоновской Франции заставляло Россию искать сближения с Англией и Австрией. Старые англофилы Воронцовы немало способствовали разрыву русского императора с Наполеоном в 1804 году. В конце 1804-го престарелый граф Александр Романович Воронцов покинул пост канцлера Российской империи. Скончался он 4 декабря 1805 года.

АДАМ АДАМОВИЧ ЧАРТОРЫЙСКИЙ: *«Я хотел политики, основанной на общем благе и соблюдении прав каждого...»*

НИНА МИНАЕВА

Эпоха Наполеоновских войн привнесла много нового в европейскую политику. Французская революция, с ее принципами свободы, равенства и братства, уходила в прошлое. Становилась популярной идея компромисса — мирного соглашения республиканских принципов Французской революции и патримониальной идеи монархических режимов России, Англии, других стран Европы. «Легитимизм» как политическая доктрина компромисса, появившаяся в эпоху Наполеона Бонапарта, проделала значительную эволюцию. На заре своего существования она включала как обязательную часть конституционную идею. Но уже на Венском конгрессе 1814–1815 годов «легитимизм» проявился как форма сохранения феодальных монархий и решительного противодействия революционным и национально-освободительным движениям. В России все перипетии эволюции европейского «легитимизма» ярко отразились в судьбе крупного либерального политического деятеля и дипломата князя Адама Чарторыйского (1770–1861).

Его отец, Адам Казимир Чарторыйский, в 1770-х годах был генерал-губернатором Подолии, владельцем обширных земельных владений. «Партия Чарторыйских», объединявшая значительные круги польской шляхты, вынашивала планы добиться польской короны при посредничестве России, Англии и Австрии и провести ряд крупных государственных преобразований. Ей противостояла другая группировка польских магнатов во главе с Потоцким, искавшая поддержки у Швеции, Франции и Турции.

Отец ориентировал Адама на большую государственную карьеру. Для получения образования и изучения конституционного права он послал сына в Англию. Двадцатилетним юношей тот участвовал в военных столкновениях во время очередного «раздела Польши». На фамильные владения Чарторыйских русскими властями был наложен секвестр, а сами условия существования семьи Чарторыйских стали зависеть теперь от воли русской императрицы Екатерины II. Она выдвинула условием возврата фамильных владений выдачу двух старших сыновей Чарторыйских, Адама и Константина, и дальнейшее их присутствие при русском дворе, фактически в качестве заложников.

Адам Чарторыйский, семью годами старше внука Екатерины II, великого князя Александра Павловича, постепенно стал его близким другом. При этом гордый польский князь остался патриотом своей родины и сторонником ее независимости. В его голове органично сочетались идеи реформ в Российской империи и польского освобождения. Он глубоко продумал план мирного противодействия намерениям Наполеона Бонапарта установить свое господство в Европе. Сильное влияние на Чарторыйского имел прусский канцлер Штейн, в первую очередь его идея создать агрессивным планам Наполеона противовес в виде союза итальянских и германских государств. Адам Адамович соглашался с утверждением Штейна, что «основная идея, способ-

ствующая поднятию духа в нации, заключается в преумножении нравственного, патриотического и религиозного начала в народе, что именно эта идея внушает нации мужество, доверие к себе, готовность ко всякой жертве, чтобы отвоевать свою независимость и восстановить честь».

С приходом к власти сына Екатерины, Павла Петровича, положение Чарторыйских изменилось. В 1798 году Павел принял титул Великого магистра Мальтийского ордена, и оба брата, Адам и Константин, были пожалованы титулами кавалеров ордена. Эта милость польским заложникам была оказана благодаря протекции князя Н. В. Репнина. Обещая родителям братьев Чарторыйских «все устроить на берегах Невы», Репнин поручил их особому покровительству князя А. Б. Куракина, личного друга императора Павла. Но еще ранее, 5 марта 1795 года, при жизни Екатерины, был снят секвестр с имений Чарторыйских в Польше, а с 12 августа 1799-го Адама зачислили в российскую Коллегию иностранных дел в чине тайного советника и отправили в качестве императорского посланника в Сардинское королевство.

Наследник русского престола Александр Павлович с ранних лет испытывал искреннее расположение к Адаму. В первые же недели своего воцарения он вернул польского князя из Сардинского королевства, где тот все еще оставался русским послом. Наряду с другими «молодыми друзьями» (Н. Н. Новосильцевым, П. А. Строгановым, В. П. Кочубеем) Адам Чарторыйский вошел в «Негласный Комитет», ставший важнейшим совещательным органом при царе.

По образному выражению Герцена, «Александр явился на царский помост с Лагарпом в голове, окруженный седым догнивающим развратом екатерининской эпохи». Влияние главного воспитателя императора Александра несомненно. В этом отношении характерно письмо, написанное Лагарпу еще наследником-цесаревичем Александром от 27 сентября 1797 года: «Наконец-то я мог свободно насладиться возможностью побеседовать с Вами, мой дорогой друг... Письмо это передаст Вам Новосильцев; он едет с исключительной целью повидать Вас и спросить Ваших советов и узаконений в деле чрезвычайной важности — об обеспечении блага России при введении свободной конституции... Я поделился этой мыслью с людьми просвещенными, со своей стороны много думавшими об этом. Всего-навсего нас четверо, а именно: Новосильцев, граф Строганов, молодой Чарторыйский, мой адъютант, выдающийся молодой человек, и я».

С 1802 года внешнеполитические задачи России решало Министерство иностранных дел, куда канцлером был назначен один из влиятельных сановников — Александр Романович Воронцов, человек независимых суждений и сторонник сенатской конституции. С угасанием «Негласного Комитета» Адама Адамовича перевели на пост помощника министра иностранных дел, а затем, по рекомендации графа Воронцова, — на пост министра иностранных дел Российской империи. Здесь и развернулась реализация планов Чарторыйского на мирную инициативу в эпоху Наполеоновских войн. По мнению выдающегося историка А. А. Кизеветтера, создавшего школу русской либеральной историографии, «время участия России в коалиции против Наполеона составило пору наибольшей близости Чарторыйского к русскому престолу». Сотрудничество их с Воронцовым вполне естественно. Канцлер придерживался английской ориентации и был давним другом и сторонником преобразования российской государственной системы. К концу жизни, уже старый и немощный человек, он увидел в Чарторыйском достойного преемника. Но и Адам Адамович относился к старому графу с большой симпатией. «Канцлер Воронцов, — вспоминал он позже, — обладал высокими свойствами характера, которые располагали к себе даже наиболее враждебно настроенных участников партий. Канцлер говорил всегда спокойно, мягко, с достоинством, не раздражаясь возникшими трудностями».

В молодом окружении Александра I польский князь был наиболее подготовлен к высокой дипломатической миссии. Первое воспитание он получил в Варшавском кадетском корпусе. Среди его учителей был депутат Французского Учредительного собрания Дюпон де Немур, который специально для братьев Чарторыйских написал краткий курс политической экономии на основании учения физиократа Франсуа Кенэ. В Германии Адам познакомился с философами и просветителями — Гете и Гердером. Во время учебы в Англии и Шотландии его наставником был флорентиец Симеон Плантонелли. На рубеже XVIII–XIX столетий Чарторыйский вполне усвоил новейшие политические веяния, принял непосредственное участие в борьбе за Польскую конституцию 1791 года. Проведенный русским императором на первые роли в государстве, он вполне отдавал себе отчет в том, с каким врагом во внешнеполитической сфере ему придется иметь дело. «Наполеон, — написано в его мемуарах, — был наиболее велик во время своего консульства... Менее великим представляется он мне за то время, когда облекся он в императорское достоинство, накрылся короной и занялся придворными церемониями, титулами, старинным этикетом. Все, что походит на тщеславие, умаляет истинное величие».

Император Александр видел в Адаме Чарторыйском первого помощника в борьбе с Наполеоном. Пытался он на него опереться и во внутренней политике, поручив составление проекта манифеста, приуроченного к коронации в сентябре 1801 года. Как вспоминал позже сам Чарторыйский, Александр Павлович остался «доволен обо всем, что касалось проведения в жизнь практических идей, о преобразовании Сената, суда, раскрепощения масс, о реформах, удовлетворяющих социальной справедливости, о либеральных учреждениях». Но не решился на те радикальные меры, которые содержались в предложенном проекте, и более об этом никогда не заговаривал.

Однако в отношениях с внешним миром Александр I обойтись без Чарторыйского не мог. Россия все ближе подходила к опасной черте прямого столкновения с наполеоновской Францией. Если в 1795 году Наполеон еще оставался республиканцем, врагом монархии и роялистов по убеждению, то с 1799-го он установил режим личной власти, сосредоточив в своих руках всю ее полноту, а в 1804-м провозгласил себя императором. Адам Адамович тяжело переживал перемены в Европе: «Империя, возникшая на обломках революции, служила доказательством абсурдности так называемых освободительных режимов, которые после сильных и опасных потрясений приводят государство в конце концов к исходному пункту — к восстановлению того порядка вещей, от которого хотели освободиться».

Чарторыйский, как, пожалуй, никто другой из политических деятелей Европы, осознавал цель, преследуемую Наполеоном. «Выступая на мировой арене, — писал он, — Наполеон отбросил все, что могло заставить поверить в его высокую и благородную миссию. Это был Геркулес, не думавший более о гуманности и стремящийся употребить силу на порабощение мира. Все его желания сводились к восстановлению всюду неограниченной власти со всеми ее злоупотреблениями. Он превратился в обыкновенного узурпатора, и было вполне справедливо бороться с ним его же средствами. Наполеона поддерживали те, у кого страх пересиливал все соображения».

Российский министр иностранных дел Адам Чарторыйский поставил перед собой непростую задачу — противостоять Наполеону-Геркулесу. Он внимательно изучил приемы опытного Воронцова, особо отметив, как именно тот понимал сущность русской нации, ее ментальность. «Всякое проявление могущества, — считал Воронцов, — будь оно даже несправедливым, нравится русским... Первенствовать, повелевать, подавлять — потребность их национальной гордости». «Слабым странам, — толковал его слова Чарторыйский, — надо внушать страх перед русским могуществом. Так Россия поступала по отношению к Шведскому королевству. ...Тогдашняя политика Австрии,

в особенности после Люневильского мира 1801 года, заключенного в результате разгрома австрийских войск Наполеоном Бонапартом, велась в жалобно-сентиментальном тоне и позволила России внести в свой тон менторские и властные нотки. Отношения с Пруссией держались на близости двух монархов».

Вся континентальная Европа страшилась Наполеона. Россия, хотя и была настроена миролюбиво, взяла тон, демонстрирующий, что она исходит из равенства сил и считает себя независимой. Чарторыйский связывал осуществление своей внешнеполитической программы с определенной ролью Англии, которая должна была занять ключевые позиции в осуществлении намеченной им программы. Но позиция Англии сдерживалась Амьенским договором, заключенным 27 марта 1802 года между Великобританией и Францией и завершавшим распад второй антинаполеоновской коалиции. Однако мир с Францией оказался недолговечен. В следующем, 1803 году война возобновилась. В этих условиях уже непрекращающейся вражды между Англией и наполеоновской Францией русская дипломатия сочла целесообразным возобновить контакты с Великобританией на новом уровне.

Александр I, сделав Воронцова-старшего канцлером, продолжал настороженно относиться к обоим братьям Воронцовым. Он не доверял и младшему брату — Семену Романовичу, многолетнему послу Российской империи в Лондоне. По мнению и царя, и Чарторыйского, «безграничный поклонник Англии» граф С. Р. Воронцов был не способен объективно оценить опасность, исходившую от Наполеона, и найти опору в новом раскладе политических сил. Александр предпочел отправить в Европу человека из своего окружения, члена «Негласного Комитета», которому мог безгранично доверять. Выбор пал на Н. Н. Новосильцева, получившего теперь неограниченные полномочия. Ему предписывалось руководствоваться инструкцией Министерства иностранных дел, составленной Адамом Чарторыйским. Этот документ и явился тем стержневым планом, который лег в основу внешнеполитической миротворческой инициативы Чарторыйского.

Первостепенная задача миссии Новосильцева в Лондоне состояла в том, чтобы договориться с премьер-министром Уильямом Питтом-младшим, лидером «новых то-ри» и одним из инициаторов антинаполеоновской коалиции, о системе сопротивления агрессии Наполеона. В инструкции Чарторыйского, содержащей план создания общеевропейской безопасности, отводилось место и плану переустройства Европы без Наполеона. Ее автор предлагал «дружественной Англии» глубокие и серьезные преобразования в международных отношениях, особо подчеркивая миротворческую инициативу России и главного миротворца — императора Александра I. Польский князь хорошо изучил характер самолюбивого русского монарха и льстил его тщеславию, отводя решающую роль на международной арене именно ему. Надо признать, что Чарторыйский в переплетении дипломатических интересов пытался найти точку опоры и для решения судьбы Польши, ее восстановления как самостоятельного государства. Это не мешало ему, однако, блюсти национальные интересы России.

Позднее, уже порвав с Россией, Адам Адамович вспоминал: «Я хотел, чтобы Александр сделался в некотором роде верховным судьей и посредником для всех цивилизованных народов мира, чтобы он был защитником слабых и угнетенных, стержнем справедливости среди народов, чтобы, наконец, его царствование послужило началом новой эры в европейской политике, основанной на общем благе и соблюдении прав каждого». По существу, эти слова обнаруживают приверженность их автора просветительским ценностям, приверженность, которая опиралась на юношеские впечатления, вынесенные из первых лет знакомства с цесаревичем Александром Павловичем. «Моя политическая программа, — писал позже Чарторыйский, — была горячо поддержана императором. План мой касался далекого будущего, оставляя открытое поле воображению и всякого рода комбинациям».

Свой внешнеполитический замысел, продуманный до тонкостей в течение нескольких лет пребывания на дипломатической службе, Чарторыйский изложил в сочинении «Опыт дипломатии». Объединяющей идеей для всех стран Европы он считал пробуждение национальных и патриотических чувств народов, попавших под владычество Наполеона. «Я говорил о постепенном освобождении народов, несправедливо лишенных их политической самостоятельности; я не боялся говорить о греках и славянах, ибо подобная мысль не шла вразрез с взглядами и желаниями русских; однако те же принципы должны быть применены и к Польше... Моя политическая программа вела к постепенному восстановлению королевства. Я избегал произносить имя Польши, идея ее восстановления вытекала сама собой из моей программы и того направления, которое я хотел русской политике».

Идея освобождения угнетенных народов служила доминантой в плане Чарторыйского. Еще будучи посланником в Сардинии, он чутко уловил потребность разобщенных итальянских земель в объединении и создании в будущем национального независимого государства, свободного от иноземного владычества. Он считал необходимым «предохранение государств Италии от завоевательных действий Франции и от порабощения их Австрией», а восстановление независимости, территориальной целостности рассматривал как объективную перспективу. Занимаясь внешней политикой в правительстве Александра I, Чарторыйский выступил с инициативой создания союза итальянских государств, и не ошибся. Именно вокруг Пьемонта (Сардинского королевства) и острова Сардиния позже, в 1870 году, завершился подъем Рисорджименто и произошло объединение Италии. Дж. Берти, автор известной книги «Россия и итальянские государства в период Рисорджименто», решающим считает период второй коалиции — именно то время, когда Адам Чарторыйский был русским посланником в Сардинии. «Рано или поздно, — писал Берти, — эта внешняя политика России, главной защитницы Италии на международной арене, должна была найти поддержку у представителей итальянских правящих классов».

Сам автор миротворческого проекта отводил в нем объединенным итальянским государствам немалую роль. Он призывал оставить в стороне свои частные разногласия и, проникшись лишь общими интересами, образовать итальянским королевствам «своего рода конфедерацию». Первым шагом на этом пути мог бы стать союз Пьемонта и Неаполитанского королевства, к которому позже присоединятся остальные итальянские государства. Замыслы Чарторыйского шли и дальше. Он надеялся, что к союзу итальянских государств присоединятся Испания и Португалия.

Другое направление этого внешнеполитического плана — более традиционное сближение России с германскими государствами. При этом ставка делалась не на Пруссию, что бывало раньше, а на такие германские государства, как Бавария, Вюртемберг и другие мелкие герцогства и графства — в качестве противовеса влиянию Пруссии и Австрии.

Чарторыйский стал одним из первых российских политиков, кто выдвинул идею панславизма и последовательно ее отстаивал. План единения и взаимопомощи всех славян и греков, как единоверцев и братьев по крови, вошел органической частью в его миротворческую доктрину. Предлагавшееся объединение всех славян, в том числе и поляков, давало надежду на предотвращение попыток Наполеона захватить Польшу и на получение прочных гарантий ее независимости.

Три названных компонента плана (конфедерация итальянских государств, федерация германских и союзы славянских и греческого народов) дополнялись весьма существенным политическим заключением (впервые эти идеи были включены в «инструкцию» Н. Н. Новосильцева от 11–23 сентября 1804 года). Предложение Чарторыйского сводилось к созданию «Плана европейской лиги». Предполагалось, что после

победы над Наполеоном «умиротворенная Европа» станет жить по новому международному кодексу. «Новые правила», обязательные для всех держав, будут содержать требование не начинать войны, соблюдать мир и следовать миротворческой идее до тех пор, пока не использовано требование третейского посредничества. Те страны, которые признают этот кодекс, могут образовать «Европейскую лигу», в которой Россия и Англия выступили бы гарантами нового международного устройства.

Однако замыслы Чарторыйского не сбылись, ибо они натолкнулись на твердое сопротивление Англии, которая вовсе не собиралась уступать ни в одном из затронутых вопросов. В германских делах англичане собирались опереться именно на Пруссию и Австрию, чтобы предотвратить возрастающее влияние России в германском мире. Противопоставить России сильную Пруссию стало задачей английской дипломатии в начале века. Та же тенденция прослеживалась в отношении намерения создать самостоятельные государства славян и греков на Балканах и Восточном Средиземноморье. Этот регион также начал входить в сферу влияния английской дипломатии. Все осложнения стали очевидны для Чарторыйского в ходе миссии Новосильцева в Лондон. Он с горечью писал А. Р. Воронцову: «Политика Питта уже в 1790 году была проникнута величайшей недоброжелательностью ко всяким новым приобретениям России».

Вскоре и сама миссия оказалась под угрозой срыва. «Я боюсь, что нас хотят провести», — писал Чарторыйский Новосильцеву, который жаловался на несговорчивость англичан. Однако настаивал на продолжении переговоров в Лондоне, и, несмотря на глубокие противоречия и столкновения интересов Англии и России в Центральной Европе и на Балканах, в апреле 1805 года между Лондоном и Петербургом был заключен договор, положивший начало новой антинаполеоновской коалиции.

Внешнеполитический план, проникнутый идеей защиты национальных интересов России, далеко не у всех в окружении Александра I встречал одобрение. «Благодарность ко мне императора, надо признаться, действительно могла подать повод к подозрению, злословию и наговорам, — вспоминал впоследствии Чарторыйский. — Поляк, пользующийся полным доверием императора и посвященный во все дела, представлял явление оскорбительное для закоренелых понятий и чувств русского общества». Князя заподозрили в тайном сочувствии Франции, в желании вовлечь молодого императора в переговоры с Бонапартом и, «так сказать, держать его под очарованием гения Наполеона». Петербургские светские салоны стремились очернить его, возложив на него ответственность за неудачи в европейской политике. Между тем Адам Адамович прекрасно понимал, что Наполеон представлял большую опасность для всех европейских держав, как могущественных, так и второстепенных: «Русские всегда подозревали меня в желании склонить русскую политику к тесной связи с Наполеоном, но я был далек от этой мысли, ибо для меня было очевидным, что всякое соглашение между этими двумя государствами было гибельным для интересов Польши».

Чарторыйский продолжал настаивать на своем плане по преодолению намерений Наполеона завоевать Центральную Европу и распространить агрессию на Польшу и Россию (тому есть свидетельства, рассеянные по разным архивам). Он бережно сохранял дипломатические связи с Сардинией. Налаживая контакты с другими итальянскими государствами, вел с ними активную переписку (уже на посту министра иностранных дел России). Им подготовлен ряд правительственных документов («Проект декларации России и Неаполитанского королевства — 1804 год», «О высадке в Неаполе русского войскового десанта в противовес интересам Бонапарта в 1805 году»), собрана и тщательно сохранена вся корреспонденция по итальянскому вопросу («Записка неустановленного неаполитанца о планах французов в Неаполитанском королевстве 1804 года», «Письмо Александра I королю Сардинии Викто-

ру Эммануилу от 2 января 1805 года с предложением заключить соглашение, преследующее общие антинаполеоновские цели»). Обращает на себя внимание «Инструкция» Александра I, составленная Адамом Чарторыйским 18 февраля 1805 года; ситуация в Италии определяется им как крайне опасная: «Властолюбие французского правительства требует упрочения королевства Неаполитанского». Документ призывает монарха «Королевства обеих Сицилий» к активным действиям; внимание в нем обращено на грозящее присоединение Савойи и Пьемонта к Франции, которая в результате этих захватов получает «недозволенное владычество над всей Италией»: «Король Неаполитанский один довольно долго избегал сего ига, хотя и не в силах противостоять давлению французских войск в его областях. Бонапарт не довольствуется настоящим могуществом Франции, ищет распространить оное на счет владений Оттоманской империи и выйти к Средиземному морю». Заканчивается инструкция сообщением о переводе отряда войск из Корфу в Средиземное море для защиты Неаполя.

Политические события, развернувшиеся в Европе в 1805–1806 годах, не позволили осуществиться замыслам политика. В правящих кругах России все настойчивее звучали голоса, требующие его отставки с поста министра иностранных дел и отзыва Семена Воронцова из Лондона. В сложившихся условиях Чарторыйскому уже нечего было терять, и он подал императору «Записку» (датированную 9 декабря 1806 года) с предложением предоставить Польше автономию и провозгласить ее королевством, мотивируя это опасностью захвата его родины Наполеоном; наследственным королем предлагалось провозгласить русского императора Александра I. Себе автор «Записки» отводил скромную роль «советника». Ответ был резко отрицательным.

Вместо изоляции Пруссии, которую предлагал Адам Адамович, русский император заключил союз с прусским королем Фридрихом Великим. Но окончательно порвать со своим давним другом не решился: накануне возможной войны с Наполеоном России было необходимо заручиться сочувствием Польши. Он посетил Пулавы — родовое имение Чарторыйских, но вслед за этим навестил и Фридриха. Их переговоры определили рамки сотрудничества России и Пруссии. На предстоящее свидание с Наполеоном в Тильзите Александр пригласил в числе других сановников и Чарторыйского, но его советы потонули в хоре голосов других сановников.

После подписания Тильзитского мира 7 июля 1807 года и образования Герцогства Варшавского Чарторыйский покинул пост министра иностранных дел. Он назвал это соглашение гибельным; осудили его и другие «молодые друзья» Александра: В. П. Кочубей просил об отставке, Строганов и Новосильцев стали распространять в Петербурге антительзитские памфлеты, им вторил и Чарторыйский. Это событие стало ошибкой не только для русского императора. По мнению историка Наполеоновских войн Ф. Меринга, просчитался и Наполеон, думавший, что договор с Россией поможет ему одолеть главного врага — Англию: «Тильзитский мир, казалось, возводил французского императора на вершину могущества, но на самом деле был величайшим грехопадением в его жизни».

Отстранение министра иностранных дел с его поста не означало полного разочарования Александра I в своем многолетнем соратнике. С 1802 по 1822 год Чарторыйский являлся попечителем Виленского учебного округа, где находился знаменитый университет, один из старейших в Европе. Компетентность польского князя в вопросах просвещения не раз была отмечена царем. С 1802 года он числился товарищем министра народного просвещения, занимаясь преимущественно университетской политикой. Он составил Устав для Виленского университета, а позже стал одним из авторов Устава 1804 года для всех университетов Российской империи, который впервые предоставлял этим учебным заведениям автономию.

Виленский университет стал одним из источников вольномыслия в России и Польше. В нем, по приглашению Чарторыйского, сотрудничал граф Стройновский, в свое время получивший золотую медаль от Вольного экономического общества за проект освобождения крестьян и перевода их на найм в помещичьих усадьбах. Здесь преподавал поэт Адам Мицкевич: его поэма «Дзяды», содержащая активный призыв к защите национальных интересов Польши, имела широкое распространение. К тому же времени относятся действия вольнолюбивых обществ филوماتов и филоретов, которые близко сотрудничали с тайными организациями русских дворянских революционеров. В Вильно имелись связи и с Польским патриотическим обществом.

Адам Чарторыйский напрямую связывал успехи просвещения с политической сферой деятельности государства. Его отец, Адам Казимир Чарторыйский, в свое время (1773–1794) инициировал создание Эбукационной комиссии по просвещению польского народа: по существу, это первая попытка создания в Европе министерства просвещения. Программа просвещения входила составной частью в миротворческий проект Чарторыйского, который мыслил будущее Европы как демократический союз национальных государств, основанных на широком развитии просвещения.

С 1811 года намечается новое сближение Чарторыйского с Александром I. В самый канун войны Наполеона с Россией неминуемо встал вопрос о Польше. Адам Адамович сам ищет способы обратить на это обстоятельство внимание русского императора. В письме к Марии Федоровне М. М. Алопеус, один из ведущих русских дипломатов, передает просьбу Чарторыйского, связанную с его новым дипломатическим замыслом относительно Польши. Императрица выступает посредницей в передаче письма от 6 января 1811 года Александру I. Его автор советует присоединить к Польше русские пограничные области, «чтобы границей была Двина, Березина и Днепр». Между Чарторыйским и императором возникает переписка, в которой выясняются новые детали воссоздания Речи Посполитой.

Чарторыйский предполагал, что возрождение его родины возможно под скипетром великого князя Михаила Павловича. Но Александр, на словах соглашаясь с этим замыслом, настаивал на сохранении Литвы, Подолии и Волыни в составе собственно России, продолжая рассматривать эти области как исконно русские. В переговорах с Наполеоном русский император всегда выступал против «воссоединения Польши».

Сближение позиций Чарторыйского и Александра I произошло на Венском конгрессе, открывшемся в сентябре 1814 года и завершавшем борьбу коалиции европейских держав с Наполеоном. Император взял с собою ряд советников, в том числе и Адама Чарторыйского как знатока польских проблем: судьбу Польши предстояло решать теперь в Вене.

Распределив вознаграждения между странами-победительницами, Венский конгресс занялся созданием блока монархических государств. В какой-то степени он напоминал план Чарторыйского о союзе германских и итальянских государств начала XIX века. Однако это объединение осуществлялось в новой политической обстановке. Провозглашенная Конгрессом доктрина «легитимизма» сочетала теперь принцип неизблемости наследственных монархий с решительным противодействием революционным и национально-освободительным движениям, несмотря на то что многие из них как раз боролись за возвращение законных наследственных правительств и освобождение от иноземного ига. С другой стороны, Александр I, как и другие монархи Европы, постарался выработать более гибкие методы привлечения на свою сторону либеральной буржуазии посленаполеоновской Европы. Последовательно были введены конституции: Сенатская конституция во Франции (1814), Конституция в Баварии (1816), Конституция в Вюртемберге (1819).

В Вене союзные державы долго спорили не только по территориальным вопросам, но и о будущем статусе Польского государства: сохранить ли национальный суверенитет Польши или обеспечить ее вхождение в состав Российской империи на положении провинции? При несомненном влиянии и участии Адама Чарторыйского в качестве советника при русской миссии на Венском конгрессе в мирный договор было введено положение о предоставлении Польше Конституции и образовании самостоятельного Царства Польского в составе Российской империи. Однако наместником Царства Польского назначили не Адама Чарторыйского, на что тот надеялся до последней минуты, а великого князя Константина Павловича. Чарторыйский получил только должность члена Административного совета и сенатора. Уже не в первый раз Александр I показал себя ловким политиком.

В мае 1815 года вышел Указ русского императора о преобразовании Временного Верховного совета Польши во Временное правительство Польши во главе с вице-президентом Адамом Чарторыйским. Казалось, император помнит юношескую дружбу, а тщеславные надежды польского князя сбываются. Действительно, на первых порах он воспринял этот жест как подарок за многолетнюю службу в русском правительстве и как частичное воплощение своего миротворческого плана на европейской международной арене. Однако вскоре пришло разочарование. Параллельно с правительственными учреждениями Польши был создан Военный комитет во главе с Константином Павловичем, в распоряжении которого осталось польское войско. Два конкурирующих учреждения были обречены на острый конфликт. 27 ноября 1815 года царь подписал Конституцию Царства Польского. Проект ее готовила комиссия под председательством Адама Чарторыйского, куда входили аристократы Шанявский и Соболевский. Это обстоятельство в большой степени определяло шляхетский характер Конституции, которую редактировал лично Александр. Большая часть голосов отдавалась землевладельцам, городским плательщикам налогов. Крестьяне, номинально лично свободные по закону Герцогства Варшавского 1807 года, вовсе не допускались до выборов. В результате польский сейм лишился законодательной инициативы, а вся полнота власти принадлежала российскому императору. Он мог переносить сроки созыва сейма, распоряжаться бюджетом, за ним оставалась высшая судебная власть. Сейм имел, скорее, законосовещательную компетенцию.

Тем не менее надо отдать должное Польской конституции 1815 года, которая стоит в одном ряду с наиболее прогрессивными современными ей правовыми документами по закреплению буржуазных правовых норм. Вот статья, формулирующая идею народного представительства: «Польский народ будет иметь на вечные времена народное представительство. Оно заключается в Сейме, состоящем из царя и из двух палат (Сенат и Посольская изба)». Провозглашение идеи народного представительства в Европе, среди государств, сохраняющих еще абсолютистские режимы (Россия, Пруссия и др.), само по себе крупное политическое новшество. Но оно вступало в глубокое противоречие с сохранившейся в Европе идеей феодальной государственности.

Важнейшее достижение Польской конституции — принцип разделения властей. Законодательная власть сосредотачивалась в сейме (совместно с монархом). Исполнительная воплощалась в Административном совете, куда входили наместник, пять министров (вероисповедания и народного просвещения, юстиции, внутренних дел и полиции, военного и финансов), чины высшей администрации и лица, назначаемые царем. Исполнительная власть ограничивалась вмешательством наместника, который по Конституции 1815 года возглавлял все управление Царством Польским. Сам он был подотчетен статс-секретарю, назначаемому непосредственно императором.

Специальный раздел Конституции отведен организации судебной власти. «Судебная власть, — гласила статья 138, — конституционно независима». Высшим орга-

ном являлся Высший суд, учрежденный в Варшаве. В его состав входили сенаторы и судьи, назначаемые царем пожизненно; в его компетенции находились гражданские и уголовные дела всего Царства Польского. Система судопроизводства на местах допускала довольно широкое привлечение разных слоев населения. В каждом воеводстве действовал и коммерческий суд, решавший торговые дела: Конституция учитывала подъем торгового и промышленного капитала. Выборность судей низшей инстанции свидетельствовала о постепенном движении Конституции в сторону демократизма. Кроме судов высшей инстанции предусматривались суды второй инстанции — апелляционные палаты. Оставались и мировые суды. Особо важные дела о политических государственных преступлениях передавались в специальный Сеймовый суд, состоящий из всех членов Сената.

Польская конституция 1815 года предусматривала некоторые буржуазные права и свободы: гласность деятельности Государственного совета, возможность публиковать отчет о его работе, признание польского языка государственным. Отдельная статья определяла: государственные должности в Царстве Польском могут занимать только лица польской национальности. Предусматривалась и статья о свободе передвижения и перемещения имущества, что отвечало экономическому развитию страны; особо подчеркивался принцип «неприкосновенности частной собственности».

Предложения Адама Чарторыйского при разработке Конституции Польши были учтены, но большей частью его рекомендаций разработчики пренебрегли. Современник событий Бажековский так описывал отношение шляхты к этому документу: «Легко было предвидеть, что Конституция недолго будет соблюдаться и уважаться. Да и как можно было предполагать, что абсолютный монарх, неограниченный властелин пятидесяти миллионов подданных, будет стеснять свою власть. Он прикрыл этот клочок земли конституционной хартией потому, что так предписал поступить политический расчет, но он, естественно, должен был считать свою волю выше всего, тем более что превосходство сил обеспечивало ему победу».

Адам Адамович скоро понял, что остался не у дел. Неудовлетворенность своим положением, ущемление прав поляков, лишение Польши национальной независимости глубоко задевали его. Конституция, исходившая от страны-победительницы, не могла удовлетворить польское общество. Для Чарторыйского свободная, независимая Польша продолжала оставаться заветной мечтой. Некоторое время он еще продержался на русской службе, в 1825 году, как сенатор, вынужден был участвовать в суде над членами польских тайных обществ.

Но уже в 1830-м Адам Чарторыйский принял самое горячее участие в восстании в Польше, возглавил польский Сенат в качестве его президента и стал знаменем Национального правительства. После разгрома Польского восстания 1830–1831 годов он эмигрировал в Англию, а затем переселился в Париж, где и прожил до конца жизни. ОТЕЛЬ «Ламбер» — центр польской аристократической эмиграции, основанный Адамом Чарторыйским, — возглавил после его смерти в 1861 году его сын Владислав.

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ СПЕРАНСКИЙ: «Поменять шаткое своеволие на свободу верную...»

Ирина Худушина

Михаил Сперанский родился 1 января 1772 года в селе Черкутино Владимирской губернии в семье потомственных священнослужителей. В семь лет его отдали во Владимирскую семинарию, где по обычаю, существовавшему в духовном сословии, ему дали фамилию Сперанский (от латинского глагола «sperare» — *надеяться*). Когда в Петербурге была основана Главная семинария при Александро-Невском монастыре, куда направлялись «*надежнейшие в благонравиц, поведении и учении*» семинаристы, Михаил Сперанский был переведен туда на казенное содержание.

С годами молодого семинариста все больше интересовали философия, право и политическая мысль Запада. Сперанский прочитал в подлинниках сочинения Вольтера, Дидро, Локка, Лейбница, Кондильяка, Канта и многих других популярных в ту пору авторов.

В то время Сперанский готовился к духовному поприщу. Вскоре его первые проповеди были замечены в Петербурге. Услышав некоторые из них, митрополит Санкт-Петербургский Гавриил был поражен их глубиной и логикой изложения. По его распоряжению Сперанского оставили в Главной семинарии преподавателем математики, физики и красноречия, а вскоре назначили преподавателем философии и префектом семинарии. Должность эта предполагала принятие монашества: митрополит понимал, что такие люди, как Сперанский, нужны церкви. Но Сперанский отказался: он мечтал уехать за границу, чтобы продолжить образование. Кто бы мог предположить, что пройдет всего два года — и Сперанский получит потомственное дворянство, а переменчивая Фортуна уже выбрала его своим любимцем.

Богатому екатерининскому вельможе, князю Алексею Борисовичу Куракину, понадобился домашний секретарь для ведения переписки. Выбор пал на Сперанского. На новом месте тот близко сошелся с прибывшим из Пруссии гувернером Брюкнером, отчаянным поклонником Вольтера. Они бесконечно беседовали о Западе и России. Комната гувернера стала тем местом, где идеи будущего реформатора впервые прозвучали вслух.

Взошедший вскоре на престол Павел I пожаловал Куракина, друга своей юности, в сенаторы, а потом и в генерал-прокуроры. На этом поприще Сперанский был ему необходим. Сановник легко договорился с митрополитом, и Сперанский навсегда оставил Петербургскую семинарию.

В декабре 1799 года двадцатисемилетний Сперанский уже был статским советником, а еще через полтора года — действительным статским советником. Биографы изумлялись, читая его формулярный список: всего за четыре с половиной года бедный попович из домашнего секретаря влиятельного вельможи достиг чина, соответствующего генеральскому званию.

К тому времени не только бедная юность была позади, но ушло навсегда и счастье: Сперанский овдовел. Юную англичанку, дочь пастора, поразившую его своей

красотой, он встретил в 1798 году. Очень скоро двадцатилетний Михаил Сперанский и шестнадцатилетняя Елизавета обвенчались. Счастье их длилось всего одиннадцать месяцев. В сентябре 1799 года у Сперанского родилась дочь Елизавета, а у его жены после родов началась быстротечная чахотка. Вернувшись однажды со службы домой, Сперанский застал жену мертвой. Не помня себя от горя, он ушел из дома — только спустя много дней его нашли на одном из невских островов. Дочь вернула его к жизни; работа помогла забыть. Он так и не женился второй раз.

Приход к власти Александра I ознаменовал начало новой эпохи. Закончился XVIII век. Слово «свобода» носилось в воздухе. Тогда, на рассвете александровского царствования, быстрые преобразования казались возможны. Советниками молодого царя были все сплошь «европейцы» — по образованию и убеждениям — граф Павел Александрович Строганов, его двоюродный брат Николай Николаевич Новосильцев, граф Виктор Павлович Кочубей, князь Адам Чарторижский. «Молодые друзья» царя образовали «Негласный Комитет», где обсуждались планы реформирования России. Усилиями «Негласного Комитета» (люди екатерининского века, в частности Г. Р. Державин, называли его не иначе как «якобинской шайкой») были сделаны первые шаги в сторону реформ, например, было предоставлено право покупки земли всем свободным гражданам.

Молодые реформаторы, однако, понимали, что главное зло — самодержавие. Сам Александр писал своему учителю Лагарпу, что намерен «сделать невозможным деспотизм в России» и провозгласить «важнейшей задачей своего правления установление прославленных прав граждан».

К началу нового царствования имя бывшего семинариста Сперанского уже было известно в чиновничьем мире. Министр внутренних дел, умный, тонкий и образованный, граф В. П. Кочубей привлек Сперанского к работе в своем ведомстве.

Сперанского ценили за профессионализм и работоспособность. «Молодые друзья» императора могли бесконечно обсуждать государственные проблемы, но придать бумаге вид документа умел только Сперанский. Он, будучи свободным от сословных предрассудков, глядел намного дальше «молодых друзей».

В 1802–1804 годах Сперанский написал целый ряд политических записок, часть которых была написана по заказу Кочубея, часть — по собственной инициативе. С первых же шагов он проявил себя как сторонник идеи первенства закона над властью самодержца. Сперанский был убежден, что государственный строй, существующий в России, должен измениться: деспотия призвана уступить место «истинной», конституционной монархии. Главным двигателем реформ, по его мнению, должен стать просвещенный государь. Но в отличие от «молодых реформаторов» Сперанский искал силу, способную гарантировать выполнение закона самим государем. Эту силу он находил в «народе» и общественном мнении: «Не правительство рождает силы народные, но народ составляет силы его. Правительство всемогуще, когда народ быть таковым ему попускает».

Критикуя систему правления, Сперанский действовал, конечно, в интересах самой власти. Положение, когда три ветви власти соединены в руках самодержца, неэффективно, ибо не обеспечивает правопорядка и даже, как показал опыт, не гарантирует от переворота в верхах. Компетенции Госсовета, Сената, министерств спутаны; общество не уважает законы. Поэтому Сперанский отстаивал мысль о «коренных законах», которым должны подчиниться все — как монарх, так и общество.

В первый период своей деятельности Сперанский считал, что начинать надо с политической реформы, которая станет гарантом всех дальнейших преобразований в гражданском праве. Такой политический идеализм подкреплялся верой в то, что утверждение «истинной монархии» будет способствовать становлению политической

зрелости третьего сословия, а политическая свобода пробудит в гражданах чувство собственного достоинства и даст толчок к развитию общественной деятельности. В этом-то и заключалась уникальность эпохи Александра I: при отсутствии какого бы то ни было движения снизу, в условиях относительной социально-политической стабильности, Россию, казалось, можно было сдвинуть, установить законы, не нарушая при этом прерогатив императора.

Первые политические проекты Сперанского были следствием его размышлений о социальном порядке и человеческой свободе. Вслед за Кантом он полагал свободу изначально данной человеку благодаря его разумной свободной воле. Внутренняя свобода человека — это возможность распоряжаться собой и своими желаниями, то есть выбор между двумя путями развития личности — «восходящим» и «нисходящим». «К восходящему пути совершенствования принадлежат все явления человеческой жизни, все деяния, посредством коих бытие ограниченное освобождается от пределов, приближается к бытию совершенному...»

Большое значение придавал Сперанский и понятию «внешней свободы», образуемому социальными институтами. Согласно Сперанскому, человек, вступивший в общество и свободно выбравший «восходящий» путь, тем самым усиливает и умножает свою свободу. Он «обращает свой мертвый капитал в доходный, меняет шаткое своеволие на свободу верную. И сколь бы ни была ограничена и свобода, если только она не подавляется рабством, она лучше и вернее естественного состояния». Поэтому Сперанский строго различает положительную «свободу народа», построенную на подчинении праву, и отрицательную «свободу черни», стремящейся увильнуть от исполнения гражданских обязанностей. Сознательное самоограничение естественной свободы, воспитанное длительным процессом гражданственности, согласно Сперанскому, — высшая степень свободы. Ее может и должен достичь каждый разумный и законопослушный гражданин, в том числе и монарх.

Между тем ситуация в России и Европе значительно изменилась. Поражение при Аустерлице, подписание невыгодного для России Тильзитского мира, демонстративная дружба со вчерашним врагом — «чудовищем Буонапарте», присоединение к континентальной блокаде Англии и ухудшение в этой связи экономического положения вызвали глубокий кризис российской власти. Шведский посланник при русском дворе Курт фон Стединк докладывал осенью 1807 года королю Густаву IV: «Недовольство императором все более и более растет, повсюду говорят такое, что страшно слушать... Раздаются публичные речи о необходимости перемены правления... Говорят, что вся мужская линия царствующего дома должна быть отстранена от власти, а так как императрица-мать и императрица Елизавета не обладают соответствующими данными, то на трон хотят возвести великую княгиню Екатерину...» Чтобы укрепить свое положение, Александр I сделал ставку на Сперанского, популярного в придворных кругах и, что было важно для царя, никогда не скрывавшего своих профранцузских симпатий.

Император познакомился со своим статс-секретарем еще в 1806 году, когда граф Кочубей во время частых болезней начал посылать для доклада вместо себя Сперанского. Превосходный докладчик, безупречный исполнитель принимаемых решений, умевший на лету ловить и угадывать каждое слово, Сперанский сразу же очаровал императора. Оставив Министерство внутренних дел, он стал работать непосредственно под царским началом. В сентябре 1808 года Сперанский находился на переговорах в Эрфурте в числе лиц, пользовавшихся особым доверием Александра. Тогда и Наполеон оценил таланты секретаря русского императора; согласно воспоминаниям очевидцев, Наполеон, имевший со Сперанским частную беседу, по окончании подвел его к Александру и сказал: «Не угодно ли Вам, государь, променять мне этого человека на какое-нибудь королевство?»

Рассказывали также, будто в Эрфурте на вопрос царя: «Как тебе нравится Германия?» — Сперанский ответил: «Постановления на немецкой земле лучше наших, но люди у нас умнее». А император будто бы сказал: «Это и моя мысль, мы еще поговорим, когда воротимся». Именно с Эрфуртского конгресса начинается для Сперанского время высшего величия: в декабре 1808 года он был назначен товарищем (заместителем) министра юстиции, а вскоре получил чин тайного советника.

Именно Сперанскому, который занял должности директора Комиссии законов и государственного секретаря учрежденного Госсовета, было поручено окончательное редактирование «Плана государственного образования», предусматривавшего политическое реформирование государства. Все подробности «Плана» обсуждались лично с императором.

Законы, которые необходимо в короткие сроки установить в России, по мысли Сперанского, в своей совокупности должны были составить Конституцию. Главные принципы ее он видел в следующем: разделение властей, независимость законодательной и судебной власти, ответственность исполнительной власти перед законодательной. «Правление, доселе самодержавное, учреждается на непрременном законе».

К концу 1809 года основной документ преобразовательных планов царствования Александра I был готов. Главное достижение «Плана» Сперанского — разделение властей и предоставление гражданам избирательного права, ограниченного имущественным цензом. Государственная дума образовывалась путем многоступенчатого избрания: сначала волостная дума, потом окружная и губернская и затем уже государственная. Государственная дума, согласно «Плану» Сперанского, не получала права законодательной инициативы — утверждала закон, принятый Думой, высшая власть. Но всякий закон должен быть предварительно, до своего утверждения, принят Думой, и Дума вправе контролировать действия администрации по соблюдению основных законов. «Весь разум сего Плана состоял в том, чтобы посредством законов и установлений утвердить власть правительства на началах постоянных и тем самым сообщить верховной власти более нравственности, достоинства и истинной силы» — так определял значение своей конституции сам М. М. Сперанский.

Реформистский «План» Сперанского не нарушал ни одной привилегии дворянства, полностью оставляя за последним право владения людьми и землями. Но такие положения «Плана», как создание представительных учреждений, подчинение монарха закону, участие населения в законодательстве и местном управлении, возможность перехода из одной социальной группы в другую, — все это в перспективе позволяло России двигаться по направлению к правовому конституционному строю.

Профранцузская ориентация Сперанского дала его влиятельным врагам (силу которых реформатор явно недооценил) повод упрекнуть автора в том, что его проект «сшит из лоскутов» французских конституций 1791–1804 годов. «План» был объявлен «совершенно непригодным» для России. Потенциальная угроза самодержавию, которую нес «План» Сперанского, объединила консервативно настроенные элиты и заставила Александра I отступить. Поздним вечером 17 марта 1812 года, после беседы с царем, в полицейской карете опальный фаворит отправился в ссылку в Нижний Новгород.

Через полгода Сперанский был переведен в Пермь — позднее он увидел в этом решении чуть ли не благодеяние императора. Ведь осенью 1812 года Нижний Новгород стал главным пристанищем бежавших от Наполеона дворянских семей, для которых Сперанский оставался французским шпионом и изменником. Но и в Перми Сперанский оказался без денег, книг, под униженным постоянным надзором, в обстановке крайней враждебности.

О тяжелых условиях пребывания в ссылке Сперанский написал императору. Вскоре пермский губернатор получил указание министра полиции следующего содержания:

«Разуметь сосланного государственного секретаря как тайного советника». Приставленные к ссыльному стражи, которые имели право в любой момент входить к нему в кабинет, исчезли, а напуганный городничий со свитой пришли к тайному советнику на поклон. Впрочем, Михаил Михайлович не был злопамятен: он ждал полной амнистии.

30 августа 1816 года Сперанский получил указ о назначении его пензенским гражданским губернатором. Это было прощение, и бывшие недруги поспешили выразить свое почтение бывшему статс-секретарю. Сперанский сразу нашел государственный подход к местному управлению, план реформирования которого он предлагал еще в проектах 1808–1809 годов. Он начал с того, что ввел довольно редкую по тем временам практику: организовал прием граждан по личным вопросам для того, чтобы знать истинное положение вещей. Центру Сперанский предложил ряд мер: усилить власть вице-губернаторов за счет уменьшения нагрузки губернатора, законодательно определить размер повинности, дать крестьянам право судиться с помещиком, запретить продажу крестьян без земли, устранить препятствия для перехода крестьян в вольные хлебопашцы.

22 марта 1819 года Александр I подписал указ о назначении Сперанского генерал-губернатором Сибири. Император давал Сперанскому полтора-два года, чтобы навести порядок в Сибири, вскрыть все злоупотребления и составить предложения по коренному переустройству края. Новые обширные полномочия не могли не льстить самолюбию Сперанского. К тому же из указа было очевидно, что все бывшие подозрения сняты, что возвращение в столицу не за горами и, главное, что император видит его в будущем рядом с собой.

Практическая деятельность Сперанского в Пензе и Сибири не могла не повлиять на его взгляды. Если раньше преобразования он связывал с политическими свободами граждан, то теперь он пришел к выводу, что начинать необходимо с гражданских прав, которые «должны предшествовать преобразованиям политическим». В ряду гражданских преобразований на первое место Сперанский выдвигал реформу губернского управления. Им были разработаны и внесены для утверждения несколько законопроектов, затрагивавших различные стороны управления Сибирью (о компетенции и ответственности генерал-губернатора, о составе и структуре губернских учреждений и так далее). Образованный царем летом 1821 года специальный Комитет для рассмотрения отчета Сперанского одобрил все его предложения.

Наконец 8 февраля 1821 года Сперанский пустился в долгий обратный путь из Тобольска. 22 марта он был в Петербурге. «К обеду в Царском селе. Встреча Елисаветы. Какая встреча! Странствовал девять лет и пять дней», — записал Михаил Михайлович в дневнике. Сколько всего пережито, а Сперанскому всего 49 лет. За период с 1812 по 1821 год, который он провел в ссылке и на «выслужении», прошла целая эпоха, грандиозная по своей значимости для России.

Летом 1821 года Сперанский был назначен членом Государственного совета по департаменту законов; ему были пожалованы 3500 десятин земли в любимейшей ему Пензенской губернии. Дочь его Елизавета была произведена во фрейлины. Но этим царские благодеяния ограничились...

Пришедшему на смену брату императору Николаю I посоветовали поручить написание Манифеста о восшествии на престол именно Сперанскому. Ирония судьбы заключалась в том, что в случае своей победы декабристы также планировали обратиться с подобной просьбой к Сперанскому и даже прочили ему место во Временном правительстве. Зная об этом, Николай I устроил Сперанскому проверку, заставив его участвовать в Верховном уголовном суде над декабристами. Все это чрезвычайно тягостно подействовало на Сперанского. Многих активных участников попытки переворота он хорошо знал, а Гавриила Батенькова, который долго жил в доме Сперанского, любил как сына.

Новый император столкнулся с удручающим состоянием российского правосудия. Его по-военному четкий склад ума требовал однозначных ответов, но законодательство, призванное вносить ясность, находилось в состоянии хаоса. Поэтому передача полномочий главы Комиссии по составлению законов Сперанскому была вызвана не особым доверием, а неотложной необходимостью. В 1830 году под руководством Сперанского было издано 45 томов «Полного собрания законов», содержащих 42 000 статей по истории развития русского законодательства. На основании всего этого под руководством Сперанского была начата работа над новым «Сводом законов», куда вошло только то, что «оставалось неизменным и ныне сохраняет свою силу и действие».

19 января 1833 года на заседании Госсовета было решено, что с 1835 года «Свод законов Российской империи» вступает в силу в полном объеме. Николай I торжественно снял с себя Андреевскую звезду и надел ее на Сперанского.

В начале 1840-х годов Сперанский написал свое итоговое сочинение «Руководство к познанию законов». Это был выстраданный сплав убеждений, памятник эволюции взглядов умеренного либерала-конституционалиста под давлением времени и обстоятельств. Впрочем, провозглашенные Сперанским еще в 1803 году идеи прав личности и частной собственности остались и в тексте 1838 года — только теперь они виделись как неотъемлемые элементы созданного Богом нравственного порядка. Порядок же этот мог быть гарантирован единственно в абсолютной монархии, где самодержец подчиняется суду Божьему и суду своей совести. И только этим и ограничен...

В конце 1838 года простуда спровоцировала тяжелую болезнь. 1 января 1839 года, в день, когда Сперанскому исполнилось 67 лет, ему был пожалован графский титул. В те дни он уже не вставал и держался одним усилием воли.

Михаил Михайлович Сперанский скончался 11 февраля 1839 года и был похоронен в Александро-Невской лавре, в стенах которой он полвека назад начинал свое поприще бедным семинаристом. При погребении присутствовал император, двор в полном составе и дипломатический корпус. «Другого Сперанского мне уже не найти», — повторял Николай I.

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ТУРГЕНЕВ: *«Я — космополит и русский в одно время...»*

Евгения Рудницкая

Пушкинисты склонны видеть в А. И. Тургеневе один из прообразов Владимира Ленского, привезшего из «Германии туманной» «учености плоды». По-видимому, для этого есть достаточно оснований. Но прежде чем погрузиться в глубины германской учености, его прообраз прошел школу русской духовной культуры.

Александр Иванович Тургенев (1784–1845) происходил из старинного дворянского рода. Его отец — Иван Петрович Тургенев, богатый помещик Симбирской губернии, до 1779 года находился на военной службе. Биография Ивана Петровича как деятеля русской культуры начинается после выхода в отставку, когда, поселившись в Москве, он сближается с прибывшим туда в том же году Н. И. Новиковым. Тургенев — одна из центральных фигур образовавшегося масонско-просветительского кружка, душой которого был Новиков. Высланный в 1792 году после ареста Новикова и разгрома его кружка в свое симбирское имение, Тургенев был возвращен Павлом I. Его окружение, в которое входили и другие масоны, и дистанцировавшиеся от масонских литературно-эстетических установок Н. М. Карамзин и И. И. Дмитриев, становится центром московской интеллектуальной жизни. Роль в ней И. П. Тургенева еще более возрастает с назначением его директором Московского университета (1800–1803). Его сыновья — Андрей, Александр, Николай и Сергей, росшие в духовной атмосфере масонства, с детства впитывали так называемую «науку самопознания», готовность к «принятию мудрости и ко вступлению на путь добродетели и общественного служения». Вместе с тем им было близко то направление русской мысли, выразителем которого стал Карамзин. Возвратившись из путешествия по Европе, он противопоставляет прозападническим настроениям русских масонов обращение к национальным ценностям и традициям. Синтез двух начал — европейского гуманистического и русского самобытного — во многом сформировал мировоззрение молодых Тургеневых.

Первоначальное образование братья Тургеневы получили под руководством женева Георга Кристофа Тоблера, родственника швейцарского проповедника Лафатера. Не без его влияния они увлекаются немецкой литературой, прежде всего Гёте, которого Тоблер знал лично и с которым переписывался И. П. Тургенев.

В 1797 году Александр Тургенев поступает в Московский университетский благородный пансион, который оканчивает в 1800 году. Именно тогда его старший брат Андрей, одаренный литератор, создает «Дружеское литературное общество»; оно объединит участников литературных кружков, ранее возникших среди воспитанников пансиона и университета. «Дружеское литературное общество» было по своему замыслу прежде всего просветительским объединением. Ознакомление русской читающей публики с германской литературой, ее лучшими образцами воодушевляло всех собравшихся вокруг Андрея Тургенева. В этом объединении дворянской молодежи, с его ярко выраженными просветительскими установками, не было идейного

единства. Если для Андрея Тургенева, Андрея Кайсарова, Алексея Мерзлякова общим (по выражению Ю. М. Лотмана) было «стремление рассматривать литературу как средство пропаганды гражданственных, патриотических идей, а сама цель объединения мыслилась не только как литературная, но и общественно-воспитательная», то для Александра Тургенева, его друзей Василия Жуковского и Михаила Кайсарова была характерна устремленность к высокой морали и философии. Это настроение Александра Тургенева отразилось в произнесенной им на собрании Общества речи «О том, что люди по большей части сами виновники своих несчастий и неудовольствий, встречающихся в их жизни». «Источник зла, разлитого во вселенной, — утверждает молодой Тургенев, — ты сам, в тебе источник зла, испорченная воля твоя, твое воображение...»

Геттинген, куда летом 1802 года направился Александр Тургенев вместе с группой других московских студентов, был выбран не случайно. Этот протестантский университет был самым притягательным для русской молодежи в силу высокого научного авторитета. Именно это определило выбор Ивана Петровича Тургенева. Поклонник немецкой учености, он имел давнишние связи с Геттингеном. Среди местных профессоров были ученые, нечуждые новым идеям и теориям, как, например, поклонник Адама Смита профессор политической экономии Георг Сарториус, профессора Арнольд Геерен, Иоганн Эйхгорн, Август Шлецер — люди не только знаменитые своей образованностью, но и обладавшие высоким авторитетом в европейской политике. «Лютер в политике тогдашней», как позже скажет о Шлещере А. И. Тургенев.

Именно в первый — осенний — семестр (1802) Шлецер начал читать «Историю северных государств, наиболее Российской империи». Это был первый университетский курс русской истории. В том же 1802 году вышел первый том его четырехтомного издания начальной летописи — «Нестор».

Тургенева покорила увлеченность Шлещера Россией. «Профессор Шлецер мне отменно полюбился, — писал он родителям, — за свой образ преподавания и за то, что он любит Россию и говорит о ней с такой похвалой и таким жаром, как бы самый ревностный сын моего отечества». Столь же сочувственен был его отклик на трактовку ученым политических уроков истории. Делясь впечатлениями от только что прослушанного курса Шлещера, Тургенев писал: «Основываясь на практической мудрости, он сказал, что хотя страждущие от тиранства подданные имеют право на революцию и право ссадить своего тирана, но что действие сие сопряжено всегда с такой опасностью, что лучше оставить и терпеть до тех пор, пока Провидение само захочет освободить народ от железного скипетра... Сколь далеко простирается история, везде почти показывает она, что, хотя мятежи кой-когда и удавались, всегда почти приносили они с собой больше пагубы и бедствий для народа, нежели, сколько бы претерпел он, сносая тиранских действий». Мудрость такой оценки исторической целесообразности революций была очевидна для Тургенева как в ранней юности, так и в зрелые годы. Именно здесь, в Геттингене, в политическом сознании Тургенева укоренилась идея верховенства закона в человеческом сообществе.

В те же годы, осмысливая впечатления, вынесенные из путешествия по немецким и славянским землям, где он был свидетелем острого конфессионального и национального противостояния, Тургенев становится убежденным космополитом, сторонником «всеобщего человеческого братства». «Для чего не стараться нам, насколько можно, получить *всеобщее чувство* и право называться гражданами одного мира, одной церкви? И зачем все сии расколы в христианстве? Неужели человек, любящий свое отечество, свою родину, совершенно потерял всеобщее чувство братства? Неужели физические границы так сильно отделяют его от собрата его как за горами Апеннинскими, так и за ледовитым морем?» — писал он.

Идеям Тургенева о роли разума в деле прогресса оказался близок протестантизм. В августе 1804 года он писал родителям из Будапешта: «Что касается протестантов и католиков, то мудрено ли, что первые умнее и трудолюбивее последних. Их свободный образ мыслей, очищенный от предрассудков, сблизил протестантов более с просвещением, и они смеют пользоваться открытиями других, между тем как католиков намеренно держат в их прежнем невежестве и успехи всеобщего образования у них гораздо медленнее». Тот культ разума, существовавший в масонском кругу отца, оказался глубоко созвучен восприятию Александром Тургеневым протестантизма, этические нормы которого в начале века воспринимались русским образованным обществом в неразрывной взаимосвязи с экономическим и политическим прогрессом.

Итак, если ранний, московский период жизни А. И. Тургенева был отмечен в основном увлечением литературой, то в Геттингене под влиянием лекций университетских профессоров определяется поворот Тургенева к осмыслению проблем русской истории, ее соотношения с историей Европы. Именно в эти годы, в Геттингене, под влиянием лекций Шлецера, берет начало устойчивый интерес Тургенева к русской культурно-исторической традиции и к источникам русской истории, поискам, сбору и публикации которых он впоследствии посвятил большую часть своей жизни. Уже в геттингенский период Тургенев стал тем, кем он был до конца своей жизни. «Космополит и русский в одно время», — говорил он о себе.

За время обучения в Геттингене Тургенев неоднократно выступает с докладами, публикует статьи в «Вестнике Европы» и «Северном вестнике». Его научные успехи получили самую высокую оценку геттингенских профессоров. Август Шлецер не мыслил своего русского студента вне науки: он снабдил его перед возвращением в Россию рекомендацией в Императорскую академию наук на должность адъюнкта по историческому классу. Александр Тургенев надеялся совместить занятия наукой и государственную службу. «Что касается до будущего моего определения, — писал он отцу из Геттингена, — я всегда надеялся, что служба не совсем лишит меня времени заниматься и что знание наших законов поможет мне и в самой истории». Как видно, уже тогда было определено, что служба эта будет в сфере законодательной.

Служебная карьера Александра Тургенева началась под счастливой звездой — он оказался востребованным временем. Молодой интеллект, он — знаток современной европейской гуманитарной науки и сторонник новых политических идей — стремился приложить свои знания и убеждения на практике. Именно такие люди нужны были власти, ближайшим сподвижникам Александра I, охваченного идеей реформирования политических устоев России. К их числу принадлежал и Н. Н. Новосильцев, член «Негласного Комитета», товарищ министра юстиции, а фактически глава этого ведомства. Под его началом в 1806 году началась государственная карьера Тургенева — сперва в канцелярии своего шефа, в скромном чине коллежского асессора. Но уже скоро он был зачислен помощником референдаря первой экспедиции с особенным назначением — писать историю русского права и преподавать в школе правоведение при Комиссии составления законов. Начинаящий чиновник был приближен к Александру I, исправляя при нем письменные дела во время поездки в Тильзит на встречу с Наполеоном. Когда в 1808 году Комиссию составления законов возглавил М. М. Сперанский, Тургенев сохранил свои функции сотрудника, занимающегося историческими разысканиями. При его участии в министерстве были составлены такие материалы, как «Евреи в России» и «Историческое и статистическое описание Финляндии». А когда Сперанский стал во главе Великой масонской ложи, филиальные ложи которой должны были быть по всей империи (этот замысел включал формирование идеологии масонских лож и перевоспитание российского общества, создание гражданственности и формирование кадров для государственной системы), в нее наряду с С. С. Уваровым, П. Д. Лодием, М. А. Балугьянским вошел и Тургенев.

Деятельность Сперанского по укоренению масонства отвечала настроениям и пожеланиям императора. Однако ввиду общего ужесточения правительственного курса, как следствия внешнеполитических неудач, император изменил отношение к намерениям Сперанского. Угроза гонений, нависшая над членами ложи, стала причиной перехода Тургенева от Сперанского к князю А. Н. Голицыну, обер-прокурору Синода, возглавившему созданное в 1810 году Главное управление духовных дел иностранных исповеданий со статусом министерства. Директором его, поначалу единственного, департамента становится А. И. Тургенев.

Убеждения Тургенева были во многом созвучны тогдашнему политическому курсу Александра I, официальной идеологией которого была господствующая в Европе социальная концепция «евангельского государства». Эту идеологию питали новые реалии российской государственности, требовавшей интегрирования вновь присоединенного населения западных территорий (Финляндия, польские земли) в состав империи, при стремлении Александра I сохранить либерально-просветительскую позицию первых лет своего правления. Идея «евангельского государства» была ориентирована на достижение новой гражданственности без революций и насилия, путем нравственно-религиозного просвещения и христианской веротерпимости, исходящей из приоритета общехристианских ценностей перед конфессиональными, а общенациональными — перед национальными.

Проводником нового политического курса стал созданный указом Александра I от 6 декабря 1812 года Петербургский комитет Библейского общества, затем ставшего Российским. Во главе его был поставлен А. Н. Голицын; секретарем, неизменно остававшимся на этом посту вплоть до фактической ликвидации Общества в 1825 году, — А. И. Тургенев.

Именно просветительская миссия Библейских обществ, укореняющих нравственные ценности ненасильственными методами, отвечала представлениям Тургенева (видевшего в них «протестантизм в действии») о средствах социального совершенствования. Широчайший размах их издательской и переводческой деятельности, образования народных училищ служил не только задачам межконфессиональной интеграции, но и объединению культурных сил общества. В этой сфере роль Тургенева — интеллектуала высокого класса, энтузиаста, человека неумной энергии и самоотдачи, с его неисчислимыми связями в правительственной и литературной среде — была, конечно, первостепенной.

Между тем Александр I продолжал свой экуменический курс, закрепив его указом 1817 года о соединении всех протестантских церквей России в единую Евангелическую церковь. В том же году было создано соединенное Министерство духовных дел и народного просвещения, духовный департамент которого возглавил А. И. Тургенев.

Тургенев не только играл огромную роль в осуществлении государственной религиозной политики, но и на протяжении почти всего александровского царствования занимал достаточно крупные административные посты в сфере государственно-законодательной. Уже в 1812 году он помощник статс-секретаря Государственного совета по департаменту законов, затем — исправляющий должность статс-секретаря этого департамента; к 1822 году — старший член Комиссии составления законов. То есть один из тех, кто осуществлял проводившуюся в это время работу по кодификации русского законодательства; он придавал ей принципиальное значение, как исходному условию превращения России в правовое государство западного типа.

Для понимания Тургенева как деятеля правительственного либерализма существенно его отношение к Александру I. Наиболее эмоционально оно выразилось при известии о смерти императора. В его словах соединились боль от потери безразличного ему человека («Сердце не переставало верить в него, любить его, не переставало на-

дяться...») и обращенное к России горестное признание: «Он у себя отнял славу быть твоим благодетелем, народ в рабстве...» Собственно, то же, но уже жестко и укоризненно, писал он в более позднем письме к брату Николаю: «Храбрый и добрейший из царей — всего и всех боялся и все хитрил там, где мог действовать... с простотою величия и с убеждением, что намерение его согласно с пользою России, с любовью к человечеству, с религиею Христа-Искупителя. На что было умничать? Наказан неверием в чистоту его намерений со стороны и добрых и злых и неуспехом во многом, что лежало на душе его и прежде, и во время его царствования». Царь не оправдал надежд Тургенева.

В 1815 году в Петербурге было основано ставшее знаменитым «Арзамасское братство безвестных людей», куда наряду с В. А. Жуковским, Д. Н. Блудовым, С. С. Уваровым, Д. В. Дашковым вошел и Александр Тургенев. Активным членом кружка был и П. А. Вяземский, который видел в петербургском объединении прямое продолжение своего московского «Дружеского литературного общества», членами которого были Жуковский с Тургеньевым.

Резвящийся «Арзамас», с его шуткой и отрицанием авторитарности, предметом осмеяния сделал шишковское «Общество любителей русской словесности», олицетворявшее консервативное начало в литературной жизни 1810-х годов. Ему противопоставлялась просветительская «французская» идеология, а в плане литературно-эстетическом — сочинения Н. М. Карамзина.

Письма Александра Тургенева тех лет фиксируют сильное влияние Карамзина (и «Истории государства Российского») на его мировоззрение, в частности на понимание устоев России в ее настоящем и будущем. «История его послужит нам краеугольным камнем для православия, народного воспитания, монархического управления и, Бог даст, русской возможности конституции...»

Только что вернувшийся из-за границы младший брат Александра Тургенева, Николай, описывая в дневнике под 12 ноября 1816 года свою беседу в «Арзамасе» с Карамзиным, Блудовым и другими о положении в России, резюмирует: «Они... желают цели, но не желают средств. Все отлагают на время». Это относилось и к Александру Тургеньеву. Разность его позиции и позиции более радикального Николая стала очевидной сразу: «Он (Н. И. Тургеньев. — *Е. Р.*), — писал Александр Иванович брату Сергею, — возвратился сюда в цветущем состоянии здоровья и с либеральными идеями, которые желал бы немедленно употребить в пользу Отечества. Но над бедным Отечеством столько уже было операций всякого рода, особливо в последнее время, что новому оператору надобно быть еще осторожнее, ибо одно уже прикосновение к больному месту весьма чувствительно. К тому же надобно не только знать, где и что болит, но и иметь верное средство к облегчению или совершенному излечению болезни. Тщетные покушения только что могут растравить рану...» Перед нами первое развернутое политическое кредо Тургенева. Его смысл скорректирован в подготовленной Вяземским программе журнала, который планировалось выпускать при «Арзамасе».

Сама идея журнала, заявленная А. И. Тургеньевым на заседании «Арзамаса», возникла в результате изменения в расстановке сил в этом объединении. В 1817 году в «Арзамас» вступили участники тайных обществ — Н. И. Тургеньев, М. Ф. Орлов, Н. М. Муравьев, стремившиеся придать ему политический характер. Программа Вяземского исходила из идеи прогресса как неудержимого движения народов к просвещению и убеждения о первенствующей роли верховной власти в обеспечении и осуществлении этого движения. Успех его, по Вяземскому, обусловлен опорой на общественные силы, однако акцент делался на реформаторских действиях правительства.

Такое понимание «средств» было далеко от «оперативного» вмешательства, отвергаемого Александром Тургеньевым. Вместе с тем и кредо Тургенева, и программа Вяземского фиксируют становление общественного либерализма. Идущее от Радище-

ва сочетание принципов свободы и гражданского равенства, одним из главных практических требований которых была отмена крепостного права, становится приоритетным в русском либерализме. Не сиюминутное преобразование политической системы («Бог даст, доживем до русской возможной конституции»), а освобождение от «позорного рабства» — вот неотложная задача, которая стоит перед русским обществом. В этом сошлись и умеренный «арзамасец» Александр Тургенев, и его радикально настроенный брат Николай, для которого, по его словам, дело освобождения крестьян было «всегда важнейшим».

Между тем сам Вяземский благодаря энергичной поддержке А. И. Тургенева получает назначение в канцелярию комиссара императора в Польше Н. Н. Новосильцева. Он надеялся найти здесь применение своим силам, участвуя в реализации реформаторских замыслов Александра I, который намеревался распространить на Россию конституционные учреждения, дарованные Польше. Как и Вяземский, Тургенев надеялся на введение конституции и одновременно сомневался в такой возможности. Впрочем, в первую очередь обоих волновал крестьянский вопрос. Братья Тургеневы стали главными участниками реализации плана Вяземского о создании «Общества для подготовки отмены крепостного права». В мае 1820 года была подготовлена и подана императору «Записка» с просьбой разрешить создать под руководством управляющего Министерством внутренних дел «общество с целью освобождения крестьян». Сообщая об этом брату Сергею, Александр Иванович писал: «Мы предлагаем частное постепенное освобождение, которое бы не только подготовило всеобщее, но и повлекло к оному необходимою силою вещей... Попытки и покушения наши не совсем останутся тщетными...». Александр I, сначала благосклонно принявший предложение, в итоге уступил противодействию высшей бюрократии, и проект был отклонен.

Но братья Тургеневы не оставляли усилий по решению крестьянского вопроса. В декабре того же 1820 года на заседании Государственного совета обсуждался подготовленный Николаем и Александром Тургеневыми (и подписанный последним, как членом Совета Комиссии составления законов) проект ограничения крепостного права — запрещение продажи крестьян без земли. Проект был отклонен Государственным советом. Несмотря на это, пользу постановки крестьянского вопроса на высшем государственном уровне Тургенев видел в общественном резонансе. В личном плане — «умолять соотчичей отречься от рабства; имя наше спасется в летописях либерализма».

В рассуждениях А. Тургенева о современной ему России очевидна приверженность «конституционному порядку», «зелень» которого «везде пробивается»: «Она выживает гниль самовластия и в самой закоснелой почве». Он уподобляет конституционализм по его значимости для человечества появлению христианства и уповает, чтобы в России «хотя бы дети наши дожили до этих дней».

Как и декабристы, Тургенев сочувствует восставшему греческому народу и начавшейся революции в Пьемонте. Однако в России, считал он, «только положительным образом можно действовать, и это положительное отрицательно. Мешать злу — есть у нас одно средство делать добро». Трагическая несоизмеримость «зла» и «добра» не оправдывает, убежден Тургенев, бездействия. Его личный императив — «действовать, то есть говорить и писать, что думаю и чувствую...». И это не фраза, а жизненный принцип, которому он следовал неукоснительно, поражая современников неизбывностью своих усилий оказать поддержку каждому нуждающемуся в ней — от рекрута, крепостного интеллигента, до светил русской литературы. «Он был виртуозом и неутомимым тружеником в круге добра», — писал об Александре Тургеневе Вяземский.

Реакция, определившая политический курс последних лет царствования Александра I, переломила жизнь Тургенева. Отход от идеи «евангелического государства» положил конец фактическому существованию Библейского общества; закончило свои

дни и «соединенное министерство». Реванш, который брало реакционное духовенство, донос митрополита Серафима императору на Тургенева поставили точку в его служебной карьере. Летом 1824 года он был отстранен от должности в министерстве и отправлен в отставку. Не случайно она последовала вслед за отставкой Николая Ивановича, связанной с докладом Бенкендорфа императору о тайных политических обществах. В звании камергера и ранге действительного статского советника Александр Иванович вслед за Николаем и вместе с братом Сергеем уезжает за границу. Там их настигли известия о смерти Александра I, событиях 14 декабря, казни пятерых и приговорах другим декабристам.

Для осужденного по первому разряду на вечную каторгу Николая путь на родину стал навсегда закрыт. Сергей, разделявший его радикальные взгляды, был психически сломлен расправой над декабристами и вскоре умер. Александр же ставит своей целью пересмотр приговора брату. Он чередует жизнь за границей с поездками в Россию, перейдя по существу на положение полуэмигранта, политически неблагонадежного для власти человека.

События декабря дали Тургеневу богатую пищу для размышлений. В 1827 году, находясь в Париже и делясь с братом Николаем дошедшими до него слухами о сосланных декабристах, он заметил: «Я вижу благость и в самом бедствии. Мы должны были многое постигнуть, чего без сего опыта и без сего удаления из России, конечно, с такою силою, с таким убеждением, не постигнули». «Сей опыт» извлекался и из новейшей истории Европы, прежде всего Франции, показавшей цену революции. Тургенев писал в дневнике о себе и брате, что они ищут «наставлений для себя, или обогащение идей, или указание общепользных открытий»: «Везде ищем пользы; везде ищем извлекать ее для Отечества, которое для нас выше и дороже всего...»

Этим поиском, собственно, и наполнены последние двадцать лет жизни Тургенева, проведенные в основном за пределами России. Постоянно возвращаясь во Францию, он исколесил Европу. Бывал множество раз в Германии, Англии, Италии, Австрии, Швейцарии, Голландии, Дании, Швеции. Везде заводил знакомства со светилами науки, литературы, искусства, государственными мужами и политиками, посещал заседания парламентов и дворцы европейских властителей, доки и фабрики, пристанища для бедных и тюрьмы, училища для народа и университеты, музеи и театры. Работал в архивах и библиотеках, извлекая документы по истории России.

В 1836 году, в один из приездов в Россию, он напишет Вяземскому: «Как мое Европейское обрадовалось, увидев в Симбирске пароход, плывущий из Нижнего к Саратову и Астрахани. Хотя на нем сидели татары и киргизы! Отчизна Вальтера Скотта благоденствует родине Карамзина и Державина. Татарщина не может долго устоять против этого угольного дыма Шотландского; он проест ей глаза, и они прояснятся». Только на пути общеевропейской цивилизации, интегрируясь с ней духовно и материально, Россия обретет, уверен Тургенев, достойное будущее. Ближайшие задачи: ликвидировать позорное крепостное право, что откроет простор свободному труду и частной инициативе, безотлагательное создание правовой основы жизни государства путем кодификации законодательных норм и актов при учете «просвещенного опыта других народов».

...Александр Иванович Тургенев умер 3 декабря 1845 года, простудившись на Воробьевых горах. Его отпевали при большом стечении народа. Панихиду служил митрополит Московский и Коломенский Филарет. Тургенев похоронен в Новодевичьем монастыре.

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ТУРГЕНЕВ:
«Нельзя произнести слово человек,
чтобы не иметь вместе с сим понятия
о свободе»

ВАДИМ ПАРСАМОВ

Николай Иванович Тургенев (1789–1871) происходил из дворянской семьи, принадлежащей к тонкому слою интеллектуальной элиты России конца XVIII века. Его отец, известный масон и филантроп Иван Петрович Тургенев, занимался литературной деятельностью и одно время был директором Московского университета. Все его четыре сына оставили след в истории русской культуры. Старший, Андрей, рано умерший гениальный поэт, предвосхитил многие направления в развитии русской литературы. Следующий, Александр, был видным общественным и литературным деятелем. Младший, Сергей, дипломат и политик, по своим взглядам ближе всего стоял к Николаю.

Первоначальное воспитание Николай Тургенев получил дома, затем окончил пансион при Московском университете, а завершил образование в Геттингенском университете сразу по трем специальностям: истории, праву и политэкономии. Юношеские дневники дают представление о культурных и психологических факторах, сформировавших его личность и мировоззрение. Разносторонние интересы зрелого Тургенева, впитавшего все достижения европейской культуры, первоначально базировались на французской просветительской литературе XVIII века, с ее благородными идеями добра и справедливости, высокими представлениями о человеческом достоинстве и разуме. Но происходящее в политической жизни Франции и Европы на рубеже XVIII–XIX веков опровергало многое из того, о чем говорилось в книгах. Чтение Вольтера и Руссо сменялось у молодого человека кошмарными видениями: «Мне кажется все, что Бонапарте придет в Россию, — записал он в дневнике 9 декабря 1806 года. — Я воображаю санкюлотов, скачущих и бегающих по длинным улицам Московским; а что мне кажется и что я воображаю, того никогда не случается. Следовательно, и этого не будет». Однако несколько месяцев спустя, 14 июля 1807 года, Тургенев, чувствуя себя оскорбленным только что заключенным Тильзитским миром, сделал приписку: «Это пророчество сбылось, ибо теперь с ними мир».

Кошмары были вызваны, конечно, в первую очередь военными успехами Наполеона, а не чтением произведений просветителей. Но определенная связь тем не менее просматривалась. 3 апреля 1807 года Тургенев записывает в дневнике общее мнение, возможно им впервые услышанное: «*Вольтер и Руссо были причинами Французской Революции.* — И, подумав, добавляет: — Это быть очень может. Я заметил из сочинений Вольтера, что он по крайней мере способствовал к сему». Руссо с его стремлением к целостному и органическому восприятию мира, к растворению личности в природе и социуме, с одной стороны, и Вольтер с его едким скепсисом, разрушающим как веру, так и безверье и заменяющим и то и другое «леденящим душу деизмом» (Чаадаев), — с другой, ставили Тургенева перед глобальными вопросами бытия, на которые он не находил ответа.

Чтение политической литературы помогало накапливать культурный опыт и вместе с тем обостряло восприятие событий в революционной и наполеоновской Франции. Последнее обстоятельство несло разочарование в самом опыте и порождало желание избавиться от него. «Мне кажется, — записано в дневнике от 5 апреля 1807 года, — что люди до тех пор не могут быть счастливы (я разумею вообще, а не в особенности, т.е. род человеческий), пока они не придут в натуральное существование, т.е. пока все их поступки, дела важные и мелкие, одним словом, все не будет согласоваться с Природою». Влияние Руссо здесь чувствуется скорее на уровне терминологии, суть же продиктована собственными внутренними ощущениями. Но в силу невозможности бегства от культуры как таковой вина была возложена на культуру французскую, т.е. на то, что находилось ближе всего и полнее всего отождествлялось с культурой в целом.

Так Тургенев объявил войну галломании и в поисках союзника обратился к произведениям А. С. Шишкова. Националистические и галлофобские идеи Шишкова привлекли его в первую очередь своей непохожестью на идеи, бытовавшие в той среде, в которой он был воспитан. Этот поверхностный и непродолжительный «шишковизм» явился своего рода юношеским бунтом против культурного мира отцов: «Напрасно пристрастные, умные и обезьяны-дураки нападают на Шишкова: мнение его о Славянском языке и о Французском совершенно справедливо и не может быть отвержено благоразумной критике». Однако записываться в «дружину славян» (Кюхельбекер) и вставать под знамена Шишкова и К° Тургенев все-таки не решился. В конечном итоге изначальное воспитание в европейских традициях взяло верх, и Шишков был признан «идеалом откровенной глупости и откровенной подлости».

Три года, проведенные в стенах Геттингенского университета, необычайно много дали Тургеневу и в плане практического знания европейской жизни, и в плане научного развития. До конца жизни он сохранил пиетет перед своими немецкими профессорами, в первую очередь перед историком Геереном и экономистом Сарториусом, чье влияние долго будет сказываться в историко-политических и экономических работах их ученика.

Вернувшись на родину в феврале 1812 года, Тургенев был поражен ее отсталостью от Европы. В дневнике запечатлено это состояние растерянности и душевной подавленности. Он не знает, за что взяться, и находится перед сложной дилеммой: остаться в России или покинуть ее навсегда. Война 1812 года, обострившая в Тургеневе чувство патриотизма, вывела его из состояния душевной подавленности. А в 1813 году, с началом заграничных походов русской армии, он получил назначение на должность русского комиссара при Центральном административном департаменте, образованном правительствами стран антинаполеоновской коалиции для управления освобожденными от французов территориями. Во главе этого департамента стоял прусский государственный деятель и реформатор барон Штейн. Он придерживался аристократических убеждений, но при этом проводимые им в Пруссии реформы носили сугубо демократический характер. В частности, Штейн осуществил реформу местного самоуправления на основе бессловных выборов, ликвидировал личную зависимость крестьян от помещика и стер различие между помещичьим и крестьянским землевладением.

Общение со Штейном открыло Тургеневу глаза на то, что следует сделать в России. Отныне и навсегда мысль о «реформах сверху» становится для него своего рода *idée fixe*. «Все в России должно быть сделано Правительством; ничто самим народом». Он убежден: главная реформа — отмена крепостного права — должна предшествовать введению конституции. Не договор монарха с нацией, а петровский путь преобразования наиболее оптимален для России. Тургенев создает своего рода «миф» о Петре Вели-

ком: либерале, противнике если не самого института крепостного права, то, во всяком случае, его наиболее бесчеловечного проявления — торговли людьми. Эта идея подкреплялась словами царя о запрещении «продавать людей, как скотов, чего во всем свете не водится, и от чего не малый вопль бывает». На этом основании был сделан вывод: «Петр I был либеральнее всех прочих императоров и императриц в сем указе».

Тургенев, европеец по убеждению, не считал Россию европейской страной, по крайней мере изначально: «Россия не Европа. Европейские известия пролетают через Россию и теряются в ней или в степях, ее окружающих», — записывает он 29 августа 1820 года. Но вместе с тем европейские либеральные ценности кажутся ему единственно возможными условиями цивилизованного существования. Россия же не просто неевропейская страна — в ней отсутствуют внутренние потребности в европеизации, и на время здесь полагаться бессмысленно: «Дворяне, за картами и в привычке своей праздности, не будут чувствовать и не чувствуют нужды в просвещении». Поэтому выход один — насильственная европеизация сверху. Правитель, который постиг благотворность европейского пути развития, должен обладать чрезвычайными полномочиями для того, чтобы направить Россию по этому же пути.

Идеалом государственного устройства для Тургенева всегда служила Англия. Поэтому в своих оценках политического состояния России он исходит из английской практики. Различие между Англией и Россией, по его убеждению, заключается в следующем: в Англии просвещение народа и правительства всегда шло синхронно, поэтому монархическое правление для нее столь же пагубно, как конституционная монархия — для крепостнической России, где «правительство просвещеннее народа». Петровская эпоха — ярчайший тому пример. В трактате «Политика» Тургенев, явно имея в виду Петра I, писал: «Чистая монархическая власть, сделавшись достоянием государя мудрого и народолюбивого, может быть весьма благодетельна, направляя народ в успехах гражданственности, искореняя своею силою варварские обыкновения, поддерживаемые эгоизмом, невежеством, предрассудками, созидавая тою же силою новое и прелестное здание общего благополучия народного».

Таким образом, не формальное разделение властей, а наличие механизма, способного с максимальной эффективностью обеспечить управление государством и препятствовать тем злоупотреблениям, которые могут быть проведены в жизнь конституционным путем, является в глазах автора трактата важным признаком благополучия государства. В Англии это обеспечивается ее конституцией. В России это не обеспечивается ничем, кроме личности монарха. Поэтому не формальное подражание английским принципам, а поиск адекватной им формы государственного правления, пригодного для российской действительности, должно, по мнению Тургенева, способствовать движению России по пути прогресса. Однажды он саркастично заметил, что закон «в России играет роль английского короля». Таким образом, Россия оказывается как бы антиподом Англии, и, по обратному принципу, русский царь должен выполнять функции английского закона. Петр, соединяющий в себе силу и разум, как раз и являл собой наиболее адекватное русское соответствие английскому политическому строю.

Наверное, в России (даже в послевоенные годы, когда популярность царя находилась на самом пике) не много нашлось бы людей, столь же лояльных по отношению к Александру I, как Н. И. Тургенев. Он так же боготворил царя, как и отечество: «Имя России не должно быть разделяемо с именем Александра». И тем не менее именно в это время он ведет активную работу по созданию тайного общества. Общество это не должно было быть антиправительственным; напротив, оно призвано было способствовать правительству в проведении реформ. В этом Тургенев опирался на опыт немецкого тайного общества «Тугендбунд» («Союза добродетели»): его целью было возрожде-

ние и объединение Германии, а также содействие правительству в реформаторской деятельности. «Тугендбунд» тайлся не столько от прусского правительства, сколько от французов, оккупировавших во время наполеоновского господства германские княжества. От кого же должно было таиться общество, замышляемое Тургеневым?

Под влиянием демократических идей XVIII века и, в частности, Руссо, Н. И. Тургенев «заметил, что между простыми людьми гораздо более хороших и добрых людей, нежели между людьми, принадлежащими к высшим классам». Эту мысль он пронесет через всю свою жизнь, как и убеждение в том, что «русское дворянство уподобилось племени завоевателей, которое силой навязало себя нации». В этом плане дворяне вполне сопоставимы с французами, оккупировавшими Германию, и являются главными врагами на пути процветания отечества. С ними в первую очередь и должно бороться тайное общество, состоящее из людей, которые не желают мириться с сохранением крепостного права. Потому такая конспиративная деятельность вполне уживалась с лояльностью по отношению к царю.

По возвращении в Россию в 1816 году Николай Иванович был назначен помощником статс-секретаря Департамента экономии Государственного совета. Это ввело его в круг бюрократической элиты страны. И он еще раз мог убедиться, насколько далеки эти люди от «либерального образа мыслей». В их среде Тургенев прослыл якобинцем. В это время он, вместе со своим другом генералом М. Ф. Орловым, пытается создать тайное общество — еще не зная, что такое общество под названием «Союз спасения» уже существует. А в 1818 году, вместе с членами распавшегося к тому времени «Союза спасения», они организуют новое общество — «Союз благоденствия». С этого момента Тургенев становится одним из главных идеологов декабризма и останется им до своего отъезда за границу в 1824 году. Его истинная роль в тайных обществах до сих пор до конца не выяснена: в существующих источниках слишком много противоречий. Однако, исходя из политического мировоззрения и психологического склада этого человека, можно полагать: идея военного переворота в России если и рассматривалась им всерьез, то как крайнее и нежелательное средство. Идейный руководитель общества всегда видел свою главную цель в пропаганде либеральных и освободительных идей.

Однако в отличие от французских либералов, сдержанно относящихся к идее немедленного освобождения русских крепостных, Тургенев выступал сторонником самых решительных действий в этом направлении: «Все эти люди, которые таким образом говорят о свободе, не знают, не понимают свободы; они не чувствуют, что свобода так натуральна, так свойственна человеку (*si naturelle, si humaine*), что нельзя произнести слово человек, чтобы не иметь вместе с сим понятия о свободе. Все равно если бы кто сказал о людях между снегов, в вечной ночи живущих: они еще не созрели для того, чтобы греться на солнышке». Просветители XVIII века, не допускавшие самую мысль о праве одних людей владеть другими, казались ему либеральнее современных французских либералов: «Политические писатели того времени... либеральнее наших». Как и они, Тургенев убежден, что не просвещение является источником свободы, а, наоборот, свобода ведет к подлинному просвещению: «Свобода, устройство гражданское производит и образованность, и просвещение». Отсюда мысль о возможности *немедленного* освобождения крепостных. «Время плохой врач в болезни несчастья народного», — писал Николай Иванович брату Сергею.

Конспиративная деятельность, сколь бы значительной ни пытались ее представить недоброжелатели Тургенева или позднейшие историки, на самом деле ничтожна по сравнению с его общественной и научной работой, преследующей те же освободительные идеи. В 1818 и 1819 годах вышли два издания его книги «Опыт теории налогов». Как установил авторитетнейший знаток Н. И. Тургенева А. Н. Шебунин, она

«представляет собой переработку слушанных им в Геттингене финансовых лекций проф. Сарториуса». Для русского читателя, по большей части далекого от немецкой учености, это обстоятельство значения не имело. Книга произвела общественный резонанс, хотя в ней крайне мало говорилось о России — речь шла о европейском опыте налогообложения. Однако на ее страницах последовательно проведены идеи экономического либерализма. На примере средневекового хозяйства автор доказывает, что крепостное право способствовало упадку земледелия, так как крепостные не заинтересованы в результатах своего труда. Любое принуждение в хозяйственной деятельности снижает ее производительность. При этом налоги должны платить не те, кто непосредственно занимаются производством, а те, кто получают доход. Применительно к России это означало, что не крестьяне, а дворяне должны стать податным сословием. Противопоставляя две экономические системы XVIII века, «меркантилистов» (которые видели основу национального богатства в деньгах) и «физиократов» (которые видели его в земле и получаемом с нее продукте), исследователь отдает полное предпочтение последней. И не только потому, что истинное благосостояние состоит не в деньгах, а в заменяемых ими предметах непосредственного использования. Дело в том, что меркантилизм с его протекционистской политикой по отношению к национальной экономике лишает ее возможности здоровой конкуренции, а следовательно, искусственно сдерживает ее развитие. «Рассматривая систему меркантилистов, — сказано в книге, — невольно привыкаешь ненавидеть всякое насилие, самовольство и в особенности методы делать людей счастливыми вопреки им самим».

Вскоре после выхода второго издания «Опыта теории налогов» Тургенев подал Александру I записку «Нечто о крепостном состоянии в России». В ней не содержалось ничего, что не соответствовало бы взглядам самого царя, и даже известно, что записка произвела на него самое благоприятное впечатление. В теоретической части развивались идеи об экономической неэффективности крепостного хозяйства. Что касается практической стороны вопроса, то декабрист, с учетом адресата, высказывался крайне осмотрительно и не требовал немедленного освобождения. Он лишь обращал внимание на одно обстоятельство: крестьяне в России никогда законодательно не были прикреплены к личности помещика, а лишь к земле, следовательно, все операции по продаже и покупке безземельных крестьян незаконны. Для продвижения крестьянской реформы, помимо запрета продавать людей поодиночке и без земли, Тургенев предлагал: ввести в крепостных деревнях чиновничий надзор за соблюдением интересов крестьян; подтвердить указ Павла I, запрещающий крестьянам работать на помещика более трех дней в неделю; уточнить закон о вольных хлебопашцах (20 февраля 1803 года); ясно прописать условия, на которых помещики могут освобождать своих крепостных. И, наконец, разрешить открыто обсуждать крестьянский вопрос в печати, оставаясь при этом в рамках действующего цензурного устава.

Подав записку и узнав о согласии императора с высказанными предложениями, Тургенев напрасно ждал от него практических шагов. Причины такого бездействия он склонен был объяснять активным противодействием либеральным идеям со стороны высшей бюрократии. Этому и должно было противостоять тайное общество через сеть своих легальных филиалов: литературных обществ, журнальных редакций и т.д. Однако все попытки оказались столь же безрезультатными, как и прямые обращения к царю. Тайное общество в этих условиях эволюционировало в сторону идеи военного переворота. Николаю Ивановичу подобный путь никогда не казался перспективным. Разочаровавшись как в своей общественной деятельности, так и в тайном обществе, он в 1824 году отправился за границу — официально для поправления здоровья. А уже в следующем году восстание на Сенатской площади закрыло для него дорогу обратно. Верховный уголовный суд заочно приговорил Н. И. Тургенева к смертной казни.

До 1830 года он не терял надежды вернуться на родину, оправдаться перед правительством. И с этой целью написал ряд оправдательных записок, где с позиций современной европейской правовой мысли (а также при непосредственном участии видного французского юриста О. Ш. Ренуара) пытался доказать собственную невиновность. Мол, судить нужно поступки, а не намерения; неучастие в вооруженных восстаниях автоматически делает его невиновным... В одной из оправдательных записок говорилось: «Николай Тургенев приговорен к смертной казни за то, что он был лично знаком с некоторыми обвиняемыми, разговаривал с ними о самых обыкновенных вопросах философии или политических вопросах, мечтал (если хотите) о преобразовании Суда и Народного Образования, но находил осуществление их невозможным и торжественно от них отказался».

Оправдаться важно было не только в глазах Николая I, но и в глазах европейской общественности. Здесь примешивался и глубоко личный мотив. В 1829 году Тургенев попросил руки дочери английского помещика Гарриэт Лоуэлл, но получил отказ: отец невесты потребовал от него оправдательного приговора. Поэтому декабрист намеревался в 1830 году приехать в Россию и представить суду доказательства своей невиновности. Однако Николай I дал ему понять: никакого «пересуда» не будет, и скорее всего его ждет Сибирь. Он отказался гарантировать осужденному безопасность при пересечении границы, а лично от себя («как человек, а не как император») велел передать, что не советует ему приезжать в Россию. Таким образом, в одночасье рухнули надежды и на возвращение, и на семейное счастье. Впрочем, не навсегда. В 1833 году Николай Иванович сочетался браком с Кларой Виарис, дочерью ветерана Наполеоновских войн; возможности вернуться на родину пришлось ждать долгих семнадцать лет.

Вынужденный эмигрант тяжело переживал свое положение: «Убедившись, что доступ в Россию закрыт для меня навсегда, я постарался оторваться от нее духовно, подобно тому, как уже был отторгнут физически. Я старался думать о ней как можно меньше, стереть самое воспоминание о ней; быть может, мне удалось, сумею я забыть о несчастных, томившихся в Сибири, и о рабах, населяющих империю». Последнее обстоятельство оказалось решающим. Забыть Россию означало для Тургенева не только вычеркнуть из памяти родину и все, что с ней связано, но и примириться с тем, что он ненавидел больше всего на свете: с рабством и бесправием. Он решил продолжать борьбу и по-прежнему настаивать на собственной невиновности. Но теперь из ответчика он превращается в истца и перед лицом всей Европы предъявляет иск российскому государственному строю.

Однако невозможно только лишь судить родину: «Впрочем, если я с полным правом мог проклинать официальную Россию, эту варварскую власть, осудившую меня на смерть, то разве я обязан был считать олицетворением родины лишь этот узкий круг причастных к власти? Разве должен был я переносить на всю страну законное отвращение, какое внушали мне некоторые люди, считавшие возможным представлять Россию, только потому, что они управляют ею и говорят от ее имени?» И потому к критике режима, как и в былые времена политической активности, Николай Иванович добавляет так называемые *pia desideria* (благие пожелания), т.е. план реформ, направленных на включение России «в поступательное движение европейской цивилизации».

Все это вместе составило три тома главного литературного труда Н. И. Тургенева «Россия и русские», вышедшего в 1847 году на французском языке во Франции, Бельгии и Голландии и на немецком — в Германии. Первый том посвящен декабристскому прошлому автора. Он важен как либеральная версия декабристского движения, происхождение которого напрямую связывается с общим либеральным курсом Александра I. Тургенев не только отказывает декабристам в революционности, но и вообще исключает из их деятельности антиправительственную направленность. инициа-

тором реформ выступило правительство, члены тайного общества поверили ему и пошли за ним. Когда же Александр I отказался от преобразований, декабристы лишь продолжили начатое им дело: «Нация шла вперед, государь же, наоборот, двигался вспять». Поэтому в действиях тех, кто не принял участия в восстаниях, нет состава преступления не только с точки зрения европейского правосознания, но и с точки зрения российских законов.

Почему же члены тайных обществ были осуждены? Ответ на этот вопрос читатель должен был получить из второго тома. Россия страна рабов — эту мысль Тургенев последовательно проводит, анализируя положения всех сословий. Ни одно из них не может считать себя по-настоящему свободным, т.е. защищенным законодательно и судебно от произвола правительства. У высших сословий: дворянства, духовенства и отчасти купечества — свобода заменена привилегиями, существующими по милости царя. Крестьяне же, которые составляют подавляющее большинство населения, мало чем отличаются, несмотря на некоторые различия в их положении (государственные, удельные, арендные, крепостные и т.д.), от настоящих рабов. Венец этой социальной пирамиды — абсолютный монарх, «который нередко оказывается рабом в еще большей степени, чем последний из его подданных». Декабристы пытались разорвать этот порочный круг. Они выступали против рабства во всех его проявлениях, но рабство оказалось сильнее. И в ходе следствия варварство, свойственное рабскому состоянию, восторжествовало над всеми нормами морали и права, принятыми в цивилизованном обществе.

Какой выход видит Тургенев? Поскольку рабами в России являются все — от царя до последнего подданного, нет таких сословий или даже групп людей, чьим интересам не отвечали бы реформы, избавляющие их от рабского положения. Другое дело, что для представителей привилегированных сословий привилегии нередко оказываются важнее свободы и они субъективно настроены против реформ. Но даже среди них немало здравомыслящих людей, которые руководствуются не узкокорыстными соображениями, а интересами страны. Таковы декабристы, на таких людей следует и в дальнейшем опираться при проведении реформ.

Начинать реформы необходимо с отмены крепостного права — это самый чудовищный и самый опасный для государства вид рабства. Тургенев снова и снова настойчиво повторяет свою излюбленную мысль: крепостничество не только морально разлагает общество, но и препятствует экономическому развитию страны. При этом крепостная зависимость — тот вид рабства, в котором наименее всего заинтересовано правительство. В историческом экскурсе «Введение рабства в России» автор еще раз подчеркивает, что самое ужасное право крепостников — продавать и покупать людей без земли оптом и в розницу — никогда законодательно не было оформлено. «Роковой закон» Бориса Годунова (1593), «навсегда прикрепивший крестьян к земле... не установил, однако, то жестокое крепостничество, какое существует в настоящее время. Крестьяне были прикреплены к земле, подобно приписанным к земле (*glebae adscripti*) в феодальной Европе; но помещик не мог по своей воле отнять их от земли, на которой они жили. Все, что отличает человека, приписанного к земле, от раба — нынешнего русского крестьянина, было установлено позднее». При этом цари, начиная с Петра I, обращали внимание на недопустимость продажи людей без земли, но практика всякий раз оказывалась сильнее.

Тургеневу это дает основание считать, что самодержавное правительство не заинтересовано в сохранении рабства. Ряд законоположений, от указа Александра I о вольных хлебопашцах и вплоть до указа Николая I об обязанных крестьянах от 2 апреля 1842 года, лишь подтверждал его уверенность. Поэтому бывший декабрист по-прежнему убежден, что в России только правительство должно проводить реформы.

Этот процесс всегда представлялся ему как развертывание во времени хорошо обдуманного широкого плана преобразований. «Ни одна частная мера не должна вводиться, пока не будет обдуман вопрос о том, какое воздействие она окажет на тех, кто будет ее исполнять. Мало того, что реформа хороша сама по себе, она еще должна оказаться кстати, то есть проводить ее надо в нужное время и в нужном месте; иначе мы не только не извлечем из нее всю возможную пользу и уменьшим ее добрые последствия, но задержим и испортим то, что должно ее увенчать».

Все реформы делятся на гражданские и политические. Первые вполне совместимы с абсолютизмом; более того, при наличии твердой воли у монарха-преобразователя сама неограниченность его власти может ускорить процесс реформирования. Вторые, затрагивающие верховную власть, с абсолютизмом несовместимы. Но и в этом случае монарх, осознавший реальную ограниченность номинально неограниченной власти, захочет сделать ее более эффективной и прочной. А этого можно достичь лишь путем законодательного ограничения самодержавия и введения принципа разделения властей при наделении монарха всей полнотой *исполнительной* власти. Таким образом, реформы в стране должны проводиться в два этапа. На первом отменяется крепостное право и проводится ряд реформ сопутствующего характера: судебная, военная, образовательная, административная, местного самоуправления и другие, более мелкие. На втором этапе вводится принцип разделения властей и представительное правление.

Вопросом номер один для Тургенева всегда был вопрос крестьянский. «Если у людей есть понятие *отечество*, — писал он, — если идея соотечественника связана с мыслью о родной земле, то я без колебаний могу сказать, что всегда видел своих соотечественников в крестьянах и особенно в крепостных». В «России и русских» проанализированы два способа отмены крепостного права. Первый — безусловное или личное освобождение. Крестьянин получает свободу плюс то, «чем он обладал, будучи рабом», т.е. «дом, где он живет, домашнюю утварь, лошадей, коров и пр.». Второй способ — так называемый *квалифицированный*, «и состоит он в том, что вместе со свободой крестьянину даруется в собственность или хотя бы в пользование тот участок земли, который он, будучи рабом, орошал своим потом». Поскольку «освобождение должно не только разбить цепи рабства, но и привить рабам человеческое достоинство», Тургенев заявляет себя сторонником *квалифицированного* варианта. Однако он отдает себе отчет в дополнительных трудностях, которые связаны с наделением крестьян землей. Без проведения ряда сопутствующих реформ такое освобождение будет невозможно, а следовательно, замедлится весь процесс эмансипации. Поэтому следует двигаться постепенно. Сначала крестьяне освобождаются без земли. На практике это сводится «к предоставлению крепостному праву свободного передвижения, к разрешению покидать одного господина и отправляться жить на земли другого или же искать занятие для обеспечения своего существования». И лишь затем, по мере проведения сопутствующих реформ, крестьяне могут наделяться земельными участками и становиться полноценными собственниками. Один из существенных аргументов в пользу безземельного (на первом этапе) освобождения — общинное землепользование. Потому что земля, если передать ее крестьянам немедленно, поступит не в личную, а в общественную собственность, и это не решит проблемы частного крестьянского землевладения, не приведет к свободной конкуренции, в которой Тургенев видел неперемное условие успешного развития не только сельского хозяйства, но и всей экономики страны.

Второй по важности автор «России и русских» считал судебную реформу. И предсказал многие черты будущей реформы 1864 года: введение независимости судей, гласности судопроизводства и института присяжных. Эти преобразования влекут

за собой реформу местной администрации. Крестьянам предоставляется возможность участия в мировых судах и местном самоуправлении. Значение последнего все время растет за счет децентрализации власти. Превращение крестьян в полноправных граждан предполагает предоставление им возможности получать образование, что неизбежно вызовет реформу образовательной системы. То же самое касается и армии. Рекрутские наборы перестают быть исключительной повинностью и приобретают всеобщий характер. При этом в армии, как и всюду, отменяются телесные наказания и срок службы сокращается до восьми лет.

Завершающий этап преобразований — уничтожение абсолютизма. Отмена крепостного права, реформа суда, местного самоуправления и т.д. должны продвинуть Россию по пути к правовому государству и подготовить ее переход к представительному правлению. Поскольку предполагается, что и политические реформы проводит действующее правительство, то Россия превратится в конституционную монархию наподобие Англии. Царь сам дарует стране конституцию, введет принцип разделения властей и установит избирательную систему. Тургенев выступал сторонником прямого, но не всеобщего избирательного права. Наличие образования и собственности для него — необходимые условия для избирателей. Их общее количество он предлагал ограничить миллионом человек; таким образом, в пятидесятиmillionной России лишь каждый пятидесятый получал право голоса.

Здание реформ увенчалось представительным правлением; на этом процесс вхождения России в число цивилизованных государств можно было бы считать завершенным. В дальнейшем она должна развиваться вместе с передовыми европейскими странами на условиях свободной конкуренции на внутреннем и внешнем рынке. Все попытки контролировать промышленность или социальные отношения со стороны государства Тургенев считал недопустимыми и вредными. Либеральный принцип *laissez faire* он противопоставлял как стремлению самодержавного правительства вмешиваться во все сферы государственной жизни, так и популярным в тогдашней Европе социалистическим идеям.

Книга «Россия и русские» не имела успеха ни за рубежом, где она свободно продавалась, ни в России, куда проникала контрабандой. А. И. Герцен объяснял это тем, что ее автор «не знал той России, которая развилась после 1825 года. Образ мыслей г. Тургенева, к несчастью, не позволяет понять положение вещей в России». В этом Герцен прав и не прав. Действительно, 1840-е годы, с их ожесточенными спорами западников и славянофилов, с увлечением интеллигенции немецкой философией, с поисками путей социалистических преобразований и т.д., никак не отразились в этом обширном труде. Однако прошло десять лет со дня его выхода в свет, и Россия, как в дни тургеневской молодости, опять вступила на путь либеральных реформ. Интеллектуальные отвлеченности уступили место практическим устремлениям. Бывший декабрист остро ощутил параллелизм между началами царствований Александра I и Александра II. Только на сей раз его мысли об освобождении крестьян оказались более востребованными, чем в 1810-е годы. В 1858–1859 годах на страницах герценовских изданий «Колокола» и «Голосов из России», а также «Русского заграничного сборника» Тургенев включился в обсуждение конкретных планов крестьянской реформы. По-прежнему полагая, что освобождение крестьян соответствует как их интересам, так и интересам помещиков, он верил, что реформу можно провести с соблюдением интересов обеих сторон. И предлагал для этого выделить крестьянам треть помещичьих угодий из расчета максимум три десятины на тягло. Понимая, что этого недостаточно, Тургенев сознательно идет на занижение крестьянского надела, чтобы стимулировать крестьян арендовать землю у помещиков и тем самым сохранить общее количество прежней запашки. Никакого выкупа ни за землю, ни тем более за

собственную личность крестьяне платить не должны. Государство берет на себя компенсацию помещикам их земельных потерь. Для погашения этого долга предлагалось использовать заложенные дворянские имения.

Н. И. Тургенев дождался своего оправдания. Новый царь вернул ему звание русского дворянина и чин действительного статского советника вместе со знаками отличия. Трижды (в 1857, 1859 и 1864 годах) многолетний изгнанник приезжал в Россию. Высшим моментом в его жизни стала реформа 19 февраля 1861 года — событие не менее важное, чем собственная реабилитация. И пусть далеко не все устраивало Николая Ивановича в этой реформе, сам факт уничтожения рабства стал лучшим оправданием всей его жизни. Не случайно общественное мнение воспринимало этого человека как патриарха в деле крестьянской эмансипации. В 1861 году в православной церкви русского посольства в Париже на торжественном молебне по случаю реформы 19 февраля присутствовали два декабриста: Тургенев и не любивший его С. Г. Волконский. Когда подошло время приложиться к кресту, все присутствующие единодушно, включая и Волконского, предложили Тургеневу «прикладываться к кресту первому, как человеку, положившему почин этому святому делу». Присутствующий при этом И. С. Тургенев писал: «Нам редко случалось видеть нечто более умиленное, как Н. Тургенева, предстоявшего с бегущими по щекам слезами в церкви парижского посольства, во время молебна за государя, когда пришло известие о появлении манифеста 19 февраля».

Николай Иванович прожил долгую жизнь. Рожденный в год Великой французской революции, он дожил до Парижской коммуны. Последние месяцы его жизни оказались омрачены не только этой «междоусобной войной». Еще большие опасения внушали ему немецкая оккупация Франции и усиление Германии. С юности сохраняя самые лучшие воспоминания об этой стране, Тургенев всегда желал ее объединения. Однако, дожив до этого события, он с присущей ему пронизательностью почувствовал, какая страшная угроза исходит от немецкого объединения. «Я всегда, — писал он Д. Н. Свербееву, — видел в объединенной Германии залог мира европейского. Теперь вижу противное. Немцы подражают Наполеону I, которого всегда справедливо проклинали! Такое разочарование для меня истинно горестно».

Умер Н. И. Тургенев 29 октября 1871 года на своей даче под Парижем. По воспоминаниям Свербеева, «за несколько часов до смерти с жаром он беседовал с доктором о предстоящей реформе во Франции народного просвещения».

НИКИТА МИХАЙЛОВИЧ МУРАВЬЕВ: *«Масса людей может сделаться тираном так же, как и отдельное лицо»*

ВАДИМ ПАРСАМОВ

Никита Михайлович Муравьев (1795–1843) родился в Петербурге в семье известного литератора, педагога и общественного деятеля М. Н. Муравьева. Под его непосредственным руководством и началось домашнее воспитание сына. Особую роль в обучении отводилось истории, в которой М. Н. Муравьев видел собрание нравоучительных примеров, способствующих всестороннему развитию личности. В его изложении истории соединялись характерный для просветителей культ Античности и религиозное морализирование, почерпнутое из Священного Писания. С детства хорошо зная древнегреческий и латинский языки, Никита в оригинале прочел Геродота и Диодора; Плутарх стал его настольной книгой. В пятнадцатилетнем возрасте он перевел «О нравах германцев» Тацита. Античные герои будоражили воображение мальчика, который полностью был погружен в их мир и жил их представлениями. Этому способствовали не только уроки отца, но и сама атмосфера, царившая в доме. В семействе Муравьевых, которое, по воспоминаниям В. А. Олениной, было «совершенно семейство Гракхов», «долго еще повторяли слова Никиты Михайловича еще ребенком. На детском вечере у Державиных Екатерина Федоровна заметила, что Никитушка не танцует, пошла его уговаривать. Он тихонько ее спросил: „Мама, разве Аристид и Катон танцевали?“ Мать на это ему отвечала: „Можно предположить, что да, в твоём возрасте“. Он тотчас встал и пошел танцевать». При всем увлечении «характерами Брута, Гракхов etc.», Муравьев, по словам той же В. А. Олениной, «был нервно, болезненно застенчив и скрытен».

В 1810–1812 годах Никита, углубляя свое домашнее образование, посещал, на правах вольнослушателя, лекции по точным наукам в Московском университете. Война 1812 года подвела черту под детским периодом его жизни. То, что он вырос, Никита Муравьев дал понять сам, причем довольно неожиданным образом. После взятия французами Смоленска он бежал из дома в действующую армию. Этот поступок очень быстро получил широкую огласку и стал одним из символов патриотического воодушевления. Бегство на фронт на первый взгляд не имеет прямого отношения к сугубо гражданскому, домашнему воспитанию. Однако оно очень ярко свидетельствует о его результатах. Проекция книжного воспитания на жизненную ситуацию стала одним из ярких проявлений юношеского патриотизма военных лет.

Война привела Никиту Муравьева в Париж. Он попал туда почти сразу же по завершении наполеоновских «ста дней», когда в стране свирепствовал террор и шли выборы в печально знаменитую «бесподобную» палату депутатов. К сожалению,истики, касающиеся столь важного периода в идейном развитии Муравьева, крайне скудны. Его письма из Франции матери немногословны и касаются в основном бытовых и культурно-бытовых моментов. По ним, в частности, можно судить о распорядке дня и роде занятий: «Здесь я завтракаю в 11-ть часов утра, обедаю в 6-ть и по здешне-

му обычаю не ужинаю. Всякий вечер почти, когда только хожу гулять по бульвару, имею случай видеть графиню Шувалову, которой удовольствие сидеть в Café Tortoni, у которого и происходит гулянье и куда идут обыкновенно есть мороженое. Я был здесь в опере, в Variété, и в трагедии видел Talma, который с тех пор, как мы здесь, только один раз играл». В другом письме содержится намек на более серьезные дела: «Я здесь накопил довольно книг и читаю, также абонировался». Но в целом подобный образ жизни: гулянье, театры, чтение книг и т.д. — ничем не отличается от образа жизни в Париже молодых людей, принадлежащих к тому же кругу интеллектуалов, что и Муравьев. Точно так же жили там братья Н. И. и С. И. Тургеневы. Но если последние оставили дневники, по которым мы можем судить о том, с кем они общались и о чем говорили, то в случае с Муравьевым все это составляет лишь предмет догадок.

В Париже Никита Муравьев остановился в доме бывшего посла в России А. де Коленкура. «Мне дали квартиру, — писал он матери, — у бывшего в Петербурге послом duc de Vincence (Коленкур), отчего издержки мои очень поуменьшились». Как свидетельствует Н. И. Греч, Муравьев нашел в доме Коленкура не только пристанище, но и общество, в которое пригласил его гостеприимный хозяин. «Общество было очень интересное: оно состояло из бонапартистов и революционеров, между прочими приходил часто Бенжамен Констан. Замечательно во Франции постоянное сродство бонапартизма с революцией: синий мундир подбит красным сукном... В этой интересной компании неопытный молодой человек напитался правилами революции, полюбил республику, возненавидел русское правление». Воспоминания Н. И. Греча подтверждаются и дополняются воспоминаниями другого, тоже довольно точного мемуариста Ф. Ф. Вигеля: «Случай свел его в Париже с Сизсом и, что еще хуже того, с Грегуаром. Французская революция, точно так же, как история Рима и республик средних веков, читающему новому поколению знакома была по книгам. Все действующие в ней лица унесены были кровавым ее потоком, из них небольшое число ее переживших, молниеподобным светом, разлитым Наполеоном, погружено было во мрак, совершенно забыто».

Таким образом, парижское окружение Муравьева несколько проясняется. Во-первых, это сам хозяин Коленкур, человек близкий к Наполеону и Александру I, знающий немало тайн закулисной политики Франции и России. Во-вторых, это лидер французских либералов Бенжамен Констан. И, наконец, пожалуй, самое удивительное: бывшие якобинцы, чьи имена давно уже стали легендарными, — аббат Сийес и аббат Грегуар. Можно предположить, что именно они, а не Бенжамен Констан, в 1815 году произвели на Муравьева наиболее сильное впечатление. Констан был знаком Муравьеву прежде всего по той сомнительной роли, которую он играл во время «ста дней», и по нашумевшей книге «О духе завоевания и узурпации». Но летом 1815 года Констан находился в очень тяжелом положении: он не знал, чем обернется для него недавняя служба у Наполеона, и готовился эмигрировать из страны. В этих условиях его встреча с Муравьевым вряд ли могла иметь иной характер, кроме мимолетного знакомства. Да и идеи Констан, который негативно оценивал свободу античных республик, не были близки тогда Муравьеву. Другое дело Сийес и Грегуар. Вигель очень точно отметил то впечатление, которое эти люди способны были произвести на Никиту Михайловича, бредившего античными героями. Сама французская революция, пронизанная духом Античности, даже со сравнительно небольшой временной дистанции казалась трагическим и величественным действием. По словам Вигеля, «встреча с Брутом и Катилиной не более бы поразила наших русских молодых людей, чем появление сих исторических лиц, как будто из гробов восставших, дабы вещать им истину. Все это подействовало на просвещенный наукою, но еще незрелый и неожиданный ум Муравьева; он сделался отчаянным либералом».

По возвращении в Россию Муравьев стал одним из учредителей тайного общества «Союз спасения» и прошел весь путь — от ранних организаций до Северного общества включительно, играя на каждом этапе движения ведущую роль. Занявшись практической политикой, большое внимание он уделяет осмыслению уроков Французской революции. Не приемля широко распространенную в среде европейских консерваторов концепцию фатальности революции (то есть представления о ней как о сверхъестественном событии), Никита Михайлович пытается самостоятельно осмыслить ее причины и характер. Появившаяся в 1818 году книга мадам де Сталь «Рассуждения о главных событиях Французской революции» давала обильную пищу для подобных размышлений.

Можно предположить, что именно де Сталь воплощала для будущих декабристов либерализм, хотя формально она не принадлежала ни к одной из либеральных партий Франции. Во всяком случае, декабрист П. Н. Свистунов был убежден, что «слово *libéral* употребила первая г-жа де-Сталь». Это убеждение, несомненно, отголосок тех разговоров, которые велись в России вокруг ее книги на рубеже 1810–1820-х годов. По количеству откликов у декабристов де Сталь занимает лидирующее положение из всех французских мыслителей. Этому способствовали не столько идеи ее произведений, сколько их емкий и афористичный язык, а также ее присутствие в России в 1812 году. «Рассуждения», подобно грибоедовскому «Горю от ума», разошлись на поговорки, любимой из которых стал знаменитый афоризм «Свобода стара, деспотизм нов».

В Уставе «Союза благоденствия» сформулировано его литературное кредо, один из пунктов которого гласит: «Объяснять потребность отечественной словесности, защищать хорошие произведения и показывать недостатки худых. Доказывать, что истинное красноречие состоит не в пышном облачении незначашей мысли громкими словами, а в приличном выражении полезных, высоких, живо ощущаемых помышлений». Уже в самой этой программе заложена необходимость «образа врага» — писателя, на чьем отрицательном примере можно было бы направлять развитие литературы. При этом чем значительнее будет враг, тем более впечатляющей станет победа над ним и тем авторитетнее покажется иной, «правильный» путь развития литературы. Такой враг сразу нашелся в лице Н. М. Карамзина. Борьба с ним для декабристов имела характер не только политического спора, она стала также формой политической пропаганды.

Легко понять, почему Н. М. Муравьев начал писать опровержение именно на публикующуюся в то время «Историю» Карамзина. Однако почему он при этом внимательно перечитывает и делает злые пометки на полях «Писем русского путешественника» — произведения, которое наверняка им давно прочитано и которое к 1818 году уже превратилось в достояние литературной истории? Вероятно, повод дал сам Карамзин. 27 августа 1818 года историк в письме к П. А. Вяземскому поделился впечатлениями об упомянутой выше книге де Сталь: «М-ме Сталь действовала на меня не так сильно, как на вас. Неудивительно: женщины на молодых людей действуют сильнее, а она в этой книге для меня женщина, хотя и весьма умная. Дать России конституцию в модном смысле есть нарядить какого-нибудь важного человека в гаерское платье... Россия не Англия, даже и не Царство Польское: имеет свою государственную судьбу, великую, удивительную, и скорее может упасть, нежели еще более возвеличиться. Самодержавие есть душа, жизнь ее, — как республиканское правление было жизнью Рима. Эксперименты не годятся в таком случае. Впрочем, не мешаю другим мыслить иначе. Один умный человек сказал: „Я не люблю молодых людей, которые не любят вольности; но я не люблю и пожилых людей, которые любят вольность“. Если он сказал не бессмыслицу, то вы должны любить меня, а я вас. Потомство увидит, что

лучше или что было лучше для России. Для меня, старика, приятнее идти в комедию, нежели в залу национального собрания или в камеру депутатов, хотя я в душе республиканец, и таким умру».

Письмо это не содержит ничего личного и, по сути дела, является открытым вызовом тем, кого Пушкин позже назовет «молодыми якобинцами». И хотя заканчивалось оно выражением стремления к примирению, это не более чем урок терпимости, который Карамзин преподавал своим молодым друзьям. Можно не сомневаться, что содержание письма стало известно не только Вяземскому, — оно наверняка дошло до того «коллективного адресата», которому и было послано. Содержалась там и еще одна важная мысль. Когда Карамзин писал, что для него «приятнее идти в комедию, нежели в залу национального собрания или в камеру депутатов», он явно намекал на свое времяпрепровождение в Париже в 1790 году. Тем самым он давал понять молодым людям, что либеральные идеи, которые ими воспринимаются как что-то новое, ему уже давно знакомы, а впечатление от книги мадам де Сталь намного слабее, чем впечатления от Французской революции, увиденной собственными глазами.

Итак, адресат этого письма — круг либеральной молодежи, включающий, кроме Вяземского, младших братьев Тургеневых, А. С. Пушкина, Н. М. Муравьева и др. Эти люди письмо Карамзина не могли воспринять иначе, как вызов, и, вероятно, Муравьев, приняв его, взялся опровергать карамзинские представления о Французской революции.

Из отрывочных заметок, оставленных на полях «Писем русского путешественника» между 1818 и 1820 годами, можно вполне представить позицию их автора. В сознании Никиты Муравьева, хорошо знавшего все творчество Карамзина, «Письма русского путешественника» и «История государства Российского», несомненно, соединены единой историко-политической концепцией. Спор ведется не столько с Карамзиным-историком (это внешний, хотя и, безусловно, важный план), но с Карамзиным — политическим мыслителем. Муравьев ищет истоки исторических воззрений Карамзина и попутно, «для себя» (только этим можно объяснить их бесцеремонный стиль), делает критические замечания. Раздражение, которое при этом испытывает «молодой якобинец», объясняется не столько несогласием с автором «Писем», сколько «неуловимостью» его концепции. Все было бы намного проще, если бы Карамзин объявил себя ярким противником революции и ее идей, но этого-то как раз и нельзя найти в его произведении.

Сложность отношения Карамзина к революции состоит в том, что оно не могло быть описано ни на одном из существовавших тогда политических языков. Все попытки представить это отношение как реакционное, консервативное или даже консервативно-либеральное не дают никаких результатов. Для Карамзина революция — дело человеческих рук, и она такова, каковы люди, делающие ее. Поэтому вместо готовых оценок читателю предлагается описание революционных событий, человеческих характеров, мнений и т.д. Это особенно раздражало Муравьева, который, как следует из заметок на полях «Писем», видел в начале революции не предвестие грядущих бед, а торжество идей свободы и справедливости.

Революция не кажется Муравьеву фатальным событием. Она — порождение несправедливых социальных отношений. В отличие от Карамзина, он видит здесь не проявление злой воли отдельных людей, а вполне законное сопротивление социальному гнету. Такая точка зрения близка мадам де Сталь, которая показала в своей книге целую систему злоупотреблений и притеснений народа в условиях абсолютной монархии. Особое неприятие у Муравьева вызывает позитивная программа Карамзина, направленная на исправление нравов, а не общества: «Когда люди уверятся, что для собственного их счастья добродетель необходима, тогда настанет век золотой, и во вся-

ком правлении человек насладится мирным благополучием жизни. Всякие же насильственные потрясения губительны, и каждый бунтовщик готовит себе эшафот». Комментарий: «Так глупо, что нет и возражений». Против сочувственно сентиментального описания королевской четы Муравьев написал: «Какая дичь — как все это глупо». Подчеркнув в «Письмах» слова: «Народ любит кровь Царскую», он делает пометку: «От глупости». Не могла вызвать его сочувствия и явная идеализация старого режима. «Французская монархия, — пишет Карамзин, — производила великих Государей, великих министров, великих людей в разных родах; под ее мирною сенью возрастали науки и художества; жизнь общественная украшалась цветами приятностей; бедный находил себе хлеб, богатый наслаждался своим избытком... Но дерзкие подняли секиру на священное дерево, говоря: *мы лучше сделаем!*» Муравьев полемически приписал: «И лучше сделали!», а против всего отрывка — только одно слово: «Неправда». Наибольшее раздражение у него вызвал следующий фрагмент: «Всякое гражданское общество, веками утвержденное, есть святыня для добрых граждан; и в самом несовершеннейшем надобно удивляться чудесной гармонии, благоустройству, порядку». Подчеркнув эти слова, декабрист написал между ними: «Дурак».

Наблюдая жизнь революционного Парижа, Карамзин прекрасно понимал относительную правду каждой из противоборствующих сторон и не принял ни одну из них. Он стоял выше всех партийных и государственных интересов — «как беспечный гражданин вселенной». Подчеркнув в тексте эти слова, Муравьев написал напротив: «А Москва сгорела!» Этой маргиналией он указал на кажущееся ему противоречие: Карамзин — «гражданин вселенной», пока речь идет о Франции; но как только затронута Россия, «космополит» становится «патриотом». Однако здесь, как и во многих других местах, обнаруживается явное непонимание или нежелание понять позицию Карамзина, чьи патриотические настроения 1812 года вовсе не противоречили космополитическим убеждениям эпохи Французской революции. Взятие Москвы историк переживал так же тяжело, как и разрушение во время революции французских городов, о чем он писал в письме к И. И. Дмитриеву от 17 августа 1793 года: «Мысль о разрушаемых городах и погибели людей везде теснит мое сердце. Назови меня Дон-Кихотом; но сей славный рыцарь не мог любить Дульцинею свою так страстно, как я люблю человечество!» Москва, взятая и опустошенная французами, включалась в этот же перечень ран, нанесенных человечеству.

Вопреки Карамзину, видевшему прямую связь между просветительскими идеями и якобинским террором, Никита Муравьев эту связь не хотел замечать сознательно. Отвергая как сам принцип монархического правления, так и возможность каких-либо позитивных моментов в этом правлении, он считал неуместным выказывать сочувствие казненной королевской семье. Отрицание самодержавия как такового свидетельствует о том, что свободу Муравьев связывал, в отличие от Карамзина, не с внутренним миром человека, а с наличием государственно-общественных институтов, способных эту свободу гарантировать.

Да и вряд ли по-другому мог думать человек, замышляющий государственный переворот в России. Свою политическую карьеру заговорщика Никита Муравьев начинает с дорогих ему республиканско-тираноборческих идей. В 1816 году он поддержал идею убийства Александра I «партией в масках» (ее выдвинул М. С. Лунин). Через год сам вызывается на цареубийство, а в 1820-м, солидарно с П. И. Пестелем, на двух совещаниях Коренной управы «Союза благоденствия» у Ф. Н. Глинки и И. П. Шипова отстаивает республиканскую форму правления, диктатуру Временного правительства и цареубийство. Но очень скоро в его взглядах происходят изменения. Они вызваны тем, что Муравьев, по его собственным словам, «в продолжение 1821-го и 1822-го годов удостоверился в выгодах монархического представительного правления и в том,

что введение оного обещает обществу наиболее надежд к успеху». Причины такого перелома во взглядах, как личного, так и общественно-политического плана, детально проанализировал Н. М. Дружинин. Однако вопрос не только в том, почему менялись взгляды декабриста, но и в том, как это происходило.

Исследователь общественно-политических взглядов свидетельствует о переходе Муравьева на более умеренные позиции; с точки зрения общекультурных представлений можно говорить о смене культурной парадигмы его сознания. Действительно, до 1820 года Никита Михайлович воплощает «римскую модель» культурного поведения. Сама эпоха бурных потрясений и войн, на фоне которых прошли его детство и юность, способствовала воплощению в жизнь высоких книжных образцов. В. А. Оленина вспоминала: «Воспламененный неограниченной любовью к отечеству Цицерона, Катона... потом Римское право, двенадцать таблиц римских (свод римских законов, относящихся к 451–450 годам до н.э. и служивших основой для римского права. — В. П.), римские добродетели и т.д., так разгорячили его сердце и воображение, что он начал писать и начал рефютацією на историю Карамзина, которого он лично не любил». Для более полного понимания личности Муравьева необходимо учитывать, что весь этот «римский» колорит — отнюдь не ходульная поза и не маска, обращенная к обществу, а неотъемлемая часть напряженной внутренней работы.

Если под воздействием античных авторов воспитывались дух патриотизма и идея самопожертвования во имя Отечества, то знакомство с европейской либеральной мыслью порождало представления о правах человека и самодостаточности человеческой личности. На смену римско-республиканскому самоощущению приходит государственно-правовой понятийный аппарат, почерпнутый из изучения конституционного опыта европейских государств и Соединенных Штатов Америки. В отличие от Пестеля, близкого к руссоистской идее безграничности народного суверенитета, Никита Муравьев больше склонялся к гельвецианскому варианту общественного договора, гарантирующему права отдельному индивидууму перед лицом общей воли. Согласно К. А. Гельвецию, общество — это не «коллективная личность», как считал Руссо, а свободное соединение отдельных индивидуумов, сохраняющих свои права на личное счастье: «Я утверждаю, что все люди стремятся только к счастью, что невозможно отклонить их от этого стремления, что было бы бесполезно пытаться это сделать и было бы опасно достигнуть этого и что, следовательно, сделать их добродетельными можно, только объединяя личную выгоду с общей».

Никита Муравьев не был согласен и с определением свободы, данным Монтескье в его «Духе законов»: «Свобода есть право делать все, что разрешают законы». Его возражение таково: «Разве я свободен, если законы налагают на меня притеснения? Разве я могу считать себя свободным, если все, что я делаю, только согласовано с разрешением властей, если другие пользуются преимуществами, в которых мне отказано, если без моего согласия могут распоряжаться даже моею личностью? При таком определении русский крестьянин свободен: он имеет право вступать в брак и т.д.». Под «свободой» Муравьев понимает прежде всего гарантию естественных, неотъемлемых прав человека, вступившего в общество. Поэтому законы должны соответствовать «совокупности его физических и моральных сил. Всякий иной закон есть злоупотребление, основанное на силе; но сила никогда не устанавливает и не обосновывает никакого права».

И далее он дает свое понимание общественного договора: «Соединяясь в политические общества, люди никогда не могли и не хотели отчуждать или изменять какое бы то ни было из своих естественных прав или отказываться в какой бы то ни было доле от осуществления этих прав... Они соединены и связаны общественным договором, чтобы свободнее и полезнее трудиться благодаря взаимопомощи и лучше охранять личную безопасность и вещную собственность путем взаимного содействия». Полемика здесь

ведется не с нарушениями общественного договора, а, напротив, с его слишком радикальной трактовкой. Не принимая разделения «общей воли» и «воли всех», что для Руссо принципиально, Муравьев утверждает: «Масса людей может сделаться тираном так же, как и отдельное лицо». Он явно имеет в виду события Французской революции и представления якобинцев о своей власти как о выражении безграничности народного суверенитета, что либеральными мыслителями истолковывалось как террор толпы.

Свободе личности, вступившей в общество, на государственном уровне соответствует автономность отдельных территориальных образований в составе государства, то есть федерализм. После распада «Союза благоденствия» в 1821 году Никита Михайлович, под влиянием различных факторов, как общественного (обострение политической ситуации в Европе, рост революционного движения, усиление реакции), так и личного свойства (сосредоточение на занятиях хозяйством), оказался на более умеренной политической позиции. Разработанный им в течение 1821–1825 годов проект будущего государственного устройства (Конституции) предполагал разделение России на четырнадцать «держав» и две «области». Столицей должен был стать Нижний Новгород, переименованный в Славянск. «Державы» делятся на уезды, а уезды — на волости. Каждой «державой» управляет свое правительство, представленное независимыми властями: законодательной, исполнительной и судебной. Верховная законодательная власть в государстве принадлежит Народному вече — двухпалатному парламенту, состоящему из Верховной думы, куда входят по три представителя от каждой «державы», и палаты народных представителей, куда посылаются по одному представителю от каждых 50 000 обывателей. Исполнительная власть остается в руках императора. Предусматривались также уничтожение сословий, гильдий и цехов, отмена крепостного права (при сохранении земли в собственности помещиков), сохранение общинного землевладения, введение основных гражданских свобод: слова, печати, вероисповеданий, занятий и передвижения.

Федералистские идеи были популярны и во французской либерально-эмигрантской среде. Основанием для превращения Франции в федеративное государство в глазах либералов служило не столько существование сильно различающихся по языку, обычаям и общественному быту провинции, сколько стремление ослабить власть Парижа над остальной страной и тем самым либерализовать систему государственного управления. Лидеры французских либералов де Сталь и Констан высказывались за умеренный федерализм, при котором отдельные департаменты, сохраняя определенную независимость, в то же время составляли бы единое государство. Таким образом, центральную власть ограничивали бы полномочия местных властей, а последние, в свою очередь, зависели бы от центральной власти настолько, чтобы не появлялось угрозы местных деспотий.

Эти идеи, несомненно, оказали существенное влияние на Н. М. Муравьева при написании им Конституции. Ему, как установил Н. М. Дружинин, «были известны конституции всех 23 североамериканских штатов». И тем не менее он далек от мысли автоматически перенести американскую модель федерализма в Россию. Характерно, что К. Ф. Рылеев, который, по его собственным словам, «всегда отдавал предпочтение Уставу Северо-Американских Штатов», склонял Муравьева «сделать в написанной им Конституции некоторые изменения, придерживаясь Устава Соединенных Штатов». Никита Михайлович не только не воспользовался этим советом, но, напротив, от редакции к редакции все больше ограничивал федеральные права составляющих Россию «держав».

Федерализм интересовал его не как отражение многонациональной реальности Российской империи, а как одна из форм государственной гарантии индивидуальных прав и свобод. При этом вопрос о «правах наций» не ставился вообще. Как справедливо

заметил Н. М. Дружинин, «Н. Муравьев очень далек от мысли построить союзное государство на договорах отдельных национальностей». Предполагалось, что, если гарантированы права каждого гражданина в отдельности, в дополнительных гарантиях прав национальностей не возникнет необходимости. Когда Муравьев пишет: «Русскими признаются все коренные жители России», слово «русский» здесь является антонимом слову «иностранец», чей статус особо оговаривается в Конституции. Что же касается национальных меньшинств, проживающих в России, то, называя их «русскими», Муравьев прежде всего уравнивает их в правах с основной частью населения империи. С его точки зрения, это — бесспорное повышение их статуса, а не одна из форм насилия над ними. Из подданных русского царя они превращаются в свободных граждан России. Возможность каких-то коллизий на этой почве автор явно не предусматривал. Иначе трудно объяснить ту непоследовательность, которая отразилась в его Конституции. Сводить это к слепому копированию идей де Сталь и Константа ни в коей мере нельзя: Муравьев был слишком хорошо для этого образован и имел весьма широкий выбор базовых идей для своей работы. Федерализм нужен ему лишь как гарантия прав и свобод отдельной личности. В этом он расходился и с Рылеевым, мыслившим национальными категориями, и с Пестелем, мыслившим категориями государственными.

Расхождения между Пестелем и Муравьевым ознаменовали начало нового этапа декабристского движения, для которого характерна замена идей римского тираноборчества идеями европейских военных революций. При этом замыслы цареубийства как такового не исчезают совсем — они лишь теряют свою книжную привлекательность. Теперь на первый план в «аттентате» выдвигается фигура жертвы — того, кто должен быть умерщвлен; тот, кто совершает убийство, остается в тени. Отныне члены Тайного общества не сами вызываются на цареубийство, а вербуют тех, кто мог бы его совершить. Как правило, поиск ведется либо на периферии декабристских организаций, либо за их пределами. Так родился пестелевский замысел «обреченного отряда»: группа из двенадцати человек, не состоящих в Тайном обществе, истребляет всю царскую семью, включая женщин и детей, после чего общество должно казнить убийц «и объявить, что оно мстит за императорскую фамилию». И хотя подбор этой группы и руководство ею поручалось кому-то из членов Тайного общества, предполагалось, что в саму группу войдут люди, обладающие качествами наемных убийц. При этом нельзя не заметить: если в «Брутах» Тайное общество не испытывало недостатка, то желающих вступить в «обреченный отряд» не нашлось. А. П. Барятинский, на которого возложили обязанность найти цареубийц, велел передать Пестелю, «что все швицкие офицеры пылают ревностью к цели общества; но сие не означало, чтобы можно было составить из них шайку убийц». А М. П. Бестужев-Рюмин предлагал «для нанесения удара Государю... употребить разжалованных в солдаты». Убийство одного царя теперь уже казалось полумерой. Пестель обдумывал замысел истребления всей царской фамилии, чтобы, как он выражался, «иметь чистый дом». Цареубийство с авансцены Истории переместилось за кулисы политиканства — именно это отпугивало от него многих вчерашних «Брутов». Характерно скептическое замечание Пестеля о С. И. Муравьеве-Апостоле: «Он слишком чист».

Отказ Никиты Муравьева от идеи цареубийства связан с началом его работы над Конституцией. Идея законности очень плохо сочетается с идеей убийства вообще, даже монарха, а система двойных стандартов, которую широко применял Пестель, для Муравьева невозможна. Любое преступление должно караться судом, перед которым равны все граждане, а так как император, по муравьевской Конституции, есть всего лишь «Верховный Чиновник Российского правительства», то он так же подсуден, как и любой гражданин. С другой стороны, цареубийство — такое же преступление против личности, как и любое другое убийство.

Не случайно и то, что Муравьев, который еще недавно высказывался за республику, свою Конституцию создает в монархическом духе. На первый взгляд между республикой и парламентской монархией разница вообще не столь существенна. И там и тут единственным источником власти признается народ, управляющий через своих представителей (у Мабли даже встречается выражение «республиканская монархия»). Однако в контексте тираноборчества различие принципиальное. С республикой, начиная с Античности и до Французской революции XVIII века включительно, ассоциировалась идея цареубийства, в то время как конституционная монархия гарантировала жизнь императору. Мысль о временной диктатуре после революционного переворота Муравьев отставил, как не соответствующую Конституции. Если Пестель допускал нарушение законов и даже кровь при учреждении республики, то Никита Муравьев такой путь исключал. Конституция вводится сразу, как только прекращается самовластие. Будет ли это добровольное согласие царя или же военная революция, не имеет существенного значения. Акцент ставился не на разрушении старого, а на созидании нового. Причем новое должно было зародиться в недрах старого. Подобно тому как Пестель в 1817 году хотел «наперед Энциклопедию написать, а потом уже и к революции приступить», Муравьев считает, что введению конституционного порядка должна предшествовать не диктатура, а широкое обсуждение его проекта Конституции в обществе. Новый порядок родится не в результате смерти старого, а путем его преобразования изнутри: «Мы, безусловно, начнем с пропаганды».

Политическая деятельность Н. М. Муравьева в 1820-е годы постепенно отодвигается на второй план из-за его хозяйственных занятий. После смерти деда по материнской линии, сенатора Ф. М. Колокольцева, оставившего миллионное состояние, тысячи крепостных и десятки тысяч десятин земли в разных губерниях, Никита Михайлович с увлечением принимается за управление этим огромным наследством и очень быстро овладевает современными ему экономическими знаниями. В 1823 году он женится на Александре Григорьевне Чернышевой — одной из самых завидных невест того времени, соединявшей в себе красоту, уникальные душевные качества и богатое приданое. Семья для молодого супруга становится таким же серьезным приложением сил, как политика и экономика. На фоне семейного счастья и успешного ведения огромного хозяйства политическая деятельность начинает все больше его тяготить. Либерально-конституционные убеждения остаются неизменными, но тактика тайных обществ, стремящихся к военной революции, уже не привлекает Муравьева. Постепенно им овладевает политическая апатия. Летом 1825 года он берет продолжительный отпуск и покидает Петербург в намерении замкнуться в семейном кругу и хозяйственных делах.

Тем не менее после восстания 14 декабря, которое Никита Муравьев не готовил и не одобрял, он был арестован и осужден по 1-му разряду на смертную казнь. По конфирмации казнь заменили двадцатью годами каторги. Вскоре срок заключения был сокращен сначала до пятнадцати, а затем до десяти лет. Александра Григорьевна последовала за мужем в Сибирь. Там у них родилась дочь Софья. Вновь обретенный счастливый мир оказался недолгим: в 1832 году А. Муравьева скончалась в возрасте двадцати восьми лет. Воспитание дочери становится главной заботой декабриста. Благодаря помощи матери в Сибири он не испытывал материальной нужды. В его распоряжении была огромная библиотека, позволявшая вести научную деятельность в самых различных сферах: от чтения лекций по военной тактике товарищам по заключению до внедрения агрономических новшеств в сибирское земледелие.

По выходе на поселение в 1837 году Муравьев избрал местом жительства село Урик неподалеку от Иркутска. Там жил его двоюродный брат и друг М. С. Лунин. Их связывали не только родственные и дружеские отношения. Есть очень много общего и во взглядах этих людей — как на современное положение России, так и на ее про-

шное. Одинаковым образом они оценивали также роль тайных обществ в русской истории. Основным занятием Лунина этих лет была публицистика, направленная на опровержение правительственной пропаганды, которая представляла движение декабристов в искаженном виде. Никита Муравьев не только одобрял эту деятельность Лунина, встречающую непонимание в среде многих их товарищей по сибирской ссылке, но и помогал ему своими историческими познаниями. В частности, ему принадлежат обширные комментарии к главному произведению Лунина «Разбор донесения Тайной следственной комиссии». Оба декабриста развенчивают утверждение официального «Донесения» о якобы случайном и подражательном характере тайных обществ в России. С помощью исторических фактов, начиная со времени Ивана Грозного и до вступления на престол Александра I, Муравьев опровергал «ни на чем не основанное мнение, что русский народ не способен, подобно другим, сам распоряжаться своими делами». В Земских соборах он видел зародыш парламентского государства, и если этот путь оказался нереализованным, то причина заключается не в объективном ходе вещей, а в произволе Петра I, «который не собирал Земской Думы, пренебрегая мнением своего народа и отстраняя его от непосредственного участия в своих делах». В этих же комментариях Муравьев впервые в отечественной историографии дал полный перечень дворцовых переворотов в России XVIII века, указав их причины, участников и следствия. В его историко-политической концепции дворцовые перевороты противостоят, с одной стороны, правительственному деспотизму, а с другой — законной борьбе за ограничение самодержавной власти. Они «любопытны во многих отношениях, но прискорбны для русского». Данный экскурс в недавнюю историю призван проиллюстрировать следующую мысль Лунина: «Тайный союз не мог ни одобрять, ни желать покушений на царствующие лица, ибо таковые предприятия даже под руководством преемников престола не приносят у нас никакой пользы и несовместны с началами, которые Союз огласил и в которых заключалось все его могущество. Союз стремился водворить в отечестве владычество законов, дабы навсегда отстранить необходимость прибегать к средству, противному справедливости и разуму». По мнению Муравьева, «тайное общество заполняло пропасть, которая существовала между правительством и народом». В истории России декабристы, с его точки зрения, пытались сыграть такую же роль, что и английские бароны, заставившие короля Иоанна Безземельного подписать 15 июня 1215 года Великую хартию вольностей.

Н. М. Муравьев умер 28 апреля 1843 года, как и его жена, от случайной простуды. «Смерть моего дорогого Никиты, — писал М. С. Лунин, — огромная потеря для нас; этот человек стоил целой академии».

МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ ЛУНИН:
*«Для меня открыта только одна карьера —
карьера свободы...»*

ВАДИМ ПАРСАМОВ

Михаил Сергеевич Лунин (1787–1845) родился в семье богатого и ничем не примечательного отставного бригадира Сергея Михайловича Лунина, типичного хозяйственника-крепостника. Зато его мать, Феодосия Никитична, приходилась родной сестрой выдающегося педагога и литератора Михаила Никитича Муравьева, отца будущего декабриста Никиты Муравьева. В отличие от своего двоюродного брата, Лунин не получил систематического образования. В соответствии с тогдашней модой старший Лунин переложил воспитание сына на гувернеров-иностранцев. Учителями будущего декабриста «были: англичанин Форстер, французы Вовилье, Батю и Картие. Швед Курулф и швейцарец Малерб». От них Михаил получил прекрасное знание иностранных языков и привычку к систематическому самообразованию. Языки для него — не только «ключи современной цивилизации», но и важнейшая религиозно-философская проблема. «Одной из тяжких кар для людей, — напишет он впоследствии, — было смешение языков: „смешаем язык их“ (Быт., 11: 7). И одним из величайших благ был тоже дар языков: „начали говорить на разных языках“ (Деян., 2: 4)».

В бурную эпоху Наполеоновских войн молодежь быстро возросла. Семнадцатилетний корнет кавалергардского полка Лунин принял боевое крещение при Аустерлице. Затем была кампания 1806–1807 годов, орден Св. Анны 4-й степени за Фридрихсбург, производство в поручики и возвращение в Россию. Безумная отвага, проявленная на полях сражений, в мирной жизни обернулась лихими поступками человека, презирающего казенщину и серые будни армейской жизни. О проделках юноши, о его дуэлях, успехах у женщин и т.д. ходили легенды. Но это лишь внешняя сторона, скрывающая упорный и постоянный процесс самообразования. Как вспоминал близкий друг Лунина Ипполит Оже, «усиленная умственная деятельность рано истощала его силы».

Война 1812 года стала новой вехой в боевой биографии М. С. Лунина. Вместе со своим кавалергардским полком он проделал путь от Вильно через Москву в Париж, участвовал во всех крупнейших сражениях на полях России и Европы. По возвращении из Франции принял участие в организации одного из первых тайных обществ в России — «Союза спасения». Деятельность тайного общества в то время представлялась ему не кропотливой работой по формированию общественного мнения, подготовке конституционных проектов и т.д., а возможностью реализации героического типа поведения. Вызываясь в 1812 году отправиться парламентаром к Наполеону и всадить ему в сердце кинжал, теперь Лунин вызывается проделать то же самое с Александром I. А когда замысел царубийства отклонило большинство членов тайного общества, он покинул Россию и отправился в Европу.

Наднациональное объединение людей на основе каких-либо высших принципов для Лунина всегда стояло выше национального самоопределения. По свидетельству Ипполита Оже, он говорил: «Гражданин вселенной — лучше этого титула нет на све-

те». Здесь ключ к пониманию культурной позиции молодого человека. Словосочетание *гражданин вселенной* — дословный перевод с французского *citoyen de l'univers*, что, в свою очередь, является калькой с греческого *ὁ κόσμοῦ πολίτης*. В XVIII — начале XIX века эта формула, противоположная культурной маске «патриота», была широко распространена. Речь, разумеется, идет не о реальном чувстве любви к родине, которое может быть присуще человеку любых взглядов, как западнику, так и русофилу, а о специфике культурного понимания проблемы «свое — чужое». *Патриот* в этом смысле тот, для кого границы между *своим* и *чужим* пространством жестко обозначены, причем истина всегда связывается со *своим*, а *чужому*, соответственно, приписываются лживость и враждебность. *Космополит* всегда стремится к снятию перегородок между различными культурами и к установлению единой шкалы ценностей. В отличие от фиксированной точки зрения *патриота*, точка зрения *гражданина вселенной* подвижна. Он может свое пространство воспринимать как *чужое*, и наоборот, в *чужом* видеть *свое*. Отграниченности национального бытия противопоставляется единство человеческого рода.

Понятие «гражданин мира» встречается уже в «Опытах» Ф. Бэкона: «Если человек приветлив и учтив с чужестранцами, это знак того, что он гражданин мира и что сердце его не остров, отрезанный от других земель, но континент, примыкающий к ним». Эти слова написаны в одну из самых мрачных эпох европейской истории, в эпоху религиозных войн, крайней нетерпимости, костров инквизиции, процессов ведьм и т.д., когда образ врага был навязчивой идеей массового сознания. В такой обстановке космополитические идеи звучали как призыв к терпимости и взаимопониманию. Наибольшее распространение они получили во Франции в середине XVIII века. Тогда сложилась так называемая «Республика философов» — небольшая группа людей, говорящая от имени всего человечества с позиций Разума, грандиозным воплощением которого стала знаменитая «Энциклопедия». Для французских энциклопедистов понятия «философ» и «гражданин вселенной», по сути, тождественны. В этом они идут непосредственно от античной традиции, в частности от Диогена Синопского, который на вопрос, откуда он, отвечал: «Я гражданин мира». Одним из проявлений французского просветительского космополитизма стало восхваление Англии — традиционного врага Франции. Британия с ее всемирной торговлей и колониями воспринималась как мировая держава, провозглашающая общечеловеческие ценности. Не случайно одно из значительных произведений английской литературы XVIII века называется «Гражданин мира». Автор этого романа О. Голдсмит возводил идею мирового гражданства к Конфуцию: «Конфуций наставляет нас, что долг ученого способствовать объединению общества и превращению людей в граждан мира». Примером практического космополитизма в романе могут служить слова англичанина, который пожертвовал 10 гиней французам, находящимся в английском плену во время Семилетней войны: «Лепта англичанина, гражданина мира, французам пленным и нагим».

Ближайшая к Лунину космополитическая традиция — «Письма русского путешественника» Карамзина, с их основным тезисом: «Все *народное* ничто перед *человеческим*. Главное дело быть *людьми*, а не Славянами». Призывая людей к терпимости, автор отстаивал свое право быть вне политических лагерей и партий, наблюдать, а не участвовать. Покидая революционный Париж, он писал: «Среди шумных волнений твоих жил я спокойно и весело, как беспечный гражданин вселенной; смотрел на твоё волнение с тихой душою, как мирный пастырь смотрит с горы на бурное море. Ни Якобинцы, ни Аристократы твои не сделали мне никакого зла; я слышал споры и не спорил».

Однако *гражданин вселенной* Лунин в 1816 году далек от «беспечного гражданина вселенной» Карамзина, мирного путешественника, открывающего свою Европу.

Его настроению в большей степени отвечали бунтарские идеи другого космополита — голландца по происхождению, прусского барона по социальному положению и французского революционера по убеждению Анархарсиса Клоотса. Во время праздника Объединения, 14 июля 1790 года, Клоотс явился перед Национальным собранием во главе костюмированной процессии, представляющей народы мира, и провозгласил себя «главным апостолом Всемирной республики».

Считая, «что бунт — это священная обязанность каждого», Лунин верит в возможность быстрого освобождения человечества. При этом не имеет особого значения, где бороться за свободу: в Южной Америке или в России. Первое даже предпочтительнее, так как более соответствует общечеловеческим устремлениям Лунина. Его космополитизм окрашивается в «испанские» тона: «Для меня, — говорит он Ипполиту Оже, — открыта только одна карьера — карьера свободы, которая по-испански зовется *libertade*». Понятно, что такой «испанский» космополитизм вызывает соответствующие ассоциации у романтически настроенного собеседника: «Это был мечтатель, рыцарь, как Дон-Кихот, всегда готовый сразиться с ветряною мельницей».

Однако до Южной Америки Лунин так и не добрался. С осени 1816-го по весну 1817 года он живет в Париже, занимается литературной деятельностью (пишет по-французски роман «Лжедмитрий»), посещает парижские салоны, общается с иезуитами, революционерами, с еще мало тогда известным Сен-Симоном. Полгода в Париже значительно расширили политический и общекультурный кругозор молодого человека. Идеи цареубийства и быстрого государственного переворота в России теряют в его глазах свою привлекательность. В то же время он не видит возможности в России вести открытую политическую деятельность. Интерес к Франции, явно подогреваемый политическими и католическими симпатиями, все время растет. Трудно сказать, как сложилась бы дальнейшая судьба Лунина, если бы не внезапная смерть отца весной 1817 года, заставившая его срочно вернуться в Россию.

Оставаясь членом тайного общества, Михаил Лунин принял участие в организации «Союза благоденствия» в 1818 году, стал членом Коренной управы и участвовал в совещаниях 1820 года. Однако его голоса в спорах о путях будущего устройства России, судьбе царской семьи и т.д. не слышно. Все, что непосредственно касается государственного переворота, обсуждается в его присутствии, но без его активного участия. Его роль в тайном обществе в начале 1820-х годов фактически свелась к приобретению станка «с той целью, чтобы литографировать разные уставы и сочинения Тайного общества и не иметь труда или опасности оные переписывать». В связи с этим нельзя не отметить, что широкое распространение политических идей в обществе для Лунина становится важнее конспиративной деятельности, направленной на государственный переворот.

В 1822 году М. С. Лунин возвращается на военную службу. Это решение он сам прокомментировал на следствии: «Я действовал, по-видимому, согласно правилам Тайного общества, но сокровенная моя в том цель была отдалиться и прекратить мои с тайным обществом сношения». Лунин определился в Польский уланский полк, дислоцирующийся в Слуцке. И прослужил там до мая 1824 года, когда был переведен в Варшаву с назначением командиром эскадрона Гродненского гусарского полка. В Варшаве его и арестовали 9 апреля 1826 года. Суд вынес Лунину приговор по второму разряду: пятнадцать лет каторги. Впоследствии срок сократили до десяти лет.

Как глубокий и оригинальный мыслитель М. С. Лунин проявился в полной мере лишь в Сибири. Во многом его сибирские сочинения стали итогом внутренних размышлений, начавшихся в Париже и продолжавшихся на протяжении последующих лет. Как и в молодости, он исходит из идеи единства мировой цивилизации и считает, что «истины не изобретаются, но передаются от одного народа к другому, как величе-

ственное свидетельство их общего происхождения и общей судьбы». Однако теперь романтическое бунтарство молодости отступает перед трезвым анализом правительственного курса: «Я не участвовал ни в мятежах, свойственных толпе, ни в заговорах, приличных рабам. Единственное оружие мое — мысль, то в ладу, то в несогласии с движением правительственным, смотря по тому, как находит она созвучия, ей отвечающие», — пишет он в одном из сибирских писем.

«Испанское» понимание свободы сменяется английским правовым сознанием. Не вооруженная борьба за свободу, а последовательное отстаивание прав человека с опорой на существующее законодательство и его постепенное усовершенствование становятся основой новой политической программы Лунина. Не признавая за Россией особенного пути развития и в то же время осознавая ее правовую отсталость от европейских стран, он не без иронии переводит английские политические понятия на язык российской действительности: «Теперь в официальных бумагах называют меня: государственный преступник, находящийся на поселении... В Англии сказали бы: Лунин, член оппозиции». Различие между Россией и Англией соответствует различию между положением сибирского узника и члена британского парламента. Однако из того, что английские оппозиционеры заседают в парламенте, а русские томятся в Сибири, еще не следует, что о последних нельзя рассуждать в системе английской правовой мысли.

«В английской печати, — пишет академик М. П. Алексеев, — декабристов в то время чаще всего изображали как просвещенных офицеров из дворян, воодушевленных идеями западного конституционализма. В стране, достигшей более высокой степени политической зрелости, полагали английские публицисты, выступление декабристов носило бы характер не вооруженного восстания, но скорее парламентской петиции или обращения к монарху». Именно в таком духе М. С. Лунин пытается представить декабризм европейской общественности. Он много говорит о законности и закономерности появления тайных обществ в России и незаконности суда над их членами. При этом свой «Разбор донесения Тайной следственной комиссии государю императору в 1826 году» пишет на русском, французском и английском языках и просит сестру доставить текст за границу Н. И. Тургеневу для публикации, явно рассчитывая на поддержку европейского общественного мнения. В расчете на помощь Тургенева Лунин декларирует общность его взглядов на декабризм со своими. Как и Тургенев, он связывает возникновение тайных обществ в России с либеральными намерениями Александра I: «Право Союза опиралось также на обетах власти, которой гласное изъявление имеет силу закона в самодержавном правлении. „Я намерен даровать благотворное конституционное правление всем народам, провидением мне вверенным“ (Речь императора Александра на Варшавском сейме 1818 года). Это изречение вождя народного, провозглашенное во услышание Европы, придает законность трудам Тайного союза и утверждает его право на незыблемом основании».

Как и Н. Тургенев, М. Лунин отказывается видеть состав преступления в своих действиях и действиях своих товарищей. Однако если для Тургенева этот аспект является основным, так как служит (или должен служить) его оправданию, то Лунина меньше всего волнует личная судьба. Из идеи законности декабризма вытекает идея его закономерности и неизбежного торжества провозглашенных декабристами принципов: твердые законы, юридическое равенство граждан, гласность судопроизводства, прозрачность государственных расходов, ликвидация винных откупов, сокращение сроков военной службы, уничтожение военных поселений и т.д. Все меры были направлены на то, чтобы сравняться с «народами, находящимися в главе всемирного семейства», т.е. англичанами и французами, но при этом «охранять Россию от междоусобных браней и от судебных убийств, ознаменовавших летописи двух великих народов» (имеются в виду казни Карла I и Людовика XVI. — В. П.).

Лунин тщательно разбирает «Донесение Следственной комиссии», анализирует проекты правительственных реформ, ставит под сомнение законность приговора, вынесенного декабристам. И все это — с позиций европейской общественно-политической и правовой мысли, причем без всякой выгоды для себя, без всякого желания оправдаться в чем-либо или же, наоборот, досадить правительству. Он ведет себя так, как будто действительно находится в английском парламенте, а не в далекой Сибири и как будто не его судьба зависит от правительства, а, наоборот, историческая участь Николая I и его министров зависит от того, какой приговор вынесет им сибирский ссыльный.

Ощущение собственного превосходства над петербургским двором Лунину давали два обстоятельства. Во-первых, тот факт, что «выдающиеся люди эпохи оказались в сибирской ссылке, а ничтожества во главе событий». Во-вторых, убежденность в том, что «влияние власти должно в конце концов уступить влиянию общественного мнения». На себя декабрист смотрит как на выразителя общественного мнения. На этом основано его противопоставление себя — человека себе же — политическому деятелю: «Как человек, я всего лишь бедный изгнанник; как личность политическая, я являюсь представителем системы, которую легче упразднить, чем опровергнуть».

Принадлежность к определенной политической системе для Лунина служит критерием, позволяющим отличить истинного политика от «политика поневоле» (перифразировка мольеровского «лекаря поневоле»). При этом важно, чтобы система не была единственной. Более того, она только тогда имеет смысл, когда ее представители «восстанавливают борение частей, необходимое для стройного целого... Именно диссонанс в общей гармонии prepares и создает совершенное согласие». В политике таким диссонансом является оппозиция. Как оппозиционер, Лунин отстаивает принципы европейского буржуазного права перед лицом отечественного беззакония: «В нашем политическом строе пороки не злоупотребления, но принципы», т.е. речь идет о порочности самой политической системы. В его глазах это скорее плюс, чем минус, так как изменить систему в целом проще, чем бороться с отдельными злоупотреблениями. Поэтому «появление принципов порядка было бы тем более заметным и успешным». В этом отношении опыт Англии Лунину представляется наиболее продуктивным, так как «англичане заложили основы парламентского правления».

В «Розыске историческом» М. С. Лунин проводит широкие исторические параллели между Россией и Англией, исходя из общности исторического пути, по которому идут все европейские страны. Движение декабристов он сравнивает с событиями в английской истории начала XIII века, когда, под давлением английских баронов на короля Иоанна Безземельного, была подписана знаменитая Великая хартия вольностей: «Общество озаряет наши летописи, как союз Рюнимедский бытописания Великобритании». Отсюда делается малоутешительный вывод: «В несколько веков нашего политического быта мы едва придвинулись к той черте, от которой пошли англичане». Историческими фактами, почерпнутыми из истории Англии и России, Лунин подробно обосновывает этот тезис. В Сибири у него под рукой был многотомный труд английского историка Дж. Лингарда «История Англии от первого вторжения римлян» на английском языке, из которого он брал фактический материал, давая ему собственную интерпретацию.

Отсчет английской свободы Лунин начинает от Великой хартии вольностей, которая делит историю страны на две полярные части: рабство и свобода. Исследователя больше интересуют события, которые происходили до принятия Великой хартии. Чтобы подчеркнуть правовую отсталость современной России от цивилизованного мира, декабрист уподобляет ее Англии XII века. «В правление англосаксов англичанин на базаре... стоил 4 пенни; но эта цена изменялась, возвышаясь иногда до 3-х манку-

зов, до серебряного фунта и до золотой Иры... Поселяне с семействами и со всяким имуществом были собственностью лордов. Последние могли произвольно дарить или продавать их... В обыкновенных принудительных местах судопроизводство было источником доходов для правительства и судей. Тяжбы длились иногда по нескольку царствований сряду и решались обыкновенно в пользу того, кто больше давал... Гражданине не могли ни выезжать из королевства, ни оставаться за границу по делам своим сколько было нужно, без особенного королевского повеления... Когда Генрих III требовал, чтобы бароны собрались в его совет, они отказались, потому что важнейшие места в королевстве розданы были иностранцам, и король более доверял честности последних, чем любви собственных подданных. Эдмон, епископ Терберийский, сопровождаемый важнейшим духовенством, пришел к королю и объявил, что англичане не хотят быть попираемы ногами иностранцев в своей родной земле»...

Такое подробное описание потребовалось Лунину для того, чтобы показать, в каком положении находится Россия в XIX веке и насколько она отстала от Европы: «Эти черты британских летописей сходны с тем, что видим вокруг себя. Русских продают и покупают по разным ценам; дарят, закладывают в кредитных заведениях... Наши тяжбы так же продолжительны и так же разорительны. Лучшее право у нас на звание судьи — одряхлеть в военных и морских чинах, без всякого знания законов и даже русского языка... Без дозволения правительства русские не могут ни выехать из государства, ни жить за границу... Главные места в государстве вверены иностранцам, не имеющим никакого права на доверие народное».

Если прошлое Англии есть настоящее России, то ее настоящее есть будущее России: «История должна... путеводить нас в высокой области политики. Наши учреждения очевидно требуют преобразований». Первую попытку таких преобразований с опорой на западноевропейский конституционный опыт, как считает Лунин, предприняли декабристы. Их принадлежность к высшему сословию наложила на них обязанность «платить за выгоды, которые доставляют им совокупные усилия низших сословий», т.е. быть защитниками народных интересов, ибо в силу своей просвещенности они осознают их в большей степени, чем сам народ. Подспудно здесь присутствует еще одна параллель с Англией: Великая хартия вольностей подписана по настойчивой воле английской знати в интересах всего народа.

Лунин всячески подчеркивает мысль, что дело тайного общества «было делом всей России». Считая восстание 14 декабря ошибочным и случайным явлением, ретроспективно он видит конечную цель тайного общества не в свержении самодержавия, а в закреплённом конституцией договоре дворянства, представляющего народ, с монархом. Основанием для этого являются обещания самого Александра I «даровать конституцию русским, когда они в состоянии будут оценить пользу одной». Поэтому задача декабристов заключалась не в подготовке восстания, а в том, чтобы заставить царя выполнить свое обещание, т.е. в подписании документа, подобного Великой хартии.

Своеобразие лунинского англофильства заключалось в стремлении соединить английскую конституцию с католицизмом. Существенным аргументом здесь является то, что Великую хартию приняли в период торжества католической веры. Среди причин, способствовавших нравственному и политическому развитию Англии, Лунин называет католичество, «которое всюду было источником конституционных принципов» и обеспечило «национальные свободы». (Судя по всему, имеется в виду период «реставрации Стюартов», которая прошла под знаком католицизма, а под национальными свободами, скорее всего, подразумевается Habeas Corpus Act.) Он особо подчеркивает, что «в Англии конституция сложилась много раньше 16-го столетия, в лоне католической церкви. Когда Великобритания от нее отделилась, все три власти были независимы, фиск и армия зависели от согласия общин и лордов и т.д. и конституционная

монархия уже существовала... Протестантская революция в пользу республики потерпела поражение». Для Лунина протестантизм исключает демократический путь развития («Он потерпел неудачу в республиканских странах»). Республика в Англии не установилась именно потому, что революция носила протестантский характер и уже в силу этого не могла принести позитивных результатов. Конституционная монархия существовала до революции и вскоре была снова восстановлена. Из этого следует, что политические институты, сформированные «в лоне католической церкви», оказываются прочнее протестантских нововведений.

Анализируя польское восстание 1830–1831 годов, Лунин осуждает поляков за незаконное сопротивление незаконным действиям властей и в качестве прецедента ссылается на опыт Англии. По его мнению, поляки должны были относиться к своей конституции так же, как англичане — к Великой хартии: «Великой хартии присягали и подтверждали ее 35 раз, и, несмотря на это, она была поправа Тюдорами. Однако и в ту политически незрелую эпоху англичане, чтобы защитить ее, не взялись за оружие. Они оценили важность самих форм свободного правления, даже лишенных того духа, который должен их одушевлять; они вынесли гонения, несправедливости, оскорбления со стороны власти, лишь бы сохранить эти формы и дать им время укорениться».

Опыт Великобритании подсказывал мысль о возможной перспективе русско-польских государственных отношений. Не будучи сторонником ни самостоятельного существования Польши как государства, ни ее растворения в составе самодержавной империи, Лунин считает наиболее приемлемой моделью те отношения, которые связывают Англию и Шотландию. «Может ли Польша пользоваться благами политического существования, сообразными с ее нуждами вне зависимости от России? — Не более чем Шотландия или Ирландия вне зависимости от Англии».

Свое пребывание в Сибири М. С. Лунин расценивает не как катастрофу или печальное следствие политических заблуждений, а как результат сознательного выбора. Свои «Записные книжки» (в оригинале «*Exegeses*») он открывает латинской фразой: «Я возлюбил справедливость и возненавидел несправедливость, поэтому я в изгнании». Источник не указан, однако он легко устанавливается. Это слова папы Григория VII, потерпевшего поражение в борьбе с императором Генрихом IV.

«Ключевым словом христианина, — пишет Анри де Любак, — должно быть не „бегство“, но „сотрудничество“. Христианин призван, трудясь вместе с Богом и людьми, участвовать в осуществлении дела Божия в мире и человечестве. Цель для всех одна, и, лишь стремясь к ней, не проигрывая в одиночку собственную эгоистическую партию, он может приобщиться к окончательному торжеству. Найти свое место в общем спасении: *in redemptione communi* (в общем искуплении)». Эти слова способны стать ключом к лунинскому пониманию соотношения религии и политики. Свой долг христианина он видит в отстаивании принципов законности и порядка в политической и общественной жизни. Вовсе не считая себя при этом одиноким борцом с общественной несправедливостью, хотя в реальных условиях его сибирского заточения именно так оно и было. Вопреки вынужденной изоляции он рассматривает свою миссию как часть общего дела. Руководствуясь высокими примерами Церкви в лице ее святых, Лунин строит свою личность по канонам католической святости. Любимым его чтением в Сибири становится «*Acta sanctorum*» («Жития святых») — многотомное издание болландистов, растянувшееся на несколько веков. «Мы заблуждаемся, — заносит он в „Записную книжку“, — когда отвергаем пример святых, считая его для нас непосильным. Илия был такой же человек, как мы, подверженный тем же страстям, говорит апостол Иаков. Илия был человек, подобный нам (Посл. Иак. V. 17)».

В то же время как политик Лунин воодушевляется примерами античных героев, подвергшихся тяжелому наказанию, но не павших духом. И делает выписки из сочине-

ний античных авторов о тех, кто даже в изгнании продолжали служить своему отечеству. Правда, следуя их примеру, он делает различие между материализмом язычников и духовными устремлениями христианина: «Последним желанием Фемистокла в изгнании было, чтоб перенесли остатки его в отечество и предали родной земле; последнее желание мое в пустынях Сибирских — чтоб мысли мои, по мере истины в них заключающейся, распространились и развивались в уме соотечественников».

Политическая борьба и католицизм сливаются для него в конечном итоге в идеале мученичества, которым, по замыслу, должен был завершиться его жизненный путь. М. С. Лунин сознательно шел навстречу уготованной ему гибели. В ночь с 26 на 27 марта 1841 года он был арестован и отправлен в одну из самых страшных тюрем империи — Акатуй. Ему давно уже стали чужды заботы сегодняшнего дня, которыми жило большинство его товарищей. Чем более суровые требования предъявлял к себе Лунин, тем выше становилась стена непонимания, отделяющая его от вчерашних единомышленников. Идея мученичества, последовательно воплощаемая им в жизнь, встретила не меньше толков среди его товарищей по заключению, чем его католицизм.

И. И. Пущин писал И. Д. Якушкину 30 мая 1841 года: «Лунин сам желал быть martyr (мучеником), следовательно, он должен быть доволен. Я и не позволяю себе горевать за него. Но вопрос в том, какая из этого польза и чем виноваты посторонние лица, которых теперь будут таскать?» Слово «мученик», написанное по-французски, выделяется как «чужое слово», взятое автором из лунинского лексикона и указывающее на дистанцированное отношение к нему Пущина. Якушкин отвечал более резко: «Он хотел быть мучеником; но чтобы мочь и хотеть им сделаться, нужно было бы прежде всего быть способным на это. По хорошо известным причинам этого никогда не будет у Лунина. Государственный преступник в 50 лет позволяет себе выходки, подобные тем, которые он позволял себе в 1800 году, будучи кавалергардом; конечно, это снова делается из тщеславия и для того, чтобы заставить говорить о себе». С такой оценкой не согласился князь С. П. Трубецкой: «Тщеславие не может заставить человека желать окончить свой век в тюрьме, тогда как религиозные понятия могут возбудить желание мученичества. И я полагаю, что в Луinine было что-нибудь подобное».

М. С. Лунин и его оппоненты живут в различных измерениях, и у каждой стороны своя правда. Легко понять беспокойство Пущина за «посторонних лиц». Однако для Лунина, являющего собой высокий образец религиозного и гражданского служения, жизнь меряется другими критериями. Он живет в согласии с собственным пониманием свободы и счастья, которые имеют для него абсолютный смысл, не связанный с сиюминутной реальностью. Свобода соединяет человека с обществом, она внутренне присуща общественному развитию, так как, в терминологии Лунина, является «органической идеей» и в силу этого рано или поздно одержит неизбежную победу над деспотизмом. Свободным можно быть только в свободном обществе. Религиозным коррелятом свободы является счастье. Оно не зависит ни от каких внешних обстоятельств. Поэтому счастливым можно быть везде. Более того, в условиях физической несвободы (заключения, ссылки), ощущение счастья даже возрастает, так как ограничение общественных отношений усиливает связь человека с Богом — то единственное, что способно дать человеку счастье. Эта проблема становится одной из центральных в сибирских сочинениях Лунина. «Удивительное дело, — пишет он сестре, — как постепенно приходит счастье! чем ближе конец моего пути, тем более попутен мне ветер... Истинное счастье — в познании любви к бесконечной истине».

Поскольку высшая Истина неподвластна ограниченному рассудку человека, он познает ее через относительные истины, в которых она проявляется. «Положительные истины превышают человеческий разум. Мы постигаем их только отчасти, видим га-

дательно, как сквозь тусклое стекло (1 Кор., 13: 12). Впрочем, нужно только знать, есть ли они или нет. Для этого мы имеем свидетельства, которые суть относительные истины. Свидетельства ведут к... распознанию истинной церкви». При этом относительные истины даже при видимом противоречии друг другу не перестают быть свидетельствами истины абсолютной. Главное заблуждение протестантов «не в том, что они следуют чему-то ложному, а в том, что следуют одной истине, отвергая другую». Одним из примеров противоположных истин, приводимых Луниным, является следующее умозаключение: «Католическая церковь непогрешима — люди, к ней принадлежащие, грешны. Эти истины противоположны, но друг друга не исключают».

Истина и счастье не даются человеку в готовом виде, но могут быть обретены везде, где совершается необходимая внутренняя работа и где человек руководствуется высокими примерами церковной истории. В борьбе с собственными страстями, в очищении души от всего земного Лунин выковывал свою личность. И чем тяжелее становились внешние условия, тем ощутимее становились результаты: «Тело мое страдает в Сибири от холода и лишений, но дух, освободившийся от сих жалких пут, странствует по равнинам вифлеемским, делит с пастухами их бдение и вместе с волхвами вопрошает звезды. Всюду нахожу я истину и всюду — счастье».

Политические идеи М. С. Лунина освящались его религиозностью, а вера получала оправдание его политической деятельностью. При этом он никогда не связывал будущее благополучие России с распространением католицизма. Это привело бы к построению очередной религиозно-философской утопии. Между тем сознание Лунина глубоко реалистично. Осуждая зависимость религии от политики, он в то же время не стремится к установлению и обратной зависимости, что делает его мысль свободной и необычайно гибкой. Поиск истины для него важнее построения законченной идеологической схемы. Это рельефно выделяет лунинские идеи на фоне современных им религиозно-философских и социально-политических систем.

Четыре года длилось акатуйское заключение. Редкие письма, которые Лунину удавалось пересылать Волконским, свидетельствуют о том, что душевная бодрость и работоспособность его не покидали. В одном из писем к Марии Волконской он пишет о своей прекрасной физической форме: «Здоровье мое находится в великолепном состоянии, и силы мои вместо того, чтобы убывать, кажется, увеличиваются. Я поднимаю без усилия девять пудов одной рукой». Поэтому последовавшая вскоре смерть немолодого, но полного жизненных сил человека наводила современников и потомков на мысль о ее насильственном характере.

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ФОНВИЗИН:
*«Рабство есть главное условие
несовершенства нашего
общественного состава...»*

ВАДИМ ПАРСАМОВ

По биографии М. А. Фонвизина (1788–1854) можно не только изучать основные вехи российской истории конца XVIII — первой четверти XIX века, но и проследить генетическую связь «удивительного поколения» (А. И. Герцен) с их непосредственными предшественниками. Родной дядя Михаила Александровича, знаменитый драматург и политический деятель Денис Иванович Фонвизин, оставил после себя замечательный памятник раннего российского либерализма «Рассуждение о непременных государственных законах» — один из первых в истории России конституционных проектов. Этот документ после смерти автора перешел к его младшему брату Александру Ивановичу, а уже от него — к его сыну-декабристу. Благодаря Михаилу Фонвизину он получит распространение среди членов тайных обществ. Никита Муравьев, переработав «Рассуждения» в соответствии с новыми политическими условиями, сделает их одним из важнейших агитационных произведений декабризма.

Образование Михаила Александровича было типичным для дворянской интеллектуальной среды, из которой он происходил: сначала домашнее обучение, затем учеба в немецком Училище св. Петра в Петербурге, затем — в пансионе при Московском университете и, наконец, свободное посещение университетских лекций. С 1805 года, то есть с начала кампании против Франции, Фонвизин — участник всех военных походов, включая и русско-шведскую войну 1808–1809 годов. В перерывах между сражениями будущий молодой офицер прилежно и много читает. Среди любимых авторов — Монтескье, Рейналь и Руссо; позже, на следствии, он заявит, что именно у них заимствовал «свободный образ мыслей». Пройдя через все сражения, побывав во французском плену, куда он попал за месяц до окончания войны, Фонвизин вернулся на родину в чине полковника и в должности командира егерского полка. Отечественная война 1812-го и заграничные походы 1813–1814 годов придали его взглядам освободительную направленность.

1816 год открыл декабристскую страницу в биографии М. А. Фонвизина. Штабс-капитан его полка и член «Союза спасения» И. Д. Якушкин принял его в недавно созданное тайное общество. Через всю жизнь, включая двадцать семь лет заключения, каторги и ссылки, Фонвизин пронесет чувство благодарности Якушкину. Спустя много лет, досрочно покидая Сибирь, он поклонится в ноги своему старинному другу — за то, что когда-то тот «принял его в тайный союз». Как выяснится на следствии — и Фонвизин это сам подтвердит, — он был «в числе деятельнейших членов тайного общества». Его фамилию следователи поместят на первое место в списке членов Коренного совета «Союза благоденствия».

О специфике фонвизинского декабризма следует сказать несколько слов. В отечественной историографии много десятилетий велась бесплодная полемика о том, либералами или революционерами были декабристы. Теперь она потеряла актуаль-

ность. С современной точки зрения, в декабризме выделяются два направления. Одно ориентировано на заговор и захват власти, другое — на широкую филантропическую деятельность и организацию общественного давления на правительство. Впрочем, при необходимости и «филантропы» могли согласиться на насильственные меры по отстранению самодержца от власти, но они никогда не считали их ни главными, ни определяющими в своей практике. Фонвизин, для которого тайная история России XVIII века, с ее дворцовыми переворотами и политической изнанкой, составляла часть семейных преданий, негативно относился к любому насилию. В 1817 году он остужал пыл своего друга Якушкина, готового убить императора и себя вместе с ним. И позже он высказывался против цареубийства: «Ни в каком случае цель не освящает средства». Мечтая о конституционном строе и уничтожении рабства в России, Фонвизин принадлежал к тем, наиболее активным, членам «Союза благоденствия», которые не желали ждать, пока революционный переворот осчастливит всех, и предпочитали оказывать реальную помощь конкретным людям. На их языке это называлось «практической филантропией». Они собирали средства и выкупали талантливых крепостных крестьян, учили солдат в казармах читать и писать, предавали гласности случаи судебного произвола, а некоторые из них, как, например, И. И. Пущин, шли в судейские и судили людей по совести и закону. Об их честности ходили легенды.

В декабристской историографии утвердилось ошибочное представление, будто в январе 1821 года на московском съезде «Союза благоденствия» (который, кстати, проходил в доме Фонвизина), «Союз» был распущен и вместо него образовались Южное и Северное общества. Новые общества действительно возникли (правда, Северным и Южным их назовут позднее), но не вместо «Союза благоденствия», а параллельно с ним. На это время приходится одна из самых ярких акций в истории «Союза» и, пожалуй, в политической биографии Фонвизина. Неурожай 1820 года в ряде центральных губерний обернулся страшным голодом весной 1821-го. Крестьяне, по свидетельствам очевидцев, «ели сосновую кору и положительно умирали с голода». Власти, как всегда в подобных ситуациях, не могли ничего поделать. Тогда члены «Союза благоденствия» организовали сбор средств. Фонвизин, не добившись толка от московского генерал-губернатора Д. В. Голицына, вместе с Якушкиным отправился в районы бедствия и через знакомых помещиков, среди которых также нашлись члены «Союза», организовал реальную помощь пострадавшим. Характерно, что не факт голода, а помощь голодающим со стороны частных лиц вызвала обеспокоенность правительства. Министр внутренних дел В. П. Кочубей доносил царю: «Я слышал, что когда в Москве была открыта подписка для помощи крестьянам, то некоторые лица, вероятно с целью очернить правительство, пожелали пожертвовать большие суммы и подчеркнуть этим его мнимое участие». Александр I, уже получивший к тому времени донос на членов тайных обществ (имя Фонвизина упоминалось в нем едва ли не чаще других), сразу понял, чьих рук это дело. Размах филантропической деятельности пугал царя больше, чем угроза заговора: «Эти люди могут кого хотят возвысить или уронить в общем мнении; к тому же они имеют огромные средства; в прошлом году, во время неурожая в Смоленской губернии, они кормили целые уезды». Известный генерал А. П. Ермолов, у которого Фонвизин во время войны служил адъютантом, назвав его «величайшим карбонарием», заметил о царе: «Я ничего не хочу знать, что у вас делается, но скажу тебе, что он вас так боится, как бы я желал, чтобы он меня боялся».

В 1822 году Михаил Александрович, женившись на своей дальней родственнице Наталье Дмитриевне Апухтиной, вышел в отставку и поселился у себя в имении. Новое направление тайных обществ его не привлекало, хотя он по-прежнему продолжал считать себя членом «Союза благоденствия». Осенью 1825-го возобновились его кон-

такты с тайным обществом; он присутствовал на московском совещании, где обсуждалось намерение А. И. Якубовича убить царя. Фонвизин отнесся к этому замыслу резко негативно и, как показывал Н. М. Муравьев на следствии, готов был даже выдать его правительству, если бы поверил в его серьезность. Все московские декабристы с напряженным вниманием следили за событиями, вызванными кончиной Александра I. Когда восстание на Сенатской площади потерпело поражение и до Москвы дошли известия об этом, они еще на что-то рассчитывали, какое-то время им казалось, что не все потеряно. Как и многим членам тайных обществ, внезапная смерть царя представлялась Фонвизину благоприятным моментом для смены государственного строя, и это тревожное время они переживали вместе.

Его арестовали позже других. 30 декабря у следствия собралось достаточно доказательств о принадлежности Фонвизина к тайному обществу, но только 3 января было принято решение об аресте. Верховный уголовный суд так ничего и не смог инкриминировать обвиняемому, кроме того, что в его присутствии велись разговоры о царевубийстве, которое он никогда не одобрял. Но и этого оказалось достаточно, чтобы приговорить его к двенадцати годам каторги; позже срок сократили до восьми лет. Наталья Дмитриевна, оставив двоих детей матери, весной 1828 года приехала к мужу в Сибирь. По окончании каторги Фонвизины сначала были поселены в Енисейске, в 1835 году переведены в Красноярск и, наконец, в 1838-м осели в Тобольске, где провели пятнадцать лет. Здесь жизнь супругов, претерпевших немало трудностей и испытаний, вошла в нормальное русло. К неугасаемому чувству, которое их связывало, добавились материальный достаток, семейный очаг и т.д. В этот период, наполненный напряженной интеллектуальной работой, Михаил Александрович сформировался как политический и социальный мыслитель, публицист и историк. В его сибирских произведениях отчетливо противопоставляются две смысловые парадигмы: политическая и социальная. В рамках каждой из них одни и те же вопросы нередко имеют различное решение; в первую очередь это касается основной для декабриста, как и для многих отечественных мыслителей, проблемы «Россия и Запад».

В кругу политических сочинений Фонвизина главное место занимает «Обозрение проявлений политической жизни России», написанное на рубеже 1840–1850-х годов: «Много обдумывал я события, которые здесь представил». По жанру это сложный сплав исторического исследования, публицистического трактата и мемуаров. Внешним толчком к созданию «Обозрения» послужила «Философская и политическая история России» французов Эно и Шеншо. В основу их произведения, не имеющего самостоятельного научного значения и написанного не знающими русского языка авторами, легла «История России» Левека и французский перевод «Истории государства Российского» Карамзина. Вероятно, оно оживило в памяти Фонвизина старые споры декабристов вокруг карамзинской концепции русской истории: не случайно практически все «Обозрение» посвящено полемике с запиской Карамзина «О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях». Главная идея записки, как известно, заключается в утверждении самодержавия как спасительной силы российской истории: «Россия основалась победами и единоначалием, гибла от разноразличия, а спасалась мудрым самодержавием». В «Истории государства Российского» и в цитируемой записке Карамзин исходит из того, что Древняя Русь со своими исторически сложившимися институтами «мудрого самодержавия» была вполне европейской страной и при этом отличалась большей самобытностью, чем вся послепетровская Россия — подражательная и мало похожая на европейское государство. Сохраняя в целом это противопоставление Древней Руси как европейского государства и новой России как идущей по ошибочному пути политического развития, Фонвизин насыщает его иным содержанием.

В политической истории России он выделяет три основных периода. Первый — домонгольский, когда «русские были на высшей степени гражданственности, нежели остальная Европа». Европейскому феодализму противопоставлена политическая и гражданская свобода России: «Общинные муниципальные учреждения и вольности были в древней России во всей силе, когда еще Западная Европа оставалась под гнетом феодализма». «Рабство политическое» и «рабство гражданское» возникли «постепенно и насильственно, вследствие несчастных обстоятельств». Под этими обстоятельствами подразумевается монголо-татарское нашествие. Но и после нашествия в стране сохранялось относительно свободное политическое устройство: «Дух свободы живуч в народах, которых он когда-нибудь одушевлял, не вовсе замер он и в наших предках даже и под игом татар».

Второй период русской истории определен как аристократический; это «подтверждается формулой, которою начинались все правительственные акты того времени: *бояре приговорили, и царь приказал*». Если древнее вече являлось, по Фонвизину, выражением воли *всего* народа, то боярская дума и земские соборы выражали интересы в первую очередь боярства. Но вместе с тем «бытие в России государственного собора, или земской думы, имеет характер чисто европейский — никогда ничего подобного не бывало у народов Азии, оцепенелых в своей тысячелетней неподвижности». Итак, Россия сначала опережала Европу, потом, отстав из-за монголо-татарского ига в сфере просвещения, еще какое-то время оставалась европейской страной в плане государственного устройства.

Настоящий деспотизм распространяется в третий исторический период, открывающийся петровскими преобразованиями. Европеизация страны, проводимая Петром, по мнению автора «Обозрения», была лишена внутреннего содержания и направлялась лишь на увеличение материальной силы государства. «Дух законной свободы и гражданственности был ему, деспоту, чужд и даже противен». В этом отношении «Петр Великий едва ли не уступает отцу своему, который, по крайней мере, оставил России Уложение — кодекс, и по сию пору имеющий силу».

Всю русскую историю от Петра I до восстания декабристов Фонвизин рассматривает как борьбу правительственного деспотизма со стремлением установить конституционное правление. Поэтому ключевые моменты послепетровской истории таковы: попытки верховников ограничить власть Анны Иоанновны при ее вступлении на престол, конституционный проект Д. И. Фонвизина «Рассуждение о непременных государственных законах», заговор против Павла I. События, связанные с «Рассуждением» Д. И. Фонвизина, его племянник излагает по семейным преданиям; в этом отношении его свидетельства приобретают характер исторического источника. Как своего рода попытка запоздалой реализации этого конституционного проекта излагается и убийство Павла I. В этом событии выделяются две линии. Одна связана с корыстными интересами дворянства, опасавшегося за свое личное положение, другая — с защитой интересов государства. Ее представляют организаторы заговора П. А. Пален и его идейный вдохновитель Н. П. Панин, племянник знаменитого Н. И. Панина. Им Фонвизин приписывает стремление ввести конституционное правление.

И, наконец, наиболее подробно в «Обозрении» рассмотрены либеральные начинания Александра I. Автор высоко оценивает моральные качества царя: «Нельзя не удивляться, что Александр, воспитанный бабкою своею, Екатериною II, зараженной неверием энциклопедистов, и посреди сладострастного и равнодушного к вере двора, всю жизнь свою сохранил религиозные убеждения и истинную набожность». Фонвизин не сомневается в его искренней приверженности к либеральным идеям своего времени и стремлении преобразовать «азиатскую деспотическую державу... в правильную европейскую монархию». Доказательство тому — серия политических мероприятий, начи-

ная с деятельности «Негласного Комитета» и до Варшавской речи 1818 года, в которой царем декларировалось намерение «даровать благотворное конституционное правление всем народам, вверенным провидением моему попечению».

Изменения во внутренней политике объясняются изменениями в политике внешней. Считая, что начало войны России против наполеоновской Франции в 1805 году не являлось необходимостью и было вызвано «честолюбивыми желаниями военной славы» молодого Александра, Фонвизин вместе с тем показывает, что во внешней политике вплоть до 1815 года он руководствовался либеральными идеями. Ситуация изменилась с образованием Священного союза и с возрастающим влиянием на русского царя политической системы Меттерниха. (Автор «Обозрения» так характеризует австрийского канцлера: «Один из самых хитрых и глубоких политиков, но абсолютист и аристократ в душе, враг политического прогресса и свободы народов».) Постепенно это влияние стало сказываться и на внутренней политике Александра I. Этим объясняется расхождение (превратившееся в противостояние) членов тайных обществ и правительства в России.

Декабризм рассматривается в книге как прямое продолжение реформаторских намерений царя: «в первые годы царствования Александра I он, конечно, не задумался бы объявить себя главою Союза благоденствия». Под «Союзом благоденствия» Фонвизин понимает тайное общество, возникшее в 1817 году вместо «Союза спасения» и существовавшее до 1825 года. Об изменениях, произошедших после Московского съезда «Союза благоденствия», говорится нарочито неопределенно, практически все сведено лишь к усилению конспирации: «Членам его предписано было поступать осторожнее в самой пропаганде, избегать всякой переписки по делам Союза, а ограничиваться одними устными сообщениями чрез путешествующих членов и вообще стараться покрывать существование Союза непроницаемою тайною». Восстания 14 декабря 1825 года в Петербурге и 29 декабря — 3 января 1825–1826 годов на юге Фонвизин склонен объяснять ситуацией междуцарствия, нелюбовью военных к великому князю Николаю Павловичу, т.е. довольно случайными или субъективными обстоятельствами, не связанными с предшествующим движением. В этом, как и в оценке декабризма в целом, автор почти полностью солидарен с М. С. Луниным и Н. И. Тургеневым. Для изложения именно такой версии событий у него, как и у его товарищей, имелись серьезные причины. Главная — нежелание мириться с тем, что потомство будет судить о них по тенденциозному «Донесению Следственной комиссии», сделавшей все, чтобы представить декабристов заговорщиками, не имеющими корней в родной истории и стремящихся исключительно к царевубийству. Опровергая эту точку зрения, Фонвизин, как Лунин и Тургенев, старается вписать декабризм в контекст русской истории и показать его связь с реформаторскими намерениями предыдущего царя. При этом он остается в рамках чисто политического решения проблемы свободы и соотношения России и Европы. Свобода для Фонвизина, как и в годы декабристского движения, ассоциируется в первую очередь с конституционным устройством государства, а Западная Европа — с нормальным путем политического развития. Политический же строй России признается аномальным, тяготеющим к восточному деспотизму. Этот взгляд малооригинален; более интересным представляется то, что вполне традиционные представления увязаны здесь с социальными вопросами, которым в декабристский период внимания практически не уделялось.

Почти все идеологи декабризма (пожалуй, за исключением одного Н. И. Тургенева) проекты социального переустройства России подчиняли проектам переустройства политического. В этом не следует усматривать какую-то ограниченность русских мыслителей и политиков александровской эпохи. Такого рода представления объясняются переходным характером революционного и постреволюционного периодов во всей

Европе. Социальные последствия Французской революции XVIII века, в отличие от политических, сказались не сразу. Бурная эпоха Наполеоновских войн, тяжелый и во многом неясный период Реставрации, сопровождавшийся быстрой сменой политических курсов и программ, — все это замедляло установление стабильного порядка. Только Июльская революция 1830 года позволила увидеть новые социальные проблемы и поставить их в центр общественной мысли. Именно с этого времени социализм как идейное течение быстро распространяется по Западной Европе и начинает проникать в Россию. Живущий в Сибири декабрист не остался в стороне от этих новых веяний. Его изолированное положение, конечно, замедляло знакомство с новейшими социальными теориями, зато он был более свободен в их оценках и анализе.

В статье Фонвизина «О коммунизме и социализме» (1849–1851) дано иное, по сравнению с его же «Обозрением политической жизни в России», понимание проблемы «Россия — Запад». Если в политическом и гражданском отношениях самодержавная и крепостническая Россия отстает от конституционной Европы, то в социальном плане у нее имеются определенные преимущества, объясняемые различием исторических путей России и Европы. В результате изучения современного ему устройства европейских государств и чтения социальной литературы Михаил Александрович приходит к выводу, что установление политических свобод само по себе не гарантирует ни справедливого внутреннего устройства, ни социальной стабильности. Его отношение к социалистическим и коммунистическим идеям двойственно. С одной стороны, он согласен с критикой современного буржуазного строя: «Нельзя не признать основательными упреки их, что везде общество находится не в нормальном состоянии, что интересы страждущего большинства во всех землях принесены в жертву благосостоянию меньшего числа граждан, которые, по положению своему в обществе, богатству, образованности, если не по праву, то существенно составляют высшее сословие, участвующее в правительстве и имеющее решительное влияние на законодательную, исполнительную и судебную власти». С другой стороны, позитивная часть социалистического учения, направленная на преобразование общества, вызывает у него скепсис: «Это несбыточные мечты-утопии, которые не устоят перед судом здравой критики».

Эпиграфом к статье взяты слова В. Гюго: «Если вы хотите победить социализм, то лишите его смысла существования». Иными словами, Фонвизин, понимая гибельный путь социализма, предлагает не бороться с ним репрессивными мерами, а устранить его исторические причины. Питательную среду для распространения социалистических идей, представляющей главную угрозу социальному порядку, Фонвизин видит в европейском пролетариате: «Пролетарии — эти жалкие бездомники, по большей части почти без религии, без правил нравственности, почти одичавшие... ненавидя настоящий порядок общества, не обеспечивающий ни их настоящее, ни будущее, только и жаждут ниспровержения всего существующего, надеясь в социальном перевороте обрести улучшения своей бедственной участи». Генезис европейского пролетариата усматривается в феодализме, точнее, в истории развития феодальных городов, пользовавшихся относительной свободой и внутренним самоуправлением и предоставлявших убежище селянам от притеснения их со стороны феодальных сеньоров. Попадая в города, эти люди, лишённые собственности, становились городской чернью. В их среде и зародился современный пролетариат.

В России феодализма не было, и сельское население, живущее общиной, всегда преобладало над городским. Следовательно, в России нет почвы для образования пролетариата. «Странный, однако, факт, может быть, многими и не замеченный — в России, государстве самодержавном и в котором в большом размере существует рабство, находится и главный элемент социалистических и коммунистических теорий (по словице: *les extrêmes se touchent* [крайности сходятся, фр.]) — это право общего вла-

дения землями четырех пятых всего населения России, т.е. всего земледельческого класса: факт чрезвычайно важный для прочности будущего благосостояния нашего отечества».

Для Фонвизина община — способ избежать социалистических преобразований. Подобно тому как прививка содержит в себе гомеопатические дозы того вируса, от которого ее делают, община «защищает» организм русского народа от заражения его коммунистическими идеями. То, что на Западе социалисты пытаются создать искусственным путем, в России существует в естественном, историческом виде. Таким образом, если главная проблема Европы заключается в том, чтобы избежать социалистической революции, главная проблема социального переустройства России по-прежнему заключается в отмене крепостного права.

Происхождение крепостного права Фонвизин, вслед за профессором Дерптского университета И. Ф. Г. Эверсом, относит к эпохе монголо-татарского нашествия: «Крепостное состояние земледельцев в России есть одно из тех мрачных нравственных пятен, которые наложены на наше отечество в бедственную эпоху монгольского владычества». Это ошибочное положение привело и к тенденциозному истолкованию законодательства Московской Руси (Судебники 1497 и 1550 годов) как направленного на облегчение участи крестьян путем предоставления им права свободного перехода в Юрьев день от одного помещика к другому. В действительности же речь шла не о раскрепощении, а о закреплении крестьян. Однако для Фонвизина, считавшего, что крепостное право может и должно быть отменено только сверху, важно найти прецеденты в родной истории. Утверждая, что «крестьяне окончательно прикреплены к земле» в царствование первых Романовых — Михаила и Алексея, — он объясняет это не только действиями правительства, но и «тем апатическим равнодушием, до которого доведен был народ продолжительным рабством под игом татар».

Полагая, что «рабство есть главное условие несовершенства нашего общественного состава», Фонвизин разрабатывает программу отмены крепостного права, явно рассчитанную на правительство Николая I. Судя по всему, со времен, предшествующих декабристскому восстанию, в его взглядах на проблему освобождения крестьян произошли существенные изменения. Большинство идеологов декабризма видели решение крестьянского вопроса в чисто политической плоскости. По их мнению, достаточно объявить крестьян свободными, чтобы сами собой установились справедливые социальные отношения и Россия превратилась в развитую экономическую страну. Отсюда проекты и попытки безземельного освобождения крестьян Н. М. Муравьева, Н. И. Тургенева, И. Д. Якушкина. Пожалуй, один только Пестель понимал, что решение крестьянского вопроса лежит как в политической, так и в социальной сфере.

Освобождению крестьян, считает Фонвизин, должны предшествовать социальные преобразования в деревне, проведенные правительством. Понимая, что освобождение крестьян с землей может задеть имущественные интересы дворянства, он предлагает ряд мер, способных, по его мнению, компенсировать дворянству материальные потери, а также обеспечить «сохранение его политического значения». Правительству следует, в продолжение известного времени, «скупить по вольной цене всех находящихся в дворянском владении крестьян и дворовых людей с землями, на которых они поселены». Гарантией того, что освобождение крестьян не приведет к массовой пауперизации, служит общинное землевладение. «Упрочится навсегда благосостояние многочисленного класса земледельцев уравнением купленных крестьян с государственными, имеющими в России общественное право владения землями, принадлежащими не частным лицам, а государству: важное, существенное преимущество нашего отечества пред другими европейскими народами, изнемогающими под бременем многолюдного класса бездомников (*prolétaires*)».

В общине бывший декабрист видел средство избежать революционных потрясений и тем самым продемонстрировать миру особый русский (и, шире, — славянский) путь развития. Полемизируя с Гегелем, отказавшимся, как известно, признать за славянскими народами право считаться историческими, то есть участвующими в мировом историческом движении, Фонвизин, как ему казалось, нашел для них *raison d'être* в общинном устройстве. Отсюда его идея панславизма: «Может быть, так называемый панславизм, о котором с таким пренебрежением отзываются немцы и французы, не есть порождение фантазии и не пустая мечта, как многие из них утверждают». Однако при этом он не только избежал крайностей славянофилов, но и вступил с ними в полемику. В статье «О подражании русских европейцам», написанной не ранее 1852 года, Фонвизин обратил внимание на то, что либерализация политического режима в России всегда сопровождалась ориентацией правительства на Европу: «Из русских государей Екатерина II и Александр I более всех дорожили мнением Европы и увлекались духом подражания, и зато сколько полезных и блистательных явлений ознаменовали эти два царствования, сколько славного совершилось в них!» Этому противопоставляется николаевское царствование с его «официальной народностью» и критическим отношением к европеизму. Не отделяя славянофилов от теоретиков «официальной народности», автор статьи, в качестве курьеза, показал немецкие истоки их доктрины: «Это есть запоздалое заимствование — подражание немцам, которые в эпоху освобождения Германии от ига Наполеонова с таким жаром толковали о своей народности (*Volkstum*), в стихах и в прозе выхваляли феодальный быт средних веков, проклинали влияние Франции на Германию и страсть немцев, особенно прирейнских, подражать французам. Стало быть, те, которые восстают против подражания иностранному, сами увлекаются духом его, невольно подражая примеру немцев».

Россия, по мнению Фонвизина, достаточно самобытная страна, чтобы пострадать от подражания европейцам. Сам процесс подражания, свойственный юношескому возрасту, как отдельного человека, так и национальных культур в целом, является необходимым историческим этапом. И в этом смысле Петр I принес «России более пользы, нежели вреда». Дальнейшая европеизация русской монархии должна неизбежно привести к отмене крепостного права.

Таким образом, выстраивается сложная система политико-социальных отношений России и Европы. В политическом плане у России нет иного пути, чем у Западной Европы, и на этом пути она явно отстает от конституционных режимов Запада. В социальной же сфере у России свой особый путь, обладающий потенциальными преимуществами перед Западом. Это община, сохранение которой в перспективе позволит избежать как появления пролетариата, так и распространения социализма и коммунизма.

В сочинениях Фонвизина выделяется еще один очень важный для него пласт религиозных идей. Религии отводится значительная роль в социальном переустройстве общества. Христианская церковь, особенно первых веков ее существования, по Фонвизину, являлась своего рода социалистической общиной — «святым коммунизмом». В этом смысле христианизация европейской жизни могла сыграть роль той же прививки, что и община — против «заражения» общества социалистическими утопиями. Однако мыслитель прекрасно понимает невозможность повсеместного распространения «святого коммунизма», на который «способны только избранные, облагодатствованные души или отрeksiвшиеся от мира отшельники, заключавшиеся от мира в монастырских стенах, а не целый народ». Чтобы показать различие между «христианином иерусалимской церкви» и «нынешним коммунистом», Фонвизин приводит остроумное замечание одного архиерея: «Первый говорил брату: *все мое — твое*, а коммунист: *все твое — мое*». Однако надежд на то, что современная церковь способна совершить христианский переворот, нет: «У нас перед глазами не пастырь, а волк в пастырской

одежде». Ограниченности существующих конфессий, будь то католичество или православие, их неспособности удовлетворять духовные потребности людей Фонвизин противопоставлял мистическую идею «высшей, невидимой, внутренней церкви, состоящей в прямом общении с церковью небесной». В этом отношении он надеялся на секты с их ограниченным кругом приверженцев и высокими нравственными требованиями: «И в наше время существует благоустроенный коммунизм в известном религиозном обществе моравских братьев, или генгуторов, которых колонии находятся в разных странах старого и Нового света».

Католицизм и православие представляются Михаилу Александровичу двумя ошибочными путями. Впрочем, это касается не только религиозной сферы, но и вообще европейского и русского путей развития, взятых в их целостности. Прогрессивный в политическом отношении Запад испытывает серьезные трудности в социальной сфере. Отсталая в политическом развитии Россия имеет условия для будущего нормального социального развития. Религия — это своего рода благотворный синтез социальной и политической сфер. Когда идеи социализма и коммунизма перестанут быть орудием политических махинаций, и сами политические системы исчезнут, и «не будет ни монархий неограниченных, ни конституционных и т.д., а царствовать будет один Бог: будет истинная теократия, которой прообразом была израильская и первенствующая церковь, — тогда церковь и человеческое общество будет одно».

Таким образом, идеал Фонвизин видит не в политических или социальных преобразованиях самих по себе, а в их соотношении с распространением «духа Христова». «Царствие Божие настало в некоторых душах, а не мире, а оно должно настать по обетованию, — и мы, по завету самого Спасителя, должны молиться: да придет оно как на небеси, так и на земли».

В отличие от М. С. Лунина, который своими сибирскими сочинениями лишь дразнил правительство, или Н. И. Тургенева, который стремился оправдаться, Фонвизину важнее было нащупать точки соприкосновения между собственными взглядами и политикой Николая I. С момента поселения в Тобольске он не терял надежды на возвращение в Европейскую Россию и готов был даже отправиться на Кавказ. Однако, несмотря на многочисленные обращения его родственников к царю и даже покровительство тобольского генерал-губернатора П. Д. Горчакова, в его положении никаких изменений не происходило. Только в 1853 году разрешено было ему вернуться домой и жить под надзором в поместье Марьино. Возвращение на родину оказалось безрадостным. К этому времени умерли оба сына Фонвизиных, оставшиеся в России на воспитании брата Ивана Александровича. Сам приезд в Москву омрачился смертью брата, который фактически выхлопотал ссыльному декабристу Высочайшее прощение. В Марьине Михаилу Александровичу было суждено прожить всего одиннадцать месяцев. Он скончался 30 апреля 1854 года.

ИВАН ДМИТРИЕВИЧ ЯКУШКИН:
«Развернуть в человеке способность мышления, а значит, и политического самосознания...»

НИНА МИНАЕВА

Ключом к постижению облика декабриста Ивана Дмитриевича Якушкина (1793–1857) как нельзя лучше служит короткая пушкинская характеристика:

Меланхолический Якушкин,
Казалось, молча обнажал
Цареубийственный кинжал...

Но «кинжал» — лишь одна грань его политической позиции. Другой современник — В. А. Жуковский — с присущим ему широким просветительским взглядом, окрашенным религиозным мирозерцанием, дал более усложненную характеристику: «Я читал письма Якушкина к жене и детям из Ялutorовска, и читал их с умилением, и спрашивал себя: этот заблужденный Якушкин, который когда-то произвольно вызвался на убийство и который теперь так христиански победил судьбу земную, дошел ли бы он до этого величия другой дорогою?»

И. Д. Якушкин родился в 1793 году и происходил из старинного польского рода. Его мать, Прасковья Филагриевна (в девичестве Станкевич), умерла вскоре после рождения сына. Рано скончался и отец — Дмитрий Андреевич Якушкин. В раннем детстве Иван воспитывался дома, а с 1808 года — в пансионе профессора Московского университета А. Ф. Мерзлякова. В том же году он был зачислен в число студентов Московского университета на словесный факультет, где слушал лекции по теории словесности Мерзлякова и по международному праву — Л. А. Цветаева. Сохранились его записи цветавских лекций о правах знатнейших древних и новых народов.

Сведения о студенческой жизни Якушкина скудны. Из формулярного списка узнаем: «По-русски и по-французски читать и писать умеет, географии, математике и истории знает». Достоверно известно, что в университете он был знаком и даже дружен с А. С. Грибоедовым (М. В. Нечкина предположила, что именно Якушкин послужил прототипом Чацкого в комедии «Горе от ума»).

В самом конце 1811 года молодой человек поступил подпрапорщиком в лейб-гвардии гусарский Семеновский полк. Оценивая события, с которых и начинаются его знаменитые «Записки», Якушкин прежде всего считает нужным подчеркнуть, что «война 1812 года пробудила народ русский к жизни и составляет важный период в его политическом существовании. Все распоряжения и усилия правительства были бы недостаточны, чтобы изгнать вторгшихся в Россию галлов и с ними двенадцать языщ, если бы народ по-прежнему остался в оцепенении».

О жизни в армии свидетельствует его «Дневник», вернее, отрывки из него, сохранившиеся в семейном архиве. Первые фрагменты относятся к начатому 9 марта 1812 года походу Семеновского полка к западной границе, навстречу уже надвигавшейся

армии Наполеона. Упомянуты товарищи по походу: М. И. Муравьев-Апостол, братья Михаил и Петр Чаадаевы, князя И. Д. Щербатов, С. П. Трубецкой... Это узкая дружеская группа, члены которой, проникнутые молодым критицизмом, сыграют немалую роль в истории России.

Иван Дмитриевич участвует в сражениях при Бородине, Тарутине, Малоярославце, а в заграничном походе — при Люцене, под Кульмом и Лейпцигом. Вместе с полком он вступает в Париж. Посленаполеоновской Европе посвящены несколько документов, принадлежащих перу Якушкина. Обращает на себя внимание «План статьи о Французской революции и Наполеоне», датированный августом 1814 года. Набросок сделан по живым следам отшумевших военных и политических событий. Сопоставляя его со свидетельствами о тех же событиях в «Записках», можно зафиксировать важные вехи в становлении политических взглядов их автора.

Иллюзии, которые питали офицеры-победители относительно императора Александра, покорившего Париж, рассеялись в прах в родном отечестве. Живописный эпизод запечатлен на страницах «Записок»: «Наконец показался император, предводительствующий гвардейской дивизией, на славном рыжем коне, с обнаженной шпагой, которую он готов был опустить перед императрицей. Мы им любовались; но в самую эту минуту почти перед его лошастью перебежал через улицу мужик. Император дал шпоры своей лошади и бросился на бегущего с обнаженной шпагой. Полиция приняла мужика в палки... Мы не верили собственным глазам и отвернулись, стыдясь за любимого нами царя. Это было первое во мне разочарование на его счет».

Наблюдения европейских форм жизни, резкий контраст с заскорузлыми российскими порядками уже тогда выработали у Якушкина оппозиционные настроения. Какого рода были эти настроения, можно судить по «Плану статьи о Французской революции». Молодой автор настроен в пользу легитимизма; он — сторонник монархии, но монархии, ограниченной конституцией; он порицает «тиранию» якобинцев и узурпацию власти Наполеоном. Однако совершенно явственно выступают требование отменить крепостное право — «главную язву» отечества — и внимание к конституционным проектам революционной и послереволюционной Франции (некоторые из них послужили впоследствии прототипами декабристских конституций).

К 1815 году в Семеновском полку, где служил Якушкин, сложилось своеобразное офицерское сообщество — «артель». Подобные объединения («Священная артель» офицеров Генерального штаба, «Орден русских рыцарей» М. А. Дмитриева-Мамонова и М. Ф. Орлова, Кишиневский кружок В. Раевского и др.) постепенно превратились в преддекабристские организации и положили начало созданию тайных обществ в русской армии. «Офицерская артель Семеновского полка» объединяла друзей-единомышленников: самого Якушкина, братьев Матвея и Сергея Муравьевых-Апостолов, С. П. Трубецкого, И. Д. Щербатова. Они серьезно обсуждали политические события, внимательно читали и анализировали иностранные газеты, что выделяло их из обычных дружеских собраний офицеров. Вскоре, однако, последовал царский запрет, и «офицерская артель» прекратила свое существование.

Якушкин перешел в 37-й егерский полк, которым командовал полковник М. А. Фонвизин, племянник знаменитого писателя Дениса Фонвизина — соавтора (вместе с Никитой Паниным) первой русской Конституции. Михаил Фонвизин был известен в армии как отличный офицер. Позднее, возмущенный порядками в армии, он вышел в отставку в чине генерал-майора. Вместе с Якушкиным участвовал в декабристских тайных организациях, а в Сибири продолжал глубоко уважать Якушкина и черпал мужество у этого незаурядного и стойкого человека.

Якушкин рассказывает в своих «Записках» об одном дружеском собрании (9 февраля 1816 года): «Трубецкой и я, мы были у братьев Муравьевых-Апостолов, Матвея

и Сергея; к ним приехали Александр и Никита Муравьевы с предложением учредить тайное общество, целью которого стало бы составить „благо России в обширном смысле“. Учрежденное общество стало известно под именем «Союза спасения»; вскоре в него вошли адъютанты графа Витгенштейна Пестель и Бурцев. Павлу Пестелю и было поручено написать Устав общества. В нем следовало оговорить прежде всего два положения: все ключевые должности военной и гражданской службы по возможности замещаются членами Тайного общества; если царствующий император не даст прав независимости своему народу, ни в коем случае не присягать его наследнику, не ограничив предварительно его самодержавие. Устав, несколько перегруженный масонской ритуалистикой, был готов к 1817 году, когда организация получила новое название — «Общество истинных и верных сынов Отечества».

Это время занимает особое место в становлении политических взглядов молодого Якушкина. В конце семнадцатого года царская семья отправляется в Москву. Еще в августе сюда начала прибывать гвардия, и в числе первых батальонов был начальник штаба генерала Розена — Александр Муравьев, учредитель «Союза спасения».

В Москве оказалось большинство членов тайного общества. Их собрания становились все более многолюдными, разгорались жаркие споры. Обычно друзья собирались у Михаила Фонвизина в его родовом доме или у Александра Муравьева в Хамовнических казармах. Для И. Д. Якушкина перекрестком судьбы стал все более энергично обсуждаемый вопрос о возможности цареубийства.

Координаты этого рокового сочетания — «Якушкин и цареубийство» — были как внешними, так и внутренними. Внешние определило письмо Сергея Трубецкого из Петербурга в Москву товарищам по Тайному обществу. Он сообщал, что русский царь даровал Конституцию Польше вопреки несвободе, царящей в России. В разгоряченном воображении Трубецкого, страдающего за судьбу России, рисовались картины попрания прав его отечества, возможное отторжение исконно русских земель в пользу Польши, перенос столицы Империи из Петербурга — в Варшаву. Тогда-то участники тайных совещаний в Москве и решили, что «для предотвращения бедствий, угрожающих России, необходимо прекратить царствование императора Александра».

Нетерпение, желание приблизить развязку усугублялись гнетущей общественной атмосферой. Переход царизма к откровенной реакции во время «аракчеевщины», правительственное давление в духовной жизни, засилье иезуитов на самых высоких постах в государственном аппарате, военные поселения, лежащие тяжелым грузом на плечах и без того задавленного крестьянства, — все это до крайности раздражало пылких заговорщиков. Среди нескольких энтузиастов, вызвавшихся исполнить акт цареубийства, сильнее других звучал голос Якушкина.

Разумеется, эта идея не была спонтанным порывом, душевным всплеском. Она носилась в воздухе и на более ранних этапах истории декабризма. В 1815 году возник проект Михаила Лунина: отрядом в масках встретить царя на Царскосельской дороге и напасть на него. Сам акт цареубийства не имел самодовлеющего значения — он лишь создавал ситуацию междоцарствия, дающего юридическое право на восстание, так как прерывалась присяга, данная монарху верноподданными.

Но и в 1817 году идея цареубийства не получила поддержки в декабристской среде. Отговорить Якушкина, однако, оказалось не так просто; М. А. Фонвизин употребил на это немало сил. Иван Дмитриевич заверял, что в его намерении нет безнравственного оттенка, что его план — не убийство, а поединок. «Я решил, — вспоминал он позже, — по прибытии Александра отправиться с двумя пистолетами к Успенскому собору и, когда царь войдет во дворец, из одного пистолета выстрелить в него, из другого — в себя. В таком поступке я видел не убийство, а только поединок на смерть обоих».

И все-таки реакция товарищей заставила Якушкина отказаться от своего замысла. К этому времени он вышел из Тайного общества. Между тем история тайного революционного движения вступила в новую фазу. Созрело намерение распустить организацию, о которой стало известно царю, и через год создать новую — формально на легальных началах, а по существу содержащую «сокровенную» цель уничтожения самодержавия и крепостничества. Такой организацией стал «Союз благоденствия», во многом воспроизводивший устав и принципы деятельности «Тугендбунда» — «Союза добродетели», созданного в Пруссии по инициативе прусского канцлера Штейна для сотрудничества с королевским правительством в период борьбы с Наполеоном. Русский «Союз благоденствия», усвоив и обогатив просветительскую сторону «Тугендбунда», имел скрытую радикальную часть, предусматривающую государственный переворот «посредством действия войск». Однако перевороту должен был предшествовать двадцатилетний период подготовки общественного мнения России.

Устав «Союза благоденствия» — «Зеленую книгу» — Якушкин хорошо знал, но, вероятно, в «потаенную цель» организации, скрытую для рядовых членов, посвящен не был. От этого, по-видимому, и проистекал его общий скептицизм. Правда, отход от товарищей по Тайному обществу оказался непродолжительным. В 1818 году Никита Муравьев познакомил его с Пестелем. Не устояв перед силой ума и убежденности признанного лидера Тайного общества, Иван Дмитриевич дал согласие на новое вступление в общество. Он признавал, что Пестель «всегда говорил умно и упорно, защищал свое мнение, в истину которого он всегда верил, как обыкновенно верят в математическую истину... Один раз доказав себе, что Тайное общество — верный способ для достижения желаемой цели, он с ним слил свое существование». Дальнейшая судьба Якушкина отныне прочно и навсегда слилась с деятельностью тайных организаций.

Выйдя в 1818 году в отставку, Иван Дмитриевич решил заняться одним из мучивших его вопросов — судьбой собственных крепостных крестьян. Он был небогатым дворянином, ему принадлежали всего 120 душ на разоренной наполеоновским нашествием Смоленщине. Еще в 1816-м он попытался освободить крестьян в своем имении Жуково Рославльского уезда. «В то время, — вспоминал он впоследствии, — я не очень понимал, как это можно устроить, ни того, что из этого выйдет; но, имея полное убеждение, что крепостное состояние — мерзость, я был проникнут чувством прямой моей обязанности освободить крестьян, от меня зависящих». В 1819 году, снова отправившись в имение с желанием облегчить участь своих крестьян, он уменьшил величину барской запашки и отменил ряд поборов.

Занявшись «крестьянским вопросом», Якушкин руководствовался в первую очередь этическими мотивами, полагая личную свободу человека естественным правом любого своего соотечественника. Но задумывался и об экономической эффективности, стараясь сделать труд крестьян рентабельным. Он выработал целую программу, которая оставалась одним из самых радикальных и последовательных вариантов решения крестьянского вопроса до появления развернутых программ Северного и Южного обществ декабристов.

На основе действующего Указа о вольных хлебопашцах 1803 года Якушкин предложил освободить крестьян, но, в отличие от царского указа, не за выкуп, а безвозмездно. Кроме того, он считал необходимым предоставить им «их имущество, строение и землю, находящуюся под усадьбами, огородами и выгонами». Всю остальную землю помещик оставлял за собой, предлагая половину из нее обрабатывать вольнонаемным трудом, а другую — отдать в аренду своим же крестьянам. В проект входило и предложение крестьянской общине выкупать пахотную землю.

Переписка Якушкина с Министерством внутренних дел и самим министром О. П. Козодавлевым, личной встречи с которым он с большим трудом добился, не при-

несла никаких результатов. Да и собственные крестьяне не смогли понять добрых намерений барина. На их вопрос, чьей же будет земля в результате их освобождения, Иван Дмитриевич объяснял, что пашенная земля останется за ним. И крестьяне отвечали: «Ну так, батюшка, оставайся все по-старому: мы будем — ваши, а земля — наша». Однако натура Якушкина не могла примириться с существованием бесправия — вся его дальнейшая деятельность была направлена на разрушение крепостничества и борьбу за свободу.

В 1824–1825 годах И. Д. Якушкин, проживая попеременно в Москве и Жукове, всерьез увлекся философскими проблемами, собрав вокруг себя единомышленников. В этот «кружок метафизиков» входили И. А. Фонвизин, И. Д. Щербатов, П. Х. Граббе, Н. И. Тургенев, М. И. Муравьев-Апостол. Особые отношения сложились с П. Я. Чаадаевым, активная философская переписка с которым продолжалась многие годы.

Неожиданная смерть императора Александра в декабре 1825 года резко меняет обстановку. Вместе с М. А. Фонвизиным Якушкин замышляет поднять московское восстание в поддержку Петербургу. Между тем в Москву прибывает генерал-адъютант Комаровский с решительным приказом привести к присяге Москву в Успенском соборе Кремля. Иван Дмитриевич демонстративно отказывается присягать новому императору. 10 января 1826 года его берут под арест.

Следствие и суд над декабристами стали беспрецедентным политическим процессом в России. При почти полном отсутствии серьезных навыков конспирации, обремененные условностями дворянской чести и морали подследственные были беззащитны и доверчивы, чем безгранично пользовались высокопоставленные следователи во главе с императором Николаем. Лишь протоиерей Казанского собора П. Н. Мысловский, принимавший исповедь у заключенных, единственный из официального окружения обратился к «государственным преступникам» с искренним словом сочувствия и сострадания. Он растрогал даже неслегкаемого Пестеля, просившего «благословить его в последнюю дорогу». Якушкин доверился Мысловскому и вел через него переписку с родными; от него же он узнал об участии своих товарищей.

12 июля 1826 года Иван Дмитриевич наконец впервые увидел своих друзей в Верховном уголовном суде. Капитан Якушкин отнесен был к 1-му разряду виновных и был сначала приговорен к смертной казни отсечением головы. Затем последовала замена смертной казни двадцатилетней каторгой и ссылкой на поселение. Позже срок каторги был сокращен до пятнадцати лет. После объявления приговора Якушкина с товарищами подвергли гражданской казни — о его голову была сломана шпага. Он отправился в Финляндию, в крепость Роченсальм, а оттуда на остров Форт-Слава. На дороге, в 1827 году, был получен приказ о переводе его в Сибирь. В Ярославле, закованный в кандалы, Иван Дмитриевич увиделся последний раз с женой и своими малолетними сыновьями.

В Сибири Якушкина сначала встретил Читинский острог со всеми тяготами каторжной жизни. Потом — Петровский Завод; к 1830 году там закончилась постройка полуказарм, куда поместили сосланных декабристов. Заключенные зажили артелью: дружеская взаимная поддержка, душевное участие живущих рядом жен-декабристок, самоотверженно помогавших «государственным преступникам», позволяли переносить, казалось, невозможное.

Около двадцати изданий периодической печати получали ссыльные в Петровском Заводе — их общая библиотека насчитывала более шести тысяч книг. Страсть к занятиям особенно реализовалась на поселении, превратившись в действенное средство пропаганды и влияния на местное население. Члены артели прекрасно отдавали себе отчет, во имя чего они это делают: так создавалось «культурное основание» для будущего государственного преобразования России.

На поселение Якушкин попал в Ялуторовск Тобольской губернии, где прожил двадцать долгих лет. Именно там раскрылись новые грани уникального таланта этого человека.

И. Д. Якушкин приехал в Ялуторовск в 1836 году и застал ранее поселенных декабристов — бывших участников Южного общества В. К. Тизенгаузена и А. В. Ентальцева. Вскоре сюда перевели и старого товарища Якушкина Матвея Муравьева-Апостола. Через шесть лет к ним присоединились И. И. Пущин и князь Евгений Оболенский. Наконец, последним прибыл Н. В. Басаргин. «Нас здесь пятеро товарищей, — рассказывал Пущин Е. А. Энгельгардту, — живем мы ладно, толкуем откровенно, когда собираемся, что случается непременно два раза в неделю: в четверг — у нас, а в воскресенье — у Муравьева. Обедаем без больших прихотей вместе, потом или отправляемся ходить, или садимся за винт, чтобы доставить некоторое развлечение нашему старому товарищу Тизенгаузену, который и стар, и глух, и к тому же, может быть по необходимости, охотник посидеть за зеленым столом. Прочие дни проходят в занятиях всякого рода — умственных и механических... В итоге, может быть, окажется что-нибудь дельное: цель облегчает и освещает заточение и ссылку».

В семьях Ентальцева и Муравьева-Апостола бывали молодые учителя уездного училища, сами декабристы тоже посещали дома ялуторовских купцов, в особенности Н. Я. Балакшина: на его имя выписывали журналы, получали письма и деньги от родных. Но больше всего подружились декабристы со священником С. Я. Знаменским, выделявшимся из среды местного духовенства своими интеллектуальными запросами. Он и сыграл важную роль в создании ялуторовской школы.

Иван Дмитриевич жил замкнуто. С Ентальцевым и Муравьевым-Апостолом были их семьи, семья же Якушкина находилась за многие тысячи верст от него (лишь в 1850-х годах сыновья, потерявшие к тому времени мать, приехали к отцу в ссылку). С появлением в Ялуторовске священника Знаменского у декабриста окончательно сложился план организации народной школы с использованием «ланкастерского» метода обучения.

Возникла эта педагогическая система в противовес традиционной системе Песталоцци, требующей больших затрат и рассчитанной на небольшой круг учеников. Английские педагоги Ланкастер и Бельз предложили массовый метод взаимного обучения. Он позволял быстрее, дешевле и успешнее вооружить начальной грамотностью широкие слои населения. При подготовке того или другого курса вся масса учащихся распределялась по степени подготовки на несколько «классов» во главе со «старшими» учениками, которые обучали свою группу под наблюдением руководителя школы.

В ялуторовский период Якушкин стал рассматривать «ланкастерскую систему» более широко. «Осмыслить человека, — писал он в своем плане, — развернуть в нем способность мышления, а значит, и политического самосознания». Школа открылась за церковной оградой храма; разрешение от тобольского архиерея получили быстро: у Знаменского имелись налаженные связи с губернским центром и достаточный авторитет в глазах губернского духовенства.

Формально школа должна была «приготавливать детей священников и церковнослужителей, проживающих в городе и окрестностях, к поступлению в семинарию». Такая формулировка имела целый ряд преимуществ: она придавала ялуторовской школе бесспорный легальный статус, обеспечивала ей возможность расширять свою программу и защищала ее от нападков со стороны Министерства народного просвещения. Труднее оказалось обеспечить материальную сторону: Духовная консистория и губернские власти не предусматривали финансирование церковно-приходских школ. «Городское общество» Ялуторовска также было далеко от желания материально поддержать новое дело.

Приходилось ориентироваться на добровольные пожертвования. Особенное внимание Якушкин обратил на купечество. Крупный откупщик и заводчик И. П. Медведев, либеральный купец Н. Я. Балакшин откликнулись на просьбы и внушения энтузиаста. Медведев не ограничился денежными пожертвованиями: он предоставил в распоряжение школы целое здание, расположенное на его стеклоделательном заводе в селении Коптюле. Здание разобрали, перевезли в Ялutorовск, поставив в ограде собора, и приспособили к учебным занятиям. Денежные сборы производились и за пределами города: школе оказывали поддержку декабристы тобольской колонии.

Сам Якушкин приступил к выполнению ответственной задачи — составлению настенных «ланкастерских таблиц» и «вопросов для старших». Знаменский переписал их для употребления в школе, Муравьев-Апостол наклеивал их на картон, жена Ентальцева вязала шнурки и делала указки; польский повстанец Собаньский вытачивал вешалки. Одновременно Якушкин и Знаменский начали горячо пропагандировать свое начинание (и в городе, и в ближайших деревнях), чтобы обеспечить необходимое число учащихся.

К 7 августа 1842 года все приготовления завершились, и в этот день школа открылась для занятий. Сначала было шесть учеников и два преподавателя — сам Якушкин и законоучитель Знаменского. К концу года количество учащихся достигло сорока двух. Занятия происходили четыре раза в неделю по четыре часа ежедневно: два часа поутру и два — после обеда.

С этого времени, по рассказам ученицы Якушкина А. П. Сазанович, «все остальные занятия Ивана Дмитриевича отодвинулись на задний план». Он присутствовал на уроках, руководил работой «старших» учеников, систематически проверял знания и выступал в активной роли не только учителя, но и воспитателя. Школа помещалась в просторном одноэтажном здании с высокими и светлыми комнатами. Классное помещение оформили по ланкастерской системе: около стены на небольшом возвышении учительская кафедра; против нее, во всю длину комнаты — парты на несколько учеников каждая. Первые два ряда представляли собой неглубокие плоские ящики, засыпанные песком, снабженные палочками для писания и линейками для разравнивания песка; здесь сидели начинающие обучаться грамоте. Следующие два ряда имели аспидные доски с грифелями и губками для стирания; сюда садились более подготовленные. Последние ряды парт имели чернила и предназначались для «старших классов». Около стен располагались несколько железных полукругов, которые особыми крючками пристегивались к стенам петлями: сюда становились группы учащихся для устных занятий под руководством «старших». По стенам были развешаны таблицы, а венчал убранство самодельный глобус над кафедрой учителя.

В дни занятий классная комната наполнялась разновозрастными учениками, которых красочно описывает один из бывших воспитанников ялutorовской школы: «Каких только не было тут костюмов, начиная с франтовской курточки барича, сына губернского прокурора... до двух татарчонков с чисто выбритыми головами в своих национальных костюмах. Были два брата в казацких казакинах и босые; был тут и Васильев в разорванном халате и в сапогах с каблучками на манер бочоночков». Учились сыновья городских жителей, учились крестьянские дети из ближних и более отдаленных деревень. Бывали случаи, когда родители привозили сыновей из Кургана и даже из Тобольска.

Школа начала свою деятельность скромно: русская грамматика и латинский язык — для подготовки мальчиков к духовной семинарии. Постепенно Якушкин расширял программу: ввел арифметику, затем начатки геометрии, механику, географию и русскую историю, греческий язык, чистописание, черчение и рисование. Он настраивал учеников на получение естественно-научного образования и со временем ввел

преподавание ботаники и зоологии. Объем сообщаемого материала не мог уложиться в два года, и Якушкин сделал курс четырехлетним. Все предметы преподавались по методу «взаимного обучения». Ланкастерская система соблюдалась неукоснительно.

Иван Дмитриевич очень внимательно относился к каждому. Он не ставил себя в положение сурового мэтра; во время перемен не уходил от учеников, старался отвечать на их вопросы, затевал игры во дворе. Его нравственный облик оказывал на детей глубочайшее влияние. По воспоминаниям очевидцев, «дети его, мало того любили, просто обожали и нисколько не боялись». Рассказывает его ученица О. Н. Балакшина: «Весной, летом и осенью после занятий шли в поле, и Якушкин рассказывал на примере жизнь природы, так как он был хорошим ботаником».

Сохранились собственноручные конспекты Ивана Дмитриевича по ботанике и зоологии. Это извлечения из его научных записок, приспособленные для преподавания. Якушкин пользовался своим гербарием, демонстрировал изображения различных животных, давая их систематическое описание, разбирая их анатомическое строение, выявляя деление на «отделы» и «порядки», «классы» и «семейства». В школьную программу входило рисование животных и растений. Полевые занятия, ставшие решительным отступлением от ланкастерской системы, вносили живую струю в непосредственную связь между учителем и учениками, раздвигали кругозор учащихся.

Ялutorовская школа резко контрастировала с порядками в уездных и городских училищах. Отсутствие телесных наказаний ставило ее в совершенно необычное положение. Якушкин пользовался исключительно методами нравственного воздействия. Только в самых крайних случаях прибегали к высшей форме наказания: на провинившегося надевали «лентя», сделанного из бумаги и лент. А выдвинувшийся вперед школьник украшался похвальным ярлыком. Такое сочетание талантливых педагогических приемов делало школу привлекательной и любимой. «Дети собирались в школу как на праздник, — рассказывала А. Н. Сазанович. — Мы учились шутя и нисколько не считали трудом нашу науку».

Вскоре слава о ялutorовской школе разнеслась по всей Тобольской губернии. Количество учеников неизменно возрастало: к концу 1845 года здесь училось уже 102 человека. За пятнадцать лет, с момента открытия и вплоть до отъезда Якушкина, в школе перебивало 594 мальчика. Ежегодно поступало от 25 до 60 человек, оканчивали курс от 15 до 55 учащихся. Население Ялutorовска гордилось своей школой, и популярность Якушкина быстро выросла в глазах сибирского населения.

Однако формально положение Якушкина оставалось неустойчивым и даже опасным. В гражданском отношении он был бесправен — «государственный преступник», лишенный прав и сосланный на поселение. Закон запрещал ему не только руководить школой, но и давать частные уроки отдельным ученикам. Приходилось прибегать к помощи С. Я. Знаменского, который официально считался заведующим ялutorовским училищем. Это положение породило затяжную борьбу с уездной и губернской администрацией. 2 ноября 1842 года И. И. Пущин, всегда поддерживавший Якушкина, писал ему из Тобольска: «Вы нам ничего не говорите о Ваших школьных делах, между тем Михаил Александрович (Фонвизин. — Н. М.) стороной узнал, что снова было нападение от Лукина (смотрителя уездного училища. — Н. М.) и что по этому акту губернатор писал городничему о запрещении Вашей учебной деятельности.... Вывод из этого один: признавая в полной мере чистоту Ваших намерений, я, вместе с тем, убежден, что не иначе можно приводить их в действие, в нашем положении, как оставаясь за кулисами или заставляя молчать тем или другим способом тех, которые могут препятствовать. Во всяком случае легально нельзя доказать своего права быть Ланкастером в Сибири, и особенно когда педагоги уездные не заобидены рюмкой настойки».

Как раз в это время с ревизией в Западную Сибирь прибыл сенатор Н. Толстой, хорошо знакомый со многими декабристами, в том числе и с Якушкиным. Он оказал давление на тобольского губернатора, обеспечив Ивану Дмитриевичу временную «передышку». На унылом фоне сибирской жизни ялуторовская школа — «незаконное детище» сосланного декабриста — была отрадным явлением. В Ялуторовск началось истинное паломничество из разных уголков Tobольского края. Приезжали смотрители уездных училищ из Кургана, Ишима и Tobольска, командировались рядовые учителя для постижения ланкастерской системы. Даже директор местной гимназии, архиерей и губернатор Tobольска навестили школу. Впечатление оставалось неизменно благоприятным. В конце 1842 года смотритель Курганского уездного училища писал Знаменскому: «Господин директор, я от Вашей школы в восхищении, считаю ее образцовой не только в городе, но даже в Сибири... Радуюсь за Вас, радуюсь и тому, что дело правое торжествует и низкие доносы падают».

В мае 1846 года до И. Д. Якушкина дошло известие о смерти его жены Анастасии Васильевны Шереметевой. Под сильным впечатлением от этого события он решил, при поддержке С. Я. Знаменского, открыть новую, первую в Сибири женскую школу — в память о жене. Снова была развернута общественная пропаганда; декабристская артель приняла в кампании самое живое участие. Собрали деньги, и начались хлопоты перед тобольскими властями. С разрешения архиерея, под видом «духовного приходского училища для девиц всех сословий», женское учебное заведение заработало. Местная купчиха Мясникова дала большую сумму на постройку нового школьного здания. Сам Якушкин, руководствуясь своим четырехлетним опытом, разработал новую программу, снабдив ее дополнительными таблицами. К организации дела были привлечены женщины Ялуторовска — жена Матвея Ивановича Муравьева-Апостола и жена местного исправника Ф. Е. Выкрестюк.

Школа открылась 1 июля 1846 года: сначала в ней было только 25 учениц, но к 1850-му их стало уже 56. Сначала девочки обучались грамоте, затем проходили русскую грамматику, первую часть арифметики, краткий катехизис, географию и историю. Ввели и новые специальные предметы — рукоделие и французский язык. Для оправдания титула духовного училища преподавали и «священную историю», и «изъяснение литургии». Женская школа обратила на себя внимание Министерства внутренних дел, которое под давлением многочисленных ходатайств сосланных декабристов, в особенности М. А. Фонвизина, вынуждено было признать «полезность ялуторовской женской школы» и «определить на ее содержание по 200 рублей серебром ежегодно из городских средств». Якушкин пробивал дорогу женскому образованию в далеком сибирском захолустье, когда еще и в столицах Российской империи не стоял вопрос о допуске женщин к высшему образованию. И. И. Пущин с гордостью писал другу-декабристу Матвею Муравьеву-Апостолу: «Иван Дмитриевич с ланкастерией во главе моих рассказов об Ялуторовске».

Тем не менее опасность для существования ялуторовской женской школы сохранялась, усугубившись с переводом в Ялуторовск нового смотрителя уездного училища Абрамова. Он занял крайне враждебную позицию и начал писать доносы. Насколько тревожное создалось тогда положение, показывает письмо, отправленное Якушкину священником Знаменским 12 октября 1850 года: «Любезный друг, Иван Дмитриевич! На прошлых неделях стало ясно о затруднительном положении насчет ялуторовских наших училищ, которые приказано закрыть... меня призвал к себе архиерей... отношение мое с консисторией самое невыгодное... Пожалуйста, не оскорбляйтесь этим письмом — говорить и мне больно и вам слышать тяжело... Мысленно обнимаю Вас, поклонитесь от меня всем. Прощайте, будьте здоровы; знакомые Ваши кланяются. Письмо это истребите». Якушкину самому пришлось отправиться в Tobольск; тамош-

ние декабристы оказали ему самое энергичное содействие. Под их давлением директор тобольской гимназии Чигиринский перевел злобного Абрамова в Тюмень, заменив его более лояльным смотрителем.

Школы уцелели, но Якушкину строго-настрога запретили преподавать. К счастью, к этому моменту его детище уже достаточно окрепло. Усилиями Якушкина были подготовлены новые преподаватели: в мужском училище уроками руководил диакон Е. Ф. Седачев; в женском — только что окончившие курс ученицы: Августа Павловна Сазанович и старшая дочь купца Балакшина Анисья Николаевна. По свидетельству П. Н. Свистунова, за Якушкиным осталось заочное руководство школами, которое вполне обеспечивало успешное выполнение выработанного плана.

Однако наветы не прошли даром. В годы «николаевской реакции», после 1848 года, школа для мальчиков превратилась из серьезного образовательного центра в одногодичный подготовительный класс при уездном училище, что повлекло за собой немедленное сужение школьной программы. Детище декабриста не выдержало испытания судьбой. Подводя итог своей педагогической и просветительской деятельности, Иван Дмитриевич писал: «Несколько сот мальчиков из крестьян, мещан, солдатских детей, перебивавших в Ялutorовском духовном училище, читая сотни таблиц и писавши ежедневно со слов старшего или наизусть то, что они перед тем читали, научились порядочно читать, писать и считать, сверх того, во время пребывания своего в училище они очевидно осмыслились; но для них было бы несравненно полезнее научиться читать и писать и осмыслиться по таблицам, содержащим основные принципы предмета им более близкого по их положению и состоянию. Тогда приобретенные ими знания не пришлось бы им впоследствии забыть, как большая часть учеников забывает русскую грамматику и другие предметы, им преподаваемые в низших учебных заведениях».

Манифест императора Александра II от 26 августа 1856 года освободил декабристов из ссылки. Иван Дмитриевич возвратился на родину без права проживания в столицах. Спустя некоторое время сын Якушкина с большим трудом выхлопотал ему разрешение поселиться в Москве. Но декабрист этого не дождался: 12 августа 1857 года он умер на чужих руках в имении Н. Н. Толстого Новинки Тверского уезда.

...Все, к чему прикасалась рука И. Д. Якушкина, было отмечено обаянием его цельной, благородной натуры. «Читали ли Вы „Записки“ Ив. Дм. Якушкина? По краткости, ясности и правдивости — это лучшее из всех записок наших товарищей», — вспоминал М. А. Бестужев в 1869 году. А. И. Герцен считал эти «Записки» «шедевром» и неоднократно печатал фрагменты из них в своих лондонских изданиях.

ПЕТР АНДРЕЕВИЧ ВЯЗЕМСКИЙ:
«Что есть любовь к отечеству в нашем быту? — Ненависть настоящего положения...»

Евгения Рудницкая

«На политическом поприще, если бы оно открылось перед ним, он, без сомнения, был бы либеральным консерватором, а не разрушающим либералом». Это суждение о Пушкине принадлежит одному из его ближайших друзей — Петру Андреевичу Вяземскому (1792–1878), человеку, обладавшему, по убеждению Гоголя, «всеми теми качествами, которые должен заключать в себе глубокий историк в значении высшем». Формула, выведенная Вяземским для Пушкина, в полной мере приложима к нему самому. По масштабу личности, сознанию сопричастности судьбам России, блеску и остроте ума он должен быть назван среди наиболее ярких фигур пушкинского круга последекабристских десятилетий. Собственно, в не меньшей мере он принадлежал александровской эпохе. В его умонастроении с особой отчетливостью выявились общие истоки либерального консерватизма и декабризма: их генезис протекал в одной внутривнутриполитической ауре — правительственного либерализма.

Потомок старинного дворянского рода, князь П. А. Вяземский родился в Москве в декабре 1792 года. Его отец, Андрей Иванович Вяземский, принадлежал к верхам служилого дворянства: генерал-поручик, нижегородский и пензенский наместник, сенатор в Москве, он был человеком широких научных и литературных интересов. Мать — ирландка, урожденная О'Рейли. Петр Андреевич формировался в атмосфере французского Просвещения, в среде литераторов — постоянных посетителей родового подмосковного имения Остафьево, с его огромной библиотекой, содержавшей богатейшее собрание сочинений французских просветителей. Особое место в жизни Вяземского принадлежало Н. М. Карамзину (женатому на внебрачной дочери А. И. Вяземского), который подолгу жил в Остафьево и в 1807 году стал его опекуном.

Первоначальное образование Вяземский получил в Петербургском иезуитском пансионе, затем в Пансионе Главного педагогического института в Петербурге (1805–1807). В дальнейшем он обучался дома, под руководством профессоров Московского университета. Был зачислен юнкером в Московскую межевую канцелярию и в 1811 году получил звание камер-юнкера. 25 июля 1812 года вступил в ополчение; участвовал в Бородинском сражении, награжден орденом Станислава 4-й степени. Такова внешняя канва ранней биографии Вяземского. Ее духовную сторону открывает общение с участниками «Дружеского литературного общества» — одного из первых просветительских объединений, созданного Андреем Тургеневым и вобравшего в себя возникшие ранее кружки воспитанников Московского благородного университетского пансиона и Московского университета. Но Вяземский, занимая независимую позицию, создает собственный литературный кружок. Его прямое продолжение он увидел в возникшем в 1815 году в Петербурге «Арзамасском братстве неизвестных людей» — элитной группировке молодых литераторов, в число которых входили Жуковский и Пушкин.

«Дней Александровых прекрасное начало» давало резвящемуся «Арзамасу», с его шутками и отрицанием авторитарности, широкий простор. Объектом остроты равно делались как предметы весьма будничные, бытовые, житейские, так и отнюдь не безобидные, приближающиеся к области политической. Именно такой характер приобретало их неотвязное осмеяние шишковского «Общества любителей российской словесности», олицетворявшего консервативное начало в литературной жизни 1810-х годов. В Вяземском, который сблизился через «Арзамас» с Пушкиным и до конца дней поэта оставался его ближайшим другом, эта подспудная политическая направленность нашла своего яркого выразителя. «Надобно действовать, но где и как? Наша российская жизнь есть смерть. Какая-то усыпительная мгла царствует в воздухе, и мы дышим ничтожеством». Эти слова из его письма 1816 года к Ал. И. Тургеневу отражали умонастроение передовой дворянской общественности.

Стремление Вяземского взорвать «усыпительную мглу», разбудить русское общество оказалось целиком созвучным умонастроениям участников ранних декабристских объединений — Н. И. Тургенева, М. Ф. Орлова и Н. М. Муравьева, вступивших в «братство» в 1817 году. Поэтому он горячо откликнулся на выдвинутый ими проект учредить при «Арзамасе» журнал. Подготовленные Вяземским программа журнала и «Записка в правительство» основаны на идее прогресса как неукротимого движения народов к просвещению и на убеждении в первенствующей роли верховной власти при осуществлении этого движения. Однако реализовать свою историческую миссию власть может лишь при опоре на общественные силы — их сплочению и должно служить будущее издание: «В сей журнал входили бы все виды правительства до облачения их в закон. Сей журнал был бы не только отголоском, но и указателем правительства. Он приучил бы умы к умеренному и полезному исследованию вопросов, возбуждающих участие каждого русского как современника европейских событий и гражданина России».

Следует обратить внимание, что Вяземский делает акцент не на самостоятельности общественных сил; его ставка — на правительственный либерализм, дающий толчок развитию творческого потенциала общества. Журнал создает общественную базу для реформистской деятельности правительства. Но объективно эта программа смыкалась с установками «Союза благоденствия»: воздействовать всеми возможными легальными средствами на верховную власть в желаемом направлении. Поэтому отнюдь не случайно стремление Вяземского определиться на службу в канцелярию комиссара императора в Польше Н. Н. Новосильцева. Польша, получившая в 1815 году из рук Александра I Конституцию, воспринималась им как полигон для реализации своих либеральных устремлений. «Я бежал в Польшу от России... Здесь надеялся я иметь надлежащие средства действовать в своем смысле», — писал он позже.

П. А. Вяземский приехал в Варшаву незадолго до 15 марта 1818 года, когда император в речи на открытии польского конституционного сейма заявил о своем намерении распространить «законно-свободные учреждения» на все подвластное ему население. Он увидел в Александре I силу, которая выступит гарантом либеральных преобразований, и с воодушевлением поставил себя на службу ему. В написанном в Кракове в августе 1818 года стихотворении «Петербург» Вяземский с воодушевлением обращался к императору:

Реши: пусть будет скиптр свинцовый самовластия
В златой закона жезл тобою претворен.
Пусть Александров век светилом незакатным
Торжественно взойдет на русский небосклон,
Приветствуя, как друг, сияньем благодатным
Грядущего еще непробужденный сон.

Однако он ясно отдавал себе отчет в обусловленности пределов правительственного либерализма. «Власть по самому существу своему имеет главным свойством упругость. Будь оно уступчиво, оно перестанет быть властью. Как же требовать, чтобы те, кои, так сказать, срослись с властью, легко поддавались на изменения? Их или им самим себя должно переломить, чтобы... выдать что-нибудь».

Вяземский непосредственно участвовал в подготовке конституции для России (зима 1818/19), а затем осуществлял ее перевод («переливал в русские формы ее французский текст», как он напишет позже). Так что все перипетии, сопутствующие этой работе, ему пришлось испытать на себе. Он понимал характер власти, совершившей подобный зигзаг, и ощущал себя представителем той общественной силы, которая может воздействовать на позицию государя. Имея в виду речь Александра I при открытии польского сейма (Вяземский был официальным ее переводчиком с французского), он писал А. И. Тургеневу: «Пустословия тут искать нельзя: он говорил от души или с умыслом дурачил свет. На всякий случай я был тут, арзамасский уполномоченный слушатель и толмач его у вас. Можно будет и припомнить ему, если он позабудет».

Противоречивость позиции Александра I стала для Вяземского очевидна очень скоро. Он задается вопросом: какая из ролей государя — «коренная» или «благоприобретенная» — возьмет верх и «конституция польская умягчит ли русский деспотизм, или русский деспотизм сожмет в когти конституцию польскую?» Моральный долг — свой и своих единомышленников — Вяземский видел в объединении общественных сил для воздействия на царя и для содействия его конституционным намерениям. Как справедливо замечено, он имел в виду довольно широкий фронт современников: от сторонника неограниченной монархии Карамзина до «левых арзамасцев» Н. И. Тургенева и М. Ф. Орлова. О том, насколько далеко «влево» уходил сам Вяземский уже в начале пребывания в Варшаве, говорит его отклик на настойчиво развивавшийся Орловым план издания там журнала (Петру Андреевичу отводилась в нем роль руководителя). Горячо поддерживая план, он хочет, чтобы журнал, который следует назвать «Восприемником», стоял бы «за толпу» и «принял бы из купели новорожденное просвещение и показал бы его народу», способствовал бы преодолению «невежества гражданского и политического».

Философия французского Просвещения определила всю систему мышления Вяземского, его мироощущение, сильно окрашенное религиозным нигилизмом. Это та линия русского вольтерьянства, позже представленная А. И. Герценом, в которой безрелигиозность отнюдь не сопровождалась утратой или снижением нравственного идеала. Оставаясь принципом верховенствующим, нравственность утверждалась на принципах гуманизма, восходящего в своей первооснове к христианской морали. Записные книжки Вяземского испещрены именами Вольтера, Дидро, Монтескье, Рабо де Сент-Этьена — тех, кто писал о пределах монархической власти, о правах народа. Он захвачен современным французским либерализмом, с напряженным, сочувственным вниманием следит за выступлениями Бенжамена Констана в палате депутатов.

Просветительские идеи определили и конституционалистские устремления Вяземского, и его отношение к крепостному праву. В записях 1817 года, где крепостное право уподоблено «наросту на теле государства», вопрос о способе его уничтожения оставался еще открытым. «Свести ли медленными, но беспрестанно действующими средствами?», «Срезать ли его разом?» — это может решить только «совет врачей»: «пусть перетолкуют они о способах, взвешают последствия, и тогда решитесь на что-нибудь». «От всего сердца и рассудка» радуется Вяземский, что «повстречался... на дороге, которая ведет к великой мечте» с Н. И. Тургеневым, для которого дело освобожде-

ния крестьян оставалось, по его словам, «всегда важнейшим». Теперь Вяземский занят планом практического подступа общественности к решению этой проблемы. Он проектирует создание специального общества для разработки плана уничтожения крепостничества, о чем делится с М. Ф. Орловым в письме из Варшавы (середина 1820 года): «Я долго думал о средствах, нам предстоящих, врезать след жизни нашей на этой земле, упорной и нам сопротивляющейся, и нашел, однако: заняться теоретическим образом задачею уничтожения рабства. Составить общество, в коем запрос сей разберется со всех сторон и в пользу всех мнений (разумеется, истина будет на нашей стороне), после того... пустить его в ход».

Чем более разочаровывается Вяземский в конституционных намерениях Александра I, тем решительнее он склоняется к тому, что в решении крестьянского вопроса инициатива должна исходить от дворянства, а не от правительства. Это дело не власти, а дворянства, бытие которого «до сей поры только им (крестьянством. — *Е. Р.*) и держится. Хотите ли ждать, чтобы бородачи топором разрубили этот узел?.. Рабство одна революционная стихия, которую имеем в России. Уничтожив его, уничтожим все предбудущие замыслы». Давление на правительство — вот способ действия передовой общественности. Поэтому вполне естественно, что Вяземский оказался в числе тех, кто обратился к царю по поводу крестьянского вопроса (май 1820 года). Акция потерпела полное фиаско, но эта неудача способствовала радикализации позиции Вяземского. Чуждый заговорщицкой установке ранних декабристских организаций (Ордена русских рыцарей и «Союза спасения»), но стоявший, по существу, на позициях «Союза благоденствия», не только в программных, но и в тактических вопросах, он был подхвачен порывом революционных событий, доходивших из Европы.

Если непосредственное соприкосновение с царской администрацией в Польше делало ставку на правительственный либерализм все более шаткой, то революционные события 1820 года в Испании, Португалии, Неаполе, Пьемонте заставили Вяземского сосредоточиться на проблеме революции. Историческая дистанция, отделявшая современный мир от Французской революции конца XVIII века, позволяла беспристрастно подвести итоги. Вяземский решительно отвергает мнение о бесполезности революции и делает общее заключение о социальной справедливости революционного переустройства общества: «Как ни говорите, цель всякой революции есть на деле или в словах уравнивание состояний, обезоружение сильных притеснителей, ограждение безопасности притесненных — предприятие в начале своем всегда священное, в исполнении трудное, но не невозможное, до некоторой степени».

Допуская революцию с общеисторических позиций, Вяземский считал ее злом для России. Он убежден, что для его отечества всякое политическое действие, идущее не от правительства, приведет только к новой пугачевщине. Но и «деспотизм с каждым днем удаляет народ от возможности быть достаточным свободой здравой». Приверженность монархическому началу все определеннее сочетается с демократическим умонастроением Вяземского. Тем, кто говорит о неготовности русского народа к конституционному устройству, он возражает: «Народ никогда не может быть недозрелым до конституции» — она «должна быть более содержанием (*regime*) тела народного, предохраняющим его от болезней и укрепляющим его сложение, чем лечением, когда болезнь уже в теле свирепствует». Таков принципиально важный смысл его политической позиции начала 1820-х годов. Как отметил Ю. М. Лотман, основной конфликт эпохи для Вяземского — не столкновение свободолюбивой личности с деспотизмом, а борьба властей и народов. Это шаг в направлении от либерализма, в его сущностном содержании, к демократизму, который по своему идейному наполнению адекватен революционности, в данном случае дворянского типа.

Именно разочарование в Александре I и его политике на международной арене и внутри страны было первопричиной, положившей конец службе Вяземского в Польше и вообще надолго прервавшей его служебную карьеру. Он неоднократно повторял, что принял решение об отставке прежде того, как был отстранен от должности по повелению царя. «Вся жизнь моя одно негодование», — напишет Вяземский вслед за конгрессом в Троппау-Лайбахе. «Негодование» — так называется стихотворение, ставшее вершинным в политической лирике Вяземского и широко расходившееся в списках. Автор определяет свое место в размежевании общественных сил: в своем последовательном либерализме он осознает себя на стороне народа — «брачный союз наш с народом». Он левее, и ясно осознает это, своих друзей «арзамасцев» В. А. Жуковского и А. И. Тургенева. Но не пользуется недозволенными средствами в противостоянии с правительством, не переступает границ законности — это делало невозможным его участие в заговорщических политических организациях. Не случайно мысль Вяземского неоднократно возвращается к Радищеву, который издавна его интересовал. Он говорит о нем: это один «из малого числа мыслящих писателей наших. В оде его „Свобода“ есть звуки души мужественной. Во многих его прозаических отрывках — замашки, если не удары мысли». Речь, конечно, о «Путешествии из Петербурга в Москву». «Негодование» он прямо сближает с запретным творением: «Угодил ли своим „Негодованием“ Николаю Ивановичу? — спрашивает он А. И. Тургенева, брата Н. И. Тургенева. — Пусть возьмет один список с собою в diligence и читает его по дороге. Только не доехать бы ему таким образом от Петербурга до Москвы и далее, как Радищеву».

В августе 1821 года, оскорбленный бесцеремонностью, с какой перед ним закрыли дверь в Варшаву, Вяземский писал, что к этому времени он «из рядов правительства очутился... не тронувшись с места, в ряду противников его: дело в том, что правительство перешло на другую сторону». Каков бы ни был повод отстранения от службы, оно связано с его резко критической позицией по отношению к правительственной политике, которая не осталась тайной для царской администрации в Польше. В Москве над Петром Андреевичем устанавливается негласный полицейский надзор. Как справедливо отмечено в литературе, вместе с М. Ф. Орловым и В. Ф. Раевским он стал первой жертвой правительственного наступления на декабризм.

Финал движения декабристов, расправа над участниками восстания — личная трагедия Вяземского. Но он не был сломлен. Напротив, в первые последекабристские годы он испытывает самое резкое неприятие власти, напрямую переходившее к признанию права на ее насильственное низвержение. С этой точки зрения он задается вопросом о характере выступления 14 декабря 1825 года: «Достигла ли Россия до степени уже несносного долготерпения, и крики мятежа были ли частными выражениями безумцев или преступников, совершенно по образу мыслей своих отделившихся от общего мнения, или отголоском... общего ропота, стенаний и жалоб?» Его ответ однозначен: «Дело это было делом всей России, ибо вся Россия страданиями, ропотом участвовала делом или помышлением, волею или неволею в заговоре, который был не что иное, как вспышка общего неудовольствия... исправительное преобразование ее (России. — *Е. Р.*) есть и ныне, без сомнения, цель молитв всех верных сынов России, добрых и рассудительных граждан; но правительства забывают, что народы рано или поздно, утомленные недействительностью своих желаний, зреющих в ожидании, прибегают в отчаянии к посредству молитв вооруженных».

Как видим, диагноз Вяземского в отношении декабризма и перспектив, ожидающих Россию, исторически взвешенный и провидческий. Чем более очевидной становилась для него грозная перспектива, тем более укреплялся он на либерально-консервативных позициях. Он склоняется к необходимости «действовать в духе

правительства», «в духе нашего правления». Последняя формулировка относится уже к 1829 году, когда в обществе устоялось представление о новом царе как продолжателе дела Петра I, самодержце, преисполненном реформаторских устремлений.

Бросается в глаза, что в направленности и содержании деятельности Вяземского разных лет нет принципиальной разницы. И до выступления декабристов, и после него ему свойственна установка на просвещение, в какой бы форме оно ни выражалось: учреждение ланкастерской школы, литературная и журналистская деятельность, перевод политических сочинений французских авторов, намерение издать осуществленный им русский перевод польской конституции или создать общество переводчиков (проект Н. И. Тургенева).

14 декабря 1825 года не изменило отношения Вяземского к конституционализму, но в силу присущего ему исторического реализма он перенес практические установки на «оживотворение» идеи просвещенной монархии. И в этом отношении был последователен, приняв участие в журнале Н. А. Полевого «Московский телеграф». Его литературно-общественную позицию характеризовала приверженность идеям, сама постановка и разработка которых обнаруживала в нем человека широких и передовых взглядов. Конституционализм и социальный реформизм, вопреки представлению властей, видевших в опальном аристократе «революционера и карбонара», у Вяземского в принципе антиреволюционны, противопоставлены революции и призваны служить средством ее предотвращения. В его письме к Пушкину, датированном августом 1825 года, точно выражено самоощущение независимо мыслящего человека, который сознает невозможность политического противостояния власти: «Оппозиция — у нас бесплодное и пустое ремесло во всех отношениях». Причина: «Она не в цене у народа... Хоть будь в кандалах: их звук не разбудит ни одной новой мысли в толпе, в народе, который у нас мало чуток». Это отношение народа Вяземский связывает с общим уровнем развития России.

Деятельное участие в «Московском телеграфе» питалось принципиальной установкой Вяземского, который воспринимал литературу через призму ее общественно-го назначения — ее очищающей и направляющей роли в духовной жизни общества. Отсюда и личное восприятие себя на этом месте: «Я вхожу в журнал, как в церковь, как в присутствие. Почтеннейшего места нет мне, где бы выказаться как следует... В журнале... на печатной бумаге я весь тут, я делаю свое, а не берусь за чужое». Он рассматривает журнал прежде всего как общественную трибуну — отсюда острая публицистическая устремленность выступлений Вяземского, которой отмечены все его литературно-критические статьи того периода.

Уже в одном из первых своих выступлений, «Замечаниях на краткое обозрение русской литературы 1822 года», Вяземский поднимает самую животрепещущую проблему современности — проблему народности. Он подходит к ней не отвлеченно, не умозрительно, а с точки зрения практической оценки современной русской литературы, понимаемой как «русское просвещение». И сразу четко обозначает свою позицию (она останется для него неизменной): литература обязана следовать принципу народности, которая «должна быть выражением характера и мнений народа». И вместе с тем — принципиально западническая установка: «искать источники благосостояния народов и правительств, учиться тайнам государственной науки в тех странах, где преподается она издавна и всенародно». На этом Вяземский в «Московском телеграфе» стоит твердо. И опровергает хулителей чужеземного влияния на русскую литературу, противопоставляет односторонности подобного взгляда творчество Пушкина и Жуковского как «яркие примеры литературного патриотизма». Комментируя уже в 1876 году приведенные выше строки, он демонстрирует непоколебимость своего понимания проблемы национального начала: «Литературная ли на-

циональность, политическая ли, принятая в смысле слишком ограниченном, ни до чего хорошего довести не может».

Раскрытие темы народности и самобытности в ее соотношении с западной культурой, взгляд на нее тесно увязываются с подходом Вяземского к патриотизму — другой стороне народности. Обсуждение национальных погрешностей с «патриотическим соболезнованием, а не по расчету личной суетности» — вот позиция истинного патриота в противоположность «лакейскому патриотизму» (как называл его Тюрго), которому Вяземский нашел русский эквивалент — «квасной патриотизм». Это, по словам автора, «шуточное определение», обретшее бессмертие со времени его обнаружения в «Московском телеграфе» (1827), корреспондирует с афористичной записью в «Дневнике»: «Что есть любовь к отечеству в нашем быту? Ненависть настоящего положения». Формула Вяземского — ключ к его общественной позиции рубежа 1820–1830-х годов. Ее можно считать наиболее сильным выражением дворянской оппозиционности после поражения декабристов. Наряду с суждениями об истинном и «квасном» патриотизме стихотворение «Русский Бог» (1828) — одна из самых разящих инвектив российской действительности:

Бог голодных, Бог холодных,
Нищих вдоль и поперек,
Бог имений недоходных —
Вот он, вот он Русский Бог!

Беспощадность обличения сочетается у Вяземского с глубокой приверженностью русскому национальному чувству. Патриотизм, который с течением времени будет принимать у него все более охранительный характер, уживается с убежденным западничеством, олицетворявшимся Просвещением. Н. М. Карамзина Вяземский воспринимал через его формулу: «Все народное ничто пред человеческим. Главное дело — быть людьми, а не славянами». Личная позиция Вяземского иная: «Для того чтобы быть европейцем, должно начать быть русским». Тем не менее в плане общественно-политическом утверждение начал западного Просвещения оставалось для него первичным и незыблемым.

Вяземский все более отходил от «Московского телеграфа». Сближение Полевого с Булгариным и Гречем, присущие ему антидворянские настроения предопределили его место в литературной борьбе 1830-х годов. Пушкинскому кругу, «литературной аристократии», олицетворявшей позицию дворянской интеллигенции, носительницы исторически сложившихся культурных национальных ценностей, противостояло «торговое» направление, болгаринские издания, исполненные охранительно-мещанского, псевдонародного духа.

П. А. Вяземский искал самостоятельной литературно-публицистической деятельности, которая позволила бы ставить серьезные общественные проблемы. Все его просветительские замыслы окончились неудачей, и это заставило его сосредоточиться на давно задуманном труде о Д. И. Фонвизине, дававшем богатую возможность обосновать свои взгляды на природу и социальную функцию русского просвещения, его носителей и двигателей.

Осуществленный в конце концов труд не имел прецедента в русской литературе — это первое историко-литературное сочинение, воссоздающее жизнь и творчество писателя в контексте не только русской, но и европейской истории, в контексте литературного процесса. Такой подход обусловил размах и идейную насыщенность сочинения, потребовал выявления документального материала и погружения в XVIII столетие — русское и европейское. Сквозная идея автора — утвержде-

ние взгляда на литературу как общественную функцию. Отсюда и возникла необходимость выявить связь литературы с историческим процессом. Эта общая установка имела конкретную направленность: обоснование сущности и роли дворянской культуры в России — тема, к началу 1830-х годов получившая общественное звучание и вызвавшая перегруппировку сил в журналистике.

Наряду с капитальной разработкой русского литературного процесса на протяжении XVIII столетия, автор рассматривает проблему национальной самобытности России, ее соотношения с западным Просвещением. Прокламируя приверженность «европейскому космополитству», Вяземский сопрягает его с «условиями русского происхождения»: «Для того чтобы европейцем быть, должно начать быть русским. Россия, подобно другим государствам, соучастница в общем деле европейском и, следовательно, должна в сынах своих иметь полномочных представителей за себя. Русский, перерожденный во француза, француз в англичанина и так далее, останутся всегда сиротами на родине и не усыновленными чужбиною».

Тема русского Просвещения получила новое преломление в откликах Вяземского на состоявшуюся в 1831 году первую в Москве и вторую в России мануфактурную выставку. Он видит в отечественной промышленности «дело общее и частное», прямое продолжение начатого Петром. Общественно-историческая функция дворянства выходит за рамки только носителей национальных культурных ценностей — дворянство трактуется здесь как деятельная промышленная и торговая сила. Россию Вяземский с удовлетворением ставит в ряд ведущих промышленных стран мира. Он говорит о «практическом просвещении» как отличительной черте современной эпохи: успехи на поприще образованности применяются «к пользам общественного и частного благосостояния». Это века на пути человечества, «стремящегося к цели, назначенной Провидением, к цели усовершенствования». Как бы ни сложились в дальнейшем судьбы Европы, «успехи, совершенные духом предприимчивого трудолюбия, духом промышленности, не погибнут... Они останутся навсегда началом новой достопамятной эры в истории общественной гражданственности». Успехи просвещенного ума, направленные на приумножение естественных богатств природы, для Вяземского — дело общечеловеческое, противодействующее отчуждению народов друг от друга. Но здесь у него прорывается нота, периодически звучащая с начала 1830-х годов в русской общественной мысли, — об определенном преимуществе отсталости России, о ее потенциально «оздоровляющей» роли по отношению к странам Западной Европы. Член общечеловеческой семьи, Россия по сравнению с другими, более древними народами — «новый мир», «свежая в полном цвете прививка к нему». В ее исторической молодости Вяземский выделяет вместе с тем два неоднозначных обстоятельства. Первое — отрицательное: неизбежное отсутствие «согласия и единства в проявлении нравственных и умственных сил», невыработанность национального самосознания. Второе — положительное: Россия «доступнее к принятию практического просвещения, которое и скорее водворяется, и зависит более от воли и способов правительства».

Таким образом, в русских политических условиях, в единой законотворческой воле монарха, служащей поощрению торговли и промышленности, выявляется роль самодержавия как единственной силы прогресса в России. Употребляя понятие «практическое просвещение» (как усвоение экономических и хозяйственных достижений западных народов), Вяземский как бы снимал идеологический аспект проблемы самобытности России. Он недвусмысленно выступает за следование по социально-экономическому пути, проложенному западноевропейскими народами; он действует как прагматик западной ориентации, чуждый идее «народного духа», которая пронизывает историко-философские построения будущих славянофилов.

С другой стороны, Вяземский развивает мысль о нравственном несовершенномлети России. Эта мысль высказана им в статье о московской выставке, а также в письме от 18 ноября 1831 года к начальнику Департамента торговли и мануфактур Министерства финансов (где Петр Андреевич начал незадолго перед тем служить): «Все знают, что Россия ростом велика, но этот факт не добродетель, а обязанность. Следовательно, говорите, проповедуйте о том, что должно России делать, чтоб нравственный и физический рост ее были равновесными». Это суждение прозвучит и в том столкновении мнений и позиций, которые вызвало к жизни начавшееся в ноябре 1830 года восстание в Польше.

Польское восстание возбудило в пушкинском кругу острые идейные споры. Они касались прежде всего имперских прав России и русской державности в их неразрывной связи с проблемой «Россия и Запад», русское и европейское просвещение. Самым непримиримым по отношению к державно-пафосной позиции Пушкина («Клеветникам России») оказался именно Вяземский. Его исходная посылка антагонистична пушкинской: «Раздел Польши есть первородный грех политики».

«Нельзя избежать роковых следствий преступления», — вносит он в записную книжку 4 декабря 1830 года, вскоре после получения известия о восстании в Варшаве. И стоит на этом до конца. 14 сентября 1831 года, когда взрыв патриотических чувств был в полной силе, он записывает в дневнике: «Польшу нельзя расстрелять, нельзя повесить ее, следовательно, силою ничего прочного, ничего окончательного сделать нельзя. При первой войне, при первом движении в России Польша восстанет на нас, нам должно будет иметь русского часового при каждом поляке. Есть одно средство: бросить царство Польское... Пускай Польша выбирает себе род жизни». Прочитав «Клеветникам России», он обратил в своем дневнике вопрос к Пушкину: «За что возрождающейся Европе любить нас? Вносим ли мы хоть грош в казну общего просвещения? Мы тормоз в движении народов к постепенному усовершенствованию нравственному и политическому. Мы вне возрождающейся Европы, а между тем тяготеем на ней».

Пафос Пушкина для него — «географические фанфаронады». Вяземский, собственно, повторяет свою мысль, высказанную более сдержанно в статье о первой московской мануфактурной выставке, — мысль о нравственном несовершенномлети России. Ему абсолютно чужда идея мессианства; далека она и Пушкину, но, в отличие от него, современная Европа и происходящие в ней процессы не вызывают у Вяземского гневных инвектив — напротив, она представляется ему «возрождающейся». Он, несомненно, имел в виду национальное возрождение народов посленаполеоновской Европы, сопровождавшееся в ряде стран установлением демократических институтов. Россия оставалась в стороне от этих процессов — национальное возрождение было заблокировано сохранением крепостного права. Вяземский отнюдь не считал за благо перенесение в Россию политических завоеваний европейских народов. Он неизменно оставался при убеждении об особости русских политических условий: «В отличие от других стран, у нас революционным является правительство, а консервативной — нация».

Собственно, эта парадигма оставалась неизменной, определяя общественную позицию Вяземского, на протяжении всей его долгой жизни, вместившей царствование трех императоров. Внешне он неуклонно поднимался по бюрократической лестнице. В августе 1855 года был назначен товарищем министра народного просвещения и возглавил цензурное ведомство; его деятельность на этом поприще вызвала резко негативное отношение со стороны как консервативных, так и леворадикальных кругов. После отставки в 1858 году Вяземский причислен к Сенату; в 1866-м — назначен членом Государственного совета. Глубоко неудовлетворенный своей государственной

деятельностью, он продолжает размышлять над историей России, становится одним из основателей Русского исторического общества. Поздние размышления фиксируют неизменность либеральной первоосновы его общественно-политических убеждений при решительном осуждении любых форм экстремизма.

Один из самых блестящих людей пушкинского круга литераторов, П. А. Вяземский преломил и выразил целую эпоху русской общественно-политической жизни. Разгром декабризма, став пиком его политической оппозиционности, оказался в то же время началом «примирения» с действительностью, все большего укоренения на позициях консерватизма, подчас отделенного от реакционности только зыбкой границей. В отличие от Пушкина, он шел не к сближению, а к противостоянию с нарождавшейся демократической идеологией, уже лишенной той мещанской окраски и ориентации, которой была отмечена болгаринская струя в литературно-общественной жизни 1830-х годов. Вместе с тем Вяземский всегда оставался на позициях приверженности общеевропейскому гуманизму, органично совмещавшемуся в его мировоззрении с идеей национальной самобытности.

ТИМОФЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ГРАНОВСКИЙ: «Рано или поздно действительность догонит мысль...»

АНДРЕЙ ЛЕВАНДОВСКИЙ

Тимофей Николаевич Грановский (1813–1866) — один из самых ярких лидеров русского «западничества» 1840-х — начала 1850-х годов, ставшего важнейшим источником позднейшего русского либерализма. Интересно, однако, что при том огромном интересе, который вызывал, вызывает и, несомненно, будет вызывать русский либерализм, западничество как цельное историческое явление до сих пор мало изучено.

Причина, по-видимому, в тех вполне объективных трудностях, с которыми сталкивается каждый исследователь, обращающийся к русскому западничеству. Размытость, незавершенность этого явления очевидна, а отсутствие четких организационных форм и недвусмысленно сформулированных программных документов бросается в глаза (в этом отношении более поздних либералов-политиков, например кадетов или октябристов, изучать, наверное, легче).

При исследовании сообщества незаурядных людей, с одной стороны, объединенных общими идеями и схожим мировоззрением, а с другой — ревниво отстаивающих собственную духовную свободу, всегда возникает множество проблем. Иметь дело с яркими индивидуальностями гораздо труднее, чем с дисциплинированной партийной «командой», состоящей, за исключением нескольких лидеров, из посредственностей.

Если проводить возрастные аналогии, западничество можно уподобить младенчеству русского либерализма. Известно, что в детстве мир кажется совсем иным, чем во взрослом состоянии: он текуч, изменчив и неустойчив. Окружающая действительность воспринимается непосредственно, тогда как в мире взрослых господствуют сухие рациональные правила и догмы. Поэтому детство — возраст волшебный, когда от мира ждут чудес. С годами это проходит, жизнь входит в свою колею, будничные, рутинные проблемы наполняют существование. На этой упорядоченной стадии бытия воспоминания о детстве приобретают еще более сказочный, мифологический характер — и в то же время становятся все более необходимыми.

Все эти рассуждения, с моей точки зрения, подчеркивают сложность понимания западничества, с одной стороны, и необходимость преодолеть эту сложность — с другой. Нелегко представить, каким образом ученый-медиевист, университетский лектор, никогда и ни в чем не отклонявшийся от своих профессиональных занятий (ни памфлетов, ни листовок, ни какой-либо другой антиправительственной деятельности), превращается в одного из самых авторитетных лидеров общественной оппозиции. Понять, как он становится кумиром нескольких поколений русских образованных людей, подготовившим их к борьбе за преобразование крепостной России. Сейчас подобная история действительно кажется похожей на сказку; ее и рассказывать хочется особым образом.

В качестве зачина можно предложить пару фраз из «Былого и дум» А. И. Герцена, которые, по-моему, вполне отвечают этому назначению: «Тридцать лет тому назад

Россия будущего существовала исключительно между несколькими мальчишками, только что вышедшими из детства, до того ничтожными и незаметными, что им было достаточно места между ступней самодержавных ботфорт и земель; а в них было наследие 14 декабря — наследие общечеловеческой науки и чисто народной Руси. Новая жизнь эта прозябала, как трава, пытающаяся расти на губах непростывшего вулкана...» Одним из этих «мальчишек» и был Тимофей Николаевич Грановский.

Уподобление России времен Николая I «непростывшему вулкану» выглядит, возможно, несколько выпендренным, однако для тех, кто представлял собой «Россию будущего», оно было вполне оправданно. Утвердившись на престоле в результате вооруженной схватки со своими противниками-декабристами и беспощадно расправившись с ними, Николай Павлович положил максимум усилий на то, чтобы навести в России жесткий, единообразный порядок. Осуществляя это намерение, царь, естественно, не ограничился мерами административно-полицейскими: усилением бюрократического контроля над населением, созданием единой, хорошо организованной политической полиции (III отделение собственной канцелярии и корпус жандармов), предельным ужесточением цензуры и тому подобное. Все это было важно и в то же время вторично.

Главное заключалось в том, что чиновникам всех ведомств, тем же жандармам и цензорам, необходимо было дать четкое — без противоречий — руководство к действию, которое позволило бы им отличать хорошее от плохого, добро от зла, благонамеренного россиянина от скрытого смутьяна. «Силы порядка» нуждались в простой и ясной идеологической схеме. С. С. Уваров, долговременный министр просвещения при Николае I, создал именно то, что требовалось: в рамках своей теории «официальной народности» он связал в единое целое русский народ, православную веру и самодержавное государство.

Пафос этой теории был ясен. «Уваровская триада» стремилась подчинить жесткому канону все стороны жизни российского обывателя любой социальной принадлежности. Россиянин должен быть тих, смиренен и кроток, регулярно посещать церковь, исполнять все предписанные обряды и почитать Господа. В еще большей степени от него требовались законопослушность, верноподданность, безоговорочное выполнение всех требований администрации, почитание государя. Добросовестное отправление обязанностей по отношению к власти духовной и светской гарантировало полное благополучие. Прекрасно эту мысль выразил в своих заметках один из самых ярких «охранителей», бессменный управляющий III отделением собственной Его Императорского Величества канцелярии Л. В. Дубельт: «Уж ежели можно жить счастливо где-нибудь, так это, конечно, в России. Это зависит от тебя; только не тронь никого, исполняй свои обязанности и тогда не найдешь такой свободы, как у нас, и проведешь жизнь свою, как в Царствии небесном...»

Теория «официальной народности» была сочинена как апология николаевского режима, который полагался властями «идеалом существования» русского человека. В той России все было устроено как должно, «по-божески», в полном соответствии с духом народа. Она представляла собой единый, цельный монолит, который в рамках официальной идеологии резко противопоставлялся бестолковому, злокозненному, разлагавшемуся на глазах Западу. Любая попытка в какой бы то ни было форме воспротивиться существующему порядку вещей почти автоматически воспринималась представителями власти как результат воздействия «гниющего Запада», искажающего благую природу русского человека, превращающего его во врага своего собственного народа. Естественно, верховная власть вменяла себе в обязанность беспощадную борьбу с любыми отклонениями от официоза, с любыми проявлениями злостного «инакомыслия».

Теория «официальной народности» стала главным фактором, определявшим условия жизнедеятельности и тех, кто составлял, по словам Герцена, «образованное меньшинство» русского общества, тех, кто пытался жить, размышляя и творя... Сохранить себя эти «мальчики 1825-го года», ставшие юношами в 1830-х, могли только в последовательном противостоянии официозу, подчинение которому лишало их существование всякого смысла. И эти несколько десятков человек в конце концов взяли верх над идеологической системой, поддерживаемой всей мощью самодержавно-бюрократической власти и оттого казавшейся несокрушимой... Роль Т. Н. Грановского в этой борьбе и победе невозможно переоценить.

Определяющую роль в судьбе Т. Н. Грановского сыграла, несомненно, поездка за границу и стажировка в Берлинском университете в 1836–1839 годах, позволившая ему найти верный путь реализации своего уникального таланта. Раньше такой возможности не представлялось.

Отпрыск небогатой провинциальной дворянской семьи (Грановский родился 9 мая 1813 года в Орле), он получил самое безалаберное воспитание в детстве и такое же образование в юности. Учеба в Петербургском университете, который в первой половине 1830-х годов еще не оправился от погрома, устроенного там властью в конце царствования Александра I, по собственному признанию Грановского, также не дала ему почти ничего. А вот поездка в Берлин за счет Министерства народного просвещения «для усовершенствования в науках», с тем чтобы впоследствии занять кафедру зарубежной истории в Московском университете, — событие, случившееся благодаря счастливому стечению обстоятельств, — в корне изменило всю жизнь Грановского. Ему довелось испытать «немецкой премудрости» из первоисточника — будущий духовный лидер западничества и кумир студенческой молодежи постигает философию Гегеля, закладывая тем самым мощный фундамент всей своей последующей деятельности.

Нужно иметь в виду, что для поколения Грановского немецкая философия (и прежде всего гегельянство) стала важнейшим интеллектуальным фактором, существенно изменившим духовную жизнь общества. Восстание декабристов не могло не привести к переоценке ценностей у поколения, вступавшего в жизнь после событий на Сенатской площади. Грановскому и его друзьям уже казались банальными традиционно-прямолинейные вопросы философии в духе «века Просвещения» и такие же ответы на них. У молодежи появились новые кумиры — в поисках ответов на «проклятые вопросы» она обращается не к Монтескье и Тюрго, а к Шеллингу и Гегелю.

Недаром в истории русской общественной мысли такое важное место занимает кружок Н. В. Станкевича. Небольшой по численности, очень «камерный», он стал своеобразным органом восприятия гегельянства в России. Именно со Станкевичем, тоже совершившим паломничество в Берлин — гегельянскую Мекку, Грановский подружился и сблизился. Этот в высшей степени незаурядный человек (к несчастью, очень рано умерший) оказал на Грановского огромное влияние. Совместное посещение лекций в Берлинском университете, изучение философии и истории, горячие дискуссии — все это чрезвычайно много дало Грановскому.

Собираясь стать историком, он был настроен на то, чтобы «философией проверить историю». В то время Грановский, ставший убежденным гегельянцем, писал одному из близких друзей: «Есть вопросы, на которые человек не может дать ответа. Их не решает Гегель, но все, что теперь доступно *знанию* человека, и само знание у него чудесно объяснено...» Среди профессоров Берлинского университета его кумиром становится профессор-гегельянец Леопольд фон Ранке, про которого Грановский написал: «Он понимает историю...»

Что же давало гегельянство для объяснения действительности и понимания истории? Грановского и его современников в этой философской системе привлекала преж-

де всего присущая ей *диалектика*. Их покоряла та последовательность, с которой Гегель рассматривал все сущее, и убедительность, с которой он раскрывал закономерности процессов развития. Выяснялось, что действительность не поддается своему произволу, не является пластичной массой, из которой сильная личность способна вылепить все, что пожелает. Эта действительность существует и развивается в соответствии с объективными, не зависящими от воли человека законами. Но человек способен эти законы познать (чему прежде всего и учил Гегель) и, познав их, действовать разумно, плодотворно работая на будущее, как бы сотрудничая с высшей силой — Абсолютом.

Подобный подход позволял дать ответы на многие тревожившие современников вопросы, например о причинах неудачи декабристского восстания... А главное, гегельянство, воодушевляя, порождало уверенность в своих силах и позволяло с надеждой смотреть в будущее. Недаром Грановский все в том же письме приятелю, терзавшемуся сомнениями и жаловавшемуся на «горестное состояние духа», писал: «Займись, голубчик, философией... Учись по-немецки и начинай читать Гегеля. Он упокоит твою душу».

Тут самое время напомнить, что подобную философскую систему, ставившую диалектику во главу угла, с почти религиозным воодушевлением воспринимала молодежь страны, государственная власть которой отрицала всякое развитие в принципе. Ведь теория «официальной народности» провозглашала Россию неким заповедником, где неизменно царит самодержавно-православное благоденствие, круто замешенное на крепостном праве... И здесь, наверное, снова уместно привести слова Герцена: «Философия Гегеля — алгебра революции, она необыкновенно освобождает человека и не оставляет камня на камне от преданий, переживших себя...»

«...Четверть часа прошла уже после звонка. Вся аудитория в каком-то ожидании. Разговоры смолкли, и все вышли на лестницу, ведущую в аудиторию. — „Будет ли?“ — говорит один из студентов. — „Будет“, — отвечает другой. — „Должно, не будет“, — замечает третий, смотря на часы. — „Приехал!“ — кричит снизу швейцар, как будто отвечая на нетерпеливое ожидание. — „Идет...“ — и вся толпа двинулась в аудиторию, все спешат заполнять места. Глубокая тишина воцарилась в зале». Начинаясь лекция Грановского...

Грановский оказался феноменальным лектором. Впрочем, здесь точнее будет употребить глагол не «оказался», а «стал». Грановский, которого некоторые современники укоряли в лености, потратил массу сил на то, чтобы овладеть ораторским искусством. «Круглым числом, — писал он Станкевичу в начале своей профессорской деятельности, — я занимаюсь по десять часов в сутки. Польза от этого постоянного, упрямого труда (какого я до сих пор еще не знал) очень велика — я учусь с каждым днем...»

Надо сказать, что Грановский не обладал эффектной внешностью (хотя и был очень обаятелен в общении), имел слабый голос и к тому же слегка шепелявил («шепелявый профессор» — обычное его прозвище в дружеском кругу). Лекции в чем-то походили на самого лектора: Грановский не терпел никаких внешних эффектов. «При изложении, — писал он сам, — я имею в виду... самую большую простоту и естественность и избегаю всяких фраз. Даже тогда, когда рассказ в самом деле возьмет меня за душу, я стараюсь охладить себя и говорить по-прежнему...»

Студенческие записи вполне подтверждают слова Грановского: его лекции чрезвычайно сдержанны по тону — пафос в них отсутствует напрочь. Нельзя сказать, что Грановский совершенно пренебрегал яркими характеристиками исторических деятелей и выразительными историческими эпизодами, — но он ни в коем случае не злоупотреблял этим. Не было в его лекциях и подобия намеков политического характера,

прозрачных аналогий и тому подобного. При первом знакомстве с текстом лекций Грановского (во всяком случае, в несовершенных студенческих записях) они кажутся несколько монотонными и суховатыми. Но это впечатление решительно опровергается массой свидетельств: Грановский, без сомнения, был *самым популярным лектором* Московского университета за всю историю его существования... На его лекции собирались студенты со всех факультетов; здесь постоянно были заполнены все места, и занимать их приходилось заранее. Опоздавшие пристраивались на ступеньках у кафедры. Во время лекции в аудитории царил мертвая тишина: слушатели ловили каждое слово, произнесенное негромким голосом «шепелявого профессора».

Нужно внимательно вчитаться в студенческие записи, чтобы понять, в чем была сила Грановского-лектора, каким образом он удерживал аудиторию в состоянии напряженного внимания. Главным и по сути дела единственным героем его лекционного курса был *исторический процесс как таковой*. Ощущение, которое владело слушателями на лекциях Грановского, много лет спустя в своих воспоминаниях великолепно выразил один из них: «Несмотря на обилие материалов, на многообразие явлений исторической жизни, несмотря на особую красоту некоторых эпизодов, которые, по видимому, могли бы отвлечь слушателя от общего, слушателю всюду чувствовалось присутствие какой-то идущей, вечно неизменной силы. Век гремел, бился, скорбел и отходил, а выработанное им с поразительной яркостью выступало и воспринималось другим. История у Грановского действительно была изображением великого шествия народов к великим целям, постановленным Провидением...»

Своим лекционным курсом, посвященным истории европейской цивилизации (хронологически ее было дозволено освещать лишь до Реформации, то есть до XVI века), Грановский, с одной стороны, чрезвычайно искусно приобщал слушателей к *пониманию* этой цивилизации. Он нигде и ни в чем не льстил Западной Европе, не идеализировал ее истории. В то же время он последовательно показывал эту историю как путь — путь тернистый, но, несомненно, ведущий от худшего к лучшему, имеющий в перспективе осуществление некоего идеала, который с каждым веком становился все яснее. «Мы видели, — говорил Грановский в заключительном слове к одному из курсов лекций, — что мысль не всегда ладит с действительностью. Она идет впереди действительности, и все попытки великих двигателей человечества остаются не вполне осуществленными. Но рано или поздно действительность догонит мысль».

С другой стороны, Грановский постоянно давал понять, что описываемый им процесс исторического развития един для всего человечества, в том числе и для России... Это следовало из общего хода его рассуждений. По воспоминаниям слушателя, Грановский избегал говорить об этом открыто: в России, считал он, «отзываются все великие идеи». Другими словами, Запад, по Грановскому, медленно, но верно идет по пути прогресса, прокладывая его и для всего остального человечества. Не миновать этого пути и России...

Трудно представить себе в николаевской России культурный фактор, резко противостоящий официальной идеологии, — разве что «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. Письмо это, не отличавшееся, на мой взгляд, ни особой глубиной мысли, ни доказательностью, произвело мощное, но разовое действие. Грановский же читал лекции на протяжении полутора десятилетий. Искусно оперируя фактическим материалом, избегая тенденциозности, он заставлял своих слушателей *самостоятельно* осознавать свою концепцию истории, делая студентов ее убежденными сторонниками.

Надо сказать, что и слушатели у Грановского оказались достойные. Совершенно очевидно, что они осознавали его лекции по истории как акт общественной борьбы. Здесь не только изучали прошлое, но и учили мыслить и действовать так, как должно достойному человеку, — вот и набивалось в аудитории молодежи что сельдей в боч-

ку... Когда же зимой 1844/45 года Грановскому удалось добиться дозволения прочитать (впервые в России) публичный курс по истории западного Средневековья, успех был еще грандиознее. Светская публика в течение нескольких месяцев до отказа заполняла большой актовый зал Московского университета, внимала лектору, затаив дыхание, и неизменно провожала его бурной овацией. П. Я. Чаадаев, недолголюбивший Грановского и не согласный с его концепцией западной истории, тем не менее совершенно справедливо назвал сами чтения явлением «*историческим*».

Для студенчества же Грановский стал настоящим кумиром. Б. Н. Чичерин вспоминал, как его репетитор, студент юридического факультета, восклицал, рассказывая о магистерском диспуте Грановского: «Вы знаете, ведь для нас Тимофей Николаевич — это почти что божество...» После выпуска из университета его слушатели расходились по всей России. «Ученик Грановского» — этим званием гордились до конца жизни. А оно между тем ко многому обязывало. Недаром в сохранившемся благодаря одному из слушателей напутственном слове своим выпускникам Грановский призывал их «осуществить в жизнь то, что вынесли отсюда»: «Не для одних разговоров в гостиных, может быть, умных, но бесполезных посвящаетесь вы, а для того, чтобы быть полезными гражданами и деятельными членами человечества. Возбуждение к практической деятельности — вот назначение историка».

Один из современников удачно назвал Грановского «профессором по преимуществу». Действительно, именно в университете, на кафедре, он состоялся как личность, более того, — как исторический деятель. И все же только этим роль Грановского в истории русского общественного движения не исчерпывалась: он чрезвычайно много сделал для развития этого движения в целом и для становления российского западничества в особенности. При этом характерно, что сам Грановский на лидирующую роль где бы то ни было и в чем бы то ни было нисколько не претендовал. Все дело было в условиях эпохи и в удивительно симпатичной и благородной натуре Грановского...

Я уже писал выше о кардинальных различиях между политической партией и дружеским кружком, объединяющим людей, стремящихся сохранить свою внутреннюю свободу. В любой политической партии начала XX века человек с характером и устремлениями Грановского неизбежно был бы на вторых ролях. В среде же «людей 1840-х» его почти не с кем сравнить в плане организующей, консолидирующей деятельности. А. И. Герцен написал по этому поводу несколько строк, которые прекрасно характеризуют и самого Грановского, и его роль в обществе, и те требования, которые предъявляло общество 1840-х годов к своим лидерам: «Грановский был одарен удивительным тактом сердца. У него все было далеко от неуверенной в себе раздражительности, так чисто, так открыто, что с ним было удивительно легко. Он не теснил дружбой, а любил сильно, без ревнивой требовательности и без равнодушного „все равно“. Я не помню, чтоб Грановский когда-нибудь дотронулся грубо или неловко до тех „волосяных“, нежных, бегущих шума и света сторон, которые есть у всякого человека, жившего в самом деле. От этого с ним не страшно было говорить о вещах, о которых трудно говорить с самыми близкими людьми... В его любящей и покойной душе исчезали угловатые распри и смягчался крик самолюбивой обидчивости. Он был между нами звеном соединения многого и многих и часто примирял в симпатии к себе целые круги, враждовавшие между собой, и друзей, готовых разойтись...»

Все сказано верно и точно. Буквально сразу же после возвращения из-за границы в 1839 году Грановский начал играть роль миротворца, с удивительным тактом стабилизирующего человеческие отношения, иной раз почти безнадежно испорченные. Так, Грановский не только спас от полного развала кружок Станкевича, переживавший после ранней кончины своего лидера очень тяжелые времена, но и способствовал его выходу на новый уровень бытия. Грановский стал связующим звеном между остат-

ками кружка — В. Г. Белинским, В. П. Боткиным и другими — и своими коллегами по университету, блестящими молодыми профессорами-гегельянцами Д. В. Крюковым, П. Г. Редкиным, Н. И. Крыловым. Так, на переломе 1830–1840-х годов и родилось западничество... Именно Грановский на какое-то время крепко привязал к этому направлению А. И. Герцена и Н. П. Огарева. Мало того, Грановский какое-то время довольно легко находил общий язык с вечными оппонентами западничества — славянофилами (с братьями Киреевскими во всяком случае).

И не вина Грановского, а общая беда, порожденная особым характером николаевской эпохи, что это столь желанное единство надолго сохранить не удалось. Лишенное возможности в какой бы то ни было степени реализовать свои взгляды, занятое прежде всего острыми, захватывающе интересными, но бесплодными дискуссиями, задыхающееся в своем узком, искусственно ограниченном кругу «образованное меньшинство» было обречено на распад.

В конце 1844 — начале 1845 года произошел полный разрыв между западниками и славянофилами (причем ссора была такой силы, что чуть не привела к дуэли между людьми, которые, казалось, воплощали в себе дух миролюбия, — Грановским и Петром Киреевским). Затем, в 1846 году, порвались духовные связи между Грановским и другими умеренно настроенными западниками, мечтавшими о мирном приобщении России к современной им западной цивилизации, с одной стороны, и западниками-радикалами, жаждавшими социального переворота, — с другой.

Этот последний разрыв Грановский переживал очень тяжело, как личную драму. Действительно, после потери радикального крыла (Герцен с Огаревым вскоре эмигрировали, а Белинский умер) западничество измельчало. Рядом с Грановским не осталось ни одного человека его уровня, и «шепелявый профессор», хоть и постоянно окруженный студентами, стал ясно ощущать свое духовное одиночество. В то же время с конца 1840-х годов в связи с европейскими революциями резко усилились гонения власти на «образованное меньшинство»; под особый надзор попали Москва, Московский университет, прогрессивно настроенная профессура. До открытых репрессий дело не дошло, но разнообразных придинок было великое множество. Грановскому, в частности, суждено было пройти «испытание в законе нашем» (то есть в православной вере) перед московским митрополитом Филаретом. Все обошлось благополучно, но противно было донельзя...

Все это, несомненно, ускорило кончину Грановского, человека чрезвычайно впечатлительного и легко уязвимого. «Не одни железные цепи перетирают жизнь», — справедливо писал по этому поводу Герцен. 4 октября 1855 года Грановский скончался. Он умер, пережив на полгода Николая I, накануне перемен, успев ощутить, пусть и смутно, то «движение внутренних пластов истории», о котором он так вдохновенно говорил в своих лекциях и для свершения которого сам сделал немало. «Хорошо умереть на заре» — такими словами со свойственным ему красноречием откликнулся на смерть своего старого друга Герцен.

АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ КРАЕВСКИЙ: *«Нужно знать, что думает Россия о своих общественных интересах...»*

ДМИТРИЙ ОЛЕЙНИКОВ

Андрей Александрович Краевский (1810–1889), журналист и издатель известнейших периодических изданий, имел полное право сказать, что его биография запечатлена в рукописях, которые он редактировал и издавал в течение пятидесяти лет. Краевский, начинавший в скромной должности корректора, к концу своей карьеры заслужил звания «Патриарха, Мафусаила, Нестора русской журналистики», «руководителя общественного мнения в течение столетия». Трудолюбие Краевского, его умение ладить не только с авторами, но и с властями, личное везение, пожалуй, объясняют успех его изданий, сопутствовавший им и в «замечательное десятилетие» 1838–1848 годов, и в последовавшее за ним «мрачное семилетие», и в эпоху Великих реформ — вплоть до воцарения Александра III. Сама история жизни Краевского во многом история его журналов и газет.

Выпускнику Московского университета Андрею Краевскому, побочному сыну дочери екатерининского вельможи полицмейстера Архарова, давшего жизнь понятию «архаровцы», пришлось приложить немало усилий для того, чтобы не остаться обычным чиновником. После недолгой службы в московской гражданской канцелярии он был направлен в канцелярию Владимирского губернского правления, однако сумел попасть в Петербург, как он сам говорил, «с радужными надеждами, но в единственных старых штанах». Все, на что в начале 1832 года мог рассчитывать двадцатидвухлетний Краевский, — место незначительного канцелярского чиновника и частные уроки. Однако хорошее образование (философский факультет) и талант педагога сравнительно быстро сделали Краевского известным не только в литературных кругах, но и в высшем свете. Через четыре года Краевский получил преподавательскую должность в Пажеском корпусе, работу в Археографической комиссии; стал сотрудничать в «Энциклопедическом лексиконе» Плюшара. Впрочем, для его дальнейшей судьбы важнее оказалось то, что он стал корректором в пушкинском «Современнике» — конкуренте журналов литературных «братьев-разбойников» Н. И. Греча и Ф. В. Булгарина.

В 1837 году Краевский — редактор «Литературных прибавлений к „Русскому инвалиду“». Именно здесь и благодаря Краевскому на фоне общего молчания русской прессы прозвучал единственный опубликованный (а ныне хрестоматийный) некролог на смерть Пушкина «Солнце русской поэзии закатилось!». В дальнейшем Краевский станет единственным прижизненным публикатором «дозволенного» и одним из распространителей «недозволенного» Лермонтова. Именно через Краевского общество узнало его знаменитое стихотворение «Смерть поэта».

Взлет «Отечественных записок» — журнала, история которого становится «историей всей русской литературы на протяжении полувека», — пожалуй, самая большая заслуга Андрея Краевского. Он реализовал идею, в «торговый» период русской литера-

туры владевшую многими: создать журнал, одновременно популярный и качественный. В эпоху, когда Булгарин и Греч топили конкурентов всеми доступными способами, когда император Николай ставил на прошениях об издании новых журналов категоричное «и без того много», Краевский придумал удачный ход. Он выкупил право на издание захиревшего журнала «Отечественные записки» у благонамеренного, умеренно-патриотичного издателя П. П. Свиньина, избежав таким образом убийственной волокиты с получением разрешения на новый журнал.

Первые известия о подготовке новых «Отечественных записок» относятся к лету 1838 года. Тогда Краевский писал критику и публицисту В. С. Межевичу: «Составляется уже компания денежная для издания... журнала под мою редакцию (высочайшее позволение мы уже имеем), и собираются сотрудники... Это последняя надежда честной стороны нашей литературы; если „Отечественные записки“ не будут поддержаны, то владычество Сенковского, Булгарина, Полевого и прочей сволочи утвердится незыблемо, и тогда горе, горе, горе!» В упомянутую «компанию денежную для издания» Краевский привлек людей самых разных воззрений и вкусов. Достаточно сказать, что с помощью одного из соучредителей В. А. Владиславлева (издателя альманаха «Утренняя заря» и адъютанта в корпусе жандармов) журнал «Отечественные записки» первое время распространялся при содействии III отделения.

Основные цели и задачи «Отечественных записок» подробно изложены в письме Краевского писателю Г. Ф. Квитко-Основьяненко: «Назначение „Отечественных записок“, цель их совершенно особенные от других, книгопродавских журналов. Это издание, которое восстановило бы в отечественной литературе права здравого вкуса, уничтожило бы это убийственное пренебрежение ко всему, что только есть высокого в искусстве и в науке, и останавливало бы низкие попытки литературных промышленников обманывать публику взаимным восхвалением своих жалких талантиков, которые скорее годились бы на дело торговое, чем литературное, а известно: торговля и литература — огонь и вода, холодный расчет и пылкое чувство, коварство и благодушие — вещи несовместимые».

Девиз на латинском языке, помещенный на первой странице обложки «Отечественных записок», в русском переводе звучит так: «Истинно блаженны те, кто внимает не голосу, звучащему на площадях, но голосу, в тиши учащему истине».

П. В. Анненков вспоминал, как Краевский добивался возможности «противопоставить злой вооруженной силе другую, тоже вооруженную силу, но с иными основаниями и целями». «Клич, который он тогда кликнул с одобрения самых почетных лиц петербургского литературного мира ко всем, еще не попавшим под позорное иго журнальных феодалов, отличался, — замечал Анненков, — и очень верным расчетом, и признаками полной искренности и благонамеренности».

В Москве даже литераторы консервативно-славянофильского толка восприняли программу «Отечественных записок» как «слишком благонамеренную». Но в этом и проявился Краевский-дипломат. Он играл с бюрократической машиной по правилам николаевской эпохи: главное — запустить журнал, и тогда останавливать его будет довольно непросто. Действительно, журнал пережил немало цензурных бурь и был потоплен охранителями (и то «с некоторой боязливостью») только в 1884 году.

Выход первого номера «Отечественных записок» 1 января 1839 года напоминал первый спуск на воду хорошо оснащенного и вооруженного корабля: это была «книжица» вдвое толще самой популярной тогда «Библиотеки для чтения» О. И. Сенковского. Соучредитель журнала И. И. Панаев по этому поводу приводил строку из пушкинской «Осени»: «Громада двинулась и рассекает волны...»

Сильная сторона «Отечественных записок» заключалась в том, что литераторы разных поколений сумели сделать содержание журнала более разнообразным по срав-

нению с его главным конкурентом — «Библиотекой для чтения» Сенковского, имевшей не менее 5000 подписчиков. «В возобновленных „Отечественных записках“, — писал Панаев, — допевали свои лебединые песни лучшие из наших беллетристов и блистательно начали свои дебюты молодые люди, только что вступившие на литературное поприще». Например, в 1839 году в журнале печатались произведения В. Ф. Одоевского, В. А. Соллогуба, М. Ю. Лермонтова, В. И. Даля, А. В. Кольцова, П. А. Вяземского, Е. А. Баратынского. Потом будут Ф. М. Достоевский, А. Ф. Писемский, Т. М. Грановский, А. И. Герцен, М. Н. Катков... Краевский сумел привлечь в возрожденный «толстый» журнал лучших авторов — от В. А. Жуковского до подающей надежды молодежи из круга московских западников, в том числе В. Г. Белинского.

Картинка эпохи: на Невском проспекте Фаддей Булгарин впервые встречается с только приехавшим из Москвы Виссарионом Белинским и, с любопытством осматривая его щуплую фигуру с головы до ног, произносит: «А! Так это бульдог-то, которого выписали из Москвы, чтобы травить нас?» Позже Белинский будет возмущаться жесткой требовательностью Краевского: «Краевский стоит с палкою и погоняет...» Но сам же и признает: «И то сказать, без этой палки я не написал бы никогда ни строки...»

Отношение Краевского к сотрудникам как к «пролетариям умственного труда», обязанным по точно данным указаниям вовремя поставлять известное количество качественной работы, не всем было по вкусу. Тем не менее именно такое отношение формировало дисциплину интеллектуальной деятельности и создавало журналистов-профессионалов, уважающих и себя, и читателей. «Брось он журнал, — признавался Белинский, — и у него будет прекрасное место, деньги, чины... Но его Бог наказал страстью к журналистике... Это человек, который из всех русских литераторов один способен крепко работать и поставить в срок огромную книжку, способен один талантливо отваять Греча, Булгарина или Полевого... Наконец, это честный и благородный человек, которому можно подать руку, не боясь запачкать ее».

Конкуренты не раз пытались применить против Краевского испытанное оружие — доносы (мол, хитрец Краевский «умнее Марата и Робеспьера» и прячет в толще своих изданий «идеи коммунизма, социализма и пантеизма»). Но издатель «Отечественных записок» хорошо изучил противника и заранее подготовился к такому повороту событий. В числе «соучредителей», то есть пайщиков журнала, были старший чиновник II отделения Б. А. Враский и адъютант шефа жандармов Л. В. Дубельта В. А. Владиславлев. Это оказалось надежным защитным ходом: в самых напряженных ситуациях Дубельт мог вызвать Краевского и «намылить голову за либерализм», но в итоге объявить, что «ничего из этого не будет...». Позже Булгарин сменил (точнее, разнообразил) тактику: он предложил Краевскому просто «присоединиться к союзу журнальных магнатов и сообща с ними *управлять* делами литературы». Краевский, как тогда говорили, «устранил предложение».

Борьба с «торговым направлением» журналистики, не стесняющимся писать на конкурента доносы в III отделение, приносила, как это ни странно, доход. Число подписчиков журнала составило 8000 — огромная цифра для России того времени. И тогда Краевский принялся за работу с газетами. В результате — всплеск успеха «Русского инвалида» в 1843–1852 годах, а затем превращение «Санкт-Петербургских ведомостей» из вялого академического листка в прекрасную газету, к тому же приносящую официальному издателю — Академии наук — 50 000 рублей годового дохода. Число подписчиков выросло до небывалого уровня — 12 000 (для сравнения: сверхпопулярный «Колокол» имел в лучшие годы 3000). Небывалое процветание газеты академические мужи отнесли исключительно к достоинствам самой академии и по истечении срока договора с Краевским в 1862 году поспешили подыскать нового арендатора,

даже не выслушав предложений прежнего. Краевский же решил издавать частную общественно-политическую газету. Идея немислимая в предшествующую николаевскую эпоху и весьма непростая по исполнению в эпоху «гласности».

Андрей Краевский хотел назвать новую газету «Голос народа», и, хотя такое название не разрешили, выраженная в нем идея издания не изменилась. «Нужно знать, что думает Россия о своих общественных интересах, что ей нравится, что не нравится, что ею отвергается, — писал Краевский. — Мне кажется, что настала пора проявления своих нужд и стремлений, своего горя и радости, а гласным органом служит пока только журналистика».

Выходу газеты способствовали связи Краевского в высших слоях петербургской либеральной бюрократии. Издатель понимал, что высшие чиновники, «константиновцы» (то есть приверженцы лидера либерального лагеря великого князя Константина Николаевича), сменившие «николаевцев» на самых ответственных постах, должны искать способ влияния на общественное мнение через прессу. И он был готов к сотрудничеству с либералами в правительстве.

«Насколько сил хватит у русского печатного органа, — писал Краевский своему старому другу В. Ф. Одоевскому, — он должен поддерживать всякую прогрессивную меру правительства, выражая собой одобрение лучшей, образованнейшей части общества, и побивать всеми своими кулаками всякое поползновение к ретроградности».

В итоге его идею об издании газеты поддержали министр внутренних дел П. А. Валуев, министр финансов М. Х. Рейтерн и особенно министр народного просвещения А. В. Головнин, предложивший Краевскому помощь в первый же день своего назначения на министерский пост. Валуев добился высочайшей поддержки начинания Краевского, рапортуя, что издатель «согласен подчиниться влиянию III отделения и Министерства внутренних дел, если ему будет оказано пособие...», а Головнин окончательно определил на содержание газеты весьма приличную сумму — 12 000 рублей в год. Деньги выдавались «помесячно, регулярно, безотчетно». Он же редактировал программу газеты, появившуюся в первом номере «Голоса» 1 января 1863 года. «Мы стоим за деятельную реформу, — говорилось в ней, — но не желаем скачков и бесполезной ломки... Мы не хотим льстить правительству, не желаем льстить и народу, не намереваемся заискивать в той среде, которая известна под именем «юной России» (то есть радикалов. — Д. О.)... Постараемся усвоить те обильные последствия блага, которыми дело реформы успело уже обозначиться...» Огарев из эмиграции отозвался на это довольно зло: «Голос влажный, голос невский; Головнинский, валуевский; Издает Андрей Краевский...»

Не менее желчно реагировали голоса «справа» — конкурент от консерватизма М. Н. Катков, издатель «Московских ведомостей», извещал читателей и о сумме, и о времени ее выдачи Краевскому, обвинял «Голос» в официозности, а значит, в подкупе. В ответ Краевский заявлял, что «официоз» лучше «полуофициоза», намекая на то, что и катковская газета имеет своих покровителей (в частности, увековеченного А. К. Толстым Тимашева). Газетно-публицистическая война Краевского и Каткова, «Голоса» (23 000 подписчиков) и «Московских ведомостей» (6000 подписчиков) была войной двух направлений внутренней политики — либерального и консервативного.

В действительности Андрей Краевский не был марионеткой высшей бюрократии. Он умело находил сторонников на самом вершине пирамиды власти и не мешал им думать, что они направляют политику газеты. При этом Краевский мог и избегать официального курса. Недаром министр внутренних дел Валуев в секретной переписке с министром финансов Рейтерном обвинял Краевского в «некотором уклонении» от того направления, «которое обязательно для газеты, получающей правительственную субсидию», и просил приостановить выдачу денег для «Голоса» в качестве наказания.

Именно Валуев, отчаявшись в установлении полного контроля над Краевским, добился полного прекращения государственного финансирования «Голоса» после 1865 года. В том же 1865 году Краевский был «удостоен чести» получить одно из первых цензурных предостережений, согласно новым правилам о печати. Спустя год, когда цензура вновь набрала силу, он, также один из первых, подвергся судебному преследованию и попал под «строгий домашний арест» за публикацию статей о положении раскольников (всего за время выхода газеты Краевский получил более шестидесяти цензурных взысканий). Однако к этому времени Краевский уже добился устойчивого финансового положения и создал корреспондентскую сеть не только в столицах, но и в провинции и за рубежом. Он же стоял у истоков первого информационного агентства печати в России — РТА (Русское телеграфное агентство), созданного в 1866 году. Многие материалы изданий Краевского начинаются словами о том, что информация получена из первых уст: «мы слышали», «нам говорят»...

В «Голосе» постоянно сотрудничали самые именитые авторы. «В доме на Литейном, — вспоминает очевидец, — в этой редакции можно было встретить не только одних генералов литературных, но и настоящих генералов». В «Голосе» печатались даже министры (настоящие и будущие) — как Победоносцев, Валуев, Дмитрий Милютин, Головин, Тимашев...

Осведомленность «Голоса» иногда приводила к курьезам. Например, в начале 1873 года газета объявила о готовящейся реорганизации Министерства государственных имуществ, Министерства внутренних дел и III отделения. Министр внутренних дел узнал об этом только из «Голоса», связался с министром государственных имуществ и выяснил, что тот вообще ничего не знает. Министры настояли на публикации официального опровержения сведений, и тут об упомянутой реорганизации открыто заговорили император и шеф жандармов.

За рубежом «Голос» Краевского считали официозом русского Министерства иностранных дел, причем в конце 1870-х годов именно в этом качестве министр Горчаков и лично Александр II рекомендовали газету Бисмарку.

Связи Краевского в бюрократических верхах и наличие корреспондентов по всей России позволили газете стать авторитетным изданием сторонников реформ «без скачков и бесполезной ломки». «Прошу писать так, как будто цензура не существовала, мне нужно знать дело так, как оно происходило в действительности», — обращался Краевский к авторам и корреспондентам. «Продолжайте писать в этом направлении, хотя бы это стоило мне тысячи подписчиков» — это было сказано в 1876 году, в дни патриотического восторга, связанного с грядущим победным «переигрыванием» на Балканах Крымской войны. Краевский был против вовлечения России в войну, поскольку предвидел, что внешний успех будет куплен ценой больших потерь, внутреннего экономического и политического кризиса, дипломатических поражений от Европы...

Опасения Краевского сбылись: Россия на рубеже 1870–1880-х годов испытала тяжелые потрясения, названные много позже «второй революционной ситуацией». В эти трудные годы Краевский и «Голос» выступили на стороне «диктатуры сердца» М. Т. Лорис-Меликова, поддержали политику министра и повели осторожную пропаганду «модернизации государственного строя путем привлечения к законодательству выборных представителей». Чаяния первых деятелей российского самоуправления Краевский знал и передавал не понаслышке, а как гласный Петербургской городской думы (с 1879 года).

После убийства Александра II Краевский оказался одним из тех немногих, кто не побоялся возложить часть вины за «гнусные злодеяния последних дней» на правительство, и газета получила очередное цензурное предупреждение. Для Александра III Краевский был представителем враждебной партии реформаторов, одним из олицетворе-

ний «зареформировавшейся» эпохи. «*И поделом этому скоту...*» — было собственно-ручно начертано императором на всеподданнейшем докладе о предупреждении «Голоса» за «вредное направление». Оно, по мнению власти, выражалось как в «суждениях о существующем государственном строе», так и в «подборе и неверном освещении фактов», должествующем «породить смуту в умах». О соредакторе Краевского в 1871–1883 годах В. А. Бильбасове царь отозвался в том же духе: «*Тот самый скот, который вместе с Краевским издавал „Голос“...*» Как тут не вспомнить реакцию Александра III на конституционную попытку Лорис-Меликова: «Конституция? Чтобы русский царь присягал каким-то скотам?..»

Согласно новым «Временным правилам о печати» 1882 года, издание «Голоса» было приостановлено на полгода после получения третьего за год цензурного предупреждения. Краевский снова стал первым в ряду тех издателей, к кому была применена новая мера наказания. По истечении полугода Краевскому было предложено представлять каждый номер газеты в предварительную цензуру, и не позже одиннадцати часов вечера накануне дня выхода газеты в свет. Это было убийственное правило: оперативность, главное достоинство ежедневной газеты, сводилась этой охранительной мерой на нет. Усиливший свое влияние в верхах Катков, давний конкурент Краевского, попытался сделать «Голос» своим филиалом. Он писал влиятельному Е. М. Феоктистову, начальнику Главного управления по делам печати: «При всей гнусности своей, благодаря интригам, „Голос“ стал большой силой, и было бы, конечно, хорошо овладеть этой силой и направить ее иначе». Эту идею поддержал и новый министр внутренних дел Д. А. Толстой. Уже начал тайно составляться капитал для покупки газеты «вместе с потрохами» (типографией). Но Краевский газету не продал и похоронил ее со всеми возможными приличиями. «Голос» прекратил свое существование не в громовых раскатах скандала, а как бы «в своей постели» — как издание, «не появлявшееся в качестве периодического в течение более года» (так гласило официальное постановление).

Семьдесят три года, миллионный капитал (Краевский был одним из крупнейших владельцев акций Царскосельской железной дороги) — казалось бы, самое время, чтобы насладиться покоем, и не под петербургским солнцем. Но Краевский выбирает новое поприще общественной деятельности. В качестве председателя комиссии по народному образованию при Петербургской городской думе он буквально вступает в борьбу с властями за каждый грош для народных школ. Не может выбить ассигнований — помогает школам собственными средствами. И в итоге: вместо 16 школ — 260, вместо 1000 учащихся — 15 000! И до начала тяжелой болезни (в 1886 году) Краевский осуществляет контроль над проведением уроков и экзаменов и одновременно заботится о праздниках, елках, увеселениях...

В память о Краевском остались учрежденные им стипендии студентам-юристам Московского и Петербургского университетов, капиталы для Общества поощрения художеств и Литературного фонда (Краевский был одним из организаторов Общества для пособия нуждающимся литераторам). Богатая библиотека Краевского перешла по завещанию городским училищам. Все документы о долгах Краевскому (а должников исчисляли тысячами) были объявлены недействительными...

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ГЕРЦЕН:
«Свобода лица — величайшее дело;
на ней и только на ней может вырасти
действительная воля народа»

АЛЕКСЕЙ КАРА-МУРЗА

В свое время большевистские пропагандисты немало преуспели в том, чтобы записать русское свободомыслие XIX века в собственную, коммунистическую родословную. Декабристы, Герцен, демократическое разночинство — все это, оказывается, служило лишь необходимым прологом к появлению ленинского, а затем сталинского большевизма. Следует признать, что это было неглупо задумано и с усердием реализовано. Последствия подобной фальсификации ощущаются и сегодня: многие относящие себя к либералам, например, до сих пор с некоторым подозрением относятся к Герцену, смутно припоминая его критический взгляд на современную ему Европу, а также приверженность некоей «русской общинности». Пора наконец признать, что *политическая* реабилитация жертв большевизма, при всей своей непоследовательности и неполноте, все же значительно опередила у нас процесс *интеллектуальной* реабилитации тех, чьи убеждения, вера, борьба были противоправно искажены коммунистическим агитпропом и встроены в контекст чуждой большевистской традиции. И одним из первых в ряду тех, кто нуждается в подобной реабилитации, стоит Александр Иванович Герцен (1812–1870) — выдающийся мыслитель, политик и публицист.

А. И. Герцен родился 6 апреля 1812 года в Москве. Он был внебрачным сыном богатого помещика Ивана Александровича Яковлева и немки Луизы Гааг, которую отец Герцена, возвращаясь после многолетнего путешествия по Европе, взял с собою. В 1833 году Александр Герцен окончил Московский университет со степенью кандидата и серебряной медалью. В следующем году за участие в молодежных кружках его арестовали, и девять месяцев молодой человек провел в тюрьме. Он вспоминал: «Нам прочли, как дурную шутку, приговор к смерти, а затем объявили, что, движимый столь характерной для него, непозволительной добротой, император повелел применить к нам лишь меру исправительную, в форме ссылки». Ссылку Герцен отбывал в Перми, Вятке, Владимире и Новгороде. В 1842–1847 годах жил в Москве, где занимался литературной деятельностью; с 1847-го — в эмиграции. Скончался Александр Иванович от пневмонии, 21 января 1870 года в Париже, не дожив до пятидесяти восьми лет. Похоронен в Ницце, рядом с рано умершей женой Н. А. Захарьиной...

Еще в ранней своей работе «Двадцать осьмое января» (1833) Герцен задавался ключевым для цивилизационной идентификации России вопросом: «Принадлежат ли славяне к Европе?» И недвусмысленно отвечал: «Нам кажется, что принадлежат, ибо они на нее имеют равное право со всеми племенами, приходившими окончить насильственной смертью дряхлый Рим и терзать в агонии находившуюся Византию; ибо они связаны с нею ее мощной связью — христианством; ибо они распространились в ней от Азии до Скандинавии и Венеции».

Но далее с необходимостью вставал другой вопрос: если существует славяно-европейское генетическое сродство, почему так велико и разительно различие между

наличной Россией и Европой? В той же работе 1833 года автор развивает мысль о том, что дело — в существенном отставании во времени, обусловленном не только неблагоприятными факторами развития России, но и чрезвычайно благоприятными факторами развития Европы. Среди последних Герцен, находившийся тогда под влиянием классической немецкой диалектики, особо выделял следующее обстоятельство: в отличие от России Европа развивалась в условиях сталкивания многообразных противоречий, которые и «высекали искры прогресса». «Доселе развитие Европы была непрерывная борьба варваров с Римом, пап с императорами, победителей с побежденными, феодалов с народом, царей с феодалами, с коммунарами, с народами, наконец, собственников с неимущими. Но человечество и должно находиться в борьбе, доколе оно не разовьется, не будет жить полною жизнью, не взойдет в фазу человеческую, в фазу гармонии, или должно почтить в самом себе, как мистический Восток. В этой борьбе родилось среднее состояние, выражающее начало слития противоположных начал, — просвещение, европеизм». Итак, только в борьбе противоречий и складываются прогресс, просвещение, европеизм, развитая цивилизация.

Двойственность России, таким образом, состоит в том, что, будучи по происхождению частью европейской цивилизации, она, лишенная исторического динамизма, «сложившаяся туго и поздно», не развилась в Европу. В силу особенностей своего географического положения («огромное растяжение по земле») и истории, Россия оказалась более склонна к «восточному созерцательному мистицизму» и «азиатской стоячести»: «В удельной системе не было ни оппозиции общин, ни оппозиции владельцев государю... Двухвековое иго татар способствовало России сплавить в одно целое, но снова не произвело оппозиции. Основалось самодержавие — а оппозиции все не было».

Эта же мысль об односторонности и дефицитности продуктивного противоречия в русской жизни будет впоследствии проследиваться в работе «О развитии революционных идей в России»: «В славянском характере есть что-то женственное; этой умной, крепкой расе, богато одаренной разнообразными способностями, не хватает инициативы и энергии. Славянской натуре как будто недостает чего-то, чтобы самой пробудиться, она как бы ждет толчка извне».

Именно здесь находил молодой Герцен разгадку того мощного цивилизационного импульса, который был задан российскому обществу преобразованиями Петра Великого — человека «с наружностью и духом полуварвара», но «гениального и незабываемого в великом намерении приобщить к человеческому развитию страну свою». Гений Петра, по Герцену, заключается именно в том, что он впервые *породил в России оппозицию...* в своем собственном лице: «Явился Петр! Стал в оппозицию с народом, выразил собою Европу, задал себе задачу перенести европеизм в Россию и на разрешение ее посвятил жизнь». Бесспорная заслуга этого царя — в честном осознании бесперспективности косной московской Руси, в понимании необходимости ее «очеловеченья»: «В этом невежественном, тупом и равнодушном обществе не чувствовалось ничего человеческого. Необходимо было выйти из этого состояния или же сгнить, не достигнув зрелости».

Принято считать, что Герцен долгое время оставался в России одним из лидеров «западнической партии». Но, как представляется, изначальный выбор в пользу «западничества» служил для него не столько рычагом односторонней и тотальной победы над «самобытниками», сколько способом наиболее результативного решения проблемы продуктивного синтеза в России «новации» и «традиции». Ведь не зря он неоднократно подчеркивал двуединство комплекса «западничество–славянофильство» и то глубинно-общее, что объединяло «друзей-недрузгов»: «Головы смотрели в разные стороны — сердце билось одно».

По всей видимости, раннего Герцена не устраивала в «славянофильстве» вовсе не защита «традиции» как таковой, а неконструктивность упора на реанимацию порушенной и к тому же мифологизированной традиции, неспособность славянофилов продуктивно разрешить потенциально живительное противоречие «традиция–новация». Западник Герцен и сам не утаивал свою основную претензию к славянофильству: он видел в нем скорее «инстинкт» и «оскорбленное народное чувство», нежели полноценное «учение» или — тем более — «теорию». Поэтому и «западничество» для него имело смысл не столько как партия, добивающаяся одностороннего выигрыша, сколько как более осмысленный (т.е. более рациональный), чем у славянофилов, путь к достижению продуктивной интегральной формулы в конфликте традиции и новации. Ведь изначальная посылка русских западников, по мнению Герцена, исторически бесспорна: «Кнут, батоги, плети являются гораздо прежде шпицрутенов и фухтелей». А потому более осмысленна и плодотворна и конечная цель «европейцев»: «Европейцы... не хотели менять ошейник немецкого рабства на православно-славянский, они хотели освободиться от всех возможных ошейников».

В связи с этим уже у молодого Герцена резко вычерчивается и критическая по отношению к царю-реформатору линия: петровская практика «варварской борьбы против варварства» не в состоянии была обеспечить искомой «человеческой вольности». Насильственное озападнивание, европеизация «из-под кнута» ведет не к свободе, а к утрате последних остатков русской свободы: «Гнет, не опирающийся на прошедшем, революционный и тиранический, опережающий страну, — для того чтоб не давать ей развиваться вольно, а из-под кнута, — европеизм в наружности и совершенное отсутствие человечности внутри — таков характер современный, идущий от Петра». Отсюда вывод: насильственное насаждение на Руси Европы не привело к европейскому результату — свободе личности. Как ранее «азиатская» безальтернативность давила русского человека, так ныне реформаторская «безальтернативность», убившая потенциал животворного диалога нового со старым, парализовала становление российской личности...

Но если Петр все-таки затеял с Россией сложнейший культурный эксперимент с определенными шансами на выигрыш, то его менее талантливые и творческие преемники быстро растранижили доставшееся им наследство. Вместо насилия во имя все-таки просвещения от петровского замысла осталось голое, бессмысленное насилие. В работе «Молодая и старая Россия» (1862) Герцен констатирует окончательное вырождение послепетровской государственности — не только в годы «николаевщины», но и в период «александровских метаний»: «В Петербурге террор, самый опасный и бессмысленный из всех, террор оторопелой трусости, террор не львиный, а телячий... Неурядица в России и лихорадочное волнение идет оттого, что правительство хватается за все и ничего не выполняет, что оно дразнит все святые стремленья человека и не удовлетворяет ни одному, что оно будит — и бьет по голове проснувшихся».

Вопреки распространенному мнению, будто Россия — страна по природе своей предельно консервативная, Герцен — одним из первых — заметил, что беда ее заключается, напротив, в практическом *отсутствии культурного консерватизма* в точном смысле слова: «Нельзя говорить серьезно о консерватизме в России. Мы можем стоять, не трогаясь с места, подобно святому столпнику, или же пятиться назад подобно раку, но мы не можем быть консерваторами, ибо нам нечего хранить». Сама российская государственность предстает у него не оплотом традиции, а разнородным и полным противоречий «разностильным зданием» — «без архитектуры, без единства, без корней, без принципов»: «Смесь реакции и революции, готовая и продержаться долго, и завтра же превратиться в развалины».

Нестандартность мышления Герцена состояла в том, что он — безусловный европеист по культуре — не страшился указывать на издержки и опасные следствия принудительной и потому поверхностной европеизации России.

Отход его от прямолинейного западничества не означал перехода в славянофильский лагерь. В отличие от славянофилов Александр Иванович до конца остался резким критиком допетровской Руси. Главным критерием его оценок оставался все тот же — наличие в обществе «свободы лица»: «У нас лицо всегда было подавлено, поглощено, не стремилось даже выступить, — говорится в работе „С того берега“ (1849). — Свободное слово у нас всегда считалось за дерзость, самобытность — за крамолу; человек пропадал в государстве, распускался в общине». Еще энергичнее косность древней Московии описана в работе «О развитии революционных идей в России»: «Нельзя не отступить в ужасе перед этой удушливой общественной атмосферой, перед картиной этих нравов, являвшихся лишь безвкусной пародией на нравы Восточной империи».

Однако и петровское насаждение сверху европейских порядков не привело в России к существенному расширению личностной свободы: «Все, что можно было переписать из шведских и немецких законодательств, все, что можно было перенести из муниципально-свободной Голландии в страну общинно-самодержавную, все было перенесено; но неписаное, нравственно обуздывающее власть, *инстинктуальное* признание прав лица, прав мысли, истины не могло перейти и не перешло». Герцен формулирует знаменитый парадокс, который потом очень часто использовался русскими антизападниками, но который свидетельствует лишь о последовательном либерализме Герцена, ставящего «человечность» выше формальной принадлежности к западнической партии: «Рабство, — писал он, — у нас увеличилось с образованием; государство росло, улучшалось, но лицо не выигрывало; напротив, чем сильнее становилось государство, тем слабее лицо». Человеческая личность в России оказалась стиснутой двумя формами несвободы — принудительной азиатчиной старой Московии и принудительным же европеизмом послепетровской России: «Кнутом и татарами нас держали в невежестве, топором и немцами нас просвещали, и в обоих случаях рвали нам ноздри и клеймили железом».

В огромной литературе об А. И. Герцене ключевым моментом эволюции его политических взглядов неизменно считается «разочарование в Европе». Что же так неприятно поразило этого западника при встрече с реальной Европой? В работе «Концы и начала» (1862) он сам написал об этом, и его умонастроение выдает в нем несомненного либерала: «Я с ужасом, смешанным с отвращением, смотрел на беспрестанно двигающуюся, кишашую толпу, предчувствуя, как она у меня отнимет полместа в театре, в дилижансе, как она бросится зверем в вагоны, как нагреет и насытит собою воздух... Люди, как товар, становились чем-то гуртовым, оптовым, дюжинным, дешевле, плоше врозь, но многочисленнее и сильнее в массе. Индивидуальности терялись, как брызги водопада, в общем потоке». По существу, он уловил первые дуновения *грядущих тоталитарных форм* общества, возросших там, где европейские принципы свободы утрачивали свой иммунитет перед натиском «массового общества». Эти размышления, кстати, созвучны опасениям самих европейских либералов, например современника Герцена Джона Стюарта Милля. В своем знаменитом эссе «О свободе» Милль приходит к выводу: в развитии каждого европейского народа, похоже, «есть предел, после которого он останавливается и делается Китаем». Культурное упрощение Европы, жизнь, заполненная не творческими стремлениями, а «пустыми интересами», приводит, согласно и Миллю, и Герцену, к «новой китайщине». Мещанская цивилизация, утрачивая былой импульс к развитию, может привести к полному стиранию человеческого лица, ко всеобщей нивелировке напоподобие старой «азиатчины».

По сути дела, Герцен стал одним из первых европейских мыслителей, кто, задолго до Х. Ортеги-и-Гассета, Э. Фромма и Х. Арндт, подверг критике те явления, которые позднее были названы «бегством от свободы» и торжество которых породило в конечном счете европейские формы авторитаризма и тоталитаризма. Оказалось, быть европеистом — не означает безудержно восхвалять «любую Европу». Ответственный европеизм — это в большой степени критика наличной Европы с позиций фундаментальных культурных первооснов Европы, и в первую очередь — с позиции принципов «свободы лица» и личного достоинства.

Сам Герцен отлично понимал, что его постепенно накапливающееся критическое отношение к Западу может сыграть на руку противникам русского европеизма, но интеллектуальная честность для него — превыше всего: «Я знаю, что мое воззрение на Европу встретит у нас дурной прием. Мы, для утешения себя, хотим другой Европы и верим в нее так, как христиане верят в рай. Разрушать мечты вообще дело неприятное, но меня заставляет какая-то внутренняя сила, которой я не могу победить, высказывать истину — даже в тех случаях, когда она мне вредна». Однако до конца жизни Александр Иванович продолжал ценить Европу именно за это — за возможность *свободно высказывать истину*. Еще в начале эмиграции, в 1849 году, он писал друзьям, почему сознательно выбирает Европу: «Не радость, не рассеяние, не отдых, ни даже личную безопасность нашел я здесь... Остаюсь затем, что борьба — здесь, что, несмотря на кровь и слезы, здесь разрешаются общественные вопросы, что здесь страдания болезненны, жгучи, но *гласны*, борьба открытая, никто не прячется... За эту открытую борьбу, за эту речь, за эту гласность — я остаюсь здесь...» И далее Герцен формулирует принцип, который он пронес через всю жизнь и который позволяет говорить о его несомненной приверженности либеральной идее: «Свобода лица — величайшее дело; на ней и только на ней может вырасти действительная воля народа. В себе самом человек должен уважать свою свободу и чтить ее не менее, как в ближнем, как в целом народе».

А. И. Герцен принципиальным образом различал «демократию» и «мещанство». Известные претензии Герцена — либерала и демократа одновременно — к либералам-охранителям сводились к тому, что те оказались не готовы к демократизации своих либеральных убеждений и фактически потакали «омещаниванию» и «новой китайской стоячести». Да, были времена, когда претензию на свободу личности высказывало лишь образованное меньшинство, и либеральный аристократизм был тогда естествен и оправдан: «Я не моралист и не сентиментальный человек; мне кажется, если меньшинству было действительно хорошо и привольно, если большинство молчало, то эта форма жизни в прошедшем оправданна. Я не жалею о двадцати поколениях немцев, потраченных на то, чтобы сделать возможным Гёте, и радуюсь, что псковский оброк дал возможность воспитать Пушкина». Но защитники привилегий узкого меньшинства (в том числе и на свободу) оказались в тупике и смятении, когда на авансцену истории явился — «не в книгах, не в парламентской болтовне, не в филантропических разглагольствованиах, а на самом деле» — «работник с черными руками, голодный и едва одетый рубищем. Этот „несчастный, обделенный брат“, о котором столько говорили, которого так жалели, спросил наконец, где же его доля во всех благах, в чем его свобода, его равенство, его братство».

Герцен, не оставляя своих либеральных убеждений (их основа по-прежнему — «свобода лица»), был готов принять этот вызов демократизма — его идеалом общественного служения всегда оставались «политические дон-кихоты» типа Дж. Гарibaldi и Дж. Мадзини. Между тем его русские оппоненты — либералы-государственники К. Д. Кавелин, Б. Н. Чичерин и др. — предпочли охранение элитарных свобод, теперь уже не только от самовластия верхов, но и от посягательств проснувшихся низов. Ре-

зультат этого спора внутри либерального лагеря известен: в России не удалось удержать ни демократии, ни либерализма...

Разработка А. И. Герценом концепции «русского социализма», вопреки многим представлениям, нисколько не отлучила его от русско-европейской либеральной традиции. Напротив, «социализм», как он его понимал, — это способ сбережения «свободы лица», форма защиты цивилизации от наступления «новой китайщины». Очень характерно, что во многих работах Герцена «русский социализм» поставлен в один ряд с «американской моделью». Он неоднократно высказывает мысль, что для своего спасения европейская цивилизация должна получить новый импульс со стороны молодых, свежих наций: «Мы ничего не пророчим; но мы не думаем также, что судьбы человека пригвождены к Западной Европе. Если Европе не удастся подняться путем общественного преобразования, то преобразуются иные страны; есть среди них и такие, которые уже готовы к этому движению, другие к нему готовятся». Для Герцена несомненно, что одна из этих молодых наций, которой принадлежит будущее, — это Северо-Американские Штаты; другой, возможно, станет Россия — «полная сил, но вместе и дикости».

Итак, разочаровавшийся в современной ему Европе Герцен вовсе не отказывается от принципов «свободы лица», как хотели представить дело его антизападнические, в том числе большевистские интерпретаторы. Он оказывается вовлечен в общеевропейский кризис жизни и сознания и — вместе с западными мыслителями — настойчиво ищет пути разрешения этого кризиса, ибо, по его глубокому убеждению, исход борьбы «старого европеизма» и «новой китайщины» еще вовсе не предрешен. Спасти личностное начало или окончательно утратить его — процесс вероятностный, и Герцен неоднократно подчеркивает, что все зависит от способности свободных личностей противостоять давлению среды и принудительной нивелировке. Позднее выдающийся русский либеральный мыслитель П. И. Новгородцев особо подчеркивал это достоинство герценовской мысли — приоритет *открытости и вероятностности истории* перед верой в заранее сконструированный общественный идеал. Действительно, Герцен так оценивал состояние и политические перспективы Европы: «Эпоха *линянья*, в которой мы застали западный мир, самая трудная; новая шкура едва показывается, а старая окостенела, как у носорога, — там трещина, тут трещина... Это положение между двух шкур необычайно тяжело. Все сильное страдает, все слабое, выбивавшееся на поверхность, портится; процесс обновления неразрывно идет с процессом гниения, и который возьмет верх — неизвестно...» Будучи внимательнейшим аналитиком европейской жизни, Герцен предельно конкретен: «Вопрос действительно важный, до которого Милль не коснулся, вот в чем: существуют ли всходы новой силы, которые могли бы обновить старую кровь?.. А этот вопрос сводится на то, потерпит ли народ, чтоб его окончательно употребили для удобрения почвы новому Китаю и новой Персии... Вопрос этот разрешат события — теоретически его не решишь. Если народ сломится, новый Китай и новая Персия неминуемы».

Размышления о судьбе Европы всегда оборачивались для Александра Ивановича выражением боли за те «колоссальные уродства», которым подвергается человеческая личность в России. В работе «С того берега» (1849) эти мотивы звучат особенно отчетливо. Впрочем, слова, написанные полтора века назад, абсолютно применимы и по отношению к русскому XX веку, да и к сегодняшним дням — в немалой степени: «Мы выросли под террором, под черными крыльями тайной полиции, в ее когтях; мы изуродовались под безнадежным гнетом и уцелели кой-как... Томимые желанием знать, мы подслушиваем у дверей, стараемся разглядеть в щель... Мудрено ли после этого, что мы не умеем уладить ни внутреннего, ни внешнего быта, лишнее требуем, лишнее

жертвуем, пренебрегаем возможным и негодуем за то, что невозможное нами пренебрегает; возмущаемся против естественных условий жизни и покоряемся произвольному вздору».

В итоге в России, по мысли Герцена, начал доминировать тип «псевдоевропейцев» — людей, которых он часто называл «амфибиями» и главными видовыми признаками которых считал неумение ни сохранить русскую традицию, ни усвоить западную цивилизацию. В поздних «Письмах противнику» (1865) отмечается, что в результате ориентации русского самодержавия на «пруссские образцы» худшие свойства немца приобрели в России гипертрофированное и опасное выражение: «В мещанском мизере немецкой жизни фельдфебельству негде было расправить члены; на русском черноземе благодаря помещичьему закалу оно быстро развилось до заколачивания в гроб и до музыки в шпорах». Герцен определял существо правящего класса в России как сращение «немецкого бюрократа» с «византийским евнухом».

Между тем, по его мнению, не менее опасный тип личности формируется и в среде русской оппозиции. Горестные оценки изуродованной русской личности с особой силой ставили перед Герценом вопрос: кто же в таких условиях способен в России взять на себя инициативу освобождения? Его очень беспокоил нарождающийся тип человека, в сегодняшнем дне абсолютно «лишнего» и именно поэтому часто готового все растоптать в истовом стремлении в «день завтрашний». Герцен называл эту новую породу русских, появившуюся в годы николаевского безвременья, «желчными людьми», «желчевиками»: «Первое, что нас поразило в них, — злая радость их отрицания и страшная беспощадность... Там, где наш брат останавливался, оттирал, смотрел, нет ли искры жизни, они шли дальше пустырем логической дедукции и легко доходили до тех резких, последних выводов, которые пугают своей радикальной бойкостью. В этих выводах русский вообще пользуется перед европейцем страшным преимуществом — у него нет ни традиции, ни родного, ни привычки». Таким образом, проблема состоит в том, что новый тип русского оппозиционера — прямой результат насильственной, а потому поверхностной и ненадежной европеизации: «Всего безопаснее по опасным дорогам проходит человек, не имеющий ни чужого добра, ни своего. Это освобождение от всего традиционного доставалось не здоровым, юным натурам, а людям, которых душа и сердце были поломаны по всем составам... Чему же удивляться, что юноши, вырвавшиеся из этой пещеры, были юродивые и больные?» Герцен очень опасался, что именно эти «новые люди», которым в России «нечего терять», начнут в скором времени определять будущее страны. К несчастью, он не ошибся...

В каком же направлении Герцен ищет выход из тисков псевдоевропеизации? Его европейская ипостась не приемлет возвращения назад, в допетровскую Московию. Ведь «кнут, батоги, плети являются гораздо прежде шпицрутенов и фухтелей». Но и идти вперед по дороге, по которой ведет «цивилизатор с кнутом в руке, с кнутом же в руке преследующий всякое просвещение», он не хочет. И приходит к нетривиальному выводу: вернуться надо, но не к «диким формам» допетровской Руси, а к ее преобразованному «человеческому содержанию»: «Возвратиться к селу, к артели работников, к мирской сходке, к казачеству — другое дело; но возвратиться не для того, чтоб их закрепить в неподвижных азиатских кристаллизациях, а для того, чтоб развить, освободить начала, на которых они основаны, очистить от всего наносного, искажающего, от дикого мяса, которым они обросли». Между этими выводами зрелого человека и рассуждениями человека молодого есть разница. Теперь Герцен полагает, что на место волевого усилия «царя-реформатора», которого прежде он искренне считал адекватным заменителем европейской Реформации («у нас целый переворот, кровавый и ужасный, заменился гением одного человека»), должна прийти подлинная

Реформация как переосмысление национальных первоисточков — низовой демократии, не покоренной ни «татарством», ни «немецкой».

Фактически именно русскую Реформацию Герцен и называл «русским социализмом». Но и эту стадию он не считает ни обязательной, ни последней: «Социализм разовьется во всех фазах своих до крайних последствий, до нелепостей. Тогда снова вырвется из титанической груди революционного меньшинства крик отрицания, и снова начнется смертная борьба, в которой социализм займет место нынешнего консерватизма и будет побежден грядущей, неизвестной нам революцией... Вечная игра жизни, безжалостная, как смерть, неотразимая, как рождение». Прав П. И. Новгородцев: «Самую веру в социализм Герцен растворяет в вечном потоке истории».

Только в этом контексте можно понять его отношение к русской общине. Именно в сложности герценовской позиции лежит разгадка того факта, что спустя несколько десятилетий деятели русского земского движения смогли с полным правом записать Герцена в ряд родоначальников «либерального земства».

Он никогда не идеализировал общину, но не мог не отметить, что община, при всех ее недостатках и даже пороках, — едва ли не единственный институт, который во всех драматических коллизиях русской истории оказывался способным уберечь остатки «свободы лица». В работе «Русский народ и социализм» (1851) перечислены эти несомненные заслуги русской общины в деле сбережения личности от натиска внешних, принудительных форм: «Община спасла русский народ от монгольского варварства и от императорской цивилизации, от выкрашенных по-европейски помещиков и от немецкой бюрократии. Общинная организация, хотя и сильно потрясенная, устояла против вмешательства власти...»

А в известных «Письмах Линтону» (1854) автор в наиболее четком виде сформулировал те принципы, которые русская община имеет шанс (именно шанс — не более!) реализовать, чтобы обеспечить в конечном счете свободное развитие личности. Главное здесь в том, что община для Герцена — это возможный фундамент «очеловеченной собственности», народного низового самоуправления и представительства, модель, которую затем необходимо распространить на все общество: «Сохранить общину и дать свободу лицу, распространить сельское и волостное самоуправление (self-government) по городам и всему государству, сохраняя народное единство, — вот в чем состоит вопрос о будущем России».

Герценовский расчет на общинное самоуправление как прообраз будущего *общенационального гражданского общества* оказался несостоятельным. Но это была еще одна попытка ответить на общий вопрос, волнующий русских либералов: как в России пройти между Сциллой Реакции и Харибдой Революции? Как уберечь на этом пути человеческую личность и ее достоинство? «Третий путь» Герцена не реализовался — впрочем, точно так же, как и все иные либеральные предложения.

Что ж, Александр Иванович Герцен был абсолютно русским человеком и, несмотря на собственную гениальность, вполне подпадал под им же самим сформулированные гениальные определения русскости: «Нам хочется алхимии, магии, а жизнь и природа равнодушно идут своим путем, покоряясь человеку по мере того, как он выучивается действовать их же средствами».

МИХАИЛ НИКИФОРОВИЧ КАТКОВ: «Основой преобразований должен быть существующий порядок...»

ВЛАДИМИР КАНТОР

Либерализм в России XIX века пережил известную эволюцию. В 1840-х годах быть либералом значило быть «человеком мысли», значило рисковать если не свободой, то по крайней мере служебным положением. После крымского поражения и реформ Александра II либерализм получил ореол государственной политики. «По счастливому стечению обстоятельств, — язвил К. Леонтьев, — русскому либерализму не представлялось никакой нужды быть началом *оппозиционным*. Напротив, при освобождении крестьян, равно как и при последующих реформах, так называемые „либералы“ являлись вполне *правительственной партией*». Собственно, похожего взгляда на либерализм придерживались и русские радикалы. Однако, если взглянуть в эту проблему с исторического расстояния, мы можем заметить постоянную оппозиционность русских либералов. Даже в эпоху Александра II они старались дистанцироваться от наиболее одиозных правительственных действий и заявлений.

Сложность либеральной позиции в ту эпоху понятна. Дело в том, что либерализм утвердился в России в параллель с революционным и нигилистическим движением. И, безусловно, либералы боялись как нигилизма, так и возбужденного им восстания масс, новой пугачевщины. Поэтому порой они шли на союз с государством, опасаясь революционного движения. Ключевой фигурой в данном случае представляется редактор-издатель журнала «Русский вестник» и газеты «Московские ведомости» Михаил Никифорович Катков (1818–1887). Он начинал как сторонник и даже идеолог классического либерализма в его англосаксонском варианте, но затем, в своем отстаивании либеральных ценностей, не просто пошел на союз с государством, но попытался в этих целях использовать всю силу и традицию самодержавного правления. Таковы парадоксы исторического развития, но разобраться в них совершенно необходимо...

Первый этап жизни и деятельности М. Н. Каткова (примерно до 1855 года) есть своего рода увертюра, пролог, в котором наметились темы, получившие развитие впоследствии, когда он стал уже не просто многообещающим молодым критиком и не рядовым профессором Московского университета, а вождем целого направления. Беглый обзор этого периода позволит понять, как формировался Катков, ибо к изданию «Русского вестника» он приступил уже совершенно зрелым человеком, сложившимся как мыслитель и идеолог.

М. Н. Катков родился 1 ноября 1818 года в Москве. Его отец, небогатый канцелярский чиновник, выслуживший личное дворянство, скончался, когда сыну исполнилось пять лет. Наследства мальчик не имел, роду был незнатного, но желал пробиться, был при этом даровит и верил в свои силы — классический вариант молодого буржуазного честолюбца. В 1834 году Михаил Катков поступил в Московский университет на филологическое отделение. Занимался столь успешно, что его ответы собирались слушать студенты всех курсов. Ему прочили блистательную ученую карьеру, и он упор-

но, трудолюбиво ее добивался. Ученая карьера обеспечивала спокойную жизнь в достатке. Однако какие возможности имелись в тот период в России, чтобы полностью реализовать стремления молодого честолюбца, чтобы добиться не только обеспеченности, но и известности, славы, чтобы как-то воздействовать на развитие России в духе своих идеалов?

Литература? Катков успешно занимался литературной критикой. «Какая даровитость, какая глубокость, сколько огня душевного, какая неистощимая, плодотворная и мужественная деятельность! — отзывался о первых его литературных опытах Белинский. — Во всем, что ни пишет он, видно такое присутствие мысли, его первые опыты гораздо мужественнее моих теперешних». На какой-то период Катков, по существу, отказался от карьеры ученого и ввязался в борьбу литературных партий на стороне западников-прогрессистов, примкнув к кружку Станкевича и Белинского и став самым молодым его членом. Он активно сотрудничает в журналах, пишет статьи и обзоры, ведет библиографию, переводит немецких эстетиков и стихи Гейне; его перу принадлежит первый полный перевод «Ромео и Юлии» Шекспира. «„Отечественные записки“, — писал Белинский, — издаются трудами трех только человек — Краевского, Каткова и меня».

Однако позиция М. Н. Каткова отличалась от позиции Белинского. Он западник, но далеко не демократ. Как и для Белинского, для него совершенно неприемлема идея «официальной народности», однако он защищает буржуазную европейскую культуру с ее традицией личной независимости, самостоятельности. Катков в восторге от петровских реформ, принимает их целиком. В идеализации Петра как просвещенного монарха, перестраивавшего Россию на европейский лад, явственно проглядывает оппозиция николаевскому режиму, совершившему, по сути, антипетровскую контрреформу.

Полемизируя с идеологами и апологетами николаевской политики обособления России от Западной Европы, Н. М. Катков в 1839 году пишет: «Только с Петра возникла Россия, могучее, исполинское государство; только с Петра русский народ стал нацией, стал одним из представителей человечества, развивающим своею жизнью одну из сторон духа; только с Петра вошли в его организм высшие духовные интересы, только с него начал он принимать в себя содержание развития человечества. А до Великого у нас не было ни искусства, в собственном смысле этого слова, ни науки». Российская империя, Российское государство, по Каткову, есть порождение русского народа, и в этом его величайшая историческая заслуга, поскольку именно созданная Петром империя привнесла в Россию европейскую цивилизацию, введя страну в круг мировых держав. «Кто же после этого скажет, что жизнь русского народа была бесплодна? Кто будет жаловаться, что он во все времена своего продолжительного существования ничего не совершил, ничего не породил?.. Разве ничего не значило породить эту неодолимо мощную и внутри и вне, эту необъятную монархию? Разве эта монархия не свидетельствует о дивной силе народа, ее создавшего? Какое государство, укажите, может сравниться с нею по объему и могуществу и по изумительной силе ассимилирования?» Творческая потенция теперь только у самодержавия, считает Катков, которое с помощью европейской культуры вдохнуло жизнь в огромный государственный организм, созданный народом.

Таков вкратце смысл историко-культурной концепции раннего Каткова. Его поездка 1840 года в Германию (там он проводит два года: бедствует, но упорно занимается философией, с благоговением слушает лекции «позднего Шеллинга») есть не что иное, как поиски философского обоснования уже сложившейся концепции. По возвращении он окончательно расходится с Белинским.

Разрыв назревал давно. Признавая в молодом человеке незаурядный талант, утверждая даже, что видит в нем «великую надежду науки и русской литературы», Бе-

линский постепенно осознает разность их позиций. Особенно его настораживает индивидуализм Каткова, его самолюбие, эгоизм: «Самолюбие ставит его в такое положение, что от случая будет зависеть его спасение или гибель, смотря куда он поворотит, пока еще время поворачивать себя в ту или другую сторону». Существенную роль в разрыве сыграли политические мотивы: Белинский все стремительнее шел к радикализму, Катков же, при всем своем европеизме, сохранял взгляды либерально-консервативные, в которых еще более укрепился после поездки в Германию.

М. Н. Катков отходит от литературы. Быть в николаевский период литератором означало полную невозможность житейского преуспевания для человека, у которого хотя бы немного развито чувство собственного достоинства. Существовали либо путь Белинского — путь полного разрыва с официальной идеологией, грозивший тяжкими лишениями или гибелью, либо путь Булгарина и Греча, принципов не имевших. Надежного положения эта профессия не гарантировала даже людям, до конца разделявшим официальную идеологию, чего о себе молодой Катков сказать пока не мог. Не было у него ни поместья, ни денег, позволявших, как, например, славянофилам, редкое выступление в печати. Но существовал иной способ «выбиться в люди», традиционный, проверенный веками, — приобретение чинов. Как заметил однажды С. М. Соловьев, начиная с XVIII века «в России значительный чин был тот же револьвер, необходимый для известной безопасности».

Чин значил чрезвычайно много — это Катков прекрасно понимал. Однако путь по ступеням государственной службы был долгов, ненадежен и зависел, как правило, не от деловых качеств человека, а от связей, родственных отношений и знакомств. Ученая карьера, давая те же чины, определялась в какой-то мере и личными способностями. Но к этому надо добавить, что ученая карьера являлась в описываемый период той же службой, немногим отличавшейся от других: царизм создавал слой так называемой «правительственной интеллигенции». И то, что ученые люди, по существу, приравнивались к чиновникам, служило им во спасение в самые мрачные годы николаевского режима. М. Н. Катков видел в звании, чинах и определенном служебном положении гарантию независимости личности в России и защищенности от резких смен политического климата. И поэтому возвратился к науке.

М. Н. Катков ищет покровителей, помнивших его ученые успехи; находит новых после защиты магистерской диссертации «Об элементах и формах славяно-русского языка», получает кафедру философии в Московском университете. По своим взглядам он типичный западник либерально-буржуазного толка, не очень еще проявившийся — так сказать, «либерал в подполье».

Согласно известной мысли Герцена, с Николая I правительство и просвещение перестали идти рядом. Сил у русского либерализма никаких еще нет, опоры в культуре и традициях тоже — Россия пока страна далеко не буржуазная. И Катков не похож еще на того будущего, всемогущего Каткова, смещавшего своим словом министров. Университетская служба для него — якорь спасения. Однако режим достал его и там: кафедру философии закрыли, ибо стремление рационально понять мир, особенно следуя идеям немецкой философии, стало казаться подозрительным. Бывший профессор философии в 1851 году вынужден стать редактором университетской газеты «Московские ведомости». Газета вдвое увеличила подписку, но не более того. Зато жизнь самого редактора оказалась полна своеобразных приключений.

Об одном из них стоит сказать два слова. В эти годы чуть не случилась дуэль между Михаилом Бакуниным — будущим отцом русского и мирового анархизма и нигилизма, воспевавшего разбой как социальную революцию, воспитателем Нечаева, и Михаилом Катковым — будущим защитником права, государственности, прочного положения страны, создателем классических гимназий с опорой на античную культу-

ру как антитезу нигилизма. Ситуация в известном смысле символическая. Да и причина дуэли любопытна: Бакунин случайно застал довольно фривольную сцену, где действующими лицами выступали Катков и первая жена Огарева (тоже фигура для русской культуры не проходная). Бакунин понес сплетню по знакомым. Катков вызвал его. Бакунин от поединка благоразумно уклонился, уехав за границу. Но характер обоих здесь проявился в полной мере.

В начале 1850-х Катков женится на дочери известного своей бездарностью поэта князя Шаликова. Дочь его была бедна и тоже не отличалась особой сообразительностью. Причину этого брака не поняли даже друзья, а Тютчев пустил остроу: «Катков решил посадить свой ум на диету».

Смерти Николая I не ждал никто. Всякий деспотический режим претендует на вечность и пробуждает чувство безнадежности в подданных. Делать нечего, лучше спать: отсюда Обломов как символ русской жизни. Крымское поражение, свобода, которой повеяло с 1855 года в общественной атмосфере, разбудила многих, в том числе и Каткова. С этого времени окончательно оформляются его взгляды, и он превратился в общественного и культурного деятеля, идеолога целого направления.

В царствование Александра II происходит становление русского варианта капиталистических отношений. Для развития буржуазной самодеятельности необходим хотя бы минимум свобод, а этих свобод были лишены все слои общества, даже те, которые по своему социальному положению являлись чем-то вроде западноевропейской буржуазии, но по мироощущению оставались столь же бесправными, как и все прочие подданные российского самодержавия. Великие реформы царя-освободителя были явным отказом от самодержавной политики отца, Николая I, возвратом к имперской реформистской позиции Петра Великого, о чем писали практически все публицисты тех лет. Катков стал выразителем настроений этого слоя людей, которые радовались возможности свободно говорить законные вещи на законных основаниях. Для России и это было неслыханно. Официально, положим, никогда не поощрялись взяточничество, воровство, подкупы, казнокрадство и тому подобное, но и никогда нельзя было вслух сказать о том, что пороки эти в России имеются.

М. Н. Катков (вместе с несколькими московскими либералами: Е. Ф. Коршем, А. В. Станкевичем, П. Н. Кудрявцевым и др.) обращается к правительству с просьбой об издании журнала. И вскоре, после некоторого промедления, в 1856 году получает разрешение издавать «Русский вестник». А с 1858-го он, оттеснив остальных, становится единоличным его редактором. Шаг решительный со стороны человека, бездействовавшего пятнадцать лет. Значит, почувствовал, что пришло его время.

Какую же позицию занимает среди журналов той поры «Русский вестник»? Экономические и философские споры вокруг крестьянской реформы еще не начались — идет эстетическая полемика. В первом же номере — статья Каткова о Пушкине. «Характер общего воззрения, — написал тогда Чернышевский, — которым „Русский вестник“ намерен руководиться при рассмотрении вопросов, касающихся истории нашей литературы, определился, кажется, с более или менее достаточной для его читателей ясностью направлением статьи г. Каткова, „Пушкин“. Автор занят исследованием художественной стороны в произведениях нашего великого поэта, определением и уяснением законов творчества, которые с особенной точностью могут быть подмечены в его таланте. При этой высокой точке зрения, конечно, историческая связь художника с его веком, биографические мелочи и общественное значение его созданий имеют только второстепенное значение, и все клонится к разрешению чисто эстетических задач. Большая часть рецензий, помещенных в „Русском вестнике“, подтверждают своим характером уверенность, возбуждаемую этой капитальной статьей журнала: он хочет быть органом художественной критики».

Но если другие художественные критики (например, Дружинин или Анненков) старались не выходить за пределы собственно эстетического спора, отстаивая независимость художника от практической жизни, то Катков подошел к вопросу принципиально иначе: он утверждал связь эстетических взглядов с определенным типом общественных отношений, с развитием и становлением буржуазного общества. «Точно ли есть такие разобщенные сферы, которые бы не оказывали взаимного друг на друга влияния и не действовали на всю совокупность человеческого сознания и жизни? — иронизирует он в статье о Пушкине. И далее пишет: — Вы хотите, чтобы художник был полезен? Дайте же ему быть художником, и не смущайтесь тем, что он с полным усердием занят изучениями и приготовлениями, которые имеют своею единственною целью дело искусства. Когда дело исполнится, когда оно явится на свет, оно непременно окажет влияние на все стороны человеческого сознания и жизни, и окажет тем сильнейшее влияние, чем более будет соответствовать условиям своей внутренней природы».

Для Каткова свобода в искусстве есть показатель и предшественник свободы во всех других областях общественной жизни. Вот как он формулирует свое теоретическое кредо: «Поэзия ознаменовывает первое пробуждение народа к исторической жизни, искусство и знание сопутствуют его развитию и служат самым лучшим выражением силы и свойства развития. Народы самые практические отличались высоким и сильным развитием умственной и художественной деятельности, которая, по-видимому, была совершенно чужда текущих вопросов и дневных интересов, но которая в самом-то деле была совершенно необходима для успехов жизни... Линии Рафаэля не решали никакого практического вопроса из современного ему быта; но великое благо и великую пользу принесли они с течением времени для жизни; они могущественно содействовали к ее очеловечению. Действие великих произведений искусства остается не в одной лишь ближайшей их сфере, но распространяется далеко и оказывается там, где об идеалах художника нет и помина». Катков, по сути дела, пересказывал здесь идеи великого английского мыслителя Давида Юма, тесно соединявшего искусство и принцип экономической независимости, буржуазной жизни. Юм писал: «По мере совершенствования искусств люди становятся более общительными... Совершенствуясь от полученных научных знаний и свободных искусств, люди неизбежно станут более человечными вследствие самой привычки взаимного общения, принимая друг друга и доставляя друг другу взаимное удовольствие. Таким образом, *предприимчивость, знания и гуманность* связаны вместе неразрывной цепью; в своей основе они, как нас учат опыт и разум, присущи более культурным эпохам, именуемым обычно эпохами изобилия». Этого изобилия и хотел для России Катков, свято веря в силу буржуазного предпринимательства. Надо сказать, что несколько позже русские либералы (К. Д. Кавелин прежде всего) тоже стали искать идейную опору в идеях английского сенсуализма, у Джона Локка, но первым сделал шаг от немецкой философии к английской именно Михаил Катков.

Катков требовал развития в России чувства личной независимости, личного достоинства и самоуважения, развития правосознания, выступал за свободу печати, свободу высказываний во всех областях общественной жизни, даже в религиозной. «Богатство литературы и жизни возможно только там, где люди действуют по внутреннему убеждению... Кто знаком с нашим духовным миром, тот знает, что в настоящее время у нас обыкновенно говорят и пишут о том, о чем всего менее думают. Пугало ереси, в лицо духовной цензуры, парит над нашею церковною жизнью и леденит все, что находится в границах этого царства». Однако он — мыслитель консервативный, спокойный. Его симпатии именно к Англии не случайны. По тем временам это страна наиболее развитого и укоренившегося капитализма и буржуазного индивидуализма. Укоренение новых принципов, считал Катков, возможно только там, где оно

идет постепенно, приучая народ к новому мировосприятию годами и веками; насильственный же переворот обречен на провал. Поэтому так близок ему английский вариант: когда принцип личности на высоте, когда традиции культуры не нарушены, а пронизаны этим принципом, укрепились им, стали без него немыслимы.

Монархия не мешает буржуазии, а буржуазия монархии, — это было особенно важно идеологу капитализирующейся России. «Разумное преобразование, — утверждал Катков, — есть улучшение существующего; сродство разумного преобразования — устранение недостатков, обнаруживающихся в существующем порядке, и, следовательно, сохранение в нем всего того, что удовлетворительно. Основой преобразований должен быть существующий порядок».

М. Н. Катков мечтал в конце 1850-х — начале 1860-х годов о возникновении в стране «русского торизма», который бы организовал влиятельные консервативные силы, чтобы они, как в Англии, отстаивали бы идеи разумных реформ и самоуправления. Как вспоминал его современник, известный чиновник Е. М. Феоктистов в своей книге «За кулисами политики и литературы», «Катков задался мыслью, что для России необходима система самоуправления в широких размерах... Самоуправление дало пышный цвет на английской почве — отсюда преклонение Михаила Никифоровича перед Англией».

Впервые, опираясь на принципы построения английских журналов, Катков вводит в русский журнал раздел политических новостей и политических обозрений, категорически запрещенных при Николае I. Затем добивается создания еженедельной газеты «Современная летопись», а в 1861 году берет в аренду уже известную ему газету «Московские ведомости». Этим он сильно политизировал вялую общественную мысль России, а сам стал тем влиятельным публицистом, власть которого порой превосходила власть самых высоких чиновников. Можно даже вспомнить о таком парадоксальном эпизоде, как поездка Каткова в Лондон к Герцену. Он пытался убедить знаменитого эмигранта перейти на умеренно либеральные позиции для более успешного продвижения реформ. Не удалось. Тогда он осмелился вступить в открытую борьбу с кумиром русской публики. Правда, здесь его поддержал либеральный мыслитель весьма высокого класса — Борис Николаевич Чичерин, догадавшийся, что «призыв к топору» исходил не из России, а из узкого круга герценовских друзей.

М. Н. Катков выступает против общинного принципа в русской культуре, полагая, что община сковывает частную инициативу в развитии экономической и культурной жизни. Он полемизирует со славянофилами, винит их в идеализации прошлого, в слепоте к действительности, но основной удар направляет против идей Чернышевского. Общинный принцип как таковой представляется Каткову «неразумно консервативным», подавляющим индивида. Но в «общинности» русских демократов он видел худший вариант общинности, враждебной всему новейшему искусству начиная с искусства Возрождения. В позиции русских демократов он усматривал предвестие, угрозу коммунистического изменения общества. Не будем сейчас спорить, имел ли, скажем, Чернышевский отношение к этим коммунистическим идеалам; на мой взгляд, его антиплатоновская позиция вполне близка идеям буржуазного рационализма. Но важно понять, как Катков понимал коммунизм. «В коммунизме, — писал он, — исчезает все человеческое, всякая возможность человеческого существования. Если бы какая-нибудь магическая сила, послушавшись прельщения этих утопий, решилась вывести их из фантазии в действительность, то совершилось бы нечто совершенно противоположное ожиданию; возвратилось бы мгновенно то состояние, из которого таким медленным, таким тягостным трудом вырабатывалось человечество; вместо исцеления от недуга исчезло бы только то, что чувствует его, исчез бы самый организм, который ищет здоровья, и безгранично разлилась бы та самая стихия, которой не вполне замирное

присутствие в современном обществе составляет всю силу его недуга. Насильственный передел собственности возобновил бы все варварство завоевания, воскресил бы эпоху переселения народов, и человечеству предстоял бы старый путь».

Катков был уверен, что русские нигилисты отрицают культуру, еще не успев вкушать ее плодов, отрицают личность, которая и сложится-то толком в России не успела, и зовут к варварству страну, и без того далеко не цивилизованную. Поэтому он пытается провести и утвердить в русской культуре буржуазные принципы жизни. Как видим, на этом этапе своей деятельности Катков безусловно находится в кругу идей классического либерализма. Однако начиная с 1862–1863 годов его позиция усложняется. В стране усиливается радикализм; либеральные реформы отрицаются нигилистами, но одновременно тормозятся чиновничеством, которое поневоле связывало Великие реформы с развитием нежелательной свободы. Государство пребывало в растерянности. Опаснее всего казалась Каткову в этой ситуации как раз неустойчивость русского государства, которое способна пошатнуть любая революционная акция. А из-за этого Россия может потерять и те реформы, что уже совершились.

Первой важной политической акцией М. Н. Каткова стало требование решительно подавления вооруженной силой польского восстания 1863 года. Если русская империя, напуганная угрозами западноевропейских держав, пыталась вначале решить дело миром, то Катков сразу же, несмотря на запрещения и огромные штрафы, налагаемые на его газету цензурой, заговорил о необходимости военных акций против Польши. В «Московских ведомостях» 18 апреля 1863 года он писал: «Отныне для прекращения мятежа нужно не столько истребление шаек, сколько крепкая и надежная администрация края. Не все в Польше радуются восстанию. Напротив, большинство народонаселения страдает от мятежа и, без сомнения, желает, чтобы приняты были все нужные меры для ограждения собственности и жизни людей от терроризма революции».

1863-й — год взлета популярности Каткова среди российского дворянства и чиновничества. Польша посягнула на Русское государство — потрясение было сильное, царь и сановники растерялись. И тут на защиту государства и его основного принципа, принципа «сильной руки», выступил неожиданный и незванный защитник, посчитавший это делом своей жизни. Так «частное лицо», человек, не находящийся на службе, газетно-журнальный издатель, то есть буржуа-предприниматель, почувствовал себя «государственным человеком», выразителем «русского государственного самосознания», как именовали его в посмертных панегириках.

Сохраняется ли при таком резком повороте приверженность либерализму? Очевидно, что перемена общественно-политической позиции — откровенное (и неприличное для профессорского либерализма, например кавелинского типа) выступление в защиту целостности империи — не могла не заставить Каткова иначе подойти к проблеме либеральных свобод. Теперь он заявляет, что высшее проявление свободы — *в служении* престолу и государству. «Плодотворно только то право, которое видит в себе не что иное, как обязанность». В 1862 году в статье, написанной по поводу «Отцов и детей» Тургенева, Катков выступает с чисто публицистическим прочтением романа. Его интересует не эстетическая его сторона, а возможность, опираясь на истолкованные под определенными углом зрения образы, нанести удар по русскому нигилизму. Перечислив пороки нигилизма, против которых, как считает автор статьи, бороться почти невозможно, ибо ими заражено едва ли не все русское общество, он заключает: «Есть только одно верное радикальное средство против этих явлений — усиление всех положительных интересов общественной жизни. Чем богаче будет развиваться жизнь во всех своих нормальных интересах, во всех своих положительных стремлениях, религиозных, умственных, политических, экономических, тем менее будет оставаться места для отрицательных сил в общественной жизни».

«Русский вестник» становится органом, ведущим непримиримую борьбу с нигилизмом. Почти все русские антинигилистические романы опубликованы именно в этом журнале. Катков был жестким редактором: все, что не отвечало его запросам, его политическим требованиям, он беспощадно вычеркивал или переписывал своей рукой. Страдали не только рядовые, но и крупнейшие писатели России — Достоевский и Лесков. Правке подверглись, скажем, такие романы Достоевского, как «Преступление и наказание» и «Бесы». Преклонения перед литературными репутациями Катков не испытывал. Последняя часть «Анны Карениной» показалась ему не отвечающей его идеологическим устремлениям, и он потребовал исправлений. Толстой отказался, напечатав эту часть отдельным изданием: он был, в отличие от Достоевского и Лескова, в материальном отношении человек независимый.

С 1860-х годов Катков пытается утвердить буржуазную цивилизацию в России, опираясь на государство. И вопрос о народном образовании в этом смысле оказался среди основных. После крымского поражения стало ясно, что николаевский откат от идей петровского просветительства губителен, что без внедрения новейших научных и технических достижений Россия неминуемо потеряет свое положение сильной державы. Однако, как полагал министр народного просвещения Д. Толстой, русское образование должно ориентироваться на классическую древность: это поможет отвлечь молодежь от современных проблем. Публицистическим выразителем возврата к «имперскому просветительству» стал Катков, активно содействовавший созданию в России классических гимназий. Себя он считал одним из самых верных последователей Петра, утверждавшего русский вариант европейской буржуазной цивилизации под монаршей властью и опекой. Катков заявлял, что именно Славяно-греко-латинская академия, которой покровительствовал Петр, создала Ломоносова, следовательно, и его гимназии послужат формированию новых великих российских ученых.

Вместе с тем М. Н. Катков выступал и как активный сторонник земства, т.е. тех представительных низовых учреждений, которые должны были стать основой гражданского общества. Он писал 12 апреля 1863 года: «10 апреля открылась наконец новоустроенная городская Дума в Москве... Вслед за Москвой и другие города не замедлят получить то же учреждение. А вместе с городами то же начало единения сословий в общественном деле распространят по всему лицу Русской земли земские учреждения, уже приготавливаемые законодательным порядком. Нет сомнения, что из этих начатков сама собой разовьется новая общественная организация вместо доселе господствовавшей у нас. Сословия еще остаются, но они сближаются между собой и соединяются в совокупной деятельности. Из этого сближения существующих сословий не преминет выработаться сам собой новый тип общественной организации». Другое дело, что общество должно быть структурировано, и без высшего культурного слоя, который послужит ориентиром для всех сословий, невозможно задать верное направление общественного развития — свободное, просвещенное и антинигилистическое.

Катков ратовал за просвещение элиты, за создание слоя людей рафинированных, образованных, утонченных, которые могли бы служить Российскому государству на пути его вхождения в европейско-буржуазную систему ценностей. Редактор «Русского вестника» полагал, что высокий уровень культуры этого слоя способен компенсировать его немногочисленность. Интересно, что возникновение независимо мыслящей элиты казалась ему залогом оживления всех сторон российской жизни, в том числе и церковной. В 1868 году он писал: «Что бы ни говорили защитники папства, ей (церкви. — В. К.) не может принадлежать государственная власть, но по тому же самому она не может быть также и полицейским учреждением, не слабея в своем существе, не лишаясь своего духа. Ошибочно было бы думать, что церковь, опираясь на силу ей не

свойственную, может в то же время сохранять в себе и ту силу, которая ей свойственна. Нет, одно из двух. Чем более церковь, как и всякое духовное дело, опирается на силу ей внешнюю, тем более бездействует она внутренне. Дух, без которого люди начинают обходиться, отлетает от них, и дело, лишённое жизни, подпадает под закон механизма. Истина только там, где есть убеждение в ней, где есть вера в ее силу. Если люди привыкают поддерживать свое дело механическими способами, то дело мертво в их руках, и они теряют веру в него».

Характерно, что на протяжении всей жизни М. Н. Каткова именно отношение к Пушкину и пушкинской поэзии служило ему ориентиром в общественной жизни. И его общественно-эстетическая позиция получила окончательное выражение в статье 1880 года, посвященной юбилею поэта. Как уже упоминалось, основной заботой русского народа Катков считал создание мощного государства. Но «жизнь народа и его призвание», пишет он в этой статье, не исчерпываются делом государственной нужды: «Чем производительнее творчество мысли среди народа, чем выше подъем духа в его избранных людях, чем обильнее и плодотворнее раскрываются в нем дары Божии, тем возвышеннее становится его положение в мире и тем он любезнее и дороже для человечества... В Пушкине всенародно чувствуется великий дар Божий. Ему не доводилось спасать отечество от врагов, но ему было дано украсить, возвысить и прославить свою народность».

На торжественном банкете в честь пушкинского праздника мирились старые враги, лились слезы и шампанское, русские литераторы на короткий миг ощутили свою общность, почувствовали, что все они — выразители русской культуры во всем ее противоречивом единстве. Произнес слово примирения и Катков — подняв бокал и обращаясь к И. С. Тургеневу, который когда-то опубликовал в его журнале три крупнейших романа: «Накануне», «Отцы и дети» и «Дым». Близкими казались и их позиции: Тургенев — либерал по убеждениям, порвавший из-за своего либерализма с радикальным «Современником», человек, тридцать лет проживший в Западной Европе, чтобы избавиться от борьбы, которая ведет к утилитаризму в искусстве. Но впоследствии писатель и издатель разошлись. И вот на празднике, когда Тургенев только что произнес панегирик красоте, искусству, сказал о «чувстве единодушия, которое проникает теперь нас всех, без различия звания, занятий и лет», Катков решил сделать шаг к примирению. Однако Тургенев опустил свой бокал и накрыл его ладонью. Потом он говорил: «Я старый воробей, меня на шампанском не обманешь!» Демонстрация была очевидная. Это заметили, истолковав как факт символический, почти все газеты и журналы того времени.

Но и Катков остался непреклонен: «У нас теперь все толкуют о политических партиях. Не принадлежал ли и Пушкин к какой-либо партии? Да, принадлежал... Он принадлежал к *Русской партии*... На русскую патриотическую партию, если только это партия, вот на что единственно может опереться наше правительство или вот какой партии должно быть наше правительство». После гибели Александра II Катков перестает верить в просветительскую силу либеральных слов и институтов. Радикализм показал всю свою беспощадность и все свое безумие, убив царя-освободителя. Отныне только жесткая самодержавная власть, на его взгляд, может спасти элементы либерально-европейской цивилизации в России. Для этого он готов пожертвовать старыми соратниками, которые поддались радикалам (вроде Тургенева) и не понимают всей опасности ситуации.

Владимиру Соловьеву принадлежит, возможно, самая объективная оценка деятельности Каткова: «Он был увлечен политической страстью до ослепления и под конец потерял духовное равновесие. Но своекорыстным и дурным человеком он не был никогда». А великий маргинал К. Н. Леонтьев потребовал, чтобы Каткову установили

памятник напротив памятника Пушкину, ибо редактор «Русского вестника» был «великим поэтом государственности российской»: «Он видел жизнь, он понимал горькую правду нашей действительности».

Смерть М. Н. Каткова (20 июля 1887 года) стала событием государственным. По всей России в церквах служили панихиды по усопшем «болярине Михаиле». Иностранные представительства возложили венки на его могилу. Из всех городов Российской империи шли в редакции «Московских ведомостей» и «Русского вестника» телеграммы и письма с соболезнованиями. Кто авторы этих посланий? В основном столичное и провинциальное дворянство и чиновничество. Эти послания были изданы сразу же отдельными сборниками — пожалуй, ни один русский писатель не удостоился такого государственного признания.

Но вот что писал Н. С. Лесков на смерть М. Н. Каткова: «Если эти свежие картины (похорон Каткова. — *В. К.*) прикинуть к тому, как и на нашей памяти и по живому преданию старины наша вялая и сонная родина провожала в последний путь земли не только Тургенева или Достоевского, но даже Гоголя или Пушкина, то, пожалуй, будущий ее летописец, учитывая в каждом случае степень проявленной ею скорби, по воплям усердных плакальщиц и вздыханиям телеграфных причитальщиков признает кончину Каткова утратой более горестной, чем смерти названных только что ее лучших писателей, а Михаилу Никифоровичу усвоит титул „князя от князей“ русской письменности».

«Князем от князей» русской литературы Катков не стал, но не забудем, что «князья» лучшие свои романы («Война и мир», «Братья Карамазовы») печатали в его журнале. Что же касается позиции Каткова-политика, то она осталась серьезной проблемой для русской мысли, которая не раз оказывалась перед этой дилеммой: революционный радикализм или самодержавный авторитаризм.

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ АКСАКОВ:
*«Фальшь и пошлость
общественной атмосферы давят нас...»*

Дмитрий Олейников

Иван Аксаков — один из ярчайших представителей того своеобразного направления российского либерализма, которым было либеральное славянофильство. Однако место «связующего звена между ранним и поздним славянофильством», отведенное Аксакову в истории русской общественной мысли, довольно схематично. Его жизнь, в которой лишь пятнадцать лет были посвящены метаниям от идей отца и старшего брата Константина к мысли о том, что славянофильство — явление «исторически отжившее», значима и интересна сама по себе. «Кем я только не был, — писал Иван Аксаков. — Был и судьей, и администратором, и поэтом, и публицистом, и журналистом, и статистиком, и воином, и казначеем, и путешественником, и уж не знаю чем!»

Известный общественный деятель Юрий Самарин дал Ивану Аксакову такую характеристику: «В нем не только много жизни, но даже есть какая-то возбудительная сила, действующая на других. Я особенно ценю в нем его беспощадную строгость к самому себе; этот человек менее всех балует себя... А все-таки хорошо иметь таких друзей — суровых, взыскательных, несправедливых и резких!»

Два села Аксаковых, потомков выходца из Орды Ивана Хромого (по-тюркски Оксака), — книжное Багрово и реальное Абрамцево — стали воплощением российской патриархальности, размеренной и спокойной жизни провинциальной России. Такой же была жизнь Сергея Тимофеевича Аксакова. Иван Тургенев, сравнивая его книги с воспоминаниями Герцена, назвал их «двумя электрическими полюсами одной и той же жизни», описанной с разных точек зрения. На одном полюсе — патриархальная статика, на другом — общественное движение. Человеком, соединившим в себе эти полюсы, стал младший сын Сергея Аксакова, Иван.

Он родился 26 сентября 1823 года в Оренбургской губернии, неподалеку от городка Белебея, в селе Куроедово, переименованном Сергеем Аксаковым в Надежино, но не ставшего от этого более любимым. Из этого невыразительного степного села, полученного С. Т. Аксаковым от отца в качестве собственного надела, семейство Аксаковых вернулось в Москву, оставленную в 1816 году. В год переезда — 1826-й — Ивану Аксакову не было и трех лет. Так что его сознательная жизнь начиналась в обновленной «послепожарной» Москве, в царствование императора Николая Павловича.

В шумной, открытой и хлебосольной семье Аксаковых не существовало понятия «детская». Дети не росли в отгороженной от взрослых «оранжерее» и наравне со взрослыми общались с многочисленными гостями. А дом Сергея Аксакова (в 1826–1832 годах — весьма терпимого московского цензора) был полон интереснейших людей. Сами гости больше обращали внимания на старшего сына — Константина («силач, горлан, открытый, добродушный», — отзывался о нем С. М. Соловьев). Иван не спешил выделяться: он любил слушать. Его застенчивость и боязнь показаться неловким

скрывали начитанность (страсть к чтению газет с десятилетнего возраста привела к обзаведению очками). Впрочем, родные ценили рано проявившийся литературный дар Ивана. Сергей Тимофеевич считал, что Иван станет великим писателем, и был близок к истине: в будущем писательский дар Ивана Аксакова, скрещенный с его страстью к газетам, породил яркого публициста.

Первым шагом в будущее стало расставание с родной семьей и поступление в Петербургское училище правоведения. Это училище было основано в 1835 году по инициативе М. М. Сперанского. Давший жизнь «Своду законов Российской империи», Сперанский хотел начать подготовку профессиональных юристов. Заложенная идея дала плоды несколько десятилетий спустя: из правоведов вышло немало деятелей Великих реформ. Взгляды многих формировались как раз на рубеже 1830–1840-х годов, когда среди молодых правоведов царили западнические идеи. Любимым чтением молодых людей был журнал «Отечественные записки» (в кофейнях он буквально зачитывался до дыр), а властителем дум — смягченный редакторами и цензурой Виссарион Белинский. Много позже повидавший Россию Аксаков заметит: «Если вам нужно честного человека, способного сострадать болезням и несчастьям угнетенных, честного доктора, честного следователя, который полез бы на борьбу, ищите таковых в провинции между последователями Белинского».

И именно Белинским семнадцатилетний Иван Аксаков был благословлен на общественную деятельность. Критик написал в 1840 году: «Славный юноша! В нем много идеальных элементов, которые делают человека человеком, но натура у него здоровая, а направление действительное, крепкое и мужественное... Молодое поколение лучше нас, оно многое обещает».

С окончанием в 1842 году Петербургского училища правоведения Иван Сергеевич всерьез задумался над вопросом, который в одной из его поэтических версий звучал так: «Служить иль не служить? ...Не я ль мечтал для общей пользы жить? ...Но службу достигну ль цели я?» Аксаков выбрал служебное поприще — шестой (Уголовный) департамент Сената в Москве. Поначалу он занимался скучным перебиранием бумажек, что плохо соотносилось с представлениями молодого человека о трудах на благо Отечества.

Но в 1843 году Аксаков оказался в составе комиссии князя П. П. Гагарина, отправленной для ревизии в Астраханскую губернию. Он один трудился почти столько, сколько остальные одиннадцать чиновников. «Астраханское сидение» 1844 года закончилось увольнением бездеятельного и жадного губернатора.

Дальнейшая работа Ивана Аксакова в провинции (Калуга, Бессарабия, Пошехонье, Ярославль) привела его к разочарованию в возможности противостоять бюрократической системе, даже будучи честным и работоспособным человеком. Не принес утешения и переход в Министерство внутренних дел (1848): «Я решительно убеждаюсь, — замечал он, — что на службе можно приносить только две пользы: 1) отрицательную, то есть не брать взятки, 2) частную, и только тогда, когда позволишь себе нарушить закон...» При этом Аксаков успевал делать многое: он помогал страдающим от помещичьей несправедливости крестьянам выкупаться на волю, одновременно собирал средства для учреждения коммерческого училища и хлопотал, например, о возвращении легендарного угличского колокола, сосланного в Сибирь «за соучастие» в убийстве царевича Дмитрия.

К 1849 году Иван Аксаков вступает в жизнь как литератор: его стихи, мистерия «Жизнь чиновника» и неоконченная поэма «Бродяга» полны патетики: «И мы, трудясь, трудам своим не верим, И втайне мы не верим ничему...» («После 1848 года»); или «И дерзко я на сердце положил тяжелейший гнет упорного терпенья...» («Усталых сил я долго не жалел», 1850). Цензура такие произведения в печать не пропускала, но они

не умерли «в столе» и впоследствии увидели свет. Поэма «Бродяга» по сюжету и местами по стихотворному размеру предваряла хрестоматийную некрасовскую «Кому на Руси жить хорошо», да и сама частично вошла в хрестоматию.

17 марта 1849 года Иван Аксаков попал под арест: его на основании перехваченных писем к московским друзьям заподозрили в создании совместно с Ю. Ф. Самаринским «подпольной организации». Император Николай, ознакомившись с материалами допроса Аксакова, сделал там личные замечания (весьма доброжелательные) и дал ставшую знаменитой инструкцию начальнику III отделения А. Ф. Орлову: «Призови, прочти, вразуми и отпусти!»

Аксаков оказался на свободе, но под негласным надзором. В 1851 году министр Л. А. Перовский предъявил ему фактический ультиматум: либо служить, либо заниматься литературной деятельностью — и Аксаков подал в отставку. Это был единственный способ отстоять свои права. «А как вы думаете, спросил ли бы Пушкин, какую карьеру ему выбрать?» — подбодрила его А. О. Смирнова-Россет.

В 1840–1850-х годах Иван Аксаков был еще «чистым и ярым западником» — об этом свидетельствует в своих записках А. И. Кошелев. Аксаков не разделял ни восхищения допетровской Русью, ни преклонения перед «особенностями» русского народа. Он слишком много повидал в российской провинции и желал не построения теорий, а конкретных практических улучшений действительности, в том числе отмены крепостного права и реформирования судебной системы. Славянофильские крайности старшего брата Константина нередко вызывали у Ивана иронию. Снимок Константина на дагерротип он, например, комментировал так: «Истый москвич с татарскою фамилиею и нормандского происхождения, в русском костюме XVII столетия, сшитом французским портным, изобретением западным XIX века, передал свои черты лица медной доске...»

В более серьезных спорах с братом Константином (заслужившим прозвище «*перредовой боец славянофильства*») Иван Аксаков призывал прежде всего считаться с действительностью. А действительность иногда доводила его до отчаяния: «Ах, как тяжело, как невыносимо тяжело порою жить в России, в этой вонючей среде грязи, пошлости, лжи, обманов, злоупотреблений, добрых малых, мерзавцев, хлебосолов-взяточников, гостеприимных плутов — отцов и благодетелей взяточников... Вы ко всему этому относитесь отвлеченно, издали, людей видите по своему выбору только хороших или одномыслящих, поэтому вы и не можете понять тех истинных мучений, которые приходится испытывать от пребывания в этой среде, от столкновения со всем этим продуктом русской почвы. Там, что ни говорите в защиту этой почвы, но несомненно то, что на всей этой мерзости лежит собственно ей принадлежащий русский характер!»

В 50-х годах славянофильство теоретика Константина казалось практику Ивану лишь отвлеченной теорией. И он критиковал «деспотизм теории над жизнью», как «худший из деспотизмов», поскольку попытки подчинить народ чуждой ему теории делают жертвами целые поколения. «Допетровской Руси сочувствовать нельзя, а можно сочувствовать только началам, не выработанным или даже ложно направленным русским народом, — но ни одного скверного часа настоящего я не отдам за прошедшее!»

Все это не помешало Аксакову выступить в 1852 году редактором славянофильского «Московского сборника» (с оговоркой в предисловии о том, что «не все участники сборника думают одинаково»). Сборник получил известность благодаря своей «честной физиономии», однако, поскольку в «мрачное семилетие» 1848–1855 годов «честные физиономии были непозволительны», вызвал недовольство одновременно и в III отделении, и в Главном цензурном комитете, и у министра просвещения.

В результате второй том сборника, где сам Иван Аксаков, вспомнив свой чиновничий опыт работы в Калуге, «отвалял на обе корки» губернское общество, просто не допустили к печати. Аксакову вообще запретили что-либо печатать и даже редактировать без разрешения Главного комитета цензуры. Впрочем, в 1853 году в Петербурге повсюду ходили списки аксаковских «сцен» «Присутственный день в Уголовной палате». Это был первый ручеек того потока самиздата, который хлынул в общество в последний год несчастной Крымской войны.

Крымская война застала Ивана Аксакова за изучением ярмарок на Украине: он выполнял поручение Русского географического общества. В 1855 году он вновь оказался на Украине — но уже казначеем и квартирмейстером Серпуховской дружины Московского ополчения. На недовольство отца и брата Константина он отвечал: «Вступать в ополчение не значит согласиться на разыгрываемую комедию, а значит изъявить готовность участвовать в опасностях, угрожающих России, чьей бы виной они ни были навлечены». Иван хотел, чтобы было что ответить совести, если она спросит: «А ты где был, когда решалась судьба Отечества?» Честный и работоспособный штабс-капитан Иван Аксаков поставил дело так, что красть в дружине стало невозможно. Впрочем, война уже перешла в стадию «странной», и ополчение дожидалось ее конца в составе гарнизонов Одессы и Бендер (лишь один раз Аксаков видел издали английский пароход-фрегат).

По окончании войны Аксаков вошел в комиссию князя В. И. Васильчикова, занимавшуюся «беспорядками» в продовольственном снабжении русской армии. Судя по письмам, даже у повидавшего много злоупотреблений Ивана Аксакова от подробностей «волосы дыбом становились». Он пришел к убеждению, что Севастополь должен был пасть хотя бы для того, чтобы «явилось на нем дело Божье, то есть обличение всей гнили правительственной системы». На этом закончилась служебная карьера Ивана Аксакова, дослужившегося до чина надворного советника, который «никаким награждениям не подвергался».

Вместе со служебной карьерой прекратились и поездки Аксакова по России. Но «оттепель» нового царствования настолько облегчила возможность выехать за границу, что сотни и тысячи русских подданных буквально хлынули в Европу. Одним из них стал в 1857 году и Иван Аксаков. Отец благословил его поездку довольно своеобразно: «Увидишь своими глазами, до каких жалких результатов довела народы так называемая цивилизация... Снисходительнее взглянешь на все наши недостатки и неустройства...» Иван Аксаков действительно смотрел на Европу критично, но в его подробных письмах-отчетах домой нет желчности. Ему интересны «жизнь и быт действительных народов» Европы. Аксаков восхищается Германией (Нюрнберг — «чудная средневековая игрушка»), испытывает в Париже «чувство провинциала, приехавшего в столицу, восхищение капитана Копейкина», в Италии прикуривает сигару от горячей лавы Везувия, пленяется Венецией. Больше всего критики достается французам, и это вполне понятно. На войну с ними Аксаков уходил всего три года назад, а в Париже ему пришлось быть свидетелем триумфа победителей: по бульварам проходят батальоны зуавов с наградами за взятие Севастополя, со знаменами, разорванными русскими пулями. Звучат новые парижские названия: Альма, Малахофф...

В письмах Аксакова нет ничего о поездке в Лондон (недалеко ушла Россия от эпохи тотальной перлюстрации писем). В Лондоне Аксаков встречался с Герценом. Конечно, это был не просто визит одного из сотен русских туристов, для которых Герцен был специфической лондонской достопримечательностью. Впечатления от личной встречи у обоих были весьма теплые. Герцен писал о собеседнике: «Человек большого таланта... немного славянофил, человек с практической жилкой и принципиальностью»; «Мы с ним очень и очень сошлись...».

Основные чаяния Герцена и Аксакова действительно сходились: освобождение крестьян, гарантии прав личности, проведение демократических реформ. Аксаков становится одним из «тайных корреспондентов» «Колокола» и «Полярной звезды» (наряду с И. Тургеневым, Б. Чичериным, К. Кавелиным). Герцен публикует сатирические «Судебные сцены» Аксакова, мистерию «Жизнь чиновника», корреспонденции о современной жизни России. Связь с Герценом сохраняется до 1863 года, когда «лондонский пропагандист» разрывает со многими российскими либералами. Во второй половине 1850-х годов Аксаков сыграл заметную роль в налаживании связей Герцена с кругом славянофилов. Благодаря этому, как заметил Н. Я. Эйдельман, «еще одна группа русских либералов отныне „работала“ на демократическую печать».

Общий вывод Аксакова от путешествия по Европе довольно интересен: «Если бы я был богат, то после семи-восьми месяцев упорного труда и подснежной жизни я бы уезжал каждый год месяца на четыре или пять за границу».

В эпоху Великих реформ Иван Аксаков выбрал для себя редакторско-издательское поприще («это поважнее, чем участие в ополчении»). Возможность влиять на общественное мнение казалась ему весьма важной — недаром на юбилее актера М. Щепкина в 1856 году Иван Аксаков предлагает тост за общественное мнение...

Аксаков признавался: «Я гораздо умнее на бумаге и в стихах, чем в разговоре». 1857 год — его первые тайные корреспонденции в «Колоколе». 1858 — начало 1859 года — негласное редактирование газеты брата Константина «Молва» до самого ее закрытия, «Русской беседы» и «Сельского благоустройства» Кошелева; попытка издавать свою газету «Парус». Вышли всего два номера «Паруса» — в нем свобода слова слишком опережала дозволенную «гласность».

В качестве члена Московского славянского комитета Иван Аксаков побывал в 1860 году в славянских странах, встречался с лидерами местного освободительного движения, слышал от них постоянное: «Знают ли в России, как мы ей преданы, славянской державе? Скоро ли вы к нам?» Здесь Аксаков понял, что истинное славянофильство — в идее достижения свободы славянских народов, обеспечения им возможности развития и самореализации. С таким славянофильством он был согласен. Об этом он писал: «У нас еще вопрос славянофильский может казаться праздным, но здесь это вопрос жизненный, который не нынче завтра разрешится кровопролитием». Вместе с тем Аксаков по-прежнему критиковал преклонение перед допетровской Русью. «Ничем... мы из Древней Руси воспользоваться не можем, и наше единственное спасение и упование — народ... Все, в чем заключаются наши надежды на будущее, все залогом наши лежат в народе нам современном, а не в древней государственности Руси, которая логически разрешилась Петром: он есть ее последнее слово и ее венчает» — так писал Иван в продолжение долгого спора с братом Константином (увы, и в окончание — Константин достаточно рано умер).

После заграничного путешествия 1860 года Иван Аксаков окончательно расстался со своей страстью к странствиям. Он осел в Москве и сблизился с кругом либерального купечества (И. Е. Гучков, В. А. Кокорев, К. Т. Солдатенков, С. И. Мамонтов, С. И. Щукин). Это обеспечило Аксакову финансовую поддержку в его издательских начинаниях, и в 1861 году он начал издание газеты «День». В ней Аксаков хотел продолжить дело умерших уже отца и брата Константина, А. С. Хомякова, братьев Киреевских (в начале новой эпохи судьба уже свела с исторической сцены самых ярких славянофилов 40-х годов). По его замыслу газета должна была стать «внешним центром» славянофильства. Так он начал пропагандировать идеи славянофилов еще более рьяно, чем его идеологи. Именно с того времени Иван Аксаков «вдруг» вошел в историю как «последний могикан славянофильства».

Впрочем, в старые славянофильские построения Иван Аксаков внес свою лепту. Он обращается к современной народной жизни не как к идеалу, а как к главной основе развития *общества*, которое не следует смешивать с *государством*. Именно поэтому его идеи оказываются близки к идеям либерального народничества. Он писал: «Мы желаем и прогресса, и преобразований, но мы хотим в то же время, чтобы они не были порождением бесплотных отвлеченных систем... Мы хотим, чтобы сама жизнь пустила ростки».

Само понимание Аксаковым истории как *движения* («ход истории не останавливается») говорит о его вполне западническом, прогрессистском взгляде на исторический процесс. Идеальным отношением к Западу было для Ивана Аксакова отношение его тестя (с 1866 года) Ф. И. Тютчева. Он, по Аксакову, «хотя и жадно впитывал в себя сокровища западного знания, но не только без благоговения и подобострастия, а с полной свободой и независимостью». Аксакова поразило, что Тютчев, вернувшийся в Россию после многолетней жизни в Европе, «на чистейшем французском диалекте, не надевая ни мурmolки, не святославки, а являясь вполне европейцем и светским человеком, на основании собственной аргументации, проповедует учение почти одинаково дикое, как и учение Хомякова...». Сам Чаадаев «не мог не ценить ума и дарований Тютчева, не мог не любить его, не мог не признавать в Тютчеве человека вполне европейского — более европейского, чем он сам, Чаадаев; перед ним был уже не последователь, не поклонник западной цивилизации, а сама западная цивилизация, сам Запад в лице Тютчева...».

По Аксакову, призвание России в том, чтобы «примирить в себе односторонности Востока и Запада, претворить духовные богатства того и другого в одно великое целое», — в этом слышны идеи будущих евразийцев. И если говорить о предвосхищении идей XX века, нельзя не вспомнить оброненное в 1867 году: «через два поколения Россия будет иная»; почти «веховскую» критику Аксаковым русской интеллигенции — «питомицы казенной теплицы». «Потому-то и замечательна наша историческая „глупость“, — пишет Аксаков, — что людей не только даровитых, но и умных, и даже ученых у нас немало... но в том и горе, что этот ум, даровитый, даже обогащенный наукою, воспитывается, развивается, творит в отвлеченном пространстве, в атмосфере искусственной, без прикосновения с живым воздухом, без непосредственной связи с родною реальною жизнью, а потому и нет в нем здоровья, и весь проникается он отрицанием... И какими призраками, нелепыми, чудовищными, населена эта атмосфера — от насаждения кукурузы (Sic! — Д. О.) в Архангельске до аристократических на английский манер конституций... до белой горячки замыслов нигилизма...»

Аксаковские идеи о возрождении «нравственного равновесия» призывали к разрешению противоречий между «землей» и «государством» путем создания «общества». Это *общество* должно было возникнуть от слияния дворянства и крестьянства в особую, *народную* интеллигенцию.

Аксаков не скупился на резкую критику правительственных действий (вплоть до личностей министров), и это было его способом борьбы за свободу слова. На смену потрепанному цензурой, довольно пасмурному по настроению «Дню» пришла еще более резкая «московская купеческая газета» «Москва» (1867–1868). Недаром Аксакова называли «страстотерпцем цензуры всех эпох и правительств». За год жизни его новая газета пережила девять цензурных предостережений, три «штрафные» приостановки выхода и в конце концов была окончательно закрыта за «вредное направление», а именно — критику «антирусской политики» высшего чиновничества в Литве и Польше.

В своем отношении к Польше Аксаков придерживался собственной «славянофильской» идеи о праве наций на свободу и развитие своих естественных сил. Он считал, что «мы отравились Польшею», что «безумны те, кто полагает, что можно пода-

вить польскую народность». «Против такой общественной силы бессильно государство, хотя бы опиралось оно на сто тысяч штыков. Польша, настоящая Польша (то есть без претензий на русские города, Смоленск и Киев. — Д. О.), должна быть вполне самостоятельной. Системы насилия не выдержит само правительство, ибо не поддерживается общественным мнением ни России, ни Европы, а полумеры не удовлетворят Польшу», — писал Аксаков.

Двенадцать лет после закрытия «Москвы» (период, когда Аксаков решил, что старое славянофильство умирает, не оставив наследников) — время активной деятельности Ивана Аксакова в Славянском благотворительном обществе. Влияние панславистских идей Тютчева и книги Н. Я. Данилевского «Россия и Европа» (1869) отразилось в выступлениях Аксакова о «могучем средоточии» славянских племен под крыльями двуглавого орла — по примеру объединяющихся Италии и Германии. В годы славянского и восточного кризисов (1875–1878) Иван Аксаков особенно деятелен. Он пишет воззвание к «русской общественной совести», организует сбор средств на помощь воюющим с Турцией Сербии и Черногории и заем сербскому правительству, помогает переправлять на Балканы генерала М. Г. Черняева и русских добровольцев. Как вспоминал современник, «Аксаков был тогда буквально Мининым в Москве. К нему валили толпы с приношениями, как духовному вождю в битве за славян. Его слово творило чудеса. Толпы юношей приходили за благословением...».

Это было время, когда, по словам Аксакова, «все литературные партии, лагеря и фракции перемешались, все очутились, чуть не к всеобщему своему удивлению, согласными и единомышленными в самом главном, жизненном для России вопросе; вчерашние противники встречались союзниками». О том же писал Достоевский, принимавший многие идеи Аксакова: «Славянская идея в высшем смысле ее перестала быть лишь славянофильскою, а перешла вдруг, вследствие напора обстоятельств, в самое сердце русского общества, высказалась отчетливо в общем сознании...»

В годы Русско-турецкой войны Иван Аксаков собирал средства для покупки и переправки оружия и амуниции болгарским дружинам. Имея связи (через московских предпринимателей) с директорами железных дорог, он договорился о бесплатном провозе снаряжения и продовольствия для болгар. Даже униформа болгарского ополчения («пехотная болгарка») делается по эскизам Аксакова. Неудивительно, что во время Русско-турецкой войны болгары называли своих ополченцев «детьми Аксакова».

Отказ России от занятия Константинополя и позор «куцега» Берлинского мира, заменившего «идеальный» Сан-Стефанский, стали для Аксакова сильным ударом. Произнесенная по этому поводу речь (22 июня 1878 года) считается вершиной его политико-публицистической деятельности. В ней он выразил горькую обиду, вызванную уступками российской дипломатии. «Ты ли это, — вопрошал он, — Русь-победительница, сама добровольно разжаловавшая себя в побежденную? Ты ли на скамье подсудимых, как преступница... молишь простить тебе твои победы?»

Следствием этой речи был небывалый подъем авторитета Ивана Аксакова среди славян — группа болгарской молодежи даже выдвинула его кандидатуру на болгарский престол. И сто лет спустя имя Аксакова носили улицы нескольких болгарских городов, включая Софию, да еще одна деревня в Варненском округе.

Другим — печальным — следствием речи было снятие Ивана Аксакова с поста председателя Славянского общества, высылка его на полгода из Москвы и закрытие Славянских обществ в России.

Последняя газета, которую издавал и редактировал Иван Аксаков, называлась «Русь» (1880–1886). Советские историки усматривали в ней только «патриотические и консервативные крайности, нападки на либерализм и интеллигенцию» и удивлялись, как это «Русь» при этом критиковала многие несовершенства общественного

устройства страны и последовательно отстаивала свободу печати? Как это газете, считавшейся славянофильской, министр внутренних дел объявил предостережение за тон, «несовместимый с истинным патриотизмом», за стремление возбудить «неуважение к правительству»? Внимательное чтение статей Ивана Аксакова, главного и практически единственного идеолога газеты, открывает принципиально иную картину.

Аксаков говорит о преходящем периоде «отрезвления», о наступившем сроке «уплаты по долгам», наделанным или не возвращенным эпохой 1855–1881 годов. Он пишет о трудной для славянского характера необходимости перейти от лихого реформаторского «раззудись плечо, размахнись рука» к работе, заставляющей «засадить себя за мелочный, невзрачный, ежедневный труд, для которого вовсе и не требуется развернуть во всю ширь нашу мощь и отвагу...». Аксаков критикует, как сам объясняет, «не либерализм вообще, а либерализм доктринерский, которым щеголяет некоторая часть русской печати и который мы признаем мнимым».

В 1882 году по инициативе Аксакова через министра внутренних дел Игнатьева Александру III, ненавидевшему идею конституционализма, было предложено «посрамить все конституции в мире», провести «нечто шире и либеральнее их, в то же время удерживающее Россию на ее исторической, политической и национальной основе». Для этой цели предлагалось созвать ко дню коронации нового императора (в мае 1883 года) традиционный для России Земский собор — фактически всесословное представительное учреждение, о котором десятилетиями мечтали российские либералы. Аксаков публикует в «Руси» статью в поддержку Земского собора как «союза государства и земли», при котором государство «только и станет на твердую землю... почувствует под своими несомненно здоровыми ногами крепкую народную почву». В частной переписке Аксаков прямо признавался, что принцип «самодержавие и самоуправление... есть венец либеральных вождений общества, основа действительного для всякого в нужном случае представительства...».

Попытка Аксакова (и вдохновленного им графа Игнатьева) была последней в ближайшее десятилетие попыткой приблизить Россию к представительному правлению. Она не удалась из-за решительного противодействия Победоносцева, имевшего тогда сильное влияние на царя.

Чем шире разворачивалась новая политика «успокоения общества» (путем усиления государственного контроля), тем пессимистичней становился Аксаков. «Фальшь и пошлость нашей общественной атмосферы, и чувство безнадежности, беспроглядности давят нас», — писал он в одном из последних писем. «Нужно какое-то новое слово современному русскому миру, — признавался Аксаков, — наше старое слово его уже не берет, — новое, которое было бы логически тесно связано со старыми, но секретом этого нового слова я, очевидно, не обладаю. Но и никто не обладает...»

И все же Аксаков работал и работал — до того мгновения, когда 27 января 1886 года в собственном кабинете его настигла скорострельная смерть от разрыва сердца.

В последний путь Ивана Сергеевича Аксакова провожало сто тысяч человек...

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КОШЕЛЕВ: *«Пуще всего нам должно избегать фанфаронить либерализмом...»*

Владимир Горнов

Кто-то прожил жизнь, богатую яркими событиями, кому-то повезло на встречи с интересными людьми; один оставил после себя много идей, другой запомнился большими делами. Нашему герою довелось быть свидетелем войн и революций, Великих реформ и народных восстаний, пережить трех российских императоров, близко знать крупнейших отечественных и зарубежных политиков, ученых, людей искусства. Он был одним из лидеров либерального славянофильства, автором проектов общегосударственных преобразований, учреждал газеты и журналы, много писал сам и издавал сочинения других. Несмотря на прекрасное хозяйство и огромное состояние, он — враг праздности — никогда не сидел без дела. Он опережал свое время, но не забывал жить в нем широко и полнокровно.

Александр Иванович Кошелев родился в Москве 9 мая 1806 года. С детства будущий славянофил оказался в поликультурной среде. Мать — Екатерина де Жарден — француженка из семьи эмигрантов, покинувших родину под угрозой революционного террора. Отец — Иван Родионович — отставной генерал-адъютант, известный в Первопрестольной как «либеральный лорд», убежденный англоман. Он учился в Оксфорде, служил под началом Г. А. Потемкина.

Семья жила на широкую ногу, а юный Александр рос в пестром окружении заезжих иностранцев, от которых «веяло крамолой», и московских аристократов, соединявших в себе европейский лоск и дух русской старины. Его домашним образованием вначале занималась мать, давшая сыну великолепную языковую подготовку — он в совершенстве овладел не только французским, что было нормой для того времени, но и английским, немецким, мог свободно изъясняться по-итальянски, знал латынь и испанский (позже он без труда овладеет еще и польским). В отроческие годы появились приглашенные учителя. Вместе со своими сверстниками братьями Киреевскими Александр брал уроки риторики и изящной словесности у А. Ф. Мерзлякова, политической экономии — у Х. А. Шлецера-младшего. Шестнадцати лет от роду Кошелев поступил на филологический факультет Московского университета, но через год его бросил: не понравилось то, что приходилось учить одновременно по восемь предметов, к тому же без всякой системы. Самообразование для него представлялось более эффективным и полезным.

В 1824 году он окончил Московский университет экстерном. К этому времени его интересы и виды на будущее обозначились уже довольно отчетливо. С 1822 года Кошелев — член вневитиновского литературного кружка, с 1823 года — участвует в литературном обществе С. Е. Раича, а вскоре вместе с князем В. Ф. Одоевским, поэтом Д. В. Вневитиновым, И. В. Киреевским создает кружок «Общество любомудрия» — союз приверженцев философии романтизма, Фихте и Шеллинга.

В 1823 году Кошелев поступил на службу в Московский архив Коллегии иностранных дел — хранилище дипломатических документов допетровской эпохи и нача-

ла петровского царствования. При архиве уже состояли представители золотой молодежи того времени: Одоевский, Веневитинов, С. П. Шевырев, через которых Кошелев познакомился с будущими декабристами Е. П. Оболенским, И. И. Пущиным, К. Ф. Рылеевым, М. А. Фонвизиным. Служба не была обременительной, и начальник архива А. Ф. Малиновский, чтобы как-то занять «архивных юношей», заставлял их описывать по годам дипломатические отношения России с тем или иным государством. В свободное время юноши упражнялись не только в любомудрии и литературной полемике, но также совершенствовали навыки верховой езды и фехтования: казалось, что эти умения понадобятся в случае «решительных действий». В преддверии событий декабря 1825 года «любомудры» заняли более радикальные позиции, а Кошелев на собраниях, проходивших у его троюродного брата М. М. Нарышкина, даже высказывался о «необходимости произвести в России перемену правления». Предчувствие революционных потрясений, атмосфера конспиративности, ассоциации с 1789 годом во Франции даже несколько охладили интерес «любомудров» к немецкой философии, актуализировав идеи французских политических мыслителей XVIII века.

Восстание на Сенатской площади взбудоражило Кошелева и его товарищей: каждый день ожидали новых известий, ежедневно тренировались в манеже, готовились к любому развитию событий, в том числе к аресту. Правда, до «аннибаловой клятвы» дело не дошло. Воодушевление вскоре сменилось разочарованием и укрепило в них уверенность в неприемлемости революционного пути, в необходимости просвещения и нравственного самосовершенствования.

Такова была эволюция мировоззрения молодого Кошелева: от космополитизма домашней обстановки и культуры классицизма — через немецкий романтизм с кратковременным вкраплением якобинского радикализма — к идее национальной самобытности, религиозности, народности. В 1827 году у постели умирающего Веневитинова он познакомился с А. С. Хомяковым и вскоре окончательно присоединился к славянофилам.

В 1826 году Кошелев получает назначение в Петербург в Канцелярию министра иностранных дел К. В. Нессельроде, где готовит обзоры иностранной прессы о России для императора Николая I. Очень пригодилось не только владение языками, но и полученное в Московском архиве МИДа знание истории взаимоотношений России с другими государствами. Кошелев добросовестно исполняет свои обязанности, успешно продвигаясь по службе. В 1829 году его переводят в Департамент духовных дел иностранных исповеданий для разработки «Общего устава для лютеранских церквей в Империи».

Кошелев живет у своего дяди Р. А. Кошелева — известного в то время мистика, близкого к окружению императора, дом которого, как магнит, притягивал самую разную публику. Столичная жизнь целиком захватила молодого аристократа: он принят в модных салонах, посещает балы, театры; ширится круг знакомств, властительницы его сердца сменяют одна другую. Наконец он влюбился — страстно и безответно. Предложение, сделанное им А. О. Россет (в замужестве она более известна как Смирнова-Россет), было отвергнуто, и кто знает, чем бы этот неудачный роман закончился, если бы в 1831 году не «подвернулось» (не без дядиной протекции) назначение в качестве атташе российского посольства в Лондоне. Кошелев уехал, поставив крест на светских развлечениях и своей несчастной любви.

В 1831 году он в свите А. Ф. Орлова участвовал в подписании Лондонского договора об учреждении Бельгийского королевства. К этому времени относится один колоритный эпизод его биографии.

А. Ф. Орлов был практически всемогущ: любимец императора, герой Отечественной войны 1812 года, государственный сановник высшего ранга. Перед ним лебезили,

заискивали; ему не смели перечить. Он вел себя соответственно — бесцеремонно, фамильярно, свысока. Кошелев с неприязнью наблюдал подобные сцены: служить он готов был честно, но прислуживаться ему было тошно.

Однажды Орлов, обращаясь к свитским на «ты», спрашивал их поочередно, поедут ли они с ним на охоту. «Эдак он и нам „тыкнет“, — заметил Кошелев одному своему товарищу, и в тот же миг Орлов, остановив на нем взгляд, в упор спросил: — „А ты?“ Пауза была недолгой. „С тобой я везде поеду“, — не дрогнув, отвечал Кошелев».

В Англии он встречался с лордом Греем и будущим премьером Г. Пальмерстоном, присутствовал на парламентских дебатах. После Лондона Кошелев много путешествовал: во Франции общался с Ф. Гизо и Ж. Мишле, бывал на политических диспутах, которые устраивал А. Тьер; слушал лекции Ф. Шлейермахера, Э. Ганса и Ф. К. Савиньи в Берлинском университете, а в Женеве посещал частные лекции П.-Л. Росси, давшие кошелевскому либерализму надежную теоретическую основу. В своих странствиях он пытался не только увидеть, но и понять жизнь людей в Европе. В 1831–1832 годах аристократ Кошелев с котомкой за плечами пешком прошел вдоль левого берега Рейна, наблюдая последствия отмены крепостного права в Германии. Карьера интересовала Кошелева все меньше. По возвращении в Россию он еще пару лет служит советником Московского губернского правления, а в 1835 году выходит в отставку.

Отставка для Кошелева стала началом нового, гораздо более интенсивного периода жизни. Как сложившийся либерал, он хорошо понимал цену и выгоду свободы, возможности самому строить и осуществлять свои жизненные планы. А планы были грандиозные: «Постараюсь сделаться первым агрономом России. Менее чем в пять лет я удвою свои доходы и произведу чувствительное улучшение в положении крестьян. За границей буду обращать особое внимание на агрономию и относящиеся к ней науки. Я устрою сельское хозяйство по новому способу, я буду производить сахар, примусь за всевозможные предприятия, — одним словом, постараюсь с возможной пользой употребить свое время», — писал он в своем дневнике. По наследству Кошелев получил имения в Ряжском уезде Рязанской губернии и Новоузенском уезде Самарской губернии, но для осуществления своих замыслов он специально приобрел большое имение Песочня в Сапожковском уезде Рязанской губернии, где и проводил летом большую часть времени. Песочня стала не только резиденцией Кошелева, но и административным центром его огромного хозяйства, включавшего, кроме имений, дома в Москве и Рязани, административные конторы на территориях, где Кошелев держал винные откупа. Откупные операции в то время были довольно распространенным видом предпринимательства как в купеческой, так и в дворянской среде. Это был не самый благовидный, но очень эффективный способ обогащения. Ветхий винокурный завод, доставшийся ему в 1835 году вместе с имением Песочня, после модернизации стал весьма рентабельным (его оборот составлял до 43 000 рублей в год). В 1838 году ввиду падения цен на зерно Кошелев все свои хлебные запасы пустил на винокурение, а также взял на откуп города Сапожок, Коломну, Зарайск, Егорьевск, Ряжск и Спасск. Позже он расширил территорию своей винной монополии за счет некоторых населенных мест Тамбовской губернии. Уже в первый год доход от откупных операций перевалил за 100 000 рублей серебром; только в 1848 году он откажется от откупов, став за десять лет одним из богатейших людей империи.

Впрочем, богател Кошелев не только откупами: его программа «агрономической революции» неуклонно выполнялась. Если при покупке Песочни он вообще не обнаружил господской запашки, то после расчистки бросовых земель в сельхозоборот были введены 1300 десятин пашни, и эта площадь в дальнейшем все увеличивалась. На него работали около 5500 крепостных. В Песочне Кошелев очень жестко регламентировал крестьянские повинности, установив для большинства крепостных трехдневную

барщину, а для оброчных — сумму в двадцать пять рублей серебром с тягла (в среднем по губернии было меньше двадцати рублей). 3607 десятин лесных угодий, которые крестьяне считали своими (нередко они возили лес на продажу в город), Кошелев велел окопать рвом и отпускал их только за деньги или натуральные повинности. Те же порядки действовали и в отношении пастбищ. За порубку леса и потраву лугов налагались штрафы или чувствительные наказания.

Кошелев постоянно мучился вопросом: «Как противодействовать русской лени?» — и в начале 1830-х годов даже хотел создать для этого особое общество. Он всегда подозревал в лености своих крепостных. Будучи человеком деятельным и неутомимым, он готов был требовать этого от других со всей возможной жесткостью.

В Песочне, кроме винокуренного, строятся маслосырдельный, крахмально-паточный и сахарный заводы, мастерские по ремонту сельскохозяйственного инвентаря, кожевенный цех, две мельницы, кирпичный завод. Развивается племенное животноводство (1000 голов крупного рогатого скота, из них 300 — дойных коров). Для улучшения породы выписывали холмогорских, английских, голландских и тирольских быков. В результате возникла проблема с кормами, потребовались новые посевные площади, культура травосеяния, специальные машины. Кошелев все чаще выезжает за границу, знакомится с передовой агрономией и уборочной техникой. С середины 1840-х годов он ежегодно посещает сельскохозяйственные выставки в Генте (Бельгия), о которых с восхищением рассказывает на заседаниях Московского и Лебедянского обществ сельского хозяйства. Во время посещения в 1851 году Всемирной выставки в Лондоне Кошелев познакомился с герцогами Бедфордом и Нортумберлендом и побывал в их владениях, где более всего интересовался хозяйствами фермеров, арендующих у них землю. По возвращении в Россию он приглашает членов Московского и Лебедянского обществ сельского хозяйства на съезды в Песочню. Там он впервые в России продемонстрировал купленные в Лондоне жатку Мак-Кормика и плуг Смаля, сеялку и пропашник Гаррета, конные грабли Смита, молотилку Голмеса, зернодробилку и соломорезку Баррета. В конце 1840-х — начале 1850-х годов Кошелев опубликовал десятки статей об использовании сельскохозяйственных машин в «Трудах императорского Вольного экономического общества», «Земледельческой газете» и других изданиях.

Рассказывая о зарубежном опыте, Кошелев не пренебрегал и отечественными изобретениями: увидев на испытаниях, что жатка Мак-Кормика уступает аналогичному агрегату М. П. Петровского, он выделил последнему значительную сумму денег на продолжение работ, купил ему мастерскую, живо интересовался ходом дела и сам участвовал в усовершенствовании машины. В 1856 году крепостной Кошелева Т. Хохлов, служивший управляющим мельницей в деревне Смыково, вместе с сапожковским кузнецом И. Казаковым усовершенствовал конную молотилку Эккерта с «барретовским» приводом, сделав стационарную машину переносной. «Смыковка» — так назвали новую модель — быстро нашла спрос среди землевладельцев, заказы стали поступать даже из других губерний. Предприимчивые крестьяне скоро организовали собственное дело по производству сельхозмашин.

Планы Кошелева вполне реализовались. Он стал крупнейшим рязанским помещиком-предпринимателем, нажил огромный капитал, создал одно из лучших в России многоотраслевых хозяйств. В 1847–1857 годах он был официальным поставщиком хлеба в казну для нужд армии и флота. Его заслуги в развитии сельского хозяйства в 1852 году были отмечены золотыми медалями Московского и Лебедянского обществ, а авторитет среди местных помещиков уступал разве что его богатству; в 1840 году его избрали сапожковским уездным предводителем дворянства.

Давняя дружба Кошелева с А. С. Хомяковым, братьями Киреевскими и другими участниками кружка славянофилов не прерывалась даже в годы его службы за рубе-

жом. В летние месяцы в песочинское имение часто наведывались также Ю. Ф. Самарин и В. А. Черкасский, ставшие членами Лебедянского общества. Зимой, когда Кошелев жил в Москве, его гостеприимный дом был распахнут не только для любителей практической агрономии, но и для всех, интересующихся вопросом о путях развития России. Следуя тогдашней моде, он устраивал приемы — кошелевский салон по средам был полон. Обедать и ужинать к нему почти ежедневно были званы И. С. Аксаков и Т. Н. Грановский, А. С. Хомяков и С. М. Соловьев, И. В. Киреевский и К. Д. Кавелин. Именно на кошелевских «средах» за большим обеденным столом происходили знаменитые словесные баталии славянофилов и западников. Соловьеву, молодому профессору Московского университета, которого Кошелев упрямо усаживал в середине стола, между Грановским и Аксаковым, хозяин дома казался «горланом»; он — завзятый славянофил — был нарочито нейтрален, пытался примирять оппонентов, потчует их разносолами. Соловьев увидел перед собой старомосковского барина, а не аристократического дипломата школы Нессельроде. В одном он был прав: Кошелеву был интересен не схоластический, а прикладной аспект славянофильства, абстрактное философствование его совсем не занимало.

Никто из славянофилов не был так активен в политическом плане, как Кошелев. И вряд ли кто-то из западников спорил со славянофилами больше, чем славянофил Кошелев. Самое серьезное противоречие заключалось в том, что для него славянофильство было естественной формой существования либеральной идеологии, тогда как большинство его товарищей по лагерю чурались либерализма. Идею народности Кошелев прямо связывал с освобождением крестьянства, созданием законосовещательной земской думы и широким единением сословий на антибюрократической основе. Соборность для него — совместная (всех сословий) ответственность за судьбу России перед будущим, но ни в коем случае не безличностное нивелирующее начало. Кошелев любил подчеркивать роль частной инициативы, священную для него свободу личности: «Общество не есть лицо, а лишь форма для свободного развития личностей. Соединяйте людей верою, наукой и прочим, но не касайтесь личной свободы, не налагайте на нее оков извне».

Самодержавие он считал наиболее подходящей для России формой правления, но предлагал расширить участие дворянства в законодательстве и местном управлении (эти идеи получили развитие в брошюре «Конституция, самодержавие и земская дума», изданной в Лейпциге в 1862 году). Русский царь представлялся ему своего рода демократической альтернативой западноевропейскому правителю, поскольку олицетворял собой волю всего народа, а не узкого слоя дворян или аристократии.

В вопросах религии Кошелев проявлял веротерпимость, допуская возможность участия в государственном управлении наряду с православными представителями других конфессий. Горячий сторонник объединения славянских народов, он, боясь оттолкнуть славян-католиков, не считал православие подходящей основой для такого союза. Кошелев глубоко сожалел, что официальная церковь мало заботится о распространении православия среди населения, считал вредным для общества удаление церкви от современных проблем. Не будучи фанатично религиозным человеком, он считал веру величайшей ценностью народа, связующей его мысли и дела. При Кошелеве в Песочне, где ранее уже была церковь, были построены еще два храма. Серьезные противоречия возникали у него с И. Киреевским по вопросу о православном государстве: Кошелев не мог принять этой концепции, считая ее совершенно утопичной: «Евангелие переносить в иную сферу — в политику, — значит перепутывать все мысли. Власть в государстве, которая хотела бы облечь учение Христово в форму закона, породила бы жестокий, невыносимый деспотизм».

Англоман в душе, Кошелев, с одной стороны, чуждался идей национального изоляционизма, с другой — предостерегал от бездумного заимствования западноев-

ропейских политических институтов, считал нигилизм и атеизм плодами европейского просвещения, привитого на неподготовленную русскую почву. На практике он пытался соединить в одном лагере все общественные силы либерального направления, утверждая, что в этом случае обществу не стоит опасаться узкого слоя революционеров. Кошелев верил в способность крестьянской общины предотвратить «пролетаризацию» России, отводил общине ведущую роль в преобразовании крестьянского быта на началах личной свободы и круговой поруки, во введении общественного суда и самоуправления. Община, по мысли Кошелева, должна была стать и гарантом экономических интересов землевладельцев в процессе освобождения крестьян.

Прозападническая либеральная бюрократия периода Великих реформ стала объектом довольно жесткой критики со стороны Кошелева за непоследовательность и половинчатость преобразований, заигрывание с нигилистами и «либеральничанье невпопад». Главные вопросы жизни страны, по его мнению, должны решать не чиновники, а лучшие представители народа: «Пусть царь созовет в Москву, как настоящий центр России, выборных от всей земли русской, пусть прикажет изложить нужды Отечества, и выборные с общего совета определяют способ осуществления готовности пожертвовать всем». Мысль о введении общегосударственного представительного органа в России не покидала его в течение всей жизни.

Главным делом жизни стало для Кошелева участие в подготовке и проведении крестьянской реформы. Он вошел в историю прежде всего как автор самого радикального дворянского проекта освобождения крестьян.

Убеждение в необходимости отмены крепостного права, основанное на традициях семьи и знакомстве с жизнью народа за рубежом, укрепилось, когда Кошелев начал свои сельскохозяйственные опыты в Песочне. Сначала была критика указа «Об обязанных крестьянах» 1842 года, который, с точки зрения Кошелева, не гарантировал выгоды помещику, затем — положительная реакция на указ 1844 года об освобождении дворовых. Этим указом Кошелев воспользовался, «отпустив» на волю без земельного надела 200 душ, взяв за мальчика по 150 рублей, за взрослого мужчину — по 300, а за обученных ремеслу — по 420 рублей серебром (выкуп осуществлялся в течение двадцати лет). Экономическая несостоятельность института дворовых и практические преимущества вольнонаемного труда были для Кошелева самым весомым аргументом.

В 1847 году он решил действовать. В «Земледельческой газете» выходит его статья «Охота пуще неволи», а на имя министра внутренних дел Л. А. Перовского поступает его «Записка об улучшении быта крестьян». Следующие «эмансипационные» проекты Кошелева были представлены правительству в 1849 и 1850 годах, то есть не в самое подходящее время (дело петрашевцев и начало Крымской войны). В них предлагалось облегчить освобождение дворовых людей и запретить перевод из крестьян в дворовые, кроме того, существовал проект предложений по освобождению крестьян с землей за выкуп.

Новая записка «О необходимости уничтожения крепостного состояния в России», содержащая этот проект, появилась в обстановке общественной эйфории, вызванной воцарением Александра II и провозглашением реформаторского курса правительства. В феврале 1857 года эта записка вместе с проектами А. М. Унковского, В. А. Черкасского и Ю. Ф. Самарина была передана в Главный комитет по крестьянскому делу, а затем в Редакционные комиссии.

«Пришел крайний срок, и освободить крестьян надо не завтра, а ныне», — говорилось в проекте Кошелева. Его план предполагал освобождение крестьян с двенадцатилетним сроком выкупа земли (три года — по официальному максимуму цен, три го-

да — на условиях, выработанных соглашением выборных от дворянства и крестьян, за оставшиеся шесть лет — общий обязательный выкуп на условиях правительства; дворовые при этом подлежали освобождению без земли).

В 1858 году по представлению рязанского губернатора М. К. Клингенберга (а фактически стараниями вице-губернатора М. Е. Салтыкова-Щедрина) Кошелев был назначен членом от правительства в Рязанский губернский комитет по крестьянскому делу. Кошелев был среди восемнадцати депутатов от губернских комитетов, потребовавших представить на их рассмотрение окончательный проект крестьянской реформы, выработанный Редакционными комиссиями. Он критиковал работу последних и считал, что в окончательном проекте ущемлены вотчинные права помещиков. «Слово „свобода“, — писал Кошелев, — не должно быть употребляемо в указах; это тем удобнее, что слова „отпуск на волю“ однозначны и не возбуждают в народе никаких ложных понятий».

В 1861 году, после оглашения манифеста Александра II, Кошелеву пришлось вызывать батальон Сибирского гренадерского полка для усмирения крестьянского бунта в Песочне — так его бывшие крепостные отреагировали на условия выкупа земли. Дворяне Сапожковского уезда, которых он с 1847 года убеждал в необходимости реформы, также возненавидели своего бывшего предводителя. Правительство, знакомое с его предложениями о введении представительных институтов, подозревало в нем конституционалиста. Даже друзья-славянофилы, с которыми у него не было расхождений по крестьянскому вопросу, укоряли Кошелева в излишней лояльности и стремлении к сотрудничеству с властью. И они были недалеко от истины.

Еще в 1854 году, в условиях жесточайшего финансового кризиса, вызванного войной, Кошелев составил записку «О денежных средствах России в настоящих обстоятельствах» и в 1855 году подал ее императору Александру II. В 1859–1860 годах он был членом Комиссии по проектам нормативного устава поземельных банков и ипотечного положения, а в 1860 году — председателем Винокуренной подкомиссии, разработавшей проект свободной виноторговли с установлением акцизного сбора в четыре копейки с градуса алкоголя. В 1862 году, став председателем Московского общества сельского хозяйства, Кошелев выступает с проектом созыва земской думы. Это компромисс, который он предлагает правительству в ситуации, когда отношения в обществе накалены, а процесс освобождения крестьян еще не дал положительных результатов.

В период Польского восстания 1863–1864 годов Кошелев одобрял действия виленского генерал-губернатора М. Н. Муравьева, считал невозможным существование самостоятельного польского государства: «А Муравьев хват: вешает да расстреливает! Дай Бог ему здоровья». В 1864 году Кошелев принял предложение правительства и был назначен управляющим финансами в Царстве Польском (кроме того, он заведовал горными заводами Западного края). На этом посту он выступил против русификаторской политики князя Черкасского, добился разрешения на привлечение польского дворянства в Комиссию о налогах в Царстве Польском и включение их в аппарат управления, составил проекты питейного устава и положения «О преобразовании прямых налогов в Царстве Польском».

Кошелев сумел стабилизировать финансовое положение в крае, способствовал распространению русского языка в делопроизводстве (документы, написанные порусски, принимались вне очереди и рассматривались при его личном участии). Опытный дипломат, Кошелев часто устраивал в своем доме приемы для польской знати. В 1866 году из-за конфликта с Н. А. Милютиным и М. Х. Рейтерном он вышел в отставку, оставив о себе добрые воспоминания среди польской шляхты, интересы которой он защищал, в отличие от остальной русской администрации. Правительству он представил записку «О прекращении военного положения и введении общегосударственных учреждений в Царстве Польском».

Участие Кошелева (а также князя Черкасского) в действиях правительства в Польше вызвало негативную реакцию в среде славянофилов. Ф. В. Чижов даже назвал их «ренегатами славянофильства». Кошелев не мог принять такую позицию: «Я в душе за власть; с прискорбием вижу, когда она спотыкается, а не намерен высказывать к ней ни малейшей неприязненности... Впрочем, я глубоко убежден, что у нас оппозиция не плодотворна. Пуще всего нам должно избегать фанфаронить либерализмом».

Как самый богатый из славянофилов, Кошелев финансировал многие славянофильские издания, часть из них редактировал сам. В 1852 году на его средства был издан первый том «Московского сборника» (под редакцией И. С. Аксакова), в 1856 году основан журнал «Русская беседа», в 1858-м — газета «Сельское благоустройство» (до августа 1858 года Кошелев сам редактировал оба издания). В 1861 году Кошелев издал полное собрание сочинений И. В. Киреевского, в 1871–1872 годах субсидировал журнал «Беседа» (редактор С. А. Юрьев), в 1880–1882 годах — газету «Земство» (редактор В. Ю. Скалон). При этом его позиция была умеренной, во многом проправительственной. «Убедительно вас прошу, — писал он И. С. Аксакову, — и в „Парусе“, и в „Беседе“ не становиться в оппозицию с правительством. Вы этим дело убьете. Что нам Герцен и компания?.. Я желаю слыть органом правительства, только либерального правительства».

С 1865 года и до конца дней Кошелев был гласным Сапожковского уездного и Рязанского губернского земских собраний; с 1870-х годов — гласным Московской городской думы. Он активно поддержал статистические исследования, принятые Московским земством, и организовал подобные в Рязанской губернии, где в 1870–1874 годах руководил работой оценочной комиссии земства, привлек к участию в ней видного статистика В. Н. Григорьева.

Основное внимание и усилия (в том числе и финансовые) Кошелев сосредоточил на работе в Сапожковском уездном земстве, где с 1868 года был председателем Уездного училищного совета, добился открытия в Сапожке уездного земского училища, выделения значительных сумм на нужды народного образования. Кошелев был одним из инициаторов организации стационарного медицинского обслуживания населения в уезде, в 1874–1883 годах участвовал в губернских съездах врачей, разработал устав Александровской учительской семинарии, готовившей учителей для сельских земских школ. Современники уже называли его не иначе как «старик Кошелев», но сам он был энергичен и полон идей.

Из его крупных финансовых предприятий в этот период выделяется попытка покупки Николаевской (ныне Октябрьской) железной дороги. В 1868 году вместе с В. А. Кокоревым он возглавил специально созданное для этого Московское товарищество, но сделка не состоялась.

В основном же Кошелев занимался публицистикой, написал и опубликовал десятки статей в журнале «Русская мысль», газетах «Голос», «Рязанские губернские ведомости», «Русь». Он обращал внимание читающей публики на непомерность государственных расходов, доказывал необходимость жесткой экономии в финансовой сфере, развивал идею единения дворянства с другими сословиями с целью постепенного преодоления всевластия бюрократии, критиковал земские учреждения за развитие в них «дворянско-крепостнического и адвокатско-либеральнического направления», отмечал слабое представительство крестьян в земствах. В 1882 году он разработал проект привлечения уездных выборных — по два человека от крестьян, дворян и горожан — в губернские комитеты по переустройству местного самоуправления. В общегосударственный комитет по этому вопросу должны были войти по два человека от каждой губернии без различия сословий.

Некоторые работы Кошелева, которые, по цензурным соображениям, нельзя было опубликовать в России («Какой исход для России из нынешнего ее положения?»),

«Наше положение», «Общая земская дума в России», «Об общинном землевладении в России», «Что же теперь делать?»), печатались в Берлине и Лейпциге. Он считал своим долгом предостерегать правительство от ошибочных действий даже тогда, когда само оно не желало его слушать.

«...Но не лишать прочих возможности развивать свои силы и способности» — так продолжил Кошелев свою мысль в дневниковых записях. Отношение его к благотворительности было нетрадиционным для того времени. Он довольно прохладно относился к мероприятиям церкви в сфере социальной помощи, критически оценивал практику закрытых форм призрения (богаделен и инвалидных домов), отдавая предпочтение общественной медицине и земским благотворительным заведениям. Он буквально ненавидел лентяев, паразитирующих на «нищелюбии» российского обывателя, видя в благотворительности такого рода совершенно тупиковый путь, ведущий не к преодолению бедности, а к ее росту, к нравственному растрению и просящих, и подающих милостыню.

В отношении к общественному призрению Кошелев стоял на позициях земского либерализма. Помощь нуждающимся, считал он, является обязанностью общества, но не может быть его главной целью. Деятельность государства и различных общественных союзов должна быть направлена на то, чтобы создавать условия для нормального функционирования основных производительных сил общества. Земство должно в первую очередь вкладывать средства в прогрессивные направления культурно-хозяйственного развития, а затем уже думать о немощных и обездоленных. Современники считали Кошелева не просто бережливым, но даже скупым в расходовании земских денег, имея в виду, что он не позволял раздавать их всем подряд.

Наиболее целесообразным и перспективным видом помощи «низшему» классу Кошелев считал просвещение, а самым эффективным средством такой помощи — широкое общественное самоуправление, организующее и направляющее деятельность школы, церковной общины, представителей земской интеллигенции, развивающее медицинское обслуживание, ветеринарное дело, агрономию.

В этом отношении показательна его полемика с В. И. Далем, который в «Письме к издателю А. И. Кошелеву», опубликованном в третьем номере «Русской беседы» за 1856 год, между прочим заметил, что для распространения грамотности среди народа еще не пришло время и просвещение будет лишь способствовать падению его нравственности. Даль предлагал вначале устроить быт крестьян, поднять их материальный уровень, укрепить основы мирского управления. Кошелев в статье «Нечто о грамотности» возражал ему: «Разве учреждение школ, сообщение народу грамоты мешает нам заботиться об улучшении сельского управления, об утверждении крестьянского быта на основаниях разумных и законных, об улучшении как духовного, так и материального положения поселян и прочее? Я думаю, напротив, что грамотность есть к тому пособие, и притом весьма сильное и совершенно необходимое пособие. Вы хотите лучше устроить сельское управление. Вот это легче с грамотным, чем с безграмотным». В подтверждение своей точки зрения он писал о собственных имениях: «У меня несколько школ. Одна существует двадцать лет, другие пятнадцать, десять, восемь и четыре года. Из первой выпущено более четырех сотен учеников, в итоге обучилось у меня под тысячу человек. Крестьяне из школ возвращаются к своим обязанностям, и они не только не становятся худшими, а напротив: грамотные чаще ходят в церковь, чем неграмотные, ведут себя гораздо лучше, пьяниц между ними почти нет; многие из них поступили в начальники, ключники и прочее, и я ими остаюсь вполне доволен».

При этом и в вопросах развития образования, распространения грамотности Кошелев активно выступал против принудительности, насильственного насаждения грамотности. Так, он критиковал идею поголовного обложения всех крестьян Сапожков-

ского уезда «образовательным» налогом (пять копеек с десятины земли): «Считаю обязательность совершенно непригодною при раздаче благодеяний. Грамотность есть благо, выгода. Как же людям под страхом наказания навязывать благо, выгоды?» Не жалея собственных средств на развитие народного образования (например, весь гонорар от сборника «Голос из земства» он отдал на устройство уездного земского училища в городе Сапожке), Кошелев настаивал на том, что народные школы не менее чем наполовину должны содержаться крестьянами из их средств. Для этого необходимо их убеждать, разъяснять им пользу и выгоды образования, но не принуждать законодательно. И ни в коем случае, предостерегал он, нельзя оставлять открытие и содержание школ в ведении одних только сельских обществ — иначе тогда и школ у населения не будет. Еще одна важная мысль сформулирована Кошелевым гениально просто: «Непрочна, ограничена будет грамотность у нас в народе, пока она не распространится между матерями». В конце 1860-х годов постановка вопроса о женском образовании применительно к крестьянской среде была весьма смелой не только для России, но и для Европы.

Славянофильские взгляды не мешали Кошелеву видеть негативную роль церкви в деле просвещения народа. Он едко высмеивал «педагогическую» деятельность духовенства в церковно-приходских школах: «Священник получает от прихода пособие в тридцать, сорок, пятьдесят или шестьдесят рублей; он собирает учеников в своем доме или в церковной сторожке; они ему носят воду, рубят дрова, посылаются на гумно за соломой или с другими поручениями и в свободное от этих занятий время долбят азбуку или псалтирь. Эти школы просто вредны, ибо тут мальчики не развиваются, а привыкают к напрасной трате времени...» Зная отношение народа к церковно-приходским школам, Кошелев довольно скептически отзывался от их участи в будущем. Еще более жестко он высказывался о роли духовенства в развитии школьной сети, отмечая, что оно, «вообще усердное по сбору своих доходов, весьма небрежно относится ко всему, что не доставляет ему рублей и гривен».

Таким образом, в вопросах благотворительности Кошелев исповедовал передовые (иногда даже радикальные) для своего времени взгляды, был сторонником просвещения, наиболее прогрессивных форм социальной помощи, осуществляемых обществом в рамках широкой программы культурно-хозяйственного развития.

Теракт 1 марта 1881 года перечеркнул надежды Кошелева на реализацию его политического идеала — земской думы, стал для него серьезной моральной травмой. Но он не сдался, хотя сил для работы оставалось все меньше, а дел не убавлялось. В день своей смерти 12 ноября 1883 года Кошелев успел посетить заседание Московской городской думы. Хоронили его на кладбище Донского монастыря рядом с могилами друзей-славянофилов.

Кошелев был талантливым предпринимателем, способным решать сложнейшие организационно-управленческие задачи. Оставшееся после него огромное имение вскоре перестало приносить доход — без личного участия рачительного хозяина оно разваливалось. Переданное в 1889 году наследниками Александра Ивановича на конкурсное управление, имение было затем продано Крестьянскому поземельному банку, который перепродал его часть крестьянам, а центральную усадьбу с винокурным заводом и участком строевого леса передал в 1899 году Министерству земледелия и государственных имуществ.

К концу XIX века население Песочни увеличилось до 3693 человек (в 1859 году — 2500), число дворов выросло в два раза (с 245 до 484 единиц). В селе было две школы, больница, почтово-телеграфное отделение, базары, ярмарка. Работали четыре завода. В 1907 году при казенном имении была создана трехклассная сельскохозяйственная школа первого разряда на шестьдесят учащихся (тридцать получали казенные стипен-

дии); при ней действовало учебное хозяйство. Созданное Хохловым и Казаковым в селе Смыково предприятие по производству сельхозмашин разрослось до масштабов крестьянского промысла. В конце 1860-х — начале 1870-х годов молотилки стали производить в городе Сапожке, селах Песочня, Чучково, Канино, Канинские Выселки, Новокрасное, Курган, Рязский Хутор, Малый Сапожок, Коровка, Путятино, Морозовы Борки и Черная Речка. Усовершенствованные «смыковки» покупали земства и крестьянские общества, заказов было столько, что кустари не успевали их выполнять. После голода 1891–1892 годов, сократившего спрос на сельхозтехнику (тогда закрылись пять литейных заводов и около ста мастерских), происходит новый рост и укрупнение предприятий; в 1911 году работали одиннадцать литейных заводов и двадцать два крупных сборочных предприятия. Кроме молотилок, производили веялки, просорушки, соломотрясы, грохоты, позже — шерсточесальные, трепальные и сукновальные машины. «Бабушкой» этого промысла была неуклюжая молотилка Эккерта, привезенная Кошелевым.

В 1917–1918 годах песочнинские крестьяне основательно разграбили бывшее кошелевское имение. Из того, что уцелело, в 1920-х годах были созданы областная селекционная станция, два колхоза, сельхозтехникум. С 1996 года все песочнинское хозяйство в качестве учебной опытной базы передано Рязанской государственной сельхозакадемии. На месте усадьбы Кошелева сохранились некоторые хозяйственные постройки, часть чугунной ограды, угадываются очертания великолепного когда-то парка. В селе Песочня при том же (приблизительно) числе дворов население едва превышает тысячу человек...

Имя Александра Ивановича Кошелева прочно вошло в историю, хотя и не всегда вспоминалось потомками с благодарностью. Большая его жизнь, его идеи и труды — это еще и биография российского освободительного движения, русского либерализма, это великолепная иллюстрация того, что может сделать один человек, превыше всего ценящий труд и свободу мысли.

КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ КАВЕЛИН: *«Наше больное место — пассивность, стертость нравственной личности...»*

ВЛАДИМИР КАНТОР

Константин Дмитриевич Кавелин (1818–1885) — один из самых крупных и влиятельных русских мыслителей 1840–1880-х годов XIX века. Историк, философ, правовед, публицист и мемуарист, он оказал огромное влияние на разработку ключевых проблем русской истории и культуры. Прежде всего Кавелина интересовала проблема личности в России. Об этом он писал: «У нас не было начала личности: древняя русская жизнь его не создала; с XVIII века оно стало действовать и развиваться». То есть с наступлением Нового времени личность в России все-таки появилась, и вместе с ней — шанс на выход из мировой изоляции, на появление новой, светской культуры.

Подобно другим историкам, Кавелин не мог не размышлять о том, что обозначило этот перелом и когда он произошел. Его внезапность подметил и Пушкин, писавший, что «словесность наша явилась вдруг в XVIII столетии, подобно русскому дворянству, без предков и родословной...». XVIII век — период Петровских реформ, укрепления государственного могущества и выхода России на сцену европейской истории. Случайно ли происходит так, что в России процессы становления личности и укрепления государства начинаются одновременно? Того самого государства, которое чуть не раздавило Чаадаева и Гоголя, которому так отчаянно сопротивлялся Лермонтов и о котором Пушкин писал, что оно «единственный европеец в России», напрямую связывая появление новой литературы с западническими реформами Петра.

Проблема соотношения личности и государства становилась одной из центральных проблем русской духовной жизни, крайне важной для самоопределения культуры и внутренней политики России. Как раз этой проблеме во многом посвящено творчество Константина Дмитриевича Кавелина.

Выросший в семье, принадлежавшей, по определению Достоевского, к «средне-высшему кругу» русского дворянства, Кавелин отказывается от традиционной для этого сословия военной или чиновной карьеры. Его влечет научная деятельность, желание понять окружающую действительность. Учеба в университете укрепила его тягу к занятиям наукой. Несмотря на сопротивление семьи (профессорство казалось матери Кавелина лакейской должностью), он с начала 1840-х годов читает в Московском университете лекции по истории русского права. Тогда же он тесно сходит с А. И. Герценом, который позднее, в 1861 году, в «Колоколе» с любовью вспоминал Кавелина, ставя его в ряд ведущих деятелей русской культуры: «Лермонтов, Белинский, Тургенев, Кавелин — все это наши товарищи, студенты Московского университета...»

Первые лекции и первые, еще не вызвавшие заметного шума в публике журнальные публикации Кавелина обратили на себя внимание одного из самых проницательных критиков 40-х годов — В. Н. Майкова. В статье 1846 года он сравнил научную деятельность Кавелина с переворотом, произведенным в литературе Гоголем: «В то же время как зарождалось у нас славянофильство, зарождался и противоположный взгляд

на прошедшее и настоящее России. Это был взгляд спокойного, беспристрастного анализа, взгляд, который сначала произвел такой же ропот в науке, как сочинения Гоголя в искусстве, но который мало-помалу делается господствующим. В последнее время представителями его являются профессора Московского университета, господ Кавелин и Соловьев, которым, может быть, суждено сделать для русской истории то же, что сделал Гоголь для изящной литературы...»

Но подлинная слава и влияние Кавелина на русскую общественную мысль начинаются с 1847 года, когда в журнале «Современник» публикуется его статья «Взгляд на юридический быт древней России». Статья эта была составлена из курса лекций по просьбе В. Г. Белинского, считавшего выраженную в этих лекциях точку зрения «гениальной».

Прежде чем формулировать культурно-историческую позицию Кавелина, стоит посмотреть, в контексте каких идей и проблем она зародилась и ответом на какую позицию была. Как известно, в XIX веке первой попыткой философии русской истории явилось «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева, появившееся в 1836 году в «Телескопе». Журнал, опубликовавший это письмо, был закрыт, цензор отстранен от должности, редактор сослан, а сам автор объявлен сумасшедшим. Причиной тому был поразительно мрачный взгляд мыслителя на историю России и ее настоящее. Современники восприняли письмо как «обвинительный акт против России». Действительно, оптимизма в первом письме Чаадаева было немного: «В самом начале у нас дикое варварство, потом грубое суеверие, затем жестокое унижительное владычество завоевателей, владычество, следы которого в нашем образе жизни не изгладились совсем и донныне. Вот горестная история нашей юности... Мы живем в каком-то равнодушии ко всему в самом тесном горизонте без прошедшего и будущего... Мы идем по пути времен так странно, что каждый сделанный шаг исчезает для нас безвозвратно. Все это есть следствие образования совершенно привозного, подражательного. У нас нет развития собственного, самобытного...»

По сути дела, Чаадаев заявил, что Россия и Западная Европа развиваются на разных началах, ибо в России не было личностей, способных определить ее прогрессивное движение. Славянофилы, споря с Чаадаевым, тем не менее признали «разность оснований», объявив случайностью все заимствования у Запада и подражания ему; они искали национальную самобытность в общинности и православной соборности. Иными словами, все те характеристики России, которые для Чаадаева были несомненно отрицательными, получили у славянофилов положительную окраску.

Однако и Чаадаев, и славянофилы, по замечанию П. Н. Милюкова, «искали идей в истории... стояли высоко над материалом, над действительностью в русской истории, не только не объясняя ее, но даже и не соприкасаясь с ней».

К. Д. Кавелин стал первым профессиональным историком, начавшим работать с «материалом» и при этом предложивший свою концепцию русской истории. Противопоставляя кавелинскую историческую модель взглядам славянофилов, его ученик, а потом и коллега либерал-правовед Б. Н. Чичерин отмечал: «Как далек был этот здравый, трезвый и последовательный взгляд на русскую историю от всех бредней славянофилов, которые, страстно изучая русскую старину, ничего не видели в ней, кроме собственных своих фантазий».

В своей знаменитой статье в «Современнике» Кавелин подчеркивал, что «внутренняя история России — не безобразная груда бессмысленных, ничем не связанных фактов. Она, напротив, стройное, органическое, разумное развитие нашей жизни, всегда единой, как всякая жизнь, всегда самостоятельной, даже во время и после реформ. Исчерпавши все свои исключительно национальные элементы, мы вышли в жизнь общечеловеческую, оставаясь тем же, чем были и прежде, — русскими славянами...».

В отличие от славянофилов Кавелин искал через свою «формулу российской истории» путь не к «самодостаточной», а к универсальной, «общечеловеческой жизни». Точкой отсчета мирового прогресса он считал возникновение личности. На Западе, писал он, «человек давно живет и много жил, хотя и под односторонними историческими формами, у нас он вовсе не жил и только начал жить с XVIII века. Итак, вся разница только в предыдущих исторических данных, но цель, задача, стремления, дальнейший путь один». Кавелин хотел доказать, что появление в России личностного самосознания — закономерное явление русской истории. Необходимо было дать историческое обоснование этому феномену.

Строго говоря, Кавелин распространил на Россию тезис западников о том, что история движется лишь там, где есть развитая личность, что только при этом условии страна становится цивилизованным государством, в котором развиваются промышленность, система образования, распространяется просвещение. Для народов, утверждал он, призванных ко всемирно-исторической деятельности, существование без начала личности невозможно. Личность есть необходимое условие духовного развития народа. Спустя много лет, в 1863 году, на чтениях в «профессорском клубе» в Бонне об освобождении крестьян он в своем «Кратком взгляде на русскую историю» четко сформулировал: «Если мы европейский народ и способны к развитию, то и у нас должно было обнаружиться стремление индивидуальности высвободиться из-под давящего ее гнета; индивидуальность есть почва всякой свободы и всякого развития, без нее немыслим человеческий быт».

Именно в этом позиция Кавелина отличалась от чаадаевской и славянофильской. Чаадаев утверждал, что русские — не европейцы; славянофилы считали, что русские — другие европейцы, нежели на Западе, с другой (истинной) христианской верой и ментальностью (общинностью вместо западной индивидуальности). Кавелин, напротив, дал личностную и в этом смысле антиславянофильскую версию русской истории. По Кавелину, распадение родового быта, укрепление быта семейного, последующий его кризис привели к возникновению могучего государства в России. А «появление государства было вместе и освобождением от исключительно кровного быта, началом самостоятельного действия личности».

«Наше больное место, — писал позднее Кавелин в статье „Наш умственный строй“, — пассивность, стертость нравственной личности. Поэтому нам предстоит выработать теорию личного, индивидуального, личной самостоятельности и воли». Однако, будучи убежденным западником, Кавелин резко возражал против бездумного заимствования западных идей и теорий без учета российского «коэффициента преломления». Личность, по его мнению, есть продукт воспитания, а не подражания: «Нам не следует, как делали до сих пор, брать из Европы готовые результаты ее мышления, а надо создать у себя такое же отношение к знанию, к науке, какое существует там. В Европе наука служила и служит подготовкой и спутницей творческой деятельности человека в окружающей среде и над самим собой. Ту же роль должны мысль, наука играть и у нас... Такой путь будет европейским, и только когда мы на него ступим, зародится и у нас европейская наука...»

Первой свободной личностью в истории России Кавелин считал императора Петра: «В Петре Великом личность на русской почве вступила в свои безусловные права, отрешилась от непосредственных, природных, исключительно национальных определений, победила их и подчинила их себе. Вся частная жизнь Петра, вся его государственная деятельность есть первая фаза осуществления начал личности в русской истории». Именно пробуждающимся в России личностным началом объяснял Кавелин просветительский западнический радикализм Петра: «В обществе, построенном на крепостном начале, личность могла заявить себя не иначе как с большою ненавистью

к порядку дел, который ее давил со всею необузданностью и гневом угнетенной силы, рвущейся на простор, с пристрастием к цивилизованной Европе, где личность служит основанием общественного быта и права, свобода ее признана и освящена».

Найдя «первую свободную личность» в России в образе самодержца-просветителя, Кавелин последовательно связывал развитие личностного начала России с европеизацией русской государственности, именно от государства ожидая распространения в обществе личностных свобод. Кавелин полагал, что царская власть всегда была в России «деятельным органом развития и прогресса в европейском смысле». Более того, он считал, что в России все благотворные перемены шли сверху — начиная с крещения Руси: «Это великое событие было делом князя и меньшинства народа и шло, как и все великие реформы у славян, сверху вниз». Сверху шло и постепенное раскрепощение сословий — от дворянства до крестьянства.

Сторонник просвещенного абсолютизма, либеральный западник, Кавелин был столь же стойким и жестким противником антипросветительских и антилиберальных действий власти. Уход Кавелина в 1848 году из Московского университета совпал с наступлением так называемого «мрачного семилетия». Европейские революции повлекли за собой внутрироссийские репрессии. В своих «Записках» историк С. М. Соловьев так вспоминал это время: «В событиях Запада нашли предлог явно преследовать ненавистное им просвещение, ненавистное духовное развитие, духовное превосходство, которое кололо им глаза. Николай не скрывал своей ненависти к профессорам... Грубое солдачество упивалось своим торжеством и не щадило противников, слабых, безоружных... Что же было следствием? Все остановилось, заглохло, загнило. Русское просвещение, которое еще надобно было продолжать возвращать в теплицах, вынесенное на мороз, свернулось...»

Все это, однако, не изменило взглядов Кавелина на русскую историю. В сентябре 1848 года он писал Т. Н. Грановскому: «Я верю в совершенную необходимость абсолютизма для теперешней России; но он должен быть прогрессивный и просвещенный. Такой, каков у нас, только убивает зародыши самостоятельной, национальной жизни». А в том, что культура, просвещение, национальная жизнь и литература должны быть самостоятельны и что это совместимо с абсолютизмом, Кавелин был уверен вполне. Поэтому он так резко выразился по поводу смерти императора Николая спустя семь лет, в марте 1855 года: «Калмыцкий полубог, прошедший ураганом, и бичом, и катком, и терпугом по русскому государству, в течение тридцати лет вырезавший лица у мысли, погубивший тысячи характеров и умов, истративший беспутно на побрякушки самовластия и тщеславия больше денег, чем все предыдущие царствования, начиная с Петра I, это исчадие мундирного просвещения и гнуснейшей стороны русской натуры окошел наконец, и это сушая правда! До сих пор как-то не верится! Думаешь, неужели это не сон, а быть?.. Экое страшилище прошло по головам, отравило нашу жизнь и благословило нас умереть, не сделавши ничего путного! Говори после этого, что случайности нет в истории и что все совершается разумно, как математическая задача. Кто возвратит нам назад тридцать лет и призовет опять наше поколение к плодотворной и вдохновенной деятельности!»

Впрочем, николаевское время Кавелин — «оптимист» и «вечный юноша», по определению современников, — считал лишь исторической случайностью. Исследования русской истории, все новые и новые выступления Кавелина в печати, лекции, которые он возобновил после смерти Николая в Санкт-Петербургском университете и которые вызывали восторг и энтузиазм молодежи, оказывали бесспорное влияние на духовную жизнь общества.

В последние годы «николаевщины» Кавелин был занят и другой, потаенной работой. Б. Н. Чичерин вспоминал: «На юбилей прибыл из Петербурга Кавелин. Однажды

он приехал ко мне и стал говорить, что положение с каждым днем становится невыносимее и что так нельзя оставаться. О каком-либо практическом деле думать нечего, печатать ничего нельзя; поэтому он задумал завести рукописную литературу, которая сама собою будет ходить по рукам». Характерно, что издаваемые в Лондоне герценовские «Голоса из России» начались именно статьями Кавелина, опубликованными, разумеется, без подлинного имени автора.

В годы правления Александра II авторитет Кавелина как историка и прогрессивного деятеля в научных и придворных кругах был столь высок, что его даже пригласили в воспитатели к наследнику-цесаревичу Николаю Александровичу. Перед Кавелиным возникает перспектива служения обществу, аналогичная позиции В. А. Жуковского, воспитавшего Александра II. Однако этого Кавелину было недостаточно — он хотел активного участия в общественной борьбе, как можно скорее добиваться отмены крепостного права. Несмотря на то что новый император явно собирался действовать в этом направлении, говорить об отмене крепостного права в печати было тем не менее запрещено. В продолжение этой «рукописной литературы» Кавелин пишет своего рода трактат — широко разошедшуюся по рукам «Записку об освобождении крестьян». Часть этой записки (также без имени автора) печатает в «Голосах из России» А. И. Герцен; другую часть тоже безымянно публикует в «Современнике» Н. Г. Чернышевский.

Читатели «Записки» сразу обратили внимание на то, что автор ставит вопрос об освобождении крестьян весьма широко, выступая не только за освобождение помещичьих крестьян с землей (через ее выкуп), но и против «государственного крепостничества», к которому он относил позорную практику солдатской рекрутчины. Впрочем, подлинное имя автора «Записки» быстро становится известным, и Кавелина отстраняют от преподавания наследнику, отлучают от двора.

Когда в 1862 году в Петербурге случились известные пожары, Кавелин, как и многие его современники (Достоевский, Лесков), поверил, что это дело рук «революционной партии». Начинается расхождение, а затем и разрыв Кавелина с радикальной частью общественного движения. В 1862 году он писал Герцену в связи с арестом Чернышевского: «Аресты меня не удивляют и, признаюсь тебе, не кажутся возмутительными. Это война: кто кого одолеет. Революционная партия считает все средства хорошими, чтоб сбросить правительство, а оно защищается своими средствами». И это письмо, и многие другие тексты часто вменялись Кавелину в вину как «реакционные»: поздний Кавелин окончательно разошелся, например, с эмигрантом Герценом.

В 1862 году Кавелин печатает за рубежом брошюру «Дворянство и освобождение крестьян», в которой скептически оценивает правительственный вариант освобождения крестьян. Кавелин исходил из того, что крестьянская реформа проведена правительством вопреки желанию большинства дворян, опасавшихся губительных для себя последствий. Неизбежное напряжение между дворянством и крестьянством может привести к революционному взрыву, что, на взгляд Кавелина, отбросило бы Россию далеко назад. За революционным хаосом могла бы возникнуть еще худшая диктатура. В одном из писем Герцену в июне 1862 года Кавелин замечал: «Выгнать династию, перерезать царствующий дом — это очень нетрудно и часто зависит от глупейшего случая; снести головы дворянам, натравивши на них крестьян, — это вовсе не так невозможно, как кажется... Только что будет затем? То, что есть, не создаст нового, по той простой причине, что будь оно новым, — старое не могло бы существовать двух дней. И так выплывает меньшинство, — я еще не знаю какое, — а потом все скристаллизуется по-старому...».

В своих политических расчетах либерал Кавелин не делал серьезной ставки на «средний класс». «Третье сословие», по его мнению, малочисленно и слабо, соответ-

ственно, не может приниматься в расчет. Стало быть, говорить о всеобщем представительном правлении, по Кавелину, можно только в расчете на крестьянство, на «мужичье царство», составлявшее 80 процентов населения. Крестьяне же, полагал Кавелин, не готовы еще ни к общенациональному представительству, ни к гражданскому самоуправлению. «Россия, — писал Кавелин, — еще во всех отношениях печальная пустыня; ее надо сперва возделать...» Оппонент Кавелина Герцен, в очередной раз обидевшись за народ, обвинил бывшего друга во вражде к народу, публично утверждая, что свои рассуждения Кавелин основывает на том, что «народ русский — скот, выгнать людей для земства не умеет, а правительство — умница...».

Спор о сроках и степени готовности народа к демократическому правлению в России так и не был разрешен. Фактом остается то, что спустя всего несколько десятилетий революция в России победила конституцию. Многие позднейшие отечественные историки (Н. Я. Эйдельман, например), изучая истоки большевистской трагедии, полагали, что своевременное принятие конституции могло бы еще до возникновения радикальных революционных партий направить Россию на европейски-эволюционный путь развития, вводя в общественное сознание *понятие свободы*.

Известно, что преобразования в России, необходимые для выживания страны, чаще всего проводились властью при опоре на бюрократию. Поэтому Кавелин полагал, что политическая эмансипация и конституционное ограничение самодержавия могут затормозить политику «реформ сверху». С другой стороны, он опасался, что конституция в России может оказаться лишь «верхушечной», дворянской и власть тем самым окажется в руках аристократической олигархии, сопротивляющейся реформам. Между насущными реформами государственного управления и демократизацией общества либерал Кавелин однозначно выбирал реформы управления. А это управление, как местное, так и центральное, требовало, по его мнению, коренных преобразований: «Наши законы спутаны и обветшали; наше финансовое положение беспорядочно, расстроено и опасно; судопроизводство никуда не годится; полиция ниже критики; народное образование встречает на каждом шагу препятствия; гласность предана произволу, не ограждена ни судом, ни законом... Преобразования, вводящие прочный, разумный и законный порядок в стране взамен произвола и хаоса, по самому существу дела должны предшествовать политическим гарантиям, ибо готовят и воспитывают народ к политическому представительству».

В 1870–1880-х годах Кавелин становится все более пессимистичным. Его надежда на «великий компромисс» между сословиями и партиями явно терпела неудачу. Договариваться могут только ответственные личности, а их-то в России он и не видит. В «Задачах психологии» он писал о перспективе «обезличивания» российской жизни и политики: «Личностям предстоит обратиться в безличные человеческие единицы, лишённые в своем нравственном существовании всякой точки опоры и потому легко заменимые одни другими... Мы уже больше не боимся вторжения диких орд; но варварство подкрадывается к нам в нашем нравственном растлении, за которым по пятам идет умственная немощь...» В конце 70-х годов он согласен с И. С. Тургеневым, открыто полемизирует с «пушкинской речью» Ф. М. Достоевского. Упрекая последнего в несправедливом шельмовании либеральной интеллигенции, Кавелин закончил одно из своих писем к Достоевскому достаточно резко: «Стало быть, — скажете вы мне, — и вы тоже мечтаете о том, чтоб мы стали европейцами? — Я мечтаю, отвечу я вам, только о том, чтобы мы перестали говорить о нравственной, душевной, христианской правде и начали поступать, действовать, жить по этой правде!» Но, к несчастью, безумные, трагические герои Достоевского больше говорили о возможном будущем России и тем самым были много реалистичнее, чем публицистические суждения историка.

Допустить, что не все подчиняется рационально ориентированной науке, ее логике, Кавелин не мог. Даже в романе «Новь» близкого ему по духу Тургенева он не заметил тревожной ноты, на которой заканчивается произведение. «Безымянная Русь!» — так устами Паклина определяет Тургенев будущих творцов русской истории. Выступая в защиту «Нови», используя ее образы в своих статьях, в опубликованной за рубежом брошюре «Разговор с социалистом-революционером» (1880), Кавелин словно сознательно закрывал глаза на *нелиберальные взгляды*, характерные не только для героев Достоевского, но и персонажей Тургенева.

Самодержавный запрет на политическую свободу личности, часто оправдываемый либералами во имя «прагматических реформ», естественно, сказался на радикализации подпольных революционных кружков и партий. Пытаясь реформировать, «воспитывать» самодержавие, либералы упустили из виду радикалов, чувствовавших себя «орденом меченосцев», ибо только этот обезличенный психологический тип мог противостоять самодержавному государству, а в перспективе — построить его новый, тоталитарный вариант.

В последние годы жизни Кавелин пишет интереснейшие письма и трактаты, проповедуя труд в качестве основы человеческой жизнедеятельности; пытается восполнить недостаток психологических разработок проблемы личности (трактат «Задачи психологии», 1872); надеется на воспитательную силу искусства («О задачах искусства», 1878); пишет трактат по этике, посвященный молодежи («Задачи этики», 1884). Россия может превратиться в деловую созидательную страну, а русские люди — из обломовых в штольцев, полагал он. Кавелин чувствовал себя призванным проделать эту подготовительную работу в умах русских образованных людей. В 1885 году он писал графу Д. А. Милютину: «Смейтесь, а мне ужасно улыбается роль девицы Орлеанской...»

Однако все кавелинские призывы к труду, к нравственности, к насаждению грамотности словно повисали в воздухе, не получая особого общественного резонанса в стране, раздираемой самодержавным охранительством с одной стороны и радикальной революционностью — с другой.

Скончался К. Д. Кавелин 3 мая 1885 года. Он был похоронен на петербургском Волковом кладбище рядом с другом своей юности Тургеневым. Его провожали в последний путь как одного из выдающихся мыслителей своего времени. «Учителю Права и Правды» — так было написано на серебряном венке, возложенном на могилу его учениками.

БОРИС НИКОЛАЕВИЧ ЧИЧЕРИН:
*«В настоящее время в России
потребны две вещи: либеральные меры
и сильная власть»*

СЕРГЕЙ СЕКИРИНСКИЙ

Борис Николаевич Чичерин родился 26 мая 1828 года в семье крупного тамбовского помещика. Получив хорошее домашнее воспитание, он по достижении шестнадцати лет отправился в Москву готовиться к поступлению в университет. Его репетитором согласился быть профессор Т. Н. Грановский. Семь месяцев подготовки в университет, наполненные лекциями-беседами с наставником и общением с кругом близкой ему московской профессуры, стали, по воспоминаниям самого Чичерина, решающими в становлении его западных воззрений. Он выбрал юридический факультет, где ему довелось слушать лекции того же Грановского, С. М. Соловьева, К. Д. Кавелина, П. Г. Редкина и других известных профессоров. Среди них Чичерин особо выделял своего первого учителя, считая себя обязанным Грановскому «большою половиною своего духовного развития». В ту пору умами историков и юристов владел Гегель, и на Чичерина сильно повлияла гегелевская философия, ставшая одним из основных факторов формирования его мировоззрения.

По окончании университета в 1849 году Чичерин решает посвятить себя научной деятельности. Успешно сдав магистерские экзамены, он уже в 1853 году представил диссертацию «Областные учреждения в России в XVII веке». Но защитить ее Чичерину удалось лишь после смерти Николая I, поскольку изображение молодым соискателем государственных порядков допетровской Руси было тогда расценено как излишне критическое и не соответствовавшее официальным канонам.

Идейная атмосфера, в духе которой воспитывалась вся образованная элита николаевской России, была двойственной. Утверждение представления об особом пути исторического развития России не исключало признания необходимости ее обновления на основе западных образцов в военной, дипломатической, социально-экономической и культурной областях. Но результаты крымской схватки с «англо-французами» дали явный перевес идеям европеизма. И Чичерин вместе с К. Д. Кавелиным принял самое активное участие в создании рукописной литературы, ставшей на известное время главным способом выражения либеральных идей, быстро расходившейся по рукам, а подчас печатавшейся за границей — в особенности у Герцена в «Голосах из России». Вскоре подошло время и для либеральных выступлений в русской подцензурной печати. И западники, и славянофилы получили возможность основать свои периодические издания и в них публично отстаивать идеи реформ, параллельно полемизируя друг с другом. Споры развернулись и среди русских европеистов...

Наиболее популярным органом либерального направления стал «Русский вестник», издававшийся с 1856 года М. Н. Катковым и П. М. Леонтьевым. Политическая публицистика этого журнала строилась в основном на поучительной для послениколаевской России антитезе негативного опыта Франции периода авторитарной империи Наполеона III и позитивных уроков викторианской Англии. Непрерывное чере-

дование во Франции с конца XVIII века революций, диктатур и шатких конституционных режимов вынуждало некоторых либеральных публицистов задаваться в 1858 году рядом недоуменных вопросов: «Способна ли вообще французская нация к политической свободе?.. Не совершила ли уже Франция всего круга своего развития, не угрожает ли ей судьба южноамериканских республик, не предстоит ли ей в будущем переходить постоянно от анархии к диктатуре, от господства масс к военному деспотизму?» Перспективы политического развития Франции и в дальнейшем вызывали серьезные сомнения в русских либеральных кругах, чему давали повод поражение Франции в войне с Пруссией и наступившие вслед за этим «междоусобица, анархия и слабосилие». Тогда-то один из виднейших представителей либерального крыла высшей бюрократии — экс-министр народного просвещения А. В. Головнин сформулировал аналогичный вопрос: «Неужели Франции предстоит судьба Мексики или Южно-Американских республик, где в течение сорока лет пребывает пятнадцать правительств и где царствует полная анархия, и от того невозможны ни умственное, ни материальное развитие?»

Но среди сторонников реформ в России высказывались и другие мнения насчет восприятия французского опыта. В 50-е годы XIX века до падения бонапартистского режима было еще далеко. Наоборот, то было время экономического подъема и внешнеполитических успехов Второй империи, а проведение Великих реформ совпало с началом серьезной трансформации внутренней политики Наполеона III — с переходом от авторитарной к либеральной империи. Именно Чичерин в серии статей, опубликованных в 1856–1858 годах, предпринял смелую попытку извлечения из французского опыта позитивных уроков назревшим в России большим реформам.

Во-первых, это был вывод о закономерности революций в тех случаях, когда сама власть оказывалась не на высоте в решении встававших перед ней исторических задач. Во-вторых, указание на возможность предотвращения подобных исходов своевременными и отвечающими потребностям того или иного исторического момента реформами. В-третьих, устанавливался «хронометраж» преобразований и подчеркивалось, что политическая свобода, как цель, не стоит в повестке дня развития тогдашней России, а главная задача — обеспечение гражданских прав, отмена крепостной зависимости крестьян. В-четвертых, особый акцент был сделан на активной роли сильной, централизованной власти в процессе продвижения общества к свободе и благоденствию, на преемственности задач, которые решали с разным успехом старый абсолютистский порядок и послереволюционные бонапартистские режимы. Королевская власть порицалась за слабость и непоследовательность, а оба Наполеона выступали у Чичерина в роли демиургов исторического прогресса. И хотя сам Борис Николаевич неоднократно разъяснял, что он вовсе не поклонник наполеоновских порядков и считает их «только временным неустройством не приготовленной к управлению демократии», ход его мысли в культурных кругах России был близок не всем.

«Правду говаривал покойник Грановский, что изучение русской истории портит самые лучшие умы, — откликнулся уже на первые „французские“ очерки Чичерина в 1856 году либеральный публицист и издатель М. Н. Катков. — Привыкнув следить в русской истории за единственным в ней жизненным интересом — собиранием государства, невольно отвыкаешь брать в расчет все прочее, невольно пристращаешься к диктатуре и, при всем уважении к истории, теряешь в нее веру».

Но Чичерин стойко держался своей «государственнической» системы. И так же, как он разошелся с либеральным англоманом Катковым из-за оценки роли «централизации», так и его предложения в крестьянском вопросе способствовали расхождению со славянофильским кружком. Очень точно общий смысл этих разногласий передал князь В. А. Черкасский. «Ваш проект, — говорил он Чичерину, — предполагает разум-

ное, вполне сознающее свою цель и твердо к ней идущее правительство, чего мы ожидать не можем. Мой же проект предполагает только проблеск здравого смысла, на который можно рассчитывать».

Не найдя понимания у тогдашних общественных деятелей в стремлении, по словам одного из них, «во все вмешивать правительство», Чичерин, однако, вызвал интерес к себе со стороны руководителей официальных ведомств, специально занимавшихся разработкой крестьянского вопроса. В частности, Н. А. Милютин, директор хозяйственного департамента, а затем и товарищ министра внутренних дел, приглашал Чичерина к сотрудничеству, сожалея, что его не оказалось среди членов Редакционных комиссий 1859–1860 годов, готовивших законодательство о крестьянской реформе. Но все было напрасно. Еще в апреле 1858 года Чичерин надолго, до весны 1861 года, уехал за границу.

Вообще-то длительная отлучка из России была делом вполне обычным для людей его времени, круга и состояния. Мало ли образованных русских отправлялось тогда в Европу, даже не располагая большими средствами? Недаром заграничный паспорт после смерти Николая I подешевел в сто раз! (Вместо 500 рублей он стоил теперь всего 5 рублей!) Впрочем, у Чичерина как раз была сложившаяся репутация путешественника. Но на этот раз момент отъезда был выбран им не случайно. «Я уехал за границу, — рассказывал он впоследствии, — в самую знаменательную для России пору, в минуту величайшего исторического перелома, когда готовилось преобразование... С тем вместе кончался чисто литературный период нашего общественного развития; наступала пора практической деятельности». И что же? Один из главных кандидатов в деятели тогдашней эпохи, не испытав даже тени страха за ход начинавшихся преобразований, за успех «команды реформаторов», ехал за границу, объясняя Милютину, что работу в Редакционных комиссиях лучше исполняют другие, более знакомые с практическим делом, а у него есть свое «специальное призвание» — научное творчество, от которого никак нельзя отказаться. Зная общественный темперамент Чичерина, в это трудно поверить. Но факт, вызывающий иногда недоумение и у современных исследователей, остается фактом: Чичерин покинул Россию, когда его присутствие там было необходимо, как никогда. На самом деле это был *принципиальный* поступок. Он уехал с *абсолютной* уверенностью в несокрушимость реформ, оставив «команду», обреченную на успех...

Резко очерченные взгляды и строгие суждения Чичерина получили особый общественный резонанс после его открытой полемики с Герценом на страницах зарубежного «Колокола» осенью 1858 года. Публичному выступлению Чичерина против основателя Вольной русской типографии предшествовала их личная встреча в Лондоне. Русский подданный, которому предстояло заложить основы политической науки в России, приехал к соотечественнику в изгнании, давно отвергшему государственную политику и как способ организации социальной жизни, и как новую, гражданскую форму религии — «религии рабства». Они не смогли найти общего языка. «Я говорил ему, — вспоминал Чичерин свои долгие споры с Герценом, — о значении и целях государства, а он мне отвечал, что Людовик-Наполеон ссылает людей в Кайенну. Я говорил, что преступление должно быть наказано, а он отвечал, что решительно не понимает, каким образом учиненное зло может быть исправлено совершением другого такого же зла...»

Герцен, в свою очередь, рассказывая в «Былом и думах» об этих спорах, участники которых расходились «во всем», писал: «Он был почитатель французского демократического строя и имел нелюбовь к английской, не приведенной в порядок свободе. Он в императорстве видел воспитание народа и проповедовал сильное государство и ничтожность лица перед ним... Он был гувернементалист, считал правительство гораздо выше общества и его стремлений и принимал императрицу Екатерину II почти за идеал того, что надобно России...»

«Зачем вы хотите быть профессором и ищите кафедру? — с нескрываемой иронией обращался к своему молодому гостю хозяин лондонского дома и затем, переводя разговор в практическую плоскость, советовал: — Вы должны быть министром и искать портфель». А собеседник Герцена лишь удивлялся *неполитичности* его ума, равнодушного ко всем нюансам того, что как раз и составляло излюбленный предмет забот и размышлений Чичерина. Не скрывая любви к свободе и свободным учреждениям, он полагал, что свобода лица может существовать *лишь в государстве и в рамках закона*. Свобода не любит крайностей. Она является преимуществом умеренных правлений, где граждане более или менее обеспечены против злоупотреблений власти. Во всяком образе правления необходимы ограничения; как скоро они исчезают, так правление превращается в деспотию. Свои мысли по этому вопросу русский ученик Аристотеля и Монтескье старался доводить до сведения высших государственных чинов России.

Накануне поездки Чичерина к Герцену в Лондон у него состоялся примечательный диалог с ближайшим сподвижником великого князя Константина Николаевича виднейшим либеральным бюрократом А. В. Головниным. Речь зашла о планах государственных преобразований. На замечание Чичерина о недостатке людей, способных «не только быть орудиями, но и служить задержкою, если правительство пойдет по ложному пути», Головнин откликнулся предложением: «всякий раз, как проявляется дух независимости, давать награды». Оказавшись на берегах Темзы, Чичерин не преминул рассказать этот «анекдот» своему лондонскому собеседнику. Дружный смех до упаду растопил лед взаимного отчуждения страстного свободолюбца и убежденного государственника. К счастью для обоих, они были достаточно свободны и в *применении* своих воззрений на практике. «Сент-Жюст бюрократизма», как прозвал Чичерина Герцен, постоянно оказывался в неладах с реальным миром чиновничьей иерархии, а его «легкомысленный» собеседник, тщетно пытаясь избавиться от «политики», оставался подчас весьма трезвым политиком. Настаивая на освобождении крестьян с землею и отдавая предпочтение мирному пути, Герцен все же не ставил вопрос о средствах, ибо «в этом поэтический каприз истории — мешать ему не учтиво». Пришедшее вместе с годами испытаний и размышлений сознание бессилия разума обуздать «демоническое начало истории» породило в уме Герцена эту метафору — в ней не было ни капли политического цинизма. Но за философскими наблюдениями и поэтическими образами герценовской публицистики Чичерин увидел *допущение* «кровавой развязки».

«Право народа на восстание» никогда не было для Чичерина правом в собственном смысле слова. «Восстание может быть крайним прибежищем нужды; в революциях выражаются иногда исторические повороты жизни, но это всегда насилие, а не право». Так же, как и его лондонский оппонент, признавая закономерность революций «там, где господствует упорная охранительная система», и вместе с ним усматривая в этом «печальную необходимость», Чичерин решительно возражал Герцену в том, какой должна быть их *собственная роль* в развертывавшейся в России социальной драме.

Кто вы — «политический деятель, направляющий общество по разумному пути» или «артист, наблюдающий случайную игру событий?» — так ставил вопрос Чичерин, памятуя о том, что «поэтические капризы истории» всегда есть дело рук человеческих, и имея в виду «не только цель, но и средства». Для Чичерина существовал только один путь к свободе — через «возвышение права».

По прошествии нескольких лет участники этого теоретического спора пройдут «испытание мятежом». Правда, не русский мужик, а польский повстанец даст им такой шанс. Нравственный выбор Герцена в пользу борющейся за свободу страны означал политическую смерть его любимого детища: к «Колоколу» перестали прислушиваться в России. А сочувствовавший поработанной Польше Чичерин встал на сторону самодержавного правительства, проводящего реформы и подавляющего бунтовщиков.

Среди либеральных общественных деятелей пореформенного времени Б. Н. Чичерин стоял особняком, поскольку в новых условиях он был вынужден играть роль *консерватора* как по отношению к тем, кто, по его мнению, слишком забежал вперед, так и к тем, кто тянул Россию назад. В отстаивании незыблемости возведенного в 60-х годах фундамента отечественной гражданственности — суть политических воззрений Чичерина первых пореформенных лет. В палитре либеральных тонов и красок чичеринский склад ума отличался глубоким уважением к существующей власти и каким-то особенным высокомерием по отношению к «обществу», с присущими ему оппозиционными настроениями. Себя самого Борис Николаевич считал представителем «спокойного, серьезного и разумного либерализма», чуждого как духу «упорной рутины», так и «поиску уличной популярности».

Рисуя отдаленный идеал конституционной монархии, Чичерин находил в преобразованиях Александра II политический оптимум для России на достаточно долгий срок. «Русскому человеку, — полагал Борис Николаевич, — невозможно становиться на точку зрения западных либералов, которые дают свободе абсолютное значение и выставляют ее непременным условием всякого гражданского развития. Признать это значило бы отречься от всего своего прошедшего, отвергнуть очевидный и всеобъемлющий факт нашей истории, который доказывает яснее дня, что самодержавие может вести народ громадными шагами по пути гражданственности и просвещения». В то же время и дворянство, «сдержанное высшей властью», как верховным арбитром между сословиями, могло бы, по мнению Чичерина, сделаться «одним из самых полезных политических элементов в России». Стать «вместе с опорой престола и защитником свободы», ибо только оно обладает хоть «каким-нибудь сознанием своих прав» и образованием: «В нем одном есть зародыши политической жизни». Вместе с тем Чичерин подчеркивал опасность использования дворянством своих сословных прав в переходный период, когда на первый план выдвинулся вопрос о крепостном праве, в развязке которого «интересы помещиков прямо противоположны интересам крестьян». В связи с этим он выступал против введения даже законосовещательного представительства, предпочитая «честное самодержавие несостоятельному представительству».

Не скрывая своего презрения к «беснующемуся» общественному мнению, Чичерин был всегда чуток к тем откликам, которые вызывали в обществе его отношения с властью, опасаясь дать повод для подозрений в угодничестве и пресмыкательстве. Щепетильность Чичерина не позволила ему вскоре после окончания публичной полемики с Герценом сразу же принять почетное и перспективное предложение стать наставником царского первенца — великого князя Николая Александровича. Борис Николаевич ответил тогда вежливым отказом, не пожелав, чтобы его приглашение ко двору было воспринято как награда за отповедь, данную им лондонскому пропагандисту. Впрочем, выдержав необходимую паузу, он все-таки стал одним из преподавателей наследника с надеждой вырастить из него конституционного монарха.

Да и сама жизнь выступала тогда в роли своеобразной наставницы. Царский сын достигал шестнадцатилетия, страна вступала в реформационный период; чем взрослее становился наследник, тем быстрее шли преобразования. То было время самых смелых либеральных надежд: казалось, династия использует свой шанс! Обнаруживая в своем воспитаннике «милую обходительность», «непринужденную разумность», «широкое понимание вещей и отношений», «изумительное самосознание», а также «сочетание крепких и разумных религиозных убеждений с самой широкой терпимостью», Чичерин, увлекаясь своей учительской миссией, восклицал: «Ах, если бы он хорошенько поработал!» Но тут же возникало сомнение: «А впрочем, Бог знает. Человек работающий часто приобретает специальный взгляд, который в его положении может быть вреден. Россия вышла из той поры, когда все должно было направляться сверху.

Общество должно уже действовать само, лишь бы на вершине была разумная и просвещенная воля, сдерживающая и указывающая путь. В этом отношении я не могу представить себе ничего лучше Великого Князя». К несчастью, этот прообраз либеральной мечты слишком рано угас от неизлечимой болезни.

Начало недолгой (1861–1867) профессорской карьеры Чичерина совпало с так называемой «студенческой историей», разыгравшейся в столичных университетах осенью 1861 года. Не одобряя «мелочно-стеснительных» мер правительства в отношении прав студентов, Чичерин в то же время выступил против попыток студенчества играть какую-либо общественную роль, считая возможным для поддержания порядка в университете лишь «разбудить немного дремлющую власть». Являясь сторонником самой широкой свободы и автономии для университетов, он в то же время полагал, что государство не должно допустить превращения этих учебных заведений в «центры и орудия разрушительной пропаганды...».

Но, уже имея в оппозиционных кругах репутацию «охранителя», Борис Николаевич не сумел достигнуть взаимопонимания и с правительством. Сначала недоразумения возникли вследствие бестактного стремления Министерства народного просвещения поддержать консервативные призывы Чичерина административными средствами. Вступительная лекция, прочитанная Борисом Николаевичем перед началом курса в Московском университете и появившаяся в печати, настолько понравилась властям, что цензорам было дано указание не пропускать полемические выпады против лекции профессора, ценимого правительством. В ответ на такое неуклюжее обхождение Чичерин, справедливо полагая, что он вовсе не обыкновенный чиновник, исполняющий приказания начальства и нуждающийся в его защите, обратился к министру с просьбой снять с него «клеймо», оскорбительное для чести независимого автора.

Через несколько лет после студенческих волнений внутри коллегии московских профессоров вспыхнул конфликт, осложненный вмешательством министерской власти, не посчитавшейся с решением ученого совета и, по убеждению Чичерина, нарушившей установленный законом порядок. «Где есть беззаконие, там должен быть и протест. Он может быть практически бесполезен, но он всегда нравственно необходим. Это не только право, но и обязанность каждого члена коллегии, обязанность, от исполнения которой зависит прочное утверждение законного порядка в русском обществе» — так Борис Николаевич объяснил мотивы своего участия в этом переросшем свои первоначальные рамки конфликте. Единственным выходом из этой скользкой ситуации для Чичерина было уйти в отставку. Покидая университет навсегда, он решает перебраться в деревню. Там, в спокойной, несуетной обстановке провинциального помещичьего быта, он продолжает много и увлеченно размышлять о ходе внутренних и международных событий, создавать научные трактаты, пробовать свои силы в политической публицистике, участвовать в земской деятельности, мечтать о новой политической роли.

Уже к исходу первого пореформенного двадцатилетия в традиционных размышлениях Чичерина о соотношении идеального и осуществимого на практике в той или иной стране возникает новый мотив. Необходимо все-таки постепенно приобщать и приучать общество к участию в государственных делах. Отсюда и желательность представительства законосовещательного типа как подготовительной меры. Меры, против которой Чичерин решительно возражал еще в 1866 году, считая ее бесполезной и даже вредной, поскольку, дескать, выйдет одно «собрание обличителей», не обремененных никакой ответственностью. Теперь же Чичерин рассуждает иначе, подчеркивая и обратное воздействие представительного учреждения на формирование основ гражданского общества. «Парламент, — пишет он, — нужен еще более для политического воспитания народа, нежели для государственного управления».

Но события в России на рубеже 1870–1880-х годов развивались очень быстрыми темпами. Сразу после убийства Александра II народовольцами 1 марта 1881 года Чичерин составляет записку «Задачи нового царствования», в которой, анализируя корни «зла», находит их «в самом состоянии русского общества и в быстроте, с которою совершились в нем преобразования». В связи с этим на первый план, с точки зрения Чичерина, снова выступают охранительные задачи. Вопрос состоял в том, *как, какими путями и способами* следует укреплять в стране власть и порядок? О конституции в полном смысле этого слова Чичерин и прежде речи не вел. Свободу печати (точнее говоря, широкую гласность) — лозунг, поддерживавшийся всей либеральной печатью вместе с идеей введения представительства, — Чичерин «лекарством» тоже отнюдь не считал. «Свобода печати, главным образом, периодической, которая одна имеет политическое значение, необходима там, где есть политическая жизнь; без последней она превращается в пустую болтовню, которая умственно развращает общество», — писал он.

Если «свобода необходима для научных исследований — без этого нет умственного развития», то периодическая печать, по мнению Чичерина, требовала «сдержки, а не простора». Первые две трети текста записки «вполне» одобрил К. П. Победоносцев, которому Чичерин ее и послал. Но у записки была концовка, выдержанная уже в ином духе. С нигилизмом одними внешними средствами правительство не справится, утверждал Чичерин. «Нужна нравственная поддержка народа, не та, которая дается официальными адресами, а та, которую может дать только живое общение с представителями земли... Надобно создать орган, в котором могли бы вырабатываться общественная мысль и общественная воля... Эта цель может быть достигнута приобщением выборных от дворянства и земства к Государственному совету...»

Но вместо подобия «народного представительства» Россия получила «народное самодержавие» Александра III. Наиболее вероятными последствиями избранного курса Чичерин уже в самом начале 1880-х годов назвал «войну, банкротство и затем конституцию, дарованную совершенно не приготовленному к ней обществу».

Еще одна попытка Чичерина повлиять на формирование политики самодержавия была связана с его деятельностью на посту московского городского головы. В мае 1883 года во время коронационных торжеств в Москве он произнес речь, в которой правительству для борьбы против террора рекомендовалось содействие самостоятельных и организованных во всероссийском масштабе общественных сил. Прямым следствием этой речи и публикации ее в заграничной печати стала новая отставка Чичерина. «Самое худшее, — писал по поводу происшедшего Чичерин в частном письме, — заключается в том, что это триумф для всех врагов правительства. Вот вам городской голова (скажут они), который открыто заявляет о том, что он консерватор и что готов идти рука об руку с властью; но не проходит и двух лет, как его отправляют в отставку. Нет более очевидного доказательства того, что эта ситуация просто невыносима для любого мало-мальски независимого человека... Если при этом воображают, что подобным образом действий удастся произвести на свет что-нибудь иное кроме рассадника Желябовых и Рысаковых (убийц царя. — С. С.), то это лишь странное заблуждение».

Свою последнюю обобщающую работу, имевшую открыто политическое звучание, Чичерин был вынужден издать за границей под псевдонимом «Русский патриот», дав ей название «Россия накануне двадцатого столетия». Ведя речь об утверждении в народе «начал свободы и права», он видел основные пороки и опасности русской жизни, с одной стороны, в бюрократическом управлении и произвольной власти монарха, а с другой — в социалистической пропаганде и практике леворадикальных действий.

В связи с бытующими ныне представлениями о российском консерватизме конца позапрошлого века, особый интерес представляет непримиримая критика Чичериным тогдашнего правительственного курса с позиций того нового консерватизма,

отправной точкой для развития которого в России стали, по его мнению, реформы 1860–1870-х годов. Признавая закономерность правительственной и общественной реакции на революционную деятельность и убийство императора, Чичерин отказывался видеть в политике, возобладавшей затем, консервативное содержание. На его взгляд, скорее происходила ломка созданных реформами институтов, понятий и прав — политика не менее опасная и деструктивная, чем то, чему она должна была противостоять.

Чичерин скончался 3 февраля 1904 года в имении Караул Кирсановского уезда Тамбовской губернии, словно не пожелав своими глазами увидеть то, что им было давно предсказано для российской власти: «войну, банкротство и затем конституцию, дарованную совершенно не подготовленному к ней обществу»...

Чичерин был человеком, безусловные либеральные устремления которого сочетались с идеологическим преклонением перед самодержавным государством, вступившим на путь реформ. В его политической судьбе наглядно проявились все минусы доктринального оптимизма. Родовитый русский дворянин, всей душой стремившийся стать первородным российским гражданином, Чичерин видел в таком превращении естественный результат развития права из привилегий. Но все его усилия вывести из сословных преимуществ нечто более широкое и значительное разбивались об лед непонимания со стороны правительства, не желавшего признавать за собой обязанности соблюдать им же изданные законы и право других отстаивать эти законы вопреки произволу власти. Апологет реформаторства 60-х годов, не пошедший рука об руку с пореформенным самодержавием; философ, своей жизнью не сумевший подтвердить чрезмерно оптимистичной концепции происхождения российской свободы, основанной на синтезе гегельянства и московско-петербургской политической традиции, — таков был Чичерин. Как ученый, мыслитель и публицист, он оставил заметный след в отечественной истории. Но как *политик* — либерал и консерватор в одном лице — он просто не мог себя реализовать.

Вспоминая на склоне лет и на исходе века о своих «мечтах и надеждах, связанных с благоденствием и славою Отечества» еще в пору наставничества при первом наследнике царя-реформатора, Чичерин писал: «Россия рисковала иметь образованного Государя с возвышенными стремлениями, способного понять ее потребности и привлечь к себе сердца благороднейших ее сынов. Провидение решило иначе. Может быть, нужно было, чтобы русский народ привыкал надеяться только на самого себя...»

АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ ГРАДОВСКИЙ:
*«Самоуправление требует
искреннего обращения к земле,
к истинному труду и к народу...»*

АНДРЕЙ МЕДУШЕВСКИЙ

А. Д. Градовский (1841–1889) родился в семье помещика Валуйского уезда Воронежской губернии. Дома он получил хорошее начальное образование, продолженное в частных пансионах и гимназии. В 1858 году поступил на юридический факультет Императорского Харьковского университета. Из преподавателей наибольшее влияние на него оказал профессор международного права и государственного права европейских держав Д. И. Каченовский. «Вообще, — писал Александр брату в 1861 году, — я намерен посвятить свою жизнь науке и поэтому решительно не хлопочу о своей будущности; был бы кусок хлеба и только».

Окончив университет, Градовский работал редактором газеты «Харьковские губернские ведомости», а также чиновником по особым поручениям при харьковском и воронежском губернаторах. Это дало ему определенный практический опыт, тем более интересный, что наступила эпоха Великих реформ. Переехав в 1865 году в Петербург, он становится доцентом правоведения; в 1867-м — экстраординарным профессором, а в 1869-м — ординарным профессором по кафедре государственного права Санкт-Петербургского университета. Одновременно преподает государственное право в Александровском лицее и блестяще защищает диссертации: магистерскую («Высшая администрация в России XVIII века и генерал-прокуроры», 1866) и докторскую («История местного управления в России», 1868).

Теоретические воззрения ученого складывались под влиянием немецкого гегельянства и споров между славянофилами и западниками; исследователи относят его идеи к «либеральному славянофильству». Но в конечном счете Градовский, человек энциклопедически образованный и обладающий практическим опытом (в период либеральных реформ 1860-х он много работал экспертом правительства), стоял на позициях академической науки, не принимая крайних взглядов. И в то же время — в отличие от позитивистов — он полагал, что явления общественной жизни следует не только констатировать, но и оценивать с точки зрения идеала и этот идеал должен иметь конструктивный характер. Научное творчество ученого и его общественная позиция находились в полной гармонии между собой и составляли, по словам его ученика Н. М. Коркунова, «одно стройное целое... словно с самого начала он составил себе определенный план работы на всю жизнь». Цельность идей отразилась в блестящих лекционных курсах по теории государственного права, государственному праву европейских государств и Российской империи.

Политическая философия Градовского определялась преимущественным влиянием западного либерализма и российской государственной (юридической) школы, одним из ведущих представителей которой он стал. Испытав поначалу мощное влияние Гегеля, он принял основные выводы его политического учения — об отношении гражданского общества и государства, конституции, свободе как истинной цели раз-

вития. Профессор-правовед внимательно изучал политическую литературу своего времени, посвятил ряд очерков основным идеологиям — консерватизму, либерализму и социализму, анализировал социологические построения Конта и Спенсера. Но основное влияние оказали на него произведения либеральных мыслителей: Д. С. Милля, Б. Констана, И. Тэна, классическая немецкая и английская правовая литература. Об этом ярко свидетельствуют такие труды Градовского, как «Политические теории XIX столетия», «Что такое консерватизм?», «Социализм на Западе Европы и в России», «Между Робеспьером и Бонапартом». Их общее содержание: поиск среднего пути между консерваторами и революционерами, деспотизмом и террором; критика социализма и коммунизма; обоснование реформационной стратегии в решении социального вопроса; концепция правового государства; правовой путь политических преобразований; смысл понятий свободы, прогресса, воли, цели и долга у интеллигенции.

А. Д. Градовский начинал научную и педагогическую деятельность в тот период развития европейской науки, когда метафизические философские теории общества (связанные с философией Гегеля) начали сменяться эволюционистскими доктринами; перед учеными стояла задача выведения законов социального развития из анализа исторических данных разных народов. Это были теории К. Маркса, О. Конта, Г. Спенсера, исторической школы права в Германии — своеобразным аналогом которой становилась государственная (юридическая) школа в России. Если старшее поколение ее представителей (С. М. Соловьев, К. Д. Кавелин, Б. Н. Чичерин) сформулировало общие принципы этого учения, то Градовскому принадлежит определяющая роль в систематизации сравнительного юридического материала. Социологический в основе своей подход к праву и государству позволил ему рассмотреть социальные институты и учреждения как конкретно-исторические проявления отношений собственности, власти и личности.

Этот подход прослеживается в ряде монографий Градовского, посвященных истории центрального и местного управления. Рассматривая в духе государственной школы государство (а точнее — правовое государство) как орудие социального прогресса, как силу, регулирующую отношения в обществе, исследователь вводит в то же время особый и очень важный момент в учение о государстве. Он пишет, что для органического учения о государстве и сходных с ним организаций «необходимо понятие интереса». Иначе говоря, из области идеального воззрения он делал важный шаг к пониманию реальной природы социальных отношений, т.е. социальных интересов. Градовский следовал здесь, судя по всему, за крупным австро-германским юристом Лоренцем Штейном. Тот, исходя из гегелевской философии права, именно таким образом интерпретировал историю социалистических доктрин и классовых противоречий эпохи французских революций.

Принадлежа государственной (юридической) школе, Градовский разделял идеи Б. Н. Чичерина, К. Д. Кавелина, С. М. Соловьева относительно роли государства в русском историческом процессе. Как и другие представители этого направления, он придавал большое значение «географическому фактору», освоению новых земель на Востоке и Севере, а позднее в Поволжье и Сибири; он говорил даже о «страсти к передвижению». Новое здесь — интерес исследователя к взаимодействию территории и хозяйства, землевладения и землепользования, с чем он связывал проблему формирования сословий. Сопоставление российской поместной системы и служилого государства с западным феодализмом привело к выводу о специфике российского развития.

Отсюда — особое внимание к правовому статусу землевладения в России. Градовский подчеркивает оригинальность модели служилого государства, в котором практически все сословия объединены «тяглом» — служилой функцией по отношению к го-

сударству. Правовой статус поместья непосредственно связан с функцией несения государственной военной службы, но и наследственное владение (вотчина) далеко отстоит от представлений о собственности на землю, поскольку также связано определенными правовыми ограничениями. Обращение к истории права и хозяйства, характерное для Градовского, стало в его работе одним из важных способов понимания перспективы русского гражданского общества.

Механизм перестройки социальных отношений — закрепощения и раскрепощения сословий государством — в новое время должен быть использован для формирования гражданского общества. В связи с этим анализу подвергались особенности российского служилого государства: создание единой и чрезвычайно монолитной системы сословных отношений, отсутствие независимого от власти привилегированного слоя аристократии, фактическое слияние дворянства и бюрократии. Именно этим темам посвящены две диссертации Градовского. В центре внимания первой, «Высшая администрация в России XVIII века и генерал-прокуроры», находится конфликт рационального бюрократического начала (рациональный принцип административного устройства) и личного начала (приказная система поручений и генерал-прокуроры), имевший место в ходе административных реформ Петра Великого. «История местного управления в России» являет собой попытку реконструкции основных институтов Российского государства и способов их функционирования. В основе этого труда — анализ правовых норм и их социологическая интерпретация. С позиций государственной школы автор анализирует факторы, определявшие формирование российской системы административного управления. Речь идет о колонизации и попытке центральной власти установить контроль над ней; о соотношении периферии (окраин) и центра обширного государства; о способах интеграции этой системы в единое целое (закрепощение сословий государством); об условном характере земельной собственности и зависимом положении служилого класса; о механизмах обеспечения ее рационального функционирования (поместная система); об особенностях управления в служилом государстве. Раскрытие этих общих социальных факторов позволило не только объяснить формирование российской модели местного управления и показать связь ее реформ в новое время с процессом социальных преобразований, но и сформулировать некоторые прогностические рекомендации. Развитая система местных общественных учреждений выступала в этой перспективе альтернативой сверхцентрализации абсолютистской эпохи и могла послужить в будущем «гарантией повсеместного и прочного господства закона».

В отличие от сословий на Западе, как полагал вслед за Б. Н. Чичериным Градовский, русские сословия представляли собой не результат «органического развития», но результат политики правительства, направленной на обеспечение тяглых функций населения. Из потребности обеспечить выполнение государственных податей и повинностей, с одной стороны, и службы — с другой, и возникло, согласно концепции Градовского, крепостное право. Поскольку для государственной школы проблема крепостного права являлась главным вопросом времени, каждый крупный специалист стремился обосновать свою точку зрения. Соловьев, Чичерин, Кавелин исходили при этом из зависимости закрепощения крестьянства главным образом от географических условий: в крепостном праве они видели средство предотвратить безудержное рассредоточение населения, собрать его воедино и подчинить интересам служилого государства.

Градовский, принимая в целом этот взгляд, вносит существенное дополнение: крепостное право — средство предотвращения обезземеливания крестьянства. Согласно его концепции, обезземеливание крестьян в XVI–XVII веках было в полном разгаре и вело в перспективе к превращению крестьян в холопов. Процесс этот носил объективный характер (так как земли представляли все большую ценность для владельцев)

и поэтому не мог быть остановлен законодательными мерами. Следовательно, решение государства о введении крепостного права исторически оправданно и единственно возможно: оно «сохранило по крайней мере человеческую личность, сделало крестьян частью земли, но не домашней вещью владельца, и эта мера, несмотря на все ее грустные стороны, дала впоследствии возможность освободить крестьян с землею, которую они столько столетий обливали своим потом и слезами».

А. Д. Градовский принимал активное участие в общественной жизни периода конституционных дебатов — характерны в этом смысле его выступления в газете «Голос» А. А. Краевского; особое внимание он уделял вопросам свободы печати от цензурных ограничений. Многие его публицистические статьи посвящены внешней политике, особенно проблеме национального самоопределения. В отношении Русско-турецкой войны Градовский поддерживал славянофилов. Национальное освобождение Болгарии он связывал с ее конституционным самоопределением. И, наряду с администраторами и общественными деятелями этой страны, а также с другими русскими юристами, участвовал в разработке проекта конституции Болгарии (1879), стремясь, в частности, более последовательно провести принцип разделения властей в политической системе, которая представляла собой конституционную монархию. Важное направление его исследований — взаимосвязь национальных движений с формированием независимых государств: процесс, набиравший силу в Европе 1870-х годов. Сюда следует отнести работы, посвященные объединению Италии и Германии, восстанию в Герцеговине и Русско-турецкой войне, польскому вопросу, славянскому единению.

Переход России к гражданскому обществу Градовский связывал с деятельностью государства. В центре его внимания — проблемы перехода от институтов абсолютизма к правовому государству и гражданскому обществу в духе консервативных идей германской правовой традиции. Для ученого характерна связь политических идей, исследований в области науки государственного права — и стремления расширить правовые представления общества. Связь действующего права и политики с просвещением должна, по его убеждению, создать личность «русского гражданина»; сильную монархическую власть необходимо совместить с гарантированными фундаментальными правами.

Градовского следует признать одним из основателей российской школы сравнительного конституционного права. Он видел в западных конституционных идеях определенный образец прогрессивного развития и посвятил этой теме ряд исследований. В разработанном им курсе «Государственное право важнейших европейских держав» (впервые опубликованном в 1886 году) исследуется переход от абсолютизма к конституционному строю на примере Великобритании, США, Франции, Италии, Испании, Скандинавских и Балканских стран, даже некоторых государств Латинской Америки (Мексика). Этот переход автор описывает как процесс объективный. Важнейшими параметрами «нового государственного порядка» признаются: принятие конституционного акта, определяющего полномочия государственной власти и их границы; провозглашение и обеспечение личных прав, которые не могут подвергнуться произвольному нарушению со стороны государственной власти; распределение отдельных функций власти между различными органами, способными сдерживать друг друга и тем обеспечивать законность и свободу; участие народа в отправлении законодательной, судебной и отчасти административной власти. Это целостная программа преобразований, необходимых для «обеспечения общественных интересов и контроля над действиями властей правительственных». Становление конституционализма в Германии для российской правовой мысли и политической практики представлялась ученому особенно интересным — ввиду аналогий с Россией. Ему посвящено специальное исследование «Германская конституция» (1875–1876).

Градовский изучал те составляющие русской общественной жизни, в которых видел действенные механизмы для модернизации; одним из первых занялся проблемами высшей администрации и систем местного управления в России. В условиях реформ и контрреформ, которых он стал свидетелем, исследователь представил сравнительно-правовой и социологический анализ потенциала бюрократии: для осуществления реформ, с одной стороны, и контрреформ — с другой.

А. Д. Градовский был сторонником эволюционного развития, в определенной мере даже консервативным либералом, и считал, что резкие изменения могут привести к дестабилизации государства и общества. Отсюда — его осуждение революционных доктрин и их российских адептов. Причина популярности социалистических идей в пореформенной России усматривалась им в низкой культуре населения, наивности и максимализме интеллигенции: реформа 1861 года освободила крестьян, прозябавших на уровне животных, но не дала учителей, школы, чтобы воспитать их для гражданской жизни.

Известен его призыв к молодежи отказаться от хождения в народ: «Нет, не будить зверя, а выгнать его, чтоб дать место человеку: не продолжать деморализацию общества, разжигая и поощряя животные инстинкты, а морализировать его — такова задача, налагаемая на вас Россией и действительными пользами русского народа». Преодоление отсталости Градовский связывал с продолжением реформ и культурной работой интеллигенции. Понятна его теоретическая роль в разработке земского движения, в частности основополагающая концепция «мелкой земской единицы». Суть концепции состоит в движении к гражданскому обществу через общесословные земские выборы на региональном уровне, которые постепенно вовлекут широкие народные массы в конструктивную государственную работу (механизм описан в работе «Крестьянские выборы в гласные уездных земских собраний»).

«Начала русского государственного права» стали не просто первым обобщающим курсом на данную тему. По словам Коркунова, в этом, главном для автора труде «все вообще вопросы русского государственного права изложены Градовским с такою полнотой и обстоятельностью, какой нельзя найти ни в каком другом сочинении». Это, «бесспорно, лучший и самый обстоятельный курс русского государственного права», фундаментальный вклад в исследование его теории, истории и практики. Последующие работы других специалистов (в частности, самого Коркунова) опирались на эту книгу как на отправной пункт всех дискуссий. В центре внимания — проблема «определения существа неограниченной монархии как юридической формы государства». Градовский подробно раскрывает отличия российского самодержавия как от конституционной монархии, так и от деспотических государств (самодержавие имеет неограниченный характер, но при этом верховная власть действует на основании закона). Констатация этого положения позволяла ставить сакраментальные вопросы о критериях законности решений власти, о соотношении собственно законов (актов, составленных и утвержденных в соответствии с определенной процедурой) и распоряжений императора, принимаемых им в виде указов и высочайших повелений (фиксированных в письменной форме или отдаваемых устно). (Проблема соотношения закона и указа в российском праве стала затем предметом специального исследования его ученика Н. М. Коркунова.)

В «Началах русского государственного права» рассмотрена также деятельность высших государственных учреждений — Сената, Государственного совета, которые разрабатывали и принимали законы перед их утверждением монархом. Развитие российской государственности предстает перед читателем в виде последовательного движения от абсолютизма к правовому государству, при котором указное право постепенно вытесняется законом.

Этот труд стал прекрасным теоретическим выражением идей либеральных реформ Александра II. В основе подхода лежит концепция отношений общества и государства в России, разработанная государственной школой и получившая у Градовского четкое выражение. Она раскрывает специфику российского сословного строя (по сравнению с западным), показывает роль государства в формировании сословных отношений, рассматривает административные реформы как инструмент модернизации традиционных социальных отношений. Если на Западе бюрократия формировалась из среднего класса и вступала в союз с королевской властью против феодализма, то в России «дворянство само сделалось бюрократией». Бюрократия определена как «особый организм должностей, даже особый класс лиц, резко выделенный из остального общества и связанный исключительно с центральной властью».

А. Д. Градовский выступал за переход от государства «механического» к государству «органическому», от централизации (свойственной абсолютистским системам периода их формирования) — к децентрализации, от полицейского государства (с жесткой системой вертикального контроля и административного подавления) — к самоуправлению (суть которого состоит в передаче административных обязанностей самому населению). Эти тенденции представлены Великой реформой 1861 года, которая (несмотря на объективно компромиссный характер) внесла в управление начало «всословности», заложила основы преобразования судебных и хозяйственных учреждений. Градовский констатировал переходный характер российской ситуации: «Мы стоим на распутье. Возвращение к старому порядку невозможно; новый порядок не установился, даже пути к достижению его не избраны». Выход он, как и К. Д. Кавелин, видел не в одних только политических реформах (связанных с немедленным переходом к конституционной монархии). Важнейшее условие, по его мнению, — развитие самоуправления как основного инструмента вытеснения бюрократии из этой сферы. (В том числе, выдвигалась идея губернской реформы: ослабление власти губернатора за счет местного земского самоуправления.) «Самоуправление требует великого общественного покаяния, искреннего обращения к земле, к истинному труду и к народу. Настанет ли это великое время? Можем сказать евангельскими словами: „верую Господи — помоги моему неверию“».

Идеи Градовского оказали влияние на русский либерализм и земско-конституционное движение, в частности на взгляды Н. М. Коркунова. Оба они считали, что в России невозможна непосредственная рецепция западных конституционных норм, так как здесь отсутствуют соответствующие социальные институты. Пристальное внимание к институтам управления, характерным для российской реальности, объясняется тем, что ученый акцентировал внимание на тех механизмах, которые способны были реформировать эту реальность, способствуя эволюционному типу правовой и политической модернизации. Отсюда его интерес к деятельности высших учреждений, а также к проблемам цензуры и гласности, ко всем формам земского движения и самоуправления.

Когда после 1881 года наступила эпоха контрреформ, правовед открыто примкнул к оппозиционному лагерю. Однако с запретом «Голоса» активную публицистическую деятельность пришлось прекратить. Биограф Градовского Б. Б. Глинский написал о последних годах его жизни: новые реалии «были губительны его сердцу, страдавшему пороком... развивалась все сильнее и сильнее сердечная болезнь, которая и свела его наконец в могилу».

Александр Дмитриевич Градовский скончался в Санкт-Петербурге 6 ноября 1889 года, не дожив до сорока семи лет.

КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ РОМАНОВ: «Обратиться к России, чтобы она сама собой правила...»

ТАТЬЯНА АНТОНОВА

26 ноября 1846 года в Большой церкви Зимнего дворца девятнадцатилетний великий князь Константин Николаевич (1827–1892), второй сын царствующего императора Николая I, принял воинскую присягу и принес торжественный обет «служить за Веру, Царя и Отечество всеми силами души и сердца, не щадя живота своего и даже последней капли крови». В первый день своего совершеннолетия молодой князь чувствовал себя вполне подготовленным к испытаниям судьбы и своему главному предназначению — управлению морским ведомством империи. К моменту присяги он имел звание генерал-адмирала и освоил все премудрости мореплавания, которым обучали его Ф. П. Литке, участник полярных экспедиций и кругосветного плавания в команде В. М. Головнина, а также капитан-лейтенанты А. Озеров и Ф. Лутковский.

Ф. П. Литке воспитывал великого князя с 1832 года и всегда оставался для него непререкаемым авторитетом. Спустя много лет Константин Николаевич так оценил влияние Литке на становление собственной личности: «Помимо всех его достоинств и ученой знаменитости, преобладающая черта характера его была постоянная прямота и честность в исполнении своего долга. Целые полвека мы с ним были связаны дружбою, и я ему был обязан всем тем, что я есмь, что из меня вышло... Он меня поставил на ноги».

Много сделал для становления Константина Николаевича поэт В. А. Жуковский, который не только раскрывал перед ним общие истины, но и учил его искать гуманный смысл в высокой политике: «В наше время нужны не дела славы, озаряющие только немногих избранных, а дела благодетельные для всех и каждого». Всегда помнил Константин и строгие наставления отца, императора Николая Павловича, утверждавшего, что великие князья «созданы для серьезной, даже для черной работы, а не для снимания сливок...»

Первым серьезным делом великого князя стала подготовка проекта Морских уставов, которая продолжалась ни много ни мало десять лет (1850–1860-е годы). Его помощником был назначен чиновник особых поручений Министерства внутренних дел коллежский секретарь А. В. Головнин, сын известного мореплавателя В. М. Головнина. С этого момента началась их многолетняя крепкая дружба. Старший по возрасту и более опытный в канцелярских делах, Головнин оказался не только его верным соратником, но и «вдохновителем» многих реформаторских инициатив. Современники считали, что Головнин сделался при его высочестве «чем-то вроде первого министра» и без него «великий князь, генерал-адмирал, не был бы тем, что он есть, не играл бы своей роли». В морской реформе особая роль Константина Николаевича проявилась в способности определить ее стратегию, руководствуясь не узко бюрократическими интересами, а реальными потребностями страны и достижениями науки мореплавания.

Наведение порядка в Морском министерстве великий князь начал с отказа от канцелярской парадности и бумажной отчетности, которые прятали истинное положение дел. «Взгляните на годовые отчеты, — советовал великий князь чиновникам своего ведомства, — везде сделано все возможное, везде приобретены успехи... Взгляните на дело, всмотритесь в него, отделите сущность от бумаги, то, что есть, от того, что кажется, правду от неправды, и редко, где окажется прочная, плодотворная польза. Сверху блеск, внизу гниль...»

В ломке старого великий князь опирался на офицерский корпус флотов, считая полезной «децентрализацию» системы его управления. Поэтому и проект Морского устава разрабатывался по новому сценарию, гласно и публично. Первоначальный его вариант рассылался «по всему морскому миру», офицерам Балтийского и Черноморского флотов, и переделывался по их отзывам и замечаниям. В его принципах был учтен законодательный опыт морских стран Европы. Головнин свидетельствовал, что великий князь «приказывал составить подробные обозрения всех прежних узаконений» для сравнения с «постановлениями иностранными».

Местом, где великий князь и Головнин наиболее плодотворно работали над проектом морской реформы, стала Венеция. Бывало, в редкие перерывы между поездками «по всем европейским дворам» великий князь начинал грустить по «тихой, спокойной и рабочей жизни» в Венеции. «Этак таскаться и ничего не делать ужасно скучно. Скоро ли мы опять с тобой засядем за работу?» — писал он Головнину в апреле 1852 года.

Помимо правовых аспектов морской реформы, усилия Константина Николаевича были направлены на техническое переоснащение отечественного флота. Для этой цели тщательно изучались им «образчики» европейского кораблестроения. Во время своего пребывания во Франции в апреле 1857 года он с пристрастием осматривал адмиралтейство, поражаясь «колоссальности» размеров фрегата «Императрица Евгения» с двигателем в 800 сил для обеспечения хода в 12 узлов, заводом «с огромными станками, который составлял огромную экономию рук и работы». В чертежном отделе его внимание привлекли «детальные планы» новых кораблей. Из этих посещений он старался извлечь «во всех подробностях» все, что только может быть полезно дома, «все, что пойдет нам впрок».

Вскоре после подписания Парижского трактата (1856) и по мере накопления финансовых ресурсов началась модернизация российского флота. Стартовой площадкой новых военных кораблей-броненосцев, оснащенных паровым двигателем, стали гавани Балтики — Петербург, Кронштадт, Стрельна, Охта. В конце 1858 года великий князь с гордостью докладывал брату-императору о фрегате «Светлана», «которым любой флот мог бы гордиться»: «Он будет носить сплошную шестидесятифунтовую артиллерию и ходит по двенадцать узлов». С азартной увлеченностью вел он будничные дела большого корабельного хозяйства, в течение дня успевая побывать на пороховом и пильном заводах, в адмиралтейских мастерских, в доках, посмотреть на переоборудование старых шлюпочных сараев, поговорить о купленных за границей «винтах и машинах» и проконтролировать, как идет их установка на стоящих под кранами судах. «В восемь утра отправился в Кронштадт, — записал Константин Николаевич в дневнике 22 марта 1860 года. — Приехавши, отправился прямо на Пороховой завод. Котлы „Гремящего“ шибко подвигаются вперед. В кузнице видел сварку второй пушки, а в токарной — сверление первой. Обошел все мастерские завода, везде большая деятельность...»

Таким ритмом достигалось многое, но не все из задуманного в морской реформе ему удалось осуществить. Ощутимым его поражением стала кадровая политика. Великому князю «не хватило поддержки» для изменения порядка выдвижения на долж-

ность по личным качествам, «не стесняясь чинами». Головнин объяснял этот неуспех тем, что противники его идеи «видели в уничтожении чинов меру демократическую, которая стремилась ко введению между людьми равенства...».

Участие великого князя Константина Николаевича в государственных делах не ограничивалось морским ведомством. В царствование брата, императора Александра II (1855–1881), он занимал посты, делавшие его одной из ключевых фигур российской политики. С 1857 года он был членом Секретного (затем Главного) комитета по крестьянскому делу (с 1860 года — его председателем); членом Финансового и Сибирского комитетов; с 1861 по 1864 год — наместником в Царстве Польском; с 1865 по 1881 год — председателем Государственного совета.

Именно единомышленники великого князя — «константиновцы» — обеспечили реализацию императором курса либеральных реформ. Помимо А. В. Головнина, возглавившего с 1861 года Министерство народного просвещения, его ближайшими сподвижниками были министр финансов М. Х. Рейтерн, военный министр Д. А. Милютин и другие.

«Константиновцы» имели в некотором смысле свой печатный орган — «Морской сборник», издававшийся с 1848 года на средства Морского министерства. Добившись освобождения журнала от контроля общей цензуры, великий князь превратил его в общественную трибуну, где на рубеже 1850–1860-х годов, помимо морской реформы, широко обсуждались преобразования в других сферах государственного управления.

Со второй половины 1850-х годов центральным вопросом внутренней политики стала подготовка отмены крепостного права. Активной поддержкой идеи освобождения крестьян великий князь обеспечил себе репутацию главы «либеральной партии», «партии красных» в окружении императора. Сразу же вступил он в противоборство с председателем Секретного комитета князем А. Ф. Орловым, пытавшимся завести реформу в тупик и даже упразднить Комитет. Константин Николаевич отстаивал вариант освобождения крестьян с передачей им земли в собственность, но с сохранением общинного начала там, где этому способствовали местные условия. В тот момент такая позиция опережала готовность императора согласиться на освобождение крестьян с землей и вызывала ненависть крепостников.

Влияние великого князя на ход крестьянской реформы значительно усилилось после назначения его председателем Главного крестьянского комитета. Но этому событию предшествовала описанная А. В. Головинным ситуация серьезного психологического кризиса. В течение лета 1860 года, рассказывал Головнин, он каждую неделю сообщал великому князю сведения, собираемые им в поездке по внутренним губерниям. Туда он отправился с согласия его высочества для изучения мнения о предстоящей реформе широкого круга лиц — губернаторов, предводителей дворянства, помещиков и крепостных крестьян. Главный результат наблюдений Головнина сводился к мысли о необходимости ускоренного завершения начатого дела, о невозможности откладывать его еще на несколько лет. По возвращении Головнин нашел великого князя в Павловске в «странном расположении духа», которое его крайне огорчило и в котором он увидел влияние людей, «не любящих Россию».

В разговоре с Головинным Константин Николаевич сказал тогда, что не хочет заниматься этим делом, которое требует специальных знаний, признает себя только моряком, а занятия крестьянским вопросом его отвлекут от флота, что он желает отправиться на «нашу эскадру», находящуюся тогда у берегов Сирии. Он даже намеревался просить государя уволить его от участия в Главном комитете.

Головнин «с ужасом и горестью» воспринял попытку демарша великого князя. Он полагал, что тому виною доктор Гауровиц и супруга Константина Николаевича, великая княгиня Александра Иосифовна, желавшие отплыть в свите великого князя за

границу исходя из своих личных целей и эгоистичных расчетов — крестьянская реформа мало их интересовала. Жена Константина Николаевича, «находясь под влиянием людей крайне ограниченных, из консерваторов, желала удалить великого князя от так называемых красных, которые составляли крестьянское положение». Отстранив его от всякого участия в крестьянском деле, великая княгиня не хотела его ссорить окончательно с русским дворянством, «которое враждебно смотрело на все это», — констатировал Головнин. Сам же великий князь, по свидетельству биографа, часто соглашался с их доводами из-за «природной скромности».

В конце концов душевные колебания и скепсис великого князя были преодолены. С 10 октября 1861 года начались почти ежедневные заседания Главного комитета, куда уже поступил разработанный Редакционными комиссиями Заключительный проект крестьянской реформы. Эти заседания продолжались до января 1861 года и проходили в жарких спорах, взаимных колкостях между сторонниками и противниками реформы.

Нередко присутствовавший на заседаниях Комитета император Александр II не выходил, по выражению Головнина, «из системы молчания», допуская полную свободу прений. Тем весомее было слово великого князя в поддержку введения института мировых съездов, чтобы оградить интересы крестьянства против «преобладающего влияния дворянства, их корыстолюбия». Константин Николаевич умело сдерживал полемический задор генерала М. Н. Муравьева и князя В. А. Долгорукова, стремившихся убедить царя в необходимости уменьшить земельные наделы крестьян и увеличить их повинности. Уже к ноябрю он вполне овладел искусством сдерживания своих оппонентов и «не допускал споров пустых», затягивающих дело. Поэтому работа Комитета под председательством его высочества была завершена менее чем за полгода. 19 февраля 1861 года Александр II подписал Манифест об освобождении крестьян.

Однако противники этой великой исторической развязки материализовали свое затаенное недовольство в «ненависти, клевете и злобе» по отношению к брату царя. Головнин считал, что результатом интриг «ретроградной партии» стало последовавшее вскоре удаление великого князя из Петербурга через назначение его наместником Царства Польского (1861). По ощущениям самого великого князя, его придворные недоброжелатели никогда не могли забыть и простить его роли в крестьянской реформе и того, что он и в дальнейшем, «как цепной пес», оставался на страже принципов 1861 года.

В отличие от многих российских сановников великий князь Константин Николаевич видел ценность науки как опоры политики. Вероятно, именно поэтому его энергичная, нацеленная на реформы государственная деятельность сочеталась с активным участием в научной жизни России. Особенность этого участия состояла в том, что, не будучи ученым, он помогал организации творческих сил страны благодаря своему председательству в научных обществах — Географическом, Археологическом, Техническом и других.

Его первым научным поприщем стало Русское географическое общество. 6 августа 1845 года император Николай I утвердил ходатайство учредителей Общества, известных ученых, путешественников и мореплавателей — К. Бэра, Ф. Врангеля, К. Арсеньева, Ф. Литке, В. Даля, В. Струве, П. Кеппена и других — с отпуском значительной суммы в пользу Общества из государственной казны. Тем же указом император согласился на избрание своего сына Константина Николаевича председателем Общества. Так, еще до присяги, до совершеннолетия, перед великим князем открылась перспектива тесных контактов с научной общественностью России.

Включившись в большую политику, Константин Николаевич научился использовать свое положение для выгод науки. На средства Русского географического общества и Морского министерства печатались труды по этнографии, географии, статистике, сна-

ряжались экспедиции за Урал, в Заполярье, Среднюю Азию, Сибирь. По инициативе великого князя в 1856 году была отправлена литературная экспедиция для исследования жизни русской деревни. Среди участников экспедиции были приглашенные великим князем известные русские писатели — С. В. Максимов, Д. В. Григорович и другие.

В 1859–1861 годах при отделении статистики Общества работал Политико-экономический комитет, который стал своеобразным общественным форумом, соединившим представителей высшей администрации (министров, управляющих департаментами министерств, членов Государственного совета), а также науки, литературы и промышленности. На публичных собраниях, которые Константин Николаевич посещал не для проформы, но активно участвуя в дискуссиях, обсуждались острые злободневные вопросы — о налогах, о землеобеспечении крестьян в России, о колонизации. Они совпали по времени с самым острым периодом в разработке нового крестьянского законодательства. Это совпадение указывает на то, какое большое значение великий князь придавал научной полемике для правильного решения трудных вопросов русской политики. С его точки зрения, наука должна была определять вектор государственной политики, помогая правительству прогнозировать ее результаты, предупреждая ошибки. Эту мысль он выразил в 1872 году, выступая на восьмой сессии Международного статистического конгресса в Петербурге: «Статистика является неизбежной помощницей всякого органа общественно-государственной жизни. Слова эти исходят не из теоретического убеждения, а из личного опыта, приобретенного в качестве Председателя Государственного Совета».

Осенью 1866 года, находясь в своем крымском имении Ореанде, великий князь, к тому времени уже назначенный председателем Государственного совета, составил краткую записку о приглашении делегатов от мест для совещания с правительством. Государственному совету в его проекте отводилась роль «верхней палаты». В декабре того же года Константин Николаевич показал свой проект министру внутренних дел П. А. Валуеву, инициатору «Конституционного проекта» (1863), в котором была выражена та же идея совещательного представительства. Валуев одобрил начинание, и вскоре великий князь представил свой проект государю.

Между тем шли месяцы, а записка великого князя все еще лежала на столе императора. Виною тому был целый ряд обстоятельств, но прежде всего исконное отношение Александра II к самой идее народного представительства. Император, например, резко отрицательно отнесся к предложению московских дворян (1865) предоставить дворянским собраниям законодательные полномочия и даже распорядился закрыть Московское губернское дворянское собрание. В специальном рескрипте П. А. Валуеву им было сказано: «Право вчинания по главным частям постепенного совершенствования государственного устройства принадлежит исключительно мне и неразрывно сопряжено с Самодержавною властью, Богом мне вверенной... Никто не призван принимать на себя предо Мною ходатайство об общих пользах и нуждах Государства...» На том же основании отвергал император и претензии земских деятелей созвать Собор и, чтобы не допустить популярности их требований, в декабре 1866 года подписал Высочайший указ, ограничивающий земскую гласность и запрещающий публикацию стенограмм заседания земских собраний. Очевидные изменения в направлении самодержавной политики в сторону от либеральных реформ были вызваны первым покушением на жизнь императора (4 апреля 1866 года).

На таком фоне проект великого князя был неизбежно обречен на неудовольствие государя. Однако Константин Николаевич все же вернулся к своей «конституционной» идее через тринадцать лет, в январе 1880 года. Тогда он рассчитывал сотрудничать с либерально настроенным графом М. Т. Лорис-Меликовым, которого царь призвал возглавить Верховную чрезвычайную комиссию (февраль 1880 года) «для борьбы

с крамолой». Программа и принципы Лорис-Меликова, его попытки вернуть власть на путь реформ начала 1860-х годов глубоко импонировали великому князю. Как твердый сторонник либерального курса, он ожидал от личных договоренностей с министром начала активных совместных действий. Но Лорис-Меликов этого шага не сделал. «Своя своих не познаша», — сокрушался позднее великий князь.

Как огромную личную и великую историческую драму воспринял он гибель брата, императора Александра II, 1 марта 1881 года, которая обрекла на «канцелярский конец» все реформаторские начинания Лорис-Меликова, включая и созыв в комиссию с совещательными правами избранных от общества депутатов.

Тем не менее и в дальнейшем, оказавшись при Александре III отставленным со всех государственных постов, Константин Николаевич был убежден, что «дело далеко не потеряно», и верил в то, что главная задача государственной политики по-прежнему в сотрудничестве с общественными силами. «Надобно было обратиться к России, чтобы она сама собою правила», так как «невозможно более править ни армией солдат, ни армией чиновников», — это приведет Россию к «погибели». «Если б нас призвали, — мечтал он в 1882 году, — то, разумеется, мы бы обратились к самому обществу, к земству, ко всем живым силам, присущим в России». Но его не призвали.

После 1 марта 1881 года обрывается государственная деятельность великого князя Константина Николаевича. В царствование своего племянника, императора Александра III, он был не по своей воле отправлен в отставку. Причем, чтобы «организовать» его смещение, молодой царь призвал для посреднической роли А. В. Головнина, как человека, близкого Константину Николаевичу. Поскольку великие князья по придворному статусу не могли быть уволены, Александр III, настроенный на удаление Константина Николаевича из администрации («новые обстоятельства требуют новых государственных деятелей»), просил Головнина написать его высочеству, чтобы тот сам инициировал свое увольнение.

Вызов в Гатчину, где тогда размещался двор, разговор с императором и это поручение глубоко потрясли Головнина. Он чувствовал какую-то жгучую боль оттого, что «принужден нанести столь чувствительный удар» великому князю, от которого в течение тридцати лет «видел только добро, только доверие, только ласку...». Но он не осмелился не исполнить воли царя.

В мае 1881 года Головнин известил о разговоре с императором великого князя в двух письмах в Ореанду — официальном и частном. Вскоре Головнин получил ответ его высочества, где тот написал о том, что «уже был подготовлен к этой развязке», что не намерен препятствовать воле государя и просил бы того «не стесняться об увольнении меня от каких Ему угодно должностей», раз «в виду теперешних, новых обстоятельств, его долговременная тридцатисемилетняя служба оказывается ныне более не нужною». 13 июля 1881 года был подписан Высочайший указ об увольнении великого князя со всех постов, «снисходя к просьбе» его.

«Моя политическая жизнь этим кончается; но я уношу с собою спокойную совесть своего исполненного долга, хотя с сожалением, что не успел принести всей той пользы, которую надеялся и желал» — так резюмировал великий князь одно из самых горьких событий своей жизни. «Тяжело и грустно покидать Матушку Русь опальным! Когда и как ворочусь и что застану? Тяжело на душе... Ну, прощай, любезнейший мой Головнин! Бог с тобой, и не забывай опального друга», — писал великий князь 26 октября 1881 года, отправляясь в Европу.

В конце 1881-го и в 1882 году великий князь Константин Николаевич много путешествовал, побывал в Вене, Венеции, Милане, Флоренции, Риме. Потом он несколько месяцев прожил во Франции. Тихая, внешне безмятежная жизнь в Париже, посещение музеев, театров, концертов и вернисажей, встречи с французскими поли-

тическими и общественными деятелями не врачевали его душевного смятения «и горя, и гнева, и скорби, и озлобления, и ожесточения» от осознания своей отрешенности от государственных дел. Он искал утешения и находил его только в общении с близкими ему по духу людьми, в переписке с оставшимися в России единомышленниками.

Самая доверительная переписка («как разговор с самим собой») продолжала связывать его с В. М. Головниным. «Я принадлежу к числу таких лиц, которых чувства и ощущения не высказанные, но затаенные внутри, просто давят и душат! Разумеется, я с ними не выступлю на народную площадь, чтоб их трубить во всеуслышание! Но мне необходимо, до зареза необходимо их высказывать в кругу близких людей» — так объяснял великий князь беспокоившемуся за него Головнину несдержанность и опасную откровенность своих писем. Он убеждал Головнина в том, во что, вероятно, не верил сам: «Ты, я думаю, легко поймешь, что я горжусь быть опальным, горжусь тем, что меня считают непригодным при новом направлении дел и не причисляют к новым людям. Хорошо направление и хороши люди! Я горжусь тем, что принадлежу людям 60-х годов. По всему этому я и предпочитаю мое теперешнее опальное положение. Точно так же не были бы в моем вкусе временные наезды в Петербург, которые ты так заманчиво рисуешь. Середины тут нет — или оставьте меня так, как есть, или возвращайте к делам, но не меня одного, а всех оставшихся ветеранов 60-х годов! Одно или другое».

Корреспонденции из России рисовали ему «неприличную картину петербургских деяний». Он соглашался с ее оценкой: «Мы с 1 марта как бы вышли из колеи...» И добавлял: «Вышли из колеи не силою обстоятельств, а потому, что сами этого захотели. Первый выход из колеи совершился в достопамятный день 8 марта в... Совете министров, когда вместо того, чтобы идти по колее указаний покойного Государя, мы с нее добровольно сошли. За этим первым выходом из колеи пошли неотвратимо один выход за другим. Манифест 11 апреля и увольнение Лориса, Милютина и меня были выходами из колеи. Как и неутверждение единогласного решения Государственного Совета по выкупному делу, как затем назначение Игнатьева, — все это суть выходы из колеи, фатально следующие один за другим. Дурное начало ведет за собою фатально дурное продолжение. Потому стала возможна и Священная дружина, и подпольное влияние катковских и победоносцевых, и положение о поднадзорных, вполне понятно преследование прессы, еврейские погромы и многое, что творится перед нашими глазами».

Одним из «неблаговидных дел» петербургской власти он считал назначение графа Д. А. Толстого министром внутренних дел, которое встретил такой репликой: «Из огня да в полымя, из царства лжи, в царство тьмы, в чистую катковщину!.. Страшнее насмешки над Россией трудно себе вообразить!» Он воображал, каким может быть неожиданный визит к нему, парижскому затворнику, Толстого и был готов с ним говорить не о погоде, а о делах, хотя и понимал, что в этом случае «масса желчи с обеих сторон пришла бы тогда в движение». Он бы ему сказал, «какую вредную и бесполезную штуку он сделал», имея в виду Временные правила по делам книгопечатания 1882 года, которыми отменялась судебная ответственность деятелей печати и устанавливался для контроля над печатным словом комитет четырех министров. Новые Правила великий князь считал «бесполезными», потому что и «теперешний закон дает ему совершенно достаточную власть давить, уничтожать всякое свободное слово, всякую свободную мысль»; и «вредными», потому что «давление слова и мысли никогда, нигде к добру не приводили, что мы знаем не только по истории, но и по собственному опыту». Его возмущал порядок, которым был принят «этот скверный закон» в обход Государственного совета, потому что Толстой, по его убеждению, «наперед сознавал, что он там встретит такую критику, такую сплошную оппозицию, при которой его проект не смог бы пройти».

В этом мысленном разговоре с Толстым великий князь, распаляясь, уличал его в попытках «сломать Университетский устав 1863 года», изменить отношение к земству, которое «он хочет давить». Хватило бы у него претензий и к другим министрам (Сольскому, Шестакову, Грейгу), позволявшим ломать «принципы и предания» эпохи 1861 года...

С другой стороны, Константин Николаевич убеждал себя и своего корреспондента Головнина в том, что вовсе не жаждет этих споров, которые не имели бы иного результата, кроме ссоры, и были бы не чем иным, как «бросанием гороха об стену». В то же время он не мог освободить своего сознания от мучившей его мысленной полемики. Его удивляла способность Головнина «быть зрителем, так сказать, со стороны, тогда как я, хотя и живу в действительном уединении, не могу не принимать горячо к сердцу то, о чем слухи до меня доходят». И эти слухи убеждали его в том, что «у нас само правительство воспитывает народ для революции и приготавливает, пропагандирует ее почище всяких нигилистов!»

Зиму 1883/84 года он провел в Петербурге, где болел невротическими болями лица и головы. Его лечил доктор Боткин и рекомендовал ему отправиться в южные края. 24 апреля 1884 года великий князь выехал в Крым, в Ореанду, где пребывал в уединении, «не выходя из своей берлоги» и не занимаясь никакими делами, кроме музыкальных. Он соблюдал все посты (был «счастлив говеть»), много времени проводил в церкви Покрова Пресвятой Богородицы, построенной на его средства в Ореанде. В таком уединении и прошли последние годы его жизни.

Пережитая великим князем драма отставки усиливалась тем свойством его натуры, которую верно определил А. Ф. Кони: «Он не был способен к роли равнодушного созерцателя, и его живая восприимчивость, подчас даже переходившая в нервную впечатлительность, заставила его раньше многих понять потребности времени и ближайšie задачи России после Севастопольского погрома...»

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ ГОЛОВНИН:
*«Либерал означает человека,
который не допускает произвола
ни над другими, ни над самим собой...»*

ТАТЬЯНА АНТОНОВА

Министр народного просвещения, член Государственного совета, Александр Васильевич Головнин родился в Петербурге 25 марта 1821 года. Вспоминая позднее о трудном детстве (до пяти лет он не говорил и не ходил), Головнин всегда с нежностью писал о родителях, забота которых сохранила ему жизнь. В отце, Василии Михайловиче, он видел «идеал ума, знания и благородства». Известный мореплаватель вице-адмирал В. М. Головнин в 1828 году отпустил крепостных из своего села Берны Калужской губернии Масальского уезда «в свободные хлебопашцы со всею землею». Его возмущали увиденные им во время кругосветного плавания картины колониального рабства, резко осуждал он и российских «рабовладельцев».

Безвременная кончина отца летом 1831 года во время эпидемии холеры была самым горьким событием детства А. В. Головнина. Опорой семьи, в которой, помимо старшего Александра, росли четыре дочери, стала мать, Евдокия Степановна (урожденная Лутковская). До тринадцати лет Головнин учился дома. Хроническая болезненность и постоянные боли отвлекали мальчика от игр и привычных для детей развлечений: его занимали лишь чтение и рисование. В библиотеке отца он рано прочитал Карамзина, Державина, Фонвизина, Плутарха. В 1834 году Евдокия Степановна выхлопотала через Морское министерство оплачиваемое из государственной казны место в первой мужской гимназии в Петербурге, куда ее сын вскоре и был определен пансионером в третий класс. Через год Головнина, как отличника, перевели во второй класс Царскосельского лицея, который он окончил в 1839 году, получив большую золотую медаль и самый высокий для выпускника чин титулярного советника.

Начавшаяся в канцелярии управления учебными и благотворительными заведениями ведомства императрицы Марии Федоровны служба не приносила радости. После «золотых дней» лицея пустое сочинение бумаг казалось юному Головнину занятием весьма нудным. От канцелярских тягот его спасало чтение. Но самое яркое впечатление этого времени (1841 год) было связано с поездкой в село Гулынки Пронского уезда Рязанской губернии. Здесь, на берегах реки Истья, располагалось родовое имение Головниных, включавшее, кроме Гулынок, село Лебяжье в Раненбургском уезде, деревню Озерки — в Спасском. Когда-то оно принадлежало помещикам Вердеревским. Александра Ивановна Вердеревская, бабушка будущего министра, получила его в приданое, став женой М. В. Головнина. Впоследствии поместье наследовал их старший сын Василий Михайлович. Оно было небольшим — около 350 душ. Им и стала распоряжаться Евдокия Степановна, «соблюдая строжайшую бережливость в домашних расходах».

В Гулынках Головнин заинтересовался системой управления имением и подружился с гулынскими крестьянами, которым он искренно желал сделать добро. Этот визит завершился тем, что Евдокия Степановна заменила притеснявшего мужиков старосту «толковым и набожным» крестьянином Петром Григорьевым, отменила все

сборы на содержание барского дома, барщину заменила оброком, а дворовых отпустила на волю. В дальнейшем «преобразования» в Гулынках продолжались. Оброк установили с учетом обеспеченности крестьян скотом: для тяглых — 15, полутяглых — 7,5 рубля серебром (у соседей оброк был до 25 рублей и выше); барин покупал лошадей тем, у кого они пали, и коров для семей с маленькими детьми. Все эти меры вызывали удивление и недовольство помещиков округа, которые придерживались более традиционных взглядов. «Дурные наклонности и страсти, — замечал Головнин по этому поводу, — находили здесь обширное для себя поприще».

В 1848 году, воспользовавшись временной отставкой из-за болезни, Головнин по собственной инициативе в течение восьми месяцев ездил по губерниям Центральной России, собирая сведения о положении крепостных, их нравственном быте, отношении к помещикам. Итогом его наблюдений, разговоров не только с помещиками и губернаторами, но и с крестьянами стали записки «О крепостных крестьянах». В результате этой поездки Головнин пришел к выводу о том, что при отмене крепостного права необходимо учитывать особенности местной жизни, традицию отношений помещиков и крестьян, типы их хозяйства. Крестьян, выполняющих для помещика меньше повинностей, чем «сколько они получают от него выгод», можно было бы с успехом превратить в фермеров, других — менее обеспеченных — в арендаторов.

В годы подготовки крестьянской реформы при Александре II Головнин получил возможность громче заявить о своей позиции. К этому времени (1850–1860) он тесно сотрудничал с великим князем Константином Николаевичем, помогая ему в качестве личного секретаря готовить проекты морских уставов. Летом 1857 года великий князь Константин Николаевич был назначен членом Секретного (с 1858 года Главного) комитета по крестьянскому делу, а с октября 1860 года стал его председателем.

Тогда же (июль 1857 года) Головнин предпринял попытку освободить собственных крестьян в Гулынках. Однако крестьяне отказались от предлагаемой барином свободы, объяснив ему свои мотивы: «Когда ты от нас совсем отступишься, нас всякий теснить будет, а мы твоею милостью много довольны». Этот эпизод Головнин описал в записке для Секретного комитета. Он совсем не подчеркивал, что его вотчина не совсем типичный для крепостнической России уголок социального мира, где крестьяне не знали притеснений со стороны помещика. Гулынская картинка понадобилась ему для других целей. Головнин убеждал высшую администрацию в том, что слухи о свободе не произвели никаких беспорядков и «не внушили гулынским крестьянам желания выйти из-под власти помещика». «Не доказывает ли это, — спрашивал Головнин, — что крайне преувеличены опасения последствий, которые могут произойти от печатания в официальных журналах наших статей о способах освобождения крестьян от крепостного права?» Отсюда следовала мысль о пользе привлечения журналистики для гласного обсуждения крестьянского вопроса, остававшегося тогда еще строго секретным. Кроме того, поддержка реформы прессой, в которой Головнин не сомневался, помогла бы ослабить голоса ее противников в окружении императора.

В июне 1860 года Головнин повторил путешествие по Центральной России. Теперь он пошел «в народ» по прямому поручению Константина Николаевича в момент завершения крестьянской реформы. Обоих интересовало мнение крестьян о заключительном проекте, подготовленном Редакционными комиссиями Главного комитета. Прогнозы Головнина были пессимистичны. «Неизгладимо грустное впечатление» произвело на него дворянство, которое действовало, «заботясь только о своей сегодняшней материальной выгоде и не произнося слова в пользу и в защиту» крестьян. Головнин составил из отзывов крестьян специальную записку для Главного комитета. Он не скрывал недовольства крестьян многоступенчатой системой управления, специально для них созданной, сохранением монополизма общины, временнообязанным состоя-

нием, высокими оброками и другим. Все это, по его мнению, уводило реформу от ее истинной цели погасить взаимное нерасположение, вражду обоих сословий или, по крайней мере, достигнуть того, «чтоб они были равнодушны одно к другому».

Тем не менее Головнин воспринял Манифест 19 февраля 1861 года как великое событие и сразу же применил новый закон в Гулынках. К тому времени за ним числилось 213 душ. В 1861 году он подписал уставную грамоту, по которой крестьяне должны были выкупаться по требованию помещика. Такой порядок исключал длительное временнообязанное состояние и обеспечивал крестьянам двадцатипроцентную уступку выкупной суммы. В 1864 году Головнин получил выкупное свидетельство и стал «соседом» своих бывших крепостных, как теперь уже свободных поземельных собственников. Причем крестьяне получили высший для той местности размер полевого надела и некоторое время, до погашения 80 процентов его стоимости, платили в казну свой прежний небольшой оброк.

Построив таким образом отношения с гулынскими крестьянами, Головнин продолжал интересоваться их жизнью. Социальный эксперимент в Гулынках продолжался. На свои сбережения он построил там каменную церковь, начальное училище для мальчиков, каменный дом с двумя квартирами для учителей. В училище была устроена метеорологическая станция, кабинет физики, две библиотеки. Одна из них, в 5000 томов, была открыта для всех. Позднее, в 1870 году, появилось училище для девочек в деревянном доме.

Церковь Святой Троицы была сооружена специально приглашенным рязанским архитектором А. Щеткиным в память 19 февраля 1861 года. Храм, по мысли Головнина, должен был стать для прихожан школой христианской нравственности, чтобы, приходя к нему, они «почерпали правила нравственности, узнавали сущность учения Христианства». Этой же цели служила и церковная библиотека. В ее каталоге, опубликованном в качестве приложения к брошюре «Заметки о двух церквах Рязанской Губернии Пронского уезда при селе Гулынках», указано 771 наименование книг. Здесь встречаются труды по истории христианства и христианской философии, этике, «Энциклопедический словарь, составленный русскими учеными и литераторами» (1861), «Сборник исторических повестей» (1863) и другие книги. Приобщая крестьян к серьезному чтению, Головнин бесплатно раздавал им книги духовно-нравственного содержания. Его стараниями в каждой семье был экземпляр Евангелия. С благодарностью принимали крестьяне и другой его подарок — перламутровые кресты, привезенные им из Иерусалима.

Гулынские учебные заведения создавались как школа для народа. Позднее (1869 год) Головнин передал их в ведение Пронского земства с капиталом в 12 000 рублей. Учебные пособия, программы, правила для учащихся, приглашение учителей и директора — все это осуществлялось по его рекомендациям и на его личные средства. Не прекращалась и переписка с гулынскими учителями (в архиве одного из них, Н. Федотьева, сохранилось 227 писем Головнина). После кончины Головнина школы Гулынок, по словам местного земского деятеля, «осиротели».

За время подготовки крестьянской реформы опытность Головнина как политика и его престиж значительно выросли. Он был замечен высшей властью. В декабре 1861 года состоялось его назначение на пост управляющего Министерством народного просвещения; в январе следующего года он получил портфель министра.

Предшественники Головнина (А. Норов, Е. Ковалевский, Е. Путятин), при всем различии их натур, оказались одинаково беспомощны перед университетскими беспорядками, в столкновениях с фрондирующей профессурой и журналистикой. Они ушли со сцены, так и не реализовав какой-либо продуктивной реформаторской идеи, оставив неразрешенными проблемы своего ведомства, главными из которых были кризис

цензурной системы и, как следствие, пугающая царя неуправляемость прессы и университетов. Путятин даже усугубил ситуацию попыткой применения по-военному жестких мер в отношении журналистики и студентов. Скандальный опыт Путятина убеждал императора в необходимости иного подхода.

Общество связывало с Головниным ожидание серьезных перемен. Публике импонировало первое появление Головнина-министра не в мундире, а в штатском костюме. В этом увидели символ отречения от «старой сухой формалистики», «знак наступления новых времен». Сам Головнин стремился действовать, «следуя общему духу и смыслу преобразований, которые вводили законность взамен произвола, равенство перед законом вместо привилегий, свободу и простор вместо стеснений, гласность вместо прежней тайны». Однако очень скоро он столкнулся с непреодолимыми барьерами, и первый камень преткновения ждал его на пути к цензурной реформе. По установкам царя, она должна была сделать административный контроль над печатным словом более эффективным, ориентироваться на интересы государственной безопасности, которым, по мнению Александра II, серьезно угрожали претензии прессы.

Головнину предстояло подготовить такой проект цензурной реформы, который одновременно угодил бы требованиям императора и успокаивал общество реальными переменами к лучшему в делах печати. Поручив подготовку проекта нового закона учрежденной при его министерстве комиссии князя Д. А. Оболенского, Головнин избрал «либеральный способ действия». Смысл его разъяснил В. А. Цез, лицейский товарищ и соратник Головнина, занимавший тогда должность председателя Санкт-Петербургского цензурного комитета: «При всеобщем требовании отмены цензуры нельзя цензуре действовать на жандармском праве и грубом произволе. Надо, напротив, употреблять представителей умственной деятельности всего русского общества на защиту порядков, закона и самого правительства, а этой цели нельзя достигнуть без доверия литераторов, а доверие это приобретается... постепенно открытым, добросовестным, благородным способом действия». Следуя этому принципу, Головнин пригласил литераторов, редакторов периодических изданий высказаться в печати по вопросам цензурной реформы. Кроме того, он рассчитывал «смелым образом действия нескольких даровитых писателей в пользу религии, нравственности, законности и правительства» сбалансировать общественное мнение, создавая противовес «ложным теориям». Он даже вынужден был делать шаги назад: исполняя волю императора, рассылал грозные циркуляры цензорам с требованием усилить строгость цензуры, согласился на временное приостановление выпуска «Современника» и «Русского слова». И все это для того, чтобы оппозирующая власти журналистика «не спугнула» правительство своим радикализмом, что могло бы отрицательно сказаться на результатах реформы.

Только в одном случае Головнин изменил тактике балансирования, отказавшись подписать подготовленный комиссией Оболенского проект нового цензурного устава, куда были внесены нормы об административном преследовании прессы «вредного направления». В записке на Высочайшее имя Головнин уклончиво объяснил свой поступок тем, что в проекте он обнаружил недостатки, не раскрывая при этом их сути. Там же он просил императора освободить его от управления цензурным ведомством и получил согласие. 12 января 1863 года цензура была передана министру внутренних дел П. А. Валуеву.

Уступив в цензурных делах, Головнин сосредоточился на подготовке университетской и школьной реформ, чтобы здесь отстоять курс на либеральные преобразования. Университетский устав 1863 года серьезно менял статус высшей школы — сводились к минимуму властные полномочия попечителей учебных округов и министра, восстанавливалась выборность ректора и деканов. Значительно возростала роль

кафедр, расширялись преподавательские штаты, обеспечивалась материальная поддержка профессуры. Устав закреплял право университетов на издание без предварительной цензуры учебной литературы. Иностранная научная литература могла приобретаться также без вмешательства цензуры и без пошлины. Сторонник широких научных контактов с европейскими учеными, Головнин выделял из фондов министерства средства для пособий командируемым за границу лучшим выпускникам университетов.

Но все эти реформаторские успехи Головнина не гарантировали прочности его положения. Более того, в них видели проявление «крайних» либеральных воззрений. Инакомыслие улавливалось и в его стремлении опереться на общественное мнение, развязать газетную полемику, в том, что, управляя министерством, он никогда «не употреблял шпионов, не допускал доносов», а министерские ревизии учебных заведений осуществлял только гласно, стараясь «сколь возможно менее быть полицмейстером и сколь можно более — педагогом». Именно поэтому его имя вызывало злобную критику консерваторов. Самым громогласным критиком Головнина стал московский публицист, редактор «Московских ведомостей» и «Русского вестника» М. Н. Катков, который называл министерство Головнина олицетворением «измены и предательства в самом средоточии правительства». Головнин не стал «своим человеком» для Александра II, его не приглашали «за кулисы» власти, где обсуждались закрытые для общества темы. Царь не доверял Головнину, полагая, что тот «подстрекал брата» (великого князя Константина Николаевича) на смелые реформаторские идеи, включая конституционный проект.

Сам же Головнин иронично воспринимал эти слухи и считал себя не вправе называться либералом. «По моему понятию, слово либерал означает человека, который, считая в теории других людей себе равными, не допускает на практике преобладания своего произвола над другими и не подчиняется сам произволу других, который подчиняется только закону... и жертвует своими выгодами для осуществления своих идей. Можно ли после этого назвать либералами покорных слуг самодержавия, которые дорожат придворными званиями и звездами и никогда еще ничем не пожертвовали для осуществления либеральных теорий, то есть теорий равенства и законности с отрицанием всякого произвола? Неужели, не делаясь крайне смешным, я мог бы назвать себя либералом после того, что уживался двенадцать лет при дворе, принял дюжины две крестов и звезд и до сорокалетнего возраста оставался владельцем крепостных крестьян?» — писал он В. А. Цезю в 1865 году, на исходе своей министерской карьеры. В этой тираде легко обнаруживается понимание министром невозможности полноценно реализовать исповедуемые им либеральные принципы в ситуации, когда самодержавная власть обозначила предел уступок обществу. «Мы все храбры у себя в кабинете, — признавался он позднее, — а не в тот момент, когда приходится сказать Государю неприятные истины... Гражданское мужество и гражданская доблесть отсутствуют там, где нет граждан, а встречаются только покорные верноподданные...»

И все же то, что Головнин успел сделать в годы управления Министерством просвещения, стиль его поведения во власти разрушали привычный образ мундирного чиновника, вступали в противоречие со стереотипами придворной жизни. Поэтому, как только представился повод, Головнин был отправлен в отставку, став по сути первой жертвой начинавшейся политической реакции.

Поворот к ней был связан с покушением Д. Каракозова на императора 4 апреля 1866 года. Противники либеральных реформ в окружении Александра II использовали это событие, чтобы настроить царя на проведение жесткого курса в отношении печати и университетов. Система Головнина, открывшая в том числе простор естественным наукам, представлялась им почвой для формирования материализма и нигилизма.

ма. 14 апреля 1866 года Головнин был смещен. Его преемник, граф Д. А. Толстой, больше отвечал требованиям грозного царского рескрипта (от 13 мая 1866 года) действовать в охранительном духе, оберегая начала христианской религии и существующего самодержавного порядка.

Отставка не выключила Головнина из политической жизни. Он использовал свое пожизненное назначение членом высшего законосовещательного учреждения Российской империи, Государственного совета, для активной поддержки принципов 1861 года, соединив свои усилия с усилиями великого князя Константина Николаевича, который в те годы (1865–1881) занимал пост его председателя. Теперь он был более свободен, так как изменился характер служебной ответственности. В стенах Государственного совета Головнин оппонировал Д. А. Толстому, А. Е. Тимашеву и другим сторонникам контрреформ в области просвещения, печати и суда. «Я не могу согласиться с тем, что в литературе нашей господствовало вредное направление, и постараюсь доказать ошибочность поименованного воззрения» — так начал он свою замечательную речь в защиту свободы слова в Общем собрании 20 марта 1872 года. Речь Головнина прозвучала как открытый протест против предложения министра внутренних дел генерала Тимашева заменить судебное разбирательство по делам печати (на том основании, что вся печать «враждебна правительству») исключительным правом министра или Комитета министров «окончательно задерживать» напечатанные без предварительной цензуры издания «вредного направления».

Столь же убежденно отстаивал Головнин принцип независимости судей и высказывался против ревизий судебных мест чиновниками, поскольку это «неминуемо» уменьшило бы самостоятельность судей. «Надобно, — утверждал Головнин, — чтоб судья решал дело, с одной стороны, нисколько не стараясь угодить влиятельным лицам администрации, а с другой — не страшился бы упреков того общества, в котором живет, не боялся бы газетной статьи». Инспекция судов сановными лицами представлялась Головнину покушением на основной принцип судебной реформы 1864 года «относительно полной самостоятельности судебной власти», поэтому, чтобы не допустить его искажения, он ратовал за внешний (общественный) контроль в этой области.

При обсуждении финансовых вопросов Головнин выступал за необходимость «расходовать не более той суммы, которую можно получить без отягощения народа», за сокращение государственного аппарата, за пересмотр законов, стесняющих частную деятельность. С трибуны общих собраний членов Государственного совета звучали его речи в пользу такой политики, целью которой являются права и свободы личности, а инструментом — реформы, основанные на принципах законности и гласности. Эти выступления не были публичной акцией, но дарили ему ощущение личного противостояния и даже маленьких побед над ретроgrадами.

И все же диспуты в Государственном совете в 1870-е годы, завершавшиеся, как правило, утверждением императором такого законопроекта, который более отвечал репрессивному курсу, вызывали сомнение Головнина в способности этого учреждения влиять на высокую политику. Пополняемый отставными министрами Государственный совет представлялся ему слишком корпоративным и в силу этого оторванным от общественных интересов. Чтоб поправить положение, по мнению Головнина, следовало «сделать заседания Государственного совета публичными, допустить в них слушателей, стенографов, журналистов. Тогда весь ход представления дел, обработки оных, изучения, рассматривания и решения изменился бы к лучшему». Он уповал на введение такого «устройства», при котором «большее число людей делались бы известны, имели случай высказать свои познания, свои способности, свои взгляды и убеждения». В этом отношении серьезные перспективы он связывал с земством, с расширением его прав и круга деятельности.

Развитие российской государственности в дальнейшем, по мысли Головнина, должно пойти по пути соединения Государственного совета с представителями земских собраний. Похожую модель выстраивали авторы конституционных проектов П. А. Валуев (1863) и великий князь Константин Николаевич (1866), но в отличие от них Головнин был сторонником не совещательного, а законодательного представительства. По его программе, объединенное собрание Государственного совета и депутатов от земства стало бы тем учреждением, без согласия которого «не издавались и не изменялись законы и не утверждался Государственный бюджет».

Правда, все эти конституционалистские мечтания Головнина остались тайной. Ее хранят записки, написанные им в 1867 году в Гулынках. Вместе с другими бумагами личного архива он завещал потомкам открыть их не ранее чем через пятьдесят лет после своей кончины.

3 ноября 1886 года в возрасте 65 лет Александр Васильевич Головнин скончался. А. Ф. Кони писал тогда: «У всякого, кто встречался с Головниным, при известии о его смерти, с чувством глубокого сожаления соединяется воспоминание об очень сутуловатом старичке небольшого роста, который умел соединять утонченную, чрезвычайно редкую и даже забытую в наше время, вежливость с трезвостью взглядов и математической точностью выражений». Многие современники, знавшие его жизненный путь, служение России, истинному патриотизму, по достоинству оценили «высокую и нравственно плодотворную» государственную деятельность А. В. Головнина.

ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ЗАМЯТНИН: «Верность однажды сознательно избранному знамени...»

ВИКТОР ШЕВЫРИН

По мнению многих исследователей, годы пребывания Дмитрия Николаевича Замятнина в должности российского министра юстиции (1862–1867) были особым временем в истории отечественной юриспруденции: именно при Замятнине выработывалась судебная реформа, были приняты Судебные уставы и началось их внедрение в судебную практику.

Один из первых историков судебной реформы Г. А. Джаншиев писал в 1883 году, что после 19 февраля 1861 года самым славным днем должно быть признано 20 ноября 1864 года — день утверждения знаменитых Судебных уставов. До известной степени этот день даже может с успехом конкурировать с днем крестьянского освобождения.

Действительно, судебные учреждения, порожденные двадцатым ноября, охватили значительное пространство, затронув материальные и духовные интересы многих лиц; учреждение нового гласного суда, независимого суда общественной совести касалось всех слоев населения, всего государства. Только теперь, писал Джаншиев, «это колоссальное дело насаждения скорого, правого и гласного суда совести на место бесконечной, продажной приказно-судебной волокиты и водворение начал благоустроенного правового порядка в исконной стране господства произвола представляется во всем своем величии и блеске».

Многие современники Д. Н. Замятнина ценили его «первостепенную роль» в выработке и особенно в реализации Судебных уставов, то место, которое он занимал среди деятелей судебной реформы, будучи, по всеобщему признанию, истинным олицетворением ее гуманных и либеральных принципов. И после того как Замятнин покинул Министерство юстиции, его продолжали считать живым воплощением основных начал судебной реформы.

Дмитрий Николаевич Замятнин родился в дворянской семье 31 января 1805 года в селе Пашигореве Горбатовского уезда Нижегородской губернии. Здесь в низеньком одноэтажном доме он провел на попечении матери, урожденной Граве, все детство. Учился Замятнин сначала в лицейском пансионе, затем в Царскосельском лицее. В крепко сплотившемся лицейском кружке так называемых «жителей литературного квартала» Замятнин, несомненно, играл выдающуюся роль — и в ученическом быте, и в интеллектуальной жизни, и в литературных предприятиях.

Окончив лицей в 1823 году с серебряной медалью, он по рекомендации директора Царскосельского лицея Е. А. Энгельгардта был принят на службу к М. М. Сперанскому в Кодификационную комиссию по составлению законов. После преобразования Комиссии в 1826 году во II Отделение Собственной Его Императорского Величества Канцелярии Дмитрий Николаевич оставался в ней до конца 1840 года. За это время он приобрел репутацию способного, трудолюбивого и честного чиновника. Не было ни

одной части разрабатывавшегося тогда обширного Свода законов, которая за семнадцатилетнюю службу Замятина не прошла бы через его руки. Благодаря этой работе Замятин блестяще освоил российское законодательство.

1 января 1841 года он получил должность герольдмейстера в Министерстве юстиции. Сам император Николай I связывал с назначением Замятина на этот пост особые надежды — Дмитрию Николаевичу было поручено заняться искоренением злоупотреблений, господствовавших в Департаменте герольдии, и прежде всего — взяточничества. Определяя Замятина на это место, царь предупреждал, что ему придется иметь дело с «шайкой разбойников». И это было не так уж далеко от истины.

Уже в первый год работы на новом поприще Замятин успел показать себя способным администратором, выявив и искоренив многочисленные злоупотребления. В 1842 и 1845 годах министр юстиции докладывал императору (в связи с наградными делами), что благодаря усилиям Замятина улучшился состав герольдии, уменьшились беспорядки и исчезли жалобы на медленность движения дел.

Благодаря высокому профессионализму Замятин быстро шел в гору. В 1852 году он был назначен обер-прокурором 2-го департамента Сената и сенатором. 9 мая 1858 года занял пост товарища министра юстиции. С июня 1859 года — во время отпуска министра Панина — временно управлял министерством, 21 октября 1862 года стал управляющим министерством, а 1 января 1864 года был утвержден в должности министра.

Время управления Замятиным Министерством юстиции, по свидетельству современников, было периодом самой активной деятельности по подготовке, составлению и введению в действие Судебных уставов. Это был очень важный период в жизни Дмитрия Николаевича, когда «богатые духовные дары этого человека ожили в атмосфере Великих реформ». «У него действительно была прекрасная, возвышенная, чистая душа, — писал Джаншиев. — В его нравственном облике доминировала необычайная доброта. Делать добро ближнему было для него истинным наслаждением, neodолимой потребностью его нравственной природы. Другими заметными чертами его характера были: безусловная честность во всех поступках, добросовестное до педантизма отношение к своим обязанностям, верность однажды сознательно избранному знамени».

В отношениях с равными себе и подчиненными Замятин демонстрировал прямоту, простоту и ровность, умение пробудить у них лучшие стороны души. Замечательны в нем были и скромность, и открытое желание учиться у более сведущих, отсутствие мелкого самолюбия, которое не выносит рядом с собой выдающихся талантов. Он охотно выдвигал и в министерстве, а впоследствии и в судебных учреждениях даровитых деятелей, радовался их успехам.

Незлобивость, отвращение к пересудам были присущи Замятину и в личной жизни, и в официальной деятельности. В отношениях с просителями Дмитрий Николаевич отличался доступностью и внимательностью. Он говорил: «Просителю, как больному, нужна помощь немедленная или объяснение, что ему помощь невозможна».

С назначением Замятина в Министерство юстиции самый дух этого ведомства преобразился, воцарились новые порядки. «После такого черствого, безжизненного бюрократа, каким был граф Панин, олицетворения бездушного формализма, — отмечали биографы, — вдруг занимает министерский пост человек мягкий, ласковый, приятный в обращении, доступный для всех. Граф Панин, никогда не покидавший своего недоступного бюрократического олимпа не только для объяснения с публикою, но и для выслушивания докладов, чуть ли и с курьером своим объяснялся не иначе как письменно». Преемник же его впервые ввел в министерстве приемные часы, а управитель его канцелярии всегда принимал просителей, ходатайства которых уже на сле-

дующий день докладывал министру. Отношения нового министра с чинами министерства были ровными и доброжелательными. Еще раньше Замятнин, будучи товарищем министра, «успел приобрести расположение департаментского персонала простотою своего обращения, составлявшего такой бьющий глаз контраст с недоступностью тогдашнего министра юстиции».

Один из ближайших сотрудников Замятнина, Д. Б. Бэр, вспоминал: «Всеу ведомству (Министерству юстиции. — В. III.) уже давно была известна в высшей степени гуманная, симпатичная личность нового начальника. С полным к нему доверием ведомство принялось готовиться к предстоящей судебной реформе. Всегда спокойный, хладнокровный, чуждый мелочного самолюбия, он требовал серьезного отношения к делу... Исполнитель, которому поручена была какая-либо работа, был уверен, что, придя к своему начальнику, он будет выслушан им без малейшей тени неудовольствия и досады, хотя бы он представлял свои соображения о невозможности исполнить отданное приказание. Каждое малейшее сомнение обсуждалось, подвергалось строгой критике, весьма часто коллегиально, и дело от таких приемов выигрывало; притом же начальник этим путем узнавал своих подчиненных. Это было не нерешительностью, а, напротив, желанием отыскать правду, наилучшим образом осуществить ее и поставить дело на законную твердую почву».

Замятнин сгруппировал около себя целую когорту деятелей, преданных началам новой судебной реформы. Первую скрипку среди них играл товарищ министра юстиции Н. И. Стояновский, «заложивший один из первых камней судебной реформы еще в должности статс-секретаря Государственного совета». Среди ближайших сотрудников Замятнина по Министерству юстиции были директор департамента министерства барон Е. Е. Врангель, вице-директор Б. Н. Хвостов, начальник законодательного отделения Н. Н. Шрейбер, старший юрисконсульт Д. Г. фон Дервиз, начальник гражданского отделения О. В. Эссен, юрисконсульт Г. К. Репинский, правитель канцелярии министра юстиции Д. Б. Бэр и другие. Подбор необходимого персонала исполнителей Замятнин считал важнейшим элементом подготовки реформы. В докладе царю в 1863 году он писал: «На обязанности Министерства юстиции лежит изыскание контингента лиц, преданных началам, вложенным в разрабатываемые новые уставы, которым можно было бы вручить осуществление великой реформы».

Но одновременно с подбором сотрудников Замятнин «расчищал поле» для будущей реформы: он упростил делопроизводство и повысил эффективность работы аппарата министерства, благодаря чему резко сократилось количество нерешенных дел, ведомственный механизм стал работать без резких перегрузок и сбоев. При Замятнине произошло важное событие, выходящее по своему значению далеко за рамки министерской «новации»: Указом 17 апреля 1863 года в России отменялись жестокие телесные наказания — плети, шпицрутены, наложение клейм и штемпелей.

Подготовка судебной реформы продвигалась с необычайной быстротой. В октябре 1861 года Александр II повелел предварительно выработать «Основные положения» судебной реформы. Менее чем через год Государственный совет уже рассмотрел «Основные преобразования судебной части в России», утвержденные царем 29 сентября и ставшие фундаментом будущего судебного законодательства. Тогда же была образована при Государственной канцелярии под председательством В. П. Буткова комиссия для составления проектов судоустройства и судопроизводства согласно «Основным положениям». Следует подчеркнуть, что эти положения были опубликованы для всеобщего сведения: комиссия Буткова специально обратилась к судебным и административным деятелям и профессорам, а через периодические издания и ко всему обществу с просьбой оказать содействие своими замечаниями. На приглашение комиссии откликнулось 448 лиц, замечания которых составили шесть томов. Это был первый опыт обращения к обществен-

ности за содействием. Замечания вместе с иностранными законодательствами и теоретическими исследованиями послужили материалом, над которым работала комиссия. Через год с небольшим ее проекты были внесены в Государственный совет.

Замятнин образовал под своим председательством особые совещательные органы для обсуждения внесенных в Государственный совет проектов. Это была поистине «могучая кучка» способных и преданных реформам людей, воодушевленных высотой предстоящей работы и искренним желанием поработать на пользу России. Ему пеняли на то, что он дает себя «начинать департаментским либерализмом», но министр неуклонно вел свою реформаторскую линию. Заседания продолжались в течение четырех месяцев по три раза в неделю по вечерам. Каждое длилось по пять и более часов. Замятнин поражал всех на этих заседаниях своим терпением и неутомимостью. Даже когда уставали молодые люди, он, несмотря на свой возраст, засиживался до двух часов ночи, внимательно выслушивая всякое замечание, давая каждому высказаться, поощряя словом и личным примером.

В ходе этих плодотворных обсуждений были внесены замечания по 1100 статьям Уставов, в том числе по 600 статьям Устава гражданского судопроизводства, по 300 статьям уголовного судопроизводства, по 800 статьям Устава по нарушениям закона, подведомственным мировым судьям, и по 120 статьям проекта учреждения судебных мест. В целом «Замечания министра юстиции» составляли целый фолиант, превышающий 500 страниц.

Неоценимая заслуга Замятнина, по оценке его современников, «заключалась в кропотливой, в высшей степени добросовестной работе, с которой тонкому юридическому анализу была подвергнута каждая статья уставов». Подавляющее большинство замечаний было принято Государственным советом. Замятнин расширил юрисдикцию мирового суда, предоставил каждому подсудимому право просить о назначении ему защитника, высказался за право председателя и членов суда задавать подсудимому вопросы, внес важные коррективы в порядок составления присутствия присяжных заседателей и правила их отвода и прочее.

Но утверждение уже выработанных Уставов едва не было остановлено запиской, поданной царю в октябре 1864 года председателем Государственного совета князем П. П. Гагариным, который предлагал ввести повсеместно в действие положение о мировых судьях «с соединением этой должности с существующей тогда должностью мировых посредников по освобождению крестьян». Князь высказался за подчинение будущих мировых судей одновременно Министерству юстиции (по делам судебным) и Министерству внутренних дел (по делам о заведовании крестьянским управлением). Д. Н. Замятнин воспротивился самым решительным образом. В своем докладе Совету министров 5 ноября 1864 года он доказывал, что характер деятельности мировых судей и мировых посредников различный. Мировой судья отвечает за свои действия только перед судом, а мировой посредник — перед административной властью, и, таким образом, «пришлось бы нарушить первую статью основных положений реформы, в силу коей власть судебная отделяется от исполнительной и административной». Замятнин предупреждал, что предложение Гагарина в конце концов может привести к тому, что «придется задержать введение всей судебной реформы». Гагаринская трактовка роли мировых судей «не прошла».

Судебные уставы были утверждены императором. В указе Сенату говорилось, что Уставы «соответствуют желанию нашему водворить в России суд скорый, правый, милостивый и равный для всех подданных наших. Возвысить судебную власть, дать ей надлежащую самостоятельность и вообще утвердить в народе нашем то уважение к закону, без коего невозможно общественное благосостояние и которое должно быть руководителем действий всех и каждого, от высшего до низшего».

Поскольку старый порядок в судебных делах не мог быть заменен повсеместно и сразу, Замятнин добился введения временных правил, одобренных 11 октября 1865 года, которые модернизировали старое судопроизводство, подвели его к новому. Эти правила были любимым детищем Замятнина. Они устанавливали в старых судах гласность и устность судебного разбирательства, из уездных судов были изъяты уголовные дела по преступлениям, по которым следовало серьезное наказание, существенно был пересмотрен порядок вызова в суд, сроки явки, сокращены апелляционные сроки и так далее.

Замятнин держал в поле зрения весь спектр проблем судебной реформы. На его долю, как подчеркивал А. Ф. Кони, выпала завидная и вместе с тем трудная задача введения и открытия первых судов по Уставам 20 ноября 1864 года.

В деле осуществления грандиозного проекта реформы судебной системы Замятнин не признавал мелочей. За границу был командирован архитектор Афанасьев для изучения принятого в Западной Европе внешнего устройства судебных мест. Одесский ученый Гессель составил стенографический ключ русского языка; ключ этот был послан Министерством юстиции на заключение Дрезденского стенографического общества и им одобрен.

Все делалось быстро, радостно, празднично. Участники введения судебной реформы вспоминали, что это были полные жизни дни, хотя стоившие большого и тяжелого труда. Требовалась неустанная энергия и твердая вера в необходимость скорейшего и коренного обновления судебной системы. Предстояло принять самые разнообразные меры, сгладить противоречия и практически осуществить реформу. Но особенно важной заботой министерства было избрание должностных лиц вновь открываемых судов. Много для этого сделал и лично Замятнин, тщательно подбиравший кандидатов на судейские должности. Ему удалось привлечь в свое ведомство прекрасных специалистов, убежденных сторонников судебной реформы. Уже в первые месяцы деятельности Московского и Петербургского судебных округов следовало назначить 8 сенаторов, 50 председателей судебных учреждений и их товарищей, 144 члена судебных палат и окружных судов, 190 следователей и 120 чинов прокурорского надзора. Увеличение окладов и штатов, а также изменение условий судебной службы должны были привлечь в судебное ведомство новые силы и вернуть в него ушедшие. Еще 24 февраля 1864 года Замятнин испросил и получил Высочайшее соизволение, чтобы замещение должностей губернских и уездных стряпчих было изъято из ведения начальников губерний и зависело непосредственно от Министерства юстиции. Благодаря этой и другим мерам к началу 1886 года из 1698 должностных лиц, назначение которых зависело от министра юстиции, были 821 человек с высшим образованием, 496 — со средним и только 351 — с низшим.

Замятнин приложил немало сил, доказывая «на самом верху» необходимость увеличения окладов в судебном ведомстве, он придавал этому первостепенное значение. «Если этого не сделать, — считал он, — то лучше отказаться от судебной реформы, ибо равновесие между „судебным сословием“ и адвокатурой нарушится, а самые способные уйдут в присяжные поверенные».

Александр II оценил деятельность Замятнина. В конце 1865 года на отчете министра юстиции о подготовительных мерах к судебной реформе он написал: «Искренне благодарю за все, что уже исполнено. Да будет благословение Божие и на всех будущих наших начинаниях для благоденствия и славы России».

14 апреля 1866 года царь посетил здание судебных мест и закончил свое обращение к судейским чинам словами: «Итак, в добрый час начинайте благо дело». Сбывалось то, что наперекор скептикам и противникам судебной реформы предрекал Дмитрий Николаевич: «А все-таки новые суды будут в назначенное время открыты».

16 апреля помещение суда и судебной палаты было освящено, а в здании Сената было открыто первое собрание кассационных департаментов. Но настоящее торжество происходило днем позже — 17 апреля, в день рождения Александра II. Теплую, взволнованную речь сказал и Замятнин: «Завязывая свои глаза перед всякими посторонними и внешними влияниями, — обращался он к соратникам, — вы тем полнее раскроете внутренние очи совести и тем беспристрастнее будете взвешивать на весах правосудия правоту или неправоту подлежащих вашему обсуждению требований и деяний».

В Москве открытие судебных установлений произошло 23 апреля. В ноябре и декабре 1866 года начали работу четырнадцать провинциальных окружных судов. В скором времени в десяти губерниях заработали и мировые суды.

Уже во всеподданнейшем отчете за 1866 год сам Замятнин высоко отозвался о начавшейся судебной реформе: «Деятельность общих судебных установлений оказалась столь же благотворною, как и мировых учреждений». Даже консервативный по своим убеждениям князь В. П. Мещерский писал тогда о новом суде: «Первые годы введения и действия новых судебных учреждений были блестящими страницами честных нравов во всей области русской Фемиды: это был какой-то весенний воздух, где ободряюще веяли ароматы честности и где каждый из нас в то время чувствовал, что этот новый слуга юстиции исполнял задачу честности, на себя принятую, собственным вдохновением. Это был какой-то праздник честности».

Действительно, это был «медовый месяц» судебной реформы. Но он был недолог. «Некоторые слои общества, — как писал зять Замятнина, один из деятельных участников судебных преобразований, А. Н. Куломзин, — коих заветное мечтание заключалось в восстановлении патримониальной юрисдикции, не могли примириться с независимостью суда. С провозглашением действительным равенства... в особенности ненавистен был этим лицам институт присяжных заседателей». Разбор постоянных, хотя и мелочных, наветов на Замятнина, как отмечает тот же Куломзин, «утомлял государя», вследствие чего последовало назначение «для рассмотрения важнейших вопросов по судебному преобразованию Особого совещания под председательством великого князя Константина Николаевича». Это был тревожный звонок. 1 января 1867 года у Замятнина отняли его «правую руку» — товарища министра Н. И. Стояновского, горячего приверженца реформы. Его назначили в Сенат, а товарищем министра юстиции царь назначил псковского губернатора графа К. И. Палена, откровенно сказав при этом Замятнину, чтобы тот готовил графа в министры.

Масла в огонь подлило и некое происшествие в начале 1867 года, которое, кстати, весьма ярко характеризует Дмитрия Николаевича Замятнина как гражданина. Императору доложили об участии кассационного сенатора М. Н. Любоцинского в заседании петербургского земства. На нем «под предлогом вопроса о жалобе Сенату на министра внутренних дел по поводу оставления им без последствий двенадцати из двадцати шести ходатайств земств, собственно, обсуждалось оставление без последствий ходатайства земства, постановленного в предшествовавшую сессию, о созыве центрального земского собрания». Император гневно потребовал у Замятнина увольнения Любоцинского. Замятнин не послушался. Он заявил, что по новым судебным учреждениям члены судов пользуются правом несменяемости. «Но не для меня», — сорвался на крик Александр II. Вскоре был подготовлен указ об увольнении сенатора, но царь одумался, и бумага осталась неподписанной.

В марте 1867 года Д. Н. Замятнин подал свой первый и последний всеподданнейший годовой отчет о введении судебной реформы, а затем доложил монарху о том, что граф Пален готов занять пост министра юстиции. Последний циркуляр, изданный министром Замятниним, рекомендовал прокурорам вставать перед судом.

Однако, сняв Замятина с должности, с назначением К. И. Палена решили повременить, и министром на полгода стал С. Н. Урусов. 16 апреля 1867 года император «отменно милостиво отпустил» Дмитрия Николаевича, оставив его членом Государственного совета и пожаловав орден Святого Александра Невского с алмазами.

В истории российской юстиции с именем Замятина связано введение новых судов. И оставшись в Государственном совете, бывший министр непоколебимо стоял за реформу. Он ушел с министерского поста с горечью, но без колебаний и остался верен делу, которому служил.

Всю свою жизнь Замятин живо интересовался развитием нового суда и радовался успехам лучших судебных деятелей. Все, кто его знал, платили ему тем же. Когда отмечалось пятидесятилетие его службы, Д. Н. Замятин «как знаменосец судебной реформы» имел великое утешение видеть преданность ему всех судебных деятелей. Отовсюду шли поздравительные телеграммы и адреса. Судебные деятели понимали, что во многом именно ему они обязаны тем, что новые судебные учреждения с самого начала пустили прочные корни. 1 января 1877 года Замятину был пожалован орден Владимира 1-й степени. В 1881 году он получил председательствование в Департаменте гражданских и духовных дел.

В частной жизни Дмитрий Николаевич был отличный семьянин, большой хлебосол и приятный собеседник. «Высокий, прямой, с красивой седою головою, гордою походкой и ясною речью, он до конца сохранял свежесть духа и бодрость тела». Был большим любителем ходить пешком и, несмотря на свои семьдесят четыре года, делал ежедневно по три–пять верст. И при этом вел предельно скромную жизнь.

В день лицейской годовщины, 19 октября 1881 года, он утром пришел на свою квартиру пешком с Васильевского острова, где с 1858 года безвозмездно управлял хозяйственной частью двух институтов — Патриотического и Елизаветинского. Почувствовал себя очень усталым, но поехал на товарищескую встречу. После обеда он присел на диван, закурил сигару. Все думали, что он дремлет, но, когда подошли к нему, обнаружили, что сердце «лицеиста до гроба» перестало биться...

Похоронен Д. Н. Замятин на Никольском кладбище Александро-Невской лавры в Петербурге.

ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ МИЛЮТИН: *«Предпочитаю быть кредитором, чем должником...»*

ВАЛЕРИЙ СТЕПАНОВ

Дмитрий Алексеевич Милютин (1816–1912) оставил яркий след в истории России. В молодые годы он блестяще проявил себя как боевой офицер и военный историк, в тридцать восемь лет получил генеральский чин. После Крымской войны стал одним из наиболее видных представителей группировки либеральных бюрократов, возглавившей Великие реформы 1860–1870-х годов. Два десятилетия он занимал пост военного министра в правительстве Александра II и сыграл выдающуюся роль в преобразовании российской армии. В «либеральную весну» 1880–1881 годов Дмитрий Алексеевич выступил за возобновление политики реформ и подал в отставку после поворота правительства к консервативному курсу. На всех постах он демонстрировал широкую образованность, высокую компетентность и профессионализм, незыблемые нравственные устои и несомненный талант государственного деятеля. На склоне лет бывший министр написал воспоминания, которые по сей день остаются крупнейшим памятником той эпохи.

Милютин родился 28 июня 1816 года в Москве, в небогатой дворянской семье. Его отец, Алексей Михайлович, имел чин действительного статского советника, но на государственной службе себя не проявил, в основном жил в деревне, занимаясь делами имения. Мать, Елизавета Дмитриевна, доводилась сестрой графу П. Д. Киселеву, крупнейшему реформатору николаевского царствования, стороннику освобождения крестьян. На воспитание детей она оказала большое влияние. Семья Милютиных стала «кузницей» выдающихся людей. Младшие братья Дмитрия — Николай, знаменитый государственный деятель, возглавивший подготовку отмены крепостного права и земской реформы, и Владимир, известный экономист и писатель, профессор Петербургского университета.

В 1832-м Д. А. Милютин окончил Благородный пансион при Московском университете, в следующем году поступил на военную службу и получил первый офицерский чин прапорщика. Уже в годы учебы проявились его способности к научным исследованиям. Он начал писать статьи в различные научные и литературно-общественные издания. В 1833–1836 годах Дмитрий Алексеевич сотрудничал в «Энциклопедическом лексиконе» А. А. Плюшара и «Военном энциклопедическом лексиконе» Л. И. Зедделера, для которых написал свыше ста пятидесяти статей в разделы математики, механики, астрономии, геодезии, физики и военных наук. С 1835 по 1836 год он учился в Императорской военной академии; окончив ее с малой серебряной медалью, был направлен в Гвардейский корпус, а через год переведен в Гвардейский генеральный штаб. В 1839–1840 годах Милютин служил на Кавказе и участвовал в боевых действиях против горцев. За отличие получил очередной чин капитана и в дальнейшем успешно продвигался по службе.

В 1840–1841 годах Дмитрий Алексеевич совершил продолжительное путешествие за границу, побывал в Германии, Италии, Франции, Великобритании, Бельгии,

Голландии, Швейцарии и некоторых других европейских странах. В Европе он почувствовал всю глубину контраста между Западом и Россией. «На каждом шагу бросается в глаза что-нибудь, возбуждавшее во мне грустные сравнения с родиной. С первого шага на германскую почву понял я, насколько наша бедная Россия еще отстала от Западной Европы», — записано в путевом дневнике 1840 года. С интересом изучая государственные институты Запада, Милютин признавал, что парламентская форма правления во многом способствовала превращению Англии в страну передовой культуры. При посещении палат депутатов и пэров в Париже его поразили речи знаменитых ораторов (Ф. Гизо, А. Ламартина, А. Тьера и др.) и содержание обсуждаемых законопроектов. Присутствие на заседаниях французских судебных учреждений убедили его в полном превосходстве гласного суда над российским закрытым судопроизводством. Впечатления о европейском правопорядке, уровне промышленного производства, организации и вооружении армий сыграли значительную роль в формировании мировоззрения Милютина, дали импульс его размышлениям о необходимости коренных преобразований в России. Однако он считал, что следует с осторожностью относиться к прямому заимствованию западных моделей и всякий раз учитывать особенности каждой страны.

В 1843 году Дмитрий Алексеевич получил должность обер-квартирмейстера войск Кавказской линии и Черномории, вновь участвовал в войне против горцев. В 1845-м вернулся в Петербург и занял должность профессора Императорской военной академии по кафедре военной географии (с 1847 года — военной статистики). Милютин, ставший основоположником этой науки в России, издал двухтомник «Первые опыты военной статистики» (СПб., 1847–1848). Под его руководством проводилось широкомасштабное военно-статистическое описание губерний Российской империи, результаты которого составили семнадцать томов (1848–1858).

Одновременно Милютин увлекся военной историей. В 1848 году Николай I поручил ему продолжить едва начатое исследование умершего историка А. И. Михайловского-Данилевского об итальянском походе А. В. Суворова. В 1852–1853 годах вышел в свет фундаментальный пятитомный труд «История войны 1799 года между Россией и Францией в царствование императора Павла I». В научных кругах труд сразу признали классическим. В 1853 году его автор был избран членом-корреспондентом Императорской Академии наук. Спустя несколько лет книгу перевели на немецкий язык. В 1866-м Петербургский университет присвоил Милютину степень доктора русской истории.

В годы преподавания и научных занятий Дмитрий Алексеевич близко сошелся со многими образованными и просвещенными людьми петербургского общества. Он регулярно посещал брата Николая, служившего в Министерстве внутренних дел и уже известного своими реформаторскими замыслами. В его доме собирался кружок друзей, который стал одним из центров формирования либеральной идеологии. В него входили чиновники разных ведомств: И. П. Арапетов, К. К. Грот, А. П. Заблоцкий-Десятовский, К. Д. Кавелин; экономисты В. П. Безобразов, К. С. Веселовский и Г. П. Небольсин; профессор энциклопедического права П. Г. Редкин и другие представители столичной интеллигенции. Это сообщество современники называли «партией петербургского прогресса».

Большинство участников кружка входили в недавно учрежденное Русское географическое общество, которое превратилось в крупнейший научный и культурный центр страны. Милютин вступил в члены общества в 1846 году. Председателем РГО был великий князь Константин Николаевич, второй сын Николая I. Программа общества далеко выходила за рамки чисто географических исследований. На заседаниях рассматривались актуальные вопросы современности, обсуждались проблемы социальных отношений и экономического развития России. Здесь будущие реформаторы приобретали научные и практические знания, навыки общественно-политической

деятельности. В РГО сложилась группа единомышленников, выступившая на историческую сцену в эпоху Великих реформ. Либерально мыслящие бюрократы и общественные деятели встречали радушный прием в салоне великой княгини Елены Павловны и в Мраморном дворце великого князя Константина Николаевича, которые покровительствовали реформаторскому движению.

Летом 1853 года, накануне войны с Турцией, военный министр князь В. А. Долгоруков привлек Милютина к работе в своем ведомстве. В сентябре он в составе Военно-походной канцелярии императора сопровождал Николая I в заграничном путешествии в Ольмюц и Потсдам. В апреле 1854-го был произведен в генерал-майоры, а через год — зачислен в свиту его императорского величества. В годы Крымской войны Дмитрий Алексеевич не участвовал в боевых действиях. Его работа протекала в совещательных учреждениях, занимавшихся разработкой мероприятий по укреплению обороноспособности империи. С октября 1854 года Милютин был делопроизводителем Особого комитета о мерах защиты берегов Балтийского моря, образованного под председательством цесаревича Александра Николаевича. Он познакомился с будущим императором, при котором пройдут наиболее плодотворные годы его государственной деятельности.

Поражение России в Крымской войне окончательно убедило Милютина в несовершенстве государственного механизма и военной системы империи. В обстановке начавшейся «оттепели» и пробуждения общественной активности он решил довести свои соображения до высшего начальства. В феврале 1856 года Милютин вошел в состав Комиссии для улучшений по военной части во главе с генералом Ф. В. Редигером. И уже через месяц представил записку «Мысли о невыгодах существующей в России военной системы и о средствах к устранению оных». Автор предлагал провести коренную военную реформу и отказаться от рекрутской повинности, неразрывно связанной с крепостным правом — главным препятствием на пути реорганизации армии.

Однако эти идеи не встретили поддержки в верхах. Более того, назначенный в апреле 1856 года новый военный министр Н. О. Сухозанет отказался утвердить Милютина в должности директора канцелярии, как это предполагалось ранее. В конце мая он подал в отставку, решив посвятить себя научным занятиям. Однако размышлять о предстоящих реформах не перестал. Вскоре Дмитрий Алексеевич составил записку о необходимости освобождения крестьян и представил ее великому князю Константину Николаевичу. В этом документе вновь подчеркивалась связь отсталости военной системы с крепостным правом. Ссылаясь на примеры Австрии и Пруссии, автор записки выступил за освобождение крестьян с выкупом земельных наделов в собственность. Эти предложения были созвучны рекомендациям других записок по крестьянскому вопросу, подготовленным в петербургском кружке К. Д. Кавелиным и Н. А. Милютиным.

Дмитрий Алексеевич недолго оставался не у дел. Он согласился на предложение кавказского наместника князя А. И. Барятинского (с 1859-го — генерал-фельдмаршала) и в октябре 1856 года стал исполняющим должность начальника Главного штаба Кавказской армии (утвержден в должности в декабре 1857-го). На Кавказе удалось реализовать многие идеи записки, составленной для комиссии Ф. В. Редигера. Милютин провел реорганизацию управления войсками и военными учреждениями края, что стало «репетицией» его будущих реформ. При непосредственном участии Дмитрия Алексеевича был разработан план окончательного покорения горцев Чечни и Дагестана. В 1858 году он получил чин генерал-лейтенанта, а в августе следующего года стал генерал-адъютантом. Неоднократно участвовал в рекогносцировках и перестрелках с горцами, а в августе 1859-го присутствовал при штурме укрепленного аула Гуниб и пленении имама Шамиля.

В разгар блестящих успехов на Кавказе Дмитрий Алексеевич получил Высочайший указ от 30 августа 1860 года, в котором ему повелевалось возвратиться в Петербург и занять пост товарища военного министра. Это назначение состоялось по рекомендации А. И. Барятинского и вопреки желанию Н. О. Сухозанета. Поэтому на первых порах положение Милютина было сложным. Военный министр, не допускавший нового помощника к важным делам, обрек его тем самым на роль пассивного наблюдателя рутины и застоя, в котором пребывало ведомство. Весной 1861 года в знак протеста Дмитрий Алексеевич подал рапорт о предоставлении ему длительного отпуска. Но в мае того же года Сухозанета назначили исполняющим должность наместника Царства Польского, а Милютин вступил в управление Военным министерством и в ноябре был утвержден в должности министра.

С этого момента в деятельности военного ведомства произошел резкий перелом, во всех его структурах закипела работа. Новый министр приступил к реорганизации вооруженных сил, которую рассматривал как составную часть общего реформаторского процесса. Энергичный, исключительно трудоспособный, полный новых замыслов, он являл собой полный контраст со своим предшественником. Общая программа преобразований была подготовлена в двухмесячный срок и 15 января 1862 года представлена Александру II в форме всеподданнейшего доклада. Высочайшая резолюция гласила: «Все изложенное в этой записке совершенно согласно с моими давнишними желаниями и видами». Отныне положения доклада стали официальной программой действий Военного министерства.

Свою главную цель Милютин видел в создании массовой армии европейского типа. Это означало сокращение непомерно высокой численности войск в мирное время (более миллиона человек) и способность к быстрой мобилизации в случае войны. Эффективность существовавшей в России рекрутской системы была очень низкой и несопоставимой с организацией вооруженных сил в европейских странах, где армия обходилась гораздо дешевле и в то же время обладала достаточной боеспособностью. В докладе министра ставились задачи реорганизации центрального военного управления и создания местных территориальных органов в виде военных округов; усовершенствования подготовки войск; преобразования системы военного образования; перевооружения армии и др.

Военные реформы проводилось поэтапно в течение целого десятилетия. По «Положению» 1864 года территория России была разделена на пятнадцать военных округов. Управления округа (артиллерийское, инженерное, интендантское, военно-медицинское) имели двойное подчинение — командующему войсками и соответствующим главным управлениям Военного министерства. По инициативе Милютина старое деление войск на корпуса упразднили, и высшей тактической единицей стала дивизия, однако через несколько лет корпуса восстановили. Военно-окружная реформа обеспечила оперативное руководство войсками с целью их быстрой мобилизации. В итоге реформы 1867 года была создана стройная система центрального военного управления, упразднены дублирующие структуры, аппарат министерства сократился почти на тысячу человек, вдвое уменьшилась канцелярская переписка. В 1868 году император утвердил «Положение о полевом управлении войск в военное время», которое уточняло функции главнокомандующего и его штаба, координацию их действий с окружными управлениями. Однако это нововведение страдало серьезными недостатками и на практике привело к излишней бюрократизации военного управления. «Положение» 1868 года считается специалистами наименее удачной реформой Милютина.

Приоритетное внимание министерство уделяло подготовке офицерских кадров. В середине 1860-х годов была проведена реформа системы военного образования. Милютин считал раннюю военную специализацию вредной для формирования

личности молодого человека. В кадетских корпусах традиции лихого удалства и корпоративный дух сочетались с рутинностью преподавания, профессиональной некомпетентностью и солдафонством. Министр упразднил кадетские корпуса и учредил военные гимназии — средние учебные заведения с программой близкой к курсу реальной гимназии. Таким образом предполагалось повысить общеобразовательный уровень будущих офицеров. Кроме того, на основе специальных классов бывших кадетских корпусов создавались военные училища, куда принимались лица, получившие среднее образование. В итоге значительно повысилось качество преподавания в военных гимназиях, улучшился контингент поступавших в военные училища. Офицерский корпус ежегодно стал пополняться более образованными и квалифицированными кадрами в количестве 600 человек. В ходе перестройки были созданы также юнкерские военные училища с двухгодичным сроком обучения. Для поступления в них требовались знания в объеме четырех классов среднего учебного заведения. Юнкерские училища ежегодно выпускали около полутора тысяч офицеров. Министерство проявляло заботу и о высшем военном образовании: в соответствии с новыми научными достижениями систематически пересматривались программы и учебные планы академий. Помимо уже существовавших трех академий (Генерального штаба, Артиллерийской и Инженерной) открылась Военно-юридическая академия.

Большая работа проводилась и с рядовым составом. Милютин, приверженный гуманистическим ценностям, действовал в соответствии с духом времени, апеллируя к личности солдата. Он стремился освободить низшие чины от изнурительной муштры, повысить уровень их обучения. В войсках была усовершенствована боевая, строевая и физическая подготовка, многое было сделано для распространения грамотности, регулярно стали выходить специальные издания «Солдатские беседы» и «Чтение для солдат», были организованы полковые и ротные библиотеки. Министерство значительно улучшило систему армейского здравоохранения, развернуло строительство казарм, увеличило размеры провиантского и фуражного довольствия, ввело более удобное обмундирование. Одновременно с принятием закона об отмене телесных наказаний 17 апреля 1863 года Милютину удалось добиться упразднения наиболее жестоких видов наказаний, применявшихся в армии (таких, как кошки, шпицрутены, плети, клеймение). Либеральная судебная реформа 1864 года позволила военному ведомству принять в 1867-м новый военно-судный устав, основанный на началах гласности и состязательности.

Венцом реформ стал Устав о воинской повинности от 1 января 1874 года. Теперь повинность должны были отбывать лица мужского пола всех сословий по достижении 21 года. Срок действительной военной службы ограничивался шестью годами для сухопутных войск и семью — для флота. Устав предоставлял населению ряд льгот по семейному положению: для единственного сына; для старшего сына при наличии братьев моложе 18 лет; для лица, непосредственно следующего по возрасту за братом, находящемся на военной службе. Устанавливались льготы и по образованию: срок действительной военной службы для лиц с высшим образованием составлял шесть месяцев, для окончивших гимназии — полтора года, прогимназии и городские училища — три года, для получивших начальное образование — четыре года. Введение всеобщей воинской повинности уничтожило одну из основных привилегий дворянства. Правда, реформа не была достаточно последовательной: устранялась от службы в армии значительная часть «инородческого» населения, освобождались от призыва лица духовного звания, допускались многочисленные отступления от закона в пользу представителей «высших» классов. И все же Устав обеспечил условия для создания обученных резервов и формирования в России массовой армии.

Милютин делал все возможное для перевооружения, строительства стратегических железных дорог и развития отечественной военной промышленности с целью сокращения зависимости от закупок за границей. При нем начался переход от гладкоствольных ружей и пушек к штуцерам и нарезным орудиям, заряжающимся с казенной части. В пореформенные десятилетия были построены новые военные предприятия, переоборудованы старые пороховые, ружейные и орудийные заводы, артиллерийские арсеналы. В 1869 году в Петербурге вступил в строй первый в России патронный завод. Однако низкие производственные мощности отсталой страны затрудняли техническую модернизацию вооруженных сил.

Нехватка средств очень тормозила реформы. На этой почве у Милютина обострились отношения с министром финансов М. Х. Рейтерном, который отказывался удовлетворять запросы военного ведомства. Этих государственных деятелей многое сближало: оба были выдвигенцами великого князя Константина Николаевича, формировались в одной идейной среде, принадлежали к когорте либеральных бюрократов, имели во многом общие представления о путях развития страны. Но в отстаивании интересов своих ведомств оказались непримиримы. Александру II не раз приходилось выступать в роли арбитра между двумя министрами. Впрочем, у Милютина не было особых оснований для жалоб на жесткую позицию финансового ведомства. В 1865–1875 годах ежегодные расходы на армию составляли треть государственного бюджета. При скудости казны дальнейшее увеличение ассигнований было просто невозможно.

Несмотря на исключительную занятость, Милютин не ограничивал свою деятельность военным делом. Он оказывал всемерную поддержку либеральным реформам, последовавшим за отменой крепостного права; отстаивал в верхах основные принципы преобразований: всеословность, гласность, равенство всех граждан перед законом. Для этого деятеля были характерны умеренность либеральных взглядов и взвешенность политических оценок. Он надеялся, что России удастся избежать как крайностей деспотизма, так и революционного экстремизма. Интересы государства он ставил выше сословных интересов дворянства, призывал «проститься навсегда с правами одной касты над другой» и отменить «отжившие привилегии», которые мешают развитию страны и укреплению государственной власти.

Дмитрий Алексеевич всячески содействовал своему другу, министру народного просвещения А. В. Головнину в реформировании системы образования, защищал основные начала земской реформы, разработанные его братом Николаем еще накануне освобождения крестьян, выступал за расширение компетенции и самостоятельности местного самоуправления. При обсуждении закона о печати 1865 года Милютин конфликтовал с министром внутренних дел П. А. Валуевым, считая жесткое ограничение свободы слова препятствием для развития гласности. Он отводил печати важную роль в обновлении России. Благодаря его усилиям газета «Русский инвалид» (с 1862 года — официальный орган Военного министерства) превратилась в авторитетное общественно-политическое издание, на страницах которого обсуждались не только специальные военные вопросы, но и актуальные проблемы российской жизни. Министр уделял газете много внимания, лично следил за подготовкой каждого номера.

Отстаивая реформаторский курс, Милютин, как и большинство либералов, продолжал верить в творческие силы монархии, в ее способность преобразовать Россию. Он был всецело предан Александру II, видел в нем Царя-освободителя и основной оплот происходящих в стране прогрессивных перемен. В одной из его записок середины 1860-х годов сказано: «реформа у нас может быть произведена только властью», так как в стране еще слишком сильны «брожение» и «разрозненность интересов». Поэтому «мысли о конституционных проектах должны быть отложены на многие лета».

Дмитрий Алексеевич считал совершенно необходимыми для политической стабильности России «сильную власть и решительное преобладание русских элементов». Однако, в его понимании, подобная власть не исключала ни личной свободы граждан, ни общественного самоуправления, а приоритет русской нации не означал подавление других народностей. «Тот, кто хочет истинного блага России и русского народа, кто думает более о будущем их, чем о настоящих эгоистических интересах, тот должен отвергать решительно все, что может или колебать власть единую и нераздельную, или подстрекать и потворствовать сепаратизму некоторых частей».

Лозунгу о единой и неделимой России при господствующем положении «русского элемента» Милютин оставался верен всю жизнь. Он принадлежал к сторонникам активной имперской политики, направленной на внешнюю экспансию и расширение границ государства. Приверженность либеральным идеям вполне органично сочеталась в его мировоззрении с крайней жесткостью и даже нетерпимостью в проведении подобной политики. Милютин выступил за беспощадное подавление польского восстания 1863–1864 годов, одобрил карательные меры генерал-губернатора М. Н. Муравьева («Вешателя») в Северо-Западном крае. Такой же линии он придерживался и по отношению к Остзейскому краю и Финляндии. Несмотря на возражения министра иностранных дел князя А. М. Горчакова, опасавшегося осложнений в отношениях с Великобританией, Милютин настаивал на завоевании Средней Азии. В 1867 году по его предложению туркестанским генерал-губернатором и командующим войсками округа был назначен генерал К. П. Кауфман, который стал претворять в жизнь наступательные планы военного министра.

При осуществлении реформ Милютину приходилось преодолевать сопротивление мощной оппозиции в верхах. После покушения Д. В. Каракозова на Александра II в 1866 году во внутренней политике усилились консервативные тенденции. Ведущее положение в правительстве заняла группировка начальника III отделения собственной Его Императорского Величества канцелярии графа П. А. Шувалова. В нее входили также сменивший А. В. Головнина министр народного просвещения граф Д. А. Толстой, министр внутренних дел А. Е. Тимашев, министр юстиции граф К. И. Пален, председатель Комитета министров князь П. П. Гагарин и некоторые другие высшие сановники. Пересмотр либерального законодательства 1860-х годов сочетался в планах консерваторов с замыслом о введении в России конституции в олигархическом варианте. Поэтому ярко выраженный «антиконституционализм» Милютина тех лет во многом объяснялся тактическими соображениями — и его, и других либеральных бюрократов тревожили притязания аристократической верхушки на раздел власти с троном.

Консервативная группировка начала против военного ведомства настоящую кампанию. Военного министра подозревали в скрытом либерализме, считали, что он, как и его брат Николай, стоит на радикальных позициях. Консерваторы встречали в штыки его выступления против дворянских привилегий. В 1868 году Шувалов и Тимашев обвинили «Русский инвалид» «во вредном направлении», докладывали Александру II, что газета «возбуждает неосуществимые надежды крестьян». В результате этой интриги Милютин потерял свое любимое детище. В следующем году «Русский инвалид», ставший официальным органом Генерального штаба, сосредоточился на публикации чисто военных материалов.

Острая борьба по вопросам народного просвещения разгорелась между Милютиным и Толстым — ярким сторонником классического образования. В Государственном совете военный министр неизменно вступал со своим оппонентом в жаркие споры. Он доказывал, что классическое образование, при всех его достоинствах, нельзя развивать за счет технических и естественно-научных дисциплин, что древние языки и знание античной культуры сами по себе не смогут отвлечь молодежь от революционных

устремлений: «благодетельное или вредное влияние обучения зависит от приемов обучения, а не от сущности самой науки». При этом Дмитрий Алексеевич не ограничивался одними речами, а принимал деятельное участие в создании противовеса толстовскому «классицизму» — сети реального образования, ориентированного на изучение прикладных наук, в которых крайне нуждались промышленность и реформируемая армия.

Немало противников у министра было и в военных кругах. Некоторые генералы с беспокойством восприняли многие нововведения, возмущались их социальной направленностью. С наиболее ожесточенными нападками на реформы, в частности на систему военных округов и нового полевого устава, выступил А. И. Барятинский, бывший начальник Милютина. Фельдмаршал предполагал, что русская армия будет перестроена по прусскому образцу, министр станет ведать административным управлением и снабжением, а сам он займет ключевой пост начальника штаба. Но Милютин ориентировался на пример Франции, где министр являлся единственным руководителем военного ведомства. Поэтому в 1868 году разочарованный Барятинский ушел в отставку. Вдохновляемый им известный военный публицист Р. А. Фадеев в серии статей резко раскритиковал мероприятия Военного министерства.

В какой-то момент показалось, что положение Милютина в верхах заметно пошатнулось. Однако молниеносный разгром Франции в войне с Пруссией в 1870 году заставил правительственные круги задуматься о состоянии армии и повышении ее боеспособности. Глава военного ведомства воспользовался этим, чтобы поставить вопрос о введении всеобщей воинской повинности. Шуваловская группировка резко выступила против этой инициативы, защищая привилегии дворянства. Борьба растянулась на несколько лет; Дмитрий Алексеевич проявил твердость и даже заявил о своей готовности уйти в отставку. Тем не менее эта конфронтация завершилась его победой: Александр II предпочел поддержать военного министра, внутренне сознавая его правоту.

Принятие в 1874 году закона о всеобщей воинской повинности совпало с падением всесильного начальника III отделения. Отныне Милютин стал самым влиятельным лицом в высших сферах власти. К нему постоянно обращались с просьбами о содействии, его мнение запрашивали при решении всех принципиально важных вопросов внутренней и внешней политики. Канцлер А. М. Горчаков из-за преклонного возраста потерял прежнюю активность, и роль военного министра в иностранных делах значительно возросла. С уходом П. А. Шувалова германофильская группировка в верхах частично утратила прежнее влияние. И все же Милютину, который всегда выступал противником этого направления, не удалось добиться пересмотра внешнеполитической ориентации. Династические связи между двумя императорскими семьями были слишком тесными. Поэтому военный министр с тревогой наблюдал за действиями канцлера О. фон Бисмарка, всячески демонстрировавшего сближение с Россией и стремившегося вторично разбить Францию, чтобы обеспечить Германии гегемонию в Европе.

Одновременно Милютин внимательно следил за развитием отношений России с Турцией. За два месяца до начала русско-турецкой кампании он представил Александру II записку, в которой, признавая пагубность войны для России, указал на необходимость прямого военного вмешательства в события на Балканах. По его словам, восточный вопрос является «русским», что означает «исключительное право» России оказывать покровительство христианам, страдающим под турецким игом. Своей запиской Милютин рассчитывал в разгар балканского кризиса побудить императора к решительным действиям. Сторонники войны в окружении Александра II составляли большинство, однако были и противники. Министр финансов М. Х. Рейтерн выступил против столкновения с Турцией, грозившего России расстройством государственных

финансов и экономическими потрясениями. Однако император пренебрег интересами народного хозяйства. После долгих колебаний он уступил давлению общественного мнения и требованиям военной «партии» во главе с Милютиным.

Война 1877–1878 годов стала проверкой эффективности военных реформ. Первая в истории России мобилизация была проведена достаточно оперативно. Войска успешно форсировали Дунай и вступили на болгарскую землю. Но последующие действия складывались для русской армии неудачно. Главная причина заключалась в некомпетентности и бездарности Верховного командования. Назначение на высшие военные посты оставалось прерогативой императора. Порочность этой практики проявилась и в русско-турецкую кампанию. В ней участвовали двенадцать великих князей, каждый из которых отнюдь не блистал полководческими дарованиями. Главнокомандующий великий князь Николай Николаевич и его окружение открыто враждовали с Милютиным, не желая прислушиваться к его рекомендациям. Они отвергли план стремительного наступления на Константинополь через центральные районы Болгарии в обход турецких крепостей, выработанный начальником Главного штаба Н. Н. Обручевым. Великий князь предпочел рассредоточить войска для решения второстепенных задач. В итоге армия оказалась в «котле» между четырехугольником турецких крепостей на востоке, Плевной — на западе и Балканами — на юге.

Однако и Милютин несет свою долю ответственности за неудачи и огромные человеческие жертвы. Его реформы в целом не привели к пересмотру устаревшей тактики, доказавшей свою полную несостоятельность еще в Крымскую войну. В армии продолжали исповедовать суворовский принцип «пуля — дура, штык — молодец». Приверженцем этой национальной традиции был и сам Дмитрий Алексеевич. Войска шли в атаку густыми ротными колоннами и не открывали огня, пока не приближались к противнику на несколько сотен шагов, а иногда и вообще не стреляли. Знаменитый генерал М. Д. Скобелев вел полки на турецкие позиции плотными массами, с развевающимися знаменами и под бодрые звуки оркестра. Это приводило к колоссальным потерям. Лишь постепенно офицеры и солдаты усваивали необходимость атаковать в стрелковых цепях, учились рассредоточиваться, окапываться и укрываться.

Успешному ходу войны не способствовали также личное присутствие Александра II на театре боевых действий и его постоянное вмешательство в управление войсками. При самодержце военный министр лишался реальных полномочий. Тем не менее, когда после третьего неудачного штурма Плевны император и командование склонялись к отводу армии за Дунай на зимние квартиры, именно Милютин настоял на проведении четвертого штурма, который привел к падению крепости. В конце ноября 1877 года, вручая военному министру орден Св. Георгия 2-й степени, Александр II сказал ему с благодарностью: «Я не забыл этой заслуги твоей; тебе мы обязаны нынешним нашим успехом». В августе 1878 года Дмитрий Алексеевич был возведен в графское достоинство.

В послевоенные годы влияние Милютина в верхах еще более усилилось. С уходом А. М. Горчакова в длительный отпуск он стал фактически направлять внешнюю политику государства. Его международный авторитет необычайно возрос. В дипломатической переписке он фигурирует как один из тех, в чьих руках «покоится европейский мир». Бисмарк в письме к баварскому королю Людвигу II прямо утверждал, что «руководящим министром, насколько таковой имеется ныне в России, стал военный министр Милютин». Дмитрий Алексеевич оказался дальновиднее многих видных сановников и самого Александра II, своевременно осознав опасность для России роста экономического потенциала и военной мощи Германии. Позиция министра вызывала тревогу у Бисмарка и других правителей соседней империи, которые видели в нем противника проводимой ими европейской политики.

Дмитрия Алексеевича занимали также вопросы внутреннего положения в стране. Его настораживали рост революционного движения и склонность радикально настроенной молодежи к терроризму. Осенью 1879 года он составил записку «Мысли о необходимых преобразованиях в управлении, в учебной части и духовенстве». В ней предлагалось реформировать Государственный совет: ввести в его состав выборных представителей от земств в равном количестве с членами по назначению; по замыслу автора это стало бы логическим продолжением земской реформы. Рекомендовалось также укрепить центральную исполнительную власть — создать Совет министров, то есть единое правительство, которое будет вырабатывать общую программу, проводить согласованную политику и нести за нее коллективную ответственность.

В феврале 1880 года, в обстановке общественного брожения и череды покушений со стороны террористов, Александр II призвал на пост председателя вновь учрежденной Верховной распорядительной комиссии генерала М. Т. Лорис-Меликова и наделил его чрезвычайными полномочиями. После упразднения комиссии в августе этого же года Лорис-Меликов стал министром внутренних дел. «Диктатор» сделал ставку на возобновление политики реформ и союз с лояльными монархии общественными силами. Милютин, с его авторитетом, стал для него незаменимым союзником. В коалицию либеральных бюрократов вошел также председатель Департамента государственной экономии Государственного совета А. А. Абаза, занявший в октябре 1880 года пост министра финансов. «Триумвиров» поддерживал председатель Государственного совета великий князь Константин Николаевич. Либеральные министры выдвинули программу, которая предусматривала: меры по преодолению крестьянского малоземелья, реформирование налоговой системы, пересмотр паспортного устава, урегулирование взаимоотношений наемных рабочих и предпринимателей, дарование прав раскольникам, преобразование губернских административных учреждений, смягчение цензуры и др.

Для создания механизма разработки и обсуждения намеченных реформ был подготовлен проект образования двух временных подготовительных комиссий (административно-хозяйственной и финансовой). Они состояли из назначенных чиновников разных ведомств и «сведущих лиц» из числа специалистов-практиков, находящихся на государственной и частной службе. Для рассмотрения законопроектов, подготовленных в этих комиссиях, предполагалось создать общую комиссию, включающую членов подготовительных комиссий и выборных представителей земских и городских учреждений. Одобренные комиссией законопроекты должны были передаваться для окончательного обсуждения в Государственный совет. Все эти комиссии носили чисто совещательный характер и не обладали правом законодательной инициативы. Проект получил название «конституции» Лорис-Меликова. Несмотря на крайнюю ограниченность декларируемого в нем «народного представительства», реализация подобной инициативы могла стать принципиальным шагом на пути преобразования государственной системы.

Проект был одобрен в Особом совещании, это решение 17 февраля 1881 года утвердил Александр II. Он назначил на 4 марта заседание Совета министров, чтобы заслушать доклад Лорис-Меликова и обсудить текст правительственного сообщения о созыве подготовительных комиссий. Однако убийство императора 1 марта в корне изменило ситуацию в стране. Новый самодержец, испытавший шок от гибели отца, не был склонен идти на уступки обществу. Фактически судьба «конституции» решилась на заседании Совета министров 8 марта. Большинство присутствующих выступили за утверждение проекта. Милютин заявил, что «почти все прежние реформы разрабатывались также с участием представителей местных интересов» и что «оставить это ожидание неудовлетворенным гораздо опаснее, чем предложенный призыв к совету зем-

ских людей». Однако Александра III гораздо больше впечатлило отрицательное мнение меньшинства. Самой непримиримой была речь обер-прокурора Святейшего синода К. П. Победоносцева, назвавшего Великие реформы «преступной ошибкой». В итоге император распорядился еще раз обсудить проект.

Милютина переполняли самые мрачные предчувствия относительно будущего России. «Реакция под маской народности и православия — это верный путь к гибели для государства», — записал он в дневнике в те мартовские дни. И все же некоторое время еще оставалась надежда на благоприятный исход дела. Однако манифест 29 апреля 1881 года о незыблемости самодержавия означал крах замыслов либеральных министров. В начале мая Лорис-Меликов и Абаза подали в отставку; 22 мая за ними последовал Милютин. Но и после ухода из Военного министерства он продолжал пользоваться в верхах и обществе большим авторитетом. Дмитрий Алексеевич остался членом Государственного совета и сохранил звание генерал-адъютанта. Накануне отставки ему пожаловали украшенные алмазами портреты Александра II и Александра III.

В дальнейшем Милютин почти безвыездно жил в своем имении Симеиз на Южном берегу Крыма; писал мемуары и приводил в порядок свой архив. Правительство не забывало о его заслугах. В мае 1883 года его пригласили в Москву для участия в коронации Александра III. В августе 1898-го, когда Дмитрий Алексеевич приехал в Москву на открытие памятника Александру II, он был произведен в генерал-фельдмаршалы. Он — последний военный императорской России, получивший это звание. 11 апреля 1904 года, в день пятидесятилетия состояния в генеральских чинах, ему были пожалованы украшенные алмазами портреты Николая I и Николая II. Скончался Милютин 25 января 1912 года, на три дня пережив свою жену Наталью Михайловну, с которой прожил почти семьдесят лет.

Дмитрий Алексеевич сделал все возможное, чтобы в эпоху Великих реформ использовать появившийся у России исторический шанс для назревшей глобальной перестройки. В этом стремлении он видел свой высший гражданский долг. Как государственный деятель не поддавался растлевающему соблазну власти, был честен и бескорыстен. «На пути своем служебном никогда я не гонялся за наградами, никогда не придавал им значения. Предпочитаю быть кредитором, чем должником», — так выразил однажды Милютин свое жизненное кредо. Даже противники военного министра признавали его высокие деловые и моральные качества. «Дай Бог, чтобы в России было поболее Милютиных», — заявил генерал В. Д. Кренке, не раз критиковавший его нововведения. А один из высших чиновников Министерства внутренних дел Е. М. Фектистов, отнюдь не однозначно относившийся к Дмитрию Алексеевичу, признал, что, «ни в ком не заискивая и никому не угождая, он пролагал себе дорогу лишь своими заслугами».

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ МИЛЮТИН:
*«Правительству, и только ему одному,
принадлежит всякий почин в каких бы то
ни было реформах на благо страны...»*

ИГОРЬ ХРИСТОФОРОВ

История российской государственности предреволюционного века сохранила не так уж много имен, ставших по-настоящему знаковыми для современников и потомков; имен, олицетворявших собой целую программу политического и социального развития страны. Сейчас, благодаря отечественным и зарубежным исследованиям последних десятилетий, в первую очередь работам Б. Линкольна, Ф. Старра, Д. Филда и Л. Захаровой, появление имени Николая Алексеевича Милютина (1818–1872) в ряду государственных деятелей масштаба Сперанского, Витте или Столыпина уже никого не удивит. А между тем в начале XX века о нем мало кто помнил (одна из немногочисленных его биографий того времени называлась «Забытый государственный человек»), его роль в реализации крупнейшего реформаторского проекта Нового времени — так называемых Великих реформ Александра II — оставалась неясной, а смысл программы, которую отстаивали он и его единомышленники, интерпретировался порой диаметрально противоположно.

В достижениях и неудачах каждого государственного деятеля отражается его собственная историческая эпоха, в судьбе лишь немногих — еще и будущее. В не слишком богатой событиями, но полной внутреннего напряжения и парадоксов жизни Н. А. Милютина несложно различить мотивы, многие десятилетия звучавшие потом (порой — оглушительно громко) в жизни Российского государства.

Николай Алексеевич родился 6 июня 1818 года в Москве. Дворянский род Милютиных не отличался ни древностью, ни большими заслугами перед отечеством. Еще в 1803 году на двадцатитрехлетнего отца Николая, Алексея Михайловича, не успевшего толком начать самостоятельную жизнь, обрушилось тяжкое бремя — наследство, которое принесло с собой не благосостояние, а колоссальные долги. Ему пришлось прикладывать огромные и безнадежные усилия для поддержания доброго имени, чести и социального статуса семьи (в конце концов, после многих лет борьбы он все-таки обанкротился). Так что жизнь Николая, его братьев и сестер началась в обстановке, когда приходилось считать каждый рубль; думая о своем будущем, они могли надеяться исключительно на собственные силы. Правда, мать, урожденная Киселева, связала Милютиных с весьма влиятельным в обеих столицах дворянским родом. (Один из его представителей, Павел Дмитриевич, пользовался расположением Александра I, а позже стал одним из любимцев Николая I и крупнейшим государственным деятелем его царствования.) Но родственники Елизаветы Дмитриевны не без основания считали ее брак мезальянсом и, хотя не раз выручали Милютиных в трудные минуты, все же подчеркнуто выдерживали дистанцию.

Семья много времени проводила и в родовом доме в Москве (в сохранившем свое название до наших дней Милютинском переулке), и в подмосковном имении. Однако Николай (как и самый, пожалуй, близкий ему человек — старший брат Дмитрий) не

испытывал позже никакой ностальгии ни по помещному быту с его стабильностью, патриархальной расслабленностью и чувством социальной защищенности, ни по жившей на широкую ногу аристократической Москве. Вплоть до 1869 года, когда уже смертельно больному Н. А. Милютину был пожалован за заслуги майорат в Царстве Польском, у него не имелось никакой земельной собственности — факт нередкий в среде петербургской бюрократической элиты, но тоже сыгравший определенную роль в формировании симпатий и пристрастий государственного деятеля.

Парадоксально, но будущий ярчайший представитель так называемой просвещенной бюрократии получил весьма поверхностное образование. Сначала оно было домашним (уже в восемь лет Николай вместе с десятилетним Дмитрием читали одно из самых популярных литературных произведений того времени — «Историю» Карамзина), затем продолжилось в московской гимназии, а завершилось в Благородном пансионе при Московском университете. Уровень гимназического образования в первой половине XIX века был очень низким, а социальный состав учащихся не отличался блеском. Да и Благородный пансион — вроде бы элитарное заведение — давал лишь некий эрзац знаний. К тому же порывистый и горячий Николай, в отличие от аккуратного Дмитрия, не мог похвастаться ни усидчивостью, ни аккуратностью в учебе. «Натуры их были совершенно различные, — вспоминал много позже близко знавший обоих братьев мемуарист. — Николай Милютин был весь огонь, страсть, увлечение; с неудержимым пылом высказывал он все, что накопилось у него в душе, это нередко коробило Дмитрия Алексеевича». Николая увлекали литература и театр, романтические внутренние переживания, ждала же — карьера чиновника...

В 1835 году семнадцатилетний юноша отправляется в Петербург устраиваться на службу. Благодаря протекции могущественного дяди он получает место помощника столоначальника в Хозяйственном департаменте Министерства внутренних дел. Функции этого ведомства в тогдашней Российской империи были необычайно широки и многообразны, атмосфера в нем царил по-настоящему мертвящая. На низших уровнях бюрократической иерархии, куда, собственно, и попал Милютин, человек его психологического склада должен был просто задыхаться от отсутствия живого дела. При этом крайняя ограниченность средств и скромное происхождение не позволяли ему окунуться в светскую жизнь, которая облегчала многим молодым людям прохождение начальных этапов служебной карьеры. Неудивительно, что Николай находился, по собственным словам, «в меланхолическом и самом раздраженном состоянии». «Читаешь подъяческие создания, распутываешь мошеннические увертки, борешься с безграмотностью, злонамеренностью, глупостью — и вот встаешь со стула, истратив последние силы ума, убив последнюю живость свою...» — так описывал он свои впечатления брату Дмитрию.

Вдохнуть живой воздух получалось, лишь вырвавшись из «тлетворной петербургской атмосферы». К счастью для Милютина, он попал в департамент, отвечавший за состояние «местного хозяйства» — то есть за разнообразную, хотя и не слишком увлекательную тогда жизнь российской провинции. По справедливому наблюдению современного американского биографа Милютина и известного специалиста по николаевской бюрократии Брюса Линкольна, сделать успешную карьеру в той системе можно было, лишь став признанным и незаменимым для начальства «экспертом» в какой-либо сфере. Для Николая Алексеевича такой сферой стали статистика и знание условий местного, провинциального хозяйства.

Дело в том, что одна из фундаментальных проблем тогдашней администрации — отсутствие сколько-нибудь надежной информации с мест. Государство, претендовавшее на то, чтобы направлять и регулировать все стороны жизни страны, и казавшееся современникам всемогущим, на деле было полуслепым, а потому в значительной сте-

пени бессильным. Между столичными канцеляриями и местными органами власти (особенно на уездном уровне) простиралась глубокая пропасть. Мелочный контроль и регламентация во многом рождались из обоснованного недоверия центральных учреждений к своим местным агентствам. Однако всякая попытка усилить контроль вела лишь к его формализации и заполнению скудных каналов коммуникации тоннами бумаги. Реально следить за ходом дел центральная власть была не в состоянии; *de facto* она была вынуждена навязывать исполнение своих задач многочисленным местным органам, в том числе и выборно-сословного характера, которые воспринимали эти обязанности как тяжкую обузу. Да и государственная статистика находилась в младенческом состоянии, занимаясь рутинным описанием того, что удавалось увидеть чиновникам. Были случаи, когда правительство годами продолжало выделять средства на содержание давно упраздненных казенных заведений.

В конце 1830-х и в 1840-х годах Николай Милютин сравнительно много и плодотворно ездил по России, составляет многочисленные аналитические записки по вопросам народного продовольствия, казенных имуществ, организации городского хозяйства, железнодорожного строительства. Многочисленному приходилось учиться с нуля. Едва ли уже тогда у Николая Алексеевича сложился некий план всеобъемлющих преобразований. И по форме, и по существу его взгляды в это время не выходили за пределы меркантилистской доктрины «хорошо управляемого государства». В соответствии с ней именно правительственная власть, должным образом рационализированная и опирающаяся на профессиональную бюрократию и на знание собственных ресурсов и условий народного быта, является главной движущей силой развития страны. Именно правительству, стоящему над частными, порой эгоистическими интересами отдельных групп, принадлежит преимущественное право заботы об «общем благе». Такое представление в целом соответствовало как традиционной идеологии самодержавия со времен Петра I, так и европейским просвещенческим доктринам. Правда, в первой половине XIX века гораздо более влиятельной в Европе (за пределами германоязычного мира) была иная, либеральная экономическая концепция. В соответствии с принципом *laissez faire, laissez passer* она предполагала максимально возможное невмешательство государства в социальную и экономическую сферы, в жизнь подданных вообще.

Понятно, что для крепостнической России эта доктрина, у которой в Петербурге середины столетия появилось уже немало приверженцев, оставалась не более чем отвлекающей, умозрительной конструкцией. Проблема заключалась не только в том, что власть не позволяла обществу и экономике «саморегулироваться», но и в инфраструктурной отсталости экономики, в неготовности самого общества к самоорганизации и самодеятельности. Характерным примером может служить история с Нижегородской ярмаркой. В середине 1850-х годов под руководством Н. А. Милютина (тогда уже директора департамента) правительство разработало целый ряд мер по рационализации торговли на этой крупнейшей в империи «рыночной площадке». Здесь в порядке эксперимента организовали торговую биржу с маклерами, коммерческий банк для кредитных операций и т.п. Однако, посетив ярмарку в 1857 году, Милютин — уже зрелый, сложившийся государственный деятель — был глубоко разочарован. «То, что я видел в губерниях, поколебало много *последних* иллюзий, — сообщал он брату. — Я пожил на ярмарке, которую недаром называют всемирным торгом, где устанавливаются цены на целый год, где решаются экономические интересы чуть ли не целой России. И что же? Миллионные дела решаются точно так же, как мелкое барышничество... Все предано случаю, взаимному надуванию, кулачеству... отсюда отсутствие всякой гласности, всякой правильности, всех удобств, которые считаются первою потребностью рынка». Предложенные Милютиным улучшения оказались невостребованными, и он, вынужденный признать их непригодность, отозвал из Государственного совета уже подготовленный законопроект.

Воплощение другого, более раннего реформаторского проекта Милютина также имело далеко не однозначные послышки и итоги. В 1842 году Николаю Алексеевичу фактически поручили разработку новых оснований устройства управления городским хозяйством (пользуясь современными терминами — муниципальной реформы). Созданные еще Екатериной Великой учреждения (императрица считала, что городами должны управлять «городские» сословия — купцы, мещане и ремесленники) к этому времени в полной мере продемонстрировали свою мертворожденность. Предложения Милютина, реализованные после 1846 года (правда, не во всей империи, а лишь в Петербурге), были достаточно скромными. К участию в Городских думах (Общей и Распорядительной) допускались дворяне и почетные граждане, обладавшие в городе недвижимостью, повышался имущественный ценз, а значит, способность выборных реально участвовать в обсуждении дел. Примерно 6000 горожан выбирали из своего состава 600–700 гласных Общей думы и 12 депутатов — Распорядительной. При этом министерство и не думало доверять выборным всю полноту власти над городом: функции самоуправления в значительной степени оставались формальными, а само оно было поставлено под полный контроль правительства. Тем не менее заинтересованность выборных в городских делах серьезно выросла, а за Милютиным закрепилась совершенно не заслуженная им слава «красного». Бюрократов «старой школы» пугали само наличие многолюдного представительства и его «несовместимость с самодержавием», многих дворян оскорблял его чрезмерный, как им казалось, демократизм и при этом — «зависимость от бюрократии».

На самом же деле в основе реформы лежало желание улучшить качество управления и одновременно пробудить, расшевелить общество, не затрагивая при этом основ существовавшего административного порядка. Как и во многих менее масштабных милютинских проектах николаевской эпохи, в этом в полной мере проявились его качества профессионального бюрократа новой генерации: прагматизм, основательность проработки информации, отсутствие сословно-классовых предрассудков, оперативность, умение сформировать команду единомышленников и опираться на нее.

Это последнее качество заслуживает особого внимания. Каким образом в недрах консервативной, стагнирующей системы сложился целый слой людей, прогрессивно мыслящих, понимающих необходимость перемен и при этом не склонных к тотальному ниспровержению существующего порядка, словом — слой *реформаторов*? Этот вопрос привлекал и продолжает привлекать внимание исследователей. Появились ли они благодаря или вопреки системе, представляли ли в ней маргинальный элемент или являлись авангардом бюрократической элиты? Ответить однозначно едва ли возможно, однако ясно, что реформаторская генерация появилась не случайно; что стала она не совокупностью одиночек, а именно слоем людей с близким мировоззрением, уровнем образования и социальным статусом; что выросла она в рамках не одного, а многих столичных ведомств; наконец — что ее представители не замыкались в пространстве петербургских канцелярий. Способом выйти за их пределы служили командировки в провинциальную Россию и реальное знакомство с условиями народного быта.

Другое, принципиально новое для страны явление возникло в 1840–1850-х годах, когда сложился некий прообраз публичного пространства (основы гражданского общества). Преодолевая ведомственные, профессиональные, групповые и корпоративные границы, в нем встречались и обменивались идеями чиновники и ученые, публицисты и писатели. Особую роль играли литературные и некоторые светские салоны и кружки, немногочисленные прогрессистские журналы («Современник», «Отечественные записки»), ученые общества (особенно созданное в 1845 году под председательством либерально настроенного великого князя Константина Николаевича Русское Географическое общество). В числе единомышленников Милютина мы находим

много будущих деятелей реформ: А. П. Заблоцкого-Десятовского, К. И. Домонтовича, Я. А. Соловьева, князя Д. А. Оболенского, К. К. Грота, В. П. Безобразова, К. С. Веселовского, Г. П. Небольсина, И. В. Вернадского, Ю. А. Гагемейстера. На вечерах у Н. И. Надеждина и И. И. Панаева Николай Алексеевич встречался с Н. А. Некрасовым, В. П. Боткиным, П. В. Анненковым, К. Д. Кавелиным, Б. Н. Чичериним, И. С. Тургеневым и многими другими блестящими представителями интеллектуальной элиты.

В придворных кругах глубокий интерес к новым идеям проявляла великая княгиня Елена Павловна — жена Михаила Павловича, брата Николая I. Милютин, появившийся в ее салоне еще в конце 1840-х и ставший там завсегдатаем, вводил великую княгиню в круг «прогрессистских идей». В начале царствования Александра II именно покровительство Елены Павловны, к которой новый император прислушивался, обеспечило успех многим начинаниям реформаторов. Наконец, молодое поколение бюрократов не смогло бы ничего достичь при Николае I (если не в реализации своих планов, то хотя бы в карьерном продвижении) без сочувствия и поддержки некоторых сановников «старой школы». В жизни Милютина большую роль сыграли его начальник — министр внутренних дел граф Л. А. Перовский, и особенно родной дядя — граф П. Д. Киселев. В 1840–1850-х годах его прежняя отчужденность от племянников постепенно исчезает, он часто встречается с Николаем Алексеевичем, ведет с ним «продолжительные беседы с глазу на глаз». Влияние опыта киселевской реформы государственной деревни 1840-х годов на «милютинскую» программу отмены крепостного права несомненно. Позже, на рубеже 1850–1860-х, роль сановных покровителей Милютина возьмут на себя министр внутренних дел С. С. Ланской и друг Александра II Я. И. Ростовцев.

С восшествием на престол Александра II в 1855 году и поражением в Крымской войне на повестке дня оказалась разработка программы всеобъемлющих реформ. Внимание правительственных и общественных кругов обратилось прежде всего на критическое состояние военной, административной и финансовой сфер. Однако ни один сторонник перемен не сомневался: камнем преткновения на пути любых преобразований всегда будет оставаться крепостное право.

Первая — и главная — трудность в деле его отмены заключалась в том, что, вставая на этот путь, правительство вторгалось в сферу, которая фактически не входила в «зону» его ответственности. Помещичья деревня всегда ускользала от бюрократического контроля, во-первых, из-за отсутствия у власти реальных инструментов получения информации и воздействия на местах, а во-вторых, из-за признанной невозможности посягать на «частную собственность» помещиков без их на то воли. Но ожидать, пока такая воля сформируется и выразится, означало бы вообще отказаться от реформы. Вырисовывался замкнутый круг: правительство не только политически, но даже технически, за неимением данных и достаточного количества чиновников, ничего не могло сделать с крепостным правом помимо помещиков, обращение же к ним за содействием связывало его по рукам и ногам. Существовало здесь и финансовое измерение: в условиях банковского кризиса и бюджетного дефицита финансирование реформы государством считалось нереальным, признать же ее зоной «частных соглашений» и «свободных контрактов» помещиков и крепостных опять-таки значило похоронить все дело. Отмена крепостного права осложнялась также тем, что единого взгляда на смысл реформы в верхах не существовало, а потенциальные реформаторы типа Милютина, которые могли бы взять на себя ответственность за ее разработку, не располагали нужным для этого влиянием.

Тот факт, что реформа в подобных условиях все-таки была подготовлена и принята, причем в рекордно короткие сроки, всего за четыре года, выглядит поистине удивительным. Сложно переоценить роль, которую сыграли в ее продвижении всего

несколько человек — лидеры так называемых Редакционных комиссий: Ю. Ф. Самарин, князь В. А. Черкасский и — последний в перечне, но не по значению — Н. А. Милютин. Он был среди них единственным профессиональным чиновником, прекрасно знакомым с подводными течениями и узкими местами бюрократических рек. Тонкий политик и при этом необычайно горячий, преданный делу и способный работать над ним день и ночь человек, Николай Алексеевич был, по выражению председателя Редакционных комиссий Я. И. Ростовцева, «нимфой Эгерией» этого необычайного органа, а фактически — коллектива единомышленников, который был создан в начале 1859 года.

У Милютина не было специального опыта в крестьянском вопросе. Он лишь совершил продолжительную поездку по деревням Центральной России в 1840 году, во время неурожая, и участвовал в разработке мер по его преодолению, а кроме того, конечно, внимательно наблюдал за реформированием государственной деревни, которым занимался П. Д. Киселев. Тем не менее уже в октябре 1856 года — то есть еще до первого правительственного «приступа» к реформе — Николай Алексеевич выступает с программной запиской. В ней пока еще в общих чертах сформулированы стратегические принципы: правительственная инициатива; постепенность; «дружное взаимное действие правительства и помещиков» (заведомая нереалистичность этого тезиса выдает его риторический характер); гласность «под непосредственным надзором правительства» — чтобы «в обществе сложились финансовые и экономические понятия»; но самое важное — необходимость избежать появления класса «бездомных сельских пролетариев, всегда находящихся в брожении и готовых стать орудием политических смут и переворотов». Отсюда проистекала бесспорная для Милютина задача: гарантировать освобождение крестьян с землей за выкуп.

Записка была подана императору Еленой Павловной и отклонена им, но легла в основу проекта, частным образом составленного как образец для одного из крупных имений великой княгини — Карловки. При его разработке Милютин впервые высказал принципиальную идею, которую позже предложил и в Редакционных комиссиях: по его мнению, необходимо иметь некий фонд свободных земель, из которого в будущем можно было бы наделять новые крестьянские тягла. Таким образом, речь шла уже не об обеспечении *данных* крепостных крестьян, а о некоей постоянной правительственной программе *социального обеспечения* крестьян, или, иными словами, *воспроизводства* их в этом социальном качестве. С одной стороны, эта мысль в век, когда рыночно-индивидуалистическая теория господствовала в умах экономистов, а концепция «социально ориентированного государства» только начинала оформляться в Западной Европе, была по-настоящему революционна для России. С другой, она, несомненно, корреспондировала с традиционной попечительской идеологией, предполагавшей, что самодержавная власть обязана заботиться о благосостоянии «меньшой братии». Это соответствие Милютин мастерски использовал и в дальнейшем, не раз затрагивая чувствительные струны в душе Александра II и нейтрализуя любые обвинения в колебании «частнособственнических устоев» указанием на классовый эгоизм обвинителей.

Конечно, раздававшиеся в адрес Милютина упреки многочисленных врагов и недоброжелателей (в основном из помещичьей среды) в «социалистической ереси» необоснованны. Вместе с тем нельзя его отнести и к числу «классических либералов». Да и откуда за пределами сугубо школьной доктрины взяться таковым в крепостнической стране? Глубоко антипатичен был Николаю Алексеевичу и тот тип крикливого либерала, который появился в пореформенной России. Позже, будучи отправлен в 1861 году в отставку, путешествуя по Франции и получая с родины известия о многочисленных оппозиционных выступлениях дворянских собраний (обиженные реформой помещики критиковали «бюрократический произвол» и требовали конституции, причем мно-

гие — вполне искренне), Милютин еще раз подтвердил свое кредо. Он настаивал на том, что именно правительство должно быть ответственным, помимо прочего, за создание общественной опоры для себя самого. «Две характеристические черты обрисовывают, как мне кажется, нашу русскую оппозицию, охватившую, по-видимому, все общество, — писал он брату. — Во-первых, наружу выходят только *крайние* мнения... во-вторых, либеральные стремления не получили еще определенных образов, все это слишком общо, смутно, шатко и исполнено противоречий. Такая оппозиция бессильна в смысле *положительном*, но она, бесспорно, может сделаться *сильною отрицательно*. Чтобы отвратить это, необходимо создать *мнение*, или, пожалуй, партию *серединную*. Говоря парламентским языком: *le centre*, которой у нас нет, но для которой элементы, очевидно, найдутся. Одно правительство может это сделать, и для него самого это будет лучшим средством упрочения». Надо ли напоминать, что подобные сценарии с редким постоянством возникали в верхах и десятилетия спустя после смерти Милютина? И всякий раз правительство обнаруживало, что сил у него гораздо меньше, чем у барона Мюнхгаузена, все-таки вытянувшего себя за волосы из болота...

Но вернемся на несколько лет назад. Редакционные комиссии, несомненно, стали звездным часом Милютина. При этом реальная его роль в разработке и продвижении реформы далеко не соответствовала его формальному служебному статусу. Лишь в начале 1859 года Ланской представил его на должность своего товарища (заместителя) — и получил отказ императора. Лишь после нескольких попыток Александр II согласился на это назначение, но с обидной приставкой «временно исполняющий должность». В верхах Милютин слыл «радикалом» и чуть ли не «революционером». Зато в кругу единомышленников его авторитет был огромен. Вообще, сама организация работы комиссий как будто строилась в соответствии с его беспокойной, страстной и увлекающейся натурой и ни в малейшей степени не походила на бюрократическую рутину: «Всякое стеснение и принуждение с самого начала были изгнаны из собрания. Подавали чай, курили, и беседа шла свободно». Работали буквально день и ночь. По воспоминаниям одного из членов комиссий, «заседания у Милютина... оканчивались зачастую по восходе солнца. Мы вообще занимались крайне ретиво, и помню случаи, когда после заседания комиссий, возвращаясь часа в 4 утра домой, я садился за исправление корректуры своего доклада... окончив работу часам к 7 утра, спешил отправить ее в типографию». И так почти ежедневно в течение полутора лет! Стоит добавить, что с Милютина при этом никто не снимал других обязанностей по текущей работе в министерстве, а также в целом ряде межведомственных комиссий, параллельно разрабатывавших другие реформы.

Фантастический темп работы казался жизненно важным. Ростовцев использовал яркую метафору: «Откладывать... нам нельзя, нужно спешить; все мы должны понимать, что Россия снята, так сказать, с пьедестала — она теперь на блоках». Сделать как можно больше, пока не начнется откат, пока государство не начнет «сыпаться» от возбуждения и неопределенности! Такая логика заставляла «временного исполняющего должность» не просто спешить — она вынуждала «спрямлять углы» в головоломном деле реформы, откладывая на будущее решение многих важных проблем, находить простые (порой — слишком простые) ответы на сложные вопросы, наконец — идти до конца в публичной и закулисной борьбе с политическими противниками. Не зря один из экспертов комиссий, либеральный помещик Г. П. Галаган, в одном из личных писем не смог удержаться от несколько наивной оценки манипуляций, свидетелем которых ему пришлось быть: «Видя изнанку вещей... нельзя иногда надивиться, как много у нас не прямых действий и хитросплетений, и убеждаешься, что прямой дорогой нельзя дойти ни до какого дела и что сам крестьянский вопрос оттого так идет успешно, что одни перехитрили и надули других».

«Хорошо, если успеем *бросить семя*», — считал Милютин. Удалось сделать гораздо больше. Здание реформы 1861 года поражало современников и потомков (в том числе — ее противников) монументальностью и *завершенностью*. «Положения 19 февраля», как прекрасно показала в своих исследованиях Л. Г. Захарова, как будто задавали направление развития русской деревни на десятилетия вперед — и в то же время были весьма непрозрачны; рациональность сплавлена в них с символизмом и утопией, прошлое — с будущим.

Суть реформы сводилась к тому, чтобы «развести» крестьян и помещиков в социальном, экономическом и правовом отношениях, но при этом не нарушить, насколько возможно, привычного уклада жизни тех и других. Крестьяне получили определенное правительством количество земли и капитальный долг за нее; помещики — деньги от правительства (выступившего в роли кредитора) и возможность нанимать бывших крепостных для работы на своих полях; правительство — весьма «мягкий» переход от старого к новому и целый букет неразрешенных проблем. Последнее обстоятельство во многом было неизбежным и не пугало Милютина. Развязав вековой узел, правительство может и должно и в дальнейшем оставаться не «ночным сторожем», а активным участником социальных процессов, считал он.

Параллельно крестьянской реформе под руководством Милютина как председателя Комиссии о губернских и уездных учреждениях разрабатывалась реформа местного управления. По мнению американского историка Фредерика Старра, 1850-е годы стали в России временем бурного расцвета новой «регионалистской» идеологии. Нападки на «централизацию» и отстаивание «самоуправления» (последнее понятие не употреблялось вплоть до этого времени и представляло собой кальку с английского *self-government*) являлись, считает Старр, следствием некритического заимствования западных идеологических парадигм, сторонники которых превозносили преимущества англосаксонского самоуправления как необходимого условия развития гражданских и политических свобод. «Децентрализация» превратилась в необычайно модное слово, которым не стеснялись щеголять директора департаментов, не говоря уже об общественных деятелях.

Вместе с тем едва ли можно говорить о чрезмерном увлечении «децентрализаторской» идеей профессиональных бюрократов из МВД. Активная роль государства в наполеоновской Франции и вообще построенная на централизации французская административная система вызывала у Н. А. Милютина гораздо больше симпатий, чем английская. Самоустранение государственной власти из провинциальной жизни никак не входило в планы «просвещенной бюрократии». По справедливому утверждению Старра, административная и финансовая децентрализация в условиях неразвитости общественных институтов и отсталости российской провинции означала бы лишь отказ от регулярной связи с более развитым центром, от кадровой и финансовой подпитки, в то время как растущие местные нужды далеко опережали местные возможности. Но под этими словами подписался бы и Милютин! Разумеется, это совсем не означало, что он выступал противником самоуправления. Однако, отводя проектировавшимся земским учреждениям строго определенную роль — управления местными хозяйственными нуждами — и соглашаясь предоставить им в этих рамках полную самостоятельность, он был против присвоения ими какой-либо *политической* роли, признавая последнюю исключительно за правительством.

Основную проблему для историков традиционно представляет «многослойность» Земского положения и подготовительных материалов к нему. Подготовка растянулась на пять лет (1859–1863). За это время подходы, представления о структуре новых учреждений и сами их названия неоднократно менялись. Изучение реформы еще более осложняется тем, что сохранились лишь фрагменты «милютинских» проектов (на самом деле являвшихся плодом коллективного творчества).

Эти проекты касались как уездного, так и губернского уровня управления, причем не только земств, но и коронной администрации. Планировалось, в частности, подчинить действия губернатора «коллегиальному, постоянному, на твердых правилах установленному местному надзору». Предполагая обеспечить такой контроль, «милютинцы» стремились добиться единства в действиях губернских учреждений и одновременно расширить власть губернаторов за счет центра. Предположения же Комиссии относительно земств базировались на идее об отделении административно-полицейской власти от хозяйственно-распорядительной. Милютин четко выразил свой взгляд: «Хозяйственное управление, как чисто местное, очевидно, не может и не должно касаться государственных дел, ни интересов государственной казны, ни суда, ни, наконец, полиции исполнительной, сего главного местного органа центральных учреждений. Вне этих отраслей собственно правительственной деятельности остается обширный круг местных интересов, большей частью мелочных, так сказать, обыденных и для Высшего Правительства не важных, но составляющих насущную потребность местного населения». В этом кругу деятельность местного самоуправления следует освободить от всякой опеки, предоставив ему полную самостоятельность.

Но как же определить, где именно кончаются «государственные» интересы и начинаются «местные»? Проблема разграничения компетенции администрации и земств имела не только теоретическое или административное, но и финансовое измерение, поскольку новые земские органы должны были заниматься составлением смет и раскладок земских сборов и дальнейшим их расходованием на самые разнообразные нужды. Кроме того, органы самоуправления, не получив никакой связи с полицией на местах, словно лишались «рук, ног и глаз». В свою очередь, административно-полицейская «вертикаль» по-прежнему не имела опоры на «местные силы».

Были ли вызваны эти очевидные просчеты «просвещенной бюрократии» «регионалистской» идеологией? А может быть, Милютин и его соратники предчувствовали, что будущая власть попытается «поприжать» земство, и думали таким образом обезопасить его? Или, стремясь превратить земство в колыбель того, что мы называем гражданским обществом, и понимая неразвитость современных общественных институтов, они не хотели возлагать на новые органы непосильную ношу? Наиболее эвристичным выглядит последний из возможных ответов: жесткое разделение компетенции земств и государственных структур позволяло не только сохранить в руках правительства политическую инициативу, но и не допустить «прорастания» новых органов самоуправления на низший и высший административные этажи. А ведь именно там, в рамках гипотетической «всесословной волости» и центрального «законосовещательного представительства» поместное дворянство, которое «просвещенная бюрократия» оценивала как силу, угрожающую ее планам, могло бы реально влиять на подготовку и реализацию реформ. Seriously относясь к подобным претензиям, Милютин заявлял еще в 1859 году: «Никогда, никогда, пока я стою у власти, я не допущу каких бы то ни было притязаний дворянства на роль инициаторов в делах, касающихся интересов и нужд всего народа. Забота о них принадлежит правительству; ему и только ему одному принадлежит и всякий почин в каких бы то ни было реформах на благо страны». Видимо, так Милютин, убежденный противник ограничения самодержавия, отводя для деятельности земства некое «огороженное поле», пытался, помимо прочего, заблокировать бесплодные, на его взгляд, конституционные поползновения высшего сословия.

Впрочем, самому Николаю Алексеевичу не пришлось взяться за воплощение крестьянской и земской реформ. Спустя два месяца после обнародования «Положений 19 февраля 1861 года» он вместе с министром С. С. Ланским был отправлен в почетную

отставку — ради «умиротворения» возмущенного помещного дворянства. В течение двух лет после этого он путешествует по Европе, много времени проводя в Париже у дяди, П. Д. Киселева, и в Риме.

Новому министру внутренних дел П. А. Валуеву, убежденному англофилу, конституционалисту и стороннику дворянского преобладания в местном самоуправлении, «милютинские» проекты земской реформы были, разумеется, глубоко антипатичны. Однако он не смог добиться не только их полного пересмотра, но даже сколько-нибудь существенной корректировки. Самодержцу оказался ближе тот вариант реформ, который вроде бы снимал возможные вопросы об ограничении его власти.

Летом 1863 года Николай Алексеевич, во многом неожиданно для себя самого, вновь оказался в гуще политических событий. На западных окраинах империи, входивших некогда в Речь Посполитую, разгорелось восстание. Цель мятежных поляков — восстановление независимой Польши с включением в ее состав территорий со смешанным населением (нынешней Правобережной Украины, Белоруссии, Литвы). Особенно тяжелое положение центральной власти сложилось в Царстве Польском, то есть на землях, где непольского элемента не было вообще. У наместников — великого князя Константина Николаевича и сменившего его графа Ф. Ф. Берга — отсутствовала сколько-нибудь внятная программа действий. Не находя поддержки ни в одном из сегментов польского общества, они полагались исключительно на военно-полицейские меры, ожидая, пока восстание затихнет само. Конечно, возложить на Милютина подготовку радикальных социальных и административных преобразований в Царстве Александр II решил не случайно. В этом деле его репутация «красного» оказалась весьма кстати. Помимо военных операций, эффект от которых не считался прочным, у власти оставался лишь один вариант действий: расколоть польское общество, изолировав мятежную элиту от гораздо более аморфной крестьянской массы, «поднять крестьянское население, высвободив его из-под гнета панов и шляхты, и тем приобрести в нем надежную опору для упрочения русской власти в Польше».

Таким образом, первоочередными задачами для Милютина вновь становились крестьянская реформа и реорганизация местного управления. Неудивительно, что в качестве сотрудников он привлек друзей по Редакционным комиссиям Ю. Ф. Самарина, В. А. Черкасского, Я. А. Соловьева, а также А. И. Кошелева и В. А. Арцимовича. Реформу подготовили не просто быстро, а молниеносно. Осенью 1863 года Милютин с друзьями в сопровождении конвоя совершили ознакомительную поездку по польским деревням, а уже 19 февраля 1864-го «Положение об устройстве сельских гмин и крестьянского быта в Царстве Польском» было утверждено.

Крестьяне в Царстве получили личное освобождение еще при Наполеоне I, в 1807 году, однако свобода не столько улучшила, сколько ухудшила их положение, поставив в полную экономическую и полицейскую зависимость от помещиков. Реформа 1864-го предполагала — и в этом она гораздо радикальнее российской — немедленное и повсеместное наделение крестьян землей в собственность за минимальный выкуп и прекращение всяких отношений их с землевладельцами. Исполнение реформы возлагалось на специально сформированный корпус «комиссаров по крестьянским делам», состоявший исключительно из русских чиновников и офицеров, прежде никак не связанных с Царством. Другим важным направлением деятельности Милютина стало ограничение влияния в Польше католического духовенства, считавшегося наряду со шляхтой одной из наиболее антирусски настроенных сил.

Решительность и бескомпромиссность нового курса в Царстве Польском дала быстрые результаты. И хотя у политики Милютина нашлось много противников внутри России (о Польше говорить не приходится), император по достоинству оценил его деловые качества. Карьера Николая Алексеевича вновь пошла в гору. Он по-

лучает звание статс-секретаря, становится членом Главного комитета об устройстве сельского состояния, Государственного совета, главным начальником Собственной императорской канцелярии по делам Царства Польского. В конце 1866 года обсуждается даже вопрос о его назначении на ключевой в правительстве пост министра финансов.

В этот, по-видимому, решающий момент жизни Милютина и произошло несчастье, мгновенно и навсегда оборвавшее его государственную деятельность. Напряжение сил оказалось слишком велико. 20 ноября 1866 года Николай Алексеевич перенес тяжелейший инсульт, от последствий которого уже не смог оправиться. Даже спустя несколько лет контраст с прежним, живым и полным огня человеком был слишком велик. Скончался Н. А. Милютин 26 января 1872 года в Москве, в окружении родных и друзей — Самариных, Черкасских, К. Д. Кавелина, И. П. Арапетова и многих других. «Брат чрезвычайно дорожил вниманием и участием друзей; общество их, разговоры, споры составляли для него насущную потребность до последних дней», — вспоминал Дмитрий Милютин. Прочность уз, связавших этих людей, и радость от общения с ними, возможно, стали для Милютина самым важным итогом жизни.

МИХАИЛ ХРИСТОФОРОВИЧ РЕЙТЕРН: *«Я всю жизнь готовился к должности министра финансов...»*

ВАЛЕРИЙ СТЕПАНОВ

М. Х. Рейтерн (1820–1890) жил и действовал в переломный момент российской истории. После поражения в Крымской войне задачи экономической модернизации выдвинулись на первый план. О необходимости коренных преобразований в сфере народного хозяйства размышляли и спорили многие ученые и государственные деятели. Однако именно М. Х. Рейтерну было суждено возглавить проведение реформ. Современники называли его одним из ближайших сподвижников царя-освободителя Александра II. Шестнадцатилетнее пребывание Рейтерна на посту руководителя финансового ведомства Российской империи составило целый этап в экономической политике правительства второй половины XIX столетия.

Михаил Христофорович Рейтерн родился 12 сентября 1820 года в городе Поречье Смоленской губернии. Дальний предок семьи — выходец из Голландии Герард Рейтерн, в 1520 году обосновавшийся в немецком городе Любеке. Его правнук, Иоганн-Даниэль, в середине XVII века переселился в Ригу. Он был богатым негоциантом, занимал должности ратсгера (члена городского магистрата) и председателя торгового суда. В 1691 году шведский король Карл XI возвел его в дворянское достоинство под именем фон Рейтерна. Иоганн-Даниэль и стал родоначальником российских Рейтернов. В семье с давних пор господствовали военные традиции. Отец будущего министра финансов, Христофор Романович (Христоф Адам), — кавалерийский генерал, участник итальянской кампании 1799–1800 годов, войны 1812 года, заграничных походов 1813–1814 годов, Русско-турецкой войны 1828–1829 годов. Мать, Екатерина Ивановна (Юлиана Каролина Элеонора), урожденная фон Гельфрейх, была фрейлиной императорского двора.

Михаил Рейтерн получил образование в Царскосельском лицее, который представлял собой настоящий питомник государственных деятелей. Среди его сокурсников будущие министры народного просвещения А. В. Головнин и А. П. Николаи, член Государственного совета П. И. Саломон, сенатор В. А. Цеэ. В лицее Михаил Христофорович нашел свое призвание: все свободное время он посвящал изучению экономических дисциплин. Большое влияние оказали на него блестящие лекции по политической экономии, которые читал профессор И. А. Ивановский. Позднее Рейтерн говорил Александру II, что «всю жизнь готовился к должности министра финансов».

Михаил Христофорович изменил семейной традиции, избрав стезю гражданской службы. В 1839 году, вскоре после окончания с серебряной медалью Царскосельского лицея, он поступил в Особенную канцелярию по кредитной части финансового ведомства, но уже в 1843-м перешел в Министерство юстиции. Карьере Рейтерна во многом способствовала протекция близкого к императорской семье В. А. Жуковского, женатого на его двоюродной сестре. М. Х. Рейтерн успешно продвигался по службе: в 1845 году, по поручению министра юстиции, собирал сведения о практике судопроизводства

в остзейских губерниях; в 1846-м работал в комиссии по созданию судебных учреждений в Таврической и Херсонской губерниях; в 1847-м временно исполнял обязанности товарища герольдмейстера Сената и заведовал Первой экспедицией Департамента герольдии.

Привлекала Рейтерна и общественная жизнь. В 1847 году он был избран членом Русского географического общества — одного из крупнейших научных и культурных центров страны. Так сложилось, что именно здесь формировались кадры будущих реформаторов, выступивших на историческую сцену в 1860-е годы. Михаил Христофорович познакомился с председателем общества — генерал-адмиралом российского флота, великим князем Константином Николаевичем, который сочувствовал либеральным идеям. В январе 1853 года великий князь принял управление Морским министерством; благодаря его усилиям это ведомство первым в России приступило к подготовке преобразований. Константин Николаевич собирал вокруг себя преданных и энергичных сотрудников. И в 1854 году Рейтерн был принят в Морское министерство на должность чиновника для особых поручений.

Выдвиженцев великого князя в обществе прозвали «константиновцами» или «константиновскими орлами». Под эгидой своего могущественного покровителя они держались сплоченной группировкой. Неудачный ход Крымской кампании стал стимулом для реформирования флота, обнаружившего полную небоеспособность. Михаил Христофорович вошел в комиссию по разработке свода морских постановлений и хозяйственного устава и в комитет о сметах Судостроительного департамента, участвовал в ревизиях разных структур министерства. Как знатоку финансов, ему поручили составить проект устройства пенсионной кассы морского ведомства. Рейтерн фактически выполнял функции консультанта великого князя по экономическим вопросам, и тот высоко ценил специальные знания и редкую исполнительность нового сотрудника.

Весной 1855 года Константин Николаевич отправил его в длительную поездку для ревизии портовых сооружений и госпиталей в Архангельске и Астрахани. Возвращенный в петербургских канцеляриях, М. Х. Рейтерн плохо знал российскую провинцию. Теперь он проехал с севера на юг всю Россию, осмотрел центральные губернии, побывал на Нижегородской ярмарке, с большим интересом изучал экономические особенности каждого края. Это путешествие очень много дало ему для будущего управления Министерством финансов.

В обстановке послевоенного общественного подъема морское ведомство превратилось в подлинное «министерство прогресса». Мероприятия, проведенные там во второй половине 1850-х годов, явились прообразом Великих реформ. Перестройка счетоводства, отчетности и контроля представляла собой зародыш будущих финансовых преобразований. Однако Михаил Христофорович уже не принимал участия в бурной деятельности министерства. Генерал-адмирал готовил ему иное назначение. Константины Николаевича не удовлетворяли узкие рамки второстепенного морского ведомства, он стремился к более масштабной роли в предстоящих реформах. Накануне грядущих перемен ему требовались люди, которые могли бы возглавить различные отрасли государственного управления.

Осенью 1855 года Рейтерн выехал за границу для изучения «финансового строя» западных государств — Пруссии, Франции, Англии, США. Командировка продолжалась почти три года. Наиболее сильное впечатление на него произвело пребывание в Америке. Михаил Христофорович подметил поразительное сходство национальных качеств русских и американцев: «механическую ловкость, умение применяться к обстоятельствам, преодолевать неожиданные препятствия, присутствие духа, смелость». Он так и остался американофилом. В кругу друзей его даже окрестили «янки».

Возвратившись на родину в сентябре 1858 года, Рейтерн представил Александру II содержательный отчет о поездке и был пожалован званием статс-секретаря, что свидетельствовало о начале блестящей карьеры. В последующие несколько лет заметно укрепились его связи с высшей бюрократической элитой. Михаил Христофорович стал завсегдатаем салона великой княгини Елены Павловны, которая оказывала поддержку либеральным деятелям. В верхах о нем заговорили как о возможном претенденте на пост министра финансов. С марта 1858 года финансовым ведомством руководил А. М. Княжевич — ему выпала нелегкая задача ликвидации тяжелых последствий войны. Россия находилась на грани государственного банкротства. Военные расходы превысили полмиллиарда рублей. Для покрытия хронического бюджетного дефицита правительство широко использовало займы, заимствования из государственных кредитных учреждений и эмиссию кредитных билетов. Выпуск огромной массы бумажных денег привел к росту инфляции и падению курса рубля. Размен кредитных билетов на золото и серебро прекратился. Финансовое расстройство сопровождалось разразившимся в 1857–1859 годах экономическим кризисом.

Брат нового царя, великий князь Константин Николаевич привлек Рейтерна к обсуждению экономических реформ. Михаил Христофорович был последователем либерально-фритредерской концепции с ее апологией частной собственности, свободы предпринимательства и конкуренции. А. Смит и другие теоретики классической школы рассматривали экономическую жизнь как «естественный порядок», определяемый объективными универсальными законами. По их мнению, «невидимая рука» свободного рынка создает наиболее благоприятные возможности для развития народного хозяйства и регулирования социальных процессов. Интересы отдельной личности («экономического человека») они ставили выше общих интересов и заявляли, что государство должно воздерживаться от вмешательства в экономическую жизнь, ограничиваясь ролью «ночного сторожа». Подобные идеи получили после Крымской войны широкую популярность в либеральных кругах России. Их разделяли как крупнейшие авторитеты экономической науки, так и многие высокопоставленные чиновники. Это стало закономерной реакцией общества на полную этатизацию экономики при Николае I.

М. Х. Рейтерн видел причину хозяйственного застоя во всевластии государства и подавлении «личной экономической инициативы трудящихся» с помощью крепостного права, сословного деления общества, прикрепления сельского населения к определенной местности средневековой подушной податью, жесткими паспортными правилами и тотальным полицейским надзором. Ориентируясь на опыт Запада, он выступал за пробуждение «духа предприимчивости» среди населения и освобождение частной инициативы от оков бюрократии. Правда, реальные условия крепостнической России заставляли его вносить коррективы в свои теоретические установки.

В декабре 1858 года Рейтерн был назначен управляющим делами Комитета железных дорог и принял активное участие в выработке основных принципов железнодорожной политики. Крымская война показала, что без современной промышленно-транспортной базы Российская империя не в состоянии сохранить статус великой державы. (В 1855 году в стране насчитывалось лишь 980 верст дорог, т.е. всего 1,5% мировой железнодорожной сети.) В экономико-географических условиях России это направление народного хозяйства стало ведущим.

В июле 1859 года Михаил Христофорович получил должность члена Совета министра финансов, а в январе 1860-го занял пост управляющего делами Комитета финансов. Многие члены комитета были слабо знакомы со спецификой финансовых вопросов, поэтому мнение его главы нередко играло решающую роль. В финансовом ведомстве при А. М. Княжевиче сгруппировались экономисты. В этот кружок, кроме Рейтерна, вошли

его давние знакомые по Русскому географическому обществу: исполняющий обязанности товарища министра внутренних дел Н. А. Милютин, чиновники Министерства финансов Ю. А. Гагемейстер и Министерства государственных имуществ — Е. И. Ламанский, профессор политэкономии Киевского университета Н. Х. Бунге.

Эта «пятерка» составила ядро новообразованной Комиссии по реформе банков. Кризис 1857–1859 годов завершился полным крахом старых кредитных учреждений. Комиссия подготовила и направила в Комитет финансов доклад с предложением создать систему частных банков и учредить центральный эмиссионный банк на акционерных началах по европейскому образцу. Однако комитет не пошел на столь радикальное преобразование. Основанный 31 мая 1860 года Государственный банк стал чисто казенным учреждением. Он был лишен функции денежной эмиссии и долгосрочного субсидирования промышленности и торговли; подавляющая часть его средств расходовалась на покрытие дефицитов, погашение займов и другие нужды казны.

Рейтерн и его коллеги стали также членами финансовой комиссии — структурной единицы Редакционных комиссий (1859–1860), образованных для подготовки отмены крепостного права. Им досталась наиболее трудная миссия: разработка операции по выкупу крестьянами своих наделов у помещиков. Хотя на Михаила Христофоровича не возлагалось составление самого проекта, по свидетельству члена комиссий П. П. Семенова, ни одна его статья «не была принимаема без окончательного заявления Рейтерна, что исполнение ее не представит затруднений в будущем для Министерства финансов».

Одновременно Михаил Христофорович трудился в комиссии по пересмотру системы податей и сборов. С отменой крепостного права возникла острая необходимость перехода от чисто фискального к стимулирующему порядку налогообложения. Подушная подать, введенная еще Петром I, уже не могла считаться главным источником поступлений прямых налогов. Объектом взимания податей должна была стать не личность плательщика, а его реальные доходы. В ноябре 1860 года Рейтерн вошел также в состав комиссии по подготовке питейной реформы. Усиление коррупции в торговле спиртными напитками и рост общественного недовольства заставили правительство пойти на упразднение винных откупов. Составленный комиссией проект «Положения о продаже питей» был утвержден 4 июля 1861 года. Новый закон ликвидировал откупа и провозгласил с 1 января 1863 года введение на всей территории страны единой акцизной системы.

Трехлетняя деятельность в различных комитетах и комиссиях позволила Рейтерну ознакомиться как с общими направлениями экономической политики правительства, так и с текущими делами финансового ведомства. В январе 1862 года по рекомендации Константина Николаевича император назначил М. Х. Рейтерна министром финансов. Это событие в верхах встретили благожелательно. Михаил Христофорович отличался удивительной ясностью суждений и даром воздействия на собеседника. Его называли «замечательным здравомыслом». Росту авторитета нового министра финансов весьма способствовали его обстоятельные и аргументированные выступления на заседаниях Государственного совета, Главного комитета по крестьянскому делу и других высших инстанций.

Деятельность финансового ведомства сразу же оживилась. Новый министр придерживался делового и оперативного стиля руководства, был «врагом канцеляризма и многоглаголанья» и с безразличием относился к нюансам бумаготворчества. Не выносил пространных докладов и требовал от сотрудников предельной краткости. Властность сочеталась в нем с уважением к мнению подчиненных. По словам одного из чиновников министерства Ф. Г. Тернера, Рейтерн «был очень деликатен: давая служащим у него какое-либо особенное поручение, он перед тем всегда спрашивал их на то согласие».

Ставка на частный капитал рассматривалась Рейтерном и его окружением как важнейшее условие модернизации. Но при этом они стремились использовать развитие предпринимательства прежде всего в интересах государства. Их программа основывалась на принципе «смешанной» экономики и предусматривала партнерство государства и частного капитала в развитии народного хозяйства. Казна должна была инициировать участие предпринимателей в той или иной приоритетной отрасли и вкладывать часть необходимых средств. В своей политике министерство стремилось решить две взаимосвязанные задачи: упорядочить расстроены финансы и обеспечить экономический подъем с помощью поддержки частной инициативы.

В борьбе с экономическими трудностями Рейтерн имел опору в лице государственного контролера В. А. Татаринова и председателя Департамента государственной экономии Госсовета К. В. Чевкина. Но решающее значение имело покровительство самого Александра II. Император не раз защищал Михаила Христофоровича от критики со стороны руководителей других ведомств. Все записки и проекты по экономическим вопросам, поступавшие на Высочайшее имя, обязательно передавались на заключение министра финансов. С симпатией относился к нему и цесаревич Александр Александрович (будущий Александр III).

С целью преодолеть хронический бюджетный дефицит министр финансов попытался ввести режим строгой экономии государственных средств. По его настоянию правительство ужесточило порядок выдачи сверхсметных ассигнований, которые наносили казне значительный ущерб. Указом от 6 октября 1866 года всем министрам предписывалось испрашивать дополнительные кредиты в особых случаях и только в форме всеподданнейшего доклада. Однако, несмотря на требования закона, сумма сверхсметных ассигнований в пореформенные десятилетия продолжала возрастать. Требования Рейтерна сократить расходы на армию и флот заставили Военное министерство умерить требования о новых кредитах, и тем не менее его расходы в 1865–1875 годах составляли почти треть государственного бюджета.

В бюджетно-сметном деле стараниями министра финансов и государственного контролера Татаринова был осуществлен настоящий переворот. В декабре 1861 года Комитет финансов принял решение о публикации со следующего года государственной росписи доходов и расходов. Это подняло престиж российских финансов за границей и укрепило кредит страны на мировом рынке. С 1866-го в газетах стали печататься также отчеты государственного контролера. 22 мая 1862 года Александр II утвердил новые «Правила», которые устанавливали принципы бюджетного и кассового единства. В стране вводилась общая система бюджетного учета и отчетности. Отныне каждое министерство должно было представлять подробные сметы с указанием отдельных статей и после их утверждения строго соблюдать данную номенклатуру расходов. Ведомственные кассы упразднялись, а особые капиталы и доходы передавались Министерству финансов. Все финансовые средства государства сосредоточивались в кассах Казначейства. Государственный контроль превращался в единый ревизионный орган с правом документальной проверки всех государственных учреждений. Реформа способствовала стабилизации российских финансов и частичному смягчению произвола и расточительности в расходовании казенных сумм.

Забота о бюджетной экономии сопровождалась мерами по увеличению государственных доходов. Рейтерн не пошел на отмену подушной подати, так как опасался в трудной экономической ситуации лишиться традиционного источника налоговых поступлений. Более того, для пополнения казны Министерство финансов в 1860-х годах неоднократно повышало этот налог; подушная подать продолжала тяготеть над крестьянством вплоть до середины 1880-х. Министр предпочел даровать льготы отдельным категориям налогоплательщиков, не затрагивая основ старой податной сис-

темы. В этой области сделано немного: подушная подать с мещан заменена налогом на городскую недвижимость (1863), государственный земский сбор — поземельным налогом (1875), изданы правила о земских повинностях, изъявшие их из ведения местной администрации и передавшие в распоряжение земских учреждений (1864).

С большими трудностями финансовое ведомство столкнулось при осуществлении выкупной операции. В первые же годы после отмены крепостного права обнаружилось несоответствие между выкупными платежами и материальными возможностями крестьянства, о чем свидетельствовал постоянный рост недоимок. Министерство старалось смягчить участь крестьян тех или иных местностей, предоставляя длительные рассрочки в платежах, понижая оклады на несколько лет, слагая недоимки и проч. Однако частные меры не решали проблемы. По распоряжению Рейтерна в губерниях начали исследовать соразмерность платежей с доходностью наделов. Общее понижение взимаемых с крестьянства выкупных сумм состоялось только в начале 1880-х годов.

В целом Министерство финансов не проявило заметной активности в делах сельского хозяйства. Между тем правительство убеждалось, что его развитие во многом идет вразрез с расчетами авторов «Положений» 19 февраля 1861 года. Болезненный для крестьянства ход реализации реформы и неурожай 1867 и 1871–1873 годов заставили задуматься о будущем деревни. М. Х. Рейтерн пришел к выводу о необходимости следующего этапа аграрных преобразований. На первое место он ставил облегчение перехода крестьян от общинного землевладения к частному, отмену круговой поруки и пересмотр паспортного устава. Однако эти замыслы не вышли за рамки простых пожеланий.

Существенные изменения претерпело при Рейтерне косвенное обложение. С 1 января 1863 года торговля спиртными напитками стала предметом вольного промысла. Новый способ взимания питейного налога (акциз с винокуров и патентный сбор с оптовых и розничных продавцов) способствовал систематическому приращению государственных доходов. Уничтожив крупнейший очаг злоупотреблений и одну из самых живучих сословных привилегий, реформа окончательно установила государственную монополию в налогообложении. Ликвидация откупов высвободила львиную долю частных капиталовложений и переориентировала их в наиболее продуктивные отрасли народного хозяйства: банки, железные дороги, внешнюю торговлю, нефтяные промыслы и др. Указ от 14 мая 1862 года объявил о прекращении казенной добычи и продажи соли. Государственные соляные источники передавались в частные руки, торговля солью становилась свободной, соляной доход облагался акцизом. Но очень скоро обнаружилась непомерная тяжесть этого налога для населения, и в 1880 году он был отменен. В первые пореформенные десятилетия произошло значительное повышение акцизов на сахар и табак.

М. Х. Рейтерн первым из руководителей финансового ведомства стал советоваться с предпринимателями, приглашая их для обсуждения различных законопроектов. Коммерсантов привлекали в нем деловитость, доступность, внимательность, верность данному слову. Как вспоминал известный предприниматель В. А. Кокорев, «Рейтерн всякому полезному делу, нуждающемуся в поддержке, помогал денежными ссудами, дабы не уронить движения народной промышленности». По инициативе Михаила Христофоровича были проведены всероссийские промышленные выставки в Москве (1865) и Петербурге (1870), учреждены тринадцать новых бирж, при Министерстве финансов создан Совет торговли и мануфактур (1872).

Вместе с тем торгово-промышленное законодательство 1863–1865 годов носило компромиссный характер. С одной стороны, декларировались свобода частного предпринимательства и ликвидация всех сословных стеснений; приобретение купеческого «звания» становилось доступным для каждого лица, обладающего достаточным капи-

талом; иностранцы уравнивались в правах с российскими подданными; отменялись свидетельства, выдававшиеся ранее крепостным крестьянам для занятия торговлей и промыслами. С другой стороны, сохранялись средневековые гильдейская и цеховая организации предпринимателей; провозглашенный принцип бессловности не был последовательно зафиксирован в законах; открытие фабрик и заводов, оптовая и розничная торговля остались преимущественным правом гильдейского купечества; почти не претерпела изменений патентная система налогообложения. Взимание налога за право торгово-промышленной деятельности по-прежнему базировалось на внешних признаках, без учета размера оборота и доходности предприятия. Лишь с целью оживления экономической жизни был снижен общий уровень обложения, а большинство сельских промыслов вообще освобождено от налога.

Промышленному развитию в особой степени должна была способствовать либерализация таможенной политики. Проведение в жизнь принципа свободы торговли фритредеры считали одним из основных условий экономического прогресса России. Для снижения таможенных пошлин в первые пореформенные десятилетия существовала объективная причина: отечественная промышленность остро нуждалась в притоке сравнительно дешевых иностранных товаров (машин и оборудования для фабрик, заводов, железных дорог). Еще в 1850 году, взамен запретительной таможенной системы, была введена не столь жесткая охранительная. Тарифы 1857 и 1868 годов еще более снизили таможенные пошлины.

В эпоху Великих реформ широкое распространение получило мнение о том, что система казенного хозяйства давно отжила свой век. Правительство продало частным владельцам принадлежащие государству угольные шахты и предприятия в Царстве Польском, золотые прииски Урала и Сибири и ряд других промышленных объектов. В 1866 году было принято решение об отчуждении ряда нерентабельных казенных горных заводов. Но в итоге из обширного перечня назначенных к продаже предприятий в частные руки перешло лишь незначительное их количество. Государственный совет рассудил: нельзя отказываться даже от убыточных заводов, обеспечивающих нужды армии и флота, поскольку казне важно сохранять независимость в производстве вооружения от собственной частной промышленности и от поставок из других стран.

Во второй половине 1860-х годов в народном хозяйстве начались перемены к лучшему. Оживление экономической жизни было связано с невиданным размахом частного предпринимательства. Правительство сделало ставку на сооружение железных дорог акционерными обществами, но при содействии государства. Казна гарантировала предпринимателям 5% чистого дохода, предоставляла различные субсидии, передавала в аренду казенные линии на льготных условиях и др. Выгодные условия концессий вызвали грандиозный железнодорожный бум, продолжавшийся до середины 1870-х. Возникли десятки новых компаний; за 1865–1875 годы протяженность железнодорожной сети увеличилась с 3,8 тыс. до 19 тыс. верст.

Министерство финансов всячески поощряло развитие частного кредита. При создании Государственного банка предполагалось, что он будет центром, вокруг которого образуется сеть частных банков. В 1862 году было утверждено положение о городских общественных банках, в 1863-м — устав первого частного учреждения краткосрочного кредита (Петербургского общества взаимного кредита); в 1864 году в столице возник первый акционерный коммерческий банк. Ипотечный кредит обеспечивали акционерные земельные банки. В период учредительской горячки 1870–1873 годов были основаны 259 компаний, из них — 53 банка. Однако развитие учредительства сдерживалось устаревшей концессионной системой, при которой каждый устав нового акционерного общества утверждался Государственным советом как сепаратный

законодательный акт. В 1860-х годах европейские страны перешли к явочной системе, когда для создания компании требовалась только формальная регистрация ее устава в судебных или административных органах. В 1870-м в Министерстве финансов приступила к работе комиссия по подготовке акционерной реформы.

Одной из ключевых задач министр финансов считал восстановление курса рубля до серебряного номинала и открытие свободного размена кредитных билетов на звонкую монету. Подобную попытку он предпринял в самом начале своей министерской деятельности. Для возобновления разменной операции от лондонских и парижских Ротшильдов был получен заем в 15 млн фунтов стерлингов. Сумма недостаточная, но Рейтерн надеялся, что с началом размена доверие к рублю возрастет и европейские кредиторы предоставят новые займы. 25 апреля 1862 года был опубликован указ: приступить с 1 мая в Государственном банке к размену бумажных денег на золото и серебро. Однако момент оказался неподходящим. Реформе не благоприятствовали ни экономические, ни политические обстоятельства. Ошибкой стало и предварительное объявление Государственным банком цен на продажу и покупку звонкой монеты: это породило азартную спекуляцию. В январе 1863 года вспыхнуло польское восстание, подавление которого потребовало огромных расходов. Доверие к способности Казначейства продолжать размен поколебалось. Востребование золота и серебра резко увеличилось. Министру не удалось заключить новый заем и пополнить опустевший металлический фонд. Убедившись в крушении своих планов, он прекратил размен. Казна понесла огромные убытки, для покрытия которых вновь пришлось прибегнуть к выпускам бумажных денег.

Мечтая взять реванш за провал разменной операции, Рейтерн провел серию подготовительных мероприятий. Экономический подъем и рост налогообложения позволили значительно увеличить поступления в казну. В первой половине 1870-х обыкновенный бюджет (за исключением 1873 года) сводился с излишком доходов, хотя дефициты по общему бюджету из-за чрезвычайных военных и железнодорожных расходов по-прежнему сохранялись. И все же за счет превышения доходов над расходами по обыкновенному бюджету к 1 января 1876 года удалось накопить свободную наличность казначейства на сумму 40,5 млн рублей. С 1867 года министерство осуществляло закупку драгоценных металлов для пополнения разменного фонда. Благодаря относительному упорядочению бюджета и накоплению золотого запаса произошло заметное повышение курса рубля.

Финансовое ведомство достигло таких результатов, несмотря на пассивный торговый и расчетный балансы. Отказ от запретительной системы имел отрицательные последствия. Ослабление таможенной охраны было целесообразно лишь на первой стадии становления российской индустрии. Со временем, по мере развития внутреннего производства, конкуренция западной продукции стала наносить все больший ущерб развитию отечественной промышленности. Понижение таможенных пошлин привело к стремительному росту импорта. Рейтерн стремился обеспечить России внешнеторговое преимущество и всячески форсировал вывоз хлеба, который являлся важнейшей статьей экспорта. Но его попытки избежать преобладания импорта над экспортом оказались тщетными. Со второй половины 1860-х торговый баланс за редкими исключениями сводился с пассивным сальдо. Не удалось добиться и увеличения таможенного дохода. Пассивность расчетного баланса объяснялась не только превышением импорта над экспортом, но и постоянно увеличивавшимися расходами за границей русских путешественников, число которых за 1866–1875 годы возросло в пять раз. Кроме того, рост государственной задолженности (4,5 млрд рублей на 1 января 1877 года) повлек за собой увеличение платежей процентов и дивидендов западным кредиторам.

Тем не менее к середине 1870-х министр финансов считал, что подготовил необходимые условия для упорядочения денежного обращения. Металлический фонд Казначейства, возросший за 1867–1875 годы в три раза, позволял надеяться на успех. Но уже в этот радужный для Рейтерна период обнаружились все перекосы его экономической системы. Развитие частного предпринимательства с самого начала сопровождалось многими негативными явлениями. Неоднократно вскрывались факты расхищения акционерных капиталов. Компании всячески пытались обойти законодательные ограничения. Невиданные масштабы приобрела биржевая игра с железнодорожными акциями и банковскими ценностями.

На железнодорожном транспорте концессионная лихорадка выродилась в спекулятивное грюндерство, сопровождавшееся коррупцией и злоупотреблениями казенными субсидиями. Железнодорожная сеть была расчленена между десятками акционерных обществ и не представляла собой единого структурного целого. В погоне за сверхприбылью железнодорожные «короли» не заботились о качестве и рентабельности дорог. Подкупая должностных лиц, концессионеры добивались сдачи в эксплуатацию незавершенных линий. Обладая монополией на железнодорожном транспорте, они творили произвол в системе тарифов и по своему усмотрению устанавливали классификацию и номенклатуру грузов. Большинство акционерных обществ находилось в бедственном положении и были не в состоянии выполнять свои финансовые обязательства перед казной. Правительство выделяло на финансирование строительства огромные суммы. Растущая задолженность компаний Казначейству явилась одной из главных причин бюджетных дефицитов и роста государственного долга России.

В сфере кредита процветали биржевой ажиотаж и спекуляции акциями. Частные банки занимались не столько субсидированием торговли и промышленности, сколько выгодными операциями по реализации выпусков акций разных компаний. Многие из них понесли огромный ущерб, разорив множество вкладчиков. Министерство финансов ввело ограничения эмиссионных операций банков и приняло меры для сдерживания акционерного учредительства. В 1872 году вышел закон, запрещающий создание новых банков в городах, где уже действовали подобные. Биржевой крах, поразивший в 1873 году страны Западной Европы, заставил руководство финансового ведомства усомниться в целесообразности свободы акционерного учредительства. Проект акционерной реформы, разработанный министерской комиссией, был отклонен.

Осенью 1875-го в стране начался кризис перепроизводства, осложненный неурожаями 1875 и 1876 годов. Из-за полного опустошения железнодорожного фонда прекращается выдача новых концессий. После банкротства Московского ссудного банка происходит массовое востребование вкладов из других частных кредитных учреждений. Промышленный кризис и биржевой крах подорвали доверие западных деловых кругов к финансам России. Курс рубля и русских ценных бумаг понизился, иностранные капиталы отхлынули за границу.

Эти события происходили в накалившейся международной атмосфере. Россия стояла на пороге войны с Турцией. В начале октября 1876 года Александр II дал Рейтерну указание найти средства для предстоящих военных расходов. Это глубоко потрясло министра. По опыту Крымской кампании он хорошо знал, что означает новая война для народного хозяйства. На его глазах гибли плоды многолетних усилий финансового ведомства. Пытаясь переубедить самодержца, Михаил Христофорович представил ему записку, где доказывал: война приведет «к погрому наших финансовых и экономических интересов», и Россия «будет подвергнута такому разорению, с которым никакие бедствия в ее прошлом сравниться не могут». В другом документе предупреждал Александра II о возможности социальных катаклизмов в империи. «Я глубоко убежден, что война остановит правильное развитие гражданских и эконо-

мических начинаний, составляющих славу царствования Его Величества; она причинит России неисправимое разорение и приведет ее в положение финансового и экономического расстройств, представляющее приготовленную почву для революционной и социалистической пропаганды, к которой наш век и без того уже слишком склонен». Но император не внял этим предостережениям.

На плечи М. Х. Рейтерна легла вся ответственность за финансирование будущей военной кампании. Ему пришлось обратиться к традиционным способам: заимствованиям из Государственного банка, выпуску бумажных денег, заключению займов на невыгодных условиях. 10 ноября 1876 года был издан указ о взимании таможенных сборов золотой валютой, что, согласно тогдашнему курсу рубля, означало повышение пошлин на 50%. Эта мера придала таможенной политике протекционистский характер и послужила прологом к введению в России золотого монометаллизма. Следующим шагом, по мнению Рейтерна, должно было стать допущение сделок на звонкую монету. Однако в марте 1877 года Комитет финансов отклонил это предложение, расценив его как подрывающее доверие к рублю и несвоевременное в преддверии эмиссии бумажных денег.

В годы войны, начавшейся в апреле 1877-го, Рейтерну удавалось покрывать экстренные расходы. Однако столкновение с Турцией имело крайне тяжелые последствия для государственных финансов. С 1877 по 1880 год государственный долг возрос на 1,5 млрд рублей. Количество кредитных билетов в обращении увеличилось на 300 млн; золотой и серебряный фонд за 1876–1881 годы сократился на 60 млн рублей; металлическое обеспечение массы бумажных денег уменьшилось более чем в два раза; курс рубля упал, как никогда, низко.

Крушение надежд на экономическое возрождение Рейтерн воспринял как личную драму, его здоровье резко ухудшилось. По словам племянника Михаила Христофоровича, барона В. Г. Нолькена, «из сильного, жизнерадостного и часто веселого он превратился в несколько лет в молчаливого, дряхлого старика». В июле 1878 года, сразу же после заключения мира, министр подал в отставку. А перед уходом вручил своему преемнику С. А. Грейгу «Финансовое духовное завещание». В нем, напоминая о губительных результатах предпринимательской горячки, Рейтерн советовал временно остановиться на достигнутых рубежах: прекратить стимулирование акционерного учредительства, отказаться от строительства новых железных дорог; для ограждения интересов промышленности и торговли — усилить таможенное обложение и сократить импорт. Рейтерн признал беспочвенность надежд на возвращение рублю номинальной стоимости. По его мнению, следовало девальвировать денежную единицу по установившемуся курсу и только тогда открывать свободный обмен на золото и серебро. В ожидании лучших времен надлежало принять действенные меры для активизации расчетного баланса и пополнения металлического фонда, узаконить сделки на звонкую монету между частными лицами.

«Завещание» свидетельствовало о том, что его автор пересмотрел свои прежние фритредерские воззрения и перешел на протекционистские позиции. Ему на собственном опыте пришлось убедиться: переносить центр тяжести финансирования промышленности и транспорта на частный сектор — шаг излишне рискованный. Правительство не сумело всесторонне учесть хозяйственную специфику страны: слабость отечественной буржуазии, острую нехватку капиталов, узость внутреннего рынка и проч. При выработке экономической политики не была в должной степени принята во внимание важнейшая особенность России — традиционно мощное, всепроникающее влияние государства на все сферы жизни общества. Поэтому уже в середине 1870-х годов начался возврат к тотальному государственному регулированию экономики: сдерживание акционерного учредительства, прекращение выдачи железнодорожных кон-

цессий, установление высоких таможенных барьеров, предоставление Государственным банком неуставных ссуд предприятиям и кредитным учреждениям. Курс на усиление государственного вмешательства в экономику продолжился при преемниках Рейтерна, прежде всего в годы министерской деятельности Н. Х. Бунге.

Уход М. Х. Рейтерна в отставку был обставлен почетно. В правительстве его имя продолжало пользоваться уважением. Между тем к недомоганиям прибавилась болезнь глаз: Михаил Христофорович погрузился в темноту. Но после убийства царя-освободителя он вернулся к работе. Александр III всячески выказывал расположение к соратнику покойного отца. В октябре 1881 года, по просьбе императора, Рейтерн принял пост председателя Комитета министров. Бывший министр финансов как нельзя лучше соответствовал этой должности: научившись знакомиться с делами на слух, он вникал в детали каждого рассматриваемого вопроса, искусно руководил прениями и подводил итоги совещаний. Он председательствовал также в Главном комитете об устройстве сельского состояния (1881–1882) и Комитете финансов (1885–1890).

В первой половине 1880-х годов Рейтерн принимал участие в обсуждении принципиально важных вопросов внутренней политики и не раз демонстрировал преданность традициям Великих реформ. Он критиковал проект консервативного университетского устава, осуждал репрессии против раскольников и попустительство властей еврейским погромам, поддерживал преобразовательную деятельность нового министра финансов Н. Х. Бунге. Однако окончательная потеря зрения заставила Рейтерна в конце 1886 года уйти с поста председателя Комитета министров. За ним сохранилось членство в Государственном совете и председательство в Комитете финансов. В январе 1890 года, в день пятидесятилетия служебной деятельности, император даровал бывшему министру графский титул. 11 августа этого же года Михаил Христофорович скончался.

Как государственный деятель М. Х. Рейтерн отличался осторожностью и предпочитал постепенное движение к цели, избегал коренных преобразований и гораздо охотнее занимался разработкой частных законодательных актов. Он во многом был «чистым финансистом» и потому меньше внимания уделял проблемам социальной политики. Крестьянский вопрос и преобразование прямых налогов, лежащих в основном на сельском населении, не занимали подходящего места в деятельности министерства. Финансовое ведомство осталось равнодушным также и к законодательному регулированию взаимоотношений рабочих и владельцев частных предприятий, которое встало на повестку дня после падения крепостного права.

Современники уважали Рейтерна за обширные знания, исключительное трудолюбие, сдержанный и волевой характер, личную честность и бескорыстие, аскетизм в быту. Он так и не обзавелся женой и детьми и все свое время отдавал государственным делам. Уклад его жизни строго подчинялся служебным интересам. Не имея значительного состояния, Михаил Христофорович привык довольствоваться малым. По выражению чиновника финансового ведомства К. А. Скальковского, «он являл поучительный в наш век пример человека, жившего со спартанской простотой среди окружавшей его роскоши».

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ ЛАМАНСКИЙ:
*«Иностранные капиталы только тогда
обратятся в Россию, когда русские капиталы
покажут возможность правильного
употребления...»*

АЛЕКСАНДР БУГРОВ

Евгений Иванович Ламанский (1825–1902) принадлежит к числу наиболее известных банковских деятелей России XIX века. Получив блестящее образование и оставаясь крупным ученым — экономистом и географом, он внес значительный вклад в становление и развитие в России акционерных коммерческих банков. Е. И. Ламанский сам основал Общество взаимного кредита в Петербурге, в разное время возглавлял Русский для внешней торговли банк и Волжско-Камский банк, являлся акционером многих известных компаний. Он был не только создателем нового Государственного банка, но и фактическим его руководителем на протяжении 1860-х — начала 1880-х годов.

Хотя с 1860 по 1866 год управляющим Государственным банком официально являлся Александр Людвигович Штиглиц, бывший владелец одного из известных петербургских банкирских домов, именно Е. И. Ламанский выступал основным организатором новой банковской жизни. И сам Штиглиц, по мнению многих, занятием такой высокой должности обязан Ламанскому. Именно он посоветовал кандидату в министры финансов М. Х. Рейтерну предложить место престарелому банкиру, который готов был вот-вот свернуть свои дела в Петербурге и переселиться в Германию. Решающее согласие барона А. Л. Штиглица было получено на званом обеде, устроенном на даче Нессельроде на Каменном острове в Петербурге. Крупный государственный чиновник, министр иностранных дел в отставке К. В. Нессельроде пригласил ведущих представителей кредитно-финансовой сферы страны, в том числе М. Х. Рейтерна, Ю. А. Гагемейстера и Е. И. Ламанского. «Он сперва было отказывался, — вспоминал Е. И. Ламанский, — но когда ему сообщили, что товарищем управляющего предполагается назначить меня с поручением мне ближайшего заведования администрацией банка и операциями и что, таким образом, на нем будет лежать лишь главное руководство деятельностью нового кредитного учреждения, барон Штиглиц принял условно сделанное нам предложение».

А. Л. Штиглиц — европейски известный банкир, и назначение его управляющим Государственным банком оказалось как нельзя более удачным решением правительства для укрепления доверия к новому учреждению. К тому же назначению способствовал и другой, «деликатный» момент. А. Л. Штиглиц находился под покровительством великого князя Константина Николаевича, человека, сыгравшего важную роль в осуществлении либерального курса первой половины царствования Александра II. «Покровительство» Константина легко объяснимо: в семье Штиглиц воспитывалась его внебрачная дочь Н. М. Юнина. В 1861 году она вышла замуж за А. А. Половцова, чье восхождение к вершинам государственной службы тоже началось не без участия великого князя.

В сложившихся условиях Е. И. Ламанскому определили удобную нишу в должности товарища (заместителя) управляющего Государственным банком. Высшее чиновничество России едва ли стерпело бы на таком высоком посту человека, который про-

ходил в свое время по «делу петрашевцев», в эпоху «николаевской реакции» ратовал за освобождение крестьян и придерживался новейших европейских идей, в том числе идеи акционерного эмиссионного центрального банка. Всем необходимо было свыкнуться с новой фигурой. Это понимали как Ламанский, так и благоволившие к нему крупные государственные чиновники.

Образованность была фамильной чертой Ламанских, что определило широкий кругозор представителей этой семьи — восьми братьев, в том числе и самого Евгения. Их отец, директор Кредитной канцелярии, а впоследствии сенатор Иван Иванович Ламанский (1794–1879) отдал все силы воспитанию детей. Один из его сыновей, Владимир, стал известным славистом, профессором Санкт-Петербургского университета. Другой сын, Сергей, — химик; он изучал свойства ацетилена, газов, смазочных масел, а также занимался разделом физики, касающимся тепловых спектров света. Яков Иванович Ламанский был директором Технологического института.

Ламанских воспитывали в духе демократизма, в николаевскую эпоху считавшегося крамольным. В лицейских ученических тетрадях Евгения за 1841–1842 годы мы находим следующие записи: «Свобода была единственной целью граждан Рима, и всегда они защищали ее до последней капли крови»; «Деспотизм глубоко пустил свои корни, и униженное рабство надолго осталось в народе русском». Молодой Евгений вместе с братом Порфирием посещали кружок М. В. Петрашевского, за что в 1849 году оба находились под секретным надзором.

Евгений Иванович, несомненно, один из выдающихся представителей своей семьи. Как ученый он получил европейское признание; с 1857 года состоял членом-корреспондентом Венского геологического общества, Французского географического общества, а также корреспондентом Бельгийского статистического комитета. В 1859-м избран членом Российского вольного экономического общества и членом-корреспондентом Петербургской академии наук; в 1861-м — членом-корреспондентом Парижского статистического общества и председателем отделения статистики Русского географического общества. Е. И. Ламанский является автором двух фундаментальных работ по истории денежного обращения в России (написанных в основном на базе законодательных актов и архива отца): «Исторический очерк денежного обращения в России с 1650 по 1817 год» и «Статистический обзор операций государственных кредитных установлений с 1817 года до настоящего времени» (СПб., 1854.).

В конце 1850-х в высших кругах о Ламанском говорили как о «восходящем светиле в русской финансовой науке». Еще в 1855 году он был утвержден секретарем Русского географического общества, а в 1857–1858 годах командирован обществом за границу, где познакомился с экономическим и финансовым устройством европейских стран. Во время командировки он посетил А. И. Герцена, и это обстоятельство заметно осложнило его участие в Редакционных комиссиях по отмене крепостного права в России. Известный географ и государственный деятель П. П. Семенов-Тянь-Шанский вспоминал: «Шеф жандармов князь В. А. Долгоруков сообщил Ростовцеву (председателю Комиссий. — А. Б.), что во время своего пребывания за границей Е. И. Ламанский посещал Герцена. Яков Иванович по своему прямолюбию через меня прямо спросил Ламанского, справедливы ли эти слухи, и, получив утвердительный ответ, поручил мне съездить к шефу жандармов и передать ему, что на государственной службе во время своего посещения Герцена Ламанский не состоял, революционером никогда не был, а ныне назначается членом редакционных комиссий от Министерства финансов по соглашению председателя с министром как очень талантливый финансист».

Среди высоких должностных лиц, вставших на защиту Е. И. Ламанского, был министр государственных имуществ М. Н. Муравьев. Он, вспоминал Евгений Иванович,

«всегда относился ко мне с самым горячим расположением». И именно он ходатайствовал перед императором Александром II за молодого ученого и экономиста, которого, вследствие интриг высмеянного впоследствии в прессе министра финансов П. Ф. Брока, обвиняли в «неблагонадежности».

Активно участвуя в работе Редакционных комиссий, Е. И. Ламанский выступал одним из составителей законопроекта о выкупе крестьянских наделов. П. П. Семенов-Тянь-Шанский полагал, что это обстоятельство стало для него своеобразной «путевкой в жизнь» — в создаваемый Государственный банк. На самом деле работа в Редакционных комиссиях была лишь одной из нагрузок Ламанского, который и без нее мог претендовать на влиятельное место в образуемом кредитном учреждении, так как уже занимал высокую должность в Коммерческом банке.

Своим назначением в государственный Коммерческий банк (1859) Е. И. Ламанский обязан министру финансов А. М. Княжевичу и другу семьи, директору Кредитной канцелярии Ю. А. Гагемейстеру. Молодой финансист получил высокую должность старшего директора и начал предпринимать шаги по реформированию кредитной системы. Одним из важных мероприятий реформы стало создание нового Государственного банка.

На посту товарища управляющего, а с 15 мая 1867 года — управляющего Государственным банком Е. И. Ламанский развернул энергичную деятельность по новому устройству банка. Он написал его устав, 31 мая 1860 года одобренный императором, ввел отчетность и счетоводство по двойным записям по образцу Банка Франции, создал новый порядок обслуживания клиентов вне зависимости от социального положения. Его принципом стал девиз: «Повернуться лицом к клиенту». Ни родовитость, ни дорогое шитье на мундирах, ни роскошные экипажи, обладателям которых сотрудники бывшего Коммерческого банка отдавали предпочтение, теперь утратили прежнее значение: клиентов обслуживали в порядке общей очереди.

Е. И. Ламанский создал собственно коммерческий Государственный банк, содействовавший развитию банков и крупных российских фирм. Только кредит, считал он, является действенной силой развития промышленности, а не сдерживающие конкуренцию искусственные меры, такие как, например, пошлины. Еще находясь в должности товарища управляющего банком, он фактически возглавлял его. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что факсимиле его подписи красовалось на кредитных билетах 1860–1866 годов, хотя это право обычно принадлежало управляющему. Заняв этот пост, Е. И. Ламанский привел устройство и делопроизводство вверенного ему учреждения в полное соответствие с уставом 1860 года. Это касалось как мер в отношении учетно-ссудных комитетов, направленных на сменяемость их членов, так и расширения учетно-ссудных операций.

Ламанский выступил сторонником активного развития вексельного обращения; в качестве пробы начал даже внедрять чековое обращение, не получившее, правда, особого развития вплоть до 1910-х годов. При нем был значительно облегчен перевод денежных сумм и введена система единства кассы. Он создал удобную систему снабжения учреждений Государственного банка кредитными билетами: помимо оборотной кассы были установлены особые запасы бумажных денежных знаков. «Благодаря этому, — вспоминал Евгений Иванович, — усиление нуждающегося в кредитных билетах учреждения банка за счет избытка этими билетами учреждения могло быть осуществлено без пересылки билетов из одной кассы в другую».

Е. И. Ламанский приложил большие усилия к увеличению филиальной сети главного банка империи. По его мнению, это — наряду с основанием акционерных коммерческих банков — было частью программы создания новой кредитной системы. Неудача реформы «свободного размена» 1862–1863 годов показала, что преобразования

в денежно-кредитной системе не могут проходить лишь в столицах — для их успеха необходимо создание разветвленной сети государственной кредитной системы, распространение ее «вширь». Ламанский вплотную занялся этой проблемой. 10 декабря 1863 года он представил М. Х. Рейтерну план открытия отделений «в видах усиления наличности банковской кассы», то есть в качестве средства для преодоления последствий неудавшейся денежной реформы. Отделения рассматривались как более простая по сравнению с конторами форма провинциальных учреждений. Министр финансов одобрил план и представил его царю. Уже 20 декабря 1863 года Александр II подписал указ об открытии в провинции учреждений Государственного банка.

Напомним, что в 1860 году Государственный банк унаследовал от своего предшественника, Коммерческого банка, всего семь контор; а к 1881 году функционировали уже пятьдесят пять контор и отделений, разбросанных по всей стране и активизировавших торговлю и кредит в разных областях Российской империи. При этом Е. И. Ламанский не ограничивался пребыванием только в Петербурге, он выезжал знакомиться с положением дел в Москву, Нижний Новгород и в южнорусские губернии. Благодарные слова в его адрес посылали купцы разных областей, тихая провинциальная жизнь которых резко изменилась с появлением учреждений Государственного банка. 1 марта 1868 года ему было присвоено звание почетного гражданина города Моршанска, а в начале 1870-х он удостоился высоких отзывов таганрогских купцов.

1870-е годы — кульминационные в деятельности Е. И. Ламанского на этом поприще. Россия преображалась: возникали акционерные коммерческие банки, шло бурное строительство железных дорог, финансы обнаруживали признаки оздоровления. Понятно, что глава Государственного банка играл в этих условиях значительную, иногда — решающую роль.

Государственный банк под началом Ламанского получил большую самостоятельность в структуре Министерства финансов, являясь органом, осуществляющим кредитную политику в стране. Один из недоброжелателей Евгения Ивановича оставил о нем весьма любопытную зарисовку: «Е. И. Ламанский долго играл в русских финансах первенствующую роль. По званию управляющего Государственным банком он был alter ego министра финансов, распоряжаясь почти бесконтрольно кредитом, Казначейством (кредитные билеты), торговлей и промышленностью. Только вопросы о налогах были вне его компетенции, хотя и при обсуждении их он играл всегда роль в качестве выдающегося члена податной и тарифной комиссий». О том, что управляющий банком стал одной из самых влиятельных фигур, свидетельствует и тот факт, что его поддержкой хотели заручиться различные благотворительные общества и предпринимательские объединения. В 1869 году он был избран сотрудником попечителя Дома призрения малолетних бедных в Петербурге; в 1875-м — членом Главного управления Общества попечения о раненых и больных воинах. Кроме того, в 1872 году его назначили в члены Совета торговли и мануфактур, а в 1878-м он принимал участие в работе Комитета по созданию добровольческого флота.

Экономический кризис 1873 года и банковский — 1875-го стали неприятными событиями на фоне в целом благополучного развития хозяйства страны. Вопреки укрепившемуся мнению, они не имели сильного резонанса в обществе и воспринимались как естественные. Судя по прессе, общество больше интересовало другое: голод в Самарской губернии 1875 года и события в российской Средней Азии — Туркестанском генерал-губернаторстве. К появлявшимся в печати нападка Ламанский относился с олимпийским спокойствием, не считая нужным вступать в бесполезные газетные дискуссии.

Служащие, с почтением относившиеся к своему управляющему, вспоминали его времена как едва ли не лучшие для экономического развития страны. Ф. А. Юр-

генс, высокий чиновник главного банка империи, боготворивший Е. И. Ламанского в 1860–1870-х годах, вспоминал: «Обаятельное его обращение со своими подчиненными, как будто с близкими друзьями, способствовало тому, что служащие старались наилучшим образом исполнять предначертания выдающегося управляющего банком». При этом, по свидетельству современника, Евгений Иванович обладал замечательным свойством: он мало менялся в зависимости от смены должностей или присвоения званий.

Ламанского можно назвать англоманом — не только за его выдержку и тактичность, сочетавшиеся с жесткостью, но и за увлечение английским «экономическим чудом». Англичане, по его мнению, практичны и умны; они превосходно наладили свою денежную систему и окультурили отсталые аграрно-сырьевые колонии. Англия для Евгения Ивановича была образцовой страной, показавшей все преимущества системы свободной торговли.

Он исповедовал фритредерство — идеи свободной торговли и минимального вмешательства государства в экономику. Один из его активных оппонентов, профессор И. Н. Шиль, выражавший интересы дворянства, осуждал Ламанского за «излишнюю западность и буржуазность». Другой называл «единственным фритредером самой чистой воды из русских». Обвинения в «западничестве» стали главными аргументами его противников. Даже благожелательно настроенный к нему директор Кредитной канцелярии Ю. А. Гагемейстер считал, что молодой реформатор не учитывает «исключительного положения» России, пытаясь примерить к ней европейские одежды. Особое возмущение вызвала одна из речей Е. И. Ламанского. В ней он призвал «смягчить» завышенный, по его мнению, таможенный тариф 1857 года, который не только не обогащал казну, а напротив, — сокращал поступления в бюджет. Финансист считал, что покровительственные таможенные тарифы не способствуют развитию отечественной промышленности. Оппонентом Е. И. Ламанского выступил дворянин и промышленник А. П. Шипов, председатель Московского отделения Мануфактурного совета и Нижегородского ярмарочного биржевого комитета. Речь об отмене таможенного тарифа восприняли критически в связи с последними европейскими событиями. В 1864 году Германский коммерческий съезд вынес решение добиваться понижения таможенных пошлин на немецкие товары. В том же году в России был опубликован перевод записок съезда о заключении торгово-таможенного договора с Россией, которая рассматривалась как аграрный придаток Германии, обширный рынок для товаров немецкой промышленности. В заключение обосновывался вывод о необходимости ее развития как сельскохозяйственной страны. Подобные официальные заявления возмутили часть русских купцов.

Понятно, что позиция Е. И. Ламанского насторожила А. П. Шипова. В 1865 году он публикует ставший известным «Ответ г. Ламанскому», в котором настаивает на сохранении покровительственного тарифа. «Предполагая уничтожение наших мануфактур через уничтожение протекционных пошлин, казна может лишиться значительных доходов от акцизов и других налогов, собираемых внутри страны... Направление нашего производства одних сырых продуктов совершенно невозможно по физическому строю нашего государства». Автор статьи признавался, что до 1849 года и сам разделял фритредерские взгляды, но, познакомившись ближе с жизнью России, понял, что жестоко ошибался.

Евгений Иванович всегда отличался корректным отношением к своим оппонентам и вообще не любил заострять внимание на мелочах. Однако по-прежнему был уверен: будущее России — в буржуазном укладе «западного образца», в акционерных коммерческих банках, в строительстве железных дорог и, главное, в крепком и крупном российском капитале. Он понимал, что иностранный капитал сильнее российского

и имеет более спекулятивный характер. Кроме того, полагал Ламанский, «дружественная Европа» до тех пор не станет помещать капиталы в России, пока российские капиталы не покажут свою прочность и силу.

Протекционизм Е. И. Ламанский всю жизнь считал ошибочной позицией, «голословными заверениями, проистекающими более из чувства, чем оправдываемые какими-нибудь выводами науки». Впоследствии это определило его скептицизм относительно политики нового министра финансов И. А. Вышнеградского. После повышения в 1887–1889 годах таможенных пошлин практически на все импортные товары Ламанский счел своим долгом сделать публичное заявление против протекционизма. Речь под названием «О важнейших экономических явлениях последнего времени» стала реакцией на инициативу Вышнеградского повысить в 1889 году таможенные тарифы на импортные железнодорожные вагоны и шерсть с декларированной целью собрать в казну дополнительные денежные средства и облегчить конкуренцию отечественных товаров на внутреннем рынке.

В опубликованной речи говорится, что развитие протекционизма в России находится в общей связи с аналогичными процессами в США и европейских странах, исключая Британскую империю. Начало победы протекционизма в Европе связано с 1883 годом — годом экономического кризиса. Кризис был порожден внедрением в производство новых достижений науки, прежде всего использованием энергии пара и электричества, а также изменениями в денежном обращении этих стран, с 1867 года переходивших на золотомонетный стандарт. Однако под благовидными предложениями поступательного развития национальных экономик, защиты рынка сбыта и рынка рабочего труда от иностранной конкуренции протекционизм приносит обратные плоды. В странах, где он дал обильные всходы, — во Франции, в Германии, Италии, США — замечаются снижение темпов экономического развития, уменьшение торговых оборотов, обострение рабочего вопроса. Протекционизм, который некоторые страны считали лекарством от экономического недуга, лишь усилил болезнь — «только одна Англия осталась верной своим принципам, которые она приняла после уничтожения Пилем хлебных законов». Это не замедлило сказаться на экономическом росте Великобритании и на сглаживании рабочего вопроса. А все потому, что Англия последовательно придерживалась фритредерства — «системы, возникшей на практической почве».

Е. И. Ламанский возглавлял Государственный банк вплоть до 1881 года — года убийства Александра II и резкого понижения курса рубля на мировом рынке. Неудачная попытка управляющего банком поддержать курс путем продажи части золотых резервов не спасла положения: российские и европейские дельцы стали в больших количествах скупать золото и перепродавать его по завышенным ценам. Причину этого явления Е. И. Ламанский объяснял характером акционерных коммерческих банков, которые являлись основными участниками биржевых торгов. Как вспоминал он сам, «основанные в Петербурге частные банки с течением времени приняли характер иностранных банков и контор на акциях, за исключением лишь Волжско-Камского банка, который являлся исключительно русским кредитным учреждением». По его мнению, купцы поступили в этот сложный для России год непатриотично. Тем временем чиновники винили его в том, что он не умеет продавать золото, и говорили о злоупотреблениях (связанных, в том числе, с участием в акционерных компаниях).

Недолюбливавшие финансиста высокие государственные чины ждали только повода, чтобы избавиться от него. В Государственном банке назначили подписку на очередной заем, и однажды Ламанский приехал туда довольно поздно. По воспоминанию Ф. Г. Тернера, «его стали упрекать в том, что его запоздание воспрепятствовало отчасти успеху займа». Приказом императора Александра III по Министерству финансов от 31 июля 1881 года Е. И. Ламанский был уволен с поста управляющего Государ-

ственным банком. Очевидно, здесь сказалось влияние Н. Х. Бунге, незадолго до этого назначенного министром финансов. Хорошо знавший Евгения Ивановича, он не хотел иметь во главе подчиненного ему ведомства независимого управляющего и предпочел назначить его чиновником, «состоящим при министре финансов». Это оскорбило Е. И. Ламанского, который долгое время сам курировал Н. Х. Бунге. Поспешное ходатайство министра сохранить Евгению Ивановичу прежнее годовое жалованье в 6000 рублей не изменило положения — Ламанский подал в отставку. Кресло управляющего занял А. В. Цимсен, известный как послушный и исполнительный чиновник Министерства финансов.

Надо сказать, что неудача с продажей золота в 1881 году была для Е. И. Ламанского не единственной. Вместе с Н. Х. Рейтерном он разделяет ответственность за огромный убыток (40 млн рублей), вызванный крахом реформы «свободного размена» 1862–1863 годов. Однако даже такие тяжелые для страны потери перевешены достижениями: созданием Государственного банка и формированием новой банковской системы страны.

Еще будучи управляющим, Ламанский принял активное участие в деятельности сразу нескольких кредитных учреждений, созданных по частной инициативе. По оценке историка российских банков И. И. Левина, он «был положительно вездесущ: состоял Председателем Совета Волжско-Камского коммерческого банка... одним из первых акционеров Московского Купеческого банка, Председателем Совета Русского для внешней торговли банка, председательствует на первом общем собрании акционеров Сибирского торгового банка; ему принадлежит мысль об учреждении первого общества взаимного кредита; он разработал его устав, предоставил помещение в Государственном банке, был членом Правления с основания до 1870 года, а в Совете состоял до 1879 года». Сам Ламанский вспоминал: «Я остановился на мысли прийти на помощь торговому сословию устройством кредита, специально приспособленного для мелкого люда. Припоминая меры коммерческих потрясений, которые были пережиты в Бельгии и Франции, я пришел к заключению, что достижением намеченной цели должен был содействовать взаимный кредит». Заручившись поддержкой Н. Х. Рейтерна, он начал осуществлять задуманный план. И встретил понимание со стороны торговавших в Петербурге иностранных купцов Э. М. Мейера и Д. Моргана, а также среди таких известных русских капиталистов, как владелец крупного торгового дома Г. П. Елисеев и банкир И. И. Смирнов.

Поводом к учреждению Общества взаимного кредита послужил пожар в Петербурге 28 мая 1862 года, спаливший Щукин и Апраксин дворы со складами разнообразных товаров. Как писал Е. И. Ламанский, большие убытки, которые претерпели русские купцы, во многом произошли из-за отсутствия системы правильно организованного кредита. Следовательно, «учреждение подобного банка, не возбуждая напрасно несбыточных надежд на расширение кредита свыше средств и надобностей, могло вывести кредит на правильную дорогу и дать ему соответственное потребностям удовлетворение».

Евгений Иванович начал реализовывать идею создания Общества взаимного кредита с ее популяризации: написал брошюру, читал публичные лекции в городской думе, чтобы объяснить свою мысль возможно большему числу купцов. Устав общества был скопирован с устава 1848 года Брюссельского общества взаимного кредита (Union du Credit), которое хорошо зарекомендовало себя на родине и послужило образцом для создания подобных организаций в других странах, в частности известного Disconto-Gesellschaft в Берлине.

В 1863 году проект устава Петербургского общества представили на рассмотрение Государственного совета. С некоторыми изменениями, введенными в него Сове-

том (как вспоминал Е. И. Ламанский, «чисто по незнанию дела»), устав был утвержден в том же году. И 17 мая 1864 года Петербургское общество взаимного кредита открылось. Первоначальный его состав определился в триста человек, стоявших у основания, а капитал — в 14 000 рублей. Помещение для общества предоставил Государственный банк. Это было первое в России пореформенной эпохи негосударственное кредитное учреждение. Теперь российские купцы, получившие возможность взять небольшой кредит, почувствовали себя увереннее, стали меньше зависеть от оптовиков и импортеров. В основном членами общества становились купцы 1-й и 2-й гильдий, делавшие взносы от 30 до 5000 рублей. Общество взаимного кредита по своим функциям было акционерным коммерческим банком. Оно принимало вклады и выдавало ссуды из небольшого процента и очень скоро стало отказываться от услуг Государственного банка, предпочитая вести «дело» своими средствами. Как писал Е. И. Ламанский, «успех общества взаимного кредита был полный. Члены общества впервые почувствовали, что они работают у себя дома и что они сами хозяева своего дела и могут не обращаться с просьбами о кредите к учреждению казенному, где надо стараться приобрести благорасположение какого-то начальства. Каждый шел в общество взаимного кредита как к себе, переговаривал о своих нуждах и нес свои наличные деньги со знанием пользы их употребления для своих товарищей».

Состав членов общества заметно расширился: помимо купцов всех трех гильдий оно включило чиновников и разночинцев. Уже на третьем году прибыль на внесенный капитал составила 15% — небывалое прежде явление. В пору промышленного подъема в имевшее успех общество вошли биржевики и спекулятивные дельцы. Разросшийся капитал стал искать новые области размещения. Это происходило в пору зарождения других акционерных коммерческих банков и фирм, в пору бурного развития железнодорожного строительства. Неудивительно, что «новое помещение» денежных средств общество нашло в инвестиционной деятельности, скупая бумаги железнодорожных компаний.

Железнодорожный бум в России начался в 1864 году. Предтечей его было строительство в 1843–1851 годах силами зарубежных специалистов Николаевской железной дороги, которая соединила две российские столицы, и основание в 1857 году Общества российских железных дорог. Такие специфические российские условия, как протяженность расстояний, делали железнодорожное строительство жизненно необходимым. Е. И. Ламанский внес здесь свою лепту: он предложил смотреть на железные дороги как на коммерческое предприятие, приносящее прибыль и обоюдную пользу участникам и потребителям. Он считал, что оптимальным способом строительства железных дорог в России стало бы «соединение капиталов»: российского частного, российского государственного и инвестиционного западного.

После Первого съезда представителей акционерных коммерческих банков, состоявшегося 24 ноября 1873 года, был образован комитет Съезда. Уже 21 декабря 1874-го было утверждено Положение о комитете, который стал постоянно действующим органом этого банковского объединения. Он решал вопросы о единообразии форм отчетности в акционерных коммерческих банках и правил ведения банковских операций, о взаимоотношениях акционерных коммерческих банков между собой и с Государственным банком и т.д. Функции комитета сводились к координационной и унификационной.

Евгений Иванович с момента зарождения Комитета принимал активное участие в его работе. Он был председателем Первого съезда и руководил его пятой секцией (на ней разбирались вопросы о взаимоотношениях акционерных коммерческих банков с Государственным). Он стал и первым председателем комитета, оставаясь на посту управляющего Государственным банком. Это позволило Е. И. Ламанскому проводить

активную политику по отношению к кредитным учреждениям, которым Государственный банк оказывал всемерную поддержку. Его соратниками по комитету выступали известные российские банкиры И. К. Бабст и Г. О. Гинцбург.

Благодаря инициативе Е. И. Ламанского, в деятельность акционерных коммерческих банков была внесена предельная ясность — за счет двойной бухгалтерии «французского» образца. Деление бухгалтерских книг на правую и левую стороны, записи друг против друга по активу и пассиву, дебету и кредиту сменили примитивную форму отчетности. «Французская» система, конечно, по своим корням не была французской — записи по дебету и кредиту восходят к бухгалтерии итальянских банкиров Средневековья; о них говорится в известном «Трактате о счетах и записях» Луки Пачоли конца XV века. Однако опыт работы в Банке Франции, где Ламанский усвоил четкость такой системы, позволил именовать ее «французской». Этот опыт, по его признанию, был использован «для создания целой школы банковских бухгалтеров в России».

Ламанский сформулировал концепцию кредитования Государственным банком акционерных коммерческих банков: выдаваемые кредиты не служат расширению операций, а идут на формирование резервного фонда, который расходуется на покрытие возможных убытков. Этим достигается большая устойчивость банков. Таким образом, государственный кредит — это «временный и запасный ресурс, открытый... на случай нужды и к которому обращаться следует только в исключительных случаях, в особенности при внезапном значительном востребовании вкладов и текущих счетов».

Деятельность комитета протекала неравномерно, и после активного начала наступило некоторое затишье — до тех пор, пока им вновь не занялся банкир и чиновник, общественный деятель, трудолюбивый и очень напористый человек Е. И. Ламанский. К тому времени он занимал кресло председателя Совета Волжско-Камского коммерческого банка, и в начале 1895 года, по инициативе чиновника особых поручений при министре финансов А. К. Голубева, взялся за возрождение Комитета. Ламанский обратился с циркулярным письмом к правлениям акционерных коммерческих банков, предложив принять участие в финансировании деятельности канцелярии комитета. Большинство банков откликнулись на призыв. Благодаря их финансовой поддержке возобновилась издательская деятельность комитета. Ближайшее руководство деятельностью канцелярии взял на себя Евгений Иванович, и с 1895 года в свет выходили сводные ежемесячные балансы акционерных коммерческих банков и балансы обществ взаимного кредита. Начиная с 1896 года комитет стал издавать справочную книгу «Русские банки»; она имела большой успех и быстро раскупалась. Кроме того, был издан обширный труд «Статистика краткосрочного кредита», посвященный операциям акционерных банков коммерческого кредита в 1894–1895 годах. Комитет сделался издательским центром акционерных коммерческих банков обширной Российской империи. Е. И. Ламанский оставался его председателем до 1902 года — года своей кончины.

С выходом в отставку в 1882 году он не занимал крупных государственных постов. Правда, сосредоточившись на деятельности в комитете и Волжско-Камском коммерческом банке, этот энергичный человек находил время и для других организаций. Участвовал в работе Петербургской городской думы и Петергофского уездного земства; три года был председателем III отделения Вольного экономического общества. Е. И. Ламанского нередко приглашали читать лекции — в научных кругах его знали не только как экономиста, но и как географа. В 1880-х годах он занимался вопросом банковской системы, денежного обращения и кредита в Италии, а также собирал материалы по истории, культуре и экономике Индии.

В глазах крупных чиновников он потерял прежнее влияние — некоторые бывшие знакомые отошли от него. Граф Н. П. Игнатьев, посещавший известные в свое время в Петербурге «экономические обеды», где дискутировались различные экономические и политические проблемы, выступил одним из инициаторов его отставки. Ф. Г. Тернер, занимавший высокие посты в Министерстве финансов, проявлял высокомерие. Худшая черта чиновничьего Петербурга: человека забывали после его ухода с должности. Тем не менее фигура Е. И. Ламанского оставалась в поле зрения известных деятелей. В частности государственный секретарь А. А. Половцов одно время считал возможным привлечь его к работе Государственного совета. Однако резкие высказывания против министра финансов Н. Х. Бунге и проводимой им денежно-кредитной политики заставили чиновника быть более осторожным в этом вопросе.

Дружеские отношения между Е. И. Ламанским и Н. Х. Бунге испортились в результате ревностного отношения Ламанского к своему бывшему подчиненному, которого в 1862 году именно по его рекомендации назначили управляющим Киевской конторой Государственного банка. Евгений Иванович болезненно воспринимал повышение Бунге до министра финансов и в то же время свою отставку. В декабре 1885 года, когда над Бунге «сгущались тучи», в качестве его возможных преемников звучали фамилии А. А. Абазы, Д. М. Сольского, М. Н. Островского — и Е. И. Ламанского. Однако и на этот раз фортуна обошла стороной бывшего управляющего: кресло министра финансов в 1887 году занял И. А. Вышнеградский, которого считали креатурой консервативных кругов.

Академик В. П. Безобразов (как и Е. И. Ламанский, выпускник Царскосельского лицея) был одним из немногих, кто сохранил с Евгением Ивановичем дружеские отношения. Хотя и склонный говорить о злоупотреблениях Е. И. Ламанского, он возмущался двуличием вчерашних коллег. Когда в апреле 1887 года избирали председателя «экономических обедов», большинство приглашенных крупных чиновников и экономистов проголосовали против кандидатуры Евгения Ивановича. Как вспоминал В. П. Безобразов, бывший управляющий «с удивительным смирением всему подчинился».

Управляющий Государственным банком очень болезненно переживал свою отставку с этого поста. И в отчаянии подал просьбу о полной отставке с государственной службы, отказавшись от получения причитавшейся ему пенсии. Он говорил А. А. Половцову: «При учреждении Государственного банка мне дали 15 миллионов, и в течение двадцати лет я давал правительству ежегодно 8 миллионов прибыли; что касается до денег, розданных мной в займы, то, во-первых, еще ни одна копейка не пропала, а во-вторых, я исполнял определенно выраженное мне Рейтерном и самим государем желание, чтобы война (имеется в виду Русско-турецкая война 1877–1878 годов. — А. Б.) прошла без внутренних финансовых потрясений, без банкротств, как это и делалось».

Оставаясь в стороне от управления, Е. И. Ламанский живо интересовался банковской политикой Министерства финансов и взглядами на решение макроэкономических задач. Он болезненно воспринимал отход от принципов автономии главного банка империи и его коммерческого характера. И поэтому положительно отзывался о деятельности М. Х. Рейтерна, критикуя при этом политику Н. Х. Бунге, который, по мнению Ламанского, превратил Государственный банк в подчиненное Казначейству учреждение: «банк сделался оброчной статьей в государственном бюджете». Нарекания финансиста вызывали такие действия министерства, как задержка распределения прибыли и ее зачисление в ресурс Казначейства, «устранение банка от возложенных на него ликвидационных операций» (по ликвидации долгов дореформенных казенных банков. — А. Б.). Это способствовало «вторжению государства в область частных ком-

мерческих интересов» и замещению основных функций банка, призванного поддерживать в стране «как самостоятельное развитие торговли и промышленности, так и прочный государственный кредит, основанный на собственных силах народа». Ламанский полагал, что сформулированные им в конце 1850-х — начале 1860-х годов принципы устройства Государственного банка совершенны, и никогда не подвергал их сомнению. А их нереализованность считал лишь следствием ряда причин, в частности сопротивления представителей высшего слоя бюрократии, слабо подготовленной к пониманию его идей.

Осторожно Ламанский относился и к новациям нового министра финансов И. А. Вышнеградского. В феврале 1888 года глава финансового ведомства представил в Государственный совет законопроект о допущении «при обязательном и неразменном обращении кредитных билетов сделок, в виде исключения, на золотую валюту». Правда, проект был взят обратно для предварительного обсуждения с представителями от биржевого комитета в специально созданной комиссии, которая заседала в марте 1888 года. Реакция бывшего управляющего Государственным банком проявилась очень скоро: 19 марта того же года он опубликовал статью «Сделки на золотую валюту как средство к улучшению бумажно-денежного обращения». «Что могут сделать в этих условиях сделки на звонкую монету, когда нет оснований и потеряна всякая система в бумажном неразменном обращении?» — спрашивал автор. На примере финансовой истории Италии 1860–1880-х годов он показал, что достижение свободного размена возможно лишь при поэтапном осуществлении ряда продуманных мер. Как известно, в Италии свободный размен банкнот на звонкую монету ввели в 1883 году, хотя осуществление необходимых мер началось уже в 1870-х. В 1874 году в этой стране был принят закон о частичном допущении сделок на звонкую монету. Путем консолидации внутреннего государственного долга и увеличения золотого запаса, в том числе за счет большего собирания налогов, Италии удалось провести реформу свободного размена.

Е. И. Ламанский считал, что для России проект 1888 года — лишь официальные полумеры, которые ни к чему не приведут. Во многом такое скептическое отношение было связано с воспоминаниями о провале реформы свободного размена 1862–1863 годов. Недооценив высокие способности И. А. Вышнеградского, Ламанский ожидал, что он на посту министра финансов повторит его более ранние ошибки. Однако, как показала история, именно Вышнеградскому удалось создать бездефицитный государственный бюджет и устойчивое высокое положительное сальдо во внешнеторговом балансе, а также накопить большой золотой запас. Благодаря чему стало возможным проведение долгожданной денежной реформы 1895–1897 годов, в результате которой бумажный рубль стал свободно размениваться на золотую монету.

Пришедший в 1892 году министр финансов С. Ю. Витте уважал Ламанского; их роднили некоторые черты характера: напористость, трудолюбие, ответственность. Витте пригласил шестидесятилетнего Ламанского, остававшегося все еще подвижным и активным, в Особую комиссию по пересмотру устава Государственного банка. Евгений Иванович принял в работе самое деятельное участие. Однако его мышлению и экономическому кругозору не хватало новизны; казалось, он пребывал в экономических реалиях любимых им 1870-х. Не разделяя взглядов протекционистов и осторожно относясь к политике Витте по расширению кредитования отечественных производителей, Ламанский был уверен, что устав Государственного банка 1860 года не нуждается в коренных изменениях.

Опасения вызвала прежде всего брошенная заместителем министра финансов А. Я. Антоновичем фраза о «валюте честности и ума» — такое «обеспечение», по мнению Евгения Ивановича, могло способствовать только росту убытков банка по учетно-ссудным операциям. Несогласие обнаружилось и по вопросу о расширении компе-

тенции управляющих учреждениями банка. В декабре 1892 года, по инициативе министра финансов, было испрошено разрешение императора на учет векселей учреждениями Государственного банка самостоятельно, без оценки учетно-ссудного комитета. Узнав об этом, Ламанский заметил: найдутся такие управляющие, которые «охотно в своем личном интересе будут учитывать векселя». Это замечание, к сожалению, скоро оправдалось.

Ламанский показал себя сторонником «банковской политики» Государственного банка, решительно протестуя против соло-векселей как недостаточно обеспеченных в платеже и осторожно относясь к подтоварному кредиту, кредиту крестьян и кустарей. По его мнению, незыблемым оставалось то основание кредита, которое заложено в его надежном обеспечении. Очевидно, несогласие Ламанского с Витте по вопросам денежно-кредитной политики привело к тому, что Евгения Ивановича не пригласили к участию в комиссиях по денежной реформе 1895–1897 годов, в удачном завершении которой он, судя по всему, сомневался.

Параллельно с деятельностью в комиссии по пересмотру устава Государственного банка Ламанский готовил к изданию обширный труд, посвященный экономике и истории Индии и составленный из материалов публичных лекций. Он вышел в 1893 году в петербургской типографии газеты «Новости» под названием «Индия: I. О неурожаях в Индии. II. Современная Индия». Нетрудно догадаться, что при довольно конкретном уме автора в этой работе отразились конкретные российские реалии: неурожай 1891 года и последовавший за ним «голодный» 1892-й (по признанию Витте, самый страшный голод в истории России XIX века).

Ламанский обнаруживает много общего между Индией и Россией и в области сельского хозяйства вообще, и в определяющем влиянии неурожая на развитие общества. В предисловии он пишет, что с этой точки зрения Россия приближается к Востоку. В Европе, несмотря на высокую плотность населения, даже в самые трудные годы неурожая не имели таких последствий, как в азиатских странах. Исследователь хочет познакомить читателя с тем, что сделали в Индии «практичные англичане», «тем более что характер сельской промышленности, некоторые формы землевладения, способы обработки земли и другие черты индийского населения до некоторой степени напоминают то, что мы наблюдаем в нашем Отечестве».

В книге рассмотрены главным образом государственное устройство и экономика Индии, в том числе и вопросы денежного обращения. Значительная ее часть посвящена проблеме неурожая; автор подробно останавливается на государственных мероприятиях по борьбе с ними. Роль государства велика как в России, так и в Индии. Однако, полагает Ламанский, необходимо известное ограничение его функций: государство «безусловно должно держаться принципа невмешательства в обычные обороты хлебной торговли». Правительство может оказывать помощь землевладельцам путем налоговых льгот (при условии, что землевладельцы подобные льготы будут оказывать своим арендаторам), а также путем выдачи ссуд мелким землевладельцам, оказавшимся из-за неурожая в затруднительном положении. Ссуды целесообразно выдавать и крупным землевладельцам — при условии, что они воспользуются ими для производительных расходов.

Ламанский подробно останавливается на государственных мерах помощи местностям, пострадавшим от неурожая: создание оптимального плана действий с учетом сбора всех сведений о положении в стране; раздача бесплатных пособий; организация домов для бедных; надзор за деревнями и снабжение их продовольствием; устройство запасных хлебных магазинов. Таким образом, книга об Индии написана как руководство для решения российской проблемы голода — периодически возникающей и пагубно сказывающейся на народном хозяйстве.

31 января 1902 года просвещенная Россия узнала о смерти Е. И. Ламанского. Его похоронили 3 февраля на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. От Государственного банка на его могилу возложили золотой венок, что для того времени было проявлением большого уважения к заслугам усопшего. Почти все известные столичные газеты сообщили о кончине известного финансиста, написав о «большом значении в правящих сферах и огромной популярности в обществе».

На страницах «Нового времени» А. С. Суворин вспоминал: «Я не раз слышал его речи и в думе, и на лицейских юбилейных обедах 19 октября, и всегда речи эти производили впечатление, выделялись среди прочих речей. В них чувствовались самобытный ум и сильный характер». Автор некролога, помещенного в журнале «Народное хозяйство», описал Е. И. Ламанского как «человека большого ума», который «обладал редкими для непрофессионального ученого специальными познаниями», как «крупную личность», формировавшую вокруг себя среду единомышленников: «Ламанский являлся душой всей нашей банковской политики, как она определилась в 1860–1870-е годы. Таким образом, история ему поставит и хорошее, и дурное этой политики в актив и пассив его деятельности».

В 1903 году была опубликована небольшая книга об этом «выдающемся деятеле». Книгу написал хорошо знавший его (особенно в последние годы) Ф. А. Юргенс: «Ламанский выделялся по широте и глубине мыслей и представлял наиболее яркий тип характера великой преобразовательной эпохи 60-х годов. Его крупная заслуга состояла в направлении развития и умножения материального благосостояния государства и поднятия экономического положения, за что на страницах истории имя Ламанского причислится к числу наиболее выдающихся лиц, способствовавших культурному развитию России».

В память о Евгении Ивановиче сослуживцы установили в здании Общества взаимного кредита на Екатерининском канале в Петербурге его бюст, а также памятную доску. В Государственном банке был создан специальный фонд имени Е. И. Ламанского: из него давались пособия детям малоимущих служащих на получение образования.

Уходя из жизни, Е. И. Ламанский оставил абсолютно изменившийся мир, отличный от времен его молодости. «Великие реформы», банки и железные дороги, прочный государственный кредит — в этих достижениях эпохи Евгений Иванович принимал самое активное участие. Но главным и зримым памятником его деятельности останется, пожалуй, Государственный банк — детище, созданное под влиянием европейских образцов и надолго пережившее своего основателя.

НИКОЛАЙ ХРИСТИАНОВИЧ БУНГЕ: *«Калоши и зонтик мои в порядке — я готов уйти отсюда каждую минуту»*

ВАЛЕРИЙ СТЕПАНОВ

Среди преобразователей России Николай Христианович Бунге (1823–1895) до сих пор остается недооцененным реформатором. Между тем это одна из интереснейших политических фигур XIX столетия: видный ученый-экономист, известный общественный деятель и публицист, участник Великих реформ 1860-х годов. Уже на склоне лет судьба вознесла его на самую вершину бюрократической пирамиды. На посту министра финансов (1881–1886) Бунге инициировал ряд социально-экономических преобразований. Он вошел в историю как крупнейший реформатор царствования Александра III, непосредственный предшественник С. Ю. Витте и П. А. Столыпина.

Н. Х. Бунге родился в Киеве 11 ноября 1823 года в дворянской семье немецкого происхождения. На склад его ума и характера заметное влияние оказали образ жизни и традиции многочисленного семейного клана, в котором издавна культивировались трудолюбие и любовь к знаниям. Дед Н. Х. Бунге, Георг-Фридрих, переехавший в Киев из Восточной Пруссии в середине XVIII века, был фармацевтом и владельцем первой в городе частной аптеки, избирался членом Вольного экономического общества. Его сыновьям и внукам удалось многого достичь на научном поприще. Отец будущего министра финансов, Христиан Георг, получил в Йенском университете степень доктора медицины и специализировался главным образом на лечении детских болезней, служил в Киевской духовной академии, военном госпитале, а после выхода в отставку занимался частной практикой. Мать, Екатерина Николаевна (урожденная Гебнер), происходила из обрусевшей немецкой семьи.

В 1841 году Николай Христианович с золотой медалью окончил 1-ю киевскую гимназию и поступил на юридический факультет Университета св. Владимира. На студенческой скамье началось увлечение вопросами экономики и финансов, которое и определило круг его научных интересов. Получив степень кандидата законовения, Бунге с 1845 по 1850 год читал курс о законах казенного управления в лицее кн. Безбородко в Нежине. В своих лекциях он сверх установленной программы излагал основы политической экономии. В 1847 году Николай Христианович защитил магистерскую диссертацию о торговом законодательстве Петра I. По образованию и воспитанию он был либералом-западником, истинным «человеком 40-х годов» и с юных лет испытывал неприязнь к крепостничеству, деспотизму, произволу и коррупции. В Нежине Бунге сблизился со свободомыслящими преподавателями и, по словам своего ученика Е. Э. Картавцова, стал «душой и главой кружка, горячо сочувствовавшего проповеди Грановского и Белинского, — кружка, не скрывавшего отрицательное отношение свое к тогдашним язвам русского общества — крепостному праву и взяточничеству — и искавшего идеалов на Западе».

В 1850 году Бунге был переведен в Университет св. Владимира, где на протяжении трех десятилетий преподавал политическую экономию, статистику и полицейское

право. В 1852 году он защитил докторскую диссертацию по теории кредита и получил звание профессора; с 1859 по 1862 год, с 1871 по 1875 и с 1878 по 1880 год занимал пост ректора. Его научные воззрения формировались под влиянием школ западной политэкономии. В 1840–1850-е годы Бунге выступал сторонником идей экономического либерализма с их апологией частной собственности, свободы предпринимательства и конкуренции. Он во многом разделял мнение А. Смита и других теоретиков классической школы о невмешательстве государства в экономическую жизнь. В своих работах резко критиковал теории социализма, называя его «злом, от которого гибнут нравственность, долг, свобода, личность». Особое неприятие у Бунге вызывали идеи марксизма. Причину их популярности он видел в том, что К. Маркс «обращается к хищническим инстинктам обездоленного человечества»; в действительности же следование его рецептам может привести только «в царство деспотизма большинства и всеобщего рабства». В этом духе Николай Христианович воспитал многих учеников, создав «киевскую школу экономистов», одну из крупнейших в России. Его последователей (Д. И. Пихно, А. Д. Билимовича и др.) объединяли критика трудовой теории стоимости, преимущественное внимание к практическим вопросам экономической политики и отрицание социалистической доктрины.

Авторитет Бунге как ученого и педагога был настолько высок, что в 1863 году он был приглашен для преподавания «науки о финансах» наследнику престола великому князю Николаю Александровичу. Интеллигентный и эрудированный профессор из Киева понравился царской семье. Вскоре к изучению финансов на некоторое время присоединился и другой сын императора — великий князь Александр Александрович, вскоре, после смерти старшего брата ставший наследником. Будущий Александр III пленился ясным умом и обаянием личности наставника. Знакомство с императорской фамилией имело впоследствии огромное значение для взлета карьеры Бунге.

Николай Христианович был деятельной натурой, не замыкался в тиши профессорского кабинета и стенах университетских аудиторий. В годы общественного подъема, начавшегося после поражения России в Крымской войне, он принял активное участие в движении либеральной интеллигенции. В Киевском университете возникла «прогрессивная партия», ядром которой стал триумвират: Н. Х. Бунге, профессор отечественной истории П. В. Павлов и профессор всеобщей истории В. Я. Шульгин. Несмотря на свою молодость, Николай Христианович был главой этой группы. Он поддерживал также тесные связи со столичными либералами, прежде всего с петербургским кружком К. Д. Кавелина и братьев Н. А. и Д. А. Милютиных, в котором разрабатывались теоретические основы и конкретные проекты будущих преобразований. Бунге выдвинулся и как известный публицист, выступавший в печати по самым актуальным проблемам современности. Он — постоянный автор «Русского вестника», «Отечественных записок», «Экономического указателя» и других ведущих периодических изданий.

Бунге принадлежит к плеяде творцов Великих реформ. В 1859–1860 годах он был членом-экспертом Редакционных комиссий, учрежденных для подготовки проекта освобождения крестьян от крепостной зависимости. Николай Христианович сразу же примкнул к либеральному большинству и на заседаниях общего присутствия комиссий последовательно отстаивал основные принципы будущего преобразования: освобождение крестьян с землей за выкуп, их право на бессрочное пользование наделами и неизменность повинностей. Особенно велика его заслуга в разработке важнейшего звена реформы — выкупной операции. Одновременно Бунге входил в состав комиссий по реформированию системы кредитных учреждений и устройству земских банков. В 1861–1862 годах участвовал в комиссии Министерства народного просвещения и внес свой вклад в разработку либерального университетского устава, утвержденного в 1863 году.

Бунге навсегда сохранил верность идеалам этой эпохи. Тогда окончательно сформировались его политические убеждения, он прочно усвоил западные ценности с их гуманистической направленностью. В его воззрениях отразились особенности российского либерализма 1850–1860-х годов. Признание приоритета человеческого разума, вера в самоценность свободной личности, преданность идеям гласности и правопорядка сочетались у либералов с представлением о самобытности российской государственности и ее исключительном значении в истории России; с приверженностью монархической форме правления; ярко выраженным антирадикализмом; отказом от конституционных лозунгов (но без отрицания конституционализма в принципе).

Бунге считал самодержавную форму правления наиболее соответствующей историко-географическим условиям страны и особенностям национального самосознания. Он рассматривал абсолютную монархию как «всесловный» институт и верил в ее способность к решению назревших экономических и политических задач. Приверженность тезису об инициативной роли государства в проведении преобразований вообще характерна для либеральных кругов того времени. Вместе с тем Бунге выступал за европеизацию «верховой власти», органический синтез западных и исконно русских начал. Его политический идеал — монархия, основанная на законности, гласности и местных выборных учреждениях.

Со второй половины 1860-х годов в политике правительства усилились консервативные тенденции, и Бунге перестали приглашать в Петербург для участия в разработке реформаторских проектов. Но он находил применение своей энергии. Еще в 1862 году Николая Христиановича назначили по совместительству управляющим третьей в стране по величине и значению Киевской конторой Государственного банка. Это позволило ему на практике овладеть искусством финансовых операций и заслужить репутацию опытного администратора. По инициативе Бунге в 1868 году были основаны Киевское городское общество взаимного кредита (некоторое время он являлся его управляющим) и первый в России провинциальный акционерный банк (Киевский частный коммерческий), а в 1871 году — Киевский промышленный банк. При поддержке Николая Христиановича в городе возникло Биржевое общество (1869), которому он помог получить земельный участок и средства для строительства здания биржи. Причем сам Бунге, человек редкого бескорыстия, не принимал никакого личного участия в коммерческой деятельности. Когда в городе ввели общественное самоуправление, его сразу же избрали гласным Думы. Он с увлечением погрузился в дела городского хозяйства, председательствовал в финансовой комиссии, которой поручались составление городских смет и контроль над их исполнением. Дума неоднократно просила Бунге занять пост городского головы, но он всякий раз отклонял эти предложения, ссылаясь на занятость в университете.

Своим главным делом Николай Христианович считал изучение проблем народного хозяйства России. В своих научных и публицистических работах он много размышлял о задачах экономической политики и выдвинул ряд предложений, которые в совокупности составили комплексную программу преобразований. Для смягчения крестьянского малоземелья Бунге выступал за отмену фискально-принудительных функций сельской общины (круговой поруки крестьян в уплате податей и жестких паспортных правил), за организацию массового переселения малоземельных крестьян на окраины империи и создание мелкого ипотечного кредита. С целью облегчения финансового бремени крестьянства он рекомендовал упразднить соляной налог и подушную подать, понизить выкупные платежи и вместе с тем установить налоги на доходы от земли, недвижимых имуществ и промыслов. По его мнению, эти меры в будущем стали бы основой для введения единого подоходного налога. После освобождения крестьян остро стояла также проблема урегулирования взаимоотношений между на-

емными рабочими и хозяевами. Бунге предлагал принять законы об охране труда, разрешить создание рабочих ассоциаций и допустить участие рабочих в прибылях предприятий.

С целью реорганизации финансового управления Бунге считал необходимым завершить преобразования, предпринятые министром финансов М. Х. Рейтерном и государственным контролером В. А. Татариновым. Речь шла о введении единого финансового плана, обязательного для всех министерств; строгом соблюдении принципов бюджетного и кассового единства; ограничении несоразмерных с ресурсами казны ассигнований на содержание государственного аппарата; усилении контроля и гласности при осуществлении ведомственных расходов. Особое значение для стабилизации финансов Бунге придавал упорядочению расстроеного в Крымскую войну денежного обращения. В ряде статей он изложил свой проект повышения курса рубля до серебряного номинала путем извлечения из оборота неразменных на звонкую монету кредитных билетов и накопления значительного золотого и серебряного фонда.

Много места в трудах Бунге отведено проблеме соотношения частного предпринимательства и государственного участия в экономической жизни. Их автор продолжал рассматривать личную инициативу как главный двигатель прогресса. В пореформенные десятилетия выступал за отчуждение в частные руки государственных имуществ (земель, лесов, фабрик, заводов) и широкое развитие акционерного учредительства. Вместе с тем он учел отрицательные явления периода предпринимательской свободы: биржевой ажиотаж, спекулятивное грюндерство, расхищение акционерных капиталов, злоупотребление казенными кредитами, массовое разорение акционеров и вкладчиков частных банков и т.д. Больше внимания, чем прежде, Бунге начал уделять особенностям народного хозяйства России. Он пересмотрел свои прежние фритредерские взгляды и эволюционировал к умеренному протекционизму.

Как экономист Бунге стал главным образом ориентироваться на идеи теоретиков немецкой исторической школы (В. Рошера, Б. Гильдебрандта, К. Книса). Стремлению фритредеров к всемирной глобализации они противопоставляли национально-государственные интересы, критиковали А. Смита за «космополитизм», оспаривали трактовку «естественных» экономических законов как универсальных для всех стран и времен. Отвергая «абстрактную» модель, В. Рошер и его последователи выступали за «национальную» политэкономия, предметом которой должна стать хозяйственная эволюция определенного народа. Интересы нации историческая школа ставила выше интересов отдельного индивидуума и считала государственное регулирование экономики не только возможным, но и необходимым.

Эти идеи получили отражение в программе Бунге, который признал за протекционизмом «историческое значение» и высказался за таможенное покровительство отечественной промышленности. Иначе стал он подходить и к задачам развития железнодорожного транспорта. Поначалу ратуя за пробуждение «духа предприимчивости» в строительстве новых линий, к середине 1870-х он высказался за выкуп нерентабельных частных линий в собственность государства и указал на некоторые преимущества казенного железнодорожного хозяйства. Это было связано с негативными последствиями учредительской горячки, кризисным состоянием железнодорожной сети и ростом задолженности акционерных обществ Казначейству.

Рассуждая о проблемах народного хозяйства России, Бунге учитывал опыт передовых индустриальных держав. Его заслуга заключалась в пропаганде западных экономических теорий и оценке возможностей их практического применения в России. Вместе с тем он стремился к рациональному применению европейских моделей в специфических условиях отсталой страны. Направленность его программы на подъем жизненного уровня и укрепление правового статуса «низших классов» отличало ее от программных

документов финансового ведомства, которые, как правило, составлялись из чисто фискальных соображений. Причины такого «народолюбия» объяснялись как гуманистическим мировоззрением, так и здравым смыслом экономиста-прагматика, понимавшего, что при нищете населения невозможно полноценное развитие народного хозяйства. По мнению Бунге, последовательная социальная политика, проводимая «верховой властью», является залогом не только экономического прогресса, но и мирной эволюции государства, лишая почвы всевозможные «разрушительные» теории.

В целом программа эта достаточно реалистична. Она соответствовала потребностям страны в корректировке законодательства 1860-х годов, так как к концу царствования Александра II стало ясно, что освобождение крестьян и другие реформы не дали ожидаемых результатов. Вопросы, поднятые в работах Бунге, в те годы были у всех на устах, их обсуждали в публицистике, земских собраниях и правительственных комиссиях. Его программа, отражавшая чаяния либеральных кругов, получила известность и признание в обществе. Все это способствовало привлечению Николая Христиановича к государственной деятельности. Он оказался лицом к лицу с задачами, которые были поставлены на очередь отменой крепостного права, но так и не решены правительством в первые пореформенные десятилетия.

Назначение Бунге на министерский пост состоялось в момент национального кризиса, наступившего после Русско-турецкой войны 1877–1878 годов. Страна переживала настоящую финансовую катастрофу: бюджет сводился с огромным дефицитом, резко возрос государственный долг, курс рубля неудержимо падал. Экономика была поражена промышленным и мировым аграрным кризисами. Террор «Народной воли» вызвал в верхах настоящее смятение. Давление на правительство усиливалось и со стороны растущей земской оппозиции. Самодержавие оказалось перед дилеммой: либо немедленно выдвинуть новую программу реформ, способную увлечь общество, либо пойти на ужесточение режима. В этой ситуации преследуемый террористами Александр II предпочел первый путь.

С февраля 1880 года власть в правительстве перешла к группировке либеральных бюрократов во главе с председателем Верховной распорядительной комиссии (с августа 1880 года — министром внутренних дел) графом М. Т. Лорис-Меликовым. Он рассматривал возврат к реформаторскому курсу как единственную гарантию сохранения в России существующего строя и стал выдвигать на руководящие посты людей, солидарных с его замыслами и пользующихся доверием общества. По его рекомендации и при поддержке великого князя Александра Александровича в июле 1880 года Бунге получил должность товарища министра финансов С. А. Грейга.

В сентябре 1880 года Бунге, по распоряжению императора, составил всеподданнейшую записку, в которой наметил основные пути антикризисной политики финансового ведомства. Казалось, подобное поручение свидетельствовало о намерении Александра II сделать Бунге министром финансов. Но Лорис-Меликов спустя месяц предпочел «испросить» этот пост для своего ближайшего единомышленника — председателя Департамента государственной экономии Государственного совета А. А. Абазы, который обладал большим весом в верхах и мог оказать графу более действенную поддержку. Однако по уровню компетентности в специальных финансовых вопросах Н. Х. Бунге заметно превосходил своих коллег по либеральной коалиции: Лорис-Меликов и его окружение при подготовке преобразований старались опереться на его высокий научный авторитет.

Обновленное руководство Министерства финансов совместно с Министерством внутренних дел в ноябре 1880 года добились отмены соляного налога; вынесло на обсуждение в Государственный совет вопрос о понижении выкупных платежей, сложении накопившихся недоимок и переводе бывших помещичьих крестьян на обязатель-

ный выкуп; приступило к упорядочению денежного обращения, выкупу железных дорог в казну и пересмотру таможенных пошлин. Но период либеральных надежд оказался кратковременным. Бомба, взорвавшаяся на Екатерининском канале 1 марта 1881 года, не только сразила Александра II, но и разрушила планы Лорис-Меликова и его соратников. Новый император, не склонный к реформаторским устремлениям, издал знаменитый манифест 29 апреля 1881 года о незыблемости самодержавия. Предложение Лорис-Меликова о привлечении «общественных элементов» к участию в разработке и обсуждении законов было отвергнуто. Однако самодержец во многом соглашался с инициативами, касающимися оздоровления экономики и финансов. Поэтому, несмотря на отставку ведущих либеральных деятелей с министерских постов, Н. Х. Бунге был назначен главой финансового ведомства. Немалое значение имело и личное расположение императора к Николаю Христиановичу: Александр III считал его «превосходным, благородным, без задних мыслей человеком».

Назначение Бунге в общество восприняли с воодушевлением. В этом видели признание авторитета науки и необходимости специальных знаний для руководства экономической политикой. И действительно, Николай Христианович и на министерском посту во многом оставался профессором: действовал всегда осторожно, с обдуманностью ученого, тщательно взвешивая последствия каждого шага. В чиновничьем Петербурге он выглядел инородным элементом. Современников поражали в нем глубокая интеллигентность, скромность, полное отсутствие бюрократических амбиций и склонности к саморекламе. О демократизме Бунге ходили легенды. Стремительное возвышение никак не отразилось на его характере и поведении. Он был по-прежнему прост, доступен и вежлив с любым человеком, будь то канцелярист или министр. Николай Христианович никогда не был женат и, по собственному признанию, любил «уединение среди жизни шумной». Главный казначей огромной империи отличался поразительной неприхотливостью в быту: он отказался от большей части роскошной министерской квартиры, на доклад к императору отправлялся на простом извозчике и при этом регулярно жертвовал деньги на нужды учащейся молодежи.

Новую должность Бунге принял с неохотой, сознавая всю трудность своей миссии. Деятельность эта осложнялась не только экономическим кризисом и финансовым расстройством, но и политическими обстоятельствами. Призванный из Киева для участия в преобразованиях, он возглавил финансовое ведомство в тот момент, когда с воцарением Александра III начался поворот к консервативному курсу. Самодержавие приступило к постепенному пересмотру либерального законодательства 1860-х годов. Огромную роль в верхах стал играть лично близкий к императору обер-прокурор Святейшего синода К. П. Победоносцев. Министром внутренних дел был назначен известный ретроград граф Д. А. Толстой. Апогея в эти годы достигло влияние идеолога консерватизма, редактора-издателя «Московских ведомостей» М. Н. Каткова. Ему вторила петербургская газета «Гражданин», издававшаяся кн. В. П. Мещерским — другом юности Александра III. Консерваторы выступали против искусственного «прививания» в России западного «биржевого» капитализма; проповедовали создание «национальной экономики», отгороженной от Запада высокими таможенными барьерами; выступали за усиление государственного вмешательства в развитие народного хозяйства (ужесточение контроля над частным предпринимательством, введение табачной и винной монополий, выкуп всех частных железных дорог в казну); требовали финансовой поддержки поместного дворянства и сохранения бумажно-денежного обращения.

Министр финансов понимал зыбкость своего положения. На следующий день после назначения он сказал своим знакомым: «Калоши и зонтик мои в порядке — я готов уйти отсюда каждую минуту». Старый профессор даже полностью не распаковывал чемоданы, чтобы в любой момент покинуть казенную квартиру. Он мог рассчитывать

на поддержку только собственной команды, которую ему удалось собрать в финансовом ведомстве. При этом Бунге не обращал внимания на политическую «благонадежность» подчиненных — директором Департамента окладных сборов был А. А. Рихтер, в 1860-х годах скрывавшийся за границей от преследования полиции, а его заместителем — В. И. Ковалевский, два года отсидевший в Петропавловской крепости по знаменитому «нечаевскому делу». Содействие Николаю Христиановичу пытались оказывать и либеральные бюрократы, осевшие в Государственном совете после увольнения с высших административных постов.

Опираясь на своих немногочисленных единомышленников, министр финансов предпринял целый ряд реформаторских начинаний. В 1881 году были понижены выкупные платежи, а в 1882–1886 — отменена подушная подать. Переводом бывших помещичьих (1881) и государственных (1886) крестьян на обязательный выкуп было завершено дело, начатое провозглашением отмены крепостного права. В Министерстве финансов развернулась подготовка к отмене круговой поруки и пересмотру паспортного устава, сковывавшего мобильность сельского населения. С целью смягчения земельного голода Бунге предлагал облегчить крестьянам выход из общины и организовать переселенческое движение на окраины страны. Чтобы помочь крестьянам в покупке дополнительных участков земли, в 1882 году был основан ипотечный Крестьянский банк. Вместе с тем Бунге возражал против учреждения в 1885 году Дворянского банка для льготного кредитования помещиков.

По инициативе министра финансов состоялось утверждение первых актов фабричного законодательства. В 1882 и 1885 годах были приняты законы о регламентации труда женщин, детей и подростков. Для контроля над их исполнением вводилась фабричная инспекция. В 1886 году последовал закон об урегулировании отношений рабочих и предпринимателей — порядке найма и увольнения рабочих, выдаче заработной платы, наложении штрафов и т.п. По словам видного экономиста М. И. Туган-Барановского, «Бунге явился в полном смысле слова новатором, создавшим чрезвычайно важную отрасль социальной политики, которой совершенно не знала прежняя Россия». В министерстве началась также подготовка проекта о страховании рабочих от несчастных случаев. В отличие от МВД финансовое ведомство склонялось даже к разрешению экономических забастовок, если они не нарушали общественного порядка, и допускало создание организаций взаимопомощи рабочих.

Социальная политика сочеталась с антикризисными и стабилизационными мероприятиями. Одной из первоочередных задач Бунге считал увеличение налоговых поступлений и сбалансирование дефицитного бюджета. Для восполнения потерь казны после понижения выкупных платежей, отмены соляного налога и подушной подати были увеличены гербовые сборы, государственный поземельный налог и налог с городской недвижимости; введены налоги с наследства и с доходов от денежных капиталов; преобразовано торгово-промышленное обложение. Возросли и косвенные налоги — питейный сбор, акцизы с сахара и табака. Чтобы усовершенствовать порядок взимания налогов, при губернских казенных палатах учредили институт податных инспекторов (1885).

Одновременно Бунге прилагал большие усилия для соблюдения бюджетной экономии. Он сочувствовал миролюбивой политике Александра III и неустанно повторял, что российские финансы не выдержат очередной войны. С 1881 по 1884 год министр финансов сумел почти втрое уменьшить сверхсметные ассигнования. Однако уже в 1885 году вследствие конфликта с Англией в Средней Азии они снова резко возросли. В итоге кризисное состояние экономики и внешнеполитические осложнения не позволили избавиться от бюджетных дефицитов. Правда, они больше не достигали такой величины, как после Русско-турецкой кампании, но тем не менее оставались хроническими.

Много внимания уделялось упорядочению расстроенного денежного обращения. Со времен Крымской войны в стране царил инфляция, звонкая монета давно исчезла из оборота, курс кредитных билетов резко упал. Бунге убедился в невозможности вернуть рублю номинальную стоимость и пришел к выводу о неизбежности девальвации. Министерство осознало также обреченность всех попыток стабилизировать денежную единицу на прежней серебряной основе. Поэтому министр высказался за переход к золотому монометаллизму по примеру других западных стран. К середине 1880-х годов в финансовом ведомстве сложилась концепция будущей денежной реформы. Накопление золотого запаса осуществлялось с помощью внешних займов и поступлений в уплату таможенных пошлин.

При Бунге усилилось участие государства в экономической жизни. Это выразилось в усилении таможенной охраны, создании системы казенного ипотечного кредита, огосударствлении частных железных дорог и т.д. Для защиты отечественной промышленности от иностранной конкуренции были повышены ставки таможенного обложения на ввоз многих сырьевых продуктов и промышленных изделий. Тем самым завершился переход к протекционистской системе, начатый правительством еще накануне Русско-турецкой войны. Сокращение импорта сопровождалось форсированием экспорта, главным образом хлебных культур. Бунге удалось обеспечить России небольшое, но устойчивое активное сальдо торгового баланса. Однако расчетный баланс, несмотря на широкое привлечение иностранных капиталов, оставался пассивным. Его активизации препятствовали огромные ежегодные выплаты по заграничным долговым обязательствам.

Министерство финансов приступило к реорганизации железнодорожного хозяйства, которое представляло собой настоящую «язву» российской экономики. Кредитование акционерных обществ, существовавших только благодаря поддержке государства, ложилось на бюджет тяжелым бременем. Совместно с Государственным контролем и Министерством путей сообщения финансовое ведомство провело серию мероприятий по ужесточению контроля над деятельностью частных компаний, поставивших их в более тесную зависимость от Казначейства. Бунге пошел по пути возобновления казенного строительства и выкупа малопродуктивных линий у частных компаний в собственность государства. Сооружение дорог частными компаниями не прекратилось, но осуществлялось в значительно меньших масштабах, чем прежде. Вместе с тем Бунге выступал против полного огосударствления железнодорожной сети, так как считал, что «государственная предприимчивость не может заменить частную предусмотрительность».

Политика Министерства финансов вызывала сильное недовольство консервативных кругов. Их не устраивали разбазаривание казенных средств на податные преобразования и Крестьянский банк, курс на восстановление металлического денежного обращения, слишком «медленное» огосударствление железных дорог, совершенно «недостаточное» повышение таможенных пошлин, «незначительность» льгот, дарованных помещикам уставом Дворянского банка и проч. Консерваторы начали травлю Бунге в печати и бюрократических кругах. Посыпались обвинения в незнании российской действительности и слепом следовании западным доктринам. Известный историк А. А. Кизеветтер вспоминал, что каждая предпринятая мера «вызывала в реакционной прессе новый взрыв возмущения против либерально-демократического министра, который своей фигурой положительно портил общую картину контрреформационного правительства».

Под давлением своего окружения Александр III в конце 1886 года заменил Бунге ставленником консервативных кругов И. А. Вышнеградским. Однако вопреки ожиданиям отставка не стала опалой. Неожиданно для всех император назначил Николая

Христиановича на почетный, хотя и менее влиятельный пост председателя Комитета министров. А кроме того, поручил прочесть курс финансового права своему сыну, будущему Николаю II. Между наставником и учеником установились доверительные отношения. Бунге пытался привить ему либеральные идеалы и разъяснить «благодетельное» значение для России Великих реформ. Правда, постоянно приходилось преодолевать влияние другого наставника — К. П. Победоносцева, который внушал цесаревичу противоположные взгляды. В 1892 году император назначил Николая Христиановича вице-председателем Комитета Сибирской железной дороги, который возглавил наследник престола.

Пользуясь расположением самодержца, Бунге пытался оказывать влияние на ход государственных дел. Он не смирился с поражением и продолжал выступать против консервативного курса: осудил политику Министерства внутренних дел по укреплению общинного землевладения и выступил против принятия законов об ограничении семейных разделов (1886) и общинных земельных переделов (1893), о неотчуждаемости крестьянских наделных земель (1893). В ходе прений в Государственном совете по поводу этих проектов Бунге призывал правительство делать ставку не на консервацию средневековой общины, а на развитие частного крестьянского землевладения. Он ссылаясь на пример Франции, «где личная земельная собственность более всего распространена и где благосостояние в сельском населении оказывается наиболее всеобщим, а земледельцы наиболее чужды социализму вообще и революционному в особенности». Вместе с тем Бунге отнюдь не призывал к насильственному разрушению общины. Он выступал лишь против ее искусственной поддержки и был убежден, что она естественным образом распадется в ходе аграрной эволюции. Однако аргументы Бунге не встретили понимания в верхах.

После кончины Александра III в октябре 1894 года Николай Христианович вошел в ближайшее окружение нового царя. Его роль при дворе сразу же возросла: говорили, что Александр III перед смертью рекомендовал сыну советоваться с Бунге. Опекунство наставника над учеником сохранялось. Николай II считал его «верным и опытным советником», обсуждал с ним важнейшие вопросы. Под влиянием ментора император согласился на организацию переселений малоземельных крестьян в зону строящейся Сибирской магистрали. Позднее, в апреле 1896 года, был утвержден закон, который отменил практику насильственного возвращения самовольных переселенцев; упростил порядок выдачи разрешений на переселения; установил льготный тариф на проезд по железной дороге и право посылки крестьянами партий для осмотра земель, предназначенных для заселения.

В обществе ожидали, что председатель Комитета министров сумеет убедить императора в необходимости возобновить политику реформ. «В России, в особенности в земской России, с трепетом и надеждой следили за Николаем Христиановичем, — вспоминал Е. Э. Картавцов. — Там помнили, что он был деятелем освобождения крестьян, что при нем сняты подушные; там помнили это и надеялись, что и в третий раз он выдвинется в том же направлении и в той же области». Но этим надеждам не суждено было сбыться. 3 июня 1895 года Бунге скоропостижно скончался. Николай II с горечью воспринял скорбную весть. «Кончина его ставит меня в очень трудное положение!» — записал он в дневнике.

При разборе бумаг Бунге обнаружили его политическое завещание, получившее название «Загробных заметок». Его окончательный вариант предназначался для Николая II. Автор изложил свои идеи об укреплении индивидуальной крестьянской собственности на землю; о привлечении «фабричного люда» к участию в прибылях частных предприятий и разрешении рабочих ассоциаций; о расширении прав местных выборных учреждений; реорганизации государственного аппарата; проведении

гибкой, либеральной политики при решении национально-религиозных проблем и др. На этих страницах Бунге выступил против поспешных «конституционных экспериментов»: по его мнению, переход к системе народного представительства в условиях России возможен только в перспективе, когда самодержавие исчерпает свои реформаторские потенциалы. По распоряжению Николая II «Загробные заметки» были размножены типографским способом и переданы для ознакомления многим видным сановникам.

Как государственный деятель Бунге во многом представляется реформатором-неудачником. Ему не удалось выполнить большую часть своей программы. Внешние итоги его деятельности выглядели неудовлетворительно: бюджет по-прежнему сводился с дефицитом, колебания курса рубля продолжались, еще более возросла задолженность Казначейства. На пути оказалось слишком много препятствий: тяжелое военное «наследство», неурожай, кризис в промышленности и сельском хозяйстве, увеличение расходов на армию, флот и железнодорожное строительство, постоянная конфронтация с консервативной оппозицией. Социальные мероприятия министра финансов (податные реформы, учреждение Крестьянского банка, фабричное законодательство) должны были стать прологом более масштабных преобразований, но в той ситуации казались паллиативами, остаточным явлением быстрой «либеральной весны» 1880–1881 годов. При И. А. Вышнеградском произошел отход от основных принципов политики Бунге: началось ужесточение налогового пресса и выколачивание недоимок с крестьянства по уже отмененной подушной подати, произошло сокращение операций Крестьянского банка, прекратилась дальнейшая разработка фабричного законодательства.

Однако последствия деятельности Бунге позднее проявились в полной мере. Он внес существенный вклад в создание благоприятных условий для последнего этапа промышленной революции в России. Таможенная охрана защитила отечественных предпринимателей от иностранной конкуренции и дала импульс развитию внутреннего производства. Мероприятия в области налогообложения и государственного кредита обеспечили в дальнейшем финансовую основу для стимулирования правительством индустриального роста. Курс на стабилизацию рубля и переход к золотому монометаллизму завершился денежной реформой 1895–1897 годов, укрепившей доверие Запада к российским финансам и усилившей приток иностранных капиталов. Политика Бунге способствовала мощному промышленному подъему 1890-х, в ходе которого окончательно сложился комплекс крупных предприятий тяжелой индустрии, качественно изменивший экономическую структуру страны.

Значение социальных преобразований 1881–1886 годов с точки зрения исторической перспективы тоже довольно велико. М. И. Туган-Барановский назвал Бунге «первым провозвестником в официальной России необходимости социальной политики». Он заложил «реформаторскую базу» для деятельности преобразователей следующего поколения. Его идеи оказали заметное влияние на правительственную политику конца XIX — начала XX века. Особенно это относится к С. Ю. Витте, который неоднократно заявлял о своем глубоком уважении к выдающемуся предшественнику и даже о «преклонении» перед ним. Он часто ссылался на «Загробные заметки» в своих всеподданнейших записках и докладах. На посту министра финансов (1892–1903) Витте продолжил линию Бунге в области аграрного законодательства: смягчил паспортный режим (1894), преобразовал Крестьянский банк (1895), упразднил круговую поруку (1903). В период его премьерства (1905–1906) были отменены выкупные платежи и разработан проект перехода крестьян к индивидуальной земельной собственности, на который впоследствии опирался П. А. Столыпин. Витте возобновил политику Бунге и в рабочем вопросе — инициировал законы о нормировании рабочего дня (1897)

и об ответственности предпринимателей за увечья и смерть рабочих (1903). Денежная реформа и введение золотого стандарта также стали осуществлением замыслов бывшего министра финансов.

В феврале 1900 года министр внутренних дел Д. С. Сипягин получил экземпляр «Загробных заметок». Взгляды их автора на сотрудничество рабочих и хозяев в трансформированном виде были использованы руководством МВД при проведении политики «полицейского социализма» и создании «зубатовских союзов». В ноябре 1904 года с «Заметками» ознакомился министр внутренних дел князь П. Д. Святополк-Мирский. Некоторые их положения отразились в его всеподданнейшем докладе, послужившем основой для указа 12 декабря 1904 года, в котором декларировались обещания правительства пересмотреть крестьянское законодательство, расширить права земских и городских учреждений, ввести государственное страхование рабочих. Торжеством идей Бунге стали столыпинские аграрные преобразования: отказ от общины как формы землепользования и насаждение частной крестьянской земельной собственности, развитие переселенческого движения, расширение операций Крестьянского банка.

Если ставить вопрос об альтернативах в нашей истории, то царствование Александра III можно назвать временем упущенных возможностей. Это те самые «двадцать лет покоя», о которых мечтал П. А. Столыпин. Особую важность имело решение крестьянского вопроса. Отмена круговой поруки, пересмотр паспортного устава, организация переселений, облегчение выхода из общины, создав более благоприятные возможности для становления частного крестьянского землевладения, позволили бы избежать столь мощного нарастания аграрной революции в начале XX века. Столыпину уже не хватило времени для введения нового землеустройства. Ему пришлось действовать в условиях резкого обострения социальной конфронтации и открытого противостояния между самодержавием и обществом. Таким образом, отказ верхов от проведения в жизнь программы Бунге и других либеральных бюрократов в 80-е годы XIX столетия — тот фатальный просчет, который в конечном итоге привел монархию к гибели.

АЛЕКСАНДР ИЛЛАРИОНОВИЧ
ВАСИЛЬЧИКОВ:
«Укротить порывы
к государственному благоустройству,
покуда не обеспечено народное
благосостояние...»

ИГОРЬ ХРИСТОФОРОВ

Князь Александр Илларионович Васильчиков (1818–1881) был выходцем из той социальной среды, которая кем-то с иронией и раздражением, а кем-то с неподдельной завистью именовалась «высшим обществом». Русское дворянство было далеко не однородным, и верхушка его, близкая к императорскому двору, а потому проводившая свое время преимущественно в Северной столице, являлась миром замкнутым и малодоступным даже для собратьев по сословию. Петербургский *beau monde* (по-английски *high life*) не был «аристократией» (как известно, слово это переводится как «власть наиболее знатных и достойных») хотя бы потому, что принадлежность к нему не определялась лишь знатностью, размерами состояния или личными заслугами. Куда бóльшую роль играла *личная благосклонность монарха*, неизбежное *искательство* которой вкупе с «аристократизмом» манер и образа мыслей создавали ту странную смесь гордости и холопства, утонченного вкуса и мелочного тщеславия, которая в эпоху «высоких идеалов» не могла не отталкивать многих молодых представителей высшего света. Александр Васильчиков в николаевское царствование был как раз одним из таких неудовлетворенных юношей.

Он родился 27 октября 1818 года в семье видного боевого генерала, командующего гвардейским корпусом Иллариона Васильевича Васильчикова (1775–1847). Васильчиков-отец был близок и к Александру I, и к Николаю, который всю жизнь был благодарен генералу за его твердую и решительную позицию в памятный день 14 декабря 1825 года (Васильчиков был одним из тех, кто настаивал на расстреле восставших картечью). Он был назначен сначала командующим войсками в Петербурге и окрестностях, затем — генерал-инспектором кавалерии, председателем Государственного совета и Комитета министров, в 1831 году получив графский, а спустя восемь лет княжеский титул.

В отличие от остальных сыновей И. В. Васильчикова, сделавших предсказуемо успешную военную карьеру, Александр Илларионович в 1835 году поступил на юридический факультет Петербургского университета. Выбор, может быть, странный, но не экстравагантный: достаточно сказать, что вместе с ним учились такие высокородные молодые люди, как граф П. П. Шувалов, князя Г. А. Щербатов, А. М. Дондуков-Корсаков и П. П. Вяземский, В. Н. Карамзин. Оправившееся от шока 1825 года русское общество испытывало в то время заметный интерес к образованию и «гуманитарной» культуре — в моду вошли Гегель и Шеллинг, огромная популярность Пушкина и Карамзина как будто облагородила традиционно не считавшиеся «аристократическими» литературу и науку, начиналась великая эпоха славянофилов и западников... Впрочем, качество университетского образования во второй половине 1830-х годов было еще, мягко говоря, средним, а юноша «из общества», конечно, не мог отличаться «плебейской» усидчивостью. В итоге он так и остался, несмотря на полученный в 1839 году диплом кандидата прав, скорее образованным дилетантом, хотя и достаточно уверенным в энциклопедичности своих знаний.

Более важными университетские годы были для становления характера и взглядов Васильчикова. Необычайно честолюбивый, он, по воспоминаниям одного из товарищей, «пользовался властью трибуна в весьма анархической республике своих товарищей, соединившихся в корпорацию по немецкому образцу». Примечательно, однако, что это «тайное» студенческое общество, главой которого стал молодой князь, по его инициативе приобрело отчетливую антинемецкую направленность. «Русские, — писал он в то время, — почувствовав свою собственную силу, воспрянули от долгого сна и выбросили из себя вкоренившееся мнение, что мы без немцев ничего не сделаем!» Подобные эскапады, возможно, были по-юношески несерьезны, однако они отражали не только противостояние эфемерных «немецкой» и «русской» партий при дворе Николая I, но и важные особенности формировавшейся полуоппозиционной «национальной идеологии». Устойчивую (и рационально не вполне объяснимую) антипатию ко всему «немецкому» Васильчиков сохранил до конца своих дней.

По окончании университета князь становится одним из членов так называемого «кружка шестнадцати» — своеобразного сообщества молодых фрондирующих аристократов, несомненным лидером которых был М. Ю. Лермонтов. «Каждую ночь, — вспоминал позднее один из „шестнадцати“, граф К. В. Браницкий, — возвращаясь из театра или бала, они собирались то у одного, то у другого. Там после скромного ужина, куря свои сигары, они рассказывали друг другу о событиях дня, болтали обо всем и все обсуждали с полнейшей непринужденностью и свободой, как будто бы III Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии вовсе и не существовало...»

Сохранившиеся о «шестнадцати» сведения скудны и противоречивы. Известно, однако, что в 1840 году большинство членов кружка покинули Петербург, причем их отъезд имел все признаки наложенной свыше опалы. Васильчиков в составе целой группы чиновников был отправлен в Закавказье для реформирования гражданского управления края. С характерной для своего поколения демонстративной усмешкой, столь ярко запечатленной в «Герое нашего времени», он писал перед отъездом сестре: «Принести в жертву блестящую карьеру — в этом есть что-то таинственное, сентиментальное и мизантропическое, что мне нравится бесконечно. Вполне уместно для молодого человека, который в течение полугода предавался тяжелому ремеслу светского человека».

Никаких жертв рассчитанная на год вполне мирная поездка, конечно, не подразумевала. По ее окончании Васильчиков отправился отдыхать в Пятигорск и именно там 15 июля 1841 года вписал свою страницу в историю отечественной литературы, став секундантом на дуэли М. Ю. Лермонтова с майором Мартыновым, окончившейся гибелью поэта. Дуэли, конечно, были запрещены, и Васильчикову грозило очень суровое наказание. Прощен он был, по официальной формулировке, «во внимание к заслугам отца его».

Неприятная история отразилась бы на карьере Александра Илларионовича, если бы он хоть немного был озабочен восхождением по лестнице чинов и должностей. Однако амбиции князя, судя по всему, были несколько иными: никакого служебного рвения он не проявлял и даже прослыл в Петербурге «вольнодумцем». Биографы Васильчикова любили впоследствии пересказывать историю о том, как его призвал к себе император и потребовал «перемениться», на что Васильчиков отвечал, что никакой вины за собой не знает, и вновь услышал строгое: «Переменись!» Стоит, впрочем, добавить, что заработать репутацию «опасного либерала» при Николае I было не очень сложно. Другое дело, что Александр Илларионович, очень болезненно относившийся к намекам на высокое положение своего отца, просто не мог реализоваться на службе, поскольку любой успех в этой сфере не был бы воспринят как отражение его собственных способностей («мученик фавора» — так метко охарактеризовал кто-то из современников эту своеобразную ситуацию).

Между тем атмосфера в Петербурге становилась все более мрачной, и в год европейских революций и наступления беспросветной реакции князь испрашивает разрешения оставить столицу и уехать в провинцию для «службы по дворянским выборам». Это, несомненно, был вызов, и граф Блудов, начальник II отделения Императорской канцелярии, где числился Васильчиков, даже отказался докладывать императору (не особенно жаловавшему дворянскую корпорацию) о просьбе своего подчиненного. Впрочем, разрешение в конце концов было даровано, и в 1848–1854 годах Александр Илларионович был сначала уездным, а затем и губернским предводителем дворянства Новгородской губернии, где находилось фамильное поместье Выбуты.

Судя по всему, никакого удовлетворения новая деятельность ему не принесла, что неудивительно: дворянские органы при Николае I пребывали в беспробудном латергическом сне, располагаясь где-то на задворках административно-бюрократической системы. Но хотя предводительский опыт Васильчикова трудно было назвать бесценным, он, несомненно, был очень важен для превращения столичного аристократа в человека, не понаслышке судящего о проблемах российской провинции.

Смерть Николая I и восшествие на престол его преемника, будущего царя-освободителя, застало Васильчикова в Ковенской губернии в рядах ополчения (шла Крымская война). Зная последующую биографию князя, трудно объяснить, почему он не принял более активного участия в подготовке крестьянской реформы, которой горячо сочувствовал. Видимо, для немногочисленной и сплоченной группировки реформаторов, центральными фигурами которой стали, с одной стороны, представители либерально-бюрократической элиты (Н. А. Милютин, Я. А. Соловьев), а с другой — славянофилы (Ю. Ф. Самарин, князь В. А. Черкасский), он не стал еще вполне «своим». Как бы то ни было, в 1861 году он занимает должность члена Новгородского губернского по крестьянским делам присутствия, то есть оказывается в первых рядах тех, кто взял на себя нелегкое бремя *реализации* реформы. Присутствия являлись губернской инстанцией, контролировавшей действия мировых посредников и решавшей наиболее сложные споры помещиков и их бывших крепостных. В России, где всегда особенно много зависело от того, как претворяются в жизнь принятые законы, роль крестьянских учреждений была огромной. В первые годы после освобождения крестьян в числе их сотрудников оказались, по почти всеобщему признанию, лучшие представители поместного дворянства. Их задача была тем более сложной, что в среде собратьев по сословию они (если только не занимали откровенно продворянской позиции) неизбежно приобретали репутацию «красных», «ненавистников дворянства» и тому подобное.

Необходимость постоянного нравственного выбора, конечно, была тяжела; предполагала она и выбор *политический*. Чем в новых условиях должно стать дворянство? Сословием землевладельцев, открытым для пополнения из других классов общества, замкнутой корпорацией, оберегающей свои ряды от проникновения чуждых элементов, основой для создания цензовой общественности, которой следует передать политические права? А может быть, оно должно раствориться в народной массе?

Точка зрения Васильчикова была сформулирована им в письме к известному эмигранту князю П. В. Долгорукову: «Надо следовать примеру английской аристократии, которая, однажды убедясь в народном мнении, старается не только согласиться, но даже и опередить его требование. Поэтому я и думаю, что надо принять программу широкую, весьма либеральную, которая бы обезоружила противников с любой стороны». Это кредо в общем виде разделяли с Александром Илларионовичем очень многие представители «передового» дворянства. Вопрос, однако, заключался в том, что именно следует вкладывать в понятие «либеральная программа».

Васильчиков присоединился к голосу тех противников немедленного ограничения самодержавия, которые полагали, что «в стране, где подавляющее большинство

населения не имеет понятия о политических правах, народное представительство было бы только театральным представлением», к тому же исполняемым исключительно в интересах высших классов. Подобная точка зрения была одновременно и руководством к действию. Подобно Николаю Милютину и Юрию Самарину, князь считал, что необходима длительная *подготовка* к политической свободе, которая может и должна проходить в рамках народной школы и местного самоуправления.

1 января 1864 года было принято Положение о земских учреждениях, а уже в следующем году князь Васильчиков был избран гласным Старорусского уездного и Новгородского губернского земских собраний первого созыва. Однако деятельность земств, как и следовало ожидать, с самого начала оказалась осложненной взаимоотношениями новых учреждений с администрацией. Дух противостояния, как правило, преобладал над идеей сотрудничества. Губернаторы и Министерство внутренних дел относились к органам самоуправления с нескрываемым подозрением, отчасти обоснованным: русское общество бурлило, долго подавлявшаяся жажда деятельности, нетерпение и раздражение выплескивались наружу и земские собрания действительно очень часто, забывая о своих прямых обязанностях, превращались в своеобразные политические клубы. Всего через пару лет после их открытия правительство уже начало обсуждать возможные меры по «умиротворению» оппозиционных учреждений. В этом противостоянии позиция Васильчикова была совершенно определенной. Министр внутренних дел П. А. Валуев (в былые времена собрат Васильчикова по «кружку шестнадцати») неоднократно предлагал ему пост губернатора в нескольких губерниях (на выбор), но неизменно получал отказ.

Маятник внутривластного курса окончательно качнулся в сторону реакции после 4 апреля 1866 года (день покушения Каракозова на императора). В Петербурге все громче раздавались голоса о необходимости «охранительной», консервативной политики. Но ведь и в эти понятия мог вкладываться совершенно разный смысл. Существовал выбор: ограничиться усилением административной власти, благо, что такой путь был вполне привычным, или попытаться реализовать программу, подразумевавшую усиление роли поместного дворянства в земствах и крестьянских учреждениях, разрушение общины, а в конечном счете — предоставление дворянству политических прав, словом, осуществить тот комплекс идей, активным сторонником которых были граф В. П. Орлов-Давыдов и его единомышленники.

Правительство, как это часто бывает, не решалось на *действия*, ограничиваясь *декларациями*. Одной из таких деклараций стала распространявшаяся в верхах записка псковского губернатора Б. П. Обухова, как поговаривали, инспирированная новым шефом жандармов графом П. А. Шуваловым. Сравнив быт немецких фермеров-колониистов с жизнью русских крестьян, губернатор пришел к предсказуемому выводу о необходимости насаждения участкового землевладения взамен общинного; много писал он и о возможных мерах по обузданию земств, настаивая на усилении в них помещиков и необходимости «собрать разрозненные охранительные элементы».

Именно с этой запиской был связан первый значительный опыт Васильчикова публичной политической полемики, опыт, сразу поставивший его в первый ряд отечественных публицистов. В 1868 году под ставшим крылатым названием «Русский администратор новейшей школы» записка Обухова была издана в Берлине с предисловием Ю. Ф. Самарина и резкими комментариями «псковского землевладельца» А. И. Васильчикова.

«О русском консерватизме весьма трудно составить себе ясное понятие, потому что все партии у нас называют себя охранительными», — писал Александр Илларионович. Консерватизм — «слово, за которым нет ни определенных понятий, ни ясных представлений», «отличный конек, на котором можно провозить к нам всякого рода

контрабанду польского и немецкого происхождения». В основе его лежит, по мнению Васильчикова, представление о русском народе как о «стихийной силе», которую должны направлять «другие силы, разумные, умственные... то есть европейская цивилизация и представители ее».

На первый взгляд все здесь перевернуто с ног на голову. «Охранитель» Обухов обращается в поисках идеала к Европе, а либерал Васильчиков оказывается защитником самобытности русского народа, выступая против «инородческих» учений. Однако это не просто один из парадоксов, которыми так богата история отечественной политической мысли. Вероятно, можно говорить о важнейшей особенности российского либерализма эпохи Великих реформ: он развивался в противостоянии не только расцветшему в России в 1860-е годы революционному радикализму, но и классическому европейскому либерализму. И если в основу последнего легла концепция *права*, то русский либерал ориентировался скорее на *идею правды* (иначе говоря, пусть не социальной справедливости, но хотя бы социальной ответственности имущих классов). Возможно, это утверждение верно по отношению не ко всем либералам пореформенной поры, но оно, безусловно, приложимо к убеждениям и деятельности князя Васильчикова. По точной формулировке придерживавшегося близких взглядов А. Д. Градовского, «в нем крепка была одна, чисто русская черта характера. Как ни велико казалось ему известное благо, он заранее от него отказывался, если для усвоения его нужна была *неправда*. Если блеск и высокий уровень цивилизации должен иметь в основании свою экономическую неправду, князь Васильчиков заранее отрекался от нее». Нет нужды говорить, почему такой подход был столь же симпатичен с точки зрения нравственной, сколь уязвим с экономической.

В 1868 году нечерноземные губернии поразил голод — первый после освобождения ощутимый симптом того, что *сами собой* крестьянские хозяйства едва ли встанут на ноги. А на рубеже 1869–1870 годов в петербургском доме Васильчикова стихийно сложился немногочисленный кружок земцев, экономистов и либеральных чиновников, поставивших своей целью создать учреждения, которые стали бы для народа школой *экономической свободы*, подобно тому как земства призваны были превратиться в школу воспитания свободы *гражданской*. Так возник проект знаменитых ссудо-сберегательных товариществ — массовых кредитных артелей, объединявших небогатых крестьян, каждый из которых вносил очень небольшой первоначальный взнос и получал право на краткосрочный заем под невысокий процент. Потребность именно в таком кредите была чрезвычайно велика из-за обычной в русских деревнях нищеты, которая вынуждала крестьян занимать деньги (или хлеб) под чудовищный ростовщический процент или крайне невыгодные отработки.

В основу товариществ был положен принцип взаимной ответственности по долгам, который должен был дисциплинировать участников, привить им те качества, которых так недоставало бывшим крепостным. По признанию одного из членов кружка, трудно представить, «до какой степени народ привык к неаккуратности, к обману, до какой степени мало заботится он о своих интересах и до какой степени мало можно ему доверять».

Примечательно, что за образец были взяты получившие широкое распространение в Германии «народные банки», пропагандировавшие одним из основателей европейского кооперативного движения — Г. Шульце-Деличем. Однако немецкие рецепты все-таки не признавались полностью применимыми на русской почве. Шульце уповал на самоорганизацию масс, а, по мнению Васильчикова, только содействие «образованных классов» и государства могло дать необходимый импульс масштабному внедрению народного кредита. Проект действительно получил серьезную поддержку либеральной общественности и был в целом благосклонно воспринят министром финансов М. Х. Рейтерном, обеспечившим кредитование товариществ Государственным банком.

Бурный рост числа ссудо-сберегательных товариществ в первой половине 1870-х годов (к 1878 году их уже было около 700 со 150 000 членов) как будто оправдывал надежды «петербургских кооператоров». Однако к концу десятилетия в деятельности этих кредитных учреждений наметился ощутимый спад. Ожидаемого подъема крестьянских хозяйств они не вызвали (и не могли вызвать, поскольку не устраняли причин кризисных явлений). В общем, не произошло переворота и в экономическом сознании народных масс, зачастую продолжавших воспринимать льготный кредит как вид безвозвратной благотворительной помощи. Справедливости ради надо отметить, что многие представители образованного общества также не понимали или не хотели понимать разницы между *добровольным*, а значит, ответственным кредитом, который не может быть одинаково доступен всем поголовно, и уравнительным распределением тех или иных экономических ресурсов. Радикальные критики «васильчиковцев» обвиняли товарищества в «подрыве общинного духа», «распространении ссуд для кулаков» и так далее. В то же время консерваторы усматривали в них же «социалистические» тенденции, ссылаясь на генетическое родство кооперативных идей с концепциями Прудона, Луи Блана и Фердинанда Лассаля.

Некоторая противоречивость во взглядах Васильчикова и его товарищей действительно существовала: с одной стороны, товарищества не должны были ставить основной своей целью получение коммерческой прибыли (и потому их существование во многом зависело от «подпиток» извне), с другой — *кредитные* учреждения могли функционировать только по законам рынка. Поиски некоего «третьего», «срединного» пути между свободой и необходимостью, классической либеральной доктриной и социальными проектами занимали Васильчикова до конца его дней.

Те проблемы, с которыми с самого начала своей деятельности столкнулись земские учреждения, способствовали появлению обширной аналитической литературы. Юристы, экономисты, историки пытались осмыслить историю самоуправления в России, европейские концепции и практику подобных учреждений в Англии, Франции, Пруссии, место земств в государственном строе Российской империи. Непосредственно участвовавший в становлении земств Васильчиков сумел внести в тогда еще только начинавшуюся полемику свой, достаточно оригинальный вклад.

В 1869 году вышел в свет первый том его труда «О самоуправлении». Обзорный характер, доступность формы, дефицит подобного рода энциклопедических изданий, наконец, принадлежность автора к «высшему обществу» моментально сделали книгу чрезвычайно популярной. Но у этого успеха была еще одна, более глубокая причина. Взгляд Васильчикова, может быть, и не отличался глубиной, зато удивительно соответствовал ожиданиям большей части русского общества — передовой, но при этом весьма умеренной.

Состояние и значение самоуправления, по Васильчикову, зависят не столько от формально-юридического и даже не от политического положения его органов, сколько от уровня гражданской зрелости общества. Поэтому «не механизм избрания, не состав избирательных съездов, не умножение числа голосов и беспредельное расширение выборного права решают участь свободы и самоуправления». Своеобразным идеалом для князя являлись местные реформы в Англии, где расширение народных прав происходит «не насильственно, не повелениями и указами, а сознательно, в виде предложения от правительства, принимаемого народом». Там же (читай: в России), где народные массы «переходят внезапно от совершенной несправедливости к политической самодеятельности», неизбежно появляется антагонизм между народом и правительством. В результате правительство не воспринимает всерьез местные нужды, а народ рассматривает законы как «стеснительные условия, которые могут быть обойдены при всяком удобном случае».

С таким диагнозом трудно было не согласиться. Однако, переходя от общих выводов к рассмотрению положения в пореформенной России, Васильчиков оказывался на чрезвычайно шаткой почве: логика требовала столь же трезвой оценки ситуации в русской деревне, где правовые нормы прививались с громадным трудом из-за изолированности крестьянства, буквально «замурованного» в общине. Между тем во многом именно на общине покоилось все здание крестьянской и земской реформ. Выступить против нее значило лить воду на мельницу столь нелюбимой князем за космополитизм «аристократической партии»; признать же за общиной счастливую будущность значило присоединиться к хору разнообразных утопистов, к которым князь испытывал объяснимую для человека его происхождения антипатию. И вновь он пытается нащупать тонкую грань между двумя «крайностями». Антагонизм между общиной и частными землевладельцами вымышлен, утверждает он, да и вообще ей придают «несколько преувеличенное и ошибочное значение». С другой стороны, как своеобразный орган самоуправления и как гарант от пролетаризации крестьянства она имеет безусловно положительное значение, хотя и создает определенные препятствия для агротехнического прогресса.

Видимо, окрыленный публичным признанием (за короткий срок его книга выдержала два переиздания), Васильчиков решил более подробно рассмотреть весь комплекс проблем, связанных с самым болезненным для дореволюционной России вопросом — аграрным. В 1876 году был издан его двухтомный труд «Землевладение и земледелие в России и других европейских государствах», также очень сочувственно встреченный обществом, однако подвергнутый резкой и даже уничижительной критике в книге авторитетных ученых Б. Н. Чичерина и В. И. Герье «Русский дилетантизм и общинное землевладение». Возможно, Васильчикову не стоило углубляться в историю древней и средневековой Европы и России: ничего нового здесь он сказать не мог, зато предоставил повод для иронии критиков, цепким взглядом профессионалов обнаруживших в книге массу ошибок и противоречий. В итоге даже К. Д. Кавелин, поначалу восторженно оценивший труд князя, вынужден был признать, что он «более принадлежит к публицистической, чем к ученой работе».

Полемика вокруг этой книги Васильчикова чрезвычайно показательна для судеб русского либерализма. Конечно, возмущение Чичерина и Герье вызвали не фактические ошибки, а то, что они восприняли как «социалистическую ересь»: резкая критика европейских порядков за социальную несправедливость, отказ признать ценности классического либерализма (наемный труд, считал Васильчиков, так же несвободен, как и крепостной, а в результате свободной конкуренции неизменно выигрывают высшие классы). «Князь Васильчиков, — указывал Чичерин, — проповедует социализм так же, как известное лицо в комедии Мольера говорило прозой, само того не ведая». Социалисты, продолжал он, «мечтают о том, чтобы всех подвести под один уровень, „сглаживая по возможности социальные неровности“, как говорит князь Васильчиков. Но результатом этих наделений и уравниваний может быть только равенство рабства и нищеты».

Свой «ответ по существу» князь дал спустя несколько лет в книге «Сельский быт и сельское хозяйство в России», вышедшей в 1881 году — в год его смерти (умер Александр Илларионович 2 октября 1881 года), смены царствования и очередной перемены политического курса.

Наверное, именно «завещанием» можно назвать эту книгу, писавшуюся в тревожную пору разгула народнического террора, растерянности и равнодушия в обществе, отовсюду приходящих известий о катастрофическом положении в деревне. В 1880 году, с назначением на пост фактического главы правительства графа М. Т. Лорис-Меликова, правительство, казалось, очнулось от тяжелого сна. В верхах стремительно, даже лихорадочно стали разрабатываться проекты новых реформ. «Теперь

опять много благих предначертаний, — писал Васильчиков Дмитрию Самарину, — но это уже не наше дело; я, по крайней мере, почувствовал после смерти Вашего брата (Юрия. — И. Х.) и Черкасского полнейший упадок сил и живу только воспоминаниями».

Он действительно подводил итоги... «Мы предприняли одним разом слишком много, не рассчитав наперед наших сил, — обобщал князь опыт реформ, — мы устроили много наиболее полезных учреждений, ввели много лучших порядков, не сделав предварительно сметы, что они будут стоить, и не определив источников, из которых будут покрываться расходы». Окончательной ревизии подвергся и западный либерализм, именовавшийся не иначе как «либеральным доктринерством, которое придавало преувеличенное значение формам правления и суда, свободе слова, печати, равноправности и свободе труда и торговли». «Отрицать пользу либеральных учреждений, — спешил уточнить князь, — было бы, разумеется, безрассудно, но ожидать от них разрешения социальных замешательств нашего времени, воображать, что под охраной свободы... низшие классы будут постепенно сознавать яснее свои нужды и пользы, — это нам кажется опасным самообольщением». Либеральное общественно-политическое устройство, по Васильчикову, лишь *форма*, которую необходимо наполнить социальным *содержанием*: «Как бы ни были высоки *цели*, надо в первую очередь подумать о *средствах* и укротить порывы к гражданскому и государственному благоустройству, покуда не обеспечено и не упрочено народное *благосостояние*».

Васильчиков и не думал отвергать базовые либеральные ценности или настаивать на уникальности пути, который предстоит пройти России. «Переход имущества из слабых и несостоятельных рук к самостоятельным владельцам есть общий закон всех человеческих обществ», — подчеркивал он. Кроме того, демократизация земельной собственности, «представляя большие выгоды в социальном отношении, имеет бесспорно и ту опасную сторону, что развивает хищническую [агро]культуру». И все-таки «в критические минуты для народных масс нужно разумное и твердое руководство, помощь кредита, действие правительства и образованных классов». При этом «предположения об обеспечении продовольствия и других нужд целого населения надо бы раз и навсегда признать несбыточной мечтой». Уравнительная благотворительность может существовать, но она не должна быть ни основным средством, ни целью государственной политики.

Б. Н. Чичерин в своих воспоминаниях передает со слов В. И. Герье любопытный эпизод: известный европейский писатель социал-демократического толка Георг Брандес, присутствуя в качестве почетного гостя на ежемесячном обеде московской интеллигенции, поинтересовался направлением обедающего кружка и, получив ответ, не вытерпел, вскочил и обратился к собравшимся: «Что я слышу, господа? Мой почтенный сосед уверяет меня, что вы социал-демократы и вместе с тем считаете себя либералами. Да ведь это невозможно! Это монстр! Это теленок о двух головах!» Однако то, что для Брандеса и Чичерина было свидетельством интеллектуального сумбура и даже невежества, для Васильчикова являлось лишь признанием необходимости *активной социальной политики*, которая позволила бы избежать революционных потрясений.

Впрочем, и здесь он парадоксальным образом в чем-то повторил путь, пройденный политической мыслью нелюбимой им Германией, где аналогичные тенденции привели к созданию в 1872 году знаменитого «Союза социальной политики», идеологи которого (государствовед Гнейст, экономисты Шмоллер, Brentano, Шенберг) противопоставляли себя как классическим либералам-фритредерам, так и социалистам.

Стоит добавить, что в среде российской интеллигенции, действительно весьма склонной к самым подлинным социалистическим увлечениям, Васильчиков всегда держался особняком. По отзыву первого его биографа А. Голубева, принадлежавшего именно к этой среде, «начиная с внешнего вида и кончая его отношением к людям Александр Илларионович до самой смерти остался барином».

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ НИКИТЕНКО:
*«Арена истории не от тебя зависит,
но поприще внутреннего мира твое...»*

ВЛАДИМИР КАНТОР

Пожалуй, наши современники, изучающие корни отечественного либерализма, реже всего вспоминают профессора А. В. Никитенко (1804–1877). Он общался с крупнейшими политиками и писателями, сам не будучи ни политическим деятелем, ни великим философом или писателем — академик по Отделению русского языка и словесности. В 1868 году Никитенко записал в дневнике: «Ко мне пристали, чтобы я указал все мои сочинения. Я было решительно этому воспротивился, так как сам я мало уважаю собственные писания, и если бы их позабыли другие, как позабыл их я сам, то, право, не огорчился бы этим».

Он прославился не публичной деятельностью, а, наоборот, тем, что делалось для самого себя, в одиночестве. Его «памятником» стал *дневник*, опубликованный в трех томах его дочерью с помощью И. А. Гончарова уже посмертно. Первое появление дневника стало событием общественной жизни: тихий профессор оказался зорким и злым наблюдателем российской действительности.

«Интерес, который вызывает „Дневник“ Никитенко у советского читателя, — лукаво написал советский издатель этого потрясающего документа, — менее всего обусловлен личностью самого Никитенко». Между тем история жизни этого профессора-либерала незаурядна. Отец его был певчим из капеллы знаменитого мецената графа Шереметева и затем, оставаясь крепостным, с благословения барина стал учителем. Его сын, тоже крепостной, выучился грамоте, окончил Воронежское уездное училище. Поступить в университет он не мог: туда принимали только лиц свободного состояния. Тогда юноша стал одним из организаторов отделения Библейского общества в городке Острогожске Воронежской губернии и так познакомился с князем А. Н. Голицыным, министром духовных дел и народного просвещения. Тот вызвал Никитенко в Петербург. Именно там он подружился с поэтом Рылеевым, который и поднял шум, возмущаясь крепостным состоянием высокообразованного юноши. Так, благодаря взволновавшемуся общественному мнению и помощи поэта В. А. Жуковского двадцатилетний Никитенко получил вольную и поступил в университет. Он общался с декабристами, А. С. Пушкиным, Ф. И. Тютчевым, В. П. Боткиным, А. К. Толстым. Цензор Никитенко фактически спас «Мертвые души», зарубленные московской цензурой, и «Антон-Горемыку» Григоровича. Вместе с Н. А. Некрасовым и И. И. Панаевым Никитенко первое время готовил журнал «Современник». Руководил диссертацией Н. Г. Чернышевского и дружил с И. А. Гончаровым; общался с Александром II и с М. Н. Катковым; вращался в высших кругах петербургского чиновничества и среди профессоров Санкт-Петербургского университета. Не забудем и того, что бывший крепостной мальчик стал академиком и тайным советником — судьба поистине фантастическая.

Наибольший интерес у читателей вызвали страницы дневника, посвященные Николаевскому царствованию. За них автор удостоился, например, самых высших по-

хвал Д. С. Мережковского, который даже сравнил петербургского профессора с великим римским историком: «Никитенко не Тацит; но иные страницы его напоминают римского летописца, может быть, оттого, что нет во всемирной истории двух самовластий более схожих по впечатлению сумасшествия, которое производит низость великого народа. Ибо что такое самовластье, возведенное на степень религии, как не самое сумасшедшее из всех сумасшествий?»

В дневниках Никитенко мы сталкиваемся с удивительной летописью жизни образованной части российского общества — летописью ироничной, памятной и аналитически точной. Это были годы очевидного современникам поворота вспять, совершенного Николаем I после декабристского восстания. Знаменитый историк Михаил Погодин уже в годы николаевского правления писал в статье «Петр Великий», что период от Петра Великого до Александра I можно назвать *европейским*, а с Николая начинается период *национальный*. Точнее, даже ксенофобский, ибо Европу стали не любить и бояться. Герцен говорил о том, что потребность в просвещении, которую привил Петр, правительство Николая душило, превращая страну в казарму и возвращая ее к допетровскому, «московскому» периоду. Это была отчаянная и довольно успешная попытка удержать Россию в изоляции от Европы. Герцен называл это тридцатилетие «моровой полосой». «Человеческие следы, замеченные полицией, пропадут, — писал он, — и будущие поколения не раз остановятся с недоумением перед гладко убитым пустырем, отыскивая пропавшие пути мысли...»

В конце 1847 года, когда грянул гром над литературой и искусством, удрученный окружающей обстановкой профессор Никитенко отмечал в дневнике: «Жизненность нашего общества вообще хило проявляется: мы нравственно ближе к смерти, чем следовало бы, и потому смерть физическая возбуждает в нас меньше естественного ужаса». Называя николаевскую Россию «*Сандвичевыми островами*», Никитенко в 1848 году писал: «На Сандвичевых островах всякое поползновение мыслить, всякий благородный порыв, как бы он ни был скромн, клеймятся и обрекаются гонению и гибели. И готовность, с какою они гибнут, ясно свидетельствует, что на Сандвичевых островах и не было в этом роде ничего своего, а все чужое, наносное».

Хуже всего было вступающим в жизнь молодым писателям, мыслителям, поэтам. Любая их просветительская деятельность сразу же оказывалась под запретом. Вспомним хотя бы смертный приговор петрашевцам и Достоевскому, приговоренному «к смертной казни расстрелянием» за чтение вслух письма одного литератора другому (Белинского — Гоголю). Ссылки и каторга — вот что ждало многих.

В этой атмосфере Никитенко выстоял, исповедуя ценности европейской культуры с ее уважением личности, идеей правового сознания. «Я хотел содействовать утверждению между нами владычества разума, законности и уважения к нравственному достоинству человека, полагая, что от этого может произойти добро для общества. Но общество на Сандвичевых островах еще не выработалось для этих начал: они слишком для него отвлечены; оно не имеет вкуса к нравственным началам; вкус его направлен к грубым и пошлым интересам. В нем нет никакой внутренней самостоятельности: оно движется единственно внешнею побудительною силой; где же тут место разуму, законности?» — писал он.

Ему была близка позиция римских стоиков — выстоять, несмотря на сумасшествие мира. Так, вся жизнь русских либералов являла собой отстаивание ценностей, непривычных и почти невысказанных в этой стране.

Быть либералом означало постоянно работать, неустанно сопротивляясь окружающей жизни. «Жить не значит предоставить лодке плыть по течению, а значит неуспешно бодрствовать у руля. Кто умеет плавать, тот спасается, даже если лодка опрокидывается, а кто не умеет, тот тонет», — писал Никитенко.

И бодрствовать стоило. Когда московская цензура запретила «Мертвые души», Гоголь через Белинского передал рукопись В. Ф. Одоевскому в Петербург. После некоторого промедления и неудачных попыток держателей рукописи добраться до «верхов» поэма попала к петербургскому цензору — западнику и либералу Никитенко. Никитенко осмелился дать разрешение на ее публикацию. Стоит привести слова крупнейшего нашего специалиста «по Гоголю» Ю. В. Манна, подробно рассказавшего (в своей книге «В поисках живой души») о судьбе «Мертвых душ»: «Решение Никитенко оказалось историческим, принесло неоценимую услугу и Гоголю, и русской литературе. И это решение потребовало от Никитенко мужества: как раз ко времени рассмотрения рукописи в Петербурге резко усилился „цензурный террор“».

Это стало возможно только благодаря твердой и неизменной позиции нашего либерала: «Главное — быть достойным собственного уважения, все прочее не стоит внимания. Ты иначе воспитался, иным путем шел, чем другие, иною судьбою был руководим и искушаем, а потому имеешь право не уважать их правил и обычаев. Ограничение внешней деятельности умей заменить внутренней деятельностью духа и возделыванием идей. Арена истории не от тебя зависит, но поприще внутреннего мира твое».

Никитенко прекрасно знал, что все ходили под ударом. В своем «Очерке развития русской философии» Г. Шпет писал, что николаевское «общество и государство никогда не могли преодолеть внутреннего страха перед образованностью. Отдельные лица кричали об образовании, угрожали гибелью, рыдали, умоляли, но общество в целом и государство пребывали в невежестве и оставались равнодушны ко всем этим воплям». Оставались равнодушными, пока их умоляли о необходимости просвещения, но пришли в ужас, когда этому равнодушию была дана беспристрастная оценка — в «Философском письме» Чаадаева. «Письмо это, — писал Герцен, — было завещанием человека, отрекающегося от своих прав не из любви к своим наследникам, но из отвращения; сурово и холодно требует автор от России отчета во всех страданиях, причиняемых ею человеку, который осмеливается выйти из скотского состояния. Он желает знать, что мы покупаем такой ценой, чем заслужили свое положение... Автора упрекали в жестокости, но она-то и является его наибольшей заслугой. Не надобно нас щадить: мы слишком привыкли развлекаться в тюремных стенах». Герцен считал, что «письмо разбило лед после 14 декабря». Но это было лишь его мнение. Как же реагировали общество и правительство?

Вот наблюдения профессора А. В. Никитенко. 25 ноября он записал в свой дневник: «Ужасная суматоха в цензуре и в литературе. В пятнадцатом номере „Телескопа“ напечатана статья под заглавием „Философские письма“. Статья написана прекрасно; автор ее Чаадаев. Но в ней весь наш русский быт выставлен в самом мрачном свете. Политика, нравственность, даже религия представлены как дикое, уродливое исключение из общих законов человечества. Непостижимо, как цензор Болдырев пропустил ее... Журнал запрещен. Болдырев... отрешен от всех должностей. Теперь его вместе с Надеждиным, издателем „Телескопа“, везут сюда на расправу...»

Не привыкшее к свободному изъяснению мыслей общество начало гадать о «настоящих» целях написания и публикации чаадаевского письма, отвечающих логике поведения в условиях самодержавного диктата. Об этом свидетельствует и Никитенко: «Я сегодня был у князя; министр крайне встревожен. Подозревают, что статья напечатана с намерением, и именно для того, чтобы журнал был запрещен и чтобы это подняло шум, подобный тому, который был вызван запрещением „Телеграфа“. Думают, что это дело тайной партии».

Правительство скоро разобралось и незамедлительно ответило на искренность мысли — Чаадаев был объявлен сумасшедшим, Надеждин сослан в Усть-Сысольск, а цензор, профессор и ректор университета Болдырев был отставлен со всех должностей. Тем не менее Никитенко «пробивает» «Мертвые души» в печать, потом помогает

молодому литератору Д. В. Григоровичу опубликовать крамольный по тем временам роман о жизни крепостного мужика «Антон-Горемыка». Желание бывшего крепостного предать гласности правду о сущности крепостного права понятно. Но желания мало, нужна была смелость, и смелости Никитенко хватило.

Российские «почвенники» любят повторять, что легенду о непонимании, о вражде Николая к Пушкину придумали либералы, а царь якобы заботился о поэте. Дневниковые, спокойные строки Никитенко развенчивают этот миф. После гибели Пушкина Николай старается сделать так, будто бы поэта и не было. Запрещались даже некрологи. Вот очередная дневниковая запись Никитенко: «Народ обманули: сказали, что Пушкина будут отпевать в Исаакиевском соборе, — так было означено и на билетах, а между тем тело было из квартиры вынесено ночью, тайком, и поставлено в Конюшенной церкви. В университете получено строгое предписание, чтобы профессора не отлучались от своих кафедр и студенты присутствовали бы на лекциях. Я не удержался и выразил попечителю свое прискорбие по этому поводу. Русские не могут оплакивать своего согражданина, сделавшего им честь своим существованием! Иностранцы приходили поклониться поэту в гробу, а профессорам университета и русскому юношеству это воспрещено. Они тайком, как воры, должны были прокрадываться к нему».

В дневнике Никитенко мы находим, возможно, невольное трагическое совпадение с известным наблюдением самого Пушкина. Вспомним «пушкинский ужас» на кавказской дороге, когда поэт увидел в телеге гроб, обернутый рогожей, и, поинтересовавшись, кто же там, услышал равнодушный ответ: «Грибоеда везем». А вот никитенковские строки: «Жена моя возвращалась из Могилева и на одной из станций неподалеку от Петербурга увидела простую телегу, на телеге солому, под соломой гроб, обернутый рогожею. Три жандарма суетились на почтовом дворе, хлопотали о том, чтобы скорее перепрячь курьерских лошадей и скакать дальше с гробом. — Что это такое? — спросила моя жена у одного из находившихся здесь крестьян. — А Бог его знает что! Вишь, какой-то Пушкин убит — и его мчат на почтовых в рогоже и соломе, прости Господи — как собаку...»

«Почвенники» любят также говорить, что именно при Николае мы видим расцвет русской литературы: ведь какие замечательные люди творили тогда! Из дневника профессора Никитенко мы узнаем об общей ситуации в русском образованном обществе в те годы. Николаевский режим оказался катастрофичным для образованных людей, как искоренение тех ростков европейской культуры, которые пытались насадить просвещенные люди едва ли не с эпохи Ивана Грозного (вспомним призыв к законности и правовой защищенности людей в России в письмах дипломата Федора Карпова). И, уж конечно, с реформ Петра. «Наука бледнеет и прячется. Невежество возводится в систему. Еще немного — и все, в течение полутора столетий содеянное Петром и Екатериной, будет вконец низвергнуто, затоптано... И теперь уже простодушные люди со вздохом твердят: „видно, наука и впрямь дело немецкое, а не наше“», — писал Никитенко.

Удары по российскому просвещению были следствием западноевропейских событий 1848 года: «События на Западе вызвали страшный переполох на Сандвичевых островах. Варварство торжествует там свою дикую победу над умом человеческим, который начинал мыслить, над образованием, которое начинало оперяться». Никитенко с горькой иронией замечает, что те, кто считал «мысль в числе человеческих достоинств и потребностей», теперь обратились «к бессмыслию и к вере, что одно только то хорошо, что приказано... произвол, облеченный властью, в апогее: никогда еще не почитали его столь законным, как ныне». Вот это последнее, быть может, было самым страшным для российских либералов...

Реформы Александра Освободителя, казалось, утвердили позиции либералов в общественной и политической жизни. По словам Т. Г. Масарика, «писатель и цензор А. Никитенко, на себе испытавший гнет крепостничества... назвал коронацию Алек-

сандра II, состоявшуюся 18 февраля 1855 года, поворотным пунктом своей эпохи». Вместе с тем появилась новая и неожиданная опасность. В русском обществе возникло движение, которое с легкой руки И. С. Тургенева стали называть «нигилизмом». Круг его приверженцев был велик: от стриженных курсисток и волосатых студентов до страшной «нечаевщины» и тотальной критики Л. Н. Толстым всех структур Российской империи — государства, церкви, армии, искусства, науки и техники, того, что Ленин называл «срыванием всех и всяческих масок...». И пожалуй, наиболее последовательными критиками нигилизма оказались русские просвещенные либералы.

«Есть две точки опоры, на которых держится нравственная деятельность народа, — идея чести и религия, — писал в дневнике Никитенко. — О первой пока нечего у нас говорить: она может развиваться только со временем, вместе с другими плодами, которые нам сулит эмансипация. Религия... Народ наш не получает религиозного образования. Существует еще третья точка опоры, на которой у нас и держалось все, — страх, но эта пружина за последнее время сильно заржавела и ослабела; пора заменить ее новой, более целесообразной. Надобно подумать и как можно скорее позаботиться о нравственно-религиозном образовании народа. Разумеется, к этому должно быть призвано духовенство. Но увы! Духовенство наше само лишено образования и того духа деятельности, которым совершаются хорошие, общественные дела. Оно само требует подъема».

Именно поэтому был так опасен разлившийся в обществе нигилизм: церковь была не в силах ему противостоять. А вот «„образованные“ на народ влияние имеют...». Поэтому либеральный профессор Никитенко попытался увлечь студенчество своими идеями и тем самым вырвать его из лап радикализма. Впрочем, радикалы-студенты с иронией вспоминали об этих попытках. Так, известный критик «Отечественных записок» А. М. Скабичевский писал: «Когда я пришел к Никитенко представить на его усмотрение кандидатскую диссертацию, он не мог удержаться, чтобы не заговорить со мною о злобе дня. — Не понимаю, чего хотят студенты? Чего они добиваются? Я полагаю, что университет существует для наук и студенты должны ходить в него специально для того, чтобы учиться, а не на сходках бушевать».

Мы слышим здесь высказывание человека, с помощью науки поднявшегося в образованное общество и понимающего не только эвристическую, но и социальную ценность образования. Вот, например, его испуг перед прокламаторской деятельностью: «Поразительное невежество относительно всего, что касается России, ее народного духа, ее нравственных, умственных и материальных средств, видно в каждой фразе. Они требуют от нее, чтобы она для осуществления утопий, выходящих из лондонских типографий, лила кровь как воду. А угодно это России или нет, — они о такой бездельнице не заботятся. Опыт французской резни ничему не научил наших мудрых реформаторов. Он не научил их тому, что ужасы и разбой анархии ведут к диктатуре, да еще такой, хуже которой трудно себе что-нибудь представить, — к диктатуре реакционной, вооруженной, вместо вырванного ею из рук анархии ножа, мечом и секирою палача. И неужели в самом деле это проповедует Герцен?»

Обращения Герцена к студенчеству действительно звучали радикально и безжалостно: «Не жалейте вашей крови. Раны ваши святы, вы открываете новую эру нашей истории...» Никому тогда не дано было знать, что поздний Герцен отречется в «Письмах старому товарищу» и от Огарева, звавшего Русь к топору, и уж тем более от Бакунина и Нечаева, проповедовавших ненависть к образованию. Никитенко оказался прав, предвидя недалекое будущее: «Не пришлось бы нам удивить мир бессмыслием наших драк, наших пожаров, нашего поклонения беглому апостолу Герцену, из Лондона, из безопасного приюта командующему на русских площадях бунтующими мальчишками...» Пришло время, и удивили.

Бытует весьма устойчивая точка зрения, что «либералы не понимали русский народ». Однако, если вчитаться в дневник Никитенко, видно, что он понимал народ не меньше, скажем, Достоевского, полагавшего себя проповедником народного мнения. В сущности, Никитенко пишет о том же, что и Достоевский: в России нет укорененного представления о законе и нравственных ценностях, и страна переживает полное нравственное растрепывание («деморализацию») населения. «Поджоги у нас делаются чем-то вроде мании, чем-то вроде препровождения времени. Недавно поймали одного поджигателя. У него спросили, что побудило его к поджогу: мщение, желание воровать? Он отвечал, что ни то, ни другое, а он поджег так, и сам не знает, почему. Другой сам донес на себя и на подобные вопросы отвечал таким же образом. Вот широкая натура! Однако ж, что это такое? Аксаков скажет, что это — великие силы великой национальности, не направленные как должно и потому проявляющие в себе преимущественно элементы разрушения. А, в сущности, я думаю, это объясняется проще. Русский человек в настоящий момент не знает ни права, ни закона. Вся мораль его основана на случайном чувстве добродушия, которое, не будучи ни развито, ни утверждено ни на каком сознательном начале, иногда действует, а иногда заглушается другими, более дикими инстинктами. Единственной уздой его до сих пор был страх. Теперь страх этот снят с его души. Слабость существующей еще над ним правительственной опеки такова, что он опеку эту в грош не ставит. Безнаказанность при полном отсутствии нравственных устоев подстрекает его к подвигам, которые он считает простым молодечеством, а нередко и корысть руководит им... Безнаказанность и „дешевка“ — вот где семя этой деморализации, которая свирепствует в нашем народе и превращает его в зверя, несмотря на его прекрасные способности и многие хорошие свойства».

Некоторые эпизоды, известные нам по романам Достоевского, оказывается, имели место в действительности. Все помнят, как герой романа «Бесы» Ставрогин попросил губернатора поклониться к нему, чтобы-де нечто шепнуть на ухо. Бедолага поклонился и едва не поплатился ухом, в которое Ставрогин впился зубами.

В дневнике профессора Никитенко мы читаем: «Страшное и гнусное злодейство. Студент Медицинской академии женился на молодой и милой девушке, но вскоре начал ее ревновать и даже задумал ее убить, поразив ее толстою булавкою во время сна. Но это ему не удалось: она проснулась в ту минуту, когда он готовился вонзить ей булавку в шею. Произошла страшная сцена, и молодая женщина ушла к отцу. Спустя некоторое время студент прикинулся раскаивающимся. Он явился к отцу и матери своей жены и начал умолять последнюю о прощении. Последняя после некоторого сопротивления наконец уступила, и, когда в знак примирения согласилась его поцеловать, он откусил ей нос. Несчастливая молодая женщина теперь в клинике, и неизвестно, что с нею будет. Каковы у нас нравы!» Чем вам не ставрогинские фокусы, добавлю я от себя!

Не менее ясно профессору-либералу и то, что российская бюрократия не желает реформ, ибо все возможные преимущества от них уже получены, а дальнейшее чревата неожиданностью. Потому он прекрасно понимал причины, вызывающие оппозиционное движение: «Настоящий глубокий смысл движения нашей интеллигенции в настоящее время есть, без сомнения, вопиющая необходимость ограничения правительственного произвола и утверждения законности как в умах, так и на деле. Без этого все реформы, самые благодетельные, будут строиться на песке». С тоской писал он, что по-прежнему, кроме императора-освободителя, в верхних эшелонах власти нет никого, кого всерьез заботили бы судьбы страны: «Если между нашими правительственными лицами есть кто-нибудь, искренно желающий блага для России, то это один Государь». Другое дело, что молодые радикалы, возможно, еще опаснее для России: «Эти жалкие молодые люди, бросившиеся сломя голову в омут революционных замыслов и покушений, сделали огромное зло России. Они по крайней мере на полвека отодвинули ее от истинного просвещения, свободы и разных улучшений».

Рассуждая о сложности мышления, Никитенко, возможно, вслед за пушкинским «*Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать*» писал: «Где мысль, там и страдание, — но там же должно быть и врачевание зла».

В своем дневнике он рефлексировал и над другими философскими проблемами. Так, размышляя о многогранности человеческого духа, он замечал: «Истинная человечность в том, чтоб в каждом человеке уважать его особенности, его личность...» Поводом к этому рассуждению Никитенко послужили патриотические стихи поэтессы К. Павловой: «Павлова, написавшая „Разговор в Кремле“, ужасно хвастает фразой: „Пусть гибнут наши имена — да возвеличится Россия“. Любовь к отечеству — чувство похвальное, что и говорить. Но выражение этой любви хорошо, когда оно истинно, когда оно не пустая звонкая фраза, а мысль реальная и верная. Сказать: „пусть гибнут наши имена, лишь бы возвеличилось отечество“, — значит сказать великолепную нелепость. Отечество возвеличивается именно сынами избранными, доблестными, даровитыми, которые не гибнут без смысла, без достоинства и самоуважения. Оно первое чтит славные имена этих сынов, сохраняет их в своей благодарной памяти как святыню и гордится ими, указывая на них грядущим поколениям как на образец для подражания. То, что говорит Павлова, — гипербола и фальшь».

Эти «доблестные и избранные сыны» должны иметь силу духа, способность противостоять всем внешним давлениям: «Жить научает одна только жизнь. В настоящее время недостаточно одной обыкновенной твердости. Нужно геройство, чтобы спасти в себе святые верования и не дать угаснуть в себе искре Божьей». Иными словами, по Никитенко, получается, что быть «либералом-постепеновцем» — позиция действительно героическая.

Либерализм требует постоянной душевной и духовной работы, которая предполагает уважение к Другому. Жизнь нестабильна и на любое представление о том, что хуже не бывает, может ответить ухудшением еще большим: «Никогда не унывай в настоящей скорби, помня, что ты еще счастлив тем, что с тобой не случилось хуже, ибо худшее всегда возможно».

Глубины метафизики были вполне доступны этому, казалось бы, позитивистски ориентированному либеральному уму. «Мир без провидения — какая страшная, бесконечная пустыня при всем разнообразии и обилии жизненных процессов, сил, явлений! Это все равно что огромный дом, наполненный слугами и гостями без хозяина; или корабль, брошенный в неизмеримый океан без кормчего, без компаса, преданный бурям и обреченный погибнуть, не зная пристани и никакой цели своего блуждания; или это мастерская, в которой работают тысячи рук, машин без мастера, который бы в работах этих рук и этих машин видел исполнение какого-то предприятия. Наконец, это чудовищное тело с костями, кровью, дышащее и движущееся, но лишенное души, — живой мертвец». Эти переживания вели не к утопическим построениям, оборачивающимся порой крайним экстремизмом, как в случае Льва Толстого, а к попытке выстроить эволюционную позицию, которая позволила бы избежать социальных катаклизмов.

Закончить очерк хотелось бы словами позднего Никитенко, в которых он изложил нравственное кредо русского классического либерализма: «Я всегда был врагом всяких крайностей, исключая тех минутных увлечений, когда меня поражала какая-нибудь несправедливость и побуждала к неумеренным излипаниям моих чувств. Главное начало, служащее основанием моего мировоззрения, есть закон *уравновешения*. Он господствует в природе и должен господствовать в отношениях людей в общественном строе, во всем, где человеку приходится мыслить и действовать. Я враг всякого абсолютизма, будь он политический, умственный, абсолютизм системы или мнения. Мнение или идея, старающаяся поглотить все другие и присвоить себе господство над умами, мне так же противна, как и власть, которая хочет подклонить под свое иго всех людей с их действиями и правами».

НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ БЕЛОГОЛОВЫЙ: *«Только конституция возводит жителей государства в народ...»*

БОРИС ИТЕНБЕРГ

Выдающийся врач и крупный либеральный публицист Николай Андреевич Белоголовый родился 5 октября 1834 года в Иркутске в старинной купеческой семье. Его отец, человек начитанный, стремился дать детям хорошее образование. Восемилетнего мальчика отправили учиться к ссыльному декабристу А. П. Юшневскому, живущему в деревушке Малая Разводная, в пяти верстах от Иркутска. Познакомился он и с другими декабристами — А. З. Муравьевым, А. В. Поджио, П. И. Борисовым. Общение оказалось плодотворным. Вспоминая о роли декабристов в своем становлении, Белоголовый писал: «Они сделали меня человеком, своим влиянием разбудили во мне живую душу и приобщили ее к тем благам цивилизации, которые скрасили всю мою последующую жизнь».

Дальнейшее образование Николай Андреевич получил в одном из лучших московских пансионов Эннеса, который окончил в 1850 году вместе со своим другом С. П. Боткиным. Оба они поступили на медицинский факультет Московского университета, закончив который в 1855 году Белоголовый уехал в Иркутск, где одновременно работал окружным, городовым и ветеринарным врачом. Иркутский округ был огромный — больше, чем многие европейские государства. Приходилось зимой, проехав несколько сот верст, жить в какой-нибудь захолустной деревне, принимая больных или поджидая, пока оттает труп, подлежащий вскрытию. А в это время в городе накапливались другие дела. Обременяло и составление по трем должностям текущих отчетов.

Через три года Белоголовый вновь едет в Москву, где практикуется, совершенствуется в знаниях, готовит докторскую диссертацию. В России в то время назревали серьезные реформы. Николай Андреевич внимательно следит за надвигающимися событиями и оценивает правительственные меры предосторожности. Из Москвы он писал своим родным в Иркутск: «Стягивают войска, солдатам обеих столиц уже розданы на всякий случай патроны, а полиции — револьверы. Гм! Что-то дико и странно!» Возмущен Белоголовый и политикой правительства в области просвещения, тем, что началось наступление на университеты, в которых власти увидели «зерно революции». Несколько сотен студентов были заключены в Петропавловскую крепость и Кронштадт. «Шпионы и палачи, — писал Николай Андреевич, — вот свита, с которой вступает монархия наша во второе тысячелетие. Фу, мерзость, вонь, гниль!»

Так у честного, образованного, интеллигентного человека вырабатывалась критическое отношение к самодержавному государственному строю. Конец 1850-х — начало 1860-х годов было, вероятно, тем периодом, когда окончательно сформировались либеральные принципы Белоголового — идея ограничения царизма конституцией становилась главной в его раздумьях.

В 1862 году, после блестящей защиты докторской диссертации, Белоголовый возвращается в Иркутск на должность старшего городского врача. Его талант и извест-

ность позволили активизировать медицинскую службу в городе. Основанное им медицинское общество вобрало всех местных врачей для обсуждения новых научных и практических идей, появляющихся в литературе. Авторитет Белоголового, искусного врача, ученого, симпатичного и гуманного человека, рос день ото дня. Когда в 1864 году Николай Андреевич заболел тифом, то у постели больного безотлучно дежурили врачи. По выздоровлении друга Белоголового устроили напротив его дома, расположенного на Большой улице, обед для всего медицинского персонала. Дело было зимой, но, по воспоминаниям очевидца, «все с бокалами в руках и без шапок переходили Большую улицу и поздравляли больного с выздоровлением. Это было торжество науки и дружбы».

Через несколько лет Белоголовый по совету С. П. Боткина перебирается в Петербург, где он прожил до 1881 года, ежегодно выезжая на отдых за границу. В столице Николай Андреевич занял одно из первых мест в медицинском мире, уступая, возможно, лишь С. П. Боткину. Проницательный диагност с первых же месяцев практики имел в Петербурге большой успех, приобрел обширный круг пациентов, всецело доверяющих ему. «Богатый и бедный, знатный и простолюдин шел к нему с любовью и доверием, зная заранее, что никакие инквизиторские расспросы, никакой торг о гонораре не ждет его у порога медицинской знаменитости», — писал современник Белоголового.

Николай Андреевич становится лечащим врачом и другом руководителей «Отечественных записок» — Н. Е. Салтыкова-Щедрина и Н. А. Некрасова; его пациентами были также И. А. Гончаров, А. Н. Плещеев, В. М. Гаршин, Я. П. Полонский. Не только медицинские обстоятельства связывали именитого терапевта с этими людьми — во многом совпадали их воззрения на общественную жизнь, культуру, просвещение. В начале 1880-х годов Белоголовый неоднократно навещал тяжелобольного И. С. Тургенева в Париже и Буживале, консультировал лечащих врачей, помогал установлению диагноза.

С детских лет Николай Белоголовый увлекся декабристами, буквально влюбился в А. В. Поджио, и с тех пор на протяжении всей жизни (Поджио умер в 1873 году) эти два человека не теряли друг друга, стали преданными друзьями, встречались в России и за границей, обменивались подробными доверительными письмами. Белоголовый ценил Поджио не только как порядочного, честного, умного человека, но и как мыслителя, взгляды которого были весьма близки либеральным настроениям самого Николая Андреевича.

С М. Е. Салтыковым-Щедриным Белоголового связывала многолетняя дружба. Они познакомились в 1875 году — как врач и пациент. Дальнейшему сближению способствовало то, что оба были убежденными врагами деспотизма, много размышляли над переустройством российской действительности. Правда, Салтыков-Щедрин больше предпочитал говорить о своем здоровье, чем о делах политических. Он с иронией замечал: «Все доктора со мной беседуют больше о вольномыслии, нежели о моей болезни».

Были добрыми знакомыми, а потом и друзьями Белоголовый и П. Л. Лавров — несмотря на большие политические расхождения (один был либералом, другой — революционером-народником). Жена Белоголового, Софья Петровна, переписывала рукописи Лаврова, предназначенные для русских журналов; сам же Николай Андреевич стал тайным посредником между редакцией «Отечественных записок» и Лавровым, чье имя было запрещено в России. Активизация террористической деятельности народовольцев, взрыв С. Халтурина в Зимнем дворце 5 февраля 1880 года — все это ставило перед мыслящими людьми вопрос о целесообразности и цене насилия. В октябре 1880 года Белоголовый писал Лаврову: «Ваша жизнь, без сомнения, пошла теперь полнее, потому что социалистическое движение за последние месяцы сильно оживилось,

партии становятся в угрожающее положение и взрыв почти неизбежен: за кем останется победа? Готов пари держать, что не за вами; даже кратковременный ваш успех только больше сплотит против вас консервативные силы и сделает еще тяжелее гнет последующей реакции». Многочисленные письма Белоголового к Лаврову свидетельствуют и о большом обоюдном интересе к деятельности графа М. Т. Лорис-Меликова — приведет ли она к конституции?

Первая встреча Белоголового с самим Лорис-Меликовым произошла в 1878 году в Петербурге — пациент хотел выяснить у знаменитого врача состояние своего здоровья. Прошло шесть лет, и они встретились вновь — на этот раз в Висбадене. Инициатором был Николай Андреевич, узнавший из информационного листка для приезжих, что в городе проживает граф. Лорис-Меликов, давно отставленный от высоких постов, радушно принял гостя: «Я слышал, что вы очень скучаете, я тоже; давайте составим, как говорит Шекспир, одно горе: вдвоем нам и скучать будет веселее». В своих воспоминаниях Белоголовый подробно описал, как бывший всемогущий царский сановник, с которым когда-то связывалось столько либеральных надежд, искренне рассказывал о своей жизни, исповедовался в совершенных в прошлом ошибках. После этого, писал Белоголовый, «расстояние, отделявшее нас, тотчас же разрушилось, и я увидел перед собой не царедворца, не важную персону, а обыкновенного человека, без всякой драпировки и фраз...».

Что же «родственного по духу» почувствовал либерал Белоголовый во взглядах Лорис-Меликова, бывшего министра внутренних дел и шефа жандармов? Многочисленные беседы, имевшие место в разных курортных городках Европы, убедили Белоголового, что с годами Лорис-Меликов окончательно стал «умеренным постепенцем», отрицая революционные перевороты и полагая, что правительство само должно поощрять динамичное развитие общества и этим способствовать вовлечению России в прогресс человечества. Особенно близки были Белоголовому мысли о развитии науки, о распространении народного образования, о расширении самоуправления, о том, что выборные от общества должны быть привлечены «к обсуждению законодательных вопросов в качестве совещательных членов». Привлекала Белоголового и широкая эрудиция графа, его знание стихов Пушкина, Лермонтова, Некрасова, его преклонение перед Салтыковым-Щедриным.

Тайная публицистическая деятельность врача и ученого Белоголового началась в какой-то мере случайно. Весной 1877 года в Берлине Николай Андреевич купил экземпляр первого номера «Общего дела», заинтересовался умеренно либеральной направленностью газеты и стал искать пути к издателю. Вскоре в Париже познакомился с А. Х. Христофоровым. Договорились о сотрудничестве — тогда и началась публицистическая работа Белоголового. А после смерти в 1882 году редактора газеты В. А. Зайцева, человека более радикальных взглядов, роль Белоголового в «Общем деле» стала решающей: он стал не только ведущим автором газеты, но и, по его собственному выражению, ее «закулисным редактором».

Первая программная статья Белоголового «Источники деспотизма» появилась в «Общем деле» в 1878 году. Она начиналась с сопоставления российской действительности и жизни Западной Европы. Это привело автора к «отчаянным выводам». С одной стороны, европейские страны Запада постепенно «сбрасывали все путы, задерживавшие их развитие» и, таким образом, совершенствовали свое государственное устройство. В России же отсутствовало прогрессивное развитие, следовали какие-то «конвульсивные потуги»: «белый террор сменяется красным и наоборот». В чем же причины различий? Их Белоголовый видит в том, что России недостает деятелей, вооруженных солидным образованием и твердыми нравственными принципами. Только в результате «глубоких знаний» и «серьезного труда» можно развить в себе ту силу, которая «разнесет в щепки то ветхое здание абсолютизма и бесправия, в котором мы заточены теперь».

Против самодержавия активно выступают и социалисты, однако их движение будет непрочно до тех пор, пока оно «представляется стихийным, а не основанным на солидной подготовке к нему масс». Нельзя обвинять нашу «честную и благородную молодежь» за ее хождение в народ. Но будет ли успешно это движение? Предположим, пишет Белоголовый, что народ сумеет разрушить «правительственные плотины» и «разнести весь старый строй». Но ведь затем должен последовать «период созидания», а кто за это возьмется? Без образования и исторического опыта невозможна плодотворная организаторская деятельность. В случае успеха народной революции, скорее всего, может произойти другое: «Погуляет на свободе народ православный, сокрушит все, приведет страну к давнему патриархальному и докультурному состоянию и затем, увидав невозможность прийти к какому-нибудь порядку, отправится опять в костромские дебри отыскивать, не осталось ли там еще какой-нибудь ветви Романовского дома, уцелевшей от погрома, или же призовет со стороны новых варягов — руссов княжити и володети Русью».

Белоголовый утверждал, что стихийная революция может только ожесточить политику правительства, привести к усилению реакции. Но где же выход, по какому пути должен развиваться общественный протест, чтобы найти рациональное решение кардинальной проблемы — преобразование государственного строя самодержавной империи? Белоголовый, смело и решительно критикующий российское самодержавие, все более склонялся к необходимости активных и последовательных действий культурных классов, которые должны были заставить правительство согласиться на принятие конституции. Но как это сделать? Вот, отмечает автор, появилось «скромное напоминание» о несовместимости неограниченного самодержавия с предпринимаемыми реформами — об этом говорилось в прокламации «Великорусс», адресованной тверского дворянства и Московской думы. И что же? «Царю жаль стало расставаться со своими неограниченными правами». Он не последовал мудрым советам «умеренных людей», призывавших к эволюционным реформам, и этим усугубил социальное напряжение, приведшее к революционным действиям. В результате назревают трагические последствия: «Россия попадет в тот доисторический хаос, когда разнузданные стихии революции сметут все — и романовский престол, и неокрепшие зачатки интеллигенции — и надолго выбросят русскую народность из среды европейских народов».

С восшествием на престол Александра III акценты в публицистике Белоголового меняются. Разоблачение самой личности нового царя и его придворного окружения становятся основными мотивами в его многочисленных публикациях. В них утверждается, что «трудно представить что-нибудь ничтожнее, безличнее Александра III», воцарение которого означает «великий исторический момент»: быстро приближается «расплата за перезрелость самодержавия, за необузданность чиновничества и за невежество общества».

Николай Александрович рассуждал так: с одной стороны, действуют люди, задумавшие насильственным путем «водворить на земле всеобщее счастье»; с другой — самодержавный деспотизм, сковавший интеллектуальную жизнь страны. В таких условиях положение «среднего человека было воистину трагическим». Таким «средним человеком», русским либералом, ощущал себя и Белоголовый. Истинный либерал, писал он, прежде всего «человек прогресса», который «строго держит свой нейтралитет», не сочувствуя «ни самодержавной, ни террористической партии». Тайный публицист неподцензурного «Общего дела» был озабочен тем, что российская реакция, наступившая при Александре III, поставила под угрозу реформы Александра II и может «затравить насмерть поверженный на землю и еле дышащий либерализм». Эта надвигающаяся угроза и определяла характер публикаций Белоголового.

Материалы, разоблачающие самодержавные порядки, призывающие к государственному переустройству, более всего концентрировались в разделе «Хроника», занимающем иногда чуть ли не половину газеты. Например, коронация Александра III оценивалась следующим образом: самодержавная Россия, «как устарелая блудница», поддурманилась и пригласила всю Европу полюбоваться «своею наштукатуренною красотою». Это был «праздник самодержавия», которое ничего не способно дать для людей, стремящихся обновить Россию конституционным путем. Но и общество по-прежнему «с сонною апатией» относится к окружающему безобразию, а народ, «как голодный зверь, начинает грабить и бить евреев», и «до крайних пределов» дошла его ненависть к землевладельцам.

После покушения 1 марта 1887 года на Александра III, когда реакционеры стали именно в либералах искать виновников происшедшего, Белоголовый стремился вселить уверенность в правоту либерального движения. Он писал, что шесть лет усиленных гонений на либералов не остановили это движение интеллигенции. Напротив: «идея об ограничении самодержавия, едва пробывавшая в эпоху диктатуры сердца и едва считавшая тогда своих приверженцев сотнями, считает их теперь тысячами и, ушедши с поверхности в глубину, стала давать ростки по всем направлениям».

В материалах «Хроники» большое место уделялось реакционной роли М. Н. Каткова в государственной жизни страны. Он характеризовался как «торжествующий зверь реакции», который «с необыкновенным задором» выступил против всех ранее проведенных реформ. В результате самодержавная власть от династии Романовых фактически перешла, по мнению Белоголового, в руки Каткова, а столица России вновь перенесена в Москву, откуда знаменитый публицист «руководит и царем, и его министрами, а через них и судьбами всей России».

Катков проводил свой политический курс в союзе с обер-прокурором Святейшего синода К. П. Победоносцевым и министром внутренних дел, шефом жандармов Д. А. Толстым. «Триумvirат, — писал Белоголовый, — всемогущ и всемогущ; он все может и все дерзает; он может прекратить всю враждебную ему литературу, обратиться к университетам в конюшни, а конюшни в университеты, упразднить законы». В стране процветают воровство и разврат, а честность признается «вредным предрассудком». «Пожелаем же нам, — заключает Белоголовый, — поскорее дожидаться такого зрелища, когда на развалинах теперешнего Карфагена будет развиваться и крепнуть иная молодая и свежая жизнь, в которой шпионы и честные люди займут подобающие им места и первые осядут на дно общественной жизни, как грязные подонки, а последние поднимутся на ее поверхность...»

Однако надежды либерала-идеалиста, призывавшего общество поднять знамя протеста, осудить ложь и обман, объединить силы прогресса для борьбы с самодержавным злом, не сбылись: режим имел еще силы для выживания. 1892–1894 годы Николай Андреевич провел в Ницце, в известном русском пансионе «Оазис», где в свое время жили Герцен и Салтыков-Щедрин. Там он в годы российского голода начала 1890-х годов организовывал сбор пожертвований в пользу голодающих. В 1894 году Белоголовый вернулся в Москву, как он сам выражался, «для медленного умирания». 6 сентября 1895 года бескорыстный и светлый человек, знаменитый врач-гуманист, убежденный деятель либерального движения скончался.

ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОЛЬЦЕВ: «Мой девиз: труд и политическая свобода...»

СЕРГЕЙ СЕКИРИНСКИЙ

Подобно многим светлым периодам в истории, эпоха «бури и натиска», наступившая в России после Крымской войны, была воспринята многими как решительный разрыв с прошлым. Молодежь демонстрировала повышенную восприимчивость к новым веяниям. В 1861 году выпускники Академии Генерального штаба, представлявшие императору, «гробовым молчанием» ответили на его прочувствованный призыв «служить опорой трона». С оттенком запоздалого раскаяния один из них, заслуженный генерал, на склоне лет вспоминал, что столь вызывающее поведение молодых офицеров явилось лишь результатом «временного настроения» и этот выпуск дал, за ничтожным исключением, «самых верных слуг государя». То действительно было время, когда в переменах либерально-радикальных тонов зачинались самые разные политические судьбы.

Первое пореформенное поколение под воздействием новой эпохи преодолеvalo в себе тяжелую наследственность, отягощавшую социальное устройство России. Одни, у кого «гипноз времени» перешел во внутреннюю убежденность, дали примеры восхождения по ступеням гражданственности и свободомыслия; другие вслед за наступившим «отливом» ушли «назад».

Преобразования 60-х годов XIX века внесли в российский политический процесс новые ориентиры и образцы. Согласно новому законодательству, помещики должны были выдвигать из своей среды не только дворянских предводителей, но и мировых посредников. На смену подневольным судебским чиновникам пришли *независимые судьи* и *свободное сословие* присяжных поверенных. Россия стала управляться не одними тайными советниками, но и *гласными* уездных и губернских земств и городских дум. Но, если «великий гражданин» был все еще невозможен на Руси, о чем с горечью писал на заре 80-х годов журнал «Русская мысль», намекая на отсутствие необходимых для этого конституционных гарантий, то преобразования Александра II подготавливали исподволь появление новых действующих лиц политической истории России. Этот процесс на первых и решающих фазах своих был скрыт от постороннего глаза, но остался запечатленным в переписке и мемуарных заметках видных деятелей будущих десятилетий. Одним из важных истоков формирования политических запросов и взаимоотношений новых поколений русской общественности служили их гимназические и университетские связи.

Эпоха 60-х годов оказала большое влияние на формирование взглядов нашего героя, хотя сам он не успел принять участия в ее делах и заботах. И все-таки 1861 год вошел в биографию В. А. Гольцева (1850–1906): именно тогда он впервые переступил порог тульской гимназии. «С ранней молодости я поставил себе определенные политические задачи, и, насколько сам могу судить, я неуклонно шел к намеченным целям», — писал Виктор Александрович в своих мемуарах.

Истоки гольцевской одержимости либеральной идеей восходят к годам его детства. Он был глубоко верующим ребенком. В гимназии писал стихи на библейские темы. Однажды во время посещения церкви двенадцатилетнему мальчику явился Спаситель и беседовал с ним. Об этом потрясшем его видении юный Гольцев достоверно сообщал своим товарищам. Гимназисты из уст в уста передавали волнующий таинственный слух. К концу гимназического курса от «некогда горячей и искренней религиозности» остался только «чистый деизм». А «лето между гимназией и университетом» прошло для Гольцева в мучительной борьбе между верой и безверием. Настойчивый поиск доказательств в защиту бессмертия души не увенчались успехом. Догматы христианства подверглись разрушительному сомнению: тому способствовала вся атмосфера 60-х годов. Но потребность веры и жажда деятельного служения определенному идеалу сохранилась в душе Виктора Александровича на всю жизнь.

Новой страстью Гольцева — студента Московского университета (1868–1872) — стало участие в «тайном обществе, которое имело целью пересоздание мира в самом близком будущем». В результате он сумел основательно познакомиться с некоторыми политическими трактатами и произведениями «крупнейших социалистов». Среди русских мыслителей Гольцев особенно высоко ценил Белинского и Герцена, подчеркивая, что их идеи послужили основой его собственного мирозерцания.

Поклонение социальной идее вслед за полученным в детстве христианским воспитанием в судьбах русской интеллигенции не раз завершалось обращением к революционному действию. Но судьба Гольцева сложилась иначе...

В переписке университетских товарищей 70-х годов, сохранившейся в гольцевском архиве, вспыхивает любопытный спор о выборе жизненного поприща, путей и средств реализации усвоенных в юности идеалов, поднимаются нравственно-политические вопросы, издавна волновавшие русскую интеллигенцию, сталкиваются альтернативные позиции, возникают неизбежные реминисценции. Гольцев был настроен тогда достаточно радикально, а его сверстник, однокашник по Московскому университету и оппонент, Николай Зверев придерживался более осторожных взглядов.

«...Нужно ли, чтобы „адепт идеи“ непременно голодал и страдал?»; «Что труднее — „сломать себя“ или же высказаться откровенно?»; «Не потому ли передовые идеи так медленно проникают в нашу жизнь, что их сторонники слишком часто одеваются в сердитые красные мантии?»; «Кто выше, скромный Милютин, „эманципатор и тайный советник“, или „популярный каторжник“ Чернышевский?»; «Что привлекательно в кафедре, если нельзя свободно высказаться даже на магистерском диспуте?»; «А разве Грановский и в более тяжелое время не справлялся с исполнением „великих, святых задач“ профессора?»; «Как обойти препятствия, заграждающие свободный путь к самостоятельному умственному труду в духе Белинского и Добролюбова?»...

По-разному сложатся и дальнейшие судьбы участников этого спора: Н. А. Зверев сделает блестящую служебную карьеру, займет должности профессора, товарища министра народного просвещения, сенатора, члена Государственного совета, а его университетский приятель Гольцев лишится кафедры и будет поставлен под гласный надзор полиции...

В конце 1875 года Гольцев был командирован за границу для подготовки к профессорскому званию. Из Парижа он обратился к одному из лидеров революционных народников Петру Лаврову с письмом, в котором, осудив насильственные методы политической борьбы, призвал революционеров вместе с либералами добиваться конституции для России. Письмо было опубликовано в эмигрантском журнале «Вперед» за подписью «Русский конституционалист». В 1878 году в Московском университете Гольцев защитил магистерскую диссертацию на тему «Государственное хозяйство во

Франции XVII века», где доказывалась пагубность абсолютизма как формы государственного устройства. В том же году Гольцев, избранный доцентом Московского университета, не был утвержден в этой должности министром народного просвещения Д. А. Толстым.

На рубеже 1870–1880-х годов Гольцев выдвинулся в первые ряды либеральных общественных деятелей России нового поколения, сформировавшихся уже в обстановке больших преобразований и изменившихся условий пореформенного времени. Среди них — П. Г. Виноградов, В. Д. Дерюжинский, Н. А. Каблуков, Н. И. Кареев, М. М. Ковалевский, И. В. Лучицкий, С. А. Муромцев, И. И. Петрункевич, А. С. Посников, Ф. И. Родичев, В. Ю. Скалон, А. Ф. и С. Ф. Фортунатовы, А. И. Чупров, И. И. Янжул и другие. Политическое настроение этого общественного круга один из его представителей — историк Н. И. Кареев характеризовал в целом как «более либеральное, чем у старой профессуры; конституционализм, дополненный социальным реформаторством».

Вместе с тем различия во взглядах вовсе не мешали дружескому общению молодых московских либералов, начинавших свою профессорскую карьеру, с Константином Кавелиным. Их знакомство состоялось во время пребывания Кавелина в Москве в середине 1880 года. Члены этого «милейшего» (по определению Кавелина) кружка, в особенности Ковалевский, Чупров, Гольцев, и патриарх русского либерализма Кавелин испытывали большой взаимный интерес и симпатию. Общение Гольцева с Кавелиным продолжалось до самой смерти этого друга Грановского и Герцена, подчас при драматических обстоятельствах, когда Кавелину пришлось даже хлопотать о вызволении Виктора Александровича из тюрьмы. «От последнего моего пребывания в Москве, наших свиданий и бесед, на меня так и повеяло сороковыми годами, — писал Кавелин Гольцеву 13 июня 1884 года. — Люди другие, обстоятельства и обстановка другие, вопросы другие, — а дух тот же самый! Невольно и незаметно молодеешь в вашем кружке, — не воспоминаниями о прошедшем невозвратном, а потому, что это прошедшее есть вместе и продолжающее жить под новыми формами, вечно свежее, молодое, живучее...»

Год 1880-й — последний из целиком отмеренных Александру II лет — был назван в передовице «Московских ведомостей» от 1 января 1881 года «годом кризиса и перехода», «годом, который не досказал своего слова и передает теперь своему преемнику неизвестное наследие». В этой меткой и настороженной характеристике, принадлежавшей Михаилу Каткову, действительно отразилось своеобразие переживаемого Россией периода. Это было время обманчивого революционного затишья (с 5 февраля 1880 года до 1 марта 1881 года «Народная воля» не провела ни одного террористического акта). И это был год последнего всплеска либеральных надежд.

В этот год в Москве стал выходить новый либеральный журнал «Русская мысль», автором внутренних обзоров которого, а затем и редактором всего издания стал В. А. Гольцев. В феврале 1881 года он был наконец утвержден в должности доцента Московского университета, а осенью, с началом нового учебного года, открыл курс «Учение об управлении»...

Отвечая позднее на анкету «Русской мысли», Виктор Александрович по существу набросал основные штрихи политического автопортрета: «Чем бы я быть желал?» — «Политическим деятелем»; «Где бы я желал жить?» — «В России, но только свободной»; «Мои любимые писатели-прозаики?» — «Тургенев и Гончаров, Писемский и Толстой, Белинский и Герцен»; «Любимые мои герои действительности?» — «Вашингтон, Гарибальди, Гамбетта»; «Что я всего более ненавижу?» — «Деспотизм»; «Военный подвиг, который приводит меня в восторг?» — «Такого нет»; «Реформа, наиболее мною чтимая в истории?» — «Освобождение крестьян в России»; «Мой девиз?» — «Труд и политическая свобода...».

В пореформенные годы точкой опоры для политики в настоящем и своеобразным мостом в политическое будущее страны стала земская формула российской свободы, выведенная в результате совмещения результатов освобождения крестьян с движением за введение в стране центрального выборного представительства, народившимся в дворянской среде 1860-х годов. На признании земского самоуправления сошлись старые «эмансипаторы», видевшие в «конституции» лишь прикрытие для корыстных помещичьих вождений, и неопиты конституционной идеи, нашедшие в земстве опору для реализации своих планов; «объевропеевшие» либералы и «почвенные» консерваторы. В принципе это было уже немало, поскольку сама свобода в либеральном понимании всегда *компромисс* между единичным и множественным, частной волей и общественным порядком, личностью и государством. Расширение поля этого компромисса, как казалось многим, есть дело времени. И уже в первые пореформенные десятилетия ключевым становится вопрос о гарантиях прав личности и участия «общества» в процедуре выработки и принятия государственных решений. «Непредрешенчество» в вопросе о «средствах» и готовность «принять результат» (то есть освобождение крестьян, откуда бы оно ни пришло), наиболее последовательно выраженные в канун 1861 года А. И. Герценом, уходят в прошлое вместе с эпохой Освобождения.

Через два десятка лет после крестьянской «эмансипации» акценты были расставлены по-другому. Предложенный М. Т. Лорис-Меликовым в 1881 году способ подготовки назревших социально-экономических реформ полностью перетянул внимание общества: он вошел в историю под неточным, но выразительным именем — «лорис-меликовская конституция».

Убийство Александра II народолюбцами 1 марта 1881 года стало роковым рубежом в истории России. Это событие сразу же вызвало не только прилив охранительно-националистических настроений, но и мрачные предчувствия тех, кто рассчитывал на иной исход политического кризиса. Состояние общественной атмосферы в Москве после убийства царя нашло отражение в переписке профессора А. И. Чупрова. «Вы представить себе не можете, что у нас творится со времени 1 марта, — писал он по прошествии трех недель профессору И. И. Янжулу, находившемуся в ту пору за границей. — Злодеи, убившие государя, и их сообщники, вероятно, торжествуют при виде того сумбура и сумятицы, которые созданы в нашем обществе их позорным делом. Призыв к террору, к повальному шпионажу, натравливание народа на всех разномыслящих без различия оттенков — вот настроение той многочисленной части общества, для которой служат органами „Московские ведомости“ и „Русь“. Либералы, социалисты, террористы — все сливаются для этих сумасшедших в один цвет. Присмотритесь к средствам, какие предлагают эти люди против крамолы. Перенесение столицы в Москву, общество взаимного шпионства, какой-то „знак печали“, который растопится, если его кто-либо наденет неискренне, — и в приправу ко всему этому сыскное сикофанство... Как тяжело при таких условиях всем тем, кому противен как красный, так и белый террор. Больно и страшно становится, что эта сумасшедшая реакция внутри общества неизбежно затянется на многие годы успокоение нашей истомленной и истерзанной страны».

Короткую лорис-меликовскую «оттепель» в начале 80-х быстро сменили политические «заморозки». На престол взошел Александр III — «неограниченный монарх, но ограниченный человек», согласно позднему отзыву даже такого «идеалиста самодержавия», каким был умеренный либерал Михаил Стахович. Если ранее, после долгих и бесплодных попыток голой силой подавить революционный террор, в окружении Александра II все же возобладала здравая мысль о необходимости допустить общественных представителей к участию в обсуждении и выработке некоторых зако-

нопроектов, то убийство царя оказалось на руку доктринерам с обеих сторон: фанатикам революции и апологетам самодержавия. В результате политика как организационно-регулирующее начало взаимодействия власти и общества так и не стала практикой государственной жизни.

Апеллируя к безгласному «народу», власть презрительно обходилась с образованным обществом. Исчерпывающую характеристику этих отношений дал сам К. П. Победоносцев в блестяще сыгранной (если верить В. В. Розанову) политической пантомиме. На слова, сказанные по поводу какой-то правительственной меры: «Это вызовет дурные толки в обществе», обер-прокурор Святейшего синода «остановился и не плюнул, а как-то выпустил слюну на пол, растер и, ничего не сказав, пошел дальше».

Для русской общественности настали времена, которые писатель Петр Боборыкин, умевший подбирать выразительные глаголы для характеристики поведения своих излюбленных персонажей — либеральных интеллигентов, определял словами: «съежились» или «сжались». «Точно все мы притворяемся, что живем вплотную, а жизни нет, веры в свое дело нет, смелости нет!..», «все идет „на ущерб“, все спрятались по углам...» — подводит безрадостные итоги общественной жизни к середине 80-х один из таких персонажей в романе с выразительным названием «На ущербе».

По словам младшего товарища Гольцева П. Н. Милюкова, в эпоху, на которую пришелся расцвет творческих сил Виктора Александровича, «даже простой литературный обед уже составлял общественный факт, а смелая застольная речь уже целое событие». Неудивительно, что и ресторан «Эрмитаж» за отсутствием других форм представительства общественных интересов прослыл тогда среди ироничных московских либералов «государственным учреждением». В этих условиях именно Гольцев, по свидетельству Боборыкина, был «одним из самых выдающихся пробудителей общественного чувства и протестующей мысли. Не было ни одного начинания в сфере литературы, прессы, земского движения, просветительной инициативы, не устраивалось никакого собрания, обеда, вечера, публичного чтения, поминок или чествования с освободительным характером, где бы он ни принимал живого участия, где бы он ни был председателем, устройтеlem, оратором или руководителем».

Гольцев, как он сам себя характеризовал в переписке с Кавелиным, был «немножко маньяком». Речь шла о его искреннем и глубоком увлечении идеей конституции в стране, где даже в либеральных кругах еще преобладали надежды на верховную власть. Само это слово «конституция» нередко употребляется им в переписке с друзьями в горько-ироническом смысле: то он обещает «вводить свое самолюбие в конституцию», то, «опровергая» скептиков, утверждавших, что Гольцев не доживет «до конституции», дает знать о даровании ему по Высочайшему повелению «конституции» в виде интернирования в Москве под надзор полиции.

Повсюду откровенно проповедуя свои свободолюбивые взгляды, Гольцев очень скоро оказался лишенным возможности занимать не только университетскую кафедру (уже в августе 1882 года его вынудили уйти в отставку), но и какую-либо выборную должность в земстве или городском самоуправлении. «Жизнь, — как писал впоследствии один мемуарист, — насильно втиснула его в рамки работы, для него органически необходимой». Гольцев стал постоянным автором многих русских периодических изданий и редактором «Русской мысли» — крупнейшего из «толстых» либеральных журналов 80-х годов (до 10 000 подписчиков).

Еще во время четырехмесячного тюремного заключения в 1884 году Гольцев написал большую часть книги «Законодательство и нравы в России XVIII века». Это сочинение было опубликовано в Москве в 1886 году. Одно время Гольцев даже подумывал представить его в качестве докторской диссертации.

Но все написанное Гольцевым «не было так талантливо, как был талантлив его дух». Современники дружно отмечали то, что оставалось за рамками его печатных выступлений, — присущее ему «влиятельное обаяние» и «шумный успех, постоянно его сопровождавший».

Вместе с тем к этому роль Гольцева не сводилась. Либеральное движение 1870–1880-х годов, как отмечал впоследствии П. Б. Струве, «имело два фланга, из которых один соприкасался с русским консерватизмом, другой — с революционным движением». Своеобразие Гольцева заключалось в том, что он в одно и то же время выступал на обоих флангах. Со студенческой скамьи и до вполне зрелых лет Гольцев конспирировал и проповедовал в среде радикально настроенной молодежи, вместе с тем наглядно доказывая всей своей деятельностью, что за пределами революционного подполья есть место для гражданского подвижничества. Заметим, кстати, что гольцевский идеал — это не только конституционный строй для России, но и «культурное государство», которое, сохраняя лучшие особенности государства правового, берет на себя еще и выполнение задач социального благосостояния.

В конце 1880-х годов в оппозиционных кругах Москвы и Петербурга получила широкое распространение рукописная брошюра Гольцева «Земский собор», в которой выдвигалась задача объединения усилий либералов и революционеров на основе пропаганды необходимости политических и социальных перемен и созыва общероссийского выборного представительства. В начале 1890-х годов Гольцев был причастен и к деятельности одной из первых нелегальных организаций либерального толка — партии «Народного права».

Годы безвременья заметно притупили острые углы в характере Гольцева, научив его приемам тактического лавирования и отступления. В пору, названную М. М. Ковалевским временем «неосуществившихся надежд и несбывшихся мечтаний», Гольцев шел на установление прямых связей с флигель-адъютантом Александра III П. П. Шуваловым — то ли настоящим конституционалистом, то ли выдававшим себя за такового (историки до сих пор не разобрались), руководителем «Святой дружины» — тайной организации, созданной специально для охраны особы царя и противодействия революционному терроризму. Гольцев откровенно разговаривал и с К. П. Победоносцевым, излагая ему свои конституционные взгляды, а позднее вел уже «арьергардные бои»: через своего университетского товарища, сотрудничавшего в «Московских ведомостях», пытался даже заручиться поддержкой М. Н. Каткова в борьбе за сохранение женских медицинских курсов. Так, из убежденного конституционалиста и несостоявшегося парламентского бойца российская действительность 1880-х годов делала ходатая по частным вопросам, вынужденного искать себе союзника в лице консервативного московского журналиста, влиятельного в правительственных кругах.

Несмотря на бодрость духа («Бог не выдаст, свинья не съест!» — любил говорить Виктор Александрович), он все чаще впадает в тоску. Охватывающее его порою уныние проскальзывает и на страницах многочисленных писем. «Кругом все (то есть почти все) так мелко, пошло, подчас зло, что несомненный рост доброго заслоняется подлыми господами положения, — писал Гольцев в одном из писем августовским вечером 1891 года. — Эти дни я в Москве один, много работаю, мало сплю, и по ночам мучают иногда меня невеселые думы. Полагаю усилить дозу работы, поменьше видеть людей, чтобы не превращаться в мизантропа». Уход в работу становился главным спасением от продолжавшегося безвременья. Но и это средство не могло спасти Гольцева от тоски, боли и, наконец, зависти. Все эти чувства выразились в горьком восклицании, которым он подытоживал свои трудовые планы: «Читаешь иностранные газеты: как сильно, ярко, умно бьется жизнь!»

На передовой западноевропейский опыт еще в большей мере ориентировалось и новое поколение молодых русских либералов, вступавших в общественную жизнь с конца 1880-х годов. В глазах этих людей, составивших основу поколения первоумцев, Виктор Александрович уже выглядел человеком отсталым, уставшим от изнурительной борьбы. И они призывали его «не уставать и не отставать». В 1896 году было намечено устроить очередной либеральный обед в связи с шестнадцатилетней годовщиной введомой Гольцевым «Русской мысли» (по тогдашним меркам человеческой жизни журнал достиг «совершеннолетия»). Свои поздравления виновнику торжества прислал из Рязани и Павел Милюков, сосланный туда за оппозиционную деятельность. Будущий лидер Конституционно-демократической партии в согласии с обычаями времени придал своему посланию форму тоста, который он поручал Гольцеву огласить на банкете. В намеренно шутовской форме застольной речи угадывалась и щадящая полемика с самим юбиляром. Отметив, что «брак» «Русской мысли» с русским обществом «не переставал приносить великие и обильные плоды в пору величайшего бесплодия нашей общественной жизни», Милюков решительно заявлял: «Теперь, господа, эта пора прошла безвозвратно. Я не устану повторять это вопреки осторожному скептицизму моих более зрелых и благоразумных коллег...»

Свой воображаемый «тост» Павел Николаевич завершал пожеланием: «Пусть „Русская мысль“ будет вечно юна — или, если это не противоречит законам природы, — пусть переживет она, вдохновляемая весенним дыханием русской общественности, вторую молодость!»

На «вторую молодость» Гольцеву, в отличие от таких его сверстников, как, например, Муромцев, Ковалевский, Кареев, заседавших в первом российском парламенте, уже не хватило сил. История, как будто в насмешку, вывела его на сцену политической жизни в канун крушения либеральных надежд, рожденных политикой Лорис-Меликова, и заставила уйти из жизни в год созыва и разгона I Государственной думы.

Политическая драма Гольцева предвосхитила драму всей русской либеральной интеллигенции, готовой уже в начале 1880-х годов вступить на путь открытой политической деятельности, но лишенной затем еще почти на четверть столетия возможности политически реализовать себя.

МИХАИЛ ИВАНОВИЧ ВЕНЮКОВ:
*«Судьбу свою создавать по своей воле,
а не из-под палки...»*

ВАЛЕНТИНА ЗИМИНА

Биография Михаила Ивановича Венюкова (1832–1901), военного по образованию и профессии, исследователя-путешественника по призванию, либерального демократа по убеждениям и политического эмигранта по воле судьбы (со стажем в четверть века!), удивительна и интересна. Его жизнь была насыщена не только многими событиями, но и общением с широким кругом весьма известных политических деятелей, ученых, писателей и журналистов.

Родился М. И. Венюков 5 июня 1832 года в русской глубинке, в Рязанском крае, в селе Никитенском. Он был шестым ребенком в мелкопоместной дворянской семье, где после него родилось еще пятеро детей. Михаил рано пристрастился к чтению. Позднее, вспоминая свои детские годы, Венюков писал: «Я не знал бы, что делать в доме родителей, если бы по счастью не попала в руки география Арсеньева. Ею я зачитывался целые часы и, вероятно, тут впервые приобрел страсть к изучению Земли, которая потом уже не оставляла меня никогда».

Вместе с тем и семья Михаила оказала влияние на формирование его характера и политических интересов. Отец был участником войн с Наполеоном и к двадцати шести годам уже имел «владимирский крест с бантом и майорский чин, что было недурно для армейского офицера». Уже в николаевское царствование, служа на казенных и дворянских должностях в своей губернии, Венюков-старший, будучи как-то в Рязани под новый, 1840 год, достал там ходившую по рукам рукопись одного из произведений казенного поэта-декабриста К. Ф. Рылеева — поэму «Войнаровский». Возвратившись домой, ветеран Наполеоновских войн переписывал эту запрещенную рукопись «три ночи подряд» и затем «охотно читал» свой список «знакомым, которые хотели слушать». Особенно благодарным слушателем и читателем рылеевской поэмы оказался его собственный сын. Совсем еще юного Михаила рукопись «Войнаровского» приводила «в восторг»!

В 1845 году, учитывая нелегкое материальное положение семьи, родители решили определить тринадцатилетнего сына «на казенные хлеба» в кадетский корпус в Петербурге. Блестяще сдав вступительные экзамены, он был принят сразу во второй класс. В годы пребывания в корпусе юный кадет старательно занимался естественными науками, увлекался «Космосом» Гумбольдта. Читал передовую литературу 1840-х годов: философские «Письма об изучении природы» и художественные произведения «Кто виноват?», «Доктор Крупов» Герцена, переписку Белинского с Гоголем, исторические статьи Грановского. Эти произведения, как писал впоследствии Венюков, «сохранились в памяти многих моих сверстников. И никто не станет отрицать благотворного влияния их на свое развитие, никто не бросит камнем в их авторов, стоявших на таком высоком уровне нравственной чистоты и работавших так неустанно в пользу света среди окружавшей их тени. Благородные, светлые личности, незабвенные в русской истории».

Выпущенный из корпуса в чине прапорщика Венюков с 1850 года начал профессиональную военную службу в артиллерийской батарее в Серпухове. Продолжая много читать, он переписывает от руки в 1851 году роман Герцена «Кто виноват?», на всю жизнь ставший для него реликвией. Не переставал артиллерийский прапорщик заниматься и естественными науками. В Серпухове он написал свои первые научные заметки. В 1853 году Венюкова отзывают в Петербург и назначают репетитором по физике в его родном кадетском корпусе. Оказавшись в столице, он стал сразу же ходатайствовать о допущении его вольнослушателем в университет. Получив разрешение, Венюков слушал лекции П. Л. Чебышева и В. Я. Буняковского по математике, С. С. Куторги по зоологии, Э. Х. Ленца по физике, И. И. Ивановского по международному праву. Но в августе 1854 года, не дослушав университетского курса, Венюков поступил в николаевскую Академию Генерального штаба, которую успешно закончил в 1856 году.

В конце того же 1856 года двадцатичетырехлетний офицер получил назначение в штаб генерал-губернатора Восточной Сибири Н. Н. Муравьева-Амурского — одного из самых колоритных российских «проконсулов», высоким покровительством которого пользовался даже такой знаменитый бунтарь, как Михаил Бакунин в пору своей сибирской ссылки. Вскоре по прибытии к Муравьеву Венюков отправился в свое первое путешествие, получив предложение от самого генерал-губернатора о поездке вместе с ним на Амур. «Лучшего поощрения к работе нельзя было придумать, — писал впоследствии Михаил Иванович. — Мечта моя быть на Амуре, представлявшем в то время крупный политический интерес, сбывалась...»

Путешествие по Амуру стало лишь начальным этапом в исследовании Венюковым Дальнего Востока. В 1858 году ему было поручено организовать и провести первую русскую экспедицию вдоль всего течения реки Уссури. С маленьким отрядом казаков Венюков тщательно обследовал бассейн реки, первым из русских перешел Сихотэ-Алиньский хребет и вышел к Японскому морю, составив подробное научное описание Уссурийского края и положив начало изучению этих земель.

В годы пребывания в Восточной Сибири Венюков близко сошелся с тамошней интеллигенцией, группировавшейся вокруг сибирского отдела Русского географического общества. Он был знаком с М. А. Петрашевским, которого высоко оценил в своих воспоминаниях: «Ум многосторонний, резко аналитический и в то же время глубоко сочувствовавший всему гуманному без фальши, без экивоков, не склоняясь ни перед чьим авторитетом».

В 1859–1860 годах старшего адъютанта в штабе Отдельного Сибирского корпуса Венюкова занимают уже другие, отдаленные и малоизвестные территории России. Сначала он возглавляет разведывательную экспедицию в долину реки Чу, а затем руководит геодезическими съемками на озере Иссык-Куль. Итоги проделанной работы вылились в обширную научную публикацию, удостоенную серебряной медали Русского географического общества.

В 1861–1863 годах Венюков служит на Северо-Западном Кавказе в должности командира батальона Севастопольского пехотного полка. Одним из результатов принятого им изучения истории, этнографии и статистики этого края стало составление его первой этнографической карты.

В конце 1863 года Венюкова переводят на службу в Польшу, где с апреля следующего года он становится председателем Люблинской комиссии по крестьянским делам. В ту пору Н. А. Милютин и его сподвижники проводили в «замиреной» Польше аграрную реформу на гораздо более выгодных для крестьян условиях, чем в самой России. Параллельно с активным участием в делах реформы Венюков успевает написать учебник по физической географии, который увидел свет уже в 1865 году. В начале

1867 года Михаил Иванович получил отпуск от службы с сохранением за ним прежнего жалованья в течение двух лет. Это дало ему возможность приступить к осуществлению давней мечты «о путешествии по Европе, а может быть, и вокруг света».

Непосредственное знакомство с Западом вызвало в русском европейце, каким по своему воспитанию и характеру уже был к тому времени Венюков, множество мыслей и чувств, в общем-то типичных для многих образованных русских, посещавших ту часть Евразии. Позднее, когда речь пойдет об эмиграции, Михаил Иванович в сжатом виде изложит эти соображения в частном письме к брату. Это кредо русского европейца и патриота в одном лице: «Я служил и всегда готов служить России, кроме нее у меня нет симпатий, ей одной принадлежит и моя мысль, и мои чувства. И будь она под теперешним игом и даже николаевским, павловским и прочее, или же процветай, как Англия, Бельгия и прочее, я одинаково ее люблю. Но дело не в одной платонической привязанности. Кого любишь, тому прежде всего желаешь движения вперед, нравственного и умственного преуспеяния и, что главное, свободы от тягостных условий развития, свободы судьбу свою создавать по своей воле, а не из-под палки. И восемьдесят ли миллионов народа, считающего себе от роду вторую тысячу лет, не стоят этой свободы, этого выхода из крепостного состояния? Им ли кажется не желать и не добиваться тех же форм быта, которые составляют счастье и славу Европы и Северной Америки, форм, которые у меня врезались в память неизгладимыми чертами. Ты знаешь, что нас ненавидят везде. Ненависть эта большею частью бессознательна, но она, скажем прямо, не лишена оснований. Кто легко относится к ярму, надеваемому на шею, кого это ярмо не тяготит настолько, чтобы в нем проявилось желание сбросить его, во что бы то ни стало, тот унижает в себе, выражаясь метафорически, образ и подобие Божие, становится ниже прочих людей и делается достойным их сожаления...» И далее Венюков пишет: «Я давно знаю склад русского общества, давно изучаю общества европейские, знаю слабость последних, сухость сердца в них господствующую, преобладание корыстных расчетов и, наоборот, нашу откровенную общительность, нашу слишком барскую распушенность и ширину русской натуры... И как ни симпатичны мне самые эти недостатки русских людей и ни противны [западноевропейские] жадность и нахальство, я не могу не признаться перед совестью, что эти нахалы, что эти торгаша вырабатывают своими трудами великую идею освобождения человеческой личности от всяких уз предания, а мы — мы ничего не делаем».

Первую корреспонденцию для герценовского «Колокола» Венюков написал еще в 1861 году, в пору всеобщего увлечения основателем вольной русской печати и его изданиями. Для доставки письма в Лондон пришлось воспользоваться услугами посредника, но тогда корреспонденция до Герцена не дошла, хотя и была опубликована в «Таймс».

Когда же Венюков выехал на Запад, одним из главных событий его европейского турне стало личное знакомство в 1867 году с Герценом и Огаревым, к тому времени переехавшими из Лондона в Женеву. Старые эмигранты и русский офицер, странствующий по Европе, несколько раз обменялись визитами. Особое впечатление на путешественника произвел, конечно, Герцен. По отзыву Венюкова, «такого всестороннего и остроумного собеседника» ему не приходилось встречать ни раньше, ни позднее. «Чтение его книги „Былое и думы“, тогда бывшей новостью, не могло затмить его самого. Огарев же был скушноват...»

Как вспоминал Михаил Иванович «под влиянием женеvского „вольного воздуха“ и отчасти бесед с Герценом», пульс у него «так повысился, настроение мозга так поюнело», что он даже написал два стихотворения. Одним из них стал русский перевод «Марсельезы», который по желанию Герцена был напечатан в его типографии «вместе с французским текстом на листке, который удобно было распространять...». В герце-

новском «Колоколе» 1 августа 1867 года была опубликована и статья Венюкова о русских завоеваниях в Азии с примечаниями самого издателя и положительной оценкой этой статьи.

В 1869–1870 годах Венюков на средства, полученные от Военного министерства, совершил путешествие в Японию и Китай. По возвращении он опубликовал двухтомное «Обозрение Японского архипелага в современном его состоянии» и «Очерки современного Китая». В этих работах Михаил Иванович отметил преимущества географического положения Японии с точки зрения развития торговли с другими странами, описал приемы земледелия и агротехники, быт, обычаи страны, особо подчеркнув трудолюбие японцев и их вклад в прогресс своей страны. С теплотой и симпатией Венюков отзывался и о китайском народе, в то же время возмущаясь «грубым, если не сказать зверским» обращением колонизаторов с коренным населением Китая.

В 1871 году Венюков был прикомандирован к Главному штабу «для ученых работ» и трудился там в течение пяти лет. Михаил Иванович составлял описание русско-азиатских окраин. Одновременно читал публичные лекции в Академии Генерального штаба о современном состоянии военных сил и средств Японии и Китая. В 1871 году Венюков был удостоен золотой медали Русского географического общества, а в 1873-м — избран секретарем этого общества, одного из самых авторитетных научных объединений старой России. По инициативе Венюкова начались работы над составлением этнографической карты Азиатской России.

На II Международном географическом конгрессе, состоявшемся в Париже в 1875 году, Венюков был в составе русской делегации и представлял там карту русских путешествий в Азию. По словам Михаила Ивановича, эта карта наглядно показывала иностранцам «то обширное пространство величайшего материка, которое сделалось достоянием европейской науки благодаря усилиям и трудам длинного ряда русских деятелей».

Другим занятием Венюкова в последние годы жизни на родине была публицистика. С учетом критического склада ума и характера Михаила Ивановича, эта деятельность, поглощавшая немало умственных и нравственных сил, грозила серьезными неприятностями для генерал-майора действительной службы. Тем не менее он много печатался на страницах различных газет и журналов, употребляя «разные обходные приемы, недоговаривания, метафоры и прочее». Последние годы своего пребывания в России Венюков назвал в мемуарах «хорошим временем», отметив, что «в смысле удовлетворения жажды умственной деятельности» он считает этот период «одним из лучших в своей жизни».

На решение Венюкова уйти со службы и покинуть Родину повлияли несколько факторов. У этого выдающегося человека, либерала и демократа по убеждениям, много сделавшего для России, было много причин быть не удовлетворенным своим положением. Вольнодумство и критические высказывания Венюкова, как, впрочем, и зависть к его успехам на поприще науки, создавали вокруг атмосферу недоброжелательности, мало способствовавшую официальному признанию его несомненных заслуг. Вместе с тем чувство собственного достоинства не позволяло Михаилу Ивановичу мириться с неопределенностью своего служебного статуса — генерала, даже не зачисленного, а лишь «прикомандированного» к Главному штабу без каких-либо точных указаний круга обязанностей, но с унижительной необходимостью ежегодного возобновления этого прикомандирования.

В феврале 1876 года он подает прошение об отставке, уже решив покинуть Россию. «Не многим, как мне, — напишет он в воспоминаниях, — приходилось оставлять родину *по заранее обдуманному плану* из сознания неосуществимости своих лучших надежд и желаний при известных приемах и стремлениях так называемых руководя-

щих сфер». Принятое решение было, безусловно, самым драматическим моментом в биографии Венюкова. «Там, сзади, оставалось все, что было дорого сердцу в течение сорока пяти лет, а тут впереди не виделось ничего... ничего, кроме свободы... И я взял свободу, конечно, не без сожалений о некоторых счастливых, исключительных минутах рабства, но с твердою решимостью, оставаясь русским, не возвращаться в Россию иначе, как на службу свободе же».

Венюков уехал из России в 1877 году, отказавшись от положенной ему по выходе в отставку генеральской пенсии. Из Парижа он обратился с письмом к Александру II, где были и такие слова: «Можно лишить меня полученных в течение сорока пяти лет высших отличий, которых суетность мне всегда была совершенно ясна; можно вычеркнуть мое имя из списка русских граждан, но нет силы, которая бы могла исключить меня из числа преданных сынов Русской земли...»

Все двадцать четыре года, прожитые в эмиграции, Венюков оставался русским гражданином-патриотом. Путешествуя по Европе и Турции, Африке и Америке, занимаясь научными изысканиями, став членом географических и топографических обществ Швейцарии, Франции, Англии, он не утрачивал интереса к России, продолжал общаться и переписываться с большим числом соотечественников. «Мне хочется жить в Европе не даром, а изучать ее так же обстоятельно, как двадцать лет изучал Азию. Может быть, от этих занятий будет какая-нибудь польза и другим», — писал он в одном из писем на родину.

Находясь в эмиграции, Венюков издал в русской бесцензурной печати четырехтомный труд «Исторические очерки России со времен Крымской войны до заключения Берлинского договора (1855–1884)» и свои трехтомные мемуары «Из воспоминаний (1832–1884)».

...Скончался он в первый год нового века в одной из парижских больниц, в нищете и одиночестве. Всего тремя краткими некрологами отозвалась на эту смерть его родина.

Еще в 1881 году Михаил Иванович составил завещание, согласно которому его обширная библиотека и все собрание карт и атласов передавались селению Хабаровке на Амуре, откуда началась его первая экспедиция по Уссурийскому краю. Туда они и поступили десять лет спустя после его смерти вместе с оставшимся рукописным архивом и фотографиями. Местом поступления стала Николаевская публичная библиотека Приамурского отдела Русского географического общества в Хабаровске. Но долгие годы факт возвращения архива Венюкова на родину был неизвестен даже ученым. Лишь спустя более чем полвека после смерти Михаила Ивановича материалы архива были перевезены в Москву и переданы в Отдел рукописей главной библиотеки страны. Здесь они были разобраны, описаны и хранятся по настоящее время в ожидании, когда наследие этого выдающегося путешественника и гражданина найдет своего исследователя.

Если Венюкова-путешественника все-таки помнят на родине, то Венюков-либерал принадлежит к числу почти неизвестных фигур. И это вызывает сожаление, поскольку он воплощал в себе не только многие характерные черты русских вольнодумцев, чьи взгляды формировались под мощным воздействием подготовки Великих реформ, а затем и самих преобразований, но и выдающиеся человеческие качества. Либерал и вольнодумец, он был в высшей степени патриотом России, желавшим ей прежде всего «свободы судьбу свою создавать». Принадлежа к кругу русских западников, «европейцев», он даже в этой среде выделялся широтой взглядов и подлинным универсализмом своего интереса к миру.

МИХАИЛ МАТВЕЕВИЧ СТАСЮЛЕВИЧ:
*«Где правительство называют кормильцем
и благодетелем, там государство останется
навсегда в состоянии детства...»*

НИНА ХАЙЛОВА

«Я не знаю в России человека, который заслуживал бы большего уважения, чем этот „либерал“...» — отзывался об историке и издателе Михаиле Матвеевиче Стасюлевиче известный русский философ и общественный деятель В. С. Соловьев. Имя Стасюлевича было на слуху у образованного русского общества на протяжении более четырех десятилетий: популярность его была настолько велика, что Стасюлевич стал единственным русским издателем, удостоившимся посмертной персональной пяти-томной публикации личных документов и переписки...

Михаил Матвеевич Стасюлевич родился 28 августа 1826 года в Петербурге в семье врача. Его родители происходили из обедневших дворян, так что, лишенный в материальном смысле надежного «семейного тыла», он с ранних лет привык рассчитывать исключительно на собственные способности и трудолюбие. В 1837 году «по уважению крайне бедного состояния» десятилетнего Михаила зачислили на бесплатной основе в четвертую (Ларинскую) гимназию в Петербурге. В 1843–1847 годах Стасюлевич — студент историко-филологического отделения философского факультета Петербургского университета, под влиянием популярного профессора М. С. Куторги избравший своей специализацией античную историю. В 1849 году он защитил магистерскую диссертацию на тему «Афинская игомения», в 1851 году — докторскую «Ликург Афинский».

Однако Стасюлевич не представлял себя только в роли кабинетного ученого. Да и сама наука все больше интересовала его как ключ к решению злободневных общественных проблем, средство для обоснования необходимости реформ в России. К тому же Стасюлевич всегда особенно ценил живое общение с людьми, возможность непосредственного влияния на свою аудиторию, формируя у нее «определенные политические взгляды не только на прошлое, но и на будущее, создавая в них отрицательное отношение к отжившим учреждениям и положительные идеалы лучшего общественного строя».

«Родной стихией» для молодого историка стала преподавательская деятельность — сначала в Ларинской гимназии (1847–1853), затем в Патриотическом институте (1852–1856), состоявшем в ведении великой княгини Марии Николаевны, которая пригласила Стасюлевича обучать и своих детей. С 1852 года он доцент; с 1858-го — профессор кафедры всеобщей истории Петербургского университета.

Важным этапом в становлении Стасюлевича как ученого и будущего общественного деятеля стала заграничная командировка. В 1856–1858 годах он изучал опыт преподавания истории в Италии, Франции, Англии, Германии, ознакомился с политическим строем европейских государств. Позднее Стасюлевич вспоминал с чувством «величайшего удовольствия и даже счастья» о том, как в крупнейших центрах европейской науки (например, Гейдельбергском и Берлинском университетах, Сорбонне

и Коллеж де Франс) ему довелось слушать лекции ученых с мировыми именами — Э.-Р. Л. Лабулэ, Ф. Гизо, Ж. Мишле, Л. фон Ранке, К. Фишера, И. Г. Дройзена, Ф. К. Шлосера, быть лично знакомым с некоторыми из них. Стасюлевич отмечал то огромное влияние, которое оказали на него, в частности, взгляды Лабулэ: «Он каждую лекцию повторяет нам одну и ту же идею: напрасно правительства говорят своим народам „спите спокойно, мы за вас сделаем все, и города построим, и в них университеты, заведем фабрики, устроим флот, проведем дороги“; что же из всего этого? Правительство прибегает к централизации и с каждым годом находит себя все более и более в необходимости централизоваться; жизнь государственная исчезает в провинциях и сосредоточивается в одной столице, положение правительства все делается затруднительнее, и за тем один шаг до политической смерти... Всякое государство, где администрация берет на себя даже и пережевывание пищи, как делает то кормилица с новорожденным, где правительство называют кормильцем и благодетелем, то государство останется навсегда в состоянии детства. Таков закон истории!..»

Зарубежные впечатления и собственный многолетний опыт кропотливой исследовательской работы убедили Стасюлевича в общности исторического развития России и Западной Европы, неизбежности буржуазного развития России: «Всеобщая история называется *всеобщей* потому, что она предполагает во всех народах *общую* человеческую природу. Нет такого великого народа, который не считал бы человечество своею второю родиною; и чем выше предназначение какого-нибудь общества, тем родство его с человечеством ближе и живее...» Стасюлевич, мечтавший о том, чтобы «граница, лежавшая между нами и Западом, совершенно стерлась», был убежден в том, что благодаря успехам исторической науки «найдена дорога к решению исторических вопросов» и, «чтобы дойти до результатов, не нужно ничего более, кроме времени и труда».

По мнению ученого, идеал государственного устройства — это Англия и Америка, где предоставлена широкая свобода «самодеятельности» народа. Стасюлевич, делясь с другом своими впечатлениями от пребывания за границей, в частности, замечал, что английская конституция «написана не на бумаге, а в сердце каждого гражданина»: «Здесь ценится человек, и каждый отвечает за себя; отсюда и проистекает в Англии и порядок, и образованность, и богатство».

Любимый девиз англосаксов (по сути, жизненное кредо самого Стасюлевича) — «Помоги себе сам!» — он характеризовал как «весь курс конституции Англии и Северо-Американских Штатов, а вместе секрет их могущества». Стасюлевич как-то вспоминал: «Один мой знакомый, увидя этот девиз, заметил мне, что в нем много самоуверенности, если применить его к отдельному человеку и если применить его к целому обществу, то в этом девизе — что-то бесчеловечно-эгоистическое. Так судят всегда об Англии и Северо-Американских Штатах на континенте, где так много человеколюбия... У нас так много человеколюбия, отчего же никто не счастлив?.. Во Франции и вообще у народов материка, где до сих пор еще не погибли предания римской и византийской централизации, исторический процесс совершается весьма забавно или, лучше сказать, печально. Народ и общество убеждены, что их задача состоит в том, чтобы выработать себе правительство, а затем жизнь народа прекращается или, что все равно, эта жизнь продолжается в жизни правительства; народ с того времени засыпает, убежденный, что правительство сделает за него все... Опыт же показал, чем кончается история таких государств. В Северо-Американских Штатах правительство остается только при своей роли; народ не прекращает жить ни на минуту... Мы же на континенте со своим человеколюбием, со своею широкою любовью к ближнему забываем, что именно от этого-то человеколюбия, которое заставляет каждого отказаться от своей личности, мы и нуждаемся в человеколюбии...»

Стасюлевич на протяжении всей жизни последовательно выступал против «усилий администрации заменить собою самодеятельность народа». Вместе с тем одна критика явлений действительности никогда не могла удовлетворить запросов созидательного ума ученого. Не просто выразить свое отношение к какому-либо вопросу, важному для общества, но найти возможность оказать конкретное влияние на его решение — вот к чему всегда стремился Стасюлевич. Так, в 1864 году в письме к своему учителю и другу П. А. Плетневу Стасюлевич изложил основные мысли, сформулированные им в записке к тогдашнему министру финансов М. Х. Рейтерну: «Худо то, что все основано на увеличении финансов; это частная точка зрения, перенесенная на жизнь государства, и наши финансы между прочим и именно худы от того, что правительство делает все на свой счет, то есть на счет того же народа, и как всякое правительство тратит рубль там, где народ истратил бы копейку. Можно сказать, что вся Россия поставлена в стойло и содержится на казенный счет; между тем во многих случаях было бы лучше пустить ее на подножный корм; но для этого, конечно, нужно снять узду, а именно этого-то и избегают всеми мерами; содержание лошади в конюшне обходится дороже, но оно спокойнее, а выпустить ее в поле дешево, но труднее управиться с нею... Государство начинается там, где в первый раз встретились два человека для того, чтобы поднять общими усилиями камень или сорвать плод с высокого дерева; мы каждую минуту присутствуем при таком зародыше государств...» Стасюлевич задается вопросом: «В чем тут состоит роль государства и выделяющегося из него правительства?» И сам отвечает: во-первых, «устранить все то, что может помешать деятельности соединенных сил» и, во-вторых, «направить все силы так, чтобы они не сталкивались друг с другом...». «Сделать что-нибудь большее значило бы принять себя за третью силу, а это будет самообольщение, потому что тот, кто правит, не имеет силы, но только расчищает дорогу другим силам...»

Заметим сразу, что наряду с общностью развития России и западных стран Стасюлевич вполне осознавал и существенные различия как в темпах, так и в самом характере исторического пути разных народов и государств. Всегда выступая с критикой теорий быстрой коренной ломки традиционных форм социальной жизни, отдавая предпочтение эволюции перед революцией, он призывал государственных деятелей и политиков считаться с особенностями собственной страны. «Нельзя сердиться на людей и общество... В природе мы видим то же самое: на все есть свое время — в одном месяце поспевают огурцы и бобы, в другом — капуста... Можно сказать одно, что мы теперь не в виноградной поре...» — делился Стасюлевич своими размышлениями в письме к другу в 1864 году.

Еще один непреложный закон вывел Стасюлевич из наблюдений за современной жизнью и изучения жизни народов в прошедшие эпохи: «отсутствие политической нравственности ведет за собою и отсутствие общественной». Он в полной мере разделял убеждение своего друга и соратника К. Д. Кавелина: «Правда, нравственность и выгода соединены нерасторжимыми узами». Политика должна основываться на принципах морали — приверженность этой идее Стасюлевич пронес через всю жизнь, несмотря ни на какие внешние обстоятельства...

«Истина и откровенность составляют важнейшее условие здоровой педагогики» — так определял Стасюлевич свое профессиональное кредо. Вовсе не удивителен поэтому огромный интерес, который проявляли слушатели к его лекциям. У известного профессора, естественно, не было недостатка и в частных уроках. Судьбе угодно было привести его в этом качестве в семью петербургского купца-миллионера И. О. Утина, на дочери которого, своей ученице, Любови Иосифовне Утиной, Стасюлевич женился в 1859 году. Несмотря на отсутствие детей, вместе они прожили в любви и согласии пятьдесят два года...

Еще об одном его ученике следует сказать особо — наследнике престола, цесаревиче Николае Александровиче (1843–1865). В 1860 году Стасюлевич был приглашен в императорскую семью в качестве преподавателя всеобщей истории. Высокая честь подготовки будущего самодержца была оказана также С. М. Соловьеву (русская история), Ф. И. Буслаеву (русская литература), К. П. Победоносцеву (юридические науки), Н. Х. Бунге (политэкономия и финансы), М. И. Драгомирову (военные науки). Стасюлевич нашел в своем ученике «родственную душу». Размышляя о необходимых преобразованиях в России, он возлагал на цесаревича большие надежды, которым, однако, не суждено было сбыться из-за ранней смерти Николая Александровича...

Вспоминая свое последнее занятие в императорском дворце, посвященное событиям Великой французской революции, Стасюлевич писал: «Я убеждал его (Николая Александровича. — Н. Х.) не верить, что в революции нет ничего, кроме дурных страстей... просил его усвоить себе великую истину, что стремление к свободе есть не результат праздной мысли философов, но потребность физиологического развития общества; что задача правительства состоит в том, чтобы делаться все более и более излишним, и тогда само общество найдет для себя такое правительство необходимым... Обвиняют общество, говорил я, что оно не хочет признавать действительных условий жизни и мечтает о небывалом, одним словом, страдает утопией будущего; но и правительство часто не хочет признавать действительных условий и старается управлять обществом на основании отживших условий и, следовательно, страдает утопией прошедшего. Обе утопии происходят от невежества...»

Стасюлевич был удален от наследника престола за «неблагонамеренность» в результате «подземных интриг» недоброжелателей, связанных с III отделением. Не ко двору пришелся Стасюлевич и в Петербургском университете. Там он пытался реализовать свои идеи по общественному переустройству вместе с другими членами кружка молодых профессоров (К. Д. Кавелиным, В. Д. Спасовичем, А. Н. Пыпиным, Б. И. Утиным), выступавших за демократизацию системы высшего образования — автономию университетов, свободу студенческих организаций, равные права женщин. В 1861 году в знак несогласия с действиями властей (жестокая расправа с участниками студенческих волнений и временное закрытие Петербургского университета) Стасюлевич и его единомышленники подали в отставку. Их поступок, шедший вразрез с вековыми традициями «непротivления начальству», был расценен верхами чуть ли не как преступление. Несмотря на сочувствие опальным профессорам нового министра народного просвещения А. В. Головнина, ни одному из пяти оставшихся не у дел «возмутителей спокойствия» так и не удалось больше никогда возвратиться к любимой преподавательской работе. «Снизу считают нас ретроgrадами и почти что поддельцами, а сверху на нас смотрят чуть не как на поджигателей, — делился грустными размышлениями Стасюлевич в письме к другу в июне 1862 года. — Теперь люди благоразумные, попавшись между двумя фанатизмами, без сомнения, отойдут совершенно в сторону и составят, так сказать, партию воздержания».

Оказавшись не у дел, Стасюлевич, полный сил и энергии, тем не менее не оставлял надежды на возможность оказывать посильное влияние на преобразования в сфере народного образования. Поначалу он сосредоточился на реализации своего давнего замысла: под влиянием работ французского историка О. Тьерри создал и опубликовал оригинальную трехтомную хрестоматию «История средних веков в ее писателях и исследованиях новейших ученых» (1863–1865), четырежды переиздававшуюся до 1917 года и не утратившую своего значения до сих пор. Эта книга включает в себя, помимо сжатого изложения событий, обширные цитаты из источников, трудов историков, биографические и библиографические сведения и так далее. Хрестоматия Стасюлевича, сразу же получившая многочисленные одобрителные отзывы учите-

лей, была ориентирована на развитие творческой самостоятельности и свободы мышления учащихся, знаменовала собой качественный прорыв в российской традиционной методике преподавания, страдавшей формализмом.

В 1866 году Стасюлевич завершил еще один крупный научный проект — издал монографию «Опыт исторического обзора главных систем философии истории». Высоко оценивая значение этой книги, известный историк Н. И. Кареев замечал, что Стасюлевич «один из первых дал русской публике связное изложение целого ряда историко-философских теорий и притом в такое время, когда и в других литературах почти ничего не было в подобном роде...».

Стасюлевич — сторонник идеи неизбежности исторического прогресса, взгляда на историю как на «продукт человеческого разума». Он анализирует две наиболее распространенные теории мирового исторического развития — «вечного исторического круговращения» и «вечного исторического прогресса», солидаризируясь с приверженцами последней: «Прошедшее в истории человечества есть только постепенное поднятие его на новую высоту... Прошедшее никогда не повторяется; человек должен в каждую эпоху жить своим умом, открывать новые средства против нового зла; а следовательно, изучать непрерывно две великие природы — природу внешнего мира и природу собственного духа: в них заключены секреты настоящего и будущего». Возражая противникам идеи закономерности развития человеческого общества, Стасюлевич замечал: «Над нашей головой висит и под нашими ногами копошится множество случаев, но мы, тем не менее, продолжаем строить дома и жить в них, имея уверенность, что сумма уже изведанных нами законов природы достаточна, чтобы не бояться случаев... Теории наук суть такие же жилища нашего духа, как дом служит убежищем для тела; быть может, эти теории шатки, но шатки и наши дома; а между тем нельзя перестать их строить...»

Стасюлевич впоследствии признавал, что работа над этой книгой по философии истории послужила «введением» к его обширной редакторско-издательской деятельности, начавшейся в середине 1860-х годов и имевшей наиболее яркое общественное звучание в 1870–1890-х годах.

Решение Стасюлевича сосредоточить свои усилия именно на этом поприще объяснялось просто. Дело в том, что в середине 1860-х годов в России еще не было по сути никакой политической жизни. Общественная же самодеятельность, которая крохотными дозами отпускалась привыкшим к самовластию правительством, была крайне ограничена и распространялась в основном на вопросы местной жизни. Простор для инициативы был открыт лишь в одной области — печати, особенно после закона 6 апреля 1865 года, отменившего для столичных периодических изданий предварительную цензуру. Печатное слово стало для Стасюлевича до конца его дней важнейшим средством в борьбе за преобразование Отечества. Много сил и энергии было отдано им делу защиты свободы печати в России не только на страницах журнала «Вестник Европы», но и в разных комиссиях и совещаниях по данному вопросу.

Либеральное движение в России во второй половине XIX — начале XX века во многом опиралось на издательский комплекс Стасюлевича, который включал в себя наряду с журналом «Вестник Европы» типографию (с 1872 года) — одно из крупнейших полиграфических предприятий дореволюционной России; книгоиздательское дело; книготорговое предприятие, занимавшееся распространением художественной, общественно-политической, научной и учебной литературы.

Современники отмечали первостепенное значение для Стасюлевича идейной стороны издательского дела (проповедь «идей свободы и европеизма»). По свидетельству одной из сотрудниц редакции «Вестника Европы», проработавшей там около двадцати пяти лет, «дух наживы и все нераздельные с ним методы и приемы были совершенно чужды характеру Стасюлевича. Он тяготился „коммерцией“, мирился с нею

как с неизбежным злом и в ущерб личной выгоде ставил ему пределы, покоряясь неизбежной необходимости быть „хозяином“ и „купцом“. Торговать-то торговать, да как бы честь не потерять! — говорил он в ответ на всевозможные старания вовлечь его в ту или другую предпринимательскую спекуляцию ради больших барышей...».

Несмотря на строгие самоограничения, издательский комплекс Стасюлевича стал одним из наиболее процветающих и долговечных предприятий подобного рода в дореволюционной России. Хорошо знавшие Стасюлевича люди объясняли этот успех прежде всего его исключительным организаторским талантом, а также выдающимися нравственными качествами. Но, как представляется, не только природные задатки Стасюлевича сыграли здесь решающую роль. По сути, история его жизни и общественного служения — это сознательно поставленный им самим эксперимент по «вживлению» в ткань российской действительности новой политической культуры.

Личные качества Стасюлевича — концентрированное выражение особых «родовых» признаков целой когорты российских либералов-центристов второй половины XIX — начала XX века. Это прежде всего патриотизм, ярко выраженная гражданская позиция (обостренное чувство сопричастности к судьбе Родины), «вера в право и способность своего народа на лучшее будущее». Отличительной чертой этих людей были также поразительная сила духа и характера (умение «стоять на бреши» или «держат удар», как принято выражаться сегодня), «неизлечимый оптимизм», гуманизм. Абсолютно неприемлемо для них было насилие в любой форме, в том числе «закрепощение» личности с сопутствующими этому, как правило, фанатизмом и нетерпимостью. Всеми доступными им средствами они отстаивали право человека на свободу критического осмысления окружающей действительности.

Несмотря на многие тревоги и огорчения, сопутствовавшие общественной деятельности Стасюлевича, внешне он всегда выглядел ровным и спокойным. Его наружная сдержанность порой производила на некоторых впечатление душевной сухости. «А между тем, — как замечал А. Ф. Кони, — этот холодно корректный и „застегнутый на все пуговицы“ человек, строго аккуратный и вечно занятый, преображался весь... когда перед ним возникала действительная потребность в помощи, сочувствии, добром слове, а нередко и добром деле, которое он умел делать так, что оно было слышно и видно лишь для того, кого оно касалось».

Характерный пример стиля Стасюлевича-предпринимателя и общественного деятеля, «фирменным знаком» которого всегда являлись безусловная порядочность, обращение не к чувствам, а к разуму, европеизм мышления, — это постановка дела в его типографии, славившейся своими порядками уже в 1880-х годах. По воспоминаниям одной из работниц, «первое впечатление при входе туда было такое, как будто вы переехали из Белоострова на первый полустанок Финляндии. Только что опустилась за Вами рогатка — и все уже другое: и дороги, и люди, и постройки, и даже самый воздух — все чище, свежее, бодрее и основательнее... Вокруг все как будто люди свободные, и себя чувствуешь как-то вольнее... Вместо несправедливых обчетов, штрафов и вычетов, вместо грубой брани и даже жестоких побоев здесь при всякой серьезной провинности обращались к „верховой инстанции“, в „кассационный департамент“, как любил шутя называть себя Михаил Матвеевич. И „кассационный департамент“, внимательно разобрав, в чем дело, постановлял неизменно одно и то же решение: простить, и если еще раз повторится — попросить нас оставить; можете идти в другую типографию». Так же шутя Михаил Матвеевич называл хозяйство свое (книжный склад и типографию) «монархическим государством: не деспотическим, но ограниченным установленными порядками». И нарушения этих порядков не допускал не только для посторонних, но и для самого себя прежде всех. «Джентльмен-хозяин» — называли его за деликатность обращения.

Своеобразие деятельности Стасюлевича состояло в том, что он был не только издателем, но и редактором всех своих изданий. Крупная издательская акция Стасюлевича, имевшая широкий общественный резонанс, — создание «Русской библиотеки», преследовавшей прежде всего просветительские цели (издание доступных по цене для широкой читательской аудитории «однотомников» избранных произведений выдающихся русских поэтов и прозаиков XIX века). Первый том серии, включавший сочинения Пушкина, стал первым же общедоступным изданием поэта (1874). В «Русской библиотеке» Стасюлевича вышли произведения Лермонтова, Гоголя, Жуковского, Грибоедова, Некрасова, Салтыкова-Щедрина.

Основное направление деятельности типографии Стасюлевича — издание научной и научно-популярной литературы. В начале XX века его издательство осуществило выпуск серии учебников по истории России и стран Западной Европы, издавало труды виднейших идеологов либерализма, а также представителей других течений общественной мысли. Всего в типографии Стасюлевича было отпечатано около 4000 наименований книг.

Однако главная заслуга Стасюлевича перед русским обществом и главная причина его широкой известности связаны с многолетней деятельностью на посту руководителя «Вестника Европы» — крупнейшего и старейшего либерального журнала в России. «Вестник Европы», выходящий в Петербурге с 1866 по 1918 год, стал центром издательского комплекса Стасюлевича, а сам он являлся бессменным редактором-издателем журнала вплоть до 1908 года включительно. Без преувеличения «Вестник Европы», которому, по словам друга и единомышленника Стасюлевича известного русского экономиста А. И. Чупрова, «принадлежит честь политического воспитания нескольких поколений русской интеллигенции», стал главным делом жизни Стасюлевича, его «гражданским подвигом». Приведем лишь один из отзывов современников по этому поводу: «Журнал... заменил ему университетскую кафедру, потому что перед ним стояла уже не тесная аудитория молодых слушателей, а вся образованная Россия, которая сама задыхалась в тисках безгласности и бездеятельности и жадно ловила всякое освежающее слово... Журнал заменил ему науку, потому что страницы его были всегда открыты для научных работ, которые в периодическом ежемесячном издании имели то преимущество, что были свежи и злободневны, приобретая характер общедоступности и непосредственного влияния на многих, а не на избранных. Наконец, журнал возместил ему и службу, общественную и государственную, являясь могучим и неотразимым орудием воздействия на общество и правительство, возбуждая в первом инициативу и энергию и направляя второе в смысле наилучше понятых интересов и наибольшего достижения общего блага».

У истоков «Вестника Европы» стояли также известный историк Н. И. Костомаров и П. А. Плетнев — один из старейших профессоров Петербургского университета, литератор, издатель «Современника», друг А. С. Пушкина. С ходатайством о новом журнале перед министром внутренних дел Валуевым выступил поэт Ф. И. Тютчев, в ту пору член Совета Главного управления по делам печати и председатель Петербургского комитета иностранной цензуры.

Костяк редакторского круга «Вестника Европы» с самого начала составила пятерка профессоров, вместе со Стасюлевичем покинувших Петербургский университет в 1861 году. Однако очень быстро к этому небольшому кружку «рыцарей круглого стола» (шутливое выражение К. Д. Кавелина), еженедельно собиравшихся в неформальной обстановке в гостеприимном доме Стасюлевича, стали присоединяться новые силы. Уже с первого года издания журнала на его страницах появляется имя С. М. Соловьева, не сходившее с них до самой смерти знаменитого историка. С 1869 году в «Вестник Европы» поступало почти все, выходящее из-под пера И. С. Тургенева, ко-

торый, кстати, выступал в роли не только автора журнала, но и активного члена редакции, много сделавшего, в частности, для привлечения к сотрудничеству в «Вестнике Европы» иностранных корреспондентов (например, Э. Золя). Такое взаимодействие с зарубежными публицистами в 1860-х годах было новаторством для русской прессы.

Одновременно с Тургеневым пришел в журнал А. К. Толстой. Крупным событием русской литературно-общественной жизни стала публикация в 1872 году в «Вестнике Европы» романа И. А. Гончарова «Обрыв». Творческое сотрудничество писателя с журналом также переросло в глубокую личную привязанность Гончарова к коллективу «Вестника Европы» и его редактору. Не случайно Гончаров назначил Стасюлевича своим душеприказчиком.

Со временем круг ближайших сотрудников журнала расширялся. В разное время в него входили многие другие известные литераторы, публицисты, ученые, общественные деятели. Среди них — В. С. Соловьев, А. Ф. Кони, В. А. Гольцев, А. А. Головачев, П. В. Анненков, Д. Н. Овсянко-Куликовский, М. М. Ковалевский, А. С. Посников, Н. А. Котляревский, М. О. Гершензон, А. А. Мануилов, К. И. Тимирязев и многие другие.

Однако «лицо» журнала Стасюлевича определяли прежде всего ведущие ежемесячных обзоров внутренней и зарубежной жизни — Л. З. Слонимский (впоследствии главный редактор первой в России «Политической энциклопедии», издававшейся в Петербурге с 1906 года), Л. А. Полонский, В. Д. Кузьмин-Караваев и другие. Без преувеличения «звездой первой величины» среди авторов этих наиболее злободневных публикаций в «Вестнике Европы» был К. К. Арсеньев, постоянный сотрудник журнала на протяжении всей его истории, наряду со Стасюлевичем один из патриархов русского либерализма, во многом определявший направление издания. В 1880–1912 годах Арсеньев — автор раздела «Внутреннее обозрение», в 1882–1905 годах — ведущий «Общественной хроники». «„Обозрения“ К. К. Арсеньева представляют собой летопись русской жизни за ряд десятилетий, какую никто еще так не вел в нашей публицистике», — замечал в 1908 году П. Д. Боборыкин, популярный русский беллетрист, также тесно связанный с «Вестником Европы».

При всей самостоятельной значимости многих авторов журнала, разнообразии их темпераментов и частных взглядов объединял этих людей в общем направлении и задавал тон всему изданию один человек — Стасюлевич, делая это со свойственным ему «спокойным радушием и участливым пониманием, чуждым фамильярности, но проникнутым тою внимательностью, за которою чувствуется стыдливое во внешних проявлениях, но чуткое сердце».

О «гениальной простоте» механизма ведения «Вестника Европы» вспоминал один из старейших сотрудников журнала — Л. З. Слонимский: «Редакция такого большого периодического издания... помещалась в небольшом личном кабинете Стасюлевича... Ничто не решалось и не делалось без его санкции, и многое делал он лично, не желая затруднять своих помощников. Он выслушивал их мнения, но исполнял то, что считал нужным; в делах журнала он стоял за принцип единовластия и не признавал конституции. Он, несомненно, имел нравственное право действовать таким образом, и ближайшие сотрудники считали это вполне естественным с его стороны... Как превосходный организатор, он легко и просто достигал таких результатов, которые другим казались бы совершенно недоступными и неосуществимыми... Ни одна частица дня не пропадала у него напрасно; в течение многих лет он ежедневно сам читал корректуру журнала, просматривал рукописи и поддерживал обширную переписку...»

Само название журнала Стасюлевича свидетельствовало не только о его близости к западническим течениям общественной мысли, но и символизировало преемственность нового издания от «Вестника Европы», основанного Н. М. Карамзиным в 1802 году и послужившего образцом для всех последующих русских «толстых» жур-

налов. Основными положениями программы нового журнала стали: всесторонняя европеизация России, трансформация самодержавия в конституционную монархию, защита и пропаганда курса реформ 1860-х годов, объединение сторонников либерального пути развития России, чуждых крайностей революционно-демократического и консервативно-охранительского течений общественной мысли. Лейтмотив публицистики «Вестника Европы»: России требуется «второе 19 февраля» с тем, чтобы догнать Запад, однако без повторения кровавого опыта европейских революций... И впоследствии, в те «пестрые и изменчивые годы», какие пережила страна с 1866 года (когда, по словам одного из современников Стасюлевича, «у нас на Руси сменилось три поколения, а сколько перемен во взглядах, направлениях, системах, теориях — и не перечесть!»), журнал ни разу не изменил своим убеждениям.

К середине 1860-х годов «партия центристов» имела уже глубокие корни в русском обществе. Идеи редакции «Вестника Европы» разделяли многие земские и городские деятели, представители интеллигенции, а также либеральной бюрократии. Усилия Стасюлевича и его соратников по формированию общественного мнения, их стремление оказывать влияние на политику правительства, высоко оценивали сторонники реформ в самых верхних эшелонах власти. В 1860–1870-х годах — это высшее чиновничество, группировавшееся вокруг великого князя Константина Николаевича (Н. И. Милютин, А. В. Головин, М. Х. Рейтерн, Н. Х. Бунге, Д. М. Сольский и другие). К этой же когорте «органов и носителей духа великой эпохи» реформ Александра II принадлежали и сам Стасюлевич, и его ближайшие друзья и сотрудники — К. Д. Кавелин, В. А. Арцимович, В. Д. Спасович, К. К. Арсеньев. В начале 1880-х годов общие представления и заботы о благе России связывали редакторский круг «Вестника Европы» с графом М. Т. Лорис-Меликовым, Н. С. Абазой, в начале XX века — С. Ю. Витте и другими.

«Вестник Европы» Стасюлевича, попав в резонанс с настроениями образованного русского общества в пореформенный период и в течение более трех десятилетий оставаясь единственным изданием подобного рода, не случайно стал одним из самых читаемых и долговечных изданий в истории российской прессы. В 1866–1873 годах его тираж вырос с 2500 экземпляров до 8200. В конце 1870-х — начале 1880-х годов «Вестник Европы» по числу подписчиков среди «толстых» журналов занимал третье место, уступая лишь «Отечественным запискам» и «Делу». Заметим, что основная читательская аудитория «Вестника Европы» — это жители Петербурга, Москвы, Херсонской, Киевской, Харьковской, Полтавской губерний. Лишь в начале XX века, в обстановке накала общественных страстей, читательский интерес к прессе умеренно прогрессивного направления, олицетворением которого являлся «Вестник Европы», заметно снизился (1906 год — 5291 экземпляр, к 1908 году — около 4000).

Государственное и общенациональное значение имела постановка на страницах «Вестника Европы» вопроса о выборе пути России. Журнал Стасюлевича открыл возможность для выработки либеральных концепций политического и экономического развития страны. На рубеже 1870–1880-х годов на страницах этого издания были провозглашены основные принципы либеральной оппозиции — платформа для трансформации самодержавия в правовое государство. Главную причину усиления радикальных настроений в обществе Стасюлевич и его единомышленники видели в недостаточном развитии социально-экономической и политической жизни России, отсутствии в стране легальных форм гражданской жизни. По мнению либералов, борьба с революционным террором не должна ограничиваться правительственными репрессиями. Прежде всего верховная власть должна стремиться к изменению общественных и политических условий, породивших крайние течения.

Красной нитью в публицистике «Вестника Европы» проходила мысль о том, что единственное спасение от распространения радикальных идей — это безотлагатель-

ное решение аграрно-крестьянского вопроса, преобразование судебной системы, забота о народном просвещении, гласность, расширение самодеятельности общества в лице земского и городского самоуправления. Прибегая в условиях усиления реакции к эзопову языку, авторы журнала Стасюлевича взяли также под свое покровительство и защиту идею введения в России конституции и созыва органа народного представительства, наделенного законосовещательными правами.

Краткий период надежд русских либералов на то, что верховная власть пойдет по тому пути, который они предлагали, был связан с приходом к власти в феврале 1880 года М. Т. Лорис-Меликова. Он возглавил тогда Верховную распорядительную комиссию по охране государственного порядка и общественного спокойствия, а в ноябре 1880 года был назначен министром внутренних дел. «Вестник Европы» поддерживал либерализацию правительственного курса, неизменно проводя на своих страницах мысль о том, что главная задача правительства — создавать «такие учреждения, которые благоприятствовали бы развитию хороших сторон человеческой природы, не давали пищи ее дурным инстинктам, поднимали умственный и нравственный уровень народа».

Пока Лорис-Меликов был влиятельной фигурой в политике, Стасюлевичу удалось осуществить свой давний замысел. Для того чтобы сделать связь журнала с читателями более мобильной, а также с целью усиления своего влияния на общество, редакция «Вестника Европы», воспользовавшись некоторой «оттепелью» в правительственной политике, добилась разрешения на издание начиная с января 1881 года еженедельной газеты «Порядок» тиражом в 5000 экземпляров. Кстати, первоначальное название — «Правовой порядок», воплотившее главное требование русских либералов, все-таки не было разрешено властями. Стасюлевич как редактор-издатель газеты видел ее главную задачу в обсуждении общественных вопросов «с точки зрения права и нравственного долга»: «Нет порядка без ясного и свободно сложившегося сознания каждым своих прав и своего долга...»

В марте 1880 года при содействии Стасюлевича Лорис-Меликову была передана «Записка о внутреннем состоянии России», авторами которой являлись руководители московской либеральной оппозиции С. А. Муромцев, В. Ю. Скалон, А. И. Чупров. Взгляды идеологов либеральной общественности, несомненно, оказали влияние на программу изменений в государственном устройстве (так называемую «конституцию Лорис-Меликова»), представленную министром внутренних дел в январе 1881 года Александру II. В этой программе предполагалось развитие местного самоуправления и привлечение представителей земств и городов (с совещательным голосом) к обсуждению общегосударственных вопросов. Программа была одобрена императором, однако после его убийства народолюбцами 1 марта 1881 года — отвергнута, а сам Лорис-Меликов отправлен в отставку...

Надеждам русских либералов на близкое установление в России конституционных порядков тогда так и не суждено было сбыться. «Катастрофу первого марта» Стасюлевич и его ближайшие сподвижники пережили как личную трагедию. Однако опустить руки они не собирались...

Реакцией Стасюлевича на контрреформы Александра III стала, в частности, его брошюра «Черный передел реформ императора Александра II». К написанию брошюры редактора «Вестника Европы» побудило назначение графа Д. А. Толстого министром внутренних дел. Стасюлевич, понимая невозможность открытой борьбы с этим человеком в пределах России и вместе с тем сознавая, что она необходима, не видел иного способа такой борьбы, как с помощью иностранного печатного станка за пределами Отечества. Брошюра была издана анонимно в Берлине в 1882 году и имела широкий общественный резонанс в России.

Критикуя «торжествующую партию черного передела реформ» в лице К. П. Победоносцева, Д. А. Толстого, Н. П. Игнатьева, М. Н. Каткова и других, Стасюлевич выступил с обличением «той черной партии, которая у нас всегда эксплуатировала Верховную власть в свою пользу», превращая российскую государственную систему в «колосса с глиняными ногами», лишая внутреннюю политику логической и исторической последовательности. Отсюда неутешительные выводы Стасюлевича... «Верховная власть в России... окружена страшными атрибутами могущества, а в действительности не может сравниться с властью даже какого-нибудь станового пристава... В России все могут быть властны, кроме Верховной власти, несмотря на громкие ее атрибуты самодержавия и неограниченности...» По мнению редактора «Вестника Европы», этой «черной партии... всегда было нужно, чтобы она оставалась самодержавною и неограниченною, так как будь она ограничена хотя законом, ее уже нельзя было бы тогда ограничить этою партией; неограниченное самодержавие в руках этой партии есть то же самое, что всемогущество Юпитера в руках жрецов; жрецы всегда объявят атеистом всякого, кто усомнится во всемогуществе Божиим не потому, что такое сомнение оскорбительно для божества, а потому, что в практике жизни это всемогущество Божие есть не что иное, как их собственное всемогущество, и жертва, которую вы приносите боже-ству, это их доход, а не божества; но попробуйте не приносить жертв — они станут жаловаться вовсе не на убыток, который они терпят от вас, а на ваше безбожие и вредный либерализм, посягающий на величие Божие (читай: их личные выгоды)».

Взгляд современного читателя брошюры непременно задержится и на следующих наблюдениях Стасюлевичем российской действительности: «В России нельзя быть государственным человеком в общеевропейском смысле этого слова... а потому у нас ничего не остается, как быть... государственным актером и только казаться государственным человеком»; «У нас привыкли ожидать всего от личных перемен... Между тем корень добра и зла заключается всегда в системе... Меняя министров, мы похожи на больного, который перемещает врачей, но не хочет изменить своей диеты...»

«Не помню, кто именно сказал, что есть архитекторы, которые думают, что надо заложить камнями трубы, чтобы печи перестали дымить, а когда дым идет назад, они сердятся и неспособны догадаться, что всему виною их невежество. Это невежество ползет теперь со всех сторон» — так Стасюлевич характеризовал внутреннюю политику Александра III и Николая II. И, как всегда, не довольствуясь критикой правительства «на словах», Стасюлевич взваливает на свои плечи (наряду с «Вестником Европы») еще и обязанности члена общественного самоуправления Петербурга. С головой уйдя в эту новую для себя сферу деятельности, он на протяжении многих лет прилагал немалые усилия для укоренения на российской почве новой модели взаимоотношений власти и общества.

В 1881–1909 годах он гласный Петербургской городской думы. С первых же шагов на этом поприще пятидесятипятилетний Стасюлевич — зрелый, умудренный не только знаниями, но и житейской опытностью человек — проявил столько энергии, знания и таланта, интереса и любви к городскому благоустройству, что уже два года спустя, в 1883 году, Дума избрала его товарищем городского головы. Однако кандидатура Стасюлевича так и не была утверждена из-за противодействия министра внутренних дел Толстого, давнего недоброжелателя Стасюлевича...

Не обескураженный этой неудачей, Стасюлевич продолжал с неизменной энергией работать в самых разнообразных отраслях обширного столичного хозяйства, уделяя особое внимание вопросам, затрагивающим наиболее важные жизненные интересы населения. «На заседаниях городской думы своими спокойными, деловыми, всегда серьезно обоснованными речами он способствовал правильному разрешению вносимых на обсуждение думы вопросов», — вспоминал один из его сотрудников. За время

тридцатилетнего пребывания в составе гласных Стасюлевич всегда находился в рядах прогрессивного меньшинства. Вместе с тем отношение к нему преобладающего большинства держателей муниципальной власти долгое время оставалось неизменно корректным. Это объяснялось не только авторитетом Стасюлевича в обществе и административных сферах, но и являлось свидетельством признания его поистине выдающихся организаторских способностей.

Один из ярких эпизодов деятельности Стасюлевича на благо города — «водопроводный подвиг», совершенный им на посту председателя исполнительной комиссии по надзору за водоснабжением и получивший широкий общественный резонанс в 1889 году. Суть судебной тяжбы, затеянной по инициативе Стасюлевича городским управлением с акционерным обществом водопроводов, состояла в том, чтобы обязать это общество установить новые фильтры для невской воды, потребляемой городом. Несмотря на то что интересы водопроводного общества в судебных инстанциях защищали такие блестящие адвокаты, как П. А. Потехин и В. Д. Спасович (последний, кстати, являлся близким другом Стасюлевича), успех был на стороне Стасюлевича и городской думы.

Однако важнейшей составляющей его общественного служения на протяжении многих лет, в том числе как деятеля городского самоуправления, была работа по организации народного образования. Необходимым условием мирного прогрессивного развития России он считал устранение «громоздкой разницы» между российской и западноевропейской образованностью: «В то время как на Западе образованность является опирающейся на широкое базисе народного просвещения, у нас она представляет... базис в обширной пустыне народного невежества, светлое, даже яркое пятно на темном его фоне...»

«Общественные силы слабы без известного капитала знания и образованности» — убежденность в этом определяла плодотворную работу Стасюлевича в качестве организатора народного образования. Наиболее яркой страницей его деятельности на данном поприще стала проведенная по его инициативе коренная реорганизация школьного дела в Петербурге.

С 1884 года Стасюлевич состоял членом Петербургской городской комиссии по народному образованию, а в 1890–1900 годах избирался ее председателем. Именно в этот период в Петербурге была заметно расширена сеть начальных училищ, а в 1899 году открыто первое городское четырехклассное училище. «По окончании постройки он целые дни проводил за устройством училища: каждый гвоздь вбит там по его указанию, каждая вещь приобретена или сделана не иначе как по его выбору и одобрению», — вспоминал один из ближайших помощников Стасюлевича в этом деле. Он же так описывал реакцию Стасюлевича на недовольствие некоего высокопоставленного в администрации лица по случаю постройки «чуть не дворца для кухаркиных детей»: «На это М. М. отвечал: „Мы следуем вашему примеру: вы строите Божьи храмы по преимуществу для кухаркиных детей, а мы для них же — храмы начального обучения“...» Стасюлевич постоянно жертвовал значительное количество книг и журналов центральной городской библиотеке для учащихся, которая также находилась в его ведении. Характерно еще одно свидетельство современника о Стасюлевиче в те годы: «Ни одна сторона детской школьной жизни не оставалась без его внимания: М. М. устраивал завтраки для детей, хлопотал о снабжении их теплою одеждою, заботился об устройстве детских праздников и елок, об учреждении детских летних санитарных и лечебных колоний. Он пользовался каждым подходящим событием, чтобы устроить детский праздник, или выхлопотать новые стипендии, или открыть сверх сметы новые училища, читальни и тому подобное... Он изумлял всех своею работоспособностью... Редкий такт, идеальная честность и безусловная скромность — таковы были отличительные черты Стасюлевича».

В 1900 году вследствие разногласий с новым городским головой, стремившимся везде и всюду заменять систему коллегиального решения дел единоличным управлением, Стасюлевич сложил с себя звание председателя училищной комиссии. Тем не менее и впоследствии, на протяжении более десяти лет, он продолжал заниматься училищными делами с той же любовью, как и прежде (на правах утвержденного попечителя). В знак признания заслуг Стасюлевича перед родным городом несколькими столичными учебными заведениям было присвоено его имя, в честь его неоднократно учреждались стипендии для лучших учеников. В 1909 году, по случаю двадцатипятилетия деятельности Стасюлевича в комиссии по народному образованию, городская дума поднесла ему звание почетного гражданина города Петербурга.

«Россия, можно подумать, хочет покончить свою историю самоубийством!.. Мы утратили инстинкт самосохранения...» — таков один из отзывов Стасюлевича на события революции 1905–1907 годов. Однако его журнал продолжал выступать «за всякий прогресс, но легальный, за всякую эволюцию, но не за революцию, за установление порядка по соглашению всех партий на арене парламента без кровопролития и убийств».

В период первой русской революции концепция переустройства России, предложенная Стасюлевичем и его единомышленниками на страницах «Вестника Европы», нашла отражение в программе Партии демократических реформ, опубликованной во втором номере «Вестника Европы» за 1906 год. Учредителями партии стали члены редакции журнала: Стасюлевич, К. К. Арсеньев, В. Д. Кузьмин-Караваев, видные экономисты А. С. Посников, И. И. Иванюков, известный адвокат Д. В. Стасов, профессора Петербургского политехнического института К. П. Боклевский, А. Г. Гусаков, И. И. Иванюков, А. П. Македонский, Н. А. Меншуткин, М. И. Носач. Наряду с «Вестником Европы» проводником взглядов партии являлась газета «Страна» (редакторы — М. М. Ковалевский и И. И. Иванюков).

Государственное устройство России определялось в программе партии как наследственная конституционная монархия. Предусматривалось осуществление принципа разделения властей, созыв двухпалатного парламента, главная роль в котором отводилась нижней палате — Государственной думе. Как неотъемлемая часть нового государственно-правового порядка рассматривалась политическая ответственность правительства перед Думой. Важнейшей функцией Государственного совета признавалась выработка национальной политики России с правом предоставления отдельным народам культурно-национальной автономии в рамках единого государства. Партия выступала также за значительное расширение полномочий местного самоуправления, распространение его на все губернии России, создание волостного земства. Земство должно было стать центральным звеном системы народного представительства, основанной на принципе «для народа, через народ». Обеспечение гарантий гражданских и политических прав и свобод населения предусматривало преобразование системы судопроизводства на основе принципов судебной реформы 1864 года. Программа реформ в сфере народного образования включала: создание условий для введения всеобщего, бесплатного и обязательного обучения, предоставление простора инициативе частных лиц и общественных учреждений в организации учебных заведений и внешкольного образования и так далее. Партия считала одной из основных задач государственной политики ограничение крайностей имущественного неравенства, создание условий для обеспечения «возможно большему числу лиц доступ к земле и заработок, достаточный для покрытия издержек существования».

Приверженность партии мирному, эволюционному пути развития России в тесной связи с многовековым опытом становления ее государственности, экономики, культуры находила отклик в среде интеллигенции, торгово-промышленной буржуа-

зии, казачества, помещиков, крестьян. Ее программа оказала влияние на формирование программ других политических партий центристской ориентации (Конституционно-демократической партии, Партии мирного обновления, Партии прогрессистов и других).

Уже с конца 1890-х годов Стасюлевич стал терять зрение. В конце 1908 года в возрасте восьмидесяти трех лет он, «вследствие слабости здоровья и значительного утомления», передал «Вестник Европы» в надежные руки своих давних единомышленников — М. М. Ковалевского и К. К. Арсеньева. Новая редакция полностью сохранила прежний курс «Вестника Европы».

Последний номер «Вестника Европы» вышел в начале 1918 года. В рубрике «Хроника. На темы дня» Арсеньев осуждал роспуск Учредительного собрания, предупреждал об опасности гражданской войны. Журнал оценивал Брестский мир как «катастрофу для русской государственности и для русского народного хозяйства», называл «идеологами разрушения» Ленина, Троцкого, Зиновьева. Основная идея материалов последнего номера «Вестника Европы»: «Русский большевизм показал миру всю красоту социалистического рая...» Вскоре журнал был закрыт как «контрреволюционное издание».

Стасюлевич не дожид до этого события... Он умер 21 января 1911 года у себя дома, в Петербурге. А. Ф. Кони писал о последних месяцах жизни своего друга: «Он был по-прежнему отзывчив на все вопросы общественного значения и не допускал в своих взглядах на жизнь и на людей тех слабых уступок, за которыми чувствуется нравственная небрежность... До последнего своего дыхания это был человек живой, а не „уволненный в отпуск труп“, как называл Бисмарк переживших себя стариков».

Похоронен Стасюлевич в Петербурге, на Васильевском острове, в приделе церкви «Утоли Моя Печали» на Смоленском кладбище.

ВАСИЛИЙ ОСИПОВИЧ КЛЮЧЕВСКИЙ:
*«Цари со временем переведутся:
это мамонты, которые могут жить лишь
в допотопное время...»*

ДМИТРИЙ ОЛЕЙНИКОВ

Василий Осипович Ключевский (1841–1911) сыграл в истории русского либерализма особую роль. Он не только выработал ту концепцию русской истории, которая в основных чертах стала важной составляющей отечественного либерального мировоззрения, но и оказал влияние на развитие многих либеральных деятелей, бывших его учениками (П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. А. Маклаков, А. А. Кизеветтер и другие). Как замечал Г. П. Федотов: «Это не одна из многих, а единственная Русская История, на которой воспитаны два поколения русских людей. Специалисты могут делать свои возражения. Для всех нас Россия в ее истории дана такой, какой она привиделась Ключевскому».

Родись Василий Ключевский хотя бы десятилетием раньше — не в 1841-м, а, например, в 1831 году — его судьба была бы предрешена уже в детстве. Сын священника, рано оставшийся без отца, мог пойти только по своей сословной дорожке: Пензенское духовное училище, семинария, провинциальный приход... Тем более что скромная стипендия семинариста — важное подспорье в тощем бюджете осиротевшей семьи (мать, две младших сестры). Но время взросления Василия пришлось на эпоху оттепели и гласности — во второй половине 1850-х годов была нарушена даже «вековая тишина» российской глубинки. Вечерами, вырвавшись из плена семинарских догматов, Ключевский зачитывался журналами «Отечественные записки» и «Современник», историческими сочинениями Соловьева и Костомарова. От этих работ веяло «новым духом, который проникал тогда во все отношения, в самые сокровенные углы русской жизни». Эти работы отрывали от вялотекущей повседневности и звали в Москву, туда, где сиял сказочный чертог науки и просвещения — университет.

В те самые весенние дни 1861 года, когда по деревням читался императорский указ об освобождении крепостных крестьян, Василий Ключевский в последний раз переступил порог семинарии: он получил желанное свидетельство об увольнении, чтобы отправиться в Москву... «Вечная память тебе, патриархальная незабвенная школа. Ты больше поучала, чем учила». Больше в Пензу Ключевский не возвращался никогда...

В августе 1861 года Василий Ключевский стал студентом историко-филологического факультета Московского университета. Это был год бурных студенческих волнений. Однокурсники читают «рьяные раздражительные» прокламации, кричат «пусть закроют наш университет», как закрыли за беспорядки Петербургский и Киевский! «Как легко сказать это! — возмущается Ключевский. — А думал ли кто, что все эти крики не стоили одного слова лекции Буслаева или кого другого...»

Вначале Ключевский довольно тесно общался с «молодыми штурманами будущей бури» — земляками-пензенцами из кружка ишутинцев. Сохранилась легенда: глава радикального кружка Ишутин, узнав о попытке товарищей втянуть Ключевского в тайную организацию, сам «отпустил» земляка в науку. Этот «волосатый силач в крас-

ной рубахе, ходивший как истый студент-нигилист 60-х годов, с огромной палкой-дубинкой», положил мощную длань на жиденькое плечо Василия Осиповича и твердо заявил: «Вы его оставьте. У него другая дорога. Он будет ученым».

Молодому Ключевскому хотелось участвовать в общественной жизни, но не так и не в такой. Он уговорил себя «безотчетно и безраздельно отдаться науке, сделаться записным жрецом ее, закрыв уши и глаза от остального, окружающего, но только на время». В желании студента Московского университета проявилось не стремление отгородиться наукой от действительности, но осознание недостатка сил, знаний и опыта для деятельности по преобразованию России. Ключевский приходит к выводу, что слово тоже дело. Он находит целую категорию людей «мысли и знаний», которые «принялись за свое слово, как за жизненное дело, как за святое верование, как исповедники первых веков христианства». Да, у них дело ограничивается словом, но «это слово — жизнь, оно бросает в энергетическое одушевление и дает силы и средства к делу».

Необходимость зарабатывать на жизнь репетиторством приводит Ключевского в дом известного земского деятеля князя С. М. Волконского. Здесь он часто встречается и общается с мировыми посредниками, теми, чьими руками проводится в жизнь крестьянская реформа, «слушает о крестьянских делах», убеждается, что образ «незаметного деятеля» имеет в пореформенной России немало реальных воплощений. В размышлениях о типах «житейских борцов» Ключевский иронически отзывается о «любителях борьбы», для которых обязательны «энергические жесты, размахивание руками, высокие ноты в голосе и так далее». С гораздо большей симпатией он говорит о тех, кто ведет «бесславную, бесшумную, никого не беспокоящую борьбу на заднем дворе человечества», о «гномах», добывающих драгоценные металлы для живущих на поверхности людей. Они незаметны для наблюдателей и даже боятся любопытных глаз, «но горько почувствовало бы человечество их отсутствие, если бы на минуту прекратили они свою подземную, незримую и неслышную работу для человечества».

«В жизни ученого и писателя главные биографические факты — книги, важнейшие события — мысли». Этот афоризм Ключевского, включенный в статью о С. М. Соловьеве, автобиографичен. Начальной ступенью жизни Ключевского как ученого и писателя стала монография «Сказания иностранцев о Московском государстве XVII века», впервые опубликованная в 1866 году.

По книге видно, что Ключевский — западник, но западник не в ругательном значении «низкопоклонства» и нелюбви к отечеству. Для него западничество — традиция московских профессоров, начатая историком Т. Н. Грановским и продолженная юристами К. Д. Кавелиным и особенно повлиявшим на Ключевского Б. Н. Чичериным. В их представлении Россия с запозданием развивается тем же путем, что и остальная Европа, и поэтому Запад может служить ориентиром будущего развития России. Его опыт может и помочь, и предостеречь. «Сказания» иностранцев в интерпретации Ключевского показывают, как на протяжении веков происходит постепенное сближение Европы и России, как растет понимание Московии европейцами.

Благодаря «Сказаниям» Ключевский получает аттестат о первой ученой степени кандидата. Он оставлен при университете для подготовки к профессорскому званию. Все, что нужно, — сдать три профильных экзамена, написать магистерскую диссертацию и при этом уложиться в два года.

В два года Ключевский не уложился. Его новая работа «Жития святых как исторический источник» потребовала шести лет. День защиты — 26 января 1872 года — стал днем окончательного научного «крещения» Ключевского. На защиту пришли не только студенты и профессора университета, но и чиновники, офицеры, коммерсанты

и «особенное множество дам». Защита стала событием в интеллектуальной жизни Москвы. Интересно, что на защиту пришли раскольники — ведь Ключевский разбирал жития святых дониконовской эпохи.

Защита диссертации изменила положение Ключевского в научном мире и принесла материальный достаток. Став магистром, он получил возможность преподавать хоть пока и не в университете, но сразу в трех высших учебных заведениях Москвы, каждое из которых в своей отрасли было лучшим: в Александровском военном училище, в Духовной академии и на Московских высших женских курсах Герье. Именно здесь Ключевский начал чтение своего систематического «Курса русской истории». Позже многие из почитателей Ключевского с удивлением узнавали, что «Курс русской истории» Ключевского, с которым они знакомились в XX веке, сложился в целом уже в начале 1870-х годов.

На достижение высшей степени профессионализма у Ключевского ушло двадцатилетие, почти вся эпоха Великих реформ: поступивший в университет в 1861, он сдал свою докторскую диссертацию в печать в 1881 году. Мимо проходил огромный кусок русской истории: от отмены крепостного права до убийства Александра II. Но мимо ли? Ключевский выбрал для себя путь изучения проделанной народом «подготовительной работы», путь, ведущий к историческому воспитанию общества: его труды и знания должны были показать ищущим активной деятельности места действительного и действенного приложения сил.

Докторская диссертация Ключевского называлась «Боярская дума в Древней Руси. Опыт истории правительственного учреждения в связи с историей общества» и затрагивала вопрос, мучивший поколение «шестидесятников» все последнее десятилетие правления Александра II. Это был вопрос о формах общественного представительства в управлении самодержавным государством. Ключевский как историк поворачивался при этом к прошлому, но к такому, с которым можно было посоветоваться по проблемам настоящего. Его диссертация рассматривала Думу как «конституционное учреждение (пусть без конституционной хартии) с обширным политическим влиянием». В годы, когда создавалась эта работа, либеральные круги настойчиво говорили об «увенчании здания народного»; министр Лорис-Меликов вынашивал план привлечения общественных представителей к обсуждению государственных вопросов; народники мечтали созвать всероссийское учредительное собрание; славянофилы вспоминали Земский собор... Ключевский рассказывал об участии общества, народа в управлении страной на протяжении почти восьми веков и предлагал понимать народ не только как крестьянство, а как совокупность «всех социальных групп и классов в процессе их общежития». «Как только великими реформами последних десятилетий стала обновляться наша жизнь, — писал Ключевский, — мы стали заботливо думать», а не было ли «в нашем прошедшем таких общественных отношений, которые еще могли бы быть восстановлены и послужить интересам настоящего».

Окончание работы над «самой главной» диссертацией совпало с занятием Ключевским кафедры истории Московского университета. Он заменил на ней своего учителя, С. М. Соловьева, скончавшегося 4 октября 1879 года.

Вскоре после первых университетских лекций Ключевского в «Русской мысли» появились начальные главы «Боярской думы». Как вспоминал замечательный русский мыслитель Г. П. Федотов, «читающая Россия впервые ознакомилась в художественном воплощении с совершенно новой схемой русской истории. В „Боярской думе“ заключены уже идеи всего знаменитого „Курса“, который студенты Московского университета могли слушать с 1879 года. С этих пор схема Ключевского царствует почти неограниченно».

Именно в «Боярской думе» Ключевский предложил вместо соловьевско-чичеринской истории государственного механизма историю социальных групп русского общества. Основными элементами «периодической системы Ключевского», основными силами, строящими людское общежитие, были «человеческая личность, людское общество и природа страны». Государство у Ключевского лишь одна из составляющих «людского общежития».

В 1882 году «Боярская дума» вышла отдельной книгой и была успешно защищена как докторская диссертация. В том же году сами собой пришли чины и награды: орден Анны (за службу в Духовной академии) и чин статского советника (выше военного полковника и в полушаге от штатского генерала). На рубеже 1870–1880-х годов Василий Ключевский стал Ключевским учебников и книжек, символом историка, ученого, интеллигента.

Мастерство Ключевского-лектора оттачивалось ежедневно. Воспоминания рисуют потрясающий артистизм Ключевского на кафедре. Недаром один из самых устойчивых эпитетов Ключевского — «историк-художник». Его младшие современники жалели, что никто не догадался записать Ключевского на фонограф, как записали Шаляпина и Нежданову...

Первая же университетская лекция Ключевского (о преемниках Петра) опровергала устоявшуюся студенческую аксиому, что «русской историей заинтересоваться нельзя». Сохранились студенческие конспекты лекций Ключевского первых лет преподавания: они передают дух и стиль, в котором читались эти лекции. До Ключевского так лекций не читали. Вот, например, императрица Елизавета: «У нее в гардеробе было пятнадцать тысяч платьев, два сундука шелковых чулок... (пауза, Ключевский отрывается от конспекта, хитро смотрит на аудиторию и как бы импровизирует) ...И ни одной разумной мысли в голове!» Этот гардероб Елизаветы именно из лекций Ключевского перешел во все популярные издания по русской истории.

С самого начала лекции Ключевского стали особым родом интеллектуального театра, места в котором занимали задолго до начала. Курсистки для того, чтобы проникнуть на лекции Ключевского, передевались студентами и остригали волосы. Слушатели загодя занимали не только все пятьсот мест аудитории, но и проходы, и подступы — задолго до появления лектора, чья сухая фигурка напоминала одним допетровского подъячего, другим — типичного древнего летописца...

Лектор вовсе не потрясал публику громовыми трагическими раскатами голоса: он говорил тихо, но выразительно. Даже остатки детского заикания — маленькие паузы между словами — Ключевский использовал для придания своей речи особых смысловых оттенков, своеобразного колорита. При этом слушатели отмечали необыкновенную музыкальность, ритмичность речи Ключевского, ее «чеканность» и неторопливость. В самых патетических местах голос Ключевского не взвивался вверх, а понижался до шепота. Слушатели вспоминали, что таким шепотом Ключевский рассказывал о страшном возвращении Грозного из Александровской слободы (начало опричнины): историк будто боялся, что Иван Васильевич услышит и рассердится. Впечатление получалось такое, что грозный царь стоит чуть ли не за дверью аудитории...

Выразительность поддерживали мимика и актерская жестикация. Глаза Ключевского то вытягивались в узкие щелочки, то зажмуривались, то «на краткий миг сверкали на аудиторию черным огнем, довершая своим одухотворенным блеском силу обаяния этого лица».

Все это, конечно, было связано с содержанием лекций. Ключевский предупреждал студентов, что будет читать «со всею страстностью публициста», поскольку это жизнь, которая затронула его. Весь ход русской истории предстал перед слушателями Ключевского таким, что основными задачами современной эпохи оказывалось

«уравнение сословий перед законом и введение их в совместную государственную деятельность». Вот как представлял Ключевский «основные вопросы времени» в 1880-х годах: «Социально-политический, состоявший в установлении новых отношений между общественными классами, в устройстве общества и управления с участием общества; к ним — вопрос кодификационный, состоявший в упорядочении нового законодательства, вопрос педагогический, состоявший в руководстве, направлении и воспитании умов, и, наконец, вопрос финансовый, состоявший в новом устройстве государственного хозяйства».

За четверть века, прошедшую от начала чтения курса, изменилось немного. Вот как заканчивается «Краткое пособие по русской истории» Ключевского 1906 года: «В непрерывном взаимодействии правительственной власти и народного представительства, крепнущего в борьбе с ее преобладанием, и заключается залог будущего развития государства и усвоения правительством культурных начал конституционной монархии».

Было у Ключевского и свое представление о грядущем России. В не опубликованной при жизни «Истории сословий» Ключевский предложил свою картину будущего. По его мнению, политическая история России — это история постепенного исчезновения сословных различий. «Может быть, — пишет он, — и капитал утратит свой политический вес, уступив свое место другой силе, например, науке, знанию; по крайней мере, о возможности управлять обществом посредством этой силы давно мечтали многие, мечтают и теперь. В государственном механизме, который будет приводиться в движение этой силой, также не будет ни равенства, ни сословий; их место займут ученые степени». Будущее государство тогда «будет разделено на учеников и учителей и с подразделением последних на старших и младших». Капитал перестанет быть движущей силой общества и будет заменен авторитетом знания.

За три десятилетия преподавательской работы Ключевский передал свои воззрения множеству будущих знаменитостей России. Вместе с Ключевским рассуждали о значении русской истории такие его студенты, как будущий лидер октябристов Александр Гучков, будущий лидер кадетов Павел Милюков, будущий большевик и монополист исторической науки СССР Михаил Покровский... В Училище живописи, ваяния и зодчества Ключевский вдохновлял своими лекциями А. Васнецова и В. Серова, несколько позже там его слушал молодой Б. Пастернак.

Слава Ключевского-лектора достигла самых верхов. В 1893 году к Ключевскому обратилась царская семья: его пригласили как наставника великого князя Георгия Александровича, сына Александра III (и некоторое время наследника Николая II, до рождения у того сына Алексея). Ключевскому предстояло прочитать ему свой курс всеобщей истории.

Это преподавание, заставившие Ключевского на год оставить чтение всех остальных курсов истории (пришлось ехать на Кавказ), и речь, произнесенная в 1894 году в память почившего царя Александра III, вызвали негодование левого студенчества, ранее считавшего Ключевского «своим». Ключевского обвиняли в нарушении интеллигентской этики. Впервые на его лекции раздавались свист, крики «Долой с кафедры!» и «Лукавый царедворец», правда, тут же заглушаемые аплодисментами и криками «Браво!».

Выступление против Ключевского подняло новую волну студенческих беспорядков: начальство арестовало зачинщиков. В московском обществе поползли слухи: «Попович по происхождению... человек даровитый и талантливый, но хитрый, неискренний и, что называется, „себе на уме“ — он метит в победоносцевы...»

Ключевский очень тяжело переживал эти события: он никуда не метил. Он искренне жалел пострадавших студентов и был среди профессоров, подписавших пети-

цию в защиту наказанных за очередные беспорядки. И именно в 1894 году в ответ на печально знаменитую речь Николая о «бессмысленных мечтаниях» интеллигенции о народном представительстве он произнес фразу, ставшую пророческой: «Николай будет последним царем. Если у него родится сын, он царствовать не будет». Это пророчество проистекало из всего опыта понимания Ключевским русской истории, ход которой доказывал ему необходимость взаимодействия правительственной власти и народного представительства. А новый царь публично декларировал свое намерение остановить поток истории.

И речь в память Александра-мироотворца, и пророчество о Николае, и вовлеченность в историю со студенческими волнениями — все затягивало Ключевского в водоворот политических событий сильнее, чем он сам того желал. Тем более что и до этого (в начале 1890-х годов) он предчувствовал и предсказывал и скорую мировую войну («воевать будут не армии, а учебники химии и лаборатории, а армии будут нужны, чтобы было кого убивать по законам химии снарядами лабораторий»), и русскую революцию...

Первые семинары со студентами Ключевский вел у себя дома (в Замоскворечье, на Житной улице, 14; тогда — окраине Москвы). После семинара студенты (среди них — известные в будущем либералы) оставались на чай и поднимали политические вопросы, причем буквально осаждали Ключевского, желая знать его мнение. «Он отделивался шутками, сыпал парадоксами, с которыми согласиться было трудно, а не согласиться не деликатно, и так проходил вечер».

Но замкнутость для учеников не означала отсутствия политических интересов и взглядов у Ключевского. Самые сокровенные размышления историк привык доверять дневнику. Даже в сохранившихся частях дневника (а многое Ключевский время от времени уничтожал) политические высказывания резки и нелюбезны. Вот, например: «С Александра III, с его детей вырождение нравственное сопровождается и физическим. Варяги создали нам первую династию, варяжка испортила и последнюю» (имеется в виду датская принцесса Дагмара, жена Александра III). Или высказывание от 7 апреля 1904 года: «После Крымской войны русское правительство поняло, что оно никуда не годится; после болгарской войны и русская интеллигенция поняла, что ее правительство никуда не годится; теперь, в японскую войну, русский народ начинает понимать, что и его правительство, и его интеллигенция никуда не годятся. Остается заключить такой мир с Японией, чтобы и правительство, и интеллигенция, и народ поняли, что все они одинаково никуда не годятся, и тогда прогрессивный паралич русского национального самосознания завершит последнюю фазу своей эволюции». Вот о церкви: «Русской церкви как христианского установления нет и быть не может; есть только рясофорное отделение временно-постоянной государственной охраны». А вот о политике министра внутренних дел Плеве в самый канун революции 1905 года: «Мельник, спасая старую плотину своей мельницы от напавшего паводка, снимает пену, взбиваемую у запруды потоком». Оценка 9 января 1905 года: «Стрельба в Петербурге — это наш второй Порт-Артур». Обобщение: «Цари со временем переведутся: это мамонты, которые могут жить лишь в допотопное время».

Ком революции растет к 1905 году так быстро, что Ключевский перестает опасаться и публичных высказываний. Его реакция на расстрел 9 января — публичное повторение десять лет назад сказанного пророчества: «Николай последний русский царь. Алексей царствовать не будет».

А «наверху» Ключевского воспринимают как преданного и умеренно-передового мыслителя (к тому же укрепились связи при дворе: в 1901–1902 годах Ключевский читал еще один курс — у великого князя Сергея Александровича). В 1905 году ему приходит приглашение в Петербург, в Марииинский дворец, для работы в Особом совеща-

нии для пересмотра имевшихся законов и распоряжений о печати, а затем — принять участие в Петергофских совещаниях по проекту создания Государственной думы. В Купеческом зале Большого дворца Петергофа лично Николай II собрал пять великих князей, восемь министров, десять членов Государственного совета, нескольких сенаторов, начальника полиции Трепова, обер-прокурора Победоносцева и двух экспертов-историков — профессора Н. М. Павлова и академика Ключевского (Ключевский стал академиком в 1900 году) — обсуждать добровольное ограничение собственной власти. И даже у скромного «булыгинского» варианта Думы на совещании нашлись противники справа. Ключевский оказался в выгодном положении: он защищал от этих противников государственный вариант избирательного закона, пытался показать, что разбиение выборов по сословиям возродит в народе «мрачный призрак» сословного дворянского царя. Как историк, он выстраивал в своих выступлениях историческую традицию народного представительства при русском монархе, цитировал и слова царя Алексея Михайловича «мира все слушают», и Екатерину Великую, создавшую подобие французских генеральных штатов и узнавшую «от своих людей, где башмак жмет ногу».

Через сорок лет после бурных политических событий эпохи Великих реформ судьба подарила Ключевскому возможность окунуться в гущу происходивших событий и участвовать в них так, как он себе предписал еще в молодости: не делом, а словом, которое «бросает в энергетическое одушевление и дает силы и средства к делу».

Совещания были конфиденциальными (чтобы не сказать секретными), но на них Ключевский выступил еще и как тайный агент русских либеральных кругов. Дело в том, что ежевечерне после совещаний Ключевского навещал его бывший студент Павел Милюков, давно сменивший историю на политику (в 1902 году Ключевский ходатайствовал перед правительством об «облегчении участи» арестованного Милюкова). Милюков выслушивал подробнейшие рассказы Ключевского о том, что происходило в Петергофском дворце, и обсуждал с ним программу на следующий день. Все это позволило Милюкову проделать «осведомленный» анализ нового закона о Думе (6 августа 1905 года) и немедленно выступить в прессе в качестве эксперта. А вскоре последовал очередной арест Милюкова (за проведение политического собрания либералов), и начальник полиции Трепов с удивлением узнал, что среди изъятых бумаг либерального лидера — не подлежавшие распространению бумаги недавнего «булыгинского» совещания, принадлежавшие Ключевскому.

Осень 1905 года — пора расцвета и формирования политических партий. Ключевскому приходится определить свое отношение к разнообразным политическим программам и манифестам. Он был шире этих программ и манифестов и в дневнике свое отношение к политическим партиям выражал поначалу весьма скептически: «Я не сочувствую партиям, манифесты которых сыплются в газетах. Я вообще не сочувствую партийно-политическому делению общества при организации народного представительства». Почему? Потому что это «1) Шаблонная репетиция чужого опыта, 2) Игра в жмурки. Манифесты выставляют *политические принципы*, но ими прикрываются *гражданские интересы*. А представительство частных интересов — это такой анахронизм, с которым пора расстаться».

Для Ключевского создание Думы — это не борьба интересов, а их примирение. Общаясь со своим бывшим студентом Гучковым по поводу создания партии октябристов, Ключевский высказал свой взгляд на партийность: «Я могу проявить сочувствие, но не могу принять участия». Однажды он сам назвал себя «диким» — «ни к Богу, ни к черту».

Но революционные события затягивают. Зимой 1905/06 года Ключевский приходит к решению баллотироваться в Государственную думу. Светлый идеал мировых посредников 1860-х годов с их примиряющими функциями порождает желание само-

му выступить объединителем интересов разных сословий и классов. Для достижения этой цели Ключевский выбирает партию конституционных демократов. Именно по кадетскому списку выборщиков он баллотируется в Сергиевом Посаде.

Неудивительно, что в истории собственно кадетской партии имя Ключевского практически не фигурирует. Сам Милюков признавал, что «партийную принадлежность Ключевского надо понимать со всеми оговорками, необходимыми, когда речь идет о такой самостоятельной и оригинальной личности». Зимой 1906 года цель Ключевского была узка: по спискам кадетов попасть хотя бы на первую ступень голосования (выборы выборщиков). Март — время голосования — оказывается пиком политической деятельности Ключевского. Он ждет результатов с нетерпением, но, увы, место выбрано неудачно: обыватели Сергиева Посада не голосуют за пришлого старика-ученого. За неудачей «слева» следует неудача «справа»: на новое государственное совещание в апреле 1906 года (по поводу предложенных Витте основных законов) кадета Ключевского уже не приглашают.

Сила разочарования Ключевского такова, что он решает оставить все попытки непосредственного участия в политической жизни страны. Когда историку присылают весть о том, что его выбирают членом Государственного совета (верхней палаты ново-рожденного «парламента») от Академии наук и российских университетов, он спешит ответить отказом и письменно слагает с себя звание члена Госсовета. Официальная причина отказа: «Я не нахожу положение члена Совета достаточно независимым для свободного в интересах дела обсуждения возникающих вопросов государственной жизни». Политика снова возвращается на страницы дневника, в размышления и разговоры. Ключевский остается приверженцем Думы, «как самого надежного органа власти». С одной стороны он противопоставляет ей кровавую революционную волну, с другой — Николая, двор и Столыпина, которого считает главой заговора против народного представительства. Появившийся в дневниковой записи образ университета, сжатого в тиски администрацией справа и «максималистами», угрожающими бомбами слева («и если не сладит с положением, должен погибнуть»), очень похож на сложивший у Ключевского образ революционной России.

Осенью 1906 года Ключевский окончательно сосредоточивается на своей непосредственной работе. Отказы от различных предложений он объясняет так: «Осложнение занятий в Университете и необходимость ускорить издание моего курса истории лишают меня... необходимого досуга для всякой иной работы». Лекции для Ключевского превращаются в «борьбу за зрителя»: студенты встречают его настороженно, молча, «дичась». Правда, провожают шумным одобрением. Главным делом Ключевского на оставшуюся жизнь становится подготовка публичного издания «Курса русской истории».

Какими бы бурными ни были политические события первых лет XX века, Ключевский не мог забыть свое главное ремесло — ремесло историка. Четверть века читал он курс русской истории, а если вытянуть чтение в пяти разных заведениях в одну цепочку, то получится период в 108 лет! Но всю четверть века этот курс ходил по рукам в плохеньких литографированных изданиях студенческих конспектов, которые сам профессор не одобрял. Годами коллеги и друзья уговаривали историка сделать настоящее «книжное издание». И снова «долго запрягающего» Ключевского подтолкнуло внешнее событие.

В 1902 году в Петербурге вышло шикарное издание его лекций, предназначенное для царской семьи. Пусть это был маленький тираж в несколько десятков экземпляров; на титульном листе все равно стояло «Лекции по русской истории профессора Московского университета Ключевского» (хотя в углу было добавлено «как рукопись»). А потом этот же «царский курс» на бумаге попроще перепечатали тиражом

в несколько тысяч экземпляров в подпольной типографии одной из нелегальных революционных организаций. После этого Ключевский всерьез принялся за «Курс» и решил, что на «его» издании обязательно будет стоять «Единственно подлинный текст» (так и случилось).

В 1902–1903 годах впервые по собственной надобности Ключевский взял «академический отпуск». Формально этот отпуск было очень удобно оформить как «командировку с научной целью за границу сроком на один год». За границу Ключевский не поехал; немного отдохнул в Ялте и уселся корректировать старые студенческие конспекты. Теперь они сослужили благу службу: заново Ключевский писал трудно и долго.

Первая часть «Курса», посвященная домонгольской Руси, увидела свет в первые дни Русско-японской войны, в январе 1904 года. Сразу стало понятно, что это — заметное продвижение исторической науки от давнего тяжеловесного многотомника С. Соловьева. Прежде всего привлекало внимание отличие в стиле: Лев Толстой отмечал, что «Соловьев писал длинно и скучно, а Ключевский — для собственного удовольствия». В этой фразе звучит ирония, но удовольствие Ключевского в основном оборачивалось удовольствием читателей. Сам курс лекций как форма был новым. Карамзин писал беллетризованную летопись. Соловьев — строгую историю. Ключевский как бы возвышал читателя до уровня лучшего в стране университетского образования; он постоянно поддерживал в изложении иллюзию лекции — вплоть до обещаний продолжить изложение в следующей лекции и повтора в начале новой лекции концовки предыдущей. Легкость и художественность лекций достигались близостью их языка к простому разговорному (но разговорному языку русского профессора). Перед читателем предстал живой сценарий знаменитых лекций-представлений Ключевского. Текст был сдобрен большим количеством афоризмов, которые Ключевский десятилетиями заготавливал в специальных тетрадах. Тонкие характеристики действующих лиц и периодов русской истории легко запоминались читателями, а иногда заучивались наизусть, как хорошая художественная проза.

Помимо стиля, совсем другой представала общая панорама русской истории. У Соловьева древняя история — это движение от родовой раздробленности к спасительной централизованной государственности. У Ключевского — широкая и глубокая общественная жизнь: развитие экономики, подъем торговли, роль деревни и монастыря в освоении («колонизации») диких северо-западных земель, формирование великорусской народности, критическое отношение к верховной власти, когда она того заслуживает.

В 1905 году вышла вторая часть «Курса» Ключевского, в 1908-м — третья, в 1910-м — четвертая. Незаконченную пятую издали уже ученики Ключевского после его смерти.

Решившись на издание «Курса», Ключевский сделал подарок не только современникам. Давно уже нет на свете тех, кто, читая напечатанный текст лекции, непременно слышал за ним живой голос своего преподавателя. Между тем многие положения Ключевского по-прежнему живут, уже «принятые на веру» в современных вузовских программах. Цитаты и афоризмы из «Курса» до сих пор, век спустя, украшают научную и учебную литературу по истории — по стилю, к сожалению, больше «соловьевскую».

«Его высокопревосходительство», академик и кавалер орденов Анны и Святослава, шестидесятипятилетний Василий Осипович Ключевский встретил 1907 год нерадостно. Неудачные попытки заняться политической деятельностью, переживание разгона первой Думы и не меньше — слабости разогнанных, ответивших, по его мнению, беспомощно — Выборгским воззванием, окончательно сформировали у историка резко критическое восприятие общей ситуации в стране. Незадолго до нового года Ключевский

чевский записал в дневнике: «Флота нет, ни Балтийского, ни Тихоокеанского, нельзя сказать, что его не было, но его нет. Финансы потрясены; кредит заграничный [выродился] в заграничное попрошайничество, внутренний — в переписку сумм из одной сметной цифры в другую, доверие к правительству — выражение, вышедшее из оборотного языка, как архаизм, требующий ученого комментария». Рядом с этими записями — короткая, но скорбная фиксация непрекращающихся политических убийств...

Смерти, естественные и от руки террористов, все чаще овладевают размышлениями Василия Осиповича. Умирает Победоносцев — Ключевский откликается: «Презирал все, и что любил, и что ненавидел, и добро, и зло, и народ, и себя самого». Черносотенцами убиты видные кадеты Михаил Герценштейн и Григорий Иоллос — Ключевский реагирует на эти смерти статьей в газете «Русские ведомости»: «С покойным Григорием Борисовичем судьба свела меня в конце восьмидесятых годов, в памятную тяжелую пору. Мы тогда разделили с ним много дружеских печальных бесед. Мне глубоко симпатичен был прямой и ясный взгляд покойного в оценке исторических явлений, полный тонкого понимания жизни, чуждый догматизма. Увидавшись после многих лет при ином настроении умов, при новом складе общественных отношений, мы встретились старыми друзьями. Герценштейн пал за русский народ, за русского земледельца, и Иоллос обагрил своей кровью чисто русскую землю, землю города Москвы, собирательницы и устроительницы русской земли. Пусть такие смерти останутся в русской памяти символом обновленной России, объединяющей в своем сердце собранные ими народности».

1907 год можно назвать годом начала неспешного ухода легендарного, великого Ключевского из мира исторического образования. В этом году он прекращает чтение лекций в Духовной академии (где читал их дольше всех — 36 лет). На его университетских лекциях начинает звучать пессимистическое: «Я человек XIX века и в ваш XX век попал случайно, по ошибке судьбы, позабывшей убрать меня вовремя».

Пессимизм и новое печальное пророчество звучат и в отношении Ключевского к правящей династии: «Эта династия не доживет до своей политической смерти, вымрет раньше, чем перестанет быть нужна, и будет прогнана. В этом ее счастье и несчастье России и ее народа, притом повторное: ей еще раз грозит бесцарствие, Смутное время...»

Смутное время — одна из главных тем третьего тома «Курса русской истории», над которым Ключевский работает как раз в 1907 году. Вводная лекция с общей характеристикой периода показалась Ключевскому такой важной, что он передал ее для публикации в журнал «Русская мысль». Зная, что профессор намеренно подводил свое историческое изучение «вплоть к практическим потребностям текущей минуты», можно представить, сколько вольных и невольных параллелей с современными событиями проведено в этой статье-введении и вообще в третьем томе «Курса». Именно здесь брошен Ключевским один из его самых известных исторических афоризмов, по универсальности применения к русской истории сопоставимый разве что с карамзинским «воруют». Вся эпоха Романовых уместилась в парадоксе: «Государство пухло, а народ хирел».

Рассуждения о Смуте полны широких обобщений, пригодных и к другим эпохам русской истории. Ключевский, то рассказывая, то рассуждая, ищет в прошлом положительные уроки. «Это печальная выгода тяжелых времен, — пишет он в лекции о ближайших последствиях Смуты, — они отнимают у людей спокойствие и довольство и взамен того дают опыты и идеи. Как в бурю листья на деревьях повертываются изнанкой, так в смутные времена в народной жизни, ломая фасады, обнаруживают задворки, и при виде их люди... невольно... начинают думать, что они доселе видели далеко не все. Это и есть начало политического размышления». В другом месте

Ключевскому важен механизм, отвративший гибель страны, механизм гражданского мира: «Общество не распалось, расшатался лишь государственный порядок. Когда надломились политические скрепы общественного порядка, оставались еще крепкие связи национальные и религиозные: они и спасли общество». Враждующие классы общества соединились «не во имя какого-либо государственного порядка, а во имя национальной, религиозной и просто гражданской безопасности, которой угрожали казаки и ляхи». От начала Нового времени Ключевский ведет длинные линии выводов прямоком в XX век: «Общество, предоставленное самому себе, поневоле приучалось действовать самостоятельно и сознательно, и в нем начала зарождаться мысль, что оно, это общество, народ, не политическая случайность, как привыкли чувствовать себя московские люди, не пришельцы, не временные обыватели в чьем-то государстве, но что такая политическая случайность есть скорее династия».

В характеристике царя Алексея Михайловича проглядывает портрет Николая II: «Царь... был добрейший человек, славная русская душа. Я готов видеть в нем лучшего человека Древней Руси, но только не на престоле. Это был довольно пассивный характер. Природа или воспитание были виною того, что в нем развились преимущественно те свойства, которые имеют такую цену в ежедневно житейском обиходе, вносят столько света и тепла в домашние отношения. Но при нравственной чуткости царю Алексею недоставало нравственной энергии. Он любил людей и желал им всякого добра. Потому что не хотел, чтобы они своим горем и жалобами расстраивали его тихие личные радости... Но он был мало способен и мало расположен что-нибудь отстаивать, как и с чем-нибудь долго бороться... Этому-то царю и пришлось стоять в потоке самых важных внутренних и внешних движений». Неудивительно, что даже пресыщенная свободой печать публика раскупала новый том лекций Ключевского.

После 1907 года Ключевский все больше замыкается в узком кругу домашних дел. Скудеет переписка с друзьями, совсем пропадают записи в дневнике. Только коллекция афоризмов по-прежнему пополняется. Но и тут нотки прощания: «Счастье не действительность, а воспоминание...»

В декабре 1909 года прошло чествование тридцатилетней преподавательской деятельности Ключевского. А следом, зимой 1910 года, надвинулись серьезные болезни. Последний раз «общественность» видела живого Ключевского на многолюдных похоронах профессора и политика С. А. Муромцева в октябрьский день 1910 года. Последняя его лекция — в Училище живописи, ваяния и зодчества — 29 октября. Последние записи — уже в больничной палате, превращенной в рабочий кабинет. Говорят, что Ключевский работал даже в день смерти, занимаясь подготовкой статьи к пятидесятилетию отмены крепостного права...

ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ ГЕЙДЕН:
*«Думают реакцией водворить порядок —
это грустное заблуждение еще много вреда
принесет...»*

ВИКТОР ШЕВЫРИН

Петр Александрович Гейден родился 29 октября 1840 года в Ревеле, где его дед по отцу (голландец по происхождению, зачисленный Екатериной II на русскую службу) был военным губернатором и командиром порта. Казалось, все складывалось так, что и юный граф Петр Гейден пойдет по военной стезе. Он блестяще закончил Пажеский корпус — самое привилегированное военное учебное заведение императорской России. В его «формулярном списке о службе и достоинстве» говорилось: «Имя корнета графа Гейдена, не имевшего из товарищей себя выше, как в поведении, так и наградах, помещено в Пажеском Его Императорского Величества Корпусе за сей 1858-й год на светло-мраморную доску, учрежденную для сохранения имен отличнейших камерпажей. Сверх того, корнет граф Гейден, будучи признан по испытанию отличнейшим, удостоен награды, определенной для первого класса, и в этом качестве внесен под номером первым в особую книгу, на сей предмет в корпусе имеющуюся».

Распределили Петра Гейдена в лейб-гвардии Уланский полк с прикомандированием к Михайловской артиллерийской академии. Пройдя полный академический курс, он в 1860 году «был наименован отличнейшим и выпущен с правами по гражданскому чиновному производству первого разряда и с правом носить аксельбант». Однако к новым служебным обязанностям новоиспеченный артиллерийский поручик так и не приступил: сначала он взял полугодовой отпуск, а затем по высочайшему распоряжению был уволен от службы «по домашним обстоятельствам». В действительности никаких таких «обстоятельств» не было: просто Петр Гейден, по его же словам, осознал, что не имеет никакого призвания к военной службе.

В октябре 1863 года двадцатитрехлетний Гейден поступил на гражданскую службу в качестве чиновника для особых поручений при орловском губернаторе. В Орле он присоединился к кружку людей, «проникнутых чувством радости под впечатлением совершившейся реформы и преисполненных стремлением к труду в атмосфере, созданной проводившимся в жизнь освобождением крестьян». В феврале 1865 года молодой граф женился на девятнадцатилетней княгине Софье Михайловне Дондуковой-Корсаковой. Через некоторое время он увольняется со службы. Но уже в январе 1866 года он вновь при губернаторе, уже теперь при воронежском, «старшим чиновником особых при нем поручений». Через полгода Гейден — директор воронежского Тюремного комитета. Дальнейший его путь — служение Фемиде: в общей сложности он проработал в судебных учреждениях 18 лет. За это время граф был членом Воронежского окружного суда, членом Санкт-Петербургского окружного суда и товарищем председателя этого суда, членом Санкт-Петербургской судебной палаты. На приемах просителей он, по воспоминаниям коллег, интересовался «не только содержанием бумаг, которым ограничиваются заматерелые судьи, но, пожалуй, даже больше душевною физиономиею и индивидуальностью каждого просителя».

Близким другом графа стал видный юрист А. Ф. Кони, который посвятил Гейдену свою книгу «На жизненном пути». Оба они принадлежали к «шестидесятникам», с воодушевлением встретившим александровские реформы. В этих людях жил и бескорыстный труд, и высокое чувство долга, и возвышенное понимание звания судьи. А. Ф. Кони потом писал, что общение с графом Гейденом «укрепляло и ободряло нравственно».

Занимая высокий пост начальника канцелярии по принятию прошений на Высочайшее имя (1886–1890), Гейден всегда стремился действовать по закону, последовательно боролся против чиновничьего бюрократизма, с разного рода «протекциями». Однако, по его собственному признанию, он «пришелся не ко двору» и вынужден был выйти в отставку, правда, с весьма хорошей пенсией (3000 рублей). К тому времени Гейден имел высокий чин тайного советника (произведен 1 января 1890 года) и три ордена (Св. Станислава 2-й степени, Св. Анны 2-й степени, Св. Владимира 3 степени).

Вместе с женой и дочерью граф Гейден жил то в Петербурге, то в своем имении Глубокое, под Псковом. Он занялся хозяйством — выписывал из-за границы новейшие машины, нанимал хороших специалистов, следил за иностранными книжными и журнальными новинками по сельскому хозяйству. Особой его гордостью было известное на всю Россию племенное стадо. Не чурался он и постановки фабричного дела, прекрасно ориентировался в банковских, финансовых хитросплетениях. Неудивительно, что и мать, и сестра, и другие родственники просили наладить и их хозяйства, что он охотно и делал.

Еще состоя на службе, П. А. Гейден активно занялся общественной деятельностью. В 1883 году он был избран уездным гласным в Опочечком уезде Псковской губернии, а с 1889 года — губернским гласным. С 1895-го он стал к тому же уездным предводителем дворянства. Тогда же Гейдена избрали президентом Вольного экономического общества (ВЭО). Время его президентства совпало с походом бюрократии против Общества, являвшегося сосредоточием экономической мысли и одним из центров притяжения оппозиционной интеллигенции. Гейден, по определению секретаря ВЭО Хижнякова, являлся идеальным президентом, давал простор для творчества и в то же время мужественно защищал организацию от натиска властей. В апреле 1898 года министр внутренних дел И. Л. Горемыкин и министр земледелия А. С. Ермолов в письме Николаю II просили изменить устав ВЭО, отмечая, что оно стало «ареной борьбы политических страстей при явно антиправительственном направлении большинства докладчиков». Со своей стороны, граф Гейден полагал, что любое подавление инакомыслия несовместимо с человеческим достоинством. Он дважды обращался к царю с всеподданнейшими докладами, в которых отрицал противозаконную деятельность ВЭО и обвинял Министерство внутренних дел в клевете. Тогда же он писал министру Ермолову, что нападки на Общество есть не что иное, как поход против проявления какой-либо самостоятельной инициативы, на которую не испрашено было предварительного административного разрешения. «Между тем такая самостоятельная инициатива, — настаивал граф, — крайне желательна и необходима. Всеми признано, что Россия отстала от других стран на поприщах торговли, промышленности и сельского хозяйства. Везде на окраинах иностранцы вытесняют русских, неспособных пробудиться от своей апатии, своей вековой спячки. А хотят люди проснуться и пользоваться своими правами в пределах закона и устава, так сейчас хотят их урезать».

Гейден всегда исходил из того, что государство сильно духом своего народа, а не усердием чиновников. Такой президент ВЭО, естественно, был неприемлем для бюрократии, и в начале 1900 года она мобилизовала все силы для того, чтобы на очередных выборах провести на пост президента Общества своего человека. 23 марта 1900 года на выборы явились даже чиновники, никогда не посещавшие Общества, присутствовали начальники различных канцелярий, департаментов, даже некоторые заместители

ли министров. Был настоящий бой, и он окончился поражением бюрократии — Гейден был вновь избран 115 голосами против 70.

О самостоятельности, инициативности Петра Александровича говорит уже тот факт, что он еще до своего первого президентского срока (в ВЭО он состоял с 1885 года, а президентом избирался 4 раза: в 1895, 1897, 1900, 1903 годах), в 1891–1892 годах, когда разразился голод, вместе с двумя англичанами, привезшими в Россию 50 000 рублей для голодающих, выезжал в Симбирскую губернию и без участия официальных властей (таково было условие жертвователей-англичан) раздавал деньги голодающим. Был он и попечителем больницы, а во время Русско-японской войны готовил санитарный отряд для отправки на фронт.

П. А. Гейден был одним из очень немногих в высших кругах империи, кто сумел отрешиться от узкословной точки зрения на развитие событий в России, на ее судьбу. Понимая, что страна «на переломе», он бросается в самый водоворот общественно-политической жизни. Он хотел, чтобы Россия пошла по эволюционному пути, без крови и насилия.

В 1900–1905 годах П. А. Гейден входил в политический кружок «Беседа», где встречались многие будущие лидеры различных политических партий и организаций. Уже тогда, за несколько лет до первой русской революции, он заявлял, что «самодержавие так же несовместимо со свободой, как солнце с ночью... Самодержавие есть путь к революции!» А революцию он называл «акулою», по-видимому предчувствуя, что та в конце концов «проглотит» Россию.

В 1902–1905 годах граф Гейден был активнейшим участником земско-городских съездов, избирался их председателем. И здесь он старался содействовать «мирному, спокойному разрешению надвигающегося кризиса», работать для установления «правового государственного строя». В известном письме к новому министру внутренних дел В. К. Плеве Петр Александрович писал, что он и его единомышленники убеждены в необходимости коренных реформ — экономических, социальных и политических, но желают провести их «мирным путем, а не тем революционным, на который бессознательно толкает всю страну правительственная система». Он подчеркивал, что Россия «живет жизнью всей Европы», а «русский народ подлежит мировым законам, а не особенным своим, ему якобы присущим, от которых он будто бы никогда не отступит». Ответственность за революционный кризис, который переживала страна, Гейден возлагал прежде всего на правящие круги, постоянно опаздывавшие с проведением назревших реформ. В том же письме к Плеве он призывал перейти от слов к делу и считал, что «действовать иначе просто преступно».

Для Гейдена были органически неприемлемы «реакция сверху и террор снизу». С произволом, считал он, надо всеми силами бороться. Монархистов-охранителей он называл «обскурантами», «квасными патриотами» и «дикарями». Печальнее всего то, полагал он, что «думают реакцией и строгостью водворить порядок. Это грустное заблуждение еще много вреда принесет». 6 июня 1905 года на приеме у императора депутации земских городских деятелей он пытался повлиять на Николая II «в либеральном духе».

Не принял Гейден и попытку революционного «водворения свободы» в декабре 1905 года, полагая, что «пока свободу смешивают с революцией, ничего путного не выйдет». Все его упования были связаны с реформами и введением умеренной конституции. В противовес и охранителям, и радикалам П. А. Гейден замыслил создать центристскую либеральную партию, куда собирался вовлечь всех твердых сторонников конституционного строя.

Уже современники графа Гейдена отмечали, что одним из самых блестящих, хотя и тяжелых периодов его жизни было время вскоре после объявления царского Манифеста 17 октября 1905 года. В Псковской губернии, где он жил, чувствовалась растерян-

ность, ожидание лучших порядков и вместе с тем опасение погромов. Местная администрация явно потеряла почву под ногами. Один из сподвижников Гейдена писал потом: «Нисколько не растерялся, кажется, один граф Гейден. Он нашел, что теперь самый подходящий момент для внушения крестьянам истинного конституционализма, и стал устраивать в больших размерах собеседования с крестьянами». Собрания были довольно бурными. Вековая вражда к барину давала себя знать. Но на этих собраниях Гейден сильно импонировал всем своим необыкновенным хладнокровием, и его спокойный голос, по воспоминаниям очевидцев, как-то магически действовал на толпу.

Поддержав объявленные в царском манифесте конституционные принципы, граф П. А. Гейден явился одним из основателей умеренной, либерально-консервативной партии «Союз 17 октября» (октябристов). На выборах в I Государственную думу за него проголосовали 38 псковских губернских выборщиков, против — 21. В Думе П. А. Гейден стал весьма заметной фигурой. Он состоял в пяти думских комиссиях и часто выступал с ее трибуны (190 раз!), высказывая свой взгляд по каждому сколько-нибудь крупному вопросу. В. А. Маклаков писал о нем: «С лицом американского „дяди Сэма“, он не был ни многословен, ни красноречив, не искал словесных эффектов... Но был всегда содержателен, всем доступен, и его речи не только производили впечатление, но внушали лично к нему уважение даже противников».

Граф Гейден и его немногочисленные сторонники из октябристов сделались, как это ни парадоксально, самыми большими консерваторами в леволиберальной, кадетской Думе. «Но вся моя правота в том, — писал Гейден в те дни жене, — что я враг революционных приемов и стою за мирную борьбу...»

В Думе Гейден повел энергичную борьбу против левых радикалов и решительно возражал против любого политического шага, не опиравшегося на законную почву. Полагая, что «рано сманивать нас с мирного законодательного пути», он так формулировал свою позицию: «Я и многие из моих товарищей пришли сюда с целью не революционизировать страну, а с целью ее успокоить, и я думаю, это достижимо только при спокойной, планомерной работе».

Между тем, представляя умеренное крыло Думы, граф Гейден весьма откровенно высказывался о правительстве: «Представителями власти должны быть представители современных идей, а не носители тех ветхозаветных мыслей, того ветхозаветного строя, каким является большинство теперешнего министерства, и мое глубокое убеждение, что это министерство должно уступить место другому, пользующемуся доверием Думы».

Осуждение произвола и насилия, от кого бы они ни исходили, от реакции или революции, легло в основу Прогрессивной партии мирного обновления, которую граф П. А. Гейден начал формировать весной 1906 года в I Думе. Ему казалось возможным объединить не только либеральных октябристов, но и умеренных кадетов, и «группу демократических реформ» М. М. Ковалевского, и часть беспартийных крестьянских депутатов. Оценивая расклад сил в Думе, он писал: «Примерно двести депутатов ни у кадетов, ни у трудовиков... И вот, когда мы соорганизуемся, то разговор пойдет другой».

Однако усилия графа Гейдена сделать партийную группу «мирного обновления» центром притяжения всех умеренных конституционалистов и образовать думское большинство с целью умиротворения страны и ее мирного развития не удалась. Гейден вынужден был констатировать: «Мы генералы без армии». Депутат Госдумы М. А. Сухотин, зять Л. Н. Толстого, человек весьма наблюдательный, отмечал в дневнике: «И кадеты, и трудовики вели свою линию, и все ухищрения Гейдена только докучали им и заставляли понапрасну терять время. Убедительность ораторов может иметь значение лишь тогда, когда жизнь вступает в спокойное будничное русло, когда революционные и партийные страсти потухают».

Страна переживала не конституционный, а революционный кризис, и именно это обстоятельство было причиной роспуска I Государственной думы. Гейден считал этот шаг правительства «бесконечной глупостью»: «Всякая новая Дума будет левее и радикальнее, и с нею будет еще труднее». В это же время Гейден стал активным участником переговоров о создании «общественного министерства», которые вели правящие верхи с думскими лидерами. Он стремился повлиять на Столыпина, «чтобы не смахивал в реакцию», старался убедить премьера, что «вполне либеральная и законная деятельность его может спасти положение, привлечь всю благомыслящую часть населения».

Как и другие умеренно либеральные общественные деятели (Д. Н. Шипов, А. И. Гучков, Н. Н. Львов, А. Ф. Кони, М. А. Стахович), граф Гейден был готов войти в правительство — обсуждалось его назначение на пост государственного контролера. «Мы, — писал Гейден жене, — долго этот вопрос обсуждали и, сознавая трудности дела, риск, которому мы подвергаем свою популярность, и утрату возможности продолжать общественную деятельность, тем не менее решили, что долг наш идти вперед и тотчас начать менять произвол законностью и подчинению нашим условиям... Мы решили жертвовать своим положением и идти в состав кабинета. Может быть, это единственно возможный способ обращения правительства на добрый путь. Может быть, нам поверят, и положение улучшится. Мы заявили, что при несогласии с программой мы тотчас уйдем».

Между тем в стране не произошло обострения революции, чего так опасались правящие верхи. Правительство, отделившись легким испугом, прервало консультации с общественными деятелями, не нуждаясь теперь в ширме переговоров. Д. Н. Шипов вспоминал, что граф Гейден, сообщив ему о своих последних разговорах со Столыпиным и отрицательно оценив маневры премьер-министра, со свойственной ему меткостью выражений и юмором сказал: «Очевидно, нас с вами приглашали на роль наемных детей при дамах легкого поведения...»

С другой стороны, казалось, оправдывались партийные расчеты Гейдена на раскол кадетской партии, которая всегда казалась ему рыхлым конгломератом группировок, чуждых друг другу, удерживаемых вместе лишь силой дисциплины и необходимостью солидарно реагировать на репрессии правительства. Умеренные кадеты все дальше дистанцировались от радикального («милюковского») ядра своей партии. Укреплялась надежда и на эволюцию взглядов коллег из «Союза 17 октября»: Гейден надеялся, что антиконституционность правительственных мероприятий лишит Столыпина ореола «Дульцинеи октябристов» и их значительная часть встанет под знамена Партии мирного обновления. Сближение двух флангов либерализма привело бы, как думалось Гейдену и его сторонникам, к созданию конституционного центра, который мог бы противостоять на грядущих выборах любому радикализму.

Однако «партстроительство» шло с большим трудом. Сама легализация новой партии потребовала немалых усилий: вначале власти отказались зарегистрировать ее, и только личный визит графа к Столыпину привел к ее официальному разрешению. В качестве лидера партии 66-летний граф Гейден проявлял поразительную для его возраста активность, организуя целую серию совещаний «мирнообновленцев», принимавших и рассылавших на места воззвания с призывом к единению всех прогрессивных сил для «борьбы за свободу и за культуру против всяких нарушений конституционных начал, откуда бы они ни исходили».

Поначалу казалось, что деятельность партии имела осязательные результаты: были образованы ЦК, местные отделы (их к осени 1906 года в стране насчитывалось 25 с двумя тысячами членов партии), устраивались предвыборные собрания и так далее. Но за фасадом относительного благополучия шел процесс внутреннего разрушения партии — резко усилились разногласия среди вождей. М. А. Стахович все сильнее тянул к «Союзу 17 октября», а Д. Н. Шипов и Е. Н. Трубецкой, демонстративно отстра-

няясь от «октябрей», «косили глазами налево», в сторону кадетов. Граф Гейден, находясь в центре, изо всех сил старался удержать фланги. Это «внутреннее нестроение вождей» отражало все более очевидную проблематичность объединительных попыток «мирнообновленцев». Их мечта — создать в стране конституционный центр на основе этических начал в освободительном движении при определенно оппозиционном отношении ко всяким антиконституционным действиям, откуда бы они ни исходили, — отторгалась российским политическим муравейником.

В избирательной кампании по выборам во II Государственную думу П. А. Гейден и его Партия мирного обновления подверглись острой критике и слева, и справа. «Мирнообновленцы» терпели одну неудачу за другой — и в столицах, и на периферии. Избиратели ее не воспринимали; администрация относилась с подозрением и неприязнью. В Киеве власти закрыли отдел партии, в Одессе черносотенцы разгромили местное партийное бюро и так далее. В итоге во II Думу «мирнообновленцам» удалось провести лишь трех своих депутатов. Забаллотирован был и граф Гейден. Лидерам партии пришлось констатировать, что «их надежды объединить достаточное число лиц, которым дорого было мирное преобразование нашего государственного строя, представляются неосуществимыми». Газеты писали о Гейдене и его партии, что «они оказались между двумя стульями». Характерно, однако, что провалу Гейдена на выборах не радовались даже противники, «многие из которых чувствовали себя как-то сконфуженными...».

Как и предполагал Гейден, II Дума оказалась еще радикальнее, чем ее предшественница. Граф мало верил в ее жизнеспособность, но, как и все истинные либералы, придерживался тактики «бережения Думы», пытался использовать малейшие шансы, чтобы заложить и в ней основы конституционного центра. Он старательно фиксировал все изменения в конфигурации политических партий, их взаимоотношения: «всякие с.р. и с.-д. оплевывают кадетов, и те перейдут к центру и образуют умеренную массу»; «кадеты только говорят, что идут влево, а в действительности переходят вправо» (и Гейден тут же предлагает Д. И. Шаховскому перейти в свою партию, ибо «кадеты к нам подошли...»).

Однако «мирнообновленцы», имея всего трех депутатов, не могли серьезно влиять на политический расклад во II Думе. Стахович, Искрицкий и Константинов не только отказались создавать фракцию, способную сплотить беспартийных, но и сами сознательно вошли в «беспартийную группу». В конце концов и сам Гейден настолько отчаялся создать «оркестр» в Думе, что махнул на это рукой, меланхолически заметив: «С этим надо мириться и просто ждать лучших времен...»

3 июня 1907 года правительство распустило II Думу, а потом и изменило избирательный закон. «Тяжелые времена переживаем мы из-за глупости правительства», — писал Гейден своему другу А. Ф. Кони. Но его взор уже был устремлен вперед, на III Думу. Многие либералы прочили Гейдена в ее председатели.

Однако родная земская среда кипела раздражением против Гейдена: помещики, напуганные «иллюминациями» и другими эксцессами революции, открыто выражали недовольство либерализмом своего лидера. В ходе работы по организации очередного земского съезда Гейден все больше убеждался в том, что «со многими трудно ладить; дикари, да и только... Многие готовы шипеть против меня». Он не исключал того, что ему придется уйти со съезда, на котором, по его словам, «я опять волею судеб буду левым». Но и в начале июня 1907 года Гейден, как всегда, был деятелен и настроен на лучшее: «Четырнадцатого хотим собрать нашу партию и говорить о подготовительной работе к выборам (в III Думу. — В. Ш.)».

Жизнь внесла свой трагический корректив в новые планы графа. В июне 1907 года, во время земского съезда в Москве (на нем, в отличие от съездов 1904–1905 годов, доминировали не либералы, а консерваторы, что сказалось и на голосовании; за Гей-

дена как председателя было подано лишь 28 записок, а за М. В. Родзянко — 79), граф заболел воспалением легких и умер 15 июня в гостинице «Метрополь». Похоронен он был в своем имении Глубокое в Псковской губернии. При погребении в сельской церкви о нем было сказано, что покойный граф «ярко освещал путь к мирному государственному устройению», «предохранял от того опасного пути, на котором разбросаны подводные камни политических учений», что ему было свойственно «глубокое понимание народного блага...».

Российская либеральная общественность восприняла кончину графа Гейдена как тяжелейшую утрату для страны. В прессе появились десятки некрологов и откликов на его смерть. В них отмечалось, что среди отошедших в вечность общественных деятелей «немного найдется людей, столь единодушно оплакиваемых». Известный философ Е. Н. Трубецкой писал, что «кончина графа Гейдена представляет крупное общественное горе». Его роль в освободительном движении уникальна; в нем ценили живую личность, которая «стояла в центре конституционного движения и для конституционалистов олицетворяла общее всем им знамя». Газета «Биржевые ведомости» писала: «В гробу граф Гейден, „Белый граф“, как многие называли покойного... Не его белые волосы и не серебряная борода — не эта видимая белизна дала повод к такому названию. Человеческая мысль, искреннее чувство, серьезные побуждения, постоянная во всем прямота, непоколебимая вера в истину своих стремлений, преданность работе обновления родины, чистота души, которая не окроплена ни одной каплей лжи или лицемерия, а ведь граф П. А. Гейден был политическим деятелем в это кошмарное время... — вся эта внутренняя белизна создала покойному имя „Белый граф“. И оно останется за ним!»

Полностью разделял это мнение о П. А. Гейдене и вождь кадетской партии П. Н. Миллюков: «Провести эти горячие годы в самом пекле политической борьбы и выйти из нее без малейшей царапины — это счастье, которое достается немногим. Вот почему живые могут только позавидовать умершему. Его жизненный путь окончен — память его будет чиста и нетленна».

Пожалуй, единственным диссонансом в откликах печати на смерть П. А. Гейдена была статья В. И. Ленина «Памяти графа Гейдена (Чему учат народ наши беспартийные демократы?)». Автор не отрицал, что само появление его статьи было вызвано беспрецедентным обилием некрологов о Гейдене и особенно участием в этом хоре социал-демократической газеты «Товарищ», писавшей: «Прекрасный образ покойного Петра Александровича привлекал к себе всех порядочных людей без различия партий и направлений. Редкий и счастливый удел!»

Для начала всех, кто в уважительном духе отозвался о Гейдене, Ленин обозвал «хаммами», «холопами», «дурачками», у которых и «душонка насквозь хамская», и «образованность — лишь разновидность квалифицированной проституции»... Пытаясь дискредитировать образ либерала и гуманиста Гейдена, Ильич явно чувствовал опасность «делу развития классовой борьбы» (ее «растравления», по определению самого П. А. Гейдена). «Налицо, — писал Ленин, — заражение широких масс, способное принести действительный вред, требующее напряжения всех сил социализма для борьбы с отравой».

Парадоксально и горько, что именно ленинская интерпретация идей, имен и событий получила со временем в России статус «официальной истории». Об этом трагическом парадоксе написал в эмиграции Петр Бернгардович Струве. Вспоминая, что ему «выпало счастье полюбить таких людей, как граф Гейден, Д. Н. Шипов, М. А. Стахович и полюбиться им», признавшись в том, что он всю жизнь «боготворил забытого графа П. А. Гейдена», Струве назвал в сущности и главную причину политической неудачи этих русских либералов — основателей Партии мирного обновления: «Партия эта совсем не удалась, „не вышла“ в стране, которая каким-то роком была влекома не к миру, а к вражде и крови».

ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ШИПОВ:
*«Внутреннее устройство личности —
главная основа улучшения и устройства
всего социального строя...»*

СТАНИСЛАВ ШЕЛОХАЕВ

Выдающийся деятель русского земского движения Дмитрий Николаевич Шипов родился 14 мая 1851 года в семье Н. П. Шипова, отставного гвардейского полковника и Можайского уездного предводителя дворянства. После окончания Пажеского корпуса камер-юнкер Д. Н. Шипов поступил в 1872 году на юридический факультет Петербургского университета. Вскоре он женился на Надежде Александровне Эйлер, праправнучке академика Петербургской академии наук Леонарда Эйлера. После окончания университета в 1877 году возвратился с семьей в родовое имение Ботово Волоколамского уезда Московской губернии, где активно включился в хозяйственную и общественную деятельность. В том же году Д. Н. Шипов был избран уездным земским гласным, одновременно исполняя обязанности мирового судьи. В 1891-м его избрали председателем Волоколамской уездной земской управы, а в 1893 году — председателем Московской губернской земской управы. Семья Шиповых переехала в Москву.

По собственному признанию Шипова, его мировоззрение формировалось «на почве воспитанного с детства религиозного сознания» и окончательно сложилось под влиянием двух русских мыслителей — Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого. Разделяя понимание Толстым смысла христианского учения, Шипов не был согласен с отрицательным отношением писателя «к общественным установлениям и к участию в их жизни». Признавая приоритет в человеке за «внутренним устройством личности» и разделяя убеждение, что никакой прогресс немислим, пока не произойдет «необходимой перемены в основном строе образа мыслей большинства людей», Дмитрий Николаевич был твердо убежден в том, что религиозно-нравственное устройство личности и улучшение общественной жизни не только не исключают друг друга, но и составляют единое органическое целое.

Ощущение глубокой взаимосвязи духовной и общественной жизни явилось основой для конструирования Шиповым «идеального» общественно-политического устройства. Дмитрий Николаевич считал, что современный строй русского общества и государства сложился в противоречащих христианскому учению условиях. И так как эти условия являются серьезным тормозом для духовного роста личности, их следует устранить. Поэтому, полагал Шипов, человек по «закону христианской любви» должен всеми своими духовными и нравственными силами «содействовать постепенному обновлению общественного строя в целях устранения из него господства насилия и установления условий, благоприятствующих доброжелательному единению людей».

Признавая «внутреннее устройство личности главной основой улучшения и устройства всего социального строя», Шипов был убежденным сторонником постепенных и ненасильственных реформ, поскольку насильственные преобразования происходят вопреки массовым общественным настроениям и потому не могут быть прочными.

Государство — необходимый элемент общественной жизни — не является, согласно Шипову, самодовлеющей целью своего существования: «Государственный строй и установленный в нем правопорядок должны исходить из признания равенства всех людей и обеспечения каждой личности полной свободы в своем духовном развитии и в своих действиях, не причиняющих ущерба и не производящих насилия по отношению к своим ближним в христианском значении этого слова».

По мнению Шипова, установленные государством правовые нормы имеют целью оградить общество от посягательств со стороны злой воли людей, но, с другой стороны, они находятся в тесной связи со степенью развития нравственного сознания общества. То, что признавалось правильным и было узаконено правовыми нормами в былые времена, с развитием человечества, с ростом его духовного сознания представляется не только устаревшим, но даже преступным.

Не ставя под сомнение историческую необходимость власти с ее функциями принуждения, Шипов вместе с тем подчеркивал, что она «всегда оказывает некоторое развращающее влияние на обладающих ею и вызывает в них нередко склонность к злоупотреблению предоставленной им властью». Сравнивая возможности злоупотреблений властью при единодержавии и при народоправстве, Шипов считал наследственную монархию наиболее оптимальной формой государства. Организация народного представительства и отношения между ним и монархом должны быть созданы «не во имя разделения их прав, а во имя сознания необходимости разделения и наилучшего выполнения лежащих на них обязанностей перед государством, в целях постепенного осуществления в жизни идеалов добра и правды».

Идея самодержавия, которая имела своей основой моральную солидарность государя и народа и воплощалась в Земских соборах, не отождествлялась Шиповым (чьи исторические взгляды были близки раннему славянофильству) с идеей абсолютизма. По его мнению, с воцарением Петра I самодержавие в России утратило свой прежний идейный характер и превратилось в неограниченное самовластие. «Живая связь и взаимодействие, — подчеркивал Шипов, — были нарушены, и государственная власть присвоила себе исключительное право направления всей государственной жизни по своему усмотрению, не считаясь ни с волей, ни с голосом народной совести». Поэтому историческая задача, стоящая перед Россией, заключается в восстановлении «всегда необходимого в государстве взаимодействия государственной власти с населением и в привлечении народного представительства к участию в государственном управлении».

Эти исходные общетеоретические представления были положены Шиповым в основу его общественно-политической деятельности.

Одним из первых начинаний Д. Н. Шипова на посту председателя Московской губернской земской управы был созыв совещания председателей уездных управ 15 апреля 1893 года. В масштабах губернии это был прообраз общероссийского представительства, о котором мечтало не одно поколение земских либералов.

Организаторские способности Шипова на посту председателя ведущей губернской земской управы привлекли внимание властных структур. В начале февраля 1896 года его пригласил в Петербург министр земледелия А. С. Ермолов и предложил занять должность директора департамента земледелия. Как вспоминал сам Шипов, после продолжительной беседы с Ермоловым он поблагодарил министра за предложение, но отказался от высокой должности, так как не чувствовал склонности к административной деятельности — его более привлекала земская работа.

В то время земская общественность стала осознавать принципиальное значение и большую пользу от общения между собой председателей губернских управ, и было решено организовать их периодические совещания для обсуждения наиболее важных вопросов. Переговоры по этому поводу с министром внутренних дел И. Л. Горемыки-

ным были поручены Д. Н. Шипову. Горемыкин сказал, что разрешить подобного рода совещания он не может, но не имеет права запретить частные собеседования председателей управ. Первое такое совещание состоялось 8 августа 1896 года в Нижнем Новгороде — в дальнейшем оно сыграло заметную роль в деле объединения земства.

В начале 1900 года Д. Н. Шипов вступил в кружок «Беседа», созданный в Москве в 1899 году и регулярно в течение шести лет собиравшийся полулегально на квартирах видных общественных деятелей. Выступая на заседаниях кружка, Шипов последовательно отстаивал позицию, согласно которой «всякое государственное преобразование должно совершаться с осторожностью и постепенно, не вызывая обострения политических отношений в стране». По его мнению, необходимость реформы должна быть, с одной стороны, «осознана и признана широкими кругами населения», а с другой — чтобы «необходимые преобразования происходили в условиях, примиряющих с ним государственные и общественные элементы, игравшие руководящую роль в изменяемом государственном строе». В принципе отстаивая идею созыва народного представительства (Земского собора), Шипов тем не менее считал возможным на данном этапе ограничиться введением в состав комиссии при Государственном совете выборных представителей общественных учреждений, что послужило бы первым шагом для «дальнейшего развития народного представительства и для создания его взаимодействия с самодержавной властью на основе сознания обеими сторонами лежащего на них одинакового нравственного долга».

По поручению «Беседы» Шипов подготовил вариант программы предстоящих преобразований из девяти тезисов. Констатируя «ненормальность настоящего порядка государственного управления», выражающегося в отсутствии «взаимного доверия между правительством и обществом», Шипов настаивал на необходимости «свободы совести, мысли и слова»; предоставлении обществу права «доводить до сведения самодержавного государя о своих нуждах и о действительном положении вещей на местах»; привлечении представителей общественных учреждений «к участию при обсуждении законопроектов в комиссиях при Государственном Совете»; чтобы к «обсуждению в центральных государственных учреждениях законопроектов и различных государственных мероприятий привлекались представители общества исключительно по его избранию, так как только при этом условии эти лица могут являться представителями общественного мнения, и будет исключена возможность преднамеренного подбора лиц».

Обсуждение тезисов Шипова вызвало разногласие среди участников «Беседы». Сторонники «идеального самодержавия», Ф. Д. Самарин и другие, усмотрели в требовании привлечения избранных общественных представителей к законодательной деятельности первый шаг для перехода к конституционному режиму, который, по их мнению, был преждевременным. В свою очередь, сторонники более радикальных преобразований, в частности князь С. Н. Трубецкой, князь Пав. Д. Долгоруков, считали идею созыва Земского собора и восстановления «идейного самодержавия» утопичной и настаивали на немедленной замене «приказного строя строем конституционным». В ходе многочисленных дискуссий, проходивших весной–осенью 1901 года, члены кружка «Беседа» так и не пришли к определенному решению.

Оппозиционная деятельность Шипова на посту председателя Московской губернской земской управы вызвала негодование властных структур, и при его избрании на очередное трехлетие 14 февраля 1904 года министр внутренних дел В. К. Плеве не утвердил его в должности. Однако, несмотря на вынужденный переезд из Москвы в Ботово, Шипов продолжил активно участвовать в земском движении.

После убийства эсерами В. К. Плеве и назначения на пост министра внутренних дел князя П. Д. Святополк-Мирского, казалось, можно было надеяться, что идея организации съездов земских деятелей, созревавшая в либеральных общественных кругах,

не встретит со стороны правительства прежнего непримиримого к ней отношения. 8 сентября 1904 года председателем Московской губернской земской управы Ф. А. Голвиным было созвано Организационное бюро земских съездов, на заседании которого было решено провести в Москве 6–7 ноября 1904 года съезд земских деятелей, где предстояло рассмотреть вопрос об общих условиях государственной жизни и желательных в ней изменениях.

1 ноября, за пять дней до съезда, когда уже были оповещены земские и городские деятели, а значительная часть их прибыла в Москву, было получено известие о том, что съезд не разрешен. Однако Организационное бюро решило проигнорировать правительственное запрещение и полулегально провести съезд в Петербурге. Его заседания начались 6 ноября 1904 года и продолжались в течение четырех дней. Они проходили на квартирах видных общественных деятелей И. А. Корсакова, А. Н. Брянчанинова и В. Д. Набокова. Председателем съезда единогласно был избран Шипов.

Ноябрьский съезд 1904 года оказался весьма представительным. В его заседаниях приняло участие 105 делегатов от 33 губерний. Это был цвет русского земства. Среди делегатов было семь князей, два графа, два барона, семь предводителей дворянства. Ноябрьский съезд и последующие за ним события явились важным этапом, отражающим, с одной стороны, углубляющуюся политическую дестабилизацию в стране, а с другой — дальнейшую дифференциацию в русском либерализме, приведшую вскоре к его расколу на два крыла — консервативное и радикальное. Либерал-консерваторы во главе с Шиповым, опиравшиеся на умеренную формулу: «Царю власть, народу мнение», оказались в меньшинстве.

Потерпев поражение на ноябрьском съезде, Шипов с группой единомышленников (князь П. Н. Трубецкой, князь В. М. Голицын, князь Г. Г. Гагарин, М. А. Стахович) разработали и предложили на суд общественности собственную программу реформ, изложенную в брошюре «К мнению меньшинства частного совещания земских деятелей 6–8 ноября 1904 года». Суть ее заключалась в следующем: во-первых, народное представительство «не должно иметь характера парламентарного, с целью ограничения царской власти, но должно служить органом выражения народного мнения, для создания и сохранения всегда тесного единения и живого общения царя с народом»; во-вторых, «народное представительство должно быть организовано как особое выборное учреждение — государственный Земский совет». В программе подчеркивалось, что «народное представительство должно быть построено не на всеобщем и прямом избирательном праве, а на основе реформированного представительства в учреждениях местного самоуправления, причем последнее должно быть распространено по возможности на все части Российской империи». В функции Земского совета входило: 1) обсуждение государственного бюджета; 2) рассмотрение законопроектов и отчетов по исполнению государственной росписи и деятельности ведомств; 3) возбуждение вопросов о необходимости новых законов или изменения старых; 4) право запросов министрам.

Однако эта умеренная программа преобразования государственного строя России не встретила поддержки ни со стороны Организационного бюро земских съездов, в котором руководящая роль принадлежала конституционалистам, ни со стороны либеральной общественности, группировавшейся вокруг «Союза освобождения» и «Союза земцев-конституционалистов».

Революция 1905 года разрушила надежды на мирное урегулирование конфликта между властью и либеральной оппозицией. Либералы вынуждены были отказаться от ожидания «эпохи великих реформ» и совершить тактическую переориентировку: от попытки уговорить правительство и царя провести реформы «сверху» к попытке убедить леворадикальные группы умерить свои требования и согласиться на совместные действия с либеральной оппозицией.

Между тем Д. Н. Шипов еще некоторое время сохранял надежду на то, что ему все же удастся убедить хотя бы часть земских деятелей в бесперспективности выдвижения радикальных требований, которые могут заставить правительство отказаться от намечаемых реформ и возвратиться на путь репрессивной борьбы с либеральной оппозицией. Вполне закономерно, что после издания Манифеста 17 октября 1905 года Шипов одним из первых согласился принять участие в переговорах с премьер-министром С. Ю. Витте о формировании нового состава правительства.

Витте предложил Шипову, пользующемуся большим доверием в широких кругах населения, занять в формирующемся правительстве пост государственного контролера. Согласившись, Дмитрий Николаевич тем не менее посоветовал премьер-министру пригласить в состав кабинета не только «представителя правого крыла земства», как он сам себя называл, но и деятелей более либерального направления, что способствовало бы созданию «атмосферы доверия со стороны общества». 23 октября 1905 года в Петергофе состоялась встреча Дмитрия Николаевича с Николаем II, на которой Шипов вновь повторил идею о желательности привлечения к участию в государственном управлении не одного человека, а целой группы лиц, принадлежащих к «различным течениям политической мысли». Только при этом неременном условии, по его мнению, в России установится «необходимое между правительством и обществом доверие» и общество получит уверенность в возможно полном осуществлении прав, дарованных ему Манифестом 17 октября. Однако назначение общественных деятелей в правительство не последовало.

6–13 ноября 1905 года в Москве состоялся съезд земских и городских деятелей, по существу завершивший процесс идейно-политической дифференциации в либеральной среде, распавшейся на различные партийные группировки. Еще в октябре 1905 года была создана конституционно-демократическая партия, в которую вошли радикальные земцы и представители интеллигенции. Относительно умеренные элементы земско-городских съездов приступили к формированию партии октябристов. Учредителями «Союза 17 октября» стали Д. Н. Шипов, граф П. А. Гейден, А. И. Гучков, М. В. Красовский, М. А. Стахович, князь Н. С. Волконский и другие. Шипов был избран первым председателем «Союза 17 октября».

Обострившаяся конфликтная ситуация между I Думой и правительством И. Л. Горемыкина привела к возобновлению переговорного процесса между властью и представителями либеральной общественности. 27 июня 1906 года состоялась встреча министра внутренних дел П. А. Столыпина с Шиповым. В ходе беседы Столыпин заявил о возможности образования коалиционного кабинета под председательством Шипова. Предполагалось, что в правительство войдут как приглашенные Шиповым общественные деятели, так и представители бюрократических кругов, в том числе и сам Столыпин. Однако лидеры кадетской партии во главе с П. Н. Милюковым не поддержали предложение Столыпина о создании коалиционного кабинета под председательством Шипова, ибо, ведя параллельные переговоры со Столыпиным и Д. Ф. Треповым, рассчитывали на создание своего кабинета министров.

Итак, Шипов, отстаивавший идею создания кабинета из представителей кадетского большинства I Думы, отрицательно отнесся к предложению Столыпина возглавить правительство и отказался войти в его состав. По мнению Шипова, они со Столыпиным принципиально расходились в понимании текущих и перспективных задач правительственной власти. «Я, — вспоминал Шипов о Столыпине, — вижу в нем человека воспитанного и проникнутого традициями старого строя, считаю его главным виновником роспуска Государственной думы и лицом, оказавшим несомненное противодействие образованию кабинета из представителей большинства Государственной Думы; не имею вообще никакого доверия к П. А. Столыпину и удивляюсь, как он,

зная хорошо мое отношение к его политике, ищет моего сотрудничества». Программа Шипова, его требование о предоставлении либеральной оппозиции перевеса в правительстве были отвергнуты сначала Столыпиным, а затем и Николаем II.

Незадолго до открытия II Государственной думы Шипов сложил с себя обязанности председателя Центрального комитета «Союза 17 октября». Председателем ЦК стал А. И. Гучков, уже давно заявивший себя последовательным сторонником правительственного курса, включавшего жесткие репрессивные методы борьбы с обществом. Шипова до глубины души возмутило введение в стране военно-полевых судов, которые поддержал Гучков. 7 ноября 1906 года он опубликовал в газете открытое письмо Гучкову, в котором объяснял свое несогласие с проводимым им курсом и заявлял о своем выходе из состава «Союза 17 октября»: октябристы по существу превратились в правительственную партию, с которой Шипову было уже не по пути.

После роспуска II Думы многие общественные деятели, исповедовавшие те же взгляды, что и Шипов, оказались в трудном положении. Перед Шиповым со всей остротой встал вопрос об отказе от участия в активной политической деятельности. Однако принять такое решение для него оказалось непросто. Как вспоминал он впоследствии, «устранясь от активных политических выступлений, я, однако, не мог, в предвидении надвигающейся катастрофы, не сознавать своего долга посылить содействовать осуществлению всякого рода попыток объединения в стране всех прогрессивных элементов».

Выйдя из «Союза 17 октября», Шипов одно время принимал участие в создании нового политического объединения — Партии мирного обновления, костяк которой составляли хорошо ему известные умеренные либералы — граф П. А. Гейден, И. Н. Ефремов и Н. Н. Львов. Лидеры новой партии выступали против правительственного произвола, настаивали на мирном разрешении конфликта между властью и обществом. «Осуждение произвола и насилия, от кого бы они ни исходили, — вспоминал Шипов, — легло в основу вновь образуемой партии».

Однако уже в скором времени учредителям партии пришлось убедиться в том, что их надежды объединить достаточное число лиц, которым дорого было мирное преобразование государственного строя, неосуществимы. Шипов, выставивший свою кандидатуру на проводившихся по новому закону выборах в III Думу, оказался слишком либеральным и не только не был избран депутатом, но и не попал в число выборщиков губернского избирательного собрания. Это было последней каплей, переполнившей чашу его терпения. На этот раз он принял окончательное решение вообще отказаться от политической деятельности и вновь сосредоточиться на земской работе. Но и участие в работе губернского земства, и деятельность в Московской городской думе уже не приносили ему должного удовлетворения, и Шипов принял решение о сложении с себя полномочий земского гласного.

В феврале 1911 года Шипов принял предложение М. И. Терещенко стать управляющим «Товарищества братьев Терещенко» по производству сахара с окладом 30 000 рублей в год. Оставив детей в Москве, Д. Н. и Н. А. Шиповы переехали в Киев. Можно предположить, что Шипов возвратился из Киева в Ботово в начале Первой мировой войны. Здесь он завершил работу над мемуарами «Воспоминания и думы о пережитом», которые вышли в свет в московском издательстве Сабашниковых уже после большевистского переворота.

Закончив работу над мемуарами в мае 1918 года, Д. Н. Шипов переехал в Москву. Известно, что в первой половине 1918 года было создано несколько оппозиционных большевикам подпольных объединений, в том числе и Всероссийский национальный центр, созданный тремя влиятельными членами ЦК кадетской партии — Н. И. Астровым, В. А. Степановым и Н. Н. Щепкиным. В руководящее ядро Центра ими

был приглашен и Д. Н. Шипов, который с ноября 1918 года по апрель 1919-го, после отъезда на Юг многих основателей Центра, исполнял функции председателя московского отделения.

При непосредственном участии Шипова была разработана и принята программа, включавшая следующие пункты: «борьба с Германией, борьба с большевизмом, восстановление единой и неделимой России, верность союзникам, поддержка Добровольческой армии, как основной русской силы для восстановления России, образование всероссийского правительства в тесной связи с Добровольческой армией и творческая работа для создания новой России, форму правления которой может установить сам русский народ через свободно избранное им народное собрание».

Национальный центр энергично занимался разработкой законодательных проектов по всем отраслям государственного управления (экономике, финансово-кредитной системе, железнодорожному транспорту, рабочему, аграрному и национальному вопросам). «Национальный центр, — писал Н. И. Астров, — полагал, что недостаточно сломить большевиков, но одновременно необходимо создать условия, обеспечивающие быстрое восстановление нормальной жизни в опустошенной большевиками стране».

Однако с весны 1919 года деятельность Национального центра стала все менее удовлетворять Шипова. Совещания Центра, отмечал Котляревский, «казались ему достаточно академическими и бесплодными... В разговорах с членами совещания Шипов больше ссылся на свое здоровье, но не скрывал и своих разочарований».

Согласно имеющимся в нашем распоряжении материалам ЦА ФСБ, Шипов первый раз был арестован Московской ЧК в ночь с 29 на 30 августа 1919 года и был конвоирован в Бутырскую тюрьму. Однако имеющихся в распоряжении ЧК материалов было явно недостаточно для начала крупномасштабного расследования, и 19 сентября Д. Н. Шипов был освобожден из тюрьмы.

В ночь с 21 на 22 октября Шипов был вновь арестован, но на этот раз Особым отделом ВЧК, был конвоирован во внутреннюю тюрьму Особого отдела ВЧК на Лубянке и помещен в общую камеру размером в шесть аршин, где сидело восемь человек заключенных. Никаких обвинений ему предъявлено не было. Три раза (25 октября, 1 и 11 ноября 1919 года) Дмитрий Николаевич обращался с заявлениями в Президиум Особого отдела ВЧК с просьбой ускорить рассмотрение его дела. Так, в своем заявлении от 11 ноября он писал: «Я остаюсь в полном неведении о причинах моего задержания, ввиду этого прошу Президиум на основании 2 пункта декрета ВЦИК об амнистии сделать распоряжение о моем освобождении, приняв во внимание: мою старость (68 лет), мое болезненное состояние и сильно развивающийся упадок сил за время моего заключения. Дальнейшее задержание меня грозит подорвать окончательно мое здоровье и мою работоспособность».

6 ноября в Особый отдел поступила записка за подписью Ф. Э. Дзержинского, в которой сообщалось, что допрошенный в Президиуме ВЧК некий моряк Яновский дал показания, что Д. Н. Шипов являлся председателем Национального центра. В три часа ночи 12 ноября Шипова вызвали на допрос, который проводили известные лубянские следователи В. Аванесов и К. Ляндер. Об этом ночном допросе Шипов подробно рассказал в одном из писем: «Аванесов и Ляндер начали с заявления, что им все известно о моем участии в Национальном центре и что поэтому мне лучше рассказать все откровенно. Я выразил сожаление, что они поспешили составить себе предвзятое мнение, и попросил объяснить, на чем основывается их предположение. Они указали на какие-то бумажки на столе, говоря, что в них содержатся указания ряда лиц, назвали имена и фамилии каких-то юных офицеров, мне совершенно неизвестных». 15 ноября 1919 года состоялся второй допрос, который также закончился безрезультатно: Шипов

категорически отрицал свое участие в деятельности Национального центра. 19 ноября 1919 года он был переправлен под конвоем в Бутырскую тюремную больницу на Лесной улице.

В своих письмах Д. Н. Шипов подробно рассказал о своих тюремных мытарствах. «Условия заключенных там (имеется в виду внутренняя тюрьма Особого отдела ВЧК. — С. III.) ужасные и могут быть характеризованы как ограниченное мучительство арестованных в материальном и моральном отношениях и как постоянное издевательство над их человеческим достоинством. Благодаря таким условиям болезни среди арестованных быстро распространяются и получают угрожающее для жизни арестованных развитие. Администрация на это никакого внимания не обращает, и больных отправляют в больницу очень поздно». В Бутырской тюремной больнице условия были чуть лучше, но, как писал Шипов, и здесь «нет медикаментов и перевязочных средств». «Силы с каждым днем оставляют, а с 5 декабря я все время лежу, с трудом пробираясь в уборную. Но сейчас я еще в силах, если буду освобожден, дотащить до извозчика и как-нибудь возвратиться к себе на шестой этаж. Но если мое освобождение задержится еще несколько дней, то тогда и оно окажется запоздалым и придется издыхать здесь».

13 января 1920 года Ляндер подготовил заключение по делу Шипова: «Согласно показаниям, а также по данным дела о Национальном центре, Д. Н. Шипов является одной из центральных фигур Национального центра, в качестве старого земского деятеля возглавляющим эту организацию. Хотя следствием документально не установлено, но ряд данных приводит к заключению, что Д. Н. Шипов намечался на пост председателя Национального центра и должен был войти в состав правительства по захвате заговорщиками власти в Москве. Установлено сношение Шипова с отделами Национального центра в провинции. Исходя из данных следствия по настоящему делу и принимая во внимание, что хотя активная деятельность Д. Н. Шипова по Национальному центру не установлена, но как политическая фигура он возглавлял эту организацию, находился в связи с видными деятелями ее, — его, Д. Н. Шипова, как видного политического деятеля враждебного нам лагеря, имеющего тесные связи с Национальным центром и крупного заложника, — заключить в концентрационный лагерь до окончания гражданской войны».

Однако об этом постановлении Д. Н. Шипов уже не узнал. 14 января 1920 года в пять часов утра он умер в Бутырской тюремной больнице от катарального воспаления легких. Родные обратилась в Особый отдел ВЧК с просьбой выдать тело умершего для захоронения. Эту просьбу ВЧК удовлетворила. Похоронен Дмитрий Николаевич в фамильном склепе Шиповых на Ваганьковском кладбище в Москве.

СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ МУРОМЦЕВ:
*«Великий труд на благо
избравшего нас народа...»*

АНДРЕЙ МЕДУШЕВСКИЙ

Одно из центральных мест в истории русского либерализма конца XIX — начала XX века, безусловно, принадлежит Сергею Андреевичу Муромцеву, видному теоретику правового государства, признанному главе конституционного движения в России, одному из лидеров кадетской партии, председателю I Государственной думы.

С. А. Муромцев родился 23 сентября 1850 года в Петербурге в семье гвардейского офицера. Его детство проходило в имении, расположенном в Новосильском уезде Тульской губернии. В десять лет он стал свидетелем обсуждения крестьянской реформы и отмены крепостного права в России. Эти события мальчик живо обсуждал с дядей, убежденным сторонником либеральных преобразований. Именно с этого времени можно говорить о формировании политических убеждений Муромцева, которым он оставался верен в течение всей жизни. Эти убеждения впоследствии интерпретировались многими современниками как классический либерализм старой русской интеллигенции — представление о решающей роли индивидуальной политической свободы и возможности ее достижения путем реформирования традиционного социального строя самим государством. Главной целью становилось создание правового государства, а средством его достижения — просвещение общества. Эти общие принципы эпохи Великих реформ отразились в игре, которую придумал десятилетний мальчик, — игре в идеальное государство, где торжествуют либеральные принципы политической свободы. Две беседки в саду стали центром воображаемого парламента: в одной располагалась палата народных представителей, обсуждавшая и составлявшая новые законы, в другой — верхняя палата, необходимая для корректировки этих законов. Происходящие в имении события подробно и точно отражались в газете, издание которой также стало частью этих игр... Речь шла фактически о моделировании политического кризиса при переходе к демократии.

Проявившийся в детстве серьезный интерес к государственному устройству подкреплялся чтением и наблюдением за формированием новых демократических учреждений. Еще в гимназические годы Муромцев посещает заседания окружного суда, Московского земского собрания, убеждает отца в необходимости выдвинуть свою кандидатуру в председатели съезда мировых судей. Однако главную свою задачу он видит в изучении юриспруденции как единственной науки, способной сформировать новое политическое и гражданское мировоззрение. Еще студентом (в 1869 году) размышляя об избранной жизненной стратегии, он писал, что через шесть лет приготовит свое главное научное сочинение, через семь-восемь — начнет читать лекции в университете в качестве профессора, а затем прогнозировал кризис в своих отношениях с властью — «повеление об отставке за распространение либерализма». Этот юношеский прогноз оказался на редкость точным.

По окончании курса наук в московской Третьей гимназии с золотой медалью Муромцев поступил на юридический факультет Московского университета. Введенный

в России «Судебными уставами» состязательный судебный процесс отразился в самостоятельных практических занятиях студентов. Одним из нововведений были так называемые «пробные судебные заседания», о которых сам Муромцев (чаще всего берущий на себя роль «председательствующего») вспоминал: «Дело устраивается таким образом: желающие принимают на себя роли председателя суда, членов его, прокурора, адвоката, защитников и присяжных; выбирается дело из старой практики и решается по новому порядку...» Пересмотр старых (дореформенных) дел «по новому порядку» способствовал, конечно, распространению либеральных принципов юриспруденции.

По окончании университета Муромцев «за отличные успехи в науках» был утвержден в степени «кандидата права» и оставлен при факультете на два года «для усовершенствования в науках и приготовления к профессорскому званию». Ряд лет он провел за границей, работая преимущественно в Германии, но также и в других странах Европы (в письмах он рассказывает о поездках в Константинополь, Афины, Рим).

В 1875 году состоялась защита Муромцевым диссертации «О консерватизме римской юриспруденции», которая выявила противоречивость настроения профессуры на правовом факультете. «Я, — писал Муромцев, — приступил к исканию магистерской степени при сочувствии молодой партии (довольно многочисленной, но по голосам еще слабой, ибо не все профессора, а лишь доценты) и при сильном недоброжелательстве стариков, которые старались всячески мне противодействовать, оттягивая день экзаменов и тому подобное. Диссертацию хотели, но не могли не пропустить, и вот 5 апреля состоялся диспут, и он, сверх ожидания недоброжелателей, окончился блистательно, и они первые поспешили предложить мне кафедру». Муромцев был утвержден в степени магистра гражданского права и стал доцентом университета по кафедре римской словесности, получив в связи с этим чин надворного советника. Практически это означало чтение лекций (четыре часа в неделю) с окладом в 1200 рублей.

Защита следующей диссертации — «Очерки общей теории гражданского права» — дает Муромцеву степень доктора гражданского права (1877) и звание профессора (1878) с окладом 3000 рублей, что позволяло вести вполне обеспеченную жизнь и иметь достаточно свободного времени для научной работы. Вскоре Муромцев избирается (1880) председателем Юридического общества при Императорском московском университете, став сначала секретарем юридического факультета, а затем и проректором университета (утвержден в феврале 1881 года сроком на три года). В признание его заслуг, Муромцеву был «всемилодивейше пожалован» орден Св. Станислава 2-й степени (январь 1881 года).

Однако уже в августе 1881 года, то есть спустя всего несколько месяцев после гибели Александра II, Муромцев увольняется от должности проректора, а вскоре приказом министра народного просвещения от 22 августа увольняется и от должности профессора университета. В его архиве сохранился официальный документ с указанием причин отставки. Это «копия отношения окружного инспектора ректору Московского университета об увольнении проф. Муромцева С.А. ввиду его политической неблагонадежности»... С. А. Муромцев смог вернуться к преподаванию лишь двадцать лет спустя, когда в июне 1906 года вновь был утвержден профессором Московского университета по кафедре гражданского права.

Муромцев был, несомненно, цельной личностью, человеком одной идеи. Это видно по его лекциям, о которых сохранились воспоминания современников. Все они отмечают не только глубину и разносторонность его знаний, но и его попытку донести до слушателей либеральные ценности. Целью лекций Муромцева было формирование нового либерального общественного сознания. Свои либеральные принципы Муромцев активно проводил и в работе Юридического общества при Московском университете. Общество, объединявшее профессоров, адвокатов и студенчество, позво-

ляло преодолеть формальные рамки бюрократической иерархии учебного процесса и в этом смысле само становилось важным институтом гражданского общества. Именно в рамках Юридического общества, где велись дискуссии по принципиальным вопросам теории и практики правовых реформ, Муромцев впервые проявил себя как общественно-политический деятель, стала очевидна способность рассмотреть всякий конкретный вопрос в общей перспективе государственного развития. Неотъемлемой частью этой деятельности стала работа Муромцева по изданию журнала «Юридический вестник», где отражались дискуссии в правовой науке, давалась критическая оценка новых идей и инициатив. «Я хочу придать этому журналу новый, живой характер, как в научном отделе, так и в практическом, — писал Муромцев. — Стараюсь завести организованную правильно судебную хронику и в ней бросить в нашу практику судов и адвокатов семена новых практических идей, взглядов, более благотворных, нежели те, кои руководят практикой теперь». Эта деятельность сделала Муромцева значимой общественной фигурой, определила его особый статус в университетской среде.

Именно Юридическое общество и «Юридический вестник» стали теми центрами, вокруг которых группировалась либеральная интеллигенция и рассматривались планы нового государственного устройства. В условиях, когда проекты конституционной реформы не могли обсуждаться открыто, неформальный характер научных и политических дискуссий в Обществе позволил заявить важнейшие идеи либеральной программы. Объективно неизбежные политические реформы, считал Муромцев, не должны застать общество врасплох. Необходима поэтому большая подготовительная работа по введению новых институтов народного представительства. Эта работа должна заключаться в создании важнейших законопроектов, призванных заложить основы конституционного строя. Муромцев и его коллеги исходили при этом из идеи радикальной реформы, движущей силой которой должно быть само правительство.

Это убеждение нашло выражение в составленной Муромцевым и рядом других общественных деятелей развернутой записке «О внутреннем состоянии России весной 1880 года», опубликованной позднее в «Вестнике Европы» (апрель 1881-го). Данная записка, поданная М. Т. Лорис-Меликову в марте 1880 года и получившая распространение в рукописном виде, содержала критический анализ государственного устройства и усматривала выход из положения во введении представительного правления — призвании избранных представителей народа к участию в управлении и предоставлении свободы выражению общественной мысли. «Вывести нашу страну из того заколдованного круга, в который она попала, не может ничто, кроме призыва в особое самостоятельное собрание представителей земства к участию в государственной жизни и деятельности, с прочным обеспечением прав личности на свободу мысли, слова и убеждения». Русское общество, заявляли авторы записки, не менее Болгарии «созрело для свободных учреждений» и чувствует себя униженным, что его так долго держат в опеке. В созыве представительного учреждения виделся основной способ остановить деятельность враждебных государству («анархистских») партий.

Это был фактически первый набросок либеральной земско-конституционной реформы. Поданная в период активного обсуждения политических преобразований в правительственных сферах данная записка и связанные с ней неформальные переговоры С. А. Муромцева с ведущими представителями правящей либеральной элиты апеллировали к просвещенной бюрократии и видели в ней возможного инициатора реформ. Резкое изменение политического курса после убийства Александра II народо-вольцами и отказ правительства от либеральных реформ сделали реализацию данной программы невозможной. Окончательное отстранение Муромцева от должности профессора в 1884 году явилось лишь внешним выражением этих перемен.

Невозможность открыто заниматься наукой и политикой побудила Муромцева искать другие сферы деятельности. В отличие от многих профессоров он не эмигрировал за границу, но попытался реализовать себя в практической юридической работе. Муромцев стал присяжным поверенным и в то же время гласным Московской городской думы, Московского и Тульского губернских земских собраний.

Муромцев видел в земстве прежде всего политический институт. Этим объясняется его критика, во-первых, узкословных (помещичьих) тенденций в деятельности земства, во-вторых, плоский и приземленный характер рассмотрения местных вопросов и, в-третьих, отсутствие гласности в работе учреждений местного самоуправления. Развивая концепцию «всесловной волости», Муромцев видел в ней инструмент разрешения аграрного конфликта, преодоления межсловных противоречий и завершения крестьянской реформы. Традиционалистский характер российского земства, затруднявший его реформирование, не оттолкнул Муромцева от участия в практической работе. Если суммировать его вклад в этой области в 1880-е и особенно 1890-е годы, становится очевидно, что он состоял в отстаивании прав личности (права собственности, налоги, вопрос об отмене телесных наказаний и так далее), распространении просвещения (экономических, технических и медицинских знаний), а также юридической и финансовой экспертизе принимаемых решений.

Земская деятельность Муромцева была неразрывно связана и с его работой в Московской городской думе. Муромцев не являлся, конечно, экспертом в области городского хозяйства. Областью его специализации становились, однако, не менее важные вопросы правовой квалификации принимаемых решений. Муромцев много сделал для разработки правовых основ деятельности самой городской думы — структуры общего собрания, разрешения коллизий между ним и председателем, определения компетенции различных комиссий, техники ведения дел. В поле его зрения находились вопросы прав думы по отношению к администрации генерал-губернатора, права гласных, регламент дискуссий. Не случайно современники называли заседания городской думы с участием Муромцева «школой парламентаризма». Очевидно, что наблюдения и опыт этой работы нашли впоследствии выражение в составленном Муромцевым проекте Наказа Государственной думы и его деятельности в качестве ее первого председателя.

Важным самостоятельным направлением деятельности для Муромцева стала адвокатура. 13 октября 1884 года он был принят в число присяжных поверенных Московского округа, через три года (1887) стал членом Московского совета присяжных поверенных, а затем и товарищем председателя. С начала 90-х годов имя Муромцева как адвоката приобретает значительную известность. Судебная реформа и созданный ей состязательный судебный процесс делали адвокатуру важным самостоятельным институтом гражданского общества, где объективно сосредоточивались лучшие силы российской юриспруденции. Будучи ведущим теоретиком права, специалистом по римскому гражданскому праву и вообще юристом-сцивилистом, Муромцев рассматривал адвокатскую практику как один из инструментов создания нового либерального правосознания. Этим объясняется также его представление о творческой роли судьи и адвоката в толковании и применении права — тезис, традиционно противостоящий догматической юриспруденции с ее культом вечности и неизменности правовых норм и формального следования букве закона. Рассматривая нравственную сторону всякого правового процесса как первостепенную, Муромцев, в отличие от большинства других адвокатов, не считал возможным, однако, воздействовать на суд с помощью эмоциональных аргументов. Его красноречие носило строгий и точный характер, а аргументация строилась на логике и фактах. Это обстоятельство исследователь адвокатской деятельности Муромцева (И. А. Кистяковский) считает нетипичным и даже уникаль-

ным в русской адвокатуре. «При спокойном отношении к суду, при внутреннем желании получить от суда добросовестный ответ по спорному вопросу, — констатировал он, — Муромцев не позволял себе увлекать суд в свою пользу. Он принципиально отрицал лиризм в гражданском процессе, не позволял себе восстанавливать суд против личности противника или, напротив, возбуждать в суде ненужную жалость к своему доверителю. Он стремился помочь суду разобраться в спорном вопросе, он желал прежде всего разяснить дело. Помимо его воли, выходило так, что на его делах учились слушавшие его, учились его противники, а порою учился суд, воспринимая правду его мыслей». Это был, по выражению современников, «адвокат разума».

В условиях первой русской революции (1905–1907) либеральное движение постаралось выработать варианты будущей российской конституции. Один из проектов принадлежал «Союзу освобождения»; в его разработке приняли участие крупнейшие петербургские и московские юристы — Н. Ф. Анненский, В. М. Гессен, И. В. Гессен, П. И. Новгородцев, Ф. Ф. Кокошкин, С. А. Котляревский. Критики отмечали, однако, что этот проект имел ряд недостатков: он страдал очевидным смещением демократических лозунгов и четких юридических формул, не содержал решения или регламентации ряда важнейших социальных и национальных проблем. Не разработана была и тактическая сторона — дается ли конституция монархом, или она является результатом народного волеизъявления и имеет соответственно договорную природу. Все это в результате привело к появлению другого проекта, получившего название «конституции Муромцева», который стал теоретической основой последующего конституционного движения в России.

Работа над новым конституционным проектом велась под руководством С. А. Муромцева сначала в Москве, а затем в его доме в Царицыне. Наиболее активным сотрудником Муромцева стал представитель молодого (и более радикального) поколения русских конституционалистов Ф. Ф. Кокошкин, вышедший из либеральной среды юрист, общественный деятель и крупнейший эксперт в области государственного права. Наряду с ним в работе над проектом принимали участие такие видные деятели земского движения, как Н. Н. Щепкин и Н. Н. Львов. В июле 1905 года проект Муромцева был принят земским съездом «в принципе» и стал затем предметом обсуждения и развития в либеральной публицистике.

Содержательный анализ политической концепции С. А. Муромцева показывает, что он исходил главным образом из опыта монархического конституционализма стран Европы, прежде всего Германии, и стремился по мере возможности максимально согласовать его с российской политической традицией. Пытаясь обеспечить эволюционный порядок перехода от абсолютизма к конституционной монархии, Муромцев, как и многие другие либералы, считал наиболее целесообразным введение в России конституционного строя путем ряда реформ сверху, последовательно осуществляемых самой монархической властью. Подобная модель политического развития позволяла избежать радикальной революционной ломки государственного строя и осуществить легитимный переход к новой (конституционно-монархической) политической системе в рамках существующего законодательства, его последовательного преобразования и наполнения новым политическим содержанием. В теории государственного права данный тип конституционализма противопоставлялся революционным конституциям и получил характерное название «октроированных конституций». В истории стран Европы он представлен был во Франции Конституционной хартией 1814 года, конституциями отдельных германских государств, принятых в первой трети XIX века, актами Пруссии 1851 года, Северо-Германского союза, наконец, в конституции Германской империи 1871 года. Среди важнейших источников конституционных воззрений Муромцева следует указать также Бель-

гийскую конституцию 1831 года, а в ряде областей также болгарский опыт конституционализма, представлявший особый интерес для русских либералов. В качестве исходного пункта работы над конституцией Муромцеву служил уже упомянутый проект «Основного государственного закона Российской империи», составленный в октябре 1904 года «Союзом освобождения» и напечатанный П. Б. Струве в марте 1905 года в парижском журнале «Освобождение».

Конституционный проект С. А. Муромцева был впервые опубликован 6 июля 1905 года в газете «Русские ведомости» наряду с составленным им же проектом избирательного закона под общим названием «К вопросу об организации будущего представительства». «Конституция Муромцева» декларировала неприкосновенность основных политических прав личности и общества и возможность их ограничений лишь в соответствии с законом и согласно процедуре, установленной законом. Фактически это был полный кодекс норм правового государства, основной принцип которого выражается известными словами Монтескье — свобода для индивида делать то, что позволяют законы, и обязанность воздерживаться от того, что законы запрещают.

Предложенная в проекте модель государственного устройства России представляла собой конституционную монархию, призванную совместить сильную исполнительную власть (сконцентрированную в руках монарха) и развитое народное представительство. По мнению умеренных конституционалистов, эта модель оказывалась идеальной формой, позволяющей объединить силы либерального общественного движения и бюрократии для осуществления политических и социальных реформ.

Конституционный проект С. А. Муромцева оказал несомненное влияние на введенные в России в начале 1906 года «Основные законы», хотя, как отмечали современники, более он повлиял на их внешнюю форму и редакцию, чем на сущность. По справедливому наблюдению Ф. Ф. Кокошкина, это влияние могло бы оказаться гораздо сильнее, если бы конституция была введена еще в 1905 году, одновременно с Манифестом 17 октября или сразу после него. Но акты 20 февраля 1906 года, установившие важнейшие положения действующего государственного права, и акт 23 апреля 1906 года, принятый в развитие этих положений, возникли уже в другой политической обстановке, когда правительство в условиях спада революции получило возможность менее считаться с либеральной оппозицией.

Конституционная программа С. А. Муромцева стала основой организации и деятельности I Государственной думы. Будучи избранным депутатом Думы от Москвы, Муромцев практически единодушно (426 записками из 436) был избран председателем Думы и оставался им 72 дня вплоть до ее роспуска 9 июля.

Присутствовавшая на открытии Думы будущий член ЦК кадетской партии А. В. Тыркова вспоминала: «Красавец Таврический дворец, проснувшийся от векового сна, выглядел щеголем... На председательском месте сидел С. А. Муромцев. Не сидел — восседал, всем своим обликом, каждым движением, каждым словом воплощая величавую значительность высокого учреждения... Красивый, с правильными чертами лица, с седой, острой бородкой и густыми бровями, из-под которых темнели выразительные глаза, Муромцев одним своим появлением на трибуне призывал к благообразию... Голос у него был ровный, глубокий, внушительный. Он не говорил, а изрекал. Каждое его слово, простое его заявление... звучало, точно перед нами был шейх, читающий строфы из Корана...» Схожее впечатление произвел Муромцев-председатель и на еще одного кадетского лидера — знаменитого историка А. А. Кизеветтера: «Я присутствовал на втором заседании Думы. Как прекрасен был вид стильной залы Потемкинского дворца, превращенный в амфитеатр!.. Муромцев во фраке, торжественный и величественный, председательствовал так импозантно, что один крестьянский депутат сказал умиленно: „Словно обедню служит...“»

Кредо Муромцева-председателя было изложено в его исторической программной речи при открытии Думы: «Совершается великое дело, воля народа получает свое выражение в форме правильного, постоянно действующего, на неотъемлемых законах основанного законодательного учреждения. Великое дело налагает на нас и великий подвиг, призывает к великому труду. Пожелаем друг другу и сами себе, чтобы у всех нас достало достаточно сил для того, чтобы вынести его на своих плечах на благо избравшего нас народа, на благо родины. Пусть эта работа совершится на основах подобающего уважения к прерогативам конституционного Монарха и на почве совершенного осуществления прав Государственной Думы, истекающих из самой природы народного представительства».

Проводя эти принципы на практике, Муромцев столкнулся с задачами огромной сложности. Главное условие парламентаризма — наличие отлаженной парламентской процедуры, принятой всеми политическими партиями, — отсутствовало. В расколоте российском обществе не существовало согласия по самым принципиальным вопросам — о легитимности Думы, отношении к ней и способам работы в ней. Стремление бойкотировать Думу или использовать ее исключительно для целей идеологической пропаганды со стороны крайних партий, отсутствие ясных представлений о характере и значении законодательной работы у многочисленного депутатского собрания, игра амбиций партийных фракций и их лидеров, наконец, открытое неприятие Думы со стороны бюрократии ставили под вопрос саму возможность парламентаризма и содержали угрозу его срыва уже на начальном этапе.

Принципиальная заслуга Муромцева как председателя состояла в решительном переломе этих настроений. Позднее, на процессе по «выборгскому делу» (за подписание Выборгского воззвания председатель распущенной Думы был приговорен к трехмесячному заключению, которое отбывал в Таганской тюрьме в Москве), Муромцев особо подчеркнет, что «Первая Дума впервые придала неорганизованному, наполовину стихийному, движению народа формы организованные, что в стенах Государственной Думы партии, встретившись между собою, впервые поняли, что пора сойти с почвы митинга и встать на почву организованного собрания». Главным условием этого стало создание российской парламентской традиции, выражение ее в правовых документах или системе неписаных соглашений — прецедентов, имеющих характер обычного парламентского права. Решающий вклад Муромцева в этой области определяется его ролью в составлении Наказа Государственной думы — свода парламентского права и правил законодательной процедуры.

Работа по созданию Наказа велась при активном участии другого крупнейшего российского ученого — депутата Думы М. Я. Острогорского. Острогорский был автором классического труда «Демократия и политические партии», впервые показавшего опасность монополизации воли народа политическими партиями и их парламентскими группами. Как и Муромцев, он усматривал в отсутствии разработанного парламентского права серьезную угрозу демократии в России. Встреча двух ученых и согласование их проектов Наказа в марте 1906 года позволили создать единый документ, представленный позднее I Думе сразу после ее открытия.

По наблюдению В. Д. Набокова, данный проект лег в основу внутреннего распорядка деятельности Думы всех последующих созывов, действительно став основой российского парламентского права. Отстаивание Муромцевым данного распорядка, его явное беспристрастие в ходе острых политических дискуссий, иногда даже подчеркнутый формализм его оценок и разъяснений официальных документов и процедур — все это было результатом глубоко продуманной позиции, состоящей в правовой защите компетенции и статуса Думы как органа законодательной власти.

Значение С. А. Муромцева как лидера русского либерального движения было хорошо понятно уже современникам. Его смерть в Москве 3 октября 1910 года была воспринята в обществе как конец целой эпохи в развитии русского освободительного движения. Огромные демонстрации объединили всех тех, кто связывал с именем Муромцева движение России к демократии и цивилизации. Участник тех событий А. А. Кизеветтер вспоминал: «Москва всколыхнулась... Панихиды на дому были так многолюдны, что нечего было и думать, чтобы впустить в квартиру всех приходящих, и каждая панихида повторялась затем под открытым небом, на обширном дворе дома. Лес венков и громадная толпа окружили дом перед выносом тела, и, когда мы шли в похоронной процессии к университетской церкви, толпа все росла. Дошли до театральной площади и увидели, что она запружена новой громадной толпой. После отпевания процессия двинулась к Донскому монастырю, где совершалось погребение. Уже стусились вечерние тени, когда у могилы начались речи. При свете факелов говорились эти речи, перед толпой, наполнившей обширную, пустую тогда, поляну вновь разбитого кладбища...»

В речах ораторов, представляющих лучшие силы русской общественности, Муромцев выступал как «национальный герой», выведший страну «из египетского плена» (П. Н. Милюков); «несомненный вождь русского освободительного движения» (М. М. Ковалевский); «великий гражданин земли русской» (Ф. Ф. Кокошкин); «наш учитель и наш вождь» (А. А. Кизеветтер).

Русская традиция обязана С. А. Муромцеву во многих отношениях. Он был ее теоретиком и реформатором, связующим звеном между классической западной либеральной мыслью и русской демократической интеллигенцией, между поколением Великих реформ 60-х годов, земского либерализма 1880–1890-х годов и, наконец, конституционного движения начала XX века. Он не только создал целостную концепцию гражданского общества и правового государства в России, но и практически реализовал ее во всех основных сферах деятельности — земском движении, организации местного самоуправления, суде, адвокатуре, высшем образовании. Именно поэтому он продолжает оставаться символом русского освободительного движения.

НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ ВОЛКОНСКИЙ: *«Правительство делает большую ошибку, испытывая так долго терпение населения...»*

АЛЕКСЕЙ КАРА-МУРЗА, ИРИНА ТАРАСОВА

Н. С. Волконский родился 17 февраля 1848 года в родовой усадьбе села Зимарово Раненбургского уезда Рязанской губернии. Его отец, князь Сергей Васильевич Волконский (1819–1884), — отставной подпоручик, видный общественный деятель «эпохи Великих реформ» Александра II.

В конце 1850-х годов Волконский-старший, предводитель дворянства Раненбургского уезда, фактически возглавил, вместе с Ф. С. Офросимовым (будущим председателем Пронской уездной управы), «либеральную партию» в среде рязанских общественных деятелей, работал в губернском комитете по подготовке и проведению крестьянской реформы. После введения земских учреждений стал гласным губернского собрания; а с 1865 по 1877 год был председателем Рязанской губернской земской управы, активно защищая идею местного самоуправления против «партии крепостников» во главе с губернатором Болдыревым и губернским предводителем дворянства Реткиным. Крупнейший исследователь российского земства, будущий секретарь ЦК кадетской партии А. А. Корнилов назвал деятельность рязанских земцев Волконского и Офросимова «высокопоучительным примером»: «с самого открытия земских учреждений в них укоренился здоровый демократический дух, которым прониклись все передовые и наиболее влиятельные земские деятели».

По отзыву А. И. Кошелева, единомышленника и коллеги С. В. Волконского, тот был «тружеником, разумным и благонамеренным земцем», а возглавляемая им губернская управа «вела земские дела отменно хорошо». В 1877 году князь С. В. Волконский отказался баллотироваться на пост председателя губернской управы на очередной срок: как вспоминал Кошелев, «он неутомимо и с великою пользою для земского дела прослужил двенадцать лет, и последние годы особенно его утомила беспрестанная борьба с крепостниками».

Летом 1862 года князь Сергей Васильевич, тогда еще раненбургский уездный предводитель, пригласил в Зимарово в качестве репетитора для сына студента-историка Московского университета Василия Ключевского (только что окончившего тогда первый курс). Именно он привил своему ученику, бывшему на семь лет его младше, вкус к историческим наукам. В 1872 году Николай Волконский с отличием окончил историко-филологический факультет Московского университета и по настоянию отца поступил на государственную службу — в Хозяйственный департамент Министерства внутренних дел. С 1875 по 1878 год он состоял при новом рязанском губернаторе Николае Саввиче Абазе, сопровождал его, как главноуполномоченного Красного Креста, по тылам Дунайской армии во время Русско-турецкой войны. Работа рядом с известным либеральным деятелем Н. С. Абазой (двоюродным братом еще более знаменитого А. А. Абазы — ближайшего сотрудника Александра II и М. Т. Лорис-Меликова), несомненно, сыграла свою роль в формировании общественно-политических взглядов

молодого Волконского. После окончания войны он поехал для продолжения образования в Европу, слушал лекции в Венском и Берлинском университетах.

С годами князь Волконский приобрел и ценный опыт практической земской деятельности. С 1874 года он регулярно избирался гласным Раненбургского уездного и Рязанского губернского земских собраний, вел дела в ответственной должности секретаря губернского собрания, руководил ревизией крестьянских касс Раненбургского уезда. Именно в земских органах самоуправления Николай Сергеевич видел наиболее эффективный механизм решения многообразных общественных проблем, в том числе одной из самых острых — «обеспечения народного продовольствия». В 1878 году на Рязанском губернском собрании отец и сын Волконские представили записку, в которой указывалось, что «дело народного продовольствия должно быть делом земским — всеобщим и организация продовольственной помощи должна быть возложена на приходские попечительства, обладающие на сказанную потребность правом самообложения».

Н. С. Волконский выступал за полную самостоятельность земских учреждений в распределении общественных средств. Позднее, уже сам будучи председателем Рязанской губернской управы (1897–1900), он обобщил свои представления о великой роли земского самоуправления следующим образом: «Ежели земские учреждения в течение двадцатипятилетнего своего существования что-нибудь сделали, то единственно благодаря самодеятельности заинтересованного в деле населения. Если земские школы всегда такие, в которых действительно учат, то это происходило единственно вследствие того, что население только на такие школы охотно дает деньги, от которых видит пользу, и его никакими отчетами не проведешь. Население не будет тратить на то, в чем не видит пользы».

Не забывал Николай Сергеевич и о своем профессиональном пристрастии к исторической науке, активно сотрудничая с Рязанской ученой архивной комиссией (РУАК). По просьбе известного рязанского общественного деятеля и историка А. Д. Повалишина (когда-то тот был учеником князя Сергея Васильевича), он начал работу над материалами по истории помещичьих хозяйств Рязанской губернии. Исследование Н. С. Волконского «Условия помещичьего хозяйства при крепостном праве» было опубликовано в «Трудах РУАК» за 1897 год и неожиданно для автора получило широкую известность. Ряд влиятельных российских журналов («Исторический вестник», «Русское богатство» и др.) опубликовали развернутые положительные рецензии. По словам С. Д. Яхонтова, эта работа «является новым, чуть не единственным трудом этого рода и очень ценится наукой». В «Отчете о русской исторической науке за 50 лет (1876–1926)» крупнейший ученый, академик Н. И. Кареев (кстати, коллега Волконского по I Государственной думе) назвал работу князя в числе самых значительных исследований по экономической истории крепостничества.

Поддерживал Н. С. Волконский и созданный при РУАК историко-этнографический музей, ставший одним из центров культурной жизни Рязани. В 1897 году он выкупил у своих родственников по материнской линии уникальную коллекцию произведений ручной вышивки крепостных крестьянок и подарил ее музею. В следующем году передал семейную реликвию — старинную кольчугу одного из своих пращуров Волконских. (Коллекция Н. С. Волконского и сегодня составляет значительную часть этнографического фонда Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника.)

В первые годы XX века князь включается и в общероссийскую политическую жизнь: принимает активное участие в московских заседаниях полуполициального кружка «Беседа», устанавливает близкие контакты с лидерами либерального движения Д. Н. Шиповым, братьями князьями Петром и Павлом Долгоруковыми, Н. Н. Львовым, князьями Г. Е. Львовым и Д. И. Шаховским, графом П. А. Гейденем, И. И. Петрункевичем, Н. А. Хомяковым, М. А. Стаховичем.

Одной из главных задач либерального движения на рубеже веков было расширение прав земства и координация деятельности земских учреждений. Не имея возможности официально собирать свои съезды, земцы использовали любую возможность: совещания по вопросам развития кустарной промышленности (март 1902), по борьбе с пожарами в деревне (март–апрель 1902) и т.д. «Кустарный» и «пожарный» съезды стали прологом к созыву в Москве полулегального общеземского съезда, инициатором которого выступил глава Московской губернской управы Д. Н. Шипов.

Официально съезд не был разрешен властями и прошел полулегально 23–25 мая 1902 года на московской квартире Д. Н. Шипова. Съехались более пятидесяти представителей большинства губернских управ и наиболее деятельные гласные; среди активных участников был и князь Н. С. Волконский. Съезд единодушно констатировал: новый правительственный курс, стремящийся подменить выборные земские учреждения назначенными «особыми комитетами», направлен на отстранение органов самоуправления от принятия принципиальных решений. Вместе с тем значительная доля участников, и в их числе Волконский, высказались за то, чтобы земские деятели использовали все возможные средства (включая работу в назначенных правительством органах) для повышения своего авторитета.

6–9 ноября 1904 года состоялся общеземский съезд в Петербурге. Ввиду официального запрета его заседания опять прошли в режиме «частных совещаний» на квартирах участников — И. А. Корсакова, А. Н. Брянчанинова и В. Д. Набокова. На этот раз собралось более 100 земских деятелей из 33 губерний; рязанское земство представляли князь Н. С. Волконский и новый председатель губернской управы В. Ф. Эман. Особенно оживленно проходило собрание 7 ноября в огромной квартире А. Н. Брянчанинова на седьмом этаже дома № 34 по Кирочной улице. Участник совещания барон Р. Ю. Будберг оставил такое описание: «Зал, в котором происходило заседание, предназначался для домашнего театра, отделан темно-синей материей с какими-то не то звездами, не то декадентскими рисунками; на сцене, за колоннами помещался стол, за которым на стульях с высокими готическими спинками помещались наши председатели; на местах для оркестра — столы для секретарей».

Обсуждались разные вопросы, в первую очередь — о будущем государственном устройстве и характере народного представительства. О ходе этих дискуссий и о позиции Николая Сергеевича впоследствии рассказал в некрологе на внезапную кончину князя председатель I Думы С. А. Муромцев («Русские ведомости» от 25 февраля 1910 года), участвовавший тогда в заседаниях в качестве представителя московского земства. Муромцев (через полгода, в октябре 1910-го, он сам скончался в Москве) писал: «Невольно при мысли о нем воскресает внушительная картина земского съезда, заседание 7 ноября 1904 года в зале А. Н. Брянчанинова. По случайности зала заседания, более чем когда-либо, как бы прообразует собою залу будущей Государственной Думы: на особом возвышении — председатель собрания, окруженный членами комитета; под ними — секретари собрания; лицом к председателю расположились рядовые члены собрания. И вот в части залы, слабее других освещенной, направо от председателя, встает Н. А. Карышев (земский гласный из Екатеринославской губернии — *Авт.*); рядом с ним видна фигура князя Н. С. Волконского. С необыкновенной выразительностью Н. А. Карышев настаивает на безусловной необходимости народного представительства, облеченного законодательной властью. Внимание собрания напряжено до крайних пределов. Н. А. Карышев кончил, и не каждый еще разобрался в своих мыслях; но поднимается князь Н. С. Волконский и от имени целой группы сидящих вместе с ним определенно заявляет, что они все едины, что Н. А. Карышев высказал общее им всем непоколебимое убеждение. Вся группа встает и подтверждает сделанное заявление. И, как это часто бывает, простое,

краткое слово, сказанное от сердца, делает более, чем красивые речи. Так случилось тогда и со словом князя Н. С. Волконского. Многим почувствовалось, что свершился решающий момент заседания».

Итак, князь оказался в числе «прогрессистов» при голосовании на ноябрьском (1904 года) земском съезде по вопросу о компетенции будущей Думы: их более консервативные оппоненты считали целесообразным оставить за Думой лишь совещательные функции. Между тем по вопросу о формах избрания будущего народного представительства Николай Сергеевич занимал довольно умеренную позицию. На следующем общеземском съезде, состоявшемся в Москве 22–26 апреля 1905 года, он был одним из главных оппонентов победившей в итоге идеи «прямого голосования» и отстаивал необходимость всеобщего, равного, тайного, но двухстепенного голосования. По его мнению, при недостаточном уровне массовой политической культуры в России лишь выборщики, облеченные доверием земских собраний, способны делегировать в будущую Думу опытных законодателей, а не популистов-демагогов. Вместе с тем Волконский активно поддержал саму идею о том, что «только немедленный созыв народных представителей с правом участия в осуществлении законодательной власти может привести к мирному и правильному разрешению насущных политических, общественных и экономических вопросов современной жизни России».

Одной из главных проблем коренного преобразования государственного устройства земские деятели считали проведение аграрной реформы в интересах основного производительного слоя — крестьянства. И здесь позиция князя Волконского и некоторых других умеренных земцев разошлась с позицией становящегося все более радикальным земского большинства. Противостояние по этому вопросу двух формирующихся лагерей в российском либеральном движении ярко проявилось в ходе Аграрного совещания, которое прошло в Москве 27–29 апреля 1905 года, сразу после общеземского съезда.

На этом совещании в докладах И. И. Петрункевича, А. А. Мануйлова, М. Я. Герценштейна начала кристаллизоваться позиция, легшая затем в основу аграрной программы Конституционно-демократической партии: крестьянские наделы должны быть увеличены за счет государственного выкупа (за адекватное вознаграждение) излишков собственности и передачи их крестьянам в аренду. Тогда же в рядах умеренных земцев возникла оппозиция, активно проявившаяся себя впоследствии в стенах I Думы. Одним из лидеров этой правой оппозиции и стал Н. С. Волконский.

В своем выступлении на совещании князь отметил, что за, казалось бы, большим разбросом мнений проступают, по существу, две основные позиции: *за* и *против* частной собственности на землю. Аграрный проект «земского большинства» по своей сути совсем недалек от идеи национализации, ибо в конечном счете оставляет за государством (и, как следствие, — за чиновничеством) право собственности на землю. Волконский полагал, крестьянство желает не просто «прирезки земли» на правах аренды, а полноценной собственности. Ссылаясь на свое знание положения на родной Рязанщине, он заявил, что местный крестьянин-земледелец «жаждет получить землю в полную частную собственность»: «По крайней мере у нас, на черноземе, получить кусок земли в полную частную собственность, столь же хорошо защищенную законом, как и собственность любого другого владельца, составляет венец желаний всякого крестьянина. И уже некоторые крестьяне стали осуществлять это желание, приобретая землю при помощи Крестьянского банка и без такой помощи. Но лица, предлагающие добавочное наделение землей, эти прирезки к надельной земле, считаются ли с таким желанием? Нет. Напротив, если проводить предлагаемое наделение последовательно, пришлось бы отбирать землю и у таких мелких собственников для наделения ею неимущих. Но эти-то уж добровольно не отдадут ее. Идя этим пу-

тем, надо готовиться к междоусобной войне. И если такой войне суждено разгореться, то победителем, думается мне, выйдет из нее тот, кто обещает частную собственность на землю».

Итак, вместо экспроприаторской (согласно убеждениям Волконского — «полусоциалистической») программы «отчуждения земельных излишков», чреватой новым перераспределительным диктатом бюрократии и социальной нестабильностью, князь предложил ограничиться чисто рыночными мерами: расширением деятельности преобразованного с участием земств Крестьянского банка, введения нового поземельного налога на крупную собственность и т.д. По его мнению, «налог выбросил бы на рынок наиболее слабые в хозяйственном отношении земли и указал бы, что подлежит отчуждению; внимательное изучение особенностей каждого отдельного случая местными общественными учреждениями даст путь, как достигнуть остального».

Впрочем, по мнению Волконского (известного тем, что он никогда не объявлял свою точку зрения единственно верной), вопрос о степени укорененности и популярности идеи частной собственности в России остается открытым: «Если я ошибаюсь, если желание земледельческого населения не заключается в стремлении к частной собственности, — кто так думает, тому надо последовательно идти к национализации земли, но разрешится этот процесс междоусобной войной». Эти слова оказались пророческими: в конечном итоге Россия оказалась разделенной на два лагеря — защитников и ненавистников частной собственности, и кто победил в этой войне — известно.

Поражение в Русско-японской войне вызвало новую волну общественно-политических выступлений. 24 мая 1905 года в Москве, в особняке Ю. А. Новосильцева на Большой Никитской собрался так называемый «коалиционный съезд» земских деятелей, в котором приняло участие около трехсот человек. Председатель съезда граф П. А. Гейден, ближайший единомышленник Н. С. Волконского, во вступительном слове выразил общее настроение: «Истребление русского флота поразило всю Россию; люди всевозможных политических фракций пришли к заключению, что продолжение существующего порядка более немислимо и что правительство, виновное перед народом, долее существовать не может». Участники съезда высказали общее недовольство усилением репрессивного курса в стране (буквально накануне полицейский генерал Д. Ф. Трепов получил от императора фактически диктаторские «особые полномочия») и высказались в пользу безотлагательного созыва народного представительства. Несмотря на многие разногласия «партий», по сути, уже сложившихся в русском освободительном движении, съезду удалось составить «адрес» на Высочайшее имя. В нем выражалась обеспокоенность ситуацией в стране, содержались критика правительственного курса (особенно его «полицейской» составляющей) и призыв к скорейшему созыву народных представителей как единственному способу успокоения страны. «Адрес» стал, разумеется, компромиссом многих разных настроений (по словам одного из участников — «бледной равнодействующей всех желаний»). Радикалы, нисколько не верившие в его действенность, считали эту инициативу «исполнением долга», «успокоением собственной совести» и т.д. Похоже, однако, что такие умеренные земцы, как князь Н. С. Волконский (а также близкие к нему Д. Н. Шипов, М. В. Родзянко и др.), напротив, все еще рассчитывали «достучаться до императора» и потому настояли на внесении в итоговый текст ряда поправок, призванных смягчить общую оппозиционную тональность.

И во второй день съезда, при обсуждении вопроса о выборе депутации для вручения царю утвержденного «адреса» (это заседание прошло в особняке В. А. Морозовой), Н. С. Волконский, Д. Н. Шипов и другие умеренные сделали все, чтобы обеспечить демонстративную лояльность государю. Радикалы настаивали на максимально широком составе; Н. Н. Ковалевский, например, предложил избрать в депутацию по два челове-

ка от губернии и по одному от города — иначе: «Кто с ней станет считаться?.. Пусть нас хоть нагайками разгонят — я не боюсь нагаек!» В противовес им Д. Н. Шипов заявил: «Спассти Россию может только единение власти с народом. Депутация должна быть составлена так, чтобы Государь мог ее принять... В депутацию нужно выбрать от 3-х до 5-ти лиц...» С аналогичных позиций выступил и Н. С. Волконский: «Если я принимаю участие в этом совещании, то потому, что желаю подать адрес Государю. Поэтому я здесь могу иметь в виду только мою совесть и Государя. Предлагаю выбрать трех депутатов...»

В итоге избрали депутацию из двенадцати человек; вместе с присоединившимися к ней тремя представителями Петербургской городской думы, а также профессором Московского университета князем С. Н. Трубецким она была принята императором в Петергофе 6 июня 1905 года. По общему мнению, эта встреча, хотя и прошла внешне вполне благожелательно, никаких практических последствий не имела. И двор, и либеральная общественность взяли паузу, изготавляясь к дальнейшему противостоянию.

А пока в либеральной среде шло дальнейшее размежевание. Радикалы (во главе с И. И. Петрункевичем, П. Н. Милюковым, Ф. И. Родичевым) составили затем костяк Конституционно-демократической партии, умеренные шли за Д. Н. Шиповым, П. А. Гейденом, М. А. Стаховичем, Н. А. Хомяковым. В этом противостоянии Н. С. Волконский становится одним из лидеров «умеренных». Земец-практик и специалист по аграрным и финансовым вопросам, он считал главной российской проблемой дезорганизацию хозяйства, а основную опасность видел в нарастающем революционном движении, способном сорвать обещанную царем конституционную реформу. Но вместе с тем понимал, что к социальной дезорганизации ведет не только смута «снизу», но и полицейско-бюрократический курс правительства, некомпетентного и игнорирующего народные нужды. Выход из этого порочного круга Николай Сергеевич и его единомышленники видели в целенаправленных «реформах сверху», воссоздающих в новых условиях то единение власти и общества, которое было характерно для «эпохи Великих реформ» Александра II. Возможность этого умеренные либералы увидели в дарованном Николаем II Манифесте 17 октября 1905 года.

Сторонник конституционной монархии Волконский в ноябре 1905-го стал одним из основателей либерально-консервативной партии «Союз 17 октября». Он регулярно участвовал в заседаниях Петербургского ЦК (собиравшегося иногда по два-три раза в неделю), затем вошел в Московское отделение Центрального комитета, одновременно возглавил Рязанский губернский отдел партии. В те месяцы октябристы главной задачей считали подавление революционной смуты, причем не только военно-полицейскими, но и — главным образом — общественными силами. Они опасались, что курс премьера С. Ю. Витте, которому они тоже не вполне доверяли, может смениться гораздо более репрессивным режимом министра внутренних дел П. Н. Дурново. Подобную «центристскую» тактику, опирающуюся на идею реализации императорского Манифеста и перспективу скорейшего созыва Думы, Н. С. Волконский попытался реализовать и в своей Рязанской губернии. В декабре 1905 года на губернском земском собрании он представил докладную записку, в которой предлагал на земские средства образовать в каждом уезде вооруженные дружины для охраны и защиты помещичьих имений. Большинством голосов его предложение было отвергнуто, хотя и нашло значительное число сторонников. Здесь ярко проявилась политическая доминанта того времени: общество все более поляризовалось на «охранителей», согласных на любые реакционные действия, — и «революционеров», стремящихся к радикальным изменениям. Центристские силы, представленные в том числе и октябристами с их идеей «борьбы общества против революции», в этом противостоянии явно теряли инициативу.

В таких условиях Н. С. Волконский и его коллеги большое значение придавали скорейшим выборам в I Государственную думу, рассчитывая на союз популярных умеренных земцев-практиков и «здравомыслящего», как им казалось, «крепкого крестьянства». Выступая на соединенном совещании Санкт-Петербургского и Московского отделений ЦК «Союза 17 октября», созванном 8–9 января 1906 года в преддверии общепартийного съезда, Н. С. Волконский объявил о необходимости «возможно скорее приступить к выборам в Думу, особенно от крестьян». «Правительство делает большую ошибку, испытывая так долго терпение населения, — говорил он. — Если в начале апреля Дума не будет созвана, волнения снова могут усилиться. Многочисленные аресты людей, иногда ни в чем не виновных, вызывают недовольство населения».

Чем раньше пройдут выборы в Думу, тем больше шансов имеют умеренные партии, полагал князь — и был глубоко прав: задержка с созывом народного представительства с каждым днем усиливала позиции радикалов. Отмечая, что «деревню мало волнуют газетные известия о политических беседах графа Витте и весь интерес сосредотачивается на вопросе земельном», Волконский призвал лидеров октябристов обратить особое внимание на земельный вопрос, по которому партии «нужно сказать больше, чем было высказано до сих пор». Он подчеркивал: «Необходимо самим себе выяснить всю трудность и сложность вопросов и разъяснить это крестьянам. Желательно, чтобы местными отделами „Союза“ были доставлены съезду точные сведения и фактический материал, освещающие положение вопроса в той или другой местности». Победить в избирательной кампании левую демагогию по крестьянскому вопросу можно, только опираясь на очень точное и конкретное знание предмета.

Выборная кампания октябристов в Рязанской губернии проходила в обстановке острого соперничества с кандидатами от более радикальной Конституционно-демократической партии, взявшими на вооружение идеи принудительного отчуждения помещичьих земель и скорейшего созыва Учредительного собрания. С ними князь Волконский и его единомышленники полемизировали еще на первых земских съездах. Имея явное преимущество над кадетами на съездах крупных землевладельцев, октябристы существенно уступали им в городских избирательных собраниях. Позиция крестьян, за которыми, согласно новому законодательству, закреплялась существенная квота выборщиков, была неустойчивой. Опасаясь возможности забаллотировки выборщиками от крестьян всех иных кандидатов (в том числе и октябристов), Волконский одно время вел переговоры о коалиции в губернском избирательном собрании с рязанскими кадетами. Однако их лидер А. К. Дворжак от этого альянса уклонился: общим кадетским принципом на выборах в I Думу было «блокирование налево», с радикальными крестьянскими элементами с целью победы над «сторонниками режима», к которым кадеты теперь относили и октябристов.

Эта тактика, как известно, в целом по России принесла успех: блок кадетов и более левых «трудовиков» определил лицо I Думы. Большинство октябристских кандидатов (даже таких ярких и заслуженных, как Д. Н. Шипов, А. И. Гучков, М. В. Родзянко) потерпели поражение. Однако были исключения: в Пскове, Орле, Саратове в Думу сумели пройти некоторые лидеры умеренных земцев — соответственно граф П. А. Гейден, М. А. Стахович, Н. Н. Львов. Исключением стала и Рязанщина: на губернском избирательном собрании октябристам, возглавляемым Н. С. Волконским, удалось не только получить голоса правых и умеренных выборщиков, но и привлечь на свою сторону выборщиков-крестьян. В результате в Рязанской губернии октябристы провели в Думу трех кандидатов из восьми возможных: депутатами стали сам князь Волконский и его коллеги по партии А. В. Еропкин и Н. И. Ярцев.

И современниками, и позднейшими исследователями многократно отмечен парадоксальный факт: в I Думе, в отличие от последующих, по существу не было откоро-

венных реакционеров; на «правых скамьях» здесь оказались такие заслуженные земцы-конституционалисты, как граф Гейден, орловский губернский предводитель Стахович, князь Волконский. Кадетско-трудовическое думское большинство считало парламентскую активность этих депутатов лишь досадной помехой в победном, как тогда казалось, наступлении народных представителей на ретроградную власть. Но существует и иная оценка. Один из кадетских лидеров, депутат II–IV Дум В. А. Маклаков, правда уже в эмиграции, пришел к нестандартному выводу: по его мнению, именно Гейден, Стахович и Волконский пытались защитить в I Думе *подлинно либеральную и конституционалистскую позицию*.

Конечно, в этом смысле граф П. А. Гейден и М. А. Стахович были в I Думе наиболее яркие и активны. Однако и нередкие выступления их единомышленника князя Н. С. Волконского (получившего за свою неприязнь к явным и скрытым социалистам прозвище «сердитый князь») также сыграли свою роль и по праву должны войти в историю русского конституционализма.

На одном из первых заседаний, 2 мая 1906 года, обсуждалась необходимость потребовать от властей немедленной и полной амнистии; некоторые левые аргументировали срочность этого вопроса тем, что царь, мол, может опередить думцев. Слово для короткой реплики попросил Н. С. Волконский: «Тут было сделано еще одно заявление: а ну-ка Государь даст амнистию без нас... Да сделайте милость! Надо будет благодарить за это судьбу, и если это будет сделано сейчас, не по нашему собственному почину, а будет сделано правительством, то, мне кажется, кроме благодарности, ничего за это сказать нельзя. Остается только порадоваться...» Однако эта вполне разумная реплика «сердитого князя» нимало не изменила позицию нетерпеливых радикалов.

Главное выступление Н. С. Волконского в I Думе состоялось 18 мая 1906 года и было посвящено аграрному вопросу. Собственно, это был принципиальный содоклад от немногочисленной группы умеренных, продолжающих активно оппонировать проектам передачи в аренду крестьянам экспроприированной земельной собственности как якобы единственному способу социального умиротворения в стране.

В самом начале своей развернутой речи Волконский согласился с тем, что значительное большинство крестьянства видит в недостатке земли главный источник своих бедствий. «Ставя себя в положение нашего крестьянина, я уверен, что я думал бы то же самое, что и он, и приписывал бы недостатку земли все мои бедствия». Но в том-то и дело, заметил он далее, что народные избранники, собравшиеся в зале Думы, должны смотреть на проблему глубже, осмыслить ее рационально и найти верное решение, а не просто идти за массовым нетерпением. Оратор обратил внимание на одно интересное обстоятельство, которое исследовал очень внимательно — и как земец-практик, и как профессиональный историк: массовые крестьянские выступления, грабежи и поджоги имели место вовсе не там, где малоземелье особенно чувствительно. Например, одним из очагов крестьянских бунтов стал Балаковский уезд Саратовской губернии (родной уезд друга и единомышленника Волконского — депутата Н. Н. Львова). При этом крестьяне имели там в два раза больше земли, чем в родном для Волконского Раненбургском уезде Рязанской губернии, где, напротив, ситуация в целом осталась спокойной. Вывод должен был неприятно задеть левую часть Думы: «Эти грабежи были вызваны особой агитацией, этой страстью к земле воспользовались люди, для того чтобы поднять одну часть населения против другой. Поэтому движение было особенно сильно не там, где всего сильнее нужда в земле, а там, где были лица такие люди, которые могли поднять население».

Следовательно, справедливый призыв изыскать возможности увеличить крестьянские наделы не должен превратиться в беспочвенную демагогию: во многих районах существенно «прирезать землю» просто невозможно. Согласно профессиональным

расчетам Волконского, даже если взять все пахотные земли Рязанской или Тамбовской губерний, включая помещичьи и церковные, и разделить их ровно между всеми земледельцами («всех крестьян взять и рассадить, как картофель, по всей губернии»), прибавка к крестьянскому хозяйству окажется мизерной — не более одной десятины на каждую душу мужского пола.

Вызовом прозвучал и другой тезис: «У наших земледельцев все-таки больше земли, чем у земледельцев любой другой страны Европы; там от этого недостатка не страдают, не страдают потому, что там земля приносит больше». Поэтому важной национальной задачей должна стать не только проблема малоземелья, но и проблема повышения производительности земли. А учитывая, что помещичьи хозяйства пока раза в два продуктивнее крестьянских, их разорение приведет в деградации национальной экономики: «Нельзя разрушать те хозяйства, которые много приносят, и создавать такие, которые мало приносят».

Какие же меры предложил Думе сам выступавший? В основе его предложений лежали два принципа: учет конкретной местной специфики и передача земли в частную собственность, а не в аренду. «Дайте крестьянину в собственность десятин 10 пустыря, — говорил Волконский, — и через 10 лет он из них сделает 10 десятин огорода, а сдайте ему в аренду эту землю, поставьте еще чиновника, который бы смотрел за тем, кто будет обрабатывать эту землю, сам ли хозяин или, может быть, не батрак ли, то из 10 десятин огорода получите 10 десятин пустыря». Поэтому в тех районах, где есть возможность «прирезать землю» крестьянам, это следует сделать, используя все инструменты государства: «Прирезать придется, конечно, на счет государства, и взять эту землю тут же, возле, если добром можно, то добром, а если не добром, то и принудительно... И, отпуская с приданым, сказать: „Ступайте, работайте на своей земле, отвечайте во всем сами за себя: хорошее будет хозяйство — твое дело, плохое хозяйство — на себя пеняй!“» В тех же местах, где существенно добавить земли невозможно, необходима планомерная работа по переселению крестьян на свободные земли, которые также должны быть им переданы в полную частную собственность.

Еще одним способом расширения крестьянских наделов могла бы стать продажа помещиками их земель. Собственно, этот процесс уже активно шел: по подсчетам Волконского, после реформы 1861 года в Рязанской губернии в руках старых владельцев осталась примерно половина земель, и половину из проданного приобрели именно крестьяне. «Если такая масса земель уже теперь переходит к крестьянам, — заметил Волконский, — то при большей поддержке государства перейдет еще больше». Он рассказал, что у себя в волости уже произвел некоторые подсчеты: «Мне, например, из 1200 десятин придется уступить 500. Придется купить у священника немножко, и он согласен продать, и т.д. — устроиться можно». Согласно предложению депутата, землевладельцев, имеющих менее трехсот десятин, следует вообще оставить в покое, а более крупные собственники вполне могут уступить примерно треть своих земель. При этом земельные излишки можно не только продавать, но и обменивать: «Отчего казне не прибегнуть вместо отчуждения покупкой — к обмену? У государства есть много мест и земель, которые в переселенческом деле для крестьян не годятся, потому что требуют больших затрат капитала, например лесные пространства, горные; между тем человеку с капиталом они очень пригодятся, и если бы помещику предоставлено было право в некоторых случаях меняться, то на земли, может быть, иногда не крестьяне переселялись бы, а помещики. Я бы первый, пожалуй, отдал свои 1200 десятин в Тамбовской губернии и выселился бы. А она бы очень пригодилась».

Важным элементом крестьянской реформы могла бы стать и ликвидация наиболее архаических форм общинного землевладения, тормозящих развитие национального хозяйства. «Если крестьяне какого-нибудь общества пожелают продолжать владе-

ние земель сообща, пусть составят договор о том, и пользование этой землей будет уже определяться из этого договора. Без договора, как теперь, по обычаю, общинное землевладение не должно быть более допустимо».

Общий стиль этого выступления напоминал речь мудрого сельского старосты и захватил внимание многих слушателей, почувствовавших в ораторе прекрасное знание предмета. Но, судя по стенограмме, немало нашлось и таких, кто старался перебить и остановить его криками «Довольно, довольно». Концовку своей речи Волконский явно сократил. Но расстроен, судя по всему, не был. Во-первых, главное он успел сказать, заронив многие сомнения в головы думского большинства, и в первую очередь здравомыслящих крестьян. А во-вторых, он знал, что в зале у него есть сильный союзник, который уже записался в очередь на выступление по аграрному вопросу.

Действительно, на следующий день, 19 мая, его активно поддержал саратовский депутат, бывший кадет Н. Н. Львов. После необходимых слов о том, что он, конечно, признает необходимость увеличения площади крестьянского землевладения и для достижения этой цели допускает отчуждение частновладельческой земли, один из самых блестящих ораторов первых российских парламентов перешел в наступление на предложенный от имени думского большинства проект аграрной реформы.

«Я самым решительным образом расхожусь с началами предлагаемой нам схемы аграрной реформы, — заявил Львов. — Я отвергаю ее, так как она направлена, по моему убеждению, не на поднятие благосостояния населения, а на осуществление абстрактной теории, не только не на пользу, а во вред крестьянству и общему благу страны». Так же, как когда-то на земском совещании это сделал Н. С. Волконский, он назвал главной идеей кадетского проекта фактическую национализацию земли: «Правда, само слово не названо, но сущность ее проведена с известной последовательностью».

Завершилась эта речь чрезвычайно сильным пассажем: «Для того чтобы такой закон провести в жизнь, нужна страшная власть. В Петербурге вы должны создать огромную земельную канцелярию, которая измеряла бы, распределяла, переселяла из одного конца России в другой, изрезывала бы всю Россию на продовольственные квадраты. В каждом уголке для такой коренной ломки всего хозяйственного быта вы должны держать целый штат чиновников... Для таких задач, для такой ломки жизни вам нужна не Государственная дума, а диктатура, власть деспотическая! Бойтесь деспотизма, вашего собственного деспотизма, бойтесь самого худшего из них — деспотизма голых формул и отвлеченных построений!» «Аплодисментов» по окончании выступления Львова в стенографическом отчете не отмечено — слушатели, судя по всему, были потрясены.

Итак, влияние князя Н. С. Волконского на эволюцию идей Н. Н. Львова несомненно. Столь близкие по духу и аргументации выступления в Думе еще более сплотили их, хорошо знакомых со времен кружка «Беседа» и первых земских съездов. Теперь, в последние недели работы I Думы, Волконский вместе с Львовым (а также гр. П. А. Гейденком и М. А. Стаховичем) активно обсуждали планы создания самостоятельной партии, свободной как от левых предрассудков кадетизма, так и от проправительственных обязательств октябризма.

Свою принципиальную позицию по вопросу об аграрной реформе Николай Сергеевич еще раз подтвердил на думском заседании 5 июня 1906 года, когда подводились итоги общей дискуссии: «По моему мнению, во-первых, крестьяне должны получить землю в собственность, а не аренду... Я не задаюсь теориями. По-моему, этот вопрос гораздо легче решить на местах, чем приступать к общей формуле. (*Редкие аплодисменты.*)»

А на следующий день, 6 июня, при обсуждении проекта закона о гражданском равенстве, князь Волконский еще раз предельно точно определил свое кредо политика и депутата, сделав акцент на необходимости здравомыслия и практичности в законо-

дательной работе: «Я никогда законодателем не был и дальше скромной деятельности в земских собраниях в этом отношении не шел, но и там, всякий раз, когда предлагались какие-нибудь меры, я находил, что надобно прежде всего сознательно отнестись к ней и не только оценить ее с точки зрения принципа, но и взглянуть на всю совокупность тех факторов, которые вызывают применение этого принципа на деле. Если мы желаем отменить какое-нибудь зло, нам надо, чтобы это зло представилось нам фактом, каким оно существует на деле».

Между тем недолгое существование I Думы подходило к концу. 19 июня левое большинство устроило обструкцию Главному военному прокурору, генерал-лейтенанту В. П. Павлову. Собственно, волнение в зале началось еще во время речи министра юстиции Щегловитова; шум еще более усилился, когда от имени морского министра выступил военно-морской прокурор Н. Г. Матвеев. А когда председатель Думы С. А. Муромцев объявил было, что от имени военного министра выскажется Павлов, и тот направился к трибуне, поднялись такие свист и топот, что оратор вообще не смог говорить. Муромцев хладнокровно (и, как представляется, с полным пониманием настроений депутатов) прервал заседание на один час. После перерыва сравнительно гладко прошло выступление еще одного представителя правительства — заместителя Столыпина по Министерству внутренних дел А. А. Макарова... А потом представители радикальных фракций стали наперегонки записываться для выступлений «по порядку ведения». Обструкцию «кровоавому палачу Павлову» постарались ярко обосновать и лидеры «трудовиков» Аникин и Аладьин, и видный социал-демократ Рамишвили, и кадет Винавер. Единственными, кто попытался призвать депутатов к корректности по отношению к представителям правительства, были граф Гейден и князь Волконский.

П. А. Гейден был, как всегда, очень спокоен: «Я думаю, что главная беда нашего прежнего порядка есть превращение личной воли в закон... Я придерживаюсь того правила, что новый порядок надо вводить новыми приемами — глубоким уважением к закону и даже к личности своего врага». Гораздо более возбужденным выглядел Николай Сергеевич: «Господа, если тот минимум требований, который должен удовлетворить всякого говорящего на этой кафедре, будет зависеть от усмотрения лиц, сидящих там (указывает на левую сторону), или каких бы то ни было групп, или даже всей Думы, а не закона, то Дума будет неработоспособна; нынче вы сгоните одного, а завтра другого, и работа станет невозможной, и вместо порядка, для которого мы созваны, вы зальете страну такой кровью, какой она еще не видала. (Шум). Я глубоко протестую против этого. (Шум.)»

Последнее выступление князя в I Думе состоялось 4 июля, совсем незадолго до роспуска. Он, по-видимому, предчувствовал, что прямое обращение депутатов к населению по аграрному вопросу (к чему склонялось думское большинство) может дать властям удобный повод для роспуска народного представительства, и просил не разжигать страсти, воздержаться от деклараций и найти иные способы информировать граждан о позиции депутатов. Собственно, все так и случилось, как предупредил Волконский: 9 июля 1906 года Дума была распущена.

Между тем умеренная позиция депутата Волконского вызвала серьезное недовольство многих его рязанских избирателей, значительно полежавших за эти месяцы. Так, жители села Новики Спасского уезда прислали в Думу свой «крестьянский приговор», в котором писали: «Постановили выразить князю Волконскому наше негодование за то, что он не стоит за народ. Мы еще больше будем презирать его, если увидим, что он не войдет в трудовую группу». В другом «приговоре» — крестьянского схода Кузьминской волости Рязанского уезда — говорилось: «Князь Волконский в Думе интересы крестьян не отстаивает, трудовому крестьянству в его нужде не сочувствует... Поэтому и мы его взглядам и направлению тоже не сочувствуем».

Надо добавить также, что во времена I Думы и сразу после ее роспуска сам князь и другие рязанские думцы-октябристы старались удержаться на либеральном фланге собственной партии, в то время как внедумское большинство ЦК склонялось к сотрудничеству с правительством. Поэтому рязанские либералы во главе с Н. С. Волконским (который наверняка прислушивался к голосу своих полевевших избирателей) поначалу поддержали идею лидеров думских умеренных — графа П. А. Гейдена и М. А. Стаховича, а также отошедшего от кадетов Н. Н. Львова — создать новую, либерально-центристскую Партию мирного обновления. На заседании ЦК «Союза 17 октября» 29 июня 1906 года князь мотивировал это прагматическими соображениями: «Принадлежащие к Союзу крестьяне — члены Думы понемногу отпадают от него... Крестьяне все более убеждаются, как важно и выгодно идти заодно с сильной партией. Иметь дело с „Союзом 17 октября“ они стесняются, в его помещение ходить боятся, его представителей сторонятся. Партия мирного обновления возникла в большой мере, чтобы дать возможность сгруппироваться вокруг нового имени, которого не будут стесняться».

Вскоре, однако, под воздействием быстро меняющейся политической обстановки, Николай Сергеевич возвратился в лоно классического октябризма. Скорее всего, набирающий в партии силу энергичный А. И. Гучков (во многом близкий князю: тоже выпускник истфака Московского университета, тоже учился в Берлине и Вене), а также такие умеренные октябристы, как Н. А. Хомяков, С. И. Шидловский и В. М. Петрово-Соловово, были ему все-таки ближе. Большое значение имело и то, что новым главой российского правительства стал П. А. Столыпин, в значительной степени разделявший общественные воззрения Волконского.

В конце 1906 года рязанские октябристы активно включились в избирательную кампанию по выборам во II Думу. 30 декабря на собрании Рязанского отдела партии по предложению Н. С. Волконского избрали особое «выборное бюро» из десяти человек, которому поручалось руководство предстоящей кампанией. По сравнению с более левыми партиями октябристы имели заметное преимущество — полную свободу предвыборной агитации. Однако в Рязанской губернии дело для них закончилось полным поражением: ни один из кандидатов в новую Думу не попал. Победил объединенный блок кадетов и левых: наиболее уязвимым местом октябристов стала как раз их умеренная позиция по аграрному вопросу в предыдущей Думе.

Что касается III Государственной думы (для избрания в нее Волконский сложил с себя полномочия выборного члена Государственного совета от рязанского земства), то в ее стенографических отчетах фамилия князя встречается многократно. Кстати, учитывая, что в эту Думу попали и другие князья Волконские (в том числе младший брат Николая, Сергей Сергеевич, выпускник юридического факультета Петербургского университета, видный общественный деятель Пензенской губернии), Николай Сергеевич получил «по старшинству» думское имя «Волконский 1-й».

По сравнению с I Думой положение Н. С. Волконского изменилось кардинальным образом. На основании нового избирательного закона, давшего преимущество на выборах «цензовым элементам», соратники князя по партии октябристов получили теперь преобладающие позиции, а председателем был избран его старинный друг — общественный деятель из Смоленской губернии Н. А. Хомяков.

Наиболее серьезной темой, по которой «князь Волконский 1-й» выступал в III Думе, стали проблемы народного образования. В январе 1910 года произошла схватка между ультраправыми депутатами, поддерживавшими охранительный курс Министерства просвещения, и реформаторами, которых в Думе возглавили октябристы — профессор В. К. фон Анреп (председатель профильной думской комиссии) и князь Н. С. Волконский. Дело в том, что правительство, проведя ранее ряд мер по ужесточению правил университетского образования, не торопилось возвращать университетам отобран-

ные права и затягивало внесение в Думу нового университетского Устава. Умеренно-либеральное октябристское большинство (которое в данном случае из тактических соображений поддержали кадеты и левые) настаивало на разработке и принятии хотя бы «временных правил», обеспечивающих расширение прав университетской молодежи. В ходе острой дискуссии Николай Сергеевич активно выступил за необходимость скорейшего введения «временных правил», защищая тезис, что «этого требуют интересы общества». Однако разумное и весьма взвешенное выступление князя буквально взорвало думских ультраправых.

Первым выскочил на трибуну их лидер курский депутат Н. Е. Марков (Марков 2-й) и с жаром произнес: «Я взошел на эту трибуну, чтобы возразить князю Волконскому 1-му. Он тут заявил, что то законодательное предположение, которое левые объявляют с большой смелостью своим сочинением, должно быть принято только потому, что оно будет якобы отвечать запросам общества. Я заявляю князю Волконскому, что требованию того общества, которому он желает подчиниться и по требованию которого он желает плясать, мы не будем подчиняться. Мы признаем волю народа, а воля народа выше воли вашего жидовского общества. (*Рукоплескания справа и голоса: браво!*)»

Вослед Маркову выступил другой черносотенец, член Главного совета «Союза русского народа» Ф. Ф. Тимошкин, и тоже грубо возразил Волконскому относительно «потребностей общества»: «Народная потребность, господа, потребность русского народа заключается в том, что наши высшие учебные заведения переполнены иудеями и инородцами, а русским туда доступа нет. (*Рукоплескания справа и голоса: верно! браво! долой жидов с Милюковым вместе!*)» Впрочем, лидеры октябристского большинства, поначалу, по-видимому, несколько растерявшиеся, достаточно быстро овладели положением, и Дума подавляющим числом голосов постановила желательной разработку «временных правил».

В политической биографии Н. С. Волконского, истинного центриста, неоднократно возникали ситуации, когда в один день его яркое думское выступление вызвало аплодисменты «слева» и свист «справа», а на завтра происходило ровно наоборот. Так случилось в январские дни 1910 года. Сначала левые депутаты (трудовики, социал-демократы) активно поддержали «демократизм» князя в отношении университетской реформы. А буквально через несколько дней, при обсуждении вопроса о необходимости имущественного ценза для местных судей, устроили ему обструкцию. Волконский всегда был сторонником имущественного ценза для занятия всех выборных должностей. По его мнению, только наличие собственности способно сформировать надежное гражданское мировоззрение, позволяющее ответственно отправлять общественные функции. Эта позиция, будучи открыто им высказанной на заседании 22 января 1910 года, и вызвала бурное недовольство на скамьях левых депутатов.

Однако в III Думе Н. С. Волконский запомнился и такими эпизодами, когда одна его меткая реплика разряжала межпартийную конфронтацию, как, например, в ходе заседания 3 июня 1908 года. Депутаты утверждали устав Московского народного университета им. Шанявского. Ультраправый Марков 2-й предложил поправку, согласно которой в Совет попечителей университета не могли избираться лица, ранее осужденные. За поправку выступил и другой лидер правых — Г. Г. Замысловский. Все прекрасно понимали, что речь в первую очередь идет об общественных деятелях, ранее осужденных за подписание «Выборгского воззвания», и даже еще более конкретно — о бывшем председателе I Думы С. А. Муромцеве. Ситуация перед голосованием сложилась не вполне определенная: доминирующие в Думе октябристы не хотели подыгрывать правым, но и не находили достаточно аргументов, чтобы отклонить поправку. В конце дискуссии слово взял Волконский 1-й: «Господа, существует русская поговорка: от суммы да от тюрьмы не зарекайся. (*Рукоплескания в центре и слева.*) Мудрая по-

говорка, сколько почтенных людей попадало в тюрьму! Закон покарает, кого ему нужно; что же касается оценки сверх закона — предоставим это тем, кто будет выбирать попечителей, или они глупее нас, что ли? А в такой степени злобствовать, чтобы преследовать постановлением Думы, — стыдно! (*Шумные рукоплескания слева и в центре.*)» В итоге поправка Маркова-Замысловского была отклонена подавляющим большинством голосов...

В феврале 1910 года Н. С. Волконский выступал в Думе особенно активно. Его всегда уместные и точные реплики зафиксированы в стенографических отчетах за 3, 12, 18 февраля. Двадцатого числа он записался с большим выступлением в дискуссии по смете отлично ему знакомого Министерства внутренних дел, но решил отказаться, чтобы не затягивать прения. Вечером участвовал в работе Комиссии по местному самоуправлению, а на следующий день уехал в Москву.

22 февраля 1910 года действительный статский советник князь Н. С. Волконский скоротостижно скончался в своей московской квартире в Гранатном переулке в возрасте 62 лет. На следующее утро председательствующий на пленарном заседании Думы (по иронии судьбы — однофамилец, князь В. М. Волконский) объявил о кончине заслуженного депутата. Коллеги почтили память Николая Сергеевича вставанием, а в четыре часа пополудни в церкви Таврического дворца была отслужена панихида.

Князя Н. С. Волконского похоронили в родовом склепе при храме Боголюбской Божьей Матери в селе Зимарово Раненбургского уезда Рязанской губернии.

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ХОМЯКОВ:
*«Выполнить тяжелую
государственную работу на почве
законодательного строительства...»*

Константин Могилевский, Кирилл Соловьев

«Родился у меня сын Николай. Назвал по Языкову, крестный отец Гоголь (тоже Николай), родился в именины Жуковского. Если малый не будет литератором, не верь уже ни в какие приметы. Судя по физиономии юноши, полагаю, что он больше будет писателем в роде юмористическом...» Так в начале 1850 года известный русский философ, литератор и общественный деятель Алексей Хомяков писал своему собрату по перу А. Веневитинову.

Приметы не сбылись. Н. А. Хомяков не стал писателем, да и вообще найти какой-либо текст, им написанный, — большая проблема. Сам он говорил, что «поэтических талантов от отца не унаследовал, в жизни ни разу рифмы не мог подобрать». А вот врожденное «юмористическое чувство» отец распознал по младенческой физиономии сына совершенно точно. Когда современники, уже после смерти Николая Алексеевича в 1925 году, пытались выделить его характерные черты, то в первую очередь отмечали «природный хомяковский юмор». Высокий, физически сильный, он был очень добродушным человеком, практически никогда ни с кем не ссорился, на него никто не мог долго сердиться. Легкая картавость, которая в семье передавалась из поколения в поколение, придавала его речи особый шарм.

Судьба выдвинула этого типичного русского барина на арену общественной жизни, бурлившую в России начала XX века. Но, хотя Н. А. Хомяков стал одним из самых крупных политиков, никакой молвы о нем никогда не распускали. Человек без всяких личных амбиций, он представлял собой необычный тип деятеля столь крупного масштаба...

Николай Алексеевич Хомяков родился 19 января 1850 года в Москве. Он — последний ребенок А. С. Хомякова и его жены Екатерины Михайловны (урожденной Языковой, сестры поэта). До него у Хомяковых было еще восемь детей: три сына (двое умерли в 1838 году) и пять дочерей. В памятной книжке Алексея Степановича сохранилась запись: «1850-го года января 19-го родился Николинька, в третьем часу утра».

Семья владела двумя большими имениями. В Смоленской губернии располагалось имение Липицы Сычевского уезда, со старинной усадьбой, большим двором, винокуренным заводом и живописным парком; в Белецком уезде — село Степаньково, с маленькой усадьбой и знаменитым в округе винокуренным заводом. Имение Каргашино в Каширском уезде Тульской губернии тоже включало в себя несколько различных заводов. Этим владения Хомяковых не ограничивались — были еще небольшие деревни в Ярославской и Калужской губерниях, а также знаменитый московский дом на Собачьей площадке. Летом, как правило, жили в Богучарове Тульской губернии: оно больше нравилось матери Алексея Степановича и к тому же находилось ближе к Москве.

В 1852 году умерла Екатерина Михайловна, а в 1860-м — и Алексей Степанович. После этого Николая воспитывали старшие сестра и брат. Жили они в Москве на Собачьей площадке (примерно на углу современного Нового Арбата и Борисоглебского переулка). В этом доме в 1830–1840-х годах собирался славянофильский кружок: Аксаковы, Киреевские, Самарины. Дом являлся центром общественной мысли, и трудно назвать человека из тогдашней культурной элиты страны, который бы там не бывал. Заходили Герцен и Грановский, имелся в доме свой любимый уголок и Пушкина. (После революции в нем разместился музей дворянского быта; он пользовался такой популярностью, что это чуть не спасло от уничтожения всю Собачью площадку. Но в 1962-м, при строительстве Калининского проспекта, дом все-таки снесли.)

В 1874 году Н. А. Хомяков окончил юридический факультет Московского университета — отсюда вела прямая дорога на государственную службу. Однако такая карьера его не прельщала. Материальных затруднений он не испытывал — на долю младшего брата пришлось имение в Сычевском уезде. Поэтому молодой человек бездельничал, не испытывая в связи с этим никаких неудобств. Через год после окончания университета он женился на Н. А. Драшусевой (Драгиусовой) — дочери профессора астрономии; у них родилось четверо детей — три девочки и мальчик.

В 1877 году началась война с Турцией. Общественный подъем был огромным. Мало нашлось людей, которые не считали своим долгом хоть как-то поучаствовать в деле освобождения славян. Николай Алексеевич вошел в состав санитарного отряда московского дворянства. Там же оказался будущий лидер кадетов П. Н. Милюков. В 1925 году, в связи со смертью Хомякова, он написал статью, в которой рассказал об этой их первой встрече. Летом 1877 год отряд стоял в Закавказье, в городе Сураме. Н. А. Хомяков был в отряде уполномоченным, а выпускник гимназии Милюков вместе с молодым князем Н. Д. Долгоруковым заведовали хозяйством отряда. «Хомяков, к нашему большому удивлению — больше, чем неудовольствию, — значительную часть дня пролеживал на кровати. Зной действительно стоял страшный, и я сохранил воспоминания, как о настоящем мученичестве, о моих поездках в раскаленный Тифлис за деньгами для отряда».

На память о военном времени у Хомякова остались два ордена. Один из них, Святого Владимира 4-й степени, ему вручили за присутствие в составе санитарного отряда при штурме Карса. Более чем через двадцать лет, когда Николай Алексеевич стал председателем Государственной думы, сербы вспомнили об этом героическом эпизоде его карьеры и наградили орденом Саввы 1-й степени.

Вернувшись с войны, Хомяков поселился в Липицах и в 1880 году стал уездным предводителем дворянства — это и явилось началом общественной деятельности. Через шесть лет он становится уже губернским предводителем, оставаясь в должности целых десять лет. Хомякова избирали четыре раза подряд, пока министр земледелия А. С. Ермолов не пригласил его занять пост директора Департамента земледелия своего министерства. Он принимал участие в заседаниях Сельскохозяйственного совета, и К. Ф. Головин, также участвовавший в работе совета, вспоминал, что Николай Алексеевич «обладал в высокой степени даром красно говорить. Дикция его была превосходна, с огоньком, и речи его произносились на благодарную тему, что у земства руки связаны правительством, которое само ничего плодотворного не принимает». По выражению того же Головина, Хомяков был «администратором нового типа, чуждым всякой условности и напыщенности».

Новый директор Департамента земледелия внес большие изменения в его деятельность. В 1899 году был учрежден институт правительственных инспекторов. Как много лет спустя вспоминал Н. Н. Львов, Хомяковым «была создана широкая агрономическая организация, где работа правительственных уполномоченных была связана

с деятельностью местных органов самоуправления, в результате чего установилось самое плодотворное сотрудничество земства и правительства, давшее такой высокий подъем в области сельскохозяйственной помощи населению».

И все же Н. А. Хомяков не отличался большой административной энергией, бюрократический стиль управления был ему чужд, и в министерстве он себя чувствовал не в своей тарелке. Еще в 1900 году он говорил председателю Московской губернской земской управы Д. Н. Шипову о своем желании сложить должность директора департамента. Наконец в 1902-м ему удается сбросить нелюбимое бремя, и он с радостью возвратился в родную Сычевку: «Да так бы и не уехал оттуда, если бы не эта политика».

Николай Алексеевич так впоследствии комментировал свою отставку: «Канцелярская служба не по мне или я не по ней, как хотите. Мертвое это дело, канцелярия. А тут еще начались гонения на лесной департамент, борьба нашего министерства с министерством финансов. С. Ю. Витте был тогда в полной силе, а наш А. С. Ермолов как-то все ему уступал... Выходило, что мы были в каком-то подчиненном положении у Витте, а это было очень неприятное сознание. Я не выдержал и бросил службу. Но с А. С. Ермоловым я и посейчас в самых хороших отношениях, в самых дружеских...»

Хорошие отношения сохранились у бывшего директора и с другими сослуживцами. 22 сентября 1910 года он получил от них телеграмму: «Дорогой Николай Алексеевич! Уполномоченные по сельскохозяйственной части, собравшись дружной семьей, шлют Вам горячий привет, вспоминая Ваши труды по учреждению института уполномоченных, и искренно уверяют, что основы, положенные Вами, живы и до настоящего времени».

Как и подобает прирожденному общественному деятелю, Хомяков не остался в стороне от земского движения и вновь был избран предводителем уездного дворянства. «Своего предводительства, — говорил он, — не брошу, ни за что не брошу». Смоленская губерния отвечала взаимной любовью; по словам Н. Н. Чебышева, «она носила его на руках». Хомяков присутствовал практически на всех земских съездах, его приглашали на разнообразные совещания. Как и многие другие земцы, с начала Русско-японской войны Николай Алексеевич принял активное участие в помощи раненым, с 1904 года став главноуполномоченным объединенного дворянства по Красному кресту.

Хомякова почитают умеренным и консервативным: он стоит на правом фланге либеральной оппозиции. И в 1905 году, когда возникли политические партии и не вступить в какую-нибудь из них считалось признаком дурного тона, он, естественно, конституционным демократам предпочел «Союз 17 октября», более того, оказался одним из отцов-основателей октябризма. Н. А. Хомяков возглавил смоленское отделение партии, вошел в ЦК «Союза 17 октября»; в 1906 году был выбран в Государственный совет — верхнюю палату российского парламента. А в 1907-м сложил с себя обязанности члена Государственного совета в связи со своим избранием депутатом Государственной думы второго созыва. Хомяков стал председателем фракции октябристов, а также возглавил Комитет объединенных умеренных и правых партий. Он даже выдвигался на пост председателя II Думы — его кандидатура набрала 91 голос. И все же большинство проголосовало тогда за кадета Ф. А. Головина.

Политическая философия Н. А. Хомякова своеобразна; внутренне неоднородная, при этом она оставалась чуждой догматизму и закостенелости. Развитие местного самоуправления не противоречит принципу самодержавия — такова основная идея политика, по крайней мере до 1905 года. В 1901-м, на совещании земцев, посвященном обсуждению текста записки в адрес императора, Хомяков оказался, по сути дела, единственным, кто поддержал проект видного деятеля Д. Н. Шипова. Сама мысль составить записку пришла тому во время беседы с Хомяковым, так что Николай Алексеевич пер-

вым ознакомился с планом председателя Московской земской управы. В тексте, который предложил Шипов, указывалось: «Бюрократический строй, прикрываясь стремлением охранять самодержавие, но в действительности разобщая царя с народом, создает почву для проявления административного произвола и личного усмотрения. Такой порядок лишает общество необходимой уверенности в строгой охране законных прав всех и каждого и подрывает уважение к правительству». Для исправления недостатков существовавшей системы управления важно восстановить доверие общества к власти. Это возможно лишь при свободном и тесном общении самодержца и народа. Для достижения такого «общения» необходимо гарантировать свободу совести, мысли и слова, а также привлечь избранных представителей общественности к законотворческой деятельности.

Одни участники совещания (как Ф. Д. Самарин) сочли «шиповский проект» слишком радикальным; другие (например, С. Н. Трубецкой), наоборот, — слишком умеренным. Третьи (П. Д. Долгоруков, Р. А. Писарев) готовы были принять предложенный текст лишь условно, как некий минимальный набор требований. И только Н. А. Хомяков целиком и полностью поддержал проект. Он только пытался придать ему более определенное и деловое выражение, свести его к практическим предложениям.

Николай Алексеевич поддержал Д. Н. Шипова и в 1905 году. Тот, вопреки многим, критиковал символ веры правоверного демократа — прямые, всеобщие, равные, тайные выборы депутатов высшего законодательного собрания — и отстаивал иной принцип формирования Государственной думы: по его мнению, представительное учреждение России должно формироваться из членов земских собраний. Дмитрий Шипов и Николай Хомяков защищали эту позицию на съезде дворянских предводителей в апреле 1905 года. Они же стали инициаторами созыва съезда земских деятелей — противников прямых и всеобщих выборов в Государственную думу, отстаиваемых представителями радикального крыла русского либерализма.

Н. А. Хомяков отвергал любые крайности: радикализм в любой форме был для него неприемлем. Так, в январе 1905 года, на депутатском заседании московского дворянства, Хомяков, вместе с убежденными конституционалистами С. Н. Трубецким и Ф. Ф. Кокошкиным, выступал против ультраконсервативной партии, возглавляемой братьями Самаринскими. Партийный идеолог Ф. Д. Самарин категорически возражал против введения народного представительства: по его мнению, созыв даже Земского собора, обладающего лишь правом законосовещательного голоса, сыграет на руку революционным партиям. На этот раз Николаю Алексеевичу пришлось выступить в несвойственной для него роли оратора. Он страстно, пылко возражал против аргументов консервативного большинства и, как вспоминал сам Самарин, вызвал немалое сочувствие в зале. Пройдет некоторое время, и в марте 1905 года Хомяков, вместе с Д. Н. Шиповым, М. А. Стаховичем, В. И. Герье, П. Н. Трубецким, примет участие в составлении некой политической «записки», против которой опять выступит Ф. Д. Самарин с соратниками. «Борьба с правительством кончена, нужна помощь царю» — утверждали авторы этого документа. Ради достижения единения общества и верховной власти нужно созвать законосовещательное народное представительство, Государственный земский собор.

По одному вопросу мнение Хомякова в корне расходилось с тем, что хором твердило либеральное земство: Николай Алексеевич не был сторонником введения мелкой земской единицы. Он соглашался, что земское здание «не достроено», что оно нуждается в фундаменте, которым должны стать органы местного самоуправления — волостное земство, в настоящее время отсутствующее. Однако, в отличие от многих своих коллег, он не одобрял всесословный характер подобного учреждения. Либералы радикального направления исходили из необходимости построения единого здания

самоуправляющейся России, увенчанного всероссийским представительным собранием и имеющего своим фундаментом сельское и волостное земство. Такой подход подразумевал логично устроенную иерархическую структуру: всесословное уездное земство естественным образом формируется из представителей всесословного волостного, а всесословное губернское — из всесословного уездного и т.д. Это обозначало построение властной вертикали, альтернативной бюрократической иерархии. Иными словами, речь шла о коренной политической реформе, которая предполагала принципиально иную роль земства в системе управления.

Совсем иначе рассуждал Николай Хомяков. Для него земство — институт не политический, а в первую очередь хозяйственный. Соответственно, основная цель реорганизации земства — более точное представительство хозяйственных интересов в органах местного самоуправления, а вовсе не реализация политических амбиций некоторых деятелей. Поэтому в 1903 году он предложил министру внутренних дел В. К. Плеве образовать не мелкую земскую единицу, а крестьянское хозяйственное попечительство.

Для Хомякова земская деятельность не имела ничего общего с политикой, и, следовательно, политический принцип самоуправления народа не мог лечь в основание организации земства. Его структура должна определяться основной стоящей перед ним задачей, насущными хозяйственными вопросами. Земство призвано стать представительством хозяйственных, имущественных интересов, имевших место в данной губернии или уезде. Разговоры о всесословной волости, рассуждал Николай Алексеевич, лишь уведут в сторону от наиболее важного вопроса: крестьянские интересы в земстве в настоящее время не представлены. Дабы разрешить эту проблему, необходимо в принципе изменить способ формирования уездных земских собраний. Они должны формироваться из представителей городов, крупного землевладения и предполагаемых Хомяковым хозяйственных попечительств, объединяющих крестьянские хозяйства. Таким образом, вместо всесословной мелкой земской единицы необходимо ввести сословные, крестьянские хозяйственные попечительства.

Согласно проекту Н. А. Хомякова, хозяйственное попечительство — волостное объединение крестьян, основанное на принципе взаимопомощи. Первая его обязанность — организация семенного дела. Все остальные культурно-экономические мероприятия в деревне как раз вытекают из семенного дела, и с ним можно связать все отрасли крестьянского хозяйства. При этом попечительства будут ведать исключительно экономическими вопросами, тяготы же административного управления с крестьянского населения могут быть сняты. Так, например, выбор старшин следует предоставить земским собраниям; расходы на волостные суды и волостное управление примет на себя казна. Так что, по мнению Хомякова, введение крестьянских хозяйственных попечительств не только поспособствует более эффективному решению многих проблем сельского хозяйства, но и улучшит финансовое положение крестьянства.

«Думаю, что мною предложенная форма представительства от хозяйственных попечительств в корне изменит отношение населения к земским учреждениям и исправит их деятельность», — писал Николай Алексеевич Плеве. Действительно, в данном случае подразумевалась серьезная земская реформа. Причем, по сути дела, речь шла об утверждении сословного начала как одного из основополагающих принципов организации земских учреждений. «Хороший он малый, — писал Шипов о Хомякове, — но все еще не перебродила в нем барская закваска, и не может он хладнокровно и правильно отнестись к бессословной интеллигенции, и в своем проекте о хозяйственном попечительстве, который он, между прочим, подавал Плеве, он проектирует попечительства исключительно крестьянские, чтобы оградить крестьянство от влияния интеллигенции».

3 июня 1907 года II Дума была распущена, но Хомяков расстается с депутатским креслом всего на несколько месяцев. Уже осенью прошли выборы в следующую Думу; «Союз 17 октября» одержал уверенную победу, однако каким образом будут употреблены ее плоды, обществу оставалось неясным. В некоторой растерянности оказались и сами октябристы. С одной стороны, правые депутаты неоднократно выступали с заявлениями, что не имеют с октябристами принципиальных разногласий, и поэтому, скооперировавшись, им можно взять в Думе абсолютное большинство. Со своей стороны, многие кадеты считали октябристов политиками скорее либерального толка. А поскольку сам «Союз 17 октября» был формированием действительно весьма неоднородным, его руководству приходилось вести максимально гибкую политику, дабы избежать раскола в партийных рядах. Сама жизнь велела октябристам стать партией компромисса.

Первым актом Государственной думы, которая открывалась 1 ноября 1907 года, должно было стать избрание председателя. Не вызывало сомнений, что кандидатуру следует выдвигать октябристам. Казалось бы, прямая дорога в председатели была А. И. Гучкову: он не только являлся самым ярким партийным деятелем, но и обладал необходимыми лидерскими качествами. Однако сами октябристы не пожелали отпустить Гучкова с поста главы фракции. А дальше дал о себе знать дефицит кадров; правые, почувствовав слабинку «центра», предложили своего кандидата — графа Бобринского. Слева звучало предложение сохранить преемственность и избрать председателем III Думы председателя предыдущей — кадета Ф. А. Головина. Вот в такой обстановке Гучков и предложил фракции поддержать кандидатуру Н. А. Хомякова.

Это вдруг устроило всех. Не только октябристов, но вообще всех — и левых, и правых. Пресса, еще накануне гадавшая на кофейной гуще, вдруг в одночасье заговорила о председательстве Хомякова как о деле, «не подлежащем уже почти сомнению». Небольшая загвоздка заключалась в том, что сам Николай Алексеевич решительно отказывался от такой чести. Однако после настойчивых уговоров он изменил свое решение. «Напишите читателям „Голоса Москвы“, — сказал он корреспонденту, — что Хомяков своих обещаний не держит. Не забудьте только прибавить, что согласился я идти на эти мучения не сразу — долго меня уговаривали, даже замучили совсем, право».

Мучили действительно долго. В своем интервью Хомяков с присущим ему юмором рассказал, как все происходило. «Вчера приехал ко мне Александр Иванович Гучков и битый час меня уговаривал. Господи, как он упрашивал, какие доводы приводил, то есть прямо соловьем разливался... И комплиментов мне, старику, наговорил, и из прошлой моей деятельности случаи председательствования припоминал, ну, словом, обошел меня совсем. Сегодня на конференции я долго упирался, говорил им, что и стар-то я, и памяти у меня никакой нету, и вспылчив я как порох, — уж чего только я не наговорил. А главное, парламентских тонкостей не понимаю и никаких наказов в глаза не видал. Так нет же! Говорят, назвался груздем, полезай в кузов! Ну вот и лезу, только не в кузов, а прямо в огонь! Попомните мое слово, что подведу я в Думе октябристов, ох, как подведу! Ведь кадеты так и норовят уличить нас в незнании парламентских обычаев. Все будут сидеть в Думе и меня подлавливать, у них ведь все специалисты по части наказа. Приходится теперь старику сидеть да учить наизусть наказ, а где его выучишь, когда в нем 900 статей, а памяти у меня — ни-ни...»

По поводу этого и подобных интервью высказался сам лидер фракции октябристов А. И. Гучков: «Напрасно только Николай Алексеевич со свойственной ему скромностью заявил интервьюерам, что он едва ли справится с тяжелой обязанностью председателя Государственной Думы. Напротив, у него твердый, решительный характер, авторитет его у всех высок, вне всяких сомнений. Я убежден, что на первых порах он своей корректностью сумеет снискать любовь и симпатию всей Думы».

Так почему Н. А. Хомяков оказался вдруг настолько незаменимым, что его пришлось так уговаривать? Хомяков — видный общественный деятель: этот тезис, казалось бы, не вызывает сомнений, учитывая солидный послужной список политика. Однако этот видный общественный деятель почти не открывал рта ни на земских съездах, ни во время предшествующих думских прений. Иначе говоря, мы имеем дело вовсе не с публичным человеком, который тем не менее пользовался неизменной популярностью и любовью. Например, когда на земском съезде в мае 1905 года встал вопрос о составе делегации для преподнесения адреса императору, участники совещания голосуют в том числе и за молчаливого Николая Алексеевича. Его неизменно выбирали членом ЦК «Союза 17 октября». Правые и умеренные депутаты II Думы, обсуждая возможные кандидатуры на пост председателя, сразу же вспомнили фамилию Хомякова. А III Дума уже практически единогласно решила, что лучшего председателя, чем Николай Алексеевич, не найти. Такое отношение можно, конечно, объяснить веселым, добродушным характером нашего героя. Однако в этом есть только доля истины.

Н. Н. Чебышев отмечал, что Хомяков, будучи смоленским губернским предводителем дворянства, «с неподражаемым мастерством вел земские и дворянские собрания... Он был прирожденный руководитель больших собраний. Для этого он был наделен всеми данными: самообладанием, пониманием толпы, даром быстро схватывать и с ясной сжатостью излагать суть вопроса, педагогической властью». Разгадка этого феномена кроется, видимо, в том числе и в полном отсутствии у Николая Алексеевича личных амбиций. Декоративная, по выражению лидера кадетов П. Н. Милюкова, фигура нового председателя никому не дала почувствовать себя обделенными. Он казался «наиболее достойным, зараз и либеральным, и покладистым кандидатом».

Этого человека все знали, он всем нравился, никто не мог сказать о нем ничего дурного. находка А. И. Гучкова оказалась гениальной. Когда он предложил эту кандидатуру, никто и не подумал возразить. Все понимали: Хомяков честно исполнит свои обязанности; умный, образованный и культурный человек без каких-либо карьерных устремлений, он будет справедливым и независимым председателем и постарается обеспечить спокойную конструктивную работу. По словам Чебышева, у Хомякова «было свойство внушать к себе глубокое доверие. Он был авторитетен своим политическим бескорытием и нелицеприятием, невольно покорявшим даже самых строптивых думских крикунов». Консолидации вокруг себя способствовал и сам Николай Алексеевич, раздававший перед открытием Думы очень точные и взвешенные интервью.

31 октября 1907 года, накануне открытия Думы, кадетская газета «Речь» опубликовала беседу с Хомяковым. Первым делом он подтвердил отсутствие у него любых связанных с предстоящим избранием амбиций. «Я не чувствую себя подготовленным к столь тяжелой и ответственной задаче, как руководство Думой. У меня и памяти такой нет, которая нужна, и опыта нет, и знакомства с процедурой мало, и я совершенно искренне отказывался от предложенной мне роли. Но раз это, по мнению моей партии, необходимо, я подчиняюсь и не устранию себя от обязанностей». И сразу же — о том, как все-таки с этой работой справиться. «Роль председателя с формальной ее стороны довольно точно регламентирована. Что касается существа, то я считаю безусловной и первой обязанностью председателя быть выше партий и абсолютно беспристрастным. Самую широкую свободу слова он должен ограничивать, во-первых, пределами обсуждаемого вопроса, не допуская никоим образом ни малейшего отклонения от него, и, во-вторых, строгой парламентарностью выражения. Всякие некорректности должны быть тщательно устраняемы, т.к. они обостряют отношения между депутатами, затемняют дело и удлиняют прения. Ни крайние левые, ни крайние правые не должны быть допущены к философским рассуждениям и спорам, может быть,

и пикантным, и в домашней жизни интересным, но в законодательном учреждении неуместным по своей бесплодности... Скандалов в 3-й Думе быть не должно. Я думаю, что члены Думы будут добросовестно заниматься делом».

Корреспондент спросил также, верит ли Хомяков в образование думского конституционного большинства. «Я убежден, что в Думе окажется большое конституционное большинство. Сами правые говорят, что среди них антиконституционалистов немного. Я лично не хочу ни отрицать, ни подтверждать этого, но так они говорят... Я думаю, что в конституционный центр войдут и кадеты, и мирнообновленцы, и октябристы, и даже часть правых, которых от октябристов, в сущности, отделяет только вопрос еврейского равноправия. А так как при этом они не отрицают необходимости облегчения еврейского положения, а некоторые стоят даже за отмену черты оседлости, то постепенно с ними сговорятся. И в Думе образуются три естественные группы: левая, центр и правая. Центр будет объединен, на первом плане, строгим признанием законодательных прав Думы и стремлением к мирному и без резких скачков реформированию русской жизни». Отметив, что «единственное средство вывести страну из ее положения — это взяться за карандаш и работать», Хомяков сформулировал первоочередные задачи Думы: «Рассмотрение бюджета во что бы то ни стало, и затем пересмотр всех законов последних лет с их хитросплетенным разнообразием. Тут и аграрные законы по 87 ст., и временные законы о свободах. При такой путанице остаться нельзя, и это нужно сделать возможно скорее».

Разумеется, подобные высказывания формировали в обществе доверительное отношение к Хомякову. Хорошо понимая роль прессы, он относился к ней весьма благожелательно, никогда не отказывал в интервью, стремился улучшить условия работы журналистов в Государственной думе (поначалу их просто не пускали в зал, и статьи писались исключительно на основании слухов). Газетчики отвечали ему взаимностью; только одиозные издания вроде издаваемого князем Мещерским крайне правого «Гражданина» позволяли себе нападки.

Первое заседание палаты прошло без срывов, председателя избрали практически единогласно (371 голос за, 9 — против), после чего ему предстояло выступить с трибуны. «Вам угодно было, господа, — сказал он, — возложить на меня обязанности Председателя Государственной Думы. Я не должен отказываться от этой великой чести несмотря на то, что чувствую свое бессилие и недостаточные знания, недостаточный опыт. Я выхожу на это дело с недоверием в себя, но я должен принять ваш приговор, ибо я взошел сюда на эту кафедру с другой верой, верой в светлую будущность великой, неделимой, нераздельной России, с верой, с непоколебимой верой в ее Думу, с верой в вас, господа. Я верю, нет, я знаю наверное, вы все пришли сюда для того, чтобы исполнить ваш долг перед государством. Вы пришли сюда, чтобы умиротворить Россию, покончив вражду и злобы партийные; вы пришли сюда, чтобы уврачевать язвы исстрадавшейся родины, осуществив на деле державную волю царя, зовущего к себе избранных от народа людей, чтобы выполнить тяжелую, ответственную государственную работу на почве законодательного государственного строительства. Бог вам в помощь, господа».

Хомяков остался верен своим правилам: речь получилась вполне компромиссной и задеть никого не могла. Либеральная пресса, правда, была разочарована. «Русские ведомости» с недоумением отмечали «странный характер речи нового председателя — отсутствие в ней хотя бы слабых указаний на волнуемую всех злобу дня». «Речь» высказалась более жестко: «Вся его речь явилась отражением партийной вражды и злобы, и притом узкопартийным... Он говорил о новом государственном строе России в терминах более неопределенных, чем термины г. Голубева (государственный секретарь, открывавший Думу. — Авт.), и под его речью прекрасно мог бы подписаться...

г. Пуришкевич». Видимо, предыдущие выступления Николая Алексеевича в прессе все-таки внушили кадетам некоторые иллюзии. От него, вероятно, ждали повторения слов о том, что монархия не является неограниченной, когда ни один закон не может воспринять силу без одобрения Государственной думы, и т.д.

Эту вступительную речь прокомментировал в интервью «Голосу Москвы» 3 ноября 1907 года и лидер октябристов А. И. Гучков. «Почему Хомяков в речи, произнесенной в день открытия, ни разу не упомянул о конституции? Да потому, что у нас было так заранее обусловлено. Ни раздражать, ни махать красными тряпками мы не будем. Точно так же поступили бы и правые, если бы председатель случайно был избран из их среды... Ведь это была не программная речь, а приветствие депутатам».

Известно, что Гучков в те дни серьезно хотел блокироваться с думскими правыми, иногда не ставя в известность Хомякова. При этом он говорил: «Николай Алексеевич, я в этом убежден, никогда не даст в обиду думского меньшинства, которым являются кадеты и крайние левые, но всегда постарается примирить их с депутатским большинством». А Хомяков был искренне настроен на серьезную конструктивную работу; необходимость октябристам с первых дней вступать в союз с правыми, оставляя кадетов в меньшинстве, казалась ему далеко не очевидной. Однако проблемы стали возникать уже с самого начала. Вслед за председателем необходимо было избрать двух его товарищей (заместителей) и секретаря Думы. Хомяков просил занять пост товарища председателя кадет В. А. Маклакова. Едва ли это диктовалось желанием видеть в президиуме представителей всех ведущих партий (то, что второй товарищ председателя будет правым, сомнений не вызывало). Дело в том, что Маклаков являлся автором Наказа (регламента) Государственной думы и лучше других разбирался во всех тонкостях парламентской процедуры. Сознавая свою неопытность, Николай Алексеевич хотел видеть рядом именно такого человека. Накануне выборов он даже обратился в бюро фракции октябристов с письмом, где «горячо настаивал» на кандидатуре Маклакова. Ходили слухи, что в противном случае он угрожал своей отставкой. Однако октябристы в первый, но далеко не в последний раз за время работы III Думы вступили в сговор с правыми, и кадеты остались без мест в президиуме.

Слухи же о возможной отставке только что избранного председателя взялся развеять А. И. Гучков. «Ну разумеется, — сказал он в интервью „Голосу Москвы“, — все эти слухи лишены всякого основания. Николай Алексеевич Хомяков слишком желанный человек для всей Думы, чтобы он мог отказаться от почетного председательского кресла... Избрание Хомякова для России очень важно. При условии долговечности Третьей Думы — а это можно считать вполне обеспеченным — председателю придется очень часто ездить во дворец, — очень важно поэтому, чтобы председателем был человек, угодный при дворе и независимый, с определенной физиономией и прекрасным прошлым, а Николай Алексеевич именно такой человек; с ним в придворных кругах считаются, и очень серьезно». Похоже, не протолкну Гучков в председатели Хомякова, фракция октябристов развалилась бы с самого начала. В ней вполне реально существовало левое крыло, выступавшее против любых блоков с правыми. Фигура председателя консолидировала не только Думу, но и октябристскую фракцию.

В III Думе Хомяков с речами практически не выступал, исполняя исключительно председательские функции. На этом поприще он стал одним из главных действующих лиц большого конфуза, случившегося весной 1908 года. 24 апреля в Думе, в присутствии министра финансов В. Н. Коковцова, обсуждался вопрос о причинах убыточности отечественных железных дорог. Возникла идея, сформулированная П.Н. Милюковым так: «Мы считаем необходимым образовать парламентскую комиссию по расследованию причин убыточности нашего казенного железнодорожного хозяйства». Коковцов отреагировал: «У нас, слава Богу, нет еще парламента». Реплика не

вызвала сверхбурной реакции, но на следующий день депутаты пожелали ее обсудить. Хомяков воспротивился: «Мы не можем ставить как отдельный вопрос обсуждение неудачно сказанных кем бы то ни было слов. Как председатель я не имел никакой возможности остановить министра финансов, когда он сказал свое неудачное выражение; я не имел возможности и не имел даже права, но я считаю, что я имею возможность, имею и обязанность не допускать обсуждения этих слов в дальнейшем».

Это высказывание тоже никого особенно не затронуло — никого, кроме председателя Совета министров П. А. Столыпина. Как вспоминал В. Н. Коковцов, тот встретился с Хомяковым и заявил ему, что это выступление его, Столыпина, «крайне удивило и ставит перед ним даже вопрос о том, как быть министрам, если председатели Думы начнут награждать министров различными эпитетами за произносимые ими речи вместо того, чтобы предоставить Думе в лице ее членов возражать им по существу, и будут делать это еще в присутствии министров; что перед ним стоит даже вопрос о том, согласится ли министр финансов являться в Думу после такого инцидента, а если не согласится, то он, Столыпин, отнюдь не станет уговаривать его, вполне понимая, что и сам он поступил бы точно так же, и тогда встанет во весь рост вопрос о таком конфликте между Думой и Правительством, который просто не знаешь, как разрешить».

При этом Коковцов на момент разговора Столыпина с Хомяковым об инциденте даже не знал. А узнав, махнул на него рукой, сказав, что раздувать его не намерен и вообще считает слова «слава Богу» в своей реплике ошибочными (Столыпин же, наоборот, сказал, что это очень правильно: парламента действительно нет, и слава Богу, что нет). В свою очередь, Хомяков заявил Столыпину, что ему и в голову не приходило обидеть Коковцова: если бы «Владимир Николаевич подал в отставку из-за этого неосторожного шага, то я и сам тотчас же уйду из председателей». Хомяков сначала не понял, в чем состоял его проступок, и думал, что поступил чрезвычайно умно, не позволив депутатам говорить на скользкую тему и предложив простой выход из возникшего инцидента. Однако после беседы со Столыпиным пообещал, что завтра же в Думе возьмет свои слова назад. «Ведь так, пожалуй, по моим стопам члены Думы начнут подносить в своей критике и почище эпитеты, а кто же запретит министрам отвечать на них и в еще более повышенном тоне, от верхнего до диеза, и тогда действительно придется святых выносить из залы».

«Наш милейший Хомяков заварил кашу, пусть он ее и расхлебывает», — сказал Столыпин. 26 апреля 1908 года, председатель Государственной думы, открывая заседание, заявил: «Я вполне сознаю, что поступил некорректно в смысле формальном по отношению к министру, речь которого я квалифицировал, некорректно по отношению к членам Государственной Думы, не допустив их обсуждать слова министра после речи графа Уварова, когда они могли желать высказать свое мнение... Но, господа, я должен сказать, что, кроме наказа, кроме письменных регламентов, я знаю еще другой регламент — это моя совесть. Я считаю, что если предо мной в Государственной Думе от кого бы то ни было, будь то от правительства или будь то от кого-либо из членов Государственной Думы, падет искра, от которой может вспыхнуть пожар, я считаю своим долгом, вопреки регламенту, эту искру потушить. Если мне удалось это сделать, я не могу об этом забывать и до последних дней моей жизни буду вспоминать об этом с удовольствием, а не с раскаянием».

Инцидент, таким образом, ко всеобщему удовольствию был исчерпан. Однако здесь проявилось то качество Хомякова, о котором впоследствии писал П. Н. Милюков, — умение «обволакивать ватой трагические ситуации». «На него никто не мог сердиться, но линию свою он, тем не менее, вел». Николай Алексеевич извинился за формальную бестактность, но слов своих обратно взять и не подумал. А Коковцова потом еще долго спрашивали, есть ли в России парламент или — слава Богу — нет.

Эта реальная двойственность ситуации проявилась, когда в 1909 году русских депутатов пригласили в Англию. Приглашение было направлено не британским парламентом, а частным лицом, профессором Пэрсом. В делегацию вошли четырнадцать думцев и четыре члена Государственного совета. Возглавил ее Хомяков — как человек, которого, по словам П. Н. Милюкова, «не стыдно было показать Европе». Несмотря на неофициальный характер поездки, состоялись встречи российской делегации и с королем, и с наиболее видными членами парламента. Некоторая проблема возникла, когда группа английских рабочих возмущенно потребовала нигде членов делегации не принимать, поскольку они представляют страну, где рабочих угнетают. Фракция лейбористов в парламенте заявила в связи с этим протест против пребывания делегации в стране. Наши соотечественники, вынужденные как-то реагировать, составили ответ, квинтэссенция которого состояла в том, что царь и народ в России едины. Милюков, который тоже находился в Англии, очень не хотел подписывать такую бумагу. В результате Хомяков взял ответственность на себя и подписал ее один как глава делегации. Это позволило россиянам уехать обратно, сохранив достоинство.

Осенью 1909 года Николай Алексеевич предложил всем, кто ездил в Англию, отправить профессору Пэрсу какой-нибудь подарок. Процесс затянулся; в архиве на этот счет сохранились любопытные документы. Дважды члены делегации собирались у Хомякова, обсуждали, что дарить. 30 октября секретарь председателя Думы Алексеев направляет записку думскому казначею: «Председатель Государственной Думы просит Вас при ближайшей выдаче членам Государственной Думы довольствия удержать с членов Думы, поименованных в приложенном к сему списку, по пятидесяти рублей. Удержанную сумму 700 рублей Председатель Государственной Думы просит доставить ему». Эта записка интересна с двух сторон. Во-первых, поучительно уже то, что депутаты собирались приобрести подарок за свой счет. Сегодня такой подход представляется несколько менее вероятным даже с учетом того, что делегация была неофициальной. Во-вторых, любопытна просьба удержать из довольствия деньги и доставить их председателю. Это характеризует высокий уровень взаимного доверия в хомяковской Думе. Деньги собирались пустить на покупку серебряной братины со стаканчиками и размещение на них автографов членов Государственных думы и совета. Работу поручили фирме Фаберже. Средств, правда, не хватило, потом пришлось собирать еще.

Забавная коллизия возникла и в июле 1910 года, когда Пэрс прислал в ответ восемнадцать альбомов. Поскольку он сделал это при посредстве российского посольства в Лондоне, альбомы пришли в МИД. Оттуда их переслали в канцелярию Государственной думы с просьбой вернуть 11 руб. 45 коп., израсходованные артельщиком министерства при получении посылки на таможене. Канцелярия не могла решить этот вопрос без председателя, которым был уже Гучков, к тому же отсутствовавший в городе. Вопрос повис. Несчастный мидовский артельщик, для которого эта сумма представлялась значительной, видимо, сильно теребил свое начальство. В сентябре из МИДа в Думу приходит второе письмо. Председатель велел собрать требуемую сумму со всех участников поездки, разделив ее поровну (получилось по 68 коп.). Занимались этим почти месяц; получить взнос с каждого так и не смогли, но деньги в МИД все-таки отправили.

Все это говорит о том, что думская бюрократия была такой же, как и повсюду в России. Дела продвигались долго и неэффективно. Разумеется, Н. А. Хомяков не мог избежать соприкосновений со столь нелюбимым им «мертвым канцелярским делом». С другой стороны, политическая составляющая деятельности Думы к 1910 году приобретала все более обостренный характер. В этой ситуации председатель не чувствовал ничьей поддержки. Я. В. Глинка писал: «Сохраняя беспристрастность на кафедре, Хомяков не верил в поддержку в нужные моменты председателя своей фракцией»

во главе с ее лидером Гучковым... Остроумный, он был чужд всяких интриг, прямодушен и совершенно не способен к борьбе. Его возмущала и политика своей партии, и неестественный блок с партией Маркова 2-го и Пуришкевича... То, что октябристы не только не поддерживали, но даже топили Хомякова, это несомненно. Правые, ведя систематическую травлю Хомякова, всегда находили поддержку в известной части центра».

Неважно обстояли дела и в Думе в целом. Николай Алексеевич не раз указывал на отсутствие у самих думцев веры в плодотворность их деятельности. Бесконечные споры о том, есть ли в России самодержавие или нет, ему прекратить так и не удалось. Он неоднократно призывал общество посмотреть на этот вопрос с практической точки зрения: «Споры о неограниченности или ограниченности власти монарха, о конституции или самодержавии, мне, признаться, кажутся игрой слов... С моей точки зрения, этот вопрос тесно связан с вопросом о Думе. Будет Дума авторитетна — у нас самодержавия не будет. Дума не будет авторитетна, народ не увидит в ней пользы для себя — и самодержавие окрепнет». Для поднятия думского авторитета председатель призывал депутатов «работать, работать и работать». Тщетно.

Сложно складывались отношения у Хомякова с товарищами председателя — князем Волконским и заменившим Мейендорфа Шидловским. Я. В. Глинка, который, можно сказать, жил на этой «кухне», вспоминал, что его «неприятно поражало всегда желание Волконского затереть Хомякова. Во все выдающиеся моменты он старался выдвинуть свою фигуру. Он закрывал сессию и объявлял указ о возобновлении ее. Он председательствовал, когда проходили крупные законопроекты, он же вел заседания по общим прениям по бюджету. Но лишь только он чувствовал, что может произойти скандал, он уступал место Хомякову. Это право, присвоенное им себе в распределении председательствования, ему казалось настолько естественным, что однажды... мне пришлось быть свидетелем такой сценки. Волконский с Шидловским распределяли между собой дни председательствования на предстоящую неделю. Оказалось, что для Хомякова не было места. Стоявший тут же Николай Алексеевич сердито сказал: „А когда же я буду председательствовать?“... Через час я узнаю, что Хомяков вечером уезжает к себе в имение».

Николая Алексеевича сильно беспокоили препятствия, возникавшие в Государственном совете при прохождении принятых Думой законопроектов. Он пытался докладывать об этом императору, но прекрасно известно, насколько ненадежной опорой был Николай II. Думского председателя выводило из равновесия небрежное отношение к Думе правительства; в 1910 году он уже не мог без раздражения произносить фамилию Столыпин.

Кстати, как самого Столыпина, так и действия возглавляемого им правительства Хомяков изредка позволял себе публично критиковать. Он был единственным среди октябристов противником аграрной реформы по Столыпину, имел свой взгляд на русскую деревню и не собирался его скрывать. В 1909 году Николай Алексеевич резко критиковал политику массовых казней участников крестьянских волнений 1904–1905 годов, политику, которую С. Ю. Витте в своих мемуарах называл «игрой виселицами и убийствами под вывеской полевых судов». В интервью «Речи» 16 сентября 1909 года он говорил: «Совершенно не понимаю, кому нужны все эти казни?.. Точно доведывают! Прошло уже 5 лет, как были совершены многие из тех преступлений, за которые теперь казнят... Я не думаю, чтобы казни дали особое удовольствие и тем, кто вешает. И главное, пользы от них нет никакой. К чему же это нужно?»

В общем, Хомяков оказался в одиночестве, в котором на самом деле и пребывал с момента избрания. До поры до времени он устраивал всех, однако безоговорочной поддержки не имел ни у кого. Его фактически выживали из председателей. Этот про-

цесс достиг кульминации в начале марта 1910 года. На заседании второго числа Миллюков произнес большую речь о внешней политике в связи с докладом министра иностранных дел о новых штатах министерства. Содокладчик от бюджетной комиссии член Думы Крупенский сказал, что невозможно оппонировать Миллюкову по этому вопросу, так как сам министр тему внешней политики не затрагивал, и вообще существует статья 12 Основных законов: «Государь Император есть верховный руководитель всех внешних сношений».

Хомяков ответил Крупенскому: «Я должен сделать... замечание. Направлять прения, останавливать ораторов и не допускать ораторов говорить то, что по закону им не предоставлено, возложено на Председателя Государственной Думы. *(Рукоплескания слева и в центре.)* Я глубоко убежден, что Государственная Дума сознательно избирала своих председательствующих. Я думаю, что выбранные вами председательствующие не хуже каждого из членов Думы знают ст. 12 Основных Законов, и всякий председательствующий не допустит в этой зале ни единого движения вопреки этой статье. Ни единое постановление, ни единое пожелание, ни единый переход, указывающий на направление политики, здесь допущены не будут, ибо это есть прерогатива монарха, которой никто здесь оспаривать не смеет. Ни единого слова в этом направлении не было сказано, поэтому председательствующий ни разу не остановил оратора, а остановил докладчика».

Известный своей скандальностью деятель из числа правых В. М. Пуришкевич также произнес речь на тему международной политики, в которой вопрошал, с какой стати советник посольства в Италии Крупенский (однофамилец члена Думы) назначен посланником в Христианию (нынешний Осло). Хомяков Пуришкевича остановил, отметив: «Посланники назначаются Государем Императором в качестве его представителей, почему я покорнейше прошу Вас этого не касаться... Государь Император знает, кого назначить, и никто ему в этом указаний давать не может, тем более с этой кафедры».

Здесь Николай Алексеевич ошибся. По существовавшему праву представителями императора являлись послы, посланники же были представителями правительства. Это дало повод пятидесяти трем правым депутатам заявить протест. «Господин Председатель Государственной Думы, неоднократно обнаруживавший явно пристрастное отношение при произнесении речей ораторами разных партий, нарушил все общепринятые правила руководства собранием. Он не только превратным толкованием Основного Закона покрыл совершенно незаконное выступление оратора „оппозиции“... Миллюкова, но и проявил недопустимую нетерпимость к вполне законным выступлениям оратора правых... Пуришкевича... Лишь несокрушимая энергия г. Председателя, не допускающего никакого обсуждения его изречений, не позволила оратору выяснить как незнакомство г. Председателя с общеизвестными нормами международного права, так и превратное толкование им действующих законов».

На следующий день, 3 марта, Хомякову пришлось вступить в конфликт не только с правыми, но и с левыми. Заседание прошло бурно. В Думу приехал министр народного просвещения Шварц. Поскольку его выступление не закончилось вовремя, кадеты потребовали объявить перерыв и отложить выступление. Так как председатель повел себя несколько нерешительно, многие кадеты вышли к трибуне и стали громко требовать перерыва во имя уважения министерства к Думе. Хомяков объявил перерыв, министр обиделся и уехал.

После перерыва обсуждение проблем образования продолжилось. Пуришкевич допустил очередную гнусную выходку, сказав, что среди совета старост Санкт-Петербургского университета есть женщина, которая «находится в близких физических сношениях со всеми членами совета». На кадетских скамьях поднялся шум, послышались выкрики: «Негодяй! Вон!» Хомяков с председательского кресла заявил, что «на совес-

ти того, кто говорит, лежит ответственность за сказанное». П. Н. Милюков высказался с места: «Бесполезно взывать к совести Пуришкевича!» После этого Дума превратилась в базар. Справа кричали: «Вон Милюкова, вон Милюкова!» Председатель взывал: «Вы не должны допускать безобразий». «Это Вы не должны допускать безобразий», — парировал Милюков. Хомяков в ответ заметил: «Со скамьи перебраниваться с Председателем Вы права не имеете. Вы запишитесь, а сейчас Вы слова не получите... Я останавливаю того, кого считаю нужным, и указы Вашей не требую». «Вы допускаете безобразия», — настаивал Милюков. В обстановке всеобщего крика объявили перерыв.

После перерыва Николай Алексеевич сделал заявление. «Я просмотрел стенограмму последних минут прошлого заседания и усмотрел, что член Государственной Думы Пуришкевич позволил себе совершенно недопустимые слова в собрании, которое сколько-нибудь уважается говорящим. Он позволил себе оскорбить, хотя и анонимно, женщину в выражениях самой невозможной формы. Это вызвало то естественное негодование, которое проявилось в стенах Государственной Думы. Ввиду этого я считаю невозможным допустить члена Государственной Думы Пуришкевича продолжать свою речь. Но тем не менее, несмотря на то что случилось, я не могу не сказать, что члены Государственной Думы позволили себе совершенно невозможное отношение к инциденту и к Председателю. Во главе этого шума, этих криков, к сожалению, стоял лидер одной из больших фракций. Два раза мною было сделано замечание члену Государственной Думы Милюкову, который, несмотря на мои замечания, продолжал вести себя не так, как надлежит вести себя члену Государственной Думы. Поэтому я ставлю ему на вид самым серьезнейшим образом, что такое действие недопустимо и, скажу, постыдно со стороны человека, который должен бы уважать Государственную Думу».

Это заявление опять вызвало шум в зале. Милюков кричал: «Я против этого протестую, „постыдно“ — нельзя говорить», справа раздавались голоса: «Исключить Милюкова, исключить Милюкова». Заседание все-таки продолжилось, но стало последним для Хомякова как председателя Государственной думы: правые подали протест по поводу объявления перерыва по требованию кадетов. В нем отмечалось, что «неумелое несение г. Председателем его ответственных обязанностей причиняет постоянный вред ходу деловых занятий Государственной Думы и осложняет положение дел, внося пристрастие и произвол».

По окончании заседания Хомяков имел разговор с П. А. Столыпиным, который высказал серьезные претензии в связи с инцидентом, когда министру Шварцу не дали говорить. Это, видимо, стало последней каплей. В конце разговора Хомяков сообщил Столыпину, что он больше не председатель и со всеми дальнейшими вопросами надлежит обращаться к В. М. Волконскому — товарищу председателя Государственной думы. Волконскому Николай Алексеевич тут же направил письмо: «Милостивый государь князь Владимир Михайлович. Не считая для себя возможным далее нести обязанности Председателя, покорно прошу Вас доложить о сем в ближайшем заседании. Сегодня мною будет сделано то же заявление в собрании Старейших».

4 марта, в восемь часов вечера, руководители фракций собрались на обычное заседание. Хомяков, против обыкновения, опаздывал. Войдя, он объявил о своем решении, заверил, что оно непоколебимо, и уведомил собравшихся, что скоро приедет товарищ председателя Шидловский, который и будет вести заседание.

Политическая нейтральность, ненадуманная внепартийность этого деятеля способствовали его избранию — правда, скорее не по положительным мотивам, а больше потому, что никто не был особенно против; но беда в том, что никто также не был особенно за. Мы склонны согласиться с Н. Н. Львовым: человек без предубеждений, Хомяков, «когда нужно было сблизить правительство с обществом, умело ввел Государ-

ственную Думу из безбрежного разлива в русло законодательной работы. ...Государственная Дума превратилась из революционного очага в жизненный орган государства». Действительно, здесь заслуга думского председателя неоспорима.

Однако, практически единогласно избрав Хомякова, и левые, и правые на самом деле рассчитывали, что смогут преодолеть его добродушную нейтральность, сделав более лояльным к себе, нежели к другим. На его полное послушание небезосновательно полагалось и правительство. Когда же Хомяков стал честно и непредвзято делать свою работу, все начали нервничать — в Думе стало слишком жарко. Н. Н. Чебышев писал, что «эта нейтральность отмежевывала от него барьером низы форума». Не выдержав нападков со всех сторон, Николай Алексеевич махнул на все рукой и уехал в Сычевку.

Он ушел, как ни уговаривали его остаться. Председателем избрали А. И. Гучков, и фракция октябристов начала разваливаться. Правое и левое ее крылья все более обособлялись. Когда и Гучкову через год пришлось уйти с поста председателя, необратимость процесса стала очевидной. Фракция октябристов и прежде была не слишком крепкой, но единство ее сохранялось как благодаря Гучкову на посту главы фракции, так и благодаря тому, что в председательском кресле сидел Хомяков, который старался не допускать конфликтов в Думе в целом. Конечно, не следует забывать и о том, что людей, называвших себя октябристами и придерживавшихся центристских взглядов, в некоторой степени консолидировали фигура и идеи П. А. Столыпина. К 1911 году ничего этого, как видим, не осталось. Хомяков и Гучков покинули свои должности; увлечение общества Столыпиным прошло еще до его убийства в сентябре 1911 года.

Разумеется, культурных и порядочных людей, которых во фракции октябристов было немало, не могли не возмущать противоестественные блокировки с правыми во имя каких-то тактических целей. То, что правые изо всех сил тащат страну назад, было очевидно многим, в том числе и Хомякову. Еще в 1909 году ему стало окончательно ясно, что, «в сущности, им и делать больше нечего, как скандалить и вызывать в Думе скандалы». Поэтому, когда на пост председателя Думы вместо Гучкова фракция после бурных дебатов избрала крайне правого октябриста М. В. Родзянко, пять членов бюро фракции, включая Хомякова, заявили о своем выходе из этого бюро. В 1911 году октябристы фактически распались. 6 мая Николай Алексеевич заявил: «То, что часть членов фракции не посещает ее заседаний, — конечно, плохо. Но еще хуже, когда во время заседаний ряд членов сидит в соседней комнате и играет в карты».

В лице Н. А. Хомякова мы видим пример исключительно честного отношения к делу. Он вовсе не лукавил, когда говорил о своей нелюбви к политике и о том, что так бы и просидел весь свой век в деревне. По словам П. Н. Милюкова, «к политической кухне Хомяков питал совершенно явное отвращение, и только его ленивая пассивность допускала введение его в фальшивые положения». Он не рвался ни в Думу, ни в ее председатели, у него все получалось как бы само собой, а он просто плыл по течению, пока это позволяли его представления о чести. Но, взявшись за дело, Николай Алексеевич делал его честно и до тех пор, пока оставались силы. Именно поэтому, отчетливо понимая всю пагубность союза с правыми, он фактически возглавил левое крыло октябристов; речь шла даже о создании отдельной фракции. На октябристском банкете по поводу завершения работы III Думы Николай Алексеевич предложил своим единомышленникам собраться на другой день отдельно. Сбор состоялся, и там, по свидетельствам его участников, все ругали Гучкова за компромиссы. Большая личная трагедия Хомякова состоит в том, что он, по-видимому, поначалу искренне верил в возможность достигнуть общественного согласия путем компромиссов во имя совместной конструктивной работы на благо страны. Но общество уже настолько раскололось, что ничего поделать было нельзя. И это уже трагедия не только Хомякова, это трагедия России.

Николай Алексеевич был избран и в последнюю, IV Государственную думу. Правда, к этому времени он, очевидно, потерял всякий интерес к политической деятельности, уже прекрасно понимая обреченность старой России со всеми ее политическими институтами. На вопрос газетчика, не является ли некий последний шаг правительства симптомом трансформации его политики, Хомяков ответил: «Вся наша беда в том, что мы живем без всяких симптомов, изо дня в день. Это единственный и самый скверный симптом». Поэтому в Думе депутат бывал редко, основное время проводя в Сычевке. Его личное дело, хранящееся в архиве, сохранило много записок на имя председателя Государственной думы М. В. Родзянко с просьбой об отпуске.

Хомяков не порывал связей с обществом Красного Креста. С началом Первой мировой он, будучи депутатом, возглавил Красный Крест в 8-й армии, а его дочь Мария Николаевна стала во главе санитарного отряда Государственной думы. Гуманистическая миссия, которую Николай Алексеевич исполнял на фронте, прельщала его куда более депутатской деятельности. Он сидел в 8-й армии безвыездно и писал оттуда Родзянко, что если его постоянное отсутствие в Думе недопустимо, то он готов сложить с себя полномочия ее члена.

После революции Н. А. Хомяков оказался в Яссах, где командование Юго-Западного фронта русской армии в конце 1917 года совещалось о дальнейших действиях с представителями стран Антанты. Там же присутствовал и П. Н. Милюков. Он вспоминал, что «Хомяков опять молчал, но, сколько помнится, не шутил больше. Он был какой-то осевший и присмиривший». И все же продолжал службу по линии Красного Креста. Во время Гражданской войны Николай Алексеевич — главноуполномоченный при армиях Южного фронта и член Временного управления Российского общества Красного Креста.

Последние остатки Белой армии под командованием Врангеля были организовано вывезены из Крыма в 1920 году в Стамбул. Очень вероятно, что именно тогда и Хомяков покинул Россию. Из Стамбула беженцев старались распределить по другим странам. Так, 29 ноября 1920 года в город Дубровник, ныне находящийся на территории Хорватии, а тогда входивший в составе последней в Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев, прибыл пароход «Сегет». На его борту находились 2475 россиян; представляется весьма вероятным, что в их числе прибыл и Хомяков.

Большинство эмигрантов из Дубровника разъехалось, Николай Алексеевич обосновался там. Почти сразу же умерла его жена, с отцом остались дочери. Внушительной русской общины в городе не было, русской церкви тоже, православная служба шла в сербском храме. Хомяков, остававшийся верным выбранному делу, занимал должность «председателя Российского общества Красного Креста в Дубровнике». Он, как мог, сторонился эмигрантского общества. В статье, посвященной 75-летию Хомякова и опубликованной 1 февраля 1925 года в белградском «Новом времени», Н. Н. Чебышев писал: «Мы живо ценим, что он с нами, что он в хаосе уцелел, и, приветствуя юбиляра, просим нас простить, что, быть может, нашим приветствием нарушили его сокровенные желания».

Про Хомякова ходили разные слухи. Например, видному в свое время кадету Н. Н. Львову говорили, будто «Николай Алексеевич очень постарел и ожесточился». Однако, встретив его в 1924 году на русской пасхальной службе в городе Земуне, Львов «увидел в нем того же Николая Алексеевича, каким его знал. Такая же светлая голова, никакой ожесточенности. Горечи, да, много горечи было в его словах, но никакой озлобленности».

28 июня 1925 года Н. А. Хомяков скончался в Дубровнике после продолжительной болезни. И тут многие осознали, что это был не просто добродушный и симпатичный весельчак, не просто ленивый помещик. «В нашем общественном движении, —

писал Н. Н. Чебышев, — так печально завершившемся, он стоит особняком, одиноким, бессильным, обреченным на созерцание наблюдателем, ясно сознававшим ослепление обеих сторон, правителей и революционной общественности, сотрясавших соединенными усилиями над собственными головами зыбкую кровлю государства в то время, когда перед Россией открывались необозримые экономические и культурные перспективы». «Нам нужно знать, — добавлял Н. Н. Львов, — наших лучших русских людей, нужно учиться у них любить и продолжать любить Россию».

P.S. Н. А. Хомякова, скончавшегося 28 июня 1925 года в хорватском городке Рагузе (Дубровнике), похоронили на местном православном кладбище. Мне, с помощью друзей из дубровницкой православной общины, удалось разыскать его могилу. Известно, что Дубровник оказался в эпицентре недавней гражданской войны в Югославии и сильно пострадал. Православное кладбище подверглось глумлению; скромныйobelisk над могилой Н. А. Хомякова и его жены Натальи Александровны был серьезно поврежден... — *Примеч. ответственного редактора.*

ИВАН ИЛЬИЧ ПЕТРУНКЕВИЧ:
«Подготовить страну к самому широкому самоуправлению...»

Константин Могилевский

Иван Ильич Петрункевич родился 23 декабря 1843 года в селе Плиска Борзненского уезда Черниговской губернии в семье мелкого помещика. Детство его прошло в деревне; как он вспоминал впоследствии, тесное общение с крестьянами вселило в него уверенность в том, что они заслуживают лучшей участи.

Первоначальное образование Петрункевич получил в Киевском кадетском корпусе. Уже тогда его жизнь оказалась связана с либеральными идеями. Один из его учителей, большой поклонник Герцена, получал из Лондона «Полярную звезду» и «Колокол». Пятнадцатилетний Иван тайком зачитывался запрещенными журналами. Уже будучи в эмиграции, Петрункевич писал: «С тех пор прошло уже более шестидесяти лет, но я и до сих пор считаю Герцена своим руководителем. Разумеется, я следую за ним не слепо, а критически. Он сам вручил мне метод: научил меня отличать в его сочинениях незыблемое от навязанного временем и местом... Сейчас, когда преемники первого большевика Нечаева постоянно ссылаются на Герцена, прикидываются его последователями, прикрывают его именем свои идеи политического каннибальства, кажется нелишним напомнить, что все это — не более чем постыдная профанация. Герцен был не только великим политическим мыслителем и деятелем: он был великим русским патриотом и гуманистом. На его руках нет ни одной капли крови; на его совести — ни одного преступления против родины...»

Окончив кадетский корпус, И. И. Петрункевич поступает на юридический факультет Санкт-Петербургского университета. Именно там он встретил людей, которые во многом определили его дальнейшую судьбу и очевидным образом способствовали формированию его мировоззрения. Прежде всего, это были братья Бакунины. Старший из них, Михаил, известный теоретик анархизма, к тому времени уже жил за границей, с младшими, придерживавшимися либеральных взглядов, у Петрункевича сложилось полное взаимопонимание. Сформировался кружок молодых людей (в их числе был и В. И. Вернадский), который собирался в квартире, снимаемой Бакуниными.

После окончания университета Петрункевич оказался перед выбором: продолжить карьеру в столице или вернуться на родину. Впрочем, выбирая второй путь, долго он не колебался. В своих воспоминаниях он пишет, чем руководствовался при выборе. Еще тогда, в 1860-х годах, Петрункевич знал, что «должен посвятить свою жизнь интересам народа, его нуждам, как материальным, так и духовным, гражданским, общечеловеческим; знал, что это требует долгой и упорной борьбы с условиями его существования — невежеством, бедностью, беззащитностью и с произволом власти».

Его соратник по Конституционно-демократической партии (Партии народной свободы) И. В. Гессен, опубликовавший в 1934 году воспоминания Петрункевича в серии «Архив русской революции», писал, что с программой «преобразования государственного устройства России на бессловных, конституционных началах, отнюдь не

путем насильственного переворота», служившей ему путеводной звездой, И. И. Петрункевич прошел «через всю свою долгую жизнь, вперив острые колючие глаза в эту звезду, только ее и видя пред собою и не сбиваясь ни на йоту с указываемой ею дороги. На своем пути, отнюдь не усеянном розами, он не знал никаких компромиссов, его девизом было: выполняй свой долг, и пусть будет, что будет!». Так в жизни Петрункевича начался период работы в земстве.

В 1864 году произошла земская реформа. Ее образную характеристику дал И. П. Белоконский, автор самой основательной дореволюционной работы по истории земского движения. «Русский режим никогда не способствовал мирному и планомерному разрешению назревающих народных нужд. Русское правительство по отношению к освободительному движению во все времена применяло, если можно так выразиться, шлюзную систему. Как только замечало оно проявление „вольного духа“ среди населения, тотчас воздвигало шлюз. Когда он заполнялся недовольством и последнее начинало переливаться через первый шлюз, правительство ставило второй, третий и так далее, совершенно не соображая, что при таком способе самый источник недовольства не только не уничтожался, а страшно возрастал и что в конце концов никакой шлюз не будет в состоянии сдержать напора недовольства, которое постепенно переходит в негодование, в злобу, в отчаяние».

Таким шлюзом, по мнению Белоконского, были земские учреждения. В 1865 году они были введены и в Черниговской губернии. В это время Петрункевич учился в Санкт-Петербургском университете, но случайно оказался в гостях у служившего в Чернигове отца как раз во время открытия губернского земского собрания. Это событие произвело на него огромное впечатление. По его собственному признанию, «воображение далеко вышло за пределы этой залы и этого момента и рисовало картины будущего, которое казалось таким близким...».

По составу присутствующих, за исключением пятерых малороссийских казаков из девяноста гласных, земское собрание напоминало дворянское. Его первые заседания были абсолютно деполитизированы. Петрункевич считал, что этот принцип устарел, так как на повестку дня стали выходить вопросы, вызывающие столкновение хозяйственных, сословных и политических интересов. К тому же земские учреждения были фактически единственными, в которых работали избранные народные представители.

В 1867 году, вернувшись в Плиску — свое родовое имение, Петрункевич задумался о том, что старый порядок и здесь должен уступить место новому. Для этого следовало найти единомышленников и выиграть выборы в земство на следующее трехлетие. В 1867 году он осваивался в новой для себя роли владельца имения, которое было передано ему отцом. Петрункевич первым делом отказался от пятой части выкупной ссуды, которая причиталась ему от крестьян. Помимо мировоззренческих причин, здесь могли быть и практические соображения: Петрункевич далеко не бедствовал, а означенная акция практически гарантировала ему место в земском собрании в качестве гласного от крестьян.

Впрочем, дворянство Борзненского уезда Черниговской губернии состояло далеко не из одних только либералов. В то же время оно, и только оно было той реальной силой, которая могла практически работать в земстве. Крестьяне не обладали для этого ни образованием, ни каким-либо подходящим опытом, ни необходимым положением в губернии. Поэтому у Петрункевича возникла необходимость поиска единомышленников в дворянской среде. Ее он подразделял на три группы. Это ретрограды, не желавшие приспособляться к новому порядку; карьеристы, стремившиеся исключительно к личному успеху, и, наконец, третья группа, которую Петрункевич считал своей.

Вспоминая идеи, объединявшие эту последнюю группу в конце 1860-х годов, Петрункевич был достаточно самокритичен. «Конечно, можно сказать, что это были мечты, ни на чем не основанные, но не надо забывать, что это было время великих реформ, когда не только молодежь, но и люди почтенного возраста помолодели и строили планы для будущей России». Семерых «мечтателей» объединила идея обновления России на почве осуществленных крестьянской, земской и судебной реформ. Понимая всю их непоследовательность, они считали, что «общество получило благодаря этим реформам точку опоры и почву для общественно-полезной работы, которая сама по себе неизбежно должна была раздвинуть рамки, установленные правительством, и подготовить страну к самому широкому самоуправлению».

Но прежде чем проводить реформу самоуправления, предстояло уничтожить все привилегии, полностью уравнивать всех граждан в гражданских и политических правах и ликвидировать сословные различия. Сферу компетенции земства предполагалось расширить, освободить его от «устаревших вмешательств администрации и подчинить контролю специальной власти». Важной идеей было распространение земского самоуправления на волостной уровень. Считалось, что работа земского собрания в уезде не создает у крестьянина должного чувства сопричастности, он не понимает, за что платит деньги. Надо отдать должное И. И. Петрункевичу и его единомышленникам: в 1860-х годах они это понимали, но сделать, по-видимому, ничего не могли.

Однако школьное дело они уже тогда в родных краях начали налаживать. Как только Петрункевич приехал в Плиску, он убедился в полном отсутствии в уезде школ. Таковую он решил открыть в своем имении, выделив для этой цели специальный флигель. Правда, не согласовал это ни с каким начальством, справедливо полагая, что «если в уезде нет школ, то не может быть и школьного начальства». Предположение оказалось ошибочным; школу под угрозой суда пришлось закрыть.

Вскоре один из единомышленников Петрункевича — М. А. Имшенецкий занял пост председателя уездной земской управы, и это дало возможность всей группе постепенно знакомиться с тонкостями земского дела, не дожидаясь выборов. Петрункевич выстроил-таки на своей земле школу с целью передать ее земству, которое помогло ему собрать на строительство средства.

Таким образом, к 1868 году — году выборов гласных на второе земское трехлетие — Петрункевич обладал если не четкой программой действий, то во всяком случае некой системой принципиальных установок. Он был полон сил, энергии и желания заниматься тем, чем закон предписывал заниматься земству.

В конце лета 1868 года Петрункевич был избран на крестьянском избирательном собрании гласным уездного земства, а затем последнее делегировало его в состав губернского земства. Петрункевич называет четыре направления, в которых преуспело земство во второе трехлетие своего функционирования: введение института мирового суда; начало учреждения народных школ и открытие земской публичной библиотеки; принятие системы бесплатной врачебной помощи населению; перевод натуральных повинностей в денежные и распространение их на все сословия.

Земская деятельность Петрункевича и его единомышленников на Черниговщине протекала с переменным успехом: периодическое изменение состава уездных гласных оказывало прямое влияние на ход дела в губернском земстве. Бывали периоды, когда удавалось сделать многое; были и такие, когда и уездное, и губернское земские собрания оставались «пассивными исполнителями текущих дел». Вспоминая в 1920-х годах историю этого периода, Петрункевич писал, что «каждая ее страница отмечена тем или другим насилием или беззаконием безответственной власти и бессилием земства». Он подчеркивал, что работу в те годы в земстве либералов было бы правильнее назвать борьбой — борьбой с правительством и администрацией.

В 1878 году произошло событие, которое привело к временному прекращению земской деятельности Петрункевича. 4 августа народоволец Степняк-Кравчинский заколол шефа жандармов генерала Мезенцева. В своих воспоминаниях И. И. Петрункевич писал, что это «было фактом исключительной важности и исключительного успеха террористов». Правительство обратилось к обществу с призывом поддержать самые решительные меры в борьбе с террором. Многие земцы не сомневались, что отвечать должны были именно они, так как земство представляло в обществе «единственную часть, достаточно организованную и способную к какому-либо действию». Петрункевич вспоминал: «Перед всеми нами стоял в те годы выбор: либо добровольно зачислить себя в армию полицмейстеров, либо защищать свободу — как против самодержавия, так и против террора».

Ситуация требовала образования некоей коалиции, которая могла бы обратиться с ответным обращением к правительству. С этой целью И. И. Петрункевич вместе со своим коллегой А. А. Линдфорсом поехал в Киев для встречи с группой влиятельных украинофилов. В ходе этих консультаций было принято решение воспользоваться для проведения более широкого совещания предстоящим заседанием по поводу посмертного юбилея украинского писателя Квитко-Основьяненко, которое должно было состояться в Харькове в последних числах ноября.

На праздновании этого юбилея собралось большое количество разномастной публики. И. И. Петрункевич был предупрежден, что после официального заседания планируется банкет, на котором не рекомендуется «брать особенно высоких политических нот, так как на обеде будут разные лица, и некоторые из них могут испугаться». Тем не менее Петрункевич, получив слово, практически сразу же обозначил политическую направленность своего выступления. Было бы хорошо, чтобы все так заботились о народе, как заботился покойный юбиляр, сказал он и сразу же перешел к теме убийства генерала Мезенцева. «Существуют различные взгляды на общественную деятельность. Террористы, например, находятся на линии огня, стремятся к недостижимому; с другой стороны, малорезультативна и деятельность лиц, кто эмигрирует, надеясь на влияние с Запада. Нужно работать в России и добиваться свободы путем организации общественных сил». Образованная часть последних «одинаково против террора, идет ли он снизу или сверху, ибо знает, что таким путем дойти до свободы и конституции так же невозможно, как невозможно этим путем достигнуть спокойствия и порядка в стране. Террор одинаково свидетельствует как о слабости правительства, так и о слабости общества. Убийство генерала Мезенцева есть новое напоминание о том, что невозможно долее поддерживать двусмысленное положение, занятое обществом в борьбе, которую ведут террористы с государственной властью... Наступает момент, когда общество обязано высказаться прямо и откровенно, что, не одобряя террористических убийств революционеров, оно также не одобряет и правительство, которое отказывается понять, что система государственного порядка, которую оно так упорно защищает, не соответствует ни достоинству русского народа, ни интересам великого государства; что правительство обязано приступить к коренной реформе и сделать все, от него зависящее, чтобы прекратить террор мирным путем, а не путем казней. Общество одинаково против убийства из-за угла и против виселицы». «Нужно немедленно организовать особую комиссию, которая выработала бы проект объединения всех оппозиционных сил в стране», — резюмировал Петрункевич. Исходя из этих соображений, Петрункевич и Линдфорс обратились к лидерам украинофилов с просьбой устроить им встречу с «главарями южнорусских террористов».

Встреча состоялась 3 декабря 1878 года. Петрункевич в своих воспоминаниях следующим образом формулирует предложение, с которым они с Линдфорсом обратились к террористам: «Временно приостановить всякие террористические акты, чтобы

дать земцам время и возможность поднять в широких общественных кругах и прежде всего в земских собраниях открытый протест против правительственной внутренней политики и предъявить требование коренных реформ в смысле конституции, гарантирующей народу участие в управлении страной, свободу и неприкосновенность личности».

Петрункевич предложил всем оппозиционным деятелям соединиться «для добытия конституции». Средства предлагались следующие: подача петиций, мирные демонстрации, агитация посредством печати, издаваемой за границей и доставляемой контрабандой. У Петрункевича сложилось впечатление, что «предложение имело некоторый психологический успех и что если нам удастся сдвинуть общественное мнение с мертвой точки равнодушия, то террористы поймут необходимость приостановить свою активную деятельность... Если бы правительство проявило хоть сколько-нибудь готовность сговориться со страной, террор потерял бы под собою почву...».

В январе 1879 года состоялась очередная сессия Черниговского губернского земского собрания, на которой Петрункевичу предстояло выступить с заявлением о том, что «русское общество, не обладая в законе никакими гарантиями, лишенное возможности опираться на общественное мнение, которого не существует в нашей стране, и не замечая у правительства желанья утвердить свой авторитет на моральной основе, бессильно оказать правительству какое-либо содействие в его борьбе с террористами». Накануне заседания текст заявления получил в городе широкое распространение, даже раскупался публично и стал известен местным властям, которые руками председателя собрания губернского предводителя дворянства Неплюева воспрепятствовали чтению доклада. В апреле И. И. Петрункевич за это несостоявшееся выступление был сослан в город Варнавин Костромской губернии.

В конце 1886 года Петрункевич после вторичной высылки из Черниговской губернии приехал в Тверь, где уже жил в ссылке и где теперь решил обосноваться надолго. Условия борьбы в Твери представлялись Петрункевичу более благоприятными, нежели в Чернигове. За время его пребывания в Твери в 1883–1886 годах в ссылке под гласным надзором полиции он приобрел большое количество единомышленников. Костяк этого кружка составляли его брат Михаил Ильич, а также семья Бакуниных. В Тверь, расположенную между Петербургом и Москвой, стремились многие из тех, кому было запрещено проживать в столицах. В результате местное общество пользовалось устойчивой репутацией одного из самых либеральных в России. Таким образом, Тверь стала для Петрункевича «колокольней, которая, однако, должна служить нам не препятствием, чтобы видеть Россию, а сторожевой вышкой, с которой горизонт будет шире и виднее».

В Новоторжском уезде Петрункевич приобрел участок земли, который позволил ему участвовать в выборах земских гласных в 1891 году. Это был фиктивный ценз: жил Петрункевич в основном в Москве. Но в 1897-м он поселился в имении «Машук» и, устроив там «конституционное гнездо» (по выражению Б. В. Штюмерера), жил в нем до 1905 года включительно. В этот период деятельность Петрункевича постепенно начинает переходить на общегосударственный уровень. Земскими вопросами он уже не занимался так же плотно, как в Черниговском земстве.

Поселившись в «Машуке», Петрункевич полагал, что достигнет «результатов наиболее важных и желательных: разъединенные и даже взаимно враждебные общественные силы прочно будут связаны в местном самоуправлении и через него достигнут коренной русской реформы — замены самодержавия конституцией». Этим обусловлено то, что это был период «напряженной общественной работы» за «освобождение нашей родины от режима исключительных положений, насилий и беззакония».

Это, безусловно, очень интересный этап в жизни и деятельности И. И. Петрункевича, самый плодотворный, по его собственному признанию. В своих воспоминаниях он отмечает, что за все время его работы в Новоторжском уездном земстве состав последнего практически не изменялся, что позволило стабильно и последовательно вести земскую деятельность. Имело значение и то обстоятельство, что если в Борзне Петрункевич со своими единомышленниками пришел фактически на пустое место и всю работу земства они были вынуждены налаживать с нуля, то на Тверской земле система уже существовала и нормально функционировала.

Серьезным новшеством, внесенным И. И. Петрункевичем в работу Тверского земства, была организация кредитного товарищества. Кредит, являясь необходимым условием для нормального ведения хозяйства, конечно, в деревне существовал. Однако кредитованием занимались, как правило, зажиточные крестьяне, которые предлагали крайне невыгодные для основной массы населения условия. Тем самым развитие крестьянских хозяйств существенным образом тормозилось. Заметив это, Петрункевич пришел к мысли устроить «кредитное товарищество, которое могло бы выполнить три задачи: оказывать своим членам недорогой краткосрочный кредит вообще; оказывать кредит для покупки всяких предметов хозяйства: лошадей, скота, сельскохозяйственных удобрений и так далее; брать на себя посредничество в продаже предметов хозяйства и оказывать кредит под залог продаваемых предметов». Однако в России существовал типовой, так называемый «нормальный» устав кредитных товариществ, и он не предусматривал функций, предложенных Петрункевичем. По этому поводу следовало подавать специальное ходатайство в Министерство финансов.

Для учреждения кредитного товарищества нужно было собрать не менее тридцати подписей его будущих участников. Однако крестьяне крайне неохотно ставили свои подписи под непонятным документом — недостающие автографы Петрункевичу пришлось собирать среди членов семьи. Эта проблема неготовности крестьян к ведению дел, требующих аккуратности и точности, вообще очень волновала Петрункевича. Тем не менее он рассчитывал, что сумеет уделять товариществу достаточно времени в качестве исполняющего контролирующую функцию попечителя.

По прошествии года устав товарищества был утвержден министерством, и оно начало работать, преодолевая недоверие крестьян. По словам Петрункевича, изменила отношение последних к кредитному товариществу покупка им несгораемого шкафа для хранения денег. После этого дело начало налаживаться. Благодаря тому что И. И. Петрункевич настоял на утверждении 9 процентов годовых по займам вместо обычных 12 процентов, удалось предложить условия лучшие, нежели у конкурентов — зажиточных крестьян и мелких лавочников. Убедиться в успехе начинания Петрункевича приехал из Москвы М. Я. Герценштейн, в ту пору директор Московского земельного банка.

Петрункевич и члены его семьи также взяли на свое попечение несколько тверских школ. В своих мемуарах Иван Ильич вспоминал, как они «снабжали школы книгами и учебными пособиями, а также устраивали на рождественских святках ели для учащихся, причем ни разу не встретили ничего, что было бы похоже на вмешательство школьной инспекции или полиции».

В первые годы XX века в России в очередной раз приобрел чрезвычайную остроту земельный вопрос. В 1905 году И. И. Петрункевич опубликовал на эту тему специальную брошюру, в которой подчеркивалось, что «аграрный вопрос застал нас столь же неожиданно, как и японская война» и что, в то время как «Россия справедливо признается страной земледельческой по преимуществу, земледелие менее всего привлекало внимание правительства».

Начиная формулировать собственный проект аграрной реформы, Петрункевич пишет, что государство крестьянам должно. Долг этот юридически не зафиксирован, но он есть, и при разработке новой системы землеустройства необходимо это учитывать. Мотивировал он это так: «Нужды государства (по развитию главным образом обрабатывающей промышленности) непрерывно возрастали и покрывались в основном крестьянским населением». Вывод же из этого патриарх русского либерализма делает такой: «Отчуждение частновладельческих земель должно производиться в пользу и за счет государства на началах отчуждения недвижимого имущества в видах государственной необходимости, подобно тому как производится отчуждение под железные дороги, улицы, устройство крепостей и так далее». Государство же будет «отдавать отчуждаемую землю тем, которые больше всего в ней нуждаются, совершенно независимо от того, существовали ли когда-нибудь между бывшими и будущими ее владельцами обязательственные отношения».

Подобная постановка проблемы удивляет, поскольку Петрункевич к тому времени уже заработал себе устойчивую репутацию политика, действующего «во имя права и посредством права». Впрочем, он сам поясняет свою позицию: «Вопрос о праве принудительного отчуждения земельного имущества в принципе не может в настоящее время встречать возражений, так как современное государство отрешилось от идеи священной и неприкосновенной собственности».

Заметим, что аграрный вопрос был главным пунктом разногласий внутри самой конституционно-демократической партии. Партийные лидеры всерьез опасались раскола. На Втором Всероссийском съезде кадетов (январь 1906 года) развернулась дискуссия о том, насколько идея отчуждения земли соответствует либеральным принципам. И. И. Петрункевич, стремясь не допустить раскола партии в такой важной ситуации, сказал, что в целях сохранения партийного единства он готов отказаться от своих радикальных идей. При этом он отметил: «Никто не покушается на частную собственность, так как собственностью государства станет только та земля, которая отчуждается... Только этим путем мы сможем разрешить величайший кризис».

Трудно не согласиться с высказываниями И. И. Петрункевича о том, что реальная аграрная политика должна была поставить в свою основу вопрос о расширении площади крестьянского хозяйства. Не отрицая необходимости внедрять в крестьянскую среду новейшие достижения сельскохозяйственной науки, Петрункевич предрекал неудачу подобным попыткам до тех пор, пока величина крестьянского надела не будет существенно увеличена.

Конструктивного решения так и не удалось найти. Споры по аграрному вопросу между либералами и правительством продолжались и были перенесены в Государственную думу.

Кадетская партия, признанным лидером которой считался И. И. Петрункевич, одержала победу на выборах в I Государственную думу: более трети депутатского корпуса (153 человека из 448) составили кадеты. Авторитет Петрункевича в партии еще со времен его бессменного председательства в «Союзе освобождения» был настолько велик, что после подведения итогов выборов вопрос о лидере парламентской фракции даже не стоял. Газета «Русские ведомости» написала, что, когда узнали, что И. И. Петрункевич выиграл выборы по Тверской губернии, стало ясно, что именно он, вероятнее всего, возглавит фракцию. Тем более что в ней тогда еще не было П. Н. Милюкова...

На съезде Конституционно-демократической партии (Партии народной свободы), состоявшемся в преддверии созыва I Думы (апрель 1906 года), конкретного решения о структуре фракции не было принято. Декларировались только общие принципы, формулируемые в духе постановлений IV съезда предшественника кадетов — «Союза освобождения». Союз полагал, что его члены «могут вступать в Думу не ради участия

в повседневных законодательных работах, а исключительно с целью борьбы за введение в России действительных конституционных свобод и учреждений на демократических основах, не стесняясь при этом перспективой возможности открытого разрыва с существующим правительством».

Работу по непосредственной организации деятельности фракции взял на себя Центральный комитет партии. 26 апреля на общефракционном собрании Милюков предложил избрать Временный комитет фракции из десяти человек на 10 дней. 11 мая 1906 года уже в постоянный состав Комитета было избрано 19 человек. 15 мая они определились с кандидатурами своих руководителей: председатель И. И. Петрункевич, его товарищи (заместители) М. М. Винавер и В. Д. Набоков, секретарь фракции А. С. Медведев.

Позиция Петрункевича как председателя Комитета во многом определяла политическую физиономию фракции. За 72 дня функционирования I Государственной думы Петрункевич выступал с трибуны пять раз. Выступления эти получили широкую известность и были изданы в 1907 году специальной брошюрой.

Эта брошюра начинается со знаменитой речи об амнистии — первого выступления, прозвучавшего с трибуны Государственной думы в день ее открытия, 26 апреля 1906 года. В тот день депутаты встретились с императором в Зимнем дворце, а затем направились в Таврический дворец, где должно было пройти первое заседание Думы. Плывшие на корабле по Неве депутаты миновали знаменитую петербургскую тюрьму «Кресты»; впечатление, произведенное тысячами, как казалось депутатам, простертых к ним оттуда рук, было настолько сильным, что согласованную ранее программу первого заседания решили изменить.

Сразу после избрания С. А. Муромцева председателем Государственной думы на трибуну поднялся И. И. Петрункевич и произнес речь об амнистии. «Долг чести, долг нашей совести повелевает, — сказал он, — потребовать амнистии для всех политических заключенных... Свободная Россия требует освобождения всех пострадавших». Очень короткое и сильное, это выступление действительно могло служить образцом ораторского искусства.

Печатный орган Партии народной свободы газета «Речь» писала, что «первые слова свободного собрания представителей народа... раздались спокойно, смело, уверенно». Им в ответ раздался гром аплодисментов; в этот момент «вся Дума испытала ощущение единства».

Вопрос об амнистии обсуждался и на последующих заседаниях. Здесь обнаружилось, что позицию, высказанную И. И. Петрункевичем, разделяют не все депутаты. Так, М. М. Ковалевский, выйдя на трибуну, предложил «довести до сведения Государя Императора о единогласном ходатайстве Думы о даровании им амнистии политическим заключенным». Петрункевич ответил: «Мы не желаем быть ходатаями, мы хотим быть законодателями». М. М. Винавер, занимавший в то время пост товарища председателя Комитета фракции, впоследствии писал об этом эпизоде, что «Партия народной свободы гордым окриком из уст Петрункевича отвергла мысль Ковалевского», тогда тоже, кстати говоря, кадета.

Известно, чем завершила свое существование I Дума. Замок, повешенный ночью на двери Таврического дворца, символизировал желание правительства продемонстрировать, кто в стране обладает реальной властью. Это привело к «продолжению заседания» Государственной думы на территории Финляндии, в Выборге, где действовали более либеральные законы. Именно там было подготовлено так называемое Выборгское воззвание, в котором экс-парламентарии обращались к народу с призывом протестовать против роспуска Думы, оказывая пассивное сопротивление правительству.

Стенограммы выступлений, звучавших на этом собрании, в настоящее время находятся в распоряжении исследователей. Изучив их, можно судить о том, насколько участники совещания представляли себе всю тяжесть возможных последствий. Петрункевич, в отличие от некоторых своих коллег, сразу предрек подписавшим воззвание политическую смерть. Однако сделать это он полагал необходимым, более того, принял непосредственное участие в редактировании текста возвания.

В итоге, как известно, состоялся суд, на котором участники собрания в Выборге были лишены политических прав. Отсидев два месяца в тюрьме, Петрункевич, которому уже перевалило за шестьдесят, стал постепенно отходить от партийных дел. Здоровье его к тому времени было уже далеко не идеальным, все больше времени он проводил в Крыму и все меньше принимал активное участие в текущей политической жизни. Его позиция в партии в это время действительно напоминала позицию патриарха: с 1909 по 1915 год он являлся председателем ЦК партии. Не вмешиваясь непосредственно в текущие дела, Петрункевич, избранный в 1915 году Почетным председателем ЦК кадетской партии, оставался для сподвижников неким нравственным ориентиром.

Революция застала И. И. Петрункевича в Ялте. В 1918 году он был вынужден эмигрировать и транзитом через Францию оказался в Америке, у своего сына Александра, известного палеонтолога. Затем он жил в Швейцарии, а под конец жизни обосновался в Праге. Работал над мемуарами, переписывался со старыми соратниками.

К сожалению, оказавшись в эмиграции, многие действующие лица российской политики рубежа веков начали, как это бывает, терять чувство реальности. В переписке с М. М. Винавером 77-летний И. И. Петрункевич, обсуждая вопрос, как добраться до России, писал: «Мы готовы ехать хоть в трюме... Вас, вероятно, мы уже не увидим до возвращения в Россию...»

Вновь увидеть родину Петрункевичу было не суждено. В 1928 году он скончался в Праге, где и был похоронен. Надпись на его могиле гласит: «Свободы сеятель пустынный, я вышел рано, до звезды».

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ КАРЕЕВ:
*«Основать новую Россию,
которая будет существовать
для своих граждан»*

Кирилл Соловьев

Николай Иванович Кареев родился 24 ноября 1850 года в Москве в семье военного. Это было «дворянское гнездо», с традиционным домашним образованием, с крепкими устоями. Детство в воспоминаниях Кареева ассоциируется с имением деда О. И. Герасимова в Муравишниках Сычевского уезда Смоленской губернии: большая патриархальная семья, многочисленная прислуга из крепостных, размеренный быт русской деревни. С шести до десяти лет Николай Иванович жил в Гжатске, где отец служил городничим, затем два года — в Сычевке. В 1863 году отец вышел в отставку, и семья переехала в имение Аносово Смоленской губернии. С весны по осень 1864-го Кареев учился в пансионе в имении Лошадкино. А в январе 1865 года поступил в 1-ю Московскую гимназию у Пречистенских ворот. В учебе он был, безусловно, лучшим; при этом уже в гимназические годы активно занимался репетиторством — в семье на тот момент лишних денег не водилось. Имя первого ученика Николая Кареева было записано на Золотой доске 1-й гимназии. Когда в 1868 году директор М. А. Малиновский, за что-то рассердившись на Кареева, приказал стереть его имя, с доски исчезли все записи — остались лишь следы желтой краски. «Кто это сделал?» — допрашивал гимназистов учитель Е. В. Белявский. Поднялся высокий молодой человек: «Это я сделал». — «Зачем же вы это сделали?» — «Если Кареева стерли с золотой доски, то мы никто не желаем быть на этой доске». Звали молодого человека Владимир Соловьев. Это был сын историка Сергея Михайловича Соловьева, и сам в скором будущем известный русский философ.

С Владимиром Сергеевичем Соловьевым Кареева связывала тесная дружба. Часто на квартире Соловьева-старшего, в здании университета, устраивались настоящие «рыцарские ристалища»: Н. И. Кареев и будущий экономист А. А. Коротнев сажали на свои плечи В. С. Соловьева и Н. А. Писемского (сына писателя), и те устраивали «побойща», демонстрируя свою доблесть.

С. М. Соловьева Кареев встретит на кафедре Московского университета буквально через год: ведь с 1869-го он — студент историко-филологического факультета. Кроме известного историка, лекции здесь читали В. И. Герье, Ф. И. Буслаев, Н. С. Тихонравов, М. С. Куторга, П. Д. Юркевич. На четвертом курсе Кареев окончательно определился с предметом своих научных изысканий: французское крестьянство эпохи позднего Средневековья и раннего Нового времени. Об этом его кандидатское сочинение и впоследствии магистерская диссертация. В 1873 году, после окончания университета, В. И. Герье предложил Николаю Ивановичу остаться на кафедре всеобщей истории для приготовления к профессорскому званию. Впереди были шесть лет напряженного учительского труда в 3-й Московской гимназии, который Н. И. Кареев совмещал с интенсивной подготовкой к магистерским экзаменам. И это далеко не все: неизменно посещая кружки и журфиксы, он становился «своим» в академической среде. Бывал

в кружке М. М. Ковалевского, куда приходили И. И. Иванюков, А. И. Чупров, И. И. Янжул, С. А. Муромцев, В. А. Гольцев и др. Бывал и на журфиксах, которые устраивали В. И. Герье, Н. А. Попов и др.

В 1876 году Кареев успешно сдал магистерские экзамены, а в сентябре 1877-го выехал в Париж для работы над диссертацией. Огромную помощь в организации поездки оказал учитель — В. И. Герье. В Париже Кареев тесно сошелся со многими знаменитостями русской эмиграции: П. Л. Лавровым, Г. А. Лопатиным, П. А. Кропоткиным, М. П. Драгомановым. Познакомился и с известным французским историком Фюстелем де Куланжем. Через год, в июне 1878 года, историк вернулся в Москву. Архивный материал собран — оставалось лишь переписать набело диссертацию, что и было сделано в имении Аносово. Уже зимой вышла книга «Крестьяне и крестьянский вопрос во Франции в последней четверти XVIII века». А 21 марта 1879 года состоялась защита. Она прошла необычайно бурно: в ходе диспута о диссертации весьма резко высказывался сам Герье. Публика же была целиком и полностью на стороне диссертанта, сопровождая аплодисментами его смелые и убедительные аргументы. В защиту выступил и молодой доцент М. М. Ковалевский. Впоследствии, однако, именно В. И. Герье предложил уже магистру Карееву место экстраординарного профессора Варшавского университета.

С августа 1879 года Н. И. Кареев — в Польше. Варшавский период жизни оказался сложным: надо было преподавать в русскоязычном университете в польском городе с польскими студентами и множеством польских профессоров. И в такой ситуации Кареев сумел стать одним из любимейших преподавателей местного студенчества. Помимо чтения лекций по всему курсу всеобщей истории и активной публицистической деятельности он приступил к написанию докторской диссертации «Основные вопросы философии истории». В 1882–1883 годах Николай Иванович — вновь в Западной Европе, в Париже и Берлине, где большую часть времени проводит в библиотеках, заканчивая диссертацию. И еще одно важное событие произошло в варшавский период: в ноябре 1881 года Кареев женился на дочери московского преподавателя географии Софье Андреевне Линберг.

24 марта 1884 года состоялась защита диссертации в стенах Московского университета. В ноябре 1884-го была подана просьба на имя декана историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета В. И. Ламанского о занятии освободившейся должности профессора всеобщей истории. Университет медлил с приглашением, а Кареев спешил покинуть Варшаву. С января 1885 года он уже преподает в Александровском лицее Санкт-Петербурга, а через полгода, с 23 августа 1885-го, Кареев становится приват-доцентом столичного университета. С осени 1886 года он также читает лекции на Высших женских (Бестужевских) курсах. Экстраординарным профессором его назначили в конце 1886-го, а через четыре года, в 1890-м, — ординарным. Как и полагалось либеральному профессору, Н. И. Кареев включился в активную общественную деятельность: он участник Литературного фонда, Исторического общества, Отдела для содействия образованию, он посещает различные журфиксы и кружки. Кроме того, редактирует «Энциклопедический словарь» Брокгауза и Ефрона, работает в комитетах и обществах пособия студентов. А еще монографии, учебники, публицистические статьи... В 1899 году, после студенческих волнений, Н. И. Кареев был уволен из университета. Скорее всего, причиной послужила занятая им позиция: на Совете университета историк настаивал на смягчении полицейских мер по отношению к студентам, открыто выступил с требованием отставки ректора В. И. Сергеевича, не скрывал своего неприятия политики министра народного просвещения Н. П. Боголепова. Вплоть до начала 1906 года он оставался отлученным от университета, преподавая лишь в Александровском лицее, а с 1902-го — и в Политехническом институте.

Репутация оппозиционера вынесла Н. И. Кареева на гребень волны русской революции 1905 года. К предыдущей опале добавился еще и арест в составе делегации, которая ходатайствовала перед руководителями царского правительства о недопущении кровопролития 9 января 1905 года. 12–22 января Н. И. Кареев находился в заключении в Петропавловской крепости. В 1905 году в аристократических салонах поползли слухи, будто он входит в тайное революционное правительство. Правда же состояла в том, что профессор вел активную общественную жизнь, участвуя в организации Академического союза, объединившего оппозиционно настроенных по отношению к действующему режиму преподавателей. Волей-неволей Кареев оказался в эпицентре политической борьбы, так как Академический союз являлся составной частью чрезвычайно влиятельного Союза союзов.

Членство в Конституционно-демократической партии Кареев считал в некотором роде случайностью. Если бы партия народных социалистов (энесов) образовалась ранее кадетов и не призывала к бойкоту выборов, рассуждал в воспоминаниях историк, он непременно вступил бы в нее. Свою роль у кадетов Кареев всячески преуменьшает: «Я участвовал в организационных собраниях партии и выступал в устраивавшихся ею митингах, но не был за все время ее существования членом Центрального комитета, и если очутился председателем городского ее комитета, то в нем больше следил за внешним порядком прений, чем играл сколько-нибудь руководящую роль». (Он руководил Санкт-Петербургским комитетом партии вплоть до октября 1906 года, когда его сменил В. Д. Набоков.) Участие в политической и партийной работе Николай Иванович объяснял исключительно чувством гражданского долга: никакой склонности к подобной деятельности он не ощущал. И поэтому с роспуском I Думы с удовольствием отказался от продолжения «политической карьеры».

Однако на какое-то время историк превратился в политика; в избирательной кампании пригодились его навыки и знания. Так, в марте 1906 года в «Вестнике партии Народной свободы» Н. И. Кареев опубликовал статью об Учредительном собрании в программных положениях партии кадетов. Сравнивая Учредительные собрания во Франции 1789 года и в Пруссии 1848 года, он утверждал необходимость для России прусского варианта, при котором этот институт формируется для разработки и принятия конституции, а не для представления суверенной воли нации в условиях крушения прежнего режима. Практически через месяц правительство убедительно докажет, насколько академична подобная дискуссия: 23 апреля 1906 года Основные законы будут приняты без участия Учредительного собрания. Но это событие не могло смутить кадетов, уверенных в своей исторической правоте. Как писал в той же статье Кареев, «конституционно-демократическая партия верит в то, что установление в России той конституции, главные лозунги которой партия пишет на своем знамени, властно диктуются самой историей и потому должны рано или поздно осуществиться: ни больше, ни меньше, по ее глубокому убеждению, не может успокоить потрясенную страну от новых напрасных и опасных потрясений».

Выборы по Петербургу в Государственную думу были двухступенчатыми. 20 марта 1906 года избирали выборщиков. Весь этот день Николай Иванович провел в актовом зале университета, где голосовали избиратели по Васильевскому острову. «Этот зал, носивший еще на себе некоторые следы только что пронесшегося шквала, имел необычный вид, перегороженный направо и налево от остававшегося посередине свободным прохода барьерами, за которыми стояли большие картонные коробки, на урны совершенно не похожие, и находились члены подкомиссий, проверявших документы избирателей, отмечавших их в списках, бравших из их рук и опускавших в урны их избирательные документы. Я был в числе членов одной комиссии и впоследствии исполнял не раз такую же должность, так что бывшее тогда и бывшее после слились

в моей памяти в одну общую картину». Но единственное, что отличало тот мартовский день, вспоминал историк, — это необычайное воодушевление и надежды на лучшее. Однако явка на первые выборы в столице оказалась сравнительно низкой. Всего по городу зарегистрировали 146 тыс. избирателей. И только 46% из них явились к урнам в назначенный день. Победа кадетов в Петербурге была впечатляющей: всюду они получили абсолютное большинство голосов. Больше всего — в Нарвской части (68%), меньше всего — в Адмиралтейской (57%). 14 апреля 1906 года в зале городской думы предстояло собраться 175 выборщикам, чтобы избрать депутатов от Петербурга. Не явились только шестеро. Кандидаты от Конституционно-демократической партии получили от 145 до 159 голосов. Остались недовольными представители рабочих, чьих кандидатов не поддержало кадетское большинство. Рабочие отказались даже сняться на совместной фотографии выборщиков от Санкт-Петербурга. Этот инцидент слегка омрачил радость победы. И тем не менее вечером того же дня многие участвовавшие в заседании, новые депутаты, представители партии, собрались в ресторане Донона. Отмечали очевидный успех, вспоминали прошедшую кампанию, говорили о будущем, которое рисовалось исключительно в светлых тонах. Как писал Н. И. Кареев, оптимизм и уверенность в скором успехе сохранятся вплоть до 13 мая, когда будет оглашена декларация правительства И. Л. Горемыкина.

Однако впереди 27 апреля 1906 года — день открытия I Государственной думы. Удивительно теплая, солнечная погода. Н. И. Кареев доехал на извозчике до Адмиралтейской набережной, зашел к В. Д. Набокову (как и он, депутату от Санкт-Петербурга), и они вместе пошли пешком к Зимнему дворцу. А потом случилось все то, что хорошо помнил любой первоходец: речь императора; кораблики, перевозившие депутатов из Зимнего в Таврический дворец; белые платки арестантов из «Крестов», умолявших об амнистии. Как только кораблики пристали к берегу, толпа подхватила Кареева и понесла его на руках к Таврическому дворцу. А потом темпераментная речь И. И. Петрункевича об амнистии, гордая осанка первого председателя Думы С. А. Муромцева. Примечательно, что впоследствии, при распределении мест в зале Таврического дворца между фракциями, Н. И. Кареев сидел вместе с представителями левых, социалистических фракций. Однако это объяснялось не политическими пристрастиями: просто Николай Иванович плохо слышал правым ухом и предпочитал сидеть по левую руку от собрания.

Выступил Н. И. Кареев в Государственной думе всего четыре раза. Два его выступления пришлось на 3 мая 1906 года, и оба имели программный характер. «Не человек существует для субботы, а суббота для человека. Человеческая личность существует сама для себя, она не может быть употребляема ни для какой другой цели, а между тем на основании основных принципов, которые имели силу в России до сих пор, были некоторые субботы, в жертву которым приносилась человеческая личность, и таких суббот в России было громадное количество. Все эти субботы соединились в одну громадную субботу, которая называется Россией». Иными словами, уважение к человеческой личности не было базовым началом внутренней политики Российской империи, поэтому «мы теперь должны основать новую Россию, которую точно так же должны будем любить, но Россию, которая будет существовать не сама для себя и не для охраны каких-либо исторических традиций, а будет существовать для своих граждан». Следовательно, в России должен установиться принцип равноправия народов, ее населяющих, и государство должно основываться на их братстве и взаимовыгодном партнерстве. Цель этого выступления — убедить депутатов исключить выражения «русская земля» и «русский народ» из ответного адреса Думы императору: по мнению Кареева, народное представительство не может забывать, что Россия — многонациональная держава.

В тот же день Н. И. Кареев выступил с защитой принципа парламентаризма, отстаивая необходимость ответственного правительства перед Государственной думой. Он сравнивал Россию с Францией 1789 года. По его мнению, революционный накал 1790-х годов связан с тем, что тогда не удалось выработать модель парламентской монархии, прийти к идее ответственного правительства. «Мы переживаем такой момент, когда только полное единение монарха и нации может вывести страну из того исторического тупика, в который она попала». А 6 июня, выступая по поводу проекта о гражданском равноправии, Кареев будет отстаивать снятие всех юридических ограничений, сковывавших гражданскую и политическую инициативу женщин.

Однако скромная роль, которую играл Н. И. Кареев в Думе, не должна вводить в заблуждение. В «партии профессоров» авторитет видного историка был значительный. Не случайно на предвыборном заседании санкт-петербургской группы кадетов он оказался на втором после В. Д. Набокова месте по числу голосов, отданных за него как за партийного кандидата в депутаты Государственной думы. Не случайно кадеты, как об этом вспоминал М. М. Ковалевский, серьезно рассматривали кандидатуру Н. И. Кареева на должность министра народного просвещения в гипотетическом правительстве, ответственном перед народным представительством.

9 июля 1906 года Кареев проснулся очень поздно: накануне вечером, будучи крайне усталым, он просил не будить его. Пройдет еще время, пока он выйдет на улицу, купит газету и узнает, что Дума распущена. Первым делом Николай Иванович направится в клуб партии кадетов. Там он ждет новостей из Выборга, куда еще ранним утром поехало большинство членов фракции. В своих воспоминаниях Кареев пишет, что вскоре кто-то привез текст воззвания, составленного депутатами, и присутствовавшие в клубе члены Государственной думы недолго думая отправили телеграммы в Выборг с просьбой присоединить их подписи к документу. Скорее всего, он запомнил: текст воззвания составили лишь на следующий день. Участвовал Кареев и в одном из партийных собраний в Териоках, где обсуждалась дальнейшая тактика кадетов.

На этом политическая деятельность Н. И. Кареева закончилась: историк вернулся на университетскую кафедру, преподавая параллельно в Психоневрологическом институте, на Высших женских курсах и курсах П. Ф. Лесгафта. Он был также одним из организаторов Педагогического института. Все это совмещалось с продолжавшейся общественной деятельностью в Отделе самообразования и Литературном фонде. В отличие от многих коллег по I Государственной думе, Кареев не был осужден за подписание Выборгского воззвания: к заключению приговорили лишь тех, кто непосредственно в Выборге поставил свою подпись под «крамольным» документом.

На фоне всех этих событий шла фундаментальная научная работа. С 1892 по 1917 год вышло семь томов «Истории Западной Европы в новое время». Издаются учебники и учебные пособия Кареева, историографические очерки, разнообразные исследования. Разброс тем едва ли не пугает современного историка, привыкшего к сугубо узкой специализации: тут и «Государство-город античного мира», и «Монархия Древнего Востока и греко-римского мира», и «Западноевропейская абсолютная монархия XVI–XVIII веков», и «Происхождение современного народно-правового государства». Кроме того, в 1913–1914 годах Кареев издавал «Научный исторический журнал».

Политика потихоньку напоминала о себе. В 1914 году историк неожиданно для себя оказался в немецком плену. Начало войны застало его в Карлсбаде; проезжая через Дрезден, он был задержан и пять недель оставался под арестом. События февраля 1917 года, как-то незаметно для Н. И. Кареева, переросли в революцию. Он всячески уклонялся от политической работы: фактически не принял предложения баллотироваться депутатом Петербургской городской думы, не участвовал в работе партийных комитетов. Вся его «революционная» активность заключалась в публицистических

статьях о судьбах Учредительных собраний на Западе да в работе в комиссии, принявшей бюллетени на выборах. И еще: 27 апреля 1917 года Николай Иванович участвовал в совместном заседании депутатов всех четырех созывов Думы, посвященном юбилею открытия представительного учреждения в России. Продолжается его работа в Академическом союзе. И при этом летом 1917 года он спешит уехать из Петрограда в Зайцево, имение своего родственника О. П. Герасимова. В августе заезжает в Москву, где присутствует на заседаниях Государственного совещания, — и снова в Зайцево.

Лишь в октябре вместе с семьей Николай Иванович вернулся в Петроград, «чтобы провести одну из самых тяжелых зим в жизни». (Правда, следующая зима, по его воспоминаниям, оказалась еще тяжелее.) Приход к власти большевиков выбил Кареева из привычного ритма. В 1917–1919 годах он продолжает преподавать в университете, хотя аудитории опустели. Знакомых в Петрограде становится все меньше. И все меньше возможностей для публикации трудов. Тем не менее ученый не прекращает писать. В 1918 году вышла его книга «Великая Французская революция».

Лето 1918 года он опять провел в Зайцево, а летом 1920-го выехал в Аносово, где прожил более года, читая лекции крестьянам и работая над книгами по истории и социологии. Прочел ряд лекций и в Сычевке — в обмен на бесплатную доставку семьи в Аносово. Тот период можно назвать сравнительно спокойным и благоустроенным. Но по возвращении в Петроград Николай Иванович оказался в бедственном положении: профессорского жалованья стало явно недостаточно, литературная деятельность ограничивалась фактической невозможностью публикаций. 1920 и 1921 годы Кареев описывал так: «Вспоминаются холод, тьма, недоедание, безденежье и невозможность многое достать и за деньги». Семья профессора поселилась в двух сырых комнатах, так как свою квартиру он еще прежде уступил художнику М. В. Добужинскому. Это было время постоянного поиска еды и дров, голодных обмороков и дырявой обуви. Кареев подрабатывал случайными лекциями, жена занималась шитьем. Доходы от литературной деятельности возобновились в 1922 году. Однако новая власть всячески напоминала о себе. После 1924 года Кареева фактически отстранили от преподавания, прекратилась и публикация его научных трудов. В 1926-м — новое несчастье: смерть жены. В декабре 1928-го арестован сын Константин. Правда, уже 4 февраля 1929 года его освободили: вероятно, это связано с тем, что примерно тогда же Кареев был избран почетным членом АН СССР. Теперь он получал персональную пенсию, читал лекции в Академии наук. После реквизиции Аносова Николай Иванович любил проводить летние месяцы в санатории Центральной комиссии по улучшению быта ученых в селении Узком, в бывшей усадьбе Трубецких, где в 1900 году скончался друг его юности В. С. Соловьев.

Казалось бы, жизнь почти восьмидесятилетнего старика вошла в привычную колею... Но 18 декабря 1930 года на заседании методологической секции общества историков-марксистов академик Н. М. Лукин обвинил Кареева в «антимарксистских выкриках», фактически связав его деятельность с недавним процессом Промпартии. В сущности, это был донос, отравивший жизнь историка: он писал письма, оправдывался, ждал новых выпадов со стороны «истинных представителей марксистского учения». 18 февраля 1931 года Н. И. Кареев скончался.

ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ КАРАУЛОВ:
*«То, что я был каторжным,
составляет мою гордость на всю мою
жизнь...»*

АЛЕКСЕЙ КАРА-МУРЗА

Василий Андреевич Караулов (1854–1910), человек удивительной судьбы, проделавший путь от радикального народничества к либерализму, родился в Торопецком уезде Псковской губернии в семье потомственного дворянина. Обучался в витебской гимназии, затем — в Санкт-Петербургском и Киевском университетах, но, увлекшись политикой, курса не окончил. Вместе с братом Николаем работал в «Синем Кресте» — обществе помощи политическим ссыльным и заключенным, являлся агентом Исполнительного комитета «Народной воли». После разгрома организации в 1883 году уехал в Париж, где участвовал в совещаниях оставшихся на свободе народовольцев. Вместе с Германом Лопатиным и Львом Тихомировым был участником партийного суда над провокатором С. Дегаевым. По возвращении в Россию, в качестве уполномоченного нового Исполнительного комитета, — арестован в Киеве и привлечен к военно-полевому суду по «процессу 12-ти народовольцев».

Прокурор требовал квалифицировать их преступления по 249-й статье Уложения о наказаниях, карающей за антигосударственные деяния смертной казнью. Однако у подсудимых оказалась сильная защита. Возглавил группу адвокатов такой мэтр, как Л. А. Куперник, о котором на Юге России ходила поговорка: «Где Бог отступился — там еще можно к Купернику пойти!» Главным помощником Куперник взял восходящую звезду киевской адвокатуры А. С. Гольденвейзера. Свой отпечаток на ход и итоги процесса наложила также личность председательствующего на суде генерала П. А. Кузьмина. В 1849 году выходец из дворянской старообрядческой семьи, тридцатилетний штабс-капитан Генерального штаба Кузьмин был арестован по доносу провокатора Антонелли и провел пять месяцев в Алексеевском равелине Петропавловской крепости (вместе с М. В. Петрашевским, Ф. М. Достоевским и др.), а затем судим по знаменитому «процессу петрашевцев». Тогда Кузьмин сумел виртуозно самооправдаться и вышел на свободу. Но безразличность к провокаторам он, дослужившийся до звания генерал-лейтенанта, судя по всему, сохранил на всю жизнь.

Итак, защите, во главе с Куперником и Гольденвейзером, удалось расшатать обвинение и вывести подсудимых из-под 249-й статьи. В итоге: ни одного смертного приговора, трое оправданы. В. А. Караулова приговорили к четырем годам каторжных работ с последующей высылкой на поселение. Высшие власти остались крайне недовольны: министр внутренних дел граф Д. А. Толстой лично запросил киевского генерал-губернатора А. Р. Дрентельна о причинах столь мягкого приговора. Тот ответил, что «каторжные работы, хотя бы и на четыре года, он не может считать мягким наказанием». Тем не менее генерала П. А. Кузьмина отстранили от должности председателя Киевского военно-полевого суда.

Осужденных по «процессу 12-ти» отправили сначала в Трубецкой бастион Петропавловской крепости, а в конце декабря 1884 года перевели в Шлиссельбургскую

тюрьму на Ореховом острове у истока Невы из Ладожского озера (она получила недоброе имя «сухой гильотины»). Летом 1884 года здесь, рядом со «старым корпусом» («Секретным домом», который заложил еще Петр III), была, под личным контролем императора Александра III, открыта «новая тюрьма», построенная «по американскому образцу»: сорок камер-одиночек 3,5 на 2,5 метра.

О шлиссельбургском заточении Караулова рассказал общавшийся с ним в тюрьме Н. А. Морозов, впоследствии выдающийся ученый. После того как несколько человек предприняли попытки самоубийства и режим был несколько смягчен, арестантам разрешили парные прогулки. В пару Морозову давали сошедших с ума заключенных: сначала Н. П. Щедрина, а потом В. П. Конашевича. «Кто не испытал этого сам, тот никогда не будет в состоянии понять, что значит жить в полном одиночестве в мрачной камере, как в могильном склепе, и день и ночь, целые годы, и в то же время думать, что приближается час, когда вы очутитесь вдвоем с сумасшедшим, который все время будет поверять вам свои галлюцинации, и вы ничем не будете в состоянии отвлечь его от них... Я чувствовал, что сам каждую минуту могу сойти с ума», — писал Морозов. Но неожиданно напарника снова сменили — им оказался Василий Караулов. «Мы начали перебирать знакомых, и я убедился, что он плохо говорит и путается в словах только потому, что отвык от разговоров... Караулов был для меня вестником лучших дней в неволе, а прогулки сделались настоящим праздником!.. И кто знает, сохранился бы мой рассудок, если бы он не явился ко мне на помощь как раз в то время, когда я в этом более всего нуждался... В полтора с лишком года наших ежедневных свиданий мы, конечно, истощили все предметы личных разговоров и поневоле начали уходить в область науки и говорить о великих проблемах физики и астрономии, которые тогда волновали не только меня, но и его».

Известная революционерка Вера Фигнер, знавшая Василия Андреевича еще до его ареста, впоследствии также узница Шлиссельбурга, вспоминала: «Это был, как говорится, ражий детина, громадного роста, широкоплечий, жизнерадостный, с лицом — кровь с молоком... Этот брызжущий здоровьем атлет вышел из Шлиссельбурга с лицом покойника». В 1888 году Караулова отправили на поселение в село Усть-Уду на реке Ангаре (Балаганский округ), позднее разрешили перебраться в село Устюг, поближе к Красноярску. А в 1893-м, по распоряжению генерал-губернатора Восточной Сибири, Караулов был переведен в сам Красноярск.

Существует версия, что молодой народоволец Караулов стал одним из прототипов (наряду с итальянцами Гарибальди и Мадзини, англичанами Байроном и С. Рейли, украинцем Степняком-Кравчинским) карбонария Артура Бертон — героя романа английской писательницы Этель Лилиан Войнич «Овод». Дело в том, что во время своего приезда в Россию в 1887–1889 годах (Василий тогда находился в Шлиссельбурге, а потом в ссылке) Этель Буль (будущая Войнич) довольно долго жила в петербургской квартире Карауловых, а также в их псковском имении, где работала над материалами о русском освободительном движении. Судьба сына-заключенного была постоянным предметом обсуждений в карауловской семье.

В Красноярске ссыльный В. А. Караулов — уже убежденный либерал, глубоко верующий христианин и противник политического террора. Он фантастически много читает, изучает языки, занимается частным преподаванием. Особенно углубленно развивает знания, полученные в юности по юриспруденции. Одна из его красноярских учениц, А. Черемных, написала: «Через его руки проходило почти все, что готовилось в гимназию или, поломанное нашей педагогической бюрократией, выброшенное за борт, готовилось держаться экстерном. Большинство культурной молодежи енисейской губернии были учениками В. А., и целые поколения воспитывались под его благотворным влиянием. В. А. целыми днями бегал по урокам, как бедный студент». По словам

мемуаристки, Караулов и его жена-врач, приехавшая к мужу в ссылку, играли тогда «первую роль в рядах красноярской идейной интеллигенции»: «В далеком сибирском захолустье, выброшенные за борт общественной жизни, они твердо и уверенно несли маленький светоч культурных общественных интересов среди холодных сибирских снегов, диких буранов и полновластия сильных мира сего».

А. Черемных вспоминала также, что Василий Андреевич обладал «редкой, своеобразной речью, то полной тонкого изящного юмора, то беспощадного сарказма, или мягкой, доходящей до нежности сердечности» и «неотразимо покорял всех, кто имел счастье знать его близко». Эти его особенности затем ярко проявятся в стенах Государственной думы. Ученица Караулова хорошо запомнила один из его любимых рассказов о начале работы в Красноярске: «Наконец приехала ко мне в Сибирь жена, получила она место врача, заведующего амбулаторией. Я же бьюсь, бьюсь как рыба об лед, никакого заработка найти не могу: „поднадзорный — и баста!“ Стыдно, понимаете, на жениных харчах было пробиваться. Росту я чуть не в сажень косую, аппетит адский, а работы никто не дает. А я, кажись, своротил бы гору работы — силой Бог меня не обидел. Стал я просить жену, чтоб устроила меня сторожем при амбулатории. Оказала она мне протекцию, жалованья положили мне 5 рублей и сказали, что в обязанности мои входит мытье склянок под лекарство. Обрадовался, служу при амбулатории. Засучил рукава, мою склянки, но только комнатка-то давалась мне маленькая, как чуть неосторожно повернусь — трах!.. Летят мои склянки вдребезги! Что за чертовщина! Скляночки малюсенькие, а ручища у меня огромная, — никак не приноровлюсь!.. Стала жена за месяц отчет писать, посуды больше чем на восемь рублей не хватает».

В первые годы нового века Василий Караулов — один из основателей красноярского «Союза освобождения», затем — местной организации Конституционно-демократической партии. К этому времени он овдовел: П. Ф. Личкус скончалась от быстротечной чахотки. В ноябре 1905-го Караулов, частично амнистированный по Манифесту 17 октября, стал участником исторического съезда земских и городских деятелей в Москве. При обсуждении вопроса о будущем устройстве России примкнул к умеренным, поддержав конституционно-монархическую позицию их лидера, графа П. А. Гейдена. В стенограмме съезда имеется такая запись: «Г-н Караулов (Енисейская губ.) заявил, что он провел 24 года в тюрьмах и крепостях по политическим преступлениям, но не верит в осуществление демократической республики в России и присоединяется к гр. Гейдену от лица тех, которые послали его сюда». Однако по большинству других принципиальных вопросов он солидаризировался с кадетами, в том числе и по разделившему их с октябристами-«гучковцами» вопросу об автономии Польши. Правда, и здесь Караулов предложил формулировку, которая могла несколько смягчить ситуацию: «польскую автономию» он предложил называть «областным самоуправлением на началах общеимперской конституции»; однако эта компромиссная поправка была отклонена кадетским большинством.

Еще один участник ноябрьского земско-городского съезда, завершившего свою работу в московском («мавританском») особняке А. А. Морозова на Воздвиженке, П. Б. Струве, позднее вспоминал, что именно тогда близко познакомился с Василием Андреевичем: «То было время, когда трудно было идти против охватившего общество радикального возбуждения, перед которым пасовали отчасти по слабости, отчасти по оппортунистическому расчету и целые общественные группы, и отдельные лица... С той памятной встречи, когда в буфете-подвале Морозовского палатца шлиссельбуржец-каторжанин Караулов подошел ко мне и, выражая сочувствие моему „умеренному“ заявлению, только что перед тем вызвавшему свист и шипение с хоров, протянул руку для знакомства, мы никогда не расходились ни по взглядам, ни по настроению».

Вернувшись в декабре 1905 года из Москвы в Сибирь, В. А. Караулов на ряде многочисленных собраний и в либеральной печати решительно выступил в защиту конституционалистской тактики своей партии и против экстремизма революционных организаций. Его умеренная позиция привлекла благожелательное внимание самого премьер-министра графа С. Ю. Витте, искавшего союзников в среде российской общечественности. Вопреки скепсису министра внутренних дел П. Н. Дурново, Витте увидел в эволюции взглядов этого политического деятеля (от народофильства — к конституционному демократизму) положительный пример в борьбе с крайностями революции. В докладной записке на Высочайшее имя премьер полагал «весьма полезным отменить лежащие на Караулове ограничения, дабы тем дать ему возможность более широкого служения здраво им понимаемому патриотическому долгу». В результате 2 февраля 1906 года ему было даровано полное помилование. Восстановленный во всех правах, он регистрируется частным поверенным при Красноярском окружном суде, активно сотрудничает в красноярской либеральной газете «Сибирь».

На выборах в I Думу кадетам удалось провести в выборщики по Енисейской губернии нескольких своих лидеров: В. А. Караулова — в Красноярске, А. М. Трескова — в Ачинске, А. А. Станкеева — в Енисейске. Однако губернское собрание избрало депутатами Думы значительно более левых кандидатов, примкнувших затем в Петербурге к «трудовой группе», — шушенского крестьянина Симона Ермолаева и минусинского врача Федора Николаевского.

Похожая история повторилась во время избирательной кампании во II Думу, в которую теперь активно включилась и красноярская организация социал-демократов, которая ранее выборы бойкотировала. Именно социал-демократам удалось провести в губернское собрание наибольшее число своих выборщиков, двое из которых — рабочие Иван Юдин и Федор Никитин были избраны депутатами. Правда, власти отменили избрание Никитина, и его место в Думе от Енисейской губернии занял близкий к социалистам-революционерам священник Александр Бриллиантов.

Осенью 1907 года, на выборах в III Думу, конституционного демократа В. А. Караулова в очередной раз избрали выборщиком от Красноярска. 23 сентября он выступил на общегородском предвыборном собрании граждан (на нем присутствовало около 600 человек). Главный смысл его речи передает заключительная фраза: «Правые смотрят в XVII век, а крайние левые — в XXI. Задача момента заключается не в организации пролетариата для борьбы с буржуазией, а в отстаивании конституционных начал общими силами всех прогрессивных групп».

Активным оппонентом частного поверенного, кадета В. А. Караулова был на тех выборах лидер местного отделения «Союза русского народа», о. Варсонофий Захаров, также ставший выборщиком от Красноярска. Черносотенцы представили тогда в губернское управление список тех, кого, по их мнению, следовало лишить избирательных прав. Против каждой фамилии стояли пометки: «сидел в тюрьме», «находится под надзором» и т.д. Одним из первых в списке значилась фамилия Караулова.

25 октября 1907 года в Красноярске, в помещении губернского Общественного собрания, состоялись выборы депутата III Государственной думы от Енисейской губернии (в соответствии с «третьеиюньским» избирательным законом квота от губернии была сокращена до одного человека). Участвовали двадцать восемь ранее избранных выборщиков, но в первом туре ни один кандидат не набрал большинства голосов. Лидер черносотенцев, о. Варсонофий, вообще получил всего один голос и отказался от дальнейшей борьбы. На следующий день прошла повторная баллотировка, которая принесла победу В. А. Караулову (18 голосов из 27). 29 октября он выехал из Красноярска в Петербург для участия в открытии III Думы: проводы на железнодорожном вокзале и напутственные речи стали заметным событием в жизни города.

В Петербурге товарищи по партии помогли Василию Андреевичу снять небольшую квартиру в знаменитом «кадетском доме» № 7 на Потемкинской улице. Здесь, совсем рядом с Таврическим дворцом, он проживет три года со второй женой, Ольгой Ивановной, вплоть до своей смерти в декабре 1910 года.

В III Думе В. А. Караулов вошел во фракцию конституционных демократов и — одновременно — в «Сибирскую парламентскую группу», которая также находилась под кадетским влиянием. Он активно работает в комиссиях по вопросам вероисповедания (председатель — правый епископ Евлогий, затем октябрист П. В. Каменский), по делам Православной церкви (председатель — октябрист, затем член фракции националистов В. Н. Львов) и местному самоуправлению (председатель — лидер умеренно правых, затем националистов П. Н. Балашов). Однако наибольшую известность, как в стенах Думы, так и в обществе, принесло ему председательство в комиссии по старообрядчеству. В нее вошли также известные политические деятели различных направлений: лидеры октябристов А. И. Гучков и М. Я. Капустин, влиятельный кадет В. А. Маклаков, епископ Евлогий (Георгиевский), ультраправый Г. А. Щечков и др.

Отдавая много времени работе в комиссиях, конституционалист Караулов твердо придерживался линии на конструктивную работу с другими думскими фракциями и правительством, на так называемую «органическую работу», часто повторяя: «Лучше маленькая рыбка, чем большой таракан». И эти усилия принесли успех: он фактически стал основным экспертом и оратором либеральной части Думы по вероисповедным вопросам, оказавшимся в 1907–1910 годах в центре внимания народного представительства.

Уже в ходе первой сессии III Думы, в конце 1907 — начале 1908 года, сибирский депутат показал себя влиятельным парламентарием, органично соединившим в себе глубокую христианскую религиозность с неменьшей верой в либеральные права и свободы человека. Для молодого российского парламента это было необычно: религиозную тематику всегда активно эксплуатировали правые, в то время как левые, рассуждая о правах и свободах, как правило, избегали говорить о религии. Именно В. А. Караулов, поначалу чуть ли не в одиночку, сумел организовать в Думе своего рода «центр» — не формальный, а глубоко содержательный, поставив во главу угла идеи «христианского либерализма». Его усилия оценили не только в родной кадетской партии, где практически не было специалистов по вероисповедным вопросам, но и значительное число доминирующих в Думе октябристов, либеральная часть которых быстро разглядела в нем полезного союзника в борьбе с правыми и националистами. Намечающийся идейный союз октябристов во главе с А. И. Гучковым и не чуждающихся вопросов религии кадетов (В. А. Караулова, В. А. Маклакова, В. С. Соколова) быстро принес новому «центру» конкретные кадровые и политические дивиденды. Так, личное оппонирование Караулова — товарища (заместителя) председателя вероисповедной комиссии — ее председателю, правому епископу Евлогию, привело к быстрой отставке последнего и его замене октябристом П. В. Каменским. В свою очередь, октябристы поддержали идею создания отдельной думской комиссии по старообрядческим вопросам и избрание В. А. Караулова ее председателем.

Первым концептуальным выступлением Василия Андреевича в III Думе стала его большая речь 22 марта 1908 года с изложением позиции кадетской фракции по утверждаемой Думой смете Святейшего синода. Высказанные тогда идеи и предложения явились характерным воплощением христианско-либерального мировоззрения Караулова. С одной стороны, он поддержал идею разгосударствления церковной жизни, подчеркнув, что «деятельность правительства в XVIII столетии, в первой его половине, передавшая в распоряжение государства громадное большинство средств церквей и монастырей, была нарушением как гражданского, так и канонического права».

Однако, с другой стороны, он решительно высказался в пользу демократизации самой церкви, перенесения центра православной жизни с церковной иерархической субординации на жизнь самоорганизующихся православных приходов. Отметив, что «основа всякой церковной организации — несомненно приход» и что «фактически в настоящее время приходов у нас не существует», оратор обозначил главные проблемы русского православия: «Зло заключается в фактически 2¹/₂-вековом уничтожении внутри присущего нашей православной церкви соборного начала, зло заключается в фактическом упразднении основной церковной общественной ячейки — прихода, потому что мы имеем церковь как здание, имеем священников, но не имеем приходов как общественной организации. Зло заключается в том, что у нас в настоящее время церковь мыслится не как союз верующих, а как иерархия, да вдобавок еще подчиненная государству. Вот устранение этих зол и будет снятием тяжелой государственной руки, и, я сказал бы, нечистой для этого дела, государственной руки со святого дела церкви». От имени кадетской фракции Караулов призвал увеличить правительственное финансирование именно приходов, ибо это «является первым шагом к освобождению церкви из пленения вавилонского государства, оно является первым шагом к восстановлению утраченного церковью соборного начала и первым шагом к учреждению прихода как общественно-церковной организации. (*Рукоплекания в центре и слева.*)»

Понимая, что монополия на определение религиозной политики уходит из рук правых в сторону сложившегося октябристско-кадетского центра, Святейший синод, непосредственно руководивший значительной частью депутатов от духовенства, попытался перейти в контрнаступление. В конце мая 1908 года, незадолго до думских каникул, один из лидеров правых епископ Митрофан (Краснопольский) предложил Думе расширить состав комиссий по вероисповедным вопросам и по делам Православной церкви за счет крестьянских депутатов. «Менее искусное в диалектических тонкостях, которые приобретаются преимущественно на адвокатском и судебном поприщах, — аргументировал епископ, несомненно причисляя к лицам, поднаторевшим „на адвокатском поприще“, и частного поверенного Караулова, — духовенство, естественно, в словесных турнирах, в которые превратились заседания комиссий вероисповедной и по делам Православной церкви, должно было уступить своим оппонентам, а это значит не отстоять свою церковную точку зрения на предметы веры... Некоторые постановления, предпринимаемые указанными выше думскими комиссиями, производят сильное смущение в умах и сердцах верующего народа».

Коллегу-епископа поддержал и преподобный Евлогий. Он рассказал, что ему пришлось уйти с поста председателя комиссии по вероисповедным вопросам, так как «направление ее работ противоречит интересам Православной церкви», и тоже предложил включить в комиссию депутатов-крестьян, «ввиду не соответствующего интересам православной веры направления в рассмотрении вероисповедной комиссии вопросов». В. А. Караулов вынужден был ответить: «Такую редакцию этого предложения я считаю для нас, православных членов комиссии, оскорбительной и недопустимой. (*Бурные рукоплекания.*)»

С прямыми нападками на Караулова выступил на этом заседании и его постоянный оппонент, правый курский депутат Г. А. Щечков. Выпускник Московского университета, дипломированный юрист, бывший земец, ставший черносотенцем, он странным образом соединял в себе восторженную англomанию со столь же искренним антисемитизмом. «Я стою за участие крестьян в этой Комиссии, — сказал Щечков, — но не так стою, как Караулов и другие сочлены его по фракции, которые кричат о благе крестьян и между тем желают уничтожить крестьянское сословие и заменить его еврейским всесветным рассеянием. (*Смех; Милюков с места: Какая гадость! Г-н Председатель, остановите его!*)» Члены Думы большинством голосов отклонили идею расширения комиссий.

Больше полутора лет комиссия по старообрядческим вопросам во главе с В. А. Карауловым скрупулезно работала над поправками к проекту закона о старообрядческих общинах, внесенному в Думу министром внутренних дел. Для председателя комиссии это время не только работы над текстом закона, но и постоянных поездок по старообрядческим общинам по всей стране. 12 мая 1909 года он наконец выступил с большим докладом. В нем, от имени комиссии, предлагалось внести в министерский проект ряд принципиальных поправок. Проект предусматривал закрепление за старообрядцами (а их к тому времени в России насчитывалось не менее 12 млн) не только права на их веру, но и на ее проповедование. По мнению докладчика, «исповедание веры, ни логически, ни нравственно, ни юридически, неотделимо от понятия проповедания», ибо «проповедание составляет неотделимую часть самого исповедания, являясь для исповедующих известное вероучение обязанностью». Согласно проекту «комиссии Караулова» уменьшалось число лиц, имеющих право ходатайствовать о создании общины (с пятидесяти до двенадцати) — «дабы учесть ситуацию в отдаленных краях Империи, малонаселенных, каковою является вся Восточная Россия». Разрешительный порядок регистрации старообрядческой общины заменялся явочным, равно как и утверждение духовных лиц и старост — на их простую регистрацию в губернских правлениях. Предлагалось также закрепить за духовными лицами старообрядческой веры официальное наименование «священнослужители по старообрядчеству», приближавшее их к статусу священников Русской православной церкви.

Думские правые и националисты резко выступили против этого проекта закона, называя его «разрушением устоев российской государственности». Лидер правых В. М. Пуришкевич заявил: «Нами, справа сидящими, чувствуется, что этот вопрос, обсуждаемый здесь с трибуны Государственной Думы, составляет эру в духовной жизни России». Цель левых — «создать рознь между нами, представителями православия»: «В этом лежит подкладка тех поправок, которые сами по себе не имели бы большого значения, если бы не преследовали глубоко ненавистной нам политической цели — создать раздор и разлад и всадить клин между нами и ими. (*Бурные рукоплескания справа.*)» Пуришкевич заметил, что еще исторические предшественники Караулова, «либералы-западники во главе с Герценом», поддерживали старообрядческих раскольников, «так как раскол вел, по их представлениям, к церковному индифферентизму, и они приравнивали его к политическому либерализму»: «Они полагали, что путем поддержки раскола возможно будет достичь социальных реформ и государственного переворота. Вот эта точка зрения: достичь государственного переворота путем культурного отношения к расколу — и была главной причиной того, что они пропагандировали свободу раскола, свободу старообрядчества».

Другой критик проекта, епископ Евлогий, заявил: под видом разрешения «проповедывания» проект Караулова узаконивает за старообрядцами право «религиозной пропаганды», что неприемлемо. «Здесь речь идет не о простой проповеди как принадлежности богослужения, а здесь вводится новое, хотя, может быть, несколько замаскированное начало, именно свобода пропаганды, свобода привлечения последователей из других вероисповеданий, не исключая и православного... Защищая православие, мы заботимся также о русской государственности».

Эта аргументация не осталась без возражений. 13 мая 1905 года В. А. Караулов заявил с думской трибуны, что предложение правых сохранить за Православной церковью монопольное право религиозной пропаганды ведет к деморализации и деградации самой господствующей Церкви: «Я полагаю, что именно те средства, средства затыкания чужого рта, средства пресечения иного мнения, привели Православную церковь к тому состоянию слабости и дезорганизации». Он сравнил нынешнюю ситуацию с печальной памяти временами гонений на последователей пророка Аввакума

ма: «Пропаганда была строго запрещена. За пропаганду жгли. Аввакума сослали в ледяные сибирские пустыни и затем в Пустозерском остроге сожгли, чтобы пресечь его голос, а этот же Аввакум написал о своих страданиях страшную книгу, которая в течение десятков поколений жгла сердца многих миллионов старообрядческих масс (*рукоплекания в центре и слева*), которая создавала в ее среде десятки таких же Аввакумов, бестрепетно шедших на страдания и смерть. Эти меры создавали то, что к пропаганде, которую они прекратить никогда не могли, они прибавляли ореол мученика для проповедников... Теперь не будет плетей, костра, а будет каталажка, воючая полицейская каталажка, арестный дом, высылка; но неужели же вы думаете, что то, чего нельзя было прекратить плетями и кострами, можно прекратить полицейскими каталажками?» Василий Андреевич призвал депутатов не бояться слова «пропаганда»: «Была пропаганда, есть она, и будет она, и фактически вы ей воспрепятствовать не можете, всякими запрещениями вы ее усиливаете, и в этом не одна невыгодная сторона этого вопроса для православия: есть и другая. Те, кто употребляют такие меры, обращают невыгодные последствия не на тех, против кого они их употребляют, а уменьшают силу тех, кто их употребляет; и в этом, гг., есть историческая Немезида... Наша церковная иерархия за приказно-полицейским хребтом привыкла больше рассчитывать на этот приказно-полицейский хребет, чем на истинно церковное и христианское воздействие, чем на силу слова и на силу примера христианского действия».

Оратор привел и более близкий исторический пример — «идейное безволие» официальной Церкви и гонения на реформаторов православия в годы «николаевской реакции». Это был сильный полемический и политический ход: Караулов поставил в центр своих рассуждений имя русского мыслителя Алексея Степановича Хомякова — родного отца ведущего думское заседание председателя III Думы Н. А. Хомякова. «Я опять обращаюсь к той эпохе, когда Церковь не принимала со своей стороны никаких мер и когда нашелся светский человек, мирянин, глубоко преданный делу православия, одаренный блестящим диалектическим талантом, глубокий знаток церковных вопросов, он поплыл против течения, и Церковь приняла ли его услуги? Та самая духовная цензура, которая... существует для того, чтобы удерживать на высоте моралитет православной проповеди, не разрешила сочинений А. Хомякова; они были напечатаны где-то за рубежом, в Праге, и в то время, когда в них более всего нуждалось образованное русское общество, уходившее из церкви, они были достоянием немногих избранных... А теперь, гг., когда мы, образованные и верующие миряне, обращаемся с предложением, имеющим в своей основе желание прекратить этот церковный сон, восстановить Церковь в ее значении и силе, что мы получаем в ответ?.. Теперь нам предлагают... продолжать удерживать за Церковью эту, как говорили здесь даже иерархи Церкви, драгоценнейшую привилегию, привилегию затыкания рта, гашения свободного человеческого духа, в высших своих порывах ищущего своего Бога. (*Рукоплекания левой и в центре.*). Это не привилегия, это пятно, наложенное на Церковь, и чем скорее это пятно мы снимем, тем лучше сделаем мы для Церкви, тем скорее возвратим ее к той великой задаче, которую она должна делать. (*Рукоплекания левой и в центре; голос справа: жидовствующая ересь.*)»

В защиту «проекта Караулова» высказались не только его соратники по кадетской фракции (П. Н. Милюков, В. А. Маклаков, В. С. Соколов), не только лидеры левых (Н. С. Чхеидзе), но и — что принципиально важно — значительная часть октябристов. Решающим стало выступление лидера думской фракции «Союза 17 октября» А. И. Гучкова. (На его позицию, несомненно, оказали влияние факты собственной биографии. Когда-то прадед Гучкова, крупный промышленник и лидер московских старообрядцев, был арестован и сослан фактически за отказ вступить в коммерче-

скую сделку с московским губернатором Закревским. А его деда буквально принудили, для сохранения семейного дела и политической карьеры, перейти из старообрядчества в единославие.)

Выступив на заседании 15 мая, Гучков согласился, что к обсуждаемому в Думе закону о правах старообрядцев действительно «приковано внимание всей России», и отметил «ту блестящую защиту, которую нашел доклад комиссии по старообрядческим вопросам здесь и со стороны докладчика, и со стороны других ораторов». В то же время «та убогая аргументация, которая была выставлена противниками, как вы видели, вынуждена была прикрываться пафосом и громкими словами, чтобы несколько замаскировать свое убожество»: «И напрасно старались с правых скамей инсинуировать, будто бы все это подсказано какой-то политической, некоторые говорили даже, еврейской интригой; старообрядцы будут донельзя удивлены, когда узнают, что их давнишние, заветные, коренные требования оказываются продуктом еврейской или кадетской интриги».

По мнению Гучкова, не должен вызывать удивления тот факт, что «в настоящее время старообрядцы только в твердых нормах закона ищут гарантии своим правам... Та боязливость и подозрительность в отношении к светской власти, которую вы чувствуете в этих требованиях, разве они не находят себе объяснения в том, что в течение двух с половиной веков старообрядчество, вместе с еврейством, составляло самый богатый источник доходов, предмет эксплуатации для низшей, средней, даже высшей администрации. (*Голоса в центре и слева: верно.*) Поговорите со старообрядцами, и они вам укажут, кого они содержали: не только исправники и становые, не только губернаторы, но и генерал-губернаторы пребывали на содержании у старообрядчества. (*Рукоплескания левой и в центре.*) И вот старообрядцы хотят раз навсегда смахнуть с себя это вмешательство». Концовка речи вызвала овации думского большинства; на том же заседании 15 мая 1909 года законопроект в редакции «комиссии Караулова» был принят.

Передаанный в верхнюю палату, Государственный совет, Закон о старообрядчестве подвергся там еще более резкой критике. Поход на него, при опоре на ортодоксальные круги Русской православной церкви, возглавил лидер правых в Госсовете П. Н. Дурново. Когда-то, двадцать лет назад, в одиночную камеру Шлиссельбургской крепости, где отбывал наказание народоволец В. А. Караулов, заходил с инспекцией тогдашний директор Департамента полиции П. Н. Дурново... В созданной согласительной комиссии двух палат российского парламента они снова встретились один на один.

В конце мая 1909 года III Дума приступила к обсуждению следующего законопроекта — об изменении законоположений, касающихся перехода из одного вероисповедания в другое. В основу легли предложения Министерства внутренних дел, но комиссия по вероисповедным вопросам под председательством октябриста П. В. Каменского внесла серьезные поправки в сторону либерализации нового законопроекта. Активную роль в его разработке сыграл В. А. Караулов; он имел большое личное влияние на Каменского и позднее говорил: «Я до гробовой доски буду горд той мыслью, что в этом законе есть хоть малая капля моего меда».

Василий Андреевич выступил с большой речью в поддержку законопроекта на пленарном заседании Думы 23 мая 1909 года. Прежде всего он констатировал: правые ораторы и вместе с ними вся правая пресса полагают, что если в «старообрядческом законе» либералы-правозащитники «подкапывались под основания Православной церкви», то при обсуждении нового закона о возможности смены вероисповедания они «уже идут против самого христианства». В противовес правой демагогии был выдвинут контртезис: «Мы выставляем этот закон и защищаем его как основной принцип именно христианского государства». По мнению выступавшего, русские клерикалы

уподобляются древним римлянам. Те, преследуя первых христиан, говорили о «пользе римской государственности»; точно так же ведут себя современные русские клерикалы, оправдывая религиозную нетерпимость «пользой российской государственности». Подлинное же христианское сознание несовместимо с религиозной нетерпимостью: «Свободу совести создало христианство, ее принес на землю Христос, учивший, что всякое деяние постольку в нравственном и религиозном смысле ценно, поскольку оно исходит из свободного произволения человеческой души». Караулов призвал различать христианское сознание русского народа и клерикальную нетерпимость его псевдорадетелей: «Наше церковное здание было заставлено целыми лесами различных полнейших подпорок и перегородок, закрывавшим его величаво-приветливую, уютную красоту... Нам говорят, нельзя вводить свободу совести ввиду православных чувств русского народа. Этот довод, г., приводился всегда, когда хотели удержать пути на чьей-либо совести... Русский народ оказался терпимее и выше тех поклепов, которые на него систематически возводились. (*Голоса слева: браво; рукоплескания в центре и левой.*)»

В. А. Караулов выступил против поправки представителей Священного синода (в Думе ее огласил епископ Евлогий), которая запрещала лицам, находящимся на действительной службе, в том числе военной, переходить из православной веры в другие вероисповедания. «Я не понимаю, как для христианина можно сказать, что святая святых человеческой души, союз этой души с Богом, к которому она стремится, союз ее с Творцом и Зиждителем вселенной, может быть отодвигаем на задний план техническими соображениями какой бы то ни было службы. (*Голоса слева: браво.*)» Напротив, люди военного сословия, защитники государства, более, чем кто-либо, заслужили гарантии свободы совести, ибо «они, чтобы предотвратить от государства опасность, должны стать лицом к лицу со смертью», и «нужно, чтобы эти люди были уверены в том, что их последние тяжелые минуты будут сопровождаться религиозным утешением той церкви, в которую они действительно веруют; с этой стороны удерживать их в церкви, от которой фактически душой они уже отпали, будет грехом, даже против боевой способности армии».

И на сей раз на стороне либерального законопроекта оказались не только конституционные демократы (в поддержку тезисов Караулова убедительно выступили П. Н. Милюков, В. А. Маклаков, Ф. И. Родичев), но и такие влиятельные октябристы, как, например, М. Я. Капустин. Один из лидеров правых Н. Е. Марков (Марков 2-й), не без оснований подозревая, что за приверженностью части октябристов законопроекту стоит личное влияние Василия Андреевича, сказал: «Вот если бы г. Караулову удалось уговорить вероисповедную комиссию представить нам предположение об узаконении безбожия, то это было бы еще лучше, было бы еще яснее, что подают яд, что подают отраву, что весь этот законопроект надо выбросить как можно скорее, как можно дальше».

В ходе дискуссии семьдесят девять правых членов Государственной думы подписали специальное заявление, в котором говорилось, что «ораторы слева... систематически позволяли себе надругательство над православием, совершенно неслыханное». Еще до решающего голосования лидер умеренно правых Н. Д. Балашов сделал заявление от имени своей фракции: «Вновь образовавшееся в Думе большинство, расширив пределы законодательного предположения, установило начала равенства перед законом религии христианской с еврейством, магометанством и даже язычеством. Признавая непреложной истиной, что величие и мощь Российской Империи покоятся на тесном и неразрывном союзе с первенствующей Церковью Православной, и находя, что распространительное толкование Высочайших преуказаний, допущенное большинством Государственной думы, пытается извергнуть Россию даже из сонма госу-

дарств христианских, фракция умеренно правых, исчерпав все меры противодействия, воздерживается от дальнейшего обсуждения названного законопроекта». Тем не менее 1 июня 1909 года законопроект был принят «новым думским большинством», включая подавляющую часть октябристов.

Принятие двух весьма либеральных «вероисповедных законов» привело к расколу октябристской фракции и выделению из нее правого крыла, сблизившегося с правыми в Думе. Это, в свою очередь, означало распад блока октябристов и умеренно правых, который ранее служил главной думской опорой правительства П. А. Столыпина.

Активная позиция Караулова — убежденного антиклерикала и либерала-христианина снискала ему славу одного из опаснейших противников для право-националистической части Думы и черносотенных сил в стране. Дело неоднократно доходило до прямых оскорблений с правых думских скамей, что затем становилось предметом широкого обсуждения в обществе. Так, 5 мая 1909 года Василий Андреевич включился в дискуссию по вопросу о восстановлении политических прав лиц, лишенных священнического сана или оставивших духовный сан: «Существует попытка самый церковный клир обратить в крайнюю политическую партию, и партию, для которой политическая терпимость и разборчивость в средствах не составляет характерной добродетели». В своей яркой речи он привел пример из «Московских ведомостей»: в 1908 году тридцать два епископа Русской Православной церкви стояли во главе отделов «Союза русского народа». В этот момент волынский депутат, лидер житомирских черносотенцев П. В. Березовский (Березовский 2-й) с места громко крикнул Караулову: «Осторожник!» Тот парировал: «Член Государственной думы Березовский 2-й назвал меня осторожником. Я на такого рода замечания здесь не отвечаю. (*Бурные рукоплескания центра и левой.*) Я ни на одну секунду не могу забыть, что имею высокую честь в данную минуту говорить с трибуны русской Государственной Думы (*рукоплескания центра и левой*), с высокой трибуны законодательной палаты моего Великого Отечества, а не за захватанным, засаленным столом чайной Союза русского народа. (*Продолжительные рукоплескания центра и левой.*)» Оратор добавил: игнорируя факты репрессий внутри православной иерархии, «мы лишаем всякой свободы внутренней ту часть духовенства, которая не имеет желания следовать политическому катехизису Союза русского народа». Тут уже екатеринославский депутат, активный черносотенец В. А. Образцов с места крикнул: «Каторжник!», но Караулов спокойно завершил свою речь: «Надо восстановить в правах всех тех лиц, которые покидают духовное звание».

Еще больший резонанс в общественных кругах имел инцидент, случившийся на вечернем заседании Думы 18 мая 1910 года, при обсуждении вопроса о введении земств в западных губерниях. Когда Караулов, получив слово, вышел к трибуне, активный член «Союза русского народа» и «Союза Михаила Архангела», священник Александр Вераксин, громко крикнул ему: «Каторга!» В этот раз Василий Андреевич дал развернутую отповедь: «Да, почтенный отец, я каторга, и с бритой головой и с кандалами на ногах, я мерил бесконечную Владимировку за то, что смел желать и говорить о том, чтобы вы были собраны в этом собрании... То, что я был каторжным, составляет мою гордость на всю мою жизнь. В той могучей волне, которая вынесла вас в эту залу, есть капля моей крови и моих слез... и это дает мне повод оправдывать мое существование перед Богом и людьми. (*Взрыв аплодисментов на левой и в центре.*)» Один из товарищей Караулова по кадетской партии, Ф. И. Родичев, впоследствии вспоминал: «Мы живо помним ту минуту, когда лаятель по призванию и служитель Бога любви по ремеслу обозвал его (Караулова. — А. К.) грязным словом. Незабываемое зрелище. Вот они лицом к лицу: представитель России гонимой и представитель русских гонителей. Вот психология тех, кому русская жизнь роковым образом уготовила каторгу. Вот национальное лицо тех, которые притязают властвовать над душами и телами... Кто победит?»

В той же речи 18 мая В. А. Караулов ответил и на предложение епископа Евлогия существенно расширить квоту православных священников в земствах западных губерний (в обоснование этой позиции люблинский епископ приводил депутатам длинные цитаты из «Истории» В. О. Ключевского). «Я согласен с владыкой, — сказал Василий Андреевич, — русское духовенство сыграло большую и почетную роль в русской истории, и та характеристика, приведенная владыкою из Ключевского, к духовенству первых веков нашего христианства, к духовенству нашего раннего средневековья совершенно приложима, но с тех пор, как церковь была подчинена и поработана государством, эта характеристика к духовенству неприменима... Это духовенство, это белое духовенство, бедное, несамостоятельное, подчиненное, привыкшее слушаться и боящееся не послушаться, потому, что оно знает, чем непослушание грозит, оно в земские собрания явится не со свободными голосами; оно в земских собраниях будет творить волю своего начальства, вольного голосования от него не ждите и не имеете права ждать... Я не враг низшего духовенства, я скажу, что оно невинно, и ему обвинения этого я не брошу, от людей нельзя требовать героизма, и для них, чтобы быть самостоятельными, надо быть героями, на требования чего мы не имеем никакого права. *(Продолжительные рукоплескания левой, центра и на отдельных скамьях справа.)*»

Следует добавить, что после завершения этой речи председательствовавший князь В. М. Волконский постарался объяснить, почему он сразу не отреагировал на оскорбительную реплику о. Александра Вераксина: «За то слово, которое было сказано справа члену Государственной Думы Караулову, я не делаю замечания, ибо... на него ответил сам Караулов гораздо лучше, чем мог бы ответить я. *(Продолжительные рукоплескания левой, центра и на отдельных скамьях справа.)*»

Думская активность В. А. Караулова высоко подняла его авторитет в Конституционно-демократической партии: 15 ноября 1909 года он был кооптирован в ее Центральный комитет. На состоявшемся в те же дни партийном совещании Караулов, на примере работы над Законом о старообрядчестве, показал коллегам преимущества «органической» парламентской работы: «Здесь несколько раз уже нас приглашали бросить органическую работу и сделать думскую трибуну местом для провозглашения чистых принципов. Еще во время существования первой Думы я был противником такой точки зрения; теперь, после трех лет работы в комиссиях, я лишь укрепился в своем мнении». В отношении к поступившему в Думу законопроект о правах старообрядчества перед кадетской фракцией «были два пути»: «Мы могли бы, не принимая участия в мелочной, детальной работе, ограничиться декларацией о безусловной свободе всякого исповедания, изложенной в трех строках: „старообрядцы свободны в своих делах“; но мы пошли другим путем и приняли за основание своих домогательств законопроект, выработанный самими старообрядцами». Выступавший напомнил, что «старообрядцы, эта наиболее консервативная часть населения, накануне созыва III Думы чуть-чуть целиком не вошли в Союз русского народа». Однако в результате большой работы думских либералов над проектом закона о старообрядчестве, которая стала известна всей стране, «мы добились того результата, что судьба законопроекта переводит 15 миллионов старообрядцев из правого лагеря в левый, перевоспитывает их политически»: «Сейчас уже старообрядцы и не пойдут в Союз русского народа; понемногу они делаются сторонниками конституционного строя, на практическом примере видя, что в государстве деспотическом нельзя добиться свободы, что от сторонников старого строя им нечего ждать. В борьбе за свои права они ищут себе союзников — и так завязываются у них связи с нами». Хотя некоторые участники кадетского совещания с некоторым скепсисом отнеслись к сделанному докладу, лидер партии П. Н. Милюков активно поддержал его автора: «Может быть,

не все 15 миллионов старообрядцев перешли в оппозицию, а значительно меньше, но, во всяком случае, крупных результатов мы добились... Отсутствие у нас репутации деловых работников поставило бы крест и на наших агитационных попытках».

20 октября 1910 года, менее чем за два месяца до кончины, Василий Андреевич выступил в думской дискуссии по проекту закона, внесенного министром народного просвещения, о начальных училищах. Комиссия по народному образованию во главе с октябристом фон Анрепом предложила, чтобы все церковно-приходские школы, входящие в сеть всеобщего обучения, были переданы в ведение Министерства народного просвещения и подчинялись уездным и губернским училищным советам. Правые и националисты увидели в этом новое посягательство на Православную церковь. «Ради самого Господа, во имя спокойствия и блага нашей родины, в великом и святом деле народного воспитания не делайте таких опасных экспериментов!» — восклицал епископ Евлогий. «Неужели вы думаете, что, колебля авторитет церковный, можно служить делу порядка? Колебля авторитет церковный, мы служим делу революции», — вторил ему националист В. Н. Львов, призывавший сохранить автономию православия в деле народного образования.

Оппонируя Львову, Караулов заявил: «Это не церковная автономия, а вавилонское пленение церкви... не вселенское православие, а цезаропапизм». Епископу же Евлогию, который заявил, что подчинение церковных школ есть покушение на заповедь Христа, сказавшего ученикам *«шедше убо научите вся языки»*, он заметил: «Да, Христос сказал это ученикам, и ученики, нищие галилейские рыбаки и сирийские ремесленники, пошли, не в карете цугом в предшествование колокольного звона, а босиком, не в пышных одеждах из шелка, а в рубище, имея только Христово слово и непоколебимую веру в его силу. Они пошли и совершили историческое чудо: к стопам Господа и Учителя своего они повергли гордый Рим и принадлежащий ему тогдашний мир; они совершили это чудо не властью государства, которое их гнало, мучило и убивало, и власти от этого государства они не просили... Они знали, что церковь тогда только будет оказывать благотворное влияние на человеческое общество и разовьет всю свою духовную мощь, когда она будет церковью, а не ведомством».

В. А. Караулов выступил и на втором чтении законопроекта, 26 ноября 1910 года — за три недели до смерти. На этот раз он охарактеризовал клерикалистскую часть церковной иерархии, тесно смыкающуюся с политическим черносотенством: «В этой среде идеал не жизнедеятельность общества, не жизнедеятельность народа, а тленное спокойствие могилы. Они довели до маразма церковь, и теперь они хотят привести в столь же блестящее положение и государство. *(Рукоплескания слева.)*» Во время этого думского выступления правые демонстративно шумели, а когда председательствующий сделал им несколько замечаний, Пуришкевич нагло ответил: «Оратор нам мешает говорить».

Общественные интересы Караулова не ограничивались думской и партийной деятельностью. Он стал, например, активным членом Санкт-Петербургского Религиозно-философского общества (РФО), где сблизился с такими крупными интеллектуальными фигурами, как П. Б. Струве и Н. А. Бердяев. Его новые коллеги, в свою очередь, высоко ценили не только религиозно-философские убеждения Василия Андреевича, но и его уникальное умение претворять их в политическую жизнь. В статье, опубликованной в 1909 году в «Русской мысли», Струве призывал не смешивать два разнородных явления — «религиозность» и «клерикализм». «Достаточно некоторого знакомства с историей новейшего времени, — писал он, — чтобы видеть, что положительная религия и даже преданность церкви отнюдь не обязывает к тому, что между всеми политически образованными людьми признается за клерикализм». В качестве «яркого доказательства» этого тезиса автор статьи приводил в пример деятельность такого че-

ловека, как Гладстон. «Но и у нас на глазах, кто в Государственной Думе выступал в защиту противоклерикальных и истинно государственных проектов вероисповедной реформы? — задавался вопросом Струве. — Главным застрельщиком в этой борьбе был такой религиозный и преданный православный человек, как В. А. Караулов».

За несколько месяцев до смерти Василия Андреевича его важную общественно-политическую роль оценил и Н. А. Бердяев. В статье, опубликованной во влиятельной либеральной газете «Утро России», которую издавали старообрядцы Рябушинские, выдающийся философ поставил его в один ряд с такими русскими религиозными мыслителями, как Федор Достоевский и Владимир Соловьев. Отмечая, что «вопрос о свободе совести — один из самых острых вопросов русской жизни, из тех вопросов, в которых дана точка пересечения внутренней жизни духа и внешней жизни общества», Бердяев напомнил о роли депутата Караулова в борьбе за свободу совести в России. «Борьба за свободу совести обычно ведется людьми, равнодушными к вере и церкви, и в этом случае борьба эта носит характер формальный. Но следует как можно чаще напоминать, что свобода совести бесконечно дорога людям верующим и чувствующим себя в Церкви, что для них свобода совести есть религиозная святыня... Свобода относится к содержанию религиозной веры, т.к. христианство есть религия свободы. Вот почему самая страстная защита религиозной свободы принадлежит по праву верующим христианам — им дело это дорого по существу, а не формально. В Государственной Думе особенно горячо защищал свободу совести Караулов — верующий христианин».

В середине декабря 1910 года В. А. Караулов серьезно заболел пневмонией и 19 декабря скончался «от паралича сердца вследствие крупозного воспаления легких». В день похорон, 21 декабря, рано утром в квартиру покойного пришел полицейский пристав и в категоричной форме потребовал, чтобы ему показали все надписи на венках и лентах. Ввиду тесноты в квартире многочисленные венки были вынесены на лестницу и здесь тщательно осмотрены; после некоторого раздумья пристав признал их допустимыми. Гроб вынесли на руках соратники Караулова по кадетской партии — Шингарев, Колюбакин, Некрасов, Кутлер, Винавер. Учащаяся молодежь образовала вокруг гроба цепь — в начале одиннадцатого процессия стала двигаться к зданию Государственной думы. На Шпалерной, перед Таврическим дворцом, думское духовенство отслужило литию. Потом, по Потемкинской, Кирочной и Знаменской улицам, процессия двинулась в южную часть города, на Волково кладбище. Около одиннадцати часов пересекли Невский проспект. Корреспондент «Утра России» на следующий день написал: «На тротуарах огромное количество публики. Все углы Лиговки, Пушкинской и Знаменской густо усеяны народом». К полудню достигли кладбища. По просьбе старообрядцев им была предоставлена возможность нести гроб. Приехал из Москвы А. И. Гучков, который в числе других на руках выносил гроб из кладбищенской церкви. Организаторов заранее предупредили о запрете говорить над могилой «речи политического характера»: видимо, власти помнили, в какую манифестацию превратились недавние похороны С. А. Муромцева в Москве. Речь над могилой держал только близкий друг покойного — Некрасов: «Дорогой Василий Андреевич! Уста наши заграждены. Мы не можем говорить о том, что мы знаем, что сам ты считал наиболее драгоценным в своей жизни и деятельности. Говорить обиняками невозможно у отверстой могилы того, кто был вдохновенным проповедником вечной правды, и мы предпочитаем молчать... Сохраним же наши мысли о нем до того счастливого момента, когда, хороня своих друзей, мы сможем у их гроба свободно и смело давать оценку их личности и деятельности».

Через несколько дней после похорон в память о В. А. Караулове состоялось специальное заседание Санкт-Петербургского Религиозно-философского общества, активным членом которого он являлся. Известный философ и религиозный мыслитель

А. А. Мейер вспоминал: «Для РФО этот человек был особенно дорог тем, что сумел в своей тонкой и чуткой душе совместить горячее и живое общественное чувство, заставившее его испытать все ужасы каторги, — с глубокой христианской религиозностью. Это было то сочетание, которые главные деятели общества, задававшие в нем тон, хотели видеть вообще в русской интеллигенции. Вечер в память Караулова снова подчеркнул, что РФО живет одной жизнью с русской интеллигенцией, но живет по-своему, не совпадая с нею, в ее все еще довольно упорном отчуждении от религии».

Некролог на смерть Василия Андреевича Караулова опубликовал в «Русской мысли» и другой лидер русского христианского либерализма — П. Б. Струве. «В этой замечательной фигуре образованного человека, верного церкви и церковной религии и страстно любившего политическую свободу и ее правовые формы, воплотилась одна из роковых загадок русской жизни. Не знаю как и почему, но душа его одинаково тянулась и к традиции, и к революции, и к старине, и к новизне. Она страстно искала слияния старины с новизной, не по оппортунистическому расчету, не из тактики, а движимая глубочайшей эстетической потребностью, охватывавшей все существо этого человека... Вся его личность как будто спрашивала, возможен ли и как, какими путями, какой ценой, с какими жертвами воплотится в русской жизни этот желанный синтез традиции и революции». Струве далее отметил, что «защита свободы совести со стороны Караулова, верного сына православной церкви, была для него не случайным и личным делом, а осуществлением личными силами великой исторической задачи — примирения веры и свободы. Вне такого примирения ему не мыслилась возможность прочного духовного и общественного развития русского народа и даже сама крепость русского государства».

П. Б. Струве очень точно обозначил два главных вопроса, которые всю жизнь волновали Караулова. Первый: «Может ли православная церковь так, как она исторически сложилась, со всем ее прошлым, принять свободу совести, освободиться от цезаро-папистской прикрепленности к государству, стать свободной и независимой церковной общиной, а не церковью-ведомством?» И второй: «Может ли современное сознание, современная религиозность примириться с той церковно-догматической связанностью, которой отмечены все исторические церкви?» «Я не знаю, — закончил автор свою статью-некролог, — как отвечал самому себе Караулов на этот последний вопрос. Но я думаю, что чем менее догматичен и внутренне нетерпим человек, тем легче его религиозному сознанию, не отрываясь от той или иной исторической церкви, оставаясь, так сказать, в ее ограде, сохранить свою собственную религиозную индивидуальность. Такие люди, быть может, более, чем фанатические приверженцы догматов, составляют истинную „соль“ всякой церкви... И великое значение свободы совести и веротерпимости заключается в том, что только она позволяет церковным организациям, исторически сложившимся, удерживать в своей среде эту незаменимую драгоценную „соль“, которая ищет любовного и достойного примирения между индивидуальной религиозностью и соборным благочестием — примирения, одинаково далекого и от лицемерного расчета, и от догматического изуверства, и от мистической экзальтации. Таков был Караулов».

9 мая 1912 года на могиле Василия Андреевича на Волковом кладбище в Санкт-Петербурге установили памятник. На гранитном постаменте под бронзовым бюстом были выбиты слова из известной думской речи Караулова: «*Да, я был каторжником, с бритой головой и кандалами на ногах*». Но петербургский градоначальник не разрешил открывать памятник с подобной надписью, и ее прикрыли железной доской.

ФЕДОР ИЗМАЙЛОВИЧ РОДИЧЕВ: *«Я жил под знаком свободы...»*

Евгения Клушина

Федор Измайлович Родичев родился в Санкт-Петербурге 9 февраля 1854 года, а умер в Лозанне (Швейцария) 28 февраля 1933 года. Он был участником и свидетелем многих драматических событий, потрясших Россию, — от освобождения крестьян до советской коллективизации. Будучи бескомпромиссным противником самодержавия, он хотел видеть Россию свободной и процветающей страной. Но, подобно большинству его единомышленников, Родичеву было суждено пережить крушение надежд на превращение России в правовое демократическое государство. Большевистский переворот стал не только концом политической карьеры Родичева, но и его личной драмой.

Ф. И. Родичев, как многие участники русского либерального движения, был по происхождению мелкопоместным дворянином. Его родителям принадлежало поместье в Весьегонском уезде Тверской губернии. По семейному преданию, Родичевы вели свое происхождение от новгородского боярина Рода, потомки которого после покорения Новгорода Иваном III были вынуждены покинуть свои земли и переселиться на территорию будущей Тверской губернии.

Ранние годы жизни Ф. И. Родичева прошли в Весьегонском уезде, который в середине XIX века представлял собой, по словам современников, «настоящий медвежий угол старой России». Расположенный на северо-востоке Тверской губернии, это был поросший лесом болотистый край, прорезанный притоками реки Мологи. На правом ее берегу стоял городок Весьегонск, население которого к концу XIX века составляло всего три тысячи человек. Если родной уезд Родичева был настоящим захолустьем, то Тверская губерния в целом благодаря удобному географическому положению и наличию природных ресурсов уже к первой половине XIX века достигла достаточно высокого по российским меркам уровня развития. Активизация общественной жизни здесь началась с подготовки крестьянской реформы: в 1862 году возглавляемые А. М. Унковским тверские дворяне обратились к царю со знаменитой радикальной резолюцией, в которой указывалось, что освобождение российского крестьянства должно сопровождаться введением выборных институтов и отменой классовых привилегий. Великие реформы, а в особенности создание земства, открыли новые, более широкие возможности для общественной деятельности дворянства и интеллигенции. На этом фоне и разворачивалась политическая карьера нашего героя.

Федор Родичев был вторым из трех сыновей Измаила Дмитриевича Родичева и его жены Софьи Николаевны (урожденной Ушаковой). О жизни Измаила Дмитриевича известно немного. Он получил образование в Павловском военном училище, после освобождения крестьян служил третейским и мировым судьей, а позже избирался депутатом Тверского губернского земского собрания. Однако заметной роли в общественной жизни губернии он не сыграл.

Мать Ф. И. Родичева, Софья Николаевна, была женщиной незаурядной, получившей хорошее для своего времени образование. Образ жизни семьи Родичевых был старомоден и даже консервативен. В своих воспоминаниях старшая дочь Александра отмечала, что новый год начинался с 1 сентября, строго соблюдались все посты, а за нарушение установленных правил дети наказывались кнутом. Федора Родичева с детства не устраивал этот общепринятый способ воспитания. Всякого рода телесные наказания для него были символом деспотизма и непросвещенности. В 1861 году, когда Родичеву исполнилось семь лет, патриархальные устои семьи были нарушены. Это было в значительной степени связано с появлением в доме гувернантки Марии Евграфовны Павловской. «Мои первые воспоминания начинаются с 1861 года, — писал в своих мемуарах Родичев, — и вся моя жизнь прошла под знаком освобождения». Павловская не только обучала маленького Федю началам наук, но и давала первые уроки общественной жизни. Наиболее сильное впечатление на юного Родичева произвели просветительские взгляды гувернантки, которая, по его словам, «во время долгих прогулок верхом постепенно внушала мне демократические идеи о равенстве людей».

Позже М. Е. Павловская стала женой известного публициста Н. К. Михайловского. Ф. И. Родичев часто бывал у них в Санкт-Петербурге, где знакомился и общался с друзьями семьи — поэтами Н. А. Некрасовым и Г. И. Успенским, известным журналистом А. И. Скабичевским. И хотя много позже Родичев утверждал, что «никогда не был очарован ими», по-видимому, эти люди оказали определенное влияние на формирование личности молодого человека.

В 1863 году Ф. И. Родичев уехал в Санкт-Петербург для получения среднего образования. Вспоминая о годах обучения в 1-й реальной гимназии, он отмечал систематичность и глубину знаний, полученных там, и, что было для юноши особенно важным, полное отсутствие жестокого и грубого отношения к воспитанникам со стороны начальства и наставников. Гимназист всерьез увлекся современной историей западных стран. Его восхищали смелые действия противников авторитарного режима во Франции. «Мои представления о ситуации во Франции подкреплялись речами Симона и Гамбетты в законодательной палате, их непримиримой борьбой с бонапартистским режимом... Романтизм свободы привлекал меня более всего...» — вспоминал Родичев.

В 1870 году он поступил на естественный факультет Санкт-Петербургского университета. Родичев с восхищением слушал блестящие лекции Д. И. Менделеева, И. И. Мечникова, П. Л. Чебышева. Успешно сдав в 1874 году выпускные экзамены, он решил учиться дальше и стал студентом юридического факультета, где вскоре занялся научной работой под руководством профессоров русского права В. И. Сергеевича и А. Д. Градовского. Итоговая работа Родичева об устройстве русской крестьянской волости оказалась настолько удачной, что Градовский предложил ему продолжить научную карьеру.

Воодушевленный верой в торжество либеральных идей Родичев уже к концу 70-х годов окончательно сформулировал для себя принцип, который отстаивал всю жизнь: всеобщее равенство и свобода людей. При этом ему удалось избежать увлечения социалистическими идеями, столь популярными в то время. Несмотря на молодость и бурный темперамент, он не идеализировал романтически революционное подполье.

В 1872 году, во время путешествия с матерью по Европе, Родичев знакомится с произведениями А. И. Герцена. На протяжении всей жизни Родичев почитал Герцена в первую очередь как «великого поэта абсолютной ценности личности», защитника прав и свобод человека, а не революционера и социалиста. Находясь в Берлине, он перечитал все книги и статьи Герцена, был потрясен его «откровением свободного духа».

Вернувшись в Россию, Родичев начал горячо проповедовать взгляды Герцена среди своих товарищей. Однако он столкнулся со скептическим отношением к этим

идеям в университетской среде. Консервативное крыло студенчества не принимало свободолобивых идей; левых отпугивала дворянская рафинированность Герцена — им гораздо ближе были Чернышевский и Писарев. «Их идеалом была революция, а к делу конституции они были равнодушны», — сокрушался Родичев. Сам он всегда считал, что только мирные реформы, а не катастрофы и разрушительные потрясения позволят восторжествовать в России идеалам законности и права.

Политические противники любят обвинять русских либералов в «непатриотичности». Эти претензии невозможно предъявить Родичеву. Двадцатидвухлетний выпускник столичного университета, узнав об объявлении Сербией войны Османской империи, немедленно отправился сражаться добровольцем на Балканы. В своих поздних заметках он писал: «Летом 1876 года я поехал волонтером за Дунай отыскивать свободу. Мне все мерещились Лафайет или Костюшко. Я считал, что дело свободы славянской есть дело свободы русской». В Сербии Родичев познакомился с итальянскими добровольцами, бывшими волонтерами Гарибальди (мечтающими о федерации свободных балканских республик в союзе с Италией), с сербским полковником Влайковичем, который возглавил в 1866 году восстание в Белграде. Пребывание Родичева на Балканах оказалось недолгим: через год он был срочно вызван в Весьегонск, где уездное земское собрание уже избрало его мировым судьей. Местные землевладельцы, хорошо знавшие семью Родичевых, всерьез опасались за жизнь земляка. По словам его дочери, «избрание отца в местные органы власти было средством для извлечения его с войны». С этого времени для Федора Измайловича начался почти двадцатилетний период земской службы.

Работа в деревне, считал Родичев, необходима для изучения нужд и чаяний народа, воспитания русского крестьянства «в духе свободы». В этом контексте становится понятной и причина его отказа от научной карьеры, которую прочили одаренному студенту. Родичев с энтузиазмом отдался земской работе. Список должностей, занимаемых им в течение этих лет, дает представление о степени его общественной активности и высоком авторитете. В 1878 году, уже имея опыт мирового судьи, он был избран уездным предводителем дворянства, гласным Тверского губернского земского собрания, а также председателем Весьегонского уездного земства. Активная деятельность Ф. И. Родичева не прерывалась вплоть до 1895 года, когда император Николай II личным указом не отстранил от нее либерально настроенного земца.

Когда Федор Измайлович приступил к работе в земстве, Весьегонский и Новоторжский уезды стали центрами прогрессивного земского движения Тверской губернии. С середины 70-х годов здесь развернули активную деятельность молодые земцы, продолжавшие следовать либеральным традициям 1850–1860-х годов: И. И. Петрунkevич, П. А. Корсаков, В. Н. Линд, Б. Е. Кетриц, П. Е. Гронский. Этой группе, названной Родичевым в воспоминаниях «молодой Весьегонией», в земской работе противостояла Весьегония старая, представленная реакционно настроенными землевладельцами, лидером которых был П. А. Кисловский. Как отмечал В. Н. Линд, «направляющее значение в земстве оставалось за дворянством, и характер уездных собраний зависел исключительно от того, какая из дворянских партий — либеральная или консервативная брала перевес.... В семидесятые годы власть все более переходила к либеральной группе, и в 1878 году она окончательно победила...».

Важно отметить, что выступления тверских либералов носили строго легальный характер. Это признавал даже начальник Тверского губернского жандармского управления полковник П. П. Есипов, писавший в обзоре губернии за 1879 год, что либеральная оппозиция «жаждет некоторых улучшений в общественной жизни — облегчение податей и уменьшение выкупных платежей крестьян, расширение прав земств в области народного образования».

Взгляды молодого предводителя дворянства вполне соответствовали прогрессивному духу, который царил на земских заседаниях. Работая в деревне, Ф. И. Родичев близко соприкасался с реальной жизнью крестьян, подходил к их нуждам с критической наблюдательностью и трезвой практичностью. Позже он писал: «Попал я в судьи с живой верой в особую крестьянскую правду, с надеждой видеть ее откровение... Никаких глубин народного духа, отдельных от духа других слоев народа, никакой отдельной народной правды я не видел...» Резкий противник сословных перегородок, он отрицательно относился к волостным судам, переданным правительством под надзор земских начальников. Родичев считал, что крестьяне, равно как и представители других слоев населения, должны судиться у мирового судьи или в суде присяжных.

Работа в земстве изменила сложившееся под влиянием Герцена отношение Родичева к институту крестьянской общины. Если раньше он считал ее прогрессивным явлением, защитой России от тяжелых социальных потрясений и гарантией права каждого человека на собственность, то теперь, столкнувшись с реалиями сельской жизни, Родичев стал рассматривать общину исключительно как орудие податного нажима. «Не пустить парня на заработки, постановив приговор, чтобы ему не давали паспорта, продать старухину корову за то, что содержала в неисправности свой участок забора, через который деревенская скотина вырывалась на потраву, обложить несносным побором бобылку за пастьбу на деревенском выгоне — вот дела нашей общины», — с горечью отмечал Родичев.

Размышляя о проблемах крестьянской жизни, он все более понимал необходимость немедленного преодоления крепостнических пережитков. Достичь этого, по глубокому убеждению Родичева, без обновления основ политического строя России было невозможно. В 1878 году правительственное обращение к обществу за содействием в борьбе с революционным движением (известная речь Александра II в Москве 20 ноября 1878 года) вызвало целый поток земских адресов. Часть из них, как, например, адреса Харьковской и Черниговской губерний, содержала намеки на необходимость дарования России конституционных и гражданских свобод, продолжения реформ 60-х годов. Аналогичный адрес был составлен тверскими гласными Родичевым, Петрункевичем, Корсаковым, братьями Бакуниными. Известный публицист М. П. Драгоманов отмечал, что «тверской адрес представляет как бы продолжение Черниговского, но превосходит его достоинством и положительностью требований».

Полагая необходимым «восстать, согласно призыву монарха, на борьбу с постоянно возрастающим злом», тверские земцы, подобно многим либерально мыслящим людям, отмечали недостаточность одних репрессивных мер для «исцеления общих политических недугов». Однако в отличие от прочих только в Черниговском и Тверском адресах утверждалось, что реакционный курс правительства, урезая права земских учреждений, искажает суть реформ 60-х годов и приводит к росту революционного движения. Тверские земцы высказали вслух те мысли, которые черниговские вынашивали, но не решались прямо включить в свой адрес. «Записка двадцати двух гласных» заканчивалась обращением к царю с недвусмысленным намеком на необходимость для России, в целях «постепенного, мирного и законного развития», последовать примеру освобожденной от турецкого ига Болгарии, где была введена так называемая «Тырновская конституция».

Однако одно дело составить адрес и собрать под ним достаточное количество подписей, а другое — превратить его в официальное обращение Тверского губернского земства к правительству. Ф. И. Родичев и И. И. Петрункевич попытались утвердить адрес на собрании экстренной сессии 21 февраля 1879 года, созванном для «рассмотрения губернаторского протеста на постановление собрания очередной сессии и... обсуждения мер по борьбе с эпидемией чумы». По донесению Департамента полиции,

в заседаниях губернские гласные, выходя за пределы рассмотрения поставленных вопросов, «вторгались в обсуждение проблем общего государственного строя и подали председателю записку в том смысле, подписанную двадцатью двумя лицами». Родичев, выступая на собрании, указал, что в записке «поднят вопрос об общих условиях земской деятельности, указаны условия общественной автономии и личной свободы, при которых только и возможно искоренение зла, как нравственного, так и физического, при которых в настоящее время только возможно мирное и законное развитие общества». Не обсудив этих вопросов, по его мнению, приступать к решению частных проблем было бы преждевременным.

Попытка обсудить адрес в собрании закончилась неудачей: председатель запретил даже огласить его. В ответ Родичев указал, что «нам придется сложить с себя ответственность и действовать в пределах собственного бессилия». Он считал необходимым созвать съезд земских деятелей в Москве для обсуждения мер не только по борьбе «с чумой физической, но и с нравственным злом, разъедающим общество». Можно предположить, что этим ходатайством тверские земцы попытались легализовать готовящийся в Москве тайный земский съезд, придав ему видимость собрания по борьбе с чумой. История подготовки Первого земского съезда и его состав (на совещании 1 апреля 1879 года в числе восьми представителей от Тверской губернии присутствовал и Родичев) невольно наводят на мысль, что тверские земцы знали о съезде и предпочли, по выражению Родичева, «стоять на почве законности», то есть узаконить сам съезд.

Во время работы Родичева над составлением записки за ним было установлено негласное наблюдение, и местные власти охарактеризовали его как «ярого либерала и весьма видного местного руководителя группы лиц, стоящих в оппозиции к правительству». Позже в донесении Департамента полиции читаем еще более резкую характеристику Родичева: «Отъявленный лицемер, либерал, и весьма неблагонадежен. Помимо обнаруженных им симпатии и покровительства поднадзорным, он обращает на себя особое внимание смелостью и резкостью суждений на дворянских и земских собраниях, всегда выступает с разного рода демонстративными предложениями, рисуясь беспощадной критикой административной власти».

В 1880-е годы Федор Измайлович продолжал активно работать в уездном и губернском земствах. К тому времени его взгляды на общинное землевладение и юридический статус крестьян полностью сформировались и нашли выражение в записке «О личных правах крестьян», которую он направил в комиссию по составлению проекта преобразования местного самоуправления под председательством члена Государственного совета М. С. Каханова. В этом документе Родичев утверждал, что личные права крестьян ограничены «в силу особого податного состояния» и большая часть ограничений сводится к существованию подушной подати, обязательного выкупа и целой системы законов, обеспечивающих стабильную выплату подати и выкупных платежей. Стесненность крестьян в личных правах, по мнению автора документа, выражалась в отсутствии свободы труда, передвижения, промыслов, господстве телесных наказаний, а также в ограниченном доступе к образованию и государственной службе. Резкой критике в записке была подвергнута паспортная система, которую Родичев считал основным способом ограничения юридической свободы крестьян, барьером для смены места жительства. В рамках этого проекта земский гласный обозначил роль общины в крестьянской жизни, утверждая, что только в одном случае ее существование будет служить гарантией свободы личности: если права выхода из общины будут законодательно регламентированы. «Община есть союз личный, а не имущественный», — резюмирует Родичев.

Несмотря на то что в связи с проведением контрреформ деятельность комиссии Каханова к 1886 году была свернута и идеи Родичева, изложенные в записке, не были

воплощены в жизнь, на нее обратили внимание представители прогрессивно мыслящей общественности. Так, П. Б. Струве, который опубликовал документ в 1897 году в марксистском журнале «Новое слово», назвал его «замечательной вещью по глубине понимания и верности мысли о состоянии крестьянского сословия», а П. Н. Милюков, давая оценку записке в 1905 году, — «настоящей программой крестьянского права».

Одним из важных направлений земской деятельности Ф. И. Родичева была его работа в области народного образования. Уделяя огромное внимание воспитанию свободной личности, он считал, что «школа в сознании населения должна быть столь же непрерываемым и необходимым учреждением, как и церковь». В организации школьного дела в Весьегонском уезде Родичеву помогал его друг и соратник П. А. Корсаков; позднее Федор Измайлович предложил участие в этой работе будущему видному деятелю российского либерализма Д. И. Шаховскому, который принял предложение Родичева и три с половиной года работал его помощником по училищной части. Родичев одним из первых в губернии высказал идею о возможности организации там всеобщего обучения, в чем убедил Шаховского и члена учительского совета, будущего депутата I Думы, А. С. Медведева. Несмотря на то что многие в то время считали эту идею дерзкой выдумкой, после выступлений Родичева в сентябре 1894 года на заседаниях Тверского земского собрания всеобщее обучение в губернии было единогласно признано «непосредственной целью». В 1906 году в Весьегонском уезде впервые в России идея всеобщего начального обучения была воплощена в жизнь.

При поддержке единомышленников Родичев на заседаниях уездных земских собраний настаивал на расширении ассигнований на нужды народного образования. В результате активной работы земцев ассигнования увеличивались из года в год, что позволяло земству строить новые школы, а часть средств направлять на финансирование образовательных программ и организацию учительских съездов.

Бурные политические события 80-х годов, связанные с началом правления Александра III и проведением им контрреформ (отставка либерально настроенного М. Т. Лорис-Меликова и других министров, вступление в должность Д. А. Толстого и И. Н. Дурново, свертывание деятельности комиссии Каханова), внесли коррективы в деятельность Родичева. Его протестом против введения института земских начальников и одновременной отмены должности мировых судей стала отставка в 1891 году с поста весьегонского предводителя дворянства. В этой должности Родичев должен был председательствовать на собраниях земских начальников своего уезда, но он не захотел даже в такой форме идентифицировать себя с институтом, который, по его мнению, был призван обеспечивать произвольное вмешательство в крестьянскую жизнь со стороны местных органов власти.

Несмотря на отставку, Родичев вскоре был единогласно избран Тверским земским собранием на пост председателя губернской управы, однако новый министр внутренних дел И. Н. Дурново не утвердил его в этой должности. Газета «Речь» в марте 1906 года, незадолго до открытия I Думы, воспроизвела слова министра, обращенные к Родичеву в 1889 году: «Правительство и так к вам слишком снисходительно, вы там толкуете Бог знает что об образовании и правах. Нам же нужны люди, которые бы говорили и делали то, что нам нужно...» Однако и после этого эпизода Родичев еще в течение пяти лет оставался гласным Тверского земского собрания, продолжая выступать против уничтожения выборного мирового суда и расширения права надзора местной администрации за деятельностью земских учреждений.

Поводом к драматическому концу земской карьеры Ф. И. Родичева послужило представление императору Николаю II известного «Адреса Тверского земства». Его текст, составленный Родичевым и одобренный губернским собранием, лишь подтверждал неоднократно выражаемое ранее пожелание земцев законодательной защиты

общественных институтов для того, чтобы «высоты трона могли достигнуть помыслы не только представителей власти, но и всего русского народа». Однако Николай II встретил депутацию речью, в которой назвал содержащиеся в тексте адреса пожелания «бессмысленными мечтаниями». Родичев же, как автор «крамольного» заявления, по Высочайшему повелению был на десять лет лишен права участвовать в сословных и общественных выборах. Он был глубоко оскорблен неожиданной реакцией царя на адрес и позже, вспоминая об этом, писал своему другу В. А. Ледницкому: «Я чувствовал себя осужденным мошенником. За всю мою жизнь никто не нанес мне удар больший, чем Николай II...»

Следующие десять лет жизни Федора Измайловича стали переходным этапом от его работы на провинциальном уровне до деятельности в общероссийском масштабе как одного из лидеров кадетской партии и думского депутата. Отстраненный от земской работы, Родичев занялся адвокатской практикой, которая не приносила ему удовлетворения.

Материалы об этом периоде очень фрагментарны, однако в письме Родичева Ледницкому читаем о том, что для него эти годы были периодом значительных материальных затруднений и жесткого полицейского контроля. От общественной работы была отстранена и жена Родичева: по распоряжению тверского губернатора Ахлестышева, Екатерина Александровна не была утверждена попечительницей в одной из новых школ уезда, а местным учителям было запрещено посещать ее дом.

В 1901 году за участие в подписании протеста в адрес министров юстиции и внутренних дел против жестокого разгона полицией студенческой демонстрации у Казанского собора Родичев был помещен под домашний арест, а затем по распоряжению министра внутренних дел Сипягина подвергся высылке из столицы. Однако вскоре в жизни Родичева произошли изменения: в 1904 году по ходатайству вновь назначенного либерального министра внутренних дел П. Д. Святополк-Мирского Федору Измайловичу было возвращено право участия в общественной деятельности.

Летом 1903 года Родичев стал одним из двадцати участников I съезда «Союза освобождения», который состоялся в Швейцарии, в Шафгаузене, а также постоянным сотрудником журнала «Освобождение». На его страницах он так изложил свое видение перспектив развития политической ситуации в России: «Если бы мы верили в личные силы Государя, мы были бы готовы умолять его обратиться к народу. Сзовите Земский собор! Спасите страну от потрясений и кровавых жертв. Но тщетны мольбы, бесполезны они против страшных законов судьбы. Земский собор будет созван, это видит всякий, у кого ум и совесть не на содержании у казны, но он будет созван не по указу государственного ума и человеческого сердца, а под давлением напора событий, ненависти, ежечасно сеемой самодержавием, под давлением нужды и необходимости — поздно...»

Во время стремительно меняющейся политической обстановки 1904–1905 годов, неудач России на Дальнем Востоке и назревающего революционного кризиса Ф. И. Родичев активно участвовал в многочисленных заседаниях «Союза освобождения», «Союза земцев-конституционалистов», а также в работе всех без исключения земских съездов. На съезде земских деятелей, проходившем в Санкт-Петербурге в ноябре 1904 года, Родичев поддержал «Записку», формулирующую конституционные требования свободы слова, печати, союзов, собраний и «представительного устройства в России», а также полной амнистии всех лиц, подвергшихся политическим преследованиям.

Несколько месяцев спустя в России началась революция, в ходе которой, в мае 1905 года, под руководством П. Н. Милюкова был создан «Союз союзов», ядром которого стал «Союз земцев-конституционалистов». Родичев надеялся, что участие земцев в «Союзе союзов» позволит им последовательно проводить там линию «здорового умеренного влияния».

Одновременно Родичев принял участие в образовании «Союза адвокатов», председательствуя на съезде которого в марте 1905 года убедил присутствующих принять польскую делегацию на ее условиях — одобрения на съезде идеи польской национальной автономии. С тех пор Ф. И. Родичев был неизменным участником русско-польских совещаний, проводимых с участием его личного друга, лидера польского национального движения А. Р. Ледницкого. Родичев писал ему: «В этом вопросе я никогда не отбивался, так как здесь для меня была незыблемая основа: права лиц и национальностей». Такой идейной установке Родичев следовал всю последующую жизнь — во время многолетней работы в Думе и позже, находясь за пределами России.

В октябре 1905 года как член «Союза освобождения» и «Союза земцев-конституционалистов» Родичев участвовал в организационном оформлении новой политической партии — Конституционно-демократической (Партии народной свободы) и был избран в ее Центральный комитет. Общероссийскую известность он получил как депутат четырех Дум. Благодаря случайности он избежал злополучных последствий подписания знаменитого Выборгского воззвания — протеста против роспуска правительством первого российского парламента. Во время подписания воззвания он находился в Лондоне, в составе думской делегации на межпарламентской конференции, и потому не был лишен избирательных прав, как другие члены партии. Это обстоятельство дало ему возможность быть избранным в Государственную думу всех последующих созывов.

На думских заседаниях сразу же проявился выдающийся ораторский талант Родичева, которого современники называли «златоустом кадетской партии» и «оратором Божьей милостью». П. Б. Струве считал его одним из трех великих ораторов современной России наряду с В. А. Маклаковым и П. А. Столыпиным.

В Государственной думе первого созыва Родичев работал в Комитете по крестьянскому вопросу, участвуя в разработке законопроекта об уравнении крестьян в правах с другими сословиями. Там он произнес свои первые думские речи: о политической амнистии, отмене смертной казни и об «ответственном министерстве». По последнему вопросу позиция Родичева отличалась своеобразием. Полностью поддержав общее для кадетских депутатов требование «ответственного министерства», он аргументировал его не в антимонархическом ключе, а, напротив, тем, что оно необходимо для защиты личности государя. Родичев утверждал, что «только министерство, ответственное перед Думой, по-настоящему ответственно и перед монархом» и возражал против общей точки зрения, которая возлагает «на голову царя ответственность за всякое незаконное действие властей». На заседании 23 июня 1906 года Родичев, принимая участие в решении вопроса об изыскании необходимых для помощи голодающим губерниям средств, убеждал Думу в невозможности обращения к займам, так как это, по его мнению, может привести к подрыву государственного бюджета. Предложение Родичева, поддержанное большинством, сводилось к возможности распределения денежных средств на основании пересмотра сметы государственных расходов, что дало бы возможность преодолеть голод.

С воодушевлением Ф. И. Родичев начал работать в Думе второго созыва, где принял участие в работе бюджетной и продовольственной комиссий, комиссии о местном суде, а также был избран в бюро парламентской кадетской фракции. С первых дней работы Думы он настойчиво проводил идею о необходимости создания специальной комиссии для рассмотрения отчета Министерства внутренних дел о проведении продовольственной операции. В марте 1907 года это предложение было поддержано большинством Думы, к которому присоединился и П. А. Столыпин. Работая в бюджетной комиссии, Родичев настаивал на открытом обсуждении бюджета и доведении до сведения депутатов плана финансовых реформ. Участвуя в прениях по аграрному вопросу,

он говорил о необходимости регламентации права земельной собственности и возможностях интенсификации крестьянского хозяйства.

Заслуживает внимания и участие Родичева в обсуждении в Думе известного аграрного Указа 9 ноября 1906 года. Считая его проведение в жизнь преждевременным, Федор Измайлович утверждал, что для введения хуторской формы хозяйствования в России необходимо наличие целого ряда условий: качественных путей сообщения, прочного правопорядка, законности, прав и свобод личности. «Не будь их, — говорил он, — толкать крестьян на интенсификацию означает обрекать их на убытки и разорение».

Особого мнения Родичев придерживался и при обсуждении вопроса о русской общине. Крестьянские надельные земли, отмечал он, после погашения выкупа автоматически становятся общественной собственностью, которая законодательно регламентирована «Положением 19 февраля 1881 года». По окончании выкупной операции, считал он, крестьянская собственность должна регулироваться теми же законами, какими регулируется любая другая собственность в России. Согласно этой точке зрения, общинное землевладение уже с 1 января 1907 года перестает существовать на всех надельных землях, и нет необходимости отменять его специальным указом. Мнение Родичева внимательно изучалось в думской комиссии по аграрной реформе и широко обсуждалось в печати.

После роспуска II Думы и выхода в свет нового избирательного закона стало ясно, что партия кадетов не сможет играть руководящей роли в III Государственной думе. Однако это обстоятельство не помешало представителям фракции упорно бороться за права народного представительства и участвовать в активной законодательной работе. Родичев, не теряя надежды на возможность влияния с думской трибуны на политическую ситуацию в стране, снова стал активным участником обсуждения аграрного и национального вопросов.

На заседании 17 ноября 1907 года, осуждая реакционность правительственного курса по отношению к правам национальностей и выступая в защиту польской автономии, он произнес речь, которая потрясла Думу. Призывая власть «сойти с пути преступлений и узаконить равные для всех национальностей права», Родичев закончил свою речь следующими словами: «В то время когда русская власть находилась в борьбе с эксцессами революции, видели только одно средство, которое Пуришкевич называет „муравьевским воротником“, и которое его потомки назовут, быть может, „столыпинским галстуком“!» Правомонархическим думским большинством эти слова были расценены как дерзкий выпад в адрес председателя Совета министров П. А. Столыпина, который после окончания речи демонстративно покинул зал заседаний. Родичев же лишился права в течение последующих пятнадцати заседаний принимать участие в думской работе.

Эта речь известного кадетского оратора имела большой общественный резонанс — на следующий день она была опубликована в газетах всех направлений. Кадетская «Речь» назвала ее «историческими словами в жизни русского парламента»; многие видные политики и общественные деятели выражали восхищение и сочувствие Родичеву. «Если нашлось столько людей, которые обозлились на благородного оратора за его блестящую речь и, быть может, его „лебединую песнь“ в третьей русской Думе, то это только потому, что она затронула даже и их черную зависть и пробудила в них сознание страшной вины перед родиною, их злополучной жертвою. Это был проблеск, зародыш раскаяния палача», — говорил в открытом письме в редакцию газеты «Речь» и «Русские ведомости» А. Энгельмейер. Речь Родичева в своих письмах приветствовали торговые служащие, приказчики, представители польских национальных кругов, делегаты Лондонского съезда РСДРП... С другой стороны, представители

умеренных конституционалистов расценили речь Родичева иначе. Так, лидер либерального крыла октябристов В. И. Петрово-Соловово писал в газете «Слово», что выпад Родичева против личности премьера «погубил речь оратора... дал неотразимое орудие в руки наших политических противников. Красное словцо произнес Родичев, а триумф получил Столыпин!».

Вернувшись к работе в Думе, Федор Измайлович участвовал в обсуждении законопроектов о неприкосновенности личности, об устройстве местного суда, о волостном земском управлении. В острых и блестящих речах он критиковал бюрократическую политику самодержавия в области народного образования, выступал против так называемой «скорострельной юстиции» (казни по решению военного суда), в защиту национального равноправия.

Однако Родичев все меньше верил в законодательные возможности Думы как независимого от мнения правительства института. «Эта дума не народная, а министерская, дума помещичьей злобы», — говорил Родичев в беседе с корреспондентом газеты «Русское слово». Накануне открытия IV Государственной думы Родичев уже не сомневался, что она будет лишь видимостью народного представительства. «Большинство там составят воскресшие дети Аракчеева, народ на выборах подменен 7200 священниками. Это все равно, как завести 7200 граммофонов и потом сказать, что это голос народа», — говорил он на предвыборных собраниях.

В Государственной думе четвертого созыва, где продуктивная работа оппозиции стала невозможной, Ф. И. Родичев участвовал в обсуждении проектов преобразования местных судов, введения таможенных пошлин, а также пытался убедить депутатов в незаконности введения цензуры во время войны. Важно отметить, что с самого начала Первой мировой войны Родичев в думских речах, в ряде докладов и публичных лекций упорно боролся с пораженческими настроениями в обществе. В то же время его мучили предчувствия неминуемого поражения русской армии в борьбе с Германией. Будучи патриотом, он не мог и не хотел высказывать их публично, однако в частных беседах он не раз утверждал, что бездарное правительство Николая II не сумеет защитить честь России и армия вследствие недостаточности снабжения и преступного легкомыслия властей, несмотря на все усилия, не выдержит натиска германских войск.

С Февральской революцией 1917 года Федор Измайлович связывал надежды на «подлинно конституционное развитие страны» и «обновление всего правительственного механизма». В начале марта 1917 года он посетил войска Петроградского гарнизона и попытался убедить их «следовать хладнокровию, дисциплине и порядку». Авторитет Родичева в общественных кругах был столь высок, что он был приглашен в состав Временного правительства на пост министра по делам Финляндии, который занимал до начала июля.

Вступление его в должность совпало с драматическими событиями на Балтийском флоте. В Гельсингфорсе взбунтовавшимися матросами были убиты шестьдесят офицеров и командующий флотом вице-адмирал А. И. Непенин. Родичев в сопровождении представителя Петроградского Совета немедленно отбыл в Финляндию с нелегкой миссией восстановления порядка среди матросов и получения гарантий освобождения оставшихся в живых офицеров. Посещая мятежные корабли и говоря до хрипоты, ему удалось убедить матросов прекратить беспорядки и отпустить своих командиров.

Весной и летом 1917 года Родичев на заседаниях ЦК кадетской партии и в публичных выступлениях призывал соотечественников к объединению усилий в борьбе до победы, несмотря на попытки Советов и германской пропаганды подорвать государственную волю России. На VII съезде кадетской партии 26 марта 1917 года Родичев в связи с вступлением в войну США говорил о возможности создания «нового мирово-

го союза свободы». При этом он не видел противоречия между стремлением России к свободе и перспективой овладения русскими войсками черноморскими проливами, что, по мнению Родичева, стало бы для России символом окончательного освобождения славян от турецкого влияния.

Говоря о консолидации военных усилий, Родичев был озабочен пацифистскими настроениями в армии и считал невозможным участие солдат и офицеров в выборах в Учредительное собрание. После неудачного июньского наступления на фронте он уехал в Новочеркасск для организации блока казачества с кадетами на будущих выборах. «Сил ушло много, цели достигнуто не было» — так оценил Родичев результаты поездки на Дон. В августе пессимизм Родичева усилился. Это было связано с неудавшейся попыткой генерала Л. Г. Корнилова склонить на свою сторону армию и противостоять возрастающему влиянию большевиков.

После Октябрьского переворота 1917 года, который Ф. И. Родичев решительно не принял, единственный шанс спасения России виделся ему в созыве Учредительного собрания, где кадеты, сотрудничая с умеренными социалистами, могли бы противостоять диктатуре леворадикальных сил. Однако этим надеждам не суждено было оправдаться: кадетская партия набрала на выборах менее 5 процентов голосов избирателей, утратив тем самым возможность контролировать развитие политического процесса в стране.

В первый же день работы Учредительного собрания большевики арестовали нескольких кадетских лидеров, и вовремя предупрежденному Родичеву чудом удалось избежать участи заключенного в тюрьму М. М. Винавера и убитых А. И. Шингарева и Ф. Ф. Кокошкина. Почти год он оставался в Петрограде, скрываясь на квартирах друзей. В сентябре 1918 года, потеряв надежду на скорое крушение коммунистического режима, он с семьей покинул столицу и переехал на юг России — сначала в Киев, а затем в Ростов-на-Дону, где с группой кадетов стал искать возможности для организации сопротивления большевистской власти. Здесь Родичев принял активное участие в работе ростовского отделения Всероссийского национального центра, объединяющего представителей либерально-демократических и либерально-консервативных партий. Национальный центр был создан для борьбы с Германией и большевизмом и для поддержки Добровольческой армии как основной силы для восстановления «единой и неделимой России».

5 апреля 1919 года на заседании правления Национального центра Родичев утверждал, что военному поражению большевиков и успешному продвижению Добровольческой армии должно сопутствовать снабжение освобожденных областей хлебом, обязательная вспашка и засев полей. При этом он настаивал на необходимости создания соответствующей «организации», которую нужно снабдить посевным материалом и сельскохозяйственными орудиями.

Рассматривая варианты аграрной реформы в России после ожидаемой победы А. И. Деникина, Родичев выступал против принудительного отчуждения земли, которое, по его мнению, может остановить процесс дифференциации земельной собственности. Мерой, которая могла бы способствовать утверждению принципа частной собственности и принести государству значительный доход, Родичев считал введение прогрессивного земельного налога.

Весной 1919 года для установления тесной связи с границей, борьбы с агитационной работой большевиков и осведомления союзников о положении дел в России правление Национального центра поручило Родичеву посетить Грецию, Сербию, Чехию и Польшу. Тогда же ему было поручено организовать постоянное политическое представительство России в Константинополе, где обсуждались бы вопросы помощи армии со стороны союзников.

После поражения Добровольческой армии деятельность Национального центра прекратилась, и Родичев продолжил работу уже за пределами России. С начала 1920 года он участвует в восстановлении партийных организаций кадетской партии в Париже, где ее лидеры тогда определяли курс на организацию партийных центров в европейских столицах под лозунгом борьбы с большевизмом. В те месяцы кадеты активно стремились к расширению поля своей политической деятельности на территории, контролируемой генералом П. Н. Врангелем, который, со своей стороны, активно искал поддержки в среде российской эмиграции. В июне 1920 года Врангель предложил Родичеву занять пост дипломатического представителя русской армии в Варшаве. Тот, приняв предложение, отправился в Польшу, где вел переговоры, выступал с докладами о политической обстановке в Советской России. После поездки в Польшу Родичев сделал вывод, что польское правительство может стать не только активным союзником в борьбе с большевизмом, но и способствовать восстановлению в России конституционного порядка и реализации либеральных политических проектов.

На совещании членов Учредительного собрания в Париже в январе 1921 года Родичев поддержал идею сохранения русской армии как единственного оплота в борьбе с большевизмом. Поражение Белого движения, отсутствие единства между единомышленниками, неясность будущего — все это удручающе действовало на Родичева. Его соратница по кадетской партии А. В. Тыркова, находясь под впечатлением последних кадетских собраний, записала в своем дневнике: «Что такое кадетская партия сейчас? Нужна ли она? Ошибок и грехов много на наших душах. А как их искупить или поправить?..»

Ответы на эти и многие другие вопросы Ф. И. Родичеву, как и другим кадетам, пришлось искать на чужбине. С 1922 года и до смерти в феврале 1934-го он с женой жил в Лозанне. Владевший до революции тремя тысячами десятин земли, известный политический деятель, Родичев испытывал большие материальные трудности за границей и жил, по сути, на пособие швейцарского Красного Креста и пожертвования друзей. В начале 30-х годов он уже потерял надежду на возвращение в Россию и не принимал участия в общественно-политической жизни русской эмиграции. В письме к Н. Н. Астрову в декабре 1930 года он написал: «Надо признать, что карта наша бита и будет ли новый розыгрыш когда-либо? Но есть сознание, что мы были на верном пути...»

ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ ШАХОВСКОЙ:
*«Мы хотим дать людям возможность
не служить тому, что они признают
за зло...»*

ВАЛЕНТИН ШЕЛОХАЕВ

Один из лидеров русского либерального движения конца XIX — начала XX века — князь Дмитрий Иванович Шаховской родился в 1862 году в Москве. Его дед, Федор Петрович Шаховской, активный участник движения декабристов, был сослан в Туруханский край, где, не выдержав тяжелых испытаний, заболел психическим расстройством. Бабушка, Наталья Дмитриевна, урожденная княжна Щербатова, была родной теткой известного философа П. Я. Чаадаева. Отец, Иван Федорович, дослужился до чина генерала от инфантерии. Мать, Екатерина Святославовна, происходившая из незнатного польского рода Бержанских, умерла рано.

С четырехлетнего возраста Дмитрий и его младший брат Сергей жили в Варшаве, по месту службы отца. На лето родители вывозили детей в родовое имение князей Щербатовых в Серпуховском уезде Московской губернии, где жили бабушка и ее сестра Елизавета Дмитриевна. Из их рассказов Дмитрий узнал о трагической судьбе деда-декабриста, об оппозиционных настроениях, царивших в доме известного историка князя М. М. Щербатова, о философских исканиях П. Я. Чаадаева, творчеству которого он впоследствии посвятит ряд своих исследований.

В 1880 году восемнадцатилетний Дмитрий окончил 6-ю Варшавскую гимназию и поступил на историко-филологический факультет Московского университета, где слушал блестящие лекции В. О. Ключевского, С. А. Муромцева, Н. С. Тихонравова. После царевубийства 1 марта 1881 года ситуация в Московском университете изменилась: участились столкновения с начальством, споры с профессорами, студенческие сходки. На одной из них был арестован и Шаховской, вынужденный провести одну ночь в Бутырской тюрьме.

В 1882 году Дмитрий перевелся в Петербургский университет, где училось много его друзей и знакомых по Варшавской гимназии. Он сразу же вошел в так называемый «ольденбургский кружок», ставший позднее ядром студенческого «Братства». На первых порах кружок, в который входили Ф. Ф. и С. Ф. Ольденбурги, В. И. Вернадский, И. М. Гревс и А. А. Корнилов, сознательно сторонился политической деятельности и ставил перед собой задачу «объединить идеалистическое студенчество около научной работы», противопоставив ее, с одной стороны, карьеризму, а с другой — «преждевременному политиканству и революционерству».

В мае 1884 года по инициативе Дмитрия Шаховского начал действовать кружок народной литературы. Его участники занимались, во-первых, переработкой литературных произведений (например, «Мучеников» Шатобриана или «Айвенго» Вальтера Скотта), стремясь сделать их доступными малограмотному народу, а во-вторых, закупили популярные книги и брошюры и бесплатно рассылали их по деревням.

Особое влияние на молодого Дмитрия Шаховского оказали нравственные принципы Льва Толстого. Он неоднократно посещал писателя в Ясной Поляне и Хамовни-

ках в Москве. Известно, что и сам Толстой с особым вниманием относился к Шаховскому. Разъясняя причины своего увлечения толстовством, Дмитрий Иванович позднее писал: «Толстой увлекал нас своим радикализмом („так жить нельзя“ — ведь это первый наш тезис) и всенародностью, демократизмом, осмысливанием опрощенства, подведением нравственной основы под требования политического и социального обновления».

В 1885 году в Петербурге на квартире либерала К. Д. Кавелина состоялась встреча Шаховского с видными тверскими земцами Федором Родичевым и братьями Корсаковыми, многое решившая в его судьбе. Вспоминая об этой встрече, Родичев позднее писал: «Молодой, застенчивый, с наивным внимательным взглядом, Шаховской проповедовал учение Льва Толстого, аскетизм, самопожертвование, любовь. К политике он был равнодушен и собирался идти в учителя русского языка. Он горел жаждой подвига... Я соблазнил его: „Вместо учительства в гимназии поезжайте заведовать народными школами, ваше дело будет и административным, и педагогическим. Вы будете помогать учителям в преподавании, будете связью между ними. Это подлинное дело в пользу народа, то непосредственное знакомство с его нуждами, о котором вы мечтаете“».

Шаховской принял предложение Родичева и три с половиной года работал его помощником по училищной части в Весьегонском уезде Тверской губернии. Одновременно он исполнял обязанности заведующего хозяйственной частью земских школ. Шаховской намеревался реализовать на практике идеи студенческого «Братства» — поднять духовный и культурный уровень сельской интеллигенции, чтобы с ее помощью подойти к крестьянским массам. Поэтому его интересовали не только чисто хозяйственные проблемы земских школ (финансы, дрова, керосин), но прежде всего установление тесных личных контактов с земской интеллигенцией. Он часто беседовал с учителями, снабжал их популярными брошюрами демократического характера, комплектовал на свои средства народные библиотечки и передавал их для распространения среди крестьян. Не случайно с 1887 года Департамент полиции установил за Шаховским негласное наблюдение и настойчиво рекомендовал губернским властям побыстрее избавиться от «неблагонадежного элемента».

В 1889 году, после смерти управляющего имениями отца, Дмитрий Иванович вынужден был переехать в Ярославскую губернию, где ему пришлось взять на себя распоряжение двумя большими имениями с «совершенно запутанными делами». Однако вскоре он решил продать их, оставив себе в пределах Михайловского лишь 367 десятин земли, необходимых для получения избирательного земского ценза. Немалую роль в продаже имений сыграло и то, что молодой князь не хотел, чтобы его дети выросли «барчуками» и «впитали» в себя «вредный помещичий дух». В одном из писем своему другу Ф. Ф. Ольденбургу он писал: «Высшая моя мечта — чтоб сын мог сказать рабочим, народу: „Я такой же работник, как и вы“, и чтобы они его поняли и согласились с ним, и признали его своим...»

В 1889–1890 годах Шаховской в письмах друзьям четко и определенно формулировал свои мировоззренческие позиции: «Мы демократы. Мы желаем полной равноправности. Мы стремимся к возможно полному и всестороннему развитию личности. Мы хотим свободы — не только в правительственных учреждениях, а и в сознании людей, мы хотим дать им возможность не служить тому, что они признают за зло. Мы хотим братства всех людей и полного их взаимного понимания. Мы не хотим взнуздывать зверя — народ, но не хотим и того, чтобы он разрушил наши музеи и сжег наши книги. Мы хотим быть смелыми и сильными. А для этого мы должны по возможности сами трудиться и побуждать детей участвовать в том великом человеческом труде, который направлен на добычу предметов первой необходимости».

Шаховской указывал на необходимость разработки конкретной политической программы. По его мнению, следует поддерживать и пропагандировать идею созыва Земского собора, разделения властей и провозглашение «прав всякого гражданина, и прав не только политических, но и социальных». Шаховской пытался синтезировать в единое целое идеи западного либерализма и славянофилов, постоянно выделяя в них социокультурную и нравственно-этическую составляющие. «И у славянофилов, — писал он в автобиографии, — я находил родственные нотки. Я у них искал доводов в защиту начал народности... Земство рисовалось мне практическим путем к осуществлению двух самых дорогих мне начал в общественной жизни: свободы и народности». Не случайно идеи и образ действий Шаховского неизменно получали поддержку в самых широких как либеральных, так и социалистических кругах российской интеллигенции, а сам он стал связующим звеном между либералами и умеренными социалистами.

Приобретенный опыт земской работы в Тверской губернии Шаховской преумножил на посту гласного Ярославского уездного (1889), а затем и губернского земства (1895). Он входил в состав различных земских комиссий, являлся членом уездного училищного совета, Общества для содействия народному образованию, уездной архивной комиссии; был соредактором газеты «Северный край», активно сотрудничал в газете «Вестник Ярославского земства». По данным Департамента полиции, в 1894 году Шаховской учредил на собственные средства в Ярославском уезде библиотеку для крестьян, снабжал книгами местные сельские школы. В 1895 году он подготовил и издал «Записку гласного Ярославского уездного земского собрания князя Д. И. Шаховского о школьном деле в уезде», в которой проводилась мысль о необходимости введения в России всеобщего образования. Несколько позднее, в 1902 году, под его редакцией в Москве был издан сборник статей «Всеобщее образование в России».

В начале 1890-х годов общественная деятельность Шаховского вышла за рамки Ярославской губернии и приобрела общероссийский масштаб. В 1891–1892 годах он вместе с Ф. Ф. и С. Ф. Ольденбургскими и В. И. Вернадским активно участвовал в борьбе с голодом в Самарской губернии, установил связи со многими видными земскими общественными деятелями, в частности с Д. Н. Шиповым, братьями Павлом и Петром Долгоруковыми. Легко сходясь с людьми разного возраста и социального положения, Дмитрий Иванович взял на себя чрезвычайную важную функцию «собирателя» всех демократических оппозиционных сил. «Его главным талантом, — вспоминала А. В. Тыркова, — было привлекать и объединять людей... Он не боялся разнообразия характеров, допускал разные оттенки во взглядах». Шаховской постоянно находился в разъездах по России и за границей, организуя нелегальные и легальные акции. Недаром он получил кличку «летучий голландец».

В 1890-х годах Дмитрий Иванович активно работал в Вольном экономическом обществе; участвовал и в заседаниях полулегального аристократического кружка «Беседа», где вместе с князем Петром Долгоруковым подготовил и издал сборники «Крестьянский строй» и «Мелкая земская единица»; выступал за объединение в оппозиционных акциях земских гласных и служащих. По его инициативе во время неоднократных выездов за границу были установлены связи с Фондом вольной русской прессы. Под псевдонимом *С. Мирный* Шаховской издал в Женеве в 1896 году свои брошюры «Адреса земств 1894–1895 годов и их политическая программа», «Ходынка», «Царские милости». Он одним из первых выступил за создание нелегального печатного органа либерального направления за границей, став затем наиболее активным организатором, финансистом и транспортировщиком журнала «Освобождение», издававшегося Петром Струве в Германии.

Дмитрий Иванович являлся инициатором создания и одним из руководителей двух либеральных политических организаций — «Союза освобождения» (избран чле-

ном совета и секретарем «Союза») и «Союза земцев-конституционалистов (член организационного бюро общеземских съездов). На учредительном съезде «Союза освобождения» (январь 1904 года) он выступил с докладом о тактике будущей Конституционно-демократической партии. Идеи доклада легли потом в основу его программной статьи «Задачи конституционной партии в данный момент», опубликованной в июне 1904 года в журнале «Освобождение». На II съезде «Союза освобождения» (октябрь 1904-го) Шаховской сделал доклад «О составе и силах союза», в котором развивал идеи объединения либеральных земцев с демократической интеллигенцией. Он принимал участие в разработке программных документов ноябрьского общеземского съезда, последовательно высказываясь за немедленное осуществление гражданских и политических прав и свобод, за созыв законодательного народного представительства на основе всеобщего избирательного права.

Начавшуюся первую русскую революцию Д. И. Шаховской встретил с энтузиазмом, считая, что она приведет к уничтожению ненавистного авторитарного режима, установлению в стране демократических порядков и осуществлению радикальных социальных реформ. На июльском земско-городском съезде 1905 года Дмитрий Иванович был избран в состав делегации, передавшей Николаю II земский адрес с требованиями скорейшего созыва законодательного народного представительства.

Будучи секретарем комиссии из сорока человек, в которую вошли по 20 представителей из «Союза освобождения» и «Союза земцев-конституционалистов», Шаховской сыграл принципиально важную роль в подготовке учредительного съезда Конституционно-демократической партии и разработке ее основополагающих программных, уставных и тактических документов. Съезд, проходивший 12–18 октября 1905 года в Москве, избрал Шаховского в состав Центрального комитета.

На протяжении всей деятельности кадетской партии в России князь Шаховской будет занимать ключевые посты в ЦК: товарища председателя и секретаря ЦК, председателя и члена многих важнейших комиссий. Учитывая огромные организаторские способности Шаховского, его широкие связи в земской и интеллигентской среде, а также многочисленные контакты с представителями профессионально-политических организаций и профессиональных союзов интеллигенции и служащих (адвокатов, врачей, почтово-телеграфных и железнодорожных служащих, приказчиков), ЦК партии поручал Шаховскому выполнение самых сложных и ответственных поручений. Совершая «челночные» поездки по различным губернским и уездным городам России, он участвовал в формировании губернских, городских, уездных и сельских комитетов кадетской партии. Одновременно на него возлагалась обязанность поддерживать и развивать связи между руководством партии и провинциальными комитетами, обеспечивать регулярную информацию последних о принятых на съездах, конференциях и заседаниях ЦК партии решениях, разрешать возникающие конфликтные ситуации. Кроме того, Шаховской занимался налаживанием партийной печати, являлся инициатором создания Бюро печати и постоянным сотрудником книгоиздательства «Народное право». По инициативе Шаховского и при его содействии в 1906–1907 годах издавались партийные газеты «Народная свобода», «Думский листок», «Сельская газета» и другие. Он занимался также вопросами финансового обеспечения партии и организацией ее общественной деятельности, поддерживая постоянные связи с широкими внепартийными кругами демократической интеллигенции.

Один из лидеров кадетской партии — князь Д. И. Шаховской был избран депутатом I Государственной думы (от Ярославской губернии). 380 голосами из 406 его избрали секретарем Думы. И на этом ответственном посту он проявил себя талантливым организатором, сумев в короткий срок наладить работу думской канцелярии, создав тем самым для следующих Дум «деловую рамку». Несмотря на свои обширные секре-

тарские обязанности, Шаховской активно участвовал в думских дебатах. 3 мая он, в частности, заявил: «Мы можем написать какие угодно законы, но если министров Думе не подчиним, то мы ничего не сделаем, а страна нам этого не простит. Подчиним министров Думе — только в этом наша задача, в этом главная потребность страны».

После роспуска I Думы Шаховской в составе кадетской фракции отправился в Выборг, где в гостинице «Бельведер» было принято знаменитое воззвание с призывом к акциям гражданского неповиновения. В ожидании суда над депутатами-перводумцами Шаховской продолжал нести на своих плечах значительный груз партийной работы, выполняя обязанности товарища (заместителя) председателя ЦК, председателя Исполнительной комиссии, неоднократно выезжая с организационными целями в различные регионы страны.

12–18 декабря 1907 года подписавшие Выборгское воззвание депутаты I Думы, в их числе и князь Шаховской, были приговорены Петербургской судебной палатой к трехмесячному одиночному тюремному заключению с последующим лишением права быть избранными не только в Государственную думу, но и в органы местного самоуправления. Дмитрий Иванович отбывал наказание в одиночной камере Ярославской губернской тюрьмы.

В дальнейшем он снова сосредоточился на партийной работе, а свободное время проводил в Петербургской публичной библиотеке и Румянцевском музее в Москве, где занимался сбором материала о своих выдающихся предках — историке М. М. Щербатове и философе П. Я. Чаадаеве. В ЦК кадетов Дмитрий Иванович последовательно отстаивал линию на демократизацию партии, расширение и углубление внепарламентской деятельности, сохраняя веру в неизбежность конституционного развития страны, обновления всего правительственного механизма. Он являлся членом бюро по организации работ законодательной комиссии в III Государственной думе, большое внимание уделял разработке пакета законопроектов, направленных на коренное преобразование России. На заседаниях ЦК он неизменно выступал за расширение «социального базиса» кадетской партии, привлечение на ее сторону рабочих, крестьян, ремесленников, торгово-промышленных служащих. С этой целью он считал необходимым подготовить издание партийного справочника по типу словарей, издаваемых крупнейшими западноевропейскими партиями, что, по его мнению, позволило бы дать всестороннее представление о социально-политическом облике и разносторонней деятельности кадетов, создать при ЦК специальное справочное бюро для получения оперативной информации обо всех сторонах общественно-политической и партийной жизни страны, активизировать деятельность партии в профессиональном движении и тому подобное.

Большое внимание Шаховской уделял участию кадетской партии в организации кооперативного движения, с которым он связывал свою давнюю мечту о «всеобщем единении», солидарности и социальной справедливости. Вопреки предубеждению, что в пролетарской среде могут иметь успех только социалисты, Дмитрий Иванович полагал, что через кооперативы либералы смогут эффективно взаимодействовать с рабочими.

В годы Первой мировой войны по инициативе Шаховского и на его средства в Москве в 1914 году некоторое время издавалась газета «Защита», которую кадеты предлагали превратить в народное издание. В газете и на заседаниях ЦК Дмитрий Иванович последовательно выступал за доведение войны до победного конца, за мобилизацию сил для обеспечения фронта всем необходимым, за консолидацию либеральных и демократических сил. Особенно ярко патриотическая и гражданская позиция Шаховского проявилась летом 1915 года, когда встал вопрос о необходимости создания в Государственной думе Прогрессивного блока и переходе либералов в оппозицию

правительству, обнаружившему к тому времени полную неспособность управлять страной в экстремальной ситуации. Выступая 16 июня 1915 года на заседании ЦК, Шаховской огласил обширную программу деятельности кадетской партии в условиях военного времени. Она включала в себя создание ответственного перед Думой правительства; смену губернаторов; распространение системы органов местного самоуправления на Сибирь и Кавказ; подготовку законов о кооперативах и о труде; преобразование Государственного контроля и создание комиссии для расследования должностных преступлений лиц, повинных в нехватке снарядов. На заседаниях ЦК в июле–августе 1915 года Шаховской выступил за немедленную смену правительства («надо все министерство выкинуть вон»). Получив поддержку в широких кругах демократической общественности, Шаховской уже в феврале 1916 года еще более радикализировал свою позицию, объявив о том, что «кадетам нужна полнота власти».

Февральскую революцию 1917 года Дмитрий Иванович встретил восторженно. В начале марта он был избран членом исполкома Московского комитета общественных организаций. Авторитет Шаховского в широких общественных кругах был столь высок, что он был приглашен в состав Временного правительства на пост министра государственного призрения. Эту нелегкую обязанность Дмитрий Иванович исполнял в течение почти двух месяцев (с 5 мая по 2 июля). Однако, подчиняясь указаниям ЦК кадетской партии, он покинул этот пост, полагая нецелесообразным свое участие в коалиционном правительстве Керенского.

Шаховской участвовал в работе четырех съездов кадетской партии, выступая с программными докладами. Так, на VII съезде кадетов (25–28 марта) Шаховской сделал доклад о тактике, отстаивая необходимость сотрудничества кадетов с умеренными элементами социалистических партий, которые, как он полагал, должны оказать поддержку Временному правительству; одновременно он призывал к решительной и последовательной борьбе против экстремистски настроенных элементов, провоцирующих всякого рода эксцессы, а также к усилению организационной и агитационно-пропагандистской деятельности среди широких масс.

Однако по мере обострения политической ситуации в стране и разочарования в возможности согласования позиций либералов и социалистов Шаховской вынужден был сосредоточить свои взгляды на перспективах развития политического процесса в стране. На майском (VIII) съезде кадетской партии он внес предложение добиваться от Временного правительства создания альтернативного Учредительному собранию авторитетного органа власти, который должен состоять из членов I–IV Государственных дум (предложение не было поддержано съездом). В середине июня Шаховской вместе с министрами А. И. Шингаревым и А. А. Мануйловым выступил за отсрочку проведения выборов в Учредительное собрание. Шаховской считал, что в политической обстановке, сложившейся в стране после неудачного июньского наступления на фронте, торопиться с созывом Учредительного собрания, от решения которого будет зависеть дальнейшая судьба России, не следует. Его прогнозы относительно Учредительного собрания подтвердились в полной мере: кадетская партия набрала на выборах лишь 4,5 процента голосов избирателей, утратив тем самым реальную возможность контролировать развитие политического процесса в стране. Не оправдались и надежды на сотрудничество с умеренными социалистическими элементами, оказавшимися раздробленными и в конечном счете размолотыми леворадикальными и экстремистски настроенными силами. Ставка на умеренность в решении жизненно важных проблем в условиях политической поляризации 1917 года оказалась неоправданна.

Октябрьский переворот Шаховской не только не принял, но и попытался организовать сопротивление большевикам в Москве. 27 октября он сделал ряд резких заявлений в их адрес на заседании Московской городской думы. По его инициативе 6 нояб-

ря лидеры московского кооперативного движения приняли резолюцию, осуждавшую захват власти большевиками. 24 и 28 января 1918 года на заседании Московского отделения ЦК кадетской партии были рассмотрены тезисы доклада Шаховского, предлагавшего немедленно начать «действенную борьбу с большевизмом», создать для этого «достаточно мощную, связанную с партией, физическую силу», «войти в систематические сношения с державами-союзниками».

Реализуя намеченную программу борьбы с большевиками, Шаховской явился одним из инициаторов создания в 1918–1919 годах «Союза возрождения России» и Всероссийского национального центра. Он регулярно участвовал в заседаниях ЦК кадетов, проводившихся в партийном клубе в Брюсовом переулке, а после арестов и закрытия клуба — на квартире Д. Д. Протопопова в Большом Афанасьевском переулке. В феврале 1920 года Шаховской был арестован ВЧК по делу «Тактического центра». Однако в распоряжении чекистов не оказалось каких-либо улик, и он был вскоре освобожден под подписку о невыезде.

В начале 1920-х годов князь Шаховской постепенно отошел от активной политической деятельности. Он продолжал работать в кооперации, занимался литературным трудом, активно включился в краеведческую работу. В 1930 году Д. И. Шаховской вышел на пенсию по инвалидности. Однако и это скудное содержание в размере 75 рублей в месяц вскоре решили отобрать. Судя по письмам Дмитрия Ивановича, его случайный литературный заработок, составлявший не более 200 рублей в год, также оказался под угрозой. Ему приходилось буквально на каждом шагу сталкиваться с множеством проволочек, затягиванием сроков заключения договоров и выхода его работ.

Начиная с 1932 года в письмах к близким друзьям Дмитрий Иванович все чаще и чаще жаловался на состояние здоровья. Однако он продолжал посещать Румянцевский музей, ездил в Ленинград, где работал над архивными материалами по истории декабризма и биографией П. Я. Чаадаева. Шаховской живо интересовался текущей общественно-политической жизнью, состоянием академической науки. В письме к В. И. Вернадскому от 17 марта 1937 года он подчеркивал, что «без победы культурной завоевания революции не могут быть прочными».

Политическая атмосфера в стране 1930-х годов действовала на Шаховского удручающе. В письме И. М. Гревсу от 24 апреля 1938 года он писал: «Приходится уйти в себя и быть молчаливым свидетелем происходящего вокруг». Но это не помогло. В ночь с 26 на 27 июля 1938 года в квартире Шаховского (Зубовский бульвар, 15, 23) был произведен обыск, а сам он арестован (ордер на арест № 554 подписал Ежов). В ходе обыска был конфискован семейный архив; через несколько дней вывезены остальные вещи, и квартиру заняли другие жильцы. Арестованный Шаховской был конвоирован по внутреннюю тюрьму НКВД на Лубянке, где находился почти месяц без предъявления официального обвинения. По сохранившимся свидетельствам людей, сидевших вместе с Шаховским в тюрьме, Дмитрия Ивановича многократно допрашивали, сутками заставляли 76-летнего старика стоять без сна. Под давлением следователей 15 августа 1938 года князь Шаховской написал заявление, в котором, не назвав никого из единомышленников, лично себя признал виновным в контрреволюционной деятельности и в том, что на протяжении ряда лет вел борьбу с советской властью. Лубянские следователи, решив, что дело сделано, отправили Шаховского в Бутырскую тюрьму, где было продолжено уже официальное следствие.

В деле Шаховского сохранились протоколы допросов, которые проводились в любое время суток и продолжались вплоть до 3 ноября 1938 года. Однако и они не дали следователям ожидаемого результата. Дело в том, что Шаховской признавал свое участие в нелегальной деятельности ЦК кадетской партии с 1917 по 1922 год, но категорически отказывался давать какие-либо показания о контрреволюционной деятельности

в дальнейшие годы о других участниках нелегальных кадетских организаций. 2 ноября 1938 года ему было официально предъявлено обвинение по статье 58 (пункты 3, 6, 8, 11, 17) УК РСФСР. Начались новые допросы, теперь уже в Лефортовской тюрьме.

Попытку облегчить участь своего товарища предпринял академик В. И. Вернадский. 17 декабря 1938 года он обратился с письмом к Вышинскому с просьбой о встрече, намереваясь переговорить о судьбе «дорогого друга Дмитрия Ивановича Шаховского, одного из благороднейших и морально высоких людей, с которыми я встречался в своей долгой жизни». 20 декабря 1938 года эта встреча Вернадского с Вышинским состоялась, но не дала видимых результатов.

20 февраля 1939 года следствие было завершено. В обвинительном заключении говорилось, что Шаховской являлся участником «антисоветской террористической организации, ставившей себе целью свержение Советской властью и восстановление капитализма при помощи интервенции фашистских стран, а также подготовляющей террористические акты против руководителей партии и правительства». В середине апреля 1939 года под председательством Ульриха состоялось заседание Военной коллегии Верховного суда СССР, на котором было принято решение заслушать дело Шаховского в закрытом судебном заседании без участия защиты и без вызова свидетелей. 14 апреля Дмитрий Иванович Шаховской был приговорен к расстрелу, а на следующий день приговор привели в исполнение (по одним данным, на полигоне в Бутове, по другим — в Коммунарке).

О расстреле Шаховского не знали ни родные, ни друзья. Дочери, Анне Дмитриевне, сообщили, что ее отец осужден на «десять лет без права переписки» и отправлен в «дальние лагеря». Сохранялась надежда, что Дмитрий Иванович жив. В июле 1939 года Вернадский направил еще одно письмо Вышинскому, однако на сей раз тот отказал во встрече. В мае 1940 года Вернадский обратился с письмом к Берии: «Я дружен с Дмитрием Ивановичем почти шестьдесят лет — все время мы прожили друг с другом душа в душу, находясь в непрерывном, *ни разу* не нарушенном, идейном общении... Д. И. Шаховской — один из самых замечательных людей нашей страны — глубокий, широкого образования, искренний и морально честный демократ... Мне семьдесят семь лет — я знаю по своему, как хрупка организация стариков в зависимости от внешних условий жизни. Выдержал ли испытание организм Дмитрия Ивановича?.. Здоров ли Дмитрий Иванович Шаховской?.. Очень прошу Вас ответить мне». К письму для передачи Шаховскому в «дальний лагерь» прилагались две брошюры Вернадского, а также небольшая записка: «Мой дорогой, бесконечно любимый друг Митя, надеюсь, что эта записка и две мои брошюры дойдут до тебя. Ни на минуту не забываю тебя...» В ответ академику Вернадскому 11 июня 1940 года было сообщено, что Шаховской в конце января 1940 года, «находясь в одном из лагерей НКВД, умер...». При этом на письменные запросы дочери по официальным каналам продолжали приходиться подтверждения, что Дмитрий Иванович жив и находится в лагере. И лишь 19 октября 1940 года семья Шаховских получила официальное извещение, в котором говорилось: «Шаховской Д.И., 1862, умер в лагере 25.1.1940 года. Причина смерти — эндокардит (паралич сердца)».

9 июля 1957 года Верховный суд СССР отменил приговор Военной коллегии Верховного суда СССР от 14 апреля 1939 года в отношении Д. И. Шаховского и прекратил дело за отсутствием состава преступления. Однако подлинная дата и обстоятельства смерти Д. И. Шаховского стали известны лишь в 1991 году, спустя тридцать четыре года после реабилитации.

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПОСНИКОВ:
*«С уничтожением гражданского бесправия
откроется целый ряд возможностей
быстро поднять производительность
земли...»*

НИНА ХАЙЛОВА

Среди ярких имен, незаслуженно канувших в Лету, — имя Александра Сергеевича Посникова (1846–1922), ученого-экономиста, признанного знатока русской деревни, неутомимого общественного деятеля, одного из идеологов «умеренно прогрессивного» (центристского) течения, утверждавшегося в начале XX века между крайностями октябристской и кадетской разновидностей русского либерализма. Это направление в освободительном движении, более известное как «прогрессизм», свидетельствует о своеобразии русской либеральной традиции. Национальную окраску русскому либерализму придавала, в частности, ориентация его приверженцев на ценностно-рациональный тип поведения, стремление к жертвенному служению народу, миру вообще. Идеология «русского прогрессизма» имела ярко выраженную социальную окраску.

А. С. Посников происходил из семьи дворян-помещиков среднего достатка. Детство его прошло в деревенской тиши, в родовом имении под Вязьмой. В 1862 году, по окончании смоленской гимназии, он поступил на юридический факультет Московского университета и сразу оказался вовлеченным в общественный водоворот. В обстановке всеобщего подъема периода Великих реформ Александр, как и многие в ту пору, всерьез увлекся идеей коренного переустройства России. Движимый стремлением к познанию жизни «изнутри», он оставил на время студенческую скамью и в качестве землемера занялся межеванием наделов в деревне, внося свой посильный вклад в осуществление крестьянской реформы. Преобразования, начатые Александром II, нашли горячий отклик в душе юноши, раз и навсегда определив главную линию его жизни — защиту интересов трудового народа и, прежде всего, прав и интересов русского крестьянина. В этом отношении, по меткому замечанию одного из современников, Посников в полном смысле слова «однодум». Своей идее он служил всеми доступными для него способами на самых разнообразных общественных поприщах: в качестве землемера и мирового судьи, предводителя дворянства и земского статистика, сельского хозяина и публициста, профессора и депутата Государственной думы.

В 1869 году, по окончании учебы, Посников не сразу покинул стены Московского университета. Он продолжил образование на кафедре политической экономии, куда был приглашен по рекомендации профессора И. К. Бабста, обратившего внимание на серьезный интерес студента-юриста к вопросам народного хозяйства. Тогда же состоялась первая заграничная командировка молодого исследователя. Посникову и впоследствии неоднократно приходилось бывать за рубежом. Обогащая теоретические познания живыми впечатлениями при знакомстве с общественным устройством европейских стран и особенностями их хозяйственного уклада, прежде всего — земледельческого, он постоянно размышлял о необходимости продолжения реформ в своем Отечестве. Раз от разу крепла также его уверенность в том, что из западного опыта подходит для России, а что не подходит вовсе...

Уже в начале 1870-х имя Посникова становится известно научной общественности. В 1871 году он опубликовал и с успехом защитил свой первый труд «Начала поземельного кредита». Тогда же началась и его преподавательская деятельность ученого, продолжавшаяся с перерывами до конца его жизни и высветившая его несомненный талант просветителя и организатора высшего образования. По приглашению директора ярославского Демидовского юридического лицея профессора М. Н. Капустина Александр Сергеевич стал доцентом кафедры политэкономии. Воспользовавшись предоставленной ему возможностью, некоторое время он работал в Германии, Англии, Франции, не прерывая, однако, и за границей плодотворного общения с коллегами. Незадолго до возвращения в Россию Посников и его сверстники-единомышленники Н. И. Зибер, В. М. Соболевский, А. И. Чупров встретились в немецком городе Гейдельберге с целью согласовать основные направления предстоявшей им на родине академической и литературно-общественной деятельности. Фактически тогда ими была выработана программа широких демократических преобразований в народном хозяйстве и общественно-политическом строе России. Характеризуя сущность принятых в Гейдельберге решений, В. А. Розенберг, близкий к кружку «реформаторов», замечал: «Общий склад экономических воззрений этой группы молодых ученых, испытавших на себе влияние К. Маркса и К. И. Родбертус-Ягцова... сближал их программу реформ с теми, которые диктовались социалистически-народническими настроениями молодежи того времени, но, в отличие от нашего раннего народничества, участники гейдельбергского съезда признавали уже и тогда, что главный рычаг демократического и социального обновления страны — политическая свобода, и были убежденными конституционалистами». По указанию шефа корпуса жандармов графа П. А. Шувалова и министра народного просвещения графа Д. А. Толстого в отношении участников «съезда» начали расследование. Только благодаря заступничеству М. Н. Капустина и известного ученого Е. И. Якушкина, имевших связи во влиятельных кругах, для молодых ученых все закончилось благополучно.

По возвращении в Россию Александр Сергеевич завершил и опубликовал труд «Общинное землевладение». Примечательно, что каждый значительный шаг его академической карьеры всегда становился своего рода политическим событием. Эта книга стала поворотным пунктом в многолетней дискуссии сторонников и противников общинной формы землепользования. Посников стал первым исследователем, которому удалось освободить сам предмет дискуссии от славянофильского, а также утопически-социалистического «тумана» и впервые поставить вопрос о русской общине на научную почву как экономическую проблему, при этом значительно ослабив доводы противников общинного землеустройства. Первая часть книги послужила основой для его магистерской (1875), а вторая часть — докторской (1878) диссертации. В овуациях, которыми, по свидетельству прессы, сопровождалась докторская защита, Н. К. Михайловский увидел «залог сближения между наукой и жизнью».

Еще в 1870-х годах Посников пришел к выводу об основах проведения в России аграрной реформы. Он писал: «С устранением земельной тесноты, задавившей крестьянское хозяйство, и вместе с уничтожением гражданского бесправия крестьян откроется целый ряд возможностей быстро поднять производительность земли, изменить первобытную систему хозяйства и увеличить доходность крестьянского земледелия, составляющего у нас, в России, основу благосостояния всей страны. Перед этой великой задачей должны исчезнуть все второстепенные соображения, основывающиеся или на предрассудках, или на эгоистических вожделениях». Эта мысль всецело определила русло научной и общественной деятельности Посникова на протяжении последующих десятилетий.

В работе над аграрным вопросом ученый опирался на обширные материалы, сопоставляя общинное хозяйство России с фермерским (на примере Англии и других стран). Он считал, что организация различных кооперативов и товариществ на базе общинного землевладения способна придать крестьянскому хозяйству все преимущества крупного производства. Свои взгляды о наиболее перспективных формах хозяйствования в России, начиная с 1869 года, Посников развивал на страницах «Русских ведомостей». В этой газете появлялись и другие статьи за его подписью: о рабочих артелях (ассоциациях), о целесообразности их государственного кредитования.

Натура Посникова-либерала, горячего патриота, стремившегося послужить процветанию России, определила круг его научных интересов, постоянно побуждала к активной деятельности в публицистике и сфере народного образования. С 1873 по 1876 год он читал курс политэкономии в Демидовском лицее, а затем, в качестве доктора и профессора, — в Новороссийском университете в Одессе. Сверх учебной программы Александр Сергеевич организовал практикум по политэкономии и статистике. Это был один из первых опытов проведения семинарских занятий в системе российской высшей школы. Лекции Посникова пользовались в студенческой аудитории огромной популярностью. Его ученики — М. Я. Герценштейн, А. А. Мануйлов, Г. Б. Иоллос — стали впоследствии известными учеными и не менее известными политиками-либералами. Посников был фактическим лидером прогрессивной одесской профессуры и, по свидетельству Департамента полиции, входил в число «политически неблагонадежных». Неудивительно, что крушение его профессорской карьеры произошло одновременно с крушением университетской автономии. В середине 1882 года Александр Сергеевич, до последнего отстаивавший основные принципы университетского устава 1863-го, вынужден был оставить преподавание.

Однако, занимаясь с 1882 по 1886 год хозяйством в своем имении, ученый не утратил общественной активности. Ведь ему тогда еще не исполнилось и сорока лет. Он был полон энергии и стремления всеми возможными способами влиять на течение жизни в том направлении, которое представлялось ему наиболее разумным. Пламенный темперамент, отмечавшаяся современниками незаурядная способность Посникова «стягивать» вокруг себя людей сделали свое дело. В этот период он играл заметную роль в качестве земского гласного, вяземского уездного и смоленского губернского предводителя дворянства, почетного мирового судьи, главы местного статистического бюро. Годы, прожитые в провинции, подарили ему новые впечатления, послужившие дополнительным стимулом к поиску оптимального пути реформирования России. Теоретические представления Посникова-экономиста обогатились непосредственным опытом хозяйствования, живыми наблюдениями за жизнью русской деревни.

Конец 1880-х годов стал новым этапом научной и общественно-политической деятельности Посникова, развивавшейся по нарастающей вплоть до революций 1917-го. В 1886–1896 годах он редактировал «Русские ведомости» — одну из старейших и влиятельнейших в России газет либерального направления. Его позиция по проблемам назревших преобразований в стране и, прежде всего, по аграрно-крестьянскому вопросу широкому кругу читателей становилась также известной из публикаций в «Вестнике Европы», «Стране», «Московском еженедельнике», «Народном пути», «Самоуправлении» и других изданиях либерально-демократической направленности. Свидетельством признания публицистического таланта и научных взглядов Посникова служит приглашение его в члены авторского коллектива «Нового энциклопедического словаря Брокгауза–Ефрона».

Непосредственным откликом на запросы жизни явилось основание в Петербурге в 1899 году Политехнического института. Одним из инициаторов его создания и впоследствии — директором, а также деканом экономического отделения (им же организованного) был А. С. Посников.

С научным и общественным авторитетом этого деятеля представители верховной власти вынуждены были считаться. Известно, что всего за несколько месяцев до Манифеста 17 октября 1905 года премьер-министр С. Ю. Витте вел с ним переговоры и даже посоветовал заказать мундир на случай вероятного представления Николаю II в качестве товарища министра.

В конце 1904 года Посникова пригласили к обсуждению вопросов государственной политики в Особом совещании о нуждах сельскохозяйственной промышленности, работа которого проходила в Петербурге с декабря 1904-го по март 1905-го. Одно из наиболее ярких выступлений Посникова «по крестьянскому делу» состоялось на заседании 26 января. В основе его отношения к общине лежало твердое убеждение в том, что «если недопустимы насильственные меры, направленные против общины, то... столь же недопустимо принуждать крестьян оставаться, вопреки их желанию, при общинном землевладении. Нужно предоставить каждому свободу выхода из общины». Однако Александр Сергеевич негативно отнесся к предложенной на рассмотрение Особого совещания правительственной программе «Принципиальные вопросы по крестьянскому делу». Этот документ предусматривал выход из общины без согласия мира с выделением надела в личную собственность. «Досрочный выкуп земли с согласия общества нарушает устойчивость и цельность общественного хозяйства; но выкуп отдельным членом, без согласия общества находящейся в его пользовании земли ведет к прямому разрушению общинного строя» — таково было мнение ученого. «Если мы соглашаемся допустить выдел мирской земли в частную собственность отдельных членов, то такой выдел должен совершаться непременно с ведома и под контролем общества», — настаивал он.

Заметим, что предостережений Посникова тогда не услышали. Лишь позже, в разгар проведения столыпинской аграрной реформы, по сути, те же идеи будет развивать «умеренно прогрессивная» либеральная оппозиция, стремясь хоть как-то ослабить негативные последствия правительственной политики насильственного разрушения общины. Достаточно вспомнить законопроект, внесенный кадетами в аграрную комиссию III Государственной думы, где предусматривались меры по урегулированию на равных правах как положения общины, так и отдельного домохозяина.

Что касается Посникова, то он всегда был уверен, что община никакого препятствия к развитию сельского хозяйства не представляет, а «превращение членов общины в собственников отведенных им наделов действительно никакого благотворного влияния не окажет». На примере Европы и России он показывал, что формы поселения, как правило, — явление культурно-историческое, имеющее корни в бытовом укладе и национальном характере. И утверждал: «Если бы крестьяне убедились в действительной выгоде перехода к односелью, к хуторской системе расселения, то общинная форма владения нисколько не помешала бы этому».

Сравнивая условия крестьянского хозяйства в России и на Западе, Посников доказывал, что такие «пороки» русской деревни, как чересполосица, трехполье, выпас по пару и по жнивью, отсталость техники в обработке земли и т.д., не являются присущими исключительно общинному земледелию. Так, несмотря на чересполосность владений поселян-собственников, юг Германии, например, отличался высокой культурой земледелия, достигающей местами, по словам ученого, «высшей степени совершенства». Конкретные примеры свидетельствовали, что и при общинном землевладении возможно успешное распространение самых разнообразных сельскохозяйственных приемов и систем, повышающих производительность крестьянских хозяйств.

Посников также отмечал некорректность сравнения «высоты производительности хозяйства Северо-Американских Соединенных Штатов с производительностью наших крестьян», а также мелкого крестьянского хозяйства в России — с хозяйством

крупных землевладельцев. «Нас уверяли, что сравнительно малая доходность наших земель — есть результат общинного землевладения. Но разве невысокая доходность сельского хозяйства у нас наблюдается только в сфере крестьянского землевладения; разве сельскохозяйственная техника, обычная при эксплуатации частновладельческих земель, и доходность последних — могут быть уподобляемы, хотя в далекой степи, обычной технике и доходности американских хозяйств? Разве наше частновладельческое хозяйство по количеству добываемого продукта от земли может сравниться с тем, что дает хозяйство в США? Несомненно, что и земли наших частных собственников так же мало производительны сравнительно с землями в Соединенных Штатах, как и земля, принадлежащая крестьянам-общинникам. Отсюда ясно, что причина этой различной производительности лежит не в форме владения землей, а в чем-либо ином».

Ученый не был склонен рассматривать формы собственности как элемент первостепенной важности в общественном устройстве. Стремясь развенчать миф о якобы магической силе частной собственности, он убеждал в том, что собственность коллективная не в меньшей мере способна «обеспечить человеку плоды его труда». Гораздо большее значение он придавал правильной постановке деятельности управленческих структур, народного образования, судебных органов, налоговой, кредитной системы и т.д. Именно эти сферы жизнедеятельности общества должны быть, по мнению Посникова, прежде всего приведены в соответствие с требованиями экономики правового государства. Он предупреждал: «Если мы превратим наших поселян, хозяйничающих в очень тяжелых условиях, в частных собственников и оставим неизменными наши современные условия общественной жизни — то не только не произойдет никакого магического влияния от установления частной собственности, но, я склонен думать, произойдет заметное ухудшение в положении как самих крестьян, так и их хозяйств».

Наглядным подтверждением общественного и научного авторитета Посникова стало избрание его председателем Всероссийского съезда представителей кооперативных учреждений, проходившего в Москве 16–21 апреля 1908 года. Выступая с этой всеобщероссийской трибуны, Александр Сергеевич не уставал повторять о необходимости осторожного, вдумчивого отношения к преобразованиям в аграрной сфере, о недопустимости расшатывания «бытовых форм землевладения». И подчеркивал важность всестороннего учета местных условий, обеспечения законодательной базы деятельности кооперации. Кооперативное движение он расценивал как мощный фактор социально-экономической жизни, способный упрочить начала коллективизма в противовес принципам субъективизма и индивидуализации. «Сила и мощь — в единении» — это жизненное и политическое кредо Посникова наиболее точно выражало и настрой делегатов кооперативного съезда, неоднократно, как свидетельствует стенограмма, прерывавших его выступление громом рукоплесканий.

Необходимость аграрной реформы Александр Сергеевич тесно связывал с неизбежностью демократических преобразований в политическом строе — «решительным переходом к истинному конституционному режиму». Как первые проблески надежды на пути выхода страны из кризиса многими в России были восприняты проект «булыгинской» конституции (август 1905) и Манифест 17 октября.

Посников, верный своему всегдашнему настрою использовать все законные способы воздействия на власть, в конце 1905 — начале 1906 года инициировал образование в Петербурге Партии демократических реформ (ПДР) — первого опыта партийной организации отечественных «прогрессистов». Его поддержал К. К. Арсеньев — юрист, историк, литературовед, земский деятель, известный публицист, признанный современниками идеолог отечественного либерального движения. Вместе с ними

в Организационный комитет партии вошли их коллеги и единомышленники: профессора Петербургского политехнического института К. П. Боклевский, А. Г. Гусаков, И. И. Иванюков, А. П. Македонский, Н. А. Меншуткин, М. И. Носач; члены редакции старейшего органа российского либерализма журнала «Вестник Европы» М. М. Стасюлевич, В. Д. Кузьмин-Караваев. Среди учредителей партии были также популярный петербургский адвокат Д. В. Стасов и ученый-обществовед с мировым именем М. М. Ковалевский, ставший редактором газеты «Страна» — неофициального органа ПДР (наряду с «Вестником Европы»).

Партия демократических реформ, как «партия здравого смысла» (определение М. М. Ковалевского), вполне подходила, по мнению ее активистов, и под более привычное в политическом лексиконе определение либерально-демократической партии. Подход основателей и идеологов ПДР к проблеме соотношения и взаимовлияния либеральной, демократической и социалистической идей в русском освободительном движении отличался широтой и целостностью мировосприятия, попыткой серьезного анализа сложной картины эволюции общественной мысли. Разъясняя позицию ПДР, Арсеньев в своих публикациях в «Вестнике Европы» периода революции 1905–1907 годов неоднократно подчеркивал, что между либерализмом и социализмом в России никогда не существовало непримиримого противоречия, той «китайской стены», которая разделяла их на Западе. «Идеалы партий, которые можно объединить под именем левого центра, и партий, составляющих левый фланг русской политической армии, различны, но не противоположны», — писал Арсеньев в ноябре 1906-го. Характеризуя особенность русского освободительного движения, он отмечал: «Либеральной партии в тесном смысле слова у нас нет, может быть, потому, что нет и ничего похожего на тот общественный класс, из которого она исходила и видам которого служила на западе Европы. С искреннею преданностью конституционным началам у нас неразрывно связано стремление к коренным реформам в главных сферах народного труда — рабочей и аграрной... Государственному вмешательству в экономические отношения отводится такая роль, с которой решительно несовместима охрана узких классовых интересов».

В качестве платформы для единения общественных сил идеологи ПДР рассматривали не только вопросы обеспечения гражданских и политических прав, но и широкую просветительскую деятельность. Именно «культурная работа», по их мнению, представляла собой медленный, но самый верный путь к преобразованию России. Достойным местом для осуществления такой деятельности стала первая в России общественная научная организация — Вольное экономическое общество (основано в 1765 году). На протяжении всего своего существования (вплоть до 1915-го) ВЭО вносило весомый вклад в разработку и обсуждение проблем развития народного хозяйства, популяризацию экономических знаний. В 1886–1888 годах «Труды императорского Вольного Экономического общества» редактировал известный земский деятель В. Ю. Скалон, в 1906-м возглавивший московское отделение ПДР. В 1900-х годах в работе ВЭО участвовали Кузьмин-Караваев, Арсеньев (в 1900–1906 годах — вице-президент, почетный член, председатель); с весны 1914 года президентом ВЭО являлся Ковалевский.

По инициативе ВЭО и ряда деятелей петербургского Комитета грамотности (К. К. Арсеньев, граф П. А. Гейден, Н. А. Рубакин, Г. А. Фальборк, В. И. Чарнолуцкий и др.) в марте 1906 года в Петербурге была учреждена Лига образования. Председателем ее временного правления, состоявшего из людей различных политических взглядов, избрали А. С. Посникова. Лига ставила перед собой цель «содействовать постановке образования в России на началах, соответствующих вполне развитому демократическому строю общества». Здесь велась теоретическая разработка вопросов

образования всех ступеней: высшего, среднего, начального, внешкольного. По мнению организаторов, Лига должна была также стать «органом как для выяснения и формулировки общественного мнения страны по вопросам школьного дела, так и для общественного воздействия в той же области на правительство». С деятельностью Лиги связывались надежды на объединение уже существовавших к тому времени разрозненных просветительских ассоциаций, а также на появление новых общественных организаций, стремившихся содействовать поднятию культурного уровня широких слоев населения России. Лига образования имела разветвленную сеть своих отделений по всей стране. К 12 марта 1906 года в ее рядах насчитывалось 11 552 члена.

Предложенная в программе Партии демократических реформ модель общественного устройства и организации народного хозяйства ориентировалась на постепенные демократические реформы, с учетом реалий России и опыта политического и экономического развития стран Запада. Ведущая роль в коренном переустройстве российской жизни закреплялась за сильным, но не авторитарным государством. Самым безболезненным для страны выходом из кризисной ситуации, сложившейся к началу XX века, руководители ПДР считали эволюционный путь демократизации государственного порядка через установление «народной монархии». В основе наиболее приемлемых социально-экономических реформ также лежал принцип эволюционного развития («органического роста»).

Проекты экономических преобразований, разработанные в партии, свидетельствовали о серьезном стремлении к коренному переустройству российской жизни и удовлетворению справедливых требований основной массы трудящегося населения. Забота о привилегированном меньшинстве должна уступить место заботе об обездоленных народных массах — так обозначила свою позицию редакция «Страны» в первом номере газеты.

В центре внимания партийных деятелей постоянно находился крестьянский вопрос, поскольку именно в аграрном секторе, остававшемся ведущим в российской экономике, было занято большинство сельских жителей, составлявших 3/4 населения страны. Идеологи ПДР полагали, что «пора довершить дело, начатое 19 февраля 1861 года и давно остановившееся на полдороге». Обширный аграрный раздел программы представлял собой фактически ряд готовых законопроектов. Его автором выступил А. С. Посников. Со всей убежденностью М. М. Ковалевский заявлял: «Мы можем не признавать тех или других сторон предлагаемой Посниковым реформы, но отказать ей в продуманности и в согласованности частных едва ли есть основание».

Программа ПДР исходила из необходимости ликвидации крестьянского малоземелья, а также создания условий для повышения производительности сельского хозяйства. Именно здесь впервые была сформулирована мысль об образовании государственного земельного фонда, в том числе путем частичного отчуждения крупной земельной собственности. Доказывая необходимость принудительного отчуждения земли в интересах государства, авторы «Вестника Европы» замечали: «Нигде нет такой тяги к земле, как у нас; нигде не пустила таких глубоких и широко разросшихся корней мысль о праве на землю, тесно связанном с работой над землей. Нигде масса земледельческого населения не доходила до такого обеднения, близко граничащего с нищетой, — последствия близорукой и неумелой опеки крестьянских хозяйств со стороны государства, нерегулярной и недостаточной помощи с его стороны. Отсюда крайнее расстройство крестьянского хозяйства, требующее не паллиатива, а решительных мероприятий. Ожидать перемены к лучшему исключительно от подъема сельскохозяйственной культуры пришлось бы слишком долго: нужно немедленное облегчение, а оно может быть достигнуто только расширением площади крестьянского землевладения».

На вопрос, сколько земли потребуется для этого, экономисты отвечали по-разному. Так, по расчетам кадета Кауфмана, необходимо было «изыскать» 73 млн десятин. В то же время профессора-кадеты Мануйлов и Чупров, а также члены ПДР профессора Иванюков и Посников сходились предположительно на 32 млн десятин. Лидеры ПДР, обосновывая допустимость и справедливость отчуждения земли у помещиков, полагали, что «принцип экспроприации, производимой государством под условием выкупа», не нарушает начала частной собственности, а, напротив, станет продолжением освободительной либеральной реформы 1861 года.

В программе ПДР предусматривалось установление — с учетом местных особенностей — высшего размера земельной собственности, не подлежащей отчуждению, но не более 100 десятин. Принудительному отчуждению подлежали прежде всего помещичьи земли, «хуже других эксплуатируемые, лишенные хозяйственного инвентаря и более всего обремененные долгами». Согласно разъяснениям А. С. Посникова, следовало подвергнуть отчуждению без всяких ограничений все земли, сдававшиеся до 1 января 1906 года в аренду за деньги, из доли урожая и за отработки, а также земли, обрабатывавшиеся преимущественно крестьянским инвентарем, и земли, «впусте лежащие, но признанные годными для возделывания». Также без ограничения должны отчуждаться и владения, которые удовлетворяют условию ведения «собственного хозяйства своим скотом и орудиями», но превысили максимум, установленный местным законодательством для подобных владений. «Условное отчуждение» распространялось на владения, не превышающие установленного законом высшего размера и обрабатываемые собственным инвентарем владельца. «Такие земли будут отчуждены лишь в тех случаях, — уточнял Посников, — когда местное земледельческое население не в состоянии получить достаточного обеспечения из других земель в данной местности или когда отчуждение является необходимым для устранения существенных неудобств в расположении наделов и в составе их по угодьям». За прежними владельцами могут быть оставлены мелкие участки, занятые ими под дачи, под фабрично-заводские предприятия. В исключительных случаях сохранялись в неприкосновенности крупные «образцово-показательные» («культурные») дворянские хозяйства. Не подлежали отчуждению небольшие участки, не превышающие трудовой нормы, определяемой по местным условиям.

Ведущую роль в осуществлении аграрно-крестьянской реформы лидеры ПДР отводили государству, за чей счет должно происходить вознаграждение собственников, подвергшихся частичному отчуждению земельных владений (из расчета средней доходности земли в данной местности). При этом разъяснялось, что расплата с помещиками за отчуждение земли не грозит государству финансовыми потрясениями, так как в банках к 1906 году было заложено около 126 тыс. имений площадью 52,5 млн десятин. Земельная задолженность в России составляла 2 млрд рублей (из которых только один Дворянский банк выдал 716 млн руб.). Кроме того, средства для выкупа предполагалось получить от осуществления назревшей налоговой реформы, в результате которой бюджет государства должен был увеличиться.

Особое значение придавалось Крестьянскому банку, который надлежало преобразовать в орган по приобретению земель для государственного земельного фонда. С его деятельностью связывались надежды партии на организацию мелиоративного и мелкого сельскохозяйственного кредита, поддержку товариществ и разного рода союзов взаимопомощи, широкую государственную помощь переселенцам. ПДР, однако, не была склонна рассматривать колонизацию слабо заселенных территорий как достаточно эффективное средство решения проблемы крестьянского малоземелья. Ссылаясь на новейшие статистические данные, «Вестник Европы», например, свидетельствовал, что в азиатской части России лишь менее 25 процентов из обследованных 45 млн десятин оказались пригодными для поселенцев.

Основной этап аграрной реформы — наделение крестьян землей. Согласно программе ПДР, земля из созданного государственного фонда отводилась крестьянам в бессрочное пользование (общинное или подворное, в зависимости от местных условий) за установленную законом умеренную ренту. Допускался переход земли по наследству, но запрещалась продажа полученной земли. Разъясняя рекомендуемый порядок наделения крестьян землей из государственного фонда, А. С. Посников настаивал: «Нельзя давать в собственность, а то через некоторое время получится то же явление, что и сейчас: у одних окажется слишком много, у других — мало. Земли должны быть отданы не в собственность, а в долгосрочное или наследственное пользование. Право же собственности должно остаться за государством».

В первую очередь наделению подлежали безземельные и малоземельные крестьяне, и прежде всего те из них, которые вели хозяйство на арендуемой у помещиков земле. Норма землепользования устанавливалась на местах выборными самоуправляющимися земскими органами. На них возлагался в будущем и контроль над поземельными отношениями. За низший размер землеобеспечения признавался высший надел 1861 года, отводимый на наличную душу мужского пола. Вместе с тем в программе подчеркивалось, что везде, где окажется возможным, при наделении крестьян землей следует ориентироваться на трудовую норму. При реализации земельной реформы запрещалось сосредоточение нескольких наделов, превышающих трудовую норму, в одних руках, запрещалось также одному лицу иметь свыше одного надела из государственного земельного фонда.

ПДР критически относилась как к аграрным программам социалистических партий, так и к правительственным проектам. При этом сама цель реформы Столыпина — создание массового слоя зажиточных крестьян — оценивалась либералами как вполне прогрессивная. «Безумие аграрных планов» правительства Посников и его единомышленники, последовательные сторонники эволюционного развития, усматривали прежде всего в политике форсированного разрушения общины. Эта мысль проходила красной нитью через многочисленные публикации на страницах либеральной прессы. Идеологи ПДР, в частности, предвидели, что разрушение общины даст шанс лишь богатым крестьянам, а бедных оставит бедными. Они негативно относились к хуторской системе хозяйства, полагая, что она не имеет достаточных корней в российской деревне и затруднит развитие кооперации — более прогрессивной формы хозяйствования. Лидеры партии опасались, что недовольство столыпинской реформой выльется в нарастание социальной напряженности и реальную угрозу крестьянских выступлений.

Мнение либералов-центристов по этому вопросу хорошо выразил князь Е. Н. Трубецкой. «Как бы ни была нам антипатичная община, — писал он, — мы все-таки не считаем дозволительным отдавать ее на экспроприацию кулакам, ни растаскивать ее крючьями подобно горящему зданию. Вот почему мы — сторонники земельной частной собственности не можем сочувствовать правительственной земельной программе. Она представляется нам антиправовой и революционной в самом своем основании. Для нас ясно, что единственно правовой путь ликвидации общины заключается в устранении препятствий к ее естественному саморазвитию; упразднение общинной собственности должно быть предоставлено доброй воле самого собственника, т.е. общины, а не отдельных ее членов».

Для аграрной программы ПДР характерно стремление исходить из интересов большинства трудящегося населения страны — крестьянства. Другие же партии, по словам Посникова, озабочены главным образом тем, «чтобы как можно меньше ущерба принести тем лицам и учреждениям, от которых можно взять землю». Эта программа оказала влияние на развитие взглядов кадетов по аграрно-крестьянскому вопросу в период с февраля по апрель 1906 года (такая оценка встречается на страницах «Вест-

ника Европы», «Страны», в выступлениях кадетских деятелей). Именно в программе ПДР в январе 1906-го впервые была сформулирована мысль об образовании неотчуждаемого государственного земельного фонда путем принудительного выкупа государством части помещичьих земель. В апреле это положение вошло и в программу Конституционно-демократической партии.

В ходе дискуссий, в том числе на страницах печати, кадеты и члены ПДР стремились к всестороннему осмыслению поземельных отношений начала XX века и выработке оптимального для России проекта аграрной реформы. Среди видных кадетских деятелей единомышленниками ПДР зачастую выступали А. И. Чупров, А. А. Мануйлов, Н. А. Каблуков. Так, совместными усилиями идеологи обеих партий пытались опровергнуть распространенное мнение о том, что отчуждение части помещичьих земель и передача их в руки крестьян — менее культурных хозяев — может привести к спаду сельскохозяйственного производства в стране.

Широта взгляда Партии демократических реформ на проблемы российской жизни сочеталась с четкостью основных программных положений. Подход к решению злободневных вопросов — принципиальный, точный и определенный — современники оценивали как несомненное достоинство партийной платформы. «По вопросам активной политики может быть только два ответа — „да“ или „нет“, третий ответ — „ни да, ни нет“ — может принадлежать только партиям неискренним», — заявлял М. М. Ковалевский, выступая в Москве перед членами Клуба независимых в феврале 1906 года. Однако надежды лидеров ПДР на понимание и поддержку их аграрного проекта со стороны землевладельцев не оправдались. Как оказалось, многие из них вовсе не желали оставаться при 100 десятинах...

Представители дворянства испытали состояние, близкое к шоку, слушая А. С. Посникова в Москве в феврале 1906 года. Он говорил, что «за отдельными помещиками следовало бы оставить не более 50 десятин земли, и только желание достигнуть соглашения побудило его сделать такую уступку, как сохранить за владельцами по 100 десятин земли». Характерна в этом отношении и позиция известного ученого и общественного деятеля И. И. Мечникова. По словам М. М. Ковалевского, Мечников — «русский патриот до мозга костей» — ненавидел русскую революцию, «насколько она могла парализовать наше внешнее могущество и создать сумятицу внутри государства резкой постановкой земельного вопроса. ...Когда мы рассуждали в первой Думе о наделении крестьян землей по справедливой оценке, Илья Ильич, владевший в то время не более как 50-тью десятинами в Киевской губернии, предавался самым тяжким сомнениям и близок был к самоубийству».

На наш взгляд, близость аграрной программы ПДР к аналогичным проектам некоторых социалистических партий ни в коей мере не ставит под сомнение «либерализм» ее деятелей. Напротив, развитие их взглядов может служить своего рода показательным примером адаптации либеральных идей к условиям конкретной страны, плодотворного (судя по заметному резонансу, который имели эти идеи в среде отечественных либералов) поиска оптимальной модели модернизации русской деревни в начале XX века.

Взгляды лидеров Партии демократических реформ, в том числе А. С. Посникова, оказали заметное влияние на самоопределение политических партий центристской ориентации. Последнее обстоятельство свидетельствовало о потенциальных возможностях развития в России «умеренно прогрессивного» политического направления. Определяющую роль в организационном оформлении данного течения в русском освободительном движении сыграла ПДР.

Прослеживается преемственность в программах ПДР, Партии мирного обновления (ПМО), а впоследствии — Партии прогрессистов. Общность социальной базы всех

трех политических объединений также позволяет рассматривать историю Партии демократических реформ как идейный исток «прогрессизма» и начало организационного оформления данного течения в русском освободительном движении. Процесс «переливания» ПДР в Партию мирного обновления и затем — в Партию прогрессистов происходил постепенно, прежде всего на основе единства тактических взглядов и политической программы. Кроме того, существовало своеобразное «переплетение судеб» трех партий на уровне руководства и рядовых членов. Так, например, А. С. Посников (наряду с Ковалевским и Кузьминым-Караваевым) стал в Партии прогрессистов членом Центрального комитета, а потом товарищем председателя фракции прогрессистов в IV Государственной думе. Характеризуя деятельность Посникова-депутата, В. А. Розенберг отмечал его исключительную заслугу в том, чтобы «выдвинуть и поставить на подобающее место в думской программе по крестьянскому вопросу аграрную проблему». Несмотря на довольно существенные разногласия Посникова с большинством депутатов этой группы по социально-экономическим вопросам, его сближение с прогрессистами произошло прежде всего на почве «искреннего конституционализма и земских симпатий».

Не затерялась фигура Александра Сергеевича и в бурных событиях, последовавших за февралем 1917 года. Он — один из членов Лиги аграрных реформ. В эту общественную организацию, учредительный съезд которой состоялся 16–17 апреля 1917 года, вошли представители двадцати российских губерний, практически все теоретики аграрного вопроса, известные тогда широкой читающей публике: Б. Д. Бруцкус, Н. А. Каблуков, Н. П. Макаров, П. П. Маслов, А. В. Пешехонов, Н. А. Рожков, А. М. Стебут, М. А. Туган-Барановский, А. В. Чаянов, А. Н. Челинцев и др. Лига считала своей задачей организацию широкого обсуждения аграрно-крестьянского вопроса, публикацию книг и брошюр соответствующей тематики, ознакомление общественности с аграрным законодательством зарубежных стран и т.д. Кредо этой организации формулировалось так: «Трудовое крестьянское хозяйство должно лечь в основу аграрного строительства России, и ему должны быть переданы земли нашей Родины... Передача эта должна совершиться на основе государственного плана земельного устройства, разработанного при учете бытовых и экономических особенностей отдельных регионов нашего Отечества...»

Это же настроение определяло и основное направление работы Главного земельного комитета, образованного при Временном правительстве в мае 1917 года. Его председателем был избран А. С. Посников. Целью комитета провозглашалась подготовка проекта земельной реформы — «нового земельного устройства, которое обеспечит справедливые интересы трудового земледельческого населения». Эта задача в ту пору, по словам Александра Сергеевича, понималась «довольно единодушно самыми различными партиями». Будучи в очередной раз призван верховной властью к решению аграрно-крестьянского вопроса, Посников в обстановке, явно не способствовавшей планомерной законодательной работе, настаивал тем не менее на соблюдении необходимейших условий проведения аграрных преобразований: тщательном учете местных условий при главенстве государственных интересов, недопустимости применения насильственных мер. «Идея общего, целого должна быть доминирующей и решающей» — исходя из этого убеждения Посников по-прежнему проводил мысль о том, что земля по существу не может быть объектом частной собственности, а должна передаваться лишь в пользование того, кто ее обрабатывает, оставаясь коллективной (общинной, кооперативной) или государственной собственностью.

Посников не был утопистом, стремившимся осуществить свой идеал, не считаясь с действительностью. Ничего общего с политиками-популистами у него нет. Его принципиальная позиция и отстаиваемая им система конкретных мероприятий по разре-

шению аграрно-крестьянского вопроса, как и прежде, базировались на здравом смысле и, прежде всего, необходимости всестороннего учета предшествующего опыта, исторических традиций.

Как известно, Главному земельному комитету, разделившему судьбу Временного правительства, не удалось реализовать свои планы. Линия разрешения «великого и сложного» вопроса о земле с наименьшими издержками для большей части населения, которую отстаивал Посников на протяжении всей жизни, вновь оказалась невосребованной...

После Октябрьской революции Александр Сергеевич уехал в свое имение (село Николаево Вяземского уезда Смоленской губернии). Лишенный жалованья и пенсии, он бедствовал с семьей, голодал. Письма к близким друзьям, В. А. Розенбергу и К. К. Арсеньеву, лучше всего передают настроения 1918 года, связанные с ужасами, «переживаемыми... злосчастными гражданами погибающей страны». «Так изменилась жизнь за эти последние два месяца, что, право, не знаешь, хватит ли сил для сопротивления с нависшей тучей всяческих невзгод и бед», — пишет Посников 3 января. А спустя несколько дней он не сможет сдержать чувства возмущения и горя в связи с убийством в Петрограде членов Учредительного собрания, видных деятелей кадетской партии А. И. Шингарева и Ф. Ф. Кокошкина — «несчастных жертв подлости, злобы и полнейшего одичания так называемых людей». «Но вокруг меня — в деревне и даже в родном городке — все как-то бесчувственно, как-то тупо безжизненно, и почти ни в чем не проявляется общее негодование, — вынужден был констатировать Александр Сергеевич. — Я говорю „почти“, пожалуй, для собственного утешения. Не есть ли это свидетельство того, что для окружающих меня ужас совершающегося недостаточен еще и для возбуждения их протеста требуется гораздо более сильное, гораздо более жестокое действие?..»

Что касается обустройства собственного быта, то больше всего сетует он на бесчинства в своем доме «господ положения» — солдат: «Не стоит описывать всего; достаточно сказать, что они дали мне не ту комнату, которую желал бы я, а ту, которую сами нашли удобным дать мне; дали мне четыре стула и один стол; долго не соглашались отдать мне мою кровать, не могли отдать мне моего кувшина с тазом и лампы, потому что разбили; забрали всю посуду, поковеркали мебель и — самое обидное — продолжают (хотя украдкой) рубить в парке вековые, ценнейшие деревья...»

В конце января 1918 года, после того как «военные обитатели» внезапно покинули его дом, Посников подводит итоги «нашествия гуннов»: «...загадили мой бедный дом до последней степени ...переломав все, что можно было переломать и украсть, начиная от подушек и кончая сбруей. Вырубив для отопления (бесплатного) древние деревья в парке, представители „христолюбивого воинства“ удалились куда-то на Урал для продолжения своей победной деятельности в другом несчастном доме...» И далее: «В нашей местности нынче большой недород ржи... Муки в продаже, конечно, нет, а продовольственные комитеты выдают в деревне какую-то смехотворную дозу, чуть не гомеопатическую. Здесь почти полный недостаток керосина. Так что местами опять пошла в ход лучина, и бабы сняли с чердака давно забытые светцы. Отчасти недостаток, нужда, но главным образом, увы, общая распущенность и неурядица повели здесь, как и в других местах, к возникновению грабительских банд из деревенского (да и пришлого) сброда, предводительствуемого обычно беглыми с фронта. Вооруженные, и, как говорят, хорошо, грабители нападают на усадьбы и на дворы более зажиточных обывателей и поселян. Посещения их отличаются жестокостью и всегда оставляют кровавый след... Злодеяния такого рода могут развиваться безнаказанно ввиду отсутствия следственной и судебной власти, да и всякой власти вообще. Иногда, правда, деятельность злодеев вызывает жестокий самосуд, но для этого необходимо серьезно пострадать нескольким крестьянским и обывательским дворам...»

В начале февраля Александр Сергеевич получил приглашение занять должность профессора в Петроградском политехническом институте. Это известие пришлось тогда очень кстати, поскольку, по словам самого ученого, к тому времени положение его было весьма отчаянным — на грани необходимости «жить подаянием». Добравшись до Петрограда в товарном вагоне и устроившись в общежитии института в пригородной Сосновке, Посников описывает теперь уже свой столичный быт: «Как и все жители института (даже, может быть, всего Петрограда), страдаю от полного недостатка продуктов питания (подумайте, сейчас выдают на день всего только 1/8 фунта хлеба!), — сообщает он Розенбергу в мае 1918 года. — Но куда уехать? Никто этого решить не может. И потому все остаются здесь, хотя вид некоторых из товарищей самый отчаянный, прямо вид изголодавшихся людей...»

«Жизнь становится все труднее» — таков главный мотив всех последующих писем. Характерный пример — послание Арсеньеву от 5 сентября 1918-го: «Все мы здесь живем буквально впроголодь и уже более двух недель не получаем даже восьмушки хлеба, которой должны были довольствоваться ранее. Мука доходит до сказочно высокой цены (приближаясь к 600 руб. пуд), и добыть ее становится все труднее; говядины на рынке вовсе нет; конина, продававшаяся последние дни, была с лишком по 6 руб. фунт (и, подумайте, охотников стояла огромная очередь), начала что-то тоже отсутствовать на рынке; масло берут нарасхват за цену выше 20 р. фунт (и оно появляется в продаже лишь случайно); крупы — всякой — не достать ни за какие деньги; сахар — 28 р. фунт; кофе 16 р. фунт; чай приобретает с большим трудом, и говорят, должен совсем выйти из продажи. Вся жизнь держится сейчас на картофеле, цена которому от 2 р. 50 к. до 3 руб. фунт, смотря по тому, где купите, на рынке или за городом, на огородах по деревням. Во всех tram-way-ях Вы только и видите людей с мешками картофеля; на улицах Петербурга — то же. К сожалению, этот источник существования ненадежен: несмотря на хороший урожай, картофель больной и совсем не может лежать сколько-нибудь долго. Это великое несчастье... Вы простите мне, что я остановился на этом вопросе (но верьте, как-то невольно) так долго; но ведь Вы знаете пословицу: „что у кого болит, тот о том и говорит“».

Понятно, что в Советской России, охваченной стихией Гражданской войны, ни о какой полноценной научной и общественно-политической деятельности А. С. Посникова уже не могло быть речи... Он скончался в Петрограде 12 августа 1922 года.

ПЕТР БЕРНГАРДОВИЧ СТРУВЕ:
*«Соединить здоровое патриотическое
чувство с гражданскими освободительными
стремлениями...»*

СЕРГЕЙ СЕКИРИНСКИЙ

Со второй половины 1902 года мирные российские обыватели стали все чаще получать неожиданные письма из-за границы. Вскрывая легкие почтовые конверты, они обнаруживали в них листы очень тонкой, «индийской», как тогда говорили, рисовой бумаги, заполненные различными текстами, напечатанными по-русски под общей шапкой «Освобождение». Даже при беглом знакомстве с этими текстами становилось ясно, что речь в них идет о борьбе за политическое освобождение России, правда, мирными средствами, путем реформ. Но первые тревожные ощущения этих в большинстве своем вполне «благонадежных» людей быстро сменялись некоторым успокоением. На первом же листе в левом углу было напечатано: «Мы нашли Ваш адрес в адресном календаре и позволяем себе послать Вам наше издание». В случае перлюстрации письма это обязательное предупреждение все-таки облегчало случайному адресату возможные «объяснения» с полицией.

Первый номер «Освобождения» вышел 18 июня 1902 года в немецком городе Штутгарте. Но еще в самом конце предыдущего года один русский политический ссыльный, избравший местом своего вынужденного поселения Тверь, обратился к российским властям с ходатайством о разрешении срочно выехать из России «в связи с болезнью жены», находившейся уже за границей. Получив официальное разрешение и заграничный паспорт, он легально покинул страну.

20 февраля 1902 года этот вчерашний ссыльный положил на счет в Базельском коммерческом банке первый взнос в 21 500 рублей. К середине года общая сумма его наличных вкладов в Базельский и Вюртембергский банки достигла примерно 75 000 рублей золотом. Обладая такими средствами, Петр Струве — а русским вкладчиком западноевропейских банков был именно он — смело мог приступить к изданию и редактированию «Освобождения». Когда же издание состоялось, пошел приток новых частных пожертвований из России. Часть расходов компенсировались и за счет продажи доли тиража в Западной Европе: ведь за границей тогда ежегодно бывало около 200 000 российских подданных. Многие из них охотно покупали и даже привозили с собой на родину нелегальную литературу. Для продажи за границей «Освобождение» печаталось уже на плотной бумаге. Для регулярной переправки через границу крупных партий «Освобождения» и сопутствовавших ему изданий использовались услуги контрабандистов, а также (на основе взаимности) — революционных партий и деятелей финского национального движения. Общий тираж первого номера составил 3000 экземпляров, в начале второго года издания тираж стабилизировался на цифре 7000–7500, а пик был достигнут в 1905 году — около 11 000 экземпляров. Высокий по тем временам читательский спрос, а также сочетание острой политической публицистики с отсутствием дефицита в средствах во многом и предопределили успех этого нового бесцензурного издания, выходявшего, как правило, раз в две недели,

вплоть до обнародования знаменитого царского Манифеста 17 октября 1905 года, провозгласившего основные политические свободы.

Секрет успеха «Освобождения» был во многом связан с личностью его редактора, в которой как в фокусе сошлись и обрели новую силу разнородные тенденции российской культуры и общественной жизни. Личность Петра Бернгардовича Струве (1870–1944), конечно, гораздо шире эпизода, связанного с изданием «Освобождения» (1902–1905). Но именно этот эпизод принес Струве славу политического лидера все-российского масштаба, и от него удобнее всего распутывать клубок духовных и политических нитей, связующих Струве и с радикалами, и с либералами, и с консерваторами; с прошлым и будущим России.

Именно в 1902 году благодаря созданию за границей бесцензурного печатного органа голос либеральной оппозиции самодержавному режиму зазвучал гораздо свободнее, а ее рост начал приобретать более определенные политические и организационные формы. У либералов были особые основания не мешкать с организацией своих сил в общенациональном масштабе. Их уже обгоняли социалисты: вслед за российскими приверженцами учения К. Маркса — социал-демократами, объявившими о создании партии еще в 1898 году, — наследники народнической традиции, социалисты-революционеры, сделали это в январе 1902 года на страницах своей заграничной газеты «Революционная Россия».

«Освобождение» задумывалось как общенациональный орган, объединяющий и формирующий на почве либеральной программы широкое общественное мнение. И на роль его редактора трудно было отыскать лучшую кандидатуру, чем Струве. Как позднее писал он сам, либеральное движение в пореформенной России «имело два фланга, из которых один соприкасался с русским консерватизмом, другой — с революционным движением». Своеобразие же раннего Струве как раз и состояло в том, что он одновременно выступал на обоих флангах, соединяя, казалось бы, несоединимое.

Основы возобладавших в нем со временем либерально-консервативных взглядов имели глубокие семейные корни. Струве принадлежал к немецкому роду, обрусевшая ветвь которого дала России ряд ученых и государственных деятелей. Будущий редактор «Освобождения» вырос в семье отставного пермского губернатора, где особо почитались оппозиционные взгляды славянофильского толка. Став учеником 3-й Петербургской гимназии, юный Струве испытал на себе, с одной стороны, влияние славянофила Ивана Аксакова, настоящий культ которого сложился в семье, а с другой — его постоянного оппонента, либерала-западника, ведущего публициста «Вестника Европы» Константина Арсеньева. Сложившийся вокруг Арсеньева молодежный кружок посещал и гимназист Петр Струве. С конца 1880-х годов он, подобно многим сверстникам, увлекся чтением трудов Маркса и новообращенного русского марксиста Георгия Плеханова. Уже в качестве студента Петербургского университета, участвуя в организации марксистских кружков, Струве одновременно завязал отношения и с тверскими лидерами либерального земского движения: Федором Родичевым, Иваном Петрункевичем и другими видными оппозиционерами из среды крупного помещичьего дворянства. Позднее именно с этими людьми Струве будет создавать Конституционно-демократическую партию — самую сплоченную и влиятельную организацию либеральной России. И наконец, хотя 1890-е годы в целом считаются «марксистской полосой» в жизни Струве, под первый арест он попал за связи с группой народолюбцев!

Все эти широкие и разнообразные политические связи дополнялись еще и уникальной способностью Струве облекать новые интеллектуальные и общественно-политические течения в четкие программные формулы. В 1895 году он от имени либеральных земцев составил «Открытое письмо Николаю II», а спустя три года написал «Манифест Российской социал-демократической партии», принятый I съездом РСДРП.

Для редактора общенациональной газеты, какой стремился сделать «Освобождение» Струве, это был очень полезный опыт. Старые связи помогли ему и в практическом плане: первые два с лишним года либеральное «Освобождение» набиралось в главной типографии Социал-демократической партии Германии, услугами которой пользовались и русские социал-демократические издания — газета «Искра» и журнал «Заря».

В то время как взгляды Струве еще только формировались, многие русские либералы (в том числе и один из его ранних духовных наставников — Константин Арсеньев) находились в той или иной степени под обаянием народнических представлений. Речь идет о таких воззрениях народников, как то, что у капитализма в России якобы нет перспектив, что экономика страны будет долго сохранять преимущественно аграрный характер и, следовательно, Россия останется в основном крестьянской страной. Антибуржуазность вообще была одной из черт русской мысли, независимо от ее внутренних градаций на либералов, консерваторов или социалистов разных оттенков. Большую роль в «европеизации» взглядов нового поколения либеральной интеллигенции сыграл, как это ни парадоксально, марксизм, благодаря которому капитализм стал расцениваться как неременное условие прогрессивного развития страны.

Струве был среди тех, кто поначалу увлекся идеями Маркса со всей силой своего темперамента. Вместе с тем в отличие от других русских марксистов 1890-х годов он увидел в капитализме нечто большее, чем только необходимую промежуточную фазу для перехода к социалистическому строю. Именно с капитализмом Струве связывал как политическое освобождение, так и культурный прогресс страны — в конечном счете капитализм для него был универсальным средством преодоления отсталости. Сам этот процесс, как и последующий переход к социализму, мыслился им путем эволюционным, в духе германской правой социал-демократии.

Отвечая на вопросы, поставленные в Германии социал-демократами, либерализм нового типа, складывавшийся в России на рубеже столетий, уделял много внимания социальной проблематике. Но на первый план в России выходила все-таки борьба за политическую свободу. И это давало возможность русским либералам, каким уже в 1901 году стал Струве, заключить союз с либеральными земцами, тоже имевшими немало причин быть недовольными самодержавной властью. Эти-то богатые, родовитые и зачастую титулованные дворяне-землевладельцы и помогли опальному публицисту и вчерашнему социал-демократу прервать ссылку в Твери, получить разрешение на выезд из России и, главное, дали ему большие деньги на издание бесцензурного печатного органа. Струве принял на себя обязанности редактора, оговорив свою полную независимость в ведении нового политического журнала.

Благодаря стечению ряда обстоятельств «Освобождению» удалось во многом повторить и даже превзойти небывалый успех герценовского «Колокола» — заграничного печатного органа эпохи освобождения крестьян, распространявшегося в России от «медвежьих углов» до министерских кабинетов и царских покоев. Как и у «Колокола», у «Освобождения» появлялись свои постоянные читатели среди высших сановников (например, министр народного просвещения Ванновский), а из правительственных сфер на стол к редактору, а затем и на страницы «Освобождения» попадали даже секретные сведения. Соратник Струве — князь Петр Долгоруков надеялся приохотить к чтению журнала самого Николая II. Да и сам Струве, видимо, не исключал полностью такой возможности, делая акцент на критике «всевластия бюрократии», а не института монархии и, тем более, личности царя. Но прямых и открытых посланий к императору, подобных тем, что помещал Герцен в «Колоколе», обращаясь к Александру II, Струве уже не писал. Сказывались дух нового времени и партийная дисциплина, от которой был вполне свободен его знаменитый предшественник. Да и сам Николай II не был похож на своего деда!

После революции 1905–1907 годов Струве эволюционировал от ранее охотно признаваемого им сходства с Герценом к осознанию своего духовного родства с одним из главных оппонентов издателя «Колокола», либерал-государственником Борисом Чичериным. В нем наш герой в конце концов найдет самое законченное, самое яркое выражение того, что стало предметом и его собственного духовного поиска: «гармоническое сочетание в одном лице идейных мотивов либерализма и консерватизма».

Если с появлением в 1902 году первых выпусков либерального «Освобождения» Петр Струве, безусловно, стал «человеком года» от оппозиции, то таким же «человеком года» от власти суждено было стать министру внутренних дел Вячеславу фон Плеве (1846–1904). Именно они наиболее ярко олицетворяли тогда две входившие в состояние глубокой конфронтации силы: общественность и власть. В отличие от Струве, родившегося в дворянской семье, Плеве, тоже дворянин по происхождению, фактически был типичным разночинцем: его отец работал учителем в провинциальной гимназии. В итоге выходец из низов, сделавший в рамках сложившейся системы головокружительную карьеру, стал одним из ее последовательных (и последних!) защитников, а сын высокопоставленного чиновника с обширными связями оказался в числе лидеров общенациональной оппозиции режиму.

Плеве был старше Струве почти на четверть века. И в его биографии была своя «либеральная полоса», связанная с тем, что ему довелось учиться и начинать карьеру в судебном ведомстве в эпоху реформ Александра II. Струве же начал учебу в университете и одновременно общественную карьеру на пике консервативной политики Александра III. Эти обстоятельства не помешали Плеве стать жестким охранителем, выдвинувшимся в условиях либеральных преобразований и обновления старого бюрократического аппарата, а Струве — радикалом и либералом, востребованным обществом, пробудившимся к политической жизни.

Со временем нараставшее ощущение того, что вместе с ненавистным политическим режимом опасно колеблются и общие основы существования государства и всего культурного общества, заставит Струве дополнить заветную идею «*права и прав*» цепочкой понятий, перечень которых (*государственность — культура — религия*) свидетельствует о его сдвиге в сторону консервативной традиции русской мысли. Но эта традиция не имела ничего общего с той охранительной политикой, которую изобрел и последовательно проводил Плеве: с его именем было связано введение еще в первой половине 1880-х годов режима *чрезвычайщины*, сохранявшего свою силу до конца старого порядка, и в особенности создание такой изощренной формы полицейской провокации, как «двойные агенты».

Полицейское государство и организации революционеров не только копировали, но и разлагали друг друга. Не случайно сами организаторы системы провокации становились в конце концов ее жертвами. Увы, в борьбе и переплетении политической полиции с терроризмом была еще и третья, «радующаяся», сторона — оппозиционная общественность. О полицейской подоплеке иных терактов она не ведала, но под ее аплодисменты боевики убивали столпы режима. И Струве в этом плане исключением не был. Известие об убийстве Плеве вызвало в его доме «такое радостное ликование, точно это было известие о победе над врагом» — ведь Россия уже воевала с Японией. И хотя сами «освобожденцы» террор не поощряли, но и морального осуждения этому способу политической борьбы они тоже не выносили. Влияние на либералов начала XX века левого радикализма сказывалось во многом. На преодоление этого влияния будут впоследствии направлены основные усилия Петра Струве.

К нелегальным формам объединения либеральных сил Струве и его единомышленники вынуждены были обратиться только после того, как все попытки добиться от власти разрешения на открытую деятельность не удались, а революционеры уже

объявили о создании своих партий. В то же время характерно, что ни в одну из нелегальных организаций либералов, созданных накануне первой революции 1905–1907 годов, — ни в «Союз земцев-конституционалистов», ни в «Союз освобождения», полиции не удалось внедрить своих тайных агентов. В отличие от блюстителей подпольной иерархии и изобретателей бюрократической конспирации Струве вместе со своими соратниками по либеральному движению закладывали в России основы *открытой политики* с помощью бесцензурного печатного органа или (за недостатком внутри страны других форм политической жизни) открытого общественного застолья с острыми оппозиционными тостами, как это было, например, в период известной «банкетной кампании» 1904 года.

Характерными чертами руководящего ядра созданной при участии Струве Конституционно-демократической партии были терпимость, взаимоуважение, готовность к компромиссу и самоограничению во имя сохранения политического единства. Но партия не безразмерный чулок, и, когда взгляды, развиваемые Струве, войдут в противоречие со сложившимся мнением большинства ЦК, он покинет его состав. Это произойдет летом 1915 года.

Обращает на себя внимание и тот факт, что Плеве и Струве, оба из обрусевших немцев, олицетворяли различные формы *русского национализма*. Оба, кстати, много натерпелись от популярных среди критиков всех мастей обвинений в «нерусскости» и неискренности их патриотических чувств. Правда, на это у Струве всегда был наготове убедительный ответ. В своих публичных выступлениях он не раз говорил и писал о том, что из различного «смешения кровей», как «из благородного плода», выросло немало славных деятелей русской культуры, как, например, семейство Аксаковых или Борис Чичерин. Этот перечень может быть продолжен очень многими именами. Соединение же немецкой крови с ярко выраженными русскими национально-патриотическими воззрениями разных оттенков вообще было распространено.

Подобно семье Струве, Плеве в начале своего пребывания в Петербурге симпатизировал неославянофильским взглядам, хотя и не позволил себе примкнуть ни к одному из салонов, где была бы ощутима хоть какая-то фронда и независимость мысли. В конечном счете это отталкивало от Плеве даже его сторонников среди консервативной общественности, все-таки склонной в соответствии со славянофильской традицией к разграничению сфер «народного мнения» и «власти» и мечтавшей о «гармонии» самодержавия со свободой слова и свободой совести.

В мировоззрении Петра Струве национализм уживался не с чиновничьим охранительством, а с либерализмом, выступившим после поражения России в Крымской войне 1853–1856 годов в качестве не только общественного «трибуна», но и *средства реабилитации всего Российского государства*, восстановления его подорванного престижа как внутри страны, так и на международной арене.

«В чем же истинный национализм?» — этот вопрос стал в 1901 году заголовком одной из самых ярких статей Струве о либерализме. Четкий вопрос получал такой же четкий ответ: истинный национализм *только в либерализме*, ибо он и воплощает «единственный вид истинного национализма, подлинного уважения и самоуважения национального духа, то есть признания прав его живых носителей и творцов на свободное творчество...».

Противостояние либерального национализма Струве и охранительного национализма Плеве касалось не только взаимоотношений личности и власти, общественности и бюрократии. На Дальнем Востоке все отчетливей становились признаки новой войны, разразившейся в конце концов в 1904–1905 годах. Вячеславу фон Плеве, уже в силу компетенции возглавляемого им ведомства — Министерства *внутренних дел*, был присущ односторонний взгляд на проблемы внешней политики. Во имя укрепле-

ния существующего внутреннего порядка он и говорил о целесообразности «маленькой победоносной войны» с Японией, силы которой явно недооценивал. Зеркальным отражением этой охранительной позиции были намерения левых радикалов, а отчасти и либералов использовать войну России с Японией как фактор дестабилизации того режима, который Плеве защищал и олицетворял. В обоих случаях «внешняя политика» рассматривалась как средство решения внутривнутриполитических задач, сводимых, как позднее выразился Струве, к «вопросу о так или иначе понимаемом внутреннем благополучии государства». Сам же редактор «Освобождения» уже во время войны попытался «соединить здоровое патриотическое чувство с гражданскими освободительными стремлениями», провозгласив лозунг политического освобождения России в качестве великой национальной задачи.

После Русско-японской войны и первой революции в русской печати начали публиковаться размышления Петра Струве о «Великой России», «русском могуществе», «внешней мощи». Все это было ново для его друзей-либералов из кадетского ЦК. Сами термины, которыми оперировал Струве, казались заимствованными из чужого политического словаря. Как раз в те месяцы 1908 года, когда публика читала «размышления» Струве, на заседаниях ЦК кадетской партии зашел разговор о том, есть ли вообще у кадетов своя внешнеполитическая программа, каково содержание таких понятий, как «великодержавие», «великодержавные стремления» и прочее.

Поводом к широкой дискуссии стал вопрос о позиции думской фракции партии по отношению к финансированию из бюджета строительства новой железнодорожной магистрали из Забайкалья на Дальний Восток вдоль русского берега Амура. Одни члены кадетского ЦК видели в этом только продолжение прежней российской политики на Дальнем Востоке: «великодержавную авантюру, разложение государства изнутри». Другие призывали «преодолеть старые страхи», связанные с результатами Русско-японской войны. Коли Россия — великая держава, то ей и не стоит стыдиться великодержавных стремлений, направленных на защиту и укрепление малообжитых окраин. Этим доводам были противопоставлены иные соображения: «Задачи наши ближе, задачи внутреннего благоустройства; это тоже „великодержавность“»; что же касается защиты территорий, то «и до сего времени мы ведь все только „оберегали границы“, а, оберегая границы, завоевали шаг за шагом всю Азию...». В связи с этим «надо еще разобраться, а что там, собственно, предстоит защищать?.. «Должны быть произведены известные расчеты, при которых может оказаться, что, быть может, следует отказаться от части нашей территории, увеличенной за счет и путем авантур...»

Таким образом, среди кадетских лидеров были и те, кто искренно считал, что России «надо ужаться», и те, кому формирование «тела империи» представлялось незавершенным, пока над Босфором и Дарданеллами с прибрежными территориями не взовется российский флаг. Петр Струве в этом споре однозначно примыкал ко второму лагерю.

Но подлинное своеобразие взглядов Струве следует искать в иной плоскости. Разъясняя свою внешнеполитическую позицию, бывший редактор «Освобождения» апеллировал к памяти тогда уже покойного Плеве, находя его «банальный консерватизм» в каком-то смысле солидарным с «банальным радикализмом», причем зачастую объединяя под этим последним именем и революционеров, и радикал-либералов, сходящихся на почве старого интеллигентского «отрицания внешней политики» во имя задач внутреннего переустройства. Если и охранитель Плеве, и те из радикалов, кто ему формально противостоял, так или иначе подчиняли внешнюю политику решению внутренних задач, то Струве, напротив, переворачивал предлагаемую ими формулу: мерилom внутренней политики, с его точки зрения, должен служить ответ на вопрос, в какой мере эта политика содействует внешнему могуществу государства.

Струве перехватил у столыпинского правительства лозунг «Великой России», который то противопоставляло «пути радикализма и освобождения от исторического прошлого страны». «Величие России» Струве понимал не как призыв к охранительству, а как лозунг «новой русской государственности», опирающейся на живые традиции и в то же время на «творческую революционную силу».

В 1912 году, в условиях нового кризиса на Балканах, становившихся «пороховым погребом Европы», Струве, последовательный сторонник «возвращения» русской политики с Дальнего Востока в бассейн Черного моря, увидел в тогдашних провалах царской дипломатии исходную точку для перестройки и всей внутренней политики России. Речь шла о том же, к чему он призывал и раньше, — о примирении общества с властью на основе обоюдного преодоления зауженного представления о государстве, сводимого только к «носителям власти». Либерально-консервативная идея «Великой России», сформулированная Струве, была обращена в будущее, но плохо согласовывалась с реальным состоянием того конкретного государства, в котором он жил. Струве все-таки явно переоценивал его жизнеспособность и потому слишком уж бесстрашно в канун мировой войны призывал кадетскую партию «перестать дипломатничать», но, «поставив балканский вопрос по существу», заявить о солидарности со славянскими народами этого региона и вообще «заговорить таким языком, чтобы все попрятались в нору». Последствия вовлеченности и российской власти, и российского общества в балканский узел оказались куда более разрушительными для России, чем та «маленькая война», что была предпринята с одобрения Плеве на Дальнем Востоке.

Мировая война еще более усилила внимание Струве к проблемам русской государственности и культуры. Этим во многом объясняются и его выступления против лозунга культурно-национальной автономии, принятого кадетами, и утверждения о несамостоятельности украинского языка и культуры, и разрыв с Конституционно-демократической партией. Новый всплеск политической активности Струве был связан уже с его участием в организации Белого движения, а затем и русской политической эмиграции.

Потомственный российский немец и русский националист; поклонник германской социал-демократии и один из лидеров старой либеральной России; автор Манифеста Российской социал-демократической партии и один из главных инициаторов знаменитых «Вех» (сборника статей о русской интеллигенции, где традициям левого радикализма был дан решительный бой). Таков Петр Бернгардович Струве — «человек, в котором не было и тени умственной лени» (как сказала о нем Ариадна Тыркова), умевший вырываться из заколдованного круга даже тех формул, в создании которых сам когда-то участвовал...

И еще один, последний штрих к изменчивой судьбе этого человека и мыслителя, отмеченный легкой насмешкой истории.

Струве, этот очень кратковременный соратник Ленина по социал-демократии, а с конца 1890-х годов и до конца жизни один из его самых резких политических противников, был в 1941 году арестован в Белграде фашистским гестапо и заключен в тюрьму в качестве... «друга Ленина». Иная недолгая «дружба», бывает, портит репутации, складывавшиеся десятки лет, но и политическая вражда не проходит бесследно, если оставляет за собой грубую печатную брань. Рассказывают, что Струве был выпущен на свободу сразу после того, как он случайно обнаружил в тюремной библиотеке и предъявил тамошнему начальству немецкое издание то ли сочинений самого Ленина, то ли «Истории ВКП(б)»...

МАКСИМ МАКСИМОВИЧ КОВАЛЕВСКИЙ: «Без терпимости нет свободы...»

НИНА ХАЙЛОВА

Максим Максимович Ковалевский родился 27 августа 1851 года в Харькове в богатой семье. Род Ковалевских — старинный, казацкий. Среди фамильных реликвий хранились духовные завещания, датированные XVII веком. Дворянский титул был пожалован его предкам Екатериной II. Бабушка Ковалевского по отцовской линии была близкой родственницей адмирала П. С. Нахимова. Дед Ковалевского со стороны матери происходил из польского рода Познанских, а бабушка была немкой из рода Мюнстеров. «После этого предоставляю решить, к какой я собственно принадлежу национальности, — с иронией писал Ковалевский. — Прибавьте окружающих меня с детства немецких гувернанток и французских гувернеров, изучение многих предметов, в том числе истории и мифологии, на французском языке, более раннее знакомство с Шиллером и Мармонтелем, чем с Пушкиным и Гоголем, — и вам легко будет прийти к тому заключению, что в украинской обстановке потомок малороссийских казаков, с примесью польской и немецкой крови, приобщался с самого детства к европейской культуре».

Его отец (тоже Максим Максимович), полковник, участник Отечественной войны 1812 года, в течение двадцати пяти лет был предводителем дворян Харьковского уезда и фактически исполнял обязанности предводителя Харьковского губернского дворянства. Он отличался независимым нравом, считал службу при царском дворе ниже своего достоинства. Вполне в его духе был отказ от предложения представить его в камергеры. Максим Максимович был умен, красив, пользовался успехом у дам и женился уже пожилым человеком на молоденькой девушке на двадцать пять лет себя младше. Воспитание сына всецело взяла на себя мать, Екатерина Игнатьевна, так как отец был слишком занят делами по общественной службе и управлению хозяйством в имении. Судьба Ковалевского сложилась так, что ему не удалось создать собственную семью. На всю жизнь он сохранил горячую любовь к своей матери, женщине умной, необыкновенно сердечной, с развитым вкусом. Она была поклонницей оперного искусства, театра, ценительницей живописи, знатоком французской литературы. Именно матери, как считал сам Ковалевский, он был обязан удачным выбором первых книг для чтения, рано развившимся в нем интересом к истории и этнографии. До четырнадцати лет Ковалевский получал домашнее образование, затем поступил в пятый класс 3-й Харьковской гимназии. По окончании ее с золотой медалью в 1868 году он стал студентом юридического факультета Харьковского университета.

1860–1870-е годы в России были временем острых политических диспутов между сторонниками различных взглядов на обновление жизни. В студенческую пору Ковалевский — член кружка во главе с Е. Н. Солнцевой, занимавшегося культурно-просветительской работой, пропагандой идеи мирного постепенного прогресса. В значительной мере на мировоззрении Ковалевского сказалось его увлечение работами Г. Спенсера, О. Конта, Дж. Милля, изучение истории социальных идей, особенно тео-

рии «критического социализма» Прудона, согласно которой изменения в общественном строе должны происходить не путем насильственного переворота, а в результате постепенного изменения нравственных понятий людей, развития человеческой солидарности («взаимности», по Прудону). «Свобода», «равенство», «взаимность» — эти принципы, сформулированные Ковалевским в юности, определяли его взгляды и деятельность на протяжении всей дальнейшей жизни. На склоне лет Ковалевский с улыбкой вспоминал свой юношеский порыв, когда, желая дать внешнее выражение своим мыслям, заказал себе печать с выгравированными на ней тремя дорогими ему словами.

Многое в судьбе Ковалевского определила встреча с профессором Харьковского университета Д. И. Каченовским: «Это человек, зародивший во мне первые семена политического свободомыслия, давший мне первые сведения о конституционных порядках западноевропейских стран, вызвавший во мне желание посвятить себя проповеди тех начал гражданской свободы, местного самоуправления, народного представительства и судебной ответственности всех органов власти от высших до низших, исторический рост которых он так умело излагал в своих лекциях об английской конституции».

В 1872 году, по окончании университета, Ковалевский был оставлен для подготовки к магистерскому экзамену по государственному и международному праву. Вплоть до 1876 года он продолжал образование в Берлине, Париже, Лондоне, Вене. Сфера его интересов в этот период включала в себя конституционное право, историю французских и английских государственных учреждений, историю политических учений, первобытную культуру, этнографию.

Разнообразие исследовательской тематики объяснялось масштабностью замысла молодого ученого. Он поставил перед собой цель выяснить происхождение и проследить эволюцию основных общественных учреждений и институтов, различных форм общественного сознания и отношений (община, семья, собственность, государство, право, религия, мораль и так далее), а также определить закономерности и специфику перехода различных народов к гражданскому обществу и правовому государству. Реализуя данный проект на протяжении последующих лет, Ковалевский по сути создал собственную социологическую систему — «генетическую социологию». В ее основании — идея многофакторности общественных процессов, широкое применение историко-сравнительного метода при изучении законов социальной эволюции, особый интерес к такому явлению, как «коллективная психология».

Юношеское увлечение идеей развития человеческой солидарности переросло в стойкое убеждение, основанное на результатах научного анализа: общественное развитие ведет к постепенному углублению солидарности во взаимодействии между народами и социальными группами. Наглядным примером этой закономерности, по Ковалевскому, служит экономическая эволюция: переход от «хозяйства орды и племени» к «национальному хозяйству», а в будущем установление «всемирного хозяйства».

Вернувшись на родину, Ковалевский в 1877 году защитил в Москве магистерскую диссертацию «История полицейской администрации в английских графствах с древнейших времен до смерти Эдуарда I», а в 1880 году — докторскую диссертацию «Общественный строй Англии в конце средних веков». В 1877 году он доцент, с 1880 по 1887 год — профессор юридического факультета Московского университета по кафедре государственного права европейских держав.

В Московском университете Ковалевскому принадлежало, по общему признанию, одно из первых мест. Он был чрезвычайно популярен среди учащейся молодежи, разночинной интеллигенции, в литературных кругах. Дом Ковалевского являлся своеобразным культурным, духовным центром. Обычно по четвергам в его квартире собирался большой круг знакомых. Среди постоянных посетителей были профессора университета и других высших учебных заведений Москвы, члены редакций газеты

«Русские ведомости» и журнала «Русская мысль». К Ковалевскому приезжали из провинции, среди его гостей часто оказывались иностранные ученые, общественные деятели, путешественники. Бывали у Ковалевского и писатели — Л. Н. Толстой, И. С. Тургенев, Н. К. Михайловский, Г. И. Успенский. Секрет удивительной притягательной силы Ковалевского объяснялся во многом его выдающимися чисто человеческими качествами. Определяющей чертой его характера была терпимость, а жизненным кредо — слова немецкого поэта, лауреата Нобелевской премии Г. Гауптмана: «Терпимость — это религия будущего. Терпимость основана на уважении к ближнему, как к равному себе. Без терпимости нет свободы».

Преподавательская деятельность Ковалевского совпала с периодом контрреформ Александра III. Важнейшей задачей правительство считало насаждение в высшей школе «верноподданнических настроений». Автономия университетов после введения в 1884 году нового университетского устава была фактически уничтожена. Однако внешние обстоятельства не могли заставить Ковалевского отказаться ни от своих убеждений, ни от стремления активно распространять близкие ему взгляды. В своих лекциях Ковалевский ставил перед собой цель «подготовить россиян к конституции». Вместо требуемого программой «живого очерка самодержавия» Ковалевский с университетской кафедры фактически проповедовал основные принципы реформ, необходимых для России. Классовую борьбу он рассматривал как признак незрелости или, напротив, вырождения того или иного общественного строя. На примерах европейской истории он стремился показать опасность обострения социальных противоречий, неизбежно приводящего к революции. Отсюда вытекала и его политическая доктрина конституционной, или «народной», монархии («конституционализм, дополненный реформаторством»). В доносах на Ковалевского неоднократно подчеркивалось его «тлетворное» влияние на умы молодежи. Кампания против Ковалевского, начатая по инициативе министра народного просвещения И. Д. Делянова, завершилась увольнением его из университета 6 июня 1887 года.

После вынужденной отставки Ковалевский вскоре уехал из России. Период пребывания за границей (1887–1905) — еще одна блестящая страница его биографии. «Русский ученый, устраненный от кафедры в своем Отечестве, стал культурным „гражданином мира“, аккредитованным представителем передовой мыслящей России в умственных центрах Европы», — вспоминал известный литературовед Д. Н. Овсяннико-Куликовский.

Круг зарубежных знакомств Ковалевского постоянно расширялся. В него входили литераторы, ученые, государственные и общественные деятели. Однако «центром интереса» Ковалевского, по его собственному признанию, стала его «знаменитая одноподданница» С. В. Ковалевская, в то время профессор математики Стокгольмского университета. Именно ей Ковалевский был во многом обязан своим приглашением в 1887 году в Стокгольм для организации там преподавания общественных наук. Вместе они провели много времени в Швеции, позже в Англии, Франции, Италии, Швейцарии. Ковалевский подчеркивал, однако, что ему «в ее (Ковалевской. — Н. Х.) жизни приписана преувеличенная роль». «...Мы сошлись приятельски потому, что оба были одиноки на чужбине», — писал он.

Спустя год после прочтения курса лекций в Стокгольме Ковалевский был приглашен в Оксфорд и, таким образом, стал «первым русским, призванным говорить о России на английском языке, так как до этого времени приглашали немцев и датчан». Тематика его лекций в Европе и Америке включала в себя самые разнообразные темы, в том числе становление общества, права, морали, семьи, собственности, политических учреждений; историю экономического и социального развития Европы и так далее. Особый интерес западные слушатели проявляли к России — истории становления ее хозяйственного уклада, формирования государственно-правовых институтов.

В Европе Ковалевский жил на вилле, купленной им в конце 1880-х годов в окрестностях Ниццы, в Болье. Он искал необходимые материалы в библиотеках и архивах, читал лекции в Париже, Стокгольме, Оксфорде, Брюсселе, Сан-Франциско, Чикаго и так далее.

В годы пребывания за рубежом Ковалевский стал признанным авторитетом в мировой науке. Его многочисленные научные работы широко публиковались на Западе. В 1907 году он был избран членом-корреспондентом Французской академии. Он избирался также почетным членом Академии законодательств в Тулузе, почетным членом исторического общества в Венеции, членом Британской ассоциации наук; с 1895 года — вице-председателем, а с 1907 года — председателем Международного института социологии в Париже.

Очевидно, что научные интересы Ковалевского, хотя и формировались в большинстве своем на зарубежном материале, тем не менее служили и своеобразным ответом на запросы трансформирующегося русского общества. Откликом такого рода стало и увлечение Ковалевского идеей новой постановки высшего образования.

Он всегда предупреждал об опасности чрезмерной специализации обучения в ущерб общему образованию, проводил мысль о единстве науки, недопустимости какого-либо одностороннего подхода к изучению общества. Наиболее широко реализовать принципы свободы преподавания и самоуправления ему удавалось в 1901–1906 годах в русской высшей школе общественных наук, созданной им в Париже совместно с юристом, знатоком гражданского права Ю. С. Гамбаровым, социологом Е. В. де Роберти и другими. Школа должна быть вне политики — в этом Ковалевский был убежден, видя главную цель преподавания в подготовке широко и свободно мыслящих людей. Неизбежным следствием этого должно было стать не менее важное для Ковалевского и его единомышленников «смягчение резких противоположностей между крайними мнениями, сближение политических групп, способных действовать на общей почве».

М. М. Ковалевский возвратился в Россию в августе 1905 года, когда революция стремительно набирала силу. Не прошло и месяца после его приезда, вспоминал В. Д. Кузьмин-Караваев, «как имя его стало буквально каждый день встречаться на столбцах газет, — то в виде подписи под статьями, то как инициатора или организатора того или другого общественного дела... М. М. исключительно быстро сделался центром, к которому стремились люди, бесконечно разнообразные по положению, по убеждению, по профессии».

Характерная черта общественной жизни в России в начале XX века — вера в близость «новой эры» социальной справедливости, утверждения гуманистических начал. Предельно политизированное общество стремилось получить практические рецепты переустройства жизни. Ковалевский не мог не откликнуться на призыв жаждущей просвещения публики. Он считал своим профессиональным и гражданским долгом способствовать мирному, в демократическом русле, обновлению жизни, используя опыт Западной Европы. Тем более что, по его наблюдению, эволюция политического и экономического строя России поражала многочисленными аналогиями с прошлым народов европейского Запада.

Предвидеть проблемы, ожидающие Россию в недалеком будущем, по возможности сгладить их остроту рядом предупредительных государственных мероприятий — достижение этих целей, по убеждению Ковалевского, было невозможно без знания устоев русской национальной экономики, прежде всего аграрного строя, основанного на общинном землевладении. Ковалевский, опираясь на свой опыт изучения земских учреждений на Западе, пришел к выводу о том, что основой мелкой земской единицы (волости) в России должна стать именно преобразованная на демократических началах община.

«Я всей душой стремился очистить этот вопрос (об общине. — Н. Х.) от доктринерства и метафизики, проанализировать различные точки зрения и, кроме того, изучить судьбу подобных же учреждений в других странах» — так характеризовал Ковалевский свой научный метод. Выводы, к которым пришел ученый, были неоднозначны. Не случайно одни современники видели в нем критика общинных порядков, другие обвиняли в избытке «лиризма» по отношению к общине. «Я не боюсь признать справедливость этих двух мнений, которые ничуть друг другу не противоречат», — замечал Ковалевский.

Среди мер, которые Ковалевский еще до начала Столыпинской реформы предлагал предпринять в аграрной сфере, были: уменьшение налогового бремени на крестьянство, отмена круговой поруки, организация переселенческой политики, расширение сельскохозяйственного кредита, проведение своеобразной «национализации» дворянских земель, заложенных в банках, и предоставление этих земель (наряду с казенными) крестьянам в долгосрочную аренду, поддержка демократизации общинного землевладения на законодательном уровне и многое другое.

Выступления Ковалевского в печати касались и вопросов реформы государственного управления. Наиболее перспективной формой устройства государства, определившей политическое развитие в XIX веке, Ковалевский считал *представительную демократию*, основанную на самоуправлении народа (парламентаризме) и равенстве всех граждан перед законом. Движение России в сторону утверждения представительной демократии Ковалевский, как либерал-эволюционист, предполагал через целый ряд последовательных изменений, рассматривая в качестве необходимого начального этапа конституционную монархию.

М. М. Ковалевский органично сочетал в себе качества ученого-энциклопедиста и политика-прагматика. С высоты своего научного знания он, может быть, как никто другой из российских политиков, понимал, сколь трудным и длительным будет путь России от самодержавия к демократии. Ковалевский, по нашему мнению, представлял собой выкристаллизовавшийся в событиях русской Смуты начала XX века новый тип политика, не понятый большинством современников (что, заметим, вовсе не умаляет ценности его опыта). Это тип умеренного либерала-демократа, политика-центриста, высшей ценностью для которого является «общественная солидарность», а руководством к действию — здравый смысл и забота об «общем благе».

По отзывам современников, Ковалевский по возвращении на родину «стал знаменем, символом русской культуры и всех русских культурных начинаний». Ему была свойственна безграничная вера в силу просвещения и культуры, их спасительную миссию. В разговоре с друзьями он сказал как-то: «Я не сомневаюсь в том, что гораздо действительнее писать статьи, чем бросать бомбы...» Ковалевский всегда старался следовать наставлению Иоанна Златоуста: «Убеждай с кротостью». «Можно ненавидеть ложное учение, но не человека, его исповедующего. Любовь — высшая учительница; она одна может содействовать освобождению людей от заблуждения».

В сентябре 1905 года Ковалевский, как человек, «никогда не изменявший либеральному знамени», был приглашен участвовать в съезде земских и городских деятелей, состоявшемся в Москве. Разделяя позицию съезда о необходимости расширения полномочий Государственной думы и упрочения гражданских и политических свобод, Ковалевский выступил с особым мнением по аграрной программе. На первый план при решении вопроса об утолении земельного голода крестьян он ставил правильно организованную переселенческую кампанию, а также «широкое наделение казенными землями, принудительный выкуп одних латифундий, ничем не стесняемую свободу самим крестьянам переходить от общинного к подворному или семейному пользованию».

В ноябре 1905 года Ковалевский принял участие в очередном земском съезде. Его откровенное заявление о том, что республика кажется ему в России так же мало мыс-

лимой, как монархия во Франции, снова встретило осуждение многих радикальных делегатов съезда.

Восприняв близко к сердцу свой «полууспех» на родине, Ковалевский уехал из России в Париж. В письме к своему давнему другу А. И. Чупрову от 14 декабря 1905 года он так описывал ситуацию в России, пережитую им недавно: «Я вынес впечатление дома умалишенных, в котором одни стачечники знают, что делают, а революционеры к ним примазываются, уверяя, что они пахали... Либеральные земцы все протягивают руку налево... Вся эта либерально-демократическая комедия... производит впечатление сплошной мерзости. Господа эти всего боятся — даже того, чтобы называть вещи по имени: бунт матросов — бунтом, а грабеж усадеб — грабежом. Я тщетно предлагал им в бюро подобного рода резолюции. У них не хватает смелости принять их».

Отголоском всего этого, по выражению Ковалевского, «бедлама» стало поведение русской колонии в Париже. «По моем приезде студенты школы попросили меня прочесть им лекцию о русских событиях, а затем потребовали от меня отчета, как я смею не быть республиканцем в России. Лекция закончилась аплодисментами и свистками... Я прекратил чтения, и школа закрыта не то временно, не то навсегда. И к лучшему. Теперь уже никто не хочет учиться, и все заняты только тем, чтобы внедрять в других честные убеждения клеветой и физическим насилием. Красные хулиганы стоят черных...»

Пребывание Ковалевского в Париже в 1905–1907 годах оказалось недолгим. Сложные перипетии общественной жизни втянули его в круговорот событий на родине. Вернувшись вскоре в Петербург, Ковалевский, по его словам, «сразу очутился в центре всего движения». Первым делом он основал в Петербурге газету «Страна», издававшуюся с февраля 1906 по январь 1907 года. В редакции активно работали приглашенные Ковалевским профессор политэкономии И. И. Иванюков, видный экономист А. С. Посников, правовед Ю. С. Гамбаров, известный в России либеральный публицист К. К. Арсеньев, литературоведы Н. А. Котляревский и Д. Н. Овсяннико-Куликовский. К тому времени большинство членов редакции уже состояло в недавно созданной Партии демократических реформ (ПДР). Ковалевский примкнул к этой партии и принял активное участие в разработке ее политической программы. Газета «Страна» стала фактически органом партии.

Достоинным поприщем для Ковалевского как политика и общественного деятеля могла стать Государственная дума. Работа в комиссиях первого русского парламента предоставляла возможность оказывать непосредственное влияние на формирование государственной политики. Посоветовавшись с В. О. Ключевским, политические воззрения которого были ему близки, Ковалевский принял решение выставить свою кандидатуру в Думу от Харьковской губернии. Ситуация для избрания складывалась благоприятно. Ковалевский вспоминал: «Так как никто особенно не стремился сделаться депутатом, опасаясь, как бы не навлечь тем самым на себя беды, то отношение было более или менее следующее: хочешь лезть в петлю, ступай — мы тебе препятствовать не будем».

Выступления Ковалевского в I Думе начались с обсуждения адреса в ответ на тронную речь царя в день открытия народного представительства 27 апреля 1906 года. Исходя из опыта западных демократий, Ковалевский предлагал включить в ответный адрес выражение признательности монарху со стороны народных представителей за дарованную им возможность участия в законодательной деятельности. Одновременно он настаивал на необходимости включения в адрес выражения готовности Думы к рассмотрению возможно большего числа государственных вопросов, в частности внешней политики России.

С каждым днем работы I Думы крупная фигура Ковалевского все чаще появлялась за думской кафедрой. «С верхних скамей, на которых я расположился с прочими членами от Харьковской губернии, меня пригласили пересесть на нижние, чтобы не тратить времени и быть поближе к трибуне», — вспоминал Ковалевский. «Учитель-де-

путат» — так отзывались о нем соратники. Неоднократно в заседаниях Ковалевский выступал со справками по истории парламентаризма и практике народных представительств в западных странах. Эти речи часто вызывали неоднозначную реакцию среди депутатов как «справа», так и «слева».

Независимость Ковалевского от какой-либо партийной программы (по выражению Милюкова, его «недисциплинированность») часто проявлялась в ходе думских заседаний. Так, пытаясь приостановить применение смертной казни на то время, пока соответствующий законопроект прорабатывается в Думе, Ковалевский предложил депутатам обратиться с соответствующей петицией к царю. «Кадеты и трудовики почему-то сочли унижительной форму петиции, но я нашел поддержку в более консервативной части Думы», — вспоминал Ковалевский. Собрав несколько тысяч подписей, он отвез петицию в Петергоф — летнюю резиденцию Николая II. «Никакого ответа на нее не последовало», — констатировал Ковалевский.

Речи Ковалевского в Думе часто служили ему материалом для газетных статей в «Стране». Желая оказать воздействие на ход прений, он бесплатно рассылал свою газету многим депутатам без различия партий. «Кадеты относились ко мне с оглядкой, не всегда уверенные в том, что я буду голосовать с ними в унисон», — писал Ковалевский. Тем не менее леволиберальная Дума выбрала Ковалевского руководителем и членом многих парламентских комиссий. Он, например, возглавил комиссию по составлению закона о личной свободе. Ею было принято предложение Ковалевского придерживаться в своей деятельности английской системы Habeas corpus. Он был также членом комиссий по составлению законопроектов о гражданском равноправии, свободе собраний и так далее. Ковалевский являлся горячим сторонником политической амнистии, неоднократно высказывался в Думе в защиту прав печати.

Известие о роспуске I Думы настигло Ковалевского в Лондоне, куда он прибыл во главе думской делегации на конференцию Межпарламентской ассоциации мира. Политическая деятельность Ковалевского в России получила высокую оценку и признание международной общественности. «Когда бюрократическое самодержавие превратится в конституционную монархию, когда революция уляжется и начнется эволюция, Максим Ковалевский будет фигурировать в первом ряду обновителей русского отечества», — отмечалось в парижском издании «Век» в мае 1906 года.

По возвращении в Россию Ковалевский отказался поддержать радикально антиправительственное Выборгское воззвание, инициированное кадетами. По словам Ковалевского, иное решение лишило бы его перед собственной совестью права считать себя доктором по государственоведению. «Никто из специалистов этой науки не может допустить призыва подданных к неплатежу налогов и к отказу нести воинскую повинность», — заявлял Ковалевский.

Вместе с тем он осудил роспуск I Думы и считал неприемлемым для общественных деятелей вхождение в состав правительства, возглавляемого Столыпиным. Ковалевский ответил письменным отказом на приглашение Столыпина участвовать в политическом рауте у него на дому, мотивировав свое решение тем, что этот вечер, предшествующий началу судебного процесса против «выборжцев», он намерен провести со своими товарищами по I Думе. Столыпин счел себя крайне задетым этим письмом, текст которого вскоре стал общеизвестным и обошел столичную и провинциальную печать. Позднее, 18 декабря 1907 года, в день окончания суда над «выборжцами», Ковалевский устроил у себя собрание представителей различных партий «с целью выразить сочувствие осужденным».

На выборах во II Думу Ковалевский потерпел неудачу. Он считал ниже своего достоинства «корректировать» убеждения в зависимости от ситуации, и его принципиальная, демократическая позиция по аграрному вопросу показалась землевладельцам Харьковского уезда настолько революционной, что они открыто стали агитировать

против, используя также недоброжелательное отношение к Ковалевскому правительственных кругов. В итоге Ковалевскому не хватило трех голосов, чтобы пройти в выборщики от Харьковской губернии.

Возвратившись в Петербург, Ковалевский принял предложение П. Б. Струве выставить свою кандидатуру от Петербурга по кадетскому списку. Ситуация на этот раз складывалась поначалу благоприятно для Ковалевского. Однако выбор его от Петербурга вскоре был кассирован властями под тем предлогом, что ему недостает нескольких дней для того, чтобы считаться проживающим в Петербурге полный год.

Не имея возможности попасть в Думу, Ковалевский связывал надежды на продолжение своей общественной деятельности с участием в работе Государственного совета. Несмотря на сопротивление властей, 8 февраля 1907 года он был избран членом верхней палаты парламента от академической курии. В Государственном совете Ковалевский стал лидером «прогрессивной группы», куда входили либерально настроенные представители науки, юриспруденции, торговли.

Роспуск II Государственной думы Ковалевский воспринял как личную трагедию. «Нигде, кажется, не найду убежища от тягостного чувства, что дело свободы в России проиграно, — писал он А. И. Чупрову, — что желание одних всякими средствами добиться сразу создания социальной республики и неискренность других привели к восстановлению порядков Плеве. Долго ли еще предстоит мне лаяться в Петербурге, не знаю. Столыпинская банда меня терпеть не может, черносотенцы, разумеется, идут так же далеко в своей ненависти. А так как ближайшее будущее принадлежит тем или другим, то мои дни в России сочтены».

Современники особо отмечали речи Ковалевского в Государственном совете по вопросам судебной реформы, где он выступал сторонником суда присяжных, отстаивал принцип подсудности должностных лиц на общих основаниях. Позиции здравого смысла определяли его подход к решению проблем национально-государственного устройства, в основе которого — принцип равенства всех граждан перед законом и необходимость обеспечения интересов России как единого целого.

Ковалевский продолжал активно заниматься и научно-преподавательской деятельностью. В марте 1914 года он был избран действительным членом Российской академии наук по отделению политических наук. Массу времени и сил отнимало у Ковалевского его участие в деятельности огромного количества общественных организаций.

Начало Первой мировой войны застало Ковалевского в Карлсбаде, где он лечился. Такой поворот событий в международных отношениях явился для него, всю жизнь верящего в то, что «разум управляет миром», тяжелым ударом. Австрийские власти интернировали Ковалевского; немецкая печать отзывалась о нем как об «опасном русском панслависте». Благодаря усилиям международной общественности Ковалевский был освобожден и в феврале 1915 года вернулся в Россию.

С осени 1915 года у него стала стремительно развиваться болезнь сердца. Превозмогая недуг, 10 февраля 1916 года Ковалевский в последний раз выступил с речью в Государственном совете в защиту законопроекта о подоходном налоге, отстаивая интересы малоимущих слоев населения. Тревога за его здоровье проникла в прессу и общество. В газетах появились официальные бюллетени о ходе болезни. Отовсюду в его дом шли телеграммы и письма с пожеланиями здоровья.

Скончался Ковалевский 13 марта 1916 года. Похороны, в которых приняли участие десятки тысяч людей, носили грандиозный характер. На улицах Петрограда, по которым двигалась траурная процессия, направлявшаяся к Александро-Невской лавре, пришлось приостановить движение транспорта. На гранитном памятнике, установленном на могиле Ковалевского, высечена надпись: *«Историку и учителю права, борцу за свободу, равенство и прогресс».*

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ СТАХОВИЧ:
*«Мне приходится жить, думать
и говорить так несвоевременно...»*

АЛЕКСЕЙ КАРА-МУРЗА

«Он был очень талантлив... Из него мог бы выйти крупный политик, но он за этим не гнался. Беспечный, жизнерадостный, он не искал популярности... Этот даровитейший человек так и прошел через жизнь, не выявив себя. Это часто бывало с такими, как он, талантливыми, но не целеустремленными русскими людьми». Так написала о Михаиле Стаховиче в своих мемуарах известная русская публицистка А. В. Тыркова. Ей вторит в своих воспоминаниях и депутат II–IV Дум В. А. Маклаков: «Перед ним (Стаховичем. — А. К.) была блестящая будущность, но карьера его не прельщала... Его разносторонность, жажда жизни во всех проявлениях (жизнь есть радость — говаривал он), избалованность (баловала его и судьба, и природа), вечные страстные увлечения и людьми, и вопросами в глазах поверхностных наблюдателей накладывали на него печать легкомыслия».

Суждения Тырковой и Маклакова, при всей их человеческой точности, сегодня представляются уже не вполне исторически справедливыми. О «нереализованности» Стаховича можно, конечно, говорить в чисто житейском смысле: он умер сравнительно нестарым, в 62 года (например, Маклаков и Тыркова дожили соответственно до 88 и 93 лет!). Если же говорить о политике, то тогда к «неудачникам» следует отнести все поколение первых российских парламентариев... Со временем, мне думается, верх возьмет принципиально иная интерпретация жизни и деятельности этого человека — как одного из самых цельных политиков и мыслителей своей эпохи. Другое дело, что «время Стаховича», время открытой и нравственной политики в России еще не наступило. Когда оно все же наступит, парламентский опыт столетней давности депутата Михаила Стаховича станет, надо надеяться, предметом самого внимательного исследования.

В биографии Михаила Александровича (1861–1923) случилось немало ярких событий, но некоторые из них, как он сам рассказал в своих эмигрантских мемуарах, на всю жизнь сформировали его взгляды и принципы... В тот год, когда умер Достоевский и был убит Александр II, двадцатилетний Михаил Стахович учился в 11-м классе Училища правоведения в Петербурге. О смерти писателя на утренних занятиях рассказал известный юрист А. Ф. Кони, а затем прочел импровизированную лекцию о романе «Преступление и наказание». Впоследствии Стахович много общался с Кони и даже заседал вместе с ним в Государственном совете, но ту растянувшуюся не на один час лекцию запомнил навсегда. Метафизика преступления и наказания в России — вот что захватило в рассуждениях мэтра юриспруденции двадцатилетнего студента, который позднее, по свидетельству многих современников, сам поднял профессиональное ремесло правоведа до высот политического пророчества... Через два дня, на похоронах Достоевского юный Стахович нес венок от Училища.

...А 1 марта 1881 года ему чудесным образом удалось пробраться в Зимний дворец, где он, поплутав немного (позднее Стахович, камергер двора, станет легко ориен-

тироваться в царских резиденциях), оказался в «фонаре» — спальне государя императора, который, смертельно раненный бомбой террористов, в тот момент, исповедовавшись, отходил. Тогда в память молодого человека прочно впечаталось беспомощное выражение лица наследника... В конце жизни выброшенный революцией из России Стахович напишет: «Теперь, стариком и удалившись от деятельности, но обдумывая все то, что я так близко знал, я прихожу к заключению, что фактическим виновником теперешнего ужаса, исходной его причиной является честнейший, чистейший и до самозабвения любивший Россию, может быть, самый русский из царей после Петра Великого — Александр III... Это был добрый и чистый человек... на службе и в обиходе всегда прямой, он, словом, мог бы громко и всенародно исповедоваться на Красной площади... Это был лучший и честнейший, нет, даже чистейший человек из 160 миллионов своих подданных. Но это был вреднейший царь, погубивший династию Романовых».

Эти слова ясно демонстрируют всю ограниченность досужих рассуждений о «либеральных славянофилах» (к которым, несомненно, принадлежал Стахович) как о политиках, приверженных идее лишь личного нравственного совершенствования в противовес совершенствованию политических институтов. Для Стаховича принципиальна не просто *человеческая*, но еще и *политическая нравственность* как способ адекватной реакции политика на общественные обстоятельства. В этом смысле *политическая безнравственность* Александра III не могла быть компенсирована никакими личными достоинствами. И наоборот, при всей своей неряшливости в личной жизни, его отец Александр II в звездные часы своего реформаторства представлял собой образец высокой политической нравственности.

Через несколько дней после убийства Александра II студент Стахович попал на публичную лекцию философа Владимира Сергеевича Соловьева в огромном зале санкт-петербургского Кредитного общества. «Теперь, через сорок лет, я уже не припомню ее содержания, — написал в эмиграции Михаил Александрович. — Он говорил о переживании общественного духа за этот кошмарный месяц; об общем негодовании и возмущении перед отвратительным царубийством; о подробностях, выясненных на суде; наконец, об ужасе этого ожидания пятиголовой казни. Не только красноречива и благородна была его речь, но она звучала какой-то строгостью и восторгом пророка, когда он доказывал, что казнь не искупит преступления, потому что греха нельзя загладить наказанием, а превзойти его можно только милосердием и жалостью; чтобы действительно стать выше преступников, надо... помиловать». Запомнились не столько конкретные слова, сколько выражение лица оратора, общий вид переполненного зала и собственные переживания: «Мы были объединены все в это время и негодованием к царубийцам, и горем о погибшем, всеми любимом Царе. Но Соловьев заразил нас, проник до самой глубины души нашей, заставил почувствовать, что есть правда сильнее всякого зла, выше всякого горя. Что и отдельный человек, и совокупность толпы, и целый народ могут к ней приобщиться и по ней решить».

С Владимиром Соловьевым Стахович позднее сошелся довольно близко, неоднократно лично выражал восхищение его сочинениями (особенно «Три разговора»), но тот вечер в зале Кредитного общества остался для него особым воспоминанием: «Много я потом переживал сенсационных событий и сильных впечатлений, но никогда меня так не потрясла публичная речь, как эта». Пройдет четверть века, и депутат Государственной думы М. А. Стахович будет тщетно призывать политически разделенную и тонущую в крови Россию к взаимному всепрощению...

В 1882 году талантливый, но довольно легко живущий юноша, смутно грезивший об общественном призвании, окончил Училище правоведения. «В наказание за сделанные в Правоведении две или три тысячи долгу, — вспоминал он, — отец приказал мне поступить на казенную службу, а не разрешил поселиться в Пальне (родовом име-

нии Стаховичей под Ельцом. — А. К.). Я поехал в Ковно, где еще были дореформенные суды, и за 11 месяцев перебивал секретарем прокурора суда, и.о. судебного следователя, потом и.о. товарища прокурора... Но в ноябре 1883 года отец меня простил и разрешил осуществление моей мечты — не служить, а быть общественным деятелем... Жить на людях и для людей». Он поставил сыну единственное условие: работать только «по выборам», то есть быть деятелем *избранным*, а не назначенным.

Отцовская педагогика, профессиональный опыт, а главное, постоянное самообразование приносили свои плоды. В 1883–1892 годах Михаил Стахович — елецкий уездный и орловский губернский земский гласный; в 1892-м — елецкий уездный предводитель дворянства, а в 1895-м, всего в 34 года, — орловский губернский предводитель.

На рубеже веков окончательно сформировались и общественно-политические взгляды М. А. Стаховича. Идеальным политическим порядком было для него время реформ Александра II. И главное здесь — не личные качества Царя-Освободителя, а особый характер взаимоотношений власти и общества. «Правительство критиковали, но ему верили и, вечно споря, старались сговориться и помогать. Понимали инстинктивно, что бороться можно с правительством, а не с государством, которое должно охранять и которое не может обойтись без первого». Но этот «общественный инстинкт» существовал не сам по себе, а подпитывался, в свою очередь, демонстрацией доверия власти к обществу. К несчастью для России, это состояние взаимной поддержки оказалось утрачено в ходе двух последних царствований: «Ненависть к правительству распространилась на самое понятие государственной власти. Оппозиция была уже не тактическим приемом, а казалась самодовлеющей политической целью... обессилить их, свалить — хуже не бывает, мол... Умные предчувствовали, что может быть еще гораздо хуже; но сдерживать раздражение перед постоянным в течение 35 лет, систематичным и всесторонним преследованием всякого прогресса, перед постоянно демонстрируемым пренебрежением к общественному мнению, нуждам и желанию масс стало невозможным. Борьба перешла уже в войну и приобрела стихийный характер». При этом главная вина за углубляющийся общественный раскол лежала на правительстве: «Невозможность в будущем бороться со стихийным движением, все нараставшим в народе, создавало правительство». Подобная логика политического анализа — «фирменный» стиль либерала-государственника Стаховича: будучи сам представителем национальной элиты, он основную ответственность за русские неурядицы всегда возлагал на верхи общества, на «своих», а не на народ.

Основная тема политических размышлений Стаховича — вопрос о принципах и методах «правильного правления». Политическая нравственность власти состоит в умении содействовать развитию системы общественного самоуправления. Ибо без самоуправления возможны только два состояния — полицейщина и анархия. Два последних российских императора, в силу своей «политической безнравственности», явно тяготели к полицейщине и, утешаясь иллюзией временного упорядочивания, ввергли в итоге страну в пучину анархии. «Управлять массами можно, только организовав их и доведя организацию постепенно до центра... Систематически в течение 35 лет правительство не разрешало и прямо разрушало все попытки общественных организаций, все равно, в какой бы ни было области: не только в политической, но хозяйственной, экономической, социальной, художественной, даже научной, даже религиозной... А путь от народа, общества и к всемогущей власти не был постепенным, организованным, а иногда совсем пустым, но чаще полным с одной стороны подозрительностью, с другой — предубеждением, делающим сотрудничество страны и власти невозможным. Неорганизованная масса в 180 миллионов, как и всякая масса, впрочем, может подчиняться только двум выражениям власти: или полиции, или анархии.

Все промежуточное уже нуждается в организованности. 3/16 марта 1917 года с отречением Николая II рухнула полиция тогдашней России. *Tertium non datum* [третьего не дано, лат.]».

Однако заключительный акт исторической драмы России начался задолго до отречения последнего царя — с убийства Александра II и отказа Александра III подписать подготовленный отцом Манифест о введении выборного Государственного совета в качестве совещательного органа. «Это была умная и осторожная попытка повести Россию эволюционным путем к неизбежному в наше время представительному правлению, — говорил Стахович о нереализовавшихся планах Александра II. — Конечно, этот новый порядок привел бы постепенно до ограничения самодержавия, к конституции. Но именно в постепенности и заключался бы спасительный для народов путь неизбежной эволюции, а не отвратительный, при ее отсутствии, путь революции».

Пришедшая к власти после гибели Царя-Освободителя группировка во главе с К. П. Победоносцевым, графом Д. А. Толстым, князем В. П. Мещерским и др. сформулировала и сумела привить новому царю «совершенно вымышленное обвинение всей России в грехе цареубийства»: «Ее объявили и виноватой, и больной, стали лечить строгим режимом реакции и стали пичкать все время такими сильнодействующими лекарствами, в которых она совсем не нуждалась, но от которых ее лихорадило все сильнее и сильнее... Этот эффект ненужного лечения выдавали за безошибочный диагноз опытных и любящих врачей и все усиливали дозы». Безнравственность враждебного России курса правящей верхушки вынудила государственника М. А. Стаховича перейти в ряды либеральной оппозиции.

Всероссийскую известность губернский дворянский предводитель Стахович получил в 1901 году в связи с прочитанным им на Миссионерском съезде в Орле докладом о свободе совести. В нем он открыто выразил свое неприятие распространенной практики религиозного принуждения и дискриминации иноверцев. Оратор в полемической форме постарался защитить свою идею: никакое насилие не способно вызвать любовь к Богу, и лишь полная свобода вероисповедания может благотворно содействовать популяризации и распространению православия. «Меня спросят, — говорил он, — чего же вы хотите? Разрешения не только безнаказанного отпадения от православия, но и права безнаказанного исповедания своей веры, то есть совращения других? Это подразумевается под свободой совести? Особенно уверенно среди вас, миссионеров, я отвечу: да, только это и называется свободой совести... Запретной пусть будет не вера, а дела; не чувства, а поступки, ущербы, изуверство — все то, что уголовный закон карает».

Эта речь, опубликованная в «Орловском вестнике», была перепечатана в столичных «Санкт-Петербургских ведомостях», «Московском обозрении», «Миссионерском обозрении» и т.д. Живший тогда во Флоренции известный театральный деятель князь С. М. Волконский заметил сначала ссылки на речь Стаховича в иностранной прессе, а затем уже начал собирать все связанные с ней материалы. В своих мемуарах он вспоминал: «Его речь прокатилась из конца в конец земли русской; она произвела впечатление бомбы... Буря, поднявшаяся вокруг этой речи, длилась более двух месяцев и, к сожалению, утихла, прекращенная цензурными распоряжениями».

В развернувшейся в России дискуссии приняли участие такие выдающиеся деятели, как Л. Н. Толстой, Д. С. Мережковский, Н. Ф. Федоров, Н. А. Бердяев. Активно против выступил протоиерей Иоанн Кронштадтский: «В наше лукавое время появились хулители святой церкви, как граф Толстой, а в недавнее время некто Стахович, которые дерзнули явно поносить учение нашей святой веры и нашей церкви, требуя свободного перехода из нашей веры и церкви в какие угодно веры... Нет, невозможно предоставить человека собственной свободе совести, потому что он существо падшее и растленное».

Речь Стаховича использовал против него и небезызвестный С. А. Нилус (впоследствии издатель «Протоколов Сионских мудрецов») — тоже орловский помещик, выпускник юридического факультета, ярый черносотенец. Он давно выбрал своего соседа по имени мишенью для нападок, еще в 1899 году публично обвинив его в «безверии»; неоднократно выступал он и против всех либеральных земцев, «бессознательно играющих в руку единственно искреннему космополиту — еврею и родному его брату, армянину». Критикуя речь Стаховича на Миссионерском съезде, Нилус на страницах «Московских ведомостей» назвал его «российским Дантоном или Робеспьером».

Свое сложное отношение высказал и философ В. В. Розанов: «Речь г. Стаховича, может быть, независимо от прямого намерения оратора, забрасывает семена нравственной подозрительности на деятелей миссии. „Вы притеснители, а не христиане“, — говорит смысл его слов. Речь его была только по виду предложением, а на самом деле она была судом и осуждением». Впрочем, В. В. Розанов не мог не признать, что в словах Стаховича «есть своя правда», и выразил уверенность, что «лучшие пожелания г. Стаховича исполнятся: но исполнятся в созидательных целях, в целях религиозного строительства».

В начале века Михаил Александрович становится активным деятелем общероссийского либерального движения, непременным участником земских совещаний и съездов. В 1902 году он, носящий высокий чин камергера императорского двора (с 1899-го), получил за свою оппозиционную активность на этом поприще «высочайший выговор». Вместе с тем в намечающемся размежевании русского либерализма на радикальное и умеренное крылья Стахович стал одним из лидеров умеренных — вместе с Д. Н. Шиповым, графом П. А. Гейденем, князем Н. С. Волконским. Он отрицательно относился к радикализму эмигрантского журнала «Освобождение» во главе с П. Б. Струве, к излишней, по его мнению, политизации либерального кружка «Беседа», единственно возможную программу которого определял как «борьбу с бюрократизмом во имя поднятия принципа самодержавия».

В 1904 году в журнале «Право» была напечатана сильная статья М. А. Стаховича (ранее запрещенная цензурой в «Орловском вестнике») по поводу нанесения полицией Орла смертельного увечья ни в чем не повинному мусульманину-сарту, направлявшемуся в Мекку. За эту статью номер «Права» конфисковали, а статья вышла в заграничном «Освобождении». Ответом на нее стала публикация в официозном «Гражданине» статьи князя В. П. Мещерского — одного из самых влиятельных идеологов России. Еще при жизни Александра II князь публично объявил своей целью «поставить точку реформам», после чего наследник-цесаревич Александр Александрович был вынужден разорвать с ним отношения. Однако после воцарения Александра III эти отношения не только восстановились, но и укрепились. Мещерский сохранил позиции и при Николае II: именно его влиянию приписывалось назначение министром внутренних дел реакционера В. К. Плеве после убийства в мае 1902 года Д. С. Сипягина.

В «Гражданине» Мещерский обвинил Стаховича в намерении «бросить обвинительную тень на административную власть» и в «сотрудничестве с революцией». Он нашел в его статье «оскорбление патриотизма, почти равное писанию сочувственных телеграмм японскому правительству»: в условиях войны с Японией это обвинение выглядело особенно сильным. Вопрос стоял принципиально, и группа молодых правоведов-либералов решила нанести контрудар по князю Мещерскому, подав на него в суд за клевету. В заседании Петербургского окружного суда 22 ноября 1904 года интересы Михаила Александровича (который находился в то время на маньчжурском участке военных действий во главе санитарного отряда от орловского дворянства) защищали мэтр русской адвокатуры Ф. Н. Плевако и ее восходящая звезда В. А. Маклаков, товарищ Стаховича по либеральным кружкам и совместным «паломничествам» в Ясную Поляну к Толстому.

Плевако не стал делать акцент на юридической стороне дела: он произнес яркую политическую речь, обвиняя Мещерского не столько в клевете, сколько в «извращенном понимании патриотизма». Напомнив суду, что Мещерский упрекнул Стаховича в «сочувствии японцам», адвокат заявил: «За это отрицание в Стаховиче права быть русским и любить более всего на свете свое князю Мещерскому отомстила судьба, и как отомстила! Многие русские люди пошли на японскую войну добровольцами. И что же: имени патриота князя Владимира Петровича Мещерского мы не находим там... Но среди святых граждан и гражданок страны внесено имя Михаила Стаховича». Завершалась эта блестящая речь так: «Нет, сколько бы ни исписал бумаги князь, не краснеющий и бесстрастный, он не докажет честно мыслящим русским людям, что нежелательны Стаховичи и нужны только Мещерские. Довольно с нас и одного Мещерского, дай Бог побольше таких людей, как Стахович! Тогда мы встретим их и на ратном поле, умирающими за родину, и в лазарете, утоляющими раны и боли мучеников, и в мужах совета, говорящими смелую правду». В результате нашумевшего процесса «Стахович против Мещерского» либеральная общественность получила полное удовлетворение: влиятельный реакционер и личный конфидент императора был осужден за клевету к двухнедельному аресту на гауптвахте. Правда, через некоторое время, после того как высшая власть несколько опомнилась, более высокая инстанция оправдала князя.

Всероссийская популярность общественного деятеля М. А. Стаховича была в первые годы нового века настолько велика, что в революционном 1905-м в верхах обсуждался вопрос о привлечении его на крупную правительственную должность в «кабинете общественного доверия». С ним, наряду с другими умеренными либералами (Д. Н. Шиповым, А. И. Гучковым, князем Е. Н. Трубецким, князем С. Д. Урусовым), вел переговоры премьер-министр граф С. Ю. Витте, который потом вспоминал: «Стаховича я ранее порядочно знал. Это очень образованный человек, в полном смысле *gentilhomme* [благородный дворянин, *фр.*], весьма талантливый, прекрасного сердца и души, но человек увлекающийся и легкомысленный русской легкомысленностью, порядочный жуир. Во всяком случае, это во всех отношениях чистый человек». Судя по всему, Витте приглашал его в качестве надежного посредника для контактов с другими, более интересовавшими его фигурами, нежели на какой-либо солидный пост. Михаил Александрович, скорее всего, и сам понимал это: будучи уверенным в своей победе на уже объявленных выборах в I Думу, он отклонил предложение войти в правительство.

Активную роль сыграл М. А. Стахович на Первом Всероссийском съезде партии «Союз 17 октября», состоявшемся в театральном зале московского «Охотничьего клуба» 8–12 февраля 1906 года. В первый день съезда лидер октябристов А. И. Гучков произнес характерные слова: «В наших рядах мы имеем таких видных общественных деятелей, как Д. Н. Шипов, М. А. Стахович (*бурные аплодисменты*). Д. Н. Шипов одним из первых начал борьбу с правительством за право участия народа в законодательной деятельности; М. А. Стахович первым возвысил голос за свободу совести. А это было еще в то время, когда и говорить о таких предметах, и аплодировать — так, как вы сейчас аплодируете, — было не так удобно и безопасно. Вы помните, какими репрессиями встречало правительство самые робкие попытки протеста против своего неограниченного самовластия».

9 февраля Михаил Александрович выступил на съезде от имени ЦК партии по вопросу об отношении «Союза 17 октября» к внутренней политике правительства. Доклад произвел на слушателей сильнейшее впечатление. На следующее утро в газетном отчете было сказано: «М. А. Стахович вместо обычного сухого доклада всех российских съездов и заседаний произносит горячую проникновенную речь, электризирующую все собрание». А один из делегатов сказал: «Мы слышали из уст М. А. Стаховича не речь оратора, но апостольскую проповедь».

Выступление строилось на доказательстве внешне парадоксальной, но глубоко выношенной идеи: существующий в России внеправовой «приказный строй» разрушает подлинную государственность. «Унижения и позор на Дальнем Востоке, революционные движения и аграрные беспорядки внутри России, разоряющие ее благосостояние забастовки — все это результаты преступной деятельности отжившего приказного строя. Во всем этом нельзя не видеть ослабления государственной власти». Вопреки как реакционерам-охранителям, так и революционерам-разрушителям докладчик защищал тезис о необходимости правового укрепления государственной власти: «Я говорю не о той власти, которая без суда и следствия высылает, арестует и гноит в тюрьме тысячи и десятки тысяч людей и возмущает и душит всю страну своими насилиями и произволом, вызывая общее раздражение и негодование... Нет! Я говорю о той государственной власти, которая составляет оплот государству — этому огромному корпусу, соединяющему в себе столько противоречивых требований и стремлений. Я говорю о той твердой власти, которая не только не дает опрокинуться государственному судну, но и предотвращает его излишнюю качку. И отсутствию этой власти мы во многом обязаны проявлениями всевозможных бесчинств, насилий и беззаконий, имеющих место за последнее время. Весь пережитый нами период революции есть прямое последствие ослабления в России авторитета государственной власти».

Ослабляет государство, по мнению Стаховича, и затягивание созыва народного представительства: «Правительство обязано было подчиниться воле Государя о скорейшем созыве Думы. Плохая, несовершенная Дума, но должна была быть созвана немедленно». Он отмел отговорки членов кабинета министров, будто дарованные царем свободы не могут быть осуществлены до тех пор, пока не прекратится революционное движение, — напротив, неправовые репрессии сами провоцируют смуту: «Мы понимаем, что вооруженное восстание нельзя подавить увещеваниями и лекциями, что его можно подавить только вооруженной силой... Но, водворив порядок, правительство обязано тотчас же, немедля прекратить всякое насилие, к которому вынуждено было прибегнуть, нарушив тем самым священные основы гражданской и политической жизни страны. После подавления вооруженного восстания насилие со стороны правительства не находит себе никаких оправданий. А между тем мы видим, что необузданный произвол и насилия со стороны правительства продолжают повсеместно, где не было даже никакого вооруженного восстания. Мы видим, что к революционерам причисляются миллионы русских граждан, что правительство хочет осилить всю Россию, недовольную его незаконной деятельностью и протестующую против произвола и насилий с его стороны. И, видя все это, мы должны сказать правительству: после Манифеста 17 октября вы не смеете делать этого! Вы не смеете посягать на наши свободы и стараться снова водворить тот порядок, который был главной причиной всех наших зол и несчастий!»

Особенно поразила присутствующих концовка речи: «Правительство само расшатывает и как бы хочет опрокинуть весь государственный строй. Оно само готовит себе гибель. Но за этой гибелью может последовать гибель династии и гибель всей России!» В газетном отчете сказано: «Гром аплодисментов прерывает оратора, и М. А. Стахович долго стоит с опущенной головой, ожидая восстановления тишины в зале». Затем он зачитал проект предлагаемой октябристским ЦК резолюции; в отчете зафиксировано: «После долго не смолкавших аплодисментов записалось около 30 делегатов, желающих говорить по существу доклада».

Весной 1906 года Михаил Александрович был избран депутатом I Государственной думы от землевладельцев Орловской губернии. Эта Дума, прозванная современниками «Думой народного гнева», отличалась практическим отсутствием представителей проправительственного лагеря. Оппозиционер и либерал Стахович парадоксальным

образом оказался в ней на самом правом фланге в составе немногочисленной группы умеренных. Впоследствии В. А. Маклаков, один из самых проницательных аналитиков истории I Думы, написал: «На правых скамьях, на которых мы видели позднее Пуришкевича, Маркова, Замысловского, сидели такие заслуженные деятели „Освободительного движения“, как гр. Гейден или Стахович. Они сами не изменились ни в чем, но очутились во главе оппозиции справа. Эта правая оппозиция в I Думе выражала подлинное либеральное направление; именно она могла бы безболезненно укрепить в России конституционный порядок».

В. А. Маклаков, как представляется, довольно точно описал тогдашнее самоощущение Михаила Стаховича: «„Стиль 1-й Думы“, ее нетерпеливость, нетерпимость, несправедливость к противникам, грубость, вытекавшая из сознания безнаказанности, — словом, все то, что многих пленяло как „революционная атмосфера“, оскорбляло не только его политическое понимание, но и эстетическое чувство. Атмосфере этой он не поддался и потому стал с нею бороться. У него не было кропотливой настойчивости, как у Гейдена; он был человеком порывов, больших парламентских дней, а не повседневной работы. Но в защите либеральных идей против их искажения слева он мог подниматься до вдохновения. Напоминавший бородой и лицом Микель-Анжевского Моисея, когда он говорил, он не думал о красноречии; речь его не была свободна, он подыскивал подходящие слова, но увлекал трепетом страсти».

С одной стороны, Стахович не мог не понимать заведомую тщетность усилий их малочисленной группы противостоять общему течению. Но, с другой стороны, свою борьбу с думскими радикалами он воспринимал как нравственный долг. Эта борьба виделась ему продолжением дискуссий на земских съездах: ведь он и там в последние годы все чаще оказывался в меньшинстве. Здесь, в I Думе, в состав самой влиятельной кадетской фракции входило много старых соратников Михаила Александровича — их, как он считал, еще можно было в чем-то переубедить. Что ему явно претило, так это то, что старые товарищи-земцы, элита страны, пошли, как он считал, на поводу у радикалов.

В самом деле, положение в I Думе добившейся большого успеха на выборах Конституционно-демократической партии оказалось очень сложным. В условиях, по сути, продолжающейся революции кадетам необходимо было, с одной стороны, удержать свой принципиальный конституционализм, сохраняя перспективу диалога со ставшим теперь конституционным монархом, а с другой стороны — не отдать политическую инициативу своим более радикальным левым «попутчикам» из так называемой «трудовой группы». Думскую линию кадетов во многом определял тезис их партийного лидера П. Н. Милюкова (разделяемый лидерами фракции И. И. Петрункевичем и М. М. Винавером): «Идти соединением либеральной тактики с революционной угрозой». Похоже, однако, что со временем этот симбиоз конституционалистов и радикалов зашел значительно глубже, нежели того поначалу хотелось кадетам. Об этом и написал в эмиграции В. А. Маклаков; он пришел к выводу, что в тактическом альянсе, на первых порах казавшемся кадетам выгодным, тон постепенно стали задавать уже радикалы.

3 мая 1906 года М. А. Стахович включился в обсуждение проекта «ответного адреса» Думы императору. Его, профессионального юриста, обеспокоила нервничающая атмосфера, в которой проходила дискуссия: «Часто случается, бывают даже целые периоды государственной жизни, когда не суть вопроса царит и решает дело в палатах, а возбуждение политических страстей. Самое присутствие такого возбуждения является даже опасностью. Оно опасно, как оружие в руках рассерженного». Отталкиваясь от метафоры кадетского депутата Е. Н. Щепкина, сравнившего поток свободных речей в Думе с «вешними водами», Стахович иронически заметил: «Пользуясь его собственным сравнением, добавляю, что вся эта вода не рабочая; ее не надо пускать

на колеса мельницы. Умный мельник открыл бы затворы и терпеливо бы ждал: пусть себе сольет». Вопреки радикальным призывам о необходимости немедленного подчинения министров народному представительству Михаил Александрович назвал такую претензию «преждевременной»: «Мы только свяжем руки Государю, если, как лояльный конституционный Монарх, он будет следовать нашим голосованиям и менять министерства после каждого провала... Необходимо, сохранив ответственность министров перед Государем Императором, развить и ускорить условия осуществления права запроса и контроля со стороны Думы не только над закономерностью, но и целесообразностью действий министров. (*Слышно шканье на многих скамьях.*)»

4 мая дискуссия продолжилась — в этот день обсуждались в основном те положения «ответного адреса», где речь шла о проблемах амнистии и смертной казни, о политических убийствах. В середине жаркого обсуждения слово опять попросил М. А. Стахович: «Я оговорюсь, что живу в такой глухой и благоразумной местности, в которой теперь, несмотря на все здесь говоримое, люди, наверное, не бросили своей обычной жизни и занятий, не перестали метать пары, сеять гречиху и просо и не ждут, затаив дыхание, будут ли женщины в Государственной Думе, останется ли Государственный Совет или нет». Перейдя непосредственно к вопросу о политической амнистии, оратор еще раз подтвердил, что он и его коллеги по группе умеренных по-прежнему горячо поддерживают призыв к освобождению всех политических заключенных. Однако для полного успеха этого судьбоносного акта Дума должна одновременно выступить и с резким осуждением революционного террора: «Кроме почина существует ответственность за последствия, и эта вся ответственность останется на Государе... Не мы уже, а он ответит Богу за всякого замученного в застенке, но и за всякого застреленного в переулке. Поэтому я понимаю, что он задумается и не так стремительно, как мы, движимые одним великодушием, принимает свои решения. И еще понимаю, что надо помочь ему принять этот ответ. Надо сказать ему, что прошлая вражда была ужасна таким беспорядком и долгой жестокостью, что доводила людей до забвения закона, доводила совесть до забвения жалости... Цель амнистии... — это будущий мир в России. Надо непременно досказать, что в этом Государственная Дума будет своему Государю *порук* и *опорой*. С прошлым беспорядком должно сгнать преступление как средство борьбы и спора. Больше никто не смеет тягаться кровью. Пусть отныне все живут, управляют и добиваются своего или общественного права не силой, а по закону. По обновленному русскому закону, в котором мы и участники, и ревнители, и по старому закону Божию, который прогремел 4000 лет тому назад и сказал всем людям и навсегда — Не убий!»

В. А. Маклаков позднее вспоминал: «В Первой Думе было сказано много превосходных речей. Но я не знаю другой, которая могла бы по глубине и подъему с нею сравняться... Колебания Государя, о которых говорил Стахович, не были только предположением. Он мне рассказывал после, что, когда начался в Думе разговор об амнистии, Государь получал множество телеграмм с протестами и упреками: неужели он допустит амнистию и помилует тех, кто убивал его верных слуг и помощников? Пусть эти телеграммы фабриковались в „Союзе истинно русских людей“, Государь принимал их всерьез. Чтoб вопреки этим протестам Государь все-таки пошел на амнистию, нужно было сказать действительно новое слово, открывавшее возможность забвения, нужно было самому подняться над прежнею злобою. Этим словом и могло быть моральное осуждение террора. Но на это Дума не оказалась способна. Она продолжала *войну*».

Итак, на том историческом заседании 4 мая 1906 года Михаил Стахович, наряду с призывом к амнистии, предложил Думе добавить в «ответный адрес» государю следующие слова: «Государственная Дума выражает твердую надежду, что ныне, с установлением конституционного строя, прекратятся политические убийства и другие на-

сильственные действия, которым Дума высказывает самое решительное осуждение, считая их оскорблением нравственного чувства народа и самой идеи народного представительства. Дума заявляет, что она твердо и зорко будет стоять на страже прав народных и защитит неприкосновенность всех граждан от всякого произвола и насилия, откуда бы они ни исходили».

Предложение Стаховича было не только разумным, но и весьма умеренным — оно исходило из старой его идеи о необходимости восстановления взаимного доверия царя-реформатора и народного представительства. Однако в «Думе народного гнева» это предложение вызвало большое возбуждение. Влиятельнейшая фракция конституционных демократов оказалась перед сложным выбором. Маклаков назвал его позднее «выбором между двумя возможными думскими большинствами» — *конституционным и революционным*. Дело решил Ф. И. Родичев, ставший еще с первых думских заседаний штатным спикером кадетов по вопросу об амнистии и терроре. Заявив, что вполне понимает тот «душевный порыв, который внушил Стаховичу благородные слова любви», он быстро перешел к возражениям: «Но с политическим заключением этого порыва я согласиться не могу. Если бы здесь была кафедра проповедника, если бы это была церковная кафедра, то тогда, конечно, мог бы и должен был раздаваться призыв такого рода, как мы услышали здесь, но мы — законодатели, господа... Много есть дурных вещей, которые следует осуждать, но не здесь этому осуждению место. Мы осуждаем те порядки, когда людей казнят без суда... Мы должны сказать всем: если вы хотите бороться с преступлением, оно должно быть осуждено!»

Позднее В. А. Маклаков так прокомментировал этот «крах думского конституционализма»: «Всего грустнее читать речь Родичева... Из государственного установления Дума превращала себя в орудие революционной стихии. Голосование по поправке Стаховича вырыло ров между двумя большинствами. Если бы кадеты пошли со Стаховичем и Родичев повторил свою речь 29 апреля — это образовало бы „конституционное большинство“. В этот день кадеты от конституционного пути отказались». Маклаков интерпретировал «эпизод с амнистией» как стремление левого большинства Думы настоять на том, что после дарования гражданских свобод «преступники находились не в среде осужденных, а только в среде властей»: «При таком взгляде Думы на недавнее прошлое нельзя было говорить о примирении и успокоении, о забвении прошлого, которое одно могло бы амнистию мотивировать. Судьи и осужденные должны были просто поменяться местами; под флагом амнистии Государю предлагали встать на сторону Революции».

Между тем сам М. А. Стахович в тот день не собирався сдаваться и повторил попытку обосновать свою поправку: «Мне давно приходится жить, думать и говорить так несвоевременно, что приходится отстаивать против большинства не только то, что я считаю правильным, но даже и то, что я считаю разумным, и я давно знаю, как эта задача неблагодарна, я давно знаю, что она часто бесполезна. Я только думаю, что это долг всякого совестливого человека, на какую бы сторону ни собралось большинство, часто глухое из-за самодовольно сознаваемой своей силы». Он попытался снова обратиться к разуму депутатов, призвав думать не только о прошлом, но и о будущем России: «Мало хоронить, всё сосредотачиваясь и копаясь в прошлом; надобно подумать и высказаться о будущем теперь, чтоб оно не повторяло прошлого ни с какой стороны. Я думаю, что, если никто из так хорошо говоривших не заикался о будущем, а все твердил только о прошлом, уже осужденном нами очень единомысленно, значит, против моего требования ничего сказать нельзя, а нужно только решиться его выговорить». Впрочем, судьбу своего предложения он предчувствовал вполне: «Как бы ни было ничтожно число членов Думы, которые здесь со мной согласятся, я уверен, что огромное число русского народа скажет, что пора осудить политические покушения».

В итоге предложенная поправка была отклонена думским большинством. «Дума отвергла спасательную веревку, которую Стахович ей протянул, — писал Маклаков. — Если бы Дума оказалась способной подняться на его тогдашнюю высоту, она бы не только получила амнистию, она оказалась бы достойной той роли, которую сыграть не сумела».

Михаил Александрович также прекрасно понимал, что на левые фракции I Думы большое влияние оказывается «извне» Таврического дворца — например, со стороны внедумских лидеров радикальных социалистических партий, мечтающих о крахе первого российского парламента. Судя по всему, Стахович питал личную неприязнь и к П. Н. Милюкову (и пользовался здесь, надо сказать, полной взаимностью). Он полагал, что, не будучи депутатом, Милюков из-за кулис манипулирует не только своей фракцией, но и всей Думой, считая ее лишь эпизодом на пути к созыву по-настоящему полномочного и демократического Учредительного собрания.

Известно, что П. Н. Милюков любил цитировать фразу из Вергилия: «Если не смогу убедить высших, то двину Ахеронт». Под «Ахеронтом» (так в древнегреческой мифологии называлась одна из подземных рек ада) имелась в виду, разумеется, «стихия революции», которой кадетские лидеры рассчитывали «управлять». Рассудительный и умеренный Стахович не мог разделить этих иллюзий: одна из ярчайших его речей в I Думе была направлена против идеи «управляемого хаоса», а возможно, и лично против Милюкова, обычно сидевшего во время думских заседаний в журналистской ложе.

«Очевидцы и обсерватории способны описывать ливни, грозы, но никто не может описать извержение вулкана, — говорил Стахович 29 июня 1906 года, в речи, посвященной так называемому „белостокскому погрому“. — Как после извержения вулкана, кроме все сжегшей лавы, есть еще стихийная масса пепла, которая все засыпает глубоко и тяжело, и только много лет позднее тщательными, равнодушными и беспристрастными усилиями науки можно восстановить условия этих событий, можно представлять, предсказывать ту жизнь Геркуланума и Помпеи, которая так внезапно оборвалась, — так и все движения народной стихии должны быть открыты и могут подвергнуться исследованию лучших историков не непосредственно вслед за своим событием, а только много позже и после долгого и добросовестного труда».

Вполне вероятно, что, говоря о возможностях «лучших историков» изучить последствия революции только «спустя много лет», Стахович намекал именно на Милюкова — весьма заслуженного, как известно, историка. Это предположение представляется тем более убедительным, что уже в следующем пассаже оратор откровенно критиковал тактику «заигрывания со стихией» — как со стороны властей, так и со стороны оппозиции: «Когда говорят, что не хотят революции, то обыкновенно забывают, что она не зависит от воли отдельных лиц; она даже не зависит от общей воли, она имеет свойство самовозгорания не только против желания, но иногда против ожидания участников или свидетелей. Оттого-то надо об этом всегда думать и стараться о предупреждении этого губительного свойства, которое я назвал самовозгоранием». Если многие в России, подводил итог Стахович, до сих пор не избавились от «наркоза возбуждения», от влияния того «вихря, который с атмосферической силой пронесется над страной», то существуют две категории людей, обязанных сохранить в этих обстоятельствах полное трезвомыслие: «Это государственные деятели в настоящем и историк — в будущем, когда он станет толковать человечеству значение его великих или ужасных бурь».

Далее Михаил Александрович сказал о сугубой ответственности народных представителей за соблюдение корректности в политической полемике, ибо думская борьба потом с огромной силой резонирует в народной толще. По его мнению, гражданская смута начинается в головах обменивающихся оскорблениями представителей

«элиты»: «В самых категорических противоречиях одни говорят, указывая на других, что они безбожники и убийцы, другие утверждают, что те кровопийцы и паразиты. И потому предлагают народу выбрать тех или других себе в руководители, последовать за теми или иными специалистами».

Достаточно важным в перводумской деятельности М. А. Стаховича стало и его участие в дискуссии по аграрным вопросам. Как известно, проблема крестьянского малоземелья была одним из главных источников революционной смуты в стране. Включившись в обсуждение этого вопроса, депутат прежде всего заявил: «Я категорически и не колеблясь стою за увеличение площади крестьянского землевладения. Я считаю это делом нужным, считаю его совершенно возможным и считаю его безотложным... Государственная нужда состоит в том, что нельзя существовать дальше, не подняв народ из нищеты. Русское государство нуждается в том, без чего ни одно государство не живет: народ должен стать плательщиком и потребителем...» Однако, по мысли Стаховича, весь вопрос состоит в том, как именно провести увеличение крестьянских наделов, не вызвав при этом нового хаоса: «Я не скрываю, что принадлежу к тем староверам, может быть, смешным, которые продолжают считать, что поджог, грабеж, насилие — грех и безобразие, и что о них нельзя говорить сочувственно, чуть не ласково... И страшную ответственность кладут на Думу все те, кто с кафедры призывает к самоуправству народному, говорят, как сегодня еще, что надо перейти к силе и пусть-де падет эта кровь на виноватых. Эта пролитая нами и братьями нашими русская кровь прольется не за родину, а в ущерб ей и в горе! Пусть же ляжет она на совесть тех, кто прославляет насилие, подбивает омраченных, нетерпеливых и раздраженных. (*Аплодисменты справа, ропот слева.*)»

Между тем М. А. Стахович выступил не только против откровенно социалистических идей земельного передела, но и против кадетского проекта аграрной реформы, предполагавшего решить проблему крестьянского малоземелья за счет отчуждения помещичьих земель «за достойное вознаграждение» и передачи их крестьянам в срочную аренду. В противовес кадетам, он выступил за передачу земли крестьянам в полную частную собственность: «Я стою не только за то, чтобы земельная площадь крестьянского землевладения была увеличена, но, помня о необходимости подъема культуры, чтобы эту землю крестьяне получили бы в свою собственность... Непременно в собственность, а не во временное пользование, потому что в мире мы не знаем иного, более сильного двигателя культуры, чем собственность».

Еще в ходе работы I Думы стало ясно: политические позиции умеренно либеральных депутатов, таких как М. А. Стахович, граф П. А. Гейден и князь Н. С. Волконский, расходятся не только с более радикальными группировками (от кадетов и далее влево), но и с продолжавшим существовать вне Думы «классическим октябризмом», который во многом поддерживал правительственный курс. Уже в начале лета 1906 года встал вопрос о создании самостоятельной политической организации; ее название — Партия мирного обновления — придумал М. А. Стахович. Однако скорый роспуск Думы, последовавший 9 июля, внес в эти планы серьезные коррективы.

11 июля, в противовес радикальному Выборгскому воззванию, которое было подписано в основном кадетами и левыми и призывало граждан к сопротивлению, хотя и «пассивному», «Партия мирного обновления» выпустила другое «Воззвание» за подписью трех бывших депутатов: П. А. Гейдена, М. А. Стаховича и Н. Н. Львова. В нем, в частности, говорилось: «В силу ст. 105 Основных законов Государю несомненно принадлежит право роспуска Думы. Мы считаем себя обязанными подчиниться не только по долгу подданных, но и по глубокому сознанию, что было бы преступно среди переживаемых Россией опасностей и смут колебать государеву власть... Поэтому первое слово наше, на ком лежало народное доверие, наше первое слово ко всем избирателям —

призыв к спокойствию и противодействию каким бы то ни было насилиям. Только старательной подготовкой к новым выборам и сознательным осуществлением их может народ доказать, что дорожит своим представительством в деле правления и участием в создании законов. К будущим выборам должны быть направлены усилия русского народа, а нужды его будут выражены теми, кого он сознательно выберет. Всякие насилия, беспорядки и нарушения законов представляются нам не только преступными, но среди переживаемой смуты прямо безумными».

М. А. Стахович был избран в II Государственную думу, которая оказалась еще более левой, чем ее предшественница. По разным причинам в ней не оказалось главных его соратников по Партии мирного обновления — ни графа Гейдена, ни князя Волконского, ни Николая Львова. И хотя формально во II Думу были выбраны еще два мирнообновленца (М. А. Искрицкий и Г. С. Константинов), Михаил Александрович отказался от создания фракции — в отличие от Гейдена он не имел вкуса к партийному руководству.

Основными оппонентами левых в новой Думе оказались уже не умеренные либералы вроде Гейдена или Волконского, а ультраправые националисты типа Пуришкевича и Крушевана — с такими «союзниками» Стахович не хотел иметь ничего общего. Тем не менее и здесь он активно выступал не только в пользу умеренных либеральных реформ, но и против продолжающегося «революционного террора». Концовка его речи от 17 мая 1907 года оказалась пророческой: «Если Государственная Дума не осудит политических убийств, она совершит его над собою!» Действительно, в изданном 3 июня Высочайшем указе о роспуске II Думы прямо говорилось: «Уклонившись от осуждения убийств и насилий, Дума не оказала в деле водворения порядка нравственного содействия правительству».

В. А. Маклаков вспоминал о настроениях Михаила Александровича в тот период: «Стахович мне не раз повторял, что этот вопрос (о терроре. — А. К.) и теперь, наверное, будет поставлен и сделается испытанием Думы. Если 2-ая Дума, как Первая, от осуждения террора уклонится, она себя уничтожит. Ее не смогут после этого считать „государственным учреждением“; ее судьба этим решится. Когда и на чем ее распустят — не важно. Это будет вопросом лишь времени. Но приговор над нею будет произнесен, не откладывая. Я тогда плохо верил Стаховичу; думал, что он преувеличивает важность вопроса, который им самим был в Думе поставлен».

С роспуском II Думы думский опыт М. А. Стаховича закончился. С конца 1907-го и по 1917 год он заседал в верхней палате парламента — Государственном совете, куда регулярно избирался от орловского дворянства. После Февральской революции был назначен Временным правительством генерал-губернатором Финляндии, а в сентябре 1917-го — послом в Испанию. Вскоре после большевистского переворота в России он переехал на юг Франции, в городок Экс-ан-Прованс, где в 1923 году скончался.

После смерти Стаховича А. В. Тыркова вспоминала: «Временное правительство попыталось сделать из него дипломата, послало его в Мадрид. Он недолго оставался на этом живописном посту, купил на юге Франции ферму, как Лев Толстой, с которым он был очень близок, сам шел за плугом, опаживая свои виноградники. Он писал друзьям в Англию, что это счастливейшее время его жизни. Там, среди виноградников, он и умер».

Похоронен Михаил Александрович Стахович на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа под Парижем.

ГЕОРГИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ ЛЬВОВ:
*«Мы прошли тяжелый путь
государственного труда
под непрерывным обстрелом враждебной к
нашей работе власти...»*

Илья СОСНЕР

Род Львовых — один из старейших русских княжеских родов, ведущий свое начало с IX столетия от легендарного Рюрика. Многие представители этой фамилии сыграли заметную роль в истории, но к началу XIX века и так небогатые князья Львовы, несмотря на принадлежность к высшей аристократии, совсем обеднели.

Отец Георгия, Евгений Владимирович Львов, получил образование в Институте Корпуса инженеров путей сообщения. Однако служба по специальности его не привлекала, и он служил сначала в Департаменте государственных имуществ, а позднее в 1-м Московском кадетском корпусе, инспектором классов. В конце 1840-х годов князь женился на мелкопоместной дворянке Варваре Алексеевне Мосоловой, получившей в наследство от своей богатой родственницы имение Поповка в Алексинском уезде Тульской губернии. В 1858-м Евгений Львов выходит в отставку и вскоре выезжает вместе с женой и детьми в Германию (где в это время проживал его брат Дмитрий), чтобы дать старшим детям европейское образование. Именно здесь, в столице Саксонии Дрездене, 30 ноября 1861 года и родился Георгий Евгеньевич Львов.

После отмены крепостного права Львовы вынуждены были вернуться в Россию, ибо иных источников существования, помимо доходов от имения, у семьи не имелось. В 1869 году семья переезжает на постоянное жительство в Поповку. Шесть лет, проведенные юным Георгием в родительском имении, «на вольной луговине деревенской жизни», наложили отпечаток на его характер, и такие черты, как простота, скромность, мягкость, созвучные природе среднерусской полосы, он сохранил на протяжении всей жизни.

Родители Львова, трогательные в своих идеалах, много сделали для образования окрестного населения: они писали учебники для начальной школы и книги для детей. Более того, открыли в своем доме школу для крестьянских детей, стали попечителями основанных ими школы и библиотеки в уездном Алексине. Гостеприимный дом Львовых в Туле превратился в один из центров светской жизни города. Здесь часто бывали губернатор и вице-губернатор, архиерей и руководители судебного ведомства, прогрессивные помещики и деятели культуры, в том числе М. Е. Салтыков-Щедрин, служивший тогда управляющим Тульской казенной палаты, а также давний знакомый семьи граф Л. Н. Толстой.

Для младших сыновей Сергея и Георгия родители выбрали частную классическую гимназию Л. И. Поливанова, имевшего репутацию талантливого педагога. Близко знавший гимназиста Георгия Львова граф Д. А. Олсуфьев вспоминал: «Он был чистых, скромных нравов: ни в попойках, ни в распутстве, ни в сальных разговорах с товарищами он не участвовал. Но трудовую школу жизни он начал проходить рано, и это, конечно, и способствовало и развитию в нем сильного характера, и исключительного трудолюбия... В моем представлении Георгий Львов остался человеком, далеко не раз-

гаданным мною. Он был скромный, неблестящий, но с большою внутреннею духовною и умственною жизнью, с сильным, почти аскетическим характером».

Для продолжения образования Георгий избрал юридический факультет Московского императорского университета, который ранее окончил его старший брат Алексей. В 1885 году он получил диплом об окончании курса, но карьера в области юриспруденции не казалась ему привлекательной. В дальнейшем большая часть его жизни была связана с работой в земствах, возникших после принятия Александром II «Положений о губернских и уездных земских учреждениях».

Пятнадцать лет, начиная с 1892 года и вплоть до избрания депутатом I Государственной думы, князь Г. Е. Львов поработал гласным Тульского губернского земского собрания: входил в состав комиссий по народному образованию, медико-санитарной, сельскохозяйственной, дорожной. По поручению губернской управы он многократно выступал на земских собраниях со специальными докладами, предварительно глубоко изучив тот или иной вопрос. Особой заботой Георгия Евгеньевича стала борьба с крестьянским голодом. Он всегда подчеркивал государственную значимость продовольственной проблемы и был убежден в том, что правительство должно иметь четкую программу помощи людям в неурожайные годы. Такая работа, по его мнению, могла вестись только при взаимодействии государства с земскими учреждениями и местной интеллигенцией. А для достижения этой цели необходимо создание объединенных медико-санитарных советов при земских управах, которые могли бы организовать медицинское просвещение населения, борьбу с эпидемиями, помощь земским больницам и аптекам.

В 1903 году Георгия Евгеньевича избрали председателем Тульской губернской земской управы, однако сразу приступить к новой работе он не смог: тяжело заболела жена, Юлия Алексеевна (урожденная гр. Бобринская). Ее лечили лучшие московские специалисты, сделали срочную операцию, но 12 мая 1903 года княгиня скончалась. Потрясенный муж укрылся тогда в Оптиной пустыни; до конца своих дней он остался вдовцом и не имел детей. В столь тяжелый, трагический для себя период жизни князь Львов встал во главе Тульского земства. Он сосредоточился на развитии учреждений народного здравоохранения и общественного призрения. Были отремонтированы и переоборудованы отделения губернской земской больницы, улучшено санитарное состояние и обслуживание земского приюта для подкидышей и сирот; выстроен комплекс сооружений для психически больных людей. В июне 1905 года большинством земского собрания его снова избрали председателем Тульской губернской земской управы.

С 1904 года Г. Е. Львов становится заметной фигурой в общероссийском земском движении. Когда четырнадцать российских губернских земств (из двадцати одного) высказались за участие в помощи раненым на фронтах Русско-японской войны воинам, он был избран главноуполномоченным общеземской организации, которая действовала в Маньчжурии и сумела наладить деятельность земских лазаретов, перевязочных пунктов, походных кухонь и т.д. Находясь во главе трудного и ответственного дела, князь проявил большой организаторский талант, практическую хватку и огромную трудоспособность наряду с политическим тактом, спартанской простотой и нетребовательностью. По возвращении в Москву в начале октября 1904 года он — один из героев русского общества: со времени японской кампании его имя стало популярным не только в земских кругах.

Под влиянием военных неудач правительство пошло на уступки общественным организациям. В начале ноября 1904 года в Петербурге состоялся знаменитый земский съезд, на котором впервые открыто прозвучали конституционные требования русской интеллигенции. Еще вчера новичок в общероссийской политике, князь Львов был избран товарищем (заместителем) председателя съезда, на котором выступил

с отчетом о почти годичной деятельности общеземской организации в Маньчжурии. Позднее его избрали в состав Земского бюро — исполнительного органа между съездами. 6 июня 1905-го организовали земскую депутацию к императору Николаю II — в нее вошел и Г. Е. Львов. А после издания Манифеста 17 октября 1905 года о даровании основных гражданских свобод председатель Совета министров гр. С. Ю. Витте предлагал Львову занять пост министра земледелия, однако этот план не осуществился.

Весной 1906-го Георгий Евгеньевича, при поддержке блока кадетов и октябристов, избрали депутатом I Государственной думы от Тульской губернии. Он не рвался выступать с трибуны Таврического дворца, сосредоточившись на работе в комиссиях. А после роспуска Думы не стал подписывать Выборгское воззвание, считая его призывы неконституционными, и в скором времени покинул ряды кадетской партии.

В те месяцы князь Львов снова занялся работой в земском движении. В центре его внимания — по-прежнему конкретные проблемы помощи народу в чрезвычайных ситуациях голода, эпидемий, массового переселения в восточные районы страны. В 1906–1907 годах он организовал и возглавил общеземскую помощь подвергшимся голоду регионам России. Когда летом 1906 года почти целиком сгорел деревянный город Сызрань, общеземская организация снарядила туда врачебно-питательный отряд: были открыты амбулатории и столовые, хлебопекарни, лавки необходимых товаров и продовольствия. По инициативе князя эта же организация в 1907–1909 годах оказала большую продовольственную и врачебную помощь десяткам тысяч переселенцам в Сибирь и на Дальний Восток. На основе своих личных наблюдений и обработки статистических исследований в Дальневосточном крае и Сибири Георгий Евгеньевич издал книгу «Приамурье», которая получила благоприятные отзывы в общественных кругах. Тогда же он выезжал в Канаду, чтобы ознакомиться с практикой русских переселенцев, и пересек весь североамериканский континент от океана до океана.

На учредительный съезд Всероссийского земского союза (ВЗС), который проходил 30 июля 1914 года, съехались представители тридцати пяти губернских земств. Князь Г. Е. Львов в то время — широко известная в российском обществе фигура (в 1913-м он победил на выборах московского городского головы, но не был утвержден в должности Министерством внутренних дел), и 37 голосами против 13 его избрали Главным уполномоченным ВЗС. Организация, созданная для помощи армии в условиях надвигающейся войны, объединила все губернские земства России, кроме Курского (его консервативное руководство в пику либералам решило действовать самостоятельно). А несколько дней спустя городские головы страны, следуя земскому примеру, объединились во Всероссийский союз городов (ВСГ) с аналогичными функциями.

Тем временем Георгий Евгеньевич приступил к налаживанию текущей работы Земсоюза. Не будучи кабинетным руководителем, он постоянно находился в гуще дела и среди людей. Начались бесконечные поездки в Петроград, посещения министерств и ведомства с целью координации будущих действий, ходатайства о выделении необходимых денежных субсидий, встречи со служащими вновь созданных мастерских и складов, участие в различных ведомственных комиссиях — Львова не так-то просто было застать в московском здании на Маросейке, 7, где располагался Главный комитет ВЗС.

Люди, знакомые с коллективом Земсоюза, отмечали, что князь был «живым и вдохновляющим центром» работы, «душой» земского объединения. Чиновник Министерства земледелия А. А. Татищев писал, что в своих сотрудниках Львов «вызывал какое-то обожание и преклонение». Уже в первые месяцы войны в составе Земсоюза приступили к работе отделы, количество которых на протяжении войны неуклонно возрастало: центральный склад, отдел санитарных поездов, отдел по приему жертвователей, медико-санитарный, эвакуационный отделы и т.д. Правительственная сани-

тарная помощь в Действующей армии в первые месяцы войны оказалась неудовлетворительной: свидетельством тому — многочисленные воспоминания и рассказы современников. Так что правительство было просто вынуждено обратиться за поддержкой к столь нелюбимой им общественности. В июне 1915 года, во время отступления русской армии на Юго-Западном фронте, ВЗС и ВСГ на паритетных началах образовали Главный комитет по снабжению армии (Земгор), который возглавили соответственно Г. Е. Львов и лидер ВСГ, московский городской голова М. В. Челноков.

В годы войны руководители гуманитарных организаций, которые открывались на средства членов царской семьи, коммерческих обществ и частных лиц, желали видеть Георгия Евгеньевича на торжественных открытиях своих детищ и предлагали ему войти в состав руководства. Как правило, он отвечал вежливым отказом, целиком посвятив себя выбранной однажды земской работе. Нередко его попытки достичь взаимопонимания с чиновниками по поводу земских инициатив оказывались напрасными, так произошло и, участием Земсоюза в борьбе с эпидемической угрозой, и с организацией инженерно-строительных дружин, и с помощью беженцам.

Всероссийский земский союз с самого начала своего существования оказался в двусмысленном положении, которое усугублялось вплоть до Февральской революции. С одной стороны, правительство выделяло ВЗС субсидии, ставя перед земцами все новые и новые задачи, изначально не входившие в круг их обязанностей. Речь идет о заготовке медицинского оборудования и препаратов; об изготовлении противогазов для армии; оборудовании санитарных поездов; закупке и пошиве солдатских сапог; эвакуации промышленных объектов из оставляемых нашими войсками территорий и даже о боевом снабжении армии. К 1916 году бюджет Земсоюза составлял уже 600 млн рублей и продолжал расти.

С другой стороны, ВЗС считался «революционным гнездом, крепнущим на правительственные деньги»; правительство опасалось, что либеральное большинство земского объединения выйдет из-под контроля, и потому всеми силами старалось ограничить его влияние. Монархические круги инициировали обвинения Земсоюза в «нерациональном расходовании средств»; дело дошло до того, что сановники, посещавшие политический салон премьер-министра Б. В. Штюрмера, призывали к немедленному аресту Львова.

Борьба с эпидемической угрозой в армии и прифронтовых зонах, которую Земсоюз пытался наладить еще в начале 1915 года, потерпела фиаско, так как правительство не могло позволить земцам доминировать в этой сфере. Совет министров постоянно откладывал рассмотрение вопроса, отсылая князя Львова из одной инстанции в другую. Между тем Главный комитет ВЗС постоянно получал информацию об участвовавших вспышках холеры и тифа на приграничных территориях Западной Украины и Белоруссии. Губернские комитеты, ожидая конкретных указаний и денег, настойчиво обращались к руководству организации, и в марте 1915 года князю Львову пришлось, минуя общепринятый порядок, напрямую обратиться к Верховному главнокомандующему. Не менее печальную картину представляла государственная организация помощи беженцам. После бесплодных попыток согласовать свою работу с правительственными инструкциями, так и не дождавшись финансирования и наблюдая неприкрытое противодействие высшего чиновничества, Главный комитет ВЗС официально сложил с себя «возложенные собранием уполномоченных обязательства по объединению деятельности земств в помощи беженцам». При этом уже начатая работа в данной области не прекращалась, просто ее масштабы впоследствии значительно сократились.

С этого момента можно говорить о новом возвращении князя Львова с сугубо общественного поприща в «большую политику». В свое время он не подписал Выборгское воззвание, не желая участвовать в политической конфронтации. Безусловным

катализатором резкой смены политических ориентиров Георгия Евгеньевича (чего он сам не хотел и о чем в глубине души сожалел) стали сложные, а порой и унижительные взаимоотношения с властью, которые по долгу службы ему приходилось поддерживать. Постепенно отдаляясь от активного хозяйственного руководства Земсоюзом, он все активнее участвует в заседаниях на квартирах лидеров либеральных партий, посвященных обсуждению ситуации в стране. В октябре 1916 года Г. Е. Львов посещает Ставку и беседует с генералом М. В. Алексеевым об утверждении нового состава «правительства общественного доверия», а также о необходимости ослабить чрезмерное влияние императрицы Александры Федоровны на политические решения царя.

Для съезда уполномоченных земств 9 декабря 1916 года, который был разогнан полицией, Георгий Евгеньевич написал речь, которая так и не была произнесена: «Мы прошли этот тяжелый путь государственного труда под непрерывным обстрелом враждебной к нашей работе власти... Власти нет, ибо в действительности правительство не имеет ее и не руководит страной». А когда полицмейстер составил протокол о закрытии съезда, князь, вскочив на стул, воскликнул: «И все-таки мы победим, мы победим, господа!»

Созданный путем объединения ВЗС и ВСГ в июне 1915 года Земгор стал центром патриотической мобилизации даже той части интеллигенции, которая во время Русско-японской войны была настроена пораженчески. Непосредственное соприкосновение с нуждами армии оздоровило общественное мнение, в этой гуманитарной работе люди обретали стойкость и деловитость. Земский и Городской союзы спасли миллионы соотечественников, будь то раненые солдаты или бегущее от наступления вражеских армий мирное население. Уход за ранеными в «летучках» и санитарных поездах Земгора носил, как отмечали многие, «более человечный» характер по сравнению с аналогичной деятельностью правительственных ведомств; во время военных перебросок солдаты ценили возможность выпить кружку горячего чая, а присылаемые к праздникам подарки наполняли их сердца теплом. Огромная по масштабам деятельность ВЗС и ВСГ сделала эти организации мощным фактором российской общественной жизни.

Бурные события февраля 1917 года в Петрограде привели к отречению царя и созданию первого в России демократического правительства — его возглавил министр-председатель, князь Георгий Евгеньевич Львов. Однако параллельно усиливалась также роль Советов (и прежде всего Петросовета), поэтому ключевой проблемой при сложившемся «двоевластии» стало формирование нового государственного аппарата. «Административная реформа» и была главной заботой князя Львова, являвшегося одновременно министром внутренних дел первого Временного правительства (его заместители: князь С. Д. Урусов, Д. М. Щепкин, С. М. Леонтьев).

Между тем неудачное июньское наступление русской армии усилило революционное брожение в Петрограде. Временное правительство неоднократно предпринимало попытки отправить на фронт радикально настроенные части Петроградского гарнизона и солдат запасных частей, расквартированных в столице. Но лидеры Советов, рискуя потерять свою главную военную опору, организовали бешеную пропагандистскую кампанию, обличающую империалистическую войну и буржуазное правительство «министров-капиталистов». Ситуацию подогревали острые разногласия в самом Временном правительстве, крайне неоднородном по составу. В итоге Г. Е. Львова на посту министра-председателя сменил эсер А. Ф. Керенский.

Некоторые исследователи отмечали, что князь Львов пытался «любовно пестовать Россию, как свой алексинский сад», безуспешно стараясь удержать страну над бездной, куда историей ей суждено было пасть. Не имея за собой сильной политической группировки, он хотел остаться в стороне от групповой борьбы на чьей бы то ни было стороне и тем самым породил много «разочарованных», нажил немало врагов

и не приобрел новых союзников. «Далеким он был и от всякой символики власти, ибо хотел как можно глубже раскрыть пропасть между старой и новой Россией», — написал позднее о князе Львове его преемник А. Ф. Керенский, тоже недолго продержавшийся на посту главы государства. В условиях нараставшего революционного хаоса на первый план выходили иные силы и иные люди...

Напряженнейшая работа и изнурительная борьба истощили силы Георгия Евгеньевича. Осенью 1917 года, еще до большевистского переворота, он выехал для лечения в Сибирь, которую всегда считал краем безграничных хозяйственных возможностей. Он мечтал заняться тем, что умел лучше всего, — конкретным делом, а не утомительной и бесплодной борьбой с политическими противниками. После Октября, когда все рухнуло окончательно, реально встала угроза насильственной смерти: конвоировавшие арестованного князя Львова матросы демонстративно выводили его из поезда на каждой станции — «расстреливать».

Позднее ему удалось освободиться из тюрьмы в Екатеринбурге. В августе 1918 года Георгий Евгеньевич участвовал в Челябинском совещании представителей «Кому-ча», Сибирского и Уральского временных правительств. А вскоре покинул страну с полномочиями от уфимской Директории — Временного Всероссийского правительства, которое направило его в США для переговоров о военной и технической помощи антибольшевистским силам. В сентябре–октябре 1918 года из Владивостока, через Токио и Сан-Франциско, князь прибыл в Вашингтон для встречи с президентом Вудро Вильсоном. Однако переговоры в Америке, а затем и в странах Заданной Европы, куда бывший премьер демократической России также обращался за помощью, не принесли желаемых результатов.

Обосновавшийся в Париже Г. Е. Львов собирал средства для санитарного обеспечения армии адмирала Колчака — в Сибири еще шли бои. Позднее, когда Гражданская война в России закончилась, он искал деньги для помощи русским беженцам. Некоторое время, пока эта тема оставалась модной, обращения к состоятельным филантропам давали результаты. Однако постепенно их милости стали оскудевать — на первый план выходили новые мировые проблемы.

В эмиграции оказались многие члены Земского и Городского союзов, работавшие ранее в составе белых армий. А у назначенных еще Временным правительством русских дипломатов оставались казенные средства, которые они согласны были передать новой, внепартийной благотворительной организации — наследнице Земгора. Инициативу ее создания взял на себя князь Львов. В конце 1920 года за его подписью всем организациям Земского и Городского союзов были разосланы приглашения с просьбой прислать делегатов в Париж. В январе 1921 года учредительный съезд обсудил и принял Устав Российского земско-городского комитета помощи российским гражданам за границей. В качестве руководящего принципа было установлено, что Комитет является учреждением аполитическим, преследующим исключительно гуманитарную задачу: оказание разного рода помощи всем без различия нуждающимся русским гражданам за границей.

Объединение произошло вокруг Г. Е. Львова, и он неизменно, до самой своей кончины, избирался председателем обеих организаций — местной, французской («Объединение земских и городских деятелей во Франции»), и центральной — для всех тех стран, где оказались русские беженцы. Самая трудная часть работы — приискание средств — всецело легла на плечи князя. В конце 1921 — начале 1922 года ему довелось прожить пять месяцев в Америке. За это время он провел сложные переговоры со многими общественными и государственными деятелями, сумев убедить их, что гуманитарная помощь необходима не только нуждающимся эмигрантам, но и народу Советской России — ввиду наступившего там повального голода.

Эмигрантский Земско-городской комитет заботился об эмигрантских детях, занимался созданием русских школ за рубежом; со временем эта деятельность вышла на первое место. В 1921 году на указанную статью расходовалось чуть более 20% общего бюджета Комитета, в 1922-м — уже более 50%, а в 1925-м — более 90%.

О жизни Г. Е. Львова в эмиграции со временем возникло много легенд. О реальных обстоятельствах последних лет князя автору этого очерка написал Н. В. Вырубов: «Он жил скромно, как это было в его природе, но не бедно. Под Парижем, в Boulogne, где мы жили, на удобной квартире жизнь была нормальная и *без нужды* (выделено Вырубовым. — И. С.). Г. Е. жил на средства Земгора, у него был служащий и маленький дом в деревне недалеко от Парижа, который он купил. В деревне он помогал крестьянам потому, что он любил это делать. Никаких заработков ремеслом или трудом не было — это все выдуманно».

Львов скоропостижно скончался 6 марта 1925 года, на шестьдесят четвертом году жизни. Он был погребен на русском кладбище в Сен-Женевьев-де-Буа под Парижем, прах его покоится под скромной мраморной семейной плитой среди множества других русских могил.

В ноябре 2001 года в селе Поповка Тульской области (бывшем имении князя) открылся мемориальный знак в честь 140-летия со дня рождения Георгия Евгеньевича. А в мае 2003-го в центре города Алексина Г. Е. Львову был установлен памятник (автор — скульптор И. Ю. Соснер).

СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ УРУСОВ:
*«Реформировать власть, не прибегая
к мерам революционного характера...»*

НИНА ХАЙЛОВА

Сергей Дмитриевич Урусов (1862–1937), выходец из старинного княжеского рода, родился в селе Спасском Ярославской губернии. Его отец, Дмитрий Семенович Урусов — отставной гвардии полковник, владелец около 400 десятин земли. После крестьянской реформы 1861 года он занимал в Ярославском уезде должность мирового посредника первого призыва, был членом Ярославского присутствия по крестьянским делам. А после организации земских учреждений в 1864 году избирался председателем Ярославской уездной земской управы, членом Ярославского губернского земского собрания, а затем — председателем губернской земской управы. Мать Урусова, Варвара Силовна Баташева, происходила из известной семьи крупных землевладельцев, рудопромышленников и заводчиков. На закате жизни Сергей Дмитриевич писал о своих родителях: «В моих глазах они стоят на такой нравственной высоте, что их характеристика... обратилась бы в непрерывный ряд похвал... Они сделали все от них зависящее, чтобы дать нам образование и твердые правила поведения, как в нашей личной, так и в общественной жизни, служа нам в этом отношении живым примером». С восторгом он вспоминал о богатейшей библиотеке, собранной его предками в Спасском, называя среди своих литературных кумиров Пушкина, а позднее — Тургенева, Диккенса, Толстого, Достоевского.

В 1871 году Урусовы переселились в Ярославль, где Сергей учился в местной гимназии. В те годы они особенно сблизились с семейством Е. И. Якушкина, сына известного декабриста И. Д. Якушкина. «Свобода, простота, честность» — эти главные принципы, на которых был основан строй жизни в обоих домах, были усвоены Сергеем Дмитриевичем с детства и на всю жизнь. Будучи гимназистом, он видел в доме у Якушкиных весь цвет тогдашнего ярославского образованного общества: директора Демидовского юридического лицея М. Н. Капустина, профессоров А. С. Посникова, Н. С. Сергиевского, И. Т. Тарасова, И. И. Дитяткина и др. Огромное влияние на Урусова оказал глава семейства — Евгений Иванович, по воспитанию, традициям и убеждениям близкий к тому московскому кружку, который в лице Т. Н. Грановского и его сподвижников воплощал прогрессивный дух 1840–1850-х годов.

Когда пришла пора решать, куда поступать после гимназии, был выбран именно Московский университет — с его традициями, хранимыми в якушкинской семье и имевшими в глазах Сергея особое обаяние. Обучаясь на историко-философском факультете, поклонник В. И. Герье и В. О. Ключевского избрал своей специальностью всеобщую историю. В ту пору он особенно любил бывать в московском доме бывшего ярославского губернатора И. С. Унковского, где и познакомился со своей будущей женой — Софьей Владимировной Лавровой (дочерью председателя Московского окружного суда и по отцовской линии — родственницей философа, социолога, одного из идеологов народничества П. Л. Лаврова). Знаменательным для Сергея Дмитриевича

стал 1885 год, когда он не только получил диплом о высшем образовании, но и обвенчался со своей избранницей.

Супруги поселились в имении тещи Урусова — Веры Николаевны Лавровой (урожденной Жуковой). Там, в селе Расва Перемышльского уезда Калужской губернии, молодой помещик впервые увлекся сельским хозяйством; занятий этих он не оставлял до 1917 года, возвращаясь к ним каждый раз после недолгих перерывов, связанных с общественной и государственной деятельностью. В течение нескольких лет имение Расва превратилось в образцовое многоотраслевое хозяйство. Особой гордостью была пашня, стабильно приносившая высокие урожаи зерна, а также молочная ферма и обширные сады. Постоянные агрономические опыты, как правило, проходили успешно. «Какой запах духов князь Урусов любит больше всего? — Запах навоза...» — подтрунивали друзья над его экспериментами с удобрениями.

«Бывало и так, что полевые работы наводили меня на философские размышления, — вспоминал сам Сергей Дмитриевич на склоне лет. — Когда я целыми часами водил запряженных в плуг лошадей, не отводя глаз от качающегося на границе поля белого флажка, мне приходилось для сохранения безусловной прямизны борозд намечать второй, более отдаленный опорный знак. Где-нибудь на горизонте еле виднелся телеграфный столб или одиночное дерево, и я выбирал его в качестве регулятора, не уклоняясь в сторону от прямой линии, определяемой тремя точками: моим глазом, флажком и далеким, почти призрачным пунктом, который, тем не менее, управлял моим движением. Мне казалось в то время, что я получаю руководящее указание для моей деятельности, как бы жизненный урок. Поставить себе цель в жизни, которой никогда не достигнешь, но к которой надо постоянно стремиться, идя прямым путем, — не в этом ли заключается житейская мудрость и смысл нашего существования?»

Подолгу живя в провинции, Урусов самостоятельно (и основательно) изучил сельскохозяйственные науки, бухгалтерию, юриспруденцию. По мере необходимости, во время поездок в Берлин и Москву, он получал консультации специалистов и даже помещал собственные статьи в русских специализированных журналах. Необходимость в расширении образования и приобретении разнообразных практических навыков была связана не только с управлением собственным хозяйством, но и с общественными обязанностями, круг которых все время расширялся.

Уже в июле 1885 года Урусов был назначен приказом по Министерству финансов податным инспектором Калужского и Перемышльского уездов. В июне 1886-го — избран предводителем дворянства Перемышльского уезда. По достижении им требуемого законом двадцатипятилетнего возраста земское собрание избрало Урусова почетным мировым судьей, а вскоре — председателем съезда мировых судей. В январе 1890 года, едва вступив в губернское земское собрание, Сергей Дмитриевич был избран на должность председателя Калужской губернской земской управы. Много времени и сил было им положено на упорядочение финансов земства, борьбу с голодом (1891 года), холерой и т.д. Он всегда характеризовал себя как «человека, любящего земство, верящего в его силу, в его достоинство и в его будущее» и был твердо убежден: «Дружная работа общественных сил поможет нашей стране выйти из всех затруднений и стать на твердый путь государственного усовершенствования». Урусов всегда любил общественную работу, занимался ею, как он сам говорил, из «чести», а не за плату и, похоже, не мыслил своей жизни без этого. В характере этого человека в полной мере проявились и другие качества, свойственные, по его собственному мнению, лучшим представителям русской аристократии: «спокойная простота манер, независимость взглядов и мнений; полное отсутствие, с одной стороны, чванства и гордости, а с другой — раболепства перед высшей властью; ровное благожелательное отношение к людям различных сословий и состояний, оценка людей по их внутренним досто-

инствам, а не по занимаемому ими положению». Эти особенности личности Сергея Дмитриевича во многом объясняют его замечательный дар находить контакт с самыми разными людьми, объединять их в одном общем деле — дар, впервые ярко проявившийся в годы работы в Калужском земстве.

Бурная и весьма успешная деятельность Урусова на посту председателя губернской земской управы была отмечена стремлением ее членов переизбрать его на новое трехлетие. Однако он настоял, чтобы его кандидатура на выборах 1894 года не выставлялась. Такое решение объяснялось некоторыми семейными обстоятельствами, накопившейся усталостью, а главное — несогласием с реакционным курсом правительства Александра III, который выразился, начиная с 1889 года, в урезании самостоятельности земств, усилении дворянского «элемента» и, соответственно, сужении представительства крестьян в земских собраниях. «Я смутно чувствовал, что дух времени отодвинул меня от общего к частному, от растущих живых интересов — к отмирающим». Взяв перерыв, помещик с удовольствием погрузился в хозяйственную деятельность в своем имении. Размеренное течение деревенской жизни прервалось лишь осенью 1898 года, в связи с переездом семьи в Москву, где сын Урусовых поступил в 7-ю гимназию.

В Москве Сергей Дмитриевич избирался сначала участковым, затем почетным мировым судьей столичного съезда мировых судей. Летом 1902 года, приехав в Петербург на свадьбу к сестре, он на вокзале случайно встретился с министром внутренних дел В. К. Плеве. Это была их вторая встреча; первая состоялась двенадцать лет назад, когда Урусов по делам земской службы приезжал в Москву на прием к Плеве, исполнявшему тогда обязанности товарища министра внутренних дел. С первого взгляда узнав Урусова, вечером того же дня Плеве предложил ему пост вице-губернатора Тамбовской губернии. Скоропалительность решения министра во многом объяснялась тем, что незадолго до этого кандидатуру Урусова для занятия какой-либо губернаторской должности рекомендовал Плеве московский губернатор А. Г. Булыгин (он хорошо знал Сергея Дмитриевича по Калуге, в бытность свою калужским губернатором).

Назначение состоялось в конце октября 1902 года. Занимая пост тамбовского вице-губернатора чуть более полугодя, Урусов был вынужден подстраиваться под непосредственное начальство в лице В. Ф. фон дер Лауница. При первой же встрече со своим заместителем губернатор предъявил ему два требования: «Первое — всегда и везде появляться одетым по форме, и второе — во время заседаний в присутственных местах всегда соглашаться с моим мнением». Пообещав выполнить первое требование, относительно второго Урусов высказался вполне откровенно: «Я напомнил ему указанный в законе порядок обсуждения дел в коллегиальных учреждениях, указал на обязанность каждого члена подавать голос по совести, „не увлекаясь дружбою, родством, ниже ожиданием выгод“, и просил его принять во внимание, что по закону члены присутствия подают свои мнения, начиная с младших, вследствие чего мнение самого председателя остается им до конца неизвестным. Лауниц задумался и сказал: „Я постоянно убеждаюсь в том, что законы больше связывают исполнителей, нежели им помогают. Коли так, мы с Вами условимся, что я буду в сомнительных случаях совещаться с Вами предварительно, и если мы не сойдемся во мнениях, то Вы не будете участвовать в заседаниях“. Затем он с грустью добавил: „То ли дело военная служба: там к таким церемониям не приходится прибегать“».

Следует заметить, что назначение Урусова на «вторую роль» при Лаунице позволило заметно разрядить напряженность в отношениях между администрацией и деятелями местного самоуправления, нараставшую в связи с усилением оппозиционного духа в тамбовских общественных кругах. «Наименование „консерватор“ и „либерал“, „левый“ и „правый“ уже применялось в обывательских беседах почти

к каждому, даже скромному общественному деятелю, — вспоминал Сергей Дмитриевич. — Разделение это еще не отзывалось на личных отношениях, не проникло в частную жизнь и не разделило губернского общества на два враждующих стана, с каковым явлением мне пришлось встретиться через два года в Твери, но все же раскол был заметен».

В 1902 году выборные должности в Тамбовском земстве оказались заняты преимущественно представителями либерального течения. Около половины из числа двенадцати уездных предводителей дворянства также были либералами. Представителями того же направления являлись губернский предводитель дворянства князь Челобаев и председатель губернской земской управы М. П. Колобов. Урусов отмечал заметное влияние на образ мыслей тамбовских земцев местного землевладельца, известного государствоведа и философа Б. Н. Чичерина. К 1902 году он уже закончил свою научную карьеру и, несмотря на преклонный возраст и болезни, стремился проводить в жизнь свои идеи широкого местного самоуправления, участвуя в качестве гласного в земских собраниях.

Сблизившись с местными либералами (В. М. Петрово-Соловово, В. И. Вернадским, Ю. А. Новосильцевым), а также наблюдая безуспешные потуги своего «шефа» Лауница искоренить «крамолу», Урусов все больше убеждался в неэффективности силовых методов в борьбе с общественным мнением.

Неожиданно в мае 1903 года он получил назначение (вновь по рекомендации Плеве) на пост бессарабского губернатора. А в июне, перед отъездом на место службы, был впервые удостоен аудиенции у царя. Напутствуя Урусова, Николай II пожелал ему успеха в выполнении трудной задачи: в Бессарабии предстояло «все успокоить и вернуть к нормальной жизни» после напугавшего правительство еврейского погрома в Кишиневе. «Твердо держитесь законности сами и того же требуйте от Ваших подчиненных» — таков был совет царя. Правительство предоставило новому губернатору полную свободу действия. Однако позже он напишет: «Я прекрасно знал, что каждое мое действие, каждый мой шаг учитываются, комментируются и критикуются в департаменте Общих дел, директор которого Б. В. Штюмер был очень недоброжелательно настроен по отношению ко мне и ждал случая получить возможность меня дискредитировать». Занимая пост бессарабского губернатора, Урусов сумел подтвердить мнение о себе как о человеке, умеющем примирить общественные интересы путем разумных компромиссов. За полтора года ситуация в губернии оказалась под контролем администрации и новый погром был предотвращен, за что губернатор получил личную благодарность от царя. А 24 ноября 1904 года король Румынии Карл I наградил его орденом Румынской короны 1-й степени. Опыт, приобретенный Урусовым в Бессарабии, правительство стремилось использовать: в январе 1904 года его пригласили в Петербург для участия в работе Комиссии по пересмотру законоположений, ограничивающих права евреев.

Преемником Плеве (после его убийства эсером Сазоновым в июле 1904 года) на посту министра внутренних дел стал князь П. Д. Святополк-Мирский. «Им были вновь провозглашены забытые во время царствования последних двух императоров лозунги доверия и благожелательности по адресу общественных сил, самоуправления и таких государственных учреждений, как независимый от администрации суд. Вспомнилось время „диктатуры сердца“ и попытка Лорис-Меликова связать правительство и общество общей работой и взаимным доверием». И при новом министре, с которым, кстати, Сергей Дмитриевич прежде не был знаком лично, он оказался «первым, самым желательным кандидатом на трудные и видные губернаторские посты». С учетом собственного пожелания Урусова его перевели губернатором в Тверь (ноябрь 1904 — июнь 1905).

Дело в том, что либеральные настроения тверских дворян составляли предмет особого внимания «высших сфер» еще до отмены крепостного права. Известны их «крайние» мнения, высказанные в пору подготовки крестьянской реформы 1861 года. Событием в общественной жизни тогдашней России стала депутация тверских дворян во главе с губернским предводителем А. М. Унковским, которая предложила Александру II собственный проект реформы, составленный в либеральном духе. Как вспоминал Урусов, «тверские земские собрания унаследовали тот же дух, и в хозяйственной деятельности местных земцев постоянно сквозила политическая подкладка — стремление расширить права местных выборных учреждений в виде планомерной подготовки к более широким реформам, с окончательной целью „увенчать здание“ русской государственности учреждением постоянного органа всенародного представительства». Неудивительно, что правительство внимательно следило за деятельностью тверских общественных учреждений и с особой тщательностью подбирало кандидатуры на губернаторский пост, правда, не всегда удачно... Пример эффекта, обратного тому, на который рассчитывали правящие верхи, — деятельность князя А. А. Ширинского-Шахматова (предшественника Урусова на посту тверского губернатора). Плацдарм для его «решительных действий» был подготовлен в 1903 году по итогам ревизии губернских земских учреждений, проведенной по инициативе Плеве и на основе Высочайшего повеления директором Департамента общих дел Б. В. Штюмером (тоже тверским помещиком). Целью проверки, по словам Урусова, было «обнаружить корень зла, те живительные источники, которыми питался либеральный дух земства».

«Штюмер собрал факты, слухи, намеки и подозрения. Гурлянд составил мастерски изложенный обширный доклад, в котором рядом в искусном расположении материалов был дан исторический обзор роста земского либерализма, отразившегося преимущественно в деятельности гласных земских собраний Новоторжского уездного и Тверского губернского. В результате описанного обозрения по докладу министра внутренних дел Плеве состоялось 8 января 1904 года Высочайшее повеление, согласно которому полномочия выборных земских управ — Тверской губернской и Новоторжской уездной — были прекращены, а ставшие свободными должности были замещены лицами по назначению министерства. Одновременно с этим рядом земских гласных было воспрещено участие в земских собраниях, а некоторые из видных общественных деятелей и наиболее опасные земские служащие были высланы за пределы губернии. Таким образом, земское поле было очищено от сорных трав, и новому губернатору, по-видимому, предстояло работать в условиях мирного и плодотворного сотрудничества с обыкновенным составом земских учреждений губернии».

На деле все оказалось по-другому... Ширинскому-Шахматову с первых дней пребывания на своем посту пришлось возобновить «поход» против местной оппозиции в связи с ростом антиправительственного настроения в земских кругах. «Наряду с этим, к полному отчаянию губернатора оказывалось, что и среди земских гласных, считавшихся „надежными“, обнаруживалось мало сочувствия к произведенной реформе земского управления, ограничившей земскую деятельность и поставившей во главе местного хозяйства губернии и одного из уездов людей, не имевших связи с местными интересами... Кончилось тем, что после ряда мелочных придинок, протестов и попыток наладить работу земства в желательном направлении Ширинский-Шахматов к осени 1904 года представил министру внутренних дел такой список лиц, предназначенных к увольнению и высылке, который по численности во много раз превосходил прежний. Очевидно, сорняки заглушили посев, произведенный Штюмером. Единственным наглядным результатом принятых администрацией мер явилось понижение хозяйственной деятельности Тверского земства, увеличение числа недовольных правительством, и, наряду с этим, не усилилась, а, наоборот, ослабла та земская

партия, на которую правительство рассчитывало опираться. Святополк-Мирский отказался дать ход проекту губернатора, и Ширинский-Шахматов принужден был покинуть свой пост».

Пожалуй, именно в Твери у Урусова впервые появилась реальная возможность в полной мере претворить в жизнь «совершенный тип» губернатора — «независимого, в духе Екатерининского положения, не оглядывающегося при каждом своем действии на петербургские канцелярии, но действующего, руководясь законами по собственному разумению, в интересах вверенной его надзору губернии». Заметим, что достижение этой цели существенно облегчалось тем, что, будучи состоятельным человеком, Урусов никогда не нуждался в службе как источнике средств для жизни.

Новый губернатор никаких «криминальных признаков» в работе тверских земцев не обнаружил. «Только лицу, ознакомившемуся с содержанием секретного доклада Штюрмера, могла открыться причина, заставившая правительство прибегнуть к столь исключительной мере, как Высочайшее повеление 8 января 1904 года. Дело в том, что следователи не смогли открыть в работе Тверских земских учреждений таких нарушений и фактов, которые давали бы возможность привлечь земских работников к ответственности в порядке, установленном законом. Обнаружен был лишь дух, который не поддается изолированию, изъятию из земской атмосферы и закупорению в склянку с притертой пробкой. Поэтому основной вывод, который можно было сделать на основании обзора Штюрмера, заключался в подтверждении бессилия репрессивных мер в борьбе с мнениями».

Разобравшись на месте в ситуации, Урусов, спустя всего несколько дней после своего назначения, приехал в Петербург. И, заручившись поддержкой Святополк-Мирского, 3 декабря 1904 года встретился с Николаем II. Несмотря на явное несочувствие самодержца земскому движению, Сергей Дмитриевич все-таки смог убедить его в необходимости отмены указа 8 января 1904 года. В критический момент разговора, когда осуществление замысла висело на волоске, он припомнил те слова, которыми царь напутствовал его в связи с вступлением в должность бессарабского губернатора. И подчеркнул, что с молодости, поступая на службу, он принял за правило, не заботясь о себе, думать только о порученном деле и «действовать всегда по закону».

Характеризуя тверских деятелей, Урусов счел необходимым обратить внимание на то, что «в составе земских собраний и управ преобладают люди, принадлежащие к состоятельному и образованному классу, заинтересованные в соблюдении порядка и спокойном развитии государственной жизни страны. ...Если многие из них, продолжал я, настроены либерально, стремятся к расширению прав общественных учреждений и являются до некоторой степени оппозицией правительству, то все же надо принять во внимание, что они не революционеры; способ их борьбы — открытое заявление своего мнения, сделанное в корректной форме. Притом Тверское земство не единственное в России настроенное либерально. Почему же только к нему применена исключительная мера? Многие из тверских земцев, на которых возведено обвинение в крамоле, вошли бы в кабинет Вашего Величества с тем же сознанием верноподданнейших обязанностей своих, с каким вошел сюда я. ...Я убежден, что каждый губернатор, знающий Положение о земских учреждениях и вооруженный предусмотренными законом средствами, сможет остановить и прекратить злоупотребления выборных земских служащих. Для этого нет надобности ломать органы земства — достаточно привлечь виновных лиц к законной ответственности».

Результатом встречи губернатора с Николаем II стала отмена ограничений в деятельности Тверского земства. Это позволило в некоторой степени восстановить доверие местных общественных сил к власти, поставить их сотрудничество на нормальную деловую почву. Также довольно быстро, говорит Урусов, удалось «ослабить то напря-

жение, с которым высшие губернские чины всматривались в мое поведение и мои поступки, стараясь угадать, в какую сторону клонятся мои мысли и симпатии, а также отучить их рассматривать дела с точки зрения возможности придать им ту или иную окраску и предусмотреть, кому то или иное решение придется по вкусу и кого оно приведет в негодование. Освобождение моих сотрудников от предвзятых мнений и от опасения „попасть не в тон“ явилось главным предметом моих стараний, причем я не только избегал навязывания им собственных моих взглядов, но исходил из предположения, что каждый занимающийся отдельной отраслью управления является в ней специалистом более опытным, нежели я». Всякий раз, обнаруживая в проектах и докладах тенденцию подчинить закон и логику господствующим в данную минуту настроениям, он целым рядом «недоуменных вопросов» старался «привести дело в ясность» и принудить своих подчиненных «прийти к заключению, с которым можно бы согласиться». Один из сотрудников, поначалу считавший губернатора человеком наивным и малоопытным, спустя некоторое время изменил свое мнение, а его излюбленный метод работы назвал «сократовским методом».

При Урусове все выборные должности в Тверском земстве были замещены либеральными деятелями. Это послужило поводом для переписки в январе 1905 год между Урусовым и его старым знакомым А. Г. Булыгиным, который в ту пору уже сменил Святополк-Мирского на посту министра внутренних дел. Характерный эпизод связан с просьбой Булыгина представить ему сведения об избранном на должность председателя Тверской земской управы В. Д. фон Дервице — на предмет «благонадежности» последнего. Урусов ответил отказом, объяснив свою позицию так: «Избрание его (фон Дервица. — Н. Х.) земским собранием заставляет меня предполагать, что Дервиц обладает необходимыми для председателя управы способностями и качествами».

Многие из тверских земцев оказались близки Урусову по взглядам (С. Д. Квашнин-Самарин, И. А. Корсаков, И. И. Петрункевич, Ф. И. Родичев и др.). Он разделял их «мнение о своевременности включения в наш государственный строй народного представительства». И ту же мысль о необходимости «оказать народу доверие» выразил в своих воспоминаниях словами Достоевского: «Позовите серые зипуны и спросите их самих об их нуждах, о том, чего им надо, и они скажут вам правду».

Губернатор руководствовался в своей деятельности «духом законности и благожелательства». Не раз он лично выезжал на места — улаживать конфликты между рабочими и администрацией на заводах, а также земельные споры в деревне, особенно распространившиеся по стране после 9 января 1905 года. «Я всегда крепко держался того мнения, — писал Урусов, — что вызов войск гражданской властью является такой мерой, к которой следует прибегать лишь в крайних случаях, когда все прочие способы восстановления нарушенного порядка исчерпаны и массовые насильственные действия толпы уже начались или неминуемы. Обращение к содействию войска в виде меры предупредительной я считал ошибочным приемом, ослабляющим эффективность подобного вмешательства, раздражающим самих солдат, приучая их к безрезультатным демонстрациям. Я твердо уверен в том, что при вооруженном столкновении с бесчинствующей толпой представители власти должны иметь на своей стороне не только физическую силу, но и моральную в виде сознания солдат о том, что их вмешательство разумно и необходимо, что требование гражданской власти подавить беспорядок силой не только формально законно, но является всеобщей гражданской обязанностью, хотя и неприятной, но вызванной соображениями государственного, т.е. общенародного интереса. Следовательно, желательно всегда ставить солдат лицом к лицу с явно выраженными преступными действиями толпы, а не в виде очередного пугала. Особенно претила моему самолюбию возможность истолковать вызов мною войск как намерение охранить безопасность моей собственной особы».

Гласные Тверской городской думы отмечали, что всего за девять месяцев управления князем Урусовым губернией «он внушил к себе уважение всех классов общества и общественных учреждений. Гуманный человек, доступный всегда для каждого обращавшегося к нему, сторонник городского и земского самоуправления и всякого рода общественной инициативы, он являлся образцовым губернатором, сумевшим после кн. А. А. Ширинского-Шахматова умиротворить все недовольные элементы и восстановить в губернии действительное спокойствие».

Сам С. Д. Урусов характеризовал принципы своей управленческой деятельности так: «При оценке взглядов и убеждений своих собеседников (сотрудников, служащих, общественных деятелей, местных обывателей. — *Н. Х.*) я всегда исходил из предположения, что они добросовестны и что мнение их вызывается соображениями общей пользы и потому должно быть рассматриваемо с точки зрения его правильности или ошибочности без обязательного приложения к нему мерки „благонадежности“. Мне представлялось, что даже политические деятели при существовании определенных партийных группировок должны разбиваться на два борющиеся стана лишь в тех случаях и на то время, когда они заняты обсуждением и решением политических вопросов. По окончании обсуждения они могут образовывать совершенно иные группировки, по иным признакам, сходясь на основании личных вкусов, привычек и прочих самых разнообразных интересов. Как в Калуге, Тамбове, Бессарабии, так и в Твери я всячески ограждал себя от той нетерпимости, которая, будучи иногда допустимой в принципиальных вопросах, относящихся к религии и нравственности, казалась мне неуместной и вредной в вопросах практического характера. К числу последних я относил и вопросы государственного устройства, своевременности и пригодности той или иной формы правления и т.п.».

1905 год — в полном смысле переломный в судьбе князя Урусова. Под впечатлением стремительно развивавшихся событий революции, он перешел на позиции резко критического отношения к самодержавию. Последней каплей, заставившей его со всей определенностью заявить о своей оппозиции к царскому самодержавию, стала гибель 2-й Тихоокеанской эскадры под командованием вице-адмирала Рожественского у Цусимы. «Известие это возбудило во мне ряд мыслей, обращенных к оценке моей служебной деятельности, суждению о ее полезности и целесообразности... В голове моей стали бродить мысли о том, стоит ли действительно усердствовать и трудиться для поддержания престижа правительства, руководимого неспособным к управлению самодержцем, и не пора ли поработать над тем, что давно уже составляло предмет желаний многих выдающихся русских людей, а именно над установлением за правительственной деятельностью общественного контроля в виде постоянного органа народного представительства».

Недоволен был Урусов и реакцией царя на Цусимское поражение. За ним последовало не обращение к народу со словом ободрения, не воззвание к его патриотизму, сплоченности и дружной работе над восстановлением государственной мощи России, а «Высочайший указ, согласно которому бывшему московскому обер-полицмейстеру, товарищу министра внутренних дел Д. Ф. Трепову предоставлялись права министра по охране государственного порядка в борьбе с крамольным общественным движением, а также руководство в этом отношении деятельностью губернаторов». Тверской губернатор не раздумывая принял решение об отставке. Однако его отход от большой политики оказался непродолжительным...

Первым, кого посетил Сергей Дмитриевич, покинув Тверь, стал А. А. Лопухин, муж его сестры, в 1905 году занимавший пост эстляндского губернатора. Лопухин и Урусов, люди очень близкие по взглядам и характерам, провели первые дни после встречи в оживленных беседах, обсуждая ситуацию в стране, которая, по их мнению,

стояла перед новыми важными событиями и переменами: «Стремление к объединению, желание высказать правительству решительное слово от имени всего народа, охватившее почти все земство, к которому только что присоединились города, резолюции земских съездов и общегородского съезда, на котором участвовали представители 86 городов под председательством московского городского головы кн. В. М. Голицына, напряженное внимание, с которым общество и печать следили за каждым проявлением охватившего страну освободительного движения, — все эти признаки указывали на предстоящее неминуемое столкновение двух сил: правительственной — обладавшей властью, и общественной — овладевшей умами».

Урусов вспоминал: «После того как мы с А. А. обменялись мыслями, предположениями и надеждами, подвергнув происходившее общественное движение и царский ответ на обращение съезда (имеется в виду съезд представителей земств и городских дум, состоявшийся в Москве в июле 1905 года; реакцией на него Николая II стало „Положение“ об учреждении Государственной думы, так называемой „булыгинской“. — Н. Х.) всесторонней оценке, бывшая служба моя представилась мне как бы в новом освещении. Старания мои реализовать в жизни и на деле создавшийся в моем воображении образ губернатора самостоятельного, независимого представителя законности, заботящегося об интересах местного населения, благожелательного посредника между ним и центральным правительством, подчиненного непосредственно монарху, показались мне ничтожными, безрезультатными, незаметными и никому не нужными. Широко распространившееся, твердо заявленное общественное мнение требовало коренной реформы государственного строя, а не более или менее удачного подбора правительственных агентов. Я вспомнил лучшее время моей жизни и деятельности, выборную общественную службу, и мысли мои перенеслись в Калугу, в Перемышль, в деревню, в ту среду, в которой я когда-то пользовался влиянием и успехом. Я принял твердое решение стать одним из тех „выборных от народа“, которые, по обещанию царя, будут „привлечены к работе государственной“ и которым предстояло, по его словам, „вывести обновленную Россию из постигших ее испытаний“».

Проведя лето с семьей в своем калужском имении, Сергей Дмитриевич в середине сентября поехал погостить в Ялту к брату, «чтобы воспользоваться теплыми солнечными днями южной осени». Заблаговременно был взят обратный билет до Москвы на поезд, отправлявшийся из Севастополя вечером 10 октября. Однако планы расстроила Всероссийская октябрьская политическая стачка. Оказавшись в вынужденном заточении, Урусов стал невольным свидетелем половодья революционной стихии. (Воспоминания об этом под названием «Дни свободы в Севастополе» были опубликованы в 1908 году в журнале «Вестник Европы».) 19 октября ему в гостиницу доставили телеграмму от С. Ю. Витте, председателя только что образованного Совета министров: «Мне совершенно необходимо Вас видеть. Сделайте все возможное, чтобы скорее приехать». Добравшись до Петербурга только утром 26 октября, Урусов сразу же получил от Витте приглашение занять в новом правительстве должность товарища министра внутренних дел (при министре П. Н. Дурново). 30 октября его кандидатура была окончательно утверждена.

По случаю своего нового назначения, 6 ноября 1905 года, С. Д. Урусов был на приеме у Николая II: «Царь благодарил меня за то, что я согласился занять второстепенную должность в только что образовавшейся с трудом министерской комбинации, и, посмотрев на меня ясным, доверчивым, многим известным и многих чаровавшим взором, произнес слова, которые стоило запомнить: „Да, при теперешних обстоятельствах надо всем соединиться и думать о России; вот, например, монархия: Вам она не нужна, мне она не нужна, но пока она нужна России, мы обязаны ее поддерживать“».

Дав согласие работать в правительстве, Урусов надеялся «принять живое участие в подготовке законопроектов, подлежащих внесению в Государственную Думу и в Государственный Совет». По его мнению, рабочим аппаратом для выработки законопроектов должны были оставаться соответствующие министерства, имеющие готовый штат специалистов-чиновников, обширные материалы, служебный и редакторский аппарат. Важно было, чтобы «Дума немедленно по открытии занятий имела материал для работы и чтобы страна увидела, что правительство Его Величества работало и намерено продолжать работу в духе и смысле принципов, возведенных царским Манифестом». Думская инициатива в законодательстве предполагалась Урусовым как исключение. Однако, к его немалому удивлению, «один только Н. Н. Кутлер в своем министерстве земледелия готовил втихомолку какой-то проект аграрной реформы. Что же касается нашего министерства, в котором по роду дел должна была совершиться наибольшая ломка, то там все было тихо, все шло по-прежнему. Не было и намека не только на неизбежность, но и на возможность каких-либо изменений».

Сергей Дмитриевич решил все же «для очистки совести» представить П. Н. Дурново свои соображения по этому поводу. Собственный взгляд на реформу местного управления он изложил в конце ноября в личной беседе с министром. Смысл рассуждений сводился к следующему. По его убеждению, «самому близорукому государствоведу должна была броситься в глаза несообразность дальнейшего существования обособленного крестьянского управления и суда, сословного земства, нескольких конкурирующих видов полиции, а также административного порядка, применявшегося в ряде дел, изъятых из компетенции гласного суда и т.п.». Реакция была удручающей: «Казалось, что он считал все мною высказанное теоретически правильным, но не имеющим существенного значения». Тем не менее Дурново согласился на образование специальной комиссии для подготовки законопроекта о реформе местного управления и поручил Урусову исполнять обязанности ее председателя. Комиссия, руководствуясь Манифестом 17 октября 1905 года, предложила расширить круг деятельности местного самоуправления, ограничить произвол административной власти, создать гарантии правового порядка, ликвидировать сословные преимущества и т.д. «Я слышал впоследствии, — вспоминал Сергей Дмитриевич, — что министр нашел наш проект слишком демократическим и похожим более на резолюцию земского съезда, нежели на работу, вышедшую из недр министерства». Вскоре, по решению Дурново, деятельность комиссии была прекращена.

Испытав разочарование в министерской деятельности, Урусов в марте 1906 года подал на имя Витте прошение о досрочной отставке — это был первый в России случай добровольного ухода товарища министра со своего поста. Он отказался от назначения ему пенсии и уехал в Москву, а затем в Перемышльский уезд, «чтобы вскоре принять участие в избирательном съезде и в собрании выборщиков для избрания членов Государственной думы».

Выборы депутатов в I Государственную думу, состоявшиеся в Калужской губернии в марте 1906 года, — наглядное свидетельство политических симпатий в стране к тому «умеренно прогрессивному» направлению в политике, выразителем которого был С. Д. Урусов. Здесь в предвыборной кампании активно действовали кадеты. Но уже в первом списке кандидатов в выборщики от Перемышльского уезда значилось имя Урусова. Он одержал убедительную победу и на заключительном этапе кампании, в избирательном собрании в Калуге, где получил наибольшее количество голосов из пяти избранных лиц — главным образом потому, что «выборщики из крестьян единодушно голосовали за меня», объяснял Урусов. Следующая яркая страница его биографии связана с первым российским парламентом. Сергей Дмитриевич, единственный из высших администраторов, удостоился избрания в I Государственную думу. Он

исполнял обязанности председателя думской комиссии по разработке законов о гражданском равенстве. С его мнением считались депутаты, занимавшиеся разработкой проекта реформы местного управления (Г. Ф. Шершеневич, Ф. Ф. Кокошкин, В. Е. Якушкин и др.), и нередко проводили свои собрания у него на квартире.

Урусов был искренним и внимательным человеком; его отличали терпимость к различным мнениям наряду с принципиальной позицией в вопросах нравственности, стремление решать проблемы путем поиска компромиссов; приверженность к постоянным изменениям в государственной жизни при сохранении исторической преемственности, неприятие коренной ломки экономических и социальных основ существующего строя и при этом — желание придать ему новый облик «на началах права, политической свободы, гражданского равенства и широкой демократизации». Все это сделало закономерным сближение Урусова в I Думе с членами Партии демократических реформ («партии здравого смысла», по определению одного из ее лидеров, известного ученого М. М. Ковалевского).

Их деятельность предусматривала легальную парламентскую деятельность — проведение собственной программы в конституционных формах. «Мы не стремились к достижению компромиссов в тактических целях, чтобы путем взаимных уступок составить внушительное большинство, — разъяснял Сергей Дмитриевич настроение свое и своих товарищей. — Некоторым из нас казались слишком быстрыми взятые Думой темпы, а тон ее не всегда верным. Введение в наш государственный строй народного представительства мы рассматривали как силу, которой предстояло постепенно вырасти и укрепиться. При ясно выраженном оппозиционном настроении большинства Думы, имевшем корни в стране, представлялось возможным реформировать как правительственную деятельность, так и самый состав правительства, не прибегая к мерам революционного характера».

Урусов всего один раз выступил с думской трибуны, выполняя поручение членов Партии демократических реформ. В своей речи он дал резкую оценку провокаторской деятельности некоторых полицейских чинов, печатавших непосредственно в здании Департамента полиции прокламации погромного содержания. Толчком к выступлению послужил ответ министра внутренних дел П. А. Столыпина на запрос Думы по этому поводу. Столыпин стремился переложить всю ответственность за случившееся на прежнее руководство МВД и убедить депутатов в том, что теперь повторение подобных методов невозможно. Урусов посчитал своим долгом отвести огульное обвинение от Министерства внутренних дел той поры, когда сам он находился на службе в этом ведомстве. По его убеждению, «команда Столыпина», точно так же, как и прежний состав МВД, не застрахована от повторения подобных «сюрпризов», пока «на судьбу страны будут оказывать влияние люди, по воспитанию вахмистры и городовые, а по убеждению погромщики», которые находятся «за недосыгаемой оградой» и имеют возможность «грубыми руками хвататься за отдельные части государственного механизма и изоцрять свое политическое невежество опытами над живыми людьми, производя какие-то политические вивисекции».

Это выступление, неоднократно прерывавшееся криками «браво» и громом аплодисментов, произвело в России «эффект разорвавшейся бомбы» и имело широкий международный резонанс. Последствия своей разоблачительной речи Урусов ощущал до конца жизни то в виде «незаслуженных лавров», то в виде «несправедливых укоров» — смотря по обстоятельствам. Сам он, однако, отмечал, что, по сути, его речь не содержала никаких «разоблачений» — ведь «всем все было известно», и факты, содержащиеся в запросе Думы, Столыпин публично признал. Просто под воздействием нахлынувших на него в зале думских заседаний эмоций он «сказал несколько лишних слов, от которых с удовольствием бы отказался»...

Как известно, I Думе не удалось достичь взаимопонимания с правительством — 9 июля 1906 года она была распущена. Реакцией кадетских депутатов на действия верховной власти (кстати, вполне законные) стало подписание так называемого «Выборгского воззвания» с призывом к гражданскому неповиновению. Урусов оценивал этот документ как «наскоро слаженный компромисс между конституционными и революционными партиями», явный отход депутатов от принципов легальной деятельности. «Я, вероятно, воздержался бы от подписи под воззванием, если бы присутствовал при его составлении», — вспоминал Сергей Дмитриевич. Сам он, даже не подозревая о событиях в Выборге, совершал в тот момент морскую прогулку в окрестностях Гельсингфорса в обществе депутата-калужанина В. П. Обнинского. Однако собственное положение после опубликования документа представлялось ему двусмысленным: «Отсутствие моей подписи можно было бы впоследствии понимать двояко: как пропуск, вызванный причиной, от меня не зависевшей, а именно моим случайным отсутствием; или же как доказательство моего несочувствия воззванию. Я мог бы пользоваться то одним, то другим аргументом, глядя по обстоятельствам». После непродолжительных раздумий он попросил В. Е. Якушкина присоединить и его фамилию к прочим подписям, объяснив, что поступает в данном случае «по старинному правилу», усвоенному им еще в гимназии и «запрещающему обособляться и уклоняться от ответственности за поступки, совершенные товарищеской массой». Следствием этого стало трехмесячное пребывание Урусова в московской Таганской тюрьме (с 13 мая по 11 августа 1908 года) и отстранение его по решению суда от государственной и общественной службы. Запрет действовал вплоть до Февральской революции.

В марте 1917 года телеграммой Временного правительства Урусова вызвали из Калуги в Петроград и назначили товарищем министра внутренних дел без содержания. На этом посту, согласно записи в «Автобиографии», он «имел поручение составить проект „Положения о милиции“». Работу исполнил, Положение было утверждено и напечатано, после чего в конце июня 1917 года вышел в отставку и возвратился в Калужскую губернию».

После октября 1917 года Урусова лишили гражданских прав, выселили из собственного имени. Неоднократно — зачастую без объяснения причин — подвергали арестам, тюремному заключению, преследованиям. А 27 декабря 1919 года он был призван на действительную военную службу в должности военного моряка (реально исполнял обязанности бухгалтера при Штабе морских сил в Москве); в мае 1921-го уволен со службы по возрасту.

С началом нэпа богатый опыт и неизменное желание Сергея Дмитриевича быть полезным своей стране оказались востребованы новыми властями в полной мере. В 1921–1923 годах он занимал должность управляющего делами Особой комиссии при президиуме ВСНХ по исследованию Курских магнитных аномалий. И за «выдающиеся заслуги» на этом посту был включен в группу сотрудников, награжденных орденом Трудового Красного Знамени. В конце 1920-х — начале 1930-х годов Урусов работал в Комиссии по изучению естественных производительных сил СССР при Московском отделении АН СССР, во Всесоюзном тресте племенного и молочного скотоводства (экономист финансового сектора), в Госбанке (сотрудник инспекции) и т.д., нередко выступая, по отзывам коллег, с ценными предложениями. По словам его сослуживцев этого периода, он был «человек исключительной добросовестности, отдающий делу все свои знания и силы», который «может служить образцом советского работника». В 1929 году решением ВЦИК С. Д. Урусова восстановили в гражданских правах. Однако в назначении пенсии отказали — ввиду того, что «до революции был князем»... В 1932 году в поддержку этого уважаемого человека

выступило Общество политкаторжан, отметив его «большие заслуги в разоблачении погромной политики царизма». В конце концов, благодаря ходатайству со стороны руководства Госбанка, Урусову все же была назначена хорошая по тем временам пенсия в размере 200 рублей, покупательная способность которых, правда, год от года заметно снижалась.

Напряженный труд в течение всей жизни, тяжелые личные утраты (смерть старшей дочери Веры и жены в 1922 году, арест и высылка в Казахстан сына Дмитрия в марте 1935 года, последовавшие затем репрессии в отношении многих родственников и друзей) подорвали и без того некрепкое здоровье Сергея Дмитриевича, уже давно страдавшего астмой. Весной 1937 года он тяжело заболел. «У него была выраженная слабость сердечной мышцы, и появились значительные отеки и одышка, — вспоминала о последнем периоде жизни Урусова его дочь Софья. — 5 сентября 1937 года папа очень тихо во сне умер».

Сергея Дмитриевича Урусова похоронили в Москве на Даниловском кладбище, его могила не сохранилась.

ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ РОСТОВЦЕВ:
*«Моя программа —
программа народной свободы...»*

МИХАИЛ КАРПАЧЕВ

П. Я. Ростовцев родился в Воронеже 7 июня 1863 года. Его отец, купец 2-й гильдии Землянского уезда Яков Семенович Ростовцев, в пореформенное время стал еще и землевладельцем: в своем уезде он купил относительно небольшое имение. В 1883 году Петр окончил Воронежскую мужскую классическую гимназию; так получилось, что тогда же эту гимназию окончили сразу несколько видных впоследствии общественных деятелей: А.А. Перелешин, гласный губернского земства, С. А. Петровский, депутат Государственной думы третьего и четвертого созывов, М. С. Александров, занявший видное место в партии большевиков под псевдонимом Ольминский. Началась учеба на юридическом факультете Петербургского университета, завершившаяся только в 1889 году. Двухгодичная задержка была вызвана браком Ростовцева с дочерью полковника Александрой Александровной Смирновой в 1887 году. Студентам в ту пору венчаться не разрешалось, и обучение пришлось приостановить ради устройства семейных дел.

Выйдя из университета со степенью кандидата прав, П. Я. Ростовцев вернулся в родную губернию, где вскоре вошел в круг общественно активной интеллигенции. Жил он в своем имении в Землянском уезде, где у них с братом было 400 десятин полученной в наследство земли. Как и многие образованные люди того поколения, он с большой охотой включился в работу учреждений местного самоуправления. Деятели с независимым мировоззрением работа в земствах или городских думах казалась более предпочтительной, чем казенная служба в коронных ведомствах. Надо учесть также, что в уездном обществе той поры выпускников университета было очень мало, и они сразу оказывались на виду. Вот почему не вызывал большого удивления тот факт, что практически сразу после возвращения в родные края Ростовцева избрали на должность городского головы Землянска. Этот беспокойный пост он занимал пять лет, до 1894 года. Ко всему прочему в 1892-м уездное земское собрание избрало его почетным мировым судьей; в этой должности Ростовцев состоял семь лет. Почетная должность была отнюдь не праздной: ей принадлежала полная практическая компетенция участкового мирового суда. Поэтому молодому человеку пришлось на собственном опыте узнать реальные интересы и проблемы народной, главным образом крестьянской, жизни.

В 1894 году Петр Яковлевич избирается гласным уездного земского собрания, а еще спустя четыре года — председателем уездной земской управы. Эту должность он занимал до 1901 года, уступив ее своему другу и единомышленнику А. Г. Хрущову. В качестве земского деятеля Ростовцеву приходилось заниматься самыми разными делами общественного самоуправления. По должности он состоял членом уездной оценочной комиссии, определявшей масштабы и источники поступлений местных сборов. Входил также в состав Землянского училищного совета. А с конца 1890-х на

каждое очередное трехлетие избирался в гласные Воронежского губернского земского собрания. В губернском земстве он — тоже заметная фигура: активно работает в сметной и ревизионной комиссиях, участвует в различных совещаниях по делам общественного самоуправления. В 1905 году входит в состав губернского по земским и городским делам присутствия, а также становится членом губернского лесоохранительного комитета.

В ноябре 1905 года П. Я. Ростовцева избирают городским головой Воронежа. К этому времени его политические убеждения вполне сложились. По оценкам близко знавших его людей, он отличался свободолобием и свободомыслием. Ближайшие единомышленники Петра Яковлевича — известные в губернии деятели либерального направления: его земляк А. Г. Хрущов, статистик Ф. А. Щербина, врач С. В. Мартынов, педагог Н. Ф. Бунаков, санитарный врач А. И. Шингарев. Вместе с ними новоиспеченный городской голова активно участвует в создании губернской организации Конституционно-демократической партии (Партии народной свободы). Разумеется, активность воронежских либералов была прямо связана с разыгравшейся в России революцией, а организационное оформление Воронежского комитета партии кадетов стало возможным после знаменитого Манифеста 17 октября, объявившего о гарантиях политических свобод. Очень скоро воронежская организация заслужила репутацию одной из самых авторитетных в составе партии кадетов.

Осенью 1905 года воронежские либералы фактически определяли общественно-политическую атмосферу в городе. Факт говорит сам за себя: один из видных оппозиционеров самодержавному режиму стал главой городского самоуправления. Однако на этой ответственной должности Ростовцев трудился недолго: весной 1906-го его избирают от города депутатом Государственной думы первого созыва. По просьбе городской думы формально он не сложил своих полномочий — лишь отказался от жалованья и подал прошение о предоставлении ему двухмесячного отпуска для участия в работе Государственной думы. Собираясь в столицу, Ростовцев заявлял своим избирателям: «Моя программа — программа народной свободы, я не отклонюсь ни вправо, ни влево от этой программы». По иронии судьбы, предоставленного отпуска оказалось достаточно для завершения депутатской карьеры. Как оказалось, о народной свободе гораздо проще говорить в кругу друзей-интеллигентов, чем пытаться реализовать ее в качестве государственной политики.

I Государственная дума оказалась, как известно, недолговечной. П. Я. Ростовцев участвовал в ее работе с первого до последнего дня (27 апреля — 8 июля 1906). Судя по стенографическим отчетам, на трибуне он не выступал, но в качестве члена фракции кадетов был заметен: около десяти раз подписывал коллективные запросы либеральных депутатов в адрес правительства. Поводами для этого служили необоснованные аресты или иные репрессии, проводившиеся властями в административном порядке. Как и других депутатов, Ростовцева интересовало, на каком основании проводилась мобилизация казачьих полков второй и третьей очередей для несения службы внутри империи. Он входил в круг представителей Партии народной свободы, настойчиво требовавших от царского правительства всеобщей и полной амнистии для лиц, нарушивших правопорядок по политическим мотивам. Кроме того, он был избран в аграрную и финансовую думские комиссии, но поработать там, разумеется, не успел.

Роспуск Думы либералы той поры встретили с негодованием. Петр Яковлевич вошел в число подписавших Выборгское воззвание — обращение к народу, призывавшее к гражданскому неповиновению, и за это был привлечен к судебной ответственности. Как и большинству других подписантов, ему пришлось отбыть трехмесячное тюремное заключение. Вплоть до падения монархии он оставался в списках политически неблагонадежных лиц и не имел права занимать какие-либо ответственные должно-

сти, включая выборные посты в системе городского самоуправления. О возвращении на прежнее место не могло быть и речи. Особенность ситуации состояла в том, что губернская администрация не имела юридической возможности отрешить от должности избранного городской думой лидера, но могла воспрепятствовать его возвращению на этот пост. Поэтому Ростовцев был вынужден в ноябре 1907 года подать в адрес Думы заявление следующего содержания: «Считая вредным для интересов городского самоуправления отсутствие в составе управы городского головы и не видя близкого конца моему устранению от должности... нахожу нужным сложить столь лестное для меня звание городского головы». Думе осталось только выразить сожаление по поводу того, что Ростовцев так и не смог в полной мере послужить интересам Воронежа.

Большую часть времени ему пришлось проводить в своем имении в селе Березовке Землянского уезда. По сводкам губернского жандармского управления, негласное наблюдение над ним систематически возобновлялось. Одно из последних сообщений на этот счет датировано 2 апреля 1912 года. Но воронежцы сохраняли уважение к отставному деятелю. В 1916 году городская дума учредила стипендию имени П. Я. Ростовцева для учащихся высших начальных училищ. Сам бывший депутат пожертвовал на эти цели капитал в размере 1000 рублей. Продолжалась и его коммерческая деятельность. Петр Яковлевич входил в состав правления крупнейшего в Воронеже «Товарищества механического завода В. Г. Столя и К^о», а накануне Первой мировой войны являлся председателем этого правления.

Во время войны вновь оживилась общественная жизнь. Поражения на фронтах вызвали рост активности в среде либералов, в том числе земцев. В 1915 году весьма заметной стала деятельность Всероссийского земского союза, а затем так называемого Земгора (Союза земств и городов). Петр Яковлевич стал уполномоченным Воронежского губернского комитета этой крупнейшей оппозиционной организации, упорно добивавшейся создания в России правительства народного доверия.

В 1917 году политическая карьера Ростовцева имела шанс на быстрое развитие. Сразу после падения монархии власть на местах круто изменилась: были ликвидированы должности губернаторов, распущены губернские правления, закрыты полицейские и судебные органы имперского времени. Вместо упраздненных административных структур к задачам управления были привлечены выборные учреждения, прежде всего земства и городские думы. Комиссаром Временного правительства стал председатель губернской земской управы В. Н. Томановский. Появился в Воронеже и губернский исполнительный комитет, официально подведомственный Временному правительству. Его-то и возглавил в марте 1917-го П. Я. Ростовцев, о чем свидетельствуют подписанные им в ту пору документы. Он же на короткое время стал губернским уполномоченным Министерства земледелия, главой которого являлся его давний единомышленник и друг А. И. Шингарев. Кроме того, возглавив список кадетской партии, Ростовцев был избран в последний состав Воронежской городской думы, избранной при Временном правительстве.

Вполне понятно, что приход к власти большевиков обернулся для Петра Яковлевича личными невзгодами. В качестве кадета он рассматривался новыми властями как фигура сугубо враждебная, да и сословное его происхождение считалось неподходящим. Типичная судьба русского либерала: подвергавшийся репрессиям со стороны царской власти, он оказался еще более чуждым власти советской. С позиций революционной законности он был виновен, так сказать, *a priori*. Во время Гражданской войны Ростовцева, как и многих других представителей имущих классов, карательные органы заключали в концлагерь в качестве заложника.

Относительная свобода вернулась только в октябре 1919 года, когда Воронеж заняли войска К. К. Мамонтова и А. Г. Шкуро. Белое командование фактически назначи-

ло Ростовцева председателем восстановленной губернской земской управы. Правда, буквально через месяц несостоявшемуся председателю пришлось покинуть город вместе с отступавшими войсками. Однако в эмиграцию Петр Яковлевич не уехал; по всей видимости, некоторое время он провел на Юге России. Во всяком случае, никаких эмигрантских свидетельств о пребывании Ростовцева за границей не имеется. Долгое время бытовало мнение, что он мог погибнуть в лихолетье Гражданской войны. Но недавно в печати появился очерк Н. М. Хрущова, посвященный деду, А. Г. Хрущову. В нем отмечено, что в 1922 году сам А. Г. Хрущов пригодился советской власти в качестве специалиста: он вошел в правление Центробанка и принял деятельное участие в подготовке финансовой реформы, направленной на стабилизацию и укрепление денежной системы перешедшей к нэпу страны. Сотрудничал в правлении Центробанка (во всяком случае, до 1922 года) и давний друг Хрущова — П. Я. Ростовцев.

Вероятно, деятельность его в крупном советском учреждении стала результатом благоприятного стечения обстоятельств. Есть основания полагать, что некоторые видные большевики были знакомы с прежним воронежским головой. С ним мог дружить, например, его однокашник М. С. Ольминский; по всей видимости, знал его и заместитель наркома иностранных дел РСФСР Л. М. Карахан. Во всяком случае, именно Карахан поручился в трагическом 1919 году за арестованного чекистами сына Ростовцева. Всеволоду Петровичу грозил расстрел за сотрудничество с контрразведкой белых, и от этой участи его спас его один из руководителей советской дипломатии. О том, как сложилась судьба П. Я. Ростовцева при советском режиме, выяснить пока не удалось. Известно тем не менее, что он был дедом Татьяны Николаевны Никулиной, вдовы знаменитого русского актера Ю. В. Никулина.

ПЕТР ДМИТРИЕВИЧ ДОЛГОРУКОВ:
*«Являюсь сторонником
правового демократического строя,
осуществляемого при помощи
народного представительства...»*

ВАЛЕНТИН ШЕЛОХАЕВ, НАДЕЖДА КАНИЩЕВА

Петр Дмитриевич Долгоруков родился 1 мая 1866 года в аристократической семье, происходившей из древнейшего княжеского рода Рюриковичей. Среди прямых предков братьев-близнецов Петра и Павла Долгоруковых — ближайший боярин Владимир Дмитриевич Долгоруков (1654–1701), псковский и казанский воевода, черниговский наместник, управлявший в 1681–1682 годах Разбойным приказом; князь, генерал-аншеф Василий Михайлович Долгоруков (1722–1782), получивший в 1775 году почетный титул «Крымский» за покорение полуострова. Дедом Петра по отцовской линии был Николай Васильевич Долгоруков (1789–1872) — действительный статский советник, президент Придворной конторы. Хорошо был известен в России и род матери Петра и Павла Долгоруковых урожденной Орловой-Давыдовой, прежде всего благодаря пяти братьям Орловым, приближенным императрицы Екатерины II. Дед по материнской линии — граф Владимир Петрович — один из крупнейших русских землевладельцев, англоман, получивший образование в Оксфорде, в свое время подавал императору Николаю I записку о желательности освобождения крестьян от крепостной зависимости на правах безземельных арендаторов, за что был отправлен на несколько лет за границу.

Вскоре после рождения близнецов их родители — Дмитрий Николаевич Долгоруков и Наталья Владимировна Орлова-Давыдова — перевезли братьев из Царского Села в Москву в огромный особняк в Малом Знаменском переулке, неподалеку от храма Христа Спасителя. Окруженные многочисленными нянями, гувернантками и гувернерами, домашними учителями, братья зиму проводили в Москве, а на лето их вывозили в подмосковное имение Волынщина, где возвышался памятник их знаменитому предку Долгорукову-Крымскому. Ближе к осени семья перебиралась в другое подмосковное имение деда В. П. Орлова-Давыдова — Отрада Серпуховского уезда, там, в семейном склепе, покоились останки братьев Орловых. Достаточно часто родители брали сыновей за границу: на европейские курорты Мариенбад и Карлсбад, где лечилась их мать; путешествовали по Италии, Франции, Германии, Швейцарии.

В 1879 году Петр поступил в 1-ю Московскую классическую гимназию, а после ее окончания в 1884 году — на историко-филологический факультет Московского университета. После окончания университета в 1889 году он поступил вольноопределяющимся в Нижегородский драгунский полк, а после завершения службы начал понемногу вникать в семейные хозяйственные дела. Переломным моментом в выборе общественно-политической ориентации стал для него 1891 год, когда он принял активное участие в кампании по борьбе с голодом в Самарской губернии. Петр познакомился тогда с Л. Н. Толстым, который оказал большое влияние на формирование его общественной и нравственной позиции. Не случайно в дальнейшем Петр станет последовательным пацифистом, войдет в руководство «Общества мира» в Москве. Здесь же,

в Самарской губернии, Петр познакомился и с группой петербуржцев: князем Д. И. Шаховским, В. И. Вернадским, С. Ф. и Ф. Ф. Ольденбургскими, А. А. Корниловым, которые участвовали, как и он, в борьбе с «самарским голодом», а несколько позднее в организации либерального движения и Конституционно-демократической партии.

Поселившись в своем имении в селе Гуево Суджанского уезда Курской губернии, Петр показал себя знающим и рачительным хозяином. Владея обширными земельными угодьями (1972 десятины земли), он сумел организовать интенсивное сельскохозяйственное производство, разводил породистый молочный и рабочий скот. С 1892 года и в течение последующих десяти лет Петр занимал должность председателя Суджанской земской управы, избирался губернским земским гласным. На посту председателя уездной земской управы он много внимания уделял постановке агрономической помощи крестьянам, организации народного образования в уезде и губернии.

Практическая земская деятельность позволила Петру Дмитриевичу основательно познакомиться с земскими проблемами, нуждами сельскохозяйственного производства, с жизнью крестьянства. С образованием в 1902 году по инициативе правительства «сельскохозяйственных комитетов» он принял в их деятельности самое активное участие. Критически оценивая правительственную политику в области крестьянского вопроса, Долгоруков настаивал на расширении компетенции комитетов, введении программы обследования крестьянского хозяйства, на коренном изменении аграрной политики, учете требований как органов земского самоуправления, так и самого крестьянства. Позиция Долгорукова была встречена в штыки министром внутренних дел В. К. Плеве, который потребовал отстранения «князя-бунтаря» от занимаемой им должности. По представлению Плеве Николай II выразил «высочайшее неудовольствие» Долгорукову, отстранил его от должности председателя земской управы и запретил в течение пяти лет участвовать в выборах в органы местного самоуправления. 22 октября 1902 года Петр Дмитриевич был уволен со своего поста. Это известие было встречено либеральной общественностью страны с возмущением, а Суджанская городская дума в знак протеста торжественно преподнесла ему диплом о возведении его в звание почетного гражданина города Суджа. Согласно информации Департамента полиции, земские гласные устроили Долгорукову прощальный обед, на котором были зачитаны многочисленные телеграммы, поступившие от представителей земств многих губерний и уездов России.

Активное участие в земской деятельности явилось для Долгорукова важнейшей предпосылкой и условием его включения в оппозиционную борьбу с авторитарным режимом, противодействовавшим любым проявлениям общественной самостоятельности. А если учесть, что правительство в начале 90-х годов усилило свой административный натиск на органы земского и городского самоуправления, делая ставку на полицейско-бюрократические методы управления страной, то станет понятной позиция даже лояльных к верховной власти земцев, пытавшихся противостоять бюрократическому произволу. Поэтому закономерно, что в последние годы XIX века по инициативе Московского губернского земства, возглавляемого Д. Н. Шиповым, активизировался процесс консолидации земских сил, прежде всего на уровне губернских и уездных председателей земских управ, которые начиная с 1896 года стали устраивать периодические совещания для обсуждения широкого круга общеземских проблем.

Еще в 1899 году по инициативе братьев Петра и Павла Долгоруковых в Москве был создан полуполициальный кружок «Беседа», который включал в себя представителей ряда аристократических фамилий, видных земских и общественных деятелей. Кружок этот недаром называли «палатой лордов». Его основной задачей являлась поддержка оппозиционного духа в земстве, разработка единой программы земской деятельности,

а также обсуждение документов и материалов (записки, обращения, петиции) политического характера. В «Беседе» Петр Долгоруков оказался сразу же на либерально-демократическом, левом фланге. Не отрицая важности обсуждения адресов и петиций на имя верховной власти, содержащих умеренные требования гражданских реформ, Петр высказывался за конституционное ограничение самодержавия, за введение народного представительства. Имея в своем распоряжении значительные финансовые средства, он оказывал поддержку издательской деятельности «Беседы», выступал за создание специального печатного земского органа. По инициативе и под редакцией Петра Долгорукова были изданы получившие известность сборники «Аграрный вопрос» и «Мелкая земская единица».

Умеренная в целом позиция кружка «Беседа» не могла удовлетворить Петра Дмитриевича. Он не только принимал активное участие в разного рода земских совещаниях и входил в состав Организационного бюро земских съездов, но настаивал на расширении сферы деятельности земцев, привлечении к либерально-оппозиционному земскому движению демократической интеллигенции. Повышая тон своих оппозиционных выступлений в «Беседе», Петр явился одним из инициаторов создания нелегального журнала «Освобождение», который начал издаваться с лета 1902 года под редакцией П. Б. Струве в Германии. Петр Дмитриевич стал казначеем журнала, ответственным за всю его финансово-организационную работу. Он добывал значительные средства, убеждая богатых земцев в необходимости поддержки либерального оппозиционного органа, сам выделял немалую часть из своих личных средств. Под псевдонимом «Земец» он опубликовал на страницах «Освобождения» несколько статей общеполитического и организационного характера.

По инициативе и при непосредственном участии Петра Дмитриевича были созданы две параллельно действующие либеральные организации — «Союз освобождения» (лето 1903 года) и «Союз земцев-конституционалистов» (осень 1903 года), ставшие два года спустя базой для формирования Конституционно-демократической партии. В январе 1904 года Петр Дмитриевич был избран председателем учредительного съезда «Союза освобождения», а затем и членом его Совета. Одновременно он являлся членом московского бюро «Союза земцев-конституционалистов». Активное личное участие во всех формах оппозиционной деятельности (легальной, полулегальной, нелегальной) способствовало расширению контактов князя Петра Долгорукова не только в земской, но и интеллигентской среде. Поддерживая тесные связи с представителями демократических и революционных партий, он пользовался среди них неизменным авторитетом и уважением. Он стал участником конференции представителей либеральных и социалистических партий, которая состоялась в сентябре 1904 года в Париже. На конференции ему было поручено исполнять секретарские обязанности, готовить основные резолюции. В ноябре 1904-го Петр Долгоруков принял участие в работе общеземского съезда, на котором была принята политическая программа земского либерализма. Причем при голосовании одного из основных дискуссионных пунктов программы — о форме народного представительства — он высказался за предоставление избранныкам народа законодательных функций.

Петру Дмитриевичу Долгорукову принадлежит важная заслуга и в разработке социальных разделов программы русского либерализма. Его практический опыт был, в частности, использован в ходе разработки аграрного раздела программы. Последовательно высказываясь за принудительное отчуждение помещичьих земель, за «справедливый выкуп», за создание местных земельных комитетов на демократической основе, Долгоруков выражал личную готовность передать крестьянам часть своих земель, что, по его мнению, могло послужить примером для тех помещиков из оппозиционной среды, которые занимали колеблющуюся позицию.

Учитывая связи Долгорукова с представителями оппозиционных национальных элит, он был привлечен либералами и к разработке национального вопроса. Так, летом 1903 года он вместе с В. Э. Дэнном и И. В. Гессеном вошел в состав специально избранного «Финского комитета», контактировал с деятелями финской оппозиции А. Тернгреном и Ю. Рейтером, обсуждая с ними проблему будущего статуса Финляндии. В 1904 году Долгоруков встречался и с представителями польской либеральной оппозиции, с которыми обсуждал вопрос предоставления Польше автономии.

Масштабы политической и организационной деятельности Долгорукова значительно расширились в годы первой русской революции. До октября 1905 года он продолжал участвовать в заседаниях кружка «Беседа», съездах «Союза освобождения» и «Союза земцев-конституционалистов», занимался финансовым обеспечением журнала «Освобождение». Как неперемный участник общеземских съездов и член Организационного бюро, Долгоруков участвовал во многих оппозиционных земских акциях. На июньском съезде 1905 года он был избран в состав депутации, которая должна была представить адрес царю. Однако, считая, что подобного рода шаги являются уже запоздалыми и бесперспективными, он отказался от участия в депутации.

На учредительном съезде Конституционно-демократической партии, состоявшемся 12–18 октября 1905 года в Москве, Петр Дмитриевич был избран членом ее Центрального комитета. Позже он возглавил аграрную комиссию, учрежденную II съездом кадетской партии, состоявшимся в январе 1906 года. В мае–июне Петр Долгоруков возглавил комиссии ЦК: сначала финансовую, а затем и по местному самоуправлению. Выполняя поручение ЦК, содействовал образованию в Курске местной группы кадетов, в дальнейшем возглавив Курский губернский комитет кадетской партии.

В марте 1906 года Петр Дмитриевич был избран депутатом I Думы от Курской области, где стал товарищем председателя Думы (С. А. Муромцева), получив при голосовании 382 голоса из 420. Важно подчеркнуть, что примерно треть заседаний I Думы была проведена под председательством Долгорукова, в числе их — все заседания, посвященные аграрному вопросу, с которым он был досконально знаком. Ранее, в мае 1905 года, Долгоруков являлся организатором Крестьянского съезда, был среди главных инициаторов создания Курского, а затем Московского крестьянского союзов.

На заседаниях Думы, где обсуждался аграрный вопрос, Долгоруков последовательно отстаивал умеренно либеральную кадетскую программу, умеряя пыл леворадикальных депутатов-трудовиков, пытавшихся протащить эсеровский проект. В своих выступлениях Долгоруков поддерживал законодательные предложения об ассигновании средств на постановку агропродовольственного дела в стране.

В стенографических отчетах о заседаниях I Думы зафиксировано более шестидесяти выступлений Петра Долгорукова по самым различным проблемам политического и организационного характера. Он, в частности, активно участвовал в обсуждении ответного адреса Думы императору, высказавшись за необходимость введения однопалатного народного представительства и ликвидацию Государственного совета в том качестве, которое предусматривалось Положением о второй палате. «Если Государственный совет, — полагал Долгоруков, — будет функционировать в том составе, в каком он теперь состоит, то созидательной работе будут поставлены большие препоны».

Несмотря на то что думская деятельность отнимала много сил и времени, Петр Дмитриевич регулярно посещал заседания думской фракции, а также заседания ЦК партии. После роспуска I Думы 8 июля 1906 года Петр Дмитриевич в составе кадетской фракции отправился в Выборг, где принимал участие в выработке и принятии знаменитого Выборгского воззвания, призывавшего население к «пассивному

сопротивлению»: неуплате налогов, отказу от дачи рекрутов, изъятию вкладов из ссудо-сберегательных касс. Подписывая этот «крамольный» документ, Долгоруков прекрасно понимал, что подвергает себя большому риску вновь лишиться гражданских прав, в которых он был восстановлен только в 1904 году тогдашним министром внутренних дел П. Д. Святополк-Мирским. Так и случилось. В декабре 1907 года Петербургская судебная палата приговорила подписавших Выборгское воззвание, в том числе Петра Долгорукова, к трехмесячному одиночному заключению с последующим лишением прав быть избранным не только в Государственную думу, но и в органы местного самоуправления. Курское дворянское собрание исключило Долгорукова из своего состава. В мае–августе 1908 года Петр Дмитриевич вместе с депутатами-перводумцами из Москвы отбывал наказание в одиночной камере Таганской губернской тюрьмы.

Вскоре после освобождения из тюрьмы Долгоруков возвратился в свое суджанское имение и жил там с семьей почти безвыездно до начала Первой мировой войны. Отход Петра Долгорукова от прежней, столь активной политической деятельности (в предвоенные годы он фактически перестал участвовать в работе ЦК кадетской партии) был вызван прежде всего личными обстоятельствами. После женитьбы и рождения детей (в 1907 году сына Михаила, а в 1910-м — дочери Натальи) Петр Дмитриевич решил посвятить себя семье и занятиям сельским хозяйством. Когда серьезно заболел его маленький сын, Долгоруков, отбывавший тогда свой срок в тюрьме, добился временного освобождения из заключения, чтобы позднее, после выздоровления сына, снова возвратиться в тюремную камеру. Не исключено, что «тюремный опыт» повлиял на принятое им решение отойти от активной политической деятельности. Как бы то ни было, но этот «отход» не остался незамеченным властями — в 1909 году Долгоруков был восстановлен в правах и вновь избран председателем Суджанской уездной земской управы.

20 июля 1914 года Петр Дмитриевич был призван на военную службу и назначен в 86-ю конскую ополченческую команду в городе Кролоце Черниговской губернии, где за ним было установлено негласное наблюдение полиции. 8 августа его команду перебросили в город Проскуров Каменец-Подольской губернии, а в октябре направили на Галицийский фронт, включив в состав 8-й армии. За участие в боях Долгоруков получил два отличия и был произведен в чин корнета кавалерии. Но в связи с обострившейся болезнью сердца во второй половине 1916 года Долгорукова перевели в резервные части; свою службу он продолжил в Полтаве. Поддержав Февральскую революцию 1917 года, П. Д. Долгоруков неоднократно приезжал из Полтавы в Москву, участвовал в соединенном заседании бывших членов четырех Государственных дум, а также в августовском Государственном совещании.

После Октябрьской революции и изданного декрета СНК от 28 ноября 1917 года (объявившего кадетов партией врагов народа, а ее лидеров — подлежащими немедленному аресту) Петр Дмитриевич, скрываясь от преследования, вынужден был уехать с семьей на Северный Кавказ. Сначала они жили в Ессентуках и Кисловодске, где Долгоруков проходил курс лечения. Затем перебрались в Сочи — здесь князь около четырех месяцев работал чернорабочим по окопке фруктовых деревьев, нажив при этом грыжу. Весной 1919 года семья Долгоруковых переехала в Крым, в Алушту, где Петр Дмитриевич стал заведующим складом беженских столовых. В 1920 году он некоторое время работал в Союзе городов в Севастополе. За неделю до врангелевской эвакуации из Крыма в ноябре 1920 года ему с большим трудом удалось вывести свою семью из Алушты в Севастополь, где в то время находился брат Павел Дмитриевич. Позднее Павел вспоминал, что, не найдя помещения, Петр поселился в сырой подвальной кладовой под флигелем Биологической станции.

В ноябре 1920 года Долгоруков с семьей выехал на пароходе «Сиам» в Константинополь. Уже при погрузке в Севастополе часть их багажа, причем наиболее ценная, утонула в море. Весь путь они вынуждены были провести в сутолоке и грязи на палубе, затем еще три дня стояли в Босфоре — Константинополь не справлялся с невиданной волной беженцев, хлынувшей из России. Семья Долгорукова сначала поселилась в лагере Лан, размещенном в казармах кожевенного завода в Сан-Стефано, за городской стеной, питаясь за счет частной американской благотворительности. В письме к А. В. Тырковой Павел Долгоруков писал о жизни брата в этом лагере: «Глиняная грязь непролазная, неотопливаемые, промокающие бараки, вповалку с офицерами и солдатами, вши. Три недели не меняли белья и не раздевались. Все промокло и прокисло. Тем не менее не выписываются из лагеря, так как брат (Петр Долгоруков) содержать семью не может и боится лишиться хоть плохого пайка (иногда в восемь часов вечера первая пища, так называемая теплая) и права быть посланным куда-нибудь (в Сербию, на острова) на казенное содержание. Полтора-два дня иногда не умываются за неимением воды. Условия уборной (общей мужской и женской) невообразимые». В этих нечеловеческих условиях особенно страдали дети князя — слабенькая дочь девяти лет и переболевший тифом сын тринадцати лет, а также жена, у которой обострился аппендицит и болезнь сердца. Да и сам князь, уже немолодой, не мог похвалиться здоровьем.

Однако постепенно жизнь налаживалась. Кадеты организовали в доме на берегу залива партийное общежитие «*Villa kade*» — «Кадетский дом». Во многом это стало возможным благодаря товарищеской помощи кадетов из других городов русского рассеяния, прежде всего из Парижа. В это общежитие переехал и Петр Дмитриевич. Все бывавшие в кадетском доме с теплотой вспоминали о царящей там исключительно дружеской атмосфере, несмотря на различие взглядов, бесконечных разговорах о России, ее будущем, возможных путях возвращения на родину.

Долгоруков сразу же включился в общественную работу, вошел в местную кадетскую группу. В конце 1920 года он был кооптирован в Константинопольское отделение ЦК кадетской партии, затем избран в бюро и президиум бюро кадетской организации. Его избрали также в постоянное бюро Объединения городских гласных в Константинополе. Одновременно он являлся членом Временного Главного комитета Союза российских городов, работал в культурно-просветительском отделе, распространявшем свою деятельность и на военные лагеря.

Но, пожалуй, главным своим делом он считал организацию расселения русских беженцев из Константинополя. Работать приходилось в удручающих условиях почти полного безденежья — порой не хватало денег даже на посылку телеграмм. Первые разведочные мероприятия с целью выяснения возможности расселения беженцев в Абиссинии, Греции в некоторых славянских странах предпринимались, как подчеркивал Долгоруков, «не имея ни копейки на это дело». Особые надежды князь возлагал на возможность заинтересовать иностранцев русскими сельскохозяйственными колониями. В окрестностях Константинополя удалось организовать целый ряд подобных колоний, и при некоторой материальной поддержке большая их часть оказалась жизнеспособной. Одновременно Петр Дмитриевич имел в виду организацию лесорубочных, дорожных и других бригад. Однако финансовая помощь из международных благотворительных фондов скудела, а заручиться поддержкой европейских правительственных кругов не удавалось.

Петр Долгоруков активно поддержал планы создания Русского совета при главнокомандующем генерале Врангеле, надеясь сформировать в лице Совета орган «национального русского средоточия». Для достижения этой цели он настаивал на предоставлении общественности больших властных полномочий. Более того, Петр

Дмитриевич предлагал с самого начала взять под контроль общественных организаций дело создания Совета, чтобы он «не превратился в простую подпорку самочинных авантюров». С одной стороны, он предлагал выяснить подлинный вес и авторитет Совета в глазах армии и казачества — «не верхов его, а казачьей толщи». «Если армия и казаки, — говорил он, — придают Совету реальное значение, то отказ от вхождения в него — это разрыв с армией». С другой стороны, он считал возможным попытаться «исправить» Совет.

Будучи главноуполномоченным комиссии по расселению беженцев на Балканах, Петр Долгоруков неоднократно посещал Врангеля с целью решения вопроса о передаче дела расселения армии Совету по расселению гражданских беженцев. Однако бесконечные условия, выдвигавшиеся Врангелем, его явное нежелание идти на уступки в вопросе властных полномочий убеждали Петра Дмитриевича в том, что «возможность соглашения сомнительна». Позднее Долгоруков отошел от контактов с Русским советом.

Выдвинутая П. Н. Милюковым в конце 1920 года «новая тактика», предусматривавшая пересмотр не только тактических, но и программных представлений, а также выбор нового — левого — союзника, поставила все эмигрантские кадетские группы перед необходимостью определить собственную позицию во внутрипартийной дискуссии. Петр Долгоруков, как и его брат Павел, не поддержал милюковский курс. Вместе с тем он болезненно воспринимал все более обостряющуюся в партийной среде полемику, ставящую под угрозу единство партии. Он считал недопустимым вынесение внутрипартийных распрей «на суд всего мира» и в то же время полагал разумным достижение «полной искренности и ясности» в партийных делах, а для этого призывал не «замазывать противоречия», а честно размежеваться по тактическим вопросам. «Лучше дружелюбно разойтись по тактике и быть по ней откровенно противниками» — только так, писал он, можно ослабить удар по партии.

Понимая, что кадетская партия, ослабленная дискуссиями и назревавшими «отколами», не в состоянии выполнять функций интегрирующего центра в эмигрантской среде, Петр Дмитриевич искал иные организационные формы в деле собирания и организации антибольшевистских сил в зарубежье. Он принял участие в проведении съезда Русского национального объединения, проходившего в июне 1921 года в Париже. В качестве представителя от Константинополя Долгоруков был избран в созданный на съезде Русский национальный комитет.

В апреле 1922 года Долгоруков с семьей переехал из Константинополя в Прагу. Это решение, с одной стороны, было вполне естественным, поскольку Константинополь уже объективно утрачивал роль одного из основных центров русского зарубежья, а Прага, напротив, притягивала к себе наиболее жизнеспособные общественные силы эмиграции. С другой стороны, переезд в Прагу свидетельствовал об утрате Петром Дмитриевичем надежд на возможность, находясь в Константинополе, действительно помогать расселению беженцев. По-видимому, князь рассчитывал, что в Праге ему удастся сделать больше для того, чтобы помочь «русским земледельцам» выехать из Константинополя. Правда, его соратники по партии и общественным организациям, в частности Н. И. Астров, настаивали на его возвращении в Константинополь, но Долгоруков уже устал «тянуть лямку почти без денег» и не верил в то, что можно получить достаточные средства из-за границы и «серьезно поставить дело».

В Праге благодаря финансируемой чехословацким правительством широкой программе помощи русским беженцам сформировался крупный центр общественно-политической и учебно-научной жизни российского зарубежья. Петр Дмитриевич активно участвовал в работе многочисленных эмигрантских организаций: возглавил

местный Русский национальный комитет, занял пост товарища председателя Объединения русских эмигрантских организаций в Чехословакии, продолжил работу в Главном комитете Всероссийского союза городов за границей.

В Праге действовал тогда созданный в октябре 1922 года небольшой филиал Парижской демократической группы Милюкова. Что касается «старотактиков», в число которых входил и Долгоруков, то они не имели своей организации, и к концу 1922 года это течение переживало период кризиса и резкого упадка активности. Становились все более расплывчатыми, неясными перспективы возвращения на родину, терялись четкие представления о целях и формах партийной работы в эмиграции. 13 апреля 1923 года Петр Дмитриевич принял участие в кадетском совещании в Праге (кроме него присутствовали П. И. Новгородцев, А. А. Кизеветтер, Д. Д. Grimm, М. М. Новиков, П. П. Юренев, А. В. Маклецов, А. А. Вилков и другие). Совещание показало, что течение «старотактиков» исчерпало свои ресурсы, что в его рамках нарастает серьезный раскол между правыми кадетами, тяготеющими к реставрационно-монархическим позициям, и сторонниками умеренных, центристских взглядов (к числу последних относил себя и Петр Долгоруков). Как вспоминал позднее Н. И. Астров, совещание окончательно продемонстрировало невозможность выработки единой линии поведения: «Говорить больше было не о чем; все, что связывало еще недавно, истлело и порвалось. Люди почувствовали, что их больше ничего не соединяет, что им нужно расходиться...»

Непосредственным поводом к окончательному расколу кадетских «старотактиков» явился скандал, вспыхнувший в связи с открытыми выступлениями представителей его правого крыла в поддержку лидерства в эмигрантском антибольшевистском движении великого князя Николая Николаевича, а также участия правых кадетов в промонархическом Совещании, созданном при великом князе с целью обсуждения совместных акций. Следствием явился раскол: группа кадетов-центристов (в числе них и Петр Долгоруков) отошла от правых и конституировалась как самостоятельная «Центральная группа».

Решение о присоединении к «центристам» далось Петру Дмитриевичу нелегко: впервые за почти двадцатилетний период общественно-политической деятельности он оказался разделен со своим братом Павлом Дмитриевичем Долгоруковым рамками разных организаций, проповедующих подчас прямо противоположные взгляды. Так, «центристы», в отличие от «правых старотактиков», настаивали на том, что Русская армия должна прекратить свое существование за границей как военная организация, что надежды на интервенцию также должны быть оставлены и что в связи с этим следует ликвидировать Русский совет, который в качестве рупора правых, по их мнению, не мог выдвигать «нужных идей». Взамен «центристы» предлагали заняться организацией борьбы внутри самой России, чем явно склонялись на сторону милюковцев. Вместе с тем у «центристов» не было более или менее четкого представления о том, что же конкретно следует предпринять, чтобы наладить дело антибольшевистского сопротивления в стране. В конце концов они вынуждены были признать, что, находясь в эмиграции, смогут только «давать толчки», то есть вырабатывать идеи, планы, мысли и «перебрасывать» их в Россию, а также сосредоточиться на разработке проектов будущего переустройства России.

Петр Дмитриевич принял активное участие в составлении программной платформы центристской группы. Вместе с тем он не терял надежды на возможность совместных действий с правее стоящими силами в общих антибольшевистских акциях. Так, Петр Дмитриевич полагал вполне допустимым для реального политика «коалиционное перемирие с вчерашними политическими противниками и, вероятно, завтрашними, то есть в данном случае с правыми, пока дело идет о борьбе против общего вра-

га». Поэтому он крайне отрицательно воспринял резкую критику своими товарищами по группе праволиберальной газеты «Возрождение», созданной в 1925 году П. Б. Струве, а также решение «центристов» о неучастии в Зарубежном съезде (1926). Сам Петр Дмитриевич был избран делегатом на Зарубежный съезд от Национального комитета в Праге. В конце концов в знак несогласия с непримиримой позицией своих товарищей он вышел из состава центристской группы. Впрочем, заявляя в письме о прекращении членства, князь пытался сгладить остроту конфликта, подчеркнув, что рассматривает свои расхождения с группой скорее как тактические, нежели программные, что по-прежнему считает себя «правоверным кадетом», а следовательно, видит необходимость в продолжении борьбы за демократию и правовой строй против любых форм деспотии и автократии.

Впрочем, Долгорукову оставалось еще широкое поле общественной деятельности: находясь в Праге, он исполнял обязанности казначея Педагогического бюро по делам русской средней и низшей школы за границей, входил в правление Архива русских эмигрантов, а в 1927 году возглавил Объединение представителей русских организаций в Чехословакии.

После оккупации Чехословакии немецкими войсками положение русских эмигрантов резко ухудшилось: их стали преследовать, многие лишились пособий и работы. Немецкие оккупационные власти распустили большую часть русских эмигрантских организаций, а оставшиеся подчинили контролю гестапо. В этих условиях президиум Объединения русских эмигрантских организаций в Чехословакии поручил своему председателю П. Д. Долгорукову установить контакт с главным руководителем русской эмиграции в Берлине генералом В. В. Бискупским и проинформировать его о крайне тяжелом материальном положении, в котором оказалась русская колония в Чехословакии. Долгоруков вынужден был обратиться к Бискупскому с письмом. Позднее, в ноябре 1939 года, он был вызван генералом Бискупским в Берлин. Однако добиться каких-либо позитивных перемен в положении русских эмигрантов в Чехословакии Долгорукову так и не удалось. Более того, вскоре после его возвращения из Берлина он был снят, по распоряжению гестапо, с должности председателя Объединения русских эмигрантских организаций и вынужден был теперь зарабатывать на жизнь, давая частные уроки русского языка и литературы. Однако встреча с генералом Бискупским сыграла роковую роль в судьбе Долгорукова.

9 июня 1945 года Петр Дмитриевич был задержан Смершем 1-го Украинского фронта и помещен под арест в КПЗ одной из воинских частей. Уже на первом допросе 9 июня Долгорукову было предъявлено обвинение в том, что он участвовал «в ряде антисоветских политических организаций», а в период немецкой оккупации сотрудничал с фашистами. В ответ на это обвинение Долгоруков самым решительным образом заявил о том, что не признает себя виновным. Объясняя мотивы своего отъезда за границу в 1920 году, он сказал: «Я эмигрировал не потому, что состоял на службе в белой армии, а эмигрировал по причине того, что не был согласен с программой коммунизма и тактикой большевизма, поэтому не желал остаться на территории советской власти...»

Отрицая свое участие в антисоветских политических партиях и организациях, Долгоруков подчеркнул: «Организации, в которых я состоял, являлись не политическими, а культурно-общественными». Отклонил он и обвинения в том, что якобы намеревался вести борьбу против СССР с целью свержения советской власти и «восстановления буржуазного строя по типу Англии и Америки». «Я, — заявил Долгоруков, — не разделял и не разделяю принципов большевизма и не согласен с политикой советской власти, но намерений вести борьбу против СССР я не высказывал и не ставил целью борьбу и свержение советской власти. Я являюсь сторонником

правового демократического строя, осуществляемого при помощи народного представительства». Материалы следствия по делу Долгорукова свидетельствуют о твердости позиции и мужестве 79-летнего человека, оказавшегося в экстремальной ситуации.

27 июня состоялся следующий допрос, который продолжался на этот раз четыре с половиной часа. Никаких новых фактов, подтверждающих контрреволюционную деятельность Долгорукова, смершевцам за прошедшие две с половиной недели обнаружить не удалось. Тем не менее 30 июня капитан Волков подготовил постановление на повторный обыск и продление срока следствия. Это постановление было поддержано прокурором Центральной группы войск генерал-майором юстиции Шавером и утверждено генерал-лейтенантом Осетровым. 12 июля появилось постановление о принятии дела № 1587 к производству. 19 июля произведен дополнительный допрос, и Долгорукову было предъявлено обвинение по статье 58-4 и 58-3 УК РСФСР.

21, 25 июля и 9 августа состоялись новые многочасовые допросы, во время которых следователи пытались расширить «фактуру» обвинения. Так, например, в ходе допроса 9 августа следователь заявил, что Долгоруков присутствовал в Никольской церкви в Праге на молебне, посвященном дарованию многих лет жизни Гитлеру и победы германскому оружию в войне против Советского Союза. Не отрицая данного факта, Долгоруков пояснил: «Не будучи предупрежден о предстоящем молебне после всенощной, я действительно присутствовал на молебне с провозглашением многолетия Гитлеру, которое было, кажется, в 1941 году в Николаевской церкви в Праге. Таким же образом я присутствовал в той же церкви в 1945 году на молебне о провозглашении многолетия Иосифу Сталину».

Понимая, что каких-либо конкретных, веских улик против Долгорукова собрать не удастся, армейские следственные органы 23 августа передали его дело в следственный отдел контрразведки Смерш Центральной группы войск, где оно 30 августа и было принято к производству. Начался новый виток допросов, в ходе которых следователь обратился уже к анализу политической деятельности Долгорукова в период 1917 года и Гражданской войны. Несмотря на усиливающееся с каждым новым допросом давление, Долгоруков откровенно заявлял следователю: «По своим убеждениям я являлся и являюсь противником Октябрьской революции 1917 года и советской власти. Но это только убеждение, какой-либо деятельности против революции 1917 года и советской власти я не проявлял». Вновь отвечая на вопрос о причинах эмиграции, Долгоруков сказал: «Я был не согласен с программой и тактикой советской власти. Являлся и являюсь идеологическим противником социалистической революции 1917 года».

Ничего не добившись от арестованного, Смерш 16 октября передал следственное дело в Главное управление контрразведки. 7 декабря Долгоруков был доставлен во внутреннюю тюрьму НКВД — таким печальным образом состоялось столь долго ожидаемое возвращение Петра Дмитриевича на родину. В его деле сохранился один примечательный документ-талон — квитанция на вещи арестанта. Князю-Рюриковичу выдали 22 предмета, среди них: брюки х/б, ботинки старые, полотенце рваное, рубашки рваные, носовой платок рваный...

Через четыре дня после прибытия на Лубянку Петр Дмитриевич серьезно заболел. 13 декабря подполковник медицинской службы Яншин подписал следующее медицинское заключение: «У заключенного артериосклероз, дистрофия и поливитаминоз, вследствие чего нуждается в немедленном направлении в больницу Бутырской тюрьмы НКВД СССР». 26 декабря было принято постановление о приостановлении следствия, которое возобновилось 29 апреля 1946 года.

После более чем четырехмесячной болезни, 3 мая 1946 года, вновь начались допросы, которые продолжались с 10 часов утра до 16 часов. Во время этих допросов на Петра Дмитриевича оказывалось психологическое воздействие: его обвиняли в неискренности показаний, пытались уличить в заведомой лжи. Его участие в эмигрантских организациях, предосудительное с точки зрения следствия, само по себе стало отягощаться обвинениями в том, что эти организации поддерживали связь с «органами иностранных государств» и руководствовались в своей деятельности директивами последних. В частности, речь шла о якобы существовавших связях Пражского национального комитета с «японскими дипломатическими организациями». Долгоруков категорически отверг это явно надуманное обвинение. Затем его пытались обвинить в контактах с руководителем РОВСа генералом Миллером. В ответ на это Долгоруков заявил: «Я к РОВСу не примыкал». Начиная с 64-й и по 67-ю страницу следственного дела, зафиксировавшего этот допрос, на листах имеются обильные темные пятна — складывается впечатление, что, читая текст протокола допроса, Петр Дмитриевич плакал.

Постоянные обвинения в сотрудничестве с гестапо особенно угнетающе действовали на подсудимого. Он неоднократно подчеркивал: «Ранее я уже показал и сейчас повторю, что Объединение эмигрантских организаций в Праге, председателем которого я был, не объединяло политически эмигрантских организаций и, таким образом, при переговорах со мной в Берлине ни Бискупский, ни Остен-Сакс, ни другие представители германских органов не ставили вопроса об активизации антисоветской деятельности объединявшихся мной эмигрантских организаций, как и не говорили вообще о политической работе».

6 мая было принято постановление о переквалификации состава преступления: «Привлечь Долгорукова Петра Дмитриевича в качестве обвиняемого по ст. 58-4 и 58-11 УК РСФСР, прекратив обвинение по ст. 58-3 УК РСФСР». В тот же день был подписан протокол об окончании следствия, сроки которого продлевались уже шесть раз. Накануне, 5 мая, Петр Дмитриевич был освидетельствован медсанчастью Бутырской тюрьмы и был признан негодным к физическому труду. К этому времени Петру Дмитриевичу исполнилось ровно 80 лет.

14 мая 1946 года военный прокурор Главной военной прокуратуры СССР майор юстиции Лозинский подписал обвинительное заключение, в котором отмечалось, что Долгоруков виновным себя не признал, и его дело направлялось на рассмотрение Особого совещания при министре внутренних дел СССР. Мера наказания Долгорукову предлагалась десять лет исправительно-трудовых лагерей. 10 июля 1946 года Особое совещание, рассмотрев дело Долгорукова, постановило: «За принадлежность к контрреволюционной организации заключить в тюрьму сроком на пять лет, считая с 9 июня 1945 года».

Этот срок Петр Дмитриевич отбывал во Владимирской тюремной больнице, где его и встретил В. В. Шульгин, арестованный в Югославии в 1945 году. «У него, — вспоминал Шульгин о Долгорукове, — была „рожа“, вся правая рука была багрово-красная, температура тридцать девять градусов. Он очень стойчески переносил свою болезнь, бодрился...»

Поведение Долгорукова поразило много повидавшего Шульгина, запечатлевшего образ князя в своих воспоминаниях. «Он, — писал Шульгин, — вообще разговаривал охотно и много, очень бодро и с тем оттенком, принятым у старой русской аристократии, который состоял в следующем: важность личного преуменьшалась, наличествовал оттенок легкой насмешки к самому себе и даже ко всей своей аристократической касте». Что было приятно в Петре Дмитриевиче, продолжал Шульгин, «это такое его свойство, как абсолютное отсутствие какого-либо угодничества и под-

халимства. Он обращался со всеми этими людьми, начиная от начальника тюрьмы и кончая уборщицей, совершенно одинаково. И при том как с равными».

Еще задолго до отбытия Долгоруковым срока заключения тюремное начальство направляло депеши «наверх», информируя о том, что Долгоруков «по своему состоянию здоровья не может быть направлен в ссылку на поселение». Предлагалось направить его в дом инвалидов, «расположенный в нережимной местности», и передать под надзор органов МГБ, «как не имеющего родственников, которые могли бы взять его под опеку». По решению медицинской комиссии от 10 июля 1948 года Петр Дмитриевич был признан инвалидом I группы. 3 марта и 24 мая 1951 года его еще раз освидетельствовали, зафиксировав при этом старческую дряхлость, общий атеросклероз, порок сердца, двустороннюю паховую грыжу. С мая 1951 года Долгоруков уже не мог без посторонней помощи подниматься с постели. С 8 октября у него начались зрительные и слуховые галлюцинации. 10 ноября 1951 года в 19 часов 30 минут Петра Дмитриевича не стало.

Через 41 год, 23 июня 1992 года, Петр Дмитриевич Долгоруков был реабилитирован на основании ст. 3 и 5 Закона РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий».

ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ ДОЛГОРУКОВ:
*«Последовательный демократизм,
соединенный с суровой национальной
дисциплиной...»*

НАДЕЖДА КАНИЩЕВА

Князь Павел Дмитриевич Долгоруков (1866–1927) — один из выдающихся лидеров Конституционно-демократической партии — происходил из древнейшего рода Рюриковичей. Вскоре после рождения Павла и его брата-близнеца Петра семья переехала из Царского Села в Москву в просторный особняк в Малом Знаменском переулке. Павел Долгоруков получил прекрасное образование: окончил частное реальное училище Фидлера, а затем естественное отделение физико-математического факультета Московского университета.

Бюрократическая карьера не представляла для Павла какого-либо интереса. Поступив по настоянию отца чиновником в государственную канцелярию при Государственном совете, он служил недолго, вскоре вышел в отставку и поселился под Москвой в родовом имении Волынщина Рузского уезда. Однако в силу своего деятельного характера Павел не мог замыкаться в частной жизни, тем более что семью ему создать так и не удалось. Вскоре он стал участником кампании по борьбе с голодом в 1891–1892 годах в Самарской губернии в качестве общественного уполномоченного: участвовал в организации работ по возведению и укреплению огромной дамбы при впадении реки Самары в Волгу. На следующий год Павел был избран предводителем дворянства Рузского уезда и оставался на этом посту в течение пяти трехлетий; во время своего предводительства получил придворное звание камергера. К его заслугам следует отнести расширение дела начального школьного обучения в уезде. Вместе с тем он сознавал необходимость координации процесса просвещения в более широких рамках: возглавив Московское учительское общество, Павел Долгоруков активно содействовал проведению Всероссийского съезда учительских обществ в Москве на рождественские каникулы 1902–1903 годов. Съезд, проходивший под его председательством, стал, по оценкам современников, крупным событием в общественной жизни второй столицы.

Павел Долгоруков вел большую работу в Московском губернском земстве: входил в состав ряда его комиссий, состоял председателем губернского земского экономического совещания. Во время Русско-японской войны он выехал на Дальний Восток во главе пяти передовых санитарных отрядов Московского земства. Сам Павел из-за дефекта зрения был признан негодным к воинской службе. Однако судьба его начиная с Русско-японской войны постоянно пересекалась с жизнью армии.

Повседневная работа Павла, будь то в уезде или в губернском земстве, укрепляла его желание обеспечить для общественности большие возможности участия в решении государственных дел. В политической обстановке того времени подобные взгляды неминуемо приводили в лагерь оппозиции самодержавному режиму. С другой стороны, Павел был противником радикализма; выступая за проведение социальных реформ, он отвергал социалистическую доктрину. Принципиальные слагаемые его по-

литического идеала — конституционность, демократизм, государственность или, по словам его брата Петра, «консервативный либерализм».

Поиски путей реформирования страны определили активную роль Павла в становлении земско-либерального движения: он был среди организаторов известного кружка «Беседа», «Союза земцев-конституционалистов», входил в руководство «Союза освобождения», принимал активное участие в созыве и проведении земских съездов 1904–1905 годов. Павел был избран в состав делегации земских съездов, принятой Николаем II 6 июня 1905 года. Целью делегации было побудить царя созвать бессловное народное представительство на основе равных для всех граждан прав.

Логическим развитием общественных взглядов Павла стало его участие в создании Конституционно-демократической партии (Партии народной свободы), история которой от начала и до финала стала историей и его жизни. На I съезде (октябрь 1905 года) Павел был избран в ЦК, а по решению II съезда (январь 1906 года) возглавил партию. III съезд (апрель) подтвердил избрание его председателем. Позднее, в марте 1907 года, Павел Долгоруков, ставший депутатом II Государственной думы, сложил с себя звание председателя ЦК, считая, что депутатские обязанности не дадут ему в полной мере выполнять партийные функции. Впрочем, после роспуска II Думы он вновь (в октябре 1907 года) стал главой партии. Организационное разделение ЦК на два отделения (Петербургское и Московское) и сосредоточение ключевых функций у столичных партийцев побудило москвича Павла Долгорукова отказаться в интересах дела от председательства (в ноябре 1909 года). Однако он остался в кадетском руководстве, будучи избранным товарищем председателя партии.

Многие современники задавались вопросом, почему в течение ряда лет именно князь Павел Долгоруков становился председателем Конституционно-демократической партии. Кадеты, собравшие под свои знамена цвет русской интеллигенции — известных юристов, профессоров университетов и публицистов, — могли выдвинуть немало партийцев, обладавших блестящими ораторскими способностями, пользовавшихся большей популярностью в широких общественных кругах. Однако выбор пал на Павла Долгорукова, не блиставшего красноречием, получившего даже прозвище «*Leader ohne Worte*» («лидер без слов» или «бессловесный лидер»).

В его пользу говорили выдающиеся организаторские способности, воля и упорство. Имело значение и то, что, принадлежа по рождению к верхушке аристократии и обладая к тому же независимым и твердым характером, он мог достойно отстаивать интересы оппозиционной партии в непростых взаимоотношениях с властями. Но, видимо, определяющую роль сыграли такие качества Павла Долгорукова, как верность центристской позиции, умение в пылу политических споров помнить не только о партийных, но и о государственных интересах, о необходимости ответственной созидательной государственной работы.

Павел не был склонен поддаваться в своих оценках политической конъюнктуры и митинговым эмоциям. Ему были глубоко антипатичны в людях суета и шараханье из одной крайности в другую. По воспоминаниям брата Петра, Павел не был ни «снобом радикализма», ни «кающимся дворянином». Даже его спокойные, уверенные манеры, солидная внешность, отражавшая основательность натуры, подтверждали его репутацию надежного руководителя, способного обеспечить партии стабильность, задать ее работе деловой настрой. Недаром большая часть заседаний практически всех, за некоторыми исключениями, партийных съездов и конференций проходила под его председательством. Мало кто мог сравниться с Павлом Долгоруковым в настойчивости, с которой он содействовал проведению в жизнь принятых решений. К тому же он обладал редким даром, ценимым в любой коллективной работе: способностью не переводить политические разногласия в личную неприязнь и готовностью подчинить свои частные

интересы деловым соображениям, общему благу. Примечательно, что, когда при выборах в I Государственную думу он был единогласно выдвинут кандидатом от Московского городского комитета партии кадетов, он, не колеблясь, снял свою кандидатуру в пользу однопартийца М. Я. Герценштейна, заявив, что тот, как признанный авторитет по аграрному вопросу, сможет своим участием в Думе принести бóльшую пользу.

Павел Долгоруков не занимался в партии разработкой программных положений: его главные усилия были сосредоточены на решении организационных вопросов. Последовательно и настойчиво он работал над становлением партийных структур в провинции, справедливо считая, что политическая партия лишь тогда станет по-настоящему действенной и авторитетной, когда сможет укорениться на низовом (уездном) уровне, подкрепить свою думскую деятельность широкой поддержкой населения. С этой целью он неоднократно предпринимал поездки по провинциальной России, вновь и вновь призывал к упорной работе членов партии на местах, к созданию дееспособных местных организаций, к неустанной работе над приобщением народа «к нашему политическому верованию». Пытаясь внести элементы организации в пропагандистскую деятельность по стране и тем повысить ее отдачу, Павел предложил разбить все пространство Европейской России на ряд округов. И хотя эти планы не были полностью реализованы, сама идея оказалась весьма плодотворной. Это, например, подтверждало развитие дел в двух основных округах — Подмосковном и Северо-Восточном (объединившем все северные губернии, Уральский край, Среднее и Нижнее Поволжье), которые благодаря своим «заведующим» (Н. М. Кишкину и А. М. Колюбакину) продемонстрировали значительное усиление организационной и агитационной деятельности.

При всей увлеченности общественной деятельностью Павел Долгоруков имел весьма разносторонние интересы. В своем русском имении он завел охоту с гончими, конюшню из нескольких десятков рысаков. В пору своего предводительства устраивал в Рузе бега, где его тройки неизменно брали призы. Павел был многолетним членом московского Английского клуба и элитарного яхт-клуба в Петербурге. Ежегодно, вплоть до Первой мировой войны, в конце зимы он выезжал за границу, преимущественно в Италию, оттуда в Париж, заезжал в Монако, где наряду с рулеткой посещал и океанографическую станцию. Интерес к проблемам ихтиологии был связан с его специализацией в университете и занимал Павла на протяжении долгих лет. Вблизи своего подмосковного имения на Анофриевском озере он основал под руководством профессора Зографа ихтиологическую станцию, которая действовала вплоть до Октябрьской революции.

Павел принимал активное участие в культурной жизни Москвы: был близок к театральным кругам, состоял пайщиком акционерного предприятия Московского художественного театра, поддерживал дружеские связи с его ведущими артистами. Павел был лично знаком с Л. Н. Толстым, бывал в его доме в Хамовниках. Однажды совершил поездку в Ясную Поляну для открытия там по поручению Московского общества грамотности народной библиотеки.

Павел Долгоруков зарекомендовал себя практичным и инициативным помещиком. В лесном имении в Чухломском и Галичском уездах он построил большой завод по выделке паркета, в Волоколамском уезде приобрел лесное имение вблизи Московско-Виндавской железной дороги, построил там лесопильный завод и организовал доставку дров в Москву. При этом Павел не забывал о благотворительности. Так, на Охте у Петербурга он содержал дачу-богачельню, где на полном обеспечении жили его старые служащие.

Политическая известность принесла Павлу Долгорукову немалые испытания. Власть не раз пыталась дискредитировать его прежде всего как общественного деятеля.

ля. В 1906 году его ложно обвинили в том, что он якобы пытался противодействовать получению Россией крупного займа во Франции. В связи с этим против него развернулась кампания порицания; намекали даже на измену. Для Павла Долгорукова — истинного патриота — это был болезненный удар. Однако он смог с достоинством выдержать все нападки. Спустя годы, уже оказавшись в эмиграции, многие из очевидцев и участников той истории подтвердили необоснованность обвинений. Хотя и с опозданием, но справедливость была восстановлена. Впрочем, и в 1906 году серьезных аргументов у обвинителей Павла не оказалось, и власти не смогли добиться его отстранения от политической деятельности.

Это удалось сделать несколько позже, когда против Долгорукова было инспирировано дело о превышении власти в качестве предводителя дворянства. Обвинение было построено на чисто формальных придириках: речь шла о раздаче зерна крестьянам по разрешению князя. В таких действиях не было ничего криминального; точно так же из года в год поступали многие предводители дворянства. Однако пострадал лишь Долгоруков, и это говорило о том, что «избирательные» придирики выполняли репрессивную функцию. Следствие и разбирательство тянулись очень долго и закончились в декабре 1910 года: отчисленный с поста предводителя по приговору суда, Павел Долгоруков потерял право занимать какие-либо выборные должности. Последовало лишение его придворного чина камергера. Но и эти удары он выдержал спокойно и, не потеряв лица, продолжил общественную деятельность: на нем лежали обязанности бессменного главы пацифистского «Общества мира», созданного в Москве в 1909 году по его инициативе.

«Общество мира» представляло собой отделение Международного центра пацифистского движения. В июне 1910 года Павел участвовал в работе XVIII Стокгольмского конгресса мира, сделал доклад в его секции. На одном из заседаний конгресса произошел эпизод, который как нельзя лучше характеризовал патриотизм Павла. В ходе дискуссий был поднят вопрос о нарушении царизмом прав различных национальностей России. Павел посчитал для себя недостойным участвовать в порицании политики Российского государства «на собраниях международного характера» и, присоединившись к протесту другого российского делегата — И. Н. Ефремова, — покинул зал заседаний.

Одной из важнейших задач деятельности «Общества мира» Павел полагал изучение национальных проблем. Причем и здесь, в силу независимости характера и цельности политического мировоззрения, он не боялся идти наперекор возобладавшему общественным настроениям. Вскоре после начала Первой мировой войны он организовал многолюдное собрание «Общества» в зале Политехнического музея. В обстановке небывалого всплеска шовинизма он твердо и открыто выступал против истерии германофобии. «Будем патриотами, — призывал он, — но не будем шовинистами».

Необходимость более обстоятельного обсуждения национальных вопросов подчеркивалась Долгоруковым и на заседаниях кадетского ЦК. Характерна его позиция относительно польского вопроса, изложенная им в специальном докладе на одном из майских заседаний ЦК в 1916 году. Он полагал возможным и даже необходимым предоставить объединенной Польше независимость в случае победоносного для России и ее союзников окончания войны. Если же война «окончится вничью», России, по мнению Долгорукова, следовало ограничиться предоставлением российской части Польши «широкой автономии», так как «самостоятельность лишь части Польши создаст в Европе равновесие неустойчивое, постоянно угрожающее международному миру, который может быть нарушен и в момент для России наименее благоприятный».

Пацифизм Долгорукова не был тождественен антимилитаризму. «Сейчас, — подчеркивал он после нападения Германии на Россию, — ничего не остается делать, как

помнить главную цель — победу». С началом войны он в качестве начальника передового санитарного отряда Всероссийского союза городов находился с декабря 1914 до середины апреля 1915 года при армии в Галиции, был на передовой. Во фронтовой обстановке в полной мере проявились свойственные Павлу смелость и хладнокровие: при самом сильном обстреле он не терял самообладания, не кланялся пулям. В этом не было позы, его вообще отличала естественность поведения.

Февральская революция не изменила отношения Павла к войне и армии. Он, как и прежде, придавал первостепенное значение фронту и победоносному окончанию войны. В приветственной речи, произнесенной Павлом от имени ЦК на первой послефевральской кадетской конференции, он акцентировал внимание делегатов на важности поддержки лозунга продолжения войны «до полной и окончательной победы над врагом». Помимо задачи «изгнания противника из пределов России», победа стран согласия могла бы, как полагал Павел, способствовать тому, что «волна демократизма, поднятая великой русской революцией, докатится и до центральных европейских держав и сметет с них последние признаки абсолютизма и феодализма».

В апреле 1917 года Павел выехал с мандатом думской комиссии в армейские подразделения, объехал 28 полков, принял участие в 35 митингах. Хотя он вынужден был констатировать наличие элементов разложения, он все же вынес из поездки в целом оптимистическое впечатление о боеспособности армии. На майской конференции кадетов Павел доказывал, что «с этой армией можно воевать, надо только много над ней работать»: систематически посещать фронт и снабжать его необходимой литературой.

Типичная для либеральных кругов эйфория послефевральских дней практически не затронула Павла Долгорукова — он, например, был в числе немногих, не нацепивших красного революционного банта. На фоне бурной административной деятельности кадетов, занимавших посты в различных звеньях государственного аппарата, поведение Долгорукова, сторонившегося должностей, производило впечатление некоего диссонанса, а по сути свидетельствовало о зреющем разочаровании. Его тревожили явные признаки разрушения русской государственности. С самого начала он не мог признать оправданным формирование Временного правительства без твердой опоры на Государственную думу, считая, что при таком подходе кабинет просто «повиснет в воздухе». Позднее он ратовал за устранение двоевластия правительства и Советов, за укрепление авторитета центральной власти. Судя по всему, еще до Октябрьского переворота Долгоруков склонялся к поддержке диктатуры как единственной силы, способной вывести страну из кризиса.

Важную роль в оздоровлении ситуации, по мнению Долгорукова, могло сыграть и Учредительное собрание. Прервав свой затянувшийся «отпуск», Павел включился с сентября 1917 года в напряженную избирательную кампанию, баллотировавшись в состав Учредительного собрания от Московской губернии. Как один из лидеров кадетов, он заявлял, что партия на выборах должна стать носителем начал государственности. Обезд Павлом уездных городов был прерван Октябрьским вооруженным восстанием. Однако на выборах 14 ноября он прошел в депутаты единственным из списка кадетов по своему округу.

По горькой иронии судьбы, день открытия Учредительного собрания (первоначально намеченный на 28 ноября), с таким нетерпением и надеждами ожидавшийся Павлом Долгоруковым, окончился для него тюремной камерой в Трубецком бастионе Петропавловской крепости. Приехав 28 ноября в Петроград, он направился на оговоренное место встречи кадетских депутатов — к графине С. В. Паниной. К несчастью, его вовремя не предупредили об аресте графини и о засаде, устроенной на ее квартире, где он и был задержан. Формальным поводом к аресту Павла Долгорукова (а вместе с ним и других лидеров кадетской партии, А. И. Шингарева и Ф. Ф. Кокошкина) яви-

лось обвинение в отказе передать большевикам денежные средства бывшего Министерства народного просвещения. Эти средства находились у Паниной в силу исполнения ею обязанностей товарища министра народного просвещения в последнем Временном правительстве. Было, однако, очевидно, что Долгоруков, Кокошкин и Шингарев, находясь в Москве, не могли иметь какого-либо отношения к столичным министерским деньгам. Однако к вечеру подоспело «юридическое обоснование» ареста — подписанный Лениным декрет Совнаркома, в котором кадеты объявлялись «партией врагов народа» и указывалось, что члены кадетских руководящих учреждений «подлежат аресту и преданию суду революционных трибуналов».

Во время трехмесячного заключения Павел Долгоруков, как всегда, сохранял присутствие духа, надеясь, по-видимому, на правовое разрешение дела кадетских лидеров. В газете «Речь» он опубликовал открытое письмо народным комиссарам, в котором обосновывал незаконность ареста и рассчитывал, что созванное 5 января 1918 года Учредительное собрание обеспокоится судьбой содержащихся в крепости депутатов. Разгон собрания и жестокое убийство в Мариинской тюремной больнице Кокошкина и Шингарева не оставили места иллюзиям. Павел тяжело переживал известие о мученической смерти своих товарищей. Тогда же он принял решение выступить на процессе их убийц и публично заявить, что ответственность за содеянное должны нести в первую очередь те, кто подписал декрет 28 ноября и тем самым спровоцировал расправу, указав жертву «слепым, обманутым людям». Суд, впрочем, не состоялся, но был закрыто и дело самого Долгорукова. В конце февраля 1918 года он был освобожден.

Вернувшись в Москву, Долгоруков вновь включился в партийную жизнь: руководил организационной работой бюро ЦК партии кадетов, созывал его регулярные заседания. В тот период в партии развернулась острая дискуссия по вопросу выбора дальнейшего направления работы. Долгоруков подвергал резкой критике планы П. Н. Милюкова водворить порядок в стране с помощью немецкой армии. Он видел в германофильском курсе серьезную угрозу для политического авторитета партии, для ее внутренней целостности, настаивал на сохранении верности союзникам.

После майской партийной конференции 1918 года кадеты подверглись жестким репрессиям: в Москве был закрыт партийный клуб в Брюсовом переулке, около 60 партийцев были арестованы. Дворец Долгоруковых в Малом Знаменском переулке (за Музеем изобразительных искусств) трижды подвергался обыску. Отныне князь должен был вести полулегальное существование, ночуя у знакомых и часто меняя квартиры. Однако внушительная, дородная фигура князя, его величавая осанка, характерная окладистая борода чрезвычайно затрудняли маскировку внешности, да и сам князь не испытывал особого страха. Он не побоялся даже проникнуть в здание ВЧК на Лубянке, пытаясь разузнать что-либо о судьбе арестованных кадетов. Молодой красноармеец, стоявший на посту, был введен в заблуждение «начальственным видом» и поведением Павла. Он пропустил его безо всякого документа и также свободно позволил уйти.

Привыкнув к известному комфорту, упорядоченному образу жизни, Павел Долгоруков тем не менее спокойно переносил тяготы скитальчества. Собственно, с этого времени у него уже никогда не было своего дома. Многие его товарищи летом 1918 года потянулись на Юг, в расположение Добровольческой армии. Но Долгоруков решил остаться в Москве, хотя тучи над его головой сгущались; ясно было, что его пребывание на свободе — лишь вопрос времени. И все же Долгоруков считал, что его место в городе, пока московская партийная организация выполняет координирующие функции, сплачивает ряды кадетов, разъясняя путем переписки и личных контактов противоречия, возникшие в партии в связи с проблемой самоопределения. Позднее он утверждал, что «московское сидение» летом 1918 года спасло партию. Лишь в октябре, «когда Германия дрогнула» и «вопрос о немецкой ориентации потерял свою остроту

и опасность», Долгоруков выехал из Москвы в Киев. Там он взял на себя ведение заседаний Центрального комитета, поскольку Милюков формально сложил с себя пост председателя ЦК.

Во имя достижения главной цели — победы над большевизмом и воссоздания «единой великой России» — Долгоруков считал абсолютно необходимым образование широкого межпартийного объединения, «долженствующего подпереть противобольшевицкую военную силу, дать точку приложения союзнической помощи и способствовать образованию русской государственности». Поэтому он много сил и энергии отдавал работе во Всероссийском национальном центре, созданном в мае 1918 года как объединение либеральных антибольшевицких сил во главе с кадетами.

С переездом Главного комитета Национального центра на Юг Долгоруков занял пост товарища его председателя, содействовал созданию новых отделений Центра. Он входил в комиссию пропаганды при Национальном центре и в этом качестве организовывал многочисленные собрания, выступал на них с докладами, основными лозунгами которых были призывы к всемерной поддержке Добровольческой армии и созданию объединенного антибольшевицкого фронта государственно мыслящих общественных сил. Ради этого он предлагал в корне пересмотреть традиционные для политической жизни России правила межпартийного общения. Борьба политическая нужна, заявлял он, но «не острым концом копья, а тупым», «острие должно быть направлено против общего врага». Долгоруков клеймил принципы кружковщины, взаимной политической непримиримости, сведения «в столь грозное время» старых партийных счетов.

При этом Долгоруков прекрасно понимал, что создание широкого антибольшевицкого фронта чревато «естественной правизной», и призывал «не смущаться» этим, полагая допустимым для кадетов идти на ряд политических уступок. Он неоднократно подчеркивал в своих публичных выступлениях, что лишь та партия может считаться государственной, которая способна «в момент национальных потрясений» подняться на «надпартийную высоту общенациональных заданий», выставить «надпартийные лозунги, необходимые для спасения государства, хотя бы они и противоречили программным требованиям мирного времени».

Вместе с тем претерпевали несомненную эволюцию и взгляды самого Павла Долгорукова. Теперь он склонялся к пересмотру решений послефевральских партийных съездов об Учредительном собрании в пользу лозунга единоличной власти. Поначалу он делал оговорки, что выступает сторонником диктатуры, лишь «если она подпишется под нашими условиями», но к 1919 году встал на позиции безусловной поддержки военной диктатуры, видя в ней единственную власть, способную спасти Россию. «В разгар пожара, — писал Долгоруков, — не разбираются, хорош ли брандмейстер. Его вызывают, его ожидают, раз ему подчинена пожарная команда, и охотно вверяют его единоличной власти пылающее здание». И Деникина, и Колчака он оценивал как «желанных вождей», поскольку они, по его мнению, обладали «государственным инстинктом».

Равным образом Павел Долгоруков не считал возможным в сложившихся обстоятельствах отстаивать лозунг федерации; осуществление в России федеративного строя он относил на будущее, когда в стране восстановится государственность и порядок. В решении аграрного вопроса он признавал необходимым считаться с фактически состоявшимся «черным переделом», хотя и возражал против принципа «узаконения захватов».

В развернувшейся в либеральной среде дискуссии относительно «завоеваний и заслуг революции» Павел Долгоруков подвергал сомнению попытки отделить «эксцессы большевизма», с которым связывались явления анархии, бунтарства, демагогии, от собственно революции. С его точки зрения, на всех стадиях революции можно

было проследить действие разрушительных тенденций. Завоевания революции, по его словам, «тонут в массе вреда и бедствий, причиненных народу и государству»; «экономическая, культурная и моральная разруха» на долгое время не даст возможности воспользоваться никакими завоеваниями. Единственным безусловным «завоеванием революции» он называл «исцеление от народническо-социалистической маниловщины».

Новым взглядам Павла Долгорукова вполне соответствовали решения Екатеринодарского (июнь 1919 года) и Харьковского (ноябрь 1919 года) совещаний партии. Принятые на них резолюции поддерживали военную диктатуру, которой предоставлялись особые полномочия по осуществлению «исторической задачи объединения России, восстановлению разрушенного аппарата власти» и «водворению социального мира». Правда, многие кадетские лидеры (И. И. Петрункевич, М. М. Винавер, П. Н. Милюков и другие) критиковали эти решения как «отступнические», «порывающие с прошлым партии».

Действительно, кадетские совещания ревизовали программные положения партии по национальному и аграрному вопросам; они провозгласили декларации Колчака и Деникина «руководящими началами общенациональной платформы». По мнению Долгорукова, эти явные подвижки были лишь временными отступлениями, вытекавшими из чрезвычайных условий Гражданской войны. В подтверждение правоты резолюций юго-восточных конференций Долгоруков ссылался на аналогичные решения сибирских, закавказских кадетов, а также областных комитетов в Одессе и Киеве, что должно было свидетельствовать о единстве и согласованности кадетской платформы на всей «несовдеповской территории». Ему казалось, что, находясь в России, в самой гуще событий, он яснее видит существо происходящего и способен вместе с единомышленниками наметить для партии адекватную линию поведения, в то время как его критики в Париже слишком оторвались от российской действительности и проповедуют взгляды, не соответствующие конкретной ситуации и условиям «междоусобной борьбы». Он старался не замечать, что предлагаемая им политическая линия превращала кадетскую партию в «политическое прикрытие» военной диктатуры, делала партию ответственной за политические ошибки, допускавшиеся военным режимом.

Уязвимость новой позиции своей партии периода Гражданской войны Павел Долгоруков так и не признал — ни тогда, ни позднее в эмиграции. Он не мог согласиться с утверждением Милюкова, что одной из причин провала Белого дела явились грубейшие ошибки политического курса, в том числе и забвение демократических принципов в деле государственного управления, решения аграрного и национального вопросов. Долгоруков полагал, что истоки поражения коренились в военных неудачах, неспособности администрации отладить исполнение своих ключевых функций (снабжение армии, наведение порядка в тылу и так далее), а также в отсутствии мощной «общественной подпорки» военному режиму, над созданием которой он безуспешно бился все три года Гражданской войны. Он с горечью констатировал проявления индивидуализма, а зачастую и просто шкурничества в поведении ранее, казалось бы, политически сознательных общественных деятелей, которые вместо борьбы за «воссоздание родины» занялись личным обустройством.

Для самого Павла материальные блага потеряли всякую ценность. Князь ходил в пиджаке, сшитом из дерюжного мешка, в сапогах, зашнурованных белыми тесемками, которые подкрашивались черными чернилами. Заполнявшая его дни партийная и общественная работа была вся без остатка подчинена нуждам Белого движения. Однако если допустить, что аскетизм и подвижничество Долгорукова в чем-то сродни дон-кихотству, то ставшие его ветряными мельницами «обывательская апатия» и «гражданское дезертирство» так и остались непобежденными врагами. На созываемые им

публичные собрания, посвященные «подвигам фронта» и «задачам тыла», приходила немногочисленная публика. Сидя в шубах в нетопленных залах, она «плохо согревалась пламенными призывами подпереть фронт». А рядом светились вывески кабаре, владельцы которых не могли пожаловаться на недостаток посетителей и отсутствие тепла.

С поражением Деникина партия кадетов, представители которой занимали многие посты в администрации генерала, оказалась фактически не у дел; многие из них в ходе эвакуации из Новороссийска покинули Россию. Окружение нового главнокомандующего, генерала Врангеля, составляли иные люди. Но Павел Долгоруков решил остаться на родине. На французском дредноуте он добрался до Феодосии, оттуда переехал в Севастополь. В письмах к однопартийцу Н. И. Астрову он называл себя «бранным остатком общественности в бранных остатках России». Задачи, которые он ставил перед собой, оставались прежними: всемерно укреплять борющуюся с большевизмом власть, оставаясь на выработанной в Екатеринодаре и Харькове позиции поддержки национальной диктатуры; оказывать максимальную помощь армии.

Павла Дмитриевича нисколько не уязвляло то, что кадеты не были допущены до министерских постов в правительстве Врангеля. Главным для партии, по его убеждению, должно было быть не честолюбивое желание играть непременно «видную политическую роль», а работать «хотя бы на скромном деле для воссоздания Родины». Не «навязываться» власти, а выполнять свой долг — служить опорой государственному порядку, вести «созидательную общественную работу», пусть даже на должностях «хотя бы третьестепенных». Поэтому он адресовал свои «горькие упреки» либеральной русской общественности, и прежде всего однопартийцам, покинувшим Россию. «О России забыли», — с болью писал он. Уехавшие однопартийцы предпочитают «политиканство в заграничных центрах» и «более удобную, комфортную и спокойную жизнь за границей» — «дыму и чаду отечества». Он настойчиво звал их в Россию, жаловался на «страшное безлюдье».

Впрочем, призывы Павла Дмитриевича особого действия не оказывали. Партийцы слали письма, в которых выражали восхищение его стойкостью, славословили по поводу его «подвига», «рыцарства», но не приезжали. Долгорукову же собственная роль представлялась много будничнее; он не видел в своих поступках никакого героизма. Он писал: «Мне просто гораздо приятнее быть здесь. Легче, радостней, если бы не было парадоксально — веселей...» Он знал, что нужен в Крыму, и, кроме того, пока под его ногами была родная земля, оставалась надежда на поворот к лучшему.

Хотя должность Долгоруков занимал небольшую (он сотрудничал в агитационном отделе политической части врангелевского штаба), он был одной из ключевых и наиболее авторитетных фигур крымской общественности. Павлу Дмитриевичу пришлось взять тяжкий воз каждодневных организационных, пропагандистских и иных забот. Он наладил в Севастополе работу местного кадетского комитета, возглавил внепартийное Объединение общественных и государственных деятелей, которое развивало идеи Национального центра, был председателем Общества добровольных отрядов. Жизнь Долгорукова в Севастополе была нелегкой: бытовая неустроенность, безденежье, подчас полуголодное существование. Он сильно похудел, обносился, но тяготы и лишения не могли поколебать его решимости оставаться при армии на последнем клочке русской земли. В числе последних он эвакуировался из Крыма на том же французском дредноуте «Вальдек Руссо».

Пережить трагедию эвакуации, крайнюю нужду первых месяцев эмигрантского житья в Константинополе (как говорил Павел Дмитриевич, «корявость личного положения») он смог, черпая силы в привычной общественной деятельности. Долгоруков сразу же активно включился в работу местного кадетского комитета и отделения ЦК. Был избран также членом Политического объединенного комитета, выполнявшего

функции представителя общественности во взаимоотношениях с генералом Врангелем и его администрацией. Помимо глубокого сострадания к бывшим защитникам Крыма, его тяга к армии объяснялась и принципиальными соображениями: он видел в армии последний оплот русской государственности.

В конце 1920 — начале 1921 года вопрос о Русской армии, находящейся в изгнании, стал объектом острых дискуссий в кадетских кругах. Выдвинутая П. Н. Милюковым «новая тактика» в числе прочего строилась на том, что историческая роль Русской армии уже сыграна, поскольку вооруженные действия, по крайней мере в прежних формах, перестают быть методом борьбы с большевизмом. Долгоруков категорически возражал против подобной позиции. Он настаивал на сохранении армии как боевой единицы, полагая, что ей предстоит стать главной силой как в будущем освобождении России, так и в подавлении «внутренней анархии», неизбежной в переходный период. Вместе с тем его коробило то, как отстраненно парижские кадеты решали судьбу армии — Долгоруков не мог смириться с жестокостью подобных политических решений. Слишком велико было его сочувствие к русским солдатам и офицерам, невыносимые тяготы и лишения которых он знал не понаслышке. Сам практически нищий, князь прилагал немалые усилия, чтобы облегчить условия жизни в военных лагерях. Для ознакомления общественности с положением армии в эмиграции он наладил выпуск гектографированных еженедельных информационных бюллетеней. По воспоминаниям кадета В. Даватца, поступившего добровольцем в деникинскую армию и не покинувшего ее ряды в изгнании, Долгоруков был единственным «из видных партийных лидеров», кто «имел мужество открыто встать на ее (армии. — Н. К.) сторону и в полном смысле слова связать себя с ее судьбой».

Павел Дмитриевич горячо воспринял планы создания Русского совета при Врангеле. В кругах единомышленников Долгорукова этот орган рассматривался как единый центр антибольшевистской борьбы, надпартийный по своей сути, связывающий «народное движение с вооруженной борьбой армии» и охраняющий «интересы этой освободительной борьбы перед всем миром». Долгоруков пытался убедить Врангеля в том, что образование Русского совета должно помочь главнокомандующему осуществить назревшую реформу органов политического и гражданского управления путем привлечения представителей казачества, главных политических и национальных партий и общественных организаций. Правда, вскоре стало очевидно, что Врангель, стремясь заручиться посредством Совета общественной поддержкой, не торопился разделить с общественностью власть.

Окончательный устав Русского совета принципиально отличался от первоначального проекта: на фоне растущего недовольства звучали предложения бойкотировать Совет. Однако Павел Дмитриевич вошел в его состав. Объяснением этого шага может служить его речь, произнесенная на торжественном открытии Русского совета 5 апреля 1921 года, в которой он заявил, что необходимо «более, чем когда-либо... подпереть армию и помочь главнокомандующему, разделив с ним власть гражданскую и политическую». Он считал, что «покамест в Париже не создается надлежащего общественно-национального центра», Русский совет при всем своем несовершенстве может играть роль объединяющего центра и оставить «единственную крепкую ось русского дела».

На Совещании членов ЦК кадетов, проходившем 26 мая – 2 июня 1921 года в Париже, многие однопартийцы потребовали от Долгорукова выхода из Совета. Однако Долгоруков, по-прежнему считая, что возможности вооруженной борьбы с большевизмом далеко не исчерпаны и потому Русскому совету еще предстоит стать объединяющим центром, поступил вопреки возобладавшему в партии мнению и даже в знак протеста против оказываемого на него давления написал заявление о выходе из ЦК

(в конечном счете это заявление не получило хода). В конце февраля 1922 года Павел Дмитриевич выехал в Софию для подготовки выборов в Русский совет по заданию генерала Врангеля. Когда же летом 1922 года Совет был преобразован в финансово-контрольный комитет, он стал его активным членом. По поручению комитета он участвовал, с целью финансовой поддержки армии, в продаже части серебра Петроградской ссудной казны, вывезенной армией через Новороссийск.

В партии Павел Долгоруков оставался убежденным оппонентом «новой тактики» Милюкова. Он осуждал милюковский курс на коалицию с социалистами, характеризуя его как тактический прием с целью «въехать в Россию на левых ослах». С точки зрения князя, Милюков своим «соглашательством с эсерами» переступил грань допустимого компромисса, демонстрируя стремление прийти к власти в России любой ценой. Вопреки планам Милюкова «откреститься» от политики «белых правительств» и перенести центр борьбы с большевизмом на внутренний фронт, Долгоруков по-прежнему настаивал, что «вооруженная борьба должна быть главной, основной» и должна быть сохранена «преемственность», гарантом которой являются Русская армия и ее командование.

В преддверии Совещания членов ЦК кадетов в 1921 году Долгоруков провел циркулярный опрос в заграничных кадетских группах. Полученные сведения, как казалось, давали основание утверждать, что единомышленники Милюкова составляли в партии незначительное меньшинство. Поэтому произошедшее выделение «милюковцев» («новотактиков») из состава парижской организации кадетов он оценивал не как раскол, а как «откол» части партии от большинства ее членов. Однако количественные подсчеты соотношения сил оказались на деле ненадежным критерием: вскоре сторонники Милюкова начали активно конституироваться в других центрах русского рассеяния.

Конституционно-демократическая партия фактически раскололась. Причем ее милюковская часть оказалась более активной и жизнеспособной, в то время как деятельность их оппонентов постепенно свертывалась. Вместе с тем Павел Дмитриевич сохранил приятельские отношения со многими милюковцами и был поражен, услышав о покушении на Милюкова в 1922 году: «Жаль, что убит Набоков, а не Милюков». Пытаясь отрезвить партийных фанатиков, он заявил: «Я оплакиваю Набокова, ужасаюсь убийству его и искренне радуюсь, что Милюков уцелел».

Первостепенное значение в эмиграции Долгоруков продолжал уделять внепартийному объединению всех тех, кто мог «подняться на национальную высоту, чтобы делать общенациональное государственное дело». Ради создания широкого антибольшевистского политического фронта Павел Дмитриевич считал целесообразным временно отказаться от решения коренных вопросов будущего устройства России, чтобы тем самым избежать дискуссий, вносящих раздор в эмигрантскую среду. Будучи сам сторонником республики, он решил не вступать в спор с приверженцами монархического принципа и предпочитал занимать позицию «непредрешенца», указывая одновременно на относительную ценность всех форм правления. Долгоруков предпринял попытку создать в Константинополе внепартийную организацию «Народное братство освобождения России». Эта организация объединила таких несхожих по своим политическим взглядам деятелей, как П. Б. Струве, И. П. Алексинский, А. С. Хрипунов, Н. Н. Львов и другие. Основными положениями платформы «Братства» были: созыв Всероссийского национального собрания для определения государственного устройства России, закрепление за крестьянством земли на началах полной собственности, предоставление национальным окраинам широкого государственного самоуправления, «широкие социальные реформы, законодательная защита рабочего класса и последовательный демократизм», соединенные «с суровой национальной дисциплиной...».

Особое место в борьбе с большевизмом «Братство» отводило сохранению Русской армии — ее предлагалось расселить в форме трудовых колоний с сохранением внутренней организации. Однако вскоре Павел Дмитриевич должен был признать, что подлинного дееспособного объединения государственно мыслящей демократической эмиграции так и не состоялось.

С годами острота крымской катастрофы постепенно изживалась. Стихали и политические страсти. Многие смирялись с происшедшим, втягивались в эмигрантскую жизнь, повседневные хлопоты. Павел Дмитриевич Долгоруков, живший по-прежнему исключительно планами освобождения России от большевизма, с тоской наблюдал за неумолимым превращением бывших политиков в мирных обывателей. Те же, кто не ушел из общественно-политической жизни, занимались, по его наблюдениям, большей частью ненужной суетой: объединялись, расходились... Сопротивляясь трясине эмигрантского бытия, Долгоруков всеми силами пытался переломить тенденцию «умирания» кадетской партии, активизировать ее работу, надеясь, что она еще сможет сыграть активную роль в грядущем возрождении России.

Анализ положения дел в эмигрантском политическом сообществе, а также изучение происходящего в Советской России постепенно убеждали Долгорукова в том, что силами одной армии справиться с большевизмом невозможно, необходима активизация внутренних сил сопротивления. Он предлагает наладить регулярную нелегальную отправку в Россию небольших отрядов (ячеек) во главе с «лицами командного состава» с тем, чтобы эти отряды выполнили функцию некоего «бродильного фермента», стимулируя процесс формирования внутреннего антикоммунистического фронта.

В связи с разработкой этих планов Долгоруков принял решение нелегально проникнуть в Россию. Этот отчаянный поступок он объяснял рядом практических соображений. С его точки зрения, антибольшевистские силы за рубежом и в России оказались оторванными друг от друга, между ними накапливалось взаимное непонимание, а подчас недоверие и недружелюбие. Требовалось наладить обмен информацией, ознакомление с планами и настроениями друг друга. Наиболее авторитетные представители зарубежья, могущие «своей прошлой и настоящей деятельностью внушить к себе доверие», должны были, по его замыслу, проникнуть на родину и убедить Россию, что эмиграция не преследует целей реставрации, не стремится принести тот или иной политический порядок «на острие штыка», что она собирается послать в Россию «не мстителей, а примирителей». Установление путем личных контактов «смычки» эмиграции с Россией должно было оживить политическую работу российского зарубежья, дать ему новые стимулы, нацелить на реальные дела взамен бесконечных и бесплодных словесных баталий.

Немалую роль в принятии решения о нелегальном переходе границы сыграли и моральные мотивы. Павел Дмитриевич полагал, что посылать в Россию добровольцев для организации противобольшевистской борьбы имеет право лишь тот, кто сам в нужный момент готов подвергнуться риску. Долгоруков прекрасно отдавал себе отчет в смертельной опасности своего предприятия, но жертвенностью поступка он протестовал против пассивности, обывательщины, «забвения общественного долга». Он хотел всколыхнуть рутинную жизнь эмиграции, дать пример молодому поколению.

Первая попытка перехода через границу была сделана Долгоруковым в начале июля 1924 года. Он тщательно готовился к походу, изменил внешность. С длинной («козлиной») бородой, из которой были выстрижены все неседые волосы, в очках, в одежде простолюдина, с котомкой за плечами он должен был изображать восьмидесятилетнего старика-странника. Поход окончился неудачей. Долгоруков был задержан пограничниками и неделю содержался в отделении ОГПУ. Здесь он проявил недюжинные актерские способности, ни разу не сбившись с роли ни на многочисленных допро-

сах, ни в общении с другими арестантами. Благодаря своей выдержке ему удалось избежать разоблачения, но цель путешествия не была достигнута. Его отконвоировали обратно к границе с Польшей.

Провал похода, тяжело давшегося почти шестидесятилетнему князю, треволения, пережитые им в арестантской, не поколебали его решимости довести до конца задуманное. Весной 1926 года он предпринял вторую попытку, проникнув в Советскую Россию из Бессарабии. На этот раз под именем Сидорова Ивана Васильевича он благополучно добрался до Харькова, прожил там месяц, но никаких подходов к антибольшевистскому подполью, как, впрочем, и самого подполья, не обнаружил. Затем Долгоруков направился в Москву, намеревался остановиться недалеко от подмосковной станции Лопасня в женском монастыре, игуменьей которого была его родная тетка, в миру графиня Орлова-Давыдова. Однако 13 июля 1926 года на станции Серпухов Московско-Курской железной дороги он был опознан и арестован.

Одиннадцать месяцев Павел Дмитриевич провел в Харьковской тюрьме. Он обвинялся «в нелегальном переходе госграницы с целью создания контрреволюционной организации и проживании по чужому паспорту». В Государственном архиве сохранилось несколько писем, посланных Павлом Дмитриевичем из тюрьмы своему брату. Их тон утешительный: «Здоровье по возрасту хорошо»; «Ни в чем не нуждаюсь»; «Я совершенно спокоен и бодр, ведь я шел на это, сознавая, что мало шансов не быть узником, особенно в Москве...».

Арестованного князя опекала через Политический Красный Крест Е. П. Пешкова, с которой он был знаком еще по Московскому художественному театру. Долгое время сохранялась надежда, что приговор по делу Долгорукова, учитывая его возраст, не будет слишком суровым. Действительно, сначала, 29 января 1927 года, ГПУ УССР постановило, «в связи с отсутствием достаточных материалов», направить его уголовное дело в прокуратуру для прекращения. Однако на следующий день то же ГПУ УССР возбудило ходатайство перед особым совещанием при коллегии ГПУ УССР «о признании Долгорукова П.Д. социально опасным элементом и высылке его в административном порядке в Нарымский Край сроком на пять лет». Особое совещание в своем постановлении от 15 февраля 1927 года возбудило ходатайство перед коллегией ОГПУ о высылке Долгорукова в Нарым на три года.

Однако неожиданные события круто изменили обстановку. 7 июня 1927 года в Варшаве был убит советский посол П. Л. Войков. В ответ на это в СССР в ночь с 9 на 10 июня были расстреляны двадцать представителей видных дворянских и буржуазных семей. Первым в списке значился князь Павел Дмитриевич Долгоруков. По воспоминаниям очевидцев, он, убежденный противник смертной казни, достойно встретил смертный приговор. Место захоронения князя до сих пор не установлено.

ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ МИЛЮКОВ: *«Идти соединением либеральной тактики с революционной угрозой...»*

АЛЕКСЕЙ КАРА-МУРЗА

Павел Николаевич Милюков родился 15 января 1859 года в Москве на Пречистенке в дворянской семье. По обычаю при крещении он получил имя святого, в день которого появился на свет, — пустынножителя IV века Павла Фивейского. Но в отличие от своего святого, нашедшего смысл бытия в аскетическом уединении, Павел Милюков всю жизнь был ярко выраженным экстравертом и стремился оказаться в самом центре общественно-политической жизни. И надо признать: ему это удавалось...

В 1877 году будущий знаменитый историк и политик окончил лучшим среди однокашников и с серебряной медалью 1-ю Московскую гимназию (на углу Волхонки и Бульварного кольца), где до него учились двое других выдающихся русских историков — Михаил Погодин и Сергей Соловьев. После окончания гимназии, когда разразилась Русско-турецкая война, гимназический друг Милюкова князь Николай Долгоруков предложил ему перед поступлением в университет поработать вместе волонтерами в санитарном отряде при Кавказской армии. Работа продолжалась три месяца, и к моменту возвращения друзей в Москву занятия в университете уже начались.

В конце сентября 1877 года Павел Милюков был зачислен на первый курс историко-филологического факультета Московского университета, где учился у П. Г. Виноградова, В. И. Герье, В. Ф. Миллера, а потом В. О. Ключевского и Н. С. Тихонравова. Большую роль в его становлении сыграл также М. М. Ковалевский, приобщивший Милюкова-студента к философско-историческому позитивизму Огюста Конта. По позднему признанию самого Милюкова, именно контовский позитивизм сформировал его поступательно-прогрессистскую концепцию истории: «Конт был читан, перечитан, конспектирован и возымел самое решительное влияние на все научное мировоззрение...»

Противоречия правительственного курса последних лет царствования Александра II напрямую образом отзывались на положении в университете. Уже со второго-третьего курса Милюков становится заметной фигурой в студенческих кружках, популярным оратором на сходках и митингах. Известие об убийстве императора террористами 1 марта 1881 года вызвало небывалое студенческое брожение: в начале апреля Милюков был в первый раз арестован и исключен из университета с правом восстановления на следующий год.

Неожиданно образовавшееся свободное время было использовано с большой пользой для самообразования. Получив разрешение на выезд за границу, двадцатидвухлетний Милюков отправился в Италию для знакомства с культурно-историческим наследием Античности и Возрождения. Любопытны впечатления юного западника от первой встречи с «живым Западом». Европа поразила Милюкова уже в Варшаве: «Варшава, при проезде с вокзала на вокзал, показалась мне, по сравнению с Москвой, на-

стоящим европейским городом — первым, который я видел...» Еще больше его восхитила Вена. «Я потом много раз бывал в этой красивой столице, — вспоминал Милюков. — Но тогда восторг мой достиг высшей точки. Мне казалось, что лучше этого я уже больше ничего не увижу. Мы остановились в отеле „Метрополь“. Этот сравнительно скромный отель мне представился верхом комфорта и роскоши. А венский кофе с нетонущим куском сахара на сливочной пенке и с непременно стаканом ледяной воды!»

Италия дала богатую пищу для ищущего ума: мемуары Милюкова говорят о его редкой увлеченности и работоспособности. Заложенное тогда культурное знание прочно вошло в интеллектуальный арсенал будущего политика. Много позже коллеги Милюкова по редакции кадетской газеты «Речь» запомнили, например, такой эпизод. Летом 1911 года из парижского Лувра была похищена знаменитая «Джоконда» Леонардо да Винчи. Редактор художественного отдела литератор и искусствовед А. Н. Бенуа был тогда за границей, и кто-то предложил обратиться к главному редактору — Милюкову. Вечером статья была готова; вернувшийся вскоре Бенуа долго не хотел верить, что текст принадлежит Милюкову, а не крупному специалисту по истории искусства Возрождения.

Вернувшись после первого заграничного путешествия на четвертый курс университета, Милюков углубился в изучение русской истории. По окончании учебы он был оставлен при кафедре В. О. Ключевского для подготовки к профессорскому званию. В 1886 году он становится приват-доцентом, а в 1892 году успешно защищает магистерскую диссертацию о государственном хозяйстве России в эпоху Петра Великого. Окончательное профессиональное признание принесли Милюкову трехтомные «Очерки по истории русской культуры» (1896–1903).

В своих работах Милюков-историк пытался найти и сформулировать баланс между безусловной верой в европейский универсализм и пониманием очевидной русской особенности перед лицом классической Европы. Очень скоро его исторические штудии пронзила идея о том, что Россия должна и способна войти в Европу, но траектория русской европеизации будет не вполне классической. Если внимательно вчитаться в милюковские «Очерки русской культуры», написанные еще на рубеже столетий, становится очевидным, что уже тогда главными для Милюкова стали вопросы о том, как возможно в России формирование европейской политической культуры и кто способен стать эффективным субъектом европеизации страны. Отсюда его пристальное внимание к фигуре главного «русского западника» — Петра Великого. Милюков, профессионально изучавший историю Петровских реформ, оказался в числе немногих ярких критиков Петра с позиций... самого европеизма.

Петровский «европеизм», с точки зрения Милюкова, слишком импульсивен и эмоционально окрашен, а потому формален и неглубок. Придворные интриги, тревожная обстановка детства выработали в молодом царе, с одной стороны, «замечательное уменье притворяться, которому не раз удивлялись иностранцы», а с другой — «непобедимое недоверие к искренности его окружающих»: «Эта благоприобретенная черта не позволяла Петру до конца жизни ни на кого ни в чем положиться и приводила к тому же, к чему и врожденная живость характера: к желанию, превратившемуся в потребность, самому все делать, входя в самые мелкие детали каждого дела...» По мнению Милюкова, Петр оказался в заколдованном круге: ценя в людях прежде всего абсолютную личную преданность, он имел очень ограниченный кадровый выбор и «ни на один сколько-нибудь ответственный пост не мог посадить лицо, действительно подходящее, а назначал фигурантов, ничтожества, не имевшие никакого понятия о деле...». Обратной стороной такого положения вещей было полное равнодушие ближайших сотрудников Петра к глубинному содержанию того дела, которым они были

вынуждены заниматься: «Чем их положение становилось прочнее и обеспеченнее, тем сильнее обнаруживалось, что они преследуют только личные, своекорыстные интересы». По существу, эти «сподвижники» оказались такими же врагами реформ (первые же послепетровские годы это окончательно подтвердили), как и те, которых царь надеялся победить назначением доверенных лиц. Вокруг максималиста Петра образовалась пустота, и сам он становился «все более анахронизмом среди сотканной им же паутины нового житейского церемониала»: «Окружающие утомлялись от этой необходимости быть вечно настороже... В конце концов против царя составилась какой-то молчаливый, пассивный заговор...» Вывод Милюкова таков: «При полном отсутствии той междуклеточной ткани социальных отношений, которая вырабатывается культурным процессом и одна может обеспечить непрерывность социального действия... Петру поневоле приходилось верить в одного только себя и полагаться лишь на собственные силы».

Убежденный европеист, Милюков был, однако, очень далек от тотальной критики петровской «полувестернизации». Да, Петр во многом ограничился лишь внешним подражательством Западу, но эта «внешность» (одежда, жилище, церемониал), согласно Милюкову, — «важнейшие части немого языка культуры». Бытовой, формальный европеизм — низший, но обязательный этап взращивания европеизма содержательного, необходимый пролог к постановке главного вопроса: как сформировать в России эту искомую русско-европейскую «междуклеточную ткань социальных отношений».

Уже в ранних «Очерках» у Милюкова-историка зарождается мысль о приоритетности создания в России европейской *политической* среды. «России не хватает политики», полагает Милюков, и в первую очередь ее важнейшего элемента — идейного плюрализма и развитого парламентаризма, опирающихся на либеральное законодательство. Но кто способен в самодержавной стране эффективно бороться за конституцию, демократию и парламентаризм?

Развенчивая преобразовательный пафос героя-одиночки, Милюков вообще считал крайне ограниченными возможности в России «модернизации сверху». Ведь государство и бюрократия в России явились не естественным продуктом общественного договора сословий, а *искусственным*, автономным от общества всеподавляющим образованием. А в условиях, когда обратная связь с общественными интересами сведена до минимума, правящая бюрократия оказывается совершенно нечувствительной к социальным потребностям.

Скептически оценивает Милюков и модернизаторский потенциал российского дворянства как сословия. В отличие от западной аристократии, прошедшей долгую школу борьбы за личные права и свободы, русское дворянство было привилегированным лишь в той мере, в какой было служилым сословием. Отмена обязательности государственной службы при Екатерине дала толчок не столько к развитию сословной самостоятельности и корпоративного духа дворянства, сколько к еще большей политической апатии.

Нет в России и традиционного для Запада «третьего сословия», сословия горожан. В отличие от Запада, где рост городов был следствием внутреннего развития экономической и промышленной жизни, в России город был не автономной, эмансипированной от верховной власти, а, напротив, максимально зависимой от самодержавия единицей: «Раньше, чем город понадобился населению, он понадобился правительству». Русский город, согласно Милюкову, имел принципиально иную природу, чем на Западе: «И сама Москва, единственный сколько-нибудь значительный город древней России, не составляет исключения... Несмотря на обширное пространство... Москва была огромной царской усадьбой, значительная часть населения которой так или иначе стояла в связи с дворцом в качестве свиты, гвардии или дворни...» Петербургский период лишь развил и усугубил эту тенденцию.

Итак, проблема гражданской отсталости России на фоне динамичной, прогрессирующей Европы — не в силе русской государственности, а, как это ни парадоксально, в *слабости* последней, в преобладании сверху донизу анархистских, негосударственных элементов, в отсутствии «социального сцепления». Даже Петр — апофеоз русской власти — был не в силах создать органичные механизмы государственности. Необходимо увеличивать силы сцепления между властью и обществом, создать, как на либеральном Западе, «политическую нацию».

Таким образом, излюбленная идея Милюкова, которую он варьировал на протяжении всей своей интеллектуальной карьеры, — это острая недостаточность в России политической культуры. Перебрав и оценив все возможности и шансы, Милюков едва ли не «методом исключения» приходит к выводу, что единственным перспективным элементом европеизма в России, силой, способной целенаправленно формировать европейскую «междуклеточную ткань социальных отношений», является национальная интеллигенция — внеклассовое образование, способное формулировать общенациональные, гражданские, а не узкокорпоративные интересы. Отсюда и позднейшее убеждение Милюкова как конституционного демократа: кредо истинного кадета не в защите интересов социальных низов (этим занимаются левые) и не в защите корпоративных привилегий верхов (здесь поле деятельности правых), а в отстаивании интересов формирующейся нации как целого. Интересы эти состоят в первую очередь в расширении пространства политической свободы, которая должна быть обеспечена демократизацией права и особой социальной политикой (например, справедливым перераспределением частной собственности через отчуждение ее неэффективных и антисоциальных излишков за адекватное вознаграждение).

Интеллигенция для Милюкова — временный заместитель в России «третьего сословия», сословия «*bourgeois*», не в банальном материально-собственническом, а в широком культурном смысле. Европеист Милюков полагает именно развитие культуры наипрочнейшим залогом развития русского европеизма. Европеизм, либерализм и культура для него в российском контексте — понятия почти синонимичные. Политическая культура для Милюкова — высшая и универсальная форма культурного существования вообще. Через парламентско-партийную систему политика увенчивает здание культуры, создает ту универсальную связь, которая в конечном счете и «сцепляет» политическую нацию.

Отношение к национальной интеллигенции — суть внутрелиберальных расхождений Милюкова и группы интеллектуалов, составивших знаменитый сборник «Вехи». Как известно, одну из главных причин русского неустройства веховцы видели в деструктивной, антигосударственной, «отщепенческой», по выражению Петра Струве, роли интеллигенции, в ее идейно-политическом максимализме, разнудывающем разрушительные инстинкты социальных низов. У веховцев речь шла о необходимости «деполитизации» интеллигенции и ставке на социальную эволюцию и личностное совершенствование. Милюков же, напротив, был уверен, что *политическая реформа должна предшествовать социальной* и только политические права и свободы могут стать надежной гарантией от эксцессов как власти, так и революции.

В антивеховском сборнике «Интеллигенция в России» Милюков выступил с программной статьей «Интеллигенция и историческая традиция». В отличие от бывших марксистов, пришедших к идеализму (Бердяев, Булгаков, Франк и другие), он видел причину русских бед не в «панполитизме» интеллигенции, а, напротив, в недостатке осмысленной политизации. По его мнению, чурающиеся политики авторы «Вех» сами дают наглядный пример левого иррационализма, фанатического стремления монополизировать истину, напрочь забывая о культурном плюрализме и толерантности. Взяв на вооружение идеи рационализма, Милюков так писал об основной идее «Вех»: «Это

бунт против культуры, протест „мальчика без штанов“, „свободного“ и „всечеловеческого“, естественного в своей примитивной беспорядочности, против „мальчика в штанах“, который подчиняется авторитетам... Как-то так выходит, что авторы „Вех“, начавши с очевидного намерения одеть русского мальчика в штаны, кончают рассуждениями... „мальчика без штанов“...»

Обвинение таких рафинированных интеллектуалов, как Бердяев, Булгаков, Франк, в «примитивной беспорядочности» и «беспортошной всечеловечности» было, конечно, весьма эффектно. Милюкову, считавшему себя рациональным аналитиком, прошедшим школу позитивизма, вряд ли тогда представлялось, что в его собственной партии найдется человек, который спустя несколько лет аккуратно, но едко уязвит Милюкова в том же, в чем сам Милюков упрекал и Петра-реформатора, и веховских интеллектуалов, — в интеллигентской импульсивности и преобладании эмоций над рассудочностью. Этим человеком станет коллега Милюкова по кадетской партии — Василий Алексеевич Маклаков.

Со временем Милюков находит решение поставленной им проблемы в создании политической организации конституционалистов-единомышленников, соединявшей либерально-демократические усилия просвещенной интеллигенции и практиков из числа земских либералов. Партия для Милюкова — это механизм рационального согласования позиций и выработки стратегии позитивного действия. Позитивистская, «контовская» выучка в полной мере сказалась и здесь.

Уже первые политические опыты Милюкова 90-х годов позапрошлого века говорят о постепенном формировании его особого политического стиля, который позволил ему со временем прочно стать во главе либерального движения в России и долгие годы удерживаться на этой позиции. Близко знавшие его друзья характеризовали политические позиции Милюкова того времени как «левый либерализм», балансирование «на грани легальности», стремление найти среднюю линию между радикализмом и эволюционным обновленчеством. Строгость исторической аргументации и при этом радикализм политических выводов становятся «фирменным знаком» Милюкова. Позднее известный кадет В. А. Оболенский найдет разгадку этого двуединства в том, что политические приоритеты Милюкова сложились не под влиянием эмоциональной «любви к народу» (как у радикальных народников), а прежде всего как «вывод из научной работы мысли». Милюков-политик — прямое отражение Милюкова-историка (добавим: историка-позитивиста). Подобное научно-рациональное происхождение политических идей Милюкова, полученных им из научных занятий, и явилось, по мысли Оболенского, залогом их прочности: «Идеи, воспринятые эмоционально, легко стираются новыми эмоциями. Идеи, почерпнутые из практической жизни, не выдерживают часто жизненных перемен. Работа мысли всегда прочнее». Сам Милюков весьма характерно описал в «Воспоминаниях» принципы своего политического возмужания: «В моем случае наблюдения над жизнью передовых демократий соединялись с предположениями, вынесенными из изучения русской истории. Одни указывали цель, другие устанавливали границы возможных достижений».

Тогда же, на рубеже веков, Милюков заводит множество знакомств в интеллектуальной, культурной и политической среде, активно сотрудничает в научно-просветительских журналах и первых политических газетах. Научная и лекционная деятельность перемежается судебными разбирательствами и тюремными отсидками. Власти несколько раз арестовывают Милюкова и... отпускают его для чтения лекций за границу. Правительство, более озабоченное крайними радикалами-социалистами, никак не может определиться в отношении либеральной профессуры.

Начало нового века П. Н. Милюков встретил, имея безусловный авторитет интеллектуала-эрудита, умелого лектора, талантливого публициста и одновременно энер-

гичного борца с режимом. Человек с такой репутацией не мог не быть востребован нарождающейся политической оппозицией. Весной 1902 года, еще до своего многомесячного вынужденного отъезда за границу, Милюков получил приглашение от группы тверских земцев во главе с И. И. Петрункевичем приехать в его имение «Машук» для составления программного заявления в первый номер заграничного либерального журнала «Освобождение» (там, кроме хозяина, присутствовали еще двое будущих отцов-основателей кадетской партии — князь Д. И. Шаховской и А. А. Корнилов). Проект был обсужден, позднее дорабатывался и с небольшими изменениями под названием «От русских конституционалистов» был опубликован в первом номере «Освобождения», которое П. Б. Струве начал издавать в Штутгарте.

По собственному признанию Милюкова, он окончательно сделался либералом в 1903 году. При этом он считал себя продолжателем скорее интеллектуальной (близкой к декабристам и Герцену), а не экономико-буржуазной либеральной традиции. А поскольку именно политическая эмансипация общества казалась ему приоритетом, он полагал возможным и даже необходимым сотрудничество с умеренными социалистами в деле демократизации страны.

Милюков вернулся в Россию в апреле 1905 года, когда процесс политической самоорганизации уже охватил российские столицы. Одно время его пытались перехватить интеллектуальные лидеры социалистов-революционеров. Друзья из народнической редакции «Русского богатства» (В. А. Мякотин и другие) предлагали ему даже войти в состав ЦК эсеровской партии и были немало удивлены отказом Милюкова, заявившего, что он вовсе не является социалистом. Столь же радушно Милюков был принят и в демократическом, либерально-народническом Союзе писателей, организованном Литературным фондом (К. К. Арсеньев, Н. Ф. Анненский), и в Вольном экономическом обществе (где наличествовали все политические оттенки — от либерал-консерватизма графа П. А. Гейдена до социального демократизма Е. Д. Кусковой). Некоторое время Милюков не спешил с выбором: «Такое мое положение было самым благоприятным не только как обсервационный пункт, но и как способ политического самоопределения».

Именно это балансирование между земцами-практиками (Петрункевич, Родичев, Шаховской, братья Долгоруковы) и «левыми интеллигентами» (Анненский, Богучарский, Пешехонов, Прокопович) еще более улучшило позицию Милюкова для быстрого политического взлета. Он стал активным участником так называемой «банкетной кампании», когда под видом безобидной фронды закладывались основы будущего политического самоопределения. Бывало, что Милюков выступал по несколько раз в день и в аристократических салонах, и в студенческих мансардах. Всегда действовавший на грани легальности, Милюков понял скрытый до поры потенциал безобидных, казалось, «банкетов». Он, как историк, прекрасно знал, что аналогичные банкеты в эпоху Луи-Филиппа стали эффективной формой быстрого перехода от ритуальной фронды к открытой политической борьбе, приведшей в конце концов к падению Июльской монархии во Франции.

Среди людей, различных по политическим убеждениям, но временно объединенных схожими антиправительственными настроениями, Милюков оказался одним из самых рациональных. Процесс политической самоорганизации, неизбежно предполагающий рационализацию эмоций, потребовал поставить во главе общелиберального движения человека суховато-рассудочного, тяготеющего к либеральному центризму. Интеллигентской политизированной среде нужен был лидер, способный примирять фланги, «растворяться» в либеральной среде и в то же время эффективно представлять от ее имени. Этот лидер должен был быть фундаментально образован, убедительно говорить, хорошо писать, иметь репутацию принципиального противни-

ка режима, в том числе и за границей. В каждой из перечисленных «номинаций» по отдельности были люди, наверное, не менее блестящие, чем Милюков, но он оказался уникален по совокупности искомых качеств. Как «многоборцу» Милюкову не оказалось равных, и окружающие очень быстро поняли это.

В зародившейся Конституционно-демократической партии (Партии народной свободы) были практически с самого начала разведены председательские функции и функции «лидера партии». Председательство в ЦК в разное время осуществляли бесспорные моральные авторитеты — князь Пав. Д. Долгоруков и И. И. Петрункевич. В I и II Государственных думах, не будучи депутатом, Милюков не мог быть соответственно и руководителем фракции. Но уже с первых лет кадетской деятельности за ним прочно закрепляется роль «лидера партии». Именно в его функции входила выработка стратегической линии, формулировка тактических задач, принципов и форм коалиционной политики.

Позднее многие критики (часто из числа до поры лояльных коллег-партийцев) сетовали, что в такой ответственный для России момент либеральную партию возглавлял столь «бесчувственный» человек, как Милюков. Его позицией были недовольны многие, обвинявшие его и в «избыточной рассудочности», и в склонности «выстраивать жизнь геометрически», видеть в коллегах «не человеческую душу, а политическую функцию». Оппоненты Милюкова полагали, что прочность его убеждений часто перерастала в политическую косность, уподобляли Милюкова сильному, с хорошей выучкой, шахматисту, блестяще разыгрывающему «стандартные положения», но негибкому и неспособному к творческой импровизации... Справедливости ради надо сказать, что без Милюкова прочное организационное оформление российского либерального демократизма могло вообще не состояться и уж во всяком случае не продержалось бы так долго. Именно в сохранении внутривнутрипартийного единства Милюков видел свою приоритетную политическую задачу, возможно — историческую миссию. Он сознательно отождествил себя с партией, и большинство в партии приняло это самоотождествление как естественное и должное.

Отмеченная многими современниками милюковская толерантность к внутрилиберальным оттенкам и различиям во многом проистекала из той же общеисторической концепции. Европейская «ткань», европейская политико-интеллектуальная среда по определению не могут быть однородны. Европеизм предполагает непременно наличие оттенков, зачастую — противоречий. Лидер, требующий унификации (пусть даже во имя западничества, как Петр), не является вполне европеистом. Но и удержать эту неоднородную «ткань» от расползания чрезвычайно сложно. Функция Милюкова как лидера-вождя и внутрилиберального посредника-медиума заключалась как раз в таком удерживании.

«Справа» в партии ему постоянно досаждали В. А. Маклаков и П. Б. Струве; «слева» — не менее яркие фигуры типа А. В. Коллюбакина или Н. В. Некрасова. Но Милюкову никогда и в голову не приходило (по крайней мере, он ни разу не дал себя в этом заподозрить) выдавливать этих людей из кадетских рядов, пользуясь лояльностью большинства. Свою роль он видел в формулировке общепартийной «средней линии» и к разбросу точек зрения в партии относился вполне терпимо. Иногда даже казалось, он верил, что чем шире диапазон мнений, тем устойчивее партийный политический центр и его личное положение в партии.

Милюков, человек спокойный и уравновешенный, хорошо знавший себе цену, никогда не страдал комплексом неполноценности и не бравировал своим лидерством в партии. Он всегда признавал авторитет в партии патриарха земского радикал-либерализма Петрункевича и выдающиеся личные качества князей Долгоруковых и Шаховского, не считая зазорным лишней раз поехать посоветоваться с ними не только по

принципиальным, но и по менее важным вопросам. Те, в свою очередь, зная предсказуемость и взвешенность Милюкова, безусловно, доверяли ему в текущих вопросах политической тактики.

Милюков, похоже, не ревновал к успеху и славе своих талантливых товарищей по партии — по крайней мере, все вокруг были в этом уверены. Уже будучи депутатом и признанным лидером фракции, он часто с видимой легкостью уступал право выигранных выступлений по принципиальным вопросам другим кадетским депутатам, например В. А. Маклакову или Ф. И. Родичеву, полностью полагаясь на их компетентность и ораторский дар. Очевидно, роль Милюкова в партии определялась еще и тем, что ему удалось создать доверительную «рабочую связку» с такими выдающимися кадетами, как Ф. Ф. Кокошкин и А. И. Шингарев. Поэтому, когда периодически перерешался вопрос, кому быть лидером партии, Милюков вновь и вновь получал преимущество — ведь он возглавлял сработавшуюся и авторитетную команду.

Разумеется, не все звезды либерализма довольствовались своим положением на втором плане. Среди тех, кто интеллектуально был близок к кадетизму, но отказался войти в партию, был, например, М. М. Ковалевский. Его, знавшего Милюкова еще юным студентом, можно, наверное, понять. А. В. Тыркова вспоминала, как однажды на ее вопрос, почему, в целом разделяя кадетские взгляды, Ковалевский не вступает в партию, тот, «заливаясь своеобразным хохотом, от которого не только он сам, но и воздух кругом колыхался», ответил: «Не могу же я под Милюковым сидеть. Душа не принимает...»

Да и внутри партии были влиятельные кадеты, кого Милюков откровенно раздражал и кто был способен при других обстоятельствах претендовать на общепартийное лидерство. Лидер московских кадетов М. В. Челноков (будущий московский городской голова) иронично и неприязненно называл Милюкова «Милюк-пашой» и даже в пору своего думского депутатства стремился дистанцироваться от кадетов-петербуржцев, среди которых влияние Милюкова было особенно сильно.

Возможно также, что такие фигуры, как П. Б. Струве или В. А. Маклаков, были интеллектуально более яркими, чем Милюков, но менее организованными, менее предсказуемыми. Они имели многие интересы, помимо партийных, и потому добровольно отошли на второй план. Некоторое время претендовал на лидерство и блестящий юрист М. М. Винавер, но и он, присяжный поверенный из провинциальных евреев, скоро вынужден был признать первенство великоросса Милюкова, ограничившись достаточным влиянием на лидера.

Милюковский стиль выработки внутрипартийного компромисса А. В. Тыркова описывала следующим образом: «Милюков умел внимательно слушать, умел от каждого собеседника подбирать сведения, черточки, суждения, из которых слагается общественное настроение или мнение... Это был технический прием, помогавший ему нащупывать то, что он называл своей тактической линией равнодействия... На следующее заседание Милюков уже являлся с синтезом разных мнений. Но, раз придя к какому-нибудь заключению, он крепко за него держался, и тогда сдвинуть его было трудно...» К этому надо добавить, что Милюков умел не только обобщать и адаптировать частные мнения (похоже, это во многом было сознательной демонстрацией демократизма), но и активнейшим образом формировал эту «тактическую линию равнодействия». Здесь мощным инструментом служили многолетние и практически ежедневные политические передовицы в партийной газете «Речь», закреплявшие лидерский статус Милюкова и во внутрипартийном, и в более широком общественном мнении.

Для российских интеллектуалов начала XX века, желающих активно участвовать в политике, было очень непросто удержаться в центре между примиренчеством и ре-

волюционностью. В этом смысле политическое поведение Милюкова было в целом достаточно последовательно и принципиально. Историческое знание европейского опыта говорило ему, что «третий путь» между реакцией и революцией не только необходим (что постулировала либеральная теория), но и возможен. А следовательно, этот срединный путь должен быть практически найден и в России, и последовательное выдерживание его (другими словами, всемерное поддержание собственно *либеральной идентичности*) есть главный приоритет партийной политики.

Позднее внутрилиберальные оппоненты Милюкова (тот же В. А. Маклаков, например) говорили о трагическом недоучете кадетским лидером возможностей сотрудничества с тогдашней властью. Да, Милюков не верил в возможность чисто либерального воздействия на власть. В первую очередь из-за тотальной неразумности последней — от внутреннего устройства этой архаичной власти до ее ультраконсервативного менталитета. И если по отношению к становящемуся гражданскому обществу Милюков полагал приоритетной рациональную, разъясняющую, *просветительскую* стратегию, то по отношению к косной и иррациональной власти он считал нелишним жесткий эмоциональный прессинг, использование страха власти перед революционной бездной. Поэтому по аналогии с периодом, предшествовавшим эпохе Великих реформ Александра II, Милюков считал, что *левая революционная угроза* может стать серьезным инструментом эволюции режима. Отсюда его знаменитая формула: «слева у нас врагов нет», за которую его бесчисленное число раз били оппоненты «справа». Вспомним, однако, бесспорный исторический факт: со временем даже лидеры правых октябристов А. И. Гучков и М. В. Родзянко, стремившиеся реформировать режим по преимуществу «изнутри», исключая все радикальные методы внешнего воздействия на власть, пришли к тому же выводу о полной невменяемости наличной верховной власти и абсолютной невозможности рациональной апелляции к ней.

И все же в маклаковской критике было, несомненно, и рациональное зерно. В своих эмигрантских работах 20-х годов Маклаков задним числом не без успеха попытался переиграть Милюкова на его же поле рассудочной тактики, фактически обвинив оппонента в «программном фетишизме». Маклаков укорил Милюкова в том, в чем тот когда-то сам обвинял авторов «Вех»: в подмене рациональной политики эмоциями и инстинктами. Здесь критик, по-видимому, прав: многие действия левых либералов во главе с Милюковым действительно были избыточно импульсивны и эмоциональны (например, подписание радикального, но, как выяснилось, тактически абсолютно проигрышного Выборгского воззвания после роспуска I Думы).

Менее убедителен Маклаков, пытавшийся уязвить Милюкова в избыточной амбициозности и неуступчивости в деле достижения компромиссных политических конфигураций с правящим режимом в годы первой русской революции. По мнению Маклакова, максимализм лидера кадетов, настаивавшего на «однородном кадетском министерстве», фактически сорвал возможности компромисса, способного повести Россию по пути политической эволюции.

В самом деле, существует немало свидетельств того, что в 1906–1907 годах в самом близком окружении Николая II обсуждался вопрос о привлечении Милюкова на министерские посты в правительстве, вплоть до председательского. Ясно, однако, и то, что это были комбинации отдельных членов николаевского окружения (Трепова, Столыпина, Извольского), стремящихся отсечь либералов от революционного лагеря и соблюсти при этом собственные интересы.

В своих мемуарах Милюков проявил достаточно ревнивое отношение ко всему комплексу вопросов о своем возможном призвании в кабинет министров. Эта тема совершенно очевидно, вплоть до последних дней, бередила его сознание, заставляя вновь и вновь перепроверять свою давнишнюю позицию. И, надо признать, аргумен-

тация Милюкова выглядит и логичной, и убедительной. Разумеется, у него были и соблазны (понятные для любого политика), и ревность по отношению к возможным конкурентам на посту «либерального премьера» (Д. Н. Шипову и С. А. Муромцеву), но очевидно, что не эти соображения были для него определяющими. Главным было убеждение в приоритетности четкой правительственной программы над конкретными фигурами. «Нельзя выбирать лиц; надо выбирать направление» — эту формулу Милюков проводил неукоснительно. В срыве переговоров о вхождении в кабинет министров сыграла свою роль и его безусловная лояльность партии: известно, что патриарх кадетов И. И. Петрункевич был шокирован даже самой возможностью включения членов партии в треповско-стольпинские комбинации. Все перечисленное в основном противоречит критике оппонентов, обвинявших Милюкова в неудовлетворенной амбициозности и действиях по принципу «если не я, то никто...». Стоит также напомнить, что даже куда более умеренные представители либерального лагеря (Д. Н. Шипов, П. А. Гейден, Н. Н. Львов, М. А. Стахович) в конечном счете не посчитали для себя возможным войти тогда в правительство: отсутствие гарантий серьезного политического влияния создавало запредельные риски для репутации.

Однако наилучшим индикатором политической умеренности и рассудительности Милюкова является его поведение в дни Февральской антимонархической революции. 2 марта 1917 года Николай II отрекся от престола в пользу брата Михаила, а не сына Алексея, как рассчитывали принудившие его к отставке представители Думы. Это меняло дело принципиальным образом; шансы «республиканцев» в оппозиционном лагере серьезно возросли. Парадоксально, но среди лидеров оппозиции (в самом широком диапазоне — от левых Керенского и Некрасова до правых типа Родзянко) Милюков оказался практически единственным, кто встал на защиту конституционной монархии. По его мнению, сохранение монархического строя (по крайней мере, на переходный период) необходимо, иначе Временное правительство рискует стать «утлой ладьей», которая может потонуть в океане народных волнений и не довести страну до Учредительного собрания. Сильная власть, необходимая для укрепления нового порядка, утверждал Милюков, нуждается в опоре на привычный для масс символ власти. В противном случае крайне вероятна утрата всякого «государственного чувства» и полная анархия.

Как известно, эта аргументация не была в полной мере услышана. По мнению Милюкова, «так совершилась первая капитуляция русской демократии»: не будущее Учредительное собрание, а верхушка последней Думы решила судьбу государства. Теперь новая власть опиралась не на законодательство, а на *революцию*, и то, что одно время могло казаться силой, со временем все более обнаруживало свою слабость и неустойчивость.

Как известно, в первый революционный кабинет князя Г. Е. Львова Милюков вошел в качестве центральной фигуры — министра иностранных дел (похоже, что именно Милюков специально выдвинул на первую роль Львова, дабы она не досталась Родзянко). Драматическая судьба этого правительства, как и последующих временных кабинетов министров, хорошо известна. Известно и то, что именно Милюков явился в те драматические месяцы 1917 года объектом наиболее острых нападок как «слева», так и «справа».

Более всего Милюкова обвиняли в неуместной апологии союзнических обязательств, затягивании непопулярной войны, что, в свою очередь, явилось якобы прямым следствием «недостатка национального чутья» и «душевной тугоухости» (в последней инвективе иронично оттенялись хороший музыкальный слух Милюкова и его любовь к игре на скрипке). Думается, что критика эта, хотя и не лишена оснований, в основе своей тенденциозна. У Милюкова-министра была своя и достаточно последовательная логика.

Как глава внешнеполитического ведомства, Милюков лучше других понимал невозможность бесконфликтного одностороннего выхода России из войны; разрыв с союзниками мог лишь еще более осложнить положение. Возвращенные с фронта миллионы солдат могли стать источником окончательной дестабилизации. С другой стороны, только отобилизованные и еще сохранявшие дисциплину фронтовые части были способны противостоять разлагающему влиянию политизированных столиц.

Иначе говоря, пребывание в состоянии войны (при всех очевидных издержках и рисках) представлялось Милюкову «меньшим злом» и более надежной тактикой для сдерживания главной опасности — народной стихии. В письме коллеге по партии, управляющему делами Временного правительства В. Д. Набокову (в 1922 году тот ценной своей жизни спасет жизнь Милюкову в эмигрантском Берлине), Милюков писал: «Может быть, еще благодаря войне все у нас еще как-то держится, а без войны скорее бы все рассыпалось...» Своим соратникам министр разъяснял: «Революция должна быть *стиснута*, пока ее нельзя прекратить, стиснута именно военной обстановкой».

Милюков очень долго полагал возможным рационально переиграть революцию, не желая идти на компромиссы со стихийностью и «коллективным бессознательным». Ему претили попытки эсеро-меньшевистских лидеров (а также таких своих коллег по партии, как, например, Некрасов) «оседлать» волну иррационализма, слившись с ней, «возглавить взбесившийся табун», чтобы отвести его в сторону от пропасти. Налицо очевидный и драматический парадокс: рассудочная холодность Милюкова, которая когда-то помогла ему стать бесспорным лидером периода либерально-демократического подъема, помешала ему стать эффективным политиком в эпоху массового иррационализма.

Особого разговора заслуживает вопрос о взаимоотношениях Милюкова и европейских союзников России, в первую очередь Англии. Как уже отмечалось, для Милюкова понятия «европеизм», «патриотизм» и даже «прагматизм» были во многом синонимами. В молодости он и сформировался как европеист (англоман по преимуществу) главным образом потому, что считал западную политическую культуру и классический парламентаризм благом для России. Прагматизм оставался главным приоритетом для него и позднее, в годы мировой войны. Он, кстати, очень быстро охладел к союзникам, когда в апреле 1917 года те фактически «сдали» его, никак не препятствуя выдавливанию из правительства и слишком легко согласившись на его замену другим «западником» — Терещенко. Очевидно, что Англия в период апогея политической влиятельности Милюкова держалась к нему настороже: он был для нее чересчур самостоятелен и амбициозен. В свою очередь, Милюков, признанный политический идеолог славянства (получивший за свои панславистские убеждения прозвище «Дарданелльский»), не мог не понимать, что Англии совсем не по вкусу доминирование России на Балканах и ее контроль над черноморскими проливами. Милюков еще раз готов был поступиться своим англоманством, когда (правда, на очень короткий момент — летом 1918 года) увидел шанс антибольшевистской борьбы в пронемецкой ориентации. И он быстро покаялся в своем «мимолетном затмении» (и перед кадетской партией, и перед союзниками), когда увидел полную иллюзорность ставки на немцев и неизбежность для себя и партии возвращения в лоно «союзничества». И, кстати, был достаточно легко прощен в Англии (официально — «в знак признания былых заслуг»): прагматическую сторону милюковского «западничества» там понимали вполне отчетливо, как понимали и то, что как самостоятельный игрок экс-министр России теперь не внушает больших опасений.

Биография П. Н. Милюкова после большевистского переворота, его участие в Белом движении, а затем в многочисленных эмигрантских политических комбинациях достаточно хорошо изучены. Недавняя публикация «Дневников Милюкова», храня-

щихся в Бахметьевском архивном фонде в США, является в этом смысле важной вехой. Наиболее проблемной и интересной темой этого периода жизни Милюкова представляется постепенная выработка им в эмиграции так называемого «нового курса».

Переосмысление Милюковым роли либералов в новейшей истории России началось с критического анализа взаимоотношений кадетской партии и «белых правительств». Как известно, еще до Октября, несмотря на попытки избежать прямого отождествления с идеей «правой военной диктатуры», кадеты так или иначе оказались связаны с Корниловским мятежом. И впоследствии кадетизм был неотъемлемым элементом белых режимов: сам Милюков был советником генерала Алексеева, писал Декларацию Добровольческой армии; Струве был идеологом Деникина, Карташев — Юденича, Пепеляев — Колчака...

Милюков-эмигрант одним из первых либеральных лидеров понял, что главная угроза для сохранения либеральной, конституционно-демократической идентичности теперь исходит от перспективы растворения кадетов в правом, «реставрационном» лагере. Перед глазами Милюкова были к тому же наглядные примеры несомненного тактического успеха в эмиграции умеренных социалистов, которые, выдвинув в свое время лозунг «ни Ленина, ни Деникина», в большей мере сохранили свою антибольшевистскую и в то же время демократическую идентичность. Левые издания — «Дни» Керенского, «Современные записки» (Авксентьева–Бунакова–Вишняка) — получили в эмигрантской среде немалый политико-интеллектуальный авторитет. А для кадетского лидера Милюкова не было, как отмечалось, угрозы больше, чем утрата четкой идентичности возглавляемой им партии.

В этом смысле «новая тактика» Милюкова, включавшая последовательное размежевание с «белым реставрационизмом», несомненно, помогла воссозданию кадетской партийной идентичности. Закономерно, что «новый курс», заново отстроивший конституционный либерализм отдельно от правого монархизма, очень быстро приобрел массу последователей из числа разбросанных кадетских групп. «Новая тактика» Милюкова не сыграла большой политической роли (как, впрочем, и любая другая антибольшевистская эмигрантская тактика в те годы), но помогла регенерации кадетского, либерально-демократического *modus vivendi*.

Как это ни парадоксально, «новая тактика» Милюкова в значительной мере явилась воспроизведением в новых условиях традиционной, *старой* кадетской тактики. Милюков, как мы знаем, был особенно силен в разыгрывании «стандартных положений». Его «новая тактика» и была попыткой подстраивания под стандартное положение: в борьбе с режимом (на этот раз не царским, а большевистским) либералы используют угрозу «народной революции» в целях смягчения режима, а потому идут на союз с эсерами, некоторое время рассчитывавшими на успех своей массовой пропаганды в России. Классическая, вполне «старая» милюковская формула «*сочетание либеральной тактики с левой угрозой*» снова стала девизом либерально-демократической оппозиции.

В 1929 году триумфально прошло чествование семидесятилетнего юбилея П. Н. Милюкова. Праздничные мероприятия в Париже, Нью-Йорке, Берлине, Праге превратились в торжества всей либерально-демократической части эмиграции. Милюковская газета «Последние новости» (издававшаяся в Париже с 1924 по 1940 год) на долгое время стала бесспорным авторитетом, рупором сформировавшегося политического направления.

Однако с таким же основанием можно говорить о политическом и интеллектуальном *одиночестве* Милюкова в последние годы его жизни. Он надолго пережил своих молодых, самых верных сподвижников — Ф. Ф. Кокошкина и А. И. Шингарева, зверски убитых большевиками в январе 1918 года. И. И. Петрункевич скончался

в Праге в июне 1926 года, М. М. Винавер — в Мантон-сен-Бернаре несколькими месяцами позднее. Политические разногласия разделили Милюкова с братьями Долгоруковыми и Ф. И. Родичевым. Отошедший от политики Д. И. Шаховской остался в России и был расстрелян в 1939 году.

В 1930-е годы главной задачей либералов Милюков считал терпеливое выжидание и глубокий анализ идущих в России процессов. Это, разумеется, не могло устроить его молодых и энергичных соратников. Близко знавший Милюкова в те годы кадет Н. П. Вакар в своем «Дневнике» написал в 1939 году жесткие слова о том, что Милюков «построил большое кладбище, на котором единственный живой человек он сам, сторож... Подниматься из могил не позволяет... Так и живут мертвецы. Есть среди них несколько заживо погребенных. Они бы и сбежали, да бежать некуда. Притворяются мертвыми...».

Престарелый гроссмейстер тактического маневрирования опять и опять переигрывал всех в тактике, но смысл этого маневрирования по ходу дела все более терялся: ведь никаких серьезных ставок в этой игре уже не было. В одной из последних работ «Эмиграция на перепутье» Милюков был вынужден признать, что тактика постепенно утрачивает свое значение: «Нам сегодня нужна скорее стратегия...»

Между тем и в конце жизни П. Н. Милюков — европеист по культуре и позитивист по мировоззрению — принципиально остается при своем кредо непримиримого борца с политическим иррационализмом. Для него равно неприемлемы и «русское евразийство» (из этого кентавра, по его мнению, наверняка выйдет не Евразия, а *Азиона*), и итальянский фашизм (знаток итальянской культуры, он был оскорблен претензиями чернорубашечников на античное наследие), и германский нацизм (презревший традицию классической немецкой рассудочности). Противостоять иррационализму и опасному мифотворчеству могут только высокая многообразная культура и политический плюрализм: здесь Милюков — последовательный сторонник западных демократий.

После оккупации немцами Парижа издание «Последних новостей» было прервано. Милюков уехал в «свободную зону» на юг Франции: жил в Виши, потом в Монпелье, весной 1941 года обосновался в Экс-ле-Бене. Один из очевидцев последних месяцев его жизни вспоминал, что самыми важными часами для Милюкова были те, «когда он, прильнув ухом к настольному радио, ловил шепот швейцарских и лондонских передач. Душевный мир был нарушен, но воля оставалась крепкой. Высадка союзников в Африке, отступление немцев с Волги были, вероятно, его последней радостью. Вера давала силы...».

П. Н. Милюков скончался в Экс-ле-Бене 31 марта 1943 года и был похоронен на местном кладбище. Позднее его прах был перезахоронен в семейном склепе на кладбище Батиньоль в Париже.

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ГУЧКОВ:
*«Мы вынуждены отстаивать
авторитет власти против самих носителей
этой власти...»*

ДМИТРИЙ ОЛЕЙНИКОВ

...Был Федька Гучков мальчиком на побегушках, крепостным калужской помещицы, учеником в суконной лавке. А стал — Федором Алексеевичем, купцом 2-й гильдии, свой дом в Сокольниках, фабрика на пятьдесят станков. И себя, и родственников из крепостных выкупил. Первым начал выпускать шали «на манер французских и турецких». Первым в 1812 году предложил москвичам жечь свое имущество, чтобы не досталось Наполеону. Был Федор старообрядцем, тянет от его призыва дымом старообрядческих «гарей». Собственную фабрику сжег, а через год отстроил новую, еще больше прежней: 900 рабочих, паровая машина, годовое производство — на полмиллиона рублей серебром!

Сын Федора, Ефим, знал иностранные языки и одевался уже не на крестьянский — на европейский манер. В Европу ездил — за опытом. На Первой всемирной Лондонской выставке 1851 года был избран экспертом от русских фабрикантов. Стал в 1857-м московским городским головой. И с жизнью старообрядческой порвал — перешел в официальное православие.

Сын Ефима, Иван, увез от мужа француженку Корали Вакье; стала она Корали (Каролиной) Петровной Гучковой, родила Ивану пятерых сыновей. В московском купечестве заговорили: «У Ивана Гучкова сыновей темперамент горячий — не для нашего климата».

Особенно «горячим» был третий сын, родившийся в 1862 году Александр. Дальше всех унесло его от «купеческого климата». Хоть и он входил в правления банков, акционерных и страховых обществ, московские купцы не считали его совсем своим, называли «политиком». Видимо, сочетание крестьянско-купеческой натуры (делать — и доделывать!) с духом французских мушкетеров породило жизненный принцип, постоянно проявлявшийся в судьбе А. И. Гучкова: «Быть не свидетелем, а участником самых громких событий!»

В шестнадцать лет гимназист Саша Гучков собирался бежать в Англию, чтобы убить британского премьер-министра Дизраэли — за его антирусскую политику, за «позорный», как тогда казалось, исход Берлинского конгресса 1878 года. Купил револьвер, учился стрелять, копил деньги, но доверился брату, тот сообщил родителям — и все сорвалось. Мечтал пережить казнь за Россию, а получил золотую медаль за отличное окончание гимназии. В 1886 году окончил Московский университет — тоже с отличием. В университете, на семинаре известнейшего историка-либерала П. Г. Виноградова познакомился с будущим противником-союзником Павлом Милюковым.

Милюков избрал путь ученого-историка, университетского профессора, а Гучкову в университете оказалось тесно. Он пошел на военную службу, вольноопределяющимся, в лейб-гренадеры. В 1887 году вышел в запас — прапорщиком. Затем уехал на стажировку в Западную Европу, но, заслышав о страшном голоде и холере в России,

поспешил на родину, помогать крестьянам. В Лукояновском уезде Нижегородской губернии вчерашний слушатель Берлинского и Венского университетов заведовал продовольственным делом и благотворительностью. Заведовал на совесть: в Москву вернулся с орденом. Здесь его заметили, избрали в городскую управу, позже в городскую думу.

Однако недолго сиделось на месте Александру: в Москве надо заниматься сметами, мытищинским водопроводом, прокладкой канализации. А хочется ярких впечатлений, диковинных стран, опасных приключений. Гучков сам признавался друзьям, что он человек «шалый»; потомки добавят — «флибустьер».

Опасно ехать в армянские области Османской империи: турки недавно устроили там резню немусульманского населения — Гучков поехал. Не из любопытства — за делом: собирать материалы для книги о положении армян в Турции. Опасно на строительстве Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД) — поступил офицером в казачью сотню, охранявшую работу инженеров и строителей. Отсюда начинается слава Гучкова-дуэлянта: он вызвал на поединок инженера, а на отказ ответил пощечиной. Дело дошло до всесильного министра С. Ю. Витте, но, пока из Петербурга шел приказ об увольнении Гучкова, тот сам оставил службу. Вместе с братом Федором пустился в дальний путь: не понять, то ли возвращение в Россию, то ли новое путешествие. 12 тысяч верст верхом: через Китай, пустыни Монголии — в Тибет, к далай-ламе, оттуда через Восточный Туркестан и по казахским степям — до Оренбурга. Не успели братья вернуться, как бросились в новые приключения: на юг Африки, участвовать в Англо-бурской войне.

В России причитали шарманки: «Трансвааль, Трансвааль, страна моя, ты вся горюшь в огне...» Обыватели смахивали сентиментальные слезы. Александр Гучков сражался с англичанами. Его выдержка удивляла даже храбрых буров. Однажды бросился под обстрелом вызволять из ямы запряженную мулами повозку (в повозке были снаряды!) — и вызволил, хотя убило трех мулов из четырех. Впрочем, пули не всегда боются смелых: позже Гучкова, тяжело раненного в бедро, вынесет из боя русский капитан Шульженко.

«На всякий случай» Гучков носил с собой короткое письмо, одновременно трогательное и жестокое и, к счастью, так никогда и не отправленное: «Дорогие папа и мама! Пишу эти строки на тот случай, если я не вернусь к вам. Бога ради, простите мне то тяжелое горе, которое я приношу своей смертью в вашу жизнь. Вы всегда были добры и снисходительны к моим слабостям и проступкам. Простите же меня в последний раз и верьте, что до последней минуты я буду вас глубоко любить... Напоминайте иногда деткам обо мне и скажите им, как я любил их... Маленькая просьба к папе: я должен Коле 2000 р.; отдай их, а Колю прошу принять».

Александр Гучков вернулся домой. Ранение на Англо-бурской войне стало причиной хромоты, но не отбило у него охоту к поискам острых ощущений. Двух лет (1901–1903) хватило на лечение и мирный труд в составе городской думы (опять водопровод, газовое освещение, училищная комиссия, страхование). В 1903-м сорокалетний Александр Гучков отправился в Македонию, участвовать в восстании против турецкого владычества. Уехал, уже уговорившись о свадьбе. Женится (на дворянке Марии Зилоти, двоюродной сестре Рахманинова), только когда вернулся с прозвищем «второго Александра Македонского».

Но и женитьба не изменила непоседливого характера Александра Гучкова. С весны 1904 года он на Русско-японской войне, занимает должность главноуправляющего Красного Креста. Многие из приехавших на войну за романтикой, под воздействием патриотического порыва, «наигравшись», быстро уезжали. Гучков работал. Работал, хотя и ругал бездарность командования, неустроенный армейский быт и воровство снабженцев. «Изнанка войны» постоянно находилась перед его глазами, но порожда-

ла не столько недовольное брюзжание, сколько желание хоть что-нибудь делать для улучшения существующего порядка вещей.

Пережив горечь Мукденского поражения, Гучков остался с ранеными в городе, сданном японцам. «Голубка моя, безутешная Маша! — писал Александр жене. — Мы покидаем Мукден. Несколько тысяч раненых остаются по госпиталям. Много подойдет еще ночью с позиций. Я решил остаться, затем дожидаться прихода японцев, чтобы передать им наших раненых. Боже, какая картина ужаса кругом! Не бойся за меня».

Потом был плен. Затем, весной 1905 года, возвращение в Россию, где бурлила политическая жизнь. Сорокадвухлетний Александр Гучков уже стал человеком-легендой: его хорошо знали по поездке к бурам и по японской войне; за его приключениями следили по газетам, его первое прибытие на заседание городской думы гласные встретили стоя, разразившись продолжительными аплодисментами. Вскоре сам Николай II пригласил Гучкова — отличившегося на войне общественного деятеля, «бывалого человека» — на двухчасовую беседу в Петергоф.

Уже на этой встрече Александр Иванович не мог не поделиться с императором своими представлениями о ходе дел. Войну с японцами надо продолжать, убеждал он: японцы истощены, им тяжело. Надо только успокоить общество, ободрить армию, а для этого собрать Земский собор и пообещать провести реформы — но только после победы. Николай кивал, говорил: «Вы правы»... Позже Гучков узнал, что это проявление монаршей вежливости, а вовсе не знак согласия. Чуть ли не в тот же день Николай принимал московского городского голову К. В. Рукавишникова, и тот убеждал царя в противоположном: войну прекратить, Земского собора не собирать... Рукавишников сам рассказывал Гучкову, как царь кивал: «Вы совершенно правы». А Николаю Гучкову император при встрече заметил: «Ваш брат был у нас, и *хотя* (!) он нам говорил про Конституцию, *но* (!) он нам очень понравился».

Наступала эпоха, когда в России более всего приключений и опасностей (при этом соединенных с общественной пользой) сулила именно политика. В нее и бросился директор Московского учетного банка, обладатель почти полумиллионного состояния, потомственный почетный гражданин Александр Гучков. Его яркая политическая карьера началась с участия в съезде земских и городских деятелей, проходившем в Москве в мае 1905 года. Собравшиеся представители местного самоуправления (Гучкова делегировала Московская дума) пытались создать единую коалицию деятелей входящего в силу российского либерализма.

Страшное, позорное слово *Цусима* было тогда у всех на устах. Навести порядок в Российской империи и привлечь к этому народных представителей путем всеобщих выборов — вот о чем говорили на съезде. Гучков говорил: «Наше отечество переживает такое недомогание, что врачевание его нельзя откладывать!» Вместе с тем он считал, что монархию нужно сохранить, а преобразования проводить неспешно и обстоятельно, не увлекаясь безудержной ломкой старого. Он определял свою позицию как либерально-консервативную: консервативную вследствие опоры на «исторические основы», либеральную — потому что, «исходя из этих основ», стремился к «широким реформам, которые должны обновить русскую жизнь».

В вопросе об «опоре на основы», о сотрудничестве с правительством земские и городские деятели не нашли общего языка. Российские либералы окончательно раскололись на «либеральных большевиков» и «либеральных меньшевиков». «Разномыслие заключалось не в определенном пункте программы и тактики, — объяснял суть этого раскола В. А. Маклаков, — оно было в самой идеологии... Меньшинство осталось при земских традициях и не мыслило нового строя в России без соглашения с исторической властью... Но большинство от самодержавия уже ничего не ждало. С ним оно было в открытой войне и против него было радо всяким союзникам... Революция их не

пугала... Меньшинство, ища соглашения с властью, принуждено было ей уступать; большинство, поддерживая общий фронт с революцией, должно было уступать революции. Между двумя этими направлениями обнаружилась пропасть». Александр Гучков находился среди представителей меньшинства: его привлекал тогда, как он говорил, «путь центральный, путь равновесия».

Эта умеренность стала одной из причин, по которой Александр Иванович вошел в число либеральных общественных деятелей, впервые в истории России приглашенных в состав правительства. Вскоре после выхода Манифеста 17 октября 1905 года ему, выходцу из торгово-промышленной среды, С. Ю. Витте предложил портфель министра торговли и промышленности. Гучков, как и некоторые другие деятели, ответил было принципиальным согласием, однако вскоре взял свои слова назад. Дело в том, что министром внутренних дел планировалось назначить П. Н. Дурново, фигуру одиозную и ненавидимую в общественных кругах. Так стало понятно, где проходит «правая граница» гучковского либерализма.

Александр Иванович стал одним из организаторов «Союза 17 октября», занявшего правый фланг русского либерализма. Октябристы поддержали тот новый государственный строй, который после 1905 года международные справочники с долей иронии определяли как «конституционную империю под самодержавным царем». Ключевое положение, определяющее место партии в политическом спектре России, выражено в программе «Союза»: «Новый порядок, призывая всех русских людей без различия сословий, национальностей и вероисповеданий к свободной политической жизни, открывает перед ними широкую возможность законным путем влиять на судьбу своего отечества и предоставляет им на почве права отстаивать свои интересы, мирной и открытой борьбой добиваться торжества своих идей, своих убеждений. Новый порядок, вместе с тем, налагает на всех, кто искренно желает мирного обновления страны и торжества в ней порядка и законности, кто отвергает одинаково и застои, и революционные потрясения, священную обязанность в настоящий момент, переживаемый нашим отечеством, момент торжественный, но полный великой опасности, дружно сплотиться вокруг тех начал, которые провозглашены в манифесте 17-го октября, настоять на возможно скором, полном и широком осуществлении этих начал правительственной властью, с прочными гарантиями их незыблемости, и оказать содействие правительству, идущему по пути спасительных реформ, направленных к полному и всестороннему обновлению государственного и общественного строя России. Какие бы разногласия ни разъединяли людей в области политических, социальных и экономических вопросов, великая опасность, созданная вековым застоем в развитии наших политических форм и грозящая уже не только процветанию, но и самому существованию нашего отечества, призывает всех к единению, к деятельной работе для создания сильной и авторитетной власти, которая найдет опору в доверии и содействии народа и которая одна только в состоянии путем мирных реформ вывести страну из настоящего общественного хаоса и обеспечить ей внутренний мир и внешнюю безопасность».

А. И. Гучков определял «октябризм» как «молчаливый, но торжественный договор между исторической властью и русским обществом... о взаимной лояльности». В то время он искренне верил в то, что государственная власть располагает силами и энергией для деятельности по «оздоровлению» России. Олицетворением государственной «искренности и доброй воли» к усовершенствованию прежнего устройства стал для него П. А. Столыпин, его ровесник. «Я глубоко верю в Столыпина, — признавался Александр Иванович. — Таких способных и талантливых людей еще не было у власти». Именно благодаря ему, уверял лидер октябристов, впервые за всю русскую историю власть и общество «сблизились и пошли одной дорогой». Столыпин выразил ответные симпатии: он называл октябристов «сливками русской прогрессивности».

Гучков поддержал Столыпина, когда тот ввел военно-полевые суды, объясняя это тем, что «во время гражданской войны власть должна прибегать к скорым и суровым репрессиям, производящим впечатление. Иначе она ослабит самое себя». Одобрил он и роспуск I Думы, слишком революционной и потому не готовой к сотрудничеству с правительством: «Я не только не ставлю роспуск Первой Думы в упрек правительству, я ставлю правительству это в заслугу... Государственная Дума второго призыва, если она пойдет по пути первой Думы, не оппозиционному пути, а революционному... тоже заслужит роспуска».

Сотрудничество с исполнительной властью привело А. И. Гучкова в более умеренную III Думу, причем во главе лидирующей фракции октябристов. Он вошел в важнейшую комиссию по государственной обороне. У него установились хорошие отношения с министром обороны А. Ф. Редигером (они регулярно встречались за чашкой чая), завязались многочисленные контакты с военными, уважавшими Гучкова как участника нескольких войн и нашедшими в его лице человека, которому можно пожаловаться, у которого можно просить помощи.

В 1910 году Александра Ивановича избрали председателем Думы (на место ушедшего в отставку Н. А. Хомякова), хотя он и успел прославиться к тому времени рядом резких выступлений. С одинаковой смелостью критиковал он как своих «соседей справа» (сторонников неограниченной монархии) за тщеславие и препятствие «врачеванию» страны реформами, так и «соседей слева» — за антипатриотизм и симпатии к террористам. Гучков не мог забыть, что в ноябре 1905 года кадетское большинство отклонило его предложение ввести в резолюцию земско-городского съезда осуждение насилия и убийств как средства политической борьбы. Обвинял он партию кадетов в том, что она «ловко подсела на запятки русской революции... дрянной скрипучей телеги, которая завязла... в кровавой грязи». И даже вызвал на поединок П. Н. Милюкова — тот позволил с трибуны заявить, что «Гучков утверждал неправду». Дуэль удалось замять, но она оказалась не единственной за время парламентской карьеры лидера октябристов. В 1910 году Александр Иванович стрелялся с товарищем по фракции октябристов А. А. Уваровым, обвинив его в «доносительстве», передаче правительству внутрипартийной информации. Дуэлянтов судили; Уварова при этом оправдали, а вот Гучкова приговорили к четырем месяцам тюрьмы (правда, исполнение наказания перенесли на думские каникулы — дабы не срывать работу народных представителей). Летом он сам пришел в Петропавловскую крепость «на отсидку» и провел ее довольно комфортно: с утренним чтением свежих газет, прогулками с видом на Неву, рассылкой друзьям открыток с изображением бастиона Петропавловки и надписью «Моя камера». Через неделю царь помиловал осужденного.

Два года спустя Гучков стрелялся с подполковником Мясоедовым, обвинив его в шпионаже в пользу Австро-Венгрии. Близорукий подполковник промахнулся, Александр Иванович выстрелил в воздух, позже дав комментарий: «Я не собирался застрелить человека, который должен быть повешен как шпион». Позже Мясоедов и был повешен как шпион: его окончательно уличили и осудили во время Первой мировой войны (правда, современные историки не находят четких доказательств его виновности).

Гораздо более серьезные последствия для А. И. Гучкова имели его выступления против царской семьи. В 1908 году он выступил с призывом к великим князьям (а значит, близким родственникам Николая II) самим уйти из сферы управления военными и морскими делами: их неподконтрольность и непрофессионализм губительно сказывались на обороноспособности страны. Военный министр Редигер считал, что Гучков прав, — и поэтому хранил молчание. А вот царь несказанно возмутился! Его симпатии к Гучкову сменились неприязнью, которая в 1912 году переросла в открытую враждебность.

Связано это было с именем Распутина, чье влияние на царскую семью стало привлекать всеобщее внимание. А. И. Гучков не просто выступал со словами о «мрачных признаках средневековья» и предупреждал о накапливающемся в стране негодовании. Он первым открыто, с думской трибуны, заявил, что за спиной Распутина «стоит целая банда, пестрая и неожиданная кампания, взявшая на откуп и его личность, и его чары», наглое «коммерческое предприятие, тонко ведущее свою игру». «Первый раз с думской трибуны, — вспоминал позднее А. И. Деникин, — раздалось предостерегающее слово Гучкова о Распутине: „В стране нашей неблагополучно...“ — Думский зал, до тех пор шумный, затих, и каждое слово, тихо сказанное, отчетливо было слышно в отдаленных углах. Нависало что-то темное, катастрофическое над мерным ходом русской истории...»

Гучков размножил копию письма императрицы к Распутину, где были слова: «Мне кажется, что моя голова склоняется, слушая тебя, и я чувствую прикосновение твоей руки». Этим вмешательством в личную жизнь царской семьи он стал ненавистен и императору, и императрице. В письмах и высказываниях «хозяйки земли русской» стало постоянно встречаться: «скотина», «паук», «умная скотина», мечтательное «ах, если б можно было повесить Гучкова!», а вскоре: «Гучкова мало повесить!» Все эти слова Гучкову охотно передавали... На прощальной аудиенции депутатов закончившей свой срок III Думы Николай сделал вид, что не знает Гучкова, и не подал ему руки.

Неприязнь царской семьи подорвала веру Александра Ивановича в позитивные силы «конституционного самодержавия». Еще более жестокий удар по его вере в «искренность и добрую волю» государственной власти нанесло убийство П. А. Столыпина. «Мы похоронили не только человека, но и великий государственный ум», — искренне говорил Гучков на экстренном заседании ЦК октябристов. И вскоре добавил: «Не те, кто с утра и до вечера говорит о конституции, кто это слово поставил в название своей партии, — создатели конституционного строя в России, а П. А. Столыпин и те, кто его поддерживал». Позднее он скажет о перемене своих воззрений на будущее России после гибели Столыпина: «Для меня становилось все яснее, что Россия будет вытолкнута на... путь насильственного переворота, разрыва с прошлым и, как бы сказать, скитания без руля, без компаса, по безбрежному морю политических и социальных исканий».

Так к 1912 году А. И. Гучков потерял и расположение императорской семьи, и поддержку исполнительной власти. Поэтому не стоит удивляться, что в IV Думу его не выбрали. «Это — суд Москвы!» — ликовали газеты прогрессистов и кадетов (Гучков баллотировался в Москве). Однако было хорошо известно, что главную роль в процессе сложных политических игр по «деланию» выборов в новую Думу сыграли правительство и преданные ему губернские власти. Власть отказалась от создания «октябристского большинства» и сделала ставку на усиление националистов и правых. Ходили даже слухи о намерении правительства провести в Думу 150 «батюшек». Этого не произошло, но фракция октябристов в IV Думе уменьшилась на треть и, потеряв свой связующий центр — Александра Гучкова, искала устойчивости в союзе с «левыми соседями» — прогрессистами и кадетами...

А сам Александр Гучков уехал после своего поражения на очередную войну — балканскую. Когда же он вернулся, за ним всюду велось тайное наблюдение: контакты с военными, «закрываемые совещания» с участием членов Думы вызывали подозрения Департамента полиции. Полицейское описание поднадзорного (кличка Первый) донесло до нас словесный портрет Гучкова в расцвете его политической карьеры: «50 лет, выше среднего роста, телосложения полного, шатен, лицо полное, продолговатое, нос прямой, умеренный, французская бородка слегка с проседью, носит пенсне в белой оправе, одет в зимнее драповое пальто с барашковым воротником, носит черную же барашковую шапку и черные брюки, вероисповедания православного».

Уместно добавить здесь и психологический портрет Александра Ивановича, оставленный близко его знавшим октябристом Н. В. Савичем: «При большом уме, талантливости, ярко выраженных способностях парламентского борца Гучков был очень самолюбив, даже тщеславен, притом он отличался упрямым характером, не терпевшим противодействия его планам. В последнем случае он реагировал резко и решительно, становился сразу в позу врага... Он верил в свою звезду, в свое умение ладить с людьми, подчинять их своему влиянию... Гучков был интересным, осведомленным собеседником, он умел и любил рассказывать, говорить, но не слушать... Он был хороший оратор, но его речи всегда обращались к уму, а не к чувству слушателей, на толпу они мало действовали, это были речи для избранных».

Полицейское наблюдение не предоставило тогда никаких особо компрометирующих материалов. Тем не менее сам тон выступлений Гучкова, его встречи с влиятельными военными, членами Думы — все говорило о том, что он взял курс на противостояние с властью. «Гучков толкает партию влево», — докладывал директор Департамента полиции министру внутренних дел.

В своих публичных речах осени 1913 года, когда еще всю гремело славословие 300-летию дома Романовых, Александр Иванович рисовал трагическую картину положения России и пугал грядущими «потрясениями и гибельными последствиями». На ноябрьской конференции октябристов он так определил парадоксальность положения партии: «Историческая драма, которую мы переживаем, заключается в том, что мы вынуждены отстаивать монархию против монарха, церковь против церковной иерархии, армию против ее вождей, авторитет правительственной власти против самих носителей этой власти!» Еще более откровенно он высказывался в разговорах с друзьями: «Власть в состоянии неизлечимого безумия... Власть идет по роковому пути. Она не сознает, что приведет к революционному выступлению изнутри... и тогда прощай, Великая Россия! Или соседи в расчете на нашу внутреннюю рознь спровоцируют войну, и тогда вспыхнет народная революция, которая все снесет». И далее: «Переживем ли мы опять смутное время?..» «Александр Иванович Буревестник», — отозвалась на выступления Гучкова левая печать. Страна встретила новый, 1914 год...

В первый же день мировой войны Гучков написал жене: «Начинается расплата». И тем не менее — отправился на фронт в качестве особоуполномоченного Красного Креста. Он «обслуживал» 2-ю армию Самсонова, едва избежал немецкого плена, затем был избран товарищем главноуполномоченного Всероссийского союза городов на фронте. Патриотический подъем, необходимость защитить «государственную честь России» отодвинули на время внутриполитические проблемы.

С середины 1915 года А. И. Гучков — глава Центрального военно-промышленного комитета, координирующего распределение государственных военных заказов частным предприятиям под лозунгом «Все для фронта, все для победы!». На этом посту он увидел всю неспособность правительства вести «войну до победного конца», убедился в неспособности высшей власти выполнять важнейшие свои обязанности перед народом. Кто-то заметил тогда: «Ворчащий тыл — что ворчащий вулкан». Выходом казалось назначение министрами компетентных и ответственных людей, заслуживших народное доверие. «Не для революции мы призываем власть пойти на соглашение с требованиями общества, — заявлял в то время Гучков, — а именно для укрепления власти, и в целях защиты родины от революции и анархии нам необходимо сделать последнюю попытку через наших представителей открыть верховной власти глаза на то, что происходит в России, и на возможные ужасные последствия».

Гучкову, в силу его связей в промышленных и военных кругах, снова прочили министерский пост. А пока, в сентябре 1915-го, он был выбран в Государственный совет от торгово-промышленной курии («как противно» — реакция императрицы). И 25 октября

уже выступал на заседании Прогрессивного блока с призывом пойти на прямой конфликт с властью. К тому же периоду относится записка Гучкова генералу В. Ф. Джунковскому, отражающая окончательное разочарование в возможности наладить сотрудничество с существующим правительством: «Вы видите: „они“ — обреченные, их никто спасти не может. Пытался спасти их Петр Аркадьевич. Вы знаете, кто и как с ним расправился. Пытался и я спасти. Но затем махнул рукой... Но кто нуждается в спасении — так это Россия...»

К 1916 году А. И. Гучков окончательно стал лицом, олицетворяющим деятельный противовес бессильному правительству и «придворной камарилье». Лицом, опасным для власти. Кажется правдоподобным, что его тяжелая болезнь в начале 1916-го стала следствием попытки отравления неугодного октябриста людьми из окружения Распутина. Министр внутренних дел Хвостов лично звонил на квартиру Гучкова и спрашивал: «Скончался ли Александр Иванович?» Но у трубки оказался сам больной...

«Наверху» знали, что Гучков плетет нити заговоров — недаром объездил столько стран: изучал опыт восстаний и государственных переворотов! Припоминали, что его вместе с его военными сторонниками еще до войны дразнили «младотурками» — по аналогии с военными, совершившими переворот в Турции. Он готов, говорили при дворе, как только представится возможность, взять батальон солдат и лично повести его на Царское Село.

Грандиозность «заговоров» сильно преувеличена, но тем не менее в 1916 году заговор был. Гучков утверждал, что его цель — «не самим захватить власть, а расчистить другим путь к власти». К концу 1916-го вокруг него сложился кружок высокопоставленных общественных деятелей и промышленников, убежденных в том, что Николая II нужно заменить малолетним наследником при регентстве великого князя Михаила Александровича.

Гучков искал и находил союзников в самых высших военных кругах: вся история российских дворцовых переворотов учила, что вопрос о контроле над армией — один из важнейших. Пост главы Центрального военно-промышленного комитета обеспечивал нужные контакты под благовидными предлогами. Характерно письмо Александра Ивановича генералу М. В. Алексееву, написанное в августе 1916 года: «В тылу идет полный развал, ведь власть гниет на корню. Ведь как ни хорошо теперь на фронте, но гниющий тыл грозит еще раз, как было год тому назад, затянуть и Ваш доблестный фронт, и Вашу талантливую стратегию, да и всю страну, в то невылазное болото, из которого мы когда-то выкарабкались со смертельной опасностью. Ведь нельзя же ожидать исправных путей сообщения в заведывании г. Трепова, — хорошей работы нашей промышленности на попечении кн. Шаховского, — процветания нашего сельского хозяйства и правильной постановки продовольственного дела в руках гр. Бобринского. А если Вы подумаете, что вся власть возглавляется г. Штюрмером, у которого (и в армии и в народе) прочная репутация если не готового предателя, то готового предать, что в руках этого человека... вся наша будущность, то Вы поймете, Михаил Васильевич, какая смертельная тревога за судьбу нашей Родины охватила и общественную мысль, и народные настроения... Наши способы борьбы обоюдоострые и, при повышенном настроении народных масс, особенно рабочих масс, могут послужить первой искрой пожара, размеры которого никто не может ни предвидеть, ни локализовать». Чудо множительной техники того времени — штабная пишущая машинка — позволило разнести тысячи копий этого письма по всей стране.

Достоверно известно, что из крупных военачальников Гучкову удалось вовлечь в заговор командира дивизии генерала Крымова, однако и многие другие высказывались сочувственно. Генерал Брусилов, например, говорил: «Если придется выбирать между царем и Россией — я пойду с Россией». В конце концов был составлен план, по

которому хватило бы и небольшой военной поддержки. Предполагалось захватить царский поезд на пути между Ставкой и Петроградом где-то в Новгородской губернии, где была расквартирована «верная часть», и вынудить отречение в пользу наследника. «Надо идти решительно и круто, идти в сторону смены носителя Верховной власти, — рассуждал Александр Иванович. — На Государе и Государыне и тех, кто неразрывно с ними связан... накопилось так много вины перед Россией. Свойства их характера не давали никакой надежды ввести их в здоровую политическую комбинацию: из всего этого... ясно, что Государь должен... покинуть престол».

И все-таки, как признавался позже сам Гучков, «сделано было много для того, чтобы быть повешенным, но мало для реального осуществления». Осуществление переворота намечали на середину марта. Но «революция, к сожалению, пришла на две недели раньше».

Еще утром 28 февраля 1917 года А. И. Гучков пытался остановить то, что он поначалу воспринимал как «уличный бунт». Он звонил в Генеральный штаб генералу М. И. Зенкевичу: «Генерал! Срочно нужны войска для защиты престола!» Ответ был коротким: «Их нет!» Вечером Гучков уже в Таврическом дворце. Он примкнул к Временному комитету Государственной думы, войдя, по старой «думской специальности», в состав военной комиссии. «Мы теперь политические друзья», — говорил в те дни о своем бывшем думском противнике лидер кадетов П. Н. Милюков.

1 марта Гучков провел заседание Центрального военно-промышленного комитета, на котором был принят призыв к Временному комитету Думы «немедленно организовать власть». Затем он готовил войска столичного гарнизона к отражению возможной карательной экспедиции с фронта, причем солдаты одной из частей обстреляли гучковский автомобиль и убили его спутника. Вечером Александр Иванович предлагал Временному комитету лично, на свой страх и риск, поехать к Николаю на переговоры об отречении. «Переменить царя, и этим сохранить царизм» — вот лозунг, которым он руководствовался. Особенно «сильным ходом» казалась ему передача престола двенадцатилетнему Алексею: «Личность маленького наследника должна была бы обезоружить всех».

2 марта в поезде из Ставки в Петроград (почти как задумано!) Александр Иванович получил от императора — из рук в руки — бумагу об отречении. Казалось, это пик политической карьеры, триумф, спасение монархии и России. Увы... Через день Гучков с ужасом услышал от самого нового «императора» Михаила Александровича, что тот не будет принимать верховную власть до созыва Учредительного собрания. Это означало, что монархия пала, чего Гучков никак не ожидал. Теперь он почувствовал: Россия идет к гибели. И сначала даже отказался от предложенного поста во Временном правительстве, но вскоре понял, что лишает себя возможности сделать максимум для спасения России, оказавшейся в критическом положении. Что это, как он сам говорил, «дезертирство». Так убежденный монархист и отставной прапорщик возглавил военное ведомство.

Поглядел бы тогда прадед, густобородый старообрядец! По всей России портреты правнука с подписью: «Военный и временно морской министр»! Желая показать, что на этот пост его привело не тщеславие, Гучков отказался от положенного министру жалованья и издал приказ: «все управления военного министерства продолжают функционировать без изменений».

С первых же дней своего министерства Александр Иванович агитировал «за войну до победного конца!». Но еще до этого по фронтам разошелся подорвавший дисциплину пресловутый «Приказ № Первый» Петроградского Совета. И никакой «разъясняющий» «Приказ № 2», посланный вдогонку по настоянию Гучкова, уже не мог его отменить. Армия стала на глазах терять боеспособность. Главное управление Гене-

рального штаба «демократически» ввело шестичасовой рабочий день — в военное время! «Братания» стали обыденным явлением. Число дезертиров составило в марте 35 тысяч человек и продолжало расти. Гучков лично видел многочисленные солдатские митинги, стал свидетелем дискредитации и краха важнейшего для армии принципа единоначалия. Местные солдатские комитеты представляли независимую от командного состава власть. Советы и Временное правительство вступили в конфликт, больно отзывавшийся на положении страны. Сам Александр Иванович понимал: «Временное правительство висит в воздухе, наверху пустота, внизу бездна». Он объяснял генералам, требовавших мер против Советов: «Мы не власть, а видимость власти, физическая сила у Совета рабочих и солдатских депутатов». По подсчетам Гучкова и командующего Петроградским военным округом генерала Л. Г. Корнилова, в случае военного столкновения защищать Временное правительство могли выйти только 3,5 тысячи из 100-тысячного гарнизона.

«Ни у кого не звучала с такой силой, как у него, нота глубочайшего разочарования и скептицизма, — вспоминал управляющий делами Временного правительства В. Д. Набоков. — Когда он начинал говорить своим негромким и мягким голосом, смотря куда-то в пространство слегка косыми глазами, меня охватывала жуть, сознание какой-то безнадежности. Все казалось обреченным».

Свалив Романовых, царствовавших более трехсот лет, Гучков пробыл министром только шестьдесят дней. Ругая бессилие и неспособность царского правительства, он не подозревал, что и сам подаст в отставку в апреле 1917-го именно оттого, что не в его силах будет навести порядок во вверенном ему деле. «Мы хотели, — объяснял позднее Гучков смысл проводимой им „умеренной демократизации армии“, — проснувшемуся духу самостоятельности, самодеятельности и свободы, который охватил всех, дать организованные формы и известные каналы, по которым он должен идти. Но есть какая-то линия, за которой начинается разрушение того живого, могучего организма, каким является армия». Изю всех сил отбивался министр от навязываемого ему Советом принятия «Декларации прав солдата», которая по разлагающей силе даже превосходила легендарный «Приказ № Первый». Однако смог только задержать это принятие — пока находился на своем посту.

В ночь на 30 апреля 1917 года Александр Иванович написал главе Временного правительства князю Г. Е. Львову письмо, в котором подчеркивал, что «по совести не может долее разделять ответственность за тот тяжкий грех, который творится в отношении Родины». Отставка была принята, освободившееся место занял А. Ф. Керенский. Узнав об этом, французский посол Морис Палеолог сказал: «Отставка Гучкова знаменует ни больше ни меньше как банкротство Временного правительства и русского либерализма. В скором времени Керенский будет неограниченным властителем России... в ожидании Ленина».

После отставки Александр Иванович направил все силы на организацию борьбы с набирающими силу Советами. Он хочет теперь опереться на фронт, организует сбор средств для поддержки генерала Корнилова, с чьим именем связаны надежды на ликвидацию Петроградского Совета. «Политические игры» становятся столь опасными, что летом 1917 года Гучков на всякий случай составляет завещание. Указанная в нем собственность тянет на несколько сотен тысяч рублей — по тем временам очень большие деньги. Октябрьский переворот застал его на Северном Кавказе, в Кисловодске, где он поправлял подорванное здоровье.

Там, на Юге России, бывший председатель Думы, бывший член Государственного совета, бывший военный министр присоединился к Белому движению. Одним из первых промышленников он передал значительные деньги М. В. Алексею — на формирование Добровольческой армии. Весной 1918 года, при власти большевиков, Гуч-

кову пришлось жить в подполье, а затем выбираться в Ставрополь, переодевшись в одежду протестантского пастора. Летом и осенью 1918-го он снова работает в Военно-промышленном комитете — уже по снабжению Добровольческой армии.

В 1919–1920 годах, по поручению А. И. Деникина, А. И. Гучков отправился в Западную Европу, чтобы силой своего авторитета убедить бывших союзников России помочь Белому движению. В Лондоне он познакомился с молодым военным министром У. Черчиллем и попросил его поспособствовать единому фронту армии генерала Юденича с независимыми государствами Прибалтики для занятия Петрограда. Но вся английская помощь досталась эстонским властям. Рассерженный Александр Иванович направил Черчиллю письмо с протестом: «Из Эстонии производятся массовые выселения русских подданных без объяснения причин и даже без предупреждения... Русские люди в этих провинциях бесправные, беззащитные и беспомощные. Народы и правительства молодых балтийских государств совершенно опьянены вином национальной независимости и политической свободы... Страх перед вновь восстановленной сильной Россией определяет собой политику балтийских государств в отношении России и Русской Северо-Западной армии. Разумеется, эта политика неумная и близорукая». Он тогда предсказывал: «Хроническое продолжение того хаоса, который господствует на ее (России. — Ю. О.) территории, неизбежно поведет за собой гибель и хаос для ее слабых соседей».

В 1920 году Гучков в Севастополе, у генерала Врангеля, с которым у него сложились дружеские отношения. Уход врангелевских войск из Крыма означал окончательную необходимость эмиграции. До конца дней Александр Иванович прожил в Париже, благо сохраненный капитал (около 3 млн франков) позволял не бедствовать самому и помогать другим.

...Все остальное — лишь затянувшийся эпилог. Работа в Красном Кресте. Участие в съездах и переговорах, связанных с попытками сплочения антибольшевистского движения. Травля со стороны монархических кругов за участие в отречении Романовых (однажды бывшего лихого дуэлянта даже избили). Неприятие со стороны кадетов: «слишком правый». Александр Иванович признавался тогда: «Знаю, что мой либеральный торизм оказался не ко времени в наших отечественных условиях, при нашей склонности к максимализму, которым грешило наше общество. Для одних я был слишком тори, для других — слишком либерален. История нас рассудит, или, вернее, история нас уже рассудила».

Тем не менее в Советской России 1920-х Феликс Дзержинский все еще считал А. И. Гучкова одним из опаснейших врагов в среде эмиграции. Он поставил задачу проникнуть в его ближайшее окружение. Проникают ближе некуда: агентом ОГПУ/НКВД становится дочь Гучкова, Вера. Если учесть то, что в его дом были вхожи генерал Н. Скоблин и его жена Надежда Плевацкая (также работавшие на советские спецслужбы), и то, что его конфиденциальная переписка с германскими знакомыми шла через советского тайного агента, становится понятно, почему известный эмигрантский историк и литератор Роман Гуль написал: в последние годы Гучков находился «под двойным стеклянным колпаком НКВД».

А надежд на возвращение в Россию становилось все меньше... В одном из личных писем Гучков пишет: «Тускло, неуютно, холодно, голодно». В 1935 году врачи устанавливают неизлечимую болезнь — рак. 14 февраля 1936-го Александр Иванович умирает. В его завещании было высказано пожелание: «когда падут большевики», перевезти его прах из Парижа в родную Москву, «для вечного успокоения». Увы, во время немецкой оккупации место захоронения А. И. Гучкова (в колумбарии на кладбище Пер-Лашез) таинственно исчезло.

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ГУЧКОВ: *«Необходимо создание правительства, сильного доверием общества...»*

Юлия Воробьева

Н. И. Гучков (1860–1935) происходил из старинного купеческого рода, ведущего свое начало от Федора Алексеевича Гучкова (1777–1856), крестьянина Калужской губернии Малоярославского уезда, дворового человека надворной советницы Белавиной. Его отец, И. Е. Гучков (1833–1904), — совладелец (совместно с братьями) торгового дома «Ефим Гучков и сыновья», московский 1-й гильдии купец, потомственный почетный гражданин, мануфактур-советник, председатель Совета Московского учетного банка. Мать, Каролина Петровна Вакье, — француженка. Благодаря ей в доме, где воспитывались пять сыновей (Николай, Федор, Александр, Константин и Виктор), царил атмосфера взаимного уважения и любви.

Николай Гучков учился в известной 2-й Московской гимназии. Он рос любознательным, и круг его интересов не ограничивался гимназическими предметами. Внимательно читал материалы Московской городской думы, присылаемые отцу как думскому гласному. Под влиянием родителя, считавшего, что для успешного управления фабрикой необходимы хорошие знания в области права, в 1881 году Николай поступил на юридический факультет Московского университета, который окончил в 1886-м со степенью кандидата прав.

Учеба в университете сыграла большую роль в формировании политических взглядов Н. И. Гучкова. В это время на юридическом факультете преподавали такие деятели либеральной интеллигенции, как С. А. Муромцев, Н. И. Янжул, А. И. Чупров, М. М. Ковалевский, М. Я. Герценштейн и др.; они пропагандировали необходимость проведения реформ, развития местного самоуправления и установления конституционной монархии. Юноша посещал также и собрания существовавшего при Московском университете с 1863 года Юридического общества, которое сыграло значительную роль в деле популяризации конституционных идей в широких слоях населения.

Уже учась в университете, Николай почувствовал необходимость перемен в существующем строе. Ему были близки такие понятия, как гражданское общество, правовое государство, права и свободы личности, свобода частного предпринимательства и торговли. Тесные контакты с либеральным лагерем привели его в одно из первых объединений земских деятелей — кружок «Беседа» (1899–1905), куда Гучкова единогласно приняли 9 января 1905 года. Однако проявить себя там ему не удалось, так как в связи с образованием различных политических партий деятельность кружка прекратилась.

Основное внимание в этот период жизни молодой человек уделял предпринимательской деятельности. Иван Ефимович Гучков надеялся передать семейное предприятие в руки старшего сына. Поэтому уже во время учебы того в университете привлекал его к сбыту товаров собственной фабрики. Полученный опыт позволил Николаю по окончании университета управлять делами в отсутствие отца.

Женитьба Н. И. Гучкова в 1887 году на Вере Петровне Боткиной расширила его предпринимательскую деятельность. Он стал совладельцем и управляющим директором «Торгового дома» и семейных предприятий Боткиных (Товарищества чайной торговли «Петр Боткин и сыновья», Товарищества Ново-Таволжанского свеклосахарного завода), открыл магазины в Выборге и Петербурге, реорганизовал делопроизводство в московском магазине, что способствовало значительному повышению продажи чая. В предпринимательской деятельности все полнее проявлялись его организаторские способности, умение в сложных обстоятельствах принимать правильные решения.

Одновременно Николай активно участвует в общественной жизни. В 1886 году он избран Московской городской думой попечителем Петровско-Басманного городского начального училища; в 1892-м — Романовского земского училища; в 1887-м — почетным мировым судьей; в 1889-м — членом присутствия по воинской повинности, работа в котором под руководством городского головы Н. А. Алексеева помогла ему лучше изучить муниципальное дело. В 1893 году Николая Гучкова избрали в гласные Московской городской думы. В этом качестве он состоял членом и председателем многих думских комиссий, в том числе такой важной, как финансовая.

Общественные обязанности требовали все большей отдачи, и на предпринимательскую деятельность времени оставалось мало. Убедившись в этом, И. Е. Гучков и два его сына, Федор и Николай, в 1896 году закрыли фабрику, сохранив только торговый дом «Гучков и сыновья».

Работа в Московской думе не приносила Гучкову полного удовлетворения. Это связано с его негативным отношением ко многим решениям городского головы В. М. Голицына. В конце 1890-х группа гласных, куда входили братья Николай и Александр Гучковы, Н. Н. Щепкин, С. И. Мамонтов, составила городскому голове оппозицию (она получила в думе полшутливое название «Торговый дом братьев Гучковых, Щепкин, Мамонтов и К^о»). В 1901 году при перевыборах городского головы Гучковы попытались сместить В. М. Голицына с должности, но безуспешно. Николай Иванович получил всего 25 голосов.

Русско-японская война 1904–1905 годов способствовала активизации общественно-политической жизни. По стране прокатилась волна съездов земских и городских деятелей, выдвигавших требование демократических свобод. В их работе активное участие принимал Николай Гучков. Он был в числе гласных, подписавших знаменитое заявление от 30 ноября 1904 года, содержащее требования демократических свобод, отмены исключительных законов и установления контроля общественных сил над законностью действий администрации. Николай Иванович относился к тем общественным деятелям, которые надеялись мирным путем (посредством переговоров и изменения законодательства) остановить революционное движение. В январе 1905 года совместно с другими гласными он подписал ходатайство Московской городской думы в правительство о пересмотре существующего закона о стачках и о предоставлении рабочим права на мирные стачки, не сопровождающиеся насилием и истреблением имущества, а также права собраний и союзов.

Сложная политическая обстановка в городе заставила В. М. Голицына 25 октября 1905 года сложить с себя полномочия городского головы. Николай Гучков дал согласие баллотироваться на эту должность и на совещании гласных городской думы 17 ноября изложил свою программу. Он заявил, что, какие бы ни происходили события, дума должна непрерывно исполнять задачи, возложенные на нее законом. 19 ноября его избрали городским головой (103 голоса против 21), а 29 ноября Н. И. Гучков Высочайшим указом императора был утвержден в должности московского городского головы.

Это было сложное время. Манифест 17 октября не принес Москве успокоения: в декабре началось восстание. Перед Н. И. Гучковым стояла сложнейшая задача вернуть го-

род к нормальной мирной жизни. Для этого он прежде всего наладил деловые контакты с городской администрацией, губернатором В. Ф. Джунковским и генерал-губернатором Ф. В. Дубасовым. Эти усилия постепенно стали приносить плоды, и на заседании думы 16 декабря 1905-го Гучков сообщил, что ряд учреждений прекратили забастовку. Он сумел добиться от Дубасова постановления, в котором полковнику Семеновского полка Г. А. Мину предлагалось установить способ эвакуации жен и детей рабочих из подвергшейся обстрелу правительственными войсками Пресни. С разрешения Ф. В. Дубасова эвакуированные разместились в здании городской думы на Воскресенской площади.

Разделяя политические взгляды своего брата Александра, Николай Гучков вступил в партию «Союз 17 октября». Он был избран в состав ЦК, редакционного комитета центральной партийной газеты «Голос Москвы», а также стал пайщиком Московского товарищества для издания книг и газет, учрежденных для финансирования публикаторской деятельности «Союза».

Николай Иванович понял, что, занимая пост городского головы, он должен находиться вне партийной борьбы и действовать на благо родного города. Он считал, что активная политическая деятельность мешает решению конкретных вопросов. А потому выходит из «Союза 17 октября» и провозглашает курс на беспартийную хозяйственную деятельность. Призыв Н. И. Гучкова не вносить политическую борьбу в деятельность Московской думы не был услышан гласными. Кадеты использовали любой повод для дискредитации городского головы. Стремясь провести свои решения, они затягивали прения, выступая несколько раз по одному и тому же вопросу. Николай Иванович пытался ограничить подобную практику, но безуспешно; кадеты организовали в прессе клеветническую кампанию, обвиняя его в политиканстве. Однако сорвать перевыборы Н. И. Гучкова на пост городского головы на новый срок они так и не смогли. 19 января 1909 года последовало Высочайшее соизволение на его назначение. В новом составе думы политическая борьба не прекращалась. Несмотря на то что конституционные демократы стремились превратить заседания в дискуссионные клубы, городской голова ценил профессиональный уровень некоторых из них, предоставляя возможность занимать должности председателей важнейших думских комиссий.

В 1912 году, накануне окончания работы Н. И. Гучкова в должности городского головы, кадеты опять развернули против него кампанию в прессе. Его обвиняли в том, что 20 млн свободных городских денег он поместил в частные банки, которые могут в любой момент обанкротиться, в результате чего казна лишится средств. Надуманность подобных обвинений прекрасно понимал председатель финансовой комиссии кадет Л. Л. Каттар: эти операции осуществлялись с его ведома. С 1892 года городские денежные средства размещались в частных банках потому, что в государственных на них не начислялись проценты. Гучков всего лишь продолжал сложившуюся традицию, о чем было известно всем гласным думы. Тем не менее в избирательной кампании было использовано обвинение городского головы в самовольном распоряжении городскими финансами. Николай Иванович, объявивший о своей внепартийности, от борьбы устранился, что привело его к поражению на выборах. Он получил 77 голосов, а кадет князь Г. Е. Львов — 82; по результатам прошли оба кандидата, и решение оставалось за администрацией. Зная, как высоко ценили Н. И. Гучкова в Министерстве внутренних дел, гласные были убеждены, что именно он станет городским головой. Но Николай Иванович не мог допустить подобных действий администрации, видя в этом посягательство на выборное начало городского самоуправления, которое он при вступлении в должность обещал оберегать. Проявив гражданское мужество, он снимает свою кандидатуру.

На посту городского головы Н. И. Гучкову приходилось выполнять широкий спектр общественных обязанностей, в первую очередь заниматься подготовкой и проведением выборов в Московскую городскую думу и во все четыре Государственные.

При этом самая сложная работа оказалась связана с I Думой, что объяснялось нечеткой формулировкой отдельных пунктов закона о выборах, неразработанностью самой процедуры. Большие трудности представляла работа по составлению списков избирателей. Городской голова формировал участковые избирательные комиссии, назначал их председателей, проводил совещания с ними, подыскивал помещения для проведения выборов. Так как Министерство внутренних дел запаздывало с разработкой инструкции для избирательных комиссий, городская управа под руководством Н. И. Гучкова составила свой вариант. Получив инструкции из Санкт-Петербурга, Н. И. Гучков собрал председателей участковых избирательных комиссий; они сравнили два этих документа и пришли к выводу, что московская инструкция лучше. Н. И. Гучков ходатайствовал перед Министерством внутренних дел о разрешении проведения выборов на ее основе и 2 марта 1906 года получил положительный ответ.

Николай Иванович считал, что все партии должны иметь равные возможности. Узнав о запрещении избирательных собраний кадетов, он попросил московского генерал-губернатора Ф. В. Дубасова снять эти ограничения. Дубасов объяснил все простым недоразумением, и кадеты получили возможность спокойно проводить избирательную кампанию, что обеспечило их успех на выборах в I Государственную думу.

Блестящие организаторские способности позволили Н. И. Гучкову успешно справиться с организацией выборов в I Государственную думу; II, III и IV Думы стоили ему меньших усилий. Выборы в Московскую думу, которыми городской голова занимался в 1908 и 1912 годах, тоже прошли без осложнений, так как процедура была уже отработана.

В ноябре 1907 года по высочайшему повелению Н. И. Гучкова назначили членом Особого присутствия Сената. На одном из его заседаний рассматривалось дело В. И. Гурко. Будучи товарищем министра внутренних дел, Гурко заключил со шведским подданным Л. Лидвалем договор о поставке 10 млн пудов хлеба в пострадавшие от голода местности и выдал ему аванс на 810 тыс. рублей. Контракт не был выполнен, а В. И. Гурко привлекли к суду за превышение власти и нерадение в отправлении должности. В ходе судебного следствия Гучков пришел к выводу о полной невинности обвиняемого; по его мнению, тот допустил не злоупотребление, а большой риск, суливший в случае успеха огромную экономию казенных средств и понижение цен на хлеб. Свое мнение он отстаивал при вынесении приговора, но сенаторы с ним не согласились. Однако Николай Иванович на этом не успокоился и на следующий день после вынесения приговора поехал к председателю Совета министров П. А. Столыпину, чтобы изложить свое особое мнение. Столыпин также не прислушался к его доводам.

Много времени и сил отнимал у Н. И. Гучкова такой вид общественной деятельности, как представительство. В качестве городского головы он представлял московское городское управление за рубежом. Во время визита во Францию в 1911 году Николай Иванович был награжден орденом Почетного легиона. В Москве он организовывал приемы представителей французского муниципалитета, английской делегации в составе членов палаты общин, представителей армии и флота, англиканской церкви, общественных, научных и промышленных организаций, а также все прибывавших в Москву из Петербурга высокопоставленных чиновников. Гучков — городской голова направил все свои усилия на то, чтобы Москва по своему облику и благоустройству не уступала западноевропейским городам.

Он возглавил городское самоуправление, когда городские финансы из-за Русско-японской войны и революционных событий пришли в расстроенное состояние. Городская касса опустела, отсутствовал даже запасной капитал. Тяжелое финансовое положение привело к тому, что среди гласных возникла мысль передать городские предприятия в частные руки. Н. И. Гучков давал отпор этим настроениям.

Николай Иванович прилагал невероятные усилия для того, чтобы сделать городской бюджет бездефицитным. С этой целью он предлагает создать специальную комиссию для решения вопроса о поднятии доходности земли, увеличении налогов с увеселительных заведений и платы за проживание в ночлежках. Была разработана инструкция по обложению недвижимых имуществ в Москве, реализована серия муниципальных займов на европейском денежном рынке, благодаря которым удалось продвинуть дела городского благоустройства. Так, заем 1910 года позволил приступить к созданию новых полей орошения, столь необходимых для проведения второй очереди канализации, которая должна была охватить всю территорию города. В 1910–1911 годах Гучков поставил перед правительством вопрос о принудительном присоединении к канализации частных домов, первым потребовал ее устройства на окраинах Москвы. Благодаря его умению не только добиваться средств для той или иной цели, но и правильно организовать их расход, к концу 1914 года одна треть всех владений Москвы была присоединена к канализационной сети.

Любимое детище Н. И. Гучкова — строительство трамвая. Он понимал, что это не только решит транспортную проблему в столь большом городе, как Москва, но и даст значительный доход, который в дальнейшем позволит сводить бюджет без дефицита. Для осуществления проекта требовалось выкупить конно-железные дороги, принадлежавшие Второму Бельгийскому акционерному обществу. Н. И. Гучков сумел так организовать дело, что 15 июня 1911 года был подписан договор об их выкупе Московской городской думой на более выгодных для городского самоуправления условиях. Это позволило организовать лучший в России трамвай, который, как и ожидал Николай Иванович, стал главным источником дохода городской казны.

При этом было ясно, что в связи с ростом населения и дальнейшим развитием техники трамвай не сможет решить транспортную проблему. Поэтому в 1912 году под его влиянием Н. И. Гучкова городская дума разрабатывает условия конкурса на проект Московского метрополитена.

Одновременно в городе проводились мероприятия по расширению и модернизации водопровода, усовершенствованию мостовых, устройству розария вдоль Китайгородской стены, разбивке скверов на больших площадях. Было открыто движение по окружной железной дороге, Бородинскому Каменному, Новоспасскому и Малому Краснохолмскому мостам; построено два ночлежных дома, два дома дешевых квартир, двенадцать школьных зданий.

Особое внимание Н. И. Гучков уделял вопросам народного просвещения, справедливо полагая, что единственным способом борьбы с бедностью является увеличение производительности труда, которое без образования невозможно. Он стал одним из инициаторов проведения в жизнь в 1909 году принципа общедоступности начального образования. Став городским головой, Николай Иванович добился решения думы об отмене с осени 1910 года платы за обучение в начальной школе. Он считал, что наряду с сетью начальных школ необходимы учебные заведения с повышенной подготовкой специалистов. Поэтому идея либерального деятеля А. Л. Шанявского о создании народного университета была встречена им с восторгом.

Шанявский хотел создать высшее учебное заведение вне системы государственной школы, при Московской городской думе, в котором могли бы свободно, без требования аттестатов об образовании, учиться мужчины и женщины, русские и представители других национальностей — одним словом, все, кто учиться хотел. Согласно завещанию Шанявского (он умер 7 ноября 1905 года), все его движимое и недвижимое имущество передавалось вдове, а после ее смерти — народному университету. Если же не откроется в течение трех лет (до 3 октября 1908-го), имущество отойдет женскому медицинскому университету.

Все дела, связанные с организацией университета, перешли к вдове, друзьям и душеприказчикам братьям М. В. и С. В. Сабашниковым, В. К. Роту и Московской городской думе в лице городского головы Н. И. Гучкова. Последний создал в Думе специальную комиссию, которая разработала устав университета; на его утверждение ушло три года, так как московская администрация и в первую очередь градоначальник А. А. Рейнбот выступали против проекта, опасаясь, что университет превратится в центр революционного движения молодежи. Подобная позиция вынудила Н. И. Гучкова провести утверждение устава народного университета через Государственную думу и Государственный совет.

Чтобы ускорить дело, Николай Иванович 21 марта 1907 года обратился к председателю Совета министров и министру внутренних дел П. А. Столыпину с просьбой оказать содействие в утверждении устава. Не удовлетворившись этим, он едет в Петербург для личной встречи с ним; на приеме у Столыпина подает записку по вопросу об утверждении устава народного университета и заручается его поддержкой. Одновременно Н. И. Гучков поручил постоянному представителю Московской городской думы в Петербурге контролировать ход дела в высших инстанциях. Он обратился к министрам народного просвещения П. М. фон Кауфману (5 мая 1907), а затем А. Н. Шварцу с просьбой ускорить передачу проекта устава в Государственную думу. 4 апреля Николай Иванович сумел организовать прения в Московской городской думе таким образом, что та утвердила доклад комиссии, предлагавшей учесть все изменения и дополнения, сделанные Министерством народного просвещения. Успешное прохождение проекта устава университета через Государственную думу и Государственный совет в значительной мере было обеспечено Н. И. Гучковым, который сумел убедить московских депутатов принять участие в обсуждении этого документа. Император утвердил устав 26 июня 1908 года, а 1 октября в Большом зале Московской городской думы состоялось торжественное открытие Московского городского народного университета им. А. Л. Шанявского.

Большую заботу Н. И. Гучков проявлял о сохранении выдающегося памятника русской художественной культуры, сокровищницы русского изобразительного искусства — Третьяковской галереи, в 1892 году переданной П. М. Третьяковым в собственность города.

Женившись на В. П. Боткиной, Николай Иванович попал в семью, члены которой так или иначе занимались коллекционированием. Особенно сильное влияние на его художественный вкус оказал шурин И. С. Остроухов, художник и известный собиратель, член попечительного совета Третьяковской галереи. Благодаря близким дружеским отношениям с ним Гучков оставался в курсе проходившей в совете борьбы по вопросу о пополнении галереи. Остроухов полагал, что надо приобретать картины, отражавшие все направления в русской живописи; подобного взгляда придерживался и Николай Иванович. Однако открыто поддержать родственника он не мог, чтобы его не обвинили в необъективности. На заседании городской думы 18 мая 1910 года разгорелась острая дискуссия по вопросу покупки картин. Н. И. Гучков предложил создать специальную комиссию в количестве десяти человек, которая, подробно изучив состояние дел, даст свои рекомендации. Дабы дать И. С. Остроухову возможность спокойно работать, Гучков не торопил комиссию с выработкой рекомендаций и не возмущался тем, что ее работа затянулась почти на два года. Он всячески подчеркивал, что спешить в столь сложном деле нельзя, ибо в противном случае это может нанести ущерб Третьяковской галерее.

Только 10 мая 1912 года комиссия представила городской управе доклад о проделанной работе, а 8 июня его обсудили в Московской думе. Как отмечалось на заседании, тщательное изучение деятельности галереи показало отсутствие в работе Попечительного совета серьезных упущений. Таким образом, Н. И. Гучкову удалось предоставить самостоятельность членам совета, и в первую очередь И. С. Остроухову, в вопросе но-

вых приобретений. Благодаря его стараниям за 1900–1912 годы в Третьяковку поступило 350 произведений, три четверти из них составляли картины художников нового направления.

13 ноября 1912 года вновь вернулись к обсуждению доклада комиссии о деятельности Третьяковки. Рассматривался вопрос обеспечения сохранности картин. После бурных дебатов решили ввести в штат галереи должность художника-реставратора. Был поставлен также вопрос о необходимости постройки нового здания. Эту идею поддержал и Н. И. Гучков; он указал, что на ее реализацию могут быть использованы не только ассигнования городской думы, но и проценты с капиталов, завещанных П. М. Третьяковым и П. П. Боткиным. Провести в жизнь эти мероприятия Николай Иванович не смог в связи с окончанием его полномочий как городского головы. Тем не менее он продолжал уделять большое внимание деятельности Третьяковской галереи как гласный Московской городской думы. Так, на ее заседании 10 сентября 1913 года Гучков выступил против решения нового состава Попечительного совета осуществить перевеску картин, ссылаясь на духовное завещание П. М. Третьякова. Эти доводы не встретили поддержки, и вновь избранный попечитель И. Э. Грабарь приступил к делу. Н. И. Гучков остался при своем мнении, но позднее посетил галерею, чтобы ознакомиться с новым расположением картин.

Несмотря на события, вызванные Первой мировой войной, 1 апреля 1915 года Московская дума вновь вернулась к обсуждению вопроса о состоянии Третьяковки, так как возникла угроза затопления ее подвалов при разливе Москвы-реки. На этом заседании Николай Иванович выступил с резкой критикой действий Попечительного совета, который в связи с надвигающейся опасностью закрыл галерею для посетителей. Реально оценивая сложившуюся обстановку, он указал на невозможность строительства нового здания в военное время и требовал вернуть картины на прежние места.

Вопрос о Третьяковской галерее рассматривался в думе еще раз 26 января 1916 года. И вновь с критикой действий совета выступил Н. И. Гучков, который доказывал, что нарушается воля П. М. Третьякова, и требовал приостановить проводимые реформы. Этот страстный призыв был услышан гласными думы, которые постановили создать организационную комиссию для решения этого вопроса. Николай Иванович участвовал в ее заседаниях 22 и 26 февраля, 17 и 21 марта 1916 года. В результате появилось решение о необходимости общего перемещения картин с изменениями ныне принятой системы их размещения и о недопустимости включения в общее собрание произведений художников, которые начали работать после смерти П. М. Третьякова. Таким образом, Гучков сумел убедить комиссию в правильности своих требований, но последовавшие революционные события помешали их осуществлению.

Работа на посту городского головы не оставляла времени заниматься семейным делом. Поэтому после смерти дяди Федора Ефимовича братья Гучковы в октябре 1911 года закрыли свое торговое предприятие. Но и после отставки Николай Иванович по-прежнему отдает много времени общественной деятельности, которая постепенно приобретает всероссийский характер. Он избран членом правления Северного страхового общества, членом Советов Московского частного коммерческого и Нижегородско-Самарского земельного банков. В это же время включается в распространившееся в стране неославянское движение. Братья Гучковы — Александр и Николай — активно поддерживали Союз славянских государств в их борьбе с Турцией. Вместе с сербским архимандритом Михаилом они создают Московский славянский комитет, под председательством Николая Гучкова. В организацию принимались все желающие, сделавшие взнос в размере трех рублей. В начале октября 1912 года устав комитета был утвержден Московским присутствием по делам об обществах, а 5 октября состоялось его организационное собрание.

Основная цель этой общественной организации — проведение принципов неославянизма. Для этого предполагалось устраивать лекции, готовить рефераты, проводить собеседования по вопросам, касающимся жизни стран Балканского полуострова, изучать способы оказания помощи нуждающемуся населению, а также проводить сбор средств путем организации лекций, концертов и пожертвований. Чтобы помощь была целенаправленной, планировались поездки членов комитета на Балканы. Однако Балканские и Первая мировая войны не позволили осуществить эту программу. Деятельность свелась к благотворительности и оказанию постоянной материальной помощи. Комитет отправлял санитарные поезда, лекарства и перевязочные материалы, собирал и передавал деньги на организацию госпиталей в Сербии, Греции и Черногории, снабжал деньгами их подданных при отправке на войну.

Между тем с началом Первой мировой иллюзии Н. И. Гучкова по поводу реализации неославянских принципов разрушились. Комитет полностью сосредоточился на сборе средств для Сербии и Черногории, а также на организации различных торжественных мероприятий в честь видных политических деятелей этих стран. Дальнейшую работу председателя Московского славянского комитета остановил Октябрьский переворот. К этому времени Николай Иванович стал признанным общественным деятелем не только в России, но и за ее пределами. К нему со словами благодарности обращались митрополит Сербский Дмитрий, король сербский Петр, премьер Сербии Н. П. Пашич, посланник Сербии в России М. И. Спалайкович. В том, что Сербия и Черногория смогли выстоять в борьбе с немецкими и австро-венгерскими войсками, есть и заслуга Н. И. Гучкова, сумевшего, несмотря на трудности военного времени и загруженность, организовать им своевременную и постоянную материальную помощь.

Значительного внимания требовала общественная деятельность в качестве гласного Московской городской думы. Николай Иванович по-прежнему придерживался мнения, что в ее работе не должно быть политики, а потому на заседании в феврале 1913 года заявил, что не войдет ни в одну из групп и будет голосовать в зависимости от собственных взглядов на тот или иной вопрос. Гласный Гучков заботился прежде всего о дальнейшем развитии городского хозяйства. Он много времени уделял работе городской управы, замечая все промахи в ее работе. Самый большой упрек был высказан им в связи с начавшейся в сентябре 1913 года забастовкой трамвайных рабочих. Он доказывал, что виновница здесь — сама управа, проявившая недопустимую беспечность вместо энергичных действий по предотвращению забастовки. Его критические выступления не остались гласом вопиющего в пустыне. Кадеты, составляющие в думе большинство, прислушивались к его замечаниям и старались их учитывать.

Начавшаяся Первая мировая война во многом изменила деятельность Гучкова в Московской городской думе. На чрезвычайном собрании 18 июня 1914 года он выступил с яркой речью, предлагая выработать мероприятия, необходимые для создания всероссийской городской организации по оказанию помощи больным и раненым воинам. Николай Иванович вошел в состав комиссии, которой поручалась организация Всероссийского союза городов. Успешная деятельность Союза во многом объясняется удачно разработанной схемой, а в ее создании участвовал и Н. И. Гучков. Он вошел также в состав совещания гласных, созданного при думе для более оперативного решения вопросов, вызванных войной, и в комиссию по оказанию помощи больным и раненым воинам, где полностью проявились его организаторские способности. Он работал над созданием плана эвакуации раненых и оказания непосредственной помощи действующей армии; обсуждал возможности приспособления зданий городских училищ под лазареты.

Организация помощи больным и раненым воинам тесно смыкалась с работой Николая Ивановича как товарища председателя Комитета под покровительством ве-

ликой княгини Елизаветы Федоровны. В нем он занимался созданием госпиталей и распределением в них раненых. С увеличением потока беженцев в город становилось ясно, что управа не справляется с этой проблемой. Поэтому Гучков предложил создать особый отдел по оказанию помощи беженцам со специально приглашенным заведующим во главе, а также объединить организации, работающие в этой сфере, чтобы привести их в стройную систему с точки зрения разделения их функций и выяснения взаимоотношений.

Несмотря на войну, московское городское самоуправление продолжало выполнять свои обычные обязанности, возложенные на него Городовым положением. Активное участие в работе принимал гласный Н. И. Гучков, продолжая уделять особое внимание состоянию финансов и стремясь к тому, чтобы городские средства расходовались рационально. Он критиковал работу управы по вопросам обеспечения города сахаром и топливом, требовал, чтобы та перестала жаловаться и ужасаться и приступила к практическим мерам, предлагал создать при управе специальный транспортный отдел. Более всего раздражала его нерасторопность в решении продовольственного вопроса. Ведь дороговизна продуктов в первую очередь ударяла по беднейшим слоям городского населения и усиливала вызванные войной тяготы. Николай Иванович был возмущен тем, что управа не создала совещание, призванное решать вопросы поставки продовольствия, в то время как Союз городов это совещание уже создал.

Популярность Н. И. Гучкова, умение находить решение самых сложных вопросов привели к тому, что его как представителя московского городского самоуправления стали избирать во всевозможные комитеты и комиссии. В июле 1914 года он вошел в специальную подкомиссию, которая разрабатывала вопрос объединения союзов городов и земств; в августе стал членом Временного комитета Всероссийского союза городов и представителем Москвы в Объединенном военно-техническом совете; в июне 1915-го и в августе 1916-го — представителем в Главном комитете Союза городов. На заседании Городской думы 9 декабря 1914 года было решено присвоить Гучкову звание Почетного гражданина и повесить в зале заседания его портрет, заказанный художнику Малютину.

Высокие деловые качества позволили Николаю Ивановичу стать представителем думы в Московском и Центральном военно-промышленных комитетах. Эти общественные организации имели целью координацию усилий промышленности в обеспечении потребностей действующей армии. Сторонник конституционной монархии, Н. И. Гучков свои отношения с властью строил на основе компромисса. В годы Первой мировой он понял экономическую и политическую слабость самодержавия. Его раздражало неумение власти быстро и правильно перестроиться для успешного ведения войны, а также распространившиеся слухи о стремлении царского правительства заключить сепаратный мир.

Гучков отказывается от своей тактики компромисса и переходит в открытую оппозицию правительству. Для изложения своих политических взглядов он использовал трибуну Московской городской думы. 18 августа 1915 года на чрезвычайном заседании состоялось его горячее выступление, в котором он доказывал важность единения всей страны для победы над неприятелем: «Необходимо создание правительства, сильного доверием общества». Только такое правительство, работающее в тесном союзе с Государственной думой, способно осуществить реформирование государственного строя и обеспечить военный успех.

Несмотря на свою оппозиционность, в мае 1915 года Н. И. Гучков был назначен членом Совета министров торговли и промышленности: в стране не хватало деловых, энергичных людей, умеющих решать самые сложные задачи. Война привела к резкому повышению цен на хлопок, что могло повлечь полную остановку хлопчатобумажного производства. В целях борьбы с дороговизной хлопка был создан Комитет для снабже-

ния сырьем хлопчатобумажных фабрик (Комитет хлопкоснабжения). Во главе его поставили Гучкова — члена Совета министра торговли и промышленности, хорошо знающего текстильное производство. С необычайной энергией он начал организацию его деятельности. Было разработано и 7 июля 1915 года утверждено положение, согласно которому комитет устанавливал предельные цены на русский хлопок и неукоснительно следил за их исполнением при покупке, распределял запасы хлопка между предприятиями, обсуждал вопросы его реквизиции, наблюдал за перевозкой сырья на железных дорогах. Не дожидаясь утверждения окончательного состава комитета, глава комитета проводит 15 августа 1915 года его первое заседание; тогда была выработана предельная цена на хлопок в зависимости от места его производства. 21 августа Министерство торговли и промышленности утвердило разработанные комитетом предельные цены.

Николай Иванович считал, что главной задачей комитета являлась борьба с ненормальным повышением цен на хлопок. Тем не менее нарушение предельных цен приняло небывалые размеры; на заседании комитета 17 октября 1915 года отмечалось, что все дело по урегулированию снабжения фабрик хлопком может быть уничтожено. И 26 октября были утверждены «Правила удовлетворения ходатайств фабрик о содействии им при приобретении русского хлопка». Н. И. Гучков посылал своих сотрудников на фабрики для уточнения сведений о количестве перерабатываемого хлопка, веретен, времени работы в сутки. Это позволило 29 декабря 1915 года уточнить принцип распределения хлопка; в зависимости от сорта выработанной пряжи потребность на каждое веретено колебалась от 1,5 до 5,5 пуда хлопка в год.

Несмотря на то что железнодорожный транспорт работал только на обеспечение потребностей фронта, Н. И. Гучков сумел добиться от Министерства путей сообщения предоставления необходимого количества вагонов, которые затем распределялись между фабриками. Во избежание сбоев плана перевозок хлопка он предложил для контроля посылать агентов комитета на узловые железнодорожные станции. Благодаря всем предпринятым Комитетом хлопкоснабжения мерам, хлопчатобумажные фабрики были полностью обеспечены сырьем и могли бесперебойно работать в течение всего 1916 года.

Регулирование цен на хлопок никак не ограничивало спекуляцию готовой продукцией. Это заставило министра торговли и промышленности поручить комитету установить предельные цены также на пряжу и хлопчатобумажные ткани. В стране все сильнее ощущался мануфактурный голод. 29 июля 1916 года Н. И. Гучков направил председателю Совета министров А. Д. Протопопову аналитическую записку. Вопрос снабжения тыла тканями правительство считало очень серьезным, а потому поручило комитету и в первую очередь его руководителю разработку правил их продажи. Согласно разработанным комитетом правилам, все хлопчатобумажные изделия, выпускаемые для продажи населению, поступали в его исключительное распоряжение.

В связи с изменением функции комитета Н. И. Гучков разработал проект его нового положения, которое 11 января 1917 года было представлено в правительство и 26 января утверждено. Теперь комитет обязан был обеспечить полное регламентирование текстильного производства, начиная от цены на хлопок и заканчивая стоимостью готовой продукции, ее оптовой и розничной продажной ценой. Весь частнокапиталистический аппарат производства и распределения с помощью комитета ставился под известный государственный контроль. Глава комитета понимал, что для наведения порядка в деле торговли пряжей и хлопчатобумажными тканями необходимы постоянные ревизии фирм, торгующих этими изделиями. Однако для осуществления подобных мероприятий у него не было специалистов.

Николай Иванович, будучи с университетских времен сторонником конституционной монархии, с радостью встретил Февральскую революцию. Однако вскоре понял,

что Временное правительство не в состоянии вывести страну из экономической разрухи. В этих условиях Комитет хлопкоснабжения, осуществлявший функции государственного регулирования всего текстильного производства, не мог успешно выполнять свои задачи. Не имея привычки работать кое-как, Н. И. Гучков в конце марта 1917 года сложил с себя полномочия его председателя. Оценивая деятельность комитета, необходимо отметить, что, благодаря организаторским и административным способностям Гучкова, было создано совершенно новое учреждение, осуществлявшее государственное регулирование всего хлопчатобумажного производства. Причем самые сложные вопросы Николай Иванович стремился решать на заседаниях коллегиально. На посту председателя Комитета хлопкоснабжения Николай Иванович показал себя деятелем общероссийского масштаба. И в мае 1917 года Временное правительство назначило его председателем Русско-американской торговой палаты. Однако этой работе помешал Октябрьский переворот 1917 года.

Все вышеизложенное позволяет проследить процесс превращения Н. И. Гучкова в человека, полностью посвятившего себя общественной деятельности. На предпринимательство времени не оставалось. Как уже было сказано, после смерти дяди Федора Ефимовича, возглавлявшего торговый дом «Ефим Гучков и сыновья», братья Гучковы продали его. Николай Иванович, будучи директором-распорядителем Товарищества чайной торговли «Петр Боткин и сыновья», не имел возможности им заниматься, в результате чего оно пришло в упадок и в 1916–1917 годах было ликвидировано. Паи Ново-Таволжанского свеклосахарного завода приобрел И. И. Терещенко.

Н. И. Гучков не признавал власть большевиков, установившуюся в стране в результате Октябрьского переворота, и жил надеждой, что этой власти скоро придет конец. Поэтому, узнав о выступлении белогвардейцев под руководством А. И. Деникина, он покинул Москву и отправился на Юг. А после поражения Белой армии совсем покинул Россию и отправился на родину своей матери, во Францию. Его деятельность в эмиграции носила чисто гуманитарный характер. Он отошел от политики и не принимал участия в каких-либо антисоветских акциях: его дочери, Надежда и Любовь, оставались в Москве, и он понимал, что любой неверный шаг немедленно отразится на их судьбе.

В отличие от многих русских общественных деятелей и предпринимателей Николай Иванович не хранил деньги в зарубежных банках. Поэтому в эмиграции он вдруг оказался бедным человеком. Жил на пенсию, которую получал как кавалер ордена Почетного легиона. Как сын француженки он мог беспрепятственно получить французское подданство, но, надеясь вернуться в любимую Москву, этого не сделал. Хотя укрепление международного положения Советского Союза, особенно после его вхождения в Лигу наций (1934), убеждало в бесперспективности этой надежды.

Человек глубоко верующий, Николай Иванович, как и его прадед Федор, все больше внимания уделял духовной деятельности, участвовал в управлении приходом Сергиевского подворья и храма Александра Невского в Париже. Сознание невозможности возвращения на родину резко подорвало его здоровье. В конце декабря 1934 года он заболел воспалением легких и 6 января 1935 года умер. Похоронили его на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа.

Жизнь Н. И. Гучкова является примером бескорыстного служения родине и любимой Москве. Она была высоко оценена современниками, о чем свидетельствуют его многочисленные награды: ордена Св. Владимира 1-й, 2-й и 3-й степени; Св. Станислава 1-й, 2-й и 3-й степени; Св. Анны 3-й степени; бухарский орден Золотой Звезды; сербский орден Саввы 2-й степени; французский орден Почетного легиона; итальянский орден Короны и многочисленные памятные медали.

МИХАИЛ МАРТЫНОВИЧ АЛЕКСЕЕНКО:
*«Мы не так богаты, чтобы исполнять
фантазии каждого министра...»*

Кирилл Соловьев

Михаил Мартынович Алексеенко родился в купеческой семье в Екатеринославе 5 октября 1848 года. В 1864 году он с золотой медалью окончил гимназию, а в 1868-м — юридический факультет Харьковского университета, где был оставлен на кафедре финансового права для подготовки к профессорскому званию. Впоследствии М. М. Алексеенко писал: «Особенно трудно положение начинающего ученого в сфере общественных наук. Его захватывает широкая область общественных явлений, связанных между собой, переплетающихся, затрагивающих горячие и волнующие вопросы и личной и общественной жизни. Работать приходится при неуставленных методах, над жизненным, ускользающим, трудно регистрируемым материалом. Томимый жгучей жаждой знания, начинающий ученый стремится к разрешению общих вопросов, проглатывает книгу за книгой, разбрасывается, переживает сладкие минуты, когда кругозор его расширяется и он как будто близко подходит к стоящим перед ним вопросам, то впадает в уныние, когда его угнетает сомнение в своих силах, в возможности прийти к положительным результатам. На первых работах нередко явственно отражается нервность молодых авторов, переживших муки творчества».

В 1869 году он опубликовал работу «Организация государственного хозяйничанья», в центре которой находились проблемы формирования государственного бюджета — меньше чем через сорок лет бюджет Российского государства будет утверждаться при непосредственном участии М. М. Алексеенко. В той работе высказаны мысли, которые впоследствии автор лишь развивает. Во-первых, государство есть особое организующее начало в экономике, что и определяет социальное значение этого института. Во-вторых, «буквальное исполнение бюджета не вяжется с его только предположительным характером». Поэтому цель бюджета — не высчитать досконально все цифры, а задать вектор движения страны.

С 1870 года приват-доцент М. М. Алексеенко начал читать лекции в Харьковском университете. Одним из его первых студентов стал будущий известный социолог и политик М. М. Ковалевский, который много лет спустя вспоминал: «Он (Алексеенко. — К. С.) был еще очень молод, преувеличивал нашу способность к усвоению цифровых данных и отводил, к сожалению, чересчур много места в своем курсе истории русской налоговой системы со времен Московского царства».

В 1872 году М. М. Алексеенко защитил магистерскую диссертацию на тему «Государственный кредит. Очерк нарастания государственного долга в Англии и во Франции». С 1874 года молодой ученый стажировался за рубежом в университетах Австрии, Германии, Франции; в центре его научных интересов — проблемы налогов и кредитов. С 1876 года он занимал должность секретаря юридического факультета Харьковского университета. А в 1879 году издал книгу «Действующее законодательство о прямых налогах». Это и стало его докторской диссертацией, которую М. М. Алексеенко

в том же году успешно защитил. Сразу же после защиты его избрали экстраординарным профессором по кафедре финансового права. Со следующего года он — уже ординарный профессор, в 1886–1891 годах — декан юридического факультета, а в 1890–1899-м — ректор Императорского Харьковского университета. Административному взлету сопутствовали и соответствующие звания. С 1895 года М. М. Алексеенко — почетный профессор, с 1899-го — тайный советник. В 1900 году в Харьковском университете была даже учреждена премия имени М. М. Алексеенко. Правда, сам он в это время находился уже не в Харькове, а в Казани, где в 1899–1901 годах занимал должность попечителя учебного округа.

За время руководства Харьковским университетом Михаил Мартынович организовал там библиотеку, обсерваторию, поликлинику, возобновил издание университетских «Записок». При этом вел и активную общественную жизнь: с 1880-х годов он был гласным Екатеринославского губернского и уездного земств; с 1880 года — почетным мировым судьей по Екатеринославскому уезду; в 1887–1892 годах — гласным Харьковской городской думы. В 1901–1906 годах Алексеенко вновь у стен родного университета, в качестве попечителя Харьковского учебного округа.

В 1906 году М. М. Алексеенко подал в отставку, с этого-то момента и начался новый взлет в его биографии. В III Государственной думе, куда его избрали в 1907 году от Екатеринославской губернии, он стал председателем бюджетной комиссии, сохраняя за собой этот пост вплоть до самой смерти в феврале 1917 года. И эту должность — председателя думской бюджетной комиссии — М. М. Алексеенко вознес на невероятную высоту.

Комиссионная деятельность в Государственной думе имела своеобразные формы. Депутаты опаздывали, уходили раньше положенного, а то и вообще пропускали заседания, так что нередко они просто отменялись за отсутствием кворума: министры, товарищи министров, директора департаментов расходились по домам, лишь потеряв время в Таврическом дворце. Сами заседания протекали хаотично; редко какой-нибудь депутат, кроме докладчиков, был знаком с текстом обсуждаемого законопроекта; суждения выносили исходя из общих соображений. Имевшийся поначалу кворум мог отсутствовать в момент голосования. Тогда начинался лихорадочный поиск депутатов, которые прогуливались по Таврическому саду или же обедали в столовой. В то же время именно решение комиссии часто предопределяло позицию Думы в целом. Министр торговли и промышленности С. И. Тимашев вспоминал: «К весенней сессии пленум загромождался горами законопроектов, и тогда начиналось не столько обсуждение, а скорее штемпелевание заключений комиссий, за исключением некоторых вопросов, на которых члены Думы останавливали внимание своих собратьев по соображениям политическим, ввиду острых спорных интересов или какой-нибудь личной подкладки».

Бюджетная комиссия занимала особое положение. Ее в III Думе называли «генеральной», а членов комиссии — уважительно — «бюджетниками». Состав был в высшей степени представительный: в комиссию вошли почти все лидеры фракций. И неслучайно среди депутатов и министров ходило выражение: «Государственная дума — это Алексеенко». Как писал впоследствии известный экономист и зять М. М. Алексеенко П. П. Мигулин, «действительно, права нижней палаты были до такой степени урезаны, что единственно серьезным, чем могла Дума воздействовать на правительство, определять политическую жизнь страны, влиять на ход ее экономической жизни, являлся государственный бюджет».

Депутат III Думы, октябрист А. В. Еропкин вспоминал, что «бюджетная комиссия, в сущности, держала в своих руках все нити думской работы, ибо почти все законопроекты из других комиссий представлялись на заключение бюджетной по вопросу об ассигновании средств из казны. А какие законы и какие меры могли обойтись без

ассигнования?» Причем речь шла и о «закончиках», о так называемой законодательной «вермишели». Хотя, конечно, в центре внимания комиссии оставалась государственная роспись, иными словами, бюджет. Таким образом, сфера ответственности была чрезвычайно широка: за год здесь просматривалось значительно больше законопроектов, чем в какой-либо другой комиссии Государственной думы. Например, в период деятельности Думы третьего созыва «бюджетникам» передали 567 законопроектов на рассмотрение и 1245 — на заключение. За это время они разработали 514 докладов; только 11 законопроектов остались нерассмотренными, и лишь относительно 23 не было дано заключения. Для сравнения: в финансовую комиссию внесено 372 законопроекта, в итоге сделано 307 докладов (при этом 47 законопроектов не рассмотрены вовсе). Правда, бюджетная комиссия была и самой многочисленной: в нее входило шестьдесят шесть депутатов. Однако обычно лишь треть принимала активное участие в работе.

Перед Михаилом Мартыновичем стояла нелегкая задача: наладить в этих условиях четкое функционирование комиссии. По словам А. В. Еропкина, «профессор Алексеенко был идеальным председателем и вынес всю эту работу (бюджетной комиссии. — К. С.) на своих плечах. Я должен откровенно признать, что без профессора Алексеенко Государственная дума ни в каком случае не справилась бы с бюджетом, как, например, она не справилась с отчетами Государственного контроля, которые Дума ни разу не рассматривала».

В отличие от прочих думских комиссий, бюджетная заседала практически круглый год. Причем председатель отсутствовал в чрезвычайно редких случаях. Особенно интенсивной была работа с февраля по июнь каждого года. В июне заседания «бюджетников» начинались в 11 утра и продолжались, чаще всего без обеденного перерыва, до 2–3 часов ночи. Иногда члены комиссии расходились и в 5 часов утра. М. М. Алексеенко внимательно следил за ходом дискуссии, порой направляя ее, отмечал ошибки ораторов. Он стремился не допускать увеличения государственных расходов, так как это, по его мнению, могло привести к расстройству финансов России. Бюджет, в значительной мере под влиянием Алексеенко, качественно изменился: председатель комиссии требовал обоснования каждой цифры. При этом он упорно боролся и с излишней «скарденностью» Министерства финансов. С его точки зрения, в бюджете должны быть четко определены приоритеты, которые предполагали особое, целевое финансирование образования, путей сообщений, объектов промышленности.

По мнению депутата Думы князя С. П. Мансырева, восьмикратное увеличение бюджета Министерства народного просвещения за последнее десятилетие существования Российской империи — прямая заслуга М. М. Алексеенко. Помимо этого он настаивал, чтобы финансовая политика государства имела свою программу долгосрочного развития; чтобы она стала органичной частью общего правительственного курса. «Все наше финансовое благополучие, основанное на хозяйственном благополучии, вызвано одной центральной крупной причиной — урожаем в связи с очень благоприятными конъюнктурами, т.е. с высокой ценой и очень удачными условиями времени, когда этот урожай и вымолачивался, и реализовывался, — говорил М. М. Алексеенко на заседании Думы 12 февраля 1910 года. — Вот это обстоятельство и надо учитывать. Надо иметь в виду: причина, которая действует временно, производит и временный эффект, и твердо настаивать, что этот подъем есть подъем, который надо использовать, но ни в каком случае не полагать, что этот подъем станет для нас, уже без всякой заботы с нашей стороны, нашим постоянным благополучием».

С. И. Тимашев отмечал, что министры, посещая заседания бюджетной комиссии, «являлись как бы на экзамен или, скорее, на суд; в последовательном порядке все ведомства, одно за другим». Причем обсуждение бюджета того или иного ведомства не ограничивалось пересчетом цифр, а всякий раз перетекало в дискуссию о программе дея-

тельности министра, о перспективах развития вверенной ему отрасли. Как вспоминали депутаты Думы, М. М. Алексеенко был в высшей степени любезен с министрами, но стоило кому-нибудь из них проявить поверхностное отношение к делу, как председатель «моментально его осаживал». Например, такого рода «экзамен» предстоял министру торговли и промышленности И. П. Шипову, и тот его явно провалил. М. М. Алексеенко не скрывал своего резкого неприятия бездумного расходования государственных средств. Так, в октябре 1913 года он дал интервью корреспонденту газет «Русское слово» и «Речь» Неманову, в ходе которого прямо заявил, что «кредиты на большую судостроительную программу в Государственной думе ни при каких условиях не пройдут. И добавил: «„Кораблики“ нужны только морскому министру, а мы не так богаты, чтобы исполнять фантазии каждого министра». У М. М. Алексеенко установились прочные отношения с министром финансов (впоследствии — премьером) В. Н. Коковцовым. По словам Н. В. Савича, «в психике обоих было нечто общее: большая осторожность, расчетливость, любовь к законности». При этом, продолжал Савич, они не любили друг друга, «но очень ценили корректность установившихся между ними отношений».

М. М. Алексеенко, несомненно, принадлежал к числу выдающихся думских ораторов. «Каждое выступление в Думе профессора Алексеенко было настоящим триумфом», — вспоминал А. В. Еропкин. Причем выступал он крайне редко, обычно один раз в год, при представлении государственной сметы расходов и доходов. Его чрезвычайно длинные речи продолжались по несколько часов. И тем не менее зал пленарных заседаний был переполнен, в Таврическом дворце стояла тишина — все слушали Алексеенко. Это исключительный случай, так как «лучшие ораторы могли занимать внимание Думы не более получаса, и в зале начинался глухой гул — прямой признак, что надо кончать речь». Выступления М. М. Алексеенко провозжали бурными аплодисментами как справа, так и слева. Его доклады имели значение еще и потому, что бюджетная комиссия не ограничивалась формальным финансовым анализом представленного бюджета. «Она старалась вникать в самую суть деятельности соответствующего министерства, указывала на дефекты, которые, по ее мнению, там существуют, на изменения, кои ей желательны». Для каждого ведомства формулировались пожелания, призванные определять порядок его работы.

Положение М. М. Алексеенко в Думе было незыблемым. Когда он, уставший от постоянных трений в комиссии, решил уйти с поста председателя, фракция октябристов упростила его остаться, так как все понимали: без него депутаты с бюджетом не справятся. В марте 1911 года, после отставки А. И. Гучкова с поста председателя Государственной думы, многие октябристы считали, что нашли в лице М. М. Алексеенко достойную замену. «Инициаторы этой кандидатуры полагают, — доносил в правительство заведующий Министерским павильоном Таврического дворца Л. К. Куманин, — что вокруг профессора Алексеенко могли бы объединиться все фракции Думы, ибо всем им известно, что М. М. Алексеенко никогда в своей председательской деятельности не сходил с пути строго делового обсуждения и никогда не отступал с формальных велений закона». Однако сам Алексеенко от новой должности упорно отказывался. Его упрашивали занять пост председателя Думы хотя бы до Пасхи. «Что я вам, красное яичко, что ли?» — шутил Михаил Мартынович. И октябристам ничего не осталось, как сойтись на кандидатуре М. В. Родзянко.

Вообще М. М. Алексеенко присоединился к октябристам лишь в самой Государственной думе. Да и то, объяснял П. П. Мигулин, «в сущности, М. М. Алексеенко был человеком беспартийным, чем и объясняется исключительное отношение к нему со стороны всех наших парламентских партий». Он почти не выступал по вопросам общеполитического характера, ограничиваясь проблемами бюджета. В IV Государственной думе М. М. Алексеенко категорически отказался возглавить фракцию октябристов,

что, по мнению многих, могло бы уберечь самую многочисленную депутатскую группу от неизбежного распада. При этом, когда раскол стал реальностью, он занял особую позицию. М. М. Алексеенко первый, 29 ноября 1913 года, вышел из состава фракции: тогда большинство признало для депутатов-октябристов обязательными постановления партийной конференции, согласно которым депутаты должны были стать «марионетками» в руках ЦК партии. И на следующий день, справившись с эмоциями, ко всеобщему удивлению, выступил перед левыми октябристами с предложением повременить с решительными действиями. «Как реальный политик, тщательно взвесив в течение минувшей ночи все за и против, он с математической точностью выяснил, что открытый раскол в настоящий момент является для фракции несвоевременным. Совершенно неизвестно, сколько в данный момент левых и сколько правых октябристов. Не приведет ли слишком поспешное выделение в самостоятельную группу лишь к тому, что в группе этой окажется слишком мало членов, а правые октябристы, теперь все-таки признающие открыто моральный авторитет левого крыла своей фракции, тогда ясно восчувствуют свою силу и решат, что и они умеют „бюджеты провалить“. Открытый раскол силою вещей кинет центр и правое крыло октябристов в объятия националистов, создаст сильный правый центр и в конечном счете лишь послужит на пользу реакции». М. М. Алексеенко предложил не драматизировать ситуацию и не переоценивать декларацию, не подкрепленную реальными действиями. Лишь будущие голосования октябристского большинства в январе–феврале 1914 года должны были стать сигналом для действий левого крыла фракции. Речь, очевидно, произвела сильное впечатление. Настроение слушающих качнулось в обратную сторону, и среди левых октябристов явно поубавилось количество сторонников разрыва с правым крылом. Однако последующий мучительный поиск компромиссов не принес плодов. Распад фракции был неизбежен.

Мало вовлеченный в партийную жизнь, М. М. Алексеенко всегда придерживался «собственной программы». Например, он был принципиальным сторонником децентрализации политико-административной системы России, настаивая при этом на расширении сферы компетенции органов местного самоуправления: «Ведь расцвет местной жизни есть основа силы государства, местное самоуправление есть школа для государственного управления». М. М. Алексеенко считал необходимым признание за государством широкой социальной ответственности. Косвенное налогообложение тяжким бременем падает на мелкого плательщика, рассуждал он, следовательно, и государственные расходы должны прежде всего идти на удовлетворение его нужд. Во имя возможности проведения широких социальных программ председатель бюджетной комиссии считал нужным сохранить государственные монополии и казенные железные дороги. «Вам даны хорошие финансы — дайте хорошую политику», — требовал Алексеенко от правительства, перефразируя слова одного французского министра.

Слабое сердце М. М. Алексеенко требовало отдыха и спокойствия. Врачи настаивали, чтобы он прекратил интенсивно работать хотя бы временно. Однако все оказалось напрасно: 18 февраля 1917 года Михаила Мартыновича не стало. На следующий день, по случаю траура, заседания Государственной думы приостановили. «На панихиде приставы Думы стоят на дежурстве, — записал в своем дневнике начальник отдела Общего собрания Я. В. Глинка. — Родзянко меня спрашивает: „А как вы будете хоронить, если умрет председатель?“ Я отвечаю, что большего парада трудно сделать».

20 февраля 1917 года председатель Думы М. В. Родзянко предложил повесить портрет М. М. Алексеенко в зале заседаний бюджетной комиссии в знак признания огромных заслуг ее бывшего председателя. Эта мысль вызвала всеобщее одобрение. До бури, потрясшей основы Империи, оставались считанные дни...

ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ПЕТРОВО-СОЛОВОВО:

«Нет специальной русской политической свободы, как нет специального русского электричества...»

КИРИЛЛ СОЛОВЬЕВ

В. М. Петрово-Соловово родился 27 декабря 1850 года в Петербурге, в богатой дворянской семье. В одной только Тамбовской губернии семейные владения превышали 40 000 десятин земли, а еще имелись дома в Москве и Петербурге. Василий Михайлович был настоящим баринoм; он регулярно наезжал в свое имение Андриановка, где щедро одаривал слуг, устраивал катания на лошадях, кормил местных блинами с медовухой. Однажды на Масленицу, когда еще лежал снег, он приказал дорожки для лошадей высыпать сахаром... Здесь стоит добавить всего лишь одну деталь, чтобы посмотреть на этого русского помещика совсем с другой стороны. В. М. Петрово-Соловово был убежденным либералом, активным участником освободительного движения и принципиальным противником самодержавной власти.

Среднее образование он получил в Карлсруэ, в Германии. В 1874 году завершил курс обучения на историко-филологическом факультете Московского университета. А затем началось общественное служение в родной Тамбовской губернии. С 1880 года он почетный мировой судья Тамбовского уезда; в 1887–1908 годах — тамбовский уездный предводитель дворянства. С 1895 года участвует во всероссийских земских сельскохозяйственных съездах. Но все эти биографические подробности не составят полного образа В. М. Петрово-Соловово, если не учесть некоторые факты из его семейной жизни.

Василий Михайлович был женат на дочери московского городского головы князя А. А. Щербатова Софье. Мужем ее сестры, Марии Щербатовой, стал предводитель дворянства Темниковского уезда Тамбовской губернии Ю. А. Новосильцев — известный либерал, организатор земских съездов. А Вера Щербатова, младшая сестра, вышла замуж за философа и либерального общественного деятеля князя Е. Н. Трубецкого. Так породнились те, кому в скором времени суждено будет задавать тон в политической жизни не только Тамбовской губернии, но и всей России. Через новых родственников В. М. Петрово-Соловово сблизился с кругом блестящего русского мыслителя (тоже родом с Тамбовщины) — Б. Н. Чичерина.

В 1890-е годы В. М. Петрово-Соловово был одним из лидеров либерального крыла Тамбовского земского собрания. В этом качестве он сблизился с профессором В. И. Вернадским, земским гласным Тамбовской губернии. Благодаря их переписке вырисовывается своеобразный интеллектуальный портрет Петрово-Соловово. «Задача благомыслящих и интеллигентных людей для меня ясна, — писал он 5 апреля 1895 года. — Она состоит в том, чтобы всеми дозволенными средствами по мере сил направить живую силу в законное русло созидательного прогрессивного течения. Увлечение и слишком быстрые скачки, по моему убеждению, так же вредны, как застой или реакция. Не следует забывать, что мы имеем дело с первыми робкими шагами нарождающегося народного сознания». Иными словами, необходимо способствовать подвижкам в на-

родном правосознании, что, в свою очередь, делало бы изменения в государственной жизни России неизбежными. Этот процесс должен быть целенаправленным и поступательным, а не хаотичным и торопливым.

В письме от 2 января 1896 года читаем: «Носятся слухи, что отмена телесных наказаний будет объявлена на коронации (Николая II. — К. С.), но, по моему убеждению, это не должно остановить ходатайства (земских собраний. — К. С.). Скорее наоборот: весьма важно, чтобы отмена розог явилась не как милость по случаю коронации, но как необходимое исполнение требования общества». Василий Михайлович выступает в данном случае за организацию общественного мнения, которое должно стать инструментом давления на власть. И в последующих письмах развивает свою мысль о технологии формирования консолидированной общественной позиции по тому или иному конкретному вопросу. 17 мая 1896 года он пишет: «Важно, чтобы ходатайство шло от многих губерний и вытекало из одних общих принципиальных оснований. На этой основной теме губерния может делать свои вариации, но важно, чтобы тема была одна, этим выразится общественное мнение». Иначе говоря, чрезвычайно важно координировать деятельность земств и дворянских собраний, чтобы не утратить эффективный механизм формирования общественного мнения. В сущности, эта идея и легла в основание знаменитого кружка «Беседа».

В. М. Петрово-Соловово стал членом «Беседы» с самого ее основания — с 17 ноября 1899 года, когда они вместе с братьями Долгоруковыми, Д. И. Шаховским, Д. А. Олсуфьевым, П. С. Шереметевым и Ю. А. Новосильцевым собрались в московском особняке Долгоруковых в Малом Знаменском переулке. Как вспоминал И. В. Гессен, «заседания происходили в великолепном старинном особняке... в одной из комнат нижнего, довольно мрачного этажа, в которой когда-то Карамзин писал „Историю Государства Российского“». Кружок объединял друзей и знакомых, являвшихся в то же время лидерами земского движения — председателями земских управ и предводителями дворянства. Изначально они отстаивали идею самоуправления в общественной жизни России. В ходе заседаний «Беседы» с неизбежностью возникали также вопросы общеполитического характера, и люди совершенно разных взглядов и мировоззрений находили программные и идеологические компромиссы. Так завязывались контакты между общественными деятелями из разных уголков России, так готовилось соглашение для политических программ будущих партий — так из органики жизни, из ее бытовых и естественных форм вырастали всероссийские партии. Будучи одним из лидеров «Беседы», В. М. Петрово-Соловово принял активное участие в этом процессе. Причем часто выступал как представитель радикального крыла этого кружка.

8 января 1902 года в ходе дискуссии «собеседников» Василий Михайлович утверждал, что объединить их должна «общая идея»: «Такой идеей может быть только представительство и, следовательно, ограничение самодержавия. Теперь ясно, что при самодержавии никакая самостоятельность земств немыслима, почему „Беседа“ и предстоит высказаться, солидарна ли она с конституционалистами или нет». 22 августа 1902 года, во время обсуждения доклада Н. Н. Львова, В. М. Петрово-Соловово предложил в качестве компромисса «вовсе не касаться вопроса о самодержавии»: «Надо стоять за свободу совести, за свободу личности, за свободу печати, за развитие самоуправления. Для достижения этого необходимо представительство общества в законодательных учреждениях. Все это необходимо, а какие последствия от того произойдут в государственном строе — вопрос второстепенный, которого лучше теперь и не касаться». Вместе с тем он обозначил, что путь к широким реформам лежит через общественное мнение: «Общество менее подготовлено к восприятию реформ, чем думает Н. Н. Львов. В обществе есть только смутное недовольство существующим порядком, только немногие доросли до ясного сознания необходимости активного

протеста, хотя бы и в легальной лишь форме. Главный недостаток нашего общества — это его апатичность. Необходимо вывести общество из апатичного состояния, для этого необходима пропаганда известных взглядов».

На заседании 25 августа 1903 года В. М. Петрово-Соловово, вопреки мнениям многих «собеседников», настаивал: «Нам нельзя закрывать глаза на то, что мы есть, мы — партия, и партия политическая. Первое условие жизненности всякой организации — солидарность убеждений ее членов, солидарность, идущая дальше согласия в будничных, школьных, медицинских, ветеринарных вопросах, касающаяся самой конечной цели. Поэтому расширение состава „Беседы“... должно быть поставлено под углом — согласия с нами в нашей конечной цели — борьба с самодержавием». Эта точка зрения вызвала неприятие многих присутствующих (в частности, Н. Н. Львова и князя Пав. Д. Долгорукова): они опасались за хрупкое единство кружка, объединявшего очень непохожих друг на друга земских деятелей. Но Василий Михайлович продолжал отстаивать свою позицию: «Нельзя вести борьбу и не знать, с кем ее ведешь, не отдавать себе отчета, боремся ли мы с безобразием урядника или исправника, земского начальника или губернатора, с безобразием этих представителей администрации или с безобразием самого строя. Ведь административный произвол — принадлежность не царствования Николая II, не царствования того или другого монарха: личность монарха не играет тут существенной роли. Административный произвол — необходимая при настоящих, значительно более сложных, чем раньше, условиях жизни, особенно в таком обширном государстве, как Россия, необходимая принадлежность самодержавного строя. Или вы хотите самодержавия — тогда, значит, вы хотите цензуры, предельного обложения (земства. — К. С.), земских начальников — одним словом, произвола, или... вы не хотите ни того, ни другого. Держится самодержавие, главным образом, тем обаянием, которое оно умело себе создать, которым оно пользуется в массах и даже в культурной среде». Следовательно, необходимо воздействовать на общественное мнение, чтобы поколебать авторитет самодержавной власти. И это должно стать первым шагом к строительству конституционного государства. Причем В. М. Петрово-Соловово был убежден в поступательном движении России к новым принципам политической организации, явным признаком которого считал укрепление либерального течения общественной мысли. «Конституционное движение у нас начинает все более складываться в определенные формы, — писал он редактору журнала „Освобождение“ П. Б. Струве. — Устраиваются съезды, на которых вырабатываются программы... Это признак времени, либерального влияния, захватившего... такие сферы, которые, казалось бы, едва ли ему поддадутся».

На заседании «Беседы» 31 августа 1904 года В. М. Петрово-Соловово вновь разошелся с большинством присутствующих. Он высказался против разворачивания антиправительственной кампании в условиях Русско-японской войны: «Победа наша вполне возможна и, безусловно, необходима: надо завоевать Маньчжурию, чтобы не допустить японцев занять первенствующее положение на Дальнем Востоке, и, во всяком случае, нельзя кончать войну поражением русского оружия, и невозможно также во время военных действий делать общественные манифестации». Здесь проявилось свойственное будущим октябристам признание безусловной ценности общегосударственных интересов. При этом Петрово-Соловово был убежден, что политический кризис в России, имеющий глубокие корни, с неизбежностью привел бы самодержавие к краху уже после окончания войны.

Активно вовлеченный в общественную жизнь В. М. Петрово-Соловово принял участие в съезде «Союза земцев-конституционалистов» 9–10 июля 1905 года. Его точка зрения явно диссонировала с тем, что говорило на съезде большинство. Будучи безусловным сторонником коренного обновления государственного строя России, он

тем не менее не считал, что даже такая цель оправдывает любую тактику. В частности, эта позиция сказалась на его отношении к возможности присоединения «Союза земцев-конституционалистов» к более радикальному «Союзу союзов»: «Я согласен, что формально каждый союз имеет, конечно, право не подчиняться решениям Союза Союзов, но ведь важно не формальное, а принципиальное согласие с той революционной тактикой, которую, по-видимому, проводит Союз Союзов. Прочитанная прокламация гласит, что мы считаем возможным в борьбе с правительством, именуемым разбойничьей шайкой, все средства. Даже более того, там рекомендуется испробовать все средства борьбы, следовательно, и яд, и кинжал, и бомбу. Раз мы после подобного вполне определенного заявления Союза Союзов вступим в его состав, то тем самым мы выразим наше принципиальное согласие с его взглядами, а иначе нас могут потом упрекать, и это может лишь увеличить раскол и рознь. Если же мы не согласны следовать указаниям Союза Союзов, то зачем нам вступать в него. Я... полагаю для себя пределом акты нравственного воздействия и на физическое насилие не согласен, а потому считаю, что нам не следует присоединяться к такой революционной организации, которой, по-видимому, является Союз Союзов».

В 1905 году В. М. Петрово-Соловово возглавил тамбовское отделение «Союза 17 октября», а с 1906-го был уже членом Московского ЦК партии октябристов. «Нам предстоит задача точно проверить курс нашего государственного корабля. Заботливо оберегая его от когтей революционной Сциллы, не ведет ли его наш кормчий слишком близко к пасти реакционной Харибды?» Таким вопросом задавался Василий Михайлович в полемической брошюре «„Союз 17 октября“ и его критики» (1906). Его сочинения, посвященные программе октябристов, распространялись большими тиражами по всей России. Автор доказывал в них, что Россия должна развиваться на основе исторических традиций, но при этом в соответствии с европейскими тенденциями; что самодержавие сыграло колоссальную роль в становлении российской государственности, но к началу XX века исчерпало свой творческий потенциал. «Как бы ни изошрялись защитники неограниченной царской власти, но им никогда не удастся отыскать ту формулу, посредством которой можно было бы примирить непримиримое. Истинное единение между монархом и народом может произойти только на почве политической свободы, из которой органически вытекают все остальные свободы: слова, печати, собраний, союзов, а также гражданская и уголовная ответственность высших и низших чиновников перед общим и для всех равным судом».

В 1907 году Василий Михайлович был избран депутатом III Государственной думы от Тамбовской губернии. Ему доверили пост товарища председателя земельной комиссии, но по причине болезни значительное время он вынужден был проводить в Ялте. Тем не менее авторитет В. М. Петрово-Соловово в Думе был очень велик: его именовали «одним из благороднейших членов фракции „Союза 17 октября“». Современники вспоминали: «Выступая с речами по отдельным вопросам, он всегда проявлял себя человеком широкой терпимости, с уважением относящимся к чужим убеждениям, истинным поборником расширения прав народного представительства».

Выступая с позиций убежденного конституционалиста, В. М. Петрово-Соловово не считал возможным идти на какие-либо компромиссы по принципиальным вопросам с правомонархическими силами. На заседании Государственной думы 20 ноября 1907 года он сказал: «Мы знаем, господа, что законодательная власть всецело принадлежит нам, т.е. русскому парламенту, понимая под этим нижнюю, верхнюю палаты и государя императора». И тогда же он смело вступил в полемику с председателем Совета министров П. А. Столыпиным, намекнувшим на невозможность реализации западноевропейских конституционных норм в России. «Есть же, господа, идеи, которые заложены в душе как отдельного человека, так и целого народа. К этим идеям принад-

лежит идея политической свободы. Само собой разумеется, что этнографические, экономические, географические и другие условия нашей страны придают несколько отличный от других народностей характер нашему конституционному строю. Но самая сущность этого строя — политическая свобода, обязательная в равной мере и для монарха, и для народного представительства, — одна и та же. Нет специальной русской политической свободы, как нет специального русского электричества. Поэтому я позволю себе назвать несколько славянофильской нотку, которая прозвучала во второй речи председателя Совета министров и которая вызвала одобрение на правой стороне этого зала, но она не вызывает во мне сочувствия». И в конце выступления вновь прозвучало «кредо» конституционалиста Петрово-Соловово: «Я страшно желал бы, чтобы слово „русская конституция“ сделалось таким обыденным словом, чтобы оно перестало вызывать как негодование справа, так и одобрение слева». Иными словами, конституция должна стать бытом и нормой общественно-политической жизни России. «Чувствовалось, что человек говорил о том, о чем думал давно, что составляло мечту его сознательной жизни».

Несмотря на мучившие его болезни, Василий Михайлович оставался действующим политиком. Он жестко оппонировал политике блокирования с умеренно правыми, которую проводил лидер октябристов А. И. Гучков. «Если не нужно дразнить умеренно правых, то не нужно идти у них на поводу. Всякая партия должна иметь свою физиономию», — говорил он Гучкову в мае 1908 года. В самом конце жизни В. М. Петрово-Соловово убеждал октябристов провести закон об отмене смертной казни. По его мнению, этот законопроект должен был стать «знаменем» молодой партии.

В июне 1908 года по столице распространилась эпидемия оспы. В. М. Петрово-Соловово решил на всякий случай привиться. В середине июня врач осмотрел его и констатировал, что прививка прошла успешно. Правда, пациент жаловался еще и на боли в животе. Ему выписали лекарства, однако с каждым днем боли усиливались. Требовалась операция, но больной от нее категорически отказывался, пока не будет оповещена его жена, которая жила в Тамбовской губернии. Вечером 22 июня в Мариинской больнице Санкт-Петербурга Василий Михайлович скончался. На следующий день состоялась панихида с участием всего президиума Думы, присутствовали более двухсот депутатов — представителей большинства фракций. Во время траурной церемонии были возложены венки от фракции октябристов, польского коло. Оппоненты-кадеты приготовили особый венок, надпись на котором гласила: «Истинному конституционалисту». 25 июня 1908 года В. М. Петрово-Соловово похоронили в Москве, на кладбище Донского монастыря.

СЕРГЕЙ Илиодорович Шидловский: *«Патриархальный быт прошел, пора сменить его бытом правовым...»*

Кирилл Соловьев

С. И. Шидловский родился 16 марта 1861 года. Сын воронежского губернского предводителя И. И. Шидловского, он был владельцем (вместе с братом и сестрами) 20 000 десятин земли в Воронежской и Екатеринославской губерниях. Образование получил в Александровском лицее, который окончил в 1880 году. Женился на дочери сенатора и статс-секретаря А. А. Сабурова. И как бы ни сопротивлялся сам Сергей Илиодорович, его служебная карьера развивалась своим чередом. С 1880-го он — на службе в Министерстве внутренних дел; много путешествовал по Европе, Турции, Египту. И наконец осел в собственном имении в Воронежской губернии.

Чиновником особых поручений при МВД Шидловский стал в 1891 году. В 1897-м, во время первой Всеобщей переписи населения, руководил деятельностью переписных учреждений Харьковской и Полтавской губерний. В 1900-м, по приглашению директора банка А. А. Ливена, занял пост члена Совета Крестьянского поземельного банка; руководил банковскими операциями по покупкам земли, совершая разъезды по всей России. По его инициативе банк начал использовать тактику самостоятельного поиска потенциальных покупателей и индивидуальной работы с ними.

Уже в те годы Сергей Илиодорович пришел к мысли о необходимости коренных изменений в сфере земельного законодательства. Он отмечал, что государство намеренно консервирует архаичную сословную систему, ставящую крестьянина за рамки общепринятых норм права. При этом изменение юридического статуса крестьянина было тесным образом связано с трансформацией института собственности в России: «Мне когда-то говорил один сведущий цивилист, что нашим законом предусмотрено одиннадцать случаев присвоения чужой собственности, которые еще не являются кражей, как то: потрава, порубка, срывание плодов и т.п. Можно ли ожидать надлежащего уважения к чужой собственности или, во всяком случае, отношения, подобного западноевропейскому, когда самим законом установлено снисходительное отношение к его нарушению». Шидловский принимал активное участие в работе банка до смерти А. А. Ливена в 1902 году. Преемник Ливена В. В. Мусин-Пушкин инициативу своим сотрудникам не предоставлял, и выполнять его поручения стало Сергею Илиодоровичу в тягость. Зато он подключился к работе Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности: участвовал в составлении общего свода трудов, писал всеподданнейший доклад С. Ю. Витте с изложением результатов деятельности Особого совещания.

В октябре 1905 года С. И. Шидловский, по приглашению главноуправляющего землеустройством и земледелием П. Х. Шванебаха, занял пост директора Департамента земледелия. «Время тогда было самое скверное. Заниматься текущим делом было совершенно невозможно, царило революционное возбуждение, нам, директорам департаментов, было приказано являться на службу в 8 часов утра, не для того, чтобы

начинать работу, а для того, чтобы быть на месте, если в Министерство ворвется уличная толпа, чего ожидали ежедневно». Сотрудники требовали от начальства разрешения носить огнестрельное оружие. Такую петицию подали и Шидловскому: «Они очень сконфузились, когда я самым искренним образом по этому поводу расхохотался, представив себе некоторых из своих чиновников, ходящих с револьвером в кармане, и сказал им, что если разрешить их ходатайство, то ни одной секунды нельзя будет ручаться за безопасность их жизни в Департаменте, наверное, кто-нибудь кого-нибудь застрелит».

В эти месяцы полной дезорганизации власти руководителю департамента часто приходилось брать ответственность и принимать решения на свой страх и риск. Так, он распорядился выдать из казенных средств 5000 рублей истопникам Ботанического сада, чтобы предотвратить возможность забастовки. Это считалось серьезным правонарушением, так как без санкции министра, а иногда и самого императора он не мог и гвоздя купить. Вместе с тем проекты циркулярных писем губернаторам буквально тюками громоздились на столе Шидловского — и на всех должна была стоять его подпись. Экономя свое время, он начал подписывать лишь один экземпляр таких циркуляров, рискнув создать прецедент, который впоследствии определил порядок работы в Главном управлении земледелия. Но все-таки неблагоприятная бюрократическая работа тяготила директора. К тому же он стремился быть поближе к своему имению: вокруг полыхали усадьбы соседей, и только нанятая вооруженная охрана спасла его земли от разграбления.

Весной 1906 года предстояли выборы в I Государственную думу, и С. И. Шидловский подал в отставку. Ему удалось попасть в выборщики от Воронежской губернии, но депутатом он не стал. Избирательная кампания во II Думу принесла еще большее разочарование: голосующие не доверили ему места даже в губернском избирательном собрании. Наконец, с третьего раза, осенью 1907-го Шидловский стал депутатом Государственной думы. По его воспоминаниям, партийные группировки в Воронежской губернии обладали чрезвычайно малым весом. Ключевую роль в организации сыграли земцы. Поначалу они всячески искали соглашения с выборщиками-крестьянами, но тех раздирали внутренние противоречия. В итоге состоялся альянс умеренных земцев-октябристов и духовенства, что и позволило Сергею Илиодоровичу избраться в III и IV Думы.

В III Думе он входил сразу в шесть комиссий, но все же большую часть времени отдавал комиссии по земельным вопросам. С 1908 года стал товарищем (заместителем) председателя, а с 1911-го — председателем земельной комиссии. Все лето 1908 года Шидловский работал над подготовкой доклада об инициированной правительством П. А. Столыпина земельной реформе. «Работа эта доказывает, — писал он Н. И. Гучкову 25 августа, — что закон есть возвращение к принципам положения 1861 года и отказ от реакционной и, прямо скажу, крепостнической политики Толстого, Дурново, Плеве и К^о». В основу доклада легла мысль о необходимости утверждения принципа частной собственности в правовой жизни Российской империи. При этом понятие «собственность» должно было интерпретироваться не в согласии с канонами римского права, а в контексте современных европейских представлений, когда собственность служит не только ее владельцу, но и всему обществу. «Государство... бесспорно, вправе налагать целый ряд ограничений на использование собственником своих прав собственности, при которых говорить уже о священности и неприкосновенности права собственности, как в былые времена, не приходится. Можно ли, например, теперь представить себе, чтобы частные лица или компании таковых, обладая колоссальнейшим капиталом, начали скупать городские кварталы, сносить дома и устраивать вместо них пастбища для скота. Пример этот, разумеется, совершенно фантасти-

ческий, но теоретически возможный, и, конечно, ничего подобного никогда государство не допустит совершенно основательно, несмотря на полное признание им права собственности».

На встрече с избирателями Петербурга 15 марта 1909 года С. И. Шидловский предложил вписать законопроект в значительно более широкий контекст формирования правового пространства Российской империи: «Жить возвратом к прошлому... это значит искать невозможного. Патриархальный быт прошел, пора сменить его бытом правовым. Наше несчастье в том, что мы еще вынуждены жить остатками исчезающего патриархального быта, а правовой все еще не вошел в нашу жизнь. И отсюда брожение. Все в жизни идет вперед, все прогрессирует, а взывать теперь, в XX веке, к быту XVII века — в этом громадная ошибка правых». По мнению политика, правовое разрешение аграрного вопроса исключает возможность какой-либо национализации. Поэтому принудительное отчуждение, отстаиваемое кадетами, с его точки зрения, абсолютно не сочетается с общей логикой лидеров Конституционно-демократической партии, которые в данном случае заигрывали со стихийным социализмом русской деревни. Аналогичную политику начиная с 1880-х годов проводило и правительство, чью линию поведения по отношению к крестьянам можно охарактеризовать девизом: «Я дам, я все вам дам». Шидловский настаивал, что это заметно подрывало основы правопорядка в России. При этом формирование полноценного института собственности, по его мнению, следовало увязать с правовой эмансипацией крестьян. Бесправие крестьянина по отношению к государству порождало социальный инфантилизм, который был сродни отношению крепостного к своему помещику. «Являлся некогда крепостной человек к своему барину и говорил: „Ты мой собственник, и ты должен давать мне все, чего мне недостает“. Но разве теперь отношение крестьян к правительственной власти иное? Я позволю себе формулировать отношение народа к государству так: „Я подати плачу, рекрутов даю, за это государство давай мне, чего у меня нет“. Это, несомненно, отрывка крепостного права, и правительство не пыталось разрушить такой пережиток старого времени, несовместимый с началами гражданственности. С момента раскрепощения, с 61 года, началась политика благотельно-опекающая».

Письменный текст доклада земельной комиссии, предварительно распространявшийся среди депутатов, заметно отличался от устного: основные аргументы С. И. Шидловский припас для выступления с кафедры, дабы не давать оппонентам лишних козырей и времени для подготовки. Эта тактика себя оправдала, и выступление окончилось полным триумфом. С думской трибуны Шидловский неизменно отстаивал принцип индивидуальной свободы, предполагавший, в том числе, и ставку на сильных и лучших. В ходе прений по закону о землеустройстве он убеждал Думу: «Прогресс идет от меньшинства к большинству, а не наоборот. Во всяких экономических приемах, во всяких технических приемах большинство всегда косно, и всегда весь прогресс идет от тех отдельных лиц, которые в этом прокладывают новые пути, и за ними следует потом большинство, слепо следует и очень быстро».

С октября 1909-го по октябрь 1910 года С. И. Шидловский был товарищем председателя III Думы. На этом посту ему везло: он очень редко оказывался в эпицентре серьезных конфликтов, которые вспыхивали во время пленарных заседаний. Позднее вспомнился лишь эпизод с выступлением кадета Ф. И. Родичева, всколыхнувшим всю Думу. «Отдельные лица бросались с угрожающими жестами к председательской кафедре, а галдеж достиг невероятных размеров. Я воспользовался несколькими секундами сравнительного затишья и заявил, что собрание криком не может заставить меня изменить мое мнение». Председательствующий прервал заседание, и после перерыва Родичев спокойно закончил свою речь.

В IV Думе Шидловский оставался председателем земельной комиссии, одновременно состоя членом комиссий для составления проекта всеподданнейшего адреса, о печати, бюджетной и др. В этой Думе он заявил о себе как о безусловном лидере либерального крыла октябристской фракции. На конференции «Союза 17 октября» 9 ноября 1913 года он утверждал, что «октябристы сложились из разных элементов, борясь с революцией»: «Теперь идти с правительством нельзя, потому что оно вызывает революцию. В области управления — сплошной произвол. Нужно поэтому использовать все способы легальной борьбы, отвергая сметные ассигнования, нужные правительственной власти». Не находя поддержки у центра и правого крыла фракции, Шидловский вышел из ее состава и стал одним из лидеров особой «Группы Союза 17 октября». По донесениям заведующего Министерским павильоном Таврического дворца Л. К. Куamaniна, на заседании левых октябристов 30 ноября 1913 года «большинство во главе с Шидловским, Хомяковым, Годневым и Опочининым находило, что нет больше сил терпеть иго правого октябризма, пора перестать идти в поводу политики господ Шубинских и Скоропадских, пора снять чехлы и распустить октябристские знамена. Пора образовать самостоятельную политическую группу, не запятнанную политикой уступок и компромиссов, пора выступить с открытым забралом, чтобы не потерпеть нового постыдного поражения на будущих выборах».

Начало Первой мировой войны застало С. И. Шидловского в Германии. Пришлось срочно возвращаться домой. На вокзалах царило столпотворение. «Поезд, конечно, был переполнен, стояли и сидели на вещах, в коридорах и на площадках, но когда утром проводник спросил меня, желаю ли я получить кофе в купе, а я усомнился, как мне его получить из имевшегося при поезде кофейного буфета, то проводник весьма твердо ответил мне, что мне он обязан принести и принесет. Действительно, он принес». Однако комфорт и привычки мирного времени постепенно уходили в прошлое. Сын Сергея Илиодоровича отправился на войну и вскоре за проявленный героизм был награжден Георгиевским крестом.

Тяжелые бои поджидали и в Петрограде. В августе 1915 года Шидловский вместе со многими октябристами вошел в Прогрессивный блок. «Прогрессивный блок, — вспоминал он впоследствии, — показал воочию, до какой степени легко по многим вопросам сговориться, когда есть к тому малейшее желание и когда этим делом занимается надлежаще сорганизованный, соответственный орган». Летом 1916 года С. И. Шидловский оказался одним из немногих приглашенных в Елагинский дворец для встречи с председателем Совета министров И. Л. Горемыкиным: тот убеждал депутатов на период войны прекратить всякую политическую борьбу и сплотиться вокруг личности императора. В ответ на это С. И. Шидловский, который должен был выступить первым после главы правительства, в корректных выражениях высказал мысль о необходимости отставки кабинета. Схожие вещи говорили и прочие депутаты. «Последний из опрошенных, Шульгин, со свойственными ему медовым красноречием и мягким тоном, добил старика: „Да Вы, Ваше Высокопревосходительство, не поняли того, что Вам сказал Сергей Илиодорович, а за ним и остальные. Вам нужно уйти, Ваше Высокопревосходительство“». Растерявшийся Горемыкин начал доказывать, что он не держится за власть и лишь долг перед государем заставляет его оставаться на высоком посту... Аналогичное собрание с участием Шидловского провел и Государственный контролер П. А. Харитонов.

Став председателем бюро Прогрессивного блока, Шидловский активно участвовал в разработке ответственных решений. «Надо стать на точку зрения критики системы, а не Штюрмера (председателя Совета министров. — К. С.): последующий (премьер. — К. С.) может быть еще хуже, — убеждал он коллег 22 октября 1916 года, когда обсуждался проект совместной декларации. — Нужно стать на общую точку зрения — ука-

зять на общую систему. Мы должны выиграть войну вопреки этой системе». Как впоследствии, на заседании блока 16 ноября, утверждал его председатель, политическую борьбу надо вести такими приемами, которые не расшатывают правопорядок в государстве и не подрывают военную мощь России. «Думал ли кто-нибудь, что все это (действия Прогрессивного блока. — К. С.) произведет полное крушение системы? Нет. Мы стали на путь борьбы длящейся. ...Правительство думает, что мы делаем революцию, а мы ее предупреждаем... Раз за истекший год мы не сошли с позиций, а усилили, мы будем стоять за них до полного удовлетворения, которое требует длительной борьбы, ибо штурмом ничего не достигнем. Иначе мы не будем решающей силой, а одним из факторов: другим будет улица. Мы не идем на вызов масс».

Россия подходила к февральскому рубежу. 27 февраля Сергей Илиодорович стал свидетелем того, как солдатская толпа, прорвавшись через ограду, устремилась к Таврическому дворцу. Навстречу была послана делегация, где октябрист С. И. Шидловский составил компанию социал-демократам М. И. Скобелеву и Н. С. Чхеидзе, а также трудовику А. Ф. Керенскому. «Вот такое нам надо правительство!» — кричали солдаты. На некоторое время их удалось успокоить.

Но время нельзя повернуть вспять. Вскоре «масса» уже полновластно господствовала в Таврическом дворце, вытесняя одно думское учреждение за другим. «Первые же дни революции воочию показали мне и убедили меня в том, что культурный ход революции в России невозможен и удержать ее развитие в известных рамках немислимо, почему и Государственной думе ни захватить руководства ею, ни стать во главе ее не удастся», — отмечал в своих воспоминаниях Шидловский.

После Февральской революции он возглавил Совет по делам искусства, стал комиссаром в Академии художеств. В апреле 1917-го работал в комиссии по выработке закона о выборах в Учредительное собрание. С августа 1917-го стал представителем Государственной думы в Поместном соборе Русской православной церкви. Тогда же, в августе, участвовал в Государственном совещании, а затем вошел во Временный совет Российской республики (Предпарламент).

Октябрь 1917 года Сергей Илиодорович встретил в Петрограде. После кратковременного ареста дочери, которую допрашивал сам Ф. Э. Дзержинский, семья приняла решение об эмиграции. Для этого переехали сначала в Псковскую губернию, а уже оттуда, под покровом ночи, переправились через эстонскую границу. Благодаря рекомендательным письмам к членам эстонского правительства, которые глава семейства догадался захватить в Петрограде, он с семьей не был выдан советским властям. С 1920 года С. И. Шидловский жил в Эстонии, работая в Министерстве юстиции молодого государства и занимаясь, в том числе, и земельным законодательством.

Кроме того, в послереволюционные годы Шидловский был активно вовлечен в дела эмиграции. Сотрудничал в русскоязычной эстонской газете «Последние известия», был председателем Второго съезда русских эмигрантов в Эстонии. В июле 1921-го принял участие в работе съезда Русского национального объединения в Париже, собравшего сторонников продолжения вооруженной борьбы с большевиками и сохранения Русской армии генерала П. Н. Врангеля. 7 июля 1922 года Сергей Илиодорович Шидловский скончался в Ревеле (Таллин).

**АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
КОРНИЛОВ:**
*«Вести работу не разрушительным
натиском, а положительным
строительством...»*

АЛЕКСЕЙ КАРА-МУРЗА

В российской политике и культуре есть фигуры, которые не попадают в список «заглавных персонажей» при беглом перечислении. Привычное разделение исторических личностей на «героев» и «злодеев», казалось, навеки лишило их законного места в истории: они были ей настолько органичны, настолько легки и неамбициозны в жизни, что верным соратникам как-то и в голову не приходило их канонизировать, а врагам — по-настоящему бояться и проклинать. Лишь вдумчивый анализ контекста, в котором в России вообще возможны и политика, и подлинная культура, позволяет выявить действительную роль этих людей. К числу таких не оцененных по достоинству фигур дореволюционной России, несомненно, относится Александр Александрович Корнилов (1862–1925). Подлинный масштаб его личности — крупнейшего историка, политика, просто глубокого и совестливого русского человека — становится понятен только спустя годы и годы...

Когда в конце 1925-го разбросанные по миру друзья Корнилова с опозданием узнали о его смерти в Ленинграде, они сначала не могли в это поверить. Бывший тогда в Париже академик В. И. Вернадский писал оставшемуся в России князю Д. И. Шаховскому: «Признаюсь, у меня даже явилось сомнение, верно ли это известие, так как оно не получило никакого отголоска в печати... Но, может быть, печать ее и не отметила?»

Александр Александрович Корнилов родился в Санкт-Петербурге 18 ноября 1862 года в дворянской семье. Дед его, военный моряк, приходился двоюродным братом знаменитому адмиралу Владимиру Алексеевичу Корнилову, герою Наваринского и Синопского сражений, руководителю обороны Севастополя, смертельно раненному ядром на Малаховом кургане. Отец Корнилова, тоже Александр Александрович (1834–1891), в Крымскую войну ушел на Черноморский флот добровольцем; в 1857-м принял участие в кругосветном путешествии в качестве флаг-офицера. В конце 1850-х годов он был замечен и приближен А. В. Головниным — другом и личным секретарем великого князя Константина Николаевича, младшего брата императора Александра II, главы Морского министерства и лидера дворцовой реформаторской «партии». Головнин, неформальный лидер «константиновцев» (при Александре II он стал министром народного просвещения), возглавлял тогда редакцию знаменитого «Морского сборника» — поначалу официального органа Морского министерства, сыгравшего затем большую роль в подготовке и проведении Великих реформ 1860-х. Повседневную работу взял на себя А. А. Корнилов: морской офицер, честный и трудолюбивый человек, он принял должность помощника редактора. О влиятельности и значении этого издания на рубеже 1850–1860-х годов говорит хотя бы тот факт, что в число активных сотрудников «Сборника» входили М. Х. Рейтерн (будущий министр финансов кабинета Великих реформ), писатель В. А. Цеэ (будущий председатель Санкт-Петербургского цензурного комитета), литератор и искусствовед Д. В. Григоров

вич, врач и педагог Н. И. Пирогов и др. Н. Г. Чернышевский называл «Морской сборник» «одним из замечательнейших явлений нашей литературы», а будущий министр внутренних дел П. А. Валуев как-то написал, что иные газеты только и живут перепечатыванием статей из «Морского сборника».

В 1861 году Александр Корнилов-старший женился на Елизавете Николаевне Супоной, от брака с которой родились трое сыновей и пять дочерей. Небогатый дворянин, обремененный большой семьей, решил уйти из теряющего свое влияние «Морского сборника» на государственную службу. В 1866-м он поступил в ведомство Государственного контроля, под начало одного из старых «константиновцев» В. А. Татаринова, и далее последовательно занимал важные должности управляющего контрольной палатой в Киеве, Кишиневе, Люблине, а в 1870-м осел в Варшаве. С 1881 года он — управляющий канцелярией одесского генерал-губернатора И. В. Гурко, с которым затем (с 1883) в той же должности работал и в Варшаве. В конце своей карьеры Корнилов-старший достиг генеральского чина тайного советника, был кавалером нескольких орденов.

Что касается Александра Корнилова-младшего, то он в 1880 году окончил в Варшаве первую («русскую») гимназию и поступил на математический факультет Санкт-Петербургского университета, откуда, увлекшись гуманитарными науками, перевелся на другой факультет — юридический. В столичном университете сформировался тогда уникальный кружок единомышленников — так называемых «варшавян», начинавших образование в столице Польши, а затем переехавших для продолжения учебы в Петербург. В него входили крупные впоследствии русские политики и ученые: Федор и Сергей Ольденбурги, князь Дмитрий Шаховской, Сергей Крыжановский и др. Еще один член этого кружка, ставший крупным историком Иван Гревс, писал: «Александр Александрович Корнилов (в компании „Адя“) был человеком замечательной доброты и дружелюбия, принципиально и серьезно относившийся к жизни с юности, умный и дельный работник. Он вырос в ладной многодетной семье с несколькими младшими сестрами, о развитии души которых радел братски, почти отечески. Он искренне проникнут был патриархальными традициями теплых, крепких домашних привязанностей. Александр Александрович и на друзей переносил свою способность к глубоким интимным отношениям, становившимся почти кровными в его сердце. Он, сам всегда бесхитростный и скромный к себе, высоко ставил членов своего дружеского союза и навсегда остался для тех, кто сами сохранили основы своего духа, верным другом в жизни, незаменимым сотрудником в делах».

Если говорить о целях участников студенческого «братства», то И. Гревс определил их так: «Они хотели, чтобы в студенческой России вырос надпартийный, просвещенный, реально-идеальный, искренний, демократический либерализм... Они горячо любили народ, но высоко ставили миссию интеллигенции, не противопоставляя второй первому, но и не принижая ее перед ним. Они призывали вести свою работу не разрушительным натиском, а положительным строительством. Но они предвидели в борьбе с правительством неизбежность жертвы и готовы были идти на нее. На первый же и первостепенный план выдвигали... задачи серьезного прохождения через науку: они видели, как просвещение угнетается властью».

В 1886 году А. А. Корнилов защитил магистерскую диссертацию «О значении общинного землевладения в аграрном быту народов» и спустя некоторое время получил назначение комиссаром по крестьянским делам в Конский уезд Радомской губернии Царства Польского. Здесь молодой чиновник впервые вплотную столкнулся с крестьянскими проблемами. Он потом вспоминал: «Мне шел в то время двадцать пятый год. По наружности, впрочем, я выглядел гораздо моложе. Помню даже один случай, повергший меня в то время в немалое смущение, когда пришедшие ко мне по делу крестьяне приняли меня за комиссарского сына и долго не хотели верить, что имеют дело с самим комиссаром».

Между тем Александру Корнилову хотелось более точного приложения главной для членов «братства» идеи «народного служения». В феврале 1892 года он в первый раз уходит в отставку с государственной службы и в течение полутора лет отдает себя борьбе с последствиями страшного голода в Тамбовской, Воронежской и Тульской губерниях.

В 1894 году Корнилов напечатал в «Русской мысли» ряд статей под общим заглавием «Судьба крестьянской реформы в Царстве Польском». Затем они вышли отдельным изданием, привлечшим внимание к автору — не только как к перспективному общественному деятелю, но и как к талантливому историку-исследователю. Тогда же Александр Александрович становится завсегдатаем регулярных журфиксов, которые проводились на квартире редактора «Русской мысли» В. А. Гольцева. Здесь, помимо старых друзей (Ольденбургов, Вернадских, Шаховского), собирались и многие другие люди, сыгравшие исключительную роль в отечественной истории: С. А. Муромцев (юрист, будущий председатель I Думы), П. Н. Милюков (историк, будущий кадетский лидер), философ и правовед П. И. Новгородцев, земские лидеры и будущие депутаты И. И. Петрункевич, Ф. И. Родичев и др.

В 1894 году судьба (а точнее, любовь) привела А. А. Корнилова в Восточную Сибирь. Дело в том, что его невеста, Наталья Антиповна Федорова (Таля), — уроженка Иркутска. Обучаясь на столичных Высших (Бестужевских) курсах на стипендию от городской думы, она была обязана затем некоторое время отработать учительницей в своем городе. Скрывая от начальства глубинные причины своей заинтересованности (невеста еще не окончила занятия в столице), Корнилов добивается назначения в далекий Иркутск делопроизводителем по крестьянским делам в канцелярию генерал-губернатора А. Д. Горемыкина.

Приняв решение уехать, Корнилов писал Вернадским, не одобрявшим его намерение, что поступление на государственную службу и для него — «несомненный компромисс»: «Сперва я думал, что лучше ехать туда независимым пролетарием и заняться там частным путем изучением Сибири вообще и аграрным вопросом в частности, а также принять участие в местной журналистике. Но потом, по всем собранным о Сибири сведениям, я ясно увидел, с одной стороны, что в качестве частного лица, да еще с ничтожными средствами, трудно будет что-нибудь сделать по части изучения аграрного вопроса и вообще исследования страны; тогда как служба при известных условиях может мне дать возможность сделать то и другое... С другой стороны, после всех разговоров с сибиряками я стал опять думать, что все-таки можно служить в Сибири, если не иметь при этом в виду делать карьеру и ничем себя не связывать, т.е. служить, так сказать, с готовым всегда прощением об отставке в кармане».

Пассажирские поезда доходили в те годы только до Челябинска; далее, до Кургана едущих по служебным делам возили в товарных вагонах (300 верст состав преодолевал за сутки). Потом приходилось добираться в почтовых экипажах (значительную часть года — в зимних санях). Вот так, через Ишим, Канск (с заездом в Барнаул — для знакомства с братом невесты), Томск и Красноярск — Корнилов с одним большим чемоданом, меняя прогонных лошадей, проехал, почти не задерживаясь, 3600 верст в почтовых санях. Путь из Москвы занял семнадцать дней, что поразило встретивших его иркутских коллег — они не ожидали нового чиновника так скоро.

Александр Александрович приехал 1 апреля 1894 года и на первых порах остановился в гостинице «Деко» (считавшаяся тогда лучшей в Иркутске, она показалась ему на редкость грязной). Представившись родным невесты, он преподнес им подарок из столицы — ящик с сотней апельсинов: для Сибири тогда большая редкость. Невеста приехала летом. Таля была незаурядным человеком: прекрасно музицировала, свободно переводила с французского, в начале 1890-х тоже работала в отряде по борьбе с голодом — в Самарской губернии.

Свадьба состоялась 17 октября 1894-го. Молодая чета Корниловых быстро освоилась в культурной жизни Иркутска и спустя немного времени стала играть в ней заметную роль. Именно по их инициативе в городе была организована бесплатная библиотека-читальня, существующая и по сей день. Мысль об ее открытии возникла еще в 1893 году, после неожиданной смерти в одной из экспедиций Александры Викторовны Потаниной — известной исследовательницы Монголии, Китая и Тибета. От средств, собранных на венки (Потанину похоронили в Кяхте), осталось некоторое количество денег, и друзья решили положить их в основание капитала для читальни. Дело быстро двинулось вперед благодаря энтузиазму Корниловых. Поначалу городская дума выделила под библиотеку две комнаты в здании городской управы; вскоре открылось второе отделение, уже в наемном помещении, в более демократической части города — «на Горе». Позднее там построили и собственное здание библиотеки, которой было присвоено имя А. В. Потаниной.

В 1894–1900 годах А. А. Корнилов служил в Иркутске чиновником для особых поручений при генерал-губернаторе Горемыкине, занимался крестьянским вопросом, земским и переселенческим делом в Восточной Сибири. Здесь он стал членом Восточно-Сибирского отделения Императорского географического общества, организатором Общества попечения о распространении народного образования в Иркутской губернии, существенно расширил деятельность Общества пособия учащимся Восточной Сибири и Комиссии для устройства народных чтений. Участвовал он также в местных либеральных кружках; редактировал иркутскую газету «Восточное обозрение», основанную известным деятелем Н. М. Ядринцевым в Петербурге; принял активное участие в строительстве нового каменного театра (взамен ранее сгоревшего деревянного) и был избран городской думой в число пяти его директоров. 26 мая 1898 года он выступил в театре с публичной лекцией о В. Г. Белинском (на пятидесятилетие смерти литератора). Корнилова избрали гласным Иркутской думы, а когда городским головой стал купец В. В. Жарников, ему было поручено председательствовать в тех случаях, когда, согласно Городовому положению, голова не имел права лично вести заседания (например, при утверждении городского бюджета).

В 1900 году на губернаторском посту А. Д. Горемыкина сменил А. И. Пантелеев, который прежде был товарищем (заместителем) министра внутренних дел и руководил жандармами. Это принципиально изменило дело, и Александр Александрович практически сразу подал в отставку. Друзья собрали по подписке 325 рублей на устройство прощального обеда в его честь. Но Корнилов от банкета отказался, попросив передать деньги библиотеке, что и было затем закреплено решением городской думы. В своих «Воспоминаниях» он пишет: «Когда я приехал в Сибирь, я думал в ней остаться года три, не больше, а прожил целых семь лет. Семь лет в возрасте от 31 до 38 лет — большое дело! Но об этом я не жалел. Это были годы быстрого роста Сибири; прошедший через Сибирь железнодорожный путь сильно перевернул все занятия ее жителей. Мощное переселенческое движение в короткое время почти удвоило население Сибири, а проведенные в ней реформы — земельная и судебная — дали Сибири порядочных русских людей в большом числе. В прежнее время сибиряк, кончавший курс в университете, не возвращался в Сибирь, а теперь многие из чиновников были из сибиряков с высшим образованием. Русские люди, приезжавшие на службу в Сибирь, приезжали прежде главным образом нажить и назывались „навозными“. Это было очень характерно. Теперь русские чиновники в Сибири, служащие по судебному или земельному ведомству, отнюдь к этому не подойдут. Прожив в Сибири семь лет, я чувствовал, что пустил корни и что расстаться с Сибирью мне не так легко... Я чувствовал, что принес пользу Сибири, насколько вообще мы можем принести ее».

После возвращения в Санкт-Петербург на имя Корнилова стали приходиться из Иркутска письма: предлагали выступить на выборах в городские головы, стать редактором «Восточного обозрения». В свою очередь, начальник переселенческого управления Министерства внутренних дел А. В. Кривошеин предложил ему должность чиновника по особым поручениям при министре. Открывающиеся перспективы работы с земствами (надо было держать связь с собраниями тех губерний, из которых шли переселенцы) заинтересовали Корнилова, и он было согласился...

Но 4 марта 1901 года полицейские нагайками разогнали мирную манифестацию молодежи у Казанского собора. Участвовавший в ней Корнилов стал одним из инициаторов написания протестного письма, которое опубликовали несколько иностранных газет. Последовал арест: Александр Александрович отсидел двадцать дней в одиночной тюремной камере, затем был выпущен с подпиской о невыезде. Решением министра внутренних дел ему воспрещалось жить в столичных губерниях и университетских городах. Тогда он принял предложение из Саратова, где известный либеральный земский деятель Н. Н. Львов приобрел газету «Саратовский дневник» и подыскивал сильного редактора. Фактически под руководством Львова, блестящего знатока аграрного вопроса, в городе сложился своеобразный научно-издательский центр по проблемам реформаторства в этой сфере (именно в Саратове, например, впервые издали знаменитую «Вымирающую деревню» молодого тогда А. И. Шингарева — будущего кадетского лидера, а потом и министра Временного правительства).

«Саратовский дневник» просуществовал недолго. В середине 1902 года губернские власти приостановили издание и предписали Львову кардинально переменить состав редакции. Лишившись журналистского заработка, Корнилов, не без влияния того же Львова, возвращается к научной работе. Он пишет ряд работ по истории крестьянской реформы, общественному движению в эпоху Александра II, истории декабристского движения. В 1904-м, получив наконец свободу передвижения, Корнилов посещает столицы, а затем уезжает в Париж к П. Б. Струве — помогать в редактировании оппозиционного неподцензурного журнала «Освобождение».

В это время у Тали обострился туберкулез, и ее поместили в швейцарскую клинику. Несколько месяцев спустя она скончалась. Наталью Антиповну похоронили по православному обряду (был приглашен русский священник из Берна) на кладбище в Террите, с которого открывается прекрасный вид на Женевское озеро...

Между тем Александр Александрович, постепенно расширяя круг знакомств в российской политической и литературной среде, оказывается в самом центре либеральной общественной жизни, участвует в работе первых либеральных кружков («Беседы», например) и политических организаций (в первую очередь «Союза освобождения»). После дарования императором Высочайшего манифеста 17 октября 1905 года, фактически легализовавшего политическую деятельность в России, он принял активное участие в создании Конституционно-демократической партии (Партии народной свободы), в которой вскоре был избран секретарем ЦК, отвечающим за все делопроизводство и формирование региональных организаций. Неоспоримо значение Корнилова-организатора в успешных избирательных кампаниях кадетов по выборам в I и II Государственные думы. Его ключевая роль в партии еще более усилилась после создания в первых Думах крупных кадетских фракций. На плечи Корнилова, принципиально отказывающегося от депутатства, легла многообразная повседневная работа, ранее распределявшаяся между такими признанными организаторами (ставшими депутатами), как Д. Шаховской, И. Петрункевич, братья Петр и Павел Долгоруковы, М. Челноков и др.

Впечатляет даже краткий перечень постов и функций Александра Корнилова. На Первом съезде (октябрь 1905) он избирается в Бюро съезда, а затем — в ЦК партии.

На Втором съезде (январь 1906) он, уже в качестве секретаря ЦК, делает основной доклад по организационным вопросам; на Третьем съезде (апрель 1906) — доклад «О внепарламентской деятельности партии»; на Четвертом (сентябрь 1906) — доклад по организационным вопросам; на Пятом (октябрь 1907) — отчетный доклад Центрального комитета за 1905–1907 годы... И помимо этого возглавляет редакцию «Думского листка» — политического органа кадетов.

В 1908 году Александр Александрович вторично женился — на младшей сестре своей первой жены Екатерине. Когда, после рождения дочери, он сложил с себя обязанности секретаря ЦК и временно отошел от большой политики, председатель кадетской партии князь Павел Долгоруков написал ему: «Признаю логичность Вашей мотивировки к отставке. С другой стороны, нахожу Ваш уход из секретарей ужасным ударом по партии, так как, разумеется, никого подобного Вам не найдем».

В 1908–1910 годах Корнилов полностью посвящает себя преподавательской и научной работе: читает курс российской истории XIX века в Петербургском политехническом институте, в Педагогической Академии и на Высших коммерческих курсах М. В. Побединского. (Впоследствии «Курс» неоднократно переиздавался в России, Англии и США и принес автору широкую известность в научных и педагогических кругах.) В те же годы Корнилов-историк плодотворно занимается новыми темами: Отечественной войной 1812 года, эпохой Александра I, творчеством Михаила Бакунина и Александра Герцена.

В декабре 1915 года, на Шестом съезде Корнилов снова делает развернутый доклад (он длился два с половиной часа!) об организационной деятельности кадетской партии и снова единогласно избирается секретарем ЦК. А после гибели на Первой мировой войне лидера петроградских кадетов А. В. Коллюбакина становится еще и руководителем столичной партийной организации. Вспоминая те месяцы, он писал, что его тогдашнюю работу «всего удобнее можно сравнить с беганием белки в колесе».

Действительно, в то время Александр Александрович успевал все: участвовал во всех заседаниях кадетской думской фракции, руководил продовольственной комиссией ЦК партии и работал в нескольких других комиссиях, был членом совета Петроградского попечительства о бедных (в первую очередь об инвалидах войны и семьях фронтовиков), членом Петроградского областного комитета по снаряжению армии. «Вследствие усиленной деятельности и, в особенности, вследствие непосильной мозговой работы, часто продолжавшейся до трех, до четырех часов ночи, я и во сне продолжал обдумывать все те вопросы, которые обсуждал среди дня: засыпая, я продолжал думать все о них же, причем, переплетаясь в причудливые комбинации, мысли мои во сне, гораздо ярче, чем наяву, вырабатывали иной раз удивительные выводы, которые, однако, я потом никак не мог уловить... Увы, тогда я не чувствовал, что это были, может быть, предвестники постигших меня через несколько месяцев апоплексических ударов».

После Февральской революции Корнилов, продолжавший активную работу в партии, был, как признанный знаток крестьянского вопроса, назначен сенатором Второго («крестьянского») департамента Сената. Тяжелейшая, не оставлявшая времени на отдых деятельность, при уже солидном возрасте, надломил его здоровье. В ночь со 2 на 3 июля 1917 года, прямо на заседании ЦК, рассматривавшего вопрос о выходе кадетских министров из состава Временного правительства, с ним случился первый удар; через шесть дней — второй.

В сентябре Александр Александрович, сопровождаемый своим учеником, сыном В. И. Вернадского Георгием Владимировичем (будущим выдающимся историком-эмигрантом), отправился с семьей в Кисловодск. Там Корниловы, несмотря на периодическую помощь друзей, бедствовали. Дочь Тала писала в своем детском дневнике: «Живем в одной комнате, правда, порядочной и теплой, но сырой. Все углы заплесневели».

Очевидно, что и после окончательного поражения белых Корнилов не помышлял всерьез об эмиграции: мешало нездоровье, да к тому же самые близкие и старинные его друзья (Дмитрий Шаховской, Сергей Ольденбург, Иван Гревс) остались в России — чтобы сохранить элементы высокой культуры на обольшевиченной родине. В Кисловодске он пытался зарабатывать лекциями в Народном университете; согревал душу и тот факт, что в 1918 году его знаменитый «Курс истории России XIX века» был снова переиздан в России.

Летом 1921 года Александр Александрович возвращается в Петроград, где продолжает читать лекции по отечественной истории в Политехническом институте. В 1922 году, уже совсем больной, он окончательно оставляет службу и живет на мизерную пенсию. Скончался А. А. Корнилов в Ленинграде 26 апреля 1925 года.

Его старинный друг князь Дмитрий Иванович Шаховской последние годы своей жизни (он был расстрелян большевиками в 1939 году) много хлопотал о бережном сохранении литературно-исторического наследия Корнилова — «для русской исторической науки и назидания подрастающего поколения». «Ведь это самое лучшее, что у нас есть в этой области, — писал Шаховской, — и надо непременно облегчить всячески использование этого для поколения, которое без сознательного понимания пройденного Россией за последние сто лет пути будет жалким болтуном и тягостным и для себя и для других грузом».

МАКСИМ МОИСЕЕВИЧ ВИНАВЕР:
*«Ни свобода, ни порядок немислимы, доколе
нет в стране гражданского равенства...»*

АЛЕКСАНДР СТЕПАНСКИЙ

«До неприличия умный человек» — так называли в кругах кадетской партии Максима Моисеевича Винавера, неперменного члена ее Центрального комитета. В современных энциклопедиях он фигурирует как «один из ближайших соратников Милюкова». Впрочем, в черносотенной литературе последний изображается не иначе как «игрушка в руках Винавера»...

Сам П. Н. Милюков свидетельствовал, что «коллективная работа нашего повседневного политического творчества чаще и больше всего велась Винавером (помимо пишущего эти строки), с участием двух других политических деятелей партии (И. И. Петрункевича и Ф. Ф. Кокошкина. — А. С.). Поскольку же эти двое жили главным образом вне столицы, «в реальной политике, сосредоточившейся в Петербурге, мы с Винавером часто бывали принуждены принимать на свой страх немедленные ответственные решения. При таком распределении работы было особенным счастьем, что, подходя с различных точек зрения к очередным вопросам дня, мы почти всегда сходились в выводах и даже угадывали их заранее...».

Другой член кадетского руководства — А. В. Тыркова также отмечала в своих воспоминаниях особую роль М. М. Винавера в партии: «Хороший оратор, умный, ловкий, искренний защитник правого строя... Винавер мечтал стать руководителем кадетской партии. Ему это не удалось. Не могло удаться... Но к Винаверу прислушивались. У него была очень ясная голова. Он бывал очень полезен при обсуждении запутанных вопросов, особенно юридических...»

Характеризуя мировоззрение Винавера, П. Н. Милюков писал, что его имя «слишком тесно связано с идеей, которая в борьбе страстей и в столкновении крайностей может временно затмиться, но умереть не может... Я говорю об идее демократии — идее, в которой, при правильном ее понимании, радикальные социальные перемены связаны с политическими, и связь эта равно гарантирует применение идеи как от социального, так и от политического обмана...».

Говоря о взглядах Винавера, нужно иметь в виду, что они проявлялись не в научных трактатах и публикациях, а преимущественно в партийных документах, в разработке которых его роль была чрезвычайно велика.

Максим (Мордехай) Моисеевич Винавер родился, по одним данным, в 1862 году, а по другим — в 1863 году, в предместье Варшавы, в богатой и образованной еврейской семье (его отец владел бакалейным магазином). В пятилетнем возрасте мальчика отдали в еврейскую школу-хедер, а еще через пять лет он поступил в 3-ю Варшавскую гимназию, считавшуюся одним из центров русификаторской политики и при этом отличавшуюся высоким уровнем преподавания.

Успешно закончив гимназию, Винавер поступил на юридический факультет Варшавского университета. Здесь он проявил не только блестящие способности, но

и склонность к общественной деятельности — пока в рамках студенческих кружков, где его неизменно избирали на председательскую должность. (Впоследствии председательский талант стал одним из важнейших элементов его репутации.)

Закончив университет в 1886 году, М. М. Винавер был удостоен золотой медали на конкурсе студенческих работ за свой труд «Исследование памятника польского обычного права XIII века, написанного на немецком языке» (опубликован в 1888 году). Эта работа и сейчас читается с интересом и отнюдь не выглядит старомодной.

Столь блестящий дебют, однако, не обеспечил Винаверу научной карьеры: для этого нужно было креститься в православную веру, чего он не захотел. Практически единственной доступной профессией для еврея с юридическим образованием в то время была адвокатура, и Винавер вступил в ее ряды. Он уезжает в Петербург, где получает статус помощника присяжного поверенного (звание присяжного поверенного он получил в 1904 году).

На адвокатском поприще М. М. Винавер очень быстро прославился. Вот что рассказывал о его первых выступлениях в Сенате старший коллега Винавера известный адвокат А. Ф. Дерюжинский: «Ну, батенька, это *штучка*. Ничего подобного я не слышал. Сенаторы глядят ему в рот, что хочет, то с ними и делает. Никому, кроме него, теперь дел поручать в Сенате я не стану...»

Юридическая практика сочеталась у М. М. Винавера с наукой. Он регулярно публиковал статьи в «Журнале Министерства юстиции», «Вестнике права» и других изданиях. Из этих статей были затем составлены сборники «Очерки об адвокатуре» (1902) и «Из области цивилистики» (1908). В 1897 и 1900 годах он участвовал в международных конгрессах по сравнительному правоведению и истории (Брюссель, Париж). Активно работал и в авторитетном Юридическом обществе при Санкт-Петербургском университете, ставшем важным центром движения либеральной интеллигенции (в 1905 году его избрали здесь председателем гражданского отделения). Профессиональный авторитет Винавера проявился и в его председательствовании на первых двух съездах российских адвокатов.

Общественная деятельность М. М. Винавера протекала в двух сферах — общероссийской либеральной и национально-еврейской (в основном также либеральной). Будучи активным членом легального «Общества для распространения просвещения между евреями», он в начале 1890-х годов возглавил созданную при этом обществе Историко-этнографическую комиссию, сделавшую очень много в своей области. В 1901–1905 годах он был одним из руководителей журнала «Восход» — ведущего еврейского издания на русском языке. Широкий резонанс вызвали выступления Винавера на судебных процессах, связанных с Кишиневским и Гомельским погромами, и его активная роль в Бюро защиты еврейских прав. В 1905 году он руководил совещанием еврейских общественных деятелей, учредившим «Союз для достижения полноправия еврейского народа в России», и активно участвовал в его работе.

С началом первой российской революции (1905–1907) М. М. Винавер стал широко известен и как политический деятель. На первом (учредительном) съезде Конституционно-демократической партии, прошедшем в Москве 12–18 октября 1905 года, Винавер входил в бюро съезда, а затем был избран в состав ЦК партии.

В ходе работы второго партийного съезда Винавер председательствовал на заседании 8 января 1906 года (где обсуждался аграрный вопрос), а на заседании 11 января выступил с докладом о тактике партии. Здесь подчеркивалось, что «в переживаемый нами момент принадлежность к партии в большей мере определяется тактическими, чем программными соображениями», и ставился «общий вопрос о том, какова наша тактика, какую позицию мы занимаем по отношению к тактическим приемам, выдвинутым другими политическими группами, стоящими вне нашей партии».

По существу, речь шла об отношениях с другими оппозиционными партиями — особенно в ходе избирательной кампании и работы в будущей Думе. Идея вооруженного восстания отвергалась изначально.

Вскоре к партийной деятельности М. М. Винавера прибавилась парламентская: он был избран депутатом I Государственной думы от Петербурга. На заседании ЦК 8 апреля 1906 года именно он выступил с докладом о плане действий партии в Думе. Как сказано в официальном отчете ЦК, «этот доклад, после внимательного обсуждения его в Комитете, лег в основу всей тактики Конституционно-демократической партии в первой Думе. Здесь впервые в виде стройной законченной схемы была установлена и необходимость ответного адреса на тронную речь, и его содержание программного характера (причем предусматривалось, что если тронной речи не будет, то необходимо будет начать свои действия в Думе особой декларацией такого же программного содержания). Далее выяснен был список законопроектов, которые партия должна будет немедленно внести и проводить в Думе».

На том же заседании кадетского ЦК Винавер был включен в состав особой комиссии (позже получившей наименование «законодательной») для выработки четырех важных законопроектов: об отмене смертной казни; об отмене положений об усиленной и чрезвычайной охране; о неотложных изменениях в уголовном законодательстве (в частности, о восстановлении в полной силе суда присяжных); о гражданском равноправии.

Период работы в I Думе можно считать пиком политической карьеры М. М. Винавера. Будучи избранным товарищем руководителя кадетской фракции (И. И. Петрункевича), занимавшей по существу ведущее место в Думе, он сыграл весьма заметную роль в жизни первого российского парламента. В основу ответного думского адреса на тронную речь легли положения, сформулированные Винавером в упоминавшемся докладе на заседании ЦК 8 апреля.

13 мая 1906 года М. М. Винавер выступил с думской трибуны с ответом на только что оглашенную министерскую декларацию. Речь его начиналась такими словами: «В тронной речи, к нам обращенной, сказано было, что для преуспевания страны недостаточно одной свободы, нужен и порядок. В ответ на это мы сказали Верховной власти, что ни свобода, ни порядок немислимы, доколе нет в стране гражданского равенства. Нельзя говорить о конституции, об ограждении личности от произвола, когда произвол сам собой, как злое зелье, вырастает на ниве бесправия. Нельзя говорить о контроле над должностными лицами, когда сам закон дает им возможность подавлять естественное право человека — считать себя равным со всеми людьми. В ответ на эти указания в декларации, представляющей из себя объемистый ответ, употреблена фигура умолчания. Здесь уже указывали, что наши министры не всегда знают, о чем говорят, но я думаю, они всегда хорошо знают, о чем им следует молчать».

И в других своих думских выступлениях М. М. Винавер вновь и вновь возвращался к проблемам гражданского равенства (в том числе в связи с еврейским вопросом) и произвола администрации (включая ее очевидную роль в этих погромах).

Но, пожалуй, главную роль в думской работе Винавера занимали внутридумские проблемы, взаимоотношения кадетов с левыми фракциями — трудовиками и социал-демократами. В 1907 году Максим Моисеевич выпустил книжку «Конфликты в Первой думе», где эти проблемы подробно анализировались. По словам Винавера, «Первая дума собиралась среди бурного порыва юного, чуждого холодным расчетам восторга; улица, общество, печать бравировали термином „конфликт“. К конфликту никто сознательно не стремился, но о нем говорилось почти игриво. Опьяненное успехом общество было уверено, что, когда грянет буря, кто-то за думу постоит, и народное представительство выйдет из борьбы еще крепче. Конечно, общество соглашалось, что лучше

подыскать для конфликта случай более удобный, более понятный населению, но раздраженное чувство то и дело толкало думу на конфликт по всякому поводу». Далее Винавер отмечал, что этому «раздражению» чаще всего поддавалась левая, некадетская часть думской оппозиции: «Не имея никакого определенного тактического плана, не связанное ни вчерашним, ни завтрашним днем своим, оно потому столь склонно было рефлекторно откликаться на все возбуждения, непосредственно на него действующие, исходящие от внедумских кружков и беспартийной печати... Что за этим раздражением должно было следовать, какие имелись в виду ресурсы для реализации его на случай решительного конфликта, для нас оставалось неизвестным...»

В своей получившей большую известность брошюре Винавер доказывает, что именно кадетская фракция в I Думе была по сути единственной, кто фактически проводил политику «бережения Думы»: «Думу, в конце концов, не удалось спасти; конфликт произошел на почве, для населения наиболее понятной, на аграрном вопросе; все оппозиционные фракции думы (не одни кадеты, но и трудовики, и социал-демократы) обратились к стране за поддержкою — и тем не менее поддержки не последовало».

Здесь имеются в виду события, последовавшие после роспуска I Думы, в том числе история знаменитого Выборгского воззвания, с которым депутаты распущенной Думы обратились к населению. (События эти были затем описаны Винавером в воспоминаниях «История Выборгского воззвания».) За подписание этого документа Винавер, как и другие депутаты, был осужден и в 1908 году провел три месяца в тюрьме. В результате он лишился избирательных прав и в последующих Думах работать не мог. Основной ареной его политической деятельности остался ЦК кадетской партии.

Меньше занимаясь теперь политикой, М. М. Винавер продолжал активно работать в других сферах — профессиональной и общественной. Так, он сыграл активную роль в создании Еврейского историко-этнографического общества и журнала «Еврейская старина». Участвовал он и в организации защиты Бейлиса. В 1913 году он основал (и редактировал) журнал «Вестник гражданского права».

Не чужд был Максим Моисеевич и благотворительных дел. Именно на его средства в 1910 году отправился учиться в Париж никому еще не известный юноша по имени Марк Шагал. Винавер ежемесячно посылал ему 125 франков.

Политическая активность Винавера заметно возросла в ходе выборов в IV Думу и затем в процессе выработки думской тактики. Но особенно заметной стала его роль в ЦК после начала войны (теперь он был уже заместителем председателя ЦК). Выступления его были посвящены преимущественно обострившимся в военное время национальным вопросам — польскому и еврейскому. Так, на заседании 23 ноября 1914 года он заявил: «Трагедия Польши заключается в том, что она, как и Венгрия, стремится поглотить все национальности, находящиеся на ее территории, и этим только кладет палки в свои колеса». 18 апреля 1915 года им была предложена резолюция, осуждающая обвинение целого народа (то есть еврейского) в «предательстве».

После Февральской революции М. М. Винавер отказался войти во Временное правительство, но стал сенатором, то есть членом высшего судебного органа, где он много лет появлялся в качестве адвоката. Затем его ввели в президиум комиссии по выработке закона о выборах в Учредительное собрание. Одновременно он продолжал активно работать в ЦК партии, где часто председательствовал на заседаниях. 27 марта Винавер выступил на VII съезде партии с докладом «Тактика Партии народной свободы». Здесь подчеркивалось, что «основным моментом для данной конъюнктуры является защита нового строя... Однако трудности начинаются с того момента, когда спрашиваешь себя: от кого защищать и чем защищать?». По словам докладчика, «мы можем пойти в блок с другими левыми партиями... но мы должны знать, что рост нашей партийной организации в стране и рост влияний на те элементы, которые могут

отшатнуться от революции, — является задачей первоочередной». Далее отмечалось «то несколько ненормальное положение, которое вызывает во многих тревогу, положение, при котором власть находится в зависимости от существующих военно-пролетарских организаций». В докладе подробно рассматривался вопрос об отношениях с Советами. По свидетельству Милюкова, Винавер однажды сильно смутил лидера меньшевиков Чхеидзе, предложив ему: «Так возьмите всю власть себе!»

На VIII съезде партии в мае 1917 года именно по инициативе Винавера в кадетскую программу был включен лозунг республики. В те же месяцы вышла известная книга Винавера «Недавнее» — сборник воспоминаний о крупнейших русских юристах.

После Октябрьского переворота М. М. Винавер был арестован, но через несколько дней освобожден. Вскоре он был избран в Учредительное собрание от Петрограда, но как раз в день выборов ему пришлось покинуть свой город и до конца мая 1918 года скрываться в Москве. На нелегальной кадетской конференции в мае Винавер выступил с докладом о внешнеполитической ситуации, сложившейся после Брестского мира. Здесь он критиковал Милюкова, взявшего курс на сотрудничество с немцами, и настаивал на привлечении союзников по Антанте для борьбы с большевиками. Вскоре после этого Винавер покинул советскую территорию, перебравшись в оккупированный немцами Крым (где у него была дача под Алуштой).

15 октября он председательствовал на совещании кадетских лидеров в Гаспре, итоги которого сформулировал так: «Союзникам нужно предъявить требование очистки Советской России и помощи в создании единой России». Эта линия была продолжена на кадетской конференции, проходившей в Екатеринодаре 28–31 октября. Винавер выступил здесь с докладом о внешней политике — в связи с готовившейся на Западе Мирной конференцией. В докладе рассматривались две основные проблемы: какие требования предъявить на конференции (речь шла о помощи в борьбе с большевиками) и кто будет предъявлять эти требования от имени России (этот вопрос так и остался нерешенным).

А 15 ноября Винавер вступил в должность министра внешних сношений во вновь созданном «Крымском правительстве». На этом посту он налаживал дружеские отношения с представителями прибывших в Крым английского и французского флотов, неоднократно выступал с яркими речами в поддержку Добровольческой армии. В 1928 году в Париже будут посмертно изданы его воспоминания «Наше правительство». Однако союзники и «добровольцы» не смогли спасти «Крымское правительство» от натиска красных. 15 апреля 1919 года Винавер навсегда покинул Россию.

Очень интересно проследить, как менялось отношение Винавера к Белому движению в целом и, в частности, к Добровольческой армии. По его словам, вначале «задачи и облик Добровольческой армии рисовались воображению как нечто святое, к чему нельзя относиться иначе как с молитвенным благословением. Поездка в армию ощущалась как паломничество...». Поэтому в тот период «кадетская партия... всемерно стараясь выдвигать перед общественным мнением значение Добровольческой армии, закрывала глаза на ее отклонения от правильного пути, отдавая своих людей в состав ее правительства и принимая в некоторой мере ответственность за ее ошибки. Она не могла и не хотела выступать как партия и желала проводить свои принципы в сфере политики через Добровольческую армию, содействуя ее силе и влиянию, но встречая организованный внутренний отпор».

На заседании кадетского ЦК в Ростове 29 сентября 1919 года были зачитаны письма М. М. Винавера и И. И. Петрункевича, где они упрекали своих коллег в том, что те «изменяют программе и духу партии» и не берегут «завоеваний революции» (имелась в виду Февральская). Письма эти были отправлены с дачи Винавера близ Ниццы, где он проживал с мая 1919 года с семьей и друзьями.

Вместе с тем, оказавшись во Франции, М. М. Винавер начал усиленно пропагандировать там Белое движение. Одним из главных его адресатов стало западноевропейское и особенно американское еврейство. Обращаясь к нему, он заявлял, что распад России не в интересах российского еврейства. Допуская наличие антисемитизма в денкинской армии, он отрицал это в колчаковской. Кстати, Винавер и Колчак были лично знакомы еще с довоенных времен, а в начале 1920-х годов вдова Колчака обратилась к Винаверу с просьбой оказать материальную помощь ее сыну.

Вместе с тем Винавер опровергал мнение о «процветании» евреев при советской власти. По просьбе колчаковского Министерства иностранных дел он подготовил заявление для прессы «Большевизм и русское еврейство», начинавшееся словами: «Совершено неверно, будто русское еврейство относится благосклонно или хотя бы терпимо к большевизму». С осени 1919 года Винавер стал издавать газету «Еврейская трибуна» на русском и французском языках.

После окончательного краха Белого движения кадетская партия оказалась, по существу, эмигрантским движением. Перед его лидерами возникли принципиально иные организационные, программные и тактические проблемы. И здесь опять самую активную роль стал играть М. М. Винавер, возродивший при этом тесный союз с П. Н. Милюковым. (В частности, он активно сотрудничал в милюковской газете «Последние новости».)

По свидетельству Милюкова, анализируя причины поражения белых, Винавер относил к их числу «пренебрежение к местным особенностям и к автономистским стремлениям национальностей — во имя слишком прямолинейного понимания лозунга „единой и нераздельной России“, эксплуатацию населения, произвол военного управления, безрассудные преследования разведок: в результате — разрыв с народными массами». Из критики этих ошибок выростала новая программа, главными пунктами которой становились республика, федерация, крестьянская земля (то есть признание захвата помещичьих земель), местное самоуправление.

Оказавшись на левом фланге кадетской эмиграции, Винавер сыграл видную роль в организации «Демократической группы Партии народной свободы» и в переговорах о создании блока с правыми социалистами (прежде всего эсерами). Он являлся одним из организаторов совещания членов Учредительного собрания в 1921 году.

В эмиграции Винавер не забывал и о культурной деятельности. Вместе с М. И. Ростовцевым и Б. Э. Нольде он инициировал создание Русского университета в Сорбонне и читал там историю русского гражданского права. С 1923 года он редактировал еженедельный литературный журнал «Звено».

К несчастью, все это происходило на фоне ухудшавшегося состояния здоровья. 10 октября 1926 года Максим Моисеевич Винавер скончался в местечке Ментон-Сен-Бернар.

МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ЧЕЛНОКОВ: *«Из инстинкта государственности мы принуждены были вмешаться...»*

ВИКТОР ШЕВЫРИН

«Природный выразитель лучших и сильных сторон русской буржуазии» — так характеризовал Михаила Васильевича Челнокова (1863–1935) П. Б. Струве, который считал себя его личным другом и видел в нем «во многом замечательного», незаурядного и интересного человека, самобытного и оригинального. Это был, писал Струве, выдающийся политический деятель, умный, независимый и честный. Но как человек и социальный тип он еще значительнее и интереснее. Он принадлежал к русской «буржуазии» в точном социальном смысле — к даровитой породе людей. Не получив настоящего образования и будучи «в полном смысле слова „автодидантом“, Челноков являл собой, по словам Струве, одного из самых интересных людей, которых он когда-либо встречал. Беседа с ним была поучительной и увлекательной. Не так уж часто живые культурные интересы и широкая образованность встречаются в соединении с большим здравым смыслом и подлинной деловитостью.

В М. В. Челнокове много идеализма, но никакой «мечтательности». А что идеализма — много, это он доказал, полагал Струве, не только всей своей жизнью, но и главной политической привязанностью. «Западник по своему мирозерцанию, кадет по своей партийной принадлежности и позиции, Челноков всю жизнь духовно и душевно тяготел к славянофилу, октябристу, а потом мирнообновленцу Дмитрию Николаевичу Шипову. Но в Шипове не было буржуазного, купецкого крепкого реализма, которым до мозга костей был проникнут и которым именно был так силен Челноков, у которого при необычайной умственной трезвости, подчас доходившей до жесткости, был и несравненный юмор. Политическая проницательность Челнокова получала от его неистребимого юмора какое-то мягкое и ровное освещение». Трезвый и бытовой реалист, он «непосредственно ощущал левую опасность и тяготел направо по деловой природе своего буржуазного духа».

Вождь кадетской партии П. М. Милюков также оставил в своих воспоминаниях яркую зарисовку: «Это был коренной русак, самородок, органически сросшийся с почвой, на которой вырос. Со своим тягучим как бы м-а-с-ковским говорком, он не был создан для ораторских выступлений... зато он был очень на месте, как „свой“, в московской купеческой среде; и всюду он вносил свои качества проницательного ума, житейской ловкости и слегка скептического отношения к вещам и людям». Собственно, эта среда и работа Челнокова в земском и городском самоуправлении, природный ум, энергия, способности и выдвинули его в первый ряд общественно-политических деятелей России начала XX столетия.

Родился М. В. Челноков 5 января 1863 года в купеческой семье. Окончил четыре класса Лазаревского института. Постоянно занимался самообразованием. Круг его интересов весьма широк: литература, архитектура, живопись и т.д. Он действительно сделал себя сам. В 1879 году, в связи со смертью отца, Василия Федоровича, ему, шест-

надцатилетнему юноше, пришлось заняться торгово-промышленной деятельностью (в основном производством и торговлей кирпича и стройматериалов). В том же году произошла крутая перемена в его личной жизни: он женился на Елизавете Карповне Шапошниковой, дочери купца. Этот брак оказался счастливым. Они имели четверых детей. Но даже спустя несколько десятилетий после свадьбы письма к жене Михаил Васильевич нередко начинал так: «Милая душенька Лиза». Переписка супругов, носившая очень доверительный характер, — прекрасный источник, позволяющий судить и об их общественной жизни и высоких духовных устремлениях. «Теперь, — сообщала Елизавета Карповна Михаилу Васильевичу, — я на страшно интересном месте в исповеди Августина. Его мысли о зле и ограниченном могуществе Бога... это твои мысли. Теперь наступает минута, когда он уверует. Кроме Августина (очень мелкая печать), читаю твою книгу „По Греции“ — раскопки Олимпии, Микен, Делоса и др. ...очень интересно...» А он, например, сообщал ей: «Сегодня был Грабарь и сказал, что наш голландец первоклассная вещь XV века. Очень хвалил Анютины цветы» (дочь Челноковых училась у Грабаря). Обмен такими сообщениями — дело обычное в их переписке.

В 1889 году Челноков впервые вступил на путь общественного служения: стал гласным уездного и губернского земских собраний. А уже через два года он — председатель Московской уездной управы (до 1894 года). Одновременно Михаил Васильевич работал в городском самоуправлении (гласный Московской городской думы, а в 1904–1906 годах — член ее управы). В земстве и на городском поприще он был неизменно активен, деятельно участвовал в работе нескольких комиссий. В земской управе отвечал за оценку столичных фабрик и заводов, от которой зависел размер сборов с них, руководил врачебно-санитарным делом, быстро при нем развивавшимся, и т.д.

Объективные потребности развития местного самоуправления сдерживались царской администрацией, что вызывало недовольство многих. Элита земских и городских деятелей в 1899 году создала в Москве полуконспиративный кружок «Беседа», где конкретные животрепещущие вопросы обсуждались в связи с общим положением в стране. В этот кружок, насчитывавший примерно пятьдесят известных деятелей местного самоуправления, вошел и Челноков (по рекомендации Д. Н. Шипова).

Московское земство и городское самоуправление имели в своем составе ярких прогрессивных гласных, благодаря которым Москва шла в авангарде оппозиционного движения в России. Челноков наряду с Н. И. Астровым, Н. М. Кишкиным, Н. Н. Щепкиным и др. руководил их работой. Он был, кроме того, одним из тех либеральных деятелей, которые стояли у истоков земской оппозиции, проявившейся в земско-городских съездах 1902–1905 годов. В феврале 1901-го Челноков — в числе двадцати шести земцев, собравшихся на аграрный съезд и высказавшихся за создание представительного органа. Вошел он и в бюро земских съездов — координационный орган земского движения. На майском (1902 года) съезде Челноков отсутствовал — лечился за границей. Поэтому его миновало «высочайшее неудовольствие», выраженное самодержцем участникам съезда. Более того, в январе 1903 года его пригласили на одно из совещаний в МВД (по ветеринарному делу); В. К. Плеве встретился с ним до совещания и заверил, что «умаления прав земств» не будет.

Но конфликты между земско-городским самоуправлением и властью продолжались. 7 мая 1904 года князь Г. Е. Львов, уезжая на фронт как глава Общеземской организации, которая осуществляла помощь больным и раненым воинам, писал Челнокову: «Шлю привет московской управе. Помогите Вам Бог выйти с победой из духовной борьбы и жесткой осады не только во имя местных интересов, но ради нравственного подкрепления упадающего духом земства». В это время Михаил Васильевич — одна из ключевых фигур в Общеземской организации. Земские санитарные отряды были, в сущности, его детищем.

Неудивительно, что уже в самом начале XX столетия Челноков предстал в глазах современников, как писал ему князь Е. Н. Трубецкой, «знающим и способным земским деятелем». И как таковой он хорошо видел, что происходит в стране; особую тревогу у него вызывал проникающий в деревню «анархизм». Но и как городского деятеля бурные события начала века тревожили его не меньше. Японская война, всеобщая забастовка, «ужасы вооруженного восстания» прервали на время поступательный ход городского хозяйства. «В мирную жизнь городских учреждений, — писал Челноков, — ворвалась политика и принесла расколы, раздоры, разделы. Закипели страсти». Во время всеобщей забастовки 1905 года городская управа вроде бы совсем отстранилась от дела. Создалось подобие исполнительного органа, ее заменяющего, в составе А. И. Гучкова, М. Я. Герценштейна, В. Ф. Малинина, М. В. Челнокова, Н. Н. Щепкина. Этой комиссии удалось кое-что сделать для восстановления порядка, в частности наладить работу водопровода, что весьма подорвало энергию забастовщиков.

Челноков — активный деятель начавшегося партийного строительства и политической борьбы в городской думе и на земско-городских съездах. В составе соединенной комиссии участвует в выработке партийной платформы и подготовке съезда конституционных демократов. Тогда он вместе с рядом своих единомышленников находил, что главным в партийной работе должна стать подготовка к выборам в «булыгинскую» — законосовещательную — думу. Так, уже в период организационного оформления кадетской партии он оказался на правом ее фланге.

Внучка автора знаменитой триады «самодержавие, православие, народность» графиня Е. Уварова, с которой Челнокова связывали узы дружбы, в письме от 1 октября 1905 года укоряла его, что он становится «ужасно партийным человеком», не жалея сил занимающимся множеством дел — от «высшей политики» до борьбы с голодом. Действительно, Михаил Васильевич работал не покладая рук (совещание общественных деятелей по выработке избирательного закона в октябре 1905 года, Общеземская организация, органы местного самоуправления). После опубликования Манифеста 17 октября Е. Уварова задает ему вопрос: «Лично Вы удовлетворены ли конституцией или Вы увлечены общим порывом и Вам начинает улыбаться демократическая республика или что-нибудь еще левее?» Челноков «конституцией» был удовлетворен и в «республиканцы» не рвался. Он верил в лучшее будущее России и считал, что в освободительном движении благородны стремления, порывы и само дело. Подтверждением этой веры в будущее страны служат его хлопоты по покупке имения в самый разгар революции 1905 года, когда уже начались знаменитые «иллюминации» помещичьих имений и их хозяева в панике покидали свои дворянские гнезда.

День открытия I Государственной думы он считал историческим. Ему, как и многим тогда в России, верилось, что созыв Думы — это начало новой эры в истории России. На выборах он баллотировался от кадетской партии. Однако не прошел: как кадет он был неприемлем для октябристского большинства избирателей московской губернии — предпринимателей и землевладельцев, напуганных эксцессами революции.

Открывшееся народное представительство обратилось в «Думу народного гнева». В этих условиях срывалось и сотрудничество власти и общества, и без того напряженно и даже враждебно относившихся друг к другу. Е. Уварова писала Челнокову: «Я боялась, что Общеземская организация не найдет возможным работать с министерством и бросит голод (помощь голодающим. — В. Ш.) для протеста. Но, кажется, сейчас вы не собираетесь этого делать, не попробовав работать». Руководители этой организации и на самом деле, как следует из письма Г. Е. Львова Челнокову, решили не «уходить от работы»: «голодающие без нас будут страдать больше».

Однако роспуска Думы многие очень опасались из-за того, что не знали, «как отнесется к этому народ». Челнокову казалось ясным, что дело идет именно к роспуску.

Е. Уварова в письме к нему от 20 июня 1906 года высказала предположение, что после роспуска Думы он уйдет в общую политику, будет работать в кадетской партии. Так оно и получилось. Михаил Васильевич даже пострадал из-за своего «кадетства»: за его отъезд в Гельсингфорс на съезд партии без разрешения губернатора (как член губернской управы он мог уехать, только получив такое разрешение), губернское по земским и городским делам присутствие объявило ему замечание, на что последовало согласие министра внутренних дел.

На съезде в Гельсингфорсе партия фактически признала свою «ошибку» — Выборгское воззвание, нелепый «Выборгский крендель», как выразился Г. Е. Львов в одном из писем к Челнокову, который вполне разделял эту характеристику. Среди московских кадетов Челноков был влиятельной фигурой. Они избрали его в губернский комитет партии, затем товарищем председателя этого комитета. Он представлял московскую организацию на третьем и четвертом съездах и вскоре был избран членом Центрального комитета партии.

Н. П. Вишняков, старейший представитель купеческой династии, много лет заседавший в Московской городской думе и весьма не жаловавший либералов, оставил в своих неопубликованных воспоминаниях «штрихи» к портрету Николая Михайловича: «Высокая фигура с черными волосами, черной короткой бородой и усами, в очках. Одна нога кривая, а потому ходит переваливаясь, при помощи костыля (у него был костный туберкулез. — *В. Ш.*). Из видных земских деятелей. Человек, несомненно, умный и способный, с большой энергией... Говорит легко и свободно, хотя не особенно красиво» (это о челноковских атаках на доклады в заседаниях Думы). Вишняков изливал в дневнике свою желчь: «Челноков умный, но злой и ехидный человек». И все потому, что он — «кадет».

Между тем Московская губерния выбрала М. В. Челнокова во II Государственную думу именно как кадета и благодаря соглашению кадетов с левыми. В Думе он сразу же оказался на виду. Кадеты получили главные посты: председателя, им был избран Ф. А. Головин, и секретаря — им стал Николай Михайлович. В. А. Маклаков, избранный в Думу от Москвы, вспоминал, что личность Челнокова, долголетнего члена губернской управы, гласного городской думы в Москве, «человека исключительно „делового“, делала этот выбор очень удачным». А. В. Тыркова писала о Челнокове той поры: «Его живописная фигура сразу заняла в Таврическом дворце подобающее место. Энергичный, несмотря на сильную хромоту, непоседливый, подвижной, он бродил по огромному зданию, присматриваясь к новой обстановке. На умном выразительном лице скользила улыбка старого дядьки, которому приходится мириться с тем, что дети все шалят. Он был в кадетской партии с самого ее основания, но свою независимость ревниво охранял. Челноков окончил только городское училище, был самоучкой, но перед своими учеными партийными товарищами не робел. Это был самородок, с умом живым и острым, с редким здравым смыслом, с богатым запасом метких словечек... С кадетами-земцами он был давно дружен. Кадетских профессоров недолюбливал, довольно зло острил над ними на своем выразительном, чистом, без тени книжной порчи русском языке с протяжным московским аканьем. Его раздражало лидерство Милюкова. Он называл его Милюк-паша и держался в стороне от петербургской кадетской группы, где влияние Милюкова чувствовалось особенно сильно. Эта своеобразная отдаленность не помешала партии провести Челнокова на важную должность секретаря Государственной думы. Он был достойным преемником Шаховского, дельный, практичный, способный».

Я. В. Глинка, одиннадцать лет фактически возглавлявший думскую канцелярию, со знанием дела судил о реальном положении дел в руководстве II Думы: «Всем ворочал Челноков. Головин был марионеткой в его руках. Усы кверху а-ля Вильгельм, всег-

да улыбающийся самодовольный вид. „Подскажите ему, — обращался ко мне Челноков, — чтоб он не сел в лужу“... „Издайте закон“, — говорил он мне, если ему надо было сделать распоряжение по канцелярии. Челноков действительно развил бурную деятельность в качестве секретаря Думы. Причем его желание быть независимым от государственных чиновников в деле управления канцелярией заставляло его ускорить составление ее штатов, которые и были внесены им в Думу всего через месяц после ее открытия». Челноков старался и сам подбирать служащих канцелярии. Например, вызвал в Петербург Н. И. Астрова, имевшего богатый опыт секретарства в Московской городской думе.

Михаил Васильевич оставил след в истории II Думы и участвуя в переговорах кадетов (П. Б. Струве, В. А. Маклаков, Н. С. Булгаков, М. В. Челноков) со Столыпиным. Эти члены кадетской фракции пытались воздействовать на премьер-министра, чтобы предотвратить роспуск Думы и наладить ее сотрудничество с правительством. Как вспоминал Ф. А. Головин, Столыпин тоже «искал разговоров» с кадетами. По мнению В. А. Маклакова, хотя сохранить Думу при ее левом партийном составе было трудной задачей и она считалась обреченной с момента избрания, «все-таки Столыпин ее защищал даже тогда, когда этим компрометировал себя в глазах Государя», защищал «долго и упорно». А потому и обратился к представителям ее наиболее многочисленной фракции и, прежде всего, к председателю Думы Ф. А. Головину. Тот отослал его к Челнокову, который старался содействовать сближению Столыпина и с другими кадетскими депутатами, в частности с Н. В. Тесленко и И. В. Гессеном.

М. В. Челноков, в отличие от большинства политиков того времени, был склонен верить в работоспособность II Думы. Г. Е. Львов, хорошо знавший «думские» настроения Челнокова, писал ему в марте 1907 года: «Что же Думу не разгонят, будет и поработаете? Что-то не чается. Дай Вам Бог и поможет вам Бог». В апреле жена Челнокова желала ему и Думе «найти верный и надежный путь». В. А. Маклаков вспоминал, что в конце апреля или в начале мая, когда Челноков в очередной раз повидал Столыпина, он пришел к своим единомышленникам озабоченный и передал им, что тот «помешался на аграрном вопросе». Столыпин сказал тогда Челнокову: «Прежде я только думал, что спасение России в ликвидации общины; теперь я это знаю наверно. Без этого никакая конституция в России пользы не сделает». Челноков прибавил от себя: «Когда Столыпин наделает своих „черносотенных мужичков“, он будет готов им дать какие угодно права и свободы». В таком толковании, по мнению Маклакова, была доля правды. Но Челноков сообщил и другое: «Столыпин встревожен таинственными работами аграрной комиссии, куда представители министерства не приглашались; он боится, что комиссия ему готовит сюрприз. Вдруг она его аграрные законы по 87-й ст. отвергнет? Этого он не допустит. Дума тогда будет распущена». Об этом он заранее и предупредил Челнокова.

И Челноков, и Маклаков полагали в то время, что у кадетов здесь действительно слабое место. Аграрные законопроекты Столыпина противоречили аграрным программам не только социалистических партий, но и кадетов. Вотум Думы мог отнять силу у этих законов. Столыпин этого ждать не хотел. Роспуска же Думы на аграрном вопросе правительство не могло допустить, ибо опасалось крестьянства. Челноков, Маклаков, Струве и Булгаков устроили совещание, чтобы обсудить, на какой почве может быть найден компромисс. Они ясно понимали: надо склонить Думу не отвергать законов с порога, а перейти к их постатейному чтению. Маклаков вспоминал: «С этим Челноков и поехал к Столыпину. Он вернулся совсем успокоенный. Большого, чем переход к постатейному чтению для своих законов, Столыпин пока не ждет. Потом сговоримся. И Столыпин тут же решил — и об этом сказал Челнокову — выступить в Думе с принципиальной речью об аграрном вопросе». Он это и сделал.

Маклакову представлялось, что Столыпин изложил в ней «свое кредо либерала и западника». Когда же он сказал: «Обязательное отчуждение действительно может явиться необходимым, но, господа, в виде исключения, а не общего правила, и обставленного ясными точными гарантиями закона», Челноков и Маклаков переглянулись. Его слова казались им ответом на то, что им требовалось. Признание принципа принудительного отчуждения хотя бы и в небольшом масштабе, упоминание о нем в законопроектах, которые Столыпин не замедлит представить, давали, по их мнению, возможность Думе перейти к постатейному чтению. Хотя это и был вызов аграрным планам левого большинства, речь все же давала просвет. Они полагали, что в нужный момент им на помощь пришло бы общее нежелание роспуска Думы, готовность пойти на компромисс при соблюдении партийной программы. Столыпин, отмечал Маклаков, «облегчил нам эту задачу».

То, что М. В. Челноков считал тогда компромисс Думы с правительством Столыпина вполне достижимым, явствует и из его переписки с женой. В мае 1907 года она сообщала: «Сейчас пришло письмо от 21-го. Первую твою беседу со Столыпиным я уже отправила Дм. Ник. <Шипову>. 2-ю (от 21-го) посылаю ему почтой. У меня такое впечатление, что пойдут на уступки. Была бы Дума во всеоружии разума и единения... Я понимаю, — продолжала она, — что Столыпин пойдет на отчуждение, но с условием, что оно не будет провозглашено как принцип для повсеместного проведения. Здесь, конечно, ходят самые мрачные слухи. Якушкин (видный член кадетской партии. — В. Ш.) предсказывает роспуск на днях. Но, может быть, Бог милостив и возьмет верх разумный ход вещей. Роспуск „по недоразумению“, о котором ты пишешь, был бы отчаянной ошибкой, особенно со стороны центра». Роспуск Думы представлялся супруге Челнокова тем более нежелательным в связи с резким поправением общества. Даже среди родственников Челноковых высказывалось мнение, что только безумцы, к которым принадлежит и Михаил Васильевич, могут стоять за рабочие профсоюзы, что «все рабочие мерзавцы, и разумное к ним отношение — как к негодьям». Эти убеждения, свидетельствовала Е. К. Челнокова, «обща теперь стоящим у управления города и земства. К чему поведет такое настроение имущих, если будет уничтожен последний оплот законности — Дума?». И она желала мужу и его коллегам «победоносного выхода из дебрей на спокойную дорогу, с которой уже нельзя будет вас сдвинуть».

Челноков очень хотел того же. Но настроение «его друга» (как называл Столыпина в письме к Челнокову князь Г. Е. Львов) в отношении судьбы Думы переменялось, и, по словам Маклакова, «неожиданно подкралась развязка». Столыпин потребовал у Думы согласия на арест шестнадцати социал-демократов и устранения из нее других пятидесяти пяти членов социал-демократической фракции. Но пока в комиссии Думы шли дебаты об этом деле, закулисные переговоры со Столыпиным с целью повлиять на него и спасти Думу не прекращались. Маклаков, Струве и Булгаков поручили Челнокову устроить их встречу со Столыпиным, который и принял всех в Елагинском дворце поздним вечером 2 июня 1907 года. В ходе беседы с премьером выяснилось, что камень преткновения в отношениях Думы и правительства — аграрный вопрос. На нем, по мнению Столыпина, «конфликт неизбежен». Председатель Совета министров вновь заявил и о необходимости устранить из Думы социал-демократов. Но, как считали его собеседники, требование выдачи социал-демократов предъявлялось в такой острой и преувеличенной форме, что принять его Дума не сможет. «Ну, тогда делать нечего, — сказал Столыпин и добавил: — Только запомните, что я вам скажу: это вы сейчас распустили Думу». Столыпин, конечно, лукавил: он уже получил категорическое требование царя распустить Думу. Маклаков так комментировал эту фразу Столыпина: «Дальше говорить было не о чем». Только Челноков осведомился, будет ли он завтра допущен в помещение Думы — там у него вещи. Столыпин улыбнулся: «Ведь вы же

не собираетесь в Выборг. С вами будет все по-хорошему. — И закончил неожиданной любезностью: — Желаю с вами всеми встретиться в 3-й Думе. Мое единственное приятное впечатление от II-й Думы — это знакомство с вами».

На кадетском Олимпе просочившиеся в печать сообщения о ночной поездке «четверки» вызвали такое негодование против визитеров, что Маклаков заявил П. Н. Милюкову о своем выходе из партии. Тот сумел уговорить Маклакова остаться, но возмущенное отношение многих кадетских лидеров к этой поездке сохранялось долго.

Если II Дума просуществовала всего сто три дня, то III — весь пятилетний срок. Челноков был избран в нее от Москвы. Кадетская фракция и прогрессисты выставили его кандидатуру на избрание в товарищи секретаря Думы. Челноков отказался: не хотел в резко поправившей Думе (в связи с изменением избирательного закона 3 июня 1907 года) оказаться под началом правого секретаря. Многие думские либералы сожалели об этом: в качестве помощника секретаря Челноков мог участвовать в Советании Думы, что облегчило бы борьбу ее председателя Н. А. Хомякова с правыми течениями.

В III Думе и вне ее Челноков был близок к прогрессистам. Они постоянно приглашали его на свои собрания. Многих лидеров только складывающейся партии он давно знал лично и, в свою очередь, имел у них авторитет. Известный московский промышленник С. И. Четвериков писал ему еще в январе 1907 года: «Меня тронула Ваша вера в чистоту и устойчивость моих конституционных убеждений». Наряду с Четвериковым, А. И. Коноваловым, братьями Рябушинскими и др. прогрессивными предпринимателями Челноков участвует в начавшихся в 1908 году «экономических беседах» с учеными. Здесь обсуждался широкий круг экономических социальных и политических вопросов.

При всей востребованности его на всероссийском уровне, Челноков продолжал активно работать и в органах местного самоуправления. В условиях поправки московского земства, выразившегося и в том, что председателем губернской управы стал Н. Ф. Рихтер (при его избрании Челноков демонстративно покинул собрание), обсуждение самых обычных, рутинных вопросов перерастало в настоящие баталии. Губернатору даже казалось, что Челноков «всегда старался внести во всякое собрание агитационный характер и лягнуть администрацию», не щадя и персону губернатора.

Столкновения происходили и в городской думе. 2 января 1908 года состоялись выборы московского городского головы. Баллотировались октябрист Николай Иванович Гучков и Челноков. Как десятилетия спустя вспоминал Михаил Васильевич о своем оппоненте, «это был единственный кандидат, имевший возможность собрать большинство и вполне подготовленный к предстоящей работе». Правда, подавляющего преимущества при баллотировке у Н. И. Гучкова все же не оказалось: он победил 73 голосами против 65. По деловым качествам Челноков, конечно же, не уступал; его высокопрофессиональная деятельность в различных сферах городского и земского самоуправления (финансы, школьное дело, вопросы здравоохранения и проч.) — яркое тому свидетельство. Но доминировавшее тогда в избирательной среде «октябристское» настроение принесло победу Н. И. Гучкову — брату А. И. Гучкова, вождя «Союза 17 октября».

В III Государственной думе М. В. Челноков был членом многих комиссий, от которых затем выступал докладчиком: по городским делам (зам. председателя), финансовой, бюджетной, по местному самоуправлению, по торговле и промышленности, по мерам к охранению древности и т.д. Вошел он и в Торгово-промышленную группу, состоявшую из членов Думы и Государственного совета; кадетов в ней представлял только он.

На выборах в IV Думу в Москве сенсацией стал провал А. И. Гучкова. Настроение изменилось: «цензовый элемент» полевел и предпочел лидеру октябристов правого кадета М. В. Челнокова, который и был избран от первой курии 18 октября 1912 года.

В Думе Челноков снова вошел в кадетскую фракцию и представлял ее в ряде комиссий (по торговле и промышленности, по военным и морским делам), а от бюджетной выступал докладчиком.

Тогда в кадетской фракции разгорелась полемика об участии ее членов в работе думской комиссии по военно-морским делам. При выборах в нее правооктябристское большинство провалило всех представителей оппозиционных фракций, в том числе и кадетской вместе с ее вождем Милюковым. Единственным кандидатом, который допускался в комиссию, стал Челноков. Милюков сделал заявление: в комиссию войдут все представители демократических элементов страны — или не войдет никто. Челноков считал это ошибкой, хотя и подчинился партийной дисциплине. Однако он принял предложение прогрессистов баллотироваться в комиссию от их фракции. Милюков возражал и против этого варианта. Челноков апеллировал к Московскому отделу ЦК. Тот рекомендовал Милюкову «тем или иным способом» провести Челнокова в комиссию. Милюков стоял на своем, но фракция кадетов дала добро. Милюков, обнаружив «бунт на корабле», пошел ва-банк: отказался от председательства во фракции. Челноков не выдержал этой «психической атаки» и отступил: все-таки «погоды» во фракции он не делал, и близким ему по право-кадетскому духу был лишь В. А. Маклаков.

В разгар этой борьбы жена Челнокова писала ему (12 февраля 1913 года): «Казалось, что, может быть, Милюков и К^о вызывают осуждение и назревает новое настроение. Очевидно, ничего подобного нет, ты нигде не встречаешь поддержки, везде уозость, и дальше партийности никто не смотрит. Я думаю, дела твои с к. д. очень плохи и непоправимы... Вчера я ходила к Маклакову узнать, как он смотрит на все твое дело, — ведь он умен и видит под землей... Он находит, что ты не должен был уходить из обороны... Теперь он полагает, что ты потерял позиции, что идти от прогрессистов представляет известный риск. Ты опять можешь быть не выбран. Но если бы удалось, то, по его мнению, это был бы хороший урок кадетам. Красивее, цельнее для тебя не сдаваться, не капитулировать. Если бы он мог, он сам бы ушел от к. д. ...но его положение избранника второй курии не позволяет. Мне кажется, у тебя нет друзей в Думе... Ты не выступил прямо и напролом из соображений корректности и уважения к партии, с которой ты столько времени был связан... Маклаков ненавидит кадет и сердится, что ты сплеховал, — надо бы их разом да побольнее ударить — ты мог это сделать и не сделал. Ему досадно на тебя». На следующий день она писала: «Ты и кадеты... не можете быть вместе. Даже если бы они и согласились на твои требования, старые связи разорваны». Подливало масла в огонь и то, что левые кадеты в ЦК стремились вывести из партии Челнокова, Маклакова и Струве, предлагая им даже в сентябре 1913 года создать свою «национально-либеральную партию». Правда, по мнению лидера партии П. Н. Милюкова, Челноков «все же в целом шел в русле партийной политики».

В 1913 году должны были состояться новые выборы московского городского головы. Октябрист Н. И. Гучков городу уже изрядно «надоел», тем более что общественности все очевиднее становилась бесперспективность безоглядной лояльности октябристов к власти. Обострились также в Московской думе отношения между ее умеренной частью и прогрессивной группой: в нее входил М. В. Челноков, и его кандидатура на грядущих выборах рассматривалась как противовес Н. И. Гучкову.

Уже в начале января 1913 года Г. Е. Львов, сообщая Челнокову об этих настроениях в прогрессивной группе, подчеркивал: «Если в прогрессивной группе превозобладает над мирным воинственным течением, то оно притечет к Вам. Думаю, что таким может быть естественный ход событий, и не оттого, что вы уж такой охотник до войны, а оттого, что при действительной войне, если ее объявят, в Вашем лице есть на что понадеяться, я убежден, что не воинственность, а ваша решительность могла бы прямо выручить Москву. Ведь если правые объявят войну и наличного центра не обра-

зуется, то ведь придется воевать, и тогда потребуются не задор, а стратегия и решительность, и непременно обратятся за этим к Вам. И это не мое мнение только, а так думают многие. Замыслы Гучкова и правых неизвестны, но они осложняют дело навверное и если достигнут положения постоянной битвы — стенка на стенку, то и нам придется строиться по-военному, и я тогда буду с теми, кто обратится к Вам, ибо убежден, что Вы именно и выручите из такой беды».

Князь Г. Е. Львов не сбрасывал со счетов и собственную кандидатуру. Это видно из письма Н. И. Астрова к Челнокову от 6 января 1913 года: «Наша группа на своем знамени не пишет лозунга „борьба“, а ставит своею целью изыскание путей для совместной работы. Это мирное настроение дало основание и для кн. Львова прийти к решению, благоприятному для группы». Астров сообщал: руководители прогрессивной группы, насчитывавшей семьдесят восемь голосов, обсуждали вместе с Львовым вопрос, «какая кандидатура, его или Ваша, имеет больше шансов на успех». Оказалось, что все-таки — Львова, и, судя по всему, Челноков согласился с этим выбором. По крайней мере Львов благодарно писал ему в двадцатых числах января: «Очень тронут вашим участием и тем громадным трудом, который вы выполнили за эти дни ради Москвы и меня».

Н. И. Гучков, понимая, что шансов вновь быть избранным городским головой у него немного, 22 января заявил о своем отказе баллотироваться. А 25 января Львов писал Челнокову: «Теперь, благодаря усилиям правых и самого правительства, ставшего на их сторону, из меня сделали знамя — я понимаю, что нет возможности ожидать моего назначения».

Москва выбрала князя Львова городским головой, но власти не утвердили его на этом посту, как затем и двух других избранных москвичами кандидатов — С. А. Чаплыгина и Л. Л. Катуара. С января 1913 года обязанности городского головы временно исполнял В. Д. Брянский. Только в начале Первой мировой войны власти разрешили провести новые выборы. И теперь москвичи выбрали М. В. Челнокова.

Он сделал своего рода «дубль»: стал главноуполномоченным Всероссийского союза городов (14 сентября 1914 года) и городским головой (29 сентября 1914 года). Уже при выдвижении его кандидатуры в городские головы Михаил Васильевич открыто заявил, что откажется от партийной деятельности в случае своего утверждения. И когда его утвердили, действительно объявил о выходе из думской фракции. Это вызвало взрыв негодования у кадетов. С его стороны последовало разъяснение: отказываясь от партийной деятельности, он не отрекается от своих политических убеждений.

Деятельность Челнокова как городского головы неразрывно связана с его работой во Всероссийском союзе городов (ВСГ), возникшем в начале войны по инициативе гласных Московской городской думы. Уже на съезде городских голов 8–9 августа 1914 года (по сути, учредительном съезде ВСГ) он был избран во временный комитет ВСГ. 16 августа последовало «высочайшее разрешение» Союза; этим же актом его деятельность была ограничена помощью больным и раненым воинам «в течение настоящей войны». Союз рос очень быстро: если на августовском съезде делегаты представляли шестнадцать губернских и девять уездных городов России, то на съезде в сентябре 1914 года — уже сто девяносто пять. Челнокова избрали главноуполномоченным Союза. Под влиянием потребностей войны, запросов с мест, требований военного ведомства, Красного Креста и проч. деятельность ВСГ быстро расширялась.

Организация и работа складов, санитарных поездов, врачебно-питательных отрядов, лазаретов, лабораторий, больниц, питательных пунктов, бань, прачечных, дезинфекционных камер, мастерских, помощь беженцам и многое другое — в этой стихии Челноков чувствовал себя как рыба в воде. Во многом благодаря его деловой хватке, энергии и уму ВСГ сыграл огромную роль в деле помощи больным и раненым воинам, в мобилизации военных усилий страны, а Москва с честью выдержала все

испытания военного времени. И это при том, что власти постоянно чинили препоны работе Союза. Уже в эмиграции Челноков с юмором вспоминал некоторые эпизоды. Его старый знакомый В. Н. Челищев записал эти «реминисценции»: «Живо и картинно рассказывал Михаил Васильевич о своих посещениях председателя Совета министров И. Л. Горемыкина, чтобы осведомить его о положении, в котором находится армия, страдающая от недостатка снаряжения. И. Л. Горемыкин с закрытыми глазами сосал свою сигару, а когда рассказ Михаила Васильевича дошел до конца, старик открыл свои белые глаза и спросил, как рассказчику нравится обстановка в новом доме председателя Совета министров, и начал, со своей стороны, рассказывать о том, с каким трудом ему удалось эту обстановку собрать. Выслушав рассказ Горемыкина, Михаил Васильевич вновь начинает свое повествование, и старик опять дремлет. Кончил М. В., старик, оживившись, спрашивает, знаком ли он с его женой, и, не дождавшись ответа, вызывает дежурного чиновника и приказывает ему проводить М. В. на прием к жене. А после приема у супруги председателя Совета министров оказывается, что сей последний уехал на какое-то заседание. Едет М. В. к военному министру Сухомлинову, рассказывает ему то же. Сухомлинов все рассказанное отрицает: всего вдоволь, недостатка ни в чем нет. Мало того, выдвигается тема такого содержания: „Все хулят и корят правительство. Бывают действительно промахи. Но... промахи зачастую спасительны“. Военный министр достает из письменного стола карту и план Осовецкой крепости с отмеченными на укреплениях точками поражения от неприятельских снарядов и торжественно заявляет: „Если бы укрепления были построены из доброкачественного цемента, то они давно были бы разрушены снарядами, ибо крепкий бетон разлетается на части. А так как вместо цемента клали песочек, то снаряды в него зарываются и не рвутся!“ Мораль была ясна: от злоупотреблений одна польза и т.д.».

И хотя бюрократия, власть часто и вовсе отказывали в ассигнованиях ВСГ, Челноков весь ушел в практическую работу. Бывший московский городской голова князь В. М. Голицын в январе 1915 года отметил в своем дневнике: «Был у Челнокова в Думе — он водворился в моем кабинете... Челноков мне очень понравился: он вошел в роль и приемы очень хороши». И ранее князь писал в дневнике, что «общественные организации действуют превосходно, а московское городское управление блестяще».

В первый военный год Челноков считал, что ВСГ должен стоять вне политики. Но чем дальше, тем многообразнее и масштабнее становилась работа Союза в тылу и на фронте. И уже на второй год войны, как следствие череды поражений, растущей разрухи и дороговизны, политика буквально ворвалась в работу Союза. Особенно памятен Челнокову стал съезд Союза по экономическим вопросам, связанным с дороговизной и снабжением армии. Этот съезд, состоявшийся 11–13 июля 1915 года, по определению генерала В. Ф. Джунковского, «далеко уклонился в сторону от прямых своих задач и посвятил большую часть времени на политические темы, до изменения государственного строя включительно». Джунковский писал, что, хотя председатель съезда Челноков отнюдь не являлся сторонником резких выступлений, «противостоять общему, в этом именно направлении, течению не мог». Как свидетельствует участник И. И. Серебряников, съезд действительно представлял собой «бурный политический митинг», в котором яростно порицалось правительство за его неумение справиться с выпавшими на его долю задачами по укреплению нашего фронта и внутреннего единства. Со своей стороны, власти окончательно сочли ВСГ «опаснейшим явлением политической жизни страны», бастионом антиправительственной оппозиции. Правые еще больше сгущали краски: «Челноковы и К° являются во главе движения, и они власть...»

Тем не менее М. В. Челноков и на сентябрьском съезде ВСГ (1915) старался провести умеренную линию. Он не допустил участия представителей рабочих организаций, отклонил просьбу допустить на съезд лидеров левых фракций Государственной

думы — Керенского и Чхеидзе. В своей речи он призвал общество «сохранять самообладание» и провозгласил необходимость неотложных мер для стабилизации страны: возобновление занятий Государственной думы и обновление правительства.

Сентябрьский съезд Всероссийского союза городов избрал депутацию к царю, которая должна была открыто высказать ему «всю правду, все надежды, все свои печали и упования». Среди трех избранных (М. В. Челноков, П. П. Рябушинский, Н. И. Астров) наибольшее число голосов получил Михаил Васильевич. Однако царь депутацию не принял. Ходом событий российское общество, организовавшее работу двух союзов — Всероссийского союза городов и Всероссийского земского союза (ВЗС), — вовлекалось в политическую жизнь и должно было искать выход из трагически сложившихся обстоятельств.

Искал их и М. В. Челноков. Наряду с обыденной работой в ВСГ, ВЗС и Земгоре (Михаил Васильевич становится одним из его руководителей) он входит в Прогрессивный блок, составленный из ответственных депутатов Государственной думы и Государственного совета. Под председательством Челнокова Московская дума 18 августа 1915 года единогласно постановила просить об образовании такого правительства, которое пользовалось бы доверием народа. В. М. Голицын записал в своем дневнике: «Вот это день! Честь и слава моим согражданам!.. Я тотчас послал приветствие Челнокову». А через два дня он записывает, что вслед за Москвой все города и общественные организации «поднялись и высказались в еще более сильных формах».

М. В. Челноков от имени Московской городской думы шлет телеграмму в поддержку вел. кн. Николая Николаевича, когда Николай II решил сам возглавить армию. С его участием проходят и неформальные встречи с представителями делового мира Москвы. Он имеет постоянные контакты с председателем Государственной думы М. В. Родзянко, с лидерами Прогрессивного блока, с министрами и сановниками. Редкий день газеты не упоминают о нем или не пересказывают его речи. В годы войны Челноков стал знаковой фигурой российского либерализма. И правящие верхи, и деятели Прогрессивного блока в своих планах формирования кабинета министров допускали также участие в нем Челнокова.

Михаил Васильевич остро чувствует меняющееся настроение страны, рост недовольства населения, предгрозовую атмосферу в России. И не может на это не реагировать: на политику, врывающуюся в деятельность ВСГ извне, он и отвечает «политикой». Вынужденная, против собственной воли, резкая критика власти, выдвижение радикальных требований характерны в этот период даже для многих умеренных либералов, в том числе для руководителей крупнейших общественных организаций — ВСГ и ВЗС, аккумулирующих общественную энергию и отражающих настроение страны. Об этом вынужденном переходе к политике Челноков заявил публично. 12 марта 1916 года, открывая IV съезд ВСГ, на котором присутствовали 210 человек, он подробно рассказал об огромной работе Союза на фронте и в тылу и о тех препятствиях, которые она встречает со стороны власти. «Мы не стремились развивать свою деятельность до тех рамок, в какие она вылилась в настоящее время, вначале мы собирались помогать раненым, и только. Но когда мы увидели, что правительство ведет страну к гибели и готовит армии разгром, мы, из инстинкта самосохранения, из инстинкта государственности, того инстинкта, который чужд правительству, принуждены были вмешаться, взять дела в свои руки. Мы не хотели заниматься политикой, но нас заставили сделать и это. Когда мы увидели, что правительство не помогает, а только мешает нам, мы должны были поставить вопрос об удалении этого правительства и замене его таким правительством, которое пользовалось бы доверием народа. Мы вначале верили, что Санкт-Петербург действительно стал Петроградом, но теперь для нас совершенно ясно, что эти господа ровно ничего не забыли и ровно ничему не научи-

лись. И с этими господами, следовательно, нам больше говорить не о чем. Ни от одного требования, заявленного нами на нашем сентябрьском съезде, мы теперь не отказываемся, напротив, мы заявляем эти требования более решительно... В настоящее время поддерживаемые всей страной, мы еще раз и в еще более категорической форме должны заявить наши требования об ответственном правительстве, о прощении политических преступлений, об уравнивании в правах всех граждан без различия национальностей и вероисповеданий». В Департаменте полиции отмечалось, что речь Челнокова была встречена бурными аплодисментами.

Поездки на фронт в августе 1916 года придают М. В. Челнокову бодрости. «Я очень рад, что был на фронте, — пишет он жене. — Наш союз на этом фронте (северном. — В. Ш.) работает великолепно, он слился с армией и действительно помогает... Дело кипит в строгом порядке и дисциплине. Войска буквально несравненные. Солдаты сыты, отлично одеты, в прекрасном настроении. Рожи толстые, красивые. Все очень добры, услужливы, предупредительны. Офицеры производят тоже очень хорошее впечатление. Чувствуется большая уверенность и спокойствие. Все есть. Видел генерала Рузского. Он мне очень понравился. Спокоен, умен, пронзителен, многосторонен. Здоровье его хорошо... Видел еще многих — все хороши... О политике не слышал. Очень приятное впечатление от всего... В тылу другое дело. Здесь мы киснем, кляузничаем и пр. и пр.». В августе же Челноков встречался в Севастополе с адмиралом Колчаком — «на старом броненосце, где устроен его штаб. Был я принят любезно и скоро».

«Тыл», однако, все больше подводил. Именно состояние тыла объясняет метаморфозу в поведении Челнокова: то он не допускал политику в ВСГ, а то «вдруг» сам к ней приобщился и стал выступать с оппозиционными заявлениями. Патриотические настроения, которые в начале войны захлестнули и либералов, которые вызвали единение власти и общества, наложились на умеренно либеральные взгляды Челнокова и на его сугубо деловой подход к этому единению. И определяющим здесь был деловой подход: всемерное содействие военным усилиям страны. Он обусловил резко отрицательное отношение Челнокова к «политике» как мешающей практическому делу помощи армии, достижения победы. Даже на втором году войны он говорил: «Или заниматься политикой, или заниматься кроватями». И забастовки рабочих претили ему в большой мере тем, что они разлаживали механизм городского хозяйства. Он считал, что отношение к войне должно служить главным критерием в стратегии и тактики либералов. Работа Союза городов, особенно важная и ценная для армии, по его разумению, должна оставаться вне политики еще и потому, что ВСГ существовал на птичьих правах: он не был юридически оформленной организацией и не имел самостоятельной финансовой базы — средства на его работу шли из казны. При такой уязвимости политические амбиции в случае репрессий могли оказаться губительными для ВСГ. И вообще, либералам на политических подмостках, как полагал Челноков, следует выступать очень осторожно, учитывая реальную обстановку в стране; лучше «вооружиться терпением и ждать», отложить счета с властью на послевоенное время. В сентябре 1915 года Челноков, в противовес П. П. Рябушинскому и Н. В. Некрасову, находил, что «опасно обращение к народу»: «Рабочие не организованы, принимают наиболее экспансивные предложения». Поэтому он пессимистически оценивал попытки А. И. Коновалова «навести мосты» с представителями рабочих: «Все затеи Коновалова окончатся ничем». В память ему на всю жизнь врезался 1905 год: об «огромных массах рабочих, захваченных пропагандой левых партий, и жизни города, которая была вся под впечатлением всеобщей забастовки и ужасов вооруженного восстания» Михаил Васильевич вспоминал и в эмиграции.

Однако власти сами вынуждали общественные организации радикализироваться. Челноков считал, что мешавшая конструктивной работе и приближавшая револю-

цию «анархия в стране начиналась сверху». Против нее и была направлена его политическая деятельность. История Союза городов, по определению соратников Челнокова, представляет собой картину постоянной борьбы за право на работу, отстаивание этого права и стремление к его расширению, ибо власть систематически противодействовала этой работе.

В июне 1916 года решение властей ужесточить процедуру разрешения съездов общественных организаций вызвало крайнее недовольство Челнокова. Он «был настроен очень воинственно» и готов к политическому, но легальному противодействию этому ужесточению. Общее, «канунное» состояние страны поддерживало его в весьма оппозиционной форме. Он вел настоящую осаду центральных и местных властей, требуя разрешения съезда ВСГ; поддерживал оппозиционные выступления Думы; а его письмо к М. В. Родзянко, в котором говорилось о необходимости создания наконец такого правительства, которое в единении с народом приведет страну к победе, стало широко известно в стране. Челноков остро чувствовал назревание революции и потому делал все от него зависящее, чтобы ее предотвратить.

В декабре 1916 года, вечером того дня, когда были разогнаны не разрешенные властями съезды общественных организаций, на квартире Г. Е. Львова собрались Челноков, М. М. Федоров (один из деятелей ВСГ и бывший министр торговли и промышленности), Н. М. Кишкин, Н. И. Астров. Присутствовал и представитель городов Кавказа А. М. Хатисов, который так отразил ход собрания в своих неопубликованных воспоминаниях: «Обсуждали положение дел. Совещание длилось почти всю ночь. Князь Львов сообщил, что на фронте — ужас. Армия понимает, что она накануне краха, голода и без снарядов. Многие части требуют удаления царя. Присылают гонцов. Были названы части. При дворе недовольство. 16 вел. князей требуют удаления Распутина. Они подали царю записку. В Думе требуют удаления министров. Все чувствуют необходимость смены формы правления — корня всех дел. „Ответственное правительство“, — вот спасение... К утру и за день все члены съезда дали свое согласие на назначение кн. Львова председателем Совета министров, если будет создано ответственное министерство. Хотели организовать дворцовый переворот. Мне было поручено узнать лично отношение Великого князя Николая Николаевича к этому перевороту и согласен ли он принять корону царя, если совершится переворот? Еще не настало время для полного рассказа об этих разговорах (воспоминания написаны в 1925 году. — В. Ш.), но скажу лишь, что вел. князь воздержался действовать активно».

Челноков и Львов пытались воздействовать на высшую власть, изменить ее гибельный курс также через лорда А. Милнера: обрисовав положение в России, они прямо сказали ему, что вот-вот грянет революция. Челноков с большой симпатией относился к Англии и англичанам еще со времени своего визита в эту страну в 1909 году в составе думской делегации. В 1915-м он стал одним из отцов-основателей Общества сближения с Англией, нередко встречался с послом Великобритании в России Дж. Бьюкененом. За развитие русско-английских отношений английский король пожаловал Михаилу Васильевичу титул баронета и знаки ордена Подвязки.

Власть, однако, осталась глуха ко всем предостережениям общественных деятелей. В начале февраля 1917 года девятнадцать членов Особого совещания по обороне, и в их числе Челноков, потребовали провести заседание Особого совещания под председательством царя, чтобы обсудить общее положение в стране. Заседание должно было состояться 27 февраля. Революция пришла раньше.

27 февраля 1917 года М. В. Челнокову пришлось созвать в Московской городской думе совещание представителей общественности в связи с разразившимися в стране событиями. 2 марта председатель Временного комитета Государственной думы М. В. Родзянко назначил Челнокова комиссаром Москвы. Но он оставался на этом посту лишь

до 6 марта. В жизнь бурным потоком ворвалась революция с ее демократизацией. Челноков — реалист: как «цензовик» и «капиталист», он отказался в это революционное половодье баллотироваться на новый срок в городские головы. А в апреле сдал также полномочия главноуправляющего ВСГ (оставшись членом его Главного комитета).

Революция резко изменила общественно-политическое положение М. В. Челнокова. Он стал комиссаром Русского музея — этим назначением он был обязан Ф. А. Головину, теперь комиссару бывшего Министерства императорского двора. На общероссийской арене Михаил Васильевич сверкнул еще раз как депутат Предпарламента, заседавшего 7–25 октября в Мариинском дворце, где раньше размещался Государственный совет.

Когда произошел Октябрьский переворот, Михаил Васильевич находился в Петрограде. Власти большевиков он не признал. Вернувшись в Москву, вошел в «Правый центр» — антибольшевистскую организацию, в которой состоял вплоть до 1918 года, до отъезда в Одессу вместе с семьей.

Годы Гражданской войны М. В. Челноков провел сначала на Юге России, затем, с 1919 года, — в Югославии. В Белграде стал одним из создателей Общества славянской взаимности и боролся за «восстановление России». Из Белграда 7 июля 1919 года он писал в Екатеринодар Н. И. Астрову: «Сущность моего пребывания здесь сводится к попытке использовать в интересах восстановления России всеобщее здесь сознание, что без великой России невозможен мир в Европе. Срединное положение Югославии, возможный ее союз с Чехией, влияние этой силы на Польшу — такие величины, которые заслуживают самого нашего пристального внимания тем более, что большевики и украинцы работают вовсю. Удивительно, как здесь мало знают о том, что такое большевики. Очень многие расположенные к России люди рисовали большевиков как апостолов равенства и справедливости, только немного обостривших процесс превращения России в царство небесное, что и вызывает отрицательное отношение к буржуазии. Мы работаем прежде всего для прочистки голов в отношении большевиков». И Челноков сообщает своему корреспонденту об огромной работе, которую ведут он и его соратники: каждый день во всех белградских газетах появляются заметки и перепечатки о России, устраиваются собрания, совершаются поездки в соседние города, а также в Боснию, Герцеговину, Черногорию, к хорватам и словенцам. К выпуску подготовлены несколько брошюр, впереди — поездки в Прагу и Варшаву. Челноков считал: «Мы в высшей степени на своем месте». Были у него и просьбы к Н. И. Астрову, в то время близкого к А. И. Деникину: «Вы не должны забывать, что украинцы и большевики работают вовсю и с огромными деньгами. Необходимо им оказывать противодействие, а для того нужны деньги. В распоряжении посольства должны быть значительные суммы для организации разъездов, печатания, пропаганды. Здесь почва благоприятна, и дело того стоит. Надо обеспечить не только настоящее, но и будущее. Скажите нашему министру пропаганды, чтобы сюда прислали несколько талантливых людей, истинных демократов, но без сантиментального флюса на левую сторону... Мое убеждение, что с Парижем лучше говорить из Белграда... и этим обстоятельством надо пользоваться».

После поражения белого движения М. В. Челноков отошел от всякой политической деятельности и в своих письмах к Н. И. Астрову откровенно высказал свое мнение не только о будущем своих единомышленников и эмиграции, но и о будущем России. Уже 20 мая 1920 года он писал: «Во всяком случае, в них (в событиях, происходивших в России. — *В. Ш.*) не разберутся люди нашего типа, которые все оказались бессильны. Нужны какие-то новые люди, а нам, грешным, следует законом запретить заниматься политикой, ибо в этом отношении все люди конченные. По отношению к себе я установил этот взгляд твердо и буду, пока еще могу работать, искать применения своих сил

на других поприщах». А спустя девять лет он высказался конкретнее: «Все сообщенное тобой о Париже подтверждает заключение, к которому я давно пришел: эмиграция активной роли ни в перевороте, ни после него не сыграет. Перемены в России осуществятся лишь тогда, когда подрастет молодое поколение, не познавшее ужасов войны мировой и гражданской и способное к действию».

Сам Михаил Васильевич без остатка отдавал себя практической деятельности (работе в архивах, в Союзе городов и т.д.). И в 1931 году сообщал Астрову, с которым и в эмиграции сохранял дружеские отношения и вел постоянную переписку: «Курилка — Союз городов жив, хотя и на чужой почве. Не могу сказать с уверенностью, что это дело наше с Брянским, но капля меда нашего есть. Когда мы сюда приехали, и Союз городов стал здесь работать, сербы не понимали — что это за Союз городов, и приходилось давать пояснения... Союз городов в Югославии осуществлен, и программа нашего Союза городов, как мы ее понимали для после войны, здесь проводится почти целиком... Приятно читать (в газетах. — *В. Ш.*), как все умно и хорошо выходит. Это косвенный ответ на ваше печалование о том, что от наших учреждений ничего не останется».

Последние годы жизни М. В. Челнокова оказались тяжелыми. Не столько потому, что дореволюционные «зубры» досаждали своими нападками и здесь, в эмиграции, сколько из-за тоски по дочерям, которые жили в Париже и с которыми он не виделся несколько лет, а также из-за тяжелой болезни. С 1926 года Михаил Васильевич страдал туберкулезом позвонков и был прикован к постели. В русской больнице в Панчеве, лежа, он писал своим прекрасным бисерным почерком. И всего за три месяца до смерти, по просьбе А. И. Гучкова, подготовил очерк для предполагавшегося публичного собрания в память Н. И. Гучкова, который скончался 6 января 1935 года.

Сам М. В. Челноков умер в Панчеве 16 августа 1935 года. Собрание в его память и в память Н. И. Гучкова состоялось 28 ноября в Париже. Очерк прочитал бывший член Московской городской думы и единомышленник Михаила Васильевича В. Ф. Малинин. По словам Малинина, он стал «лебединой песнью» автора. Можно сказать, что это и его политическое завещание. «У русских нет гения компромисса, которым так сильны „просвещенные мореплаватели“. Русские забывают, что при столкновении двух сил возможна или средняя линия, спасающая обе силы, или крушение слабейшей, что и для сильнейшей даром не проходит». М. В. Челноков подчеркнул: история «ясно показывает, как необходимо единение, терпимость к противникам, как губительны политические разногласия, когда они переходят в раскол и вносят в деловые общественные отношения ненужные обострения, страстность и взаимное непонимание». Он призывал общественных и политических деятелей помнить об этом.

ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ ТРУБЕЦКОЙ: *«Государство должно быть не опекуном, а миротворцем»*

ВИКТОР ШЕВЫРИН

Россию начала XX столетия, ее общественно-политическую и духовную жизнь невозможно представить без князя Евгения Николаевича Трубецкого (1863–1920). Без него она лишилась бы, может быть, самых ярких своих красок. Философ, правовед, публицист, политический, общественный и религиозный деятель — он везде, на каждом из этих поприщ, являлся фигурой первой величины.

Даже внешность Евгения Николаевича казалась особенной. Многих современников он поражал своей «породистостью, мужественной, степенной красотой, неподражаемой вибрацией речи, а главное, какой-то простой, изнутри исходящей, естественной силой своих убеждений и верований». Это был «живой, блестящий на слово человек». Не только его доводы, но просто он сам, его личность не могли не произвести впечатление. Как вспоминала А. В. Тыркова, в нем «было много природного шарма. Широкоплечий, стройный, с легкой юношеской походкой, он быстро проходил через толпу, высоко над ней нес свою красивую породистую голову. Умные темные глаза смотрели пристально и решительно. В этом философе, изучавшем Платона под сенью прадедовских лип и дубов, не было кабинетной тяжеловесности. Его так же легко было представить на коне в ратном строю, как и на профессорской кафедре».

Собственно, он всегда и оставался «в строю» — на передовой общественно-политической борьбы, в самом ее пекле, порой — в прямом смысле этого слова. В грозные 1905–1907 годы князь, по его собственным воспоминаниям, «почти круглый год провёл в вагоне, ездил во время забастовок (на митинги, лекции. — В. Ш.), во время мятежей ходил и под пулями с опасностью для жизни (в Киеве в нас стреляли революционеры), запустил науку, потому что политика съела все». Но он «считал своим долгом ею заниматься и бросался в нее с самоотвержением», являясь «полной противоположностью, — как свидетельствует его сын, — тех отвлеченных философов, которые, как Гегель, спокойно писали философские трактаты под гром Иенских пушек, разрушавших их отечество».

Евгений Николаевич Трубецкой родился 23 сентября 1863 года в Москве, в семье, которая принадлежала старому княжескому роду, ведущему свое начало от Гедимины и давшему миру, как считают генеалоги, короля Богемского, четырех великих князей, трех фельдмаршалов, двух адмиралов, многих генералов и сановников. Славу роду Трубецких принесли и Евгений Николаевич, и его брат Сергей, родившийся годом раньше: оба они стали выдающимися философами. В одно время с ними творил также их сородич, великий скульптор Паоло Трубецкой. В 20–30-е годы XX столетия высоко вззошла звезда сына Сергея Николаевича — знаменитого лингвиста Н. С. Трубецкого.

Детские годы Е. Н. Трубецкой провел в памятном ему подмосковном имении Ахтырка. О своем ахтырском детстве он напишет в горячие февральско-мартовские дни 1917 года; эти воспоминания — «духовное завещание России будущей», если, по его

словам, «эта Россия будущего еще будет способна не втоптать в грязь, а понять духовную красоту России ушедшей». Азы образования и прекрасную языковую подготовку Трубецкой получил дома. В одиннадцать лет, в 1874-м, он поступил в третий класс частной гимназии Ф. И. Креймана, затем — в пятый класс гимназии в Калуге. В 1881–1885 годах Евгений — студент юридического факультета Московского университета (кафедра философии и энциклопедии права).

Юность князя проходила в либеральной атмосфере его семьи. Особую роль в воспитании Евгения и восьмерых его братьев и сестер сыграла его мать, исключительно даровитый, тонкий и одухотворенный человек. Он тепло пишет о ней в своей книге «Из прошлого». Отец, Николай Петрович Трубецкой, был председателем Российского музыкального общества, всемерно помогавшим в создании Московской консерватории. В Ахтырку часто наведывались многие деятели культуры и особенно музыканты и композиторы: Н. Г. Рубинштейн, П. И. Чайковский и др. Н. П. Трубецкой «был человеком семейным, дворянской чести». Небольшой штрих: когда в 1879 году его брата Ивана посадили в долговую яму за неуплату карточного долга, Николай Петрович, чтобы выручить его, продал имение.

Евгений Николаевич и его брат Сергей уже в юные годы серьезно изучали философию, претерпев эволюцию от увлечения материалистическими идеями до начал «конкретного идеализма» (Сергей) и религиозной философии (Евгений). Философские эмпирии нисколько не отвлекали Трубецкого от реальной жизни. В 1885 году он поступил вольноопределяющимся в гренадерский полк, расквартированный в Калуге. Выбор места службы обусловлен тем, что в Калужской губернии находилось его имение — любимое Бегичево (917 десятин). В том же году князь Трубецкой сдал экзамены на офицерское звание. Сердце его, однако, принадлежало философии.

С апреля 1886-го он — приват-доцент Демидовского лицея (Ярославль). Следующий год, 1887, стал рубежом для Евгения Николаевича: он знакомится с Владимиром Сергеевичем Соловьевым, который стал его другом и оказал огромное воздействие на его философские взгляды и на мировоззрение в целом. Впоследствии Е. Н. Трубецкой опубликовал двухтомную монографию «Миросозерцание Вл. С. Соловьева» (1913) — труд, донныне считающийся одним из самых обстоятельных исследований творчества этого выдающегося философа.

Однако, принимая соловьевские идеи о «Всеединстве» и «Богочеловечестве», Евгений Николаевич вкладывал в них иное содержание. Так, он не разделял представление о единственности Бога и мира, полагая, что Бог обладает полной свободой воли и отождествлять его с его творением невозможно. Не разделял он и мысли Соловьева о теократическом государстве, полагая, что следует разграничивать религиозно-нравственную и социально-экономическую сферы. Трубецкой понимал государство лишь как правовое и видел в нем ступень, в ходе исторического процесса ведущую к царству Божию, а не составную часть этого царства. Такая «ступень», по Трубецкому, ценна для общества и личности именно своим эволюционным совершенствованием: «Всякая положительная величина, хотя и малая, должна быть предпочтена полному ничтожеству». Среди многих других отличий в философских представлениях Соловьева и Трубецкого важны также отличия в понимании такой философской категории, как свобода. Свобода у Трубецкого — основа деятельности личности. У Соловьева отношения между Богом и человеком основаны на любви, а у Трубецкого — на свободе выбора, которая есть источник не только добра, но и зла. Человек сам выбирает свой путь и несет ответственность за зло в мире. Поэтому София у Трубецкого — не посредница между Богом и миром, а идеальный замысел о мире, который человек может признать или отвергнуть. Эти религиозно-философские представления легли в основу мировоззрения Трубецкого, которое определяло и его политические позиции.

Обе его диссертации посвящены теократическому идеалу западноевропейского христианства. Магистерская называлась «Религиозно-общественный идеал западного христианства в V веке. Миросозерцание блаж. Августина» (1882), докторская — «Религиозно-общественный идеал западного христианства в XI веке. Идея царства Божия у Григория VII и публицистов его времени» (1897). Трубецкой считал, что, несмотря на односторонность и законничество вероучений средневековых отцов церкви, западная церковь нередко вносила мир и единство в хаос средневековых политических сил, давая европейским народам возможность сохранить плоды общечеловеческой культуры среди окружающего варварства. Отсюда его представления о том, что эту высокую миссию христианская церковь должна осуществлять и в современном мире. Она может это сделать, если сбросит с себя зависимость от светской власти. Трубецкой постоянно развивал эту мысль и лично участвовал в попытках ее реализации (в 1906 и 1917–1918 годах). Его перу принадлежат не только исследования философско-религиозного характера, не только работы о древнерусской религиозной живописи («Умозрение в красках», «Два мира в древнерусской иконописи», «Россия в иконе»), но и такие философские труды, как «Философия Ницше», «История философии и права», «Социальная утопия Платона», «Метафизические предположения познания. Опыт преодоления Канта и кантианства», «Смысл жизни» и др.

Вместе с защитой диссертаций менялось и служебное положение Трубецкого. В 1894 году он стал приват-доцентом, в 1897-м — ординарным профессором Киевского университета, в 1906-м — профессором Московского университета. Но еще до защиты магистерской диссертации произошло изменение в его личной жизни. В 1889 году Евгений Николаевич женился на княжне Вере Александровне Щербатовой, с которой у него было трое детей — Сергей, Александр и София. О тесте Трубецкого, А. А. Щербатове, первом выборном всесловном городском голове Москвы, проникновенные строки написал патриарх либерализма в России Б. Н. Чичерин — человек, чуждый всякой комплиментарности. По его словам, Москва нашла в Щербатове «человека, который способен соединять вокруг себя все сословия, русского барина в самом лучшем смысле, без аристократических предрассудков, с либеральным взглядом, с высокими понятиями о чести, неуклонного прямотушия, способного понять и направлять практическое дело, обходительного и ласкового со всеми, но тонко понимающего людей и умеющего с ними обращаться». Чичерин, когда ему приходилось решать какой-нибудь практический вопрос, особенно требующий нравственной оценки, «ни к кому не обращался за советом с таким доверием, как к Щербатову». Е. Н. Трубецкой вполне соглашался с оценкой, данной Чичериным, которого очень высоко ценил как философа, либерального деятеля и человека; в 1904 году он написал о нем небольшую книгу. Вместе с женой и детьми Трубецкой подолгу гостил у тестя в Наре, имении в Верейском уезде Московской губернии.

На рубеже веков в России оживилось освободительное движение, и Е. Н. Трубецкой, как земец, принимает в нем деятельное участие, входит в кружок «Беседа». В начале XX века он — один из самых ярких идеологов российского либерализма. В 1901 году Трубецкой выступил автором критической статьи о марксизме («К характеристике учения Маркса и Энгельса о значении идеи в истории») в сборнике «Проблемы идеализма», в котором произошло «обращение» лидеров легального марксизма во главе с П. Б. Струве в «либеральную веру». Огромный резонанс получила его статья «Война и бюрократия» («Право», 1904, № 39). В ней, впервые в легальной прессе, названа причина всех неудач страны — многолетняя косность российского общества, живущего «по произволу всевластной бюрократии, словно в дортуаре участка». Широко известны статьи Е. Н. Трубецкого «Крах», «Церковь и освободительное движение» и др. В работе о церкви сказано, что русское духовенство может «колокольным звоном возвес-

тить всеобщий праздник обновления» и радоваться успехам оппозиции. Для этого оно должно отрешиться от казенной власти и бесстрашно обличать правительственную неправду.

Уже в эти годы Евгений Николаевич стал одним из провозвестников и организаторов собирания либеральных сил. У него и его брата Сергея осенью 1904 года возникла мысль основать еженедельную политическую газету с целью консолидации общественности. Этой газетой стала «Московская неделя» во главе с князем С. Н. Трубецким и его помощником А. А. Корниловым. Евгений Николаевич принял самое активное участие в работе редакции. Предполагалось, что читателями «Московской недели» станут деятели местного самоуправления, либеральная часть профессуры и студенчества; ее тираж должен был составить 6000 экземпляров. В марте–апреле 1905 года прошли заседания редакции, определившие общую политическую платформу издания: конституционная монархия с двухпалатным народным представительством, дополнительное наделение земель малоземельных крестьян и т.д. Однако по многим вопросам в рамках этой программы редакция разделилась на «антирадикальное» руководство (братья Трубецкие, С. А. Котляревский) и «радикалов-конституционалистов» (Д. И. Шаховской, Петр Д. Долгоруков, И. И. Петрункевич). Яблоком раздора послужили вопросы о прямой и двухступенной подаче голосов, о принципе принудительного отчуждения земли, об отношении к левым партиям и др. Евгений Николаевич, в частности, возражал против прямых выборов и против «искательства» слева, заигрывания с революционерами. Несмотря на эти коллизии, надежда прийти к согласию не пропала. В марте 1905 года власти разрешили газету, и в мае было набрано три номера. В них проводилась мысль о необходимости созыва законодательного представительства как залого внутреннего мира. Но печатать газету цензура не разрешила, а против редактора С. Н. Трубецкого было начато судебное преследование за критику государственного строя. Газету пришлось закрыть до лучших времен. Энергия братьев Трубецких пошла в основном по руслу земских съездов. На июльском съезде Сергея Николаевича избрали в депутацию к царю. Его речь на монаршем приеме по форме была скорее умеренной (хотя и прогремела на всю страну), но по содержанию — либерально-оппозиционной. Об истинном отношении С. Н. Трубецкого к самодержцу свидетельствуют его слова, произнесенные в кругу единомышленников: «Поросенок, давай нам конституцию». Однако до конституции сам князь С. Н. Трубецкой не дождался: первый выбранный ректор Московского университета скончался 29 сентября 1905 года в приемной министра просвещения.

Евгений Николаевич глубоко переживал эту утрату. Политической же его энергии вместе с головокружительным ходом революционных событий только прибывало. В резко обострившейся в 1905–1907 годах политической борьбе он выступал за идею конституционной монархии в России — прежде всего с либерально-христианских позиций. Ведь самодержавие не считается с личностью, и только в правовом государстве обеспечиваются как индивидуальные права и свободы, так и общественное благо, что соответствует категорическому императиву. Е. Н. Трубецкой проповедовал мирное, эволюционное развитие страны и чрезвычайно важной для этого развития считал внутреннюю работу личности, ее самовоспитание и обретение нравственной, гражданской и общественной позиции. Наиболее близка ему была программа Конституционно-демократической партии (Партии народной свободы) по политическому, социальному и экономическому преобразованию России. Он стал не только одним из ее создателей, но и одним из руководителей в первые месяцы ее существования.

Бурный процесс возникновения либеральных политических партий, повышенная активность либералов в октябре 1905 года во многом связаны с «дарованием» Манифеста 17 октября, который общественность приветствовала как шаг на пути превра-

щения России в конституционную монархию. Тогда, впервые в истории страны, представители общественности получили возможность войти в правительство. В переговорах об участии либералов во власти, начатых С. Ю. Витте, наряду с Д. Н. Шиповым, А. И. Гучковым, С. Д. Урусовым и другими участвовал и князь Е. Н. Трубецкой. Витте предложил ему пост министра просвещения, так как Трубецкой, по его определению, «пользовался в университетской среде прекрасной репутацией». По словам П. Н. Милюкова, Трубецкой хотел стать министром, но решил обсудить это предложение со своими партийными коллегами. Сам Милюков считал: во-первых, Трубецкой не подходит для этой роли, а во-вторых, «его согласие было бы нарушением принятой нами общей политической линии». Тем не менее Трубецкой встречался с Витте. Премьер-министр вспоминал потом: когда он начал объясняться с Трубецким, то «сразу раскусил эту натуру»: «Она так открыта, так наивна и вместе с тем так кафедро-теоретична, что ее нетрудно сразу распознать с головы до ног. Это чистый человек, полный философских воззрений, с большими познаниями, как говорят, прекрасный профессор, настоящий русский человек, в неизгаженном (Союз русского народа) смысле этого слова, но наивный администратор и политик. Совершенный Гамлет русской революции. Он мне, между прочим, сказал, что едва ли он вообще может быть министром, и в конце концов я не мог удержать восклицания: „Кажется, вы правы“».

Е. Н. Трубецкой все-таки продолжал участвовать в общих переговорах до конца. Только 27 октября Гучков, Шипов и он решили сообщить Витте о своем окончательном решении отказаться от переговоров, намереваясь написать об этом специальные «открытые письма». Письмо Трубецкого опубликовано 28 октября в либеральной газете «Наша жизнь». Он и другие либералы хотели бы войти в правительство для реальной работы, в то время как власть видела цель переговоров в том, чтобы общественные деятели, по словам Витте, помогли «своей репутацией успокоить общественное волнение». Но даже и этот «эффект» от вступления либералов в кабинет становился невозможным потому, что пост министра внутренних дел предназначался П. Н. Дурново, реакционеру в глазах общественности, а сами они (приемлемые лишь без своей программы и без всяких гарантий) остались бы в правительстве в одиночестве. Трубецкой воспринимал приглашение серьезно, как желание власти пойти на уступки обществу, и, соответственно, излагал премьеру свои взгляды на участие в кабинете. Вот почему он и казался Витте «наивным администратором и политиком». Князь действительно был «Гамлетом». В его случае в наиболее контрастной форме проявилось очевидное противоречие: между искренним желанием либерала пойти на компромисс с властью, верой в разумность самой власти — и проявившимся неразумием этой власти, ее самоубийственным отказом от сотрудничества, гибельным для государства. Можно сказать, что «Гамлетом» был в последнее десятилетие романовской империи весь российский либерализм в целом. Все попытки его представителей добиться соглашения с властью каждый раз терпели неудачу из-за ее решительного, но близорукого отказа считаться с общественным мнением, идти на уступки обществу.

Неудача переговоров не оборвала контактов Витте с либералами: подготавливая новый избирательный закон, правительство привлекло к этому и общественных деятелей: Д. Н. Шипова, А. И. Гучкова, М. А. Стаховича, С. А. Муромцева и Е. Н. Трубецкого. Либералы предложили свой проект, основанный на принципах всеобщего избирательного права, и пытались защитить его на заседании Совета министров 19–20 ноября 1905 года. Однако значительно поправевший премьер С. Ю. Витте, а за ним царские сановники А. Д. Оболенский и П. Н. Дурново категорически выступили против.

После начавшегося вскоре декабрьского вооруженного восстания в Москве поправились и многие либералы, в том числе и Е. Н. Трубецкой, причем настолько, что в январе 1906 года он даже вышел из кадетской партии — из-за ее нежелания проводить

«точную границу налево». Проблема точного определения союзников и противников остро чувствовалась в обществе в начале 1906 года, в связи с предстоящими выборами в I Государственную думу. Трубецкой опасался, что Дума «соберется слишком поздно, чтобы предупредить готовящиеся к весне беспорядки».

Именно тогда, в начале 1906 года, Е. Н. Трубецкой проявляет особую энергию, пытаясь консолидировать либеральные силы. Для этого он реанимирует идею, теперь уже с другим своим братом, Г. Н. Трубецким, об издании умеренно либерального печатного органа в качестве центра такой консолидации. В январе по предложению Е. Н. Трубецкого был учрежден Клуб независимых; при нем решили издавать журнал, который бы послужил ядром для возникновения либеральной партии центра. 3 февраля на собрании Клуба независимых Е. Н. Трубецкой предложил программу будущего издания; «Московский еженедельник» и стал рупором умеренных либералов в России. Он давал ту политическую программу, на которой, как верилось его инициатору, произойдет объединение сил истинных конституционалистов. Деньги на еженедельник, помимо его редактора-издателя Е. Н. Трубецкого, давали А. С. Вишняков, М. К. Морозова, Ю. А. Новосильцев, В. П. Рябушинский, С. И. Четвериков, А. И. Коновалов — известные либералы и предприниматели. В редколлегию вошли князя Трубецкие, П. Б. Струве, В. А. Маклаков, Н. Н. Львов и др. Первый номер «Московского еженедельника» вышел в Москве 7 марта 1906 года — как раз в разгар избирательной кампании в I Государственную думу. В начальных номерах журнала проводилась мысль, что «для правительства согласие с Думой — единственный способ предупредить кровавую революцию».

Е. Н. Трубецкой принял активное участие в избирательной кампании в Думу и был выдвинут в выборщики от Конституционно-демократической партии. В марте 1906 года он с удовлетворением констатировал, что граница кадетов налево обозначилась яснее и рельефнее. В печати и на собраниях Трубецкой призывал избирателей отдавать партии свои голоса. Стремясь обеспечить опору кадетам в демократических массах, «Московский еженедельник» с похвалой отзывался об антибойкотистских статьях Г. В. Плеханова и звал избирателей, оставив теоретические споры, поддержать кадетские списки с участием рабочих. По мнению журнала, присутствие рабочих депутатов в Думе «является серьезным залогом мирного законного развития рабочего движения, на что вряд ли можно было бы надеяться, если бы не сделано было попыток ввести это движение в общее русло народного представительства».

Вместе с тем Е. Н. Трубецкой опасался административного произвола на выборах и их фальсификации, чреватых потерей доверия населения к Думе, которую многие в России рассматривали как главное спасение от революции. После открытия Думы Е. Н. Трубецкой уделял ее работе первостепенное внимание. Ему очень не нравилось, что она превращается в «Думу народного гнева», хотя кадеты представляли в ней самую многочисленную фракцию. Трубецкой пытался бороться против того, что находил у них нежизненным, надуманным, вредным. Он уговаривал составить «ответный адрес» императору в более примирительном тоне, «искать точек сближения, а не расхождения с правительством, попытаться с ним сотрудничать».

Но не из-за «адреса» Е. Н. Трубецкой отошел от кадетов, среди которых у него было много старых друзей. Его оттолкнуло отношение партии к революционному террору. Трубецкой считал, что Дума обязана вынести моральное осуждение террористам, убивавшим мелких и крупных агентов власти. Он настаивал, что этого осуждения «требуется народная совесть». Дума не может работать, пока не наступит в стране успокоение, и в этом она обязана помочь правительству. Но на все моральные и правовые доводы он неизменно получал один ответ: «Пусть правительство сначала прекратит свой террор, а там посмотрим».

Князь отвернулся от кадетов и обратил взор на мирнообновленцев во главе с графом П. А. Гейденом. Они пытались создать в Думе конституционный центр и внушить парламенту необходимость осуждения террора как «слева», так и «справа» — и со стороны революции, и со стороны реакции, — с тем чтобы страна пошла наконец по мирному, эволюционному пути. Со времени «перводумья» политические симпатии Е. Н. Трубецкого оставались с этой группой, а «Московский еженедельник» стал выразителем ее взглядов.

Роспуск I Думы вызвал у Трубецкого чувство «оскорбления и возмущения». Этот шаг правительства он рассматривал как «высший из всех актов безумия» — им оказалась «загублена последняя надежда на мирное обновление Родины», нанесен «страшный удар монархической идее». И Трубецкому уже виделись вооруженные восстания и кровавая пугачевщина. В народных массах, полагал он, наряду со многими положительными качествами, дремлют и «животные инстинкты»: кровожадность, алчность, злоба, человеконенавистничество. «Друзья народа» разжигают эти инстинкты и затем отдают на растерзание чужую собственность, а часто — и личность. В крайней «ажитации», Е. Н. Трубецкой посылает письма Николаю II и Столыпину, сменившему Горемыкина. «Престол в опасности, — заявляет он царю. — Русская социалистическая марсельеза начинает вытеснять народную песнь». «Как монархист и землевладелец», он откровенно говорил царю и премьеру: в деле защиты имущественных интересов «сила в Ваших руках оказывается никуда не годным оружием». Прекратить смуту, по его мнению, мог только незамедлительный созыв новой Думы, призыв общественных деятелей в министерство и осуществление аграрной реформы с учетом принципа принудительного отчуждения земли.

Наверное, в тот момент Трубецкой еще преувеличивал опасность революции для судеб монархии. Причиной послужил и собственный опыт, когда ему пришлось побывать и под пулями революционеров, и «в осаде» в родном имении, когда ему и его сыну Сергею приходилось спать, положив рядом оружие. Но в целом перспективу он угадал правильно, предвосхитив будущее и престола, и России.

Со словами умиротворения Е. Н. Трубецкой обращался и к «пострадавшей стороне», бывшим думцам, съехавшимся в Выборг. Трубецкой явился туда вместе с мирнообновленцами М. А. Стаховичем и Н. Н. Львовым и изо всех сил отговаривал народных избранников от рокового шага — принятия Выборгского воззвания. У него теплились еще надежды на создание «общественного министерства», переговоры о котором начались еще во время I Думы. Тогда Трубецкой выступал за призыв в кабинет кадетских лидеров (Милюкова, Петрункевича). После роспуска Думы власть (прежде всего Столыпин) вела переговоры с умеренными либералами — Гейденом, Шиповым, Г. Е. Львовым. Среди возможных кандидатов на министерские посты назывался и Е. Н. Трубецкой — в качестве обер-прокурора Святейшего синода. Он был тогда уже признанным, авторитетным специалистом в церковных вопросах, в 1906 году участвовал в работе Предсоборного присутствия, призванного подготовить церковную реформу. Однако и на этот раз очередная попытка переговоров закончилась безрезультатно: как только в правящих сферах прошел страх перед возможностью революционного взрыва после роспуска Думы, так миновала и потребность в ширме «общественного министерства».

В ходе новой предвыборной кампании Е. Н. Трубецкой выступал уже под знаменем «мирного обновления»: ему казалось, что будущая партия может сплотить всех истинных конституционалистов и предотвратить разгром конституционалистов на выборах. Князь стремился консолидировать либеральные партии в единый предвыборный блок под мирнообновленческим флагом. Он выступал и против левоблокистской тактики революционеров, и против вмешательства администрации в выборы,

и против репрессивной политики правительства, толкнувшей демократических избирателей влево. В таком их уклоне Трубецкой винил и кадетов: подписание Выборгского воззвания привело к исключению из избирательного процесса многих выдающихся членов партии, а это ослабило ее противодействие левым. Евгений Николаевич надеялся, что правительство прозреет и отменит «бесполезные стеснения мирной оппозиции», и она сможет широко развернуть свою работу.

Однако правительство оставалось верным себе, а сюрпризы преподносили либералы. В их среде, вместо чаемого мирнообновленцами сближения, набирали силу центробежные тенденции. Октябристы резко взяли вправо, почувствовав «токи» от своей «социальной базы», напуганной революцией. В августе их лидер А. И. Гучков открыто одобрил введение военно-полевых судов. В «Русских ведомостях» от 2 сентября 1906 года Трубецкой вступил с ним в полемику, направив «открытое письмо» (к этому жанру политической публицистики он прибегал не раз, адресуясь к М. М. Ковалевскому, П. Н. Милюкову, М. М. Федорову и др.). Вождя октябристов Трубецкой обвинил в забвении принципов либерализма, в отказе от реформ, в потворстве военно-правительственному методу подавления революции. Единственно, что подсластило ему горечь сползания октябристов вправо, — это переход части левых октябристов в сформировавшуюся наконец Партию мирного обновления (ПМО).

В Центральный комитет новой партии вошел и князь Е. Н. Трубецкой, который сделался ее глашатаем и с «катоновским» упорством выступал за создание конституционного центра в стране и в Думе. Он стремился подвигнуть российский либерализм к преодолению политической слабости, к обретению способности «стоять на собственных ногах», а «не искать союзников и хромать то на ту, то на другую ногу» — то надевать «маску поддельного радикализма» (камешек в кадетский огород), то угодническую маску «чего изволите» (упрек октябристам). Трубецкой считал, что либерализм должен перестать светить отраженным светом; он должен стать наконец самим собой, сильным и независимым, преодолевшим свой левый и правый уклоны, объединившим истинных конституционалистов — всех тех, кто борется на «два фронта»: против революции и реакции, против любого насилия, откуда бы оно ни исходило.

23 декабря 1906 года Е. Н. Трубецкой выступил с лекцией об идейных основах ПМО на «политическом турнире», организованном мирнообновленцами. По решению ЦК партии пригласительные билеты разослали всем значительным политическим организациям. Прежде всего Трубецкой подчеркнул: его партия осуждает и правительственный террор (смертные казни), и революционный (политические убийства). ПМО впервые развернула знамя ценности человеческой личности во всей его широте, не терпящей ограничения. И в этом она — последовательная выразительница ярких заветов освободительного движения, которое совершалось и совершается во имя ценности человеческой личности. Во имя этого начала освободительное движение восставало против самодержавного строя с его узким национализмом, с его сословной исключительностью. Всеми своими выступлениями оно свидетельствует, что для него «дорог человек как таковой», независимо от его национальности и общественного положения, что оно не терпит умаления человеческого достоинства.

Оратор говорил, что мир племенной и мир классовый приобретают прочную основу только в том государстве, для которого ценна всякая душа, «без различия иудея и эллина». Для нас, утверждал Трубецкой, ценен только тот мир, который «возносит государство на сверхплеменную и сверхклассовую точку зрения», — тот мир, где каждый обретает свое право человека и гражданина. Для разрешения национального вопроса необходимо равноправие, чтобы каждое «племя» имело возможность жить согласно со своими воззрениями, верованиями, вековыми преданиями. Эта свобода культурного самоопределения каждого племени невозможна без широкого местного самоуправления.

В России предстоит осуществить и мир классовый, социальный. По мысли Трубецкого, есть два способа бороться против анархии. «Путь железа и крови», которым идет правительство, уже испытан: он ведет к Цусиме, а после нее — к революции. Второй путь прекращения междоусобия — широкие и смелые демократические реформы. Как для мира племенного надо отрешиться от узкого национализма, так и для мира всеобщего, междуклассового нужно отрешиться от классового эгоизма. Для мира всенародного мало уравнивания в правах всех граждан. Нужно энергичное вмешательство государства: оно должно прийти на помощь обездоленным классам — рабочим и сельскому населению. Трубецкой ратовал за отвод земли безземельным земледельцам и за расширение площади землевладения малоземельного населения, высказал безусловно отрицательное отношение к национализации земли не только полной, но и частичной. Основной задачей он считал развитие мощного мелкого землевладения. Мелкая собственность, по его словам, «неоценима по своему влиянию на народную психологию»: она воспитывает в массах сознание личной независимости. «Если вы хотите сделать крестьянина свободным гражданином, дайте ему собственность». Государство должно быть «не опекуном, а миротворцем»: оно должно стать между помещиками и крестьянами, между предпринимателями и рабочими и властной рукой прекратить братоубийство. Обеспеченным классам придется пожертвовать теми выгодами, которые противоречат справедливости. Но пусть они помнят, предостерегал он, что только такое вмешательство государства может оградить их справедливые интересы.

Говоря о мире международном, Трубецкой указывал, что внешние опасности коренятся для России в ее внутренней неурядице. Правительство, которое идет против всех и восстанавливает всех против себя, не в состоянии обеспечить стране и почетного мира во внешней политике. Государство, где междоусобная война грозит ежеминутно вспыхнуть, где в тылу действующей армии могут возникнуть волнения, мятежи, железнодорожные забастовки, незащищено против иноземного вторжения. Это и создает опасность войны. Шансы на мир ослабели оттого, что страна стала легкой добычей: «Наша слабость — не в отсутствии физической силы, а в нашем внутреннем раздоре и разладе. Сильным и могущественным может быть не рассыпанная хранина, не государство, готовое распасться на части, а Россия, внутренне объединенная, собранная в единое живое целое».

Для осуществления всех видов мира требуется, считал Трубецкой, одно необходимое условие — полное обновление государственного строя на конституционных началах. Но столыпинский способ управления, по его представлению, означает нескончаемый, хронический «племенной раздор», раздор между классами. Правительство пытается внести раздвоение в самую крестьянскую среду: «Что такое знаменитый указ об общине, как не попытка поставить богатые классы против бедных, отдать общинные земли в виде взятки на растерзание кулаку!» Только правительство, облеченное доверием народного представительства, займет иное положение, сможет собрать и умиротворить Россию, восстановить связь между безответственным монархом и народным представительством. Тогда и монархическая власть вознесется на ту внепартийную высоту, которая служит оплотом величия престола и всеобщего к нему уважения. И Трубецкой так закончил свое выступление: «Мир племенной, мир классовый, мир международный — вот цель наших стремлений».

Начались прения, сосредоточившиеся на вопросах об отношении к смертной казни, к политическим убийствам, к правительству. В речи кадетского лидера Милюкова элемент партийного самоопределения преобладал над лозунгом предвыборного единения. Народный социалист В. А. Мякотин резко полемизировал с Трубецким и призывал собравшихся отдавать голоса не ПМО, а более левым партиям. Октябрист Ю. Н. Милютин пытался залучить Трубецкого в «Союз 17 октября», но Трубецкой заявил о невозможности единения с партией, утратившей свою «либеральную хартию».

Похоже, ожидаемого эффекта от публичного заявления своего кредо у мирнообновленцев не получилось. Ни октябристы, ни кадеты не разделяли взгляды ПМО. Н. М. Кишкин, например, заявил на одном из заседаний кадетского ЦК: «Мы не должны делать того... о чем трубят кн. Трубецкой, — мы не станем октябристами». И в целом ход избирательной кампании оказался печальным для ПМО. В первом номере «Московского еженедельника» за 1907 год Трубецкой уже указывал на «грозную опасность... провала центра».

Действительно, во II Думе даже кадетов значительно поубавилось, а мирнообновленцы и вовсе представляли в ней эфемерную величину. Впрочем, для самого Трубецкого начало 1907 года принесло избрание — правда, не в Думу, а в Государственный совет (от Академии и университетов), где он заседал с февраля 1907 до августа 1908 года. О членах этой второй палаты российского парламента Трубецкой неизменно отзывался как о консерваторах, губящих всякое живое дело. Неудивительно, что он пристально следил за работой II Думы, надеясь, что в ней, несмотря на ее левый состав и слухи о неизбежном роспуске, все-таки сложится конституционный центр и народное представительство станет работоспособным. В мае он констатировал: «Кадеты движутся направо, октябристы — налево, постепенно приближаясь друг к другу». Некоторым образом обнадежило его выступление в Думе Столыпина 10 мая 1907 года. Декларация премьера, на его взгляд, «превзошла все ожидания» — она давала возможность соглашения либералов с правительством: «Всякий, кто не хочет новых потрясений, должен искать способы соглашения с правительством». Даже после роспуска II Думы князь продолжал считать, что в ней складывалось работоспособное ядро, и если бы правительство пошло навстречу и обнаружило склонность делать хоть какие-нибудь уступки, центр без всякого усилия должен был численно увеличиться и окрепнуть. Вот если бы этого не случилось — тогда правительство имело бы полное основание распустить Думу.

Свою идею-фикс — создание сильного центра в парламенте — Е. Н. Трубецкой развивал и накануне созыва III Думы, считая, что надо воспользоваться всеми теми шансами, которые дает новый избирательный закон. Кадеты и октябристы, полагал он, призваны не враждовать между собой, а дополнять друг друга. Шагом к этому Трубецкому показалось создание при Клубе октябристов «лекционного комитета», в который он вошел. Однако никакие «лекции» не помогли мирнообновленцам — они не имели влияния в стране. В конце концов и Трубецкой скрепя сердце вынужден был признать это, заявив: «В данный исторический момент „мирное обновление“ может быть сильно и влиятельно лишь в качестве направления, а не в качестве политической партии». Предвидя проправительственный, «господский» характер будущей Думы, он призывал ее с удвоенной щепетильностью относиться к «интересам бедных классов и инородцев» и идти по пути реформирования страны, что достижимо лишь при совместной работе кадетов и октябристов и при понимании правительством необходимости проведения реформаторского курса.

Но уже в начале работы III Думы князь Трубецкой оказался вынужденным резко критиковать правительство: «И как раз теперь, когда революционная волна упала, реформы отходят на второй план: вместо этого подчеркивается необходимость репрессий». В новой Думе мирнообновленцы слились с прогрессистами, и Трубецкой внимательно следил за процессом роста и развития «прогрессивной группы».

В эти годы он много времени уделял «Московскому еженедельнику», где пышным цветом расцвела идеология, которую он и сам определил как «веховскую». 26 августа 1910 года в письме к своей возлюбленной Маргарите Кирилловне Морозовой (вдове фабриканта Морозова), субсидировавшей журнал, Трубецкой обронил многозначительную фразу: «„Вехи“ имели огромный успех, хотя питались крохами с нашего

стола». А годом раньше и Маргарита Кирилловна писала ему: «Я вижу, как понемногу начинает пробиваться в сознании то, что Вы говорили первый. „Вехи“ это особенно подтверждают... Всеми этому Вы положили начало (в «Московском еженедельнике». — В. Ш.), и Вами все это держится и направляется». Действительно, знаменитые авторы «Вех» активно сотрудничали и с «Московским еженедельником» (С. Н. Булгаков, Н. А. Бердяев, П. Б. Струве). Е. Н. Трубецкой и сам много писал в журнал о российском либерализме, о внутренней политике правительства, об актуальных проблемах общественно-политической жизни, о тактике и идеологии левых партий, о философии, религии, политике и многом другом.

Особенно близка ему была религиозно-философская тематика. Многие его письма к Морозовой — о мировоззренческих исканиях. Ученый-философ, политик и в высшей степени религиозный человек органично сливались в нем в единое целое. Явления жизни он оценивал с точки зрения религии; даже марксизм представлялся ему как одна из «многих aberrаций религиозного сознания». Идеи Е. Н. Трубецкого считал «первоначальным фактором исторического развития». Он верил в «Богочеловечество как начало, середину и конец мирового процесса». Естественным для него был религиозно-этический подход к политике: «Религия должна охватить человека целиком, воплощаться во всех делах его, следовательно, и в политической деятельности». Но религиозность в политике, по его мнению, выражается не в слиянии ее с верою, а в ее подчинении последней. Это не есть отказ от руководящего влияния на мирскую политику, напротив, «чем выше поднимается церковь над мирскими отношениями, тем глубже и радикальнее будет проникать в мир ее влияние». Он считал, что это особенно верно для страны, погруженной в хаос революции: «В нашем огромном общественном теле только универсальные начала христианской культуры могут объединить разрозненные классы и национальности». И здесь Трубецкой вновь и вновь возвращается к критике Соловьева, который, по его мнению, «считает государство частью тела Христа и требует, чтобы оно походило на церковь!». «Если довести эту мысль до конца, — писал Евгений Николаевич М. К. Морозовой, — то получится нечто ужасное: такое государство должно исключить из себя всех иноверцев... В результате без деспотической власти и без инквизиции в самом средневековом смысле для осуществления такого государства не обойтись. Соловьев этого не понимал». И в другом письме к Морозовой в июне 1909 года он сообщает: «Мне удастся доказать, что теократическая мечта Соловьева не что иное, как последний остаток славянофильства». Трубецкой считал, что идея народа-богоносца осуществится в чем угодно, только не в «соловьевской теократической империи». Он отвергал непосредственное вмешательство церкви и духовенства в политику, считая «единственно религиозным то отношение к церкви, которое строго отграничивает ее от всяких партий; и не только партий, но от самой мирской политики». С этих позиций он выступал всегда, участвуя и в работе «Предсоборного присутствия», и, спустя более десяти лет, в Поместном соборе Русской православной церкви. В приватном письме к Морозовой в 1909 году Трубецкой поведал о том главном, что было в его жизни, о самом ее смысле: «Я все-таки вижу здесь на земле огромную задачу — готовить эту самую землю к преображению. Только все-таки это не будет Боговластие, потому что внешним образом до конца мира Бог еще не будет царствовать. Внешним образом будет скорее торжествовать зло». Прозревая грядущее, он пишет: «Возможно, что в будущем нам придется пройти через серию внешних неудач и бед — чтоб возгорелся в нас небесный огонь. Удачи чаще всего заставляют народ забыть о религии. Я боюсь, что русский народ только тогда сможет исполнить религиозное назначение, когда ему на земле станет уж очень плохо».

Многолетняя и в высшей степени интенсивная политическая и публицистическая деятельность, особенно изнурительная из-за отсутствия видимых положительных

результатов, угнетала, истощала и обессиливала Евгения Николаевича. Становилось все более ясно, что его детище, «Московский еженедельник», выразитель умеренно либеральных идей, — не популярен, не имеет отклика в России. Просуществовав еще около года словно по инерции, журнал закрылся. По словам Трубецкого, «последние годы доказали, что Христа земля не принимает и, во всяком случае, в себе не удерживает. Земля не готова еще». Все развивается стихийно, по каким-то путям, логика которых ускользает от нашего ума: «Смотришь и наблюдаешь и ничего не можешь понять и предвидеть». 7 августа 1910 года Трубецкой сообщает Морозовой: «Получил письмо от Струве. Он пишет между прочим: „Обидно, что такой флаг, как „Московский Еженедельник“, оказался спущенным“. И комментирует: «Мне не столько обидно, сколько жалко: уж очень много хорошего связано для меня с этим флагом... От всей души надеюсь, что это будет не уничтожение, а превращение». Спустя неделю он продолжает: «Писать о чем-либо текущем я сейчас не могу без насилия над собой, которое не окупается результатом!» Евгений Николаевич отдает себе отчет в том, что журнал не вполне соответствовал потребностям времени: «Прекращение „Московского еженедельника“ — не простая случайность. Если бы он оказывал глубокое влияние и был необходим, мы, вероятно, нашли бы способы его продолжить. А что он не влиял — это обуславливается не одной общественной психологией, но и причинами более глубокими. Чтобы оказывать глубокое духовное влияние, мысль должна углубиться. Должны зародиться новые духовные силы», публицистика должна осветиться философией и углубленным религиозным пониманием. Он был убежден, что «философия — первая задача, а публицистика — вторая или даже третья!». Трубецкой «пережил» неудачу «Московского еженедельника» и весь ушел в работу: «Со страхом и радостью перед великой ответственностью пишу главу о Богочеловечестве и чувствую, что необходимо в это уйти с головой. Работаю много и с величайшим наслаждением. Это главное... В общем стало легче».

В 1910 году князь Трубецкой стал инициатором и участником книгоиздательства «Путь», в которое много средств вкладывала М. К. Морозова, писавшая: «Ты очень сочувствуешь „Пути“, но это для тебя не близко, а для меня это кровное дело». Он продолжал участвовать в работе Московского психологического общества при Московском университете и в Религиозно-философском обществе памяти В. Соловьева.

Однако Е. Н. Трубецкой не был бы собой, если бы совершенно ушел от политики. Действительность властно вторгалась в его философские занятия. В 1911 году он признавался в одном из писем: «Я живу подавленный ужасами при виде надвигающейся на Россию грозы. Столыпин один идет против всех, против инородцев, против Думы, против университета, против всей России... Боюсь, что близится ужасный конец, и не радуюсь, потому что жду не добра, а настоящей сатанинской оргии от будущей революции... Надвигается буря настолько стихийная, что никакими усилиями ее предотвратить нельзя». Он считал, что, «когда правые будут сметены левыми, эти покажут нам ужасы неизмеримо большие. И мы, т.е. культурная середина, будем опять и всегда гонимы». Удар правительства по Московскому университету (увольнение профессоров. — В. Ш.) он рассматривал «как симптом, как предвестник катастрофы», как крушение всякой надежды прийти к чему-нибудь хорошему мирным путем: «Это прямая угроза окончательного одичания. Поэтому я все это переживаю болезненно. Для внешней деятельности исчезает почва под ногами; все рушится. Душа и мысль загоняются внутрь. И с этой точки зрения все события провиденциальны». Рассматривая университетское дело как «частное проявление зла более общего и большего — разрушения культуры дикарями слева и справа», Трубецкой ставил тревожившие его вопросы: «Неужели они не дадут ничему порядочному у нас образоваться. И неужели придется от всякой деятельности уйти в чистое созерцание? А что делать тем, кто не может созер-

цать или созерцанием наполнять свою жизнь? Сколько Шиповых, Г. Львовых и иных полезных сил выбрасывается за борт, когда мы так бедны силами. Просто отчаяние берет!» Он находил «борьбу с глупостью правительства и радикалов» бесплодной, да и ненужной, «потому что они и сами без нас сумеют вырыть себе могилу». Однако нет сомнения, что Трубецкой чужд идее «непротивлению злу»: он утверждал, что «в гонениях и муках рождается все великое, прекрасное и ценное. А это дает надежду».

Имея эту надежду, он не остался над схваткой. Он считал, что нельзя быть «никаким», чувствовал ответственность перед «беспредельным пространством» — Россией. Евгений Николаевич вплотную занялся работой в родном Калужском земстве. Дела и там не слишком радовали, и там он получил грустное впечатление. Во всем — «ежеминутные напоминания о том, что у нас все идет к черту — легкомысленное равнодушие находящегося на краю гибели к собственной участи!» Это проявилось и в новых выборах от земства в Государственный совет: «выбрали полное ничтожество Булычева, который будет без речей проваливать все начинания Думы». У земского собрания — «никакого направления и заботы о России». И это при том, что «вдруг хлынуло» колоссальное множество жизненных вопросов, «все учетверяется» — аграрное, медицинское, ветеринарное, школьное дело и т.д., а старая организация земства к этому совершенно не приспособлена. «Просто не успеваем, — писал он Морозовой, — рук, времени не хватает, а нужно в десять раз больше... Просто голова кругом идет, потому что чувствуем, что дело — творческое, созидание России, но никто не знает, как за него взяться, потому что стало совершенно новым; идет бестолочь и анархия...»

Вместе с тем Трубецкой совершенно убежден, что его присутствие на земских заседаниях крайне необходимо и потому — «общественно немислимо уехать!». Он доверительно писал Морозовой: «Я занят восемь часов в сутки земством и чувствую, что уехать — значит обречь на провал ряд жизненных и самых благих начинаний... симпатичнейших и нужнейших дел». Порой он спасал губернское земство, не позволяя ему увязнуть в словопрениях и давая импульс, «чтобы что-нибудь было сделано». Участвуя в работе земства, в канун нового, 1914, года он был уверен: «Время крайне интересное. Масса творческих задач и неприспособленность к ним старых форм жизни. Задачи удесят�ерились, а мы все приступаем к ним благодушно, неспешно, по-дедовски... А между тем изо всех щелей на нас ползут вопросы: все, чем жили „деды“ и мы до сих пор, никуда не годно, надо заново создавать земледелие, скотоводство, медицину, ветеринарию, агрономию. Изо всех щелей ползет нам на смену негодующий и презирующий нас третий элемент — доктора, агрономы, ветеринары, инженеры, которые, очевидно, смотрят на нас как на „извергов-помещиков“: они делают дело, а мы „обедаем и делаем визиты“». «Конечно, — оговаривался Трубецкой, — преувеличиваю, но это на три четверти — правда! Обломова надо разбудить: иначе ему, т.е. нам — даст пинка этот третий элемент, воцарится и... создаст социалистическую культуру, которая может оказаться похуже нашей, „дворянской“. В десять раз лучше — какая-нибудь смесь из нас и из них. А то совсем погибнет Россия („А хорошая была страна“). Надо делать для земства в десять раз больше, и можно это в небольшое время, если расстаться с патриархальным бытом».

Но в целом Трубецкой вынес довольно грустное впечатление от земских собраний: хотя снизу и росла сила в лице кооперации, зато «у нас наверху надвигается оскудение, а за ним разложение. Именья продаются, дворяне уходят, и в земстве людей нет: на место ушедших новых сил не является, и заменить их нечем. Мы от этого выбрали всю старую управу, что равняется катастрофе: из пяти человек только два работника. И положение временно безвыходное: дворянское земство оскудело, но та новая сила, которая его заменит, покуда еще не подросла. Если пустить сейчас в большом числе мужика, он забаллотировует всех дворян, стало быть, уничтожит все, что остается

культурного, и упразднит культурные начинания». Но все это он считал «временным и начальным»: потом жизнь возьмет свое, и из недр кооперации опять народится культура.

Тем с большим удовлетворением Трубецкой отмечал быстрый рост партии прогрессистов. Уже в ноябре 1907 года он обращал внимание на то, что в Думе нарождается и «не по дням, а по часам» растет новая группа, которая «уже теперь играет роль конституционного центра». «Она еще не вполне определилась и пока называет себя „группой беспартийных прогрессистов“, но она имеет несомненные шансы развиваться в будущем в сильную политическую партию». Евгений Николаевич и лично принимал участие в создании этой партии. В начавшихся в 1908 году «экономических беседах» прогрессивных предпринимателей с либеральными профессорами он — неизменный собеседник. Его коллега по этим встречам, единомышленник, сотрудник «Московского еженедельника» С. А. Котляревский пропел настоящий панегирик прогрессивным предпринимателям складки С. И. Четверикова, А. И. Коновалова, братьев Рябушинских, во многом объясняющий взаимную тягу элиты интеллигенции и представителей бизнеса: «Какая действительно громадная политическая миссия лежит на торгово-промышленном классе. Он обладает капиталом, т.е. творческой силой, которая должна преобразовать земледельческую Россию, обладает огромным могуществом, которое станет явным, когда представители класса поймут свою миссию... Эти люди могут, как никто другие, содействовать сейчас возрождению России... В союзе со здоровыми элементами интеллигенции эти руководители торгово-промышленной России могут стать... зодчими новой России... В них сквозит могущество творческих сил». Многие из этих прогрессивных предпринимателей давно были знакомы Трубецкому: они вместе работали в ЦК Партии мирного обновления и теперь создавали вместе новую партию прогрессистов, вошли в ноябре 1912 года в ее Московский комитет.

...Разразилась Первая мировая война. Мыслью и душой Трубецкой — целиком на войне. И с радостью отмечает всюду «большой и светлый подъем». Морозовой он пишет: «Исключительно одним я живу сейчас: Россия, сын Саша, колебания между верой в нашу победу и страхом из-за неудач французов, ужас от потоков крови, которые льются, как никогда от начала мира, — все это как-то слилось в состояние острой тревоги». Казалось, надо деятельно окунуться в этот подъем. Самое большое и важное он усматривал в том, что такой подъем «не может не победить: святая Русь просыпается и с Божьей помощью идет безо всякой выгоды для себя — освобождать народы!.. должна победить правда Божья!». Главный смысл войны Трубецкой видел в возрождении религиозного сознания — в этом духе выдержаны его известные статьи «Борьба двух миров», «Патриотизм против национализма» и др. В тот «патриотический» период он даже тяжелое поражение русской армии под Сольдау воспринял как предостережение («чтобы мы не зазнавались») и все еще считал, что «очищается и просыпается Россия». Трубецкой чувствовал необходимость обстоятельно развить свой взгляд на войну. В ноябре–декабре 1914 года он, как представитель Всероссийского союза городов, читал патриотические лекции во многих городах России: Москве, Петрограде, Воронеже, Саратове, Курске. Делясь впечатлениями от поездок, писал, например, что настроение в Саратове — гораздо более цельное, чем в Москве, ибо «несъеденное скептицизмом, привозимым из Петрограда и плохими политическими вестями. Тут никто о внутренней политике не думает. Царит беспремерный национальный подъем, и это мне больше нравится, чем в Москве. До внутренней политики очередь дойдет, и всему свое время». В Воронеже, как он сообщал Маргарите Кирилловне 20 ноября 1914 года, у него был большой успех. Там, как и в Саратове, впечатление мощного подъема: «Все верят в победу; никто не верит правительству, и тем не менее все счета с ним безусловно отменены. Все внутренние вопросы совершенно оставлены в стороне, чего многие даже

сами пугаются. Но это, по-моему, напрасно. Это — признак здоровья! Всему своя очередь. Вернется армия из окопов, и тогда мы доберемся до внутренних немцев (т.е. до правительства). А пока заниматься им нам — некогда».

Весной 1915 года та эйфория, которая охватила Трубецкого в начале войны, начала спадать. В марте он был неприятно поражен «расхолаживающей, если не сказать больше» атмосферой Петрограда. Особенно удивило его настроение князя А. Д. Оболенского, видного члена кадетской партии, который находил, что «война — сплошь бессмысленная резня» и у которого «веры в победу куда меньше, чем у нас». М. М. Ковалевский и Л. А. Петражицкий, отмечал он в письме Морозовой, тоже очень сильно проникнуты скептицизмом: «Скептицизм этот, боязнь, что война кончится „вничью“, силен и у нас, но у нас есть сильный противовес в виде энтузиазма, который здесь замарьянивается. Я уверен, что те же самые люди, будь они в Москве или в провинции, чувствовали бы живее и сильнее. — Но не без раздумья заключает: — Трудно их винить, т.к. много они видят и знают неизвестных нам гадостей: вся оборотная сторона медали, от нас скрытая, здесь видна».

Летом 1915 года Е. Н. Трубецкой — в гуще земско-городских съездов, он встречается с лидерами оппозиции, и у него самого проявляются оппозиционные настроения. 8 июня в его квартире «собрался весьма интересный вечер». Пришли П. Б. Струве, В. А. Маклаков, С. А. Котляревский, Г. Е. Львов. Говорили «об остром внутреннем положении; все ломали голову — кого бы подослать к государю, чтобы убедить его уволить министра Маклакова (Н. А. — брата В. А. Маклакова. — *В. Ш.*), и приходили в отчаяние, т.к. известия из Петрограда гласили, что положение его очень крепко. Каково же было мое радостное изумление, когда на другое утро мы прочли об увольнении Маклакова». Трубецкой оценивал это как «событие огромной важности»: при Маклакове созвать Думу было нельзя, а теперь — можно. Ему казалось это большой уступкой общественному мнению, благодаря которой «отменено важнейшее препятствие к объединению общественных сил вокруг правительства». Его радовали тот бодрый тон и видимый подъем, которые он чувствовал и в печати, и в речах после ухода Маклакова. «Как немного нужно теперь русскому обществу!» — восклицал Трубецкой.

Но — одновременно — становилось все более ясным, что «конца войне не видно». И оппозиционность его проявлялась все чаще. Летом и еще более в начале осени 1915 года Трубецкого особенно тревожило, что «настроение начинает быть нервным в самой толще народной», в то время как «в политике ложь и полуложь», которые «угрожают гибелью России». Выступая в Государственном совете (куда его вновь избрали от Калужского земства), Е. Н. Трубецкой заявлял, что сельскохозяйственный кризис может быть побежден лишь при условии внутреннего объединения правительства и «содействия сил общественных». Его раздражало и глубокое непонимание в правящих сферах позиции Прогрессивного блока. Временами казалось, что стена взаимного отчуждения между Думой и правительством, общественностью и властями делает невозможной их совместную работу. На этом мрачном фоне успехи, особенно на фронте, вызывали у Евгения Николаевича приливы радости и оптимизма. Он пришел в восторг от прорыва Брусилова: «Видно, в России все возможно, в обе стороны. Невероятная страна».

И все-таки события в тылу поворачивались, по его наблюдениям, в худшую сторону. В хвостах у продовольственных лавок слышались уже гневные речи: «Там упрекают и скоро „дадут в морду“». Трубецкой писал, что в думских выступлениях ярко вскрылась «невозможность победы при Штюмере» (премьер-министре. — *В. Ш.*). Он полагал, что не самая лучшая, но, пожалуй, самая убийственная для Штюмера речь — это речь П. Н. Милюкова. В ней «власть смешана с грязью». Дума решила все поставить на карту: «Если его не уберут, она полезет напролом: хотя бы ценою отпуска, потому

что в этом случае катастрофа для России неизбежна». А направленная против Распутина речь В. М. Пуришкевича Трубецкому так понравилась, что он подошел «пожать ему руку». Как метаморфозу отметил он и «бунт Государственного совета — взрыв ненависти против Распутина». Члены этой палаты парламента тепло восприняли и его личное выступление «против поругания церкви», с призывом «спасать монархию, пока не поздно». В новых условиях Евгений Николаевич считал обеспеченным прохождение в Государственном совете резолюции, которая включала бы требование министерства, пользующегося общественным доверием, и устранение «темных влияний». В декабре 1916 года продовольственный вопрос вызывал «сплошной ужас» у Трубецкого: «Уже войска близки к голоду, а жители громят лавки». При этом «все власти вразброд, а единого правительства не дают, не хотят о нем и слышать. Вообще говоря, картина катастрофическая. Так страшно, кажется, за всю войну не было!». Недовольный прогрессистами, ставшими более радикальными, чем кадеты, он, спустя одиннадцать лет, вернулся в Конституционно-демократическую партию.

Но страна стремительно левела. Пришла революция. В это Трубецкому и 1 марта 1917 года «всё еще не хочется верить»: «Неужели в самом деле невозможно соглашение Думы с государем?.. А, кажется, мало на это шансов. Тоска берет меня». Хорошо хоть, что предотвратили большую опасность, считает он: раз военная сила в руках Родзянко, «власть не перейдет в руки рабочего Временного правительства». 5 марта 1917 года появилась его статья о революции в кадетской газете «Речь». «В день первого выхода газеты нужно было начинать в праздничном тоне только хорошее, — откровенничал он с Морозовой. — О тревогах и опасностях пока молчу, но скажу тебе по совести, что они — глубоко мучительны. Есть и хорошее, но есть и ад, который ад лучше, республика чертей или самодержавие сатаны, — решать трудно. Отвратительно и то, и другое. Дай Бог, чтобы „республикой чертей“ российская демократия не была. Дай Бог, чтобы у нас утвердилось что-нибудь сносное, чтобы мы не захлебнулись в междоусобии... Но в республиканский рай могут верить только малолетние, а мне 53 года».

В конце марта 1917 года ему показалось, однако, что дела налаживаются. Впечатление от Петрограда — «неописуемо». Он радостно сообщает в Москву, что усиливающийся мощный подъем захватывает всех: «Пессимизм — удел людей, не захваченных волной или не стоящих у дел; исключение — Гучков, который как-то умудряется совместить огромную деловую энергию и пессимизм. Этот — „каркает“». Оптимизма Трубецкому прибавил и его визит к старому соратнику — князю Г. Е. Львову, теперь премьер-министру Временного правительства, который имел отдохнувший вид и говорил ободряющие слова. Порой Трубецкой впадал прямо-таки в восторг: «Всюду шевеление гигантское!» На очередном кадетском съезде, где его снова избрали в руководство партии, он чувствует себя «подхваченными могучей волной»: «Речь Родичева и речи министров вызывали прямо неописуемое волнение, потому что чувствовалось... национальное единство, чувствовалась мощь России. А перед этим — что хаос, что разруха, что беспорядки. Есть живая сила, которая все это побеждает. Вот пример: прежнее правительство морило армию голодом, подавая от 45 до 55% нормы хлеба на фронт, а революционное правительство дало с 1 марта по 17 марта 70%. Каково!..»

Но события шли с калейдоскопической быстротой, и летом 1917-го от этих победных настроений Е. Н. Трубецкого не осталось и следа. Быстро менялось, «демократизируясь», и его родное Калужское земство, обновляясь за счет нецензовых элементов. Евгений Николаевич предчувствует: «Надо ожидать, что собрание (земское. — В. Ш.) будет не из приятных». И уже мечтает, чтобы его миновало избрание в Учредительное собрание. В письме к Маргарите Кирилловне снова прорвалось признание: «Боже мой, сколько у меня в душе отвращения к политике, и какая неохота ею заниматься. А заняться придется». И с горечью Трубецкой замечает, что «армии нет, пото-

му что нет дисциплины... в центральную власть никто не верит». В июльские дни он с тревогой ждал в Бегичеве известий из «злополучного Петрограда» и «хоть немного порадовался известию о подавлении подлого петроградского мятежа». Но революция наступала и в деревне: «настроение крестьян становится нервнее», «уже много земель захвачено».

«Углубление революции» шло полным ходом. Трубецкой вернулся в Москву и жил политическими надеждами, но главное, как свидетельствует его сын Сергей Евгеньевич, — погрузился в церковную общественную жизнь. Избрание московского митрополита, Поместный собор, в котором Е. Н. Трубецкой избран председателем от мирян, восстановление патриаршества (что он горячо приветствовал), работа в Патриаршем совете — все это захватывало. Два раза, отправляясь на заседания Поместного собора, он, во время вооруженного восстания, буквально попадал под пули. Но верил: «Не даром льется теперь кровь мучеников, не даром мы теперь пьем чашу до дна». Участвуя в многотысячном крестном ходе по случаю избрания патриарха, князь Трубецкой видел настроение верующих и полагал, что происходившее на Красной площади «есть начало воскресенья России, а воскресенье не бывает без смерти».

После прихода к власти большевиков Е. Н. Трубецкой и его семья хотели уехать туда, где «зрели силы для отпора большевизму», — на юг. Из-за работы Трубецкого в Высшем церковном управлении отъезд пришлось отложить, хотя его положение при новой власти было «далеко не безопасное». И усугублялось тем, что он и в своей университетской деятельности не кланялся представителям этой власти. Когда 8–14 июля 1918 года состоялось совещание по реформе высшей школы (собралось около четырехсот человек) и на нем выступили руководители советского образования Луначарский, Штернберг, Рейснер, Трубецкой решительно возражал главному докладчику, М. А. Рейснеру, у которого когда-то был научным руководителем в Киевском университете.

В те месяцы Трубецкой знал о работе антибольшевистской информационной организации, так называемой «Азбуки» В. В. Шульгина, держал связь с французским генеральным консулом в Москве Гренаром. Он был неискушен в конспиративных делах, и, вероятно, только случайностью можно объяснить, что он не подвергся аресту. Однако тучи над его головой сгущались. Бывшего варшавского генерал-губернатора, а позднее командующего Северо-Западным фронтом генерала Жилинского выпустили из тюрьмы на поруки Трубецкому. Однажды генерал пришел к нему и сказал, что его вновь хотят арестовать, поэтому он собирается бежать из Москвы и, чтобы не подвести Трубецкого, сообщает об этом. Нависшая угроза стала вполне осязаемой, и пришлось срочно принимать меры. Сын Сергей достал ему фальшивый пропуск и украинский паспорт на имя Торленко. Дома ему слегка изменили внешность, подстригли бороду, и сын отвез его на старом извозчике на Брянский вокзал. С приключениями (он описал их в воспоминаниях, напечатанных потом в «Архиве русской революции») Трубецкому удалось добраться до Киева, потом до Одессы. Через некоторое время из советских газет, под заголовками типа «Не стая воронов слеталась», его семья в Москве узнала, что несколько бывших членов Государственного совета и среди них князь Трубецкой съехались на политическое совещание на Юге России. Сын Сергей вспоминал, что разными путями и из разных мест родные получили потом от Евгения Николаевича несколько посланий. Первые еще полны надеждами на скорое свидание с близкими и на помощь союзников России. Потом письма стали дышать все большей тоской, тревогой, безнадежностью.

Е. Н. Трубецкой активно работал в антибольшевистском Совете государственного объединения. Несколько раз, по его поручению, ездил к А. И. Деникину, хорошо знал обстановку на Юге России и настроение Белой армии. После провала ее наступ-

ления на Москву в 1919 году он очень изменился. Зимой 1919-го в Ростове, незадолго до отступления белых, заходил иногда в редакцию газеты «Великая Россия». Один из сотрудников газеты вспоминал: «Сядет у железной топящейся печки и сидит так, не снимая шубы, греется, у него тогда болели и зябли ноги. Сидит часа два, не скажет ни слова. Кто знал его ранее, тот поймет, как это на него непохоже. Какой он был живой, блестящий на слово человек».

С Белой армией он прошел до Новороссийска. Там порой бывал у В. М. Пуришкевича — они играли в шахматы. Пуришкевич умер от сыпного тифа — ему успели устроить пышные похороны. Евгений Николаевич умер вскоре, и тоже от сыпного тифа. Новороссийск находился уже в лихорадке эвакуации, и его смерть, последовавшая 23 января 1920 года, осталась почти незамеченной. Лет пятнадцать назад определили примерное место его захоронения и установили там памятный камень.

ГАБРИЭЛЬ ФЕЛИКСОВИЧ ШЕРШЕНЕВИЧ: *«Жизнь стремилась к освобождению индивида от опеки...»*

АНДРЕЙ МЕДУШЕВСКИЙ

Г. Ф. Шершеневич (1863–1912) родился в родовом имении в Херсонской губернии, в семье потомственного дворянина-католика, генерал-майора российской службы. В 1881 году он окончил 2-ю Казанскую мужскую гимназию, а в 1885-м — юридический факультет Казанского университета, где был оставлен на кафедре торгового права для подготовки к профессорскому званию. С 1887 год он — преподаватель кафедры торгового права и судопроизводства, а с 1888-го — приват-доцент Казанского университета.

Дальнейшие вехи в карьере таковы: 1888 — защита магистерской диссертации «Система торговых действий: критика основных понятий торгового права»; 1891 — защита докторской диссертации «Авторское право на литературные произведения». С 1892 года — экстраординарный, а затем ординарный профессор Казанского университета по кафедре торгового права и, в то же время, по кафедре гражданского права и судопроизводства (1896–1905). 1899–1902 — председатель Казанского юридического общества. С 1906-го — профессор кафедры торгового права на юридическом факультете Московского университета (в 1911 году Шершеневич покинул университет — в знак протеста против политики министра народного просвещения Л. А. Кассо). Читал лекции также в Московском народном университете им. А. Л. Шанявского и Московском коммерческом институте, директором которого был П. И. Новгородцев.

Политическая биография Г. Ф. Шершеневича связана с его деятельностью в Конституционно-демократической партии. Он стал ее членом, будучи гласным Казанской городской думы; в 1906 году, на Втором съезде, был избран в состав ЦК партии; входил в ее казанское отделение, участвовал в составлении программы. При обсуждении организационно-тактических вопросов избирательной кампании на Втором съезде партии кадетов (5–11 января 1906) Габриэль Феликсович подчеркивал: «Нужна дисциплина. Нужна централизация. Партия только в целом может входить в соглашение с другими партиями. Центральный комитет — это генеральный штаб, а без руководства генерального штаба невозможна война».

В 1906 год Г. Ф. Шершеневич стал депутатом I Государственной думы — по спискам Конституционно-демократической партии от Казани. В Думе был избран на пост товарища (заместителя) секретаря, входил в комиссии: редакционную и о собраниях. Законопроект о свободе собраний, внесенный 16 июня 1906 года по докладу Шершеневича, вызвал продолжительную полемику со стороны левых партий. Социал-демократы и трудовики, отрицавшие с популистских позиций всякую возможность правового регулирования проведения собраний, увидели в юридических ограничениях основания для административного произвола. В защиту проекта выступил М. М. Ковалевский: он указал, что спонтанное развитие соответствующей практики в России (в отличие от Англии) не может гарантировать общество от злоупотреблений, а пото-

му известная законодательная регламентация этой практики представляет позитивное явление. После роспуска Думы Шершеневич стал одним из подписантов Выборгского воззвания, за что был приговорен к трем месяцам тюрьмы и лишению избирательных прав.

В условиях революции и последующих избирательных кампаний для кадетской партии получил актуальность вопрос о совершенствовании социального законодательства (включая законопроекты о профсоюзах и стачках, ограничении рабочего времени, договорах найма, охране здоровья и санитарном контроле, страховании рабочих и служащих, организации общественного призрения). Многие эти законопроекты разрабатывались непосредственно Г. Ф. Шершеневичем или при его активном участии. В 1906–1907 годах под его председательством в Москве работала особая комиссия по вопросам о договоре найма и о нормировании рабочего времени служащих в торговых заведениях. Комиссия разработала два законопроекта — о найме и о нормальном отдыхе торговых служащих. Последний проект, который был внесен в партийную фракцию с некоторыми изменениями, сделанными П. Б. Струве, вызвал внутреннюю дискуссию.

Габриэль Феликсович, по воспоминаниям современников, был прекрасным лектором и оратором, способным объяснить широкой публике содержание трудных юридических вопросов. Например, законопроект о найме торговых служащих, как отмечал их представитель на совещании парламентской фракции Партии народной свободы с представителями местных групп партии (14–15 ноября 1909), вызвал острую предвыборную полемику с левыми партиями. Но в результате был одобрен: «стоило появиться профессору Шершеневичу с его возражениями, как левые должны были отступить и прямо бежать с поля битвы».

Направления его научной работы в принципе соответствуют его общественной деятельности. Сюда входят общие вопросы теории права и государства; русское гражданское право в сравнительном освещении и соотношении с практикой применения; такие направления его разработки, как земельное, торговое, конкурсное и авторское право, кодификация гражданского права, в том числе актуальный вопрос о создании Гражданского уложения Российской империи. Кроме того, политическая деятельность и необходимость разъяснять программу Конституционно-демократической партии привели к появлению трудов по общей теории и социологии права, проблемам публичного права, в частности об аграрном вопросе, форме правления, ответственности министров. Эти исследования, а также сопутствующие им публичные выступления и публицистика делали Шершеневича видным специалистом русского либерализма на стадии перехода к конституционной монархии. Его вклад — в основном теоретический, поскольку ученый перевешивал в нем политика.

Общие взгляды Г. Ф. Шершеневича сложились под влиянием тех споров, которые велись в цивилистике пореформенного периода, когда, собственно, и происходило ее становление. Он был близок к П. И. Новгородцеву, так как рассматривал проблемы права в неокантианской философской перспективе и в рамках истории права. В то же время, как и С. А. Муромцев, он разделял взгляды юристов позитивистского направления, выступал последователем Р. Иеринга. Вопрос о догме права, ставший предметом дискуссии, приобретал значение именно в связи с попытками отказаться от традиционного понимания юриспруденции, заменив его новыми социологическими подходами. Эта тенденция проявилась уже у К. Д. Кавелина, но еще более она заметна у Муромцева и Гамбарова — российских учеников Иеринга, стремившихся к радикальному преобразованию всей правовой системы путем ее трансформации во имя высшей цели — правового государства.

Принадлежа к российской социологической школе права (основателем которой должен быть признан С. А. Муромцев), Шершеневич стремился отойти от догматиче-

ской юриспруденции (представителями которой являлись С. В. Пахман и А. Х. Гольмстен), показать связь юридических норм и отношений с социальной действительностью. Позднее он определит эволюцию воззрений С. А. Муромцева как последовательное движение от исторической школы права к Иерингу и от него — к сближению науки права с социологией. Определяя Иеринга как «главу социологической школы в гражданском правоведении», он солидаризируется с этим «социологическим направлением в гражданском правоведении».

Одним из первых в отечественной литературе Г. Ф. Шершеневич попытался охарактеризовать историю становления и развития российской цивилистики с XVIII до начала XX века. В основу периодизации положены крупнейшие реформы российского права: попытки кодификации права на рубеже XVIII–XIX веков, разработка Свода Законов, Судебные уставы 1864 года. Ученый констатирует «догоняющее Запад» развитие русского гражданского права и связывает основные его этапы с объективными задачами гражданско-правовой модернизации: разработкой истории и источников русского права; догматической разработкой права; спорами о кодификации; сравнительными исследованиями; наконец, с появлением социологии права. В книге «Наука гражданского права в России» (1893) Шершеневич показывает преемственность российской цивилистики: от Неволлина, Куницына и Редкина к Кавелину, Пахману и Мейеру, и далее — к трудам Муромцева, где «богатство идей невольно будило мысль читателей».

«Очерки по истории кодификации гражданского права», появившиеся в ряде выпусков в 1897–1899 годах, содержат выражение общественно-политических взглядов автора. Как и С. В. Пахман, он обратился к истории кодификации параллельно с разработкой собственного курса гражданского права; как и представители социологической школы в праве (Иеринг, Муромцев) — обращался к проблемам сравнительного изучения правовых институтов; как Новгородцев — уделял преимущественное внимание столкновению концепций философского и позитивного права. Отправная точка при разработке общей теории права для Шершеневича (как и других ученых его времени) — противопоставление естественного и позитивного права, «несомненный и непостижимый дуализм права».

Кодификация права для него — важнейший инструмент разрешения этого конфликта: систематизации и в то же время развития общественных отношений в эпохи социальных потрясений. В систематическом исследовании — «Очерки по истории кодификации гражданского права» (1897) смысл подготовки кодексов гражданского, уголовного и процессуального права в революционные эпохи усматривается в создании юридических норм — «простых, ясных и согласованных с конституцией». Принципы рационального правового устройства более значимы для общества, нежели утопические политические цели революции: «Цель революции состояла в установлении нового гражданско-правового порядка, а политические формы были только средством их достижения. Французский народ потому так легко отказался от политической свободы, что новый режим обеспечил ему изменения гражданского строя».

Значение Кодекса Наполеона автор видит в четком провозглашении именно тех принципов, которые стали определяющими для современного гражданского общества и реализация которых необходима в России: осуществление идеи равенства всех перед законом, отрицание «всего феодализма», отделение гражданского общества от канонического, принцип неприкосновенности частной собственности, начало индивидуализма. Это целостная программа действий для русских цивилистов начиная с пореформенной эпохи; ее положения стали особенно актуальны к началу XX века.

В связи с этим основную проблему представляли социальные и юридические причины, которые делали невозможной реализацию рациональных принципов граждан-

данского права в Центральной и Восточной Европе, а особенно в России. Это заставило Шершеневича (как и других русских цивилистов того времени) обратиться к проблеме рецепции римского права в традиционных («феодальных») обществах и правовых системах. Он показывает, что отторжение римского права и его системы, положенной в основу французского кодекса, связано в этих регионах не со случайными ошибками кодификаторов, а прежде всего с социальной невозможностью их реализации (в силу полного смешения публичного и частного права, например, в прусском Ландрехте). Ошибка традиционалистских абсолютистских систем видится ученому в следующем: «законодатель недостаточно определил тенденции времени и дал кодекс, проникнутый началами просвещенного покровительства, в то время как жизнь стремилась к освобождению индивида от опеки и предоставлению ему возможно большей свободы действия».

Принципиальное значение имело обращение к проблеме радикального реформирования национального права с помощью заимствований извне. Впервые она получила ясное теоретическое выражение в известном споре сторонников теории естественного права (Тибо) и исторической школы права (Савиньи) по вопросу создания общегерманского Гражданского уложения и возможности заимствования при этом Кодекса Наполеона. Спор, раскалывавший европейскую юридическую мысль на протяжении всего XIX века, оказался актуален в предреволюционной России. Шершеневич однозначно принимает сторону Тибо, подчеркивая, что реализация его идеи (немедленное введение гражданского кодекса) вела к обеспечению правового единства, модернизации права, а вместе с ним — и социальных отношений. Напротив, позиция его оппонентов (исторической школы) рассматривается как консервативная и необузданная. Причинами, по которым она восторжествовала, объявляются не логическая состоятельность, но господство реакции (видевшей в требовании кодификации призыв к революции), отсутствие единой законодательной власти и сила сепаратистских тенденций. Устранение названных причин позволило принять Гражданское Уложение Германской империи 1896 года. Этот анализ раскрывает позицию Шершеневича в отношении готовившегося в то время проекта Российского гражданского уложения.

Важный практический вывод состоял в необходимости использовать кодификацию гражданского права как инструмент модернизации социальных отношений — их унификации (ликвидации сословного деления), рационализации (установления правового равенства всех членов общества и преодоления правового дуализма), преобразований (путем разделения власти и собственности) и либерализации (разделения сферы частного и публичного права, создания институтов независимого судебного контроля над властными структурами).

Курсы гражданского права Шершеневича (в том числе известный «Учебник русского гражданского права», выдержавший несколько изданий) высоко оценили современники — как наиболее крупный вклад в этой области. Автор определял гражданское право как «совокупность юридических норм, определяющих частные отношения отдельных лиц в обществе»; содержание юридической нормы усматривал в правилах (выработанных жизнью или установленных законом), регулирующих путем принуждения взаимные отношения между гражданами. Совокупность норм или положений, объединенных единством содержания или внутренней связью по предмету регулирования, определялась как юридический институт. Задача гражданского правоведения и формулировалась как исследование юридических институтов: их классификация (система права), анализ их совокупности (позитивное право данного народа), их разновидностей (например, институты опеки, залога, брака). А основными методами такого анализа были названы не только традиционные (исторический, догматиче-

ский), но и новые (социологический и «критический»). Данный подход открывал перспективу перехода от эмпирического анализа отдельных правовых явлений к сравнительным и социологическим обобщениям.

Г. Ф. Шершеневич, прекрасно владевший как теоретической социологией (Маркс, Спенсер, Тард, Зиммель), так и социологией права (Иеринг, Штаммлер, Ковалевский, Муромцев), и сам создал специальный курс. Его «Социология» (1910) проникнута свойственными позитивизму идеями объективного знания, эволюции и прогресса. Это «наука об обществе, изучающая строго научно общественные явления и устанавливающая законы отношений между этими явлениями». Принципиальное отличие этой науки состоит в том, что она рассматривает общество как целое, во взаимодействии основных частей, в то время как другие науки — его отдельные составляющие (хозяйственную, нравственную, экономическую, юридическую, психологическую, биологическую).

В центре внимания социолога — природа общества (которая определяется как «сожитительство»; «общность интересов»; «сотрудничество»; «организация») в его развитии (заслуга открытия которого принадлежит таким мыслителям, как Дарвин, Спенсер и Маркс) и механизмах функционирования. Цель социологии — отыскание закономерностей (правильности и повторяемости явлений); причем констатируется, что «признание закономерности в общественной жизни стало общим в науке настоящего времени». Поскольку социология стремится к установлению объективного знания, она является ценностно нейтральной наукой («объективна и беспартийна»).

Отношения общества и государства Г. Ф. Шершеневич раскрывает в перспективе солидаристической концепции. Он подчеркивает, что общественные связи и «инстинкты» человека не являются врожденными, но приобретаются с развитием общества. Их поддержание основано на общности интересов и существовании особого механизма их регулирования, которым является государство. Рассматривая различные направления социальной дифференциации, он подчеркивает их пересечение и возможность консенсуса, например, между различными классами, которые определяет как «совокупность лиц, имеющих общий интерес» (класс землевладельцев, класс рабочих, класс фабрикантов и т.д.). Эти идеи представлены в большом концептуальном труде «Общее учение о праве и государстве» (1911). Предложенная интерпретация государственной власти имеет вполне социологический характер: «Власть есть возможность навязывать свою волю другим, принуждать других к подчинению их воле властвующего, заставлять других сообразовать свое поведение с требованиями властвующего. Государство должно обладать такой властью, иначе оно не государство».

Взгляды Шершеневича определили его подход к современным политическим проблемам. Будучи убежденным либералом и в то же время государственным деятелем, он считал оптимальной формой правления для России конституционную монархию. Следует подчеркнуть, что, в отличие от многих (как консервативных, так и либеральных) современников, ученый вовсе не отождествлял правовое или конституционное государство со слабой (или ограниченной) властью. Принцип незыблемости государственного суверенитета и невозможности, в силу этого, «юридического ограничения верховной власти» (независимо от формы правления) оставался для него аксиомой на протяжении всей жизни.

Вопреки классической либеральной программе ограничения власти Шершеневич отрицал саму эту возможность и считал ошибочным принцип разделения властей в его буквальной трактовке. «Основные, так называемые конституционные законы, — писал он в работе „Определение понятия о праве“ (1896), — представляют собой в большинстве случаев нормы нравственности, но не права, и неконституционный об-

раз действий носителей верховной власти не может быть назван незаконным. Конституционная система — это совокупность принципов, которых придерживается верховная власть как руководящих начал при осуществлении своей деятельности».

После революции 1905 года эта позиция (отождествляющая конституцию со всяким Основным законом) претерпела определенную трансформацию. Конституционное устройство, надеялся Шершеневич, позволит преодолеть «бюрократическую стену между народом и монархом, подчинить власть общественному контролю, реализовать принципы гражданской свободы, независимого суда и ответственного министерства». Для достижения идеала правового государства, обоснованного в работе «Конституционная монархия» (1906), он считал принципиально важной позицию интеллигенции, которая в России «никогда не была ни дворянской, ни буржуазной, а оставалась внеклассовой».

Уже будучи неизлечимо больным, Габриэль Феликсович завещал все свое состояние Московскому и Казанскому университетам. Авторские права на свои сочинения были им переданы Московскому университету для помощи бедным студентам; 10 тысяч рублей предназначались на студенческие стипендии.

Г. Ф. Шершеневич скончался в Москве 31 августа 1912 года и был похоронен на Донском кладбище, близ могилы своего друга — председателя I Государственной думы С. А. Муромцева.

ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ НОВГОРОДЦЕВ:
«Критически отнестись
к действительности и оценить ее
с точки зрения идеала...»

АНДРЕЙ МЕДУШЕВСКИЙ

П. И. Новгородцев родился 28 февраля 1866 года в имении Бахмут Екатеринославской губернии в дворянской семье. В 1884 году он окончил с золотой медалью Екатеринославскую гимназию, а в 1888-м — юридический факультет Московского университета, где был оставлен для приготовления к профессорскому званию по кафедре философии и права. Продолжил образование в университетах Берлина и Парижа.

Философско-правовые идеи П. И. Новгородцева определялись магистральным направлением дебатов в западноевропейской (прежде всего германской) теории права: между адептами господствующего тогда юридического позитивизма и их оппонентами — сторонниками естественного права. Стремление найти синтез двух этих доктрин стало отправной точкой исследований Новгородцева. Цель его магистерской диссертации «Историческая школа юристов, ее происхождение и судьба. Опыт характеристики основ школы Савиньи в их последовательном развитии» (1893) — анализ вклада историзма как метода позитивного изучения права. Докторская диссертация «Кант и Гегель в их учении о праве и государстве. Два типических построения в области философии права» (1901) обращена уже к метафизическим (этическим) основам права. С 1903 года Новгородцев — экстраординарный, а с 1904 по 1911 — ординарный профессор Московского университета (который он покинул, как и ряд других либеральных профессоров, в знак протеста против деятельности министра народного просвещения Л. А. Кассо и куда вернулся лишь после Февральской революции 1917-го). Параллельно он — преподаватель Народного университета им. А. Л. Шанявского и Высших женских курсов. С 1906 года Новгородцев служил директором и профессором Московских высших коммерческих курсов (с 1907-го — Московского коммерческого института). И одновременно руководил лекторием, созданным для пропаганды конституционализма. Политическая деятельность профессора-правоведа в период русских революций, Гражданской войны и эмиграции определялась его философскими убеждениями, выразившимися в поиске этических основ права и борьбе за общественные идеалы добра, нравственного совершенствования и свободы личности.

Новгородцев — один из создателей оригинальной философской доктрины и так называемого «возрождения естественного права». К этому направлению принадлежали (или разделяли его идеи) другие крупные русские юристы начала XX века: В. М. Гессен, Л. И. Петражицкий, С. Н. Трубецкой, отчасти Г. Ф. Шершеневич. Опираясь на философию неокантианства, данное направление общественной мысли стремилось переосмыслить существующее (позитивное) право с позиций высокого нравственного идеала, противопоставить *сущему* — *должное*, действующей правовой системе русского самодержавия — концепцию либеральных правовых реформ. Задачу философии права Павел Иванович усматривал в том, чтобы «оценивать факты существующего с этической точки зрения»: это позволяет «критически отнестись к действительности

и оценить ее с точки зрения идеала», выдвинуть «этический критицизм, в котором и состоит самая сущность естественного права». Программной работой в этом отношении можно считать его статью «Нравственный идеализм в философии права», опубликованную в сборнике «Проблемы идеализма» (1902).

Все представители теории возрождения естественного права, несмотря на различия в трактовке этого понятия, видели в нем альтернативу существующим правовым порядкам, рассматривали конфликт естественного и позитивного права как источник изменений в праве. Данный подход явился, безусловно, новым шагом. Господствующая традиционная юридическая наука (в основе своей позитивистская) исходила из того, что предметная область права как науки есть нормы, закрепленные в законах. Теория естественного права видела этот предмет в соотношении права и правосознания — идеальных конструкций, которые (особенно в эпохи социальных потрясений и революций) вступают в противоречие с действующим правом и определяют отношение к нему в обществе. Традиционная наука оперировала статичными категориями — новая теория видела смысл своего существования в интерпретации *динамики* правовых порядков. Наконец, если традиционный подход опирался на методы и представления догмы права (формальных правил юридического мышления), то новая концепция искала социальный смысл правовых норм, стремилась раскрыть стоящие за ними социальные интересы и на этой основе определить их социальную эффективность, указать направления желательных изменений — цель в праве. Выход из противоречия усматривался в возрождении ценностных категорий естественного права. Это означало необходимость выстраивания общественного идеала, как нравственного, противостоящего экономическим интересам и амбициям, разделяющим общество по эгоистическим интересам. Новгородцева всегда интересовала проблема сохранения нравственного субстрата в условиях быстрых изменений формальных норм позитивного права. Он принял тезис Канта о вневременном и надопытном характере законов нравственного сознания, выраженных понятием «категорического императива».

Данная (неокантианская) интерпретация основных понятий философии права включала в себя переосмысление вклада двух важнейших направлений правовой мысли, которые ранее рассматривались как противостоящие друг другу, — традиционной школы естественного права и исторической школы права. Если первая (особенно в эпоху Просвещения и Французской революции) понимала право исключительно как систему абстрактных рациональных норм, вытекающих из законов Разума, то вторая, представляя собой историческую реакцию на этот подход в Германии, напротив, видела в праве исключительно продукт длительного исторического развития народного духа. Первая отстаивала принципы рациональной (можно сказать, «геометрически» правильной кодификации), вторая вообще отрицала саму возможность этого. В конечном счете два этих направления вступили в конфликт по вопросу о роли права в реформировании социальных отношений, возможности политики права как особой сферы деятельности.

Обращение П. И. Новгородцева к анализу взглядов исторической школы (в позитивистской литературе они традиционно рассматривались как антитеза школе естественного права) показало существование в данном направлении мысли мощного метафизического компонента — категории народного сознания (или «народного духа»), выступавшего самостоятельным источником этических и правовых ценностей. А это, в свою очередь, давало возможность интерпретации данного направления в антипозитивистском духе и открывало перспективы его синтеза со школой естественного права (в новой неокантианской интерпретации ее положений). Этот синтез, полагал Новгородцев, становится возможен за счет обращения к гегелевской философии права и ее интерпретации, например, Иерингом. Гегельянская школа, с ее методом возведения фактов к высшим идеям, «удачно совмещала в себе приемы естественно-правовой

философии с задачами исторической школы, отыскание общих начал с конкретным фактическим исследованием». С позиций неокантианства и этической интерпретации права Новгородцев стремился, далее, раскрыть «логический объем доктрины как системы абстрактных определений», найти синтез различных направлений философии права (в частности, теории естественного права и исторической школы).

Главным вопросом, который интересовал ученого на протяжении всей жизни, был вопрос о кризисе современного правосознания. Причину кризиса он усматривал в растущем разрыве позитивного права и нравственных оснований общественной жизни. В лице Новгородцева современники видели основоположника и общепризнанного главу идеалистической школы в русской философии права, вся деятельность которого была посвящена борьбе против юридического позитивизма и проповеди возрождения естественного права. Этот подход нашел теоретическое обоснование в его работе «Кризис современного правосознания» (1909).

Данная позиция сближала Новгородцева с идеями германского юриста неокантианца Р. Штаммлера и служила обоснованием этической (деонтологической) концепции права. На ее основании выстраивалась его критика других течений, в том числе искавших синтеза естественного права и позитивного права по линии психологической теории права. Тезис о кризисе позитивистского правосознания сближал его подход с представлениями таких русских мыслителей, как Б. Н. Чичерин и В. С. Соловьев, которым он посвятил специальные работы. С Чичериным его сближала общая постановка вопроса о соотношении права и государства: оба они отвергали позитивистский подход к праву, состоящий в рассмотрении позитивного права как простого веления государственной власти, и отстаивали тезис о праве как самостоятельном и объективном явлении, определяющем функционирование государства. Со вторым мыслителем, В. Соловьевым, их сближало представление об этической природе правовых отношений — понимание позитивного права как «гарантированного минимума нравственности».

Констатировав одним из первых новое деструктивное состояние общественного сознания революционного периода, Новгородцев видел его выражение в резком диссонансе реального (позитивного) права и «общественного идеала». Он пришел к выводу, что противоречие между старым положительным порядком и новыми прогрессивными стремлениями есть постоянная и неотъемлемая логика права. История права есть поэтому история постоянных изменений в праве, изменений, которые могут носить революционный характер. «Право, — говорил он в лекциях по истории философии права в 1904 году, — может обновляться, только отказываясь от своего прошлого. Это — Сатурн, пожирающий своих собственных детей. Путь, которым проходит история, означает, поэтому, обломками старых установлений, а нередко и потоками крови». Из подобных конфликтов и зарождается обыкновенно «естественное право» как «требование реформ и изменений в существующем строе». Правовые теории при такой интерпретации есть «идеальные планы общественного переустройства — планы будущего, более или менее близкого».

Следовательно, важнейшим индикатором для познания логики развития права является смена общественных и правовых идеалов, выражающая радикальные перемены в правосознании. Данный подход, сближающий Новгородцева с современными трактовками интеллектуальной истории (как смены основополагающих теоретических парадигм), был положен им в основу особой дисциплины — истории философии права. «История философии права, толкуемая им как история правовых и политических идеалов, — отмечал младший современник ученого, а впоследствии известный французский социолог права Г. Д. Гурвич, — была любимым и постоянным предметом его многолетнего университетского преподавания. По глубине и широте познаний в этой области ему не было равных ни в русской, ни в европейской науке».

В силу обстоятельств русской революции Новгородцеву не суждено было завершить этот труд, тогда как он мог стать «монументальным классическим исследованием по истории правовых идеалов, в котором глубина проникновения в философские предпосылки сочеталась бы с живым чувством исторической действительности». Однако мы можем реконструировать направления этой исследовательской работы по опубликованным частям лекционного курса, имеющим, впрочем, незаконченный, предварительный характер. Среди тем этих публикаций: политические идеалы Платона и Сократа; политические идеалы Древнего и Нового мира; лекции по истории философии права Нового и Новейшего времени; методологические проблемы общей теории права, в частности подходы к философскому изучению идей. Основной завершающий труд Новгородцева — «Об общественном идеале» (1917) — подводит итог этим размышлениям.

Идеал правового государства, который также должен рассматриваться как одна из идеальных моделей, выработанных человечеством, на практике может принимать различные исторические формы и включает, согласно ученому, следующий ряд параметров: равенство перед законом; гарантии личных прав; регулирующая роль государства; стремление к разрешению социальных конфликтов путем целенаправленной политики достижения консенсуса. Новгородцев выводит эту концепцию из представлений Макиавелли, Гоббса и Руссо, видевших в государстве замену церкви и источник нравственной жизни людей, а также Гегеля, провозгласившего государство воплощением нравственной идеи на земле.

Собственно теорию правового государства представляли в Англии Бентам, во Франции — Констан и Токвиль, в Германии — Гегель и Штейн. На основе построений этих мыслителей конструировался своеобразный идеальный тип правового государства, который затем использовался при анализе его конкретных исторических и национальных проявлений. Новгородцев говорил о построении «идеального государства» — «иероглифа разума», конструируемого «с устранением всех случайностей исторической обстановки», но подчеркивал необходимость различать этот идеал и реальность.

Фактически он развивал идеи, близкие М. Веберу, создавшему теорию идеальных типов как метод познания социальных и правовых явлений. Эта теория способствовала преодолению утопических и догматических построений в социальных науках. «Горячий противник всяческих утопий, политических и социальных, П. Н. Новгородцев, — отмечал крупный юрист, один из лидеров кадетской партии Н. В. Тесленко в речи 1924 года, посвященной его памяти, — боролся против них еще и потому, что эти утопии, приводимые в жизнь, всегда только угнетали человечество. Выше всего должна стоять человеческая личность; она должна быть величиной самодовлеющей, а не служить средством достижения каких-либо целей». Нельзя надеяться на создание социального строя, способного окончательно разрешить существующие проблемы, например, вполне реализовать идеал свободной личности. К этому можно только стремиться. Теории, декларирующие такую возможность, как, например, коммунизм, методологически порочны, так как допускают прекращение движения — конец истории. Поэтому «оставленное им научно-философское наследство будет крупнейшим вкладом в ту литературу, которая борется с социализмом».

Вклад Новгородцева в гуманитарную мысль состоит в чрезвычайно ясной постановке вопроса о соотношении идеологии и утопии, общественного идеала и способов его достижения. Эта постановка вопросов, которые разрабатывались в XX веке К. Маннгеймом, Х. Арндт, Р. Ароном, К. Поппером и другими либеральными мыслителями, фактически восходит к Новгородцеву, ясно видевшему опасность беспочвенных радикальных доктрин, которые, овладевая массовым сознанием, обретают самостоятель-

ное функционирование в обществе, причем могут играть чрезвычайно деструктивную роль. Утопический характер и недостижимость коммунистического идеала делают его сторонников фанатиками, бессильными перед логикой истории.

Не все современники могли признать этот вывод. Новгородцев, по мнению левых критиков, увидел в кризисе большевизма кризис социализма и коммунизма как стремления найти рай на земле. Но плох, полагали они, не идеал, а его искажение большевиками. Сейчас, когда появилась возможность сравнивать опыт различных диктатур XX века, мы знаем, что прав именно Новгородцев, а не его критики. Отметим справедливость самого подхода: позиция правоведа выражалась в отрицании всякого финализма — веры в возможность окончательного и безусловного торжества какой-либо одной идеологии или проектируемых ею институтов. Веры, которая объединяет самые различные тоталитарные доктрины — от большевизма и национал-социализма до красных кхмеров и сторонников исламского фундаментализма. Он критиковал поэтому различные формы утопизма: консервативного, социалистического и даже либерального (например, в виде представления о возможности окончательной реализации одной формы правового государства, которая далее не будет подвержена никаким изменениям).

Участие П. И. Новгородцева в политической деятельности определялось его философскими убеждениями умеренного либерализма. Современники определяли его идеологические убеждения как *неолиберализм*, поскольку, в отличие от классических либералов, он считал необходимым выступать в защиту не только политических, но и социальных прав личности. «По существу, Новгородцев, — отмечал один из них, — был одним из самых крупных мыслителей неолиберализма, под который он подводил углубленный философский фундамент». В книге «Кризис современного правосознания» и очерке «О праве на достойное человеческое существование» (1906) он с позиций неолиберализма отстаивал возможность вмешательства государства в социальные отношения для защиты социальных прав личности. В этом направлении интерпретировались им и идеалы Конституционно-демократической партии (Партии народной свободы).

В начале XX столетия П. И. Новгородцев входил в «Союз освобождения» (был членом его Совета) и участвовал в разработке «освобожденческого» конституционного «Проекта Основного закона Российской империи». Он являлся одним из основателей Конституционно-демократической партии, был кооптирован в состав ее ЦК (1906), избран депутатом I Государственной думы от Екатеринославской губернии. В качестве члена кадетской фракции Думы активно работал в комиссиях: о неприкосновенности личности, редакционной, по вопросам гражданского равенства. Участвовал он и в подготовке и подписании законопроектов: о гражданском равенстве, собраниях, неприкосновенности личности. Подписав Выборгское воззвание, Павел Иванович, как и ряд других либеральных деятелей, был приговорен к трем месяцам тюрьмы и лишен избирательных прав.

Законодательная комиссия кадетской партии, разработавшая во время I Думы законопроекты о свободах, гражданском равноправии, неприкосновенности личности, в последующий период разделилась на два отдела — Московский и Петербургский. В первый входили П. И. Новгородцев, Ф. Ф. Кокошкин, С. А. Муромцев, С. А. Котляревский, Г. Ф. Шершеневич, В. Н. Тесленко и В. А. Маклаков; во второй — М. М. Винавер, А. И. Каминка, В. Д. Набоков, И. В. и В. М. Гессены и др. Перед созывом II Думы оба отдела занялись пересмотром законопроектов, не принятых ранее, причем Московский отдел сосредоточил усилия на всеобщем избирательном праве. Разработанные при активном участии Новгородцева законопроекты о свободах и неприкосновенности личности были пересмотрены в обоих отделах, а законопроект о гражданском равнопра-

вии дополнен положениями об уничтожении различий сословных, национальных и вероисповедных. Наконец, для согласования работы обеих групп образовали новую комиссию в составе П. И. Новгородцева, а также М. М. Винавера, С. А. Котляревского, А. И. Каминки, Н. В. Тесленко и П. Б. Струве.

П. И. Новгородцев, как видно из всего сказанного, активно участвовал в конституционных дебатах и разработке законопроектов. Еще на I съезде Конституционно-демократической партии он выступил за конкретизацию программы, внесение в нее статьи о том, что «русский закон признает право на достойное человеческое существование, право на труд и нормальное приложение труда». Необходимость данной статьи виделась ему в отсутствии ясного введения к программе, «проясняющего демократизм партии». Большинство участников обсуждения этого вопроса, однако, сочли предлагаемый пункт излишним. Позднее дискуссия возобновилась в Юридическом совещании при Временном правительстве в 1917 году, когда готовилась декларация прав будущей конституции для Учредительного собрания.

Отойдя на время от политической деятельности, Новгородцев вновь вернулся к ней в канун Первой мировой войны: был товарищем председателя экономического совета Всероссийского союза городов, а также московским уполномоченным Особого совещания для организации мероприятий по обеспечению топливом (1916). По воспоминаниям современников, он проявил прекрасные организационные способности и добился взаимодействия административных учреждений и бизнеса по этой ключевой проблеме. В то же время он выступал по вопросам отношений с другими политическими партиями, допуская, как и С. А. Котляревский, возможность сотрудничества, например, с «прогрессистами», но при условии сохранения кадетами их «политического лица». При обсуждении возможных избирательных коалиций Павел Иванович всегда выступал за союз либералов с правыми, полагая, что левые партии потенциально более деструктивны для российской государственности. Он считал этот вывод правильным в отношении опыта Государственной думы дореволюционного периода; применял его при анализе расстановки сил периода гражданской войны на Украине и на Кавказе; и, наконец, в эмиграции, отказавшись принять участие в Совещании членов Учредительного собрания (8–21 января 1921), на котором предполагалось, по инициативе П. Н. Милюкова, заключить союз с умеренными социалистами.

Важный вклад сделан П. И. Новгородцевым в разработку программных положений конституционных демократов по церковному вопросу. Он отстаивал идею реформирования Православной церкви на началах соборности и независимости от государственной опеки, выступал за отделение церкви от государства, но полагал, что между ними должны сохраняться отношения партнерства. Реализуя принцип «свободного самоустроения», Православная церковь, говорил он, является институтом публично-правового характера, которому государство должно оказывать покровительство и материальную поддержку (что не исключает, однако, поддержки государством и других вероисповеданий соответственно их значению и распространению). Позднее, в годы эмиграции, Новгородцев, правда, счел эту конструкцию отношений государства и церкви недостаточной и выступал за большую интеграцию этих институтов во имя социального консенсуса.

В период Временного правительства Новгородцев активно участвовал в разработке партийной тактики. Он выступал на IX съезде партии (23–28 июля 1917) с изложением причин выхода из состава Временного правительства 2 июля 1917 года министров-кадетов, а также по вопросу о переговорах партийных представителей с А. Ф. Керенским 14–21 июля 1917-го. На X съезде (14–16 октября 1917) он говорил о создании сильного центра для противодействия экстремизму: «При нынешнем партийном и классовом распылении партия народной свободы воплощает в себе идею

общенационального единства, и, не отступая от своей линии, традиции и программы, она может явиться объединяющим центром и для групп правее и левее ее — не ассимилируя их, но вводя в орбиту поведения к.-д., при непременном условии сохранения полной партийной определенности». Данная позиция означала поиск конструктивной основы для объединения всех политических сил, способных противостоять революционному перевороту. Эту линию Новгородцев проводил и как участник Государственного совещания, разработчик кадетской тактики в отношении Временного Совета республики. Он был избран депутатом Учредительного собрания от Московского столичного избирательного округа по списку кадетской партии.

В ходе углубления революционного кризиса П. И. Новгородцев выступил сторонником установления диктатуры как альтернативы большевизму. Он предпринял ряд практических шагов по организации возможного переворота: раз война с внешним противником началась, нельзя сохранять противника внутреннего. Таковым он признал на заседании ЦК 11–12 августа 1917 года Совет рабочих депутатов, который считал необходимым уничтожить. Общий вывод из его размышлений: «Надо покончить с большевистской революцией».

После октябрьского переворота Павел Иванович выступил последовательным противником большевистского режима. Он входил в основные контрреволюционные организации, стремившиеся отстоять либеральные ценности в условиях формирующейся однопартийной диктатуры. Был членом Совета общественных деятелей, Правого центра и Всероссийского национального центра, где выступал в поддержку восстановления в России сильной государственной власти в форме конституционной монархии или единоличной диктатуры. «Большевизм, — сказано им в 1918 году, — свергнут не будет, но нам предстоит пережить термидоровскую реакцию, т.е. поворот большевиков к буржуазным путям политики. Мировой разум заставляет большевиков творить свою волю, большевизм рассосется, и процесс уже начался. Путь термидоровской реакции — это тот путь, по которому нам придется идти». В известной работе «О путях и задачах русской интеллигенции» (1918) Новгородцев подчеркивал утопизм идеологии большевизма и видел смысл деятельности мыслящих людей в противостоянии ему, в подготовке юридических актов переходного периода. В то же время он считал нецелесообразным в условиях кризиса (в мае 1918 года) решать общие вопросы, например заниматься разработкой конституции, поскольку не решены окончательно фундаментальные вопросы, такие как положение окраин, в частности Украины. Павел Иванович был убежден: «Когда Россия начнет воссоздавать свой организм, он возродится на началах равноправия национальностей и областных автономий, возврата к старому быть не может».

О мужестве и духовной силе этого человека в период большевистского террора рассказывал И. А. Ильин. Новгородцев выступал его оппонентом на защите диссертации 19 мая 1918 года — сразу после проведенного у него чекистами ночного обыска, когда он чудом избежал ареста и расстрела. «Тревожно простился я с ним, уходящим; я знал уже, что такое подвал на Лубянке, — вспоминал И. А. Ильин. — Поберегите себя, Павел Иванович! Они будут искать Вас! — Помните ли Вы, — сказал он, — слова Сократа, что с человеком, исполняющим свой долг, не может случиться зла ни в жизни, ни по смерти?»

С 1918 года П. И. Новгородцев становится участником сопротивления большевизму на Юге России, поддерживая в целом программу А. И. Деникина. Одним из первых в либеральном движении он оценил большевизм как диктатуру качественно нового типа и указал на ее угрозу миру. В условиях Гражданской войны на Юге России и революции в Германии он отмечал ограниченность выбора альтернативной большевизму формы политического устройства. Данный выбор в условиях революционного

кризиса возможен не между демократией и авторитаризмом (как это было ранее в период борьбы с самодержавием), но между диктатурами двух типов: социалистической, разрушительный характер которой соответствует утопичности ее идеологии, и военной диктатурой, основная цель которой — восстановление стабильности и возвращение к правовой норме. Та дилемма, которая возникла в России в период конфликта Керенского и Корнилова, справедливо предвидел Павел Иванович, будет неоднократно повторяться в истории, а ее разрешение возможно путем установления либо режима большевистского типа, либо — диктатуры бонапартистского типа. В январе 1919 года он делает вывод: важно разъяснить союзникам мировую опасность большевизма (поскольку они недооценивают «внешней привлекательности большевистской отравы»); необходимо преодолеть внутренние разногласия антибольшевистского движения (связанные с различием внешнеполитических ориентаций) и организовать эффективную и быструю иностранную помощь антибольшевистскому движению в России, «пока она не опоздала».

Это идея народного фронта, привлечения всех сил справа и слева, безусловное принятие любой формы власти при одном условии — борьбы с большевизмом. Именно Новгородцев добился известной кадетской («екатеринодарской») резолюции о существовании «национальной диктатуры» главнокомандующего Вооруженными силами Юга России и полной ее поддержки со стороны Партии народной свободы, принятой партийным совещанием при ЦК 29–30 июня 1919 года. В основе этой концепции лежит представление о том, что революцию можно преодолеть только одним способом — взяв у нее достижимые цели и сломив ее утопизм, демагогию и анархию непреклонной силой власти. «Новая система управления, имея в виду привести Россию к широким демократическим реформам и к новой жизни, — констатировалось в резолюции, — должна заключаться вместе с тем в открытой и прямой борьбе с большевизмом». Данная система имеет центристский характер: ее цель не в том, чтобы возглавить революцию или реставрацию, но в обуздании обеих этих крайностей. Поэтому первоочередной задачей выступало преодоление революции и установление твердого порядка — «единоличной диктаторской власти». Ее существо определялось следующим образом: «Диктатор, которого как временную власть до созыва Учредительного собрания приветствует партия Народной Свободы, должен быть не только диктатором освободителем, но и диктатором устройтелем: его задача заключается не только в том, чтобы освободить от большевизма, а также и в том, чтобы утвердить порядок, пресекающий возврат большевизма слева и проявление большевизма справа, установив в тесном сотрудничестве с общественными силами и при их дружественной поддержке те основные предпосылки всякого государственного порядка, вне которых не может быть осуществлено правильное и сознательное волеизъявление народа».

В качестве активного деятеля Всероссийского национального центра на Юге России Новгородцев был главным автором Основных положений Программы Национального центра (1919). В ней нашли отражение идеи внеклассового характера государственной власти, правового решения земельного и рабочего вопросов, организации центрального и местного управления, временной государственной власти (диктатуры) и ее законодательного оформления, а также последующего формирования учредительной власти (обсуждались различные ее формы в виде Учредительного собрания, Народного собрания и другие, различавшиеся масштабом прерогатив этого института и характером его отношения к временной исполнительной власти). Выступал он также автором ряда других документов: проекта декларации Добровольческой армии по земельному и рабочему вопросам; внешнеполитических заявлений (обращения Центра к Сибирскому правительству адмирала Колчака, письма Национального центра в Париж В. А. Маклакову о положении в связи с вопросом об отношении к союзным

держavam и т.д.). Кроме того, занимался анализом текущих событий Гражданской войны в России, вопросами стратегического взаимодействия армий Восточного и Южного фронтов, перемещением центров власти на Украине (в частности, ряда переворотов, ставших результатом меняющегося соотношения сил союзных войск и группировок антибольшевистского движения).

С поиском основы национального единства связаны позиции Новгородцева по другим принципиальным вопросам, в том числе и по земельному. Он настороженно относился к принудительному отчуждению земли, видя в нем скорее популистский лозунг для привлечения крестьянства, уступку требованиям анархии и аграрного бандитизма, нежели рациональную концепцию. С другой стороны, ему было ясно, что предрассудки крестьянства не позволят одномоментно решить аграрную проблему путем восстановления частновладельческих прав (в реализации этого он усматривал основную ошибку гетманского режима на Украине). Аграрная революция, наподобие случившейся в России в 1905 году и представленной затем махновским движением, не может быть преодолена радикальными аграрными законами, поскольку ее движущими силами являются люмпенизированные слои и уголовные элементы. Развивая эти идеи Новгородцева, П. Б. Струве определял махновщину как «разложение большевизма на бандитизм» или «разложение коммунизма на разбойничьи молекулы», основным способом уничтожения которых является организация твердой власти на местах.

Павел Иванович отчетливо понимал, что стабильная политическая власть возможна в России только при опоре на устойчивый класс средних и мелких собственников. Поэтому при обсуждении во Всероссийском национальном центре вопроса о границах допустимого вмешательства государства в земельный вопрос он сделал поправку: принудительное отчуждение земель может проводиться государственной властью исключительно «в целях создания крепких средних и мелких хозяйств». Таким образом устранялась эсеровская трактовка отчуждения, которая давала право на всеобщее наделение землей. При обсуждении проекта аграрной декларации Добровольческой армии Новгородцев разъяснял, что имеется в виду прагматическая концепция возвращения к правовой ситуации: «Вообще под временным устройством, которое выдвигает проект декларации, следует разуметь совокупность мер двоякого рода: размежевание между захватчиками и прежними владельцами, по возможности полюбовное, а в случае надобности и принудительное, и обеспечение возможности приобретать землю». Среди необходимых мер отмечались и формы облегчения покупки земли, известные дореволюционной практике: содействие Крестьянского банка, выделение на отруба и т.д.

Другая сторона проблемы переходной формы правления — вопрос о легитимности власти. Легитимность была необходима для консолидации власти, хотя не исключала (и даже предполагала) ее авторитарность. Моделью служил национальный консенсус, достигнутый в период Смутного времени. В этот период вопрос легитимности власти выступил в качестве центрального. «Наша история, — отмечал Новгородцев, — наглядно показывает, как шаток оказался трон Василия Шуйского, „выкрикнутого“ боярами и московскими людьми без участия всего народа; между тем династия Романовых, поставленная всенародным Земским Собором, прочно укоренилась». Из этого следовал вывод о необходимости зафиксировать в программных установках идею Учредительного собрания, как «наиболее желательной и ясной формы народного волеизъявления».

В идеале, считал Новгородцев, следует объявить, что «идет твердая государственная власть, не боящаяся смелых преобразований, но проводящая их на почве права и порядка и не позволяющая ни грабить, ни мстить за грабеж». Это означало выдвижение такой концепции диктатуры, которая наиболее близка ее римскому пониманию:

предоставление неограниченных полномочий избранному народом правителю, который реализует их по воле народа (римского сената или Учредительного собрания) и исключительно в переходный период, необходимый для восстановления государственности. Как говорил позднее Д. С. Пасманик, Новгородцев выдвинул формулу: «Цезарь, благословляемый патриархом и церковью на восстановление государственности и национальной державности» — и добавлял: «Что ж, если это кадетские идеи, то останемся кадетами».

Описанная позиция — продолжение той, которую находим у Новгородцева в период Гражданской войны на Украине. В Белом движении существовало три подхода к государственному устройству. По авторитетному свидетельству И. И. Петрункевича (1919), одни считали необходимым сохранить гражданский правопорядок в неизменном виде там, где это оказалось возможным; другие отстаивали Директорию; третьи — диктатуру. В качестве идеолога последнего направления он называет «екатеринодарцев» — П. Д. Долгорукова и П. И. Новгородцева, наиболее проникнутых «атмосферой действующей армии», которые «горячо отстаивали военную диктатуру, видя в ней залог успеха и подчиняя ей все другие вопросы». Новгородцев становится неформальным участником Особого совещания при главнокомандующем, выступая по теоретическим вопросам организации движения, а также участвуя в разработке ряда законопроектов. В январе 1919 года в Одессе на заседании Совета государственного объединения России он выступил с докладом о создании Южно-Русской власти, призывая ввести военную диктатуру. В Крыму он занимался преимущественно педагогической деятельностью (в Симферопольском университете).

Концепция диктатуры как инструмента постреволюционной стабилизации основывалась у Новгородцева, как и у других русских деятелей этого времени, на исторических прецедентах Английской и Французской революций, политики Бисмарка в Германии и Столыпина — в России. Содержание переходного режима во всех этих случаях усматривалось в восстановлении национальной государственности путем объединения страны сверху. Павел Иванович являлся сторонником бонапартистской модели власти, считая ее наиболее рациональной для переходного периода. В период революции и Гражданской войны бонапартизм выступает либеральной альтернативой большевизму. Либеральная концепция бонапартизма, восходящая к Токвилю, видела в нем естественное порождение неконтролируемых тенденций процесса перехода к демократии и рассматривала его в силу этого как меньшее зло в сравнении с народной революцией, как необходимый корректив экстремизму. П. Н. Милюков, П. И. Новгородцев, Ф. Ф. Кокошкин выступали за необходимость военной диктатуры против большевистской. Стратегия установления военной диктатуры (например, Корнилова или Колчака) выступала в качестве меньшего зла в сравнении с установлением однопартийной большевистской диктатуры.

Выдвигая идею национального и духовного возрождения России, П. И. Новгородцев видел его возможность в социальной консолидации, позволяющей «забыть свои особые интересы во имя общего национального интереса». «Если всякая революция, — пояснял он, — в стихийном своем течении превращается в диссолюцию, в разложение государства и народа, то обратный процесс восстановления и возрождения начинается с собирания народной силы воедино». Павел Иванович выдвигает на первый план «национальное чувство», «сознание общей связи» и патриотизм против революционной идеологии и партийного догматизма. Примерами создания политического режима, опирающегося на широкий социальный консенсус, служили выход из Смутного времени в России начала XVII века и постреволюционная стабилизация в Европе, «когда Франция под водительством гениального Бонапарта выходила из своей революции XVIII века». Сходная интерпретация функций бонапартистской модели

власти давалась непосредственными участниками корниловского движения, а также его наблюдателями и оппонентами. Наиболее полно данная альтернатива большевизму представлена генералом А. И. Деникиным в «Очерках русской смуты», второй том которых получил выразительное название «Борьба генерала Корнилова». Предпринятая им попытка государственного переворота и установления военной диктатуры предстает как «мучительное искание наилучшего и наиболее безболезненного разрешения кризиса власти», «единственный выход из положения, созданного духовной и политической протрацией власти». Новгородцев, развивая эту позицию, приходил к однозначному выводу, напоминая идею К. Шмитта в Веймарской республике: «Нет кадетизма и демократизма, а есть национальная задача объединения... Очередной задачей является создание власти. А пока власть создается, нельзя добиваться свободы и гарантий таковой. Если у нас сейчас ничего не осталось от нашего демократизма, то это прекрасно, ибо теперь нужна диктатура как созидаящая власть». Демократия для защиты от своих врагов должна, следовательно, позаимствовать их методы, став на время авторитарной. Но не приведет ли это к ее крушению?

...После поражения Белого движения Новгородцев бежал из Крыма в Берлин, а позднее в Прагу, где, при поддержке правительства Чехословакии, организовал в 1922 году Русский юридический факультет при Пражском университете, сыграв видную роль в организации научной работы и преподавания в русской эмиграции. Он являлся членом правления Союза русских академических организаций за границей и Русской академической группы в Чехословакии.

В эмиграции П. И. Новгородцев пережил, по воспоминаниям современников, «глубокий духовный перелом». Если прежде он принадлежал скорее к западническому руслу русской общественной мысли, то на почве религиозных исканий последних лет своей жизни он стал сближаться со славянофильством и даже прочитал в Русском институте в Праге цикл лекций на тему «Кризис западничества». Эти размышления, однако, не означали окончательного отказа от прежней неокантианской философии и идеологии неолиберализма. Их можно рассматривать скорее как поиск нового синтеза западничества и славянофильства, который должен был дать ответ на трудный вопрос о причинах невосприимчивости «русской души» к идеалам правового государства.

Выдающийся мыслитель и общественный деятель Павел Иванович Новгородцев скончался в Праге 23 апреля 1924 года.

Иосиф Викентьевич Михайловский:

*«Идея личности есть высшая нормативная
идея»*

СЕРГЕЙ ЧИЖКОВ

Иосиф (Иосиф-Стефан) Викентьевич Михайловский (1867–1921) был родом из Черниговской губернии, из небогатой мещанской польско-католической семьи. Для истории российского либерализма его жизнь и идеи представляют особый интерес: возможно, Иосиф Михайловский являл собой один из наиболее ярких примеров «не провинциального» по своей глубине либерализма российской провинции. Всю жизнь он провел в небольших и средних, по российским меркам, городах, никогда не принимал активного участия в политической жизни и, даже будучи некоторое время конституционным демократом, все-таки не вполне вписывался в «генеральную линию кадетизма», не поддерживая ее резко выраженную оппозиционность власти. По своим политическим взглядам И. В. Михайловский ближе всего стоял к земцам, но и в самом земском движении, как движении политическом, участия тоже не принимал. Сторонник конституционной монархии, он даже после Февральской революции публично отстаивал эти свои взгляды и с большим скепсисом смотрел на перспективы России в качестве республики.

Два обстоятельства могут многое объяснить. Прежде всего, Михайловский вышел из судейской среды, глубоко проникся ее духом и никогда с ней не порывал. Многие годы он провел на должностях судей судов первой инстанции, к концу жизни совмещал преподавание в университете с должностью судьи Высшего Сибирского суда. А кроме того (наверное, это и есть главное), Михайловский — ближайший, если не единственный ученик Бориса Николаевича Чичерина. Два этих обстоятельства позиционируют Михайловского в либеральном движении России довольно специфическим образом. Непосредственная и даже профессиональная включенность в земскую жизнь сочеталась в нем с весьма скептическим взглядом на политическую борьбу, в том числе и ту, что вели земцы. Критический взгляд на российские порядки, реальное состояние государственного управления и засилье бюрократии — с отстаиванием принципа политической стабильности. Требование правового государства, широкого спектра гражданских и политических свобод — с сохранением монархического принципа.

По окончании гимназии Иосиф Михайловский поступил в Киевский университет Св. Владимира, учился на юридическом факультете, но прослушал также полный курс философии на историко-филологическом. В 1890 году он окончил университет с отличием. Еще будучи студентом, женился. Его жена, Елена Васильевна (урожденная Рудская-Хмелевская), родом из Варшавы, православного вероисповедания. В семье росло трое детей: первенец Михаил появился на свет в 1890 году, дочь Наталия родилась в 1895-м, сын Лев — в 1901-м; дети, как и мать, были православными.

Судя по всему, карьере судьи Иосиф Викентьевич выбрал еще в студенческие годы, так как сразу после окончания университета он поступает «кандидатом на должность по судебному ведомству» при прокуроре Черниговского окружного суда. Михай-

ловского берут на службу 5 марта 1890 года, но уже 20 марта переводят в город Нежин той же Черниговской губернии, где он и проходит все ступени службы, необходимые, чтобы занять судейскую должность.

Что это за город, Нежин, куда после почти «столичного» Киева попал Михайловский с семьей и где он провел более трех лет? Типичный уездный городок юга России: население 15 тыс. жителей, тринадцать православных церквей, два монастыря, католическая церковь, синагога, пять еврейских молитвенных школ, окружной суд, десять присяжных поверенных, три нотариуса. В городе также находились: лицей князя Безбородко, гимназия, уездное училище, греческое училище, два женских пансиона, еврейское казенное училище, приходское училище, больница на сорок кроватей, инвалидный дом, богадельня. На весь уезд — девять врачей. Главный предмет местной торговли — табак и соленые огурцы. (Экспорт соленых овощей в другие области и столицы осуществлялся в огромных масштабах — до 10 тыс. бочек в год; нежинские огурцы и спустя сто с лишним лет считаются лучшими для засолки.) Какие-то 150 верст отделяют Нежин от Киева, но это уже другая жизнь. Недавний выпускник университета вряд ли мог так просто к ней привыкнуть, отказаться от больших задач, которые люди ставят перед собой в молодости. Первое серьезное столкновение планов и ожиданий с реальностью происходит у Михайловского именно в этом «огуречном раю».

Стать судьей — это было мечтой многих студентов-юристов пореформенной России. Эта карьера рассматривалась как высшая форма карьеры юриста вообще. К концу XIX века имидж судьи был очень высок, особенно у мировых судей. За двадцать пять лет этот институт завоевал сердца россиян всех сословий: именно мировые судьи водворяли в обществе и народе идею законности и уважения к личности.

Однако к началу 1890 года во всей внутренней России институт мировых судей был отменен, а их функции передали городским судьям. Михайловский, позднее анализируя ход судебной реформы, скажет, что основным мотивом властей в этой реформе стало стремление искоренить из судебной системы всякий «общественный элемент», всякое участие самого общества при рассмотрении своих дел. Из судебной практики оказались почти полностью изъяты все примирительные процедуры, судья становился неким внешним администратором, основной интерес которого состоял только в том, чтобы вышестоящая инстанция не отменила его решение. Вместо «охранителя мира», «водворителя мира», использующего кроме писаного права также обычное право, традиции и обычаи делового оборота, общество получило чиновника. И ничего бы страшного, если бы судей обязали судить только и исключительно по нормам действующего («писаного») права, если бы постепенно перешли на привлечение только профессионалов-юристов, но при этом сохранили их выборность, их ответственность непосредственно перед обществом. Власти, однако, предпочли поступить иначе.

Поступив на работу в суд, Михайловский обнаруживает все «прелести» судебной контрреформы: при невысокой юридической квалификации, которая никуда не делась, судьи получили независимость от того общества, проблемы которого были призваны решать. При этом административно они стали очень уязвимы, превратившись в чиновников, причем чиновников низшего звена.

Реальность несколько отрезвила молодого человека: незначительность споров и «обид», которые приходилось разбирать, полная административная зависимость судьи от чиновников, а также низкая квалификация коллег. Что касается последнего, то такое мнение о коллегах — не плод завышенной самооценки или юношеской фанаберии. О некоторых грубых ошибках коллегиальных решений Нежинского уездного суда Михайловский выскажется публично в печати и обоснует свою позицию.

Трудно себе представить, чтобы блестящий выпускник одного из лучших российских университетов, свободно говорящий на пяти европейских языках, юрист

и философ, удовлетворялся положением соискателя должности судьи в заштатном городке. В установленные сроки он сначала становится исполняющим обязанности судьи, после чего указом Правительствующего сената осенью 1892 года производится в титулярные советники, а в январе 1893-го становится судьей 1-го участка города Нежина. С этого момента он прилагает усилия, чтобы его перевели в другой город, и 25 июля 1893 года приказом по Министерству юстиции его назначают городским судьей Екатеринбурга. Это многое меняет в его жизни: именно в Екатеринбурге Иосиф Викентьевич приступает к научной работе и публикует первые статьи по судебноп-правовой тематике. Но Екатеринбург — это еще и крупный культурный центр, там можно утолить еще одну страсть — любовь к музыке. Михайловский не просто был прекрасным музыкантом и играл на нескольких инструментах, он глубоко исследовал историю и теорию музыки. 17 декабря 1895 года он выступает с докладом на Бетховенском собрании Екатеринбурга по случаю 125-летней годовщины со дня рождения композитора. Расширенная печатная версия этого доклада «Личность Бетховена и значение его в истории культуры» в 1896 году выходит отдельным изданием.

Летом 1896-го И. В. Михайловский возвращается в Черниговскую губернию, в качестве городского судьи города Козельца. Там он начинает готовиться к сдаче магистерского экзамена в alma mater и получению звания приват-доцента — чтобы приступить к преподавательской и научной деятельности.

Перед магистерским экзаменом, в 1899 году Михайловский публикует свой первый научный труд «К вопросу об уголовном судье. По поводу предстоящей судебной реформы» и издает его в Нежине. Это уже достаточно зрелая и принципиальная работа, далеко выходящая за рамки заявленной в названии темы и посвященная ключевым проблемам российского правосудия, главная из которых — независимость судьи и судебной власти. Наступление на независимость судей и судебной власти — вечный и излюбленный сюжет всех российских контрреформ, при том что декларируемая ими цель всегда самая высокая: совершенствование правосудия. Через шесть лет в своей магистерской диссертации Михайловский анализирует результаты этих очередных «улучшений» и дает им резко отрицательную оценку. В работе 1899 года интересно еще и то, что вся ее «идеология» взята из трудов Б. Н. Чичерина «Собственность и государство» и «Курс государственной науки», а также из только что опубликованных в «Вопросах философии и психологии» глав чичеринской «Философии права».

В том же, 1899 году И. В. Михайловский лично обращается к Чичерину с просьбой ознакомиться с его работой. Автор отнесся к этой просьбе чрезвычайно серьезно (он вообще очень внимательно относился к молодым ученым и всегда их поддерживал, если видел у них неподдельный интерес к «серьезной философии»). Михайловский оценивает эту встречу как главное событие в своей научной жизни; под руководством Чичерина он вновь садится за философию, но это уже систематические занятия с уклоном в философию политики и права.

Влияние Чичерина на Михайловского оказалось весьма значительным. Михайловский полностью принимает все основные философско-правовые принципы и многие политические установки своего учителя. Причем не только принимает, но и отстаивает их, и развивает. Это не эпигонство, а продуманная позиция с собственной аргументацией. Есть и пункты расхождения: как многие русские либералы (например, П. И. Новгородцев и Е. Н. Трубецкой, на которых Чичерин также весьма сильно повлиял), Михайловский является более «социальным» мыслителем. Социальная ориентация не связана с отрицанием предельного персонализма чичеринской мысли — в этом вопросе Михайловский выступает скорее его стойким последователем. Не связана она и с какими-то социалистическими или народническими идеями: Михайловский никогда и ни в чем им не симпатизировал, а под конец жизни даже активно противостоял.

Большая социальная направленность связана, как это ни парадоксально прозвучит, с углублением и переосмыслением позиции самого Чичерина по ряду вопросов, в первую очередь по вопросу о «принципе общей пользы».

Еще при жизни Чичерина Михайловский готовит статью о нем для Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона. Это, несомненно, лучшее в литературе того времени изложение учения философа сопровождается несколькими довольно сильными критическими пассажами. «Если Чичерин совершенно ясно и точно установил один принцип ограничения свободы личности, а именно чужую свободу, то другой выставленный им принцип — „требования общей пользы“ — отличается неопределенностью, и из него могут быть сделаны выводы прямо противоположные учению Чичерина о свободе и самоцельности личности».

Еще один пункт явного несогласия — так называемый «рабочий вопрос». Михайловский пишет: «Теория Ч. о невмешательстве в дело поднятия благосостояния рабочих масс приводит к слишком суровым, резким выводам; с его точки зрения, все новейшее прогрессивное законодательство на этом пути должно быть признано злом».

В вопросе о роли суда, при всей схожести общих позиций Чичерина и Михайловского, есть, однако, и крайне важное расхождение. Для первого государство неподсудно по определению. Да, оно может и должно компенсировать вред, причиненный своими действиями, но в широком философском смысле остается неподсудным. Для того чтобы оно было таковым, необходимо одно существенное условие: наличие надгосударственного образования с легитимной правовой системой, но именно этого история так и не создала. Михайловский же считает, что эти и ряд других негативных моментов учения Чичерина устраняются более глубоким пониманием миссии государства в культуре. История, полагает он, показывает, что в действительности над государством возвышается фундаментальная нормативная идея, и жалеет, что Чичерин сам не довел ее до логического конца.

Идея личности, ее достоинства, самоценности и самоцельности, создает высшую нормативную идею, которая не только формирует основу единства права и нравственности, но также определяет и культурную миссию государства. Именно эта идея ограничивает суверенитет государства и суверенитет народа и с необходимостью для своего обеспечения вызовет к жизни наднациональные формы контроля над обеспечением прав личности. Эти весьма нетривиальные для своего времени идеи Михайловский будет развивать во многих своих работах.

Над государством Михайловский ставит культуру, но не культуру в виде знаний, произведений и достижений научной и технической мысли, а культуру как систему духовных ценностей, разделяемых людьми. Через эту систему в первую очередь и формируются и реальная нравственность повседневной жизни, и основания, по которым те или иные правовые суждения представляются правомерными или неправомерными. В понимаемой таким образом «культуре» системообразующим элементом выступают доминирующие в данную эпоху представления о личности и ее ценности. Государство постоянно ощущает давление некой глубинной нормативности, и задача культурного правового государства как раз и состоит в том, чтобы соответствовать этому давлению: принимать законы и действовать, надежно обеспечивая личность, ее достоинство и право на самореализацию. Понятно, что при таком подходе к праву Михайловский приветствует возрождение идеализма и крайне негативно относится к правовому позитивизму; горячо поддерживает «возрожденное естественное право» и его сторонников. В дальнейшем он станет активным защитником позиции «Вех».

Те несколько лет, что Михайловский общался с Чичериным, не только предопределили выбор его теоретической и политической позиции, но и оставили неизгладимый след в его духовной жизни. Об этом он всегда помнил: и его диссертация, и его

главный труд «Очерки философии права» вышли с посвящениями учителю. Судя по всему, именно их знакомство окончательно определило выбор Иосифа Викентьевича в пользу преподавательской и научной деятельности. С этого момента карьера судьи отодвигается на второй план, превращаясь лишь в средство для перехода на преподавательскую должность. Значительно раздвигаются и рамки научных интересов Михайловского: постепенно уголовное право уступает место философии права, а сами уголовно-правовые исследования становятся все менее прикладными, все более теоретическими и мировоззренческими.

Осенью 1900 года Михайловский успешно держит магистерский экзамен по уголовному праву в Университете св. Владимира и читает пробные лекции, признанные удовлетворительными. На этом основании 9 ноября 1900 года он получает звание приват-доцента и право преподавания в университете.

Получение научного звания в те времена приветствовалось и способствовало профессиональной карьере судьи. Михайловского повышают в должности, теперь он — уездный член суда по Козелецкому уезду и надворный советник. Однако, несмотря на повышение в должности, Иосиф Викентьевич просит перевести его на должность мирового судьи в университетский город Юрьев. Здесь он проработал чуть больше года, но «зацепиться» в университете не сумел. Следует еще одна его просьба — о переводе в Томск; 24 июня 1903 года Михайловский назначен мировым судьей в Томске.

Тогда это был один из динамично развивающихся городов России с полиэтничным и многоконфессиональным населением. Императорский Томский университет имел довольно молодой юридический факультет с кафедрами по всем отраслям права. В городе действовал также еще более молодой Технологический институт им. Николая II, где читались курсы по различным отраслям права, имеющим отношение к профилю института. Томск был привлекателен также тем, что в нем существовало отделение Императорского русского музыкального общества.

Почти сразу по прибытии Иосиф Викентьевич обращается к декану юридического факультета с ходатайством о допущении его к чтению лекций по уголовному праву. К ходатайству он прилагает подробный план курса лекций и рекомендацию Б. Н. Чичерина. Данная рекомендация, вероятно, имела особый вес, так как на протяжении ряда лет о ней вспоминали всякий раз, когда рассматривались вопросы назначений и перемещений Михайловского на юридическом факультете.

Факультет определенно хотел видеть Михайловского в числе своих преподавателей: несмотря на полную укомплектованность кафедр и сверстанность учебных планов, декан осенью 1903 года ходатайствует перед ректором о допущении мирового судьи 5-го участка приват-доцента Михайловского к чтению необязательного курса лекций по уголовному праву и процессу. Интересно, что лекции, одобренные факультетом, предлагается читать на четвертом курсе, то есть студентам, которые уголовное право изучают уже в течение трех лет. Совершенно очевидно, что предложенный материал отличался углубленным теоретическим осмыслением предмета.

Ректор университета, в свою очередь, обратился с ходатайством к попечителю Западно-Сибирского округа, однако бумага застряла в его ведомстве весьма характерным для России образом: на нее не ответили ни в установленные сроки, ни вообще, как будто обращения не было вовсе. Учитывая это обстоятельство, 3 марта 1904 года на заседании юридического факультета большинством голосов принимается решение о допущении приват-доцента Михайловского к чтению лекций по... тюрьмоведению. Это, конечно, далеко не то, что он хотел, но все-таки обязательный курс, открывавший перспективу дальнейшего продвижения. К тому же председатель окружного суда подтвердил своим письмом, что ничего против не имеет. Разрешение от попечителя учебного округа получили, и с 6 мая 1904 года Михайловский был допущен к чтению лек-

ций по университетской кафедре уголовного права и судопроизводства. А с 1 сентября 1904 года — и к чтению лекций в Томском технологическом институте, где новому преподавателю предстояло читать курс по законоведению, а также курсы по фабричному, горному и строительному законодательству.

В 1905 году в Томске вышла диссертационная книга (336 страниц) И. В. Михайловского «Основные принципы организации уголовного суда. Уголовно-политическое исследование». Опубликованная по решению Юридического факультета Томского университета, она распространялась во многих крупных городах России, поступила во все крупные университетские библиотеки.

Защита магистерской диссертации «Основные принципы организации уголовного суда» стала значительным событием как в жизни ее автора, но так и в жизни университета. В переполненном актовом зале университета 25 февраля 1906 года собрались не только преподаватели факультета и руководство университета, но также чиновники Министерства народного просвещения и коллеги Михайловского — судьи. Благожелательный отчет опубликовало влиятельное столичное издание «Право», редактируемое петербургскими либералами В. М. Гессеном, И. В. Гессеном, В. Д. Набоковым и Л. И. Петражицким.

Столь широкий интерес понятен. Это было время расправы над неудавшейся революцией, расправы, осуществляемой уже не оружием, а силами уголовной юстиции. Это было время, когда газеты и журналы постоянно сообщали о вынесенных смертных приговорах; когда апелляционные и кассационные судебные инстанции штамповали отказные решения по жалобам приговоренных; когда политические заключенные содержались в тюрьмах месяцами без предъявления им обвинения, а смертные приговоры выносились за преступления, по которым в мирное время давали минимальные сроки. Так, в дни защиты диссертации Михайловским в Варшаве казнили двух человек за погром в сельском суде и «оскорбление портретов Их Императорских Величеств».

Кроме того, весьма критическая позиция автора по вопросу о состоянии уголовного правосудия в России, высказанная им еще в книге, была известна. Весьма вероятно, что большинство собравшихся не интересовала собственно научная сторона дела; людям казалось важным, что критический взгляд будет не только высказан, но также признан и «утвержден» научным сообществом. Поэтому, когда декан объявил, что факультет «единогласно и с особым удовольствием постановил дать г. Михайловскому искомую степень», зал взорвался аплодисментами.

Если оставить в стороне социальный контекст, дежурные речи оппонентов, суету момента и обратиться к содержанию самой диссертации, то мы увидим весьма ценные идеи о надлежащем судоустройстве в России, как оно видится либералу, а также внятный анализ смысла судебных реформ последних лет и их последствий. Некоторые главы книги излагают в переработанном виде содержание статей, опубликованных ранее. Заключительные главы отвечают на те вопросы, которые были поставлены автором еще в работе 1899 года.

Михайловский считает, что Судебные уставы 1864 года необходимо восстановить в их первоначальном виде, так как все вышедшие после этого новеллы только ухудшали первоначальный текст. Руководящей идеей всех изменений было «стремление к бюрократизации судебного ведомства и к превращению судей в зависимых от правительства чиновников». Суд неизбежно превратился в орудие власти. Все это привело к падению нравов в судейской среде: судья при вынесении решения больше ориентируется на «направление внутренней политики», а не на законность и правомерность.

Особо следует отметить мысль ученого об участии в судебной деятельности непрофессиональных представителей общества, так называемого «общественного эле-

мента». Необходимо любой ценой сохранить суды присяжных, считает Михайловский, а при коллегиальном рассмотрении дел вводить в состав суда представителей общественности. Это станет сильным противовесом бюрократическому давлению на судей.

Сразу после защиты диссертации в начале марта 1906 года юридический факультет тайным голосованием (единогласно), а затем и Совет университета тайным голосованием (большинством голосов: 24 «за», 3 — «против») принимают решение о предоставлении Михайловскому вакантной кафедры полицейского права. В течение марта–апреля 1906 года он окончательно оставляет службу в качестве мирового судьи и переходит из Министерства юстиции на службу в ведомство Министерства народного просвещения.

В августе 1906 года Иосиф Викентьевич просит перевести его на кафедру энциклопедии и истории философии права. На заседании юридического факультета, состоявшегося 4 сентября, его просьбу удовлетворили, при этом само обсуждение прошло крайне дружелюбно. Вспомнили все: и полный курс философии в университете, и занятия с Чичериным по философии права, и знаменитые статьи о нем, и глубокий философский анализ природы права в диссертации. Вспомнили и то, что сам Чичерин рекомендовал своего ученика именно на кафедру энциклопедии права. В конце ноября 1906 года Михайловский был переведен на кафедру энциклопедии и истории философии права. Однако Высочайший приказ по гражданскому ведомству был издан лишь 30 июня 1907-го.

В качестве профессора юридического факультета И. В. Михайловский проработал вплоть до своего увольнения весной 1920 года, когда его арестовала ЧК. (За это время он семь раз будет занимать должность декана факультета — и всегда будет тяготиться этой работой.) Он читал курсы лекций не только по философии права, но также и по государственному праву, по уголовному и гражданскому праву и процессу. И практически каждый год во время летнего отпуска выезжал за границу, чаще всего в германские университеты, для занятий в библиотеках.

Ежегодно Михайловский читал вступительные лекции — по большей части общего, мировоззренческого характера. Тексты 1907, 1908 и 1909 годов вышли отдельными изданиями. Его первая лекция «Университет и наука» посвящена ценности научного познания и роли профессора. Как подчеркнул Михайловский, само это слово происходит от латинского *profiteri*, что значит — свободно исповедовать свои убеждения. Особая ответственность лежит на профессоре в современной России, раздираемой не только и не столько темными и необразованными людьми, сколько полуобразованными адептами самых вздорных и поверхностных идей.

Лекция «Культурная миссия юристов» была прочитана в 1908 году. Ее пафос состоит в том, чтобы доказать: хотя юрист и служит государству, он также реализует идею права, которая стоит над государством. В служении этой идее заключается и подлинная цель государства, не всегда самим государством отчетливо осознаваемая. Главная задача студента университета — «понять право в его этической основе», научиться отличать право от произвола, кто бы его ни чинил: один, многие, большинство или все. «Над государствами стоит высший этический порядок, частью которого является право, государство связано этим порядком и вовсе не является всемогущим Левиафаном». Развитие общества и всех его сил возможно только на почве права и самого надежного охранителя права — государства. Поэтому не в отрицании государства, а во всемерном его совершенствовании, приведении в соответствие с его подлинной сущностью состоит миссия юристов.

«Правовые прелюдии к грядущей культуре» (1909) — это в полном смысле программная лекция. Отчасти она переключается с проблематикой второй лекции, но все же главный ее предмет — границы суверенитета и общей воли, а также анализ вызо-

вов, с которыми сталкивается идея прав личности. Михайловский здесь вновь возвращается к теме «право и государство», но на этот раз он начинает с более критической ноты. Идея правового государства переживает кризис. Против нее выступают социалистические, анархистские и теократические течения мысли и политики. Это сопряжено с кризисом всех основных политико-правовых идей XIX века, считает Михайловский, солидаризуясь с основными идеями работы П. И. Новгородцева «Кризис современного правосознания».

Идеи государственного и народного суверенитета, идеи общей воли народа и представительного правления — все это оказалось сомнительным и противоречивым. Оказалось, что даже демократические ценности и институты таят в себе различные угрозы. Лишь идея личности сохранила свою привлекательность, но ей-то как раз и угрожают главные вызовы эпохи. Независимость, возможность самобытного и оригинального развития каждой отдельной личности представляет высшую ценность. «Политическая свобода есть только средство для охраны индивидуальной свободы, личной независимости», и ее надо использовать не для того, чтобы разрушать государство, а чтобы развивать правовое государство и его институты, в том числе и «социальное законодательство». Это должно быть именно законодательство и правовое содействие, а не государственные вмешательства и опека.

Принципы умеренного либерализма И. В. Михайловский отстаивал практически во всех своих работах — крупных, небольших и даже в рецензиях. Он полагал, что правовой позитивизм, которого придерживались многие его коллеги, несет в себе серьезную опасность. Правовой позитивизм, на первый взгляд, тяготеет к апологетике существующего порядка вещей. Однако это не всегда так. Если источником права являются распорядительные функции государства, то вопрос о праве и вопрос о власти — нераздельны. И в условиях политической нестабильности правовой позитивизм превращается в разрушительную силу. Действительно, у кого власть, у того и право и тот вправе творить право. Борьба за власть неизбежно выступает на первый план. Публичное право получает приоритет над частным. К этому надо добавить еще и теорию интереса, которую, как правило, разделяют все правовые позитивисты, и представление, что власть в принципе может издать любой закон. Закон и право — это всего лишь средства реализации интересов.

Для естественно-правовых теорий вопрос о власти вторичен, как вторична вообще сфера политического, ибо вытекающие из доктрины запреты и пределы для власти сделают любую власть «приемлемой», если она соблюдает приоритет гражданских прав. Защита гражданских прав в этой системе взглядов лучше осуществляется более стабильными политическими режимами и вообще требует стабильности и преемственности власти. Политические права важны, но не как самоцель, а как средство, с помощью которого в государстве можно защитить свои гражданские и индивидуальные права. Противодействие правовому позитивизму является лейтмотивом многих работ Михайловского, в том числе и главной — «Очерков философии права». Они вышли в свет в 1914 году и стали одним из самых заметных трудов в этой области.

Сулившая спокойную и размеренную академическую жизнь карьера университетского профессора оказалась довольно бурной. Этому способствовала не только бурная жизнь России того времени, но и некоторые черты характера самого Михайловского. Как преподаватель он был очень требователен, в финансовых вопросах — очень щепетилен. Иосиф Викентьевич неизменно отказывался от того, чтобы студенты спонсировали издание его лекций (весьма распространенная тогда практика), и требовал, чтобы университет, если он заинтересован (а он должен быть в этом заинтересован), напечатал их за свой счет или хотя бы возместил часть расходов.

Один из таких конфликтов закончился большим скандалом. В марте 1910 года студенты первого курса обратились к своему профессору с просьбой разрешить им издать его лекции за их счет. Иосиф Викентьевич в резкой форме отказал: мол, у тех, кто ходит на его лекции, и без того все есть. Но таковых как раз и не нашлось; группа на общем собрании объявила о бойкоте лекций Михайловского, выдвинув ряд требований, в том числе и требование уважительного к ним отношения со стороны преподавателя. В ответ преподаватель высказался в том смысле, что уважение надо сначала заслужить...

Конфликт невероятно разросся, бойкот продолжался, о нем стали писать в газетах, в том числе и петербургских. Министерство народного просвещения потребовало от ректора университета отчета и приказало скандал немедленно прекратить вплоть до отчисления студентов-зачинщиков. Действительно, студенты нарушили ряд положений университетского устава, а также несколько раз обманули ректора, заведомо сообщив ему неправду. К счастью, дело удалось решить без каких-либо административных мер.

Однако первый по времени конфликт возник не в стенах университета, а в Томском отделении Русского Императорского общества, которое избрало Михайловского своим председателем. Дело в том, что Общество являлось еще и музыкальным учебным заведением; контроль над средствами был поставлен в нем слабо и осуществлялся собственными выборными органами. Обнаружив, что в отделении процветают приписки и откровенное воровство, председатель уволил ряд преподавателей, остальные ушли сами. Учебная деятельность остановилась, и Иосифу Викентьевичу пришлось покинуть свой пост.

К Февральской революции 1917 года И. В. Михайловский отнесся с большим скепсисом, расценив ее как весьма нежелательное развитие событий. В условиях всеобщей эйфории, когда все считали нужным надеть красный бант или хотя бы красный или бордовый галстук, Михайловский демонстративно стал носить только синий. Опасения его были связаны не только с тем, что республиканский строй в России угрожает стабильности; он опасался, что политические свободы, полученные в одночасье не подготовленными к ним гражданами, могут сыграть злую шутку со страной. Надо сказать, что и коллеги, и студенты продолжали относиться к Иосифу Викентьевичу с большим уважением, а его лекции активно посещались.

Октябрьский переворот правовед не признал в принципе. Власть большевиков в Сибири, однако, продержалась тогда недолго: практически бескровное восстание Чехословацкого корпуса легко упразднило советскую власть. Восстановление органов государственной власти Временным Сибирским Правительством началось с воссоздания правовой системы и судебной власти. 7 сентября 1918 года был учрежден Сибирский высший суд, а 8 сентября Указом Временного Сибирского Правительства «профессор Томского университета И. В. Михайловский назначается Членом Высшего Сибирского Суда по Уголовному Департаменту с 15 октября 1918 года с оставлением в должности профессора». Восстанавливались не только судебные органы, но и судебные уставы 1864 года, при этом Сибирский Высший суд становился высшей судебной инстанцией и осуществлял свою деятельность по закону о Правительствующем сенате.

Кроме дорогой Михайловскому идеи восстановления уставов 1864 года, судебная власть восприняла еще одну его идею — о привлечении общественного элемента к деятельности судебных органов. Впервые в Сибири были введены суды присяжных, а земские и городские органы самоуправления получили возможность включать своих представителей в рабочие органы судов для принятия коллегиальных решений. Если учесть факт развития в те месяцы и других демократических и либеральных институтов, станет понятно: в Сибири Россия восстанавливалась именно как правовое государство.

Осенью 1918 года И. В. Михайловский опубликовал две важные статьи — «Отголоски Совдепии» и «Религия и народное образование». Так называемые «светлые идеалы социализма» не имеют никакого отношения к светлым идеалам и идеалам вообще, уверен автор; «социализм — вещь очень простая и прозаическая». Но религия, которая действительно имеет непосредственное отношение к «светлым идеалам», — вот она-то изгоняется отовсюду, в том числе и из школы. Изгоняется то, что составляло духовную основу многовековой культуры, то, что объединяло людей вне зависимости от их происхождения, то, что учило состраданию и взаимопомощи. В триаде «свобода, равенство и братство» третий элемент может быть достигнут только при помощи религии.

Иосиф Викентьевич не отличался хорошим здоровьем, часто недомога и в более благоприятные времена: его «Формулярный список о службе» (нечто среднее между личным делом и трудовой книжкой) сохранил немало тому свидетельств. И все революционные годы он тяжело болел; лекции приходилось переносить или читать их дома.

Осенью 1919-го к власти вернулись большевики. Совместным постановлением № 7 Сибнаробраза и Коллегии по управлению вузами от 15 апреля 1920 года И. В. Михайловский, а с ним еще семь профессоров юридического факультета, был уволен. Но еще раньше, 28 февраля, Томская ГубЧК выдала ордер за № 610 на арест Михайловского. 1 марта его арестовали и отправили в тюрьму на Иркутском тракте Томска. Известно, что в камере находился и младший сын Иосифа Викентьевича — Лев (вероятно, он все-таки не был арестован, а находился с больным отцом, чтобы за ним ухаживать).

Оставшиеся на свободе и на своих должностях коллеги Михайловского начали активно ходатайствовать о его освобождении; по их просьбе ректор университета неоднократно обращался в ЧК. Аргументы в глазах чекистов были, конечно, наивные: просили проявить милосердие к больному человеку, в котором нуждаются студенты и учебный процесс, ручались, что профессор никуда не сбежит и регулярно будет приходить на допросы... Все ходатайства остались, разумеется, без ответа.

И. В. Михайловского приговорили к пяти годам лагерей за антисоветскую деятельность. Однако исполнить приговор оказалось невозможно, так как Иосиф Викентьевич, страдавший болезнью сердца, находился в очень тяжелом состоянии. 1 мая 1920 года его перевели в Госпитальные клиники Томского университета, где он и скончался от кардиосклероза 5 марта 1921 года.

БОГДАН АЛЕКСАНДРОВИЧ КИСТЯКОВСКИЙ:

*«У нашей интеллигенции правосознание
стоит на крайне низком уровне развития...»*

АНДРЕЙ МЕДУШЕВСКИЙ

Б. А. Кистяковский (1868–1920) родился в Киеве в семье известного профессора А. Ф. Кистяковского. Обучался на историко-филологическом факультете Киевского университета, но в 1888 году был исключен — после ареста австрийскими властями во Львове за участие в студенческом движении. Продолжил обучение на юридическом факультете Юрьевского университета в Дерпте, однако в 1892-м снова был исключен. Позднее учился в Берлине, окончил философский факультет Страсбургского университета (1898). В 1899 году защитил в Берлине диссертацию «Общество и индивид» (на немецком языке). Следующую диссертацию, «Социальные науки и право», защитил незадолго до революции в Харькове, предварительно издав по этой теме книгу (1916).

Богдан Александрович преподавал в Московском университете (1899), читал лекции по государственному праву в Коммерческом институте в Москве (1906–1908) и в Ярославском демидовском лицее (1912–1917). С 1917 года он — профессор юридического факультета Киевского университета, академик Украинской академии наук (1919). Вместе с президентом Академии В. И. Вернадским Кистяковский сыграл существенную роль в ее организации и отстаивании права на существование (известна их совместная поездка в Ростов-на-Дону в 1919 году). Позднее ученый переехал в центр Белого движения — Екатеринодар, где был выбран профессором Политехнического института. В этом городе он и скончался от паралича сердца в 1920 году.

В молодости Богдан Кистяковский испытал сильное увлечение марксистскими социологическими и экономическими идеями, изучал труды К. Маркса и марксистскую литературу, участвовал в ее пропаганде в студенческой среде Киева. Однако затем, обучаясь в Германии, полностью воспринял неокантианское философское учение, непосредственно общаясь с его представителями: Г. Зиммелем в Берлине и В. Виндельбандом — в Страсбурге, что нашло выражение в его книге «Общество и индивид». Книга получила большой отклик в научной среде Германии, где ее рассматривали как существенный вклад в дискуссионные проблемы и методологию социальных наук.

Стремление сочетать элементы различных идеологий сохранилось у Кистяковского и в дальнейшем. Определенные трудности при интерпретации теории государства и права ученого связаны как раз с его поисками синтеза марксизма и либерализма, социализма и правового государства, а также с использованием идеологически окрашенной терминологии в оригинальной трактовке. Кистяковский, например, выдвигал такой спорный тезис: социалистическое государство есть продолжение государства правового или конституционного. «Несомненно, — писал он в 1909 году, — что полное единение государственной власти с народом, т.е. полное единение государства как цельной организации осуществимо только в государстве будущего, только в народном или социалистическом государстве. Последнее, однако, не будет в этом случае создавать новые принципы. Оно будет только применять тот принцип и ту идею, кото-

рую создали идеологи конституционного правового государства и которую они выдвинули и провозгласили хотя бы в знаменитой французской декларации прав человека и гражданина как цель и основную задачу государства вообще». При этом он не объяснял, в чем состоит различие этих двух типов государственности — социалистической и правовой. Скорее всего, под «социалистическим государством» понимается просто эквивалент современного понятия «социальное государство» или даже шире — «справедливого государства». Ясно, что данная трактовка социалистического государства коренным образом отличается от марксистской, в которой данный тип государства противопоставляется предшествующим историческим формам «классовых» государств. Впрочем, и сам Кистяковский отмечал, что «правовая или юридическая природа социалистического государства еще очень мало исследована», и предлагал оставить рассмотрение этого вопроса на будущее.

Общение с Г. Еллинеком, М. Вебером, а также с русскими исследователями, обучавшимися в Германии (П. И. Новгородцевым, А. А. Чупровым), формировало мировоззрение Кистяковского как философа, социолога и общественного деятеля — последовательного сторонника неокантианства и конституционалиста, боровшегося за установление в России основ гражданского общества и правового конституционного общественного строя. Вместе с П. Б. Струве он издавал первый неподцензурный либеральный журнал «Освобождение». Переход на позиции конституционализма и либерального парламентаризма отражен в ряде работ Кистяковского. В сборнике «Проблемы идеализма» (1902) он выступает со статьей «Русская социологическая школа и категория возможности при решении социально-этических проблем».

Новые стороны философской концепции и общественной деятельности Кистяковского позволяет раскрыть его переписка с П. Б. Струве, относящаяся к периоду Первой русской революции. В ней отражена проблематика широких международных связей русских либералов и западных конституционалистов. Документированные в переписке переговоры Кистяковского с Вебером и Еллинеком по вопросу о Проекте российской конституции, напечатанном П. Б. Струве в «Освобождении», содержат много конкретных данных об отношении западных мыслителей к событиям в России и перспективам либерального движения, о сомнениях, высказанных германскими учеными и общественными деятелями (в частности, по поводу целесообразности введения в России всеобщего избирательного права).

Богдан Александрович служил главным связующим звеном между редакцией журнала «Освобождение» во главе со Струве и западными академическими кругами. Уже в 1893 году, отвечая на критику со стороны Струве по поводу его диссертации, Кистяковский ссылается на письменные отзывы о ней таких ученых, как Виндельбанд, Риккерт, Хензель, Франц фон Лист и Г. Еллинек. Согласно их мнению, Кистяковскому особенно удалось: противопоставление социальной психологии и нормативных наук, весьма поучительное для социологов (Виндельбанд); методологическое разрешение проблемы общего и частного в процессе образования понятий (Риккерт); реконструкция концепции «общей воли» Руссо и ее интерпретации в контексте нормативных понятий современной науки (Хензель); кроме того, констатировалась убедительность его полемики против Р. Штаммлера (Франц фон Лист). Особенно интересно мнение Еллинека в связи с последующими разногласиями по конституционному вопросу. «Она (ваша работа. — А. М.), — писал он, — принадлежит к лучшим, которые были написаны до настоящего времени о методе социальной науки, и благодаря этому труду вы завоевали прочное место в науке. В настоящее время я занят обширной работой о всеобщем учении о государстве, которая даст мне повод привлечь внимание более широких кругов к вашей книге: ее должны прочитать все, кто теоретически хочет работать в любой области общественной науки».

Существенное место в переписке Кистяковского занимают вопросы социологической теории: обмен мнениями по поводу изданий сочинений Монтескье, Дюркгейма, из русских ученых — Бердяева, Петражицкого, а также Драгоманова (сочинения которого готовились к изданию в редакции «Освобождения» на деньги украинцев). Богдан Александрович передает Струве информацию об отношении к его идеям в социал-демократических кругах. «Вас, — пишет он, — называли Бернштейном. Я говорил, что для Бернштейна это чересчур большая честь». В ходе этого обмена мнениями прослеживается постепенный переход обоих мыслителей от классического марксизма к его неокантианской интерпретации, связанный с принятием либеральной парадигмы общественного развития. «Ваш оппонент, — сообщает Кистяковский Струве в 1901 году, — принимает увеличение ненависти к остаткам старого режима после проведения некоторых реформ за обострение противоположностей... Между тем усиление ненависти к старому режиму вместе с постепенным уничтожением его есть совершенно самостоятельное социально-психологическое явление, нисколько не подтверждающее теорию обострения противоположностей».

Выход из кризиса Кистяковский видел в создании правового государства, ориентируясь в основном на его интерпретацию в германской юриспруденции. Одним из его учителей в Германии стал известный теоретик права Г. Еллинек, принимавший активное участие в обсуждении конституционного вопроса в Европе и России. Тот обратил внимание на научную работу Кистяковского, оценив его вклад как «лучший из всех, какие ему приходилось слышать в последнее время» и рекомендовав ему написать книгу. Колебания между чистой наукой и политикой побудили Кистяковского, однако, задать Еллинеку ряд конкретных вопросов относительно российской политической системы. Струве хотел предложить Еллинеку написать статью с критикой русского правительства для «Освобождения»; это представляется Кистяковскому нереальным. «Я сомневаюсь, — отвечает он, — чтобы Еллинек взялся писать статью, которая бы заключала морально-политическую оценку какого-нибудь современного явления». Речь шла о политике России в отношении Финляндии, которую Еллинек осуждал, подчеркивая при этом, что «со своей юридической точки зрения не может встать на их сторону». Для учения о государстве как юридическом лице, которое развивал Еллинек, характерны представление о нем как едином и неделимом носителе суверенитета, апология сильной монархической власти. Отстаивая эти принципы в Германии, Еллинек не мог выступать против них применительно к России, а потому и отказался дать юридический комментарий по вопросу о Финляндии.

В последующих письмах Кистяковский объясняет эту позицию Еллинека более подробно. С точки зрения юридической теории, пишет он Струве, Еллинек «не может рассматривать февральский манифест 1899 года как *Verfassungsbruch* в Финляндии. Если Финляндия не отдельное государство, что и Вы, кажется, признаете, то финляндская конституция не может ограничивать русского императора. Гарантией для финляндской конституции может явиться лишь русская конституция». Вопрос о том, каков статус Финляндии в Российской империи, вызвавший столь бурные споры, решается Еллинеком с формально-юридических позиций. Его ответ поэтому никак не мог вызвать сочувствия сторонников автономии и скорее соответствовал желанию консерваторов сохранить существующее положение. «При современных условиях, — заявил он Кистяковскому, — финляндская конституция является лишь привилегией, данной Финляндии русским императором, который может всегда взять ее назад. Эта точка зрения станет понятна, если Вы примете во внимание, что положение Финляндии вполне аналогично положению английских колоний». В ходе этого обсуждения наметилось различие позиций германского ученого и русских либералов: первый исходил из того, что есть на самом деле, вторые — из того, что желательно, справедливо, а по-

тому должно быть в принципе. Этим объясняется умеренность политической позиции Еллинека и радикализм его русского окружения.

Наиболее отчетливо данное противоречие проявилось в дискуссии по проекту конституции, напечатанному в «Освобождении». Подобный разбор основных изменений представлен в письме Кистяковского к Струве от 26 октября 1905 года. В нем сообщается о предпринятых Кистяковским (совместно с С. И. Живаго) усилиях по популяризации в Германии конституционного проекта, который стал доступен немецким ученым в результате появления его перевода на французский язык. Для этого он провел переговоры с Г. Еллинеком и М. Вебером о возможности опубликовать рецензии на проект в солидных периодических изданиях (окончательный выбор пал на «Deutsche Juristenzeitung», рекомендованный Еллинеком по причине его распространенности и малой периодичности). Общий итог этих переговоров оказался весьма успешен: «Мне кажется, — отметил корреспондент Струве, — Вам нечего опасаться, что немцы обойдут молчанием этот проект».

В то же время самый первый обмен впечатлениями показал глубокое различие позиций германских и русских ученых, состоящее прежде всего в диаметрально противоположных воззрениях на всеобщее избирательное право. Германская юриспруденция опиралась уже на солидный западноевропейский опыт, а также опыт германских государств, показавший, что всеобщее избирательное право способно оказаться инструментом антидемократической и антиправовой политики (что вполне подтвердила последующая история XX века). Напротив, русские конституционалисты в эпоху начала революционных событий видели в институте всеобщих выборов единственную гарантию от монархического деспотизма, наивно полагая, что народное волеизъявление может быть осуществлено только в пользу правового государства. С этой точки зрения спор Еллинека и авторов проекта (это была линия «Освобождения») позволяет понять позиции обеих сторон и одновременно объясняет последующее стремление сделать конституционный проект более умеренным. Из переписки видно, как положительная реакция сменилась его острой критикой проекта. По сообщению Кистяковского, Еллинек «был поражен безграничным радикализмом его». Главными объектами критики стали: всеобщее избирательное право, общий стиль проекта, его заимствованный характер, отсутствие серьезной юридической проработки принципиального вопроса о порядке работы парламента. Усматривая большую ошибку во введении всеобщего избирательного права в России, Еллинек осудил этот институт в принципе. «Всеобщее избирательное право, — заявил он, — это господство глупости и реакции. У нас в Бадене оно привело к победе центра и клерикалов. Теперь университеты погибнут». В ходе последующих споров ученый высказался еще более резко, осудив проект за «Schablonen, Laftigkeit und Geistlosigkeit» (шаблоны, безвкусицу и бездарность). Он, по мнению Еллинека, целиком проникнут «обезьянничаньем» и не содержит «ничего оригинального». В качестве примеров бездумного подражания был упомянут регламент работы парламента (Geschäftsordnung), заимствованный составителями русского проекта из западноевропейских конституций. Данный порядок (при котором регламент своей деятельности определяет сам парламента) может привести к блокированию законодательной работы. «Между тем, — полагал Еллинек, — история показала, что при таком порядке нет возможности бороться с обструкцией, а обструкция даже небольшой группы может сделать парламента Geschäftsunfähig (недееспособным)». Отметим, что в критике института всеобщего избирательного права и парламентских обструкций проявились монархические взгляды и сдержанное отношение к парламентаризму германского ученого. Но в то же время это позиция реалистически мыслящего юриста, озабоченного соответствием правовых норм реальному положению вещей. С этой позиции он подробно остановился на механизме выборов в различных стра-

нах — вопросе, представлявшемся составителям русского конституционного проекта далеко не первостепенным и скорее даже техническим. Еллинек, выступивший против осуществления выборов по «системе записочек», предпочитал порядок, установленный в Сербии (где используются шары) или в Бельгии (где кандидаты расположены в известном порядке, и избиратели ставят крестик напротив их имен). Поэтому простое заимствование западных образцов нежелательно, хотя «можно было бы придумать что-нибудь подобное и в России» — с учетом ее специфики. Эти идеи оказались вполне правомерными, и в дальнейшем порядок выборов очень подробно обсуждался в русской юридической литературе.

Отрицательное отношение Еллинека к конституционному проекту группы «Освобождение» не нашло понимания у его авторов, связанных решением чисто политической задачи. Пытаясь преодолеть растущие разногласия, Кистяковский (считавший позицию ученого из Германии излишне умеренной и даже реакционной) предложил компромиссную форму его участия в обсуждении: «Я посоветовал ему не писать против всеобщего избирательного права, т.к. в России его совсем не захотят слушать. Но зато мы были бы ему очень благодарны, если бы он обсудил чисто государственно-правовые вопросы об отношении к Финляндии и Польше и т.д.». По этим вопросам, как мы видели, различие позиций также довольно ощутимо. В результате Еллинек отказался писать о российской конституции, «так как его только будут ругать, а пользы никакой».

Сходную по многим параметрам оценку конституционного проекта «освобожденцев» дал и М. Вебер. В его трудах идеи русских конституционалистов также рассматриваются скорее как некий политический идеал, который вряд ли может реализоваться в политической практике мнимого конституционализма. Информировав Струве о переговорах с Вебером, Кистяковский отмечает его умеренную позицию: «Он настолько интересуется русским освободительным движением, что начал изучать русский язык и прочитал со словарем несколько статей из „Освобождения“. Когда я летом заехал к нему, он, между прочим, тоже возмущался безграничным радикализмом программы „Союза Освобождения“». Тем не менее Вебер сочувствовал целям русского освободительного движения и принимал даже косвенное участие в распространении журнала «Освобождение» в Германии, сообщив Кистяковскому адреса магазинов, которые могли бы заинтересоваться русскими изданиями.

Особый вопрос об отношении русской эмиграции к проекту конституции тоже отражен в переписке. Кистяковский предлагает направить экземпляр проекта в Юридический семинар Гейдельбергского университета. Его в этой связи интересует также доставка в Германию специального издания материалов по выработке русской конституции, где публикуется и проект группы членов «Союза освобождения». Кистяковский активно вел переговоры с рядом немецких издательств (в том числе с Дитцем) о перспективах издания. Существенную роль играл Богдан Александрович и как посредник в передаче материалов «Освобождения» в Россию и, в частности, на Украину. В ряде писем он просит, например, прислать ему номера журнала на тонкой бумаге «для удобства транспортировки в Россию». Сообщая в другом случае о намерении редакции «Киевских откликов» осветить проблему конституционализма, он просит дополнительных материалов: «Редакция затеяла издавать тексты европейских конституций дешевыми брошюрками, теперь она решила присоединить издание брошюр по конституционным вопросам». Однако, оценивая свой вклад в разработку конституционного вопроса, он отмечает: в Германии «я буду даже полезнее для русского движения, чем живя в России». Особые надежды возлагались при этом на Гейдельберг, «ввиду читальни и русского общества». Рассмотренные документы показывают, таким образом, широкое распространение и обсуждение освобожденческого проекта конституции и в то же время достаточно осторожную, если не критическую реакцию на не-

го со стороны западной науки. Будучи вдохновлен лучшими европейскими конституционными образцами, русский проект оказывался, по мнению критиков, слишком декларативным в отношении специфических проблем Российской империи.

Интересны идеи Кистяковского-ученого о том, что между абсолютно-монархическим и правовым государством нет непреодолимой грани, но есть момент перехода, вхождения в новое состояние. Конституционное государство после своего формального учреждения далеко не сразу становится таковым. С другой стороны, абсолютная монархия в определенный момент уже содержит новые институты. Переходное состояние может составить целую эпоху. В этих взглядах есть много общего с воззрениями Вебера и Еллинека. Они, вместе с Кистяковским, активно участвовали в анализе событий, происходивших в России (в частности, в обсуждении нового проекта российской конституции, составленного русскими либералами в канун революции и посланного Веберу и Еллинеку на рецензию через Кистяковского). В годы первой русской революции Богдан Александрович поддерживал постоянные научные контакты с М. Вебером и Г. Еллинеком, в 1906 году переехал в Москву и выступал в ряде изданий («Критическое обозрение», «Право», «Юридические записки»).

Манифест 17 октября 1905 года Кистяковский воспринял как важный шаг к конституционному государству и активно способствовал борьбе за правовое сознание интеллигенции, за повышение правовой и политической культуры, против разрушительных тенденций социалистической идеологии. Отметим, однако, что для теории конституционного права рассматриваемого периода многие вопросы выглядели не столь отчетливо, как в современном учебнике права. Например, отсутствовало единство мнений о том, является ли конституционная монархия самостоятельной формой правления или представляет собой только переходную форму при движении от абсолютизма к республике; тождественны ли понятия конституционной и парламентской монархии, или они представляют собой различные типы политико-правового режима; необходима ли реализация принципа разделения властей в демократической конституции (в своей буквальной формулировке он подвергался серьезной критике как в западной, так и русской правовой литературе за несоответствие другому основополагающему принципу — народного суверенитета).

Кистяковский последовательно примыкал к тому течению, которое выдвигало на первый план договорную теорию государства и отрицало теорию разделения властей. В своем обобщающем труде по сравнительному конституционному праву (это лекции по общему и русскому государственному праву, читавшиеся в Московском коммерческом институте в 1908/09 академическом году) он обосновывал идею, что «парламентская система представляет прямую противоположность системе разделения властей»; «разделение властей практически неосуществимо», а попытки его реализации ведут к революциям и частым государственным переворотам.

Необходимо, следовательно, не разъединение властей, а напротив — их «объединение путем парламентской системы правительства». Потому Кистяковский предпочитал использовать другое понятие — «разделение функций власти». Причина столь жесткого неприятия формулы Монтескье заключается в предпочтении русскими либералами монистического парламентаризма перед разделенным правлением. Полновластие парламента (реализованное в Великобритании и во Франции периода Третьей республики) являлось для них высшим выражением демократизма, а возможные ограничения парламентаризма (например, в президентской системе США) — выступали как своеобразное отклонение от магистральной исторической тенденции. Кистяковский придерживался этой позиции. Он считал, что «ни одна идея не принесла Франции столько несчастий, как идея или теория разделения властей»; что модель жесткого разделения властей, представленная в США, фактически не работает на практике

(поскольку законодательная и исполнительная власть действуют совместно в комиссиях конгресса); наконец, что в странах Латинской Америки все попытки реализовать разделение властей оканчивались революциями и государственными переворотами.

Отстаивание монистического парламентаризма — вполне в духе времени. При этом не учитывались те негативные следствия данной системы, которые стали очевидны позднее, в период кризиса парламентаризма в Европе межвоенного периода. Тем не менее эта концепция повлияла на позицию Кистяковского в отношении российских реформ: их продолжение связывалось исключительно с концепцией ответственного (перед Думой) министерства. Еще больше вопросов возникало при оценке отдельных национальных моделей конституционно-монархической государственности, поскольку чрезвычайно трудно было отделить правовой анализ от политического в условиях переходного периода. Эти дискуссии, в которых Богдан Александрович активно участвовал, стали актуальны для России с переходом к новым формам политического устройства.

Говоря о «переходе России к конституционному строю», Кистяковский подчеркивал противоречивость этого процесса. С одной стороны, он указывал на юридический отказ от абсолютизма как формы неограниченного правления монарха. С другой, отмечал дарованный характер новой российской конституции — Манифеста 17 октября и связанные с этим ограничения конституционной демократии: отсутствие реального разделения властей, сохранение указного права монарха, а также значительных конституционных и экстраконституционных прерогатив административной власти, особенно в условиях «исключительного положения». Эти наблюдения делали многие юристы того времени, но они приводили их к противоположным выводам. Для одних эти изменения политической и правовой системы выступали как вынужденная уступка власти обществу, которая не означает качественного изменения ситуации (так считали Ф. Ф. Кокошкин, П. Н. Миллюков и др.); для других, напротив, обнародование нового законодательства стало доказательством ограничения самодержавия и начала перехода к правовому государству (так думал, например, В. М. Гессен). Кистяковский был ближе ко второй позиции, хотя формулировал ее более осторожно. В отличие от В. М. Гессена, утверждавшего, что Манифест непосредственно вводит конституционное начало в новое государственное право России, он полагал, что «по точному смыслу манифеста он не является конституцией и вообще не есть закон, а только обещание издать закон». В последующее время эта задача оказалась выполнена с принятием ряда основных государственных законов, что позволило Кистяковскому в конечном счете сделать вывод: «Конституционный государственный строй у нас установлен, и у нас существует конституция... Законодательством 1905–1906 г. у нас создана прочная основа для нашего дальнейшего конституционного развития. Установленные им гарантии и их неприкосновенность должны обеспечить нам возможность непрерывного развития без новых потрясений». С этих позиций он активно выступал как ученый, публицист и преподаватель государственного права.

Постреволюционный период поставил перед либеральным движением ряд новых проблем. Следует ли считать достигнутые конституционные изменения достаточными, или их нужно отвергнуть во имя высших идеалов? Должно ли оппозиционное движение использовать правовые инструменты воздействия на самодержавие, или ему следует обратиться к неправовым методам мобилизации общественного сознания? Какова должна быть позиция интеллигенции по отношению к народу и власти? В известном сборнике «Вехи» (1909), который пытался дать ответы на эти вопросы, Кистяковский выступил со статьей «В защиту права. Интеллигенция и правосознание», не утратившей значения до настоящего времени. В сборнике, при определенных различиях взглядов и даже идейных противоречиях, общим было обращение от идей легального марксизма к пониманию необходимости либеральной демократии, разочарование в теории и практике социалистических движений в России. Ответственность интеллигенции за выбор пути

российского общества Кистяковский остро ощущал и резко формулировал. В своей статье он писал, что российская интеллигенция состоит из людей, которые ни индивидуально, ни социально не дисциплинированы; Россия начала переход к правовому государству, и задача интеллигенции, всех мыслящих людей — не мешать, но помогать в этом.

Главная проблема, считал Кистяковский, в том, что русская интеллигенция никогда не уважала права, никогда не видела в нем ценности. При таких условиях «у нашей интеллигенции не могло создаться и прочного правосознания, напротив, последнее стоит на крайне низком уровне развития». При этом нигилистическое отношение к двум аспектам — правам личности и «объективному правопорядку» (например, суду) — играет роковую роль. Считая правовой нигилизм, «притупленность правосознания» главной проблемой, «застарелым злом» российской реальности, автор статьи выступал за необходимость радикального переосмысления этого положения, особенно актуального как урок, который, как он думал, интеллигенция должна была вынести после первой русской революции.

Эти идеи, однако, не были услышаны. Напротив, они встретили жесткую критику со стороны левой части интеллигенции, издавшей альтернативный сборник статей под названием «„Вехи“ как знамение времени» (1910). В одной из статей (Я. Вечева) «пресному идеализму» Кистяковского противопоставлен «строгий теоретический реализм» в вопросах права. Он состоит, фактически, в том отождествлении права и силы, которое стало затем господствовать в России XX века под видом марксистской теории государства и права и означало торжество правового нигилизма и волюнтаризма. «Революция, — согласно данному подходу, — может прекратить действие всякого избирательного и парламентского механизма: какие уж тут избирательные урны, когда ставятся урны погребальные! Революция может прекратить действие всяких судов — какие тут суды, когда революция есть верховный суд истории над отжившим строем и в то же время народный самосуд над ним! Революция может прекратить всякие гарантии неприкосновенности личности: какая уж тут неприкосновенность, когда вопрос решается на баррикадах, на улице, с оружием в руках в ряде восстаний и контрвосстаний. Здесь все подчинено высшему закону войны».

Эти представления делали необходимым теоретическое осмысление проблемы права и революции — разработку теории конфликта позитивного права и революционного правосознания, включали переосмысление самого понятия права как неизменной общественной ценности. Революция представала как перерыв в действии права, явление, способное оборвать действие одного правопорядка и создать на его месте новый. Вывод заключался в том, что законы революции не есть законы правотворчества и между ними необходим осознанный выбор. Кистяковский делал выбор в пользу создания новых правовых норм.

Понятие «конституционной революции» стало активно использоваться первоначально для характеристики перехода от монархического абсолютизма к правовому или конституционному государству. Абсолютно-монархическая форма государства в качестве идеального типа характеризовалась неограниченной властью монарха, распоряжения которого имеют непререкаемый характер (т.е. подлежат безусловному исполнению). Разновидность абсолютизма — так называемое полицейское государство, основной чертой которого выступала правовая регламентация всех сторон жизни общества и, соответственно, ограничение прав индивида.

Идеальному типу абсолютистского государства либеральная юриспруденция противопоставляла тип правового государства, где важнейшим элементом становилось народное представительство, соучаствующее во власти. Формой реализации данной конструкции выступала первоначально конституционная монархия, рассматривавшаяся как идеал смешанной формы правления. В рамках данной модели происходит, как показал

Кистяковский, преодоление отчуждения между властью и обществом, так как последнее получает возможность активно воздействовать на направление законодательного процесса. Данный тип власти может возникнуть эволюционным путем или в ходе конституционной революции, ограничивающей монархический суверенитет. Примером конституционной революции для Кистяковского служил 1905 год в России, а также переход к конституционной форме правления в странах Азии: Японии, Турции, Персии, Китае.

Выдвижение идеала правового государства, полагал Богдан Александрович, еще не означает, что оно возникает исключительно на основании права или правовым путем. История показывает, что вообще государства редко возникают правовым путем. Это происходит благодаря войнам за независимость (возникновение США, балканских государств — Сербии, Греции, Черногории, Румынии), революциям (Французская республика) или под угрозой их возникновения (переход к формам конституционной монархии в Центральной и Восточной Европе), благодаря объединению или распаду государств (Италия и Германия) либо просто войнам. С этой точки зрения, вся история есть история кризисов в праве (как считал Еллинек) или, напротив, борьбы за право (Иеринг), поскольку результатом всегда становилось создание новых правовых систем и самоопределения государств, выразившегося в новых конституциях. Примерами силового решения конфликтов служили Кистяковскому завоевание Англией свободных республик — Трансвааля и Оранжевой реки; оккупация Эльзаса и Лотарингии Германией; присоединение Боснии и Герцеговины к Австро-Венгрии без соблюдения правовых процедур и выяснения согласия населения.

Это наблюдение может убедить пессимистов в правильности скептического отношения к праву (его тождества с силой), а оптимистов в обратном — в неизменном торжестве правовой идеи, которая в ходе кризисов только возрождается и укрепляется. Оптимисты могут заключить, что неправовые отношения (в виде переворотов и нарушений конституции) способствуют будущему торжеству глобального правового порядка над неправовым, преобладанию правовых методов разрешения социальных конфликтов. Во всяком случае, ясно, что революции происходили как в неконституционных, так и в конституционных государствах, где они разрушали правовой строй, что можно предвидеть и в дальнейшем. Следовательно, расширение правового регулирования общества, создавая, с одной стороны, рамки правового и рационализирующего начала, в то же время усиливает сферу противостояния ему и число конфликтов в праве. Как в абсолютистских монархиях, писал Б. А. Кистяковский в 1909 году, «так же точно и в конституционных государствах происходили революции, нарушавшие правовой строй, и не исключена возможность и в будущем возникновения революционных переворотов. Особенно часто в конституционных монархиях делались попытки восстановления неограниченной монархии, конечно, неправовым путем. С другой стороны, в современных конституционных монархиях иногда возникают антидинастические и антимонархические движения, которые неправовыми средствами стремятся ниспровергнуть монархию, гарантированную конституцией. Еще и в наше время при возникновении политических конфликтов руководители политических партий и общественных движений очень легко переходят при первой возможности к решению этих конфликтов насильственными мерами, вместо того чтобы пользоваться правовыми путями и методами, предоставленными конституцией страны».

Конфликт реальности и идеала, породивший конституционные кризисы XX века, представлял собой следствие стремительно набравших силу процессов модернизации. Их выражением служило растущее противоречие массового общества и правовых идеалов либерализма, политической культуры и позитивного права, легитимности и законности. Разрешение конфликта усматривалось в различных стратегиях революционных или реформационных изменений. Тематами научных трудов Кистяковского

в этой связи были актуальные проблемы становления конституционных идей: «Конституции дарованные и завоеванные», «Кабинет министров и ответственное правительство», «Государственная Дума», «Как осуществить народное представительство», «Областная автономия и ее пределы» и проч. Как и другие конституционные демократы, Богдан Александрович считал одним из важных способов повышения правовой культуры чтение курсов сравнительного государственного права, выступления в журналах и газетах, переводы западной конституционной классики, к изданиям которой он писал вступительные статьи (например, к книге Г. Еллинека «Конституции, их изменения и преобразования»). В предвоенные годы Кистяковский, по заданию ЦК Конституционно-демократической партии, занимался разработкой части партийной программы, посвященной национальному вопросу.

Главная итоговая работа Кистяковского — книга «Социальные науки и право. Очерки по методологии социальных наук и общей теории права» (1916) — обобщает его концепцию в области философии и социологии права. Этот труд объединяет серию концептуальных статей, выходящих на протяжении ряда лет и посвященных в принципе одной теме — выбору пути развития России к правовому государству и гражданскому обществу. Автор видел его в отрицании социалистического варианта и постепенном преодолении правового нигилизма обществом и, прежде всего, интеллигенцией, осознающей свою ответственность. В центре внимания стоят проблемы права: право, регулируемое этическими вопросами, должно занимать в книге ведущее место потому, что оно занимает ведущее место в реальности, «в жизни культурных обществ».

Кистяковский не ставит целью создать теоретическую систему; его книга более ориентирована на методологический анализ практики решения социально-научных и теоретико-правовых вопросов. Ключевые проблемы (названия разделов книги): общество; право; государство; культура. Выступая как философ-методолог, социолог и политик, Богдан Александрович видит главную идею исторического развития своего времени в движении к правовому государству. Он, как и другие либералы (П. И. Новгородцев, В. М. Гессен), подчеркивает неправомерность противопоставления правового государства как «буржуазного» некоему справедливому социалистическому строю. В своем сущностном содержании справедливое государство и есть правовое, иного не дано. Если социалистическая идеология действительно стремится к созданию социально справедливых отношений, то пусть делает это правовым путем, для чего необходимо правовое государство. В лекциях, читанных в Московском коммерческом институте, Кистяковский так и говорит: «Только один тип государства, именно современное конституционное правовое государство, есть высшая форма государства, которую до сих пор выработало человечество как реальный факт».

К переосмыслению политического радикализма имеет прямое отношение и работа «Страницы прошлого. К истории конституционного движения в России» (1912), посвященная анализу партии «Народная воля» и написанная как критический разбор книги В. Я. Богучарского по истории политической борьбы 70–80-х годов XIX века. История партии «Народная воля», как считает Кистяковский, показала: «естественное развитие всякой подпольно-революционной, а тем более террористической организации приводит к тому, что она необходимо попадает в руки провокатора». Высказанные здесь идеи отчасти близки тем, которые другой социолог, М. Я. Острогорский, рассматривал на примере тенденций развития закрытых политических объединений, создающих свой центр (кокус) для манипулирования массами, отличающимися в переходный период слабой политической культурой.

Крупнейший философ, социолог и правовед Б. А. Кистяковский скончался в Екатеринодре 16 апреля 1920 года.

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ЛЬВОВ: *«Примирить начало власти и начало свободы, чтобы они не пожрали друг друга...»*

ВИКТОР ШЕВЫРИН

Более шестидесяти лет назад в эмиграции умер Николай Николаевич Львов (1867–1944) — крупный общественный и государственный деятель царской России. Его смерть тогда, в пору всечеловеческой трагедии — Второй мировой войны, осталась незамеченной. К сожалению, и до сего дня о нем не написано ни одного специального исследования, хотя Николай Львов — один из столпов российского либерализма и его поистине знаковая фигура.

Н. Н. Львов принадлежал к старому дворянскому роду, был сыном богатого помещика и унаследовал его обширные земельные владения. В юности либеральные веяния его не коснулись — ни в Швейцарии, где он поначалу учился, ни потом в России: студент юридического факультета Московского университета Львов, по его собственному признанию, был «белоподкладочником», т.е. стопроцентно верноподданным государства и противником всякой оппозиции. После окончания университета в 1891 году он уезжает к себе в Саратовскую губернию и уже в 1892-м становится предводителем дворянства в Балашовском уезде (и остается на этом посту до 1899 года). С 1893-го Львов — земский губернский гласный и почетный мировой судья в Балашове. Поворот к либерализму четко обозначился только в 1896 году, в связи с Ходынской трагедией при коронации Николая II. Началось, как полшутливо заметил сам Николай Николаевич, «вторжение либеральных идей в дворянскую голову». Но это «вторжение» облегчали и практика земской работы (власти постоянно чинили ей всевозможные препоны), и рост общественного возбуждения, отчетливо проявившегося со времени голода 1891–1892 годов.

Во всяком случае, к концу 1890-х Н. Н. Львов становится признанным главой прогрессивных земцев в Саратовском губернском собрании, а в 1899-м — председателем губернской земской управы. Тогда же он вошел в полуконспиративный московский кружок «Беседа», куда входила земская элита России, став в этой организации одной из самых заметных фигур. Он стоял у истоков и «Союза освобождения», и «Союза земцев-конституционалистов», деятельно участвовал в их работе; он финансировал издание «Освобождения» (сначала журнал редактировался в Штутгарте, а потом в Париже П. Б. Струве, у которого, как был убежден Львов, «дело пойдет»).

У себя в Саратове для проведения либеральной земской политики Львов купил газету «Саратовский дневник». Его цель сводилась к тому, чтобы «подтягивать начальство и проводить интересы свободного земства». Направление газеты в общих чертах должно было соответствовать направлению главного либерального органа страны — «Русских ведомостей». Ненавидя жесткий курс, проводимый министрами внутренних дел С. Д. Сипягиным и сменившим его В. К. Плеве, Н. Н. Львов боролся с ним и имел «неприятные отношения» с местными властями. Имя Львова объединяло в Саратовской губернии значительную часть дворянства и земства, включая «третий элемент» —

земских служащих. На земском поприще проявилось и его блестящее ораторское дарование. А. А. Корнилов, фактический редактор «Саратовского дневника» (его, по рекомендации Н. А. Рубакина, Львов пригласил на эту должность с хорошим окладом в 3 тыс. руб.) и будущий известный историк и секретарь ЦК кадетской партии, вспоминал: «Много раз, наблюдая Львова в собрании, я думал, что он мог бы быть превосходным министром в стране с парламентским управлением».

Совместная работа сблизила А. А. Корнилова и Н. Н. Львова. Они нередко наезжали в гости друг к другу со своими семьями. Корнилов позднее писал в мемуарах, что Николай Николаевич был тогда «молодым человеком, лет 32–35, отцом многочисленного семейства»: он и его жена Анна Сергеевна имели «кучу детей, мал мала меньше». Касаясь дел по газете, Корнилов отмечал, что дело с таким издателем «иметь было очень приятно, и он не только ничему не мешал, но вообще много значило, что газета издается Львовым» — его авторитет в общественной среде стоял очень высоко. Однако от газеты пришлось отказаться. 1 мая 1902 года в Саратове состоялась рабочая манифестация, в которой приняли участие и некоторые сотрудники «Саратовского дневника». Власти приостановили издание на два месяца, потребовали изменить состав редакции, провели обыск у Корнилова и, продержав его под арестом неделю, выпустили под надзор полиции. А. А. Корнилов ушел из газеты вслед за ее главой.

В том же году, не дослужив трехлетия, Н. Н. Львов отказался от места председателя земской управы. «Он был прекрасным руководителем земства в губернии», — писал Корнилов, отмечая, что подобранные Львовым сотрудники могли «составить честь любому правительственному или общественному учреждению». Оставшись губернским гласным, Львов в своей общественно-политической деятельности все более переключался на общероссийский уровень.

Летом 1903 года в Швейцарии состоялся съезд русских конституционалистов, который положил основание «Союзу освобождения». Самое активное участие в нем принял и Николай Львов. Вернувшись из-за границы, он уговаривал А. Корнилова переехать в Париж, обещая два года платить ему по три тысячи рублей, с тем чтобы Корнилов вместе со Струве вел журнал «Освобождение». Николай Николаевич говорил: Струве «изнемогает один, ведя этот в высшей степени полезный орган, а Вы приехали бы с обновленным опытом и оказали бы ему сильную поддержку». Это предложение поддерживали товарищи Львова — влиятельные земские гласные С. А. Котляревский и К. Б. Веселовский. Но получить разрешение полиции даже на поездку в Петербург стоило Корнилову больших трудов. Задуманное не реализовалось.

Для Н. Н. Львова было очевидно, что Россия стоит на пороге великих перемен. Он умел читать знамения времени, предвидел возможность «кровавого кошмара» революции и насильственного крушения существующего строя. Все свои усилия он направил на то, чтобы предотвратить погружение страны в хаос анархии и смуты: компромисс общества и власти — единственное, что могло бы вывести страну на эволюционный путь развития. Уже в 1902 году на заседании «Беседы» Львов выступил с запиской «О причинах современного „смутного положения“ России и о мерах к улучшению его». Сделав экскурс в прошлое, автор подчеркнул, что единство общества и монарха дало замечательные плоды в период Великих реформ. Но с тех пор многое изменилось. Везде и все «отдается в жертву власти, создается какое-то государство-чудовище, где культура, жажда просвещения, благосостояние народа — все приносится в жертву власти... Все должны молчать и преклоняться перед торжествующей бюрократией». Но этот старый строй изжил себя. Власть непрочна — ей противостоит все нарастающее революционное движение...

Революцию Н. Н. Львов считал злом, ибо она чревата катастрофическими последствиями. А потому выдвигал меры по улучшению положения в стране, говорил о необ-

ходимости «примирить два начала, начало власти и начало свободы», соединив их «в такое гармоническое целое, где бы оба начала не пожрали бы друг друга». Торжество каждого из них в отдельности «неизбежно ведет к гибели государства». Россия выйдет из кризиса, если власть пойдет на уступки обществу, сможет уравнивать властное начало с началом свободы, для чего необходимы реформы. «Нужны свобода личности, свобода совести, свобода выражения общественного мнения, свободное развитие земских и городских учреждений, наконец, выборное представительство общества в законодательных учреждениях страны». Чтобы провести эту программу в жизнь, требуется, по мнению Львова, «нравственное воздействие на совесть самодержца»: «Если бы сам государь встал во главе общественного движения, какой энтузиазм вспыхнул бы в обществе, какая блестящая страница была бы занесена в историю!» Иначе говоря, он считал вполне реальным путь мирного развития страны при условии решения ее назревших проблем сверху, путем реформ, как это происходило в 1860-х, — важно не упустить время. Позиция Н. Н. Львова в 1903–1904 годах сложилась во многом благодаря тому, что он чувствовал «нагревание» политической атмосферы в стране, видел стремительный ход событий, который усугубляла и Русско-японская война. Во время войны он стоял на «патриотической платформе» и был членом Общеземской организации, оказывавшей помощь больным и раненым воинам.

Но еще до начала этой войны Львов откровенно говорил в «Беседе»: «Для нашего класса наступает роковое время — в силах ли мы заявить себя, в силах ли встать во главе народа и вести его по пути мирных социальных и политических реформ?» И провидчески заявлял: «Этот мирный путь через десять лет может отойти в область предания». Вот почему Николай Николаевич считал, что общественный деятель должен идти впереди среднего обывателя, увлекать его, а не приспособлять свою мысль к его точке зрения. Он должен угадывать, чем объединить возможно больше людей. Но, признавая, что «центр тяжести — в народных массах», он считал своим долгом указывать «освобожденцам» на недопустимость прямолинейного применения демократических принципов: «Всё для народа, но не всё через народ». Не случайно он возражал против быстрой демократизации органов самоуправления и создания волостного земства. В ходе уже начавшейся революции 1905 года Львов выступал против прямого голосования, находя в этом «тенденцию к демократическому абсолютизму» и отдавая предпочтение двухпалатной системе народного представительства.

Свои взгляды Львов многократно высказывал на земских собраниях, на заседаниях «Беседы», в совещаниях земцев-конституционалистов и «освобожденцев», на земских съездах, в печати. Он много сделал для выхода в свет двухтомника статей «Нужды деревни по работам комитетов о нуждах сельскохозяйственной промышленности» (СПб., 1904). Тем огорчительнее оказались крестьянские волнения в его родном балашовском имении. После их усмирения с помощью войск (саратовским губернатором был тогда П. А. Столыпин) Львов выступил перед крестьянами. Он сказал, что они всегда жили мирно и споров у них не возникало, так как землю его предки получили за службу еще от матушки Екатерины. Но крестьяне резонно отвечали ему, что до матушки Екатерины они были свободными (государственными) и вся земля принадлежала им.

Однако ничто не могло поколебать либеральных убеждений Н. Н. Львова. Он участвовал в выработке проекта будущей Конституции (вместе с С. А. Муромцевым, Ф. Ф. Кокошкиным, Н. М. Кишкиным), был очень заметной фигурой на всероссийской общественно-политической арене — прежде всего как деятельный участник земских съездов; 6 июня 1905 года вошел в состав депутации земцев к царю. Публиковался в центральной печати; в частности, написал о прогремевших на всю Россию «балашовских событиях», когда черносотенцы пытались устроить избиение земских медиков (к слову сказать, спасло их от толпы громил мужество самого Львова и губернатора

Столыпина, которые получили в ходе этого эксцесса ушибы и ссадины). В октябрьские дни 1905 года Николай Николаевич выступил против всеобщей политической забастовки. Его называли как одного из возможных кандидатов на министерский пост в «общественном министерстве». Активно включился Львов и в процесс создания кадетской партии, вошел в ее ЦК и был избран от Саратовской губернии в I Государственную думу.

Правда, в Думе он занял в целом более умеренную позицию, чем кадетская фракция: не согласился с ее радикальным ответным адресом на тронную речь императора; в вопросе о политической амнистии требовал, чтобы Дума осудила также и революционный террор. Но самое серьезное разногласие произошло по аграрному вопросу. А. В. Тыркова, член ЦК Конституционно-демократической партии, лично хорошо знавшая Львова, оставила о нем яркие воспоминания: это был очень своеобразный тип русского либерала; во всем его облике, физическом и духовном, присутствовало «что-то донкихотское». «Настоящий рыцарь, без страха и упрека, образованный, даровитый, отзывчивый на все благородное, рыцарь бродячий, без определенных обязанностей, богатый помещик, он был до того неделовит, что никогда не открывал писем. Ему было скучно не только на них отвечать, даже их читать. В кулуарах (Государственной думы. — В. Ш.), если его что-нибудь задевало за живое, Львов мог, никого, ничего не слушая, разразиться блестящей речью, которая взлетала, как ракета. Но трудно себе представить Николая Николаевича терпеливо, трудолюбиво приготавливающего ответственную парламентскую речь. Между тем его красивая голова была полна идеями, часто очень здравыми, и он умел находить для них красочные, острые формулировки... Для него кадетская партия была логическим завершением длинного ряда не только мыслей, но и поступков. Он состоял в числе ее учредителей. И вдруг он совершенно неожиданно произнес во фракции речь, где резко раскритиковал аграрную программу кадетской партии. Львов заявил, что уменьшение частного, в особенности старого дворянского землевладения понизит общую культуру деревни, не увеличит, а уменьшит производительность земли, а мужику не так уж много даст. Для государства, для всей России гораздо выгоднее повысить производительность крестьянского хозяйства, ввести в него улучшения, чем разорять налаженное помещичье хозяйство. Надо расширить и упорядочить переселение, а не сгонять с земли хороших хозяев, хотя бы они и были дворяне». Тыркова пишет, что по существу Николай Львов был совершенно прав, но фракция слушала его с недоумением, а некоторые депутаты — и с негодованием. Для многих кадетов их земельная программа служила своего рода политическим аттестатом, закрепляющим за партией право называться демократической. И вдруг Николай Николаевич, которого «все считали верным демократом», вздумал защищать дворянское землевладение, да еще так ярко, с таким блеском, что малодушные могут заколебаться. Николай Николаевич, «когда его так подхватывало», не обращал внимания, какое впечатление производят его слова, даже не смотрел на слушателей. «Кончил и только тогда обвел глазами длинный стол, вокруг которого стояли и сидели народные представители, внимательно его слушавшие. По их лицам он увидел, что его речь взорвалась, как бомба. Он усмехнулся. Улыбка придавала что-то мифистофельское его узкому, тонкому лицу. Хотя на самом деле он не был ни скептиком, ни отрицателем. Но юмор у него был. Его уже остывший голос зазвучал иронически, когда он прибавил: „Я знаю, господа, ваше романтическое отношение к аграрной реформе. Я и сам не сразу понял ее ошибочность. А теперь вдумался и считаю это безумием. Но боюсь, что мне вас не переубедить. Вы превратили вопрос экономический в догматический. Для вас это часть неписаной оппозиционной присяги, для меня — только одна из хозяйственных задач России. Расхождение между нами глубокое. Поэтому, как мне ни жаль, я ухожу из кадетской партии“».

А. В. Тыркова вспоминает, что этого пламенного, правдивого человека, отрекавшегося от «одной из самых священных заповедей кадетизма», пытались уговорить, убедить, даже пристыдить. Но Львов верил в свою правоту: он был помещик, больше жил в деревне, чем в городе, знал и крестьянское, и крупное хозяйство не только из книг. При всей своей экспансивности и отвлеченности он был человек наблюдательный, начитанный, думающий. Этот, по словам мемуаристки, «убежденный либерал взбунтовался против аграрной программы кадетов и, несмотря на давнее единомыслие и дружеские связи со многими кадетами, ушел из партии».

Н. Н. Львов ушел в создающуюся «группу мирного обновления» — умеренную, либеральную партию, осуждавшую тактические уклонения кадетов «влево», а октябристов — «вправо» и выступавшую против насилия, откуда бы оно ни исходило — от революции или реакции. Львов не только не подписал Выборгское воззвание, но и вместе с лидерами «мирнообновленцев» (графом П. А. Гейденом и М. С. Стаховичем) обратился к избирателям, призывая их к спокойствию и мирным выборам. Вскоре после этого он участвовал в переговорах П. А. Столыпина с общественными деятелями об их вхождении в кабинет министров. Царь объявил Столыпину, что в состав Совета министров можно ввести только А. И. Гучкова и Н. Н. Львова (ему предназначался портфель главноуправляющего землеустройством и земледелием). 20 июля 1906 года Николай II принял их обоих и с каждым говорил по часу. В записке, адресованной Столыпину, он подчеркнул: «Вынес глубокое убеждение, что они не годятся в министры сейчас. Они не люди дела, т.е. государственного управления, в особенности Львов». А своей матери, Марии Федоровне, написал с куда большей откровенностью: «У них собственное мнение выше патриотизма вместе с ненужной скромностью и боязнью скомпрометироваться. Придется без них обойтись». «Собственное мнение» общественных деятелей, их либеральные принципы венценосцу явно претили. К тому же напряженная ситуация после роспуска I Думы несколько разрядилась: восстания, вспыхнувшие в Свеаборге и Кронштадте, быстро подавили, и царю уже не было нужды в политических маневрах, в привлечении общественных деятелей в министерство.

25 июля 1906 года «Новое время» опубликовало официальное сообщение Петербургского телеграфного агентства (ПТА) о неудаче переговоров с либеральными общественными деятелями. Вину за срыв переговоров ПТА возложило на самих либералов. В ответных письмах («Новое время», 28 июля) мирнообновленцев П. А. Гейдена, Н. Н. Львова и Д. Н. Шипова, принимавших участие в переговорах, сказано, что либеральное кредо общественных деятелей, их программа оказались неприемлемыми для правительства. Львов и Шипов прямо заявляли, что не было смысла делать из них министров-чиновников, а самый роспуск Думы расценивали как большую ошибку, которую необходимо исправить как можно скорее.

Но Партия мирного обновления, вопреки ожиданиям ее лидеров, потерпела поражение на выборах в новую, II Государственную думу: в смутный, революционный период «на коне» оказались левые. После издания нового избирательного закона 3 июня 1907 года, как бы знаменовавшего собой конец революции, мирнообновленцы трансформировались в III Думе в прогрессистов. Избранный на этот раз депутатом Н. Н. Львов стал одним из их руководителей (товарищем председателя фракции И. Н. Ефремова), членом нескольких думских комиссий. В IV Думе он — по-прежнему один из руководителей прогрессистов. Таланты парламентария определили и его место в думской иерархии: в декабре 1912 — июне 1913 года он — старший товарищ секретаря, а с июня по 15 ноября 1913-го — товарищ председателя Думы, член Совета старейшин и ряда комиссий первостепенного значения. Николай Николаевич явился и одним из отцов-основателей общероссийской Партии прогрессистов (он возглавлял

Московский комитет, игравший роль организационно-учредительного съезда партии), вошел в ее руководящие органы. От этой фракции он часто выступал в III и IV Думах по различным вопросам внутренней и внешней политики.

В 1909 году при обсуждении государственного бюджета Н. Н. Львов говорил, что правительственная власть враждебна сельскому населению, — это видно и по ее отношению к земствам. Вся сорокалетняя деятельность земских учреждений на благо населения была неустанной борьбой за осуществление своих просветительных и культурных начинаний, борьбой против бюрократической власти. Он считал, что власть теперь является не творческим живительным началом, а началом дезорганизующим и разрушающим. Правительственная власть, по словам Львова, должна создавать внешнюю силу, внешнее могущество государства. «Но не дошли ли мы до того предела, — спрашивал он, — когда постройка такого громадного военного государства на таком низком уровне хозяйственного быта представляет уже из себя опасность... Перед русской деревней, бедной, часто голодающей, была поставлена огромная мировая задача — овладеть берегами Тихого океана. И здесь мы потерпели удар, который не должен пройти для нас даром... Второе предостережение возникло в нашей внутренней смуте. Нельзя оставлять население в таком пренебрежении к его культурным нуждам. Современное государство опирается всегда на народные массы, и только тогда, когда в этих народных массах развита предприимчивая, энергичная, самостоятельная человеческая личность, только тогда государство и может быть сильно, если этого нет, напротив, наступает упадок; если вы не создаете тех условий права, в которых воспитывается и дисциплинируется масса, то у вас эта масса обращается в буйную толпу, грозную и опасную для государства. Над этим приходится задуматься, чтобы не прошли, наконец, даром те уроки, которые мы получили, которые были жестокими уроками для России... Теперь именно есть возможность, и должно свернуть с того опасного пути, который привел нас уже к катастрофам... Нельзя создать великую Россию на безлошадности, на трехполье, на безграмотности; нельзя создать великую Россию на игнорировании культурных потребностей населения, на отрицании той солидарности, которая требует от нас жертв для тех, которые нуждаются в помощи государства».

В 1910 году Н. Н. Львов изложил в Думе точку зрения прогрессистов по поводу сметы МВД: в правительственной политике проявляется беспощадность к имущественным интересам, правовым устоям. Не было задачи большей и важнейшей, говорил он, как «поднять из духовного упадка народ наш, который пренебрежением к его нуждам и к его духовным потребностям, добрый народ, умный народ, мягкий народ, по природе своей, был ввержен в самое ужасное одичание духовное, одичание нравственное, одичание правовое. Не было и другой задачи большей, как подъем национального самосознания русского народа, ибо для того, чтобы выйти из того тяжелого положения, в котором мы находимся, нужно удесятерять все силы, направленные на деятельность на всех поприщах — науки и религии, и промышленности, и сельского хозяйства; нужно поднять личность человека, которая была придавлена. Ибо силы государства покоятся не только во внешней его могущественности, но в этой развитой, сознательной и свободной человеческой личности. Но для того чтобы это сделать, нужно суметь подойти к человеку, нужно осуществить Манифест 17 октября, ибо только в свободе человеческая личность может подняться, воспрянуть, и народ может также подняться только тогда, когда он действует в свободе. Что же мы видим? Мы видим, что вместо этого национального чувства поднимаются националистические ненависти, губительные для здорового национального подъема».

Н. Н. Львов подчеркивал: проводимая правительством политика не дает возможности строить земский мир — единственно спасительный для России, способный вывести ее из бедственного положения. Правительство не понимает самого духа предста-

вительного собрания. Внутренние моральные связи, которые соединяют Государственную думу с народом, прерываются, авторитет Государственной думы падает, и правительство осталось одно. Возникает губительный разрыв между обществом и правительством; «начинается скрытая, затаенная гражданская война, — предостерегал Львов, — которая делает непримиримые отношения к правительству и не только не создает ему поддержки, но всякое приближение к правительству клеймит в общественном мнении. Тогда рождается вновь та неумолимая ненависть, которая составляет весь ужас нашего положения, и я боюсь, что, идя таким путем, мы вновь придем туда, откуда только что ушли, мы вновь вернемся к тому кровавому кошмару, который погубит будущее России».

После «силового» введения в западных губерниях земства, которое трактовалось прогрессистами как «нарушение конституции всей Российской империи», Львов, выступая в Думе, говорил: «То, что произошло, действительно показывает, что у нас конституции нет, что у нас парламентаризма нет, но у нас и основных законов нет, у нас вообще никакого организованного строя нет, у нас есть произвол, и есть еще другое — демагогия есть». Он и ранее (хотя и признавал бесспорным, что в западных губерниях происходит полонизация русского населения и «действительно необходимо его поддержать») считал предлагаемые правительством меры — «топором рубить» вопросы огромной трудности — негодными. По его мнению, к такому делу «нужно подходить с величайшей осторожностью».

П. Б. Струве, которому эти идеи были близки, еще в 1908-м посвятил статью о «Великой России» своему единомышленнику Николаю Львову, который до революций 1917 года находился на стремнине общественно-политической жизни страны. Эмоционально и умно, с глубоким проникновением в суть дела отзывался «на злобы дня»: на «дело Азефа», на протест шестидесяти шести московских промышленников по поводу разгрома высшей школы, учиненного министром просвещения Л. А. Кассо, — вплоть до того, что стал секундантом графа Уварова на его дуэли с А. И. Гучковым.

В 1915 года Львов разошелся с прогрессистами: он выступал сторонником образования министерства общественного доверия, а становящиеся все более радикальными прогрессисты ратовали за ответственное министерство. Расхождение с фракцией оказалось настолько глубоким, что Львов вышел из нее и вступил во фракцию левых октябристов. Прогрессисты глубоко сожалели об уходе весьма любимого и искренне ценимого товарища, но не могли поступиться своими убеждениями для удержания его в своей среде.

В годы Первой мировой войны Львов, как и в 1904–1905 годах, стоял на патриотической позиции и нередко выезжал на фронт. У А. В. Тыркова в дневнике за 16 сентября 1914 года написано: «Видела вчера Н. Н. Львова. Только что вернулся из командировки Красного Креста. Был верст за 100 за Люблиным. Ему пришлось ездить по местам австрийского отступления... Львов с отвращением говорил о правительстве, о том, что оно неизбежно надурит в Галиции». И внутри России, по его словам, правительство ведет себя не лучше: в начале войны «весь народ шел к правительству, что оно сделало из этого порыва?». Тыркова пишет: «Я спросила его, что, по его мнению, нужно теперь делать? — „Идти в армию. В солдаты, в офицеры, но в армию“». И сам Львов, когда дело касалось интересов страны, готов был жертвовать всем, даже самым дорогим в жизни и самой жизнью. Такими же он вырастил и своих сыновей. Двое из них погибли на войне.

В 1915–1916 годах ему, члену Прогрессивного блока и Особого совещания для обсуждения и объединения мероприятий по обороне государства, было особенно очевидно, что назревает революционный взрыв. Он еще надеялся (хотя эти надежды становились все более призрачными), что царь пойдет на уступки обществу, и тогда

удастся избежать катастрофы. Потому он и спросил вел. кн. Николая Михайловича, пытавшегося «образумить» царя (заставить его считаться с реальностью, учитывать интересы страны и настроения в обществе), удалось ли ему это. Николай Михайлович не мог сказать ничего утешительного. Он и сам не знал, что делать; собственно, поэтому и решил, разделяя взгляды оппозиционного думского большинства, встретиться с Н. Н. Львовым и В. В. Шульгиным, познакомить их с содержанием своего послания к «Ники», которое сам и зачитал ему на специально испрошенной у царя аудиенции.

Но и общественные деятели пребывали в растерянности и смятении, особенно после того как Николая Михайловича, за участие в так называемой «великокняжеской фронде», по приказанию царя 31 декабря 1917 года выслали из Петрограда в его имение Грушевское. Потрясающее свидетельство настроений, которые охватили всю либеральную общественность накануне Февраля, представляют письма Львова к опальному князю. Хранящиеся ныне в архиве, эти документы эпохи достойны того, чтобы привести их здесь полностью.

«Ваше Императорское Высочество. Благодарю Вас за Ваше письмо как новый знак внимания и доверия ко мне с Вашей стороны. Мне тем более дорого это в данное время, когда в Вашем лице жестоко оскорблены все наши лучшие патриотические чувства. Любовь к России руководила Вами. Я глубоко убежден, что если бы Ваш совет был принят в свое время, то последовал бы такой огромный подъем восторженных монархических чувств, который и Государю дал бы новые силы вести Россию на путь победы и нам всем, всему народу уверенность в конечном торжестве. Трагизм нашего положения заключается в том, что никогда, быть может, не было сознания более ясного в необходимости ради торжества над врагом единения с властью в лице верховного вождя (это сознание проникает даже в революционные партии) и никогда вместе с тем нечто роковое не ставило между русским народом и царем такую грань отчуждения, недоверия и вражды, как в нынешнее время». (Написано предположительно в январе 1917 года. — В. Ш.)

«Ваше Императорское Высочество. Пишу Вам из заседания Государственной думы. Открытию Государственной думы предшествовали разные толки и слухи. Говорили о рабочем движении, подготовленном стараниями крайне левых групп совместно с провокациями охраны; среди рабочих шла усиленная и подозрительная пропаганда. Арест рабочих из Центрального военно-промышленного комитета внес большое раздражение в рабочую среду. Все это совпало с крайним обострением продовольственной нужды и ужасающими условиями, делающими существование городского населения нестерпимым. Однако, к счастью, никаких особенно резких проявлений со стороны уличной толпы не произошло. Первое заседание Государственной думы прошло тускло и вяло. Была хороша речь Родзянки и заявление Шидловского, чувствовалось, что все уже сказано и потеряна всякая надежда, что можно чего-нибудь достигнуть убеждением и мольбою. Внутренний кризис наш все более и более обостряется; это есть кризис власти, которую все ищут и которая не умеет быть тем, чем она должна быть. В этот великий исторический момент, который должен положить конец петербургскому периоду русской истории и начать новый национальный расцвет России, власть не умеет отказаться от пустяков, ничтожных причуд и прихотей прошлого. Эти суетные мелочи губительны для будущности России, для самой власти, и, тем не менее, выхода нет. В этом весь ужас нашего положения; с одной стороны, огромная задача ведения мировой войны и еще более трудная задача заключения мира, а с другой — беспомощный капрал, расстроенное и больное воображение. Для людей, у которых потрясены их самые глубокие верования, а к таким принадлежит несмотря ни на что большинство русских, наступает ужасное время. Когда подумаешь, что в таких роковых недоразумениях между властью и Россией мог сыграть такую роль какой-то пьяный

бродяга и полупомешанный интриган, как Протопопов, становится обидно и стыдно. Пуришкевич верно сказал, что мы вновь переживаем время, когда предают казни Кочубея и торжествует Мазепа. Среди всего этого Вы, Ваше Высочество, можете иметь одно утешение, что Вы выполнили свой долг и устранены насильственно. Мы же, которые вынуждены оставаться и вести борьбу, с ужасом чувствуем, что нас против нас самих толкают на такой путь, который противен нашим глубочайшим убеждениям. Искренне и глубоко преданный Вам Н. Львов. 15 февраля 1917 г.».

Разразился Февраль. 2 марта 1917 года Н. Н. Львов назначается комиссаром Временного комитета Государственной думы над Дирекцией императорских театров. И почти сразу же, через два дня (такова была феерия революции), — комиссаром по делам искусств. Головокружительный калейдоскоп различных съездов, совещаний, заседаний, комиссий — изматывающая, на пределе нервов будничная работа. Но как помещика и человека, хорошо знавшего аграрные проблемы, Львова тянуло и к «земле». Да и по своему характеру, темпераменту он никак не мог оставаться индифферентным к тому громадному перевороту, который происходил в российской деревне. Закономерно поэтому его избрание в июле 1917 года председателем Главного совета Всероссийского союза земельных собственников и земельных хозяев, в который, кстати, входило и немало крестьян. Руководителям Союза вначале казалось, что этот переворот можно ограничить и вдвинуть в рамки мирного решения аграрного вопроса, не прибегая к экстраординарным мерам, — путем циркуляров Временного правительства, агитацией и разъяснениями. Но иллюзии быстро рассеялись. Уже в июне 1917-го Н. Н. Львов говорил, что остановить крестьян «можно только властью, только тем, что вы скажете, что можно и чего нельзя разнузданным страстям, разожженным в настоящее время». Рисуя в мрачных тонах положение помещиков и разрастающиеся масштабы крестьянского движения, Львов особо подчеркивал: «Но я не могу не видеть той пассивной роли правительства, которую оно играет в последнее время».

Николай Львов мог позволить себе говорить так хотя бы потому, что сам он в «роковом 1917-м» — поистине поразительный сгусток энергии. Его хватало на все: на «комиссарство», на Временный комитет Государственной думы, на Совет общественных деятелей, на Предпарламент, на Государственное совещание и на многое-многое другое. И где бы ни выступал, что бы ни делал, он изо всех сил пытался предотвратить сползание страны в трясину междоусобия. В корниловские дни был причастен к переговорам, которые вел его брат В. Н. Львов. На выборах в Учредительное собрание его забаллотировали — свобода в России действительно «взметнулась неистово».

Октябрьскую революцию Н. Н. Львов встретил в штыки — в годы Гражданской войны был в стане белых. Занимался более всего тем, что хорошо знал и умел: защищал «белую идею» словом, прежде всего в газете «Великая Россия». После Гражданской войны оказался в эмиграции (Турция, Сербия, Франция). Первое время он еще в ее «окопах»: пытается своими пламенными речами поддержать Белое движение. Одно время сотрудничал в издаваемой П. Б. Струве право-эмигрантской газете «Возрождение», но затем, по выражению В. А. Оболенского, «затих и незаметно окончил свое земное существование». Он умер на руках жены, когда-то почти неграмотной крестьянки, редкой красавицы. Прах его покоится на русском кладбище Кокад в Ницце.

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ЩЕПКИН:
*«Мнение о неготовности народа
к свободе порождается нежеланием
выпускать из рук привилегии
и власть...»*

СЕРГЕЙ ВДОВИН

Николай Николаевич Щепкин родился в Москве в 1854 году. Он был из потомственных дворян, чье родовое имение находилось рядом с селом Тихвинское на реке Клязьме под Москвой. Его дед, М. М. Щепкин, был великим актером, а отец, Н. М. Щепкин, — многолетним гласным Московской городской думы и членом Московской губернской земской управы.

Н. Н. Щепкин окончил физический факультет Московского императорского университета. В 1877 году ушел вольноопределяющимся на Русско-турецкую войну, сражался в авангарде у Скобелева и вернулся награжденный солдатским Георгиевским крестом «за храбрость», будучи произведен в офицеры. После войны был секретарем Казенной палаты, помощником секретаря Московской городской думы, а с 1883 по 1894 год — мировым судьей.

Н. Н. Щепкин принадлежал к тому течению в русском прогрессивном обществе конца XIX столетия, которое, опираясь на поколение реформаторов 60-х годов, пронесло через эпоху реакции освободительные идеи. Идеалами Н. Н. Щепкина были общественное благо, право и свобода. Все знали его талант, ценили живость и изумительную трудоспособность. Его шуток, иронии и острых сарказмов боялись, а на его гневные филиппики не многие могли ответить.

Большие семейные традиции участия в городском общественном управлении, по-видимому, повлияли и на выбор Н. Н. Щепкина баллотироваться в гласные Московской городской думы. Хотя правом избирать гласных в Москве в то время обладали только домовладельцы и представители крупных торгово-промышленных предприятий и большинство в думе составляли гласные из купечества, многие представители московской интеллигенции рассматривали работу в городской Думе как общественное служение. Гласные думы работали на общественных началах, не получая материального вознаграждения.

Н. Н. Щепкин впервые был избран гласным Московской городской думы в 1889 году и оставался им вплоть до роспуска думы большевиками (с перерывом в 1909–1912 годах). В 1894 году его избирают товарищем (заместителем) городского головы. Эта должность была ключевой в хозяйственной жизни города, так как сам городской голова выполнял главным образом представительские функции. В должности товарища городского головы Н. Н. Щепкин проработал до 1897 года, когда после избрания городским головой князя В. М. Голицына ушел с должности. Во всеоружии знания городского дела он вошел в оппозиционную группу, которую называли «Торговый дом Братя Гучковы, Щепкин, Мамонтов и К^о». Как вспоминал Н. И. Астров, оппозиция торопила и улучшала работу городской управы. В основе этой оппозиции было неприятие влиятельнейшего лидера московского купечества, председателя Московского биржевого комитета, консервативно настроенного Н. А. Найденова, который и обеспечил избрание В. М. Голицына.

Несколько раз в этот период кандидатура Щепкина серьезно рассматривалась гласными думы в качестве кандидата в городские головы, но каждый раз против нее активно выступал Найденов, заявлявший, что «прежде дома в Москве станут кверху ногами, вниз своими трубами, чем Щепкину быть московским городским головой».

Среди заслуг Н. Н. Щепкина в области развития муниципального хозяйства современники отмечали проведение широкой программы муниципализации городского транспорта. В конце XIX века трамвайное сообщение (поначалу на конной тяге) развивалось в Москве на концессионной основе. Тогда в думе господствовало убеждение в неэффективности коммерческой деятельности муниципалитетов. Но как писал Щепкин: «Вагоны конки представляли собою старые, выслужившие все благоразумные сроки, рыдваны, двигавшиеся со скоростью от шести до семи верст в час, с бесконечными остановками, зависящими от полного расстройств старых рельсовых путей». С конца XIX века в думе стали звучать требования перевести конку на электрическую тягу. Но концессионеры не спешили вкладывать средства в развитие и строительство электрического трамвая, так как не хотели рисковать, а конка и так давала высокую прибыль.

В то время вокруг Н. Н. Щепкина сформировалась группа гласных, которая стала настаивать на выкупе городской думой сети конно-железных дорог, и 7 марта 1900 года дума приняла решение: «Городские железные дороги в Москве должны составлять особое городское предприятие, и их устройство и эксплуатация должны производиться с самого начала за счет и мерами городского управления». Причем главным источником финансов для развития электрического трамвая стали займы, размещаемые за границей. К 1914 году линии железных дорог в Москве достигли примерно 250 верст; ежедневно по городу ходило около 900 трамваев.

В муниципальных вопросах Щепкин был убежденным сторонником развития городского хозяйства на основе муниципальных предприятий и заключения займов на их создание и развитие. Либеральные принципы Щепкина по вопросам ведения городского хозяйства легли в основу программы кадетской партии на городских выборах 1908 года.

В начале XX века большинство в городских думах составляло купечество, в своей предпринимательской деятельности часто зависевшее от правительства и еще не готовое широко ставить общественные вопросы. Настроения «купеческих» городских дум сильно отличались от «дворянских» земских собраний. Но Москва в те годы входила в Московскую губернию на правах уезда, и Н. Н. Щепкин был избран губернским гласным от Москвы. А Московское губернское земство оказалось в центре земского движения как в силу своего столичного статуса, так и деятельной поддержки со стороны председателя Московской губернской управы Д. Н. Шипова, избранного председателем Бюро совещания председателей губернских земских управ.

По свидетельству князя Петра Долгорукова, Щепкин был одним из главных инициаторов письма к земским деятелям (за подписью «староземцы»), получившее широкий общественный резонанс. В этом письме говорилось, что «земские собрания превращаются в сословно-бюрократические совещания...; земские управы становятся придатком губернских канцелярий», и предлагалось начать открыто обсуждать в земских собраниях вопросы общегосударственного значения, пересмотреть Положение о земских учреждениях в направлении предоставления одинаковых избирательных прав всем группам населения и снижения имущественного избирательного ценза. В письме также говорилось о необходимости уравнивать права крестьян с правами прочих сословий, о предоставлении большей свободы печати.

Поражения русских войск в войне с Японией усиливали оппозиционные настроения в обществе, которые постепенно захватывали и гласных Московской городской

думы. Н. Н. Щепкин и С. А. Муромцев (будущий председатель I Государственной думы) становятся лидерами либерально настроенной части думы. По их инициативе дума возбуждает ходатайство о проведении съезда городских голов, к которому присоединяются городские думы многих городов России.

30 ноября 1904 года на заседании Московской городской думы, посвященном принятию сметы, Щепкин оглашает заявление 66 гласных. В нем говорилось, что «существенным препятствием для дальнейшего развития городского хозяйства являются те правовые условия, в которые поставлена городская община и население города», и в связи с этим городская дума «представляет высшему Правительству о неотложной необходимости: установить огорождение личности от внесудебных усмотрений, отменить действие исключительных законов, обеспечить свободу совести и вероисповедания, свободу слова, печати, свободу собраний и союзов». Эти начала должны быть проведены в жизнь «на обеспечивающих их неизменность неизблемых основах, выработанных при участии свободно избранных представителей населения». Заканчивалось заявление указанием на необходимость «установить правильное взаимодействие правительственной деятельности с постоянным, на законе основанным, контролем общественных сил над законностью действий администрации».

Н. И. Астров так описал это заседание городской думы, на котором Щепкин огласил свое заявление: «У многих гласных возбужденные лица, оживленные глаза. Некоторые потупились. Другие низко опустили головы. Безразличных не было видно. Чувствовалось, что московская Дума переживает действительно торжественно-тревожный момент. Устами Щепкина она произносила слова ответственные, обязывающие; глубокая тишина и сосредоточенное внимание свидетельствовали о том, что она понимает значение переживаемого Россией времени».

Заявление Московской городской думы получило всероссийскую известность. Московским газетам запретили его печатать. А. А. Кизеветтер в своих воспоминаниях писал о «сильном впечатлении», которое «произвело то обстоятельство, что московская городская дума — оплот крупнейшего купечества — приняла резолюцию о скорейшем созыве народного представительства».

В 1905 году Московская дума продолжала принимать политические заявления в либеральном духе. В заявлении думы о событиях 9 января 1905 года в Петербурге говорилось: «Пролитая кровь... вселяет невольный ужас. Разрешение недоразумений, особенно во внутренней жизни народов посредством оружия, — есть явление, наименее свойственное и желательное нашему веку». О значении этого и других выступлений Московской думы известный историк С. В. Бахрушин писал: «Каждое выступление Московской Думы, как раскат грома проносился по стране, встречая отзвук в самых захолустных углах ее... Ее словами говорили, ее мыслями думали все прочие города России, жадно прислушиваясь к ее голосу, глядя на ее указательный перст. Слово Московской Думы поэтому вызывало внимательное отношение и высших петербургских сфер». Н. Н. Щепкин в этот период был лидером либеральной группы гласных Московской думы, автором многих политических заявлений.

Щепкин становится также одним из лидеров городской России, а позже и земско-городских съездов. В Московской думе создается комиссия под его председательством, которая готовит доклад об основах конституционного строя. Этот доклад Щепкин готовил при активном участии С. А. Муромцева и Ф. Ф. Кокошкина. В марте 1905 года в Москве проходит совещание представителей городских дум, на котором Щепкин делает доклад о конституционных вопросах. На нем принимается решение о созыве городского съезда, который проходит в начале июля в Москве и принимает решение об объединении с земским. Таким образом, земское движение получает очень серьезную

политическую поддержку от городской России. На земско-городском съезде 6–8 июля Щепкин избирается товарищем председателя и вместе с Ф. Ф. Кокошкиным делает доклад о народном представительстве.

Н. Н. Щепкин становится одним из главных теоретиков земцев в вопросах избирательного законодательства. В популярной брошюре «Земская и городская Россия о народном представительстве» (1905) он пишет о необходимости всеобщего, прямого, равного избирательного права при тайном голосовании для выборов народных представителей. Полемизируя с противниками всеобщего избирательного права, говорившими о неготовности народа, Щепкин пишет: «Возражения о неподготовленности делаются всегда и при всех преобразованиях. Делались они и при освобождении крестьян, и при введении земских учреждений, и при введении суда присяжных... Так как объективных признаков подготовленности или неподготовленности установить никогда нельзя, то, в действительности, в такую форму возражений обычно облакалось нежелание выпускать из своих рук привилегии и власть».

Щепкин был сторонником двухпалатного парламента, причем вторая палата, по его мнению, должна состоять из представителей общественных самоуправлений, реорганизованных на демократических началах и распространенных по всей России: «Не согласованные с местными условиями и потребностями законы, выработанные при участии единого собрания, представляют собой не меньшее зло, чем такие же законы, выработанные без участия народных представителей».

После создания осенью 1905 года Конституционно-демократической партии Н. Н. Щепкин вошел в ее ЦК, а также был избран товарищем председателя Московского городского комитета. А после избрания князя Пав. Д. Долгорукова депутатом II Государственной думы и его ухода с поста председателя Московского городского комитета Щепкин становится лидером московских кадетов. Московская организация в 1906 году насчитывала 26 тысяч членов партии, имела организации во всех городских районах и была авторитетнейшей в кадетской партии. Оценивая роль московской организации, П. Н. Милюков писал: «Москва была родиной кадетизма...; поприщем для практического применения кадетских стремлений в Москве была городская Дума, и около нее сосредоточивалась борьба, в которой „политика“ неизбежно связывалась с „делом“».

Н. Н. Щепкин, как и большинство лидеров московских кадетов (Н. М. Кишкин, А. И. Астров, Н. В. Тесленко, А. А. Кизеветтер), был сторонником левого крыла партии: он поддержал Выборгское воззвание, выступал за сближение с умеренными социалистами и был противником соглашения с октябристами. После избрания в Государственную думу он имел возможность гораздо чаще присутствовать на заседаниях ЦК и стал играть еще большую роль в партии. Он, в частности, был автором муниципальной программы партии кадетов.

Учреждение Конституционно-демократической партии совпало с октябрьскими событиями в Москве. В городе началась забастовка, в которой приняли участие и городские рабочие, прекратившие работу водопровода. Царская администрация была в растерянности и не могла адекватно реагировать на происходившие события. Московская дума также была в тяжелом положении: городской голова князь В. М. Голицын, явно не справлявшийся с возникавшими задачами, подал в отставку. Революционные партии требовали от думы самороспуска и передачи им средств из городской казны. Забастовавшие городские служащие с помощью физического насилия снимали с работы тех, кто не поддерживал забастовку.

В эти дни дума заседала практически ежедневно, и братья А. И. и Н. И. Гучковы, Н. Н. Щепкин, М. Я. Герценштейн и С. А. Муромцев почти не покидали ее. В своем выступлении на заседании городской думы 11 октября 1905 года Н. Н. Щепкин заявил,

что «мы должны сказать правительству, что не ручаемся за спокойствие наших учреждений», пока не будет исполнена кадетская программа и, в частности, реализовано право на восьмичасовой рабочий день. При активном участии Щепкина дума приняла решение о повышении зарплат рабочим, признала существование корпорации городских рабочих, обязалась оплачивать больничный сбор и поддержала многие политические требования забастовщиков.

В ходе этих дискуссий окончательно определяются серьезнейшие политические разногласия между Н. Н. Щепкиным и другими лидерами московских кадетов с одной стороны и октябристами братьями Гучковыми — с другой. Главным пунктом разногласий был вопрос об осуждении забастовки. Если Щепкин рассматривал забастовку как средство, с помощью которого можно заставить самодержавие идти по пути реформ, то А. И. Гучков считал необходимым осудить забастовку и оказывать содействие администрации в наведении порядка в городе.

Большинство Московской думы постепенно склонилось в сторону братьев Гучковых. В ноябре 1905 года при выдвижении кандидатов в городские головы Н. И. Гучков получает 80 голосов, а Н. Н. Щепкин — лишь 19. Н. И. Гучков утверждается московским городским головой, а Н. Н. Щепкин становится лидером либерального меньшинства Московской думы. На одном из частных собраний гласных Н. Н. Щепкин бросает братьям Гучковым упрек, что они стали «прислужниками власти». Дружеские отношения, ранее связывавшие Щепкина с Гучковыми, окончательно рвутся.

В течение всего периода 1905–1916 годов в Москве шла настоящая политическая война на уничтожение между московскими кадетами, ведомыми Н. Н. Щепкиным и Н. М. Кишкиным, и московским «Союзом 17 октября», лидерами которого были А. И. и Н. И. Гучковы.

Выборы в I и II Государственные думы по Москве кадеты уверенно выигрывают; октябристы с треском проваливаются. Однако А. И. Гучкову удается совершить переворот в Московском губернском земском собрании и свалить председателя губернской земской управы, несмотря на энергичное сопротивление кадетов. А на выборах в III Государственную думу по первой курии (в которой состояли в основном домовладельцы) в феврале 1907 года Н. Н. Щепкин и князь Пав. Д. Долгоруков во втором туре голосования проигрывают А. И. Гучкову и Ф. Н. Плевако с небольшим разрывом.

Московская городская дума была еще одним театром боевых действий. Особенно ярко это проявилось в думской дискуссии о забастовке 1907 года. Н. И. Гучков уволил всех отказавшихся выйти на работу участников забастовки. При обсуждении этого вопроса Щепкин заявил, что «не следует вводить в обычай массовые увольнения рабочих; нужно разобраться, кого увольнять, кого нет», и предложил управе пересмотреть свое решение об увольнении рабочих. На заседании думы 6 марта Н. Н. Щепкин заявил: «Рабочие уволены, принимаются новые, и эта операция для возобновления движения потребует два с половиной месяца. Управа говорит, что она идет своим путем, а нам надо, чтобы движение было скорее восстановлено». Один из лидеров кадетов в Московской думе — П. А. Столповский предложил проголосовать такую формулировку: «Выразить сожаление, что Управа не использовала имеющихся средств к тому, чтобы предупредить забастовку; что ею были приняты такие меры, которые дали забастовке распространиться...» Это предложение вывело из себя Н. И. Гучкова, и он предложил думе выразить «вотум доверия» управе, которое и получил.

В 1908 году должны были состояться выборы новых гласных Московской городской думы. И октябристы, и кадеты готовились к решительной схватке. Н. И. Гучков хотел расправиться с оппозицией в думе, а Щепкин и его сторонники планировали свалить Гучкова. Октябристы сделали ставку на политическую кампанию и стали забрасывать противников самыми фантастическими обвинениями, ставя им в вину и де-

кабрьское восстание, и октябрьскую забастовку. Основной удар пришелся по Щепкину. Орган октябристов «Голос Москвы» критиковал его за поддержку забастовщиков (которым он, по слухам, «давал советы»), за тяжелое положение домовладельцев-арендаторов, называл его «думским забиякой» и так далее.

В свою очередь, кадеты основой своей избирательной кампании сделали критику хозяйственной деятельности октябристской управы. Н. Н. Щепкин в «Русских ведомостях» опубликовал большую статью «Наше городское хозяйство». По его мнению, в городском хозяйстве «нет ни одной отрасли, где бы существенные нужды населения были удовлетворены, доходность городских предприятий стоит значительно ниже того, что можно было бы ожидать; все источники доходов исчерпаны, а годовые дефициты стали обычаем...». В статье говорилось о необходимости децентрализации городского хозяйства.

Ожесточенные споры шли на предвыборных собраниях, которые, как писал «Голос Москвы», напоминали «новгородское вече, где улица шла на улицу». Активность избирателей на выборах дошла до невиданных в истории городских выборов 40 процентов. И хотя в думу было избрано примерно одинаковое количество гласных от октябристов и кадетов, на 3-м участке (Арбат, Пречистенка и Хамовники), который считался «кадетской цитаделью» и по которому баллотировался Щепкин, выборы закончились полной победой октябристов. И Щепкин после двадцатилетнего служения городу, как и многие лидеры московских кадетов, был забаллотирован.

В конце 1909 года скончался депутат Государственной думы от Москвы Ф. Н. Плевако. Кадеты выставляют своим кандидатом Щепкина, а октябристы — представителя деловых кругов Н. В. Щенкова. Начинается острая избирательная кампания. Эти выборы носили принципиальный для октябристов характер, так как это была, во-первых, первая курия, считавшаяся «октябристской», а во-вторых, сам А. И. Гучков, будучи депутатом от этой курии, считал выражением недоверия себе избрание своего политического и личного врага. А. И. Гучков заявил, что результат этих выборов будет выражением отношения к деятельности премьера П. А. Столыпина. Но и Щепкин точно так же призывал избирателей продемонстрировать их недовольство свертыванием реформ, провозглашенных Манифестом 17 октября.

На многочисленных собраниях имела место острейшая полемика. И в результате Щепкин одерживает убедительную победу в первом туре, получив около шестидесяти процентов голосов избирателей. Лидер кадетов П. Н. Милюков высоко оценил этот успех: «Самые авторитетные и компетентные в глазах правительства слои населения осудили правительственную политику, невзирая на запугивания А. И. Гучкова». В день отъезда Щепкина в Санкт-Петербург большая толпа народа пришла на Николаевский вокзал провожать нового депутата.

На выборах в Государственную думу 1912 года Н. Н. Щепкин вновь избирается депутатом Государственной думы, но на этот раз по второй курии. Совместно с В. А. Маклаковым он уверенно побеждает кандидатов от социал-демократов и октябристов.

В Государственной думе Щепкин работал в финансовой комиссии и комиссии по рабочему вопросу. В апреле 1914 года за резкие выступления при обсуждении бюджета против председателя Совета министров И. Л. Горемыкина Щепкин был удален на пять заседаний Думы. Вообще, как писал Н. И. Астров, работа в Государственной думе не давала Щепкину удовлетворения: на каждую сессию Думы он уезжал «с тяжелым чувством отрыва от живого дела на дело томительное, нудное, не дающее результата».

В 1912 году проходят новые выборы в Московскую городскую думу. Кадеты жаждали реванша за поражение 1908 года, и на этот раз Н. Н. Щепкин вновь избирается гласным. В дальнейшем во многом благодаря его усилиям на место Н. И. Гучкова городским головой был избран кадетский кандидат — князь Г. Е. Львов. Но Министер-

ство внутренних дел не было готово утвердить во главе московского городского самоуправления оппозиционного кандидата. Ходили слухи о назначении городского головы правительством, чего никогда не было в истории городского самоуправления. Период «безголовья» продлился до сентября 1914 года и стал предметом серьезнейших нападок оппозиции на правительство. В конечном итоге городским головой был утвержден кадет М. В. Челноков.

После начала Первой мировой войны Н. Н. Щепкин был одним из инициаторов создания военной комиссии Московской городской думы. При его участии создается Всероссийский союз городов и разворачивается большая работа по помощи раненым воинам, русским военнопленным, семьям призванных в армию, а также по снабжению и снаряжению армии. Н. Н. Щепкин занимал высокие посты товарища председателя Главного комитета Союза городов, особоуполномоченного Союза городов на Западном фронте.

Февральская революция застала Щепкина в Москве. В резолюции, принятой Московской думой по его инициативе, говорилось: «Жизнь страны потрясена до основания преступным упорством защитников губительного для страны режима. Московская городская дума выражает твердую уверенность, что народное представительство, в единении с доблестной армией и народом, устранил от власти тех, кто, защищая старый порядок, творит постыдное дело измены».

Временное правительство назначило Н. Н. Щепкина комиссаром по Туркестану. Заочно его вновь избрали гласным Московской думы на выборах в июне 1917 года.

Щепкин вернулся в Москву уже после Октябрьского переворота. В отличие от большинства других лидеров московских кадетов он решает остаться в городе, пытается объединить антибольшевистские силы в рамках «Союза Возрождения», Национального центра, а позднее «Тактического центра». Целью этих организаций было устранение власти большевиков, восстановление единой и неделимой России, учреждение твердой власти (диктатуры или директории) с чрезвычайными полномочиями до момента созыва Учредительного собрания.

Щепкин осуществлял политическое руководство организациями, замкнул на себя их информационные потоки, снабжал получаемыми из ставки Колчака деньгами московскую военную организацию, готовившую вооруженное выступление и известную как «Штаб Добровольческой армии Московского района». Он также поддерживал связь с резидентом английской разведки и штабами Деникина и Юденича, снабжал их информацией о политическом, экономическом и военном положении в Москве.

Н. Н. Щепкин был арестован в конце июля 1919 года во время беседы с посланниками от Врангеля. У ВЧК не было сомнения в том, что он находился в деятельной, непримиримой борьбе с советской властью. Для самого Щепкина было абсолютно ясно, что арест закончится расстрелом. Во время допросов он не колебался, многое взял на себя, но то, что должно было остаться тайной, ушло вместе с ним. Товарищи по заключению изумлялись его спокойной бодрости и ясности духа. Большевики же рассматривали Щепкина как опасного противника. Известный «красный профессор» М. Н. Покровский говорил, что «после устранения Щепкина больше не встречается таких крупных фигур»; «Щепкин — чрезвычайно характерный буржуазный республиканец, готовый материал для Кавеньяка или Тьера».

Н. Н. Щепкина вместе с другими участниками «Тактического центра» расстреляли в середине сентября 1919 года. Его тело было похоронено в общей могиле у Калитниковского кладбища.

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
КИЗЕВЕТТЕР:
*«Признать силу и ценность русского
человека...»*

Олег Будницкий

«Честь имеем рекомендовать историко-филологическому факультету приват-доцента А. А. Кизеветтера для замещения экстраординатуры по кафедре русской истории», — писал 8 февраля 1910 года Василий Осипович Ключевский. Охарактеризовав далее научную и преподавательскую деятельность Кизеветтера, самый популярный лектор в истории русской высшей школы писал: «Факультет, хорошо зная господина Кизеветтера как прекрасно образованного, опытного и талантливого преподавателя, в минувшем академическом году поручил ему обязательный курс по новейшей русской истории. Два капитальных исследования по русской истории и двадцать один год преподавательской деятельности, из коих одиннадцать лет посвящены Московскому университету, смеем думать, достаточно ручаются за то, что в господине Кизеветтере факультет приобретет испытанного и вполне надежного сотрудника».

Однако Кизеветтеру не довелось занять кафедру своего учителя. Он не был утвержден в должности профессора Министерством народного просвещения по политическим мотивам: кандидатура кадета Кизеветтера не устроила министерство. А в следующем году Кизеветтер и вовсе покинул университет вместе с большой группой профессоров, таким образом выразившей протест против политики Министерства просвещения, возглавлявшегося Л. А. Кассо, политики, направленной на фактическую ликвидацию университетской автономии.

А. А. Кизеветтер в полной мере унаследовал литературное и лекторское мастерство своего учителя Ключевского, созданная им «портретная галерея» деятелей русской истории не уступает аналогичной «галерее» Ключевского по литературному блеску, а по количеству «портретов», несомненно, превосходит. Достаточно сказать, что библиография (по-видимому, не исчерпывающая) работ Кизеветтера насчитывает более тысячи названий. Однако Кизеветтер был не только историком. Жизнь заставила его стать политиком.

Александр Александрович Кизеветтер родился 10 мая 1866 года в Петербурге, однако семья будущего историка вплоть до 1884 года, когда он поступил в Московский университет, жила в Оренбурге. По отцовской линии Кизеветтер происходил из обрусевших немцев. Его отец, Александр Иванович, служил в Оренбурге представителем Военного министерства при генерал-губернаторе. Мать историка, Александра Николаевна Турчанинова, была внучкой известного церковного композитора, протоиерея Петра Ивановича Турчанинова, и дочерью преподавателя истории, автора книги о церковных соборах в России.

Еще в гимназии Кизеветтер прочел вышедшую в 1881 году «Боярскую Думу древней Руси» Ключевского. Книга произвела на него сильное впечатление и во многом повлияла на выбор профессии. В 1884 году Кизеветтер поступил на историко-филологический факультет Московского университета. Среди его учителей, кроме Ключев-

ского, были П. Г. Виноградов, В. И. Герье, молодой приват-доцент П. Н. Милюков, историк литературы Н. С. Тихонравов, искусствовед И. В. Цветаев и другие. Кроме «положенных» занятий, Кизеветтер имел возможность слушать лекции преподавателей других факультетов, в том числе юриста С. А. Муромцева, будущего председателя I Государственной думы.

В 1888 году Кизеветтер окончил университет и был оставлен Ключевским при кафедре русской истории для подготовки к магистерскому званию. В последующие годы он начал активную преподавательскую деятельность — преподавал историю в гимназических классах Лазаревского института восточных языков, в гимназии Л. Ф. Ржевской, на Высших женских курсах В. И. Герье. Преподавал Кизеветтер также в разное время в школе Малого театра, Народном университете А. Л. Шанявского, Коммерческом институте. С 1897 года он начал читать спецкурсы в Московском университете, а в следующем году стал приват-доцентом. Профессором Московского университета ему удалось стать только двадцать лет спустя, в марте 1917 года.

В 1894 году Кизеветтер женился на вдове своего близкого друга А. А. Кудрявцева, Екатерине Яковлевне Кудрявцевой, урожденной Фраузенфельдер, и стал воспитывать ее двоих детей — Всеволода и Наталью; год спустя у них родилась дочь Екатерина.

«В жизни ученого и писателя главные биографические факты — книги, важнейшие события — мысли», — писал В. О. Ключевский в статье памяти С. М. Соловьева. Главными фактами научной биографии Кизеветтера, если следовать отточенной формуле Ключевского, были две его диссертации: магистерская — «Посадская община в России XVIII столетия» (1903) и докторская — «Городовое положение Екатерины II 1785 года» (1909). Многие исследователи творчества Кизеветтера отмечали, что, кроме сугубо исторических, его работы имели и некую политическую «сверхзадачу». Убежденный конституционалист, он искал элементы самоуправления, представительства в истории русского общества. «Кизеветтер поставил своей целью, — справедливо отмечает М. Раев, — выявить те автономные элементы в русском обществе, которые представляли собой как бы альтернативу централизации и бюрократизации самодержавия».

Кизеветтер опубликовал также сотни менее объемистых научных, популярных и публицистических работ. В 1895 году на страницах едва ли не самого популярного среди интеллигентной публики толстого журнала — «Русской мысли» — появляется его статья «Иван Грозный и его оппоненты». Исследование было вполне научным, но написано живым языком и предназначалось не только для профессионалов. Время и личность Ивана Грозного, отношение к которым стало «знаковым» для русского общества, и далее привлекали внимание Кизеветтера. Со второй половины 1890-х годов «толстые» литературные и научно-популярные журналы регулярно публикуют статьи и рецензии Кизеветтера. Он стал постоянным автором «Русского богатства», «Образования», «Журнала для всех»; с 1903 года Кизеветтер — помощник В. А. Гольцева по изданию «Русской мысли», в 1907–1911 годах он редактировал этот журнал совместно с П. Б. Струве. С 1906 года Кизеветтер — постоянный сотрудник «Русских ведомостей».

Значительную часть кизеветтеровских публикаций составляли биографические очерки; уже в 1898 году этюд об Артемии Петровиче Волынском, опубликованный в «Журнале для всех», сопровождался подзаголовком «Исторические силуэты». Впоследствии Кизеветтер назовет так одну из лучших своих книг. Наиболее серьезные журнальные публикации Кизеветтер собирал в книги. В 1912 году вышел солидный том его «Исторических очерков», в 1915-м — «Исторические отклики». «Деятельный век в истории России», «Протопоп Аввакум», «Петр Великий за границей», «День царя Алексея Михайловича» и другие тексты Кизеветтера, написанные «для публики», пользовались успехом и быстро расходились; некоторые выдержали не одно издание.

Неизменным увлечением Кизеветтера был театр. Он был лично знаком со многими выдающимися театральными актерами, в том числе с такими звездами, как М. Н. Ермолова, Г. Н. Федотова, А. И. Сумбатов-Южин. На страницах газет и журналов регулярно появлялись его театральные рецензии, исследования по истории русского театра. Впоследствии некоторые из них составили книгу «Театр. Очерки, размышления, заметки» (1922). Кизеветтер написал также биографию великого актера М. С. Щепкина, которая после публикации в «Русской мысли» выдержала еще и два книжных издания.

Общественный темперамент и либеральные убеждения Кизеветтера обусловили его активное участие в освободительном движении. От просветительской, лекторской деятельности он постепенно переходит к политической. В 1904 году Кизеветтер вступает в «Союз освобождения»; принимает участие в «банкетной кампании» в конце того же года, когда земцы и либеральная интеллигенция открыто выступают с требованием введения народного представительства и ограничения самодержавия. Вполне логичным было участие Кизеветтера в создании «профессорской партии» — партии кадетов, конституировавшейся в октябре 1905 года. С января 1906 по 1918 год он был членом ее ЦК.

Кизеветтер, блестящий оратор, принял самое активное участие в избирательных кампаниях в I и II Государственные думы. Он был «ударной силой партии» и в созвездии кадетских златоустов по праву претендовал на одно из первых мест (первенство в этом негласном соревновании принадлежало, по мнению большинства современников, московскому адвокату В. А. Маклакову). Совместно с Маклаковым Кизеветтер написал своеобразное руководство для кадетских ораторов — «Нападки на партию народной свободы (официальное название партии. — О. Б.) и ответы на них». Это пособие было более известно под названием «кизеветтеровского катехизиса».

С горечью встретил Кизеветтер известие о роспуске I Думы. Много лет спустя, уже в эмиграции, он писал, что, «если когда-нибудь будет написана беспристрастная история первой Государственной думы, тогда с полной ясностью будет установлено, что страна послала в первый русский парламент в наибольшем числе людей, одушевленных высоким представлением о предстоявшей им задаче политического возрождения родины. Их работа была насильственно оборвана в самом начале, и это обстоятельство имело неисчислимы роковые последствия».

А. А. Кизеветтер был избран (от Москвы) во II Государственную думу, однако ее тоже постигла участь первой. Власть и общество так и не сумели найти общего языка друг с другом... После бурного «романа с политикой» Кизеветтер вернулся к письменному столу, хотя и оставался деятельным членом московской организации партии кадетов. Однако такого накала, как в 1905–1906 годах, его партийная работа уже не достигала.

Кизеветтер восторженно встретил Февральскую революцию. Много писал в «Русских ведомостях» по различным политическим вопросам; читал лекции на курсах агитаторов при Московском отделении партии кадетов. В статье «Большевизм», опубликованной в «Русских ведомостях» еще 28 марта 1917 года, Кизеветтер выступил против классовой диктатуры. Поэтому его реакция на Октябрьскую революцию была вполне предсказуемой.

В статье «Враги народа», опубликованной 8 ноября 1917 года, Кизеветтер писал о большевистском перевороте: «Все это губительное и дикое изуверство обрушено на Москву и Россию кучкой *русских* граждан, не остановившихся перед этими неслыханными злодеяниями против своего народа, лишь бы захватить во что бы то ни стало власть в свои руки, надругавшись с таким беспредельным бесстыдством над теми самыми принципами свободы и братства, которыми они кощунственно прикрываются». 28 января 1918 года в статье «Буржуазная природа большевистского движения» он оценил большевистское движение как «опыт сотворить из пролетариата новую буржу-

азию со всеми минусами и без всяких плюсов буржуазного жизненного уклада. Что же касается социализма, то он остается этикеткой, механически прикрепленной к этому глубоко антисоциалистическому движению».

В конце мая 1918 года Кизеветтер выступил с докладом на кадетской конференции в Москве. По его докладу была принята резолюция о верности союзникам и усилении борьбы против советской власти. В то же время весьма любопытна позиция Кизеветтера и некоторых участников конференции относительно работы в организациях, контролируемых большевиками. Кадеты, эти «враги народа», как их квалифицировала советская власть, с ужасом наблюдали развал страны, надвигающуюся гибель экономики и культуры. Поэтому многие из них считали, что необходимо во многих случаях перейти от бойкота советских учреждений к работе в них, если это пойдет на пользу России; поезда все-таки должны ходить, кто бы ни находился у власти, — приблизительно в таком духе высказался один из участников, вскоре арестованный ВЧК. Однако, идя на службу в большевистские учреждения, необходимо было четко обозначить свою политическую позицию, ни в коем случае не допускать идейных компромиссов. Цитируя Священное Писание, Кизеветтер подчеркнул, что члены партии должны быть чисты, как голуби, и мудры, как змеи.

Однако никакая мудрость не могла уберечь члена ЦК партии кадетов, легально проживающего в Москве и не собирающегося менять своих убеждений, от внимания ВЧК. 29 сентября 1918 года Кизеветтер был арестован и доставлен на Лубянку; затем его перевели в Бутырскую тюрьму, где он провел около трех месяцев, так и не дождавшись предъявления обвинения. Помогли студенты. 4 января 1919 года Совет старост Московского университета направил В. И. Ленину телеграмму следующего содержания: «Председателю Совнаркома Ленину. Совет старост 2-го Московского государственного университета ходатайствует перед Вами об освобождении арестованного и уже 3 месяца находящегося без предъявления обвинений в Бутырской тюрьме профессора Кизеветтера, так как его дальнейшее пребывание в тюрьме, ввиду его болезни склероза и диабета, грозит самыми роковыми последствиями его здоровью и жизни; между тем он давно отошел от политической деятельности и всецело посвятил себя научной и преподавательской работе, к которой мы просим Вас возвратить его...»

Вождь мирового пролетариата наложил резолюцию: «Лацису и Петерсу на заключение и сообщение мне». Известный чекист М. Я. Лацис, незадолго до описываемых событий рекомендовавший своим коллегам определять виновность подозреваемых исходя из их происхождения, на этот раз, к счастью, не стал следовать собственным принципам, и 13 января по его распоряжению Кизеветтер был освобожден. Скорее всего, с освобождением Кизеветтера было не все так просто, поскольку накануне, в телефонном разговоре с женой Александра Александровича, глава «историков-марксистов» М. Н. Покровский, тоже учившийся в свое время у Ключевского и некогда поздравлявший Кизеветтера с успешной защитой магистерской диссертации, советовал ей «успокоиться на мысли, что все хлопоты напрасны» и что ее мужа не выпустят. Впрочем, не исключено, что Покровского чекисты просто не сочли нужным своевременно проинформировать.

Чтобы как-то просуществовать и содержать семью, А. А. Кизеветтер был вынужден подрабатывать, где только мог. Он пошел служить в архив бывшего Министерства иностранных дел, преподавал в университете и на Драматических курсах Малого театра, ездил с лекциями по стране от культурно-просветительского отдела Союза кооперативных объединений. Как правило, лекторам платили на местах «натурой» — в одном из своих мемуарных очерков Кизеветтер с юмором описывал, каких трудов стоило доставить заработанные продукты в Москву. Власть, борясь со «спекуляцией», запрещала провозить продовольствие в голодный город!

Кизеветтер сотрудничал в кооперативном издательстве «Задруга» и даже торговал вместе с некоторыми другими известными литераторами и учеными в книжной лавке издательства. Возможности литературных заработков он практически лишился — за отсутствием органов печати, закрытых советской властью. К тому же в 1920 году Кизеветтеру (а также М. М. Богословскому и Р. Ю. Випперу) было запрещено чтение лекций в высших учебных заведениях как «проводникам старой буржуазной культуры».

Не оставляла Кизеветтера, как и других «буржуазных» интеллигентов, своим вниманием ВЧК. В сентябре 1919 года он вновь был арестован: шли массовые аресты по делу так называемого Национального центра; среди арестованных были историки М. М. Богословский, С. Б. Веселовский, Д. М. Петрушевский и другие. Кизеветтера выпустили через две с лишним недели. Его имя хотя и упоминалось в показаниях некоторых из арестованных, но лишь как члена партии кадетов, что и так было всем известно; многим из его знакомых и однопартийцев повезло гораздо меньше. 67 человек были расстреляны, в том числе член ЦК партии кадетов Н. Н. Щепкин, внук великого артиста.

Третий раз Кизеветтера арестовали в 1921 году в Иваново-Вознесенске, где он читал лекции в эвакуированном туда Рижском политехникуме. Историка доставили в Москву и через месяц, так и не предъявив обвинения, выпустили.

В августе 1922 года А. А. Кизеветтер был подвергнут краткому домашнему аресту. «Придержать» его дома властям нужно было для того, чтобы он находился под рукой для предъявления постановления о высылке из пределов Советской России. Кизеветтера включили в большую группу известных интеллектуалов, которых большевистское руководство не хотело по внешнеполитическим соображениям подвергать более суровым репрессиям, но и терпеть их свободомыслие не собиралось. 28 сентября 1922 года Кизеветтер с семьей отплыл из Петрограда на немецком пароходе в Германию. В Россию ему уже не было суждено вернуться.

Впрочем, в такую Россию Кизеветтер и не хотел возвращаться. Несколько месяцев спустя после высылки он писал своему старому товарищу по партии В. А. Маклакову, занимавшему в то время пост российского посла в Париже (Франция еще не признала СССР, и особняк на улице Гренелль, где помещалось посольство, занимал представитель уже не существующего государства): «Шлю Вам из Праги сердечный привет. Нежданно-негаданно выпорхнул из большевистской клетки, за что и благословляю судьбу» (13 июля 1923 года). В другом письме к Маклакову Кизеветтер высказывал предположение, что тот недооценивает «преимущества нахождения за пределами Совдепии», поскольку ему не пришлось видеть «большевистского властвования» воочию. «Могу сказать одно, — писал Кизеветтер, — я испытывал чувство тоски по родине, когда сидел в своей квартире в Москве и кругом себя не видел своей родины. Здесь же я тоски по родине не чувствую, ибо имею возможность свободно и по-человечески жить с русскими людьми. И, читая лекции, помогать русской молодежи хранить в себе русскую душу для лучших времен» (18 августа 1923 года).

Возможность профессионально реализоваться и «помогать русской молодежи» Кизеветтер получил в Праге, куда приехал 1 января 1923 года. Прага в 1920-е — первой половине 1930-х годов была признанным академическим центром русского зарубежья. В 1922 году президент Чехословакии Томаш Масарик и чешское правительство предприняли так называемую «Русскую акцию». Суть ее заключалась, во-первых, в том, чтобы помочь ученым-беженцам, во-вторых, обеспечить подготовку специалистов для будущей, очищенной от большевизма, России. В рамках «Русской акции» был создан Русский университет с двумя факультетами — юридическим и гуманитарным; существовал также Народный университет для тех, кто не мог посещать лекции в дневное время; Русский научный институт в Праге фактически выполнял функции Академии наук русского зарубежья; действовал также ряд других научных учреждений —

Экономический кабинет, Семинар византиниста Н. П. Кондакова и другие. При чехословацком Министерстве иностранных дел был создан Русский заграничный исторический архив.

А. А. Кизеветтер преподавал практически во всех русских учебных заведениях в Праге, читал также курс истории на философском факультете чешского Карлова университета; выезжал с лекционными турне в Берлин, Белград, в Прибалтику. Он стал одним из основателей в 1925 году Русского исторического общества в Праге; был товарищем (заместителем) его председателя, затем председателем. Кизеветтер возглавил Совет и учено-административную комиссию Русского заграничного исторического архива.

В этой своей многообразной деятельности Кизеветтер видел не только источник добывания средств к существованию (тяжело болели жена и падчерица, да и сам Кизеветтер страдал от диабета), но и некую миссию. Он не верил в скорый крах большевизма, так же как и в способность эмиграции реально повлиять на процессы, происходящие в СССР. Что же делать «русским зарубежникам»? На этот вопрос, едва ли не главный для эмигрантов, Кизеветтер попытался ответить в очередном письме к В. А. Маклакову: «Сейчас картина получается такая: в политическом отношении мы, русские, шлепнулись как нельзя хуже. А к русской культуре всюду в Европе обнаруживается большой интерес. Этой культурой заинтригованы, ее ценят, в ее будущности не сомневаются, никто не допускает мысли о том, что большевистское измывательство над этой культурой окончательно ее погубит... Вот мне и думается, что эмиграция со своей стороны должна была бы сделать все возможное, чтобы своею деятельностью закрепить в европейском обществе это признание силы и ценности русского человека как культурного деятеля. Согласитесь, что это было бы дело в высшей степени важное с точки зрения интересов именно грядущей России» (1 декабря 1923 года).

В эмиграции Кизеветтер опубликовал книгу, которой еще будут посвящены специальные исследования, — воспоминания «На рубеже двух столетий». Маклаков, заметно расхваливший с Кизеветтером в оценке недавнего прошлого, писал ему вскоре после выхода книги: «Не собираюсь Вам писать ни комплиментов, ни критики. Прочел ее с громадным интересом и думаю, что подобные книги самое полезное дело, которое мы можем пока делать... Люди, которые вспоминают прошлое, как Вы, без предвзятости, хотя бы им, как и всем нам, и было далеко до объективной правды, все-таки дают... материал, без которого этой правды узнать будет нельзя» (13 сентября 1929 года).

Кизеветтер был постоянным сотрудником лучшего журнала русского зарубежья — парижских «Современных записок», а также исторического журнала, издававшегося С. П. Мельгуновым сначала под названием «На чужой стороне», а затем «Голос минувшего на чужой стороне». Он печатался в других эмигрантских журналах, исторических сборниках, много публиковался в газетах — особенно часто в рижской «Сегодня» и берлинском «Руле». Среди его публикаций — статьи, рецензии, историографические обзоры. Как всегда, много «исторических портретов» (среди них — Екатерина II, граф Д. А. Толстой, И. Д. Делянов, А. С. Суворин, Г. А. Гапон, Франтишек Палацкий и другие). Значительная, пожалуй, большая часть публикаций была рассчитана на массового читателя и носила популярный характер.

Так называемый массовый читатель был надолго разлучен с творчеством Кизеветтера; а ведь большая часть созданных им текстов предназначалась именно для него. Лучшие статьи Кизеветтера писались зачастую не для профессионалов, а для обычных интеллигентных людей, для которых «толстый» журнал — традиционный предмет домашнего обихода. Почти все эти тексты были первоначально опубликованы в «Русской мысли», которая была для интеллигентов начала века приблизительно тем же, чем «Новый мир» для «шестидесятников».

Читая Кизеветтера, надо иметь в виду, что его схема русской истории и, соответственно, оценка ее деятелей — последовательно либеральная. Этот последовательный либерализм Кизеветтера нередко вызывал раздражение оппонентов. Так, бывший пражский студент Кизеветтера, известный медиевист Н. Е. Андреев, передает мнение другого «пражского» историка, эмигранта Н. П. Толля, что Кизеветтер «был, прежде всего, кадетским оратором, а уже потом историком». Самому Андрееву «всегда казалась несправедливой оценка им ряда явлений, в частности в московском периоде отечественной истории, и его чрезмерная суровость в оценке мероприятий правительства, которая иногда представлялась странной. Получалось так, словно бы правительство России вовсе не заботилось об интересах страны...».

Андреев, в частности, имел в виду резкую и, как ему представлялось, несправедливую рецензию Кизеветтера на книгу Р. Ю. Виппера «Иван Грозный», опубликованную в 1922 году. В данном случае лучше предоставить слово самому Кизеветтеру. В рецензии на книгу Виппера он писал: «Придавленные самодержавием идеализировали революцию. Обжегшись на революции, начинают идеализировать самодержавие. И, как всегда и во всем, тотчас же доходят до крайнего предела... Уж коли начал человек вздыхать по самодержавию, так подавай ему самодержавие по всей форме, не самодержавие Александра II, даже не Петра I, а, по крайней мере, самодержавие Ивана Грозного... Вот эту-то крайнюю форму самодержавия и начинают избирать предметом своих сердечных вздохов некоторые деятели, обжегшиеся на революционных мечтаниях».

Напомним свидетельства современника о «людодерстве» Ивана Грозного, а также о других деяниях грозного царя, приведших Россию к Смуте начала XVII века, Кизеветтер с иронией заключал: «Виппер хочет отдохнуть от тяжелых переживаний текущей действительности на светлых картинах исторического прошлого. Мы эту потребность понимаем. Но удовлетворять эту потребность нужно с большой осмотрительностью. Иначе можно попасть в неожиданное положение. Виппер избрал эпоху Ивана IV за образец мощи и славы России в противоположность ее теперешнему развалу. А на поверку выходит, что режим Ивана IV многими чертами живо напоминает приемы управления в России наших дней».

Кизеветтер как в воду глядел. В 1942 и 1944 годах книга Виппера была переиздана в СССР с включением цитат из работы И. В. Сталина, видевшего в Иване Грозном не худший образец для подражания, а оказавшийся вместе с Латвией в составе Советского Союза Р. Ю. Виппер стал академиком Академии наук СССР.

Кизеветтер действительно не жаловал российскую «историческую власть». Революция 1917 года не заставила его, как многих других эмигрантов, изменить свою оценку самодержавия. Успех большевиков он объяснял прежде всего тем, что «односторонне направленная социальная политика старой власти во второй половине XIX столетия и первого десятилетия XX-го вызвала в... низах наклонность оказывать доверие тем, кто прикроет свои замыслы наиболее резким осуждением этой старой власти».

Кизеветтер точно подметил, что «большевики под другими терминами воскрешают многие приемы старого порядка». Однако существенная разница, по его мнению, состояла в том, что если «старый порядок вел Россию к бездне из-за политической слепоты», то «большевики сознательно и умышленно толкнули Россию в бездну, ибо в этом и состояла их задача». «Умерший на днях в Москве дурак, — писал Кизеветтер Маклакову вскоре после смерти В. И. Ленина, — с самого начала своего эксперимента так и заявлял в печатной брошюре, что коммунизм в России невозможен, но Россия есть та охапка сухого сена, которую всего легче подпалить для начатия мирового социального пожара. Россия при этом сгорит; ну и черт с ней, зато мир вступит

в рай коммунизма. Не меня надо убеждать в том, что у нашего старого порядка была куча смертных грехов. Но все же в подобной постановке вопроса о бытии России он повинен не был. Это — привилегия большевиков» (6 февраля 1924 года).

В последние годы жизни судьба не жаловала Кизеветтера. Болезни свели в могилу его жену и падчерицу. Тяжелый диабет лишил его возможности дальних поездок. 9 января 1933 года Кизеветтер скорострительно скончался в своей квартире в Праге.

Последний городской голова Москвы, видный кадет Н. И. Астров писал Маклакову вскоре после смерти Кизеветтера: «А. А. хворал давно. У него была сахарная болезнь. Но лечение инсулином, казалось, поддерживало его в равновесии. Я был у него утром. Мы вели разговоры о разных делах, вспоминали Москву, Университет Шанявского... Вечером у него сделался сердечный припадок. А к утру его не стало. Смерть была, по-видимому, тихая, без особенных страданий. Он говорил даже, что хорошо было бы так умереть... Его смерть — большое горе для нас всех. Уходит наше поколение. Уходит печально, пережив разрушение того, что строило... Помогите нам поставить памятник на его могиле. Ведь скоро от нашего поколения не останется и следа...»

Кизеветтера похоронили 11 января 1933 года на Ольшанском кладбище в Праге. На его могиле стоит памятник, воздвигнутый на средства русских эмигрантов.

Лев Иосифович Петражицкий: «Я юрист не только по званию, но и по убеждению...»

Кирилл Соловьев

Л. И. Петражицкий родился 13 апреля 1867 года в имении Коллонтаево Витебской губернии в семье польских шляхтичей. Он окончил Киевский университет, хотя с призванием определился не сразу: два года отучился на медицинском факультете и лишь потом перешел на юридический. Еще в студенческие годы Лев Петражицкий резко выделялся среди окружающих. По словам его однокурсника, впоследствии видного адвоката О. О. Грузенберга, маленький и вроде бы невзрачный студент неизменно оказывался в центре внимания аудитории, подавляя своей эрудицией и интеллектом даже профессоров. Осенью 1890 года, по окончании университета, он продолжил образование в Германии. Зимний семестр провел в Гейдельберге у профессора Беккера, а затем, согласно инструкции министра народного просвещения, переехал в Берлин в Русский институт римского права, где оставался следующие три года.

Будущий коллега Петражицкого по I Государственной думе князь В. А. Оболенский тоже тогда учился в Берлине. Он вспоминал, с каким презрением студенты из России относились к «казенному» Институту римского права. Однако это предубеждение моментально рассеивалось, стоило им познакомиться с Петражицким, поражавшим друзей глубиной и оригинальностью суждений. Результатом работы в Германии стала защищенная в 1896 году магистерская диссертация «О распределении доходов при переходе права пользования по римскому праву». В 1898-м в Петербурге Лев Иосифович блестяще защитил докторскую диссертацию «Права добросовестного владельца на доходы с точки зрения догмы и политики гражданского права». Студенчество встретило решение факультета о присуждении Петражицкому докторской степени бурными аплодисментами; его пронесли на руках по всему длинному университетскому коридору. В этом же году он возглавит в Санкт-Петербургском университете кафедру философии и энциклопедии права и еще двадцать лет, до 1917-го, будет читать лекции в переполненном актовом зале.

В 1903 году Лев Иосифович был награжден орденом Станислава 2-й степени, в 1905-м — Анны 2-й степени. 9 сентября 1905 года его избрали деканом юридического факультета (он занимал эту должность до 25 сентября 1906-го). «Божество», «кумир», «гений» — студенты не жалели эпитетов по отношению к своему профессору. Среди них были П. А. Сорокин, Г. Д. Гурвич, А. Ф. Керенский, М. М. Бахтин... Наверное, ярче всех описал Петражицкого-лектора его друг и коллега И. В. Гессен: «Унаследовав кафедру весьма любимого студентами профессора Коркунова, Петражицкий с первых же шагов совершенно затмил популярность своего предшественника. Наплыв студентов на его лекции был так велик, что пришлось отвести для них большой актовый зал, в котором слушатели, затаив дыхание, восторженно внимали словам молодого учителя. Это было тем более внушительно, что Петражицкий лишен был всех внешних данных, способствующих успеху лектора. Невысокого роста блондин, с ма-

ленькой головкой и широким носом, оседланным непропорционально большим пенсне, в которое смотрели вялые бесцветные глаза, неприятный, чуть гнусавый, безнадежно монотонный голос, мучительно спотыкающаяся речь, состоящая из длиннейших, неправильно построенных периодов, не приспособленных к уровню понимания среднего слушателя, — все здесь как будто нарочито сочеталось, чтобы молодежь оттолкнуть. И если, вопреки всему, он пользовался таким исключительным успехом, это, как мне кажется, можно объяснить тем, что усилиями выдавливаемая речь воспринималась как импровизация, и у слушателя создавалось впечатление (чему способствовало бледное лицо, принимавшее болезненный оттенок), что он присутствует и сопереживает муки творчества, и — что всегда увлекает молодежь — творчества, разрушающего установившиеся теории и открывающего новые горизонты».

Юридическая наука в России пострадала после 1917 года едва ли не более остальных форм интеллектуальной деятельности. Имя петербургского профессора — как раз одно из напоминаний о том времени, когда обе столицы являлись центрами правовой мысли. Как написал известный русско-французский правовед и социолог Г. Д. Гурвич, «Л. И. Петражицкий принадлежит к числу первостепенных мыслителей, чьи новаторские идеи настолько опережали эпоху, что их истинное значение выявляется лишь спустя определенный промежуток времени. Поэтому философия права этого ушедшего от нас ученого может быть оценена во всем своем значении только в перспективе глубоких изменений, характерных для современной философской и юридической мысли». Вопреки устоявшимся стереотипам он рассматривал право как проявление психологии человека, вытекающее из своеобразия восприятия действительности. И, соответственно, сближал нравственность и право, по сути дела, ставил между ними знак равенства. Он предложил качественно иной интеллектуальный контекст юридической науки, выводя ее за рамки традиционного правового панлогизма и «вооружая» инструментами познания других социальных наук — психологии и социологии.

Можно сказать, что общественная деятельность правоведа началась с журнала-газеты «Право» в 1901 году. Как вспоминал И. В. Гессен, никто в редакции и не рассчитывал, что к ним может присоединиться столь авторитетный и популярный ученый. Понятно поэтому удивление сотрудников, когда сам Петражицкий предложил свои услуги в качестве члена редколлегии. «Очень элегантно было бы, если бы „Право“ было в обложке», — говорил он при вступлении в новую должность. А потом с неподдельной детской радостью любовался желтыми книжками: «Да посмотрите же, как это элегантно выглядит, как приятно взять в руки!» Именно в первых номерах опубликованы его программные статьи об обычном праве, в значительной мере развенчивающие неонароднические построения и придавшие большой научный вес новому изданию.

В 1902 году Петражицкий был приглашен юридическим экспертом в Особое совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности, председателем которого был С. Ю. Витте. В этом качестве, в подкомиссии А. Н. Куломзина, он разработал законопроект об аренде, предполагавший установление ограничений на вмешательство государства в поземельные отношения. Однако принципиальным противником этого проекта выступил сам Витте. Тем не менее именно он пригласил Петражицкого для юридических консультаций в связи с изданием Указа 12 декабря 1904 года, провозглашавшего скорое проведение целого ряда важных социальных преобразований. «Я познакомился с профессором Петражицким, — вспоминал Витте, — выдающимся ученым, замечательно талантливым и умным человеком».

В общении Лев Иосифович был веселым и добродушным, в чем-то наивным и всегда приветливым. Как много лет спустя писал В. Б. Ельяшевич, он всегда чрезвычайно внимательно относился к здоровью друзей и знакомых и, если узнавал об их недомогании, спешил помочь, предлагая собственное лечение: мед и орехи, в чью чудо-

действенную мощь неизменно верил. К больному Ельяшевичу Петражицкий ездил далеко за город, не жалея ни сил, ни времени. По воспоминаниям А. В. Тырковой, он, при всем его колоссальном научном авторитете, оставался удивительно скромным, всегда садился где-нибудь в углу и предпочитал не вступать в дискуссию. «Но каждое его замечание сразу освещало вопрос. Точно у него в кармане был фонарь, который он мог навести на любую область политического мышления». Это происходило уже на собраниях партии кадетов, в которую ученый вступил, когда та еще только зарождалась. Он был избран в Центральный комитет в самом начале 1906 года.

Л. И. Петражицкий никогда не боялся высказывать мнения, которые заведомо диссонировали с общим настроением аудитории. 6 января 1906 года на Втором съезде Конституционно-демократической партии, в атмосфере повышенной эмоциональности и высочайшего накала радикализма, он говорил о возможной тактике кадетов в ближайшем будущем. По его мнению, им ничего не оставалось, как пойти на выборы и активно участвовать в думской работе, так как любая другая тактика ничего не сулит: пойти на баррикады кадеты не могут, а сочинение политических резолюций абсолютно бесполезно. При этом есть хорошие шансы на победу на выборах: безудержный бюрократический произвол погонит граждан России к избирательным урнам голосовать за конституционную демократию. На том же съезде, 10 января, он убедительно защищал избирательные права женщин — в противовес одному из лидеров партии, П. Н. Милюкову, который считал их несвоевременными.

На Третьем съезде Петражицкий подробно высказался об аграрном проекте кадетов, согласно которому предполагалось отчуждение различных категорий земель (в том числе и частновладельческих) в пользу крестьянства. Во-первых, ему казалось неприемлемым наделение земель именно семьи крестьян, так как в результате большинство населения России окажется в абсолютной зависимости от старшего домовладельца. Во-вторых, он усомнился в рациональности потребительной нормы, согласно которой и должно было происходить перераспределение земельного фонда: потребности у всех разные, и этот простой факт, в случае реализации данного проекта, станет причиной множества юридических коллизий. В-третьих, он воспротивился идее отчуждения арендных земель в силу практической сложности ее реализации: подобная практика приведет к закреплению существующей чересполосицы. В-четвертых, он выражал сомнение относительно передачи отчуждаемых земель в аренду нуждающимся — такая постановка вопроса противоречила правосознанию крестьян западных губерний. И, наконец, он считал, что частичное отчуждение частновладельческих земель есть лишь паллиатив: подобная раздача часто небольших участков не решит проблему; необходим серьезный подъем производительности труда в деревне. Фактически подвергнув уничтожающей критике проект своей партии, автор доклада согласился лишь с одним пунктом: нельзя в огромной стране решать аграрный вопрос по одному шаблону — власти для выработки искомой модели проведения реформы необходима определенная децентрализация. Но при этом реформа должна быть концептуально целостной: «Некоторые любят, когда теории прихрамывают налево, но мы должны избегать этого и думать только о существе дела, не прихрамывая ни на какую сторону; иначе мы стукнемся головами сначала влево, потом вправо и никуда не придем».

Пройдет несколько месяцев, и Лев Иосифович, уже как депутат Государственной думы, будет выступать по аграрному вопросу в Таврическом дворце. «Маленький, щупленький, похожий на комарика, с белобрсыми усиками, с незначительным личиком, Петражицкий проходил через думское торжище, как будто ни на что не обращая внимание, осторожно, незаметно, как птичка перебирается по камушкам через ручей», — описывала своего коллегу по партии А. В. Тыркова. Из стенографических

отчетов думских заседаний вырисовывается совсем иной образ — мужественного оратора, бросающего вызов аудитории. Таким он предстал во время выступления 18 мая 1906 года, посвященного кадетскому проекту аграрной реформы. «Я юрист не только по званию, но и по убеждению, т.е. я считаю необходимым уважение прав и исключение произвольного с ними обращения. Тем не менее в данном случае я полагаю, что юридический вопрос о праве собственности не только не может иметь решающего значения в области аграрной реформы, но вообще не относится к делу. Во всяком элементарном учебнике гражданского права можно найти разъяснение, что неприкосновенность собственности имеет вовсе не смысл какой-то абсолютной неотъемлемости, а иной смысл, такой, с которым вполне мирится начало принудительного отчуждения со справедливым вознаграждением, если того требуют общественные цели государственной пользы. Это принудительное отчуждение в государственной жизни весьма обыденное явление, замечающееся в разных областях экономической и иной жизни».

Другими словами, вначале Петражицкий высказался в защиту принципа принудительного отчуждения, оспорив тем самым догматическое понимание юридических норм правыми ораторами и правительственными чиновниками. Затем досталось и «трудовикам»: «Существо болезни состоит в том, что во многих областях Империи имеется налицо поразительное несоответствие числа сельскохозяйственного населения и размера той площади земли, на которой это население живет и работает. Нормативным соотношением этих двух факторов — числа народонаселения и площади — следует признать такое, при котором не только люди трудящиеся, как следует быть, обеспечены против голода, но также народные трудовые силы имеют достаточную область для своего продуктивного приложения, так что не растрачиваются народные трудовые силы и притом для дельных людей есть возможность и надежда добиться известного благосостояния, двигаться выше по социальной лестнице». В сущности, это жесткая критика продовольственной нормы (достаточной для того, чтобы прокормить крестьянина) и самой логики аграрных проектов «трудоустройственной группы»: аграрный вопрос требует не паллиативов, а принципиального, концептуально разработанного решения. По мнению оратора, требуется ломка не только сложившейся структуры землевладения, но и социальных взаимосвязей в деревне. При этом он вовсе не отрицал необходимости принудительного отчуждения. Просто законодателю следует учитывать, что эта мера не имеет принципиального значения для решения вопроса: земли все равно окажется недостаточно, чтобы обеспечить бурно растущее крестьянское население.

Затем Петражицкий обрушился с критикой и на однопартийцев-кадетов, разработавших свой законопроект. Передача отчуждаемой земли в аренду, по его мнению, грозит крестьянину тяжелыми оковами: не имея возможности распорядиться своим клочком земли, он неизбежно останется в деревне, чем обречет себя и своих потомков на голодное прозябание. Кроме того, реализация проекта «окрестьянит» деревню, что лишит ее многих культурных социальных слоев. «Вообще, первое и основное требование сознательной аграрной политики — не прикреплять (к земле. — К. С.), а, наоборот, дать и поощрить свободный выход. Второй пункт — так проводить реформу, чтобы по возможности остались на земле и появлялись там вновь из крестьян люди со средним и высшим образованием, в том числе университетские, вообще просвещенные люди; от этого зависит судьба цивилизации», — резюмировал выступавший. А всем тем, кто ссылался на социалистический идеал, он напомнил: «Тот фараон, который скупил все земли, пользуясь голодовкой, и всех людей превратил в единое хозяйство, — он по внешнему виду ввел социализм, но это не был социализм, это было рабство. Социализм обещает равенство и свободу. Нужно делать различия по существу, а не по внешнему виду».

Л. И. Петражицкий выступал в I Думе восемнадцать раз. 26 мая 1906 года он убеждал депутатов в исключительной перспективности парламентских методов борьбы: «Мы были правы, когда шли с верой в победу, ибо конституционные учреждения дают орудия для этого. Если не летом, то осенью, когда пойдет разговор о финансах, министерство уйдет, если палата захочет». 16 июня он защищал от нападков левых кадетский законопроект «О свободе собраний». Трудовиков и социал-демократов возмущало, что, согласно предложенному законопроекту, свобода проведения митингов не была безусловной. Так, митингующие не должны были мешать городскому движению, что представителям левых фракций казалось ущемлением политических прав граждан. На это Петражицкий ответил: «Для митингов всегда может найтись место в стороне, чтобы не препятствовать движению. Гораздо большим стеснением свободы стало бы запрещение движения и санкционирование „конституционной свободы“, не допускающей проходить публике». Буквально в двух предложениях высвечивается целая правовая философия. В ее центре — права человека; причем выстроена иерархия прав: на первом месте оказываются бытовые и элементарные (в данном случае свобода передвижения). Для их регуляции и существуют законы, которые не терпят пробелов, а требуют доскональной разработки для размежевания различных интересов.

Собственно говоря, исторический оптимизм Петражицкого и строился на рациональной вере в могущество правовых механизмов. Именно поэтому он чрезвычайно скептически относился к действиям, которые казались ему антиконституционными, противоречащими принципу права. За несколько дней до роспуска Думы, 4 июля, он выступил против обращения депутатов к народу России с изложением аграрных проектов народного представительства: по его мнению, законодательному учреждению не подобает совершать подобные акции.

Однако декларацию приняли, а Дума вскоре была распущена. Л. И. Петражицкий оказался одним из немногих членов фракции кадетов, которые резко выступили против принятия Выборгского воззвания. Этот скромный, мягкий человек, вопреки абсолютно большому числу собравшихся в Выборге, жестко отстаивал мысль о неконституционности предлагаемых мер: «Мы как будто согласны, что рекомендуемая нами линия действия должна быть конституционной. Такой характер будто бы выдерживается во второй части обращения: отказ от платежа налогов и от поставки рекрутов — при известных условиях входят в число мер борьбы конституционной. Но в данном случае предлагаемые меры конституционные лишь по внешности. По существу же я вижу здесь явную ложь. На почве существующего закона бюджет нынешнего года должен считаться законно действующим и в пределах указанных в нем налогов, уклоняться от платежа их нет конституционного основания. Точно так же и контингент рекрутов набора нынешнего года уже определен законом, потому и здесь нового вотума не требуется. Таким образом, если не сходить со строго конституционной почвы, то всю вторую часть воззвания надо отбросить и ограничиться первой частью». Иными словами, правовед предлагал отказаться от конкретных мер борьбы, указанных в Выборгском воззвании, и принять лишь декларацию. «Говорят, что первую часть воззвания оставить одну нельзя: ее характеризуют как простое констатирование фактов. На самом деле это не так. В этой части заключается решительный протест против совершившегося и указана ложь в правительственных действиях. Этот протест должен быть высказан, может быть, даже еще резче, чем это сделано, и он имеет самостоятельное значение. Что касается второй части, то более умеренным из указанных там средств борьбы я сочувствую. Высказываюсь же против других я потому, что здесь говорятся вещи несерьезные и в политическом, и в юридическом смысле. Аргументов, даже хотя бы сомнительных в юридическом отношении, выставить нельзя, а здесь приведены аргументы прямо неправильные. Практическое же ничтожество рекомендуемых средств уже достаточно выяснено другими».

Дискуссия, как известно, продолжалась два дня и, наверное, продолжалась бы и дальше, если бы не Выборгский губернатор, который встретился с председательствовавшим С. А. Муромцевым и попросил его закрыть заседания ввиду возможных санкций правительства по отношению к губернии. Муромцев призвал депутатов выехать из Выборга и отказался от ведения собрания. Решение приходилось принимать в режиме жесткого цейтнота. Раздался возглас одного из лидеров конституционных демократов И. И. Петрункевича: «Господа, бросим обсуждать дальше. Вопрос ясен, и не в редакции дело. Не разойдемся же отсюда, не совершив этого акта. Подпишем воззвание, как оно есть». Гром рукоплесканий, всеобщее возбуждение. Первым на призыв Петрункевича откликнулся согласием принципиальный противник возвания М. Я. Герценштейн. А затем на стол вскочил Петражицкий. Он еще раз подчеркнул, что с проектом возвания не согласен, однако готов поставить под ним свою подпись: «Я знаю, что, подписывая это воззвание, я рискую самым для меня дорогим, чему я до сих пор отдавал свою жизнь, — своей научной работой, но бывают положения, когда честь требует и такой жертвы».

Вероятно, к этому решению он пришел чуть раньше, на фракционном совещании, предшествовавшем заседанию, хотя и продолжал настаивать на неправовом характере принимаемого решения. Ему яростно и страстно оппонировала А. В. Тыркова. «С усмешкой глядя на меня, он сказал своим тонким голосом, который придавал его словам оттенок насмешки: „Ариадна Владимировна, вы форсируете меня впервые в жизни совершить поступок, находящийся в contradикции с моей юридической логикой. Надеюсь, что я никогда такую акцию не повторю. Апелляцию к народу я согласен подписать“». Раздались аплодисменты. «Возможно, что в моих взволнованных речах его внимательная мысль услышала непосредственное выражение не только моих, но и коллективных чувств, — объясняла причину своей маленькой „победы“ Тыркова. — В минуту итогов, а может быть, и расплаты он не захотел отделяться от товарищей. А переубедить их был не в силах. Возможно, что, вопреки рассудку, ему послышалось что-то подлинное, более законное, чем все законы, в моем призыве ответить ударом на удар».

К счастью, Лев Иосифович, несмотря на трехмесячное заключение в связи с подписанием Выборгского возвания, смог продолжить преподавание в Санкт-Петербургском университете. Он возглавлял кружок философии права; публиковал научные труды и публицистические работы, подробно разбирая вопросы философии и энциклопедии права, специфику функционирования акционерных обществ и биржевой игры, университетского образования и его соотношения с научной деятельностью; писал о «деле Бейлиса» и женском равноправии.

Политическая же деятельность так и осталась лишь эпизодом в жизни большого ученого. В какой-то мере забавно, что студенты со всех факультетов и посторонние лица, как впоследствии писал Г. Д. Гурвич, заполняли актовъ зал Санкт-Петербургского университета, чтобы не только услышать известного правоведа, но и увидеть одного из «авторов» Выборгского возвания. Правда, в его лекциях была скрыта еще одна интрига, занимавшая аудиторию, — подспудная дискуссия с И. П. Павловым. Для теоретика психологического обоснования права вера во всеобъясняющую физиологию казалась неприемлемой. Со своей стороны, и сам Павлов не слишком тепло отзывался о построениях Петражицкого. «Противники» внимательно следили друг за другом, посылая своих единомышленников стенографировать лекции оппонента.

В сентябре 1917 года, при активной помощи своего ученика П. А. Сорокина, Лев Иосифович эмигрировал в Польшу. Он не прожил ни одного дня в Советской России, но крайне болезненно реагировал на то, что там происходило. Юрист В. Б. Ельяшевич вспоминал, что мало знал людей, столь подавленных приходом большевиков. Возмож-

но, отчасти это было связано с тем, что представители новой власти почему-то с большим удовольствием цитировали Петражицкого, подкрепляя его авторитетом свои доводы. Например, по словам наркома юстиции П. И. Стучки, термин «революционное правосознание» попал в декреты нового правительства именно из работ знаменитого правоведа.

В 1921 году Л. И. Петражицкий принял польское гражданство и возглавил кафедру социологии Варшавского университета. Однако почувствовать себя вполне «своим» не удавалось. Если в Петербурге Лев Иосифович подчеркивал свою «польскость» — в его доме читали польскую литературу, там часто звучала польская речь и польская музыка, в 1915 году он даже возглавил Общество польских экономистов и правоведов, — то в Варшаве все было наоборот: Петражицкий всячески демонстрировал свою принадлежность к русской культуре.

В то же время многие польские интеллектуалы относились к эмигранту с недоверием. Еще в 1906 году публицист В. Студницкий писал: «Профессор Петражицкий считает себя поляком, он уроженец окраин, воспитанник российских и немецких университетов, затем житель Петербурга, вовлеченный в научную, законодательную и политическую жизнь России; к Польше он невольно и неосознанно относится как доброжелательный иностранец. Он не знает Польши, ее ресурсов и сил, не сумел встать на позиции ее государственных интересов». С приходом к власти Ю. Пилсудского профессора отстранили от преподавания. Он тяжело болеет, страдая от сердечного недомогания. А помимо этого бедность, апатия... 15 мая 1931 года Лев Иосифович Петражицкий покончил жизнь самоубийством.

ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ НАБОКОВ:
*«Исполнительная власть да покорится
власти законодательной!»*

Кирилл Соловьев

«Достаточно было взглянуть на этого стройного, красивого, всегда изящно одетого человека, с холодно-надменным лицом римского патриция и с характерным говором петербургских придворных, чтобы безошибочно определить среду, из которой он вышел... Все-таки он был, вероятно, холодным человеком не только внешне, но и внутренне, однако сильные эстетические эмоции заменяли ему теплоту и глубину чувств, и внутренне он был так же изящен, как и внешне» — так писал о В. Д. Набокове его коллега по партии кадетов и I Государственной думе князь В. А. Оболенский. Действительно, образ холодного и чуть надменного аристократа преследовал Набокова всю жизнь. Он и есть истинный петербургский аристократ: в его жилах текла кровь Назимовых, Корфов, Шишковых, а сам род, согласно семейному преданию, произошел от татарского князя Набока.

Владимир Дмитриевич Набоков родился 8 июля 1870 года в большой дворянской семье. У него было три брата и шесть сестер; Владимир родился седьмым. В 1878 году отца, Дмитрия Николаевича Набокова, назначили министром юстиции. Когда в 1885 году он вышел в отставку, журнал «Вестник Европы» — «флагман русского либерализма» — так охарактеризовал его деятельность: «Он действовал, как капитан корабля во время сильной бури: выбросил за борт часть груза, чтобы спасти остальное». Это знак благодарности: все же Набокову-министру удалось уберечь введенный при царе-освободителе суд присяжных от происков ближайших сподвижников Александра III.

Детство В. Д. Набокова сложилось так, как и следовало детству сына министра: в окружении французских и английских гувернанток, немецких и русских учителей. В 1883 году Владимир поступил в столичную гимназию на Гагаринской улице. Уже в гимназические годы стремление первенствовать было в нем огромно. Его сын, В. В. Набоков, написал со слов отца: «Одной зимней ночью он, не справившись с заданной на дом задачей и предпочтя воспаление легких насмешкам у классной доски, выставил себя на полярный мороз в надежде, что его, сидящего в одной ночной рубашке у открытого окна (оно выходило на Дворцовую площадь с ее отглаженным луною столпом), свалит своевременная болезнь; наутро он был по-прежнему здоровехонек, зато незаслуженно слег учитель, которого он так боялся».

Окончив в 1887 году гимназию с золотой медалью, В. Д. Набоков поступил на юридический университет Санкт-Петербургского университета. 19 марта 1890 года сына бывшего министра юстиции задержали за участие в студенческих волнениях. Среди арестованных оказался также однокурсник Набокова, будущий публицист и член партии кадетов Н. М. Могиланский. Он вспоминал, как градоначальник П. А. Грессер разыскал Набокова-младшего, чтобы с радостью ему сообщить: «Ваш отец ждет вас к обеду». На это последовал вопрос: «А мои товарищи по аресту все будут отпущены домой?» Прозвучало смущенное «нет». «В таком случае я остаюсь обедать с моими товарищами». Через четыре дня всех освободили.

В 1891 году Владимир Дмитриевич окончил университет и продолжил образование в Германии, в Галле. Еще через год, по рекомендации профессора И. Я. Фойницкого, был оставлен на кафедре для подготовки к профессорскому званию. А в 1894 году он поступил на службу в Государственную канцелярию, где проработал до своей отставки в 1899-м. Вместе с тем уже в 1896 году, по инициативе видного на тот момент юриста, а впоследствии министра юстиции И. Г. Щегловитова, В. Д. Набоков получил профессорство в Училище правоведения. Молодой профессор уголовного права; камер-юнкер Высочайшего двора (с 1895 года); гласный Санкт-Петербургской городской думы; наконец, супруг представительницы богатого купеческого рода Рукавишниковых — казалось, судьба не уставала ему улыбаться. В. Д. Набоков обретал и научное имя: его избрали председателем русской секции Международного союза криминалистов и председателем уголовной секции Санкт-Петербургского юридического общества. И еще летний отдых в Италии или во Франции, традиционные поездки в Мюнхен на постановки опер Вагнера, шикарнейший петербургский особняк на Морской...

Морская, 47 — в самом центре столицы. Набоков с женой поселились здесь сразу после свадьбы, в ноябре 1897-го. Особняк купила еще невестой Елена Рукавишникова; через семь лет она подарила его мужу — очевидно, ради получения им ценза для участия в выборах. Здесь, в спальне на втором этаже, 10 апреля 1899 года у них появится сын Владимир (первый ребенок родился в 1898 году мертвым). Всего в семье Набоковых будет шестеро детей.

И в эту, в высшей степени благоустроенную, жизнь неожиданно врывается политика. Вероятно, для Набокова она началась в 1901 году, с работы над либеральным журналом-газетой «Право». И. В. Гессен позднее вспоминал, с каким предубеждением он и А. И. Каминка отреагировали на приглашение известного криминолога Набокова, «министерского сынка», в редакционный совет. Однако их ждал приятный сюрприз. «Продолжая цитату из гениального стихотворения великого поэта нашего, можно сказать, что как будто именно о Набокове написаны слова: „фортуны блеск холодный не изменил души твоей свободной, все тот же ты для чести для друзей“, — констатировал И. В. Гессен. — Владимир Дмитриевич открылся нам прекрасным товарищем, необычайно добросовестным работником, разносторонне образованным, с „элегантным“, по любимому выражению Петражицкого, публицистическим пером».

Впереди «Союз освобождения», а затем и Конституционно-демократическая партия, одним из лидеров которой станет Набоков. П. Н. Милюков вспоминал, как странно выглядела фигура этого рафинированного аристократа с красавицей женой в скромной парижской квартире П. Б. Струве в период становления «Союза освобождения». Однако в течение следующих почти двадцати лет В. Д. Набоков оставался неизменным участником подобных встреч и заседаний.

Именно в набоковском особняке 8 ноября 1904 года соберется земский съезд. В музыкальной гостиной подпишут резолюцию, где впервые открыто, на всю страну, будут заявлены конституционные требования. Неслучайно многие исследователи именно с этого события отсчитывают историю русской революции. На первом же съезде Конституционно-демократической партии Набокова избрали членом ее Центрального комитета. С 11 января по май 1906 года и с 11 марта 1907 года до лета 1914-го он — товарищ (заместитель) председателя ЦК; а с 8 октября 1906 года — глава Санкт-Петербургского отделения партии.

Заседания ЦК Конституционно-демократической партии (Партии народной свободы) часто проходили в доме Набоковых. В. В. Набоков, обращаясь к своим детским воспоминаниям, описывал эти собрания так: «Около восьми вечера в распоряжение Устина (слуги Набоковых, как выяснилось, агента полиции. — К. С.) поступали многочисленные галоши и шубы. Похожий несколько на Теодора Рузвельта, но в более розо-

вых тонах, появлялся Милюков в своем целлулоидном воротничке. И. В. Гессен, потирая руки и склонив набок умную лысую голову, вглядывался сквозь очки в присутствующих. А. И. Каминка, с иссиня-черными зачесанными волосами и выражением предупредительного испуга в подвижных, круглых карих глазах, уже что-то жарко доказывал однопартийцу. Постепенно переходили в „комитетскую“, рядом с библиотекой. Там, на темно-красном сукне длинного стола, были разложены стройные карандаши, блестели стаканы, толпились на полках переплетенные журналы и стучали маятником высокие часы с вестминстерскими курантами».

Общественная деятельность многое поменяла в жизни Набокова. После опубликования им в журнале «Право» статьи «Кишиневская кровавая баня» (о еврейском погроме в Бессарабии) он был лишен права преподавать в Училище правоведения. А в январе 1905 года — и звания камер-юнкера. На этот раз причиной стало «недостойное поведение» на обеде гласных городской думы 7 января. Это был сугубо товарищеский обед, не имевший официального статуса. Неожиданно пришла новость, что во время крещенских празднеств, в которых принимал участие Николай II, традиционный салют из Петропавловской крепости оказался с картечью. Император, к счастью, не пострадал. Как вспоминал Н. И. Кареев, «известие это пришло, когда выпито было довольно много вина, что придало начавшейся в зале монархической демонстрации прямо неистовый характер. Сообщив о происшествии, хозяин (городской голова Делянов. — К. С.) предложил тост за царя в таких холопских выражениях, что без всякого уговора мы трое (Кедрин, Набоков и я) не сочли для себя возможным к нему присоединиться и не встали со своих мест. „Ну что же это вы, господа?“ — добродушно покачал головой гласный городской думы, генерал П. П. Дурново. На это последовал ответ Набокова: „Мы были приглашены на товарищескую трапезу, а не для политической демонстрации“».

До созыва I Думы, по решению ЦК партии кадетов, В. Д. Набоков, совместно с Ф. И. Родичевым и Ф. Ф. Кокошкиным, занимался разработкой законодательства в сфере национального вопроса, в марте–июне 1906 года принимал участие в переговорах с министром внутренних дел о легализации партии, был соредактором кадетских изданий — газеты «Речь» и журнала «Вестник партии Народной свободы». И «Речь», и «Вестник» регулярно публиковали Набокова: на их страницах он выступал по программным и тактическим установкам партии.

Показательна в этом отношении статья «К вопросу о бойкоте Думы», вышедшая 5 марта 1906 года в «Вестнике». Разумеется, Набоков, как и его коллеги по партии, доказывал бессмысленность тактики бойкота первого народного представительства. Завершением же служило весьма любопытное рассуждение: «Но главная задача партии, создаваемая ее решением идти в Думу, — еще впереди. Если бы наша деятельность исчерпывалась стремлением в Думу и работой там, мы бы заранее обрекли себя на малозначительную и несущественную роль. Главной нашей задачей остается все-таки организация общественных сил и общественного мнения на почве наших программных лозунгов и требований. Только при условии деятельной работы и успехов в этом направлении становится возможной и целесообразной та деятельность в Думе, которую мы ожидаем от членов нашей партии. И наоборот, эта деятельность должна быть наиболее ярким и наиболее действительным проявлением организованных общественных сил. Не узурпируя ничьих прав, не вступая ни в какие компромиссы и не ослабляя ничьих боевых рядов, наша партия идет в Думу для того, чтобы положить конец бюрократическому самовластию и добиться всеобщего избирательного права». В этих строках, в сущности, и заключается вся тактика кадетов в перводумский период. Дума, формирующаяся в самодержавной России, одним фактом своего существования и успешной работы должна разрушить сдавливающие рамки прежнего режима

и создать новое право. Не будучи формально Учредительным собранием, Дума призвана сыграть его роль. Залог ее успеха — общественное мнение, которое формирует правосознание и, соответственно, само право. Иными словами, Дума должна сломать прежнюю систему изнутри, прорасти, как цветок, сквозь асфальт бюрократического самодержавия.

Естественно, выборы в I Думу находились в центре внимания кадетов. Кампания велась на высоком эмоциональном подъеме. «Выбрали!» — с этими словами В. Д. Набоков ворвался в гостиную С. М. Ростовцевой, которая вела агитацию в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. По словам коллеги по партии А. В. Тырковой, «он был в таком восторге, что не только не дождался, чтобы горничная о нем доложила, но даже забыл снять грязные калоши и перепачкал дорогой, светлый ковер Ростовцевых».

В Думе Набоков — знаменитость, невольно фокусирующая на себе внимание. По прошествии десяти лет переводумец Н. А. Огородников, описывая открытие народного представительства, вспоминал: «Останавливает на себе внимание интересная, безукоризненно изящная фигура петербургского депутата В. Д. Набокова, европейца-парламентария до кончиков ногтей. Странное впечатление должен был бы производить этот талантливый молодой ученый и выдающийся общественный деятель в мундире камер-юнкера, который только в 1904 году за участие в освободительном движении был им утрачен».

В. Д. Набоков активно включился в думскую жизнь. Одним из первых подписал законопроекты «О замене ст. 55–57 Учреждения Государственной думы» (об изменении порядка внесения законопроектов депутатами), «О печати»; его подпись стояла первой под законопроектом «О неприкосновенности членов Государственной думы». И, наконец, он был одним из штатных ораторов фракции: 2 июня 1906 года выступал о погроме в Белостоке, 8 июня — о погроме в Вологде, 19 июня — о необходимости отмены смертной казни. Если учесть, что именно Набоков выступил с ответным словом после речи министра юстиции И. Г. Щегловитова, то единогласную поддержку Думой законопроекта об отмене смертной казни можно считать его личным успехом. Год спустя в сборнике, посвященном кратковременному существованию первого народного представительства, Набоков опубликует статью об этой инициативе депутатов: «19 июня I Государственная дума единогласно вотировала отмену смертной казни. 9 июля она была распущена. 20 августа были учреждены военно-полевые суды. До середины декабря по их приговорам было казнено более пятисот пятидесяти лиц, в том числе и множество несовершеннолетних. Так ответило правительство первым народным представителям».

На счету В. Д. Набокова множество и менее значимых выступлений: реплик, дополнений, комментариев; всего двадцать восемь раз выходил он на трибуну I Государственной думы. Но самая известная его речь произнесена 13 мая 1906 года: сразу после зачтения декларации правительства, после того как председатель Совета министров И. Л. Горемыкин отверг мысль о компромиссе с депутатами по ключевым вопросам, которые были обозначены в думском адресе, направленном царю. «Мы усматриваем в этом вызов, и мы этот вызов принимаем, — заявил оратор. — Мы думаем, что вся страна с нами, когда мы говорим, что та политика половинчатых уступок и недоговоренных слов, которых мы были до сих пор свидетелями, что она составляет разложение начал государственности, и она подточила уже народные силы». Набоков усомнился в возможности совместной работы с правительством, если Совет министров просто не желает слышать «голос народа», заявленный депутатами. И произнес под конец хрестоматийные слова: «Мы полагаем, что выход из этого положения может быть только один: раз нас призывают к борьбе, раз нам говорят, что правительство является не исполнителем требований народного представительства, а их критиком и отри-

цателем, то, с точки зрения принципа народного представительства, мы можем только сказать одно: исполнительная власть да покорится власти законодательной». И, как много лет спустя вспоминала А. В. Тыркова, «бросив этот вызов, Набоков под гром аплодисментов, несмотря на некоторую раннюю грузность, сбежал по ступенькам думской трибуны, украдкой посылая очаровательные улыбки наверх, на галерею, где среди публики бывало немало хорошеньких женщин».

В. Д. Набоков — один из популярнейших членов фракции кадетов. На заседании санкт-петербургской группы партии кадетов именно за него было подано больше всего голосов как за кандидата в депутаты Государственной думы. И не случайно 28 июня 1906 года, во время беседы депутата-октябриста П. А. Гейдена с П. Н. Милюковым относительно возможного формирования кадетского правительства, Милюков назвал лишь две кандидатуры на пост министра юстиции из членов Государственной думы: И. И. Петрункевича и В. Д. Набокова. Впоследствии П. Н. Милюков вспоминал: на переговорах, которые он вел в это время с представителями власти, выяснилось, что двор скорее согласится с аграрной программой Партии народной свободы, нежели пойдет на назначение В. Д. Набокова министром юстиции. Впрочем, один из «переговорщиков» со стороны властей, дворцовый комендант Д. Ф. Трепов, соглашался на эту кандидатуру.

Все эти переговоры шли, когда прежний оптимизм и воодушевление сменились уже усталостью и апатией. Два года спустя Владимир Дмитриевич писал: «Да, то было тяжелое, мучительное время. Припоминаю, как нередко в ранние утренние часы после продолжительного вечернего заседания фракции, дневного бурного и напряженного думского заседания и утренней кропотливой работы в комиссии я выходил из дворца (Таврического. — К. С.), чтобы через несколько часов в него возвратиться. Май и июнь в тот год были исключительно прекрасны, и в ранние утренние часы садик перед дворцом сладко и приятно благоухал. Проезжая по светлым, пустым и сонным улицам, по набережной царственной Невы, особенно грандиозной в это время, я, помню, постоянно терзался одной мыслью: все наши труды напрасны, вся эта уйма усилий и работы пропадет даром, враждебные силы только притаились, ждут благоприятного момента, и когда они его выберут, нам нечего будет противопоставить им, кроме сознания своей правоты и исполненного долга».

9 июля 1906 года... На дверях Таврического дворца — замок. Столь будничным роспуск Думы не предполагал трагических интонаций из времен Французской революции. «Думая предотвратить грозу, они разбили барометр» — так в письме к брату Константину В. Д. Набоков охарактеризовал действия правительства в связи с роспуском Думы. Следовало решить, куда направить стихию, грозившую стать неуправляемой. Депутаты кадетской фракции собрались на квартире И. И. Петрункевича. Среди участников совещания — Набоков. Именно на этом собрании и была разработана концепция будущего Выборгского воззвания. Примечательно, что бывший камер-юнкер после роспуска Думы выступал с крайне радикальных позиций. Так, на заседании ЦК 5 сентября 1906 года он настаивал на последовательном осуществлении мер, предложенных в Выборгском воззвании; призывал не бояться репрессий, так как ореол мученичества лишь придаст силу партии; отрицал возможность диалога с правительством. 7 сентября В. Д. Набоков поставил перед партией задачу: возглавить национальное движение и для этого энергично действовать, а не ограничиваться лозунгами.

За подписание Выборгского воззвания суд приговорил В. Д. Набокова к трехмесячному заключению. 14 мая 1908 года за ним захлопнулись ворота «Крестов». На противоположном берегу Невы остались семья, родной дом, Таврический дворец. Купол дворца можно было увидеть из камеры, если встать на табурет. «Теперь там „торжества победителей“, а здесь, на правом берегу Невы, уготовано место для побежден-

ных, — рассуждал заключенный, — и все же я, по совести говоря, не поменялся бы с этими „победителями“ ролями». В. В. Набоков так описывал эти дни: «Спустя года полтора после Выборгского воззвания (1906) отец провел три месяца в Крестах, в удобной камере, со своими книгами, мюллеровской гимнастикой и складной резиновой ванной, изучая итальянский язык и поддерживая с моей матерью незаконную корреспонденцию (на узких свиточках туалетной бумаги), которую переносил преданный друг семьи А. И. Каминка».

За время заточения В. Д. Набоков разработал ряд рекомендаций для будущих сидельцев «одиночек». Во-первых, в отведенном пространстве следует «создать уют». Оказавшись в камере, он прежде всего аккуратно разложил вещи, расставил книги, письменные принадлежности, накрыл салфетками и полотенцами стол, табурет, отхожее место. Во-вторых, нельзя находиться в праздности. Поэтому он немедленно приступил к составлению расписания своих работ, которому жестко следовал: в 5 утра вставал, умывался, одевался, читал прежде мало знакомую ему Библию. В 6 часов в тюрьме раздавался звонок, и начиналась «процедура парашечников». Около 6.30 — разнос кипятка. С 7 до 9 часов Набоков занимался итальянской грамматикой. В 9.00 — завтрак (обычно молоко и хлеб). С 9 до 12 — чтение литературы по уголовному праву. При этом с 7 до 10 утра в разное время (в зависимости от смены) имела место непродолжительная прогулка. С 12.00 можно было уже ждать обеда. В 13.30 Набоков садился писать. А в 16.00 наступало время мюллеровской гимнастики, обливаний в резиновой ванне. После этого заключенный приступал к серьезному чтению по истории или философии. В 18.00 — ужин, а потом до 21.00 — опять чтение, но уже легкое, преимущественно по-итальянски. В 21.00 Владимир Дмитриевич прибирал постель, отмечал на стене прошедший день и в 21.30 шел спать. И так три месяца...

После освобождения плотность жизни В. Д. Набокова не снизилась: он продолжал редактировать «Речь» (по словам сына, в газете он проводил ежедневно по девять часов) и «Право», участвовал в заседаниях ЦК и санкт-петербургской группы партии кадетов. Продолжали выходить и его научные труды. Например, в 1910 году была опубликована работа «Дуэль и уголовный закон», в которой убедительно доказана анахроничность этого явления. По мнению автора, государство могло бы легко свести дуэли на нет, определив суровые наказания за личные оскорбления и учредив столь необходимые «суды чести». Книга заканчивается следующим пассажем: «Пусть с этого дикого и отвратительного обычая будет сорвана мантия красивых слов и снят ореол якобы возвышенных мотивов, его укореняющих. И когда оно предстанет перед нами в своем истинном виде, в своей безобразной наготе, от него отшатнется каждый, в ком живо этическое чувство и кто внемлет голосу разума».

Но буквально через год самому Набокову пришлось требовать сатисфакции. Газета «Речь» обвинила некоего Снесарева во взяточничестве. В ответ тот опубликовал в «Новом времени» статью, прозрачно намекнув, что редактор «Речи» сам не бескорыстно женился на Рукавишниковой. Не желая иметь дела со Снесаревым, В. Д. Набоков вызвал на дуэль редактора «Нового времени» М. А. Суворина. Однако последний предпочел извиниться и опубликовать опровержение в своей газете. (В 1913 году за журналистскую деятельность В. Д. Набоков был подвергнут судебному преследованию: на него наложили штраф в размере 100 рублей за «не подобающие» корреспонденции из Киева по «делу Бейлиса».)

Но как бы ни были насыщены будни Набокова, какую бы активную жизнь он ни вел, оптимизм времен I Думы остался далеко позади. «Все поблекло, прежде всего Государственная дума, которая вселяет глубокое разочарование даже у людей, симпатизировавших октябристам, — писал он И. И. Петрункевичу 26 октября 1908 года. — А между тем нет и тени надежды, чтобы этому бессилию пришел конец. Напротив.

И так тянется по-будничному жизнь „граждан“, превращающихся постепенно в «обывателей». Чувствуется, что только новый толчок может сдвинуть нас с места, но этот толчок нам обойдется слишком дорого, будет стоить бесчисленных жертв».

С июля 1914 года, в качестве офицера ополчения, В. Д. Набоков был мобилизован и вместе с Новгородской дружиной (а с 1915-го — Тихвинским полком) служил в Старой Руссе, затем в Выборге, а с мая 1915 года — в Гайнаше на Рижском заливе. В сентябре 1915-го его перевели в Петроград делопроизводителем в Азиатскую часть Главного штаба. В период войны Набоков вынужденно отошел от партийных дел: офицер не имел права на активную политическую деятельность. Оставались лишь воскресные собрания на квартире И. В. Гессена. Правда, в феврале–марте 1917 года, в составе делегации представителей русской периодической печати Набоков отправился в Англию, где представлял кадетский официоз «Речь». Помимо него в делегацию входили: Е. А. Егоров («Новое время»), В. И. Немирович-Данченко («Русское слово»), граф А. Н. Толстой («Русские ведомости»), К. И. Чуковский («Нива»), А. А. Башмаков («Правительственный вестник»). Редакторы и журналисты ведущих изданий встречались с королем, министрами, парламентариями, общественными деятелями. Владимир Дмитриевич не был бы собой, если бы этим и ограничился. В воюющих Лондоне и Париже он посещал театры и музеи, ходил на концерты и очень переживал из-за отсутствия оперных представлений. Очерки из жизни столиц союзных держав регулярно появлялись на страницах «Речи», а по возвращении домой Набоков издал целую книгу — «Из воюющей Англии».

Февральская революция 1917 года вознесла В. Д. Набокова вместе с его партией на новую высоту. Это оказалось для него тем более неожиданно, что за время службы делопроизводителем он, в сущности, отдалился от политики. Сами февральские события впоследствии вспоминались ему сумбурной сменой впечатлений: он тогда не знал в точности, что происходит и что из этого выйдет. 3 марта 1917 года, отказавшись от поста финляндского генерал-губернатора, Набоков принимает должность управляющего делами Временного правительства (и занимает ее до апрельского кризиса); в тот же день, совместно с Б. Э. Нольде и В. В. Шульгиным, составляет акт об отречении великого князя Михаила Александровича. Участвует также в работе Юридического совещания и Комиссии по пересмотру и введению в действие Уголовного уложения.

1917 год потребовал от многих переоценки прежних взглядов, порой объединяя по ключевым вопросам левых и правых и в целом бессмысливая подобное деление. Так, уже весной Набоков приходит к выводу о необходимости выхода России из войны, о чем открыто говорит П. Н. Милюкову. Если к этому присовокупить тот факт, что в ходе апрельского кризиса он высказывался в пользу коалиции кадетов с эсерами и меньшевиками, можно сделать вывод, что Набоков представлял левое крыло партии. В то же время 2 сентября на заседании городской думы он же, будучи принципиальным противником смертной казни, произнес целую речь в ее защиту в случае выявления антивоенной пропаганды. А на Государственном совещании в августе 1917 года поддержал основные требования главнокомандующего Л. Г. Корнилова. Это вполне согласовывалось с общим настроением В. Д. Набокова — принципиального сторонника либеральной демократии западноевропейского типа, выступавшего за военную диктатуру ради спасения государственности.

Корниловское выступление, как известно, закончилось неудачей. Набоков искал иные способы выхода из политического тупика. Он был одним из инициаторов образования нового совещательного учреждения — Предпарламента и в октябре 1917 года вошел в его состав от кадетской партии. А вскоре пополнил еще одно коллегиальное учреждение — Комитет спасения Родины и Революции при городской думе Петрограда. Это случилось уже после прихода большевиков к власти. Истинный петербуржец

доживал последние дни в Северной столице. 23 ноября Набокова, как члена Комиссии по выборам в Учредительное собрание, арестовали и препроводили в Смольный. Там его держали под арестом до 27 ноября. На следующий день, по настоянию знакомых, Набоков отправился на юг, к семье, не имея возможности воспользоваться последней своей победой на выборах — в Учредительное собрание по Петрограду. А 29 ноября был опубликован декрет Совета народных комиссаров, ставивший партию кадетов вне закона.

С ноября 1917 года Набоков практически целый год прожил вместе с семьей в Гаспре, в крымском имении графини С. В. Паниной, падчерицы одного из основателей Конституционно-демократической партии — И. И. Петрункевича. Периодически ему приходилось ездить в Симферополь, так как с 15 ноября он — министр юстиции Крымского краевого правительства (одним из его лидеров был другой кадет-первоудец М. М. Винавер). А 2 апреля 1919 года Набоков вместе с семьей эмигрировал в Лондон. По пути были Стамбул, Пирей, Марсель, Париж, Гавр... В Гавре Е. И. Набокова послала сына со своим кольцом к ювелиру. Ее драгоценности оставались последним семейным достоянием. Правда, ювелир с подозрением отнесся к отощавшему молодому человеку с дорогой вещью в кармане и вызвал полицию...

В Лондоне В. Д. Набоков совместно с П. Н. Милюковым издавал журнал «New Russia». В ноябре 1920 года переехал в Берлин, где вместе с И. В. Гессеном редактировал газету «Руль». Он очень остро отреагировал на попытку Милюкова коренным образом изменить тактику кадетов: идея альянса конституционных демократов с социалистами была ему глубоко чужда. На заседании Берлинской группы Партии народной свободы 23 августа 1921 года он говорил так: «По любому вопросу практической политики сторонники Милюкова и мы смотрим различно. Нам нельзя приветствовать революцию, так как революция разрушила Россию, растлила народную душу, сделала из нас изгнанников. Мы остаемся противниками самодержавия и той куцей конституции, которая была до 1917 года, но мы отрицали и отрицаем революционные пути, и теперь мы ясно увидели, к чему они приводят. В этом основа нашего разногласия».

28 марта 1922 года в газете «Руль» появилась последняя статья В. Д. Набокова: «Сегодня в Берлин приезжает П. Н. Милюков, выступающий с лекцией на тему „Америка и восстановление России“». Те тактические разногласия, которые в свое время провели грань между нами и нашим старым товарищем и руководителем, и теперь еще не устранены. Он выступает в Берлине под флагом демократической группы партии народной свободы, напоминая и о существовании этой грани, и о том, сколько в ней условного, временного, случайного, непринципиального». Набоков протянул руку Милюкову — они встретились как старые приятели. На лекции Милюкова Набоков сидел в первом ряду Берлинской филармонии. А Милюков, по его собственным словам, идя на трибуну, думал, как бы смягчить выражения, чтобы не обидеть товарищей по партии.

Выступление закончилось. Милюков уже собирался спуститься с трибуны, как из зала раздался выкрик: «Я мщу за царскую семью!» Последовали три выстрела — Милюков остался невредим. Тогда началась беспорядочная стрельба: монархисты П. Шабельский-Борк и С. Таборицкий (а именно они и были террористами) испуленно стреляли во все стороны. Зал охватила паника. Набоков бросился на одного из стрелявших, схватил за руку, повалил. Раздался еще выстрел... Набоков погиб, прикрывая грудью старого товарища.

Владимира Дмитриевича Набокова похоронили через три дня под Берлином, на кладбище в Тегеле. Некрологами откликнулись на его смерть И. А. Бунин, А. И. Куприн, Д. С. Мережковский. А через две недели в газете «Руль» вышло стихотворение «Пасха»:

Я вижу облако сияющее, крышу
блестящую вдали, как зеркало... Я слышу,
как дышит тень и каплет свет...
Так как же нет тебя? Ты умер, а сегодня
сияет влажный мир, грядет весна Господня,
растет, зовет... Тебя же нет.

Но если все ручьи о чуде вновь запели,
но если перезвон и золото капли —
не ослепительная ложь,
а трепетный призыв, сладчайшее «воскресни»,
великое «цвети», — тогда ты в этой песне,
ты в этом блеске, ты живешь!..

Это стихотворение было посвящено смерти отца, и его автором был В. В. Набоков.

ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ МАКЛАКОВ:
*«Счастье и благо личности скажут нам,
куда направить развитие общества...»*

ВИКТОР ШЕВЫРИН

Еще в эмиграции о Василии Алексеевиче Маклакове было справедливо сказано, что само его имя покрывает своим блеском общественную и политическую культуру России. Непревзойденный адвокат, которого ходили слушать, как ходили на Собинова и Шаляпина, прославившийся на весь мир искусной защитой на процессе Бейлиса, лучший оратор II, III, IV Госдум, член ЦК кадетской партии, посол Временного правительства во Франции, замечательная и незаменимая фигура русской эмиграции, автор прекрасно написанных книг, мемуаров и множества статей. Даже в сравнении с П. Н. Милюковым, признанным лидером кадетской партии, он во многом выигрывал. «В Маклакове, — писала член кадетского ЦК Ариадна Тыркова, — было больше блеска, он был талантливее, обаятельнее. Его политический анализ был тоньше и своеобразнее».

Ораторский дар Маклакова производил одинаково сильное впечатление и на русских, и на иностранцев. Магию его дара увлекать своих слушателей испытали на себе Ллойд-Джордж, Клемансо, Вильсон, Орландо, Вивиани и многие другие выдающиеся политики своего времени. Маклакова не зря окрестили «златоустом» и «сиреной»: тайна его красноречия, по мнению некоторых современников, скрывалась в чеканной, изящной в своей простоте разумности, в убедительности рассуждения, в удачных сопоставлениях, в выводах, поражающих спокойствием своей логики. Эта логика была одной из форм проявления его необычайно сильного и гибкого ума.

Наверное, всю долгую, 88-летнюю жизнь Маклакова (1869–1957) можно считать одной большой удачей, а его самого — баловнем судьбы. Уже в юности его считали «идеально талантливым человеком». Он хорошо рисовал, писал стихи, увлекался театром и сам играл на сцене. Был обаятельным и неотразимым кавалером, «донжуанский» список которого мог бы поспорить с пушкинским не только своей обширностью, но и именами дам, известных всей России.

«Эстетик» до мозга костей, впечатлительный, тонко и глубоко чувствующий человек, Маклаков был в то же время и сильной, целеустремленной личностью. Благодаря своим талантам, профессиям историка, юриста, политика, он всю жизнь провел в среде известнейших людей России.

На формирование независимости и свободомыслия Маклакова оказал большое влияние его отец — Алексей Николаевич Маклаков, известный московский профессор-офтальмолог, приверженец Великих реформ, а также либерально настроенные друзья отца, активно работавшие в органах городского и земского самоуправления. Впрочем, в той же атмосфере вырос и брат Василия — Николай Алексеевич Маклаков, будущий министр внутренних дел, член Государственного совета, любимец Николая II. Василий Алексеевич невысоко ставил брата как министра, пустив гулять по России убийственное определение: «государственный младенец». К слову сказать,

к другому брату, Алексею, и к четырем сестрам он относился всегда с трогательным вниманием и любовью.

Ранние дневники Маклакова свидетельствуют о том, что уже к двадцати годам он выработал основы своего либерального мировоззрения. Рассуждая о «самом важном», о цели, назначении, благе общества, он подчеркивал, что главное — это «независимость и свобода личности». «Общество и власть для личности, а не наоборот», «счастье и благо личности... скажут нам, где прогресс, то есть куда нужно направить развитие общества». Истина, по Маклакову, есть то, что дает «спокойствие и счастье людей»: «Идея государства, отождествленная с идеей о свободе... Идея экономическая — с идеей равенства. Решение этих двух вопросов и есть то, что составит счастье людей». Будущее России определяется законами истории, которые, будучи общими для всех государств, «приведут и нас к общему с ними состоянию».

Уже в юности он провел «четкий водораздел» между собой и революционерами: «Знамя, которое поднимал Герцен, еще не было запачкано грязными руками; он был свободен, и это было самое важное». Теперь это знамя «успели вывалить в грязи», а молодой Маклаков не хотел быть «сообщником радикалов». Но и примыкать к кому бы то ни было он явно не желал: «Начиная дорогу во имя свободы, я лишь меняю господина. Ужасно и обидно думать, что кто-нибудь, какая-нибудь партия будет считать меня своим, будет изъявлять претензию на мою волю, на мои действия».

Поездка во Францию в 1889 году очень укрепила его в этих мыслях. Вообще он был в восторге от Франции: «Счастливейшие до сих пор минуты — это месяц, который я провел в Париже». Этот город очаровал его, оставил глубокий след в его биографии: сюда он часто приезжал; здесь в 1905 году он вступил в масонскую ложу; здесь был послом Временного правительства, а потом прожил всю вторую — эмигрантскую — половину жизни.

Но главное, тогда, в 1889 году, Франция в один месяц сделала для него то, чего и в несколько лет не достиг бы он в России. В тот год французы широко отмечали 100-летие своей Великой революции. И Маклаков, по его словам, «наслушался первоклассных ораторов и начитался речей Мирабо». С того времени и возник у него культ Мирабо, которому он остался верен до старости. Он считал единственно правильной основную политическую линию Мирабо: «сговариваться с властью» и проводить законодательным путем то исторически необходимое, что иначе, без этого, ломая законы и устои, все уничтожая на своем пути, будет пытаться сделать революция.

Уже со студенческих пор Маклаков начал общественную деятельность, вдохновляясь либеральными идеями. В 1891 году на грандиозном собрании университетской молодежи он выступил с первой в его жизни большой политической речью, в которой говорил о необходимости участия студентов в борьбе с голодом и о помощи бедным студентам. Речь встретили «такими аплодисментами и криками», писал позже Маклаков, что «на другой день я по всему университету был прославлен оратором». Но власть продолжала бороться с зародышами самоуправления в обществе, в том числе и в студенческой среде. Маклаков не раз отлучался властями от университета и даже отсидел несколько дней в Бутырской тюрьме.

Годы учения Маклакова в университете — это и поиски своего призвания, своего места в жизни. Сначала он поступил на естественный факультет, потом закончил историко-филологический, а затем экстерном — юридический. На историческом он с увлечением занимался под руководством знаменитого мэтра — профессора П. Г. Виноградова. И главным здесь для него было знать не только факты истории, но и их «внутренний смысл». Он особенно пытался понять начало XVII века, Смутное время — «время всеобщего расхищения Руси...».

Закончив исторический факультет, Маклаков, несмотря на уговоры Виноградова, других профессоров и своих друзей, делает решительный поворот в своей судьбе, экстерном «взяв» юридический факультет. На подготовку к экзаменам он потратил всего лишь несколько месяцев. Работал он одержимо. В комнате его на видном месте висел плакатик: «Гостей прошу более двух минут не сидеть». Благодаря своей феноменальной памяти, уму, знанию иностранных языков он глубоко и быстро разобрался в юридической литературе и, несмотря на первоначальный скепсис некоторых экзаменаторов, блестяще сдал экзамены.

Решение стать адвокатом было у Маклакова выношенным и серьезным. Главное зло русской жизни он видел в безнаказанном господстве в ней произвола, беззащитности человека против усмотрения власти, в отсутствии правовых оснований для самозащиты. Защита человека против беззакония, иначе, защита самого закона и была содержанием общественного служения адвокатуры. Маклаков допускал, что закон может быть несправедлив, но долг адвоката — обнажать это, хотя не в его власти закон изменить. Суд толкует законы, но он не может их толковать так, чтобы они противоречили праву. Право же есть норма, основанная на принципе одинакового порядка для всех. В торжестве «права» над «волей» — сущность прогресса. В служении этому — назначение адвокатуры.

В 1896 году он записался помощником присяжного поверенного А. Р. Ледницкого, но фактически сразу же стал работать вместе с всероссийской знаменитостью Ф. Н. Плевако. А. Ф. Кони в письме к патриарху российского либерализма Чичерину называл молодого Маклакова «умным защитником», «серьезным и сердечным», который в ряде случаев «уместнее Плевако». Даже близким Плевако он как адвокат «нравился больше». В 1901 году Маклаков стал присяжным поверенным. Они часто выступали на процессах вместе. Маклаков высоко ценил адвокатский дар Плевако и после его смерти написал о нем брошюру, в которой филигранно проанализировал его творчество. Многие в ней можно отнести и на счет самого Маклакова, хотя как адвокаты, ораторы они были очень своеобразны и неподражаемы.

Слава Маклакова между тем все росла. Он вел немало вероисповедных, «общественных» и политических дел, полагая, что защищать, оставаясь в рамках закона и приличия, было возможно. И это ему удавалось великолепно. Подзащитные Маклакова высоко ставили его профессионализм, всегда верили в его «благородное и доброе сердце». Его высочайшая профессиональная компетентность подтверждается частым появлением его статей в солидных юридических изданиях и его перепиской с выдающимися специалистами в сфере юридической науки и практики — С. А. Зарудным, В. Э. Вормсом и другими.

Его адвокатское искусство особенно впечатляюще проявилось в самом громком процессе начала XX столетия — деле Бейлиса. Маклаков начал свою речь так: «Нам говорят, что на этот процесс глядит весь мир, а мне хотелось бы забыть про это и говорить только с Вами, господа присяжные заседатели». И он говорил так просто и убедительно, что присяжные, хорошо поняв провокационную подоплеку дела, оправдали Бейлиса.

В ходе процесса на Маклакова с разных сторон оказывалось давление. Черносотенцы угрожали: «Пока не поздно, бросьте это грязное дело». Но его и поддерживали. А сразу же после процесса посыпались поздравления. М. А. Стахович прислал телеграмму: «Обнимаю. Чудная, главное, умная речь, убийственная прокуратуре, срамникам, руководившим обвинением». Прислали депеши Д. Н. Шипов, И. И. Петрункевич, другие лидеры российского либерализма. Маклакову писали и простые люди, рабочие, крестьяне. А в послании духовного правления Главной хоральной синагоги в Ростове-на-Дону было подчеркнуто: «Дело Бейлиса, которое Вы так геройски защищали, это дело всего мыслящего человечества. Вы были наиболее ярким, наиболее могучим вы-

разителем лучшего и наиболее благороднейшего, что есть в этом человечестве, что вылилось так сильно, так стихийно, так величественно-прекрасно в Вашей талантливой защите».

В качестве адвоката либерал Маклаков выручал из беды и революционеров, например видного большевика Л. Б. Красина. Но делал он это отнюдь не во имя успеха революции: «Мне приходилось в судах защищать революционеров-фанатиков, которые ставили ставку против власти на Ахеронт (хаос, силы тьмы, революцию. — *В. Ш.*), — признавал он. — Я уважал их героизм, бескорыстие, готовность жертвовать собой и для других, и для дела; я мог искренне отстаивать их против жестокости и беспощадности репрессий государственной власти, тем более что она часто на них вымещала свои же грехи и ошибки. Но я не мог желать победы для них, не хотел видеть их в России... властью, вооруженной тем произволом, против которого они раньше боролись и который они немедленно восстановили бы под кличкой революционной законности, и даже революционной совести».

С 1907 и вплоть до 1917 года В. А. Маклаков был членом Государственной думы. Думская работа стала его второй и главной профессией, отодвинувшей на задний план адвокатуру. Москва трижды избирала его в Государственную думу. Его политическая деятельность широко освещалась в печати того времени. Нередко и он сам выступал со статьями на страницах газет и журналов. Некоторые его публикации имели огромный резонанс в стране. Принимал он участие и в закулисных, скрытых от взоров широкой публики политических комбинациях, порой стоял в самом их эпицентре, особенно уже на «излете» истории российской монархии. И в любом политическом действии он руководствовался «принципом Мирабо» — оставался до конца верным идее эволюционного прогресса, компромиссу с исторической властью. Поступал он так не только в силу своих общетеоретических и общечеловеческих представлений об эволюции как магистрали цивилизации, но и учитывая конкретную специфику России, политическую незрелость ее общества и нестабильность страны, чреватые революцией, которой Маклаков откровенно боялся из-за той громадной цены, которую пришлось бы платить за нее России, выбитой из колеи нормального развития.

После катастрофы 1917 года, несмотря на, казалось бы, полное поражение российского либерализма, Маклаков только укрепился в своей приверженности либеральным идеям. В послебольшевистском будущем России Маклаков самое видное место отводил либерализму. Он особо отмечал, что «роль либеральных идей в России еще не сыграна и что выйти из той пропасти, куда столкнули Россию, вернуть ее к прежнему уровню можно только через них».

Главный исторический грех самодержавия, роковая ошибка старого строя, по словам В. А. Маклакова, состояли в том, что этот режим не сумел оценить истину, блестяще высказанную Бисмарком: сила революционеров не в идеях их вожаков, а в небольшой дозе умеренных требований, своевременно неудовлетворенных. По Маклакову, не без греха было и российское общество, от предпринимателей до интеллигенции, не исключая и лидеров кадетской партии, которые зачастую, из тактических соображений, игнорировали то, что «русское общество и народ своей политической зрелости еще не доказали».

Маклаков иначе, чем руководство его партии, относился к выбору средств политической борьбы, «желательности и возможности у нас революции». Он считал революцию «не только несчастьем, но и очень реальной опасностью». По его мнению, если революционный хаос вырвется наружу, то остановить его будет нельзя: в стране, столь насыщенной застарелой враждой, незабытыми старыми счетами мужика и барина, в стране, политически и культурно отсталой, падение исторической власти, насильственное разрушение привычных государственных скреп не могли не перевернуть общества до оснований, не унести с собой всей старой России.

Считается, что и сам Маклаков в начале своей общественной деятельности увлекся радикализмом. В январе 1901 года в Московском художественном кружке он произнес фразу, облетевшую Первопрестольную: «Если власть не умеет быть мыслью, то мысль должна быть властью». От административного «внушения» российского Мирабо спасло только то, что его красноречие списали на Татьянин день. В 1902 году он выступил в Звенигороде с еще одной радикально-антиправительственной речью (в связи с работой виттевского Особого совещания о нуждах аграрной промышленности), прошумевшей на всю Россию. Был он причастен и к работе издававшегося за границей журнала «Освобождение», ратовавшего за немедленные реформы.

Но во всех случаях симпатии Маклакова явно были на стороне тех, кто выступал за прочную конституцию. Умеренно либеральный характер кружка «Беседа» — неформального центра земской деятельности в стране — более всего отвечал самому складу его личности и мировоззрения. «Собеседники» импонировали ему прежде всего тем, что «будущее России представляли только в развитии существовавшего строя, а не в переворотах». Он считал, что при всех своих несовершенствах местные учреждения были «зачатками народовластия», а потому — «шагом к будущему конституционному строю». Он очень сожалел, что земцы в 1905 году подчинились «свободолюбивым, бескорыстным, но неопытным интеллигентам-теоретикам», и называл это «исторической трагедией».

Манифест 17 октября он воспринял с удовлетворением и не желал дальнейшей эскалации событий. В этом он расходился с П. Н. Милюковым, который полагал, что с объявлением Манифеста, а потом и Основных законов в стране «ничего не изменилось» и потому «борьба продолжается». По Маклакову, это был явный «перебор», «оглядка налево», где считали, что Манифест — лишь «первая брешь в самодержавии». Сам он полагал, что Основные законы «были настоящей конституцией и делали впервые правовое государство возможным».

Маклаков никогда не разделял мнение кадетских радикалов о том, что успех партии — в ее левизне, что к ней привлекают ее громкие лозунги: народовластие, учредилка, парламентаризм... Он считал, что назначение кадетов — не заигрывать, а бороться с социалистами; так же как и октябристов — с охранителями, обеспечивая таким образом политическую самостоятельность либерального лагеря. Вместо этого две по сути либеральные силы часто схватывались в бесплодной междоусобной борьбе, обессиливая друг друга.

Не по душе была Маклакову и деятельность кадетов в I Государственной думе: она казалась ему «сплошным отрицанием конституции». Дума претендовала на то, чтобы ее воля считалась выше законов; по позднему определению Маклакова, деятельность I Думы была «вакханалией, хуже первых дней революции 1917 года». Главный грех I Думы он видел в том, что она подорвала «мистику конституции», владевшую страной в 1904–1905 годах. Думский же финал — антиправительственное Выборгское воззвание (или, как его иронически называли, «Выборгский крендель») — пришелся Маклакову совсем не по вкусу, хотя он и выступил на суде адвокатом его «подписантов».

С началом деятельности II Государственной думы возшла звезда Маклакова как парламентария от кадетской фракции. Чтобы сделать Думу более работоспособной и снизить накал прений, Маклаков взялся на составление «Наказа», потребовавшего многих месяцев кропотливой, трудоемкой работы. Этот труд и ныне вызывает изумление глубиной и четкостью прорисовки всех аспектов жизнедеятельности российского парламента.

В целом же работа во II Думе, как писал Маклаков, «напоминала работу на судне, которое плывет среди минного поля». Сохранять Думу при ее партийном составе, бо-

лее левом, чем у ее предшественницы, было трудной задачей — недаром эта Дума считалась обреченной с момента ее избрания. Бывали даже случаи, когда именно Маклаков, по словам А. С. Суворина, «спасал Думу от самоубийства», от разгона, убеждая депутатов умерить антиправительственный радикализм. Да и накануне того дня, когда Дума была все-таки распущена, он ночью вместе с М. В. Челноковым, С. Н. Булгаковым и П. Б. Струве посетил П. А. Столыпина, чтобы попытаться предотвратить уже решенное и неизбежное.

И в следующих, III и IV Думах Маклаков неизменно выступал как «государственник» и постепеновец, сторонник компромисса и соглашения с «исторической властью». Но при этом он неизменно, с поразительным блеском и красноречием, обличал близорукие, по его убеждению, самоубийственные действия этой «исторической власти».

Многие исследователи полагают, что деятельность Маклакова накануне Февральской революции отмечена кричащей и неожиданной для рационалиста парадоксальностью. «Маклаков, — пишет, например, эмигрантский публицист М. Вишняк, — сыграл свою (и немалую) роль в предшествовавших Февральской революции событиях. Но как только революция произошла, он немедленно, буквально на следующий день, третьего марта, отвернулся от нее, стал к ней в оппозицию...»

Это действительно парадокс: играя важную роль в событиях накануне Февраля, Маклаков делал все от него зависящее, чтобы предотвратить, сдержать революцию. Он был уверен в том, что во время войны нельзя, опасно раскачивать государственный корабль. Революции «снизу» он предпочитал верхушечный переворот, который, несмотря на его острую форму и экстраординарность, вписывался в его представления об эволюционном развитии России. Маклаков считал, что только дворцовый переворот имел шансы «снять с повестки дня революцию». 3 ноября 1916 года он произнес речь, которую закончил такими словами о властях предрежащих: «Либо мы, либо они. Вместе наша жизнь невозможна». А потому во многом прав в своих мемуарах А. Ф. Керенский: «Консервативный либерал и монархист В. А. Маклаков сказал, что предотвратить катастрофу и спасти Россию можно, лишь повторив события 11 марта 1801 года (свержение Павла I. — *В. Ш.*)».

Маклаков принял самое непосредственное участие и в обсуждении деталей устранения Распутина, давая советы будущим участникам убийства Юсупову и Пуришкевичу, впрочем, сразу же предупредив заговорщиков, что у него «не контора наемных убийц».

И в самом начале Февральской революции Маклаков, к которому за советом и помощью обращались министры Покровский и Риттих, рекомендовал самые жесткие и экстренные меры, чтобы остановить начавшуюся революцию: немедленную отставку правительства, назначение новым премьер-министром генерала Алексева, формирование кабинета из популярных министров при опоре на Думу и так далее. «Торопитесь, — предупреждал он, — это уже последняя ставка».

Не щадил он в те месяцы и «своих» — либералов. Московские присяжные поверенные 12 августа 1917 года, накануне Государственного совещания, направили ему приветственный адрес, в котором подчеркивали: только он один «из февральских деятелей» имел мужество сказать Комитету Государственной думы, что будут прокляты народом те, кто своим участием дал ход революции, привел государство и народ к анархии и поражению.

Приветствовал Маклаков и Корнилова, когда тот приехал в Москву для участия в Государственном совещании. И до отъезда в Париж в октябре 1917 года в качестве посла российского Временного правительства Маклаков был одной из самых заметных фигур в политической жизни России. А уже после отъезда Москва снова избрала его депутатом — на этот раз Учредительного собрания.

Особая страница в политической биографии Маклакова — его дипломатическая деятельность в годы Гражданской войны. По словам российского дипломата Г. Н. Михайловского (сына писателя Гарина-Михайловского), Маклаков, не дипломат по профессии, но человек выдающегося ума, «с гениальным чутьем предугадал ахиллесову пяту дипломатии как Деникина, так и Врангеля». Оставаясь русским послом в Париже до официального признания Францией Советской России и будучи в центре международной дипломатии Белого движения, Маклаков делал главную ставку в борьбе с большевизмом не столько на западные демократии, сколько на союз с буржуазной Польшей. «Поляки — единственные наши союзники против большевиков... — полагал он и говорил Михайловскому: — Представьте, никто не желает понять — ни Сазонов, ни Деникин, ни Колчак, ни Милюков. Я абсолютно один в этом вопросе. Все мои попытки убедить в этом власть безуспешны».

Именно в польских делах дипломатия Добровольческой армии, полагал Маклаков, потерпела катастрофу, и немедленным следствием этого краха была эвакуация Крыма, как в свое время отсутствие соглашения с поляками позволило большевикам бросить все силы против Деникина и принудить его оставить Ростов и Новороссийск.

Большой ошибкой деникинского правительства Маклаков считал и его политику в аграрном вопросе. Он говорил, что до революции стоял за среднее и крупное землевладение с точки зрения агрономической, но «теперь, когда оно фактически рухнуло, восстанавливать его — безумие». «Аграрная реставрация — самая крупная, фатальная ошибка Деникина, и никакая стратегия не могла его спасти!»

Вместе с П. Б. Струве Маклаков сумел добиться официального признания Францией правительства Врангеля. Но и в те дни он был полон пессимизма в отношении перспектив Белого движения: «Я все сделал, что от меня зависело, чтобы в глазах французов превратить нашу Вандею в русскую контрреволюцию, которая вот-вот одолеет большевиков. Но я в это не верю...»

2 июня 1921 года на совещании членов ЦК кадетской партии Маклаков заявил, что для него исходный факт — «окончательная гибель белых фронтов». Но из поражения белых армий он призывал извлечь урок на будущее: «Надо сбрасывать большевиков изнутри... Спасения можно ждать только от будущих поколений». И только от эволюции самой России — без новой революции и иностранной интервенции.

В русской эмиграции В. А. Маклаков сыграл выдающуюся роль, оказавшись в самом центре «русского Парижа», став общепризнанным представителем интересов российского зарубежья, его защитником и ходатаем. Он стоял во главе «Центрального офиса по делам русских беженцев», «Русского комитета объединенных организаций», «Эмигрантского комитета» и других организаций. И самый масштаб его личности, ее неординарность были таковы, что, несмотря на природную скромность, он всегда привлекал к себе всеобщее внимание, играя первую скрипку во многих эмигрантских дискуссиях и торжествах.

Во время оккупации немцами Парижа В. А. Маклаков не скрывал своих симпатий и антипатий: он всей душой желал поражения Гитлеру и вел себя с полным достоинством и большим мужеством. В конце концов он был арестован и несколько месяцев просидел в тюрьме.

Либералом и эволюционистом он остался и тогда, когда на волне патриотизма и близкой уже победы над нацистской Германией посетил (не без раздумий и колебаний) в феврале 1945 года во главе группы эмигрантов советское посольство. В беседе с послом А. Б. Богомоловым он настойчиво проводил мысль, что новое прочно только тогда, когда приводит к синтезу со старым: «Мы знаем, чего стоит стране революция, и еще новой революции для России не пожелаем. Мы надеемся на ее дальнейшую эволюцию, на синтез ее с остальным миром». Но он высказал Богомолову и то, что тому

едва ли было приятно слышать: «Дорожить не самой Россией, а ее временной, советской формой значило бы уподобиться Константину Леонтьеву, который писал: на что нам Россия, если она не самодержавная, не православная?»

«Советскую форму» Маклаков считал для России преходящей и временной. И позже, в начале 1950-х, он верил в возможность эволюции советского строя. При всем его демократизме и либерализме, его не вполне устраивали и западные демократии — они не могли предотвратить ни мировых войн, ни появления тоталитарных режимов. «Еретические мысли» в мемуарах Маклакова, написанных им в последние годы жизни, — словно бы его завещание человечеству: «Если наша планета не погибнет раньше от космических причин, то мирное общежитие людей на ней может быть построено только на началах равного для всех, то есть справедливого, права. Не на обманчивой победе сильнейшего, не на самоотречении или принесении себя в жертву другим, — а на справедливости... Отдельным людям остается руководиться правилом Льва Толстого: делай, что должен, а там будет, что будет».

Именно этим правилом руководствовался и сам Василий Алексеевич Маклаков, «старинный молодой человек», намного обогнавший свое время и не заслуживший ни чинов, ни ученых степеней, а «всего лишь» бывший, по определению его друга В. А. Ледницкого, «самым умным из всех русских людей, которых пришлось в жизни встретить...».

ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ КОКОШКИН:
*«Праву должны быть подчинены все —
от высшего представителя власти
до последнего гражданина»*

ВАЛЕНТИН ШЕЛОХАЕВ

Древний род Кокошкиных восходит к легендарному касожскому князю Редеде. Его прямой потомок Василий Васильевич Кокошка и стал основателем рода, который внесен в VI часть родословной книги Московской, Нижегородской и Петербургской губерний.

Дед Ф. Ф. Кокошкина — действительный статский советник, московский прокурор, драматург, директор императорских театров в Москве, председатель Московского общества любителей российской словесности. Отец имел чин надворного советника, служил комиссаром по крестьянским делам в городе Холме Люблинской губернии. В этом небольшом польском городке в 1871 году и родился Федор Кокошкин — будущий известный ученый и политик, один из лидеров кадетской партии, министр Временного правительства.

Когда Федору было около двух лет, а его младшему брату Владимиру — лишь несколько месяцев, скоропостижно скончался отец. Оставшись с двумя малолетними детьми, мать больше замуж не выходила и посвятила свою жизнь воспитанию сыновей. Она переехала в город Владимир на Клязьме, где стала директором женской гимназии. Материальный достаток позволял снять большую квартиру с огромным фруктовым садом. По наследству от деда семье досталось большое родовое имение в Звенигородском уезде Московской губернии.

С 1880 по 1889 год Федор учился во Владимирской классической гимназии, которую окончил с золотой медалью. Затем поступил на юридический факультет Московского университета. За блестящее сочинение «„Политика“ Аристотеля» Федор был оставлен в 1893 году при университете на кафедре государственного права для подготовки к магистерскому экзамену. В 1896 году была издана его первая научная работа — «К вопросу о юридической природе государства и органов государственной власти». В 1897 году Ф. Ф. Кокошкина избрали гласным Звенигородского уездного земского собрания. В том же году он сдал магистерский экзамен и после прочтения пробных лекций был зачислен на должность приват-доцента, а затем откомандирован Московским университетом за границу для продолжения образования и подготовки диссертации.

В течение двух лет он слушал лекции и работал в библиотеках Гейдельберга, Страсбурга, Берлина и Парижа. В Гейдельберге он занимался под руководством ученого с мировым именем, профессора Георга Еллинека, с которым потом на протяжении долгих лет переписывался и поддерживал тесные дружеские отношения.

В конце 1899 года, по возвращении в Россию, Федор Кокошкин начал читать в Московском университете спецкурс о местном самоуправлении, руководил практическими занятиями студентов по государственному праву. Одновременно он преподавал в Лицее цесаревича Николая. В 1900 году молодого приват-доцента избрали глас-

ным Московского губернского земского собрания от Звенигородского уезда, привлекли к работе в финансовой и по народному образованию комиссиях, а также во временных комиссиях о мелкой земской единице и пересмотре земского избирательного права. Через три года он был избран членом Московской губернской управы, руководил ее экономическим отделом, ведавшим вопросами сельскохозяйственной и кустарной промышленности. Он также исполнял обязанности помощника секретаря Московской городской думы и одновременно секретарские обязанности в двух комиссиях — организационной и по подготовке обязательных постановлений.

1903 год можно считать переломным в личной и общественной судьбе Ф. Ф. Кокошкина. В возрасте тридцать двух лет он женился. Вместе с тем с этого года он с головой уходит в политику, в которую был вовлечен близкими друзьями и коллегами по Московскому губернскому земству, — Д. Н. Шиповым, Ф. А. Головиным, Н. И. Астровым, С. А. Муромцевым, Н. Н. Щепкиным, Н. Н. Львовым. Кокошкин становится одним из самых активных участников ряда полулегальных и нелегальных либеральных организаций — кружка «Беседа», «Союза земцев-конституционалистов», «Союза освобождения».

Обладая обширной эрудицией, природной способностью к теоретическому мышлению, тонким пониманием общественных потребностей, Кокошкин внес заметный вклад в научную разработку проблем государства и права. Государство, всегда подчеркивал он, представляет собой не простую совокупность индивидов, а сложное соотношение между ними, которое может быть понято совокупными методами социологической, юридической и психологической науки. Считая государство результатом накопления в течение многих веков «запаса культуры», Кокошкин утверждал, что оно, по мере общественной эволюции, рационализируется и демократизируется, постепенно становясь правовым государством. Суть социального прогресса, по мнению Кокошкина, состоит в уменьшении принудительной роли государства по отношению к личности за счет усиления его воспитательной и образовательной функций. Параллельно с теоретической работой Кокошкин разрабатывал такие актуальные для России проблемы, как соотношение централизации и децентрализации, автономии и федерализма, местного самоуправления.

Свои энциклопедические знания в области теории и истории государства и права Ф. Ф. Кокошкин творчески использовал при разработке либеральных проектов российской конституции. Он входил в состав «освобожденческой» группы юристов (Н. Ф. Анненский, И. В. Гессен, В. М. Гессен, П. И. Новгородцев, С. А. Котляревский, И. И. Петрункевич), разработавшей летом 1904 года проект «Основного государственного закона Российской империи». Этот проект был издан в марте 1905 года в Париже П. Б. Струве. В октябре 1904 года Кокошкин активно участвовал в подготовке знаменитых «11 пунктов» конституционной программы, принятой земским съездом в ноябре 1904-го. Эта программа, названная П. Н. Милюковым «петицией прав», сыграла важную роль в развитии либерально-оппозиционного движения накануне и в годы первой русской революции.

В либеральных кругах авторитет Кокошкина был настолько велик, что его единодушно избрали в состав Организационного бюро земских съездов, руководившего работой земско-городских съездов 1905 года. По поручению Оргбюро на апрельском земском съезде 1905 года Кокошкин выступил с программным докладом «Об основаниях желательной организации народного представительства в России», который летом был напечатан в газете «Русские ведомости», а в 1906 году издан отдельной брошюрой. Исходная мысль доклада — «нормальная политическая жизнь государства должна быть основана не на борьбе классов, а на борьбе политических партий». В нем доказывалась необходимость создания в России двухпалатного народного

представительства с законодательными функциями, введения всеобщего избирательного права, отмены имущественного или податного ценза («нужно привлечь весь народ к государственной жизни, войти на общий суд, чтобы узнать, что будет осуждено и что оправдано»).

Одновременно Кокошкин предложил на рассмотрение делегатов съезда конкретную программу практических действий: 1) преобразование земских и городских учреждений на демократических началах; 2) установление взаимодействия между центральными и местными органами в виде особой Земской палаты, состоящей из выборных от губернских земских собраний и городских дум больших городов. Первоочередной задачей Кокошкин считал составление проекта русской конституции. Исходным материалом для него послужил «освобожденческий» вариант, а также либеральный проект избирательного закона. 30 июня 1905 года разработка проектов была завершена, и 6 июля, в день открытия очередного земско-городского съезда, они были опубликованы в газете «Русские ведомости», розданной делегатам.

На сентябрьском земско-городском съезде 1905 года Кокошкин по поручению Оргбюро выступил с основным докладом «О правах национальностей и децентрализации». Он был твердым сторонником того, что общественная демократизация должна предшествовать государственной децентрализации. Именно поэтому он до поры отстаивал принцип унитарного устройства Российского государства, решительно высказываясь против леворадикальных требований скорейшего политического самоопределения наций и федерализации, что, по его мнению, открывало прямой путь к распаду государства и анархии. Вопросы о пределах и формах автономии и в особенности о границах автономных областей следовало разрешать лишь после «установления прав гражданской свободы и правильного народного представительства с конституционными правами для всей империи». Преждевременная постановка вопроса о предоставлении автономии отдельным областям грозила, как предостерегал Кокошкин, «серьезной опасностью самому делу политической и гражданской свободы в нашем обществе». Но и после политического освобождения страны автономия должна вводиться постепенно, по мере «выяснения потребностей в ней местного населения и естественных границ автономных областей», путем издания особых имперских указов. Общегосударственный закон должен был определить как пределы автономии, так и разграничительные функции между общеимперским и местным законодательным собраниями, причем принятые местными представительными органами законы получали юридическую силу только в случае утверждения их центральной властью. По существу, речь шла о распространении на автономную область прав местного самоуправления (автономия — «высшая ступень развития местного самоуправления»). Исключение из общего правила, с точки зрения Кокошкина, представляла только Польша; предполагалось, что она будет выделена «в особую автономную единицу с сеймом, избираемым на основании всеобщего, прямого, равного и тайного голосования, при условии сохранения государственного единства империи». Основные положения доклада стали основой разрабатываемой в то время программы Конституционно-демократической партии. Кокошкина можно считать автором национального раздела программы.

Кокошкин являлся одним из основателей и лидеров партии кадетов, бессменным членом ее ЦК, а также членом Московского городского и губернского комитетов. На протяжении двенадцати лет существования партии он участвовал в разработке основополагающих партийных документов, законодательных проектов и предложений, избирательных платформ. ЦК поручал Кокошкину подготовку наиболее важных и ответственных докладов и выступлений на партийных форумах, особенно в тех случаях, когда предстояло корректировать ее программу и круто менять тактический курс.

В октябре 1905 года Кокошкин вместе с Ф. А. Головиным и князем Г. Е. Львовым был делегирован для участия в переговорах с премьер-министром С. Ю. Витте о формировании нового правительственного кабинета. В этих переговорах Кокошкину принадлежала ключевая роль. Условием поддержки правительства со стороны либеральной оппозиции он выставил следующие требования: 1) реализовать в полном объеме положения Манифеста 17 октября 1905 года; 2) созвать Учредительное собрание на основе всеобщего, равного, прямого и тайного избирательного права для выработки конституции; 3) дать политическую амнистию. Отказ Витте удовлетворить требования кадетской делегации привел к срыву переговоров.

Принципиально важное значение имело выступление Кокошкина на II съезде кадетской партии 6 января 1906 года, в котором он обосновал необходимость участия кадетов в выборах в Государственную думу по закону 11 декабря 1905 года и сформулировал основные задачи ее деятельности в Думе. 10 января он изложил свои доводы в пользу изменения тринадцатого параграфа программы партии о форме государственного устройства. Кокошкин предложил отказаться в данной политической ситуации от требования республики, ибо это потребует «потоков крови». Большинство делегатов поддержали предложенную им формулировку: «Россия должна быть конституционной и парламентской монархией».

После II съезда, взявшего курс на подготовку выборов в Думу, Кокошкин не только принял непосредственное участие в избирательной кампании, но и показал себя прекрасным пропагандистом, подлинным мастером полемики с политическими противниками, в том числе и с непосредственными конкурентами — «Союзом 17 октября». По поручению ЦК в феврале 1906 года он подготовил блестящую полемическую брошюру «Конституционная партия перед судом Союза 17 октября», материалы которой оперативно публиковались в «Русских ведомостях». 8–9 апреля 1906 года на заседании ЦК был заслушан и одобрен проект избирательного закона, подготовленный Кокошкиным совместно с С. А. Муромцевым и А. Н. Максимовым. На этом же заседании ЦК поручил Кокошкину совместно с Ф. И. Родичевым и В. Д. Набоковым подготовить проект закона о правах национальностей.

Выборы в I Думу стали триумфом кадетской партии: огромный вклад в эту победу внесла разносторонняя и неутомимая деятельность Кокошкина. В ходе избирательной кампании он многократно выступал на предвыборных собраниях в Москве, в уездных городах Московской губернии, в Калуге. 14 апреля 1906 года выборщики Московского городского избирательного собрания выбрали Ф. Ф. Кокошкина депутатом I Думы от Москвы.

В I Думе Ф. Ф. Кокошкин занял ответственный пост товарища (заместителя) секретаря, вошел во многие думские комиссии (для подготовки Наказа думским депутатам о неприкосновенности личности, о свободе собраний, о гражданском равенстве, бюджетную, редакционную). Вскоре он стал членом бюро думской кадетской фракции. Вместе с Петрункевичем, Набоковым, Родичевым, Мухановым, Винавером Федор Федорович входил в состав «распорядительной комиссии», задачей которой было оперативное принятие тактических решений и подготовка заявлений от имени кадетской партии по самым неотложным вопросам.

В течение 72 дней работы I Думы Кокошкин десять раз поднимался на думскую трибуну. Его блестящие выступления — образец подлинного ораторского искусства. По решению думской кадетской фракции речи Кокошкина в I Думе были изданы отдельной брошюрой. Являясь, по определению П. Н. Милюкова, «главным экспертом по конституционным вопросам», Кокошкин, по сути, обосновал ответные меры партии в связи с роспуском Думы — он принимал активное участие в разработке текста Выборгского воззвания, призвавшего к акциям гражданского неповиновения. Впрочем,

убедившись вскоре, что этот призыв не встретил широкой поддержки у населения, Кокошкин одним из первых высказался за корректировку партийной тактики: «Тактика парламентского штурма не удалась — всеильная Дума снимается с очереди»...

На судебном процессе над инициаторами Выборгского воззвания, состоявшемся 12–18 декабря 1907 года в Петербурге, Кокошкин выступил с речью: «Мы хотели способствовать тому, чтобы Россия сделалась страной свободной, правовым государством, где право было бы поставлено выше всего, где праву подчинены были бы все — от высшего представителя власти до последнего гражданина... Мы хотели сделать Россию страной сильной и могущественной...; не внешним насильственным единством, а единством внутренней организации, которое совместимо с разнообразием местных условий с разными особенностями всех народностей, ее населяющих». Выборгское воззвание он представлял как «крайнее средство защиты конституции», как действие, «укрепляющее основы государственности, пробуждающее сознательное отношение граждан к своим обязанностям».

Петербургская судебная палата приговорила подписавших Воззвание к трехмесячному одиночному тюремному заключению с последующим лишением права быть избранным не только в Думу, но и в органы местного самоуправления. Еще до суда, 29 января 1907 года, московское дворянство исключило Кокошкина и других московских депутатов-дворян из своего состава. С 13 мая по 11 августа 1908 года Кокошкин вместе с другими депутатами-москвичами отбывал наказание в одиночной камере Таганской губернской тюрьмы.

Лишившись права занимать выборные должности, Кокошкин решил вплотную заняться публицистикой, вернулся к преподавательской работе. С декабря 1906 по апрель 1907 года он был фактическим редактором московской кадетской газеты «Новь», но в связи с ухудшением здоровья был вынужден оставить этот пост и уехать на несколько месяцев на лечение за границу. С сентября 1907 года он приступил к чтению курса лекций по истории русского государственного права в ряде московских учебных заведениях — университете, Коммерческом институте, Народном университете им. А. Л. Шанявского, на Высших женских юридических курсах. С конца 1907 года он становится постоянным сотрудником газеты «Русские ведомости», регулярно публикуя в ней статьи по самому широкому кругу проблем — о парламентаризме, национальном вопросе, о положении старообрядцев. Одновременно он печатал статьи, фельетоны, юмористические заметки в газетах «Дума», «Путь», «Право», «Речь», в журналах «Новый путь», «Русская мысль», «Финляндия», «Юридический вестник», «Юридическая библиография». Многие его статьи публиковались во французской газете «Le Radical» и в швейцарской «Le Genevois».

Еще в период Балканских войн Ф. Ф. Кокошкин выработал последовательную патриотическую позицию, сочетавшую либеральный подход с защитой национальных интересов. В конце 1912 года на одном из кадетских совещаний он заявил: «Балканский вопрос жизненно важен... Пролиты — жизненный вопрос для России. Распределение сил на Балканском полуострове также далеко не безразлично. Наши симпатии должны быть, конечно, на стороне славян. Нельзя забывать об обязанности нашей культуры...»

В годы Первой мировой войны национальные проблемы в полиэтнической стране приобрели особую остроту. «Идущие в бой инородцы, — подчеркивал Кокошкин, — должны знать, что они идут на защиту общего отечества, которое для них не чужой, а свой дом, в котором есть место для свободной жизни и развития их народности».

13 сентября 1914 года на заседании ЦК Кокошкину было дано поручение подготовить доклад о будущем государственном устройстве Польши. В течение нескольких месяцев он напряженно работал над «Проектом закона об устройстве Царства Польского», который в ЦК по праву называли «Проектом Ф. Ф. К.». По мысли Кокошкина,

Польша должна и впредь оставаться «нераздельной частью государства Российского» и подчиняться действию общегосударственных законов и установлений. В своих этнографических границах Польша выделялась в особую автономную единицу с законодательным однопалатным сеймом, избранным на основе всеобщего избирательного права. Во главе управления Польши предусматривался наместник, назначаемый и увольняемый царем. В компетенцию наместника включалось назначение и увольнение министров, а за монархом оставалось право роспуска сейма и утверждения всех принимаемых им законов. Проект предусматривал отмену вероисповедных ограничений, вводил употребление «местных языков» как в делопроизводстве, так и в преподавании. После обсуждения проекта на заседаниях ЦК (апрель–май 1915 года) его было решено передать в думскую кадетскую фракцию. Фактически «Проект Ф. Ф. К.» стал для кадетов своего рода моделью для разработки других национальных вопросов, в частности финляндского и литовского.

3 января 1916 года Кокошкин выступил с программным докладом «Об общем политическом положении» на съезде кадетских комитетов подмосковных губерний. Он остановился на анализе перспектив революции в России. Считая, что революция во время войны грозит России военным поражением, он признал, что «нельзя отрицать возможность революции после войны, хотя еще нельзя считать доказанной ее неизбежность». Кокошкин предрекал, что если все же произойдет революционное разрушение старого строя, то в стране неизбежно установится «военная диктатура или реакция», поскольку «общество еще не сговорилось и не готово к созданию нового строя». Кокошкин настаивал, что в создавшейся ситуации «самая важная и настоятельная внутриполитическая задача» состоит не в подготовке революции, а в «организации и объединении всех общественных сил страны». В ходе реализации этой стратегической задачи «мы одновременно и поможем обороне, и подготовим различное участие общества во власти». В этих рассуждениях Кокошкина выражена квинтэссенция умеренно либеральной политики в условиях нарастания политического кризиса в России.

Февральскую революцию 1917 года Кокошкин принял как необходимую оборонительную меру в условиях нависшей над страной смертельной опасности военного поражения. Вместе с тем он неоднократно предостерегал, что «Временное правительство не устоит под напором все усиливающегося революционного урагана, и нам придется пройти через все стадии революционного процесса и испытать все ужасы его крайних выражений».

Сразу же после Февральского переворота Кокошкин по решению кадетского ЦК был включен в состав специальной комиссии, перед которой была поставлена задача разработать комплекс вопросов, связанных с предстоящим созывом Учредительного собрания. 20 марта 1917 года Кокошкин сменил В. А. Маклакова на посту председателя Юридического совещания при Временном правительстве, призванного разработать оптимальную модель государственного устройства будущей России.

25 марта 1917 года Кокошкин выступил с докладом на VII съезде кадетской партии, теоретически и политически обосновав необходимость изменения тринадцатого параграфа программы партии о форме государственного устройства и отказа от требования парламентско-монархического строя. В 1905 году, говорил он, конституционная монархия была прогрессивной переходной формой от абсолютизма к народоправству в условиях, когда большинство населения, особенно крестьяне, еще продолжали верить в «монархический символ». После февраля 1917 года ситуация коренным образом изменилась: демократическая республика стала реальным фактом, и партия должна убеждать народ принять республиканский образ правления, при котором «наш демократический принцип господства воли народа осуществляется в самом полном и чистом виде».

В своем знаменитом докладе Кокошкин особо остановился на механизме избрания президента республики и пределах его прав. В России, полагал Кокошкин, «всенародное избрание, ставящее так высоко Президента, наделяющее его огромными фактическими возможностями влияния, может быть опасно для свободы; оно может сделать должность Президента республики объектом стремлений для всевозможных честолюбцев, которые, выступая на этом поприще, могут приобрести широкую популярность в стране различными широкими обещаниями, которые они впоследствии нарушают и для которых подобное всенародное избрание служит мостом к государственному перевороту». В силу этого Кокошкин предлагал избирать президента республики народным представительством на точно фиксированный срок. При этом президент должен управлять страной через посредство ответственного перед народным представительством министерства.

На VIII съезде кадетской партии (май 1917 года) Кокошкин выступил с докладом «Об автономии и правах национальностей». Сохраняя верность лозунгу «единой и неделимой России», он снова доказывал, что в условиях политической нестабильности и усиления межнациональной конфронтации разделение страны по национально-территориальному принципу неприемлемо, а немедленный переход к федерации «осложнил бы до крайности введение самой республиканской конституции». Оптимальным способом решения национального вопроса он считал предоставление народностям не территориальной, а широкой культурно-национальной автономии с одновременным осуществлением децентрализации управления и законодательства.

Постановлением Временного правительства от 21 мая 1917 года Ф. Ф. Кокошкин был назначен председателем Особого совещания для подготовки проекта положения о выборах в Учредительное собрание с оставлением его сенатором 1-го департамента Правительствующего сената и председателем Юридического совещания. Под непосредственным руководством Кокошкина были разработаны основные принципы выборов в Учредительное собрание, определены сроки его созыва, оптимальное количество депутатов, структура и пределы его компетенции. Согласно проекту Кокошкина, Учредительное собрание еще до принятия конституции должно было организовать на началах парламентаризма временную исполнительную власть: избрать временного президента, который через ответственное министерство будет осуществлять исполнительные властные функции. Временный президент должен был избираться тайным голосованием на срок не более одного года. Он наделялся правом «почина по делам законодательства» и издания указов, контроля за исполнением законов; являлся проводником внешней политики, главнокомандующим вооруженными силами страны; назначал и увольнял министров. Однако его указы и распоряжения должны были скрепляться подписью председателя Совета министров или одного из полномочных министров.

Временное правительство неоднократно предлагало Кокошкину занять посты министра народного просвещения, юстиции или же специально для него созданный пост министра Учредительного собрания. Однако он не соглашался («на все эти административные посты меня не тянет... не считаю себя годным для них...»). По единодушному признанию друзей, он не был тщеславен, не стремился к власти. Больших трудов стоило ЦК партии уговорить Кокошкина занять пост государственного контролера во втором составе коалиционного Временного правительства. Как вспоминал А. А. Кизеветтер, «именно ему партия хотела доверить руководство своей политикой в правительстве». Характерно, что, когда в то тревожное время среди членов партии возникали разговоры о том, кто мог бы стать лидером в случае болезни или смерти П. Н. Милюкова, все единодушно называли Ф. Ф. Кокошкина.

Кокошкин довольно быстро разочаровался в способности премьер-министра А. Ф. Керенского повлиять на развитие революционного процесса в стране. Какое-то время он возлагал надежды на установление военной диктатуры генерала Л. Г. Корнилова. После поражения корниловского выступления Кокошкин покинул правительство, сосредоточившись на выработке избирательного закона по выборам в Учредительное собрание.

По списку кадетской партии Кокошкин был избран депутатом Учредительного собрания. Первоначально предполагалось открыть собрание в Петрограде 28 ноября 1917 года. Но обстановка была тревожной, и друзья уговаривали Кокошкина не ехать в столицу. Однако он отвечал: «Я не могу не явиться туда, куда меня послали мои избиратели. Это значило бы для меня изменить делу всей моей жизни...»

Утром 27 ноября Ф. Ф. Кокошкин вместе с женой прибыл из Москвы в Петроград. Вечером на квартире графини С. В. Паниной состоялось заседание ЦК кадетской партии, которое затянулось за полночь, и некоторые его участники, в том числе и Кокошкин, остались ночевать. На следующее утро, в 7.30, все они были арестованы и под охраной солдат латышского полка доставлены в Смольный. В комнате следственной комиссии их продержали до часу ночи, а затем отправили на автомобилях в Петропавловскую крепость. В третьем часу ночи арестованные были доставлены в Трубецкой бастион и размещены по одиночным камерам.

Через несколько недель заключения у Кокошкина и его друга, тоже бывшего министра-кадета, Андрея Ивановича Шингарева резко ухудшилось здоровье. 6 января 1918 года, около 7 часов вечера, Кокошкин и Шингарев под охраной красноармейцев были перевезены в Мариинскую больницу. Их разместили на третьем этаже: Кокошкина — в палате № 27, Шингарева — напротив, в палате № 24. Жена Кокошкина вспоминала, что в тот последний вечер она говорила с мужем о поэзии; Федор Федорович вспоминал стихи Ахматовой. Около 8 часов вечера жена ушла, а сестра Шингарева оставалась с братом до 8.30.

После смены караула (около 9.00) командир наряда Басов доложил своему командиру, начальнику отряда бомбометальщиков Куликову, что заключенные два часа назад доставлены в больницу. В ответ Куликов возмутился, что Басов «не смог расправиться с ними по дороге», и послал его в ближайший морской экипаж, чтобы взять там матросов и с их помощью устроить самосуд. Басов выполнил приказание. Около тридцати матросов кораблей «Ярославец» и «Чайка» охотно вызвались пойти с Басовым. С криками: «Вырезать!», «Лишние две карточки на хлеб останутся!» — они ринулись к больнице. Увидев толпу вооруженных матросов, перепуганный сторож отпер двери. Сначала матросы ворвались в палату Шингарева. Тот сидел на кровати, прислонившись к стене. Здоровенный матрос-эстонец Крейс схватил его за горло, повалил на кровать и стал душить. Застигнутый врасплох, Шингарев попытался спросить: «Что вы, братцы, делаете?» — однако матросы, крича, что они убивают министров в отместку за 1905 год, стали стрелять в него из револьверов и колоть штыками. Затем убийцы направились в палату к Кокошкину, который уже спал. Тот же Крейс схватил его за горло, а другой матрос — Матвеев — двумя выстрелами в упор убил его.

После ухода матросов и красноармейцев дежурный врач констатировал смерть Кокошкина, но Шингарева он застал еще живым. Будучи в сознании, истекающий кровью Андрей Иванович, сам опытный врач, отказался от перевязки и попросил морфия. Через полтора часа он умер. Вспоминая о зверском убийстве своих товарищей, П. Н. Милюков писал: «Одной солдатской пулей легко уничтожить хрупкую и тонкую организацию; но сколько поколений нужно, чтобы создать ее! Архимед и варвары — история повторяется».

...ЦК кадетской партии принял решение превратить похороны своих товарищей в политическую антибольшевистскую акцию. Ф. Ф. Кокошкин и А. И. Шингарев были похоронены на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. На панихиде в соборе присутствовали члены кадетского ЦК, бывшие депутаты I–IV Государственных дум, депутаты Учредительного собрания от оппозиционных партий, представители общественных и политических кругов.

Как писал о Кокошкине его коллега, видный кадет М. М. Винавер, «он был рожденный борец, в тех высших культурных формах, до которых додумывалось человечество, где оружием является слово, ареной — внимлющее слову организованное человеческое общество, а целью — воплощение в форму права заветных идеалов общезжития».

АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ ШИНГАРЕВ:
*«Всякий самовольный захват является
незаконным расхищением народного
богатства...»*

МИХАИЛ КАРПАЧЕВ

Один из виднейших лидеров Конституционно-демократической партии (Партии народной свободы) — Андрей Иванович Шингарев родился 19 августа 1869 года недалеко от Воронежа на хуторе около села Борового Воронежского уезда. Его отец, Иван Андреевич, был липецким мещанином, а затем воронежским торговцем. Мать, Зинаида Никаноровна, урожденная Веневитинова, происходила из обедневшего дворянского семейства, принадлежавшего к известному в дореволюционной России роду. В 1877 году семья Шингаревых переехала в Воронеж, где вскоре Андрей поступил в реальное училище.

Годы его учебы в Воронежском реальном училище совпали с бурным развитием революционно-народнического движения. Шингарев сближается с кружком воронежской интеллигенции, руководительницей которого была Е. В. Федяевская, жена известного в городе врача К. В. Федяевского.

После окончания училища в 1887 году Шингарев поступает в Московский университет на естественное отделение физико-математического факультета, где специализируется по ботанике. В студенческие годы он продолжает разделять народнические идеи, но в их мирно-реформаторском и более конструктивном виде. Тогда же он начинает внимательно изучать положение народа, в первую очередь крестьянства. Каникулы он обычно проводил на хуторе у отца в Усманском уезде Тамбовской губернии. Бедность крестьянства производила на него тяжелое впечатление. Постепенно у Шингарева сформировалось стремление заняться чем-то более полезным для народа, чем ученые занятия ботаникой. Вот почему в 1891 году он меняет специальность и во второй раз начинает университетский курс, на сей раз на медицинском факультете. Он решает стать сельским врачом — таким путем, полагает Шингарев, можно ближе сойтись с крестьянством и, по крайней мере лично для себя, разрушить стену отчуждения, все еще разделяющую народ и интеллигенцию. Годы учебы на медицинском факультете прошли под знаком подготовки к работе в деревне.

К 90-м годам XIX века в среде русской интеллигенции довольно широко распространилось убеждение, что не революционные потрясения, а так называемые «малые дела» действительно нужны народу. Лечить социальные болезни, считал в ту пору Шингарев, можно лишь неустанной деятельностью на практическом поприще. В 1892 году он писал, что в основе народных тягот лежит плохое экономическое положение, которое, в свою очередь, определяется крайне низким уровнем крестьянской культуры: «Задача обязательной интеллигентной работы, по-моему, теперь состоит в том, чтобы все свои силы и душу положить в пробуждение самосознания народа». Иначе говоря, сначала надо поднять культурный уровень народа и только потом можно будет вести речь о целесообразности смены правящего режима. Впрочем, осторожная политическая позиция Шингарева не помешала полиции установить за ним негласное наблюдение.

Слишком настойчиво он вел разговоры о «моральном долге интеллигенции перед народом», хотя и соблюдал, по выражению полицейских отчетов, «трезвый и спокойный» образ жизни.

В 1894 году Шингарев заканчивает медицинский факультет и немедленно приступает к практической деятельности. Его «тихое народничество» началось в качестве вольнопрактикующего врача в довольно глухом селе Землянского уезда Воронежской губернии. Там он женился на сельской учительнице Ефросинье Максимовне, урожденной Кулажке, купил избу и начал свой поистине подвижнический труд. Его популярность быстро росла, тем более что лечил он крестьян практически бесплатно. Вскоре начинается и общественная деятельность молодого врача. Благодаря цензу отца, он в 1895 году избирается гласным сначала Усманского уездного, а затем и Тамбовского губернского земских собраний. Воронежский врач стал, таким образом, одновременно земским деятелем соседней губернии, что существенно расширило масштабы его деятельности. Постоянное участие в сессиях земских собраний дало Шингареву первый опыт публичных выступлений по актуальным вопросам народной жизни, и, подобно многим либеральным земцам, он остро почувствовал несоответствие принципов всесословного земского самоуправления и самодержавного государственного устройства.

Спустя некоторое время Шингарев отказывается от положения вольнопрактикующего врача и занимает должность земского врача в Землянском уезде Воронежской губернии. При этом он сохраняет положение земского гласного в Тамбовской губернии. Его профессиональная деятельность все прочнее соединяется с общественной. С 1897 года Шингарев начинает выступать и как публицист: он активно сотрудничает в ежемесячном журнале «Врачебно-санитарная хроника Воронежской губернии», где помещает статьи о положении санитарного дела в крае. При его участии в Тамбовской и Воронежской губерниях создаются новые организации — уездные санитарные советы, главной задачей которых была борьба против часто возникавших эпидемий. Скоро Шингарев становится заведующим санитарным бюро Воронежского губернского земства и приступает к систематическому исследованию санитарного состояния беднейших селений.

В начале XX века имя Шингарева неожиданно приобрело всероссийскую известность. В 1901 году вышла его небольшая книга о санитарном положении села Новожиловинного и деревни Моховаки, двух пригородных селений Воронежской губернии. Это «санитарно-экономическое исследование» стало широко известно в кругах оппозиционной общественности как повествование о вымирающей русской деревне, беззастенчиво обделенной властью и обществом во имя однобокого городского прогресса. С этого времени «Вымирающая деревня» Шингарева войдет в идеологический арсенал демократической оппозиции и будет служить одним из самых ярких аргументов для обоснования необходимости устранения самодержавного режима.

Пользуясь методическими советами воронежского статистика и своего единомышленника Ф. А. Щербины, Шингарев провел массовое обследование крестьянских семей. В результате со страниц книги предстали тягостные картины жизни воронежского крестьянства. Жилища, одежда, бытовые условия не оставляли исследователю сомнений: русская деревня неуклонно деградирует. Хуже всех в России питался крестьянин. «Что мяса мало едят в деревне — для меня, родившегося и выросшего в деревне, это было давно известно; что есть семьи, лишенные молока, предполагалось уже а priori, но чтобы в крестьянской семье не было зимой кислой капусты, я уже никак не ожидал». «Это же, — восклицал Шингарев, — ужасающая постоянная нужда, питающаяся ржаным хлебом, изредка кашей, и опять-таки кашей и больше ничем!»

Хорошо представляя, что крестьянские бедствия таят в себе угрозу тяжелых социальных потрясений, Шингарев пытался искать выход из создавшейся ситуации. Ему было очевидно, что довели крестьян до крайности тяжелые налоги, высокие арендные цены, низкая доходность. И силовыми методами деревню не умиротворить, ибо голодные крестьяне неизбежно будут стремиться к грабежу помещичьей собственности и разгрому частных имений. Главную вину за создавшееся положение публицист возлагал на «всевластный бюрократизм».

Выход в свет на шумевшей книги совпал с первым открытым оппозиционным выступлением группы воронежских либеральных деятелей. Это выступление произошло в 1902 году и было связано с работой уездного комитета, созданного в рамках общероссийского Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности. Руководимое влиятельным министром финансов С. Ю. Витте Особое совещание пыталось найти решение злободневной проблемы «оскудения» земледельческого центра России. Воронежские либералы, среди которых был и Шингарев, выступили с заявлениями о невозможности решить социальные вопросы при всевластии самодержавно-бюрократического режима и, по существу, потребовали изменения государственного строя в сторону представительных начал. Для уездного комитета Шингарев подготовил доклад «Финансовый баланс Воронежской губернии», в котором весьма убедительно показал, что экономическая политика правительства построена на эксплуатации провинции. Приоритетное развитие отдельных центров идет в ущерб общему состоянию экономики, а это, в свою очередь, порождает тяжелые диспропорции, чреватые острыми политическими конфликтами. Это было неприкрытое обвинение в адрес высшей власти. Реакция правительства последовала очень быстро. Несколько активных участников «воронежской фронды» подверглись репрессиям (Ф. А. Щербина, С. В. Мартынов, Н. Ф. Бунаков). Лично Шингареву, правда, удалось избежать открытого преследования, но на подозрении у полиции он, разумеется, остался.

Следующие два года Шингарев провел за напряженной работой по устройству медико-санитарных и иных социальных учреждений. Он, в частности, настойчиво боролся за создание сети яслей и приютов для крестьянских детей, активно занимался культурно-просветительской деятельностью и все сильнее втягивался в политическую оппозицию режиму, стеснявшему, по его мнению, рост живых сил народа.

Революционные события 1905 года круто изменили жизненный путь А. И. Шингарева. Приобретя несомненный авторитет в кругах демократической интеллигенции, он довольно быстро и без видимых усилий выдвинулся на первые роли в разыгравшейся игре политических сил. Обстановка непрерывного подъема общественного движения захватывает его целиком: он часто выступает перед бастующими рабочими воронежских предприятий, участвует в работе собраний земских служащих, ездит в столицы на земские съезды и собрания общественных организаций. Его позиция определилась достаточно ясно: страну из кризиса может вывести только народное представительство. Он свято верит, что устранение самодержавия и установление власти, санкционированной народным доверием, быстро приведет к оздоровлению экономической, политической и социально-нравственной обстановки в стране.

В 1905 году Шингарев принимает деятельное участие в создании в Воронеже отделения «Союза освобождения», крупнейшей в ту пору политической организации либералов. Естественно, он с воодушевлением встретил публикацию царского Манифеста 17 октября, введившего в России начала народного представительства и объявившего о даровании населению демократических свобод. Именно в те горячие месяцы

завершается переход Шингарева от земской работы к активной политической деятельности. В это время, вспоминал его друг и единомышленник А. Г. Хрущов, Андрей Иванович «проявлял поразительную работоспособность и со свойственным ему заразительным воодушевлением, удачно сочетаемым с трезвой деловитостью, выступает в публичных лекциях, собраниях, уличных митингах, на площадях, банкетах с популярным разъяснением населению происходивших событий... Судьба его, как будущего народного представителя, была предreshена...».

Шингарев с энтузиазмом принялся за создание местной организации Конституционно-демократической партии (Партии народной свободы). Спустя несколько дней после партийного учредительного съезда (ноябрь 1905 года) было объявлено о создании ее Воронежской губернской организации. Центром притяжения активных сторонников либерального движения стала губернская земская управа, где сложилась сильная группа сторонников новой партии (Д. А. Перелешин, В. И. Колюбакин, П. Я. Ростовцев и другие). Руководителем воронежской организации местные кадеты единодушно избрали А. И. Шингарева.

Выдвижение Шингарева в лидеры воронежских кадетов было закономерным. К концу 1905 года автор «Вымирающей деревни» приобрел репутацию настойчивого, энергичного и принципиального защитника народных интересов. При этом соратники хорошо знали о его негативном отношении к насильственным методам общественно-политической деятельности. В сущности, Шингарев остался по убеждениям социал-либералом, видел смысл лишь в мирной тактике свободного просвещения народа и постепенного реформирования государственного и экономического строя.

Практически сразу после образования губернской организации кадетов Шингарев приступил к изданию вновь учрежденной газеты «Воронежское слово», ставшей на полтора года основным рупором местной интеллигенции. Подзаголовок издания был вполне откровенным и гласил: «Газета проводит взгляды партии кадетов (Народной свободы)». Энергично газета повела пропаганду либеральных идей в связи с развернувшейся весной 1906 года кампанией по выборам депутатов Государственной думы. Воронежские кадеты, настаивавшие на ускоренном развитии демократических свобод и на принятии мер по решению проблемы крестьянского малоземелья, сумели получить на выборах значительную поддержку избирателей. Из 12 предназначенных для Воронежской губернии депутатских мандатов они получили 4 — больше, чем любая другая партия. Это была и личная победа Шингарева, считавшего избирательную кампанию делом исключительной важности.

Но сам руководитель воронежских кадетов в депутаты не баллотировался. По решению своей партии он должен был сосредоточиться на политической деятельности местного комитета. Руководители кадетов не хотели оставлять Воронеж без энергичного организатора и рисковать судьбой одной из своих наиболее перспективных организаций. Однако быстрый роспуск Думы первого созыва внес серьезные изменения в положение кадетской партии. Организованное кадетами Выборгское воззвание с протестом против роспуска Думы и призывом к акциям гражданского неповиновения сделало партию революционной в глазах правительства. Принадлежность к Партии народной свободы была объявлена противозаконной. В январе 1907 года, по представлению губернатора, Шингарев был из земства уволен; готовилось даже судебное преследование лидера воронежских кадетов. Однако в условиях общественного подъема такие действия властей сыграли роль дополнительной рекламы: на выборах во II Думу Шингарев одержал уверенную победу. В феврале 1907 года он отправляется в Петербург. В его жизни совершается новый поворот. Начинается столичный период политической деятельности Шингарева, выдвинувший его в число общественных и государственных деятелей общероссийского масштаба.

Думская деятельность бывшего санитарного врача проходила на редкость активно. Правда, II Дума была тоже недолгой. Левая, даже более радикальная по составу, она еще менее первой была готова сотрудничать с правительством П. А. Столыпина и была распущена 3 июня 1907 года, спустя 102 дня после открытия. Однако новый роспуск существенного влияния на политическую судьбу Шингарева не оказал: он вновь баллотировался в своей родной губернии и был избран депутатом III Государственной думы, первой в истории России отработавшей установленный пятилетний срок. В 1908 году Шингарев становится членом ЦК Конституционно-демократической партии, а в 1912 году избирается депутатом IV Думы, на этот раз от Петербурга.

Вплоть до крушения монархии он был одним из самых влиятельных лидеров либеральной оппозиции режиму и играл ведущую роль в деятельности думской кадетской фракции. Член ЦК кадетской партии А. В. Тыркова вспоминала: «Благодаря редкой трудоспособности Шингарев скоро стал правой рукой Милюкова, но самостоятельность свою целиком сохранил. Еще вчера неизвестный провинциал, он быстро сделался любимцем Петербурга. Имя Андрея Ивановича стало повторяться едва ли не чаще, чем имя Павла Николаевича (Милюкова. — М. К.), и с более нежной улыбкой. В Государственной думе даже политические противники относились к Шингареву по-приятельски, сносились с ним куда охотнее, чем с Милюковым... Шингарев и на трибуну всходил, и в кулуарах появлялся с улыбкой, которая хорошо передавала его характер и очень шла к его пригожему, тонкому лицу, обрамленному прямой черной бородкой... В пестрой толпе членов Думы не было человека популярнее Андрея Ивановича. Конечно, сущность была не в его улыбочивости, а в душевной силе, которая понемногу создала ему исключительный авторитет на всех скамьях, при этом в Думе, где большинство было кадетами, где междупартийные споры носили недобрый, личный характер...»

Шингарев напряженно трудился сразу в нескольких в думских комиссиях: бюджетной, земельной, продовольственной, по местному самоуправлению, по вопросам законодательства и других. Но все же чаще всего Шингарев выступал в Думе как специалист по бюджетным отношениям и являлся почти бессменным оппонентом министра финансов В. Н. Коковцова. По собственному признанию последнего, Шингарев часто отравлял его существование как министра пламенными речами «в пользу охранения народа от гнета и злоупотреблений власти». Представитель кадетов неизменно подчеркивал, что налоги в России были «несправедливыми, тяжелыми для малосостоятельных людей и очень льготными для богатых». Как авторитетный знаток земельного вопроса, он стал одним из авторов аграрной программы кадетов, которая предусматривала проведение ряда мер по разрешению проблемы крестьянского малоземелья.

В годы Первой мировой войны Шингарев занял патриотическую позицию и вошел в состав Главного комитета Союза городов, влиятельной общественной организации, стремившейся наряду с Союзом земств мобилизовать ресурсы страны для отражения внешней угрозы. В 1915 году он стал еще и председателем Военно-морской комиссии Государственной думы, в задачу которой входила среди прочего и забота о нуждах личного состава российского флота.

Тяжелый ход войны усилил оппозиционность Шингарева. Вину за поражения на фронтах и большие потери русских армий он возлагал на царское правительство, неспособное, по мнению кадетов и их союзников по «Прогрессивному блоку» в Думе, руководить страной в годы суровых испытаний. С думской трибуны открыто звучали голоса либералов, требовавших создать «правительство народного доверия» и предрекавших, что николаевские министры доведут страну до новой революции.

О перспективах революции Шингарев говорил с большой тревогой. Он искренне полагал, что неконтролируемый социальный взрыв обернется страшной для государства и русского народа катастрофой. В январе 1917 года, в преддверии надвигавшегося кризиса, он заявлял: «Положение ухудшается с каждым днем... мы идем к пропасти... Надо бы дотянуть до весны, но я боюсь, что не дотянем. Страна уже слушает тех, кто левей, а не нас. Поздно...»

С падением монархии политическая деятельность Шингарева достигла своего зенита. Наряду с другими лидерами кадетов он вошел в состав Временного правительства и занял сначала пост министра земледелия, а затем министра финансов. Социал-демократ Н. Н. Суханов в своих известных «Записках о революции» вспоминал о тех днях: «Шингарев был превосходным деловым министром — со знанием, с огромной энергией, с твердостью и авторитетом... Он был яростным врагом советской демократии...»

Однако в своем новом качестве министра Шингарев практически сразу же попал в капкан неразрешимых противоречий. Как народный доброхот, он считал, что значительная часть крестьянства действительно нуждается в прирезке земли, но, как один из руководителей государства, не мог поощрять начавшиеся, по призывам радикалов-социалистов, самовольные захваты дворянской собственности. В мае 1917 года он счел нужным обратиться к крестьянам с воззванием, в котором говорилось: «Имущество и земли помещиков, так же как и все иные владения, являются народным достоянием, которыми имеет право распорядиться только всенародное Учредительное собрание. До тех же пор всякий самовольный захват земли, скота, инвентаря, рубка чужого леса и тому подобного являются незаконным и несправедливым расхищением народного богатства и могут обездолить впоследствии других, быть может, еще более нуждающихся граждан». Однако джин революционного своеволия был уже выпущен на свободу, причем не без помощи самих либералов. В начале июля 1917 года, когда стало ясно, что на настроения масс все сильнее влияют социалисты, кадеты (и в их числе Шингарев) покинули Временное правительство. Либералы не желали нести ответственность за углублявшийся распад государственных устоев и все свои надежды связали с выборами в Учредительное собрание. Справиться с лавинообразным нарастанием социального хаоса, начавшегося после крушения старого режима, либералы не смогли.

Захват большевиками власти руководители кадетов расценили как акт откровенного произвола и как прямую измену революции. Но они все же верили, что перед волей Учредительного собрания «узурпаторы» устоять не смогут. Поэтому в конце ноября, когда стали известны предварительные результаты выборов, Шингарев отправился в Петроград. Себя он считал депутатом и готовился к активным действиям на форуме всенародных представителей. Однако точных сведений о его избрании в распоряжении историков нет. Во всяком случае, избирательную кампанию в Воронежской губернии, где баллотировался Шингарев, кадеты проиграли. Вполне вероятно, впрочем, что депутатский мандат ему мог быть передан кем-то из друзей по партии, сумевших победить в двух или более округах, например П. Н. Милюковым. Так или иначе, но депутатом Учредительного собрания Шингарева считали и друзья, и враги. Это обстоятельство в конце концов сыграло роковую роль в судьбе виднейшего русского либерала.

В самом конце ноября советское правительство приняло решение об объявлении партии кадетов вне закона и об аресте ее виднейших деятелей. 28 ноября А. И. Шингарев и его соратник Ф. Ф. Кокошкин были арестованы и заключены в Трубецкой бастион Петропавловской крепости. При аресте было объявлено, что кадетов лишают свободы за то, что они «не хотели признавать власть народных комиссаров». Условия

пребывания в крепости были очень тяжелыми, и родственники стали хлопотать о переводе арестованных в больницу. Просьба была в итоге удовлетворена, но перевод в Мариинскую больницу был использован противниками кадетов для организации злодейского убийства Кокошкина и Шингарева. Уже при перемещении арестованных командиры Красной гвардии советовали начальнику караула «просто сбросить их в Неву». Жестокую расправу в ночь с 6 на 7 января учинила группа анархистствующих матросов, спровоцированная призывами к революционному самосуду над бывшими «министрами-капиталистами».

Гибель А. И. Шингарева, бывшего земского врача, автора «Вымирающей деревни», страстного защитника народных интересов и искреннего демократа, приобрела символическое значение. Понятие свободы у интеллигента-народолюбца и у народных низов в критический для страны момент оказалось наполнено разным содержанием. Идеалы демократии, во имя которых либералы неустанно боролись с самодержавным режимом, спровоцировали выплеск такой народной стихии, укротить которую могла только диктатура.

НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ ЕЗЕРСКИЙ:
*«Носитель власти, даже микроскопический,
склонен забывать, что он член общества...»*

ВАЛЕРИЙ КАРНИШИН

Российская политическая модернизация начала XX века не могла не повлиять на облик провинциального общества, стремительно политизировавшегося под воздействием общероссийских перемен, связанных с потрясениями революции, выборами в Государственную думу, ростом грамотности, распространением печати и приобщением различных слоев населения к политической жизни.

Начало жизни нашего героя, кажется, не предвещало участия в событиях, позднее всколыхнувших страну. Родившийся 12 декабря 1870 года в Дрездене, в семье коллежского асессора (впоследствии — основателя счетоводческих курсов в Москве) и урожденной княгини Гагариной, Николай Федорович Езерский в 1894 году окончил юридический факультет Московского университета, а год спустя перешел в ведомство Министерства народного просвещения. В 1898 году он был произведен в титулярные советники. Удивление может вызвать другое: решение занять в 1902 году должность инспектора дирекции народных училищ по Мокшанскому и Городищенскому уездам Пензенской губернии. Что же обусловило его желание оставить карьеру в Москве и уехать в черноземную глушь?

Обратимся к переписке тридцатилетнего москвича Николая Езерского со своим другом-однокурсником Петром Ивановичем Корженевским. Оказавшись в провинции, Езерский, казалось, пытается убедить себя в том, что «получил исполнение всех желаний» и «почти совершенно доволен своей судьбой». Правда, в этих заверениях проглядывает надежда на то, что именно здесь, в Пензе, он сможет «избавиться от чужой указки, при которой я буквально работать не могу, ибо указка... только портит дело». Вначале Езерский признается в том, что у него «планов бесконечное множество» и что, подобно чеховскому интеллигенту, он пытается отдать все свои силы и помыслы настоящему *Делу*. Однако вскоре при столкновении с действительностью пылкие мечтания сменяются разочарованием. Находясь под впечатлением от поездок по двум уездам Пензенской губернии, молодой Езерский приходит к пессимистичным мыслям. Его попытки рассмотреть на училищном совете предложение по совершенствованию преподавания наталкиваются на обескураживающий ответ уездного предводителя дворянства: «Ох, батюшка, как мне некогда! А вы вот что: напишите протокол заседания, как, по вашему мнению, лучше, и принесите мне подписать...»

Инертность провинциальной бюрократии, отсутствие всякой инициативы явно раздражают Езерского. Размышляя о реальных возможностях изменений в рамках существующей системы, он делает небезынтересные наблюдения о самой природе власти в провинции: «Для того чтобы добиться какого-нибудь успеха, создать что-нибудь реальное, нужно хоть частично власти, будь то власть чиновника или же власть, какую дает обаяние крупного имени... Опасно только то, что носитель власти, даже микроскопический, очень склонен забывать, что он член общества...»

Столкнувшись с неприятием ряда предложений, призванных улучшить систему образования, Николай Федорович стал чаще размышлять о причинах неэффективности деятельности государственного аппарата. В одном из писем он советует своему другу: «Не будь доктринером, прямолинейным, отказывайся от всякого начинания, как только ты видишь, что не находишь вокруг той доли поддержки, которая необходима для него вне тебя; в этом умении прилаживаться к конкретным условиям жизни — вся суть политической деятельности, в отличие от научной, художественной, которая всегда остается в области чистых идеалов».

Н. Ф. Езерского раздражают противоречия, которые он мучительно пытается разрешить: «Если жизнь почему-нибудь отказывается принять то, что я хочу внести в нее, то кто прав? Я или жизнь? Думаю, что все-таки — последняя, по крайней мере, для данного момента». Невозможность быстрых перемен приводит его к мысли о том, что он, по-видимому, не прав, желая «получить результат, минуя переходные ступени, то есть нарушить законы природы»: «Общественный фон народной жизни так безотраден — бедность, невежество, пьянство. Глубоко учить крестьян географии или арифметике или карать их за буйство в пьяном виде и закрывать глаза на общественные причины — это все равно, что лечить прыщи во время кори».

Исторические материалы об особенностях экономического и социокультурного ландшафта Пензенской губернии начала XX века позволяют составить представление о роли русского либерала в тех изменениях, которые не обошли и провинциальную глубинку. Пензенская земля, находившаяся на стыке Черноземья, Центральной России и Поволжья, отражала общероссийские черты периода модернизации. Многонациональный состав населения, урбанизация, сопряженная с низким качеством жизни «пришлых» — крестьян, покидавших свои деревни и приезжавших в города, отнюдь не гостеприимные для сезонных рабочих, получавших скудное жалованье и проживавших в бараках или снимавших «углы».

Особо остро в этих местах стоял аграрный вопрос. Пензенская губерния являлась одной из житниц страны. Более 70 процентов ее земельных площадей принадлежало дворянским фамилиям, широко известным в истории России, — князьям Волконским, Оболенским, графам Уваровым и Шереметевым. На Пензенской земле находились и владения известного реформатора П. А. Столыпина.

Необходимость перемен в аграрной политике осознавалась не только крестьянами. Затягивание реформ стимулировало оппозиционно настроенных лиц в городах, активно обсуждавших (как правило, в узком кругу) правительственные решения, действия местных администраторов, настроения населения. Однако возможности влиять на ситуацию в губернии у политизированной части провинциальной интеллигенции были, как правило, весьма ограниченные. Езерский был членом правления Пензенской общественной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова и секретарем правления общества имени А. С. Пушкина. Однако и его возможности реализации своих политических идей были явно недостаточными. В 1902 году, в очередном письме П. И. Корженевскому, он делает еще одно достаточно пессимистическое признание: «Вот тебе мой вывод: у нас общественная деятельность в настоящем смысле невозможна. Потому что людей, интересующихся и понимающих общественные дела, так мало, все мы так вялы, так неопытны, что разве только в самых крупных центрах можно подобрать целую группу людей, которые все были бы способны к деятельности... О равноправных товарищах, о совместной работе нечего и думать...»

Между тем патриархальная тишина Пензы все чаще нарушалась новыми веяниями: увеличивалось количество подписчиков на общероссийские периодические издания (в губернском центре издавались только официозные «Ведомости»), открывались

новые учебные заведения. Да и молодежь стремилась выйти за границы запретов и частоколов Министерства народного просвещения, внимая политическим ссыльным. Получивший впоследствии широкую известность писатель А. М. Ремизов, сосланный в Пензу за участие в антиправительственном движении, отмечал в своих воспоминаниях, что среди его новых знакомых преобладала оппозиционно настроенная молодежь: один из будущих лидеров партии социалистов-революционеров Н. Д. Авксентьев; юный В. А. Карпинский, ставший позднее видным большевиком, хорошо знавшим В. И. Ленина (пока же он «больше годился на применение своего марксизма среди гимназисток, что он добросовестно и исполнял»).

И все же политизация не стала определяющей чертой в настроениях подавляющей части населения провинции. Скорее, можно говорить о социальном протесте. Перемены вызвали реакцию, характерную для людей с низким уровнем политической и правовой культуры: озлобление, ненависть к государственному порядку и «эксплуататорам».

Опасность экстремизма осознавалась и Н. Ф. Езерским. В статье «Культура и революция», опубликованной «Московским еженедельником», он поделился своими размышлениями о влиянии политической культуры на характер противостояния в провинции: «На смену старого мировоззрения не выдвинулось ничего цельного, яркого, что могло бы захватить народную душу — да это же было причиной живучести старого. То новое, что полагалось народу, было ему чуждо, излагалось непонятно и не отвечало многим запросам народной души... С анархией в области мысли последовала анархия поступков. Все смешалось: самые старые установленные воззрения на добро и зло, на дозволенное и недозволенное, а политическая борьба, обостряясь, вела к актам, которые, противореча унаследованным нравственным чувствам, оправдывались политической необходимостью». Подобная точка зрения отражала искания той части провинциального общества, которая осознавала свое бессилие как перед крестьянским «миром» с его нормами и ценностями, весьма далекими от «прожектов» интеллектуалов, так и перед бюрократией, рассматривавшей их как досадную помеху к установлению столь желанного «спокойствия». Склонность к абстрактному теоретизированию, к мечтаниям о «земном рае» социальной справедливости — эти черты, свойственные российской интеллигенции, становились наиболее заметными именно в российской глубинке.

Революция 1905 года нарушила размеренный ритм провинциальной Пензы. Главными очагами напряженности явились средние учебные заведения — Училище садоводства (старейшее в России), Художественное и Землемерное училища, где студенты проводили на частных квартирах сходки и распространяли прокламации с призывами к забастовкам. Требования сводились к изменениям в системе преподавания и режиме работы. Характерно, что в Пензе именно учащаяся молодежь составляла наиболее активную часть политизированного населения, что не могло не вызывать тревогу у местных властей. «Мятежный дух... может достигнуть широкого распространения и интенсивности», — свидетельствовал губернатор.

Обнародование Манифеста 17 октября 1905 года оказало огромное влияние даже на отличавшуюся низким уровнем политизации Пензенскую губернию. Однако столь желанное для властей «успокоение» так и не воцарилось. Политические свободы, намерение созвать Государственную думу стали удобным предлогом для активизации действий лево- и праворадикальных партий (как эсеров и социал-демократов, так и «Союза русского народа»). Различные толкования Манифеста усугубляли противоречия в среде оппозиции, порождали растерянность и уныние у представителей властей в центре и на местах. Если сам Николай II мучился сомнениями, не нарушает ли он своей коронационной клятвы, подписав текст Манифеста, то понятны

настроения проводников правительственной политики на местах — от офицеров полиции, которые говорили друг другу, «что им скоро нечего будет делать», до авторитетных представителей образованного общества, встревоженных разгулом анархии и нетерпимости.

Очевидно, создание Пензенского бюро Конституционно-демократической партии в ноябре 1905 года стало важной вехой в общественно-политическом процессе в губернии. Во главе бюро стал Н. Ф. Езерский. Среди пензенских либералов — адвокат Б. К. Гуль (отец впоследствии знаменитого писателя русской эмиграции Романа Гуля); купец 2-й гильдии, землевладелец, предприниматель-меценат В. Н. Умнов (еще в 1861 году исключенный из Казанского университета за участие в панихиде по убитым крестьянам); известный публицист, автор многочисленных статей в «Московском еженедельнике», купец из уездного города Мокшан В. П. Быстренин.

С декабря 1905 года в Пензе под редакцией Н. Ф. Езерского стала выходить газета «Перестрой», получившая известность далеко за пределами губернии, — на ее сообщения часто ссылались общероссийские газеты и журналы. Николай Федорович стал душой «Перестроя». В своих статьях он призывал к достижению гражданского мира, борьбе как против произвола администрации, так и против террора со стороны радикальных политических сил. Программное заявление газеты было опубликовано в сложных условиях — после московского восстания, взорвавшего жизнь Первопрестольной. «Мы находим в особенности необходимым проповедь единения всех классов населения, а не подчеркивание классово-вражды и антагонизма интересов, ибо теперь на очереди стоит реформа, в которой одинаково заинтересованы все классы, — писал Николай Федорович. — Теперь опасность от затягивания кризиса угрожает всему государству, и именно теперь государственные соображения и общенародные интересы должны выступить впереди классовых, которые столь часто совершенно заслоняют первые — как для радикальных, так и для реакционных деятелей». В отличие от многих провинциальных обывателей, клеймивших революционные партии как «устроителей революции», Езерский иначе объяснял причины ее начала: «Мы прекрасно знаем, что все нынешнее движение не результат интриги нескольких крамольников, а плод долгого застоя народной и государственной жизни, переустройства во всех областях ее, и уже официально признано, что только коренные реформы, обещанные с высоты престола, могут вывести страну из переживаемых бедствий...»

В этих условиях либералы предпочли уделить особое внимание не столько организационным мерам, призванным укрепить структуры кадетской партии в губернии, сколько участию в предвыборной кампании, связанной с созывом I Государственной думы. Новизна задачи порождала множество проблем. Во-первых, функции народного представительства совершенно иначе воспринимались различными слоями населения. «Все низы русской нации с упованием смотрели на Думу, с благоговением шли к урнам, часть с крестным знаменем опускали записку... Верхи общества, все, что не было безнадежно идее обновления страны, с таким же упованием смотрели на Думу, надеясь в ней найти успокоение и оплот от опасностей революции», — писал Н. Ф. Езерский. Во-вторых, избирательная борьба происходила таким образом, что выборщики, не понимающие тонкостей различий программ политических партий, голосовали часто наугад или, как писал единомышленник Езерского, купец В. П. Быстренин, «руководствовались лишь личными симпатиями или антипатиями... при стеснении предвыборной агитации, при наличии запрещения партийных собраний, при устрашающей обывателя усиленной охране». В-третьих, в предвыборной борьбе широко применялись необоснованные обвинения в «измене России», «служении чужим интересам», перераставшим нередко в скандалы. Наконец, участие в предвыборных кампаниях придавало соперничеству партий особый смысл, поскольку выявляло эффектив-

ность их влияния на потенциальных сторонников, определяло возможности складывания предвыборных коалиций.

Пензенские кадеты начинали свою деятельность в непростых условиях. Нажим местных властей во многом объяснялся тем, что здесь были весьма сильны консервативные настроения, а интеллигенция была достаточно хрупкой. Когда член бюро кадетской партии П. В. Голов обратился к губернатору с ходатайством о разрешении проведения собрания с целью обсуждения партийной программы, ответом стало согласие, но с условием представить список приглашенных лиц. Отменить же собрание власти не решились: ожидался приезд лидеров партии кадетов — П. Н. Милюкова, В. А. Маклакова и князя Пав. Д. Долгорукова.

Нечастые визиты в провинциальный город фигур общероссийского политического олимпа начала XX века стимулировали интерес к деятельности партий. В воспоминаниях видного российского историка А. А. Кизеветтера, изданных в Праге в 1929 году, приводятся свидетельства об участии в политических дискуссиях. 16 февраля 1906 года их автор вместе с другим известным деятелем кадетской партии, князем Пав. Д. Долгоруковым, выступал на собрании пензенской группы кадетской партии с докладом о программе партии кадетов и ее отличии от других политических партий России: «Теперь русскую провинцию нельзя было узнать. Исчезла эта вялая монотонность, на фоне которой популярная лекция приезжего лектора уже являлась важным событием. Теперь и здесь бурлила жизнь, хотя нажим администрации чувствовался гораздо сильнее, нежели в столицах».

Характерно, что Н. Ф. Езерский и его единомышленники предпочли сделать собрание открытым, чтобы провести открытую дискуссию с представителями других политических партий (октябристами, Партии правового порядка). А. А. Кизеветтер и Пав. Д. Долгоруков отвергли обвинения в адрес кадетов. Речь шла, в частности, о том, что их партию упорно называли «господской». «На всех наших съездах участвовали подлинные крестьяне и рабочие», — утверждал А. А. Кизеветтер. «Мы удивим мир богатства ума нашего крестьянина, — продолжал он. — Довольно того, что долго смотрели на крестьянство сверху вниз. Это — остатки крепостничества, с ними порвала жизнь». Подобные высказывания не могли не привлечь голоса избирателей из крестьянской среды, особенно в условиях предвыборной кампании, об особенностях которой писал Н. Ф. Езерский на страницах своей газеты. «Дело осложняется тем, что некоторые партии в борьбе с противниками прибегают к личным нападениям нравственного характера: бросаются обвинения в измене России, чуть ли не в подкупе. Все эти обвинения рассчитаны на невежество и предрассудки известной части избирателей и, как бы ни были нелепы, оказывают свое действие; в деле выбора представителя приходится иметь в виду не только убеждения кандидата, но и его личность. Надо знать, как он будет отстаивать принципы в Думе», — писал Николай Федорович.

Езерский принял деятельное участие в митингах, собраниях накануне выборов в I Думу. Его слова, обличавшие произвол на местах, импонировали публике как в Пензе, так и в уездах. Вместе с тем Езерский осторожно доказывал необходимость введения всеобщего избирательного права. Он признавал, что «свобода в известные моменты может лучше ограждаться политически зрелыми и юридически образованными людьми, чем массой, которую легко можно поддеть на громкие слова, ввести в заблуждение политикой „отвода глаз“ или подстрекнуть на необдуманные действия, пользуясь предрассудками толпы». «Только всеобщее голосование воспитывает народ, — писал он. — Пока дела вершатся чиновниками или зажиточными классами, народ остается исторически пассивен и никогда не приобретет политического опыта...»

Итоги голосования оказались весьма неожиданными для властей. От Пензенской губернии в состав Думы были избраны два кадета (помимо Н. Ф. Езерского — почтовый чиновник М. С. Киселев), три представителя крестьянства, вошедшие в состав Трудовой группы, а также один социал-демократ. В день открытия Думы, 27 апреля 1906 года, прекратили занятия учебные заведения и ряд предприятий. На центральных улицах толпились горожане, ожидавшие телеграмм у зданий редакций газет, в которых сообщалось о ходе работы народного представительства.

В свою очередь, депутаты, оказавшиеся в Таврическом дворце, полагали, что поддержка земляков позволяет им высказывать свои мысли, не смягчая выражений. Их выступления напоминали не столько конструктивные предложения, сколько экспрессивные митинговые заявления. Не удержался от эмоций и Н. Ф. Езерский, обрушившийся в выступлении в Думе 16 мая 1906 года на пензенского губернатора С. А. Хвостова. Тот приказал представителю общеземской организации по борьбе с голодом графу П. М. Толстому покинуть в трехдневный срок территорию губернии. Толстой не только занимался созданием общественных столовых, но публиковал нелицеприятные статьи в столичных газетах о ситуации в губернии, что не могло не вызвать негативного отношения начальника губернии. В выступлении на съезде кадетской партии Езерский призвал обратить внимание на то, что «половина депутатов Государственной думы состоит из крестьян. Они будут нас поддерживать, пока наша партия будет выдвигать вперед вопрос аграрный, в противном случае они отпадут».

Другой стороной деятельности депутата Езерского стало, по словам князя Пав. Д. Долгорукова, приобщение широких слоев населения к общественно-политической жизни страны. ЦК кадетской партии принял решение разделить территорию России на лекционные округа (Пензенская губерния вошла в Саратовский округ), в которые были направлены депутаты и известные ораторы-либералы.

Приезд Н. Ф. Езерского в губернию вызвал резонанс в среде крестьянства. На станции Воейково собрались сотни крестьян во главе с волостным старшиной и сельским старостой, пригласившие депутата приехать в село Каменку. 9 июня состоялось собрание, на котором был заслушан доклад Н. Ф. Езерского о деятельности Думы. Об обстановке, царившей в залах, собиравших сотни людей (что становилось событием для провинциальной Пензы), свидетельствует донесение чиновника, направленного губернатором для наблюдения за ходом собрания с участием Н. Езерского и другого депутата, В. Рогова. При входе в зал чиновник оказался перед организатором, собиравшим пригласительные билеты и проворчавшим: «Губернатор требует, чтобы не было лишних, а сам лишних присылает». После выступления Езерского, проинформировавшего о ходе работы I Думы, инициативу захватили эсеры и социал-демократы. «Крови бояться нечего»; «добиваться всего надо вооруженной силой» — эти призывы вызвали неприятие пензенских либералов. Адвокат А. В. Генке, коллега Езерского по партии, откликнулся на подобные призывы репликой: «Нечестно призывать к вооруженной борьбе одну часть населения против другой».

Езерский использовал поездку для решения задачи социального расширения своей партии. В «Перестрое» было опубликовано его воззвание, в котором он призвал «заняться политическим воспитанием народа» и создавать местные организации партии. По данным историков, максимальная численность кадетской организации пензенских кадетов достигала 400 человек.

Последовавший 9 июля 1906 года роспуск I Думы стал ответом власти на радикализацию в стенах народного представительства. Более 180 депутатов, в том числе и Езерский, выехали в финский город Выборг, где было принято воззвание к избира-

телям, которое впоследствии по-разному оценивалось современниками. Езерский воспринял роспуск Думы как произвол власти и нарушение прав избирателей и депутатов. Помимо распространения текста Воззвания среди населения Пензенской губернии, он публикует страстные статьи в «Перестрое». 17 октября вышел последний номер газеты, запрещенной властями.

Знаменитый судебный процесс над депутатами, подписавшими Выборгское воззвание, вызвал широкий общественный резонанс. Н. Ф. Езерский был приговорен к трехмесячному заключению, которое он отбывал в столичной тюрьме. Сохранилась открытка с изображением тюремных стен и стрелкой, указывавшей окно каземата с надписью «А здесь я сижу».

Лишенный права быть избранным в следующие Думы и структуры местного самоуправления, Езерский не смог вернуться и к прежней профессии: должность инспектора народных училищ оказывается для него закрытой. Он пытается снова заняться общественной деятельностью: организует общеобразовательные курсы, читает публичные лекции. Еще до отбытия заключения в Пензе была опубликована книга Николая Федоровича «Государственная дума первого созыва».

После того как властям удалось справиться с потрясениями 1905–1907 годов, структуры кадетской партии в провинции охватил глубокий кризис. Сенат отказал в легализации партии (февраль 1907 года); был подтвержден запрет принимать на государственную службу членов нелегализованных партий. Сыграло роль и отстранение кадетов от должностей в земских управах, их повсеместное увольнение из средних учебных заведений. «Отмирание целых партийных организаций — факт несомненный», — констатировалось на заседании Московского отдела ЦК партии кадетов.

Езерский был вынужден заниматься работой на поприще присяжного поверенного и, судя по косвенным данным, переехал к отцу в Москву.

В Пензе он вновь появился в 1917 году. Свержение самодержавия открыло новые возможности для общественно-политической деятельности. Николай Федорович становится редактором новой кадетской газеты «Пензенская речь» (известно, что основная партийная газета называлась «Речь»). В условиях разгула анархии, роста крестьянских выступлений со страниц нового издания доносятся призывы обуздать стихию, соблюдать законы и распоряжения власти.

Символично название одной из статей Езерского — «Кризис свободы» (13 мая 1917 года). В ней автор указывает на причины, осложняющие демократический путь развития России. Их, по его мнению, три. Во-первых, после победы революции по-прежнему проявлялось отсутствие единства политических сил, выступавших за демократический выбор страны («для огромной черновой повседневной работы не хватает людей»; «нет желания идти на взаимные уступки, без которых невозможна никакая общественная работа»). Во-вторых, противоестественным являлось отсутствие функциональности в деятельности различных учреждений — как в центре, так и на местах. В-третьих, целесообразны изменения в социальной сфере («одна свобода слова на митингах, одна возможность читать бесцензурные газеты не удовлетворяют народ. Нужно улучшение жизни — улучшение условий труда, увеличение достатка и радостей жизни»).

Езерский был озабочен растущим классовым и групповым эгоизмом: «Вместо политической гражданской свободы каждый добивается для себя лично неограниченной свободы действий, вместо общей работы над созданием общенародных государственных учреждений отдельная кучка граждан старается оградить свои выгоды, добиться независимости или даже власти над другими, не думая о справедливых требованиях других граждан, ни об укреплении общей свободы». Конечно, в этих стро-

ках — критика советской системы, которая разобщает население по сословному признаку, что было неприемлемо для либерала Н. Ф. Езерского. Приход к власти большевиков был встречен им крайне негативно. «Большевизм нынешний — это распутинство революции с такой же ложью, подкупностью и предательством», — писал он в ноябре 1917 года. Попытки победить на выборах в Учредительное собрание по спискам кадетов в том же году оказались безуспешны. Призывы к постепенности преобразований оказывались непонятыми в губернии, население которой устало от военного лихолетья, полуголодного существования и ожидало быстрых решений проблем леворадикальными политиками, оперировавшими популистскими лозунгами.

В 1918–1920 годах Н. Ф. Езерского сражался в рядах белых армий. Эмигрировал в Сербию, затем перебрался во Францию, где вскоре принял сан священника. С 1932 года служил в Будапеште, где и скончался 14 января 1938 года.

КОНСТАНТИН ФЕДОРОВИЧ НЕКРАСОВ: *«Надо энергичней готовиться к грядущим светлым дням...»*

АЛЕКСЕЙ ЛОПАТИН, АЛЕКСАНДР СОКОЛОВ

Алексей Сергеевич Некрасов, отец великого русского поэта Н. А. Некрасова, был отцом пятерых детей, но никто из них, за исключением Федора, не оставил после себя потомства. Федор Алексеевич стал, в свою очередь, отцом двенадцати детей; именно они и их потомки и стали продолжателями рода Некрасовых. Старшим сыном от второго брака Ф. А. Некрасова был Константин Федорович, оставивший заметный след в истории не только Ярославского края, но и всей России.

Отец и мать будущего видного деятеля кадетской партии, депутата первого русского парламента и известного российского издателя, познакомились летом 1872 года в усадьбе Карабиха. Сорокапятилетний вдовец, обремененный пятью детьми, обратил внимание на бывшую здесь проездом сестру гувернантки своих сыновей, Наталью Павловну Александрову, и пригласил ее провести в Карабихе лето. В конце лета он сделал двадцатидвухлетней вологодской красавице предложение, и та согласилась стать его женой. 17 сентября 1872 года в Москве состоялась свадьба, а 13 сентября следующего года появился на свет Константин, первый из семерых детей Натальи Павловны. Его крестили в церкви Казанской Божьей Матери села Богородского; крестными новорожденного стали брат отца Константин Алексеевич и сестра матери Екатерина Павловна.

Отец Константина Федоровича был крупным помещиком и предпринимателем: только в Ярославле ему принадлежали восемнадцать каменных домов на общую сумму 64 000 рублей серебром. Окончив 2-й Московский кадетский корпус, Константин возвратился в Карабиху (военная карьера его не состоялась по причине болезни), некоторое время пожил там, а затем, поссорившись с отцом, начал искать службу. В возрасте двадцати одного года он вступил в должность земского начальника в селе Щетинское Пошехонского уезда, в 60 километрах от уездного центра, а затем перебрался в село Ермаково, поближе к городу. Три года, проведенные в уездной глуши, стали для юноши хорошей школой жизни — здесь начали формироваться его социально-политические взгляды. Вскоре он переехал в Ярославский уезд, а затем был переведен в Ярославль, где жил в Ильинском переулке, почти на берегу Волги.

В этот период он много читает, общается с местной интеллигенцией, крестьянами. В 1906 году потомственного дворянина Константина Некрасова избирают гласным уездного и губернского земства, а также Ярославской городской думы. Вскоре происходит первый серьезный конфликт Константина Федоровича с губернской властью. Получив по службе циркуляр губернатора, согласно которому крестьянам запрещалось обсуждение общих вопросов, он направил волостным старшинам «разъяснение», в котором, ссылаясь на Высочайший рескрипт, указал: если крестьянские сходы происходят легально, то они вполне законны. Такая трактовка фактически дезавуировала губернаторский циркуляр, и земскому начальнику 1-го участка Ярославского уезда Некрасову было предложено подать в отставку. В своей автобиогра-

фии он писал о дальнейших событиях так: «Отклонив предложение губернатора, а затем и уговоры предводителя дворянства уйти без шума, по решению министра внутренних дел Плеве я был устранен от должности, а затем уволен „по 3-му пункту“, то есть без права занятия государственных и общественных должностей». Любопытна точка зрения противной стороны: в одном из тогдашних донесений полицмейстера губернатору причиной увольнения Некрасова от должности названы «допущенные им фамильярности с крестьянами как прогрессиста».

В годы Русско-японской войны Константину Федоровичу, избранному представителем Красного Креста, предстояло отправиться на театр военных действий, но он от этой должности отказался. В это время окончательно определились его политические взгляды: все свои силы он отдает общественной работе, становится активным членом кадетской партии.

Учредительный съезд Конституционно-демократической партии прошел 12–18 октября 1905 года. Это первая легальная политическая партия России, в основе программы которой лежали либеральные принципы. Наиболее желательным вариантом общественного устройства теоретики кадетов считали рациональное капиталистическое хозяйство, последовательно выступали против любых насильственных переворотов, за эволюционное развитие общества и всех его институтов. Их политическим идеалом была парламентарная конституционная монархия английского типа, где господствует принцип «Король царствует, но не управляет». Кадеты требовали разделения законодательной, исполнительной и судебной власти, ответственного перед Думой правительства, введения всеобщего избирательного права и демократических свобод, настаивали на защите гражданских и политических прав личности. Россию они видели унитарным государством, но допускали культурно-национальное самоопределение народностей; выступали за серьезные реформы в аграрной и финансово-экономической сферах, в области взаимоотношений труда и капитала, вопросах обороны, просвещения и т.д. Эти требования, весьма оппозиционные для своего времени, привлекали в партию значительные группы думающего и политически активного населения страны.

В Ярославле региональное отделение кадетской партии оформилось быстро. Царь издал Манифест о гражданских свободах 17 октября 1905 года, а 25 октября ярославская газета «Северный край», фактически ставшая печатным органом кадетов, уже опубликовала их политическую программу. 5 ноября в Ярославле состоялось собрание, на котором был избран губернский комитет партии, куда, кроме К. Ф. Некрасова, вошли Н. П. Дружинин, С. А. Мусин-Пушкин, В. Н. Ширяев и др.

Подобные собрания прошли по всей России: к декабрю 1905-го в стране насчитывалось свыше семидесяти легальных кадетских организаций, а к весне следующего года — более трехсот шестидесяти. В партию вошел, как принято говорить, «цвет русской интеллигенции» — либерально настроенные дворяне, университетская профессура, средняя городская буржуазия, служащие, учителя, врачи. В пору расцвета широких общественных ожиданий среди кадетов оказались также представители рабочих, ремесленников, крестьян. В дальнейшем, быстро радикализируясь, они в большинстве своем покинули партию, но в период выборов в I Думу многие представители социальных низов поддержали кандидатуры, выдвигаемые кадетскими комитетами. На этой волне прошел в первый русский парламент и Константин Федорович Некрасов: как активный член кадетской партии он был избран депутатом от Ярославля.

Согласно избирательному закону от 11 декабря 1905 года город Ярославль мог выбрать одного депутата, а губерния — четырех. Примечательно, что в итоге все пять «ярославских» мест в I Думе заняли кадеты: коллегами Некрасова по парламентской работе стали тогда крестьянин А. М. Костров, судебный следователь Д. А. Скульский, врач В. Е. Строганов и активный землец князь Д. И. Шаховской.

Как известно, эта Дума просуществовала всего семьдесят два дня (с 27 апреля по 8 июля 1906) и была распущена царем. К. Ф. Некрасов, бывший в первом отечественном парламенте секретарем фракции кадетов, разделил вместе с наиболее радикально настроенными парламентариями судьбу этого представительного органа, приняв участие в составлении и подписании 10 июля 1906 года знаменитого Выборгского воззвания. Под этим документом, призывавшим граждан к пассивному сопротивлению политике правительства, отказу платить налоги, непризнанию займов и саботированию призыва в армию, стояли подписи трех ярославцев: Шаховского, Некрасова и Скульского. Правительство возбудило против подписантов уголовное преследование; почти все они были приговорены к тюремному заключению сроком на три месяца и лишены прав избираться на общественные должности. Впрочем, отбыть наказание они могли в удобный для себя срок и по месту жительства. Так и получилось, что дворянин Некрасов отбывал наказание в ярославской тюрьме в Коровниках с 19 мая по 19 августа 1908 года. Там же в это время находился Д. И. Шаховской — с ним заключенный — и поделился новыми планами на будущее.

Планы эти были связаны с издательской деятельностью. Путь на казенную службу Некрасову оказался закрыт, пристрастия к управлению отцовскими предприятиями и усадьбой он не испытывал, продолжать профессиональную политическую деятельность в силу судебного запрета — отныне не мог. Отцу Константин Федорович писал: «Есть одна область, в которой я могу устроиться: это редактирование газеты или журнала или что-нибудь в этом роде. Но занятия эти, требуя огромного труда (часто ночного), плохо оплачиваются, вдобавок нередко грозят судебным преследованием. Я решил взяться за эти дела только в том случае, если не найду ничего другого». В письмах из тюрьмы к своему другу, соратнику по партии Николаю Петровичу Дружинину, он более определенен: первым будущим изданием ему виделся краеведческий сборник. И все же по выходе из заключения Константин Федорович, совместно с Дружининым, взялся за издание не сборника, а ежедневной газеты.

Ярославская губернская газета «Голос», соиздателями которой до 1912 года являлись К. Ф. Некрасов и Н. П. Дружинин, начала выходить 19 февраля 1909-го; редакция располагалась на Духовской (ныне Республиканской) улице, в доме № 49. Направленность издания была, естественно, конституционно-демократической, а тематика — смесью политических, экономических, общенаучных, юридических и литературных вопросов. Под рубриками «Ярославская жизнь», «Областной отдел», «Внутренние известия» публиковались самые разные материалы; газета уделяла внимание положению крестьян, условиям труда рабочих и другим социальным проблемам общества, широко откликалась на общероссийские события. Так, в 1910 году несколько номеров было посвящено кончине Льва Толстого, в одном из них вышла статья Толстого «Два закона» — за эту публикацию редакцию оштрафовали на 300 рублей. Откликнулся ярославский «Голос» и на нашумевшее «дело Бейлиса», что также не осталось незамеченным: С. Каныгина, редактора номера, в котором появилась статья «На средневековом процессе», оштрафовали на 500 рублей.

Немало места уделялось культуре, истории родного края, собственно литературному творчеству. В «Голосе» печатались стихи Сурикова, Дерунова, Дрожжина, Бальмонта. Одним из ее корреспондентов был Брюсов; в 1914 году он написал о своем желании посылать в газету заметки с театра военных действий — и Некрасов принял предложение. Заметки Брюсова о Варшаве в дни войны, краткие обзоры событий на Северном фронте нередко содержали данные, не появлявшиеся ни в одной из столичных газет. Однако это продолжалось недолго; в письме от 4 марта 1915 года автор написал Некрасову буквально следующее: «Из разговора с Вами я вынес впечатление, что для „Голоса“ мои корреспонденции — излишняя роскошь...» Что именно застави-

ло Брюсова сделать такое признание, сейчас трудно установить, но сотрудничество прекратилось.

С 1910 года началось издание еженедельного иллюстрированного приложения к «Голосу» — «Ярославских зарниц». Его задачей издатель называл пробуждение «местного патриотизма, без которого немислимо возрождение нации», «интереса к своему родному, к своей губернии, к уезду, к селу; к своим героям, деятелям, тем, что живут и жили среди нас, часто незаметные, безвестные». Характерна оценка современности, данная редакцией во вступительной статье: «Глухое, поистине Смутное время наше не страшит нас. Мы верим, что оно не будет длительно, и бодро смотрим вперед. Но чем короче будет это переходное время, тем энергичней надо готовиться к грядущим светлым дням, когда все живые силы страны будут призваны к строительству».

Помимо издательских проектов, К. Ф. Некрасов занимался в этот период и другими общественными делами. В 1908–1912 годах он, к примеру, уделял много времени работе в ярославской общественной организации «Молодая жизнь»; ее цель, согласно Уставу, — организация досуга детей и школьников. Члены общества (а в их число входили все представители семьи Федора Алексеевича) устраивали спектакли, вечера, выставки, лекции, зимой — каток, летом — оздоровительные колонии-дачи. Сам Константин Федорович, в 1910–1911 годах — председатель этой организации, наиболее активно занимался как раз устройством подобных «дач» (на территории Ярославской губернии их было несколько, в том числе в Карабихе) и систематизацией опыта их деятельности.

Другим увлечением стало коллекционирование: Некрасов открыл в Москве антикварную лавку. Он собирал предметы старины (иконы, шитье, литье, мебель) по всей стране и за ее пределами. В 1913–1914 годах предпринял поездки в Вологду, Рязань, Нижний Новгород, Александров, Львов и другие города России, а также в Персию. В одном из писем жене, Софье Леонидовне Щерба, Константин Федорович писал: «„Лавка древностей“ страшно интересует меня... я все больше и больше о ней думаю и радуюсь, что начал это дело. Но, конечно, я не остановлюсь на обычном антиквариате! Искусство, искусство старое и новое! Мы создали грандиозное дело. И прекрасное!»

И все же главной оставалась издательская деятельность. В 1911 году начали воплощаться давнишние планы: Константин Федорович основывает «Книгоиздательство К. Ф. Некрасова», просуществовавшее до 1917 года. Контора издательства находилась в Москве, а типография — в Ярославле (Духовская ул., 59), и, хотя практически во всех книгах местом издания значится Москва, реально они напечатаны в Ярославле. Пятилетняя деятельность издательства стала заметным явлением общероссийской культурной жизни.

Основывая это предприятие, племянник великого поэта, судя по всему, не преследовал политических целей. Главным критерием в оценке любого конкретного проекта выступало для него эстетическое и просветительское значение книги, главная цель формулировалась прежде всего как культурная. Книги, выпускаемые Некрасовым, отличались особой тщательностью предпечатной подготовки, изяществом оформления; в подборе авторов и произведений проявлялись образованность издателя, его вкус к русскому слову.

В 1912 году в печати появились первые отзывы на вышедшие в издательстве книги, а в 1915-м вышел каталог, по которому мы можем судить об их разнообразии. Константин Федорович издавал бессмертные творения эпохи Возрождения и памятники древнерусского искусства, произведения отечественных и зарубежных авторов, популярных поэтов современности и незаслуженно забытых писателей прошлого. Уже в советское время писатель и библиофил В. Г. Лидин писал: «В хлебосольном доме поэта и драматурга Павла Сергеевича Сухотина можно было нередко встретить одного молчаливого и всегда вызывавшего к себе глубокое уважение человека — издателя

Константина Федоровича Некрасова, племянника поэта; его книгоиздательство в Ярославле было одним из самых культурных в России и по подбору книг, и по тому, как они были изданы, и могло соперничать с любым столичным издательством».

Многие переводы из европейской классики осуществлены и опубликованы впервые в России именно этим издательством. А что касается отечественных авторов, то именно К. Ф. Некрасову по праву принадлежит честь подлинного открытия ряда знаменитых ныне имен. Так, в 1915-м вышло в свет собрание сочинений Каролины Павловой. Редактор этого издания, Валерий Брюсов, писал в декабре 1913 года: «Каролина Павлова принадлежит к числу наших замечательных поэтов... Между тем в наши дни лишь очень немногие знают поэзию Каролины Павловой, а для широких кругов читателей ее стихи как бы не существуют. Объясняется это главным образом отсутствием доступного издания ее сочинений... Издательство К. Ф. Некрасова решило пополнить этот пробел...» Редактором-составителем сборника другого замечательного поэта, Аполлона Григорьева, стал Александр Блок, проделавший большую подготовительную работу для выхода этой книги.

У Некрасова печатались книги Бориса Зайцева, Николая Клюева, Павла Сухотина, Сергея Ауслендера, Натальи Крандиевской, мемуары А. Чарторижского, Н. Тургенева. С ним сотрудничали, кроме уже упомянутых, такие известные авторы, как Константин Бальмонт, Николай Ашукин, Борис Грифцов, Павел Муратов, Андрей Белый, Алексей Толстой, Федор Сологуб, Владислав Ходасевич, Владимир Короленко, Иван Бунин. Со многими из них Константина Федоровича связывали дружеские отношения, с некоторыми — чисто формальные связи «издатель–автор»; с кем-то приходилось — жизнь есть жизнь — порой вступать и в конфликты.

До сих пор не устарели и пользуются заслуженным уважением среди исследователей книги из раздела «Памятники древнего искусства»: «Церковь Иоанна Предтечи в Ярославле», «Церковь Ильи Пророка в Ярославле», «Древнерусская иконопись в соборной И. С. Остроухова». Любопытен «некрасоведческий» аспект деятельности Константина Федоровича. В 1914 году вышел в свет сборник В. Евгеньева «Николай Алексеевич Некрасов» (впоследствии он лег в основу трехтомной монографии о поэте). В 1916-м появился первый том «Архива села Карабиха», составленный из неизвестной прежде переписки поэта (среди его корреспондентов М. Салтыков-Щедрин, А. Плещеев, А. Фет, Л. Толстой, Г. Успенский). К сожалению, второй том, куда должны были войти некоторые неизданные произведения Н. А. Некрасова в стихах и прозе, а также многочисленные варианты уже известных произведений, не вышел в связи с закрытием издательства в 1916 году.

К. Ф. Некрасов пытался осуществлять и другие издательские проекты. С 1911 года с ним сотрудничал, сначала как автор, Павел Павлович Муратов — переводчик, писатель, эссеист. Зимой 1913 года они вдвоем приступили к изданию журнала «София». Цель его Муратов обозначил так: «Эстетическое воспитание на том, что ближе всего, конечно, — русская икона, повесть, но не только на этом, а и на том, что можно выбрать перевести с Запада». Редакционная коллегия поставила основные задачи: серьезное теоретическое осмысление событий литературы и художественной жизни; пробуждение нового интереса к древнерусскому наследию; знакомство читателей с современным отечественным и западным искусством, античными и византийскими традициями, лучшими творениями Востока. «София», с ее глубоким теоретическим материалом и прекрасными иллюстрациями, должна была составить конкуренцию петербургскому журналу Маковского. Редакционные статьи писал П. Муратов; в работе приняли участие Н. Бердяев, В. Ходасевич, Б. Зайцев, П. Сухотин, И. Грабарь, А. Бенуа, М. Гершензон, А. Щусев. В течение 1914 года свет увидели шесть номеров «Софии»; дальше помешала война — Муратов был призван в армию.

С началом войны К. Ф. Некрасов, чтобы хоть как-то поправить дела издательства, занимается дешевыми лубочными изданиями; среди них выделялись серии, посвященные русской классической литературе, военной тематике, детские. Но вскоре он принимает решение о закрытии предприятия. К этому привела целая совокупность различных обстоятельств — экономических, технических, организационных. Немалую роль, очевидно, сыграл и внутренний настрой издателя. Павел Муратов писал ему 12 февраля 1916 года: «Решение Ваше меня действительно не удивило. Я так хорошо представляю себе, как все это должно было накопиться: и „либеральные“ редакторы, и конфискация книг, и склады. И литераторы, и прочее и прочее... Нельзя издавать книги, которые Вы не читаете ни до, ни после издания... Вместе с тем, мое глубокое убеждение, что хорошее, небольшое отчетливое книгоиздательство вполне возможно и морально, и материально. И если бы можно было начать сначала...» Однако решение уже принято: в феврале 1916-го продана газета, а затем и типография. К осени издательское дело было прекращено, но оставалась надежда на его возрождение в Москве после окончания войны.

Здесь стоит отметить, что Константин Федорович, несмотря на свою известность в мире отечественной культуры, имел репутацию «неблагонадежного». С оживлением политической жизни в годы Первой мировой войны активизировалась и деятельность царской полиции; членов кадетской партии (особенно левого ее крыла) она по традиции продолжала считать «управляющими революции». Наблюдение за всеми оппозиционными элементами, в том числе за бывшими членами Государственной думы, в этот период заметно усилилось; в Ярославской губернии особо опасными считались князь Д. Урусов и Д. Шаховской. Перводумец Константин Некрасов также не был забыт жандармами, в своей служебной переписке они отзывались о нем весьма определенно: «Лидер ярославской группы кадетской партии левого крыла и издатель органа этой партии в Ярославле, газеты „Голос“. Личность, безусловно, неблагонадежная в политическом отношении...»

После Октябрьского переворота К. Ф. Некрасов перебирается в Москву. Осенью 1918-го он поступает на службу в Отдел охраны памятников истории и старины, а в 1922-м переходит в Сельхозсоюз, где трудится четыре с половиной года: сначала управляющим Ленинградским отделением, затем — инспектором финансового отдела в Москве. В 1924 году скончалась супруга Константина Федоровича, оставив на его попечение девятилетнего сына Николая: впоследствии он стал известным литератором, внесшим значительный вклад в некрасоведение.

После ухода со службы по болезни Константин Федорович продолжал сотрудничать с журналами и газетами, занимался литературной работой, главным образом в области древнерусского искусства. Именно литературная деятельность была для него основным видом заработка в те тяжелые времена. Он поддерживает связи с В. Брюсовым, А. Толстым, совместно с известным реставратором П. Юкиным работает над книгой «Живописные приемы и техники старых фресковых мастеров (по памятникам, находящимся в СССР)», предпринимает усилия по передаче части архива Н. А. Некрасова из Карабихи в фонды Государственного литературного музея в Москве, трудится над рукописью воспоминаний о жизни в Карабихе.

В 1940 году К. Ф. Некрасов ездил поправлять здоровье на юг. На обратном пути, 22 октября, он скоропостижно скончался. Его тело сняли с поезда в Туапсе, там шестидесятисемилетнего К. Ф. Некрасова и похоронил срочно приехавший сын. Могила, к сожалению, не сохранилась.

АРИАДНА ВЛАДИМИРОВНА ТЫРКОВА: «Социалисты сделали из моего отечества огромное опытное поле для своих догм и теорий»

ВАЛЕНТИН ШЕЛОХАЕВ

Ариадна Владимировна Тыркова, талантливая журналистка и писательница, бесценный член ЦК Конституционно-демократической партии и лидер феминистского движения, родилась 13 ноября 1869 года в Петербурге. Тырковы — древний новгородский род, упоминавшийся еще в летописях XIV века и внесенный в «Бархатную книгу» наиболее старинных фамилий российского дворянства. После смерти деда Ариадны, новгородского уездного предводителя дворянства, ее отец, Владимир Алексеевич Тырков, получил в наследство «родовое гнездо» Вергежи на левом берегу Волхова, а также 5 тысяч десятин земли и сотни душ крепостных крестьян. Девятнадцатилетним студентом аристократического закрытого Училища правоведения Владимир Тырков познакомился на офицерском балу с семнадцатилетней красавицей Софьей Гайли. С первого взгляда они полюбили друг друга и, несмотря на протесты родителей, обвенчались, прожив в любви и согласии пятьдесят семь лет.

После окончания училища В. А. Тырков служил мировым посредником и судьей, а затем перешел в Министерство финансов, где вскоре получил чин действительного статского советника. До 80-х годов XIX века семья Тырковых жила на широкую ногу. Помимо родового имения, содержалась огромная квартира в Петербурге, большой штат прислуги, бонн, гувернанток, учителей для семерых детей (Ариадна была в семье шестым ребенком.) Зимой, как правило, Тырковы жили в Петербурге, а с ранней весны и до поздней осени — в Вергежах. Воспитанием и обучением детей занималась мать, которую называли «солнцем семьи». Она была убежденной «шестидесятницей», разделяла либеральные идеи, любила русскую литературу, музыку, хорошо рисовала. С раннего возраста дети свободно говорили на немецком и французском языках, учились музыке и рисованию, разыгрывали популярные пьесы. В семь лет Ариадну отдали в петербургскую частную гимназию княгини Оболенской. Обладая прекрасной памятью и живым воображением, способностью аналитически мыслить, девочка училась легко; любимыми предметами ее были математика и естественные дисциплины; она мечтала стать врачом.

Гордая и независимая в своих суждениях, Ариадна верховодила среди гимназических подруг. Самыми близкими из них были: Надежда Крупская, Лидия Давыдова (дочь директора консерватории, вышла замуж за экономиста М. И. Туган-Барановского), Нина Герд (дочь директора гимназии, стала женой П. Б. Струве), Вера Черткова (дочь одного из приближенных Александра II, вышла замуж за гвардейского офицера Е. А. Гернгросса, ставшего впоследствии начальником Генерального штаба). Несмотря на разное общественное положение родителей, гимназистки было идейно близки, придерживались демократических и даже радикальных взглядов, верили в прогресс, совершенствование личности и общества. «Мы рано, — вспоминала Тыркова, — начали волноваться социальными несправедливостями и противоречиями, мечтали бороться с ними».

И тем не менее первые токи оппозиционных, демократических идей были получены еще в домашней обстановке. «В нашей семье, — вспоминала Тыркова, — оппозиционное электричество начало копиться, когда я еще была ребенком». Двоюродная сестра матери, Софья Лешерн фон Герцфельдт, в юности ушла из дома, была одной из участниц «хождения в народ» в середине 70-х годов XIX века. После ареста ее держали в Петропавловской крепости, а затем отправили на пожизненную каторгу в Сибирь. Брат Ариадны, двадцатилетний студент Аркадий, участвовал в подготовке убийства Александра II, за что был приговорен к пожизненной ссылке; провел двадцать лет в Сибири и освобожден по амнистии лишь в 1905 году.

Со временем независимый и даже строптивый характер Ариадны стал вызывать раздражение, а затем и неприятие со стороны начальства гимназии. За год до ее окончания она была исключена «за худое влияние на учениц» (правда, через год ей разрешили сдать экстерном выпускные экзамены, и она получила диплом домашней учительницы при Петербургском учебном округе). Исключение из гимназии совпало с ухудшением материального положения семьи Тырковых. Вскоре после ареста сына Аркадия Владимир Алексеевич вынужден был уйти из министерства на скромную должность в петербургской таможне. Уже нельзя было содержать ни большую квартиру, ни прежнюю прислугу. Отец остался в Петербурге, поселившись в маленькой двухкомнатной квартирке, а мать с Ариадной обосновались в Вергеже, где на протяжении нескольких лет семья жила в стесненных условиях: случалось, они с трудом собирали денег купить сахара в ближайшей лавке.

В 1889 году А. Тыркова поступила на математическое отделение Высших женских курсов, а через год вышла замуж за талантливого инженера-кораблестроителя А. Н. Бормана, происходившего из петербургской немецкой купеческой семьи. Брак, однако, оказался непрочным, и через семь лет Ариадна осталась одна с двумя малолетними детьми: дочерью Софьей, названной в честь любимой матери, и сыном Аркадием, которого она назвала в честь сосланного брата. Успев за время замужества привыкнуть к обеспеченной жизни, с частыми выездами за границу, постоянной ложей в театре, она теперь оказалась перед необходимостью поиска заработка. Пришлось снимать дешевую квартиру на окраине Петербурга, перешивать старые платья, экономить каждую копейку. Но волевая и целеустремленная натура помогла не только выстоять перед материальными трудностями, но еще больше закалить характер, мобилизовать недюжинные природные способности.

Тыркова занялась журналистикой. Обладая природным чувством русского языка, широким кругозором, она писала репортажи, рецензии, заметки — легко, живо, увлекательно. С 1897 года ее статьи, подписанные псевдонимом «А. Вергешский», все чаще появлялись в провинциальных газетах — ярославском «Северном крае», екатерининском «Приднепровском крае», а позднее и в столичной прессе. Редакторы газет стали дорожить сотрудничеством с ярким автором.

Увлечшись журналистикой, Тыркова охотно посещала публичные и частные собрания, где народники и марксисты вели между собой полемику о судьбах России, прогрессе, долге интеллигенции перед народом. Однако свободолюбивой натуре Ариадны претили догматизм и начетничество, столь характерные для революционных активистов, их призывы к разжиганию беспощадной борьбы. Ее духовные запросы не удовлетворяло и толстовство. Заложенные с детства свободомыслие, гуманизм, уважение к личности определили сближение с нарождавшимися либеральными политическими кружками. 4 марта 1901 года вместе с Туган-Барановским и Струве она была впервые арестована за участие в демонстрации, устроенной столичной молодежью в поддержку студентов Киевского университета, которых отдали в солдаты за «беспорядки». С этого первого десятидневного пребывания под арестом в Литовском замке и пошел отчет активного участия Тырковой в освободительном движении.

Большое влияние на становление ее общественно-политических взглядов оказал известный земский деятель, соредактор газеты «Северный край», князь Д. И. Шаховской, один из основателей ведущего объединения либеральной интеллигенции в России — «Союза освобождения». Они встретились весной 1902 года в Ялте, подолгу гуляли по набережной, беседовали. «Встреча с Шаховским, — вспоминала Ариадна, — была первой моей связью с общественностью, в которую я позже окунулась с головой». Шаховской уговорил Тыркову переехать с детьми в Ярославль, где ей могли предоставить постоянную и хорошо оплачиваемую работу.

Вскоре новые друзья попросили ее съездить в Финляндию и нелегально провезти оттуда экземпляры журнала «Освобождение», издававшегося Петром Струве в Германии. 17 ноября 1903 года на станции Белоостров Тыркову и ее спутника арестовали, обнаружив несколько сот экземпляров журнала и другие издания «Союза». Жандармы доставили Ариадну в Петербург и поместили в Дом предварительного заключения. Но и в тюрьме она не потеряла присутствия духа: в течение трех месяцев, пока шло следствие, изучала английский язык, переводила книгу о героях английского историка и философа Т. Карлейля.

На суде, состоявшемся 28 апреля 1904 года в здании Петербургской судебной палаты, Тыркова произнесла первую в своей жизни публичную речь. Уязвленная попытками адвоката представить ее дело как обычную контрабанду, Тыркова эмоционально и резко заявила, что вполне сознательно участвовала в нелегальной перевозке журнала, поскольку солидарна с требованиями о введении в стране конституционного режима и демократических свобод. «Как писательница, — заявила она, — я остро чувствую, как нам нужна свобода, и прежде всего свобода слова. Мы стеснены в выражении наших мыслей, цензура зажимает нам рот. России нужна свобода, нужна конституция». Если учесть, что в те времена само слово «конституция» было под запретом, такую речь нельзя не признать смелым поступком. Суд приговорил Тыркову к двум с половиной годам тюрьмы с лишением всех прав состояния. Вскоре из-за болезни она была освобождена под залог, и петербургские друзья решили немедленно переправить Ариадну за границу.

Решение эмигрировать далось нелегко. Особенно тяжелым было расставание с детьми, которых бабушка увезла в Вергез. Перейдя нелегально финскую границу, Тыркова затем переправилась в Швецию, а оттуда в Германию, в Штутгарт, где находилась редакция «Освобождения». Там она познакомилась с корреспондентом влиятельной английской газеты «Times» Гарольдом Вильямсом — вскоре выяснилось, что между ними много общего. Гарольд Васильевич (так называли его русские эмигранты) еще в школьные годы зачитывался произведениями Толстого; под впечатлением, произведенным на него «Анной Карениной», решил прочитать роман непременно на языке оригинала и занялся русским языком. Стремясь участвовать в борьбе за свободу личности, за общечеловеческие идеалы, он воспринял русское освободительное движение как свое кровное дело.

Месяцы, проведенные рядом со Струве, одним из крупных теоретиков нового русского либерализма, Ариадна назвала своим «первым курсом политических наук». Журнал «Освобождение» притягивал к себе представителей российской интеллектуальной элиты, составивших «мозговой центр» либерального движения. Здесь она познакомилась с П. Н. Милюковым, В. А. Маклаковым, С. Л. Франком и другими. Ариадна впитывала в себя новые, оригинальные идеи, участвовала в их обсуждении. Постепенно накапливался журналистский и политический опыт.

После издания указа о помиловании (21 октября 1905 года) Тыркова вернулась на родину. На вокзале ее встретил Гарольд Вильямс, годом раньше приехавший в Россию в качестве корреспондента либеральной газеты «Manchester Guardian». С этого момента они уже не расставались, оформив в 1906 году свой брак.

В ноябре 1905 года А. В. Тыркова вступила в только что образовавшуюся Конституционно-демократическую партию, а на ее III съезде, состоявшемся в апреле 1906 года, по предложению князя Шаховского была избрана в Центральный комитет и до марта 1917 года оставалась единственной женщиной в составе ЦК. Талант публициста, темперамент оратора, безупречная логика, цельность характера создали Тырковой авторитет в партии. Острословы утверждали, что Тыркова — «единственный мужчина в кадетском ЦК».

В партии Тыркова принадлежала к либерально-консервативному крылу. Отвлеченные теоретические схемы, упрощенные способы достижения общественного благоденствия она оценивала с позиции здравого смысла, с точки зрения «доводов жизни». В борьбе за реформирование общественно-политического строя, социальных отношений и институтов она стремилась избежать их тотальной ломки, во что бы то ни стало сохранить лучшие, проверенные жизнью исторические и культурные традиции. Уравновешенность, разумная осторожность и одновременно твердость и непреклонность в отстаивании своей позиции — вот, пожалуй, наиболее характерное в политическом поведении Тырковой.

По натуре лидер, Тыркова без особых усилий выдвинулась в число руководителей либерального феминистского движения. Началось все с ее полемики с Милюковым и Струве на II съезде партии кадетов по вопросу о женском равноправии. «Если в конце XVIII века французская женщина имела право сказать, что раз ее ведут на эшафот, то должны ее пустить и на трибуну, то не имеет ли она право сказать теперь то же самое? Если вы их вели на баррикаду, то откройте им дорогу и в парламент». Аргументы Тырковой оказались неотразимыми, она добилась перелома в настроении делегатов съезда, проголосовавших в большинстве за предоставление женщинам избирательных прав. Позднее она стала специально заниматься женским вопросом, изучая русскую и иностранную литературу, выступала в печати за предоставление женщинам равных прав с мужчинами. Не раз ей приходилось председательствовать на феминистских собраниях.

Общественно-политическую и партийную деятельность, публицистику Тыркова сочетала с писательским трудом. После революции 1905 года из-под ее пера выходили один из другим рассказы, эссе, повести, романы, печатавшиеся в журналах «Вестник Европы», «Русская мысль», «Нива», а затем и отдельными изданиями. Вместе с Вильямсом они много путешествовали, посетили Италию, Англию, Швейцарию, а в 1911–1912 годах жили в Константинополе, где Гарольд работал корреспондентом газеты «Morning Post». Вернувшись в Россию, Тыркова получила предложение от группы правых кадетов и прогрессистов возглавить новую газету «Русская молва». Впервые в России женщина стала редактором ежедневной столичной газеты. В число сотрудников редакции вошли П. Б. Струве (экономический отдел) и А. А. Блок (литературный отдел).

До 1914 года Тыркова в качестве члена ЦК возглавляла бюро печати кадетской партии, которое занималось рассылкой в провинциальные газеты статей по различным политическим вопросам. Ее дом в Петербурге стал одним из самых популярных столичных салонов. Помимо кадетских и думских деятелей, здесь бывали многие петербургские писатели и поэты: Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус, Вячеслав Иванов и Валерий Брюсов, Максимилиан Волошин и Александр Блок, Алексей Толстой и Василий Розанов, Федор Соллогуб и Андрей Белый.

В годы Первой мировой войны Тыркова последовательно отстаивала лозунг: война до победного конца. В этом вопросе ее убеждения были неизменны. Еще в годы Русско-японской войны она с болью в сердце воспринимала поражения русского оружия. На всю жизнь в ее памяти сохранилось тяжелое воспоминание о том дне, когда в Париже стало известно о падении Порт-Артура. Как личное оскорбление она восприняла

ликование русских эмигрантов-радикалов, шумно веселившихся в кафе, поздравлявших друг друга с победой японцев. Теперь же на заседаниях ЦК кадетской партии она выступала за предоставление правительству военных кредитов, ставя интересы страны и ее армии выше любых политических амбиций.

Во время войны Тыркова организовывала санитарные отряды, выезжала в районы боевых действий на Западный и Юго-Западный фронты. Вместе с ней в санитарных отрядах работали дочь и сын. Вместе с Вильямсом, который во время войны фактически стал политическим советником английского посла в России Дж. Бьюкенена, она много сделала для англо-русского сближения.

После Февральской революции 1917 года Тыркова с присущей ей энергией и темпераментом активно включилась в попытки общественного переустройства: вошла в продовольственную комиссию, созданную Временным комитетом Государственной думы и Советом рабочих и солдатских депутатов. Летом ее избрали в Петроградскую городскую думу, где она возглавила кадетскую фракцию. Наряду с этим Тыркова участвовала в заседаниях кадетского ЦК и Петроградского городского комитета партии, являлась делегатом VII–X съездов кадетов.

Однако вскоре пришло осознание иллюзорности надежд на мирный выход из острейшего политического кризиса, невозможности сотрудничества с леворадикальными партиями и организациями. Постепенно Тыркова пришла к выводу, что только военная диктатура имеет шанс спасти Россию от национальной катастрофы. Она оказалась в рядах активных сторонников корниловского выступления, одновременно поддерживая любые попытки соглашения с «государственно мыслящими» элементами из демократического лагеря. В сентябре 1917 года она представляла партию кадетов во Временном совете Республики (Предпарламенте), дала согласие на выдвижение своей кандидатуры в члены Учредительного собрания, хотя и не верила в его успех. 28 ноября 1917 года, в день предполагавшегося открытия Учредительного собрания, она записала в дневнике: «Я не могу ни писать, ни говорить об Учредительном собрании. Я не верю в него. Никакие парламентские пути не выведут теперь Россию на дорогу. Слишком все спутано, слишком темно. И силы темные лезут, собрались, душат».

По отношению к установившемуся большевистскому режиму Тыркова сразу заняла непримиримую позицию. Вместе с известным кадетским публицистом А. С. Изгоевым она организовала в ноябре 1917 года выпуск нескольких номеров газеты «Борьба», призывавшей к активному сопротивлению советской власти. После декрета СНК от 28 ноября 1917 года, объявившего кадетов «партией врагов народа», а их лидеров вне закона, Тыркова, оказавшись под угрозой ареста, вынуждена была перейти на полуполюгальное положение. Тем не менее она в ноябре выезжала на несколько дней в Москву, участвовала вместе с П. И. Новгородцевым и С. А. Котляревским в конспиративных заседаниях Московского отдела ЦК кадетской партии. По возвращении в Петроград много сил отдавала формированию офицерских отрядов и отправке их на Дон, где создавалась Белая армия. В день открытия Учредительного собрания, 5 января 1918 года, она оставила в дневнике запись: «День Учредительного собрания, тягостный, душный день. Не хочется никуда идти, и не потому что стреляют, а потому что не понять, в кого, кто и почему стреляет... Я, презирая социалистов, вижу бессилие, ошибки, неподвижность своих друзей. Россия должна выдвинуть какие-то совсем новые силы или погибнуть».

После разгона Учредительного собрания Тыркова и Вильямс еще некоторое время жили в Москве, где безуспешно пытались вступить в контакт с какими-либо центрами сопротивления советской власти. В марте 1918 года они выехали через Мурманск в Англию. Вильямс, солидарный с Белым движением и располагавший связями в самых высоких сферах, помог Тырковой развернуть антибольшевистскую кампа-

нию; они видели в большевизме «мировое зло», считали необходимым предостеречь мир об этой опасности, убедить союзников оказать действенную помощь борцам с советским режимом. Супруги Вильямс были приняты премьер-министром Ллойд-Джорджем, вели частные беседы с влиятельными политиками, использовали любые возможности для публичных выступлений. Тыркова выступила и как один из инициаторов обращения эмигрантских деятелей к президенту Америки Вудро Вильсону с призывом спасти Россию путем военной интервенции.

В начале 1919 года Тыркова вместе с профессором М. И. Ростовцевым, П. Б. Струве и П. Н. Милюковым сформировала в Англии Комитет освобождения России, ставивший своей главной задачей осведомление английского общественного мнения о событиях, происходивших в России. Комитет рассылал информационные бюллетени, издавал под редакцией Милюкова еженедельный журнал «New Russia», выпускал на английском языке пропагандистские брошюры, в числе которых была и брошюра Тырковой «Почему Россия голодает».

Весной 1919 года Тыркова выпустила свою первую книгу на английском языке «From Freedom to Brest-Litovsk» («От свободы к Брест-Литовску»). Готовя ее к печати, она считала, что исполняет свой гражданский долг по оповещению мира о трагических событиях, происшедших в России: «Социалисты, — писала она, — сделали из моего отечества огромное опытное поле для своих догм и теорий». События в России должны были стать предупреждением для других народов мира: «Если они поймут наши ошибки, наши заблуждения и наши преступления и если, избегая их, они найдут другие пути, более верные и менее жестокие, тогда мы, русские, будем иметь хоть бы то утешение, что невероятные страдания России оказались исторической жертвой, принесенной во имя лучшего будущего всего человечества».

В июле 1919 года Тыркова с Вильямсом, аккредитованным при штабе армии генерала А. И. Деникина в качестве корреспондента газет «Times» и «Daily Chronicle», возвратились в Россию. Она сразу же включилась в работу «Осведомительно-агитационного отделения» («Освага»), видя свою главную задачу в том, чтобы максимально поддержать Белую армию. А. Тыркова участвовала в заседаниях кадетского ЦК и Национального центра, общалась с членами Особого совещания при главнокомандующем Вооруженными силами Юга России, занималась благотворительной деятельностью, проявляя заботу о военных и их семьях. На Харьковской конференции кадетов в ноябре 1919 года она выступила с резким заявлением, предложив на время Гражданской войны «выбросить за борт» демократическую программу мирного времени и прекратить тешить себя иллюзиями о якобы универсальности идей западной демократии. По ее мнению, насущной задачей дня являлось создание «господствующего класса, а не диктатуры большинства». У Тырковой еще оставалась слабая надежда на то, что с помощью военной диктатуры рано или поздно удастся добиться перелома ситуации. Когда же рухнула и эта последняя надежда, окончательно и бесповоротно оборвалась нить, связывавшая ее с Россией. За мытарствами эвакуации из Ростова последовал Новороссийск с его толпами беженцев, сыпным тифом, настроениями безнадежности и отчаяния, потом Константинополь, Париж и, наконец, Лондон. Начались долгие годы новой эмиграции.

Лондонский дом супругов Вильямс на Тайт-стрит в Челси вскоре стал местом притяжения русской эмиграции; сюда приходили письма со всех концов мира, как от организаций, так и от частных лиц, с просьбами о помощи, и здесь никому не отказывали ни в духовной, ни в посильной материальной поддержке. Здесь постоянно бывали послы и посланники великих и малых держав. Для обсуждения животрепещущих вопросов приходили бывшие царские министры С. Д. Сазонов, А. А. Риттих, А. В. Кривошеин; бывший глава Временного правительства А. Ф. Керенский и бывший военный и мор-

ской министр Временного правительства А. И. Гучков; крупные английские политические деятели и писатели — сэр С. Хор, Г. Уэллс, М. Бэринг, Дж. Джером, Б. Пэрс и многие другие. По инициативе Тырковой в Лондоне было создано Общество помощи русским беженцам, которым она руководила на протяжении двадцати лет. Одновременно она возглавила Русское колонизационное общество, занимавшееся сбором сведений о местах, пригодных для расселения русских беженцев, обеспечивавшее их правовой и материальной защитой. Ею были организованы платные лекции, с которыми выступали И. А. Бунин, С. Н. Булгаков, А. В. Карташев, Ф. И. Родичев, А. И. Деникин и другие.

В Лондоне не существовало самостоятельной кадетской группы. Однако Тыркова вела интенсивную переписку со своими единомышленниками, жившими в Париже, Берлине, Константинополе, Софии, Праге. Она стремилась быть в курсе проблем, обсуждавшихся в заграничных партийных кругах. В конце мая 1921 года она выезжала в Париж, где приняла участие в расширенном многодневном Совещании членов ЦК партии кадетов. Фактически это был последний представительный форум партии, пока еще единой, но уже раздираемой непримиримыми противоречиями. После раскола, вызванного неприятием частью партии милюковского «нового курса» с его пересмотром задач и методов борьбы с большевистской властью, началось медленное затухание деятельности отдельных заграничных кадетских групп.

На совещании членов ЦК Тыркова поддержала оппонентов Милюкова, подвергла нелицеприятной критике идею создания единого «буржуазно-социалистического фронта» с участием эсеров. «Теперь, — заявила она, — надо выбирать: или буржуазия, или социалисты. Социалистическая революция, произведенная при помощи большевиков и при попустительстве эсеров и других социалистов, привела к ужасным последствиям и показала, что социализм есть культурная, экономическая и политическая реакция». В политическом плане Тыркова допускала теперь возможность реставрации старого порядка: «Пугаться реставрации в стране, превращенной в развалины, и материально и идеологически, странно. Ограниченная в правах Дума сумела в десять лет продвинуть жизнь страны вперед, а большевики в три года ее разрушили». Она не только отвергла возможность каких-либо форм новой коалиции с социалистами, но и настаивала на непримиримой борьбе с ними.

В эмиграции Тыркова продолжала заниматься литературным творчеством. Ее статьи регулярно публиковались в эмигрантских газетах и журналах («Руль», «Слово», «Новое русское слово», «Сегодня», «Возрождение», «Русская мысль»). С августа 1921 года она редактировала журнал «Russian Life», созданный на средства, которыми располагал Совет русских послов в Париже, сотрудничала с английскими и американскими газетами. В соавторстве с Вильямсом написала на английском языке роман «Hosts of Darkness» (London, 1921) — его русский вариант «Василиса Премудрая» частично был опубликован в 1921 году в журнале «Русская мысль». В ноябре 1928 года умер Гарольд Вильямс; Ариадна Владимировна написала в память о нем книгу «Cheeful Giver» («Щедрый собеседник»), изданную в Лондоне в 1935 году.

В течение многих лет, начиная с 1918 года, Тыркова работала над монументальной двухтомной биографией любимого ею с детских лет А.С. Пушкина (первый том был опубликован в Париже в 1929 году; второй — в 1948 году). Обращение Тырковой к Пушкину, как подметил Б. Филиппов, «объясняется органическим влечением к гению русской культурно-исторической гармонии, к чуть ли не единственному нашему „либеральному консерватору“ в русской литературе». Работая над книгой, Тыркова мысленно переносилась в далекую и бесконечно любимую Россию, забывая на время о своем изгнанничестве.

В годы Второй мировой войны Тыркова жила с семьей сына во Франции, сначала в По, небольшом городке на юге страны, затем в Гренобле, писала мемуары. С на-

падением Германии на СССР все ее внимание было приковано к событиям на востоке Европы. Вместе с Б. П. Вышеславцевым и пианистом П. И. Ковалевым Тыркова организовывала в детской колонии в По лекции и музыкальные вечера. В марте 1943 году она была интернирована немцами как британская подданная. После войны ее усилиями в Париже был создан Комитет помощи депортированным.

В 1951 году Тыркова с семьей сына переехала в США, сначала в Нью-Йорк, а потом в Вашингтон. Несмотря на преклонный возраст, она сохраняла бодрость духа, творческую энергию, была деятельна и общительна. С ее помощью в Нью-Йорке был создан Российский политический комитет. Она участвовала в церковно-общественной деятельности, продолжала работать над своими мемуарами, публикуя главы и фрагменты в журнале «Возрождение» (отдельными книгами они были изданы в 1952 году в Нью-Йорке и в 1954 году в Париже). Все части воспоминаний органически связаны между собой, представляя, по словам автора, «отрезки одного исторического сдвига». Это не летопись, а политическая повесть, где семейная жизнь отступает на второй план. Тыркова стремилась осмыслить «подпочву» происходивших в России процессов, их психологические истоки. Она обращает внимание на такие факторы, как глубокий культурный раскол между меньшинством и большинством российского общества, нарастание антирелигиозных настроений в демократической среде и особенно у социалистической молодежи, состояние постоянного конфликта между властью и обществом. Она далека от того, чтобы снимать историческую ответственность как с власти, которая своими безрассудными действиями постоянно провоцировала революционные настроения, так и с общества, которое даже в лице своих наиболее дальновидных представителей оказалось неспособным найти разумный выход из политического кризиса.

В согласии с традицией сборников «Вехи» и «Из глубины» Тыркова видела перспективу только в здоровом либерал-консерватизме, отказе от теоретических увлечений и возвращении к здравому смыслу. До конца своей долгой жизни она питала живой и непреходящий интерес ко всему, что происходило на родине, следила за достижениями в области науки, литературы, культуры. Одной из последних работ почти девяностолетней писательницы стала статья о «Докторе Живаго» Бориса Пастернака.

12 января 1962 года Ариадна Владимировна Тыркова скончалась на руках своего сына в Вашингтоне, где и была похоронена.

Софья Владимировна Панина:
*«Только там, где есть свобода,
может расти и развиваться справедливый
и великодушный человек...»*

ВИКТОР ШЕВЫРИН

Графиня Софья Владимировна Панина (1871–1956), несомненно, одна из самых удивительных и замечательных женщин предреволюционной России. А. И. Шингарев, будущий деятель кадетской партии, познакомившись с Софьей Владимировной в 1903 году, когда она приехала в воронежскую глушь, намереваясь построить там больницу, пришел в восторг от ее скромности, простоты и деловитости. «Все, кто ее знал, не мог ее не любить и не уважать». Он и годы спустя «любовался ею» — и в собраниях попечительств, и в заседаниях кадетского Центрального комитета, и в заседаниях Временного правительства.

Сердце Софьи Владимировны лежало к культурно-общественной работе. Главное дело ее жизни — создание Народного дома в Петербурге, построенного на ее средства и работавшего при ее непосредственном участии и руководстве. Панина писала, что Народный дом, возникший «в годы безвременья», «создался силой любви, во имя достоинства, знания, правды и свободы личности». До последних своих дней хранила она письма своих учеников — людей, прошедших через Народный дом. Среди них и такое: «Мой отец был крепостной. Я — конторщица. Примите низкий поклон от меня, как дочери того народа, раскрепощению которого Вы посвятили себя».

Софья Владимировна появилась на свет в богатой и родовитой семье. Ее отец — граф В. В. Панин, чей род уходит корнями в седую древность. Сведения о Паниных встречаются уже в источниках XVI века, и, как гласит семейное предание, предки Паниных обосновались на Руси еще в XV столетии, выехав из тосканского города Лукка, что недалеко от Флоренции. В XVII веке среди Паниных немало воевод, думных дьяков, а в XVIII — губернаторов, сенаторов, министров. Некоторые из них оставили заметный след в отечественной истории. Василий Никитич Панин подавлял (вместе с Ю. Барятинским) восстание Степана Разина, а его внук, генерал Петр Иванович Панин, — восстание Пугачева. Его брат, Никита Иванович Панин, — вице-канцлер и, по сути, руководитель внешней политики России, а затем — воспитатель будущего императора Павла I. Сын Петра Ивановича Панина, Никита Петрович, стал одним из организаторов заговора против Павла, хотя и не принимал непосредственного участия в покушении. Этот Панин женился на дочери графа Орлова (одного из пяти знаменитых братьев, особо приближенных к трону), рыжеволосой красавице Софье Владимировне. Их сын, Виктор Никитич Панин (дед Софьи Владимировны), в течение двадцати лет был министром юстиции, председателем Редакционных комиссий. Отличаясь консервативными взглядами, он тормозил работы по отмене крепостного права. Его жена, Наталия Павловна, урожденная Тизенгаузен, приходилась внучкой графу Палену, главному заговорщику в царевубийстве 1 марта 1801 года.

Наталия Павловна, бабушка Софьи Владимировны, в юности дружила с А. С. Пушкиным. Сын Виктора Никитича и Наталии Павловны, Владимир Викторович Панин,

стал отцом Софьи Владимировны. Его сестра вошла в семью князей Вяземских, и Софья впоследствии имела с ними тесные родственные связи. Мать С. В. Паниной, Анастасия Сергеевна, происходила из богатого рода Мальцевых. Ее отец, Сергей Иванович Мальцев, владел целой промышленной империей, раскинувшейся на десятках тысяч десятин, «Америкой в России», как ее иногда называли. Сергей Иванович весьма заботился о своих рабочих, участвовал в общественной жизни страны (подавал царю проект о борьбе с голодом в деревне, писал книги на экономические темы и т.д.).

Его красавица дочь выросла при дворе с детьми Александра II (ее мать — ближайшая подруга императрицы Марии Александровны). Женившись на Анастасии Мальцевой, Владимир Викторович, человек начитанный и либеральных взглядов, взялся, как пишет их сородич Г. И. Васильчиков, «расширять ее умственные горизонты» благодаря общению с той интеллигенцией, которая придерживалась «прогрессивных взглядов». И так в этом преуспел, что после его преждевременной кончины горячо любившая мужа Анастасия Сергеевна (она осталась вдовой в двадцать два года) целиком погрузилась в эту среду. Там она встретила земского деятеля И. И. Петрункевича, и спустя несколько лет они поженились.

Бабушка Софьи Владимировны никогда не любила невестку и боялась «тлетворного влияния на впечатлительную внучку Софью той среды, в которой вращалась ее мать». К тому же она опасалась, что деньги, выдаваемые на содержание девочки, пойдут, хоть частично, на революционную пропаганду, и подала прошение «об отобрании» ее у матери. В октябре 1882 года к Анастасии Сергеевне явился петербургский градоначальник и объявил, что по Высочайшему повелению он прибыл отобрать ее одиннадцатилетнего ребенка и доставить в Екатерининский институт. Это была неслыханная в то время мера. Дочь, по личному приказу Александра III, отняли у матери и отдали на попечение бабушки, которая записала ее в Екатерининский институт! Анастасия Сергеевна и Софья испытали настоящее потрясение.

Впоследствии Софья, как свидетельствуют ее родственники, «будучи любящей дочерью и оставаясь полностью лояльной к своей подчас шалой, но обожающей ее матери... никогда не упрекала бабушку, понимая, что та желала лишь ее счастья». Старая графиня, всегда настолько холодная и строгая, что ее боялись собственные дети, «так внучку уважала и ценила, что она была, быть может, единственным ее любимым человеком». И Софья, став взрослой, вернулась к Наталии Павловне и провела с ней ее последние годы.

В апреле 1890-го, не без стараний бабушки, юная институтка вышла замуж за А. А. Половцева, блестящего офицера Конногвардейского полка, сына известного сановника, близкого друга императорской семьи. На свадьбе Александр III был посаженным отцом Софьи Владимировны. Этот великосветский брак оказался недолгим: последовала шумная и малосимпатичная история развода, причиной которого «послужили гомосексуальные наклонности» Половцева.

Несомненно, что и потрясения в детстве, и роковое замужество глубоко отразились на тонкой, впечатлительной натуре Софьи Владимировны. Неудивительно, что в ней замечали «какое-то отрешение от личной жизни». И вполне понятно ее поступление на Высшие женские педагогические курсы. В 1890 году она встретила с Александрой Васильевной Пошехоновой, тридцатидевятилетней учительницей, которая жила высокими идеалами Великих реформ 1860-х. Эта районная учительница Петербурга оказала определяющее влияние на мировоззрение Софьи, о чем и сама поведала в своих воспоминаниях «На петербургской окраине».

А началось все с того, что Пошехонова задумала устроить бесплатную столовую для необеспеченных учеников начальных училищ Лиговки и попросила Панину при-

нять в этом материальное участие. Та дала деньги, и в октябре 1891 года столовая открылась. Только на столовую за первые двенадцать лет ее существования Панина истратила почти 430 тысяч рублей. Софья Владимировна могла расходовать огромные средства на благотворительность: в 1892 году, став совершеннолетней, она начала самостоятельно распоряжаться процентами со своего капитала, а после смерти бабушки Наталии Павловны (1899) оказалась наследницей несметного состояния Паниных. Ей принадлежали имения в Гаспре (рядом с Ялтой), где отдыхали многие выдающиеся люди России (Лев Толстой, Чехов и др.), в Марфине (ее любимое имение) и в Воронежской губернии, а также дома в столице, фамильные художественные и ювелирные ценности и многое другое.

На ее средства в 1903 году в Петербурге, по проекту архитектора Л. Н. Бенуа, был построен Народный дом: и в его теперешнем состоянии им мог бы гордиться любой европейский город. Уже в эмиграции племянник Паниной несколько ехидно спросил ее: «А как смотрели родственники на то, что ты так щедро расстаешься с семейным наследством?» Она рассмеялась: «Знаешь, меня всегда считали немного эксцентричной, но открыто, конечно, никто не осуждал, тем более что и твой дед, и бабушка Вяземские всецело меня поддерживали. С дедом я только спорила — следует ли, как я считала, все давать даром, или, как твой дед считал, даже обездоленные должны понять, что ничего в жизни „даром“ не дается, а не то развивается в людях паразитизм».

Когда началась работа с Пошехоновой на Лиговке, в Александро-Невской части Петербурга, Софью Панину поразила жизнь здешних обитателей. Вспоминая об этом, она восклицала: «До чего убога, сера и скучна была жизнь русского окраинного обывателя!» И тогда, в конце XIX века, задалась вопросом: «Как уберечь человека, постоянно погруженного в тоску такой беспросветно-нудной жизни, от раздражения и склоки, от отчаяния и злобы, ведущих к пьянству, преступлениям, к политическим эксцессам?» Она полагала, что одного «просвещения» мало, недостаточен также благоустроенный труд. Решающим в жизни человека, по ее мнению, является не труд, а досуг. Только в часы досуга есть место для любви и радости, «для всего того, что превращает работа в человека и человека в личность». Она поставила перед собой «задачу создания какого-то нового симбиоза просвещения, развлечения и воспитания населения. Этот симбиоз и есть то, что мы называем культурой».

Графиня Панина начала свою деятельность вдвоем с Пошехоновой. К ним присоединились сначала одиночки, за ними десятки, а потом и сотни добровольцев, мужчин и женщин, заразившихся их энтузиазмом. Дом на углу Тамбовской и Прилужской улиц, за Лиговским проспектом, стал известен на всю Россию и за ее пределами как «Лиговский Народный дом графини С. В. Паниной». Она по праву снискала славу женщины передовой, «бескорыстно любящей народ». Дом отвечал потребностям своего времени; подобные появились в России еще во второй половине 1880-х годов благодаря предпринимателям Морозовым, Бахрушиным, Корзинкиным. Имелись такие учреждения и в Европе. Панина ездила в Германию, Бельгию, Францию, Англию — знакомилась с тамошним опытом. Современные исследователи Народного дома Паниной как уникальную черту отмечают «благотворительно-нравственный характер его деятельности»: Софья Владимировна отдала Дому «часть своей души». В большом зале (на тысячу человек) устраивались выставки, проводились культурно-просветительные программы, научно-популярные лекции, давались концерты (с участием известных артистов), народные балы, театральные представления. В Народном доме открылись первый в России Подвижной музей учебных пособий и первая общественная обсерватория с высококласными специалистами. В нем работал детский сад, ремесленные классы, столовая, чайная, библиотека, устраивались воскресные праздники для детей и взрослых и многое другое.

Все это сказывалось на поведении местных жителей, оздоравливало нравственную атмосферу «окраины» Петербурга. Симптоматична, например, аргументация одного рабочего, который урезонивал своего сквернословящего товарища: «Это тебе не Невский проспект, чтобы тут ругаться, а Лиговка, и Народный дом тут, и мы с тобой туда ходим, и ты себя соблюдай!» Это говорилось там, куда обитатели Невского проспекта старались не заглядывать, опасаясь пьяных и грабителей!

Г. И. Васильчиков, вспоминая свои беседы с Софьей Владимировной, отмечал, что в предреволюционные годы она не только настаивала на необходимости нести просвещение в народ и утолять его жажду радости. Она, кроме того, страстно восставала против попыток многих общественных деятелей использовать лишения еще неискушенного в политическом отношении народа для внедрения политических идеологий и для прямой вербовки в ряды партий. Васильчиков пишет: «„На этом, — сказала она мне, — я и порвала с Керенским. Ведь я его взяла на работу в Народный дом. Его рекомендовали мне как многообещающего начинающего адвоката. Зная, что он активный член партии социалистов-революционеров, я взяла с него слово, что он политикой у нас заниматься не будет и вербовать среди наших посетителей не станет... Слово он, к сожалению, не сдержал, и мне пришлось с ним расстаться“. Сказано это было, — подчеркивает Васильчиков, — сухо, но с явным негодованием». Панина писала, что политика, какая бы то ни была политическая пропаганда, явная или тайная, полностью исключались из просветительской деятельности в Народном доме. Ей казалось абсолютно бесчестным навязывать любое политическое учение тем, кто не располагает в этих вопросах ни знаниями, ни пониманием и не имеет, следовательно, возможности выбора. У таких людей отсутствует критическое отношение, способность внимать разумным доводам, поэтому обычно на них воздействуют с помощью демагогии, взывая к элементарным, а часто низменным инстинктам. Эти приемы политической пропаганды, откуда бы она ни исходила, от крайне правых или крайне левых, — в корне расходились с ее взглядами и взглядами ее сотрудников на обязательную честность просвещения. Злоупотреблять невежеством и умственной беспомощностью слабейшего, «когда ты становишься его „учителем“, считалось нами так же непозволительно, как злоупотреблять силой по отношению к ребенку».

Однако благородная просветительская деятельность вызывала явное неудовольствие властей. В 1902 году на Панину даже было заведено дело в Департаменте полиции: она оказалась в квартире Е. Д. Стасовой на лекции М. И. Туган-Барановского. А 9 мая 1906 года в Народном доме графини на трехтысячном митинге под псевдонимом Карпов выступил В. И. Ульянов-Ленин. Такого разговора, как с Керенским, у Паниной с Лениным не произошло, но больше в Народном доме он не появлялся.

Собственные воззрения С. В. Паниной были либеральными; этому способствовало также ускорившееся после смерти бабушки Наталии Павловны сближение с матерью и отчимом И. И. Петрункевичем, патриархом либерализма в России, одним из создателей и руководителей кадетской партии. На их квартире в Басковом переулке в Петербурге проходили многие заседания Центрального комитета этой партии, и члены ЦК во время заседания лакомились вареньем, которое присылала из своего имения в Гаспре Софья Владимировна. Но в партию она не вступала до 1917 года и вообще до тех пор, как отмечено в ее воспоминаниях, «никогда ни к какой политической партии не принадлежала». Обоснование этому дано характерное: «Интересы мои были сосредоточены на вопросах просвещения и общей культуры, которые, по моему глубокому убеждению, одни могут дать прочную основу свободному политическому строю».

Слава Народного дома графини Паниной, а с ней и идея устройства новых народных домов распространились повсюду. В 1913 году в стране насчитывалось двести двадцать два народных дома. Жизнь, как отмечала Панина, превращала Лиговский На-

родный дом и в справочно-методический центр: «Со всех концов России потянулись к нам просьбы дать указания, прислать планы и уставы, каталоги для библиотек, списки чтения и театральные пьес». По ее инициативе и на ее средства была проведена первая Всероссийская анкета о народных домах, состоящая из 32 пунктов.

В начале Первой мировой войны в Большом зале и прилегающих помещениях петроградского Народного дома разместился лазарет Всероссийского союза городов. Подвальный и первый этажи остались в распоряжении мастерских, детского отдела, библиотеки, вечерних классов для взрослых. Сотрудники Дома обслуживали не только раненых, но и местное население (раздача денежных пайков семействам призванных запасных, обследование семейного положения жителей района и т.д.). Шире стал и диапазон жертвований. Так, Софья Владимировна передала в кассу Всероссийского земского союза 25 000 рублей. По ее почину был создан Совет попечительских учреждений «для координации их работы и руководства ими»; Панину избрали председателем Совета. Работая среди жителей района, вспоминала Панина, «мы дошли действительно „до дна“ той толщи населения, которая впервые всколыхнулась и затопила все собой в годы революции». Удивительно, но весной 1917-го около Народного дома уже собирались группы женщин (жены призванных на войну), которые обвиняли сотрудников, будто те крали их пайки и будто сам Народный дом выстроен на «краденые народные деньги». Но, как философски замечала Панина, «такие минуты и много худших неизбежны во время великих народных потрясений. Невежество всегда подозрительно и хочет знать, „где та правда, которую скрывают от народа“. В основе же своей наши взаимоотношения оставались добрыми».

Когда в 1917 году явным стал недостаток продуктов, Народный дом взял на себя организацию порядка в этом деле. Приходилось устраивать собрание пекарей, трактирщиков, ломовых извозчиков, заботиться о хлынувших в Петроград беженцах. Городские попечительства, все сотрудники которых несли свой труд безвозмездно, как некую добровольную воинскую повинность, стали ячейкой городского самоуправления, принявшей на себя первые удары народных нужд и бедствий. «И недаром, думается, — размышляла впоследствии Панина, — мы считали себя тоже сидящими в окопах, бессменно, в течение всех трех лет войны». В это время Софья Владимировна, по воспоминаниям современника, — «высокая, статная женщина, отлично сохранившаяся, довольно массивная, с открытым благообразным лицом, с ясными живыми глазами, с сильными, часто порывистыми движениями. Она безупречно проста в манерах и обращении с людьми, подчас детски непосредственна, экспансивна. Внезапно она вспылит, нетерпеливо отмахиваясь рукой от чего-то, что ей не нравится, в голосе слышатся капризные нотки. Председательствуя в собраниях, она иногда срывается, проявляет нетерпение и настойчивость. Когда ей смешно, откидывает голову назад и хохочет громко, с увлечением. Но, невзирая на всю эту экспансивность, высокая личная и общественная культура сквозит через все ее проявления. Тепло сердца, внимание к окружающим, широта порыва навстречу ко всему истинно прекрасному — придают исключительную ценность ее высокогуманной личности».

Даже в лихорадочной, всепоглощающей работе конца 1916 года Панина успевала следить за тем, что происходит в российском обществе, в том числе и в великосветских кругах. Она была «вхожа в мир великих князей и просто князей». Через нее и мужа ее матери И. И. Петрункевича до кадетского руководства доходили, как писал П. Н. Милюков, их настроения. Это было «сплошное торжество по поводу героического поступка „Феликса“ (Юсупова–Сумарокова–Эльстона), рискнувшего собой, чтобы освободить Россию и династию от злокачественной заразы (Распутин. — В. III.)».

Подытоживая деятельность Народного дома до Февральской революции, С. В. Панина отмечала: до 1913 года — рост Народного дома в замкнутых и тесных границах

своего района; в 1913-м — расширение его просветительской деятельности и распространение ее на земство губернии; с 1914-го — его тесное сотрудничество с Петроградским городским самоуправлением и вхождение в среду интересов государственного масштаба.

Дальше — Февраль. И в это время графиня оставалась столь же деятельной и энергичной и даже пыталась, явившись в Таврический дворец, влить свою энергию в растерявшееся руководство Государственной думы. 28 февраля 1917 года А. В. Тыркова записала в своем неопубликованном дневнике: «Вот совет старейшин решил, кто-то соберется. Сейчас Родзянко толкует с Гучковым, пишет телеграмму царю. Ведь они там что-то сделают. Было тяжело смотреть. „Ведь вы все-таки, господа, народные представители, у вас положение, авторитет“. Жмутся. Пришла Панина. Она все время стояла на углу Сергиевской и Литейного, наблюдала солдат. „Они ждут приказа. Ждут членов Думы. Идите к ним. Возьмите их в свои руки. Ведь это растерянное стадо“. Ее слушали молча или говорили: „Пусть они сначала арестуют министров“. Но эти разговоры по телефонам дошли до Милюкова. Он пошел на улицу и привел солдат к Думе. Это было около 2-х часов. Сразу картина стала меняться. Явился центр, к которому потекли и люди, и сведения».

В те месяцы Панина, по ее собственным словам, — «в самой гуще событий». Как отмечает ее племянник, «впервые тетя Софья погрузилась в дотоле ей ненавистную политику». Ее избрали в городскую думу, она вступила в кадетскую партию. В ее мемуарах содержится объяснение, почему она отдала предпочтение именно этой партии: «Так как многие из окружавших считали меня социалисткой по роду моей деятельности и в силу того, что последняя протекала в среде рабочих и самых обездоленных слоев городского населения, я сочла необходимым, в момент обострения политической борьбы, с полной точностью установить свою позицию и отмежеваться от того социалистического безумия, которое охватило страну. Я записалась в члены Партии народной свободы (к.-д.), которая одна тогда, из всех несоциалистических партий, открыто боролась с наступавшим большевизмом. Вся моя дальнейшая судьба определилась этим моментом». Так же она объяснила это решение и своему родственнику: «Понимаешь, старые партии все разбежались. Одни кадеты боролись с наступавшим большевизмом». Центральный комитет партии 10 апреля 1917 года кооптировал ее в свой состав, а в мае, на VIII съезде, она была избрана в ЦК.

В мае 1917-го графиня С. В. Панина — товарищ министра государственного призрения, первая в истории России женщина — член правительства. Здесь она стала правой рукой министра Д. И. Шаховского. Стремительно развивавшийся революционный процесс быстро «тасовал» людей. В июле 1917 года С. В. Панина вошла в новое коалиционное правительство товарищем министра народного просвещения С. Ф. Ольденбурга, тоже члена ЦК кадетской партии. Соглашаясь на новый пост, Панина сказала тогда Ольденбургу: «Очень буду рада поработать с Вами... хотя боюсь, что все это на месяц сроку». В министерстве она руководила отделом школьного образования.

В течение восьми месяцев правления Временного правительства Панина неуклонно отстаивала линию своего ЦК: усиленно пропагандировала лозунг Учредительного собрания, противопоставляя его лозунгу «Вся власть Советам», выступала за войну до победного конца. Не случайно Ленин в сентябре 1917 года усмотрел в ней одного из «самых влиятельных членов партии капиталистов и помещиков, партии „кадетов“, или партии „народной свободы“». Она стремилась предотвратить приход Ленина и большевиков к власти. А в октябре, в момент вооруженного восстания, в составе делегации Петроградской думы пыталась попасть на крейсер «Аврора», чтобы убедить команду не участвовать в большевистском перевороте. Делегацию на судно не пустили.

Как известно, после Октябрьских событий министры Временного правительства были арестованы и посажены в Петропавловскую крепость. Но по всей России шли выборы в Учредительное собрание, которое должно было быть созвано в конце ноября. Поскольку «законной власти» в России, по мнению Паниной, «не существовало», она «в первое же утро после переворота, с полного согласия всех старших служащих министерства, подписала распоряжение об изъятии из министерства тех сумм, которые хранились в его кассе в наличности, и о внесении их в банк на имя Учредительного собрания, которое одно могло явиться правомочным распорядителем правительственных средств». Представитель новой власти И. В. Рогальский, принимая дела, обнаружил, что касса этого ведомства пуста. Против Паниной возбудили уголовное дело о сокрытии государственных средств как акте саботажа.

В ночь накануне предполагавшегося открытия Учредительного собрания, 28 ноября 1917 года, графиню арестовали и увезли в Смольный. Там у нее потребовали возвратить изъятые суммы большевистскому правительству. На допросе в Следственной комиссии по борьбе с контрреволюцией Панина заявила, что «не признает власти народных комиссаров, отчет о своей деятельности и о своих распоряжениях, касающихся хранящихся доверенных ей сумм министерства народного просвещения, она отдаст единственно признаваемой власти — Учредительному собранию». Ей несколько раз предлагали вернуть министерские деньги, но графиня неизменно отвечала категорическим отказом. Дело передали в революционный трибунал. Когда Софью Владимировну привезли в тюрьму, надзирательница воскликнула: «Боже мой, Боже мой, и что же это еще будет!» «Что же вас удивляет?» — спросила Панина. «Да разве же мы не слышали про Народный дом!» Обитатели тюрьмы, сохранившие добрую память о Народном доме, всячески старались скрасить Паниной жизнь: мыли камеру, чистили вещи и т.д. Сама же она, даже в заключении, не могла оторваться от дел и писала предисловие к книге «Народный дом. Социальная роль, организация, деятельность и образование Народного дома. С приложением библиографии, типовых планов, примерного устава и первой анкеты о Народных домах» (Издание сотрудников Лиговского Народного дома гр. Паниной». Петроград, 1918).

Судьба будущей книги кажется Софье Владимировне тесно связанной с «судьбой всей политической и общественной жизни»: «Начатая при самодержавии как результат напряженного искания необходимых форм народной культурной жизни, чуть не погибшая во время сосредоточения всех сил страны на борьбе с внешним врагом, она воскресла и стала претворяться в реальную плоть печатного слова при широко распахнувшейся перед Россией возможностью свободного творчества». Но «наша мечта», что вся Россия станет большим и светлым Народным домом, в котором каждому будет место и всем будет одинаково свободно, тепло и радостно, «осталась только мечтой».

В тюрьме Панина составила и свое пророческое письмо-завещание, которое огласили, когда Народный дом вновь открылся (теперь уже «имени поэта Некрасова») и когда ее уже не было в пределах Советской республики. Софья Владимировна обращалась к сотрудникам и питомцам Дома: «Как давно ждала я этого счастливого радостного дня!.. И как я верила, что этот день нашей радости будет одним из дней великой радости и великого счастья и нашей родины — мирной, деятельной и свободной. Главное — свободной! Ибо только там, где есть свобода, может расти и развиваться справедливый и великодушный человек и воспитываться сознательный и мужественный гражданин... Ожидания и надежды мои не оправдались; война и ненависть с фронта перенесены в глубь страны, а свобода, озарившая на одно краткое мгновение, вновь покидает Россию, оставляя ее под властью новых деспотов и нового самовластья. Я же не с вами, не среди вас, а в тюрьме». Послание закончено словами Петра Великого перед Полтавским сражением: «А о Петре ведайте, что жизнь ему не дорога, жила бы

только Россия во славе и благоденствии». «Так, — подчеркивала Панина, — должен думать и чувствовать каждый из нас. И так думаю и я. Не то важно, что именно меня лишили свободы, а важно, что сама свобода гибнет на Руси! Пускай этого не будет».

Между тем рабочая окраина, где находился Народный дом, вступилась за арестованную графиню: жители Александро-Невской части собрали несколько сот подписей и представили заявление в Совет народных комиссаров. В нем говорилось: «Мы, жители Александро-Невской части, в рядах которых насчитывается немало большевиков, испытали на себе и детях своих пользу тех или иных учреждений, основанных гр. Паниной, а потому взываем к тем, от которых зависит ее свобода, и восклицаем: „Отдайте нам нашего друга, возвратите нам творца нашего благополучия... откройте двери темницы для гр. Паниной“». Эта удивительная история заставила Софью Владимировну и в эмиграции вспоминать о времени ее тюремного заключения как «о самом значительном и счастливом» в жизни. Она писала: «В те дни великих потрясений мне дано было счастье убедиться в том, что в сердцах людей мы за истекшие годы действительно пробудили те „чувства добрые“, во имя которых шли к ним. Это было редким и мало заслуженным счастьем». Письмо петроградцев, по-видимому, произвело некоторое впечатление на Смольный. По крайней мере графиню туда привозили и обещали выпустить на свободу, если она уплатит хоть часть министерских денег. Она снова отказалась, и ее снова отправили в тюрьму.

Новая власть готовилась к первому в истории России суду революционного трибунала. Петроградский ревтрибунал был создан 3 декабря 1917 года. Его председателем стал старый большевик, столяр завода «Эриксон» И. П. Жуков. Следственную комиссию Петроградского Совета, занимавшуюся «делом Паниной», возглавляли М. Ю. Козловский и П. А. Красиков. Ни «присяжных поверенных», ни прокуроров не предполагалось, и Паниной разрешили взять себе в качестве адвоката того, кого она пожелает. Софья Владимировна остановилась на Я. Я. Гуревиче. Он был директором частной гимназии и сотрудником театрального отдела Народного дома, редактором журнала «Русская школа» и председателем комиссии по народному образованию городской думы; после Октября продолжал трудиться на ниве народного образования, являлся активным функционером кадетской партии. Гуревич полагал, что страна находится в состоянии «современного всенародного распада, национального банкротства, гибели огромных культурных ценностей». И о суде над Паниной имел четкое представление. С одной стороны, «яркая личность, выдающаяся русская женщина, носительница прочно сложившихся культурных традиций, испытанная общественная работница русского просвещения»; с другой стороны — «группа авантюристов, захватившая насильственно власть, провозгласившая себя народным правительством, правительством рабочих, солдат и крестьян, накануне всенародного Учредительного Собрания... А между ними, между испытанной культурой и безудержной стихией революции — народный суд, именуемый народным трибуналом. Он, только что народившийся, открывает свою ответственную деятельность с рассмотрения дела, в котором столкнулись с такой исключительной контрастностью лучшие заветы прошлого с бешеным и сумбурным призывом к новому, такому, какого еще не видел свет».

Гуревич по доверенности Паниной ознакомился с ее делом в Следственной комиссии. Им также была разрешена встреча накануне суда. Во время продолжительной беседы, без свидетелей и не через решетку, а в дежурной комнате, Панина сообщила, что «со стороны тюремной администрации и низших служащих отношение к ней безупречное, даже внимательное». Настал день суда — 10 декабря 1917 года. Революционный трибунал заседал в бывшем доме вел. кн. Николая Николаевича на Петроградской стороне. Все подступы к дому заполнила толпа: зал не вмещал всех же-

лающих присутствовать на процессе. Были приняты меры, чтобы «впустить побольше большевистских сторонников из простого народа». Но в зале оказалось также много интеллигенции.

Когда Панина вошла в судебный зал, вся публика встала и устроила ей шумную овацию. За судейским столом, который стоял на эстраде, разместились председательствующий рабочий И. П. Жуков (в свое время ученик вечерних классов организации, родственной Народному дому) и шестеро заседателей — от петроградских предприятий. Суд задумывался новой властью как показательный. На процессе присутствовал нарком юстиции Стучка. Гуревич был прав, характеризуя процесс уже постфактум: «Дело гр. С. В. Паниной в революционном трибунале заслуживает общественного внимания в настоящем и должно сделаться достоянием истории в будущем, так как оно характерно не только для действующих лиц, но и для эпохи, которая его породила». В современной литературе отмечается, что Панину судили «главным образом за то, что она являлась активным членом ЦК партии кадетов, объявленной советским правительством партией врагов народа, и это уже была расправа за убеждения, за принадлежность к определенной политической группировке». Закономерно, что «Вестник партии „народной свободы“» поместил на своих страницах подробный отчет о заседании ревтрибунала по этому делу (№ 31, 28 декабря 1917).

Судебное заседание открыл председатель И. П. Жуков, сказав, что революционный трибунал будет самым ярким защитником прав и обычаев русской революции, будет строго судить тех, кто пойдет против воли народа, а невиновные найдут в нем надежного защитника. Жуков обратился к Паниной с вопросом, признает ли она себя виновной. Софья Владимировна отрицала свою вину. Далее был зачитан доклад Следственной комиссии. Ритуал суда требовал, чтобы председатель суда предложил желающим из публики выступить с обвинительной речью. На это предложение никто не откликнулся. Тогда предложили желающим выступить с защитительной речью. Гуревич, как пишет Панина, сказал спокойные, добрые слова. Судья по «Известиям» ВЦИК, он оправдывал действия Паниной, ставил ей в заслугу ее благотворительную деятельность и упирал на то, что «теперь нет закона, который признавался бы всеми, а ваши декреты признают далеко не все». Он подчеркнул, что судить Панину по совести невозможно, «значит, остается судить ее партийно. Тогда незачем обставлять это всеми атрибутами судебных процессов. Тогда это — гражданская война». Атмосфера в зале, хотя и была напряженная, но в целом, как ее запомнила Софья Владимировна, оставалась в пределах «умеренности и аккуратности». Дальше, однако, «случилось непредвиденное»: слова попросил человек из публики. «Ваша фамилия?» — «Иванов». — «Профессия?» — «Рабочий». Паниной он был совершенно неизвестен. «Его выступление произвело, — вспоминала она многие годы спустя, — эффект разорвавшейся бомбы». «Не чуждаясь народного пота и дыма, — сказал о подсудимой рабочий, — она учила отцов, воспитывала их ребят. Они видели от нее не только помощь, но и ласку. Она зажигала в рабочих массах святой огонь знания, который усердно гасило самодержавие. Несла в народ сознательность, грамотность и трезвость. Несла культуру в самые низы... Я сам был неграмотным, темным человеком. У нее в Народном доме, у нее в школе я обучился грамоте. На ее лекциях я увидел свет... Не позорьте себя. Такая женщина не может быть врагом народа. Смотрите, чтобы не сказали про вас, что революционный трибунал оказался собранием разнузданной черни, в котором расправились с человеком, оказавшимся лучшим другом народа...» И, подойдя к скамье подсудимых, он поклонился и сказал громко: «Благодарю Вас!»

Речь рабочего Иванова, по свидетельству Паниной, вызвала необыкновенное волнение среди судей: «Засуетился Стучка, народный комиссар юстиции, который тут же присутствовал и руководил всей постановкой. Тотчас же был выпущен с обвини-

тельной речью один из большевистских ораторов». Это был молодой рабочий с завода «Новый Парвийнен» Наумов, «Известия ВЦИК» потом с удовлетворением цитировали его речь. Наумов одобрил суд над Паниной как над саботажницей: «Класс угнетенных кровью добыл власть и не может, не должен претерпевать оскорблений этой власти». Он подчеркнул, что дело носит принципиальный характер: «Сейчас перед нами не отдельное лицо, а деятельница партийная, классовая, она вместе со всеми представителями своего класса участвовала в организованном противодействии народной власти, в этом ее преступление, за это она подлежит суду». Отвечая на то место в речи Гуревича, где он говорил о благотворительности Паниной, как ее заслуге, Наумов сказал: «Я готов согласиться, что в прошлом гражданка Панина приносила пользу народу... Но тем-то и отличается их благородство, чтобы давать или бросать народу куски, когда он поработан, и мешать ему в его борьбе, когда он хочет быть свободным. Пускай народодлюбивая графиня Панина действительно добра и благородна. Но вот народ пришел к власти... Тут и благородство не помогло, и чем только можно была оказана помеха... Пускай трибунал помнит, что мы имеем право быть свободными, а кто этого не хочет понять — подлежит обезвреживанию. Гражданка Панина мешала народу в его работе. Действуйте, граждане судьи, не для одного благородства, а на пользу миллионов — и жизнь оправдает вас!»

По мнению Паниной, Наумов «нес невероятную околесицу». Когда он говорил, из публики раздавались крики: «Врете!», «Неправда!». Джон Рид, присутствовавший на процессе, описал реакцию публики как неистовство: зал освистывал суд и громкими возгласами приветствовал Панину. И хотя в помещении находились вооруженные патрули Красной гвардии и была сделана попытка очистить зал заседаний, никаких актов насилия не наблюдалось. Лишь «одного мужчину, который оскорблял суд и Советы и вопил не своим голосом, в конце концов выставили».

Защитник Гуревич, отвечая обвинителю, говорил: Наумов всецело захвачен и опьянен успехами пролетарского восстания; его устами говорит большая узость доведенного до крайности классового самосознания, которое с гневом отвергает и хочет подавить все, что не идет за народными комиссарами, в которых Наумов «слепо верит как в истинных вождей народа». Затем заключительное слово предоставили Паниной. Она заявила, что исполняла лишь то, что считала своим долгом перед страной, и постаралась выразить всем присутствующим ту благодарность, которая переполняла ее сердце после речи Иванова. Председательствующий объявил перерыв, и суд удалился на совещание. Софья Владимировна заметила, как Стучка немедленно этим воспользовался и юркнул за кулисы в совещательную комнату судей — «факт, по судебным традициям прежнего времени, совершенно недопустимый».

Вынесенный приговор показался Софье Владимировне «неожиданно мягким». Было вынесено постановление оставить С. В. Панину в заключении до момента возвращения взятых ею народных денег в кассу Комиссариата народного просвещения. Революционный трибунал счел ее виновной в противодействии народной власти, но, принимая во внимание прошлое обвиняемой, ограничился вынесением общественного порицания. В конце суда ее спросили: «Вы согласны внести эти деньги, гражданка Панина?» Она ответила: «На основании всего мной уже сказанного — нет». — «Тогда вы будете возвращены в тюрьму». — «За вами сила».

Когда стража повела Панину тесным проходом между столпившихся зрителей, ей устроили бурную овацию. Софья Владимировна потом с удовольствием вспоминала: «Люди аплодировали, что-то кричали, руки тянулись ко мне — суд надо мной превратился в мой триумф». Многие годы спустя, оценивая судебный процесс в целом, она отмечала, что интересен в этих событиях не личный аспект, а то столкновение, которое случайно разыгралось вокруг ее личности, столкновение между «элементом насиль-

ственно-революционным» и тем, «что человеку по-настоящему полезно и нужно». В ее индивидуальном случае, утверждала она, «обыватель городской окраины победил насилие революционного трибунала, открыл передо мной двери темницы и вернул мне свободу».

По иронии истории, ровно через двадцать лет, в декабре 1937 года, бывший председатель революционного трибунала Жуков, к тому времени послуживший и в органах ВЧК, и в заместителях наркома у Орджоникидзе, и в Президиуме ВСНХ, и на посту наркома, пал жертвой репрессий. В 1956 году этот представитель панинской «окраины» реабилитирован посмертно. Панина еще и потому несла свет просвещения, что хотела иной судьбы Ивановым, Наумовым и Жуковым.

Ее собственная тюремная эпопея 1917 года продолжалась еще десять дней: власть требовала вернуть «министерские деньги». Союз учителей открыл подписку: первый рубль был пожертвован рабочим. Выручили Высшие женские курсы, предоставившие часть суммы. Забирал Панину из тюрьмы профессор И. М. Гревс. При этом разыгралась сценка, в которой проявился весь характер этой женщины. Не рассчитывая на столь скорое освобождение, она, еще сидя в тюрьме, получила разрешение устроить для заключенных и персонала рождественские чтения с волшебным фонарем. Все очень расстроилось: чтений не будет, раз Панина выходит на свободу. Заметив это, она обратилась к администрации: «Если разрешите, я с удовольствием приду в день Рождества и устрою обещанные чтения». Комиссар тюрьмы поцеловал ей руку. Панина приходила два раза и с успехом провела чтения. Более того, 19 декабря, выйдя на свободу, она уже через день явилась в Петропавловскую крепость навестить «врага народа» А. И. Шингарева, единомышленника по Партии народной свободы.

Но вновь обретенная свобода была формальной: вернуться в Народный дом оказалось уже невозможно. «Я бы дорого дала за то, — писала Панина в 1948-м, — чтобы никогда с этой окраиной не расставаться, но, освободив меня из тюрьмы в 1917 году, мой город смог мне предложить только трудную и долгую жизнь без него, вдали от него... очевидно, навсегда».

Кончился 1917 год, начался 1918-й. По всей стране полыхнула Гражданская война. Панина перебралась в Финляндию. Говорили, что до границы ее сопровождала «почетная охрана» из рабочих, бывших воспитанников Народного дома. А из Финляндии, через Англию, она устремилась на юг, где сражались белые армии. Ехала в крестьянской одежде, с маленьким, потрепанным, грошовым чемоданчиком, в котором лежали бриллианты и другие драгоценности ее предков. Панина рассчитывала часть своих ценностей передать А. И. Деникину на нужды Белой армии. В пути, на какой-то станции, среди тифозных больных, уложенных рядами в зале ожидания, она увидела одного из своих знакомых и политических друзей, И. Иваницкого, и попыталась устроить его в один из вагонов. В суете и спешке забыла на минутку о поставленном куда-то чемоданчике. Искать его было бессмысленно: только бы унести ноги подальше и от станции, и от чемоданчика. Так, «с пустыми руками, явилась на Юг».

В годы Гражданской войны вместе с Н. И. Астровым они были, пожалуй, наиболее близкими для Деникина людьми. Панина представляла «Национальный центр», всемерно поддерживала Белую армию. Но как общественная деятельница, для которой важнее всего духовные и культурные ценности, она чувствовала себя в годы Мировой и Гражданской войн совершенно выбитой из колеи. В письме Астрову от 21 февраля 1919 года это вылилось в настоящую отповедь войне, следствием которой, считала Панина, явились и большевизм, и одичание масс. По ее мнению, если бы война закончилась в течение полугода, то она действительно могла бы привести к торжеству гуманных и справедливых начал, а за четыре года боины люди озверели, общий культурный уровень народов понизился. Совсем неважны частные и личные трудно-

сти и неудачи — они не могут подорвать силы духа. Но когда не видно нигде кругом той почвы, тех высоких качеств духа, которыми должна светиться жизнь (а под «нигде» она подразумевала и Европу, и Америку), становится трудно, ибо длительность работы, безмерная длительность так ясна, что «в душу закрадывается безнадежность сизифовой задачи». «Да, — признавала Панина, — я, несомненно, в „обличительном“ настроении и ничего лестного о человечестве не склонна думать и говорить в настоящее время. Не знаю, что хуже: безнадежная ли ограниченность умственных горизонтов или черствая сухость сердца... Скучность в умах и сердцах — вот удел людей, которые могли бы быть... „подобны богам“». Но и в эти годы случались маленькие, но жизнеутверждающие радости. Еще в Финляндии Софью Владимировну чудом нашла крестьянка из Марфина. В узелке она принесла несколько художественных вещей, спасенных из уже разоряемой усадьбы, в том числе несколько портретных миниатюр предков графини.

В первые годы эмиграции она жила в Швейцарии, потом в Чехословакии. Вместе с Н. И. Астровым, В. А. Оболенским, П. П. Юрневым и другими входила в группу кадетского Центра, была членом Земско-городского комитета помощи российским гражданам за границей. И, как солнечный луч, озарило ее в 1923 году известие о праздновании двадцатилетней годовщины ее Народного дома в России. В далекий Петроград было отправлено необыкновенно теплое приветствие, которое начиналось так: «Дорогие, бесконечно дорогие друзья мои!» В своем послании Софья Владимировна писала друзьям, что никогда не переставала быть с ними всем сердцем своим в течение тех бесконечных пяти лет, пока они не виделись. Что у идей и чувств своя логика и своя история, своя непреклонная закономерность, которая сильнее невежества, и лжи, и заблуждений, и насилия и которая не может допустить, чтобы смерть стала сильнее жизни там, где эта жизнь зародилась. «Не бойтесь убивающих тело, душу же не могущих убить». Она говорила, что эта живая душа жила, живет и будет жить в Народном доме. Она верила: будущее «за нами... именно наша любовь и правда и вера в человека победят все временные лишения и бедствия и построят когда-нибудь... царство радости и справедливости». Приветствие зачитали в Народном доме в день юбилея. Правда, начальство не допустило сделать это в Большом зале, где происходило главное торжество, так как дух этого письма «не соответствует времени и требуемой идеологии». Но старые ученики Народного дома собрались для прочтения в другом зале, поменьше. Более того, они организовали «панинский кружок», главной задачей которого стало поддержание в Доме тех принципов, которыми он руководствовался с самого начала своей деятельности.

В следующем 1924 году, Софья Владимировна практически переселилась в Чехословакию. В Праге жили тогда и близкий ей Н. И. Астров, и отчим И. И. Петрункевич. В этом городе у Паниной всегда было много дел. Д. Мейснер вспоминал, какой внимательной и отзывчивой умела она быть. Когда он болел туберкулезом в поселке близ Праги, эта уже немолодая грузная женщина в любую погоду, ежедневно приносила ему обед, проделывая путь по размокшей глинистой дороге. Чехословацкий президент Масарик как-то лично навестил Панину и старого Петрункевича и сделал так, что она получила средства на создание библиотеки и клуба-читальни для русских эмигрантов под названием «Русский очаг». Она сотрудничала и с Русским зарубежным архивом, работала в других учреждениях. Перед оккупацией Чехословакии гитлеровцами Панина уехала в Америку, куда ее звала старая подруга, основательница Толстовского фонда графиня А. Л. Толстая и где проживал ее сводный брат, профессор Йельского университета Александр Петрункевич.

Во время войны русская эмиграция при содействии Софьи Владимировны, как сообщает ее родственник, организовала крупномасштабную помощь советским воен-

ным в немецких лагерях. Правда, помощь эта «не была допущена — по личному приказу Гитлера». Зато по распоряжению маршала Маннергейма, хорошо знавшего Панину в предреволюционные времена, суда, везшие эту помощь из Южной Америки, «были направлены в Швецию, откуда она была переброшена в финский лагерь для советских военнопленных».

После войны С. В. Панина жила на ферме Толстовского фонда в штате Нью-Джерси, помогая А. Л. Толстой готовить к печати ее мемуары. Изредка приезжала в Нью-Йорк поработать в Публичной библиотеке. Тогда ей было уже почти восемьдесят, и она «как-то физически съезжилась, но духом была еще удивительно молодой и бодрой». К своему племяннику Г. И. Васильчикову, тогда работавшему в ООН, Панина приходила порой пообедать. И неизменно — с маленьким чемоданчиком, которым, говорила она, «ограничивалось все ее земное имущество». Не имея собственной квартиры, она переезжала то к одним знакомым или родственникам, то к другим. И никогда от нее не слышали ни слова сожаления об утраченных богатствах или жалобы на трудности судьбы. В 1948 году Софья Владимировна написала воспоминания «На Петербургской окраине» и направила их в нью-йоркский «Новый журнал», с тем чтобы они были опубликованы там после ее смерти.

Последний штрих в биографию графини Паниной вносит Г. И. Васильчиков: «Весной 1956 года с тетей Софьей Паниной приключился удар, она долго и мучительно болела, меня к ней уже не подпустили, и она скончалась 13 июня того же года». Графиня Софья Владимировна Панина похоронена на кладбище православного Ново-Дивеевского женского монастыря близ городка Спринг-Вэлли (штат Нью-Йорк, США).

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ АСТРОВ: «Свободная личность в правовом государстве...»

ВИКТОР ШЕВЫРИН

В 1934 году на Ольшанском кладбище в Праге, на чужбине нашел свое последнее пристанище Николай Иванович Астров — человек, которого в начале XX столетия знала вся Россия. Но с тех пор много воды утекло, и теперь имя Астрова, к сожалению, мало что говорит нашему современнику.

Н. И. Астров родился в 1868 году в семье врача. Друзья, те, кто знали его семью, всегда вспоминали «Детство и отрочество» Толстого — в таком доме он вырос, от него взял все доброе. Мягкость Астрова и, одновременно, резкость в защите принципов воспитания его семьей, «мягкой и светлой, но и лишенной всякого оппортунизма. Эта семья дала ему основы изумительного бескорыстия, великодушия, безусловной нравственной чистоты и безукоризненного джентльменства». В 1890 году он окончил гимназию, а спустя четыре года — юридический факультет Московского университета. Тогда же стал кандидатом на судебные должности при Московском окружном суде. В сентябре 1894 года был избран мировым судьей, а в мае 1897-го — городским секретарем. Им он проработал до 1907 года и в качестве такового имел сильное влияние на городского голову князя В. М. Голицына. Свое влияние и авторитет Астров распространил и на городскую думу. Особенно это чувствуется начиная с 1905 года, когда он стал гласным Думы, а вслед затем — гласным Губернского земского собрания и одним из лидеров «прогрессивной группы».

Во многом благодаря Астрову Московская городская дума приняла 30 ноября 1904 года свое знаменитое заявление, ставшее своеобразным политическим рубиконом: дума встала в оппозицию правительству. Известный московский предприниматель и гласный думы Н. П. Вишняков, который придерживался весьма консервативных политических взглядов, признавал этот факт. Он находил, что Астров — «человек очень неглупый, себе на уме, хитрый, с отличной выдержкой», «все время командовал князьенькой» — городским головой кн. В. М. Голицыным. По воспоминаниям самого Астрова, влиятельный московский либерал Л. В. Любенков предвидел эту ситуацию, когда еще только уговаривал Николая Ивановича занять место секретаря: «Хорошо, что ты станешь секретарем Московской думы, да еще при мягком Голицыне. Все ты заберешь в свои руки. Ты с характером и с волей. Влияние твое будет большое».

Характер деятельности Николая Ивановича и личный его характер складывались под влиянием городского самоуправления: «Москва открыла ему любовь к самостоятельности как основе общежития». Близкий друг и соратник Астрова П. П. Юренев отмечал, что Москва дала ему ценное качество, редкое для русского политического деятеля: привычку к практической деятельности и умение наладить и вести деловую работу. Самостоятельность Московской городской думы, по убеждению самого Астрова, обязана выражаться не только в громких постановлениях, но и в повседневной будничной работе, а лучшей рекомендацией ей должны служить школы, больницы, трамвай, кана-

лизация, водопровод, бойни. Умение соединить мировоззрение с живой, реальной работой, на деле показать, как идеи общественной свободы облекаются в практические формы, создают удачные типы городского хозяйства и улучшают их в интересах широких масс, — «это умение было особо свойственно характеру Николая Ивановича и составляет его огромную заслугу не только перед Москвой. Он прекрасно понимал, что в сочетании отвлеченных идей с вопросами будничного дня кроется главная трудность разрешения современных политических задач». Особенность своего подхода к этим задачам Николай Иванович широко применил в деятельности Всероссийского союза городов (ВСГ), органа первостепенного политического значения, выполнявшего вместе с тем и колоссальную практическую работу. Уверенность в том, что общественная самодетельность, и только она, служит залогом возрождения России, Н. И. Астров вынес из муниципальной работы. Это была его основная идея, которую он положил в основу всего своего политического мировоззрения и которой он жил до последних минут. Как образно сказал Юренев, из маленького уютного дома в московском переулке он видел не только Москву, но и Россию; не только Россию, но и широкий мир с его вечными задачами, со страстным желанием служить правде и праву.

Все это во многом объясняет и чрезвычайную активность Астрова на общероссийском уровне: он состоял секретарем Земско-городского съезда (ЗГС) в 1905 году; по приглашению С. А. Муромцева и князя Д. И. Шаховского заведовал канцелярией I Государственной думы. Уже тогда ему стало ясно, что тактика правительства направлена на то, чтобы сорвать работу этой Думы. «И ее сорвали, одержав пиррову победу и погубив Россию».

Во II Государственной думе он вместе с секретарем (будущим городским головой Москвы) М. В. Челноковым занимался дальнейшей организацией и развитием думской канцелярии. После роспуска Думы при участии Астрова был издан сборник законодательных проектов и предложений Конституционно-демократической партии (Партии народной свободы). Вообще, Н. И. Астров играл видную роль в кадетской партии, о чем свидетельствуют протоколы заседаний ее ЦК. Несомненно, он мог бы стать выдающимся парламентарием, если бы попал в Государственную думу в качестве депутата. После думских перипетий, с 1907 по декабрь 1910 года, он был мировым судьей в Москве, а затем его избрали на должность директора Московского кредитного общества. В 1912 году Николай Иванович вступил в товарищество по изданию газеты «Русские ведомости», куда и сам написал немало статей.

В предвоенные годы Н. И. Астров был столь популярен в широких общественных кругах, что в январе 1913 года князь Г. Е. Львов (избранный московским городским головой, но не утвержденный министром внутренних дел Н. А. Маклаковым, который тогда прямо-таки «джигитовал» своей реакционностью) назвал его будущим руководителем московского городского самоуправления. Николай Иванович стал московским головой 28 марта 1917 года. Однако еще задолго до этого С. В. Бахрушин считал, что «политическую физиономию Московской городской думы делал Н. И. Астров... Москва вела за собой всю Россию, Н. И. Астров вел за собой Москву».

Вел он ее за собой и в деле создания Всероссийского городского союза. Именно он предложил создать этот союз, а затем вошел практически во все его руководящие органы, он устанавливал связи с другими общественными организациями, он представлял союз в объединенном Земско-городском союзе, при контактах с государственными ведомствами. Это время неистовой, лихорадочной работы — звездный час в жизни Астрова. И в эмиграции он гордился, что был избран московским городским головой. Заняв в марте 1917 года этот высокий пост, он видел всю трудность положения и сознавал всю тяжесть ответственности: «Если сумею помочь разрешиться протекающему процессу, буду считать исполненной поставленную мне судьбой задачу».

В те штормовые дни задача оказалась неразрешимой. И у самого Астрова происходящие события уже в июне 1917 года вызывали порой «смущение и страх за добытую свободу». Н. И. Астров стал «калифом на час», пробыв в новой должности чуть более трех месяцев (с 28 марта по 7 июля). Однако, будучи последним городским головой Москвы, избранным по Городовому положению 1892 года, он внес немалую лепту в разработку нового, демократического Городового положения, которое Временное правительство утвердило 9 июня 1917 года. На последнем заседании Московской «цензовой» думы он высказал пожелание в отношении тех, кто придет в нее завтра: «Пускай классовый интерес будет руководить их действиями не в большей мере, чем этот интерес руководил в общем и целом действиями Московской городской думы». Он верил в лучшую жизнь и в будущее России.

«Большевицкий переворот» Астров не просто не принял. Он повел активную борьбу с новой властью, считая большевиков «шайкой бандитов, захвативших власть и разложивших армию». Избранный в числе семнадцати кадетов в Учредительное собрание, Николай Иванович приехал в Петроград и участвовал в заседании ЦК в доме графини С. В. Паниной. Ему повезло: ночевать он не остался — в отличие от Ф. Ф. Кошкина и А. И. Шингарева, которые были арестованы как «враги народа» и убиты в тюрьме.

В 1918 году на Юге России Астров представляет у А. И. Деникина «Национальный центр», становится близким Деникину человеком, участвует в Особом совещании, где законодательная работа легла в основном на его плечи. Немало он сделал и для восстановления Земского и Городского союзов, направляя их врачебно-санитарную деятельность на помощь Добровольческой армии.

После поражения белых армий в 1920 году Н. И. Астров эмигрирует. Живет в Женеве, выезжая иногда в другие города, например в Лондон; в двадцати километрах от британской столицы он лечился в санатории, куда его устроила А. В. Тыркова-Вильямс. С июля 1924 года и до своей смерти Николай Иванович оставался в Праге. Там он по-прежнему деятелен, весь — в общественной жизни, как и его жена С. В. Панина, всемерно помогавшая соотечественникам, создавшая, благодаря президенту Масарику, который хорошо знал эту супружескую пару, «Русский очаг». Астров много занимался партийной работой: возглавил группу кадетов, не принявших политику «нового курса» Милюкова; немало времени уделял земско-городскому делу; стал организатором и руководителем Русского заграничного исторического архива в Праге, того самого, который после Второй мировой войны вошел составной частью в ЦГАОР (ГА РФ) как «Пражский архив». Обращение к архивной деятельности и к истории было отнюдь не случайным. Астров умел слушать биение пульса своего времени и хорошо понимал громадное значение эпохи, в которую жил. Он видел, что на всей планете происходят небывалые потрясения и сдвиги. «Нашему поколению приходится быть свидетелями и участниками великих превращений... Среди этих потрясений изменились и основы человеческого духа... Человечество вступает в новую эру».

Н. И. Астров находился в постоянной переписке с людьми, которых знала вся дореволюционная Россия: с Милюковым, Павлом Долгоруковым, Ф. И. Родичевым, А. И. Деникиным и др. Бывало, в письмах делались экскурсы в прошлое, в ту, исчезнувшую уже навсегда Россию. И при этом нередко всплывал сакраментальный вопрос: «Почему все произошло так, как произошло?» А за ним следовали другие, сверхболезненные: «Кто виноват и можно ли было избежать катастрофы?» Особенно часто об этом размышляли бывшие государственные и общественные деятели России — в беседах друг с другом, в мемуарах, публицистике. Одни стремились искренне понять причины гибели государства, другие оправдывались в происшедшей катастрофе. Так «на чужих берегах» историками поневоле становились многие россияне.

Естественно, период войны и революции особенно привлекал их внимание. Поэтому вышел в свет «Архив русской революции», поэтому организовал Астров Русский заграничный исторический архив. В эмиграции у него проявились склонности и способности к историческим занятиям. Он написал немало работ по истории Москвы и городского самоуправления; тщательно отбирал документы для архива; послал множество писем Деникину с замечаниями и размышлениями об «Очерках русской смуты». Все это требовало и больших знаний, и известной «кабинетности»: любви к книжному делу, кропотливому труду с источниками, а кроме того, умения хорошо писать и объективно оценивать как книги, так и людей. Николай Иванович был вдумчив, тонок, глубок, невероятно организован и работоспособен. Он настойчиво побуждал и своих знакомых взяться за перо, чтобы записать свои воспоминания об отшумевшей эпохе.

Но никто из главных действующих лиц Городского и Земского союзов не оставил опубликованных воспоминаний об их работе. Положение спасает не кто иной, как Н. И. Астров. Весьма полные свидетельства о «страшном периоде», о ВСГ содержатся в его личном архиве, где есть также рукописи по истории Союза, замечания на вышедшие в свет книги и статьи современников, переписка с друзьями, размышления о былом. Освещая деятельность ВСГ, он выступает скорее как историк, время от времени обращаясь к воспоминаниям. Свойственные Астрову качества историка ранее были использованы им в иной, общественной сфере. И в немалой степени благодаря им Астров добился впечатляющих результатов. В. А. Оболенский, близкий друг Астрова (столь же близок ему, пожалуй, лишь П. П. Юренев), вспоминал, что «отличительной особенностью Николая Ивановича была глубокая внутренняя правдивость и добросовестность. Всякое дело, за которое он брался, он изучал во всех деталях и, только изучив его, приступал к работе, упорно и упрямо проводя в ней свои мысли и взгляды». Так, «основательно изучив городское дело, он был блестящим гласным Московской думы и незаменимым ее секретарем».

То же самое можно сказать о деятельности Н. И. Астрова в Союзе городов. Диапазон приложения его силы и ума, его энергии и знаний и здесь оказался необычайно широк. Уже в июле–сентябре 1914 года он выступает перед представителями городских самоуправлений с множеством предложений и докладов, в том числе на Учредительном (8–9 августа 1914) и первом съездах (13–15 сентября 1914) ВСГ. По постановлению Московской городской думы 18 июля 1914 года избирается так называемая Военная комиссия. В ней восемнадцать человек, и среди них — Астров. Он вспоминал: уже на следующий день, 19 июля, на заседании комиссии «мною, гласным Московской городской думы, высказано было пожелание о привлечении городских управлений к участию в общей работе в связи с войной». Это предложение городские деятели встретили с энтузиазмом. Московская городская управа 26 июля возбудила ходатайство перед министром внутренних дел о разрешении созвать в Москве Всероссийский съезд городских голов. Разрешение было получено. Управа разослала приглашения на съезд городам Европейской России, и 8–9 августа съезд состоялся. Ранее, на заседании комитета по организации съезда, куда вошел и Н. И. Астров, были выработаны его программа и схема предлагаемой организации. А еще до съезда ВСГ, 31 июля 1914 года, на съезде представителей городов и земств, принадлежащих Московскому эвакуационному округу, Астров подчеркивал: «Нам необходимо согласовать нашу деятельность. Если мы сегодня, поговорив, разойдемся, то цель не будет достигнута». По его предложению было поручено составить статут Московской городской областной организации. И на Учредительном съезде 8–9 августа 1914 года в докладе об организации будущего союза он «нарисовал широкую картину возможной плодотворной деятельности союза». Съезд, обсудив доклад, постановил, по сути, признать, что предполагаемая организация должна соответствовать схеме, предложенной Астровым.

Из журнала заседаний Временного комитета ВСГ от 10 августа 1914 года явствует, что Н. И. Астрова избрали товарищем председателя комитета В. Д. Брянского. Тогда он убедил руководство Союза в том, что «города могут широко развить свою деятельность по оказанию помощи больным и раненым воинам только при условии получения пособия от правительства». С этой целью он предложил послать в Петербург особую делегацию, которая «указала бы правительству на недостаток средств у городов и выяснила бы размер того пособия, которое города могут получить от правительства». В результате пособие правительством было обещано. В тот же день, по предложению Астрова, принято решение «поручить избранной на настоящем заседании делегации немедленно возбудить перед правительством ходатайство о том, чтобы семьи евреев, призванных в ряды армии и флота и высланных из мест, в которых происходят военные действия, получили право повсеместного жительства в империи».

Уже в августе 1914 года Н. И. Астров вошел практически во все руководящие органы ВСГ: в бюро, в комиссию по выработке норм пособий городам, в согласительную комиссию и проч. О влиянии Астрова и его авторитете говорит и тот факт, что в Главный комитет ВСГ на первом, сентябрьском, съезде 1914 года он был избран почти всем составом присутствующих делегатов. И в продолжение всех последующих лет работы в ВСГ (1915–1917) оставался одной из центральных фигур в его руководстве. Естественно, что та роль, которую играл Астров в ВСГ и в общественной жизни страны, делает его свидетельства весьма ценными. Историю Союза он увидел во всем сложном политическом контексте, отчего и история страны, и история российского либерализма получают более полное освещение, а сам автор, благодаря такому освещению, лучше виден и как политик.

К истории Союза городов Астров обратился уже в 1922 году. И в качестве автора «попал» в престижное издание. Фонд Карнеги начал грандиозную по тем временам книжную серию о влиянии войны на социальное и экономическое развитие разных стран, едва смолкли оружейные раскаты Первой мировой. Главным редактором всего издания был американский профессор Дж. Шотвель, редактором русского отдела — выдающийся историк П. Г. Виноградов. Этот маститый профессор и его ближайший помощник М. Т. Флоринский подбирали кандидатуры, вели с ними переговоры, уточняли планы работы. Затем Виноградов, как представитель фонда и как редактор русского отдела, подписывал контракт с автором. Истории земств и городов России отводился самый большой раздел; в него входили четыре работы о земстве и только одна — о городах. Их-то и должен был написать Астров. Виноградов обсудил с ним план будущей книги. У него не закралось и тени сомнения, что эта работа «будет одним из наиболее ценных вкладов в нашу историю войны». План сохранился в фонде Астрова; состоящий из четырнадцати глав, он поражает своей обстоятельностью и всеохватностью.

Н. И. Астров предполагал начать с краткого очерка развития органов городского управления в России; подчеркнуть неизбежное сосредоточение оппозиционных настроений в крупных городских управлениях, повсеместное стремление к расширению их функций; охарактеризовать их хозяйство и финансы. Суть почти каждой главы выражена одним-двумя предложениями. «Права и средства» — общий лозунг городских управлений в годы, предшествовавшие мировой войне. «Организация русских городов для помощи государству во время войны». Московская городская управа «как собиратель русских городов». Идея объединения русских городов. Возникновение ВСГ. Далее Астров намеревался дать характеристику правовой конструкции Союза, расширению его функций и отношению к нему правительства. Взаимоотношения ВСГ с ВЗС. Автор останавливался на краснокрестной деятельности двух Союзов, помощи беженцам, образовании Земгора. В последних трех главах должна была быть представлена многоаспектная деятельность городских управлений во время войны и революции.

Астров в своей работе весьма критически отзывается о большевиках, которые, по его словам, уничтожили городское самоуправление. Не удержался он от критики большевиков и после завершения книги. Отослав ее 26 сентября 1924 года Виноградову, 6 ноября Астров вновь пишет к профессору. Послание интересно тем, что в нем дана оценка собственного труда и значения городского общественного самоуправления. Поскольку письмо к Виноградову можно назвать программным, я позволю себе привести его целиком. «Дорогой Павел Гаврилович, я представил свою работу в установленный срок при официальном письме на Ваше имя, зная, что Вы отсутствовали в то время из Англии. Мне хотелось бы, однако, искренне поблагодарить Вас за то, что Вы вспомнили обо мне и дали возможность на некоторое время сосредоточиться на тех вопросах, которые занимали меня в течение многих лет моей жизни. К сожалению, мне не удалось осуществить во всей полноте тот план, который задуман был первоначально. Достать нужный материал нельзя было бы даже в России. Громадное количество архивов местных самоуправлений погребло. Архивами и делопроизводством хорошо нам известной Московской городской управы и других учреждений города Москвы в течение нескольких месяцев топили московский водопровод. Представленная работа поневоле носит характер очерка, представлены не отчетные цифровые итоги, а цифровые примеры и показатели произведенной работы. Недостаток отведенных страниц в то же время заставил пожертвовать некоторыми довольно интересными материалами, которые остались на руках. То ли вышло, что Вы хотели и предполагали, — не знаю. С живым интересом буду поджидать Вашего заключения. Хочу надеяться, что не уклонился от поставленного задания. Еще раз искренне благодарю Вас за то, что дали возможность вспомнить о русских городах и поведать о том, что представляли собой русские городские самоуправления и что сделали они во время войны. О русском земстве в свое время написано довольно много. О городах почти ничего, если не считать нескольких книжек, принадлежащих по преимуществу социалистическим перьям. А эти последние относились к нашим городским управлениям с полным пренебрежением и высокомерием. Составленный очерк дает картину действительно произведенной работы русскими городами, лишь только они получили хотя бы некоторую самостоятельность».

Характерна фраза, которой Н. И. Астров заканчивает свое исследование: «Старые русские городские общественные самоуправления и их союз — умерли. Завершилась целая историческая эпоха. Однако большая культурная работа, совершенная русскими городскими самоуправлениями, оставит после себя глубокий и неизгладимый след. В новой исторической эпохе, в которую вступила Россия, культурные традиции, накопленные старыми городскими общественными управлениями, выйдут наружу и будут использованы новыми поколениями как драгоценное достояние, как только новые исторические события откроют тому возможность».

Николай Иванович с большим нетерпением ждал вестей от Виноградова. И вот перед самым новым, 1925, годом пришел ответ: «Дорогой Николай Иванович, я наконец получил возможность подробно ознакомиться с Вашей работой о городах и Союзе городов и рад сообщить Вам, что Ваша монография, по моему мнению, написана превосходно и явится ценным вкладом в нашу историю войны. Возможно, конечно, что потребуются небольшие сокращения и изменения в тех частях Вашей работы, которые тесно соприкасаются с областями, отведенными другим авторам, например в области снабжения или санитарного благоустройства, но Вы можете быть уверены, что я сделаю все от меня зависящее, чтобы сохранить единство и общий характер Вашего труда».

Астров сразу же отвечает Виноградову: «Дорогой Павел Гаврилович, искренне благодарю Вас за Ваше письмо от 22 декабря. Оно доставило мне большое удовольствие и удовлетворение. Это был хороший и дорогой подарок к Новому году. Я думаю

продолжать работу в области городского самоуправления Чехословацкой республики. Предполагаю расширить работу общества и включить в нее как прошлое русских городов, так и современное их состояние».

Однако книгу опубликовали лишь через пять лет. Смерть Виноградова в 1925 году негативно сказалась на деятельности русской секции фонда. Астров продолжал работать, не дожидаясь выхода в свет своего исследования. В 1927 году он напечатал статью «Всероссийский союз городов». В ней приведены обобщенные данные о деятельности ВСГ: громадность проведенной Союзом работы производит сильное впечатление. Но в статье появились и новации, если сравнивать ее с монографией. Прежде всего, они стали результатом «раскрепощения» темы: появилась возможность писать о зарубежной муниципальной истории, совершить более глубокий экскурс в довоенную историю российских городов. Новое — и в оценке социального состава ВСГ, и в данных о количестве служащих, в том числе и военнообязанных; приведены цифры по работавшим в ВСГ женщинам. В статье вполне откровенно, но отнюдь не в публицистическом тоне рассказывается о революции, о гибели городских управлений и о том, какую роль сыграл в этом новый режим.

Работы Астрова об истории ВСГ по ряду приводимых в них конкретных данных не устарели доднесь. Можно только удивляться, что, находясь в эмиграции, автор смог мобилизовать и систематизировать столь обширный материал. Он показал огромный вклад ВСГ в военные усилия страны. Вот некоторые цифры. К сентябрю 1917 года в состав Союза входили 630 городов, что составляет около 75% всех городов того времени. Смета Союза на лечение больных и раненых, на транспорт и общесанитарные мероприятия во втором полугодии 1916 года составила 41,5 млн рублей. Смета по трем фронтам на тот же период исчислена в 31 млн рублей. Кассовый расход Союза за 1917 год (по 1 сентября) составил 232 млн рублей при кассовом обороте в 464 млн рублей. На питательных пунктах Союза по путям следования войск, раненых и беженцев накормлены 4 370 076 рабочих и 8 642 676 беженцев. В тринадцати санитарных поездках Союза городов перевезено 340 000 раненых. К осени 1916 года число коек на учете Союза составляло 200 000. Через его госпитали с начала войны до января 1916 года прошли 1 260 000 раненых. Были вылечены 18 548 заразных больных. Под флагом Союза городов на фронтах работали 68 врачебно-питательных и санитарно-технических отрядов. ВСГ содержал 247 лечебных заведений, 270 амбулаторий, зубо-врачебных и рентгеновских кабинетов. На фронтах ВСГ имел 388 питательных пунктов, столовых и чайных, где было выдано 50,5 млн обедов и 80 млн порций чая. В еще более впечатляющих цифрах выражалась санитарная помощь на фронтах. Например, белья выдано 35 638 614 штук, выстирано — 45 144 349; перемылось в банях Союза 35 900 715 человек и т.д.

Собирая фактический материал, Астров проделал, можно сказать, титаническую работу. Но ему этого было мало. Он жаждал исследовать все источники. Лишь за неделю до отсылки своего труда в Фонд он с печалью констатировал: «В Праге среди разных случайных материалов кое-что нашел, кое-чем воспользовался. Но главного все же нет. Теперь по крайней мере я убедился в том, что поиски желанной полноты материалов тщетны. Приходится ограничиваться очерком».

Очерк — так скромно определил он жанр серьезной исследовательской работы о Союзе городов. В его личном фонде есть список источников, включающий огромное число книг, журналов и т.д., в том числе такие трудоемкие для исследования источники, как газеты («Русские ведомости», «Речь», «Русское слово», «Известия ВСГ») и многое другое.

«Но главного все же нет». Что он искал? Никто лучше его не знал и не представлял, насколько огромным было делопроизводство ВСГ: его Главного комитета, отделов, комиссий, областных и городских комитетов — монблан архивных дел. Потому

Астров и написал в одной из своих статей: «История Союза городов может быть написана только в России, если, впрочем, там сохранились в целости архивные материалы...»

Объективным историком проявил себя Н. И. Астров и в такой области истории ВСГ, как «политическая» работа городских деятелей в условиях войны и революции. Д. И. Мейснер, живший в Праге и хорошо знавший Астрова, писал в своих мемуарах: «Если бы меня спросили, каково было отношение бывшего московского головы Н. И. Астрова к русской революции, то я сказал бы, что он, прежде всего, был на нее лично крепко сердит. Правда, его семья тяжело и сильно пострадала. Но с годами, а Астров умер в первой половине 30-х годов, уже пришло время, когда можно было смотреть на события и шире, и объективнее, чем в дыму сражений гражданской войны».

Семья Астрова действительно сильно пострадала: в 1919 году были расстреляны два его брата и племянник. Что же касается «сердитости», то, наверное, мало нашлось бы в эмиграции тех, кто не сердился на революцию. Сердился же он скорее не на революцию, а на тех, кто действовал от ее имени. В памфлете о Ф. Дзержинском эта сердитость проявилась вполне. Как, впрочем, и в сборнике «Памяти погибших», редактором которого выступил Астров. Он считал, что «большевизм никогда не был и не может быть социализмом, что большевизм никогда не станет национальным явлением». И верил, что «болезнь русского народа, его большевизм» пройдет, что уставшим от революции людям нужно время, чтобы собрать свои силы и сложить разрушенный ими самими дом.

Однако прошлое Н. И. Астров оценивал объективно (по крайней мере, старался). И прежде всего те события, в которых сам принимал участие. В предвоенные годы страна, по его мнению, выходила из застоя. Жизнь в центрах становилась кипучей, искрящейся, творческой и плодотворной. Еще несколько лет такого роста — и Россия стала бы действительно сильной и могучей. Россия выпрямлялась во весь свой гигантский рост. Но роковую роль сыграла война — «испытание и правительству, и народу», которого они не выдержали.

При всем том «корни русской революции лежали глубоко». Веками культивируемое бесправие создало реакцию на него в форме революционного погрома. Результат — торжество нового бесправия и насилия. Но либералы понимали, что «грозные недоразумения» между властью и народом, между правящим классом и Россией слагались задолго до революции, предвидели роковые последствия этих роковых недоразумений. «И вся наша политическая деятельность имела целью предупредить и предотвратить катастрофу. Мы были между властью и группами, готовившими революцию, и мы участвовали в создании противоборствующих революции сил». Политическая роль Союза городов сводилась к тому, чтобы предупредить власть о грозящей катастрофе, констатировать растущий протест и недовольство в стране. Он предугадывал катастрофу, и катастрофа пришла — предощущенная, но все же неожиданная и неотвратимая.

И Астрова «прорвало». Он выплеснул свои размышления в неопубликованной и сохранившейся в его архиве статье «Всероссийский союз городов и русская революция». События, предшествовавшие Февральской революции и связанные с деятельностью лидеров ВСГ, «почти нигде не получили сколько-нибудь полного и правдивого отображения» — так он писал бывшему главноуполномоченному ВСГ М. В. Челнокову. Прежде чем браться за статью, он проштудировал работы своих оппонентов — тех, кому собирался возражать: Б. Б. Граве, А. Г. Шляпникова, В. И. Ленина и др., включая некоторых авторов журнала «The Slavonic and East European Review». Статью одного из них, д-ра Славика, «Участие Союза городов в падении царизма», напечатанную в мартовской книжке «Славянского обзора», он подробно конспектирует, делая на полях свои заметки. Они весьма важны для понимания позиции Астрова как историка и как политика, фактически стоявшего у руля ВСГ.

Против слов «защитники умирающего режима не отклонялись от правды, когда утверждали, что оппозиционная общественность использовала затруднения правительства, чтобы свалить самодержавие» он пишет: «Да, это точка зрения правых! Оно само валилось!» А тираду о том, что «оппозиция все свои действия в армии прикрывала исключительно стремлением дать возможность армии победить внешнего врага», Астров комментирует: «Непростительное упрощение. Какой большевизм». Сентенцию: «На новой конференции представитель городов 18 июня 1915 года главный докладчик Н. И. Астров говорил уже о сближении армии с общественностью» — сам Астров квалифицирует так: «Извращение перспективы».

Интересны комментарии, уточняющие его собственную позицию более чем десятилетней давности. В том месте, где автор рассказывает о том, что на съезде в сентябре 1915 года прозвучало предложение послать депутацию к царю и что съезд принял это предложение, несмотря на протесты меньшинства, Астров делает пометку на полях в отношении меньшинства: «*Радикального и Я*». Это при том, что он сам в числе шести делегатов от Земского и Городского съездов был избран членом депутации к царю. Астров совершенно не согласен с тем, что речь кн. Г. Е. Львова и меморандум, который должен был быть передан царю, стали «возбуждающими» из-за отказа в аудиенции. И разъясняет: «Напротив. Слабо. Мало. Выжидательно». Он не соглашается и с тем, что эти документы были размножены и разосланы во все города: «Положены на полку». А на авторский пассаж, будто жалобы и желания, не дошедшие до царского уха, разлетелись в копиях по всей империи, раскачивали оппозиционный и революционный дух во всех провинциальных уголках, отвечает: «Преувеличено. Не это создавало оппозицию».

Астров так резюмирует свои возражения и несогласие с основным содержанием статьи: «Не борьба со старым режимом, а спасение страны от падения, от анархии... Мне довелось быть одним из основателей ВСГ, бессменным участником в его большой работе до самого конца. От имени Главного комитета союза, по его поручению, мною делались ответственные выступления на съездах союза по общим и политическим вопросам. И я утверждаю, что ни у руководителей работы Союза городов, ни у его создателей не было намерения использовать затруднения царского правительства для того, чтобы свалить самодержавие. Более того, мы никогда не проводили в союзе какие-либо политические программы той или иной политической партии. Мы были свободны от директив партии. Таково было молчаливое соглашение между нами, участниками в работах союза и партиями, к которым мы принадлежали. В наших ответственных „политических выступлениях“ мы выражали настроение тех общественных кругов, которые объединял Союз городов, и формулировали эти настроения. Оглядываясь назад, многое хотелось бы сделать иначе, много ошибок своих и чужих, вне сомнения. Но совершенно неверно утверждение, что русские прогрессивные круги хотели свести свои счеты с царской властью именно тогда, когда вся страна и правительство испытывали величайшие затруднения. Совершенно неверно, что в этом стремлении мы только „прикрывали свои действия желанием дать возможность армии победить внешнего врага“. Такое утверждение извращает смысл всего происшедшего в России. Не использовать затруднения, а помочь выйти из затруднений, ставило себе задачей все прогрессивное общество России и в том числе, конечно, Союз городов».

Здесь Астров как бы отвечает на многие обвинения в радикализме в пору его деятельности в России и в оппозиционности Союза городов. Работая над статьей, он сделал выписку из письма В. Н. Челищева от 9 сентября 1929 года, в котором тот передавал рассказы М. В. Челнокова о былом. Там содержался, в частности, следующий фрагмент: «По части революционной деятельности союзов Михаил Васильевич того мнения, что руководители союзов ее не вносили, но она врывалась в работу союзов

извне, и многие из деятелей союзов ее поощряли или, во всяком случае, с нею не боролись. Михаил Васильевич вспоминает учреждение так называемого „бюро труда“, допущение рабочих на съезд (1915 года. — *В. Ш.*) и т.д. Он считает это большой ошибкой и в числе поощрителей указывает на Н. М. Кишкина и на тебя, между прочим».

Действительно, нет дыма без огня. По случаю избрания Н. И. Астрова московским головой председатель Верховной следственной комиссии Н. К. Муравьев определил его не только как «блестящего знатока городского хозяйства», но и как «верного друга московского пролетариата». И некоторые основания для такой характеристики имелись. В июле 1915 года на совещании по борьбе с дороговизной Астров настаивал «на необходимости немедленного привлечения в состав городских и общественных управлений представителей от кооперативов и рабочих союзов». Да он и сам до октября 1917 года не отказывался от своего радикализма. Еще в середине октября, на VII съезде ВСГ он признавал: «Союзы сыграли видную роль в деле освобождения от самодержавия».

В этом отношении большой интерес представляет астровская интерпретация вопроса о характере оппозиции русского либерализма — вопрос, до сих пор остающийся одним из самых дискуссионных в историографии. Астров признает: хотя роль Союза городов и не была всеопределяющей, она «очень значительна и внимание к его выступлениям было большое». А условия, в которых протекала работа Союза, были «и сложны, и поистине трагичны». Николай Иванович полагал, что анархия начиналась сверху, что мероприятия правительства вели к острой классовой борьбе, и в этих обстоятельствах ВСГ пытался найти свою линию в политической жизни страны. В июле 1915 года, на экономическом совещании, созванном Союзом городов, «впервые было высказано в принятой резолюции, что страна может победить только при условии, если власть будет в руках „правительства, пользующегося доверием страны“». Что это было? Агитация? Бунт? Или созревшее убеждение, которое вскоре стало убеждением всей России. Убеждение, выраженное в совершенно лояльной форме». Астров полагал, что Союз городов верно определил тогда «настроения и требования страны».

Оба союза на своих съездах в сентябре 1915 года приняли решение просить царя выслушать их представителей — Астров считает это знаменательным и последовательным решением. Отказ царя, возможно, «и был поворотным пунктом в настроениях широких общественных кругов». Наступила полоса мнимого затишья. Но общее расстройство в делах усиливалось. Этот развал и образ действия власти, упорно не считавшей нужным считаться с мнением Государственной думы и общественных организаций, поощрял развитие в стране революционного процесса. Около власти создавалась угрожающая пустота. По мнению Астрова, с этого времени начинается заметное раздвоение, как в настроениях общественных и политических организаций, так и в выборе тактики.

Если Прогрессивный блок представлял собой союз прогрессивных элементов с правыми, то одновременно с этим намечались попытки сближения с левыми кругами, которые до того времени в деятельности союзов не обнаруживали себя сколько-нибудь активно. Астров выступал сторонником «согласованных действий с левыми организациями». Течение, ориентировавшееся на Прогрессивный блок, намечало дворцовый переворот, «астровское» же течение стремилось «получить влияние на ход событий и удержать от революционной катастрофы, если бы события вызвали ее». Но те и другие стремились противоборствовать надвигающейся революции. События, однако, обгоняли их, и Астров это признает. Мартовский (1916 года) съезд Союза городов, по его словам, «оказался левее своего Главного комитета, им наша формула „министерства доверия“ была отвергнута и принято требование „ответственного министерства“». Сторонники той и другой формулы оказывали нажим на власть в пре-

делах лояльности парламентаризма. Общество побуждало власть отречься от ее порочных свойств — самовластия и пренебрежения к требованиям народа. Организация страны с целью победы и ответственное министерство — вот лозунги 1916 года.

В этой двучленной формуле одно острие, «ответственное правительство», направлено против «безответственной власти», а другое, «организация страны», — против анархии и революции. Гонение на союзы и общественные организации стали последними судорожными движениями агонизировавшей власти. Предполагавшийся в декабре 1916 года V съезд Союза городов не допустила администрация. Астров подчеркивает: «Совершенно неверно указание большевистских источников, что резолюция, текст которой приведен на стр. 159 книги „Буржуазия накануне Февральской революции“, была принята съездом 9 декабря 1916 года. Этот съезд не состоялся, а потому ничего принять не мог. В названной книге приведен лишь проект резолюции, которую предполагалось предложить съезду. Резолюция 11 декабря представляет собой резолюцию не Союза городов, а совещания, в котором были представители самых разнообразных организаций». Эти резолюции в острой и резкой форме повторяли, в сущности, ранее провозглашенные положения. Говорилось о необходимости реорганизации власти, о создании ответственного министерства; Государственная дума призывалась довести до конца свою борьбу с постыдным режимом и не расходиться, пока не будет создано ответственное министерство. Проект заканчивался призывом к армии продолжать свое дело до победного конца и обещанием сделать все для упорядочения тыла и обеспечения армии. Резолюция Продовольственного совещания (11 декабря) по форме еще более резка. Смысл ее, однако, все тот же: объединение всех сил и классов в твердую организацию, способную «вывести народ из разложения». Все это свидетельствовало «о глубоком сознании безнадежности положения. Это уже были возгласы, близкие к отчаянию. Старый корабль шел ко дну. Нужно было спастись».

В письме к М. В. Челнокову, написанном в 1929 году, как раз в пору работы над статьей «Всероссийский союз городов и русская революция», Николай Иванович еще более откровенен. Он вспоминает, что ход событий вызывал расстройство, «предошущение грозящей катастрофы, заставляя мучительно отыскивать выходы из все усиливавшегося хаоса. И в чем были эти выходы, откровенно скажу, никто не знал и не видел». В этом же письме декабрьский проект резолюции он характеризует как «декларативная сторона деятельности Союза городов». События увлекали ВСГ на путь политики: «Подчеркиваю и утверждаю, что в Союзе городов мы не осуществляли никакой политической программы, были свободны от партийных директив. Наши выступления на съездах политического характера выражали мнения Главного комитета Союза городов, а не личные или партийные взгляды. Не мы руководили, что самое главное и, может быть, печальное, событиями, а только отражали их, делая соответствующие выводы, которые, к сожалению, выражались лишь в словесных формулах без всяких санкций. В результате санкции были даны другими, а не нами. В борьбе с царским правительством русская общественность оказалась в том же безнадежном состоянии, как несколько месяцев спустя в борьбе с Советами рабочих депутатов».

В завершение статьи Астров внес мемуарный дух. «Оглядываясь назад, припоминая настроения и психологию того времени, я утверждаю, что трагедия Союза городов и близких к нему по общественному составу организаций была в том, что они оказались вынужденными одновременно и помогать власти, и бороться с нею, и то и другое — ради достижения главной и покрывающей все цели, ради доведения войны до благополучного конца.

В условиях того времени можно ли было безоговорочно и молчаливо идти за властью, изживавшей и изжившей себя? Можно ли было тогда перейти на путь прямо-

го действия и совершить „перепряжку во время переправы“, „сменить шофера“... на крутом спуске? В тех условиях, которые мы пережили тогда, ни того, ни другого осуществить было нельзя. В этом и была трагедия русской общественности и, среди нее, трагедия Российского союза городов».

Но до самого смертного часа Астров не отказывался от своих идеалов. Незадолго до кончины, в последнем письме к князю В. А. Оболенскому, он подтвердил свое жизненное кредо: «Продолжаю быть глубоко убежденным, что свободная личность в правовом государстве — лучше „органического насилия над личностью“, что классовое сотрудничество — лучше классовой борьбы, что разум, знание, здравый смысл, совесть, сознательная ответственность, моральные основы и воля к защите этих ценностей — лучше утопического сумасбродства без чести и совести и дряблого, безвольного непротивления злу. Но признаем и то, что одних провозглашений мало, что всякое учение должно проводиться в практическом приложении к жизни, а в этом приложении наши идеалы должны претерпеть весьма значительные ограничения».

В этом письме Астрова ярко запечатлелась его душа, не терпящая зла, жаждущая правды и справедливости. Он, как пишет В. А. Оболенский, ни за что не хотел примириться с крушением своих общественных идеалов, мучился чувством ответственности за то, что не сумел провести их в жизнь, и напряженно искал новые пути. В этих поисках и закончилась его жизнь. Жизнь, по словам графини С. В. Паниной, «целиком отданная Родине».

СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ ЧЕТВЕРИКОВ:
*«Самодержавие на Руси не должно
отождествляться с правом царевых слуг не
считаться с мнением народа»*

Юрий Петров

16 декабря 1929 года в парижской эмигрантской газете «Последние новости» появилось сообщение о кончине в Швейцарии известного московского фабриканта и политического деятеля Сергея Ивановича Четверикова. «Это был новый тип русского промышленника, — писал в некрологе его давний знакомый, бывший московский городской голова Н. И. Астров. — Высокоодаренный, хотя официально имел только диплом реальной гимназии, европейски просвещенный, сам блестящий музыкант и тонкий ценитель искусства... Культурный предприниматель, он знал и утверждал, что промышленная деятельность — общегосударственное дело».

Сергей Иванович Четвериков (1850–1929) — представитель третьего поколения московской купеческой династии. Его отец, Иван Иванович (1817–1871), руководил суконной фабрикой, основанной дедом, Иваном Васильевичем «Большим». Мать, Анна Дмитриевна, урожденная Самгина (1832–1880), принадлежала к известной фамилии колокольных дел мастеров. Иван Иванович был пожалован званием потомственного дворянина, которое перешло к его детям. Принадлежность к дворянскому сословию, впрочем, никак не повлияла на карьеру Сергея Ивановича, который на протяжении всей жизни оставался верен предпринимательскому поприщу.

С юности он проявил себя человеком разносторонне одаренным, особенно отличался способностями к музыке. Музыка осталась любимым увлечением коммерсанта, в течение сорока лет состоявшего членом Русского музыкального общества. В 1867 году он окончил Московскую 3-ю реальную гимназию, выпускники которой, в отличие от гимназии классической, не имели права поступления в университет. На этом формальное образование пришлось завершить, однако привычка к самообразованию и вдумчивому чтению сделала Сергея Ивановича одним из самых образованных представителей московского делового мира.

В Первопрестольной он пользовался заслуженной репутацией человека безукоризненной честности. После трагического самоубийства отца, запутавшегося в долгах, двадцатилетний юноша возглавил семейное предприятие и оставался его бессменным руководителем на протяжении почти полувека, вплоть до 1918 года. Суконная фабрика в селе Городищи Богородского уезда Московской губернии стала делом всей его жизни. Эта мануфактура, одна из ведущих в стране, возникла в 1831 году; на ней было занято около 1 тыс. рабочих; основной капитал к 1914 году составлял 1 млн рублей. После кончины отца кредиторы не стали предъявлять претензий к наследнику, однако со временем он сам разыскал займодавцев или их потомков и вернул отцовские долги. Процедура затянулась на долгие тридцать шесть лет, но хозяин Городищенской фабрики не успокоился, пока не рассчитался со всеми до копейки. Хотя честность в расчетах считалась делом обычным в среде московского купечества, «четвериковская» щепетильность по отношению к родительским долгам вошла в Москве в поговорку и высоко подняла реноме фабриканта среди коллег по бизнесу.

Не менее прославили его имя и реформы, осуществленные на собственной фабрике. Глава семейного дела не только технически переоборудовал ее по западноевропейским стандартам (еще до кончины отца он успел побывать на лучших европейских фабриках), но и, что было тогда в новинку, полностью пересмотрел систему отношений хозяина с рабочими. Четвериков искренне желал создать им нормальные условия существования и даже сделать их не просто наемниками, но — компаньонами. Первым в России он сократил рабочий день с 12 до 9 часов без сокращения заработной платы, отменил ночные смены для женщин и подростков, ввел сдельную оплату. Преобразования привели не к падению производства, как пугали консерваторы, а, напротив, к значительному его подъему за счет роста производительности и рациональной организации труда. Молодого человека стали вызывать в Петербург в качестве эксперта правительственных комиссий по «рабочему вопросу», его инициативы сыграли свою роль в реформировании фабрично-заводского законодательства империи.

Четвериков выступил также пионером в деле внедрения американской системы «копартнершипа» (буквально — «партнерства»), т.е. участия рабочих в прибылях фирмы. В начале XX века эта новаторская и перспективная для России система была успешно применена на Городищенской фабрике (причем совладельцы предприятия приняли решение отчислять в пользу рабочих до 30% чистой прибыли, ограничив собственный дивиденд 10%). Уже в эмиграции Сергей Иванович с удовлетворением отмечал, что благодаря новшеству экономических стачек на его фабрике практически не было.

Почти четверть века отдал С. И. Четвериков руководству предприятиями и своих родственников Алексеевых. Женившись в 1875 году на Марии Александровне Алексеевой (1856–1935), он породнился с влиятельной московской семьей, которая немало помогла ему в преодолении кризиса на Городищенской фабрике. Спустя годы Четвериков с лихвой отплатил добром за добро. В 1893 году от руки душевнобольного погиб глава этой фирмы, знаменитый московский городской голова Николай Александрович Алексеев, родной брат жены Сергея Ивановича. Четверикова пригласили тогда спасти дело, и он блестяще справился с заданием, заняв место директора правления Товарищества «Владимир Алексеев» и Даниловской камвольной прядильни. Фирма «Владимир Алексеев» являлась крупнейшим поставщиком сырья для суконного производства, владела стадом мериносовых овец на Кавказе численностью 65–70 тысяч голов и контролировала половину сбыта тонкорунной шерсти на российском рынке. Усилиями Четверикова, избранного директором-распорядителем, Даниловская прядильня стала общероссийским лидером в области производства тонких высококачественных сукон. По инициативе нового главы фирмы в районе Азова была устроена шерстомойня, куда доставлялась шерсть кавказских мериносов, а также импортное сырье, поступающее морским путем.

Однако главной своей заслугой Сергей Иванович считал перенос мериносового овцеводства с Северного Кавказа в приенисейские степи. В организованном в 1908 году по его инициативе сибирском хозяйстве к 1917-му содержалось стадо в 50 тыс. голов; московские фабрики получали оттуда шерсть, превосходившую по качеству австралийскую (Австралия была признанным мировым лидером мериносового овцеводства). Это начинание Четверикова погибло в годы Гражданской войны: хозяйство заняли красные отряды, уничтожившие элитное стадо. «С потерей своего состояния, результата пятидесятилетней деятельности, — писал он в опубликованных в эмиграции мемуарах „Безвозвратно ушедшая Россия“, — я примирился. Но уничтожение сибирского овцеводства — это рана, которую донесу до своей могилы».

Подобно многим своим собратьям из среды первостатейного московского купечества, Четвериков не ограничивался занятиями бизнесом, но активно участвовал

в общественной жизни, примыкая к либерально-оппозиционному крылу. С 1880-х годов он работал в Богородском уездном земстве, затем и в Московском губернском, сблизившись с лидером земского движения Д. Н. Шиповым. Немало времени уделял он общественному служению и в самой Москве, о чем красноречиво свидетельствует перечень его официальных должностей: член Московского биржевого комитета и гласный Московской городской думы, член Совета торговли и мануфактур, Московского столичного присутствия по фабрично-заводским делам, товарищ председателя попечительного совета Московского коммерческого института и проч.

Впрочем, хотя Сергей Иванович и был активным земским деятелем, идеи земско-либеральной оппозиции об «увенчании здания», т.е. об установлении конституционализма на основе земского движения, он не разделял. По его искреннему убеждению, миссия, выполняемая земством, важна и насущна, но служить органом народного представительства оно не может, так как не выражает интересы всех слоев общества, в частности торгово-промышленных кругов.

Пик общественно-политической активности Четверикова пришелся на период революции 1905–1907 годов, когда новая генерация московских предпринимателей открыто высказалась за политические реформы в стране на основе европейской парламентской системы. Неограниченное самодержавие, были убеждены Четвериков и его более молодые соратники (П. П. Рябушинский, А. И. Коновалов, П. А. Бурьшкин, С. Н. Третьяков и др.), должно смениться конституционно-монархическим режимом с законодательным парламентом и ответственным перед ним правительством.

На общероссийской политической сцене имя С. И. Четверикова впервые прозвучало после Кровавого воскресенья 9 января 1905 года: по его почину от имени московских торгово-промышленных кругов Николаю II была послана телеграмма с протестом против расстрела рабочих в Петербурге. А 27 января, совместно с С. Т. Морозовым и П. П. Рябушинским, он подготовил записку правительству. Умиротворить рабочих, говорилось в записке, могут только коренные политические реформы, обеспечивающие свободу слова, печати, союзов, совести. В знак признания заслуг Сергея Ивановича в деле улучшения жизни рабочих он был избран председателем комиссии по рабочему вопросу, образованной в феврале 1905 года при Московском биржевом комитете. Комиссия разработала проект о согласованных действиях фабрикантов по сдерживанию стачечного рабочего движения.

В статье «Народные избранники» («Русские ведомости», 9 марта 1905), написанной по поводу царского рескрипта 18 февраля, либеральный предприниматель выражал беспокойство по поводу возможности превращения Государственной думы в придаточный к бюрократическому строю консультативный орган. Летом 1905 года он решительно выступил против проекта законосовещательной «булыгинской» Думы, призывая требовать созыва Думы законодательной. И это требование, прозвучавшее из уст либеральной московской группы, стало одним из первых открытых политических выступлений предпринимателей. «Как и большинство русских людей, — говорилось в письме, — мы ныне полагаем, что самодержавие на Руси не должно отождествляться с правом царевых слуг в своих действиях не считаться с мнением и желанием народа».

В июле 1905 года, на одном из частных совещаний промышленников, для противодействия организации совещательной Думы Четвериков предложил неординарные меры: 1) представителям промышленности и торговли отказаться от участия в Государственной думе; 2) мешать правительству в реализации новых внутренних займов; 3) отказаться платить промысловый налог; 4) закрыть все фабрики и заводы для того, чтобы создать массовое рабочее движение. Правда, его радикальный призыв коллеги по бизнесу тогда не поддержали. В начале октября 1905 года Сергей Иванович горячо

протестовал против планов правительства и части предпринимательских кругов ввести в Москве военное положение. Он был уверен, что для успокоения рабочей массы достаточно политических преобразований. «Военное же положение, — говорилось в подписанном Четвериковым обращении к московскому генерал-губернатору П. П. Дурново, — в настоящее время было бы трудно поправимым бедствием. Его несомненным последствием стало бы еще большее озлобление населения». От правительства он ожидал иного — «устроения нашей жизни на началах, вполне ограждающих нас от возможности возврата к старым формам, приведшим Россию ныне на край гибели».

Либеральные чаяния Сергея Ивановича воплотились в Манифесте 17 октября 1905 года «Об усовершенствовании государственного строя», даровавшем населению империи политические свободы (слова, совести, собраний и др.). На торжественном молебне в здании Московской биржи он провозгласил славу царю, который «благо народа поставил выше сохранения прерогатив власти». В ответ раздались крики «ура!», Четверикова стали качать. Эйфорическое настроение тех дней передает фраза из его письма брату Дмитрию от 18 октября: «Отныне мы не рабы!»

Однако последующие события показали, что до европейского конституционно-парламентского строя России еще далеко. Характерный в этом смысле эпизод привел сам Четвериков в своих воспоминаниях: когда в начале 1906 года на его фабрику был прислан отряд казаков для успокоения рабочих, хозяину «по недоразумению» достался удар нагайкой по лицу. Случай получил огласку, официальное сочувствие пострадавшему выразила Московская городская дума. Генерал-губернатор В. Ф. Джунковский посетил Четверикова с извинениями, на что тот ответил: «Всего меньше имею претензий к казаку, меня ударившему. Смотрю на него как на слепое орудие произвола, который царит на Руси, произвола, немыслимого ни в какой культурной стране». А через несколько месяцев фабрикант едва не стал жертвой революционного террора: на него напала шайка «экспроприаторов», рассчитывая захватить зарплату, которую Четвериков всегда лично возил на Городищенскую фабрику. Спасли лишь расторопность кучера да счастливая случайность: нападавшие, видимо начинающие боевики, стреляли в упор, но промахнулись.

Вся дальнейшая политическая деятельность предпринимателя связана с борьбой как против произвола власти, все более забывавшей свои конституционные обещания, так и с революционной стихией. Осенью 1905 года они вместе с Павлом Рябушинским инициировали создание «умеренно прогрессивной партии», близкой по своим программным положениям к кадетам. Однако в противовес последним «умеренные прогрессисты» выступали против автономии и федерации, за «единство, цельность и нераздельность Русского государства», а также против лозунга восьмичасового рабочего дня: из-за обилия церковных праздников реализация его в России нанесла бы серьезный ущерб конкурентоспособности отечественной промышленности.

Четвериков сблизился также с лидерами «Союза 17 октября», созданного осенью 1905 года под главенством выходца из московского купечества А. И. Гучкова. Сергей Иванович был приглашен в состав Московского центрального комитета партии октябристов и возглавил в ней левое крыло. Однако осенью 1906 года, после того как Гучков одобрил введение военно-полевых судов (после августовского покушения эсеров-максималистов на Столыпина), Четвериков покинул «Союз» — в знак протеста. И вошел в Партию мирного обновления во главе с графом П. А. Гейденем: она была только что образована и выступала против любого террора — как революционного, так и правительственного. Фабрикант стал членом ЦК партии, отделение которой в Москве возглавлял его старый соратник по земству Д. Н. Шипов. Сергей Иванович в дальнейшем активно сотрудничал в органе мирнообновленцев — издававшемся Е. Н. Трубецким «Московском еженедельнике», регулярно публикуя статьи по теку-

щим вопросам жизни страны. В своей публицистике он требовал от государства «доверия к обществу», выступал против интеллигентской велеречивости и призывал: «Больше дела, меньше слов».

В 1906–1907 годах С. И. Четвериков возглавлял комиссию по организации Союза фабрикантов и заводчиков; в его уставе предусматривалось, с одной стороны, образование кассы взаимной поддержки предпринимателей в случае необоснованных забастовок, а с другой — создание подобной же кассы для рабочих, уволенных со своих предприятий. В итоге власти Устав не утвердили, а его автор за излишние симпатии к рабочим оказался под негласным надзором полиции...

В 1908 году С. И. Четвериков опубликовал брошюру «Община и собственность», в целом поддержав аграрную реформу П. А. Столыпина. Однако премьер-министр был подвергнут суровой критике за склонность к административным, насильственным методам преобразований. Московский фабрикант, выходец из посадских мужиков, протестовал против бездумного разрушения крестьянской общины — этого «духовного достижения народа». Он одобрял меры по ликвидации чересполосицы, но просил оставить мужику право выбора в организации своего хозяйства: не выгонять его насильно на хутор, не лишать возможности остаться «в миру», среди односельчан. Таким образом, по его мнению, можно было создать в деревне «собственность», не разрушая «общину».

Неприятие административного произвола руководило Четвериковым и в деле с «письмом 66-ти». В начале 1911 года он собственноручно составил текст и вместе с А. И. Коноваловым стал инициатором публикации открытого письма против репрессивной политики правительства по отношению к студентам и преподавателям Московского университета. Деловые круги демонстративно отказали правительству в поддержке, и эта акция вызвала в русском обществе значительный резонанс.

В письме к Н. И. Астрову, написанном уже в эмиграции в 1926 году, Сергей Иванович подытожил свою политическую деятельность предреволюционного периода: «Я никогда не чуждался общественных невзгод и, если Вы помните, в период 1905 года стоял в первых рядах активно-прогрессивных промышленников. Телеграмма царю после расстрела 9 января была послана по моей инициативе и в моей редакции, равно протест против гонения на прогрессивную профессию, под которым стараниями А. И. Коновалова и моими было собрано 66 подписей видных лиц Московского купеческого общества, был обнародован в моей редакции. Я был председателем и той многочисленной (52 члена) комиссии, которая была учреждена для создания союза фабрикантов в борьбе с той волной забастовок, которая охватила русскую промышленность после 1905 года».

Закономерная фаза политической эволюции Четверикова — переход в созданную в 1912 году партию прогрессистов во главе с П. П. Рябушинским. Девизом нового политического объединения стал призыв к «упрочению в России конституционного строя». Сергей Иванович был избран членом Центрального комитета партии, в рамках которой консолидировались либерально-оппозиционные предпринимательские элементы, стоявшие на позициях между кадетами и октябристами. Хотя возраст и занятость ограничивали политическую активность фабриканта, он продолжал оставаться одной из «знаковых», как бы мы сейчас сказали, фигур отечественного делового мира.

Недаром летом 1915 года его персону всерьез обсуждалась в качестве кандидатуры на замещение вакантного поста министра торговли и промышленности. Стать министром ему было не суждено (сказалась, видимо, репутация либерального деятеля). Но в годы Первой мировой войны он много сделал на столь же ответственном, хотя и неофициальном посту главы Комитета помощи раненым воинам, потерявшим трудоспособность. Благодаря энергии и настойчивости своего председателя Комитет со-

брал и передал увечным воинам около 1,3 млн рублей. При этом Четвериковым двигало отнюдь не желание получить награду на ниве благотворительности, чем грешили некоторые «филантропы». В своих мемуарах он подчеркивал, что принципиально «отклонял всякие отличия и награды», которые ему предлагала власть.

Февральскую революцию либеральный промышленник искренне приветствовал (известно, что в марте 1917-го он пожертвовал 50 тыс. рублей «в пользу борцов за свободу»), но очень быстро ощутил, что страна погружается в пучину анархии и экономической разрухи. В газете П. П. Рябушинского «Утро России» он снова решительно критиковал популярный среди левых партий лозунг сокращения рабочего дня до восьми часов, доказывая, что «это прежде всего сокращение в среднем на 20% промышленного производства страны», т.е. мера недопустимая в военное время.

Примечательно, что, призывая рабочих нести жертвы во имя победы над врагом, Четвериков был готов поступиться и собственными интересами. По его инициативе создали комиссию по ограничению предпринимательской прибыли. «Производительные силы, — писал он по этому поводу в „Утре России“, — одинаково, как капитал, так и промышленный труд, в эту переходную экономическую эпоху должны быть в услужении страны». Суть его предложений сводилась к тому, чтобы рассчитывать прибыль не на капитал предприятия, а на его оборот (для регулирования спроса и предложения гарантировать, чтобы доведенные до минимума фабричные цены не разрослись в розничной перепродаже; излишек от чистой прибыли возвращать стране в особый фонд, финансирующий строительство дорог, каналов и проч.). Рекомендовалось также применять репрессивные меры в отношении фирм, не выполнивших постановления Московского биржевого общества о подписке в размере 25% от основного капитала на «Заем Свободы», который был выпущен Временным правительством для стабилизации финансового положения в стране.

В марте 1917 года Сергея Ивановича избрали членом Совета Всероссийского торгово-промышленного союза — политической организации предпринимателей, созданной по инициативе Павла Рябушинского. В апреле он занялся созданием Московской просветительной комиссии при Временном комитете Государственной думы, в задачу которой входили публикация и распространение политической литературы для противодействия агитации левых партий.

В период политического кризиса летом 1917-го в очередной раз рассматривалась кандидатура Четверикова на замещение поста министра торговли и промышленности. Он разделял идею о жестком подавлении большевистского июльского путча, а также выступал за вхождение представителей деловых кругов в состав правительства. 18 июля 1917 года состоялось соединенное заседание выборных Московского биржевого и купеческого обществ; речь шла о переговорах Временного правительства с представителями торгово-промышленного класса и партии кадетов о формировании нового кабинета. Четвериков отметил, что в условиях военного и экономического кризиса участие в работе кабинета министров — «не путь к власти и почестям, а путь великой национальной жертвы. ...Довольно этих высокопарных слов о благе трудящегося народа: грязными руками не берутся за такое чистое дело... Если правительство, правильно угадав настроение страны, объявило, что всякие попытки возврата к царизму оно будет рассматривать как преступление, то оно обязано на эту точку зрения стать и по отношению большевизма».

Летом 1917 года С. И. Четвериков возглавил «рабочую» комиссию при Московском биржевом комитете. Была подготовлена записка для Временного правительства о необходимости покончить с самоуправством фабрично-заводских комитетов, которые вмешивались в вопросы найма и увольнения, изгоняли неугодных рабочим представителей администрации и т.п., и наладить взаимодействие хозяев и рабочих на за-

конной основе. В связи с этим предлагалось создать особый арбитражный орган — Областной фабричный комитет. В записке утверждалось, что главные причины разрухи фабричной жизни кроются не столько в расстройстве транспорта и недостатке сырья, сколько в полном падении трудовой дисциплины.

Оценивая призыв Временного правительства к борьбе с контрреволюцией, Четвериков писал в прессе: если под контрреволюцией «понимать несомненное нарастание общественного протеста против условий современной жизни, то признание ее возможности есть вместе с тем признание ложности того пути, по которому доньше вело правительство страну, и нужно иметь мужество в этом откровенно сознаться». Он афористически обозначил сложившуюся в постфевральской России ситуацию: «Если выразить настроение страны в одной сжатой формуле, то нужно выразить его словами — так дальше жить нельзя». В пример приводились налоговые постановления кабинета Керенского, которые явились «сигналом неудержимого бегства капиталов из промышленности». Однако правительство к тому времени само находилось в параличе, и здравые идеи патриарха делового мира не были восприняты.

Сергей Иванович возлагал надежды на генерала Л. Г. Корнилова, способного, на его взгляд, восстановить порядок в стране, но после поражения корниловского выступления отошел от политики. Уже после победы большевиков, в конце 1917 года он не побоялся возглавить депутацию, ходатайствовавшую в Смольном об освобождении А. И. Коновалова и С. Н. Третьякова, которые были заключены в Петропавловскую крепость вместе с другими министрами последнего состава Временного правительства. Обращаясь к большевистским вождям, Четвериков прямо заявлял: «Ныне, когда власть Советов упрочилась, едва ли у населения получится впечатление этой силы, ограждающей себя заключением в тюрьму безвинных людей». Просьба возымела действие, и в начале 1918 года Коновалов и Третьяков были освобождены и эмигрировали из России.

Сам же ходатай оставался в Москве, примкнув к подпольной организации «Национальный центр». В письме генералу М. В. Алексееву, подписанном членами «Центра», в том числе и Четвериковым, победа над большевизмом представлялась возможной в форме военной диктатуры: «Мы полагаем, что для переходного времени нужна сильная власть диктатора, но чтобы эта диктатура была приемлема для беспокойно-подозрительно настроенных масс, мы готовы... принять форму директории с военным авторитетным лицом во главе... Эта директория должна очистить территорию, установить порядок, подготовить население и дать ему новое основание для выборов в народное собрание, которое и должно установить окончательно форму правления».

Весной 1918 года руководство «Центра» переехало из Москвы в Киев, и С. И. Четвериков окончательно отошел от политической деятельности. Он откровенно бедствовал, так как потерял все свое состояние в результате национализации банков и промышленности. Волна революционного террора не миновала и его: зимой 1918-го бывший фабрикант был арестован и препровожден из своего имения в Богородскую тюрьму (почти семидесятилетнего старика заставляли там счищать снег с железнодорожных путей). После освобождения стал попадать под периодические «проверки» ВЧК, а в начале 1919 года даже провел несколько дней в камере смертников на Лубянке — в ожидании расстрела. После очередной «отсидки» Сергей Иванович потерял слух, лишившись главной радости жизни — музыки. Его дочери Марии Сергеевне в 1922 году удалось добиться разрешения забрать отца в свою семью, которая жила в Швейцарии...

В последний период своей биографии С. И. Четвериков вел уединенный, частный образ жизни. В Швейцарии он закончил работу над воспоминаниями «Безвозвратно ушедшая Россия» (они вышли из печати в Берлине). Открытых дебатов о катастрофе

1917 года и перспективах большевизма, как правило, избегал. На то были свои причины: в Советской России остались сыновья — Сергей, ставший выдающимся ученым-биологом (он перебрал мост между учением Дарвина и генетикой и заложил основы эволюционной генетики), и Николай, также избравший ученую стезю (математик, специалист по статистике). Оба они отказались эмигрировать, и отец боялся причинить им вред своими публичными выступлениями в зарубежной печати.

И тем не менее Сергей Иванович не переставал размышлять о будущем родины. Объясняя причины своей «пассивности» в письме Н. И. Астрову в Прагу от 2 августа 1926 года, он подчеркивал, что «о каком-либо насильственном свержении советской власти не может быть и речи (она народу нравится)»; против большевизма нужно создать «единый мировой финансовый и экономический блок». Этим поистине выстрадавшим убеждением он все же решил поделиться с общественностью и в марте 1928 года опубликовал в берлинской газете «Дни» статью «Мысли о России», подписанную инициалами «С.Ч.». Автор призывал русскую эмиграцию отказаться от идеи нового «крестового похода» против Советской России, который обернется лишь новыми потоками крови. (А в письме Н. И. Астрову от 23 марта 1928 года он добавлял: «Если я не дал в газете выражения моей неизменной ненависти к большевикам, то это оттого, что я не мог не считаться с положением моих сыновей в Совдепии».) В деле «восстановления правопорядка» в России Четвериков рассчитывал на мировое сообщество и призывал «обезвредить большевизм» с помощью экономических санкций, не нанося вместе с тем вреда простым людям. Газетная публикация, в которой не ставился знак равенства между режимом и народом («нужно переживать за русский народ, а не радоваться неудачам советской власти, которые бьют по народу, а не по большевикам»), получила сильный резонанс в эмигрантских кругах.

Незадолго до смерти С. И. Четвериков написал и переправил (неизвестно, какими путями) из Швейцарии в Москву записку на имя председателя ВСНХ В. Куйбышева с предложениями по восстановлению отечественного мериносодового овцеводства. Конечно, никакого результата это обращение не дало, но сам факт говорит о глубокой любви к родине человека, который желал ей блага, несмотря на непримиримые политические расхождения с большевистским режимом.

Умер Сергей Иванович в декабре 1929 года близ города Веве, немного не дожив до восьмидесятилетия. Могила выдающегося русского промышленника находится на берегу Женевского озера, а фабрики, основанные и руководимые им, продолжают работать в современной России.

ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ РЯБУШИНСКИЙ: *«Буржуазно мыслить и буржуазно действовать...»*

Юрий Петров

Осенью 1920 года, в канун крымской катастрофы армии Врангеля, в Париже состоялось совещание бывших российских предпринимателей, вынужденных покинуть свою родину. На повестке дня стоял вопрос о создании в эмиграции торгово-промышленного объединения, способного возродить Россию экономически после неминуемого, как тогда казалось, краха коммунистической диктатуры. Открывая совещание, его инициатор, московский финансист, промышленник и видный либеральный политик Павел Павлович Рябушинский (1871–1924) подвел итог мучительному периоду «русской смуты»: «Многие из нас давно предчувствовали катастрофу, которая теперь потрясает всю Европу, мы понимали роковую неизбежность внутреннего потрясения в России, но мы ошиблись в оценке размаха событий и их глубины, и вместе с нами ошибся весь мир. Русская буржуазия, численно слабая, не в состоянии была выступить той регулирующей силой, которая помешала бы событиям идти по неверному пути... Вся обстановка прошлого не способствовала нашему объединению, и в наступивший роковой момент стихийная волна жизни перекатилась через всех нас, смяла, размела и разбила».

Не одно поколение историков, отечественных и зарубежных, вслед за Рябушинским задается тем же вопросом: почему элите российского общества в лице, прежде всего, предпринимательских кругов не удалось предотвратить той анархически-бунтарской волны, которая обрушилась на страну в 1917 году? Слаба ли, политически и культурно неразвита была сама буржуазия, как долгое время убеждали нас советские учебники истории, или дело в объективных цивилизационных условиях развития, которые она не силах оказалась изменить?

Осенью 1917 года арестованный по обвинению в соучастии в корниловском мятеже Павел Рябушинский в газетном интервью точно подметил то двойственное (между неспособной к обновлению властью и «антибуржуйски» в массе своей настроенным народом) положение, в котором пребывал его класс и он сам на протяжении своей политической карьеры: «При старом режиме я всегда был объектом преследования со стороны администрации и теперь не сумел угодить новому правительству, как не был угоден старому». Неприятие полицейского произвола, равно как и революционного экстремизма, действительно было одним из главных свойств натуры оппозиционного политика, представителя именитого московского купечества.

Старший сын московского хлопчатобумажного фабриканта и банкира П. М. Рябушинского (1820–1899), Павел еще при жизни отца взял в свои руки семейное дело. Формально не высшее, но вполне достойное образование (курс Московской практической академии коммерческих наук, профессиональная стажировка в Англии) обеспечило для этого необходимую подготовку. А после смерти родителя ему пришлось возглавить многочисленное семейство, в котором кроме него было еще семь братьев

и пять сестер. Младшие беспрекословно подчинялись старшему в роду, так как по вероисповеданию Рябушинские были старообрядцами (принадлежали церкви на Рогожском кладбище).

В короткий срок молодой коммерсант стал заметной фигурой в деловом мире России. Он расширил семейное предприятие — хлопчатобумажную фабрику в Вышнем Волочке Тверской губернии, на которой трудились тысячи окрестных крестьян. В 1901 году вместе с братьями приобрел у обанкротившихся хозяев Харьковский земельный банк — третий по величине акционерный ипотечный банк в стране, в 1902-м организовал Банкирский дом братьев Рябушинских, в 1912 году преобразованный в акционерный коммерческий Московский банк с основным капиталом 25 млн рублей. К 1917 году Московский банк, который владельцы рассматривали как центр притяжения российского национального капитала (в противовес космополитичному Петербургу), занял тринадцатое место в списке крупнейших банков империи. Символом мощи клана старообрядцев-финансистов стало здание банкирского дома на Биржевой площади Москвы, возведенное в 1902–1904 годах по проекту Ф. О. Шехтеля.

При помощи своего банка братья расширили сферу влияния в промышленном секторе, учредив в 1912 году Русское акционерное льнопромышленное общество. В годы мировой войны, предвидя потребность в строительных материалах, они купили несколько лесопильных заводов на Севере России, начали разведки нефтяных месторождений в районе Ухты. Всероссийскую известность принесло Рябушинским строительство в 1916–1917 годах одного из первых автомобильных заводов в Москве — АМО, из которого вырос нынешний столичный автогигант.

«Неистовую жажду дела» современники считали одной из отличительных черт представителей этого московского семейства. Они стремились вывести крестьянскую страну на путь индустриализации, они начали осваивать природные богатства России. Ими двигали широко понятые интересы народа, тождественные с потребностями «дела», вести которое можно только чистыми руками. «При всех наших делах и начинаниях, — писал один из братьев, — мы никогда не рассчитывали на ближайшие результаты нашей работы. Нашей главной целью была не нажива, а само дело, его развитие и результат, и мы никогда не поступились ни нашей честью, ни нашими принципами и на компромисс с нашей совестью не шли».

В жизни старшего Рябушинского первое место заняла политика. Его брат Владимир вспоминал в эмиграции, что переживаемый русским обществом в начале века духовный кризис сказался и на деловом мире. Возник феномен «кающегося купца» с раздвоенной душой: «Старый идеал „благочестивого богача“ кажется ему наивным; быть богачом неблагочестивым, сухим, жестким, как учит Запад, — душа не принимает». С другой стороны, в России вполне оформился тип чисто «западного» капиталиста, чуждого внутренней рефлексии: «Его не мучает вопрос: почему я богат, для чего я богат? Богат — и дело с концом, мое счастье (а для защиты от недовольных есть полиция и войска)».

В идейном отношении московские предприниматели пореформенного периода находились под влиянием славянофильства; в 1880–1890-х годах начался рост консервативно-охранительных тенденций. Однако на рубеже XIX–XX веков в деловой среде сложилась и иная идеология, выразителем которой стали Павел Рябушинский и группа его единомышленников, известных как «молодые» московские капиталисты. В противовес аполитичному в массе своей старшему поколению, они настаивали на прямом участии предпринимателей в общественной жизни страны. Такие деятели, как С. Т. Морозов, А. И. Гучков, А. И. Коновалов и др., все яснее понимали: обладающая огромным экономическим потенциалом российская буржуазия практически отстранена от выработки политического курса.

В глазах «молодых» наступивший век должен был стать в истории России веком «третьего сословия», которому предстоит завоевать подобающее место в общественно-политической жизни. «Буржуазисты», как именовали этих адептов частного предпринимательства, составляли либеральную оппозицию самодержавию: по их убеждению, государству надлежало перейти к европейским конституционно-монархическим формам правления. С другой стороны, увлеченным социалистической пропагандой рабочим разъяснялось, что лишь недавно вступившая на путь индустриального развития страна не готова к радикальным преобразованиям, что ей, говоря словами Павла Рябушинского, предстоит еще пройти «через путь развития частной инициативы».

«Как раз в последние годы (перед революцией. — Ю. П.), — писал Владимир Рябушинский, — стали выступать и заставили себя выслушивать люди, почерпнувшие в идеалах дедов веру в идею „хозяина“; но удержать лавину они, конечно, не смогли, и старый русский купец хозяйственно погиб в революции так же, как погиб в ней старый русский барин». Биография лидера московской династии дает немало пищи для размышлений о роли «хозяйственных мужиков», как любили называть себя Рябушинские, на политической арене начала XX века.

Особо отметим, что оппозиционность нового поколения подогревалась принадлежностью многих его представителей к старообрядчеству. Едва ли не самая дискриминированная конфессиональная группа в Российской империи, старообрядцы сумели сохранить религиозную самобытность, прежде всего благодаря активной предпринимательской деятельности.

История накопления капитала у предпринимателей-старообрядцев, как правило, не была связана с правительственными заказами, государственным железнодорожным строительством и винными откупами. Чаще всего они занимались торгово-промышленными операциями. Тем не менее их деятельность отнюдь не носила оттенка «патриархальности», старомодности, как утверждала советская историография. Напротив, представителей деловых кругов старообрядчества отличала склонность к инновациям, умение ставить масштабные экономические задачи, использовать новейшие технологии и финансовые инструменты. Появление в начале XX века таких мощных финансово-промышленных групп, как фирма Рябушинских, свидетельствовало о том, что московский «старообрядческий» капитал, сохраняя свою специфику, вышел на современный уровень предпринимательства. Одновременно он начал формировать собственную идеологию, сочетавшую западный либерализм и традиционные ценности.

К реализации своей программы Павел Рябушинский и его кружок «молодых» либеральных бизнесменов приступили в 1905 году, когда страна переживала острый политический кризис. «Русские торговцы и промышленники, — говорилось в одном из их воззваний, — не видя в существующем государственном порядке должной гарантии для своего имущества, для своей нормальной деятельности и даже для своей жизни, не могут не объединиться на политической программе с целью содействовать установлению в России прочного правопорядка и спокойного течения гражданской и экономической жизни». Предприниматели призывали верховную власть начать необходимые реформы, даровав стране законодательную Думу — аналог европейских парламентов. И вместе с тем прямо высказались против революционных методов давления на правительство, против «революционно-насильственного осуществления участия народа в государственном управлении».

Манифест 17 октября 1905 года Павел Павлович встретил восторженно. Он становится инициатором создания «умеренно прогрессивной» партии, стоящей на проправительственной платформе. Но едва смолкли отзвуки декабрьских боев в Москве и правительство овладело ситуацией, как стало очевидно, сколь мало конституционных норм внесено в русскую повседневность. «После 17 октября, — писал позднее Ря-

бушинский, — считая, что цель достигнута, буржуазия перешла на сторону правительства. В результате одолело правительство, и началась реакция, сначала стыдливая, а потом откровенная». С этого момента оппозиция правительственной реакции составляет стержень всей его политической деятельности.

В 1906 году Рябушинский стал членом Партии мирного обновления, основанной графом П. А. Гейденем. Либеральные представители московской буржуазии не принимали революционных методов, но и с открытой реакцией кабинета П. А. Столыпина в виде разгона I Думы и введения военно-полевых судов они также не желали мириться. «Партия, — провозглашал кредо мирнообновленцев один из ее вождей князь Е. Н. Трубецкой, — исходит из признания безусловной ценности человеческой личности... С этой точки зрения она безусловно осуждает всякий кровавый террор, как правительственный, так и революционный... В отличие от „Союза 17 октября“, она представляет собой партию непримиримо-оппозиционную по отношению ко всякому антиконституционному правительству и с этой точки зрения решительно отказывается поддерживать нынешнее министерство».

Павлу Рябушинскому пришлось испытать «прелести» столыпинской реакции и на себе. В октябре 1906 года, ввиду «вредного направления», была закрыта основанная им «Народная газета», позволившая себе критически отозваться о некоторых царских сановниках. (Вероятнее всего, прекращение старообрядческого издания, у истоков которого стоял либеральный миллионер, стало решающим толчком для его перехода на позиции мирнообновленчества.) Столь же печально закончился опыт с изданием газеты «Утро», закрытой властями весной 1907 года. В апреле Павел Павлович в административном порядке, по распоряжению генерал-губернатора, был выслан из Москвы на том основании, что «издававшаяся на средства Рябушинского газета „Утро“, несмотря на сделанные ему неоднократные предостережения, продолжала держаться противоправительственного направления».

Но и это не остановило оппозиционера. С конца 1907 года Рябушинский издает газету «Утро России» — орган либерально-оппозиционных предпринимателей. Этот печатный орган власть закрыть уже не посмела. На его страницах под лозунгом «Купец идет!» была развернута настоящая кампания против полицейского произвола и засилья скудеющего дворянства во властных структурах. «Русское купечество, — писал Рябушинский, — представляет собой в такой мере развитую экономическую силу, что не только может, но и должно обладать соответствующим политическим влиянием». Предприниматель вступил в политическую сферу общественной жизни, куда его раньше не допускали: «Купец встал из-за прилавка и идет на государственную службу вместе с другими сословиями. Дайте ему место и сумеете отнестись с уважением к новому сочлену на государственной работе».

А. И. Гучков делал ставку на блокирование аграриев и промышленников в рамках октябристской партии. Рябушинскому и деятелям его круга такой альянс представлялся исторически обреченным. «В настоящее время положение таково, — подчеркивалось в „Утре России“, — что на политику будет оказывать влияние или аграрный, или торгово-промышленный класс... Союз аграриев с торгово-промышленным классом был бы противоестественным». Подчеркивая генетическую связь русских «хозяев» с народом, газета доказывала, что буржуазия как новая общественная сила «не мирится с всепроникающей полицейской опекой и стремится к эмансипации народа»; что «народ-земледелец никогда не является врагом купечества, но помещик землевладелец и чиновник — да»; что, наконец, «жизнь перешагнет труп тормозившего ее сословия с тем же равнодушием, с каким вешняя вода переливает через плотину». Противопоставление буржуазии и правящей дворянско-чиновничьей бюрократии стало излюбленной темой и публичных речей Рябушинского.

Немало шума в общественных кругах наделал его тост на приеме, устроенном в 1912 году московским купечеством в честь премьер-министра и министра финансов В. Н. Коковцова. Предложив петербургскому сановнику, который специально посетил Первопрестольную для встречи с деловой элитой, «убрать рогатки с путей жизни», Павел Павлович провозгласил тост «не за правительство, а за русский народ, многострадальный и ожидающий своего истинного освобождения».

Вышедшие из народной массы «хозяйственные мужики» призывали освободить частную инициативу от чиновничьей опеки. «Дело не в одних капиталах, — говорил Рябушинский на одном из собраний своего кружка, — капиталы найдутся, дело в условиях, которые настолько тормозят дело, общественную и частную инициативу, что теряется всякое желание и аппетит к делу. Всюду полицейская опека и попечительство, всюду грани и вмешательство».

Имя Павла Рябушинского получило известность в обществе в связи с так называемыми «экономическими беседами», которые с ноября 1908 года проходили в его собственном особняке на Пречистенском бульваре (ныне здание занимает Российский фонд культуры), а также в доме его политического союзника А. И. Коновалова на Большой Никитской. Организованные Коноваловым и Рябушинским при близком участии П. Б. Струве встречи имели целью сблизить деловых людей с ведущими интеллектуальными силами для выработки программы экономического развития страны.

Открыл заседания П. Б. Струве, выступивший с докладом «Национальная экономика и интеллигенция». Автор, страстный апологет частнопредпринимательской инициативы, выбрал русскую интеллигенцию за ее недоброжелательное и предвзятое отношение к капитализму и капиталистам, за преобладание в ее мировосприятии «распределительного» начала перед «производительным». И призвал интеллектуалов учиться ценить высокую производительность и экономическую культуру.

Выдвинутый Струве лозунг «обуржуазивания интеллигенции» поддержали Н. А. Бердяев, А. С. Изгоев, С. А. Котляревский и другие публицисты различных партийных направлений. «Экономические собеседования» стали примечательным знаком изживания интеллигенцией традиционного предубеждения по отношению к «аршинникам». Московское начинание приветствовали и петербургские лидеры Совета съездов представителей промышленности и торговли. В докладе на IV Всероссийском съезде промышленности и торговли в ноябре 1909 года А. А. Вольский отозвался о нем как об «одном из поворотных пунктов русской экономической мысли от бесплодных скитаний в области социальных мечтаний к тем вопросам, которые непосредственно и жизненно связаны с хлебом насущным».

По ходу обсуждения П. Б. Струве убеждал также торговцев и промышленников в необходимости преодолеть узкие рамки классовых интересов и мыслить в национальном масштабе. Его воззрения как нельзя лучше отвечали устремлениям организаторов «бесед». Отечественным индустриалам, выходящим на дорогу общественной деятельности, необходима была поддержка со стороны интеллигенции. «Правительство будет прислушиваться к голосу промышленности в широких вопросах политики, — подчеркивал один из участников заседаний, — когда оно почувствует в представителях промышленности силу, и для этого они должны сойтись с общественными элементами и определенным образом, с определенной программой войти в политическую жизнь страны. Общественные и промышленные элементы одинаково заинтересованы в вопросе поднятия экономических сил страны, внутреннего рынка и потребительских масс. Это создаст почву для сближения и контакта между ними».

В то же время контакты с либеральной общественностью призваны были политически воспитывать и консолидировать торгово-промышленные круги на платформе западного либерализма. «Нам, очевидно, — писал П. П. Рябушинский одному из участ-

ников „бесед“, — не миновать того пути, каким шел Запад, может быть, с небольшими уклонениями. Несомненно одно, что в недалеком будущем выступит и возьмет в руки руководство государственной жизнью состоятельно-деятельный класс населения. С этой точки зрения мне и представилось экономическое собеседование как первый зарождающийся политический клуб, и, как за таковыми, за собраниями можно признать пользу общесловную».

Предприниматель все громче заявлял о себе на общественном поприще. «Экономические беседы» способствовали расширению кругозора деловых людей, укрепляли в убеждении, что именно им, а не отживающему дворянству предстоит сыграть роль авангарда российской истории. Были полезны они и для интеллектуального мира, который убеждался в творческой созидательности предпринимательской инициативы. Широко освещаемые в прессе экономические собеседования получили большой резонанс. Недаром к ним враждебно отнеслись как в правительственных сферах, недовольных претензиями московских толстосумов на участие в выработке государственной экономической политики, так и в социалистической леворадикальной среде, опасавшейся роста популярности буржуазии в обществе под влиянием «братания науки и миллионов», как называл «беседы» В. И. Ленин.

В 1912 году, во время избирательной кампании в IV Государственную думу, возникло новое политическое течение, к которому примкнул и Павел Рябушинский. «Внепартийной группой прогрессистов» именовали себя участники коалиции, объединившей деловые круги; она занимала положение между слишком левыми кадетами и чересчур проправительственными октябристами. Модель общественного развития прогрессистов предполагала: создание сильного правового государства и оптимально функционирующей рыночной экономической системы; проведение комплекса политических и социальных реформ; осуществление активной внешней политики, основным вектором которой должна стать последовательная защита национальных интересов страны. Их политический идеал сводился к конституционно-парламентскому монархическому режиму, основанному на четком разделении трех ветвей власти: законодательной, исполнительной и судебной, — независимых друг от друга, но вместе составляющих единый организм правового государства. От кадетской программы прогрессистов отличали: принципиальный отказ от лозунга всеобщего избирательного права, уклончивость в вопросе о равноправии национальностей и повышенное внимание к «защите народно-хозяйственных интересов».

Учитывая исторический опыт западноевропейских стран, прогрессисты предлагали собственный вариант экономического развития страны, изложенный на страницах «Утра России». В условиях капиталистической модернизации, по мысли Рябушинского и его единомышленников, должно быть коренным образом изменено соотношение между аграрным и промышленным секторами. «Вся история доказывает одно: как только наметилась противоположность интересов между классами землевладельцев и классом торгово-промышленным, знамя прогресса никогда не переходило в лагерь землевладельцев». Поэтому главная задача всех прогрессивных групп русского общества — «борьба с аграриями и аграрной идеологией». Приоритетами новой системы ценностей становились создание индустриальной частнопредпринимательской экономики и выделение центральной фигуры общественного прогресса в лице либерально мыслящих представителей предпринимательского класса.

Возникает естественный вопрос: в какой мере предложенный путь развития, повторяя фазы, пройденные другими народами, сохранил бы при этом национальную специфику? Ответом является выраженный старообрядческий дискурс, который присутствовал в идеологии и практической деятельности лидеров российской буржуазии начала XX века. Решение назревших проблем виделось П. П. Рябушинскому в синтезе

староверческих традиций национальной культуры с институтами современного капитализма и гражданского общества. Этот тезис не был утопичен, так как подразумевал реальные цели — освобождение народа из-под гнета бюрократии и успешную интеграцию в современную рыночную экономику. Прогрессисты пошли дальше других либералов в попытках вывести страну на путь буржуазных реформ — единственный вариант развития, который в тех условиях мог предотвратить революцию. Их альтернативная модель национального развития отвергала имперскую традицию централизованной модернизации и апеллировала к национальным духовным традициям.

Подчеркнем, что прогрессисты оставались в целом правее кадетов, которые в их глазах были партией, чуждой интересам деловых кругов, с выраженными антибуржуазными, земско-помещичьими и интеллигентскими традициями. Если «Утро России» воспевало купца и его историческую миссию, то кадетская «Речь» писала о «политическом индифферентизме» буржуазии, обличая московский капитал как «самую косную, самую инертную разновидность русского капитала». В ответ газета Рябушинского подчеркивала, что идущий на «государственную службу» купец изверился не только в правительстве, но и в «представителях буржуазного социализма», т.е. в кадетях, неспособных защитить его интересы, которые «московская группа» отождествляла с общенациональными.

Излюбленная мысль Павла Рябушинского (ей он оставался верен до конца жизни) — мысль об исторической вине дворянства перед русским народом: «дворянский класс, давший России писателей и поэтов, наслаждался жизнью, но совершил великий и тяжкий грех тем, что не приблизил к культуре толщу русского народа». Антидворянский пафос московского миллионера и его веру в созидательные способности своего класса разделяли и другие предприниматели. «Ни одно другое сословие, — писал С. И. Четвериков, — не выдвинуло столько творческих сил, как сословие купеческое. Особенно бросается это в глаза, если сопоставить сословие дворянское, которое, за небольшим исключением, только поставляло офицеров в гвардию и через лицей и школу правоведения „помпадуров“, из бесчисленного множества которых ни один не оставил имя, запавшее в благодарную память народную».

«Звездным часом» прогрессизма и лично Павла Рябушинского как одного из его идейных вдохновителей стала Первая мировая война. Поражения русской армии весной 1915 года побудили бизнесмена активизироваться. В мае на очередном торгово-промышленном съезде в Петрограде он произнес страстную речь, послужившую толчком к военной мобилизации промышленности. «Мы уже не можем заниматься своим повседневным делом. Каждая фабрика, каждый завод — все мы должны только о том думать, чтобы сломить эту вражескую силу». Под влиянием этой речи съезд принял постановление о создании сети военно-промышленных комитетов для мобилизации частной индустрии на нужды войны. Сам Рябушинский был избран председателем Московского военно-промышленного комитета, объединившего предприятия двенадцати центральных губерний России. Авторитет финансиста в деловых кругах был настолько высок, что одновременно его избрали председателем Московского биржевого комитета — главной представительной организации столичных предпринимателей.

После майской речи Рябушинского, как писали в прессе, стало ясно, что «Московскому Биржевому комитету предстоит стать организационным центром в развертывающейся все шире и шире работе по мобилизации тыла». В газетах появилось немало комментариев по поводу избрания миллионера-политика «первым гражданином Ильинки» (главная улица московского Китай-города, средоточие торгово-промышленной и финансовой жизни, где находилась и Биржа. — Ю. П.). В самой уважаемой и информированной деловой газете страны — петроградских «Биржевых ведомостях» — появилось письмо из Москвы с характерным заголовком «Купец идет!». Его автор С. Султанов

припомнил предвоенный лозунг Рябушинского, подчеркнув, что «никогда до этого так резко и смело не формулировался вызов „третьего сословия“ всем отживающим силам русской государственности». Корреспондент приходил к заключению о нерасторжимой связи между такими предпринимателями, как новый глава Биржевого комитета, и народной толщей: «П. П. Рябушинский вскормлен оппозиционной волей гонимого староверия, его упорным трудолюбием, настойчивым и напряженным стремлением к закреплению материальной власти, которая одна только и оставалась людям старой веры, покупавшим право тайно молиться старым иконам и осенять себя двуперстием. Связь через деда с землей создала цельность не только характера, но и взглядов, чистоту национального закала и дерзание дать купечеству власть в слиянии с интересами народа».

В «Биржевых ведомостях» подчеркивалось, что с избранием Рябушинского председателем Биржевого и Военно-промышленного комитетов наступает новая эпоха в истории русской буржуазии. Купец, можно сказать, «пришел», и фигура московского миллионера-старообрядца вполне под стать провозглашаемым им лозунгам об особой роли буржуазии в жизни страны. «Рябушинский — чистый государственный, и осью этой государственности он считает торгово-промышленный класс. Он купец без раздвоения и рефлексии, цельный в своей купеческой классовой психологии... Рябушинский, с его блестящими организаторскими способностями, с его деловым захватом, с его колоссальной трудоспособностью, более всех на месте. Он сможет органически сочетать интересы дела с требованиями политики».

Реализуя эти прогнозы, Павел Рябушинский действует в тесном контакте с либеральной общественностью, объединенной в рамках созданного летом 1915 года Прогрессивного блока Государственной думы, который требовал смены кабинета и назначения ответственного перед Думой правительства. В августе в «Утре России» был опубликован персональный список будущего «правительства доверия». Однако петиционная атака либералов не удалась: правительство осталось прежним, а Дума распущена без назначения срока новой сессии.

В 1916 году Павел Павлович тяжело заболел (открытая форма туберкулеза), однако не оставил попыток объединить предпринимателей для воздействия на политику правительства. Он был убежден, что обостряющийся внутривластный кризис заставит призвать «вышедшую из ученических годов буржуазию на царский высший совет». В конце года на созванном по его инициативе совещании представителей местных биржевых комитетов Рябушинский констатировал, что «власть ведет страну к гибели», и предупреждал об угрозе «безудержного прорыва народного гнева». Пророчество сбылось через два месяца, когда самодержавный режим, главным пороком которого московский банкир считал «подавление частной инициативы, подавление свободной личности», пал, не найдя поддержки в измученном войной российском обществе.

Февральскую революцию лидер деловой Москвы приветствовал как избавление страны от тягостного «старого режима». Исполнилась его давняя мечта: в марте 1917 года был образован Всероссийский торгово-промышленный союз, первая политическая организация предпринимателей всероссийского масштаба, председателем которой избрали Павла Рябушинского.

Но в послереволюционной России сразу же проявился сильный «антибуржуйский» запал, раздуваемый представителями леворадикальных партий. В те роковые для судеб страны дни лидер прогрессизма горячо отстаивал идею долгого пути развития частной инициативы как единственного выхода из общенационального кризиса. Неоднократно выступал он с публичными речами, лейтмотивом которых был тезис о преждевременности социализма в России: «Признаем, что ныне существующий капиталистический строй неизбежен, а раз так, то отсюда логически следует, что нынешнему правительству надлежит буржуазно мыслить и буржуазно действовать».

Рассчитывая быть услышанным не только собратьями по большому бизнесу, но и широкими демократическими слоями, Рябушинский так обосновал свою позицию: «Еще не настал момент думать о том, что нашу экономическую жизнь нужно совершенно переиначить. Широкие массы должны понять, что все мы должны жить по-людски, так, как живут другие государства и как мы до сих пор еще не жили... Думать же, что мы можем все изменить, отняв все у одних и передав другим, это является мечтой, которая лишь многое разрушит и приведет к серьезным затруднениям. Россия в этом смысле еще не подготовлена, поэтому мы должны еще пройти через путь развития частной инициативы».

С июня 1917 года Рябушинский начал издавать журнал «Народоправство», к участию в котором были привлечены крупные интеллектуальные силы, в том числе выдающийся русский философ Н. А. Бердяев. Журнал придерживался той же, что и его издатель, позиции: «каждый день стихийного разрастания анархии влечет Россию в бездну», в стране нет реальных условий для «социалистической организации» и т.д. Однако эти рассуждения не пользовались успехом у низов, все более симпатизировавших социалистическим лозунгам. Предупреждения Павла Рябушинского воспринимались как попытка буржуазии отвлечь народ от обещанного социалистами «царства свободы».

Временное правительство теряло власть над страной, которая погружалась в пучину экономического и политического хаоса. Безудержная денежная эмиссия привела к жестокой инфляции и обесценению и без того слабого рубля. «Хлебная монополия», установившая твердые государственные цены на зерно, обернулась исчезновением с рынка продовольствия и угрозой голода. В августе 1917 года Рябушинский, критикуя экономическую политику правительства и Советов, забиравших в свои руки реальные рычаги управления, подчеркивал, что без участия в экономической и политической жизни предпринимателей, «людей житейского опыта», страну ждет хозяйственная катастрофа и голод. «Эта катастрофа, этот финансово-экономический провал будет для России неизбежен, если мы уже не находимся перед катастрофой, и тогда уже, когда она для всех станет очевидной, тогда только почувствуют, что шли по неверному пути... Но, к сожалению, нужна костлявая рука голода и народной нищеты, чтобы она схватила за горло лжедрузей народа, членов разных комитетов и советов, чтобы они опомнились».

Большевистские публицисты, в том числе Зиновьев и Сталин, использовали фразу о «костлявой руке», обвиняя буржуазию в организации голода с целью задушить революцию. На самом же деле геноцид готовили вовсе не либеральные политики из деловых кругов, а сами социалистические вожди, попиравшие естественные экономические законы. «В настоящее время, — говорил по этому поводу Рябушинский, — Россией управляет какая-то несбыточная мечта, невежество и демагогия». Бескомпромиссную и жесткую оценку давал он и всему революционно-социалистическому лагерю: «Источник зла не только в большевиках, но и в тех социалистических партиях, которые не могли и не хотели порвать с большевиками, исповедуя с ними одну веру, враждебную всякому патриотизму, всякому национальному чувству и государственному сознанию... Безумно и преступно над телом и душой России делать эксперименты и применять отвлеченные утопии, рожденные в воображении людей, живших в подполье». Лидеру российского торгово-промышленного класса политическое урегулирование виделось теперь в установлении «твердой, железной власти правительства национального спасения, которому будет предоставлена свобода и независимость действий».

Кризис власти побуждал российских либералов искать новые политические комбинации для восстановления порядка в стране. Подходящей фигурой на роль диктато-

ра казался им генерал Л. Г. Корнилов. Летом 1917 года Рябушинский финансирует «Союз офицеров» и участвует в торжественной встрече генерала, прибывшего в Москву на устроенное А. Ф. Керенским Государственное совещание. Однако в момент выступления он не оказал поддержки корниловцам, и, хотя был арестован как соучастник заговора, вскоре по личному распоряжению Керенского его освободили. В опубликованной в «Утре России» телеграмме по случаю освобождения издатель газеты пессимистически констатировал: «Можно лишь скорбеть, что у нас вместо желанной действительной свободы восстановили произвол и насилие».

После октября 1917 года Павел Рябушинский был вынужден эмигрировать во Францию, где и скончался в один год со своим политическим антиподом Лениным. В 1921 году по его инициативе были созданы новые ассоциации русских предпринимателей — Российский торгово-промышленный и финансовый союзы. До конца жизни он сохранил веру в творческий потенциал буржуазии. После близкого, как ему казалось, краха коммунистической диктатуры перед предпринимателями (как прежними, дореволюционными, так и новыми, нэповскими) встанет гигантская задача — возродить Россию. «И, не в пример прошлому, — говорил Павел Рябушинский, — к нам придут и другие. В прошлом мы были одиноки. Русская интеллигенция не шла к нам, чуждалась нас; она жила в мечтах, относилась к нам — людям практики — отрицательно... Но я уверен, что русская интеллигенция поймет уроки настоящего и изменит свое отношение. Нам надо научить народ уважать собственность, как частную, так и государственную, и тогда он будет бережно охранять каждый клочок достояния страны».

Через десять лет после кончины «незабвенного Паши», как называли его родные, младший брат Дмитрий (ставший во Франции крупным ученым-физиком, членом-корреспондентом Французской академии наук) сравнивал Рябушинского со Столыпиным. Оба они «ясно сознавали, что энергия крепких хозяйственных людей является тем главным запасом энергии, наличие которой необходима, чтобы государство могло правильно функционировать и развиваться». Аналогия хотя и не бесспорна, но по сути верна, поскольку отражает глубинное совпадение идеалов двух выдающихся деятелей России, сторонников частной инициативы в экономике. Еще летом 1905 года, до начала столыпинских преобразований в деревне, московский промышленник пришел к тому же выводу, ставшему основой мировоззрения и будущего премьер-министра. «На свободе занимаюсь литературой аграрного вопроса, — писал Павел Рябушинский коллегам по умеренно-прогрессивной партии. — Лишь индивидуализм может в кратчайший срок дать внушительные результаты. Община с этой точки зрения вредна».

Желанным идеалом московского миллионера и либерального политика была та же, что и у Столыпина, «Великая Россия» — скроенная по западным экономическим и государственным меркам, но сохраняющая свою самобытность. Подчеркнем, что программа Рябушинского представляла собой вполне реалистичную модель национального развития «догоняющего типа» и была способна ввести страну в ряд индустриально развитых демократических государств Европы. По существу, то была эффективная «национальная программа», не реализованная лишь в силу экстремального поворота истории. Драма российских дореволюционных предпринимателей в целом и личная трагедия одного из их духовных вождей заключалась в том, что частнособственническая идеология еще не проникла глубоко в народную толщу, пронизанную идеями общинного жизнеустройства. Павлу Рябушинскому и его единомышленникам, несмотря на все усилия, не хватило исторических ресурсов, чтобы консолидировать российское общество на платформе развития частной инициативы.

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КОНОВАЛОВ: *«Промышленники должны объединиться в борьбе за права русского гражданина»*

Юрий Петров

Осенью 1912 года праздновался 100-летний юбилей Товарищества мануфактур «Иван Коновалов с сыном» — одного из крупнейших хлопчатобумажных предприятий России с капиталом 7 млн рублей. На фабриках Товарищества в Кинешемском уезде Костромской губернии трудилось около 6 тыс. рабочих. В центре внимания находилась фигура хозяина дела — тридцатисемилетнего Александра Ивановича Коновалова (1875–1948), промышленника и банкира, мануфактур-советника, товарища председателя Московского биржевого комитета и депутата Государственной думы. Политическая биография этого предпринимателя является уникальным свидетельством поисков буржуазией мирного выхода из общенационального кризиса начала XX века и позволяет понять, почему эти попытки не удались.

На юбилейном вечере А. И. Коновалов выступил с программным заявлением: «Промышленники должны объединиться не только для отстаивания своих интересов, но и в борьбе за права русского гражданина. Купеческий класс должен помнить об обязанностях, налагаемых на него историей, так как в них лежит залог будущей могучей, свободной и богатой России».

История собственного рода давала Коновалову основания считать предпринимательский класс основным носителем общественного прогресса в пореформенной России. На торжествах рефреном звучала фраза: «Побольше бы России Коноваловых!» Ораторы вспоминали фрагмент из романа П. И. Мельникова-Печерского «В лесах», один из героев которого так описывал историю кинешемских фабрикантов: «Да вот, к примеру, Вичугу взять. До французского года ни одного ткача в той стороне не бывало, а теперь по трем уездам только и дела, что скатерти и салфетки ткать. А как дело зачалось? Выискался смышленный человек с хорошим достатком, нашего согласия был, по древнему благочестию, Коноваловым прозывался, завел небольшое ткацкое заведение, с легкой его руки дело и пошло, да и пошло. И разбогател народ, и живет теперь лучше здешнего... Побольше бы Коноваловых у нас было — хорошо народу бы жилось».

«Смышленный человек», основавший коноваловское дело, — это прадед Александра Ивановича, Петр Кузьмич (1781–1846), крестьянин-старообрядец, выбившийся в число виднейших фабрикантов. Возвышению его способствовал «французский» 1812 год, когда в огне московского пожара погибли заведения и склады товара конкурентов. До сорока пяти лет прадед Коновалова числился крепостным крестьянином и лишь в 1827 году за 2400 рублей выкупился на волю. При сыне его Александре Петровиче (1812–1889) заведение превращается в крупнейшую механическую фабрику в крае. Получила фирма и всероссийское признание: в 1882-м ей было дано право маркировать изделия изображением государственного герба в награду «за весьма хорошие ткани, за обширность и давность производства и за постоянное

стремление улучшать дело». Отличительная черта Коноваловых — непоказная работа о своих рабочих, для которых хозяева строили казармы, больницу, церковь, школу, баню и прочее.

Правда, при третьем поколении семейное дело пережило кризис: Иван Александрович, отец А. И. Коновалова, забросил фабричное производство, увлекшись шумными пиршествами. В 1897 году фирму преобразовали в акционерное Товарищество, а его главой на семейном совете был назначен двадцатидвухлетний Александр Коновалов, представитель четвертого поколения, уже не старообрядец, а православный (в середине XIX века семья перешла из раскола в единоверие).

Это был блестящий типаж российского предпринимателя новой формации. После окончания Костромской гимназии Александр поступил на физико-математический факультет Московского университета, но учебу пришлось прервать из-за кризиса семейного дела. Профессиональное образование он получил в школе прядения и ткачества в Мюльгаузене (Эльзас-Лотарингия). Рациональный, европеизированный склад мышления сочетался в нем с недоюжинным творческим дарованием. По отзыву близкого его знавшего П. Н. Милюкова, костромской фабрикант был незаурядным пианистом, они не раз музицировали вместе. Юношей Коновалов брал уроки у С. В. Рахманинова, учился затем у профессора Московской консерватории А. И. Зилоти. Слух и музыкальная техника позволяли отпрыску купеческого рода даже выступать с сольными концертами, однако играл он нечасто, поскольку музыка чересчур сильно действовала на его впечатлительную натуру, и доктора запретили ему подолгу предаваться любимому занятию.

В предпринимательских кругах имя Коновалова стало известно благодаря беспрецедентно широким мерам по улучшению условий жизни рабочих. Социальные программы осуществлялись при этом отнюдь не в ущерб делу: внимательно следивший за техническими новинками молодой фабрикант оснастил свой комбинат в Бонячках и прядильно-ткацкую фабрику в соседнем селе Каменка наисовременнейшими английскими прядильными станками и немецкими электрическими машинами. В короткий срок семейное дело удалось вывести из кризисной полосы и вновь обеспечить ему первое место в списке хлопчатобумажных предприятий Костромского края. «Приняв предприятие в состоянии некоторого упадка, — отмечалось его коллегами по Московскому биржевому комитету, — Александр Иванович в течение небольшого времени довел его до блестящего состояния, введя все новейшие усовершенствования».

Успехи в немалой степени связаны были с реформами в организации труда. В январе 1898 года забастовали ткачи, потребовав от администрации 18-часового рабочего дня для двух смен вместо существовавшего 21,5 часа. Хозяин, только что вступивший в должность директора-распорядителя, признал обоснованность их притязаний, одним из первых в России установив 9-часовой рабочий день на фабриках Товарищества (12 часов надо было трудиться в одну смену и еще 6 часов — на следующий день).

Но он мог проявить и твердость, если находил требования необоснованными. Так, в 1903 году забастовала часть прядильщиков, заявивших о необходимости повысить расценки в связи с недоброкачеством выдаваемого конторой сырья. Однако председатель правления фирмы дал ответ, что никаких изменений в договоре не допустит, а за качеством выдаваемой пряжи проследит лично. Хозяин не преследовал рабочих за участие в забастовках, считая их естественной формой взаимоотношений труда и капитала, и старался при этом, чтобы почвы для недовольства не возникало.

Коновалов высказывал новаторские для отечественной буржуазии идеи «социального мира» в промышленности, залог которого — патерналистская политика предпринимателей по отношению к наемным труженикам. «Рабочий класс должен быть опорой, хребтом государства, а не враждебной ему силой» — этим девизом Коно-

валов руководствовался с первых шагов самостоятельной деятельности. Собственное предприятие стало своеобразным испытательным полигоном, где либеральная линия проходила проверку. За счет прибылей фирмы были проведены меры по обеспечению рабочих «здоровым, удобным жилищем»: построены бесплатные казармы для одиноких и семейных, возведены два поселка из отдельных домов, названные в честь хозяина и его сына «Сашино» и «Сережино». Рабочий в течение двенадцати лет выплачивал фирме стоимость дома и становился затем его собственником. Для желающих строить самостоятельно отводилась земля из фонда Товарищества по низкой арендной цене.

Финансировалось строительство и содержание двухклассной школы для детей фабричных (по распоряжению Александра Ивановича на его предприятиях труд малолетних не использовался). За счет «Ивана Коновалова с сыном» были оборудованы бесплатные ясли на 160 детей и бесплатная баня, богадельня для престарелых, библиотека-читальня; были устроены сберегательная касса и потребительское общество, снабжавшее рабочих продуктами по ценам низшим по сравнению с местными лавочниками. На фабриках издавна действовали больница и амбулатория с бесплатным лечением, а в 1912 году к 100-летию фирмы отстроили новое здание со стационарным отделением на сто кроватей и родильным приютом на двадцать пять мест; на их содержание ежегодно отчислялось до 75 тыс. рублей.

Рабочие ценили эту заботу, и не случайно волны забастовок 1900-х годов, как правило, обходили стороной коноваловскую фирму. Незадолго до начала мировой войны Александр Иванович, постоянно занятый в то время в Государственной думе, посетил родные Бонячки и узнал, что фабрики его продолжали работать, тогда как окрестные предприятия остановились из-за политической стачки. Признательный хозяин распорядился поощрить своих рабочих, повысив на 10–30% расценки и объявив о строительстве Народного дома, на нужды которого выделил 200 тыс. рублей. В ответ на изъявления благодарности со стороны фабричных Коновалов заявил, что очень доволен их спокойным поведением, и пообещал, «как и всегда», идти навстречу их нуждам и интересам. Костромские фабриканты возмутились односторонним повышением расценок, полагая, что это затянет забастовку на их предприятиях, но Коновалов прямо заявил, что «мнение рабочих для него гораздо дороже, чем мнение какого-нибудь Кокорева или Разоренова» (местные фабриканты. — Ю. П.).

Рамки семейного дела становятся тесны для энергичной натуры предпринимателя, стремившегося воплотить в жизнь свои идеалы на общегосударственном уровне. С начала 1900-х он постоянно проживал в Москве, а техническое управление фабриками передал директорам-менеджерам. В 1905 году костромской купец избирается старшиной Московского биржевого комитета, становится одним из создателей Торгово-промышленной партии. С 1906-го он представляет Москву в созданном по почину петербургских кругов Совете съездов представителей промышленности и торговли. Кроме того, входит в редакционный комитет издаваемой П. П. Рябушинским газеты «Утро России», а также в состав наблюдательного совета Московского банка Рябушинских, созданного в 1912 году.

Коновалова сближала с Рябушинским общая система ценностей, в основе которой лежали либеральные идеи об утверждении правового конституционного строя, способного смягчить накал социальной напряженности и обеспечить развитие страны по пути рыночной экономики и демократии. В Московском биржевом комитете он активно занимался подготовкой законопроекта о введении торгово-промышленных палат — порайонных предпринимательских организаций, призванных объединить представительство интересов буржуазии во всероссийском масштабе. Хотя из-за бюрократических проволочек и столкновения интересов различных региональных групп проект не был реализован, имя его фактического автора в деловых кругах приобрело

известность. В 1908 году Коновалов избирается заместителем (товарищем) председателя Московского биржевого комитета Г. А. Крестовникова, входит и в число гласных Московской городской думы.

Вместе с П. П. Рябушинским он участвует в организации и проведении «экономических бесед», на которых в 1908–1912 годах представители промышленности и науки обсуждали насущные вопросы экономического развития страны. Некоторые «беседы» проходили в его московском особняке на Большой Никитской. «Александра Ивановича в Москве любили, — вспоминал П. А. Бурьшкин, — на приглашение его откликнулись, и тогда и начались „беседы“». В правительственных кругах предприниматель и общественный деятель имел высокую репутацию, о чем свидетельствует присуждение ему в 1910 году почетного звания мануфактур-советника.

Всероссийскую известность имя Коновалова приобрело в 1911-м, когда он вместе с С. И. Четвериковым выступил инициатором так называемого «письма бб-ти», подписанного выдающимися представителями делового мира и опубликованного либеральной прессой (газетами «Русские ведомости», «Утро России»). В нем был заявлен решительный протест против репрессивной политики царского правительства в отношении высшей школы. В связи с реакционными мерами министра народного просвещения Л. А. Кассо Московский университет покинула группа профессоров во главе с самим ректором А. А. Мануйловым. Либеральная профессура не могла смириться с правительственным распоряжением, согласно которому запрещались всякие собрания в университетских зданиях, а на администрацию возлагалась обязанность немедленно сообщать полиции о сходах студентов. В ответ студенты начали всероссийскую забастовку.

«В общественных кругах Москвы, — вспоминал П. А. Бурьшкин, — это вызвало сильное волнение, и отдельные группы стали резко и определенно реагировать против действий правительства по отношению к университету. Московские промышленники не остались безучастными к разгрому старейшего русского университета». Непосредственным инициатором протеста стал А. И. Коновалов, на одной из «экономических бесед» предложивший выступить с публичным заявлением. Подготовленный им текст подписали ведущие деятели торгово-промышленного и финансового мира Москвы. Авторы послания подчеркивали, что не сочувствуют студенческим забастовкам, но из-за них нельзя «рушить все существование нашей высшей школы», превращать университет «в объект возмездия». Либеральные деловые круги недвусмысленно осудили систему полицейского произвола и дали понять, что правительство не может в этом случае рассчитывать на поддержку со стороны предпринимателей. Письмо заканчивалось многозначительно: «Плохую услугу оказывает общество правительству и стране, когда в моменты их духовного разлада оно своим молчанием дает правительству повод думать, что за ним моральная поддержка страны».

В 1912 году Коновалова выбирают депутатом IV Государственной думы от Костромской губернии; «думский» этап оказался важнейшим в его политической карьере. Во время выборной кампании он входит в состав Московского комитета беспартийных прогрессистов во главе с депутатом III Думы Н. Н. Львовым. Комитет был создан «с целью способствовать сплочению прогрессистов для общей борьбы с реакцией на выборах в IV Думу». Хотя прогрессисты в этот период избегали называть свою организацию партией, предпочитая форму «беспартийных комитетов», по существу то была политическая партия с программой, центральными органами и т.д. Одним из ее лидеров с самого начала и стал либеральный московский предприниматель. В конце 1912 года Коновалов избирается в состав ЦК конституировавшейся партии прогрессистов, ее лозунг — «утверждение конституционно-монархического строя с политической ответственностью министров перед народным представительством».

Войдя в состав думской фракции прогрессистов, требования которых совпадали с программой московских деловых кругов, Александр Иванович становится членом нескольких комиссий (финансовой, по торговле и промышленности, по рабочему вопросу), где раскрылся как компетентный и независимый эксперт. С трибуны Коновалов демонстрировал растущую оппозиционность деловых кругов, открыто заявляя, что «в рамках полицейского строя экономический расцвет недостижим». Зависимые от бюрократического «усмотрения», «ни личная инициатива, ни энергия, ни капиталы не обеспечены в своем развитии, а потому инициатива вянет в зародыше, капиталы не притекают к делам, и богатства страны остаются мертвыми». Депутат пытался добиться улучшения жизни российских рабочих, выступил с проектом по охране труда женщин и малолетних, строительству жилищ для фабричных, страхованию их по старости и инвалидности; некоторые из его предложений были реализованы.

Коновалов отстаивал также тезис о тождественности потребностей экономического роста с общенациональными интересами. «Для промышленности, — говорил он, — как воздух необходимы плавный, спокойный ход политической жизни, обеспечение имущественных и личных интересов от произвольного их нарушения, нужны твердое право, законность, широкое просвещение в стране. Таким образом, господа, непосредственные интересы русской промышленности совпадают с заветными стремлениями всего русского общества...»

Главная цель либерального политика — мирное реформирование государственного строя на конституционно-монархических основаниях с переходом реальной политической власти к либеральной оппозиции. Средством мог стать блок всех оппозиционных фракций в Думе, призванный предотвратить социальную революцию, приближение которой отчетливо чувствовалось в канун мировой войны. Вскоре после избрания депутатом Думы Коновалов в газетном интервью говорил о необходимости образования «большой либеральной внеклассовой партии». Отражая позицию прогрессистов, он, по сути, предлагал создание не просто левоцентристского большинства с кадетами и октябристами, а прочного либерального блока, который «начал бы осуществлять прогрессивные реформы и повел бы Россию по эволюционному пути». Как фактический руководитель фракции прогрессистов в ноябре 1913 года Коновалов был избран заместителем (товарищем) председателя Думы М. В. Родзянко.

Однако, испытав разочарование в думских методах давления на правительство, весной 1914 года, незадолго до войны, он пошел на союз с леворадикальными партиями, в том числе и с большевиками, которых пытался использовать для координированного воздействия на правящий режим. У прогрессистов практически не было организации вне Думы, и либеральный политик стремился заключить союз с партиями, имевшими влияние в широких массах. «Правительство, — призывал он представителей революционных партий, — обнаглело до последней степени потому, что не видит отпора, уверено, что страна заснула мертвым сном. Но стоит только проявиться двум-трем эксцессам революционного характера, и правительство немедленно проявит свою безумную трусость и крайнюю растерянность... Объединенная оппозиция должна стараться вызвать такие выступления, которые запугали бы правительство и заставили его пойти на уступки».

Социал-демократов Коновалов призывал устроить политические забастовки рабочих, от эсеров ждал революционных «эксцессов» в деревне и т.п. Либеральный политик обещал в ответ финансовую помощь; например, большевики рассчитывали получить от него деньги для проведения очередного съезда своей партии. «Нельзя ли от экземпляра (Коновалова. — Ю. П.) достать денег? — писал В. И. Ленин из эмиграции в Москву И. И. Скворцову-Степанову. — Очень нужны. Меньше 10 тыс. брать не стоит». Думский депутат и ранее оказывал им некоторое содействие, передав 2 тыс. рублей на

легальную рабочую печать через Романа Малиновского, лидера думской фракции большевиков (позднее он был разоблачен как провокатор), и 3 тыс. рублей в распоряжение самого Ленина через Елену Розмирович. Большевики видели в Коновалове «нового Савву Морозова», но альянс оказался непрочным — поддерживать думских либералов социал-демократы не захотели и денег, на которые рассчитывали, так и не получили. Сам думский депутат, заметим, из-за своих контактов попал под негласное наблюдение полиции; у московских филеров, следивших за домом по Большой Никитской улице, 57, он проходил под кличкой Краб.

С некоторыми из большевиков у Коновалова сложились доверительные отношения. В сентябре 1914 года, уже после начала войны с Германией, Департаменту полиции стало известно о высказываниях думского депутата-большевика Н. Р. Шагова — уроженца Костромской губернии, ткача, работавшего ранее на текстильной фабрике Красильщиковой. Избранный в IV Думу от рабочей курии Костромской губернии, он поддерживал постоянный контакт со своим земляком-прогрессистом. Департамент полиции располагал сведениями о том, что Коновалов регулярно виделся с Шаговым во время посещений фабрики в Бонячках, принимал его у себя и вел разговоры с глазу на глаз. Осенью 1914 года, приехав на побывку домой, в среде местных социал-демократов (один из которых оказался полицейским осведомителем) Шагов рассказывал, что Александр Иванович находится в самых близких отношениях с представителями РСДРП. По словам рабочего депутата, те уже давно предлагали ему пожертвовать, как Морозов в 1905 году, часть своего капитала на дела партии. Шагов утверждал, что Коновалов принципиально не возражал, но просил подождать, так как свободного капитала у него в тот момент не было — все ресурсы он вложил в предприятие и постройки, которые возводились фирмой для рабочих.

Если большевистский депутат, той же осенью арестованный и сосланный полицией, и преувеличил влияние своей партии на промышленника, то его свидетельство все равно проливает дополнительный свет на взаимоотношения фабриканта-политика с рабочей массой, которой он действительно желал блага, и ее вожаками. Примечательный штрих: Коновалов с готовностью принимал рабочих, уволенных с других предприятий из-за участия в стачках и социал-демократических организациях.

Имя думского лидера в этот период упоминается и среди членов созданной в 1912 году масонской организации «Великий восток народов России», куда входили представители широкого политического спектра — от кадетов (Н. В. Некрасов) до трудовиков (А. Ф. Керенский) и социал-демократов (Н. С. Чхеидзе, Н. Д. Соколов). Свидетельство о некой сплоченной группе во Временном правительстве (Керенский, Некрасов, Коновалов, Терещенко, связанные личной близостью и обязательствами политико-морального характера) оставил в своих мемуарах П. Н. Милюков, намекая, что объединяла эту группу принадлежность к масонству. Коновалов упомянут и в известном «масонском словаре» Н. Берберовой, которая, впрочем, признала, что, несмотря на близкое знакомство в эмиграции и попытки разговорить Александра Ивановича на эту тему, ничего конкретного ей установить не удалось.

Информация о причастности Коновалова к масонским организациям восходит к показаниям бывшего кадета Н. В. Некрасова, полученным на следствии в ОГПУ в 1939 году и послужившим основой для построений о «масонском заговоре» в советской литературе. Отметим: хотя под давлением следователей Некрасов и заявил, что в подготовке Февраля масонство выступало в качестве «конспиративного центра», он при этом подчеркнул, что после революции «кучка интеллигентов не могла играть большой роли и рассыпалась под влиянием столкновения интересов».

Масонские ложи в России действительно существовали, но какой характер носила деятельность этих мистико-религиозных по форме объединений, были ли они

«инкубатором» политических вождей Февраля и Временного правительства — достаточно убедительных ответов на эти вопросы пока нет. В серьезной исследовательской литературе принадлежность политического «квазимасонства» к всемирному ордену вольных каменщиков обоснованно подвергается сомнению. Возможно, «думская псевдоложа», к которой примыкал Коновалов, имела целью политически координировать группировки левее октябристов. После революции член этой ложи, социал-демократ А. Я. Гальперн в интервью Б. И. Николаевскому сказал: «Стремясь к объединению левой оппозиции, думская группа заботилась о согласовании всякого рода конфликтов и трений между различными левыми фракциями и к облегчению их совместных выступлений». Вероятно, цель эта осталась благим пожеланием, и роль модных в начале века мистических организаций в политической жизни страны не следует преувеличивать. Н. С. Чхеидзе, еще один меньшевик-масон, вполне откровенно описывал, к чему сводились в реальности заседания «думской ложи»: «Информация, обмен мнениями с затушевыванием острых углов, без каких-либо резолюций... Как только мы переходили к вопросу о практических шагах, тотчас же вставали вопросы, которые нас разъединяли и вовне лож... В этих условиях общая деятельность, конечно, не была возможна...»

В годы мировой войны костромской фабрикант становится одним из лидеров думского Прогрессивного блока. Считая милюковский лозунг «министерства общественного доверия» недостаточным, он настаивал на выдвижении от имени Прогрессивного блока требования «ответственного (перед Думой) министерства», способного организовать оборону страны и оперативно провести мобилизацию промышленности. Он предвидел ответный ход режима — роспуск Думы (ставший реальностью в первых числах сентября 1915-го) — и призывал «не поддаваться разгону, объявить Государственную Думу продолжающей свои заседания и обратиться с воззванием к народу». Однако коллеги его призыв не поддержали, опасаясь спровоцировать народные волнения.

Коновалов вместе с А. И. Гучковым возглавил Центральный военно-промышленный комитет, созданный предпринимателями для мобилизации частной промышленности на нужды войны. При комитете им была создана «рабочая группа» во главе с К. А. Гвоздевым — неполитическая легальная организация, призванная ввести рабочее движение в легитимные рамки, не дать ему приобрести антигосударственный анархический характер. «На другой день после мира, — пророчески заявлял Александр Иванович на одном из совещаний либеральной интеллигенции, — у нас начнется кровопролитная внутренняя война. Это будет анархия, бунт, страшный взрыв пострадавших масс... Спасение в одном — в организации себя, с одной стороны, в организации рабочих — с другой. На правительство надеяться нечего, мы окажемся лицом к лицу с рабочими — и тут совершенно бесспорна их сила и наше бессилие. Не лучше ли в таком случае путь соглашений, путь трезвых уступок как с той, так и с другой стороны».

Коновалов рассчитывал с помощью «армии пролетариата», действующей в союзе с либеральными предпринимателями, заставить правительство пойти на уступки. В подготовленной осенью 1916 года записке под названием «Некоторые соображения о современном рабочем движении и необходимых мерах к его урегулированию» он писал: «Власть должна идти навстречу удовлетворению основных нужд рабочих масс, осуществляя важнейшие требования социального законодательства и в корне изменяя отношение к рабочему классу, отрешаясь от политики недоверия и приемов административного усмотрения, ведущих к всевозможным стеснениям и произволу».

Тогда же фракция прогрессистов по инициативе Коновалова вышла из Прогрессивного блока, который так и не воспринял лозунг ответственного министерства.

С думской трибуны и со страниц прессы члены группы настаивали на том, чтобы правительство немедленно ушло в отставку, ибо его пребывание у власти есть «преступное забвение долга перед родиной, граничащее с преступлением». Ответственное же перед Думой министерство «может снять путы с русского народа, привлечь все действительные силы страны и, благодаря созданному этими мерами подъему народного духа, справиться со всеми гнетущими нашу родину невзгодами».

Февральская революция застала Коновалова за подготовкой Всероссийского рабочего съезда, на котором должна была конституироваться организация «во главе с высшим органом, как бы советом рабочих депутатов», базирующаяся на действующих при Военно-промышленных комитетах «рабочих группах». «Армия пролетариата», как выражался претендент на роль ее полководца, могла бы предотвратить революционный взрыв и стать тем мощным рычагом давления на самодержавную власть, которого так не хватало либералам.

Однако власть нанесла упреждающий удар, в канун Февральской революции арестовав членов «рабочей группы» Военно-промышленного комитета по обвинению в подготовке государственного переворота. «Как раз в тот момент, — обращался Коновалов к коллегам по Думе, — когда группа готовилась стать оплотом против опасных течений в рабочей массе, правительство разрушает эту ячейку... Удар по рабочей группе — это есть, в сущности, удар по всей русской общественности».

Разразившиеся через несколько дней февральские события в Петрограде Александр Иванович встретил с чувством тревоги за судьбу страны, но испытал в то же время громадный душевный подъем от наступивших «дней свободы». Признанный думский лидер, 27 февраля он был избран в состав Временного комитета Государственной думы и принял затем участие в историческом совещании 3 марта 1917 года, на котором великий князь Михаил Александрович отказался от переданной ему старшим братом императорской короны.

Никого не удивило поэтому включение предпринимателя и политика в состав первого Временного правительства с портфелем министра торговли и промышленности. С 1915 года его кандидатура в среде либеральной общественности рассматривалась как единственно возможная для замещения этой должности. Важнейшей своей задачей новый министр считал поддержание социальной стабильности во взбаламученной революцией стране. Коновалов заверил рабочих, что «приложит все усилия для правильной постановки и надлежащего разрешения рабочего вопроса», но предупредил, что отвергает социал-демократический лозунг немедленного введения восьмичасового рабочего дня, так как эта мера «убьет оборону». Он предлагал взяться за разработку законопроекта по ограничению рабочего времени, но осуществить его считал возможным только после окончания войны. Для смягчения социальных конфликтов Александр Иванович предлагал развитие профессиональных союзов и примирительных учреждений, отмену уголовного преследования за стачки, организацию для рабочих бирж труда и развитие страхования, ограничение («лимитацию») прибылей предпринимателей и др.

«Поддержание социального мира внутри страны в целях победы над врагом» — таково было кредо либерального министра, находившего все меньше понимания у социалистических партий. Коновалов, понимавший, что «если хозяева не будут полноправными владельцами своих предприятий, то предприятия не смогут нормально работать и тогда неизбежен экономический тупик», резко протестовал против ширившегося движения «рабочего контроля», призывал «руководящие элементы Совета рабочих и солдатских депутатов овладеть движением и направить его в русло закономерной классовой борьбы». Но в то же время он был убежден, что социальное противостояние «труда и капитала» не должно выливаться в насильственные формы, вы-

ступал против любых репрессивных форм воздействия на рабочих. На одном из заседаний Временного правительства он во всеуслышание заявил, обращаясь к военному министру А. И. Гучкову: «Я предупреждаю Вас, Александр Иванович, — первая пролитая кровь, и я уйду в отставку».

Свой пост министр покинул в мае 1917 года, когда все явственнее вырисовывалось полное бессилие правительства перед анархической стихией. Причиной отставки стало «отсутствие уверенности, — по его собственному признанию, — что Временное правительство может при данных условиях проявить полноту власти». Сложившееся после Февраля двоевластие постепенно приобретало черты диктатуры Советов, которые, как писал Александр Иванович Г. Е. Львову в частном письме от 8 мая, «устраняют местные органы самоуправления и представителей центральной власти и самовольничают».

В те переломные для России дни Коновалов размышлял: «Антигосударственные тенденции, маскируя свою истинную сущность под лозунгом, гипнотизирующим народные массы, ведут страну гигантскими шагами к катастрофе... Бросаемые в рабочую среду лозунги, возбуждающие темные инстинкты толпы, несут за собой разрушение, анархию и разгром общественной и государственной жизни... Свергая старый режим, мы твердо верили, что в условиях свободы страну ожидает мощное развитие производительных сил, но в настоящий момент не столько приходится думать о развитии производительных сил, сколько напрягать все усилия, чтобы спасти от полного разгрома те зачатки промышленной жизни, которые были выращены в темной обстановке старого режима».

От политической деятельности он не отошел, в июле 1917 года вступив в кадетскую партию, с лидерами которой, и П. Н. Милюковым прежде всего, давно был связан по думской деятельности. Его избрали в Центральный комитет Партии народной свободы, а в начале октября даже выставили кандидатом кадетской партии в Учредительное собрание. Внутри партии Коновалов поддерживал немедленный сепаратный мир с Германией, сформулировав пророческую дилемму: «разумный мир или неминуемое торжество Ленина».

В конце сентября 1917 года Александр Иванович вновь входит в состав Временного правительства, приняв предложение А. Ф. Керенского занять пост министра торговли и промышленности. В. Д. Набоков вспоминал, что Коновалов яснее других видел экономическую разруху и не надеялся на благоприятный исход событий, но тем не менее согласился — из «патриотических соображений». Накануне Октябрьского переворота в Петрограде он фактически возглавил организацию сопротивления большевикам после отъезда Керенского в Гатчину. А. И. Коновалов вел последнее заседание Временного правительства в Зимнем дворце, откуда вечером 25 октября отправил телеграмму в Ставку: «Петроградский совет объявил правительство низложенным, потребовал передачи власти угрозой бомбардировки Зимнего дворца пушками Петропавловской крепости и крейсера „Аврора“. Правительство может передать власть лишь Учредительному собранию, решило не сдаваться и передать себя защите армии и народа. Ускорьте посылку войск».

Из Петропавловской крепости, куда Коновалова препроводили вместе с другими министрами Временного правительства, арестованными в ночь на 26 октября, ему удалось передать так называемый «государственный акт» — подписанное всеми членами кабинета послание, которым вся власть от имени Временного правительства передавалась Учредительному собранию. Александр Иванович намеревался участвовать в сессии Учредительного собрания, чтобы дать публичный отчет о своих действиях на посту министра, но из тюрьмы был выпущен по состоянию здоровья уже после разгона большевиками последнего российского парламента.

Из-за угрозы террора (в начале января 1918 года матросами были убиты два бывших министра Временного правительства А. И. Шингарев и Ф. Ф. Кокошкин) Коновалову пришлось немедленно покинуть Россию, и в его жизни наступил последний период — эмигрантский. Обосновавшись во Франции, он отвергал попытки вооруженной силой покончить с правлением большевиков, рассчитывая на мирное перерождение режима под влиянием «новой экономической политики» и с помощью «объединенной русской демократии, вышедшей из мартовской революции». В апреле 1920 года он участвовал в совещании кадетов по вопросу об отношении к П. Н. Врангелю и в связи с предложенным П. Н. Милюковым «новым курсом», рассчитанным на внутреннее перерождение режима в Советской России. В 1921-м вступил в Республиканско-демократическую группу, в которой впервые объединились правые эсеры и кадеты, поддержавшие «новую тактику» Милюкова. Бывший предприниматель стал также одним из организаторов созданного в 1921 году в Париже Российского торгово-промышленного и финансового союза и возглавил его текстильную секцию. С 1924 года А. И. Коновалов являлся председателем «Совета общественных организаций», объединившего тридцать три левые эмигрантские организации (кадетов, правых эсеров и др.).

С 1924 года и до вступления гитлеровской армии в Париж в июне 1940-го Коновалов возглавлял редакцию издававшейся П. Н. Милюковым газеты «Последние новости», самого популярного периодического органа русской эмиграции. Нина Берберова вспоминала, что в 1920–1930-х годах часто встречалась в редакции с этим человеком — внешне малоподвижным, с как бы окаменевшим лицом, почти никогда не озаряемым улыбкой. Однако флегматичный, выглядевший всегда старше своих лет Александр Иванович немало сделал для русской эмиграции, проявив недюжинную энергию в деле обустройства беженцев на чужбине.

Вместе с бывшим премьером Временного правительства князем Г. Е. Львовым и эсером Н. Д. Авксентьевым он руководил Российским земско-городским союзом (Земгором), который оказал помощь тысячам эмигрантов, устраивая их на работу в новой стране, обучая детей на родном языке и т.д. Музыка, давнее увлечение Александра Ивановича, побудила его к участию в создании Русского музыкального общества в Париже и Русской консерватории при этом обществе.

После гитлеровской оккупации Коновалов уехал из Франции в США, откуда вернулся в 1947 году, незадолго до смерти, и скончался в Париже в 1948-м. Его сын, Сергей Александрович (1899–1978), эмигрировавший с отцом, стал крупным ученым, историком-славистом, профессором Кембриджского университета, автором трудов по истории России и русско-английских отношений XVII–XVIII веков. Незадолго до кончины он побывал в родных местах, посетил Кинешму, Вичугу, где до сих пор стоят фабричные корпуса, больницы и школы, построенные его отцом: добрая память об Александре Ивановиче сохранилась в поколениях костромских ткачей.

Политическая биография А. И. Коновалова опровергает тезис, ставший общим местом советской историографии, — тезис о недалекости и отсталости отечественной буржуазии, о ее неспособности поступиться узкокорыстными интересами ради более широко понятых общеклассовых интересов. В действительности усилия, направленные на сохранение внутреннего мира, свидетельствуют о наличии у российских предпринимателей реальной программы эволюционного выхода из общенационального кризиса.

НИКОЛАЙ ВИССАРИОНОВИЧ НЕКРАСОВ: *«Найти равнодействующую народного мнения...»*

ВАЛЕНТИН ШЕЛОХАЕВ

Н. В. Некрасов родился 20 октября 1879 года в Петербурге в семье священника. Его отец был протоиреем, законоучителем в петербургской 10-й гимназии, где учился и Николай; он умер в Петербурге в 1916 году. Мать — А. Ф. Некрасова — воспитывала пятерых детей; после революции она жила первоначально в Харбине, но умерла в Ленинграде в 1935 или 1936 году.

В мае 1897 года Николай Некрасов окончил гимназию с золотой медалью и поступил в Институт инженеров путей сообщения. В июне 1902 года он получил диплом инженера и был приглашен в Томский технологический институт имени Николая II преподавателем по инженерно-строительному отделению. В 1903 году институт командировал Некрасова на два года за границу, в Германию и Швейцарию, для подготовки к профессорскому званию. Возвратившись в Томск, он представил диссертацию по теории мостостроения и был в августе 1906 года избран профессором инженерно-строительного отделения.

По данным полиции, еще во время стажировки в Швейцарии в 1904 году Некрасов сблизился с эсерами, поддерживая одновременно связи с либералами. Циркуляром Департамента полиции от 18 декабря 1904 года за ним было установлено негласное наблюдение. Вскоре Некрасов стал участником либерального «Союза освобождения», примкнув к его левому крылу. По возвращении в Томск он вошел в число организаторов либеральной группы «Академический союз»; в конце 1905 года принимал активное участие в митингах и забастовках преподавателей и студентов. После прекращения занятий в институте Некрасов в связи с болезнью жены временно уехал в Ялту и задержался там из-за революционных событий.

В Ялте Некрасов вступил в местную кадетскую организацию, быстро выдвинулся на первые роли и был делегирован на Таврический губернский съезд кадетов, где его избрали делегатом на III съезд партии. На съезде, проходившем 21–25 апреля 1906 года в Петербурге, Некрасов выступил с яркой речью по аграрному вопросу. Считая неприемлемым социалистический лозунг национализации земли, он заявил себя сторонником постепенного упразднения частной собственности на землю, считая ее препятствием на пути к установлению народной свободы. Это первое серьезное выступление на кадетском общепартийном форуме выдвинуло Некрасова в число потенциальных лидеров левого крыла партии. И хотя при голосовании списка членов ЦК ему не хватило голосов, тем не менее с этого момента Некрасов оказался в поле внимания партийного руководства. Осенью 1906 года, возвратившись в Томск после возобновления занятий в институте, Некрасов стал одним из организаторов и идейных лидеров местного кадетского комитета, который рекомендовал его кандидатуру в депутаты III Государственной думы, куда он и был вскоре избран от Томской губернии.

Популярность Некрасова в студенческой и преподавательской среде, его частые поездки по городам Сибири, установление регулярных связей с кадетскими комитетами других сибирских городов, статьи на актуальные темы в газете «Сибирская жизнь» выдвинули Некрасова в число лидеров сибирских кадетов. Избранный депутатом III Государственной думы по кадетскому списку, Некрасов вошел в руководящее ядро думской кадетской фракции, работал в бюджетной и финансовой комиссиях Думы. Начиная с марта 1908 года Некрасова, как члена комитета думской фракции, все чаще приглашали на заседания ЦК, где он выступал с обоснованием тактики фракции по ряду сложных и дискуссионных законодательных проектов и предложений. Его продуманная позиция по таким вопросам, как строительство Амурской железной дороги и открытие «порто-франко» во Владивостоке, помогла ЦК и фракции выработать обоснованную линию поведения в ходе думских дебатов. 21 октября 1909 года в ЦК был поставлен вопрос о кооптации Некрасова в его состав, что и произошло 15 ноября на пленарном заседании ЦК.

По некоторым данным, в 1908–1909 годах Некрасов приобщился к масонству. Участие в масонских ложах способствовало его осведомленности о деятельности как либеральных, так и революционных организаций, что, в свою очередь, оказывало влияние на радикализацию его собственной позиции. В 1910–1912 годах Некрасов все чаще выступал за созыв партийного съезда и перевыборы ЦК, за налаживание сотрудничества с левыми думскими фракциями, в частности с трудовиками; он настаивал на усилении оппозиционной критики правительства как с думской трибуны, так и в печати, нападал на Милюкова за его «умеренность». Однако на заседаниях Думы его выступления носили менее радикальный характер; он предпочитал выступать по специальным вопросам, в частности по конкретным вопросам строительства и транспорта.

Как депутат от Сибири, Некрасов много занимался проблемами своего края. Выступая за политическое равноправие Сибири и Европейской России, он считал, что это требование логически вытекает из «здоровой идеи государственности», ибо «нет более разлагающей государство политики, как политика предпочтения одной части государства перед другой», и высказывался за сочетание национального и административно-территориального принципов государственного устройства, не отказываясь при этом от поддержки идеи областной автономии Сибири. По его мнению, областная дума, наделенная широкими правами и действующая в рамках общегосударственного законодательства, лучше учитывала бы реальные потребности населения Сибири. И с думской трибуны, и в печати Некрасов выступал за введение земства в Сибири, защищал интересы ее коренных народов, настаивал на выделении дополнительных денежных средств, дешевого кредита, организации медицинской помощи, распространении образования. Он считал необходимым принятие законодательных мер по охране коренных жителей от «хищнической эксплуатации», требовал «спасти от полной гибели инородческие племена с их своеобразными приемами хозяйства». Посещая Сибирь в период думских каникул и в ходе депутатских поездок, Некрасов выступал с лекциями и докладами перед своими избирателями. Во время одной из них, 22 сентября 1912 года, он высказался за областную автономию Сибири и обеспечение коренным народам права на самостоятельное устройство своей жизни. Являясь постоянным корреспондентом газеты «Сибирская жизнь», Некрасов в своих статьях высказывался за развитие сибирской промышленности и транспорта, обеспечение сибирскому сырью доступа на внешние рынки, за укрепление безопасности и обороноспособности региона. В IV Государственную думу Некрасов был избран от Томска.

В IV Думе Некрасов стал товарищем председателя кадетской фракции, активно посещал заседания ЦК партии, участвовал во всех партийных конференциях. Начиная

с 1912 года Некрасов не только усилил нападки на Милюкова и его линию, но и выдвинул взамен собственную альтернативу, требующую пересмотра партийной программы и тактики. Выступая 24 мая 1913 года на заседании ЦК, Некрасов заявил: «Беречь остатки прошлого, разные религии — не задача для партии к.-д. в настоящее время. Все знают, что и партийная программа в известной части пережила себя; да и организация не может остаться такой, какой она была при открытом существовании партии в стране». Отвечая на упреки Милюкова, что Некрасов якобы хочет создать «новую партию», он заявил: «Никакой новой партии Некрасов не желает и не собирается создавать. Надо лишь сплотить тех, кто имеет право называться кадетами, и предоставить им участие во всех делах партии».

В феврале–марте 1914 года расхождения между Милюковым и Некрасовым усилились. В противовес милюковской тактике «изоляции правительства» Некрасов настаивал на необходимости более решительных действий, ибо, по его мнению, политика правительства, выражающая интересы «свокорыстной олигархии», не только резко противоречит «нуждам населения и Манифесту 17 октября», но и начинает угрожать внешнему могуществу и безопасности государства. Поскольку легальные возможности борьбы с таким направлением правительственной политики были уже исчерпаны, мирный выход из создавшегося тупика представлялся Некрасову маловероятным. Он считал необходимым перейти от «пассивной обороны» к активному наступлению против сил реакции. В этой связи он предлагал: усилить борьбу с антисемитизмом и клерикализмом; перестать игнорировать пролетарское движение и, признав, что рабочие — «в высшей степени активная сила», начать оказывать им моральную и материальную поддержку; уделять больше внимание национальному вопросу и пересмотреть аграрную программу. Он рекомендовал также создать в IV Думе вместе с левыми депутатами общее «информационное бюро», пересмотреть отношение партии к возможности отклонения бюджета, выхода из думских комиссий и использования обструкции в качестве крайнего средства борьбы против правительства.

После начала Первой мировой войны Некрасов был назначен уполномоченным передового отряда Всероссийского союза городов, активно работал в Сибирском обществе помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны, а также участвовал в заседаниях Особого совещания по обороне государства.

Разногласия Некрасова с кадетским руководством тем временем продолжали углубляться. Среди причин этого Некрасов в интервью сотруднику газеты «Биржевые ведомости» назвал организационные вопросы: о созыве партийного съезда, о полномочиях и составе ЦК, а также об отношениях между ЦК и фракцией. Наконец, он заявил о выходе из президиума фракции и полностью сосредоточился на общественной работе. 11 июня 1915 года он заявил Милюкову о своем выходе из состава ЦК, а 12 июня направил в ЦК письмо, где мотивировал свой уход. Были названы две причины: «пассивное отношение ЦК к событиям, возведение в культ нейтралитета в отношении правительственной политики и полное игнорирование жизни под влиянием преклонения пред западными образцами без учета степени их соответствия нашим условиям»; и нежелание большинства ЦК считаться с господствующими настроениями «всех сколько-нибудь активных общественных элементов». В заключение Некрасов написал: «Я не хочу больше нести ответственность за деятельность учреждения, пережившего само себя, и уйду из его состава, чтобы свободно от упреков о выдаче тайн ЦК продолжать в качестве рядового члена партии вести борьбу с вредной политикой ее руководящего органа».

Однако Некрасов принял участие в ряде заседаний ЦК накануне VI съезда партии (февраль 1916 года). Там Некрасов довольно резко выступал против милюковской тактики «внутреннего мира», которая, по его словам, была доведена до абсурда. На ответ-

ственности ЦК, подчеркивал Некрасов, лежит «бездеятельность партии». На VI съезде, где Некрасов последовательно отстаивал интересы меньшинства, еще более усилив критику партийного руководства, он вновь был избран в состав ЦК.

Некрасов явился одним из активных участников думского Прогрессивного блока. В проекте будущего правительства, выработанном блоком и опубликованном в печати в августе 1915 года, фамилия Некрасова фигурировала в качестве кандидатуры на пост министра путей сообщения. Рост его влияния среди членов Прогрессивного блока привел к тому, что 6 ноября 1916 года он был избран товарищем председателя IV Государственной думы.

27 февраля 1917 года Некрасов стал членом Временного комитета Государственной думы. Судя по воспоминаниям В. Д. Набокова и П. Н. Милюкова, именно Некрасов подготовил черновой вариант акта отречения Михаила Александровича Романова от престола, а также проект о введении в России республики.

В сформированном 2 марта 1917 года первом составе Временного правительства Некрасов занял пост министра путей сообщения и сразу же вслед за этим предпринял попытку опереться на профсоюзы железнодорожников. Выступая на VII съезде кадетской партии уже в качестве министра, он сделал подробный доклад о положении на железнодорожном транспорте, провозгласив необходимость единства действий с профсоюзами как в управлении транспортом, так и в процессе демократизации страны в целом. «Основной вопрос, — сказал Некрасов, — заключается сейчас в том, чтобы идею революции, торжества демократии, идею народовластия провести скорее во всех возможных ее формах». По мнению Некрасова, центральная задача власти состояла в организации демократии, в разумном сочетании социального момента с моментом политическим, что позволило бы избежать вполне реального хаоса и анархии в стране. Как указывал Некрасов, надлежало добиваться того, чтобы «прийти не к социальной революции, а путем социальных реформ обойтись без социальной революции». Он самым решительным образом высказывался за превращение правительства в активную силу, готовую к разрешению «грозных конфликтов». «Полнота власти, — говорил он, — обязывает нас к мудрому самоограничению власти, а мудрое самоограничение Временного правительства прежде всего заключается в том, чтобы творить волю всей страны, а не свою собственную». Поэтому Некрасов предлагал «найти равнодействующую народного мнения», заявив: «В тех случаях, когда я убежден, что мое решение правильно отражает волю народную, я пойду по этому пути, если бы не только один Совет рабочих депутатов, но и все революционные организации вместе взятые были бы против меня. В этом случае я пойду напролом». В заключение Некрасов призвал все демократические элементы, которые стремятся избежать социальной революции, к сотрудничеству.

Сам Некрасов прилагал максимум усилий на своем министерском посту, чтобы стабилизировать политическую обстановку, установить и расширить контакты с представителями демократических организаций. Во время апрельского правительственного кризиса он заявил о себе как о стороннике межпартийной правительственной коалиции, против чего выступал Милюков. На VIII съезде кадетской партии (май 1917 года), выступая с резкой критикой Милюкова и Гучкова, покинувших министерские посты, он назвал это «ударом в спину Временного правительства». Некрасов отстаивал необходимость формирования коалиционного правительства вместе с умеренными социалистами и оказания ему полной и безоговорочной поддержки. Он выступил против утверждения Милюкова, будто разрушительные силы из числа радикальных социалистов ведут к эскалации революции. По мнению же Некрасова, грань между разрушительными и созидательными силами проходит там, «где кончается чувство государственной ответственности, где... на место государственного порядка ставят принцип

анархии и безвластия, где на место государственной справедливости устанавливается идея классовых демагогических интересов». С его точки зрения, только Учредительное собрание, созыв которого следовало всячески ускорить, представляло собой «единственный орган, который может предотвратить всякие узурпаторские попытки присвоить себе законодательную власть со стороны отдельных элементов и организаций».

Следуя своему пониманию хода событий, 27 мая Некрасов подписал правительственный циркуляр о совместной деятельности железнодорожной администрации с профсоюзом железнодорожников. При этом последнему предоставлялось право общественного контроля за работой железнодорожного транспорта и даже право давать указания ответственным административным лицам. В июне 1917 года Некрасов принял также участие в работе I Всероссийского съезда рабочих и солдатских депутатов и II Общеказацкого съезда. В конце июня в составе правительственной делегации (вместе с А. Ф. Керенским, М. И. Терещенко и И. Г. Церетели) Некрасов участвовал в переговорах с украинской Центральной радой и подготовил проект декларации о предоставлении Украине независимости, что послужило одной из причин очередного правительственного кризиса. В разгар кризиса, 3 июля, он демонстративно вышел из кадетской партии и вступил в Российскую радикально-демократическую партию. 8 июля в новом коалиционном кабинете Некрасов занял пост товарища министра-председателя. 21 июля он вслед за Керенским подал в отставку. Но в следующем, третьем коалиционном правительстве, уже представляя радикально-демократическую партию, он снова занял пост вице-премьера, а также министра финансов.

Выход Некрасова из кадетской партии и его переориентация на тесный союз с Керенским усилили неприязнь к нему со стороны лидеров кадетов. В своих воспоминаниях бывшие партийные товарищи Некрасова уличали его в лицемерии, вероломстве и даже предательстве. Недаром к нему еще в 1917 году приклеился ярлык — «злой гений революции». В. Д. Набоков, П. Н. Милюков, В. А. Оболенский отмечали, что обладавший умом, способностями, однако лишенный четких принципов Некрасов из личных расчетов «сделал ставку на фаворита» (в данном случае Керенского), повел рискованную игру и в итоге погубил свою политическую карьеру.

В действительности поведение Некрасова в бурные месяцы 1917 года трудно оценить однозначно. С одной стороны, нельзя не признать его высоких деловых качеств, а также, по-видимому, искреннего стремления к демократизации политического строя и социальных отношений, желания избежать революционных катаклизмов, подобных 1905 году. С другой стороны, сложно понять те политические зигзаги, которые проделал он с февраля по октябрь 1917 года. В любом случае выход Некрасова из кадетской партии и союз с Керенским не могут быть объяснены без учета его жизненных ориентиров и особенностей характера и психологии.

...Его отъезд после окончания института из родного Петербурга в далекий Томск, где недавно был открыт новый институт и предоставлялась реальная возможность для быстрого научного и карьерного роста; его отход от эсеров в 1904 году и вступление в элитную организацию «Союз освобождения»; его стремление быть постоянным оппонентом Милюкову в партии; его нескрываемое желание играть первые роли в думской кадетской фракции, а затем и в первом составе Временного правительства — все это звенья одной цепи. В июльские дни 1917 года Некрасов понял, что кадетская партия утрачивает политическое влияние и все шансы на победу. «Переметнувшись» к Керенскому, Некрасов достиг в новом кабинете ключевых постов. Не исключено, что его политические амбиции простирались и дальше...

В августе 1917 года Некрасов, очевидно, попытался сыграть ва-банк. В своем выступлении на Государственном совещании, равно как и в первые часы мятежа Л. Г. Корнилова, он самым решительным образом поддержал Керенского. С участием Некрасова

была составлена и направлена телеграмма железнодорожникам, призывавшая не исполнять распоряжения генерала. Эта телеграмма сыграла свою роль в мобилизации сил для отпора мятежникам, парализовав их возможности оперативной переброски войск к Петрограду. Вместе с тем Некрасов согласился с мнением министров А. С. Зарудного и М. И. Терещенко о том, что для предотвращения вооруженного конфликта между правительственными войсками и корниловцами Керенский должен уйти в отставку. Именно в эти дни Некрасов как никогда приблизился к самой вершине власти. Однако он просчитался. Узнав о позиции Некрасова, Керенский немедленно отправил его в отставку.

В первых числах сентября Некрасова командировали в «почетную ссылку» в Финляндию — генерал-губернатором. В своей деятельности он намеревался руководствоваться следующими принципами: соблюдение финляндской конституции и установление законного порядка. 17 октября ему довелось выступить на заседании Временного правительства с докладом о положении в Финляндии. Второй доклад был намечен на 25 октября. Прибыв в этот день в Петроград, Некрасов уже больше в Финляндию не возвратился.

После Октябрьского переворота Некрасов принял участие в заседаниях подпольного Временного правительства. Он оставался в Петрограде до 10 февраля, скрываясь на квартире тестя — профессора Петербургского технологического института Д. С. Зернова. В начале марта 1918 года Некрасов перебрался в Москву, где начал работать управляющим московской конторой Союза сибирских кредитных союзов (Сибкредсоюза). Вплоть до мая он активно участвовал в заседаниях Московского отдела кадетского ЦК. Правление Сибкредсоюза, однако, находилось в Новониколаевске, который вскоре оказался в центре восстания Чехословацкого корпуса. Сношения московской конторы с правлением привлекли внимание ВЧК, но обыск на квартире Некрасова не дал результатов. Тем не менее он решил не рисковать и уехать в Сибирь. Брат жены, Б. Д. Зернов, который в то время работал в Московском областном продовольственном комитете, достал Некрасову подложный мандат на имя В. А. Голгофского, согласно которому он командировался в Тобольский район и Приуралье для обследования состояния рыбных промыслов.

17 июня 1918 года Некрасов-Голгофский выехал из Москвы в Нижний Новгород, а оттуда на пароходе по Волге и Каме добрался до Перми; затем через Екатеринбург — до станции Шумиха, где обратился за помощью к чехам, которые и отправили его беспрепятственно в Омск. Эсеры, возглавлявшие тогда Сибирское правительство, предложили было Некрасову войти в его состав. Однако он от этого предложения отказался. После краткосрочной поездки в Новониколаевск Некрасов по предложению правления Сибкредсоюза занял должность управляющего омской конторой. В начале сентября он оставил службу и отправился в Москву, а по дороге, в Уфе, с помощью Б. Д. Зернова ему удалось выправить в милиции паспортную книжку, и в конце сентября «Голгофский» возвратился в Москву. В октябре он вместе с женой и ребенком выехал в Симбирск, но перебраться через линию фронта они не смогли, и пришлось возвратиться обратно. Повторив попытку еще раз, уже в одиночку, Некрасов едва не погиб. С большим трудом 20 декабря добрался он до Москвы.

Около двух месяцев, до середины февраля 1919 года, Некрасов-Голгофский работал секретарем коллегии Института школьных инструкторов физического труда при отделе единой школы Наркомпроса, а затем перешел на службу в статистико-экономический отдел Наркомпрода. Постоянная угроза разоблачения заставляла его задуматься о переезде в другой город. В середине апреля 1919 года ему удается вместе с женой перебраться в Казань, где он начал работать в должности заведующего учетно-статистическим отделом в Центральном рабочем кооперативе, а через несколько месяцев

стал заведующим организаторско-инструкторским отделом Казанского потребительского общества. В мае 1920 года он перешел на службу в Казанский губернский союз, вскоре был избран членом правления. В декабре 1920 года он был назначен уполномоченным по Казанской конторе Центросоюза, а в марте стал членом правления Союза потребительских обществ Татарской республики. Опыт статистической работы, большие организаторские способности позволяли ему везде быстро продвигаться по служебной лестнице. И если бы не стечение ряда обстоятельств, «Голгофский» вполне мог бы сделать успешную карьеру.

Политически активный человек, Некрасов принимал участие в дискуссиях местных коммунистов и кооператоров по текущим политическим вопросам, чем привлек внимание органов ЧК. Наконец, во время одного из застолий он опрометчиво проговорился о своей настоящей фамилии, после чего незамедлительно последовали донос, обыск, арест. Местная ЧК доложила Дзержинскому, что ею «расшифрован и арестован бывший генерал-губернатор Гельсингфорса и министр путей сообщения Временного правительства Некрасов, проживающий под фамилией Голгофский».

Около месяца ЧК допрашивала Некрасова, но 21 апреля 1921 года Дзержинский вытребовал его в Москву, распорядившись «принять и держать в хороших условиях». В Бутырской тюрьме Некрасов просидел 54 дня. 11 мая 1921 года начались новые допросы, которые сначала вела заместитель уполномоченного II секретного отдела ВЧК Брауде, а затем уполномоченный следственной части Розенфельд. По делу Некрасова допросили лишь одного свидетеля и запросили характеристику на него от казанских коммунистов и кооператоров. Ряд ответственных партийных работников Москвы и Казани дали весьма положительные отзывы о его политической позиции и производственной работе.

В итоговой справке Розенфельда и уполномоченного президиума ВЧК Кизельштейна подчеркивалось, что Некрасов порвал с прошлым, убедившись в том, что «нет ничего среднего между реакцией и советской властью». Следствие предложило дело прекратить, «легализовать бывшего министра путей сообщения, освободить и направить на хозяйственную работу». 25 мая постановлением Дзержинского Некрасов был освобожден и затем с согласия большевистского ЦК привлечен на работу в Центросоюз. Сохранилось свидетельство о его встрече с В. И. Лениным. «Когда доставили меня в Кремль, — вспоминал Некрасов, — я, несмотря на опыт, струхнул. Владимир Ильич встал со стула, пожал руку и пригласил сесть... Спросил: „Где бы желали вы работать?“ — Не задумываясь, я ответил, что хотел бы работать в кооперации. — „Вот-вот, и мы предварительно с товарищами обсуждали и решили рекомендовать вас в Центросоюз“».

В течение последующих девяти лет Некрасов работал на разных должностях в Центральном союзе потребительских обществ: сначала уполномоченным, затем был избран членом правления. Одновременно он в должности сверхштатного преподавателя вел семинары по кооперативной работе в Московском университете, читал курсы в Институте народного хозяйства и Институте потребкооперации. В 1920-е годы с его участием издавалась многотомная «Торговая энциклопедия», где он напечатал серию статей по вопросам экономической статистики и кооперации; третий том этого издания вышел под его редакцией. В 1924–1925 годах Центросоюз издал первую часть его монографии «Кооперативная торговля. Организация и техника»; подготовил к печати вторую часть — «Кооперативная торговля. Промышленные товары».

2 ноября 1930 года Некрасов был арестован по делу так называемого Союзного бюро ЦК РСДРП (меньшевиков). В течение 54 дней следствия его допрашивали 18 раз, обвиняя во вредительстве с целью устранения диктатуры пролетариата и восстановления в СССР капиталистического строя. В итоговом обвинительном заключении, со-

ставленном уполномоченным 4-го отделения Экономического управления ОГПУ Соколовым, говорилось, что «гр-н Некрасов Николай Виссарионович в достаточной степени изобличается в том, что, находясь на службе в Центросоюзе, входил в состав к-р вредительской организации и проводил вредительскую деятельность, направленную к срыву снабжения промтоварами СССР». 6 апреля 1931 года Коллегия ОГПУ осудила Некрасова на десять лет лагерей с конфискацией имущества. Некрасов был отправлен на Соловки, однако пробыл там недолго. С июня по сентябрь 1931 года он работал в особом конструкторском бюро Беломорстроя в Москве, затем был переведен непосредственно на строительство канала. 20 апреля 1932 года срок заключения ему был сокращен на пять лет, а в октябре он был переведен в Дмитровлаг на строительство канала Москва–Волга, где работал до октября 1937 года. Коллегия ОГПУ 28 марта 1933 года досрочно освободила Некрасова со снятием с него судимости, но он решил остаться вольнослужащим на строительстве канала и в 1933–1934 годах работал начальником производственного отдела управления, а затем начальником карьерного хозяйства на строительстве канала Москва–Волга. «Ударник канала Москва–Волга», Некрасов в 1934 году был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

В октябре 1937 года Некрасова перевели на Волгострой на должность начальника работ Калязинского района строительства. Во время его отпуска, 13 июня 1939 года, у него на квартире был произведен обыск, а хозяина доставили в Лефортовскую тюрьму. Там ему предъявили обвинения по статьям 58-8, 58-7 и 58-11: организация покушения на Ленина в январе 1918 года, участие в антисоветской организации на строительстве канала Москва–Волга и вредительство на Волгострое. В результате изнурительных, многочасовых и, как правило, ночных допросов у него надломилось здоровье. Имея уже серьезный опыт подследственного и находясь в течение многих лет среди заключенных, Некрасов, видимо, отдавал себе отчет, что на сей раз ему из тюрьмы живым не выйти. К тому же на свободе оставались близкие люди, судьба которых полностью зависела от воли НКВД. Возможно, они были спасены тем, что поведение обвиняемого устраивало следователей.

После полугодового «марафона» допросов 4 декабря 1939 года был составлен протокол об окончании следствия. Некрасов признал себя виновным в том, что являлся идейным вдохновителем и организатором боевой группы, пытавшейся в 1918 году убить Ленина, а также участником антисоветской организации Ягоды на строительстве канала Москва–Волга, по заданию которой проводил вредительскую деятельность. 7 декабря 1939 года обвинительное заключение по делу Некрасова было утверждено заместителем наркома внутренних дел Чернышевым. Закрытое судебное заседание Военной коллегии Верховного суда СССР состоялось 14 апреля 1940 года и продолжалось в течение двух часов. Некрасов был приговорен к высшей мере наказания. Попытка исходатайствовать смягчение участи осужденного успеха не имела. 5 мая Президиум Верховного Совета СССР, заслушав дело Некрасова, оставил приговор в силе. В тот же день Некрасов был расстрелян.

...Через 50 лет, 13 августа 1990 года, Н. В. Некрасов был реабилитирован по делу «Союзного бюро меньшевиков», а 12 марта 1991 года последовала реабилитация и по делу 1939 года.

СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ КОТЛЯРЕВСКИЙ:
«Даруемая свобода представляет нежное растение, которое может скоро заглохнуть на нашей холодной почве...»

АНДРЕЙ МЕДУШЕВСКИЙ

С. А. Котляревский родился 23 июля 1873 года в Москве. В 1896-м он окончил историко-филологический факультет Московского университета; в 1901-м защитил магистерскую диссертацию «Францисканский орден и Римская курия в XIII–XIV веках». В 1904 году стал приват-доцентом кафедры всеобщей истории и вскоре защитил докторскую диссертацию «Ламеннэ и современный католицизм». Обращение к французскому религиозному мыслителю XIX столетия определялось, возможно, содержанием его учения, которое выступало как попытка соединить науку и веру, подготовить «религию французской демократии». Ламеннэ думал, что он борется за католическую церковь против софистики рационализма XVIII века и Французской революции. Однако на деле, считал Котляревский, он выступил основоположником новой доктрины, отрицавшей ортодоксальный религиозный взгляд на общество. «Напрасно Ламеннэ будет отождествлять демократию с анархией и диктатурой, интерес католицизма — с интересом монархии и существующего порядка». Признание за народом духовного суверенитета, которое выразил этот мыслитель, было не менее значимым вкладом, чем признание суверенитета политического, а следовательно, вело к отрицанию «дела, защитником которого считал себя Ламеннэ». Он, как показано в диссертации, сражался за демократические права против философов и софистов эпохи Реставрации.

Начав как историк западной религиозной мысли, Котляревский, под влиянием общественно-политической ситуации революционной эпохи, переменял темы своих занятий, стремясь расширить поле общественной деятельности. Он начал заниматься проблематикой либеральных реформ и установления гражданского общества и правового государства. По окончании юридического факультета им были написаны две новые диссертации: «Конституционное государство: опыт политико-морфологического обзора» (1907) и «Правовое государство и внешняя политика» (1909). Сергей Андреевич руководил кафедрой государственного права Московского университета до революции 1917 года, да и после нее также занимался преподаванием. Он печатался в таких изданиях, как «Право», «Юридический вестник», «Вестник Европы» и др.

С. А. Котляревский стал одним из основателей Конституционно-демократической партии и членом ее ЦК (до 1912 года), избранным на Первом учредительном съезде. Когда на Съезд пришло известие о подписании царем Манифеста 17 октября 1905 года, Котляревский обратился к депутатам с речью, отметив, что «даруемая свобода представляет нежное растение, которое может скоро заглохнуть на нашей холодной почве, а потому демократической партии следует дать клятву, что этой свободы мы не отдадим назад». Выступление, согласно стенограмме съезда, сопровождалось возгласами: «Клянемся, клянемся».

Особенности взглядов и политической позиции Котляревского связаны с его активной вовлеченностью в земское движение на всех этапах его развития. Он являлся

гласным Балашовского уездного и Саратовского губернского земских собраний, участником ряда земско-городских съездов, много выступал по вопросам земского движения в «Русской мысли», специализированных юридических журналах и других периодических изданиях. Став членом известного либерального кружка «Беседа», Сергей Андреевич выступил затем одним из активных деятелей двух ведущих либеральных организаций — «Союза освобождения» и «Союза земцев-конституционалистов». На Съезде «Союза», проходившем 9–10 июля 1905 года в Москве, он принял участие в дискуссии об организации Конституционно-демократической партии. Выступавший исходил из того, что «будущей партии следует сформироваться около земского ядра». «Наша обязанность, — подчеркивал он, — не утратить традиции и навыки, выработавшиеся в земской среде. В земской деятельности руководящим принципом всегда служила не классовая точка зрения, а правовая. Земские деятели отстаивали всегда права личности и проводили начала терпимости, а именно в этом отношении часто погрешают другие партии, впадающие в известного рода якобинизм».

Вопреки позиции ряда известных либеральных деятелей (как П. А. Гейден и Е. Н. Трубецкой), Котляревский подчеркивал важность перехода от широкого, но политически разнородного общественного движения (каким признавался «Союз освобождения») к более определенным организационным формам — политической партии с региональной инфраструктурой (в виде областных партийных съездов). По его убеждению, отдельные разногласия внутри инициативной группы не носят принципиального характера и легкопреодолимы. Он являлся участником съездов земских и городских деятелей 1904–1905 годов, на которых разрабатывался проект конституции — Основного закона Российской империи. Котляревский участвовал в этой работе в качестве председателя земской комиссии о введении всеобщего избирательного права (1905).

О направлениях политической работы правоведа в Конституционно-демократической партии свидетельствуют его выступления на съездах. Выступление на Первом съезде (12–18 октября 1905 года) было посвящено программе об основных правах граждан: Сергей Андреевич отстаивал ту редакцию, которая определяла четкие границы вмешательства государства в права индивида (что актуально и сегодня): «вход в частное жилище, обыск, выемка и личное задержание допускаются только в случаях, установленных законом, а вскрытие частной переписки допускается не иначе, как по постановлению судебной власти». На Втором съезде (5–11 января 1906 года) Котляревский систематизировал основные вопросы предстоящей законодательной работы, подчеркнув их трудности: аграрный и рабочий вопросы нельзя разрешить без крупных иностранных инвестиций, равно как и без обращения к реформам местного и губернского самоуправления. Вопрос о культурном самоопределении национальностей и польский вопрос также были выделены им в качестве приоритетных. Но главное, что объединяет все направления реформационной деятельности, — разработка конституции. Котляревский предостерегал от популизма в решении этих трудных задач.

Считаясь одним из экспертов партии по вопросам национально-территориального устройства, он отмечал на Втором съезде: «Наиболее характерной главой нашей программы является вопрос об автономии областей. Конституционно-демократическая партия стоит не на точке зрения мертвящего, давящего правительственного единства, а живого, идейного создания *modus vivendi* всех национальностей». Однако вопрос этот, по его мнению, должен рассматриваться не Думой, которая «не является истинным представительством» и «волей народа», а Учредительным собранием.

При обсуждении аграрного проекта на Третьем съезде (21–25 апреля 1906 года) Котляревский призывал к прагматизму, разведению принципов и их реализации. Сторонникам национализации земли предлагалось взвесить издержки и практические

последствия этой акции. Реформа, для осуществления которой нужны годы, не может быть проведена немедленно. Он полагал (как и основной идеолог реформы М. Я. Герценштейн), что начинать решение аграрного вопроса следует с принятия закона, регулирующего арендные цены.

В 1906 году в ЦК кадетской партии создали московскую комиссию о местном самоуправлении, куда, помимо С. А. Котляревского, вошли кн. Д. И. Шаховской, Ф. Ф. Кошкин, Н. Н. Щепкин и другие видные деятели партии. Комиссия настолько широко поняла свою задачу, что, отложив анализ предшествующих законопроектов, разработала общий план преобразования местного управления. В ходе разработки были поставлены вопросы о пересмотре положения о земских учреждениях; о городском положении; о мелкой земской единице; о введении земства в неземских губерниях; о реформе местного управления.

Будучи избран депутатом от Саратовской губернии в I Государственную думу, Котляревский (от кадетской фракции) стал членом комиссий: по проверке прав членов Думы и составлению Наказа (секретарь); о неприкосновенности личности; аграрной; о гражданском равенстве. Он выступал активным участником дебатов по законопроектам о гражданском равенстве; земельных отношениях; неприкосновенности личности; образовании местных аграрных комитетов; о Наказе. Как и другие лидеры Партии народной свободы, Сергей Андреевич подписал Выборгское воззвание, в связи с чем был приговорен к трем месяцам тюрьмы и лишен избирательных прав.

Теоретические взгляды этого политического деятеля определяются борьбой за правовое государство в России, которое он мыслил как синтез западных политических идей, которые постепенное будут осваиваться в России через земское движение и создание представительных учреждений. Разделяя в принципе общие позиции русского либерализма, в основе которых лежала концепция государственной школы, Котляревский понимал государство как главный двигатель общественного прогресса. Для него характерно пристальное внимание к опыту построения конституционного государства на Западе, типологии форм правления, особенностям различных типов монархии.

Общие взгляды ученого последовательно отражены в его основных трудах, сохраняющих значение до настоящего времени: «Конституционное государство. Опыт политико-морфологического обзора» (СПб., 1907); «Юридические предпосылки русских Основных законов» (М., 1912); «Государственное право иностранных государств» (М., 1910); «Сущность парламентаризма» (М., 1913).

Наиболее важный труд — «Власть и право. Проблема правового государства» (М., 1915) — посвящен технологиям реализации классических форм конституционализма в российских условиях. Прежде всего автор разводит два близких, но различных по содержанию понятия — «правовое государство» и «конституционное государство». Первое выступает скорее как абстрактная философская формула, способная наполняться различным историческим содержанием. Значение данного понятия определяется универсальностью правовых принципов в жизни общества, которое ни в прошлом, ни в будущем не сможет существовать без этого инструмента. «Очень вероятно, — говорится в книге, — что наши потомки безо всякого особого пиетета отнесутся к идеалам современной конституционной политики, усмотрят в них лишь исторический интерес; но совершенно невероятно — противоречит всем нашим представлениям о развитии общества, — чтобы они менее напряженно, чем их предки, искали в своем государстве, какую бы форму оно ни приняло, воплотить правовые начала». Правовое государство — это «понятие по существу метаюридическое», которое охватывает элементы постоянные и изменчивые, а также представления о целях и средствах их достижения.

Второе понятие — «конституционное государство» — означает реализацию идеала правового государства в исторически и юридически обусловленных рамках конкретного общества. Иначе говоря, соотношение между двумя этими понятиями напоминает соотношение между идеалом (недостижимым именно в силу своего абсолютного совершенства) и реальностью позитивного права (которая представлена конкретными юридическими нормами, устанавливающими четкую грань между абсолютистским и конституционным типами государства). Если подойти к этим понятиям не с юридической, а с политической точки зрения, между ними выстраивается широкий спектр различных форм. Некоторые из них (как классические демократии стран Западной Европы) очень близки к идеальному типу правового государства, в то время как другие (в основном переходные) формы — напротив, недалеко ушли от абсолютизма. К числу последних Котляревский относит специфический тип политических режимов стран Восточной Европы и Азии, где принятие конституционных форм еще не означает реальной демократической трансформации режима. Он определяет их понятиями «мнимого конституционализма» и «мнимого парламентаризма», взятыми из немецкой правовой литературы (*Scheinkonstitutionalismus*, *Scheinparlamentarismus*), но вполне адекватными ситуации тех стран, где солидарность власти с народным мнением подменяется солидарностью власти с отдельными слоями общества (как в Испании или на Балканах), а открытая политическая борьба уступает место борьбе личностей за власть. Эта модель, считал Котляревский, адекватна ситуации, сложившейся в России в результате принятия конституционных актов 1905–1906 годов.

В ряде других своих работ автор предпринимает попытку классификации конституционно-монархических государств его времени по двум взаимосвязанным критериям: по «пределам, которые поставлены в них политическому самоопределению нации» и по «степени ограничений, налагаемых на власть, прежде бывшей юридически неограниченной». Наиболее высокий уровень политического самоопределения представлен в Бельгии, Англии и Норвегии — это первая группа стран, где, несмотря на монархическую форму правления, уровень политического самоопределения практически столь же высок, как и в республиканской Франции. Вторая группа стран (Швеция, Дания и Италия) представляет собой компромиссное решение: здесь присутствует достаточно развитое народное представительство, с одной стороны, и сильная монархическая власть, которая постепенно сдает позиции, — с другой. Третья группа характеризуется выраженным перевесом монархического компонента политической системы. К числу стран, где «монархическая власть остается наиболее активной и жизненной», относятся германские государства, Россия и Япония.

Общий вектор мирового политического и правового развития Котляревский усматривает в переходе от менее совершенных к более совершенным формам государственного устройства, связанным с последовательной реализацией парламентаризма: «Доктринерская вера во всемогущую и всеспасающую силу парламентаризма, вера в его осуществимость на всех стадиях политического развития страны, конечно, обречена на серьезное разочарование. Но это не затрагивает самого принципа парламентарного строя в широком смысле слова, не изменяет и того несомненного факта, что в его сторону развиваются конституционные государства очень различного типа и с очень различной обстановкой, не устраняет и несомненного сходства между этим развитием и стремлением полнее воплотить начало правового государства».

В книге по теории конституционного государства установлены следующие направления его анализа: государство и народный суверенитет; представительное и непосредственное правление; конституции «гибкие и неподвижные»; децентрализация и федерализм; государство и права граждан; законодательная, исполнительная и судебная власть.

В основе концепции конституционного государства лежит такой признак, как способность всякого полноправного гражданина (прямо или через своих представителей) быть участником создания законов. В этом состоит главное отличие конституционного государства от абсолютного, где индивид является лишь объектом мероприятий правительства, но не субъектом правовых и политических отношений. В конституционном государстве отношения власти и общества регулируются не приказом, но договором: «Лишь в конституционном государстве обязанность власти относительно сограждан облекается в строгую юридическую форму, а не остается одним проявлением господствующего в данной исторической среде морального уровня. Выражаясь короче, лишь в конституционном государстве и властвующие, и повинующиеся правовым образом сливаются в единое политическое целое». Конституционное государство «уничтожает или по крайней мере смягчает двойственность правящих и управляемых и стремится создать из тех и других единое организованное политическое целое».

В качестве ближайшей программы для российских условий Котляревский развивал идею октроированной монархической конституции и ограничения самодержавного строя фундаментальными конституционными гарантиями. От прежних занятий историей религиозной составляющей общественной мысли у него сохранился устойчивый интерес к философской проблематике общественных движений. Современники отмечали родство его идей со взглядами авторов сборника «Вехи». В то же время Сергей Андреевич был далек от неославянофильской позиции своего времени, отрицавшей возможность либеральных конституционных реформ на основании того, что они не соответствуют российской исторической традиции. Эта позиция особенно четко выражена в полемике с умеренными представителями земского движения, выступавшими за введение совещательного и сословного представительства (по образцу Земских соборов) как альтернативы общенародному представительству — парламентаризму. «Говорить, что известному национальному облику более приличествует совещательное представительство, — это все равно, что приписывать известной народности органическое тяготение к проселочным дорогам и органическое отвращение к железным». Совещательное представительство, считал Котляревский, — это не особенность русской истории (как думали славянофилы), а известная историческая стадия в развитии всех народов. Специфика России в этом отношении состоит только в том, что она позднее других стран вступила на путь парламентаризма и вынуждена поэтому быстрее и решительнее преодолевать свое отставание от Западной Европы.

Совещательное представительство — это некая «общественная экспертиза» законов по значимым вопросам, род политического амортизатора, который, однако, не меняет характера принятия решений в абсолютистском государстве. Подобная экспертиза «отнюдь не замещает правильного участия в законодательной работе, не является даже ее суррогатом», поскольку не ограничивает возможности бюрократии действовать вопреки выраженному общественному мнению. Создание институтов совещательного представительства при отсутствии эффективного общественного контроля над принятием решений может стать чрезвычайно деструктивным фактором: это позволяет более четко выразить общественные ожидания (через мнения представителей общества — экспертов), но не удовлетворить их (поскольку бюрократия не уступит советам общества, которое остается для нее объектом манипулирования). Следствием может стать рост недоверия общества к власти и деструктивных тенденций в общественном развитии.

Кризис доверия между властью и обществом, полагал Котляревский, можно разрешить путем договора, когда «за каждой стороной будут ясно определены права и обязанности»: «Необходимо избежать всего неопределенного, могущего быть истолкованным в противоположные стороны. Подменить юридическое отношение нрав-

ственным в этом случае значит предоставить решение фактической силе. Это одинаково не в интересах общества и не в интересах правительства».

В своих трудах Котляревский показал, с одной стороны, особенности русского общественного строя, в частности крестьянской общины, и, с другой, возможность типологического сопоставления монархической государственности России и других стран. Главной проблемой для него, как показывает труд «Власть и право. Проблема правового государства», оставалось движение к правовому государству в России, где предпосылки для этого еще не сформировались и потому главным условием достижения консенсуса является движение властных структур к модернизации. В книге подчеркивалась необходимость движения к правовому государству снизу, через земские учреждения. Следует добавить, что Котляревский являлся видным теоретиком Партии народной свободы и принимал участие в разработке ее идеологических документов, в частности партийной программы.

С. А. Котляревский, наряду с Ф. Ф. Кокошкиным, стал одним из авторов либерального проекта конституции, подготовленного «Союзом освобождения» и изданного в 1905 году в Париже. Этот проект выражал политические устремления той части русского конституционного либерализма, которая уже в 1904 году выступила с лозунгом созыва Учредительного собрания.

Придерживаясь принципа единства и неделимости России, Сергей Андреевич считал, что оно должно обеспечиваться не внешним принуждением, но социальным и национальным консенсусом. По его мнению, «сильная центральная власть совместна с весьма широкой децентрализацией, с существованием местных законов, вообще с признанием широкого простора для областных и национальных своеобразий». Выход усматривался поэтому не в радикальном выборе в пользу одной из крайностей — федерализма или централизма, но в постепенном и растянутом во времени процессе предоставления статуса автономий территориям, которые достигли соответствующей культурной и правовой зрелости. Рассматривая национальный вопрос, Котляревский выступал за учет этого фактора при организации будущей политической системы — организации народного представительства не по губерниям, а скорее в виде областного представительства. Он, как и Ф. Ф. Кокошкин, последовательно ратовал за предоставление автономии Польше. При этом во внешней политике периода Первой мировой войны и позднее Котляревский, как и большинство либеральных деятелей, придерживался государственных взглядов, близких общим установкам Конституционно-демократической партии, и выступал за доведение войны до победного конца.

Важнейшим условием построения гражданского общества в России Сергей Андреевич считал реализацию принципов земского движения: преодоление правового дуализма, реализацию правового равенства, создание для этого земских институтов управления и реформирование суда. Крестьянская реформа 1861 года, полагал он, не смогла реализовать принцип равенства всех перед законом, сохранив крестьянское обычное право. Она не преодолела правового дуализма писаных законов и крестьянских обычаев, сохранив для крестьян особую систему волостных судов, где суд осуществлялся не по закону, но по обычаям, которые, по мнению юристов, часто граничили с произволом. Реформа 1889 года значительно расширила компетенцию волостных судов. Крестьяне, как отмечал С. А. Котляревский в 1905-м, продолжают «оставаться вне закона и не имеют кодекса, хотя бы такого, какие появляются у каждого народа при самом зарождении государственной жизни». Он отмечал хаос в волостных судах, их зависимость не от законов, а от писарей, знающих дела.

В работе «О суде и опеке у крестьян» (1905) очень точно сформулирована конфликтность двух типов права — норм писаного закона и обычаев, показана их взаимная несовместимость. Суть дилеммы: «Должен ли этот суд при решении крестьянских

тяжб и споров руководствоваться лишь местными юридическими обычаями и непосредственным чувством справедливости или же может — и в каких случаях, — применять общие постановления X тома, каково должно быть взаимное отношение между писаным гражданским законом и обычаями, где и как узнавать эти обычаи, существуют ли, например, какие-либо определенные правила наследования крестьян в их имуществе, — этого ни тяжущиеся, ни волостные судьи, ни даже те патентованные юристы и высшие чины губернской администрации, которые составляют апелляционную и кассационную инстанции крестьянских судов, — не знают».

В результате решения волостных судов противоречивы: «путаность и неустройство в волостной юстиции» усугубляются отсутствием принятых высшими инстанциями критериев легальности и единообразия судебной практики, а также волокитой, «которая в Херсонской губернии достигает по гражданским делам пятилетнего срока». Критике подвергался весь механизм соотношения судов разной инстанции: от первой (на уровне общины) — к волостному суду (который опирается на примитивные протоколы низшей инстанции), и от него — к уездным съездам (которые, вместо разбора дел по существу, утверждают решения волостных судов как стоящих ближе к жизни и исходят из того, что дело прошло уже две инстанции). Таким образом, источник дисфункции — неправильных судебных решений — коренится в самом низу и лишь получает дополнительную санкцию на вышестоящем уровне волостных судов.

Поэтому Котляревский критиковал планы Редакционной комиссии по пересмотру законоположений о крестьянах (1904), исходившей из необходимости не ограничения, но расширения компетенции волостных судов, распространения ее на все судебные дела непривилегированного населения деревни. Решение комиссии было основано на результатах сенатских обследований (в частности, на выводах комиссии сенатора Любоцинского и Коханова, пришедших к выводу о невозможности распространить общее законодательство на сельское население и о необходимости сохранения волостных судов). Реально это вело к большему изолированию волостных судов от общей юстиции, замене подлинной апелляционной инстанции волостными съездами, где ни уездные члены суда, ни городские судьи не будут принимать участия, к ограничению независимости судей от земских начальников и уездных съездов.

В канун Первой мировой войны и новой русской революции Котляревский выступал за консолидацию центристских сил, стремясь объединить умеренные правые и левые партии. Он участвовал в обсуждении вопроса о союзе с прогрессистами, выдвигал практические инструменты влияния: воздействие на прессу, соглашение на выборах, учреждение юрисконсульства по вопросам о выборах. Сергей Андреевич, в отличие от других кадетских лидеров, высказывал мнение, что прогрессивная группа создаст русло, в которое вольются все те либеральные элементы, которые не перейдут к кадетам. Поэтому он стоял на позициях более уверенного сближения с прогрессистами, нежели руководство кадетской партии. Возможно, причина его ухода из ЦК (в 1912 году) связана с неприятием этой позиции руководством партии, хотя П. Н. Милюков официально давал иное объяснение: «Уход свой из ЦК он мотивировал неудобствами своего служебного положения».

Одним из направлений деятельности Котляревского того периода являлось международное право и исследование системы международных отношений с юридической и политической точек зрения. Теория вопроса содержится в фундаментальном исследовании «Правовое государство и внешняя политика» (М., 1909). В нем представлены основные этапы развития теории правового государства в связи с вопросами международного права, систематизирован опыт международных договоров, а также рассмотрено их соотношение с конституционными нормами и судебной практикой ведущих государств.

Отметим лекционные курсы и исследования Котляревского в этой области: «Государственное право иностранных держав» и «История международных отношений в новое время. Очерк из истории дипломатических сношений» (запись лекций на Высших женских курсах 1916 года). Ученый считал вступление России в войну необходимым и справедливым шагом, рассматривая его как отстаивание ценностей европейской культуры против германского империализма и милитаризма. Победа в войне, писал он вскоре после Февральской революции, имеет целью не достижение аннексий и контрибуций, но защиту культуры и демократии. «Рядом с великими демократиями Запада, — сказано в работе „Война и демократия“ (1917), — образовалась великая демократия Востока — Россия. Она получит государственное устройство, которое будет установлено всероссийским Учредительным собранием. Перед нашей родиной открывается путь государственного и общественного строительства на самых широких демократических началах».

Международно-правовые и дипломатические итоги войны стали предметом осмысления Котляревского и в постреволюционный период. В частности, он прозорливо выявил недостатки Версальской системы — того устройства международных отношений, которое возникло в Европе в результате Парижской конференции, Версальского мира и других международных договоров (Сен-Жерменского, Трианонского). Сопоставляя эту систему с той, которая была создана Венским конгрессом по итогам Наполеоновских войн, Сергей Андреевич усматривал между ними сходство: великие державы стремились достичь тактических преимуществ в ущерб общей стратегии европейской стабильности. «И здесь и там сказывалась эгоистическая близорукость людей, мыслящих, что они воздвигают необыкновенно прочное здание нового международного порядка, удовлетворяющего полностью их вожделениям». Анализируя карту послевоенной Европы, ученый очень точно указал на возможные точки напряженности, способные вызвать новую мировую войну.

В период Февральской революции Котляревский являлся деятелем Временного правительства — комиссаром по иностранным и иноверным исповеданиям, а позднее — товарищем обер-прокурора Святейшего синода и товарищем министра вероисповеданий Временного правительства. Его воззрения на отношения государства и церкви соответствовали установкам, выработанным на Девятом съезде Конституционно-демократической партии (23–28 июля 1917 года), когда по докладу П. И. Новгородцева был принят соответствующий (церковный) раздел программы партии. Отношения государства к Православной церкви и другим вероисповеданиям строились на компромиссных началах. С одной стороны, провозглашались принципы свободы вероисповеданий и культа, с другой — православие, как религия значительного большинства населения, наделялось «первенством почета во всех актах государственной жизни». Православная церковь определялась как институт публично-правового характера, которому государство «оказывает покровительство в законе и материальную поддержку». В то же время это покровительство не должно повторять ошибки прежнего бюрократического контроля: церкви предоставляется право «свободного самоуправления, согласно учению самой церкви и постановлению Всероссийского Поместного Собора», а все контрольно-административные ограничения предшествующего времени — отменяются. Таким образом, либеральный принцип свободы веры интерпретировался в рамках концепции партнерства государства с православным духовенством. Котляревский выражал уверенность, что эти принципы соответствуют постановлениям Предсоборного совета и московского съезда мирян и духовенства, а потому будут приняты на грядущем Соборе.

Котляревский входил в Особое совещание для подготовки проекта Положения о выборах в Учредительное собрание. Он активно участвовал в подготовке важнейших

правовых актов Временного правительства, в частности по вопросам международных договоров и местного самоуправления. Его имя часто встречается в стенограммах заседаний Юридического совещания при Временном правительстве.

После Октябрьского переворота Сергей Андреевич вошел в оппозиционное движение, став членом таких организаций, как Правый центр и Всероссийский национальный центр (ВНЦ), действовавший в Москве и на Юге России под руководством М. М. Федорова, Д. Н. Шипова, Н. Н. Щепкина и других видных либеральных деятелей. Представляя его Московское отделение, Котляревский участвовал в конспиративных совещаниях, на которых в 1918–1919 годах (вплоть до ареста и казни активных участников антибольшевистского подполья) выработывалась программа борьбы с большевизмом. Заседания ВНЦ проходили в Институте экспериментальной биологии на Сивцевом Вражке, директором которого был профессор Н. К. Кольцов. Подпольщики обсуждали также проблемы организации жизни России после свержения большевиков: гражданское право, управление и самоуправление, национальное и религиозное устройство, международное положение, финансы, промышленность и транспорт, земельный и рабочий вопросы, образование.

Котляревский, руководивший разработкой законопроектов, пригласил к обсуждению земельного вопроса, состояния финансов и налогов известных экономистов, в частности Л. Б. Кафенгауза. На заседании ЦК Конституционно-демократической партии 3 мая 1918 года он сказал, что им необходимо «иметь наготове проект о возможном устройстве окраин России», причем важно «приступить к обсуждению вопроса немедленно», учитывая его сложность. «Вся работа, — не без иронии отмечал профессор Н. К. Кольцов на следствии в ВЧК, — шла на тот случай, если Советская власть сложит свои полномочия и кому-то другому придется организовывать русскую жизнь».

По этим направлениям подготовили ряд законопроектов, обсуждение которых являлось, по свидетельству Котляревского, «главным предметом совещаний Национального центра в последние месяцы 1918 и начале 1919 года». Разработанная программа включала задачи восстановления государственного единства; созыв национального собрания для решения вопроса о форме правления; введение военной диктатуры как переходной формы власти для установления порядка, личной собственности и решения социально-экономических проблем. Эти положения вынужденно носили общий и компромиссный характер, объединяя позиции более и менее радикальных политических групп, оппозиционных большевизму, и могли по-разному интерпретироваться в зависимости от итогов Гражданской войны в России. Основные принципы, на которых могла консолидироваться оппозиция, говорил Котляревский на допросе в ВЧК 2 марта 1920 года, были таковы: «единство России, национальный характер власти: диктаториальный в переходный период с последующим созывом Национального собрания». Сергей Андреевич, разделявший и активно формулировавший эти идеи, привлекался к суду по делу «Тактического центра» (небольшой координационной группы, названной так чекистами) и получил в то время условный срок.

Позднее Котляревский оставил политическую деятельность, как и ряд других либералов, которые не смогли или не захотели бежать за границу, и сделал попытку продолжать научные исследования в условиях советского режима. Он работал в Институте советского права и Московском университете, короткое время был консультантом советских учреждений, стал автором нескольких публикаций. Н. Устрялов, вернувшись в Россию в период нэпа, даже счел, что Сергей Андреевич как ученый пользуется известным авторитетом. Другой наблюдатель, бежавший из России, рассказывал о нем в Париже (1922) не столь оптимистично: «С. Ан. Котляревский у большевиков в почете, но живет он плохо, душевное настроение его тяжелое. В России кадетской партийной жизни нет никакой».

Потеряв возможность заниматься теоретическими проблемами конституционного права, Котляревский вынужденно сосредоточился на проблемах хозяйственного права — бюджетного права и местного хозяйства (работа «Как волость собирает средства и как их расходует. Изложение законов о волостном бюджете» вышла в 1925 году). Преподавая правовые дисциплины в учреждениях послеоктябрьского периода, он стал даже автором учебника для вузов («Бюджетное право СССР», 1925).

17 апреля 1938 года С. А. Котляревского арестовали по обвинению в контрреволюционной деятельности. Недавно открытые документы свидетельствуют, что он оказался в списке «активных участников контрреволюционных, правотроцкистских, заговорщических и шпионских организаций» (931 человек), представленном Л. Берией и А. Вышинским 8 апреля 1939 года для санкции на расстрел (198 человек) и осуждение на длительные сроки (733 человека). В тот же день санкцию оформили как решение Политбюро № П1 / 217 за подписью Сталина. С. А. Котляревский был расстрелян и похоронен на печально знаменитом полигоне «Коммунарка» (Московская область) 15 апреля 1939 года.

СТЕПАН ВАСИЛЬЕВИЧ ВОСТРОТИН: *«Сибирь — продукт вольного народного завоевания...»*

АЛЕКСЕЙ КАРА-МУРЗА

Степан Васильевич Востротин родился 10 декабря 1864 года в Енисейске, в богатой купеческой семье. Ее родоначальником считается Тимофей Востротин — бывший приписной крестьянин знаменитого Каслинского завода (Екатеринбургского уезда Пермской губернии). Этот завод еще в 1747 году основал тульский купец Яков Коробков, а в 1751-м его приобрел Никита Никитич Демидов.

Братья Тимофей и Василий Востротины приехали в Енисейск в 1861 году и занялись разведкой и разработкой золотых приисков. Записались сначала во 2-ю, а потом и в 1-ю купеческую гильдию. Брели крупные подряды на поставки товаров, вина и спирта на прииски, давали деньги в рост. Сын Василия, Степан Востротин, в 1887 году окончил Казанский ветеринарный институт, затем учился в Парижской медицинской школе, но смерть отца заставила его вернуться в Россию, чтобы возглавить семейное золотопромышленное дело.

Енисейск, бывшая столица Сибири, после постройки тракта Томск–Красноярск–Иркутск потерял прежнее значение. В начале XIX века, благодаря открытию месторождений золота, наметился новый подъем. Но к 1880-м годам месторождения начали истощаться, прииски — редеть. К тому же одно за другим следовали несчастья. Летом 1869-го загорелись окрестные торфяники, огонь перекинулся на город, и тот выгорел практически полностью. На следующий год произошел небывалый разлив Енисея, и остатки некогда знаменитого торгового центра затопило. Опустошение довершили эпидемии, прежде всего оспы.

В этих условиях группа подвижников из числа наиболее знатных семей (Кытмановых, Востротиных, Фунтосовых, Баландиных) поставила своей задачей возрождение родного города. Собственно, стратегия была понятна: поиск возможностей для активизации северной торговли, через Енисей и Карское море, — с Европой. Большую роль в этой работе сыграл Степан Васильевич Востротин, занимавший в 1885–1899 годах выборный пост городского головы.

Еще в 1884 году С. В. Востротин вместе с английским капитаном Виггинсом совершил плавание из Лондона в Енисейск через Карское море. Уже став городским головой, он, вместе с другими сибирскими промышленниками и общественными деятелями, активно поддержал развитие военно-морских баз на севере России — в первую очередь в Екатерининской гавани на Кольском полуострове. Александр III в свое время уже собирался строить русскую военно-морскую базу именно здесь, на Мурмане, а не в Либаве (Лиенапе), как предлагали многие высшие военные. Он понимал, что в случае войны порт на Балтике может быть быстро отрезан от России. Его любовь к Северу поддерживал также бывший начальник личного конвоя генерал-адъютант Шереметев, который с 1883 года возглавлял Арскую китобойную кампанию. Кроме того, в возрасте двадцати двух лет Александр III был председателем Комиссии по борьбе

с голодом в Вологодской и Архангельской губерниях. После смерти императора его наследник, Николай II, подпал было под влияние сторонников базы на Балтике, однако, памятуя заветы отца, он подержал также план С. Ю. Витте о строительстве «коммерческого порта» в Екатерининской гавани. Вот в эти-то планы и включились предприниматели-сибиряки, и в первую очередь С. В. Востротин, увидевший здесь новый шанс для развития Енисейского края. 24 июня 1899 года город Порт-Александровск был торжественно заложен в присутствии дяди нового царя — великого князя Владимира Александровича.

В 1902 году Степан Васильевич издал получившую широкую известность книгу «Северный морской путь и Челябинский тарифный перелом в связи с колонизацией Сибири». В ней на большом фактическом материале показано, что завышенные тарифные пошлины, прикрываемые тезисом о «защите от иностранного влияния», мешают развитию российского Востока и России в целом.

Весной 1906 года Востротин сделал попытку избраться в I Государственную думу. 30 апреля в помещении Городского театра состоялись выборы енисейского выборщика по съезду городских избирателей. Голосовать явилась примерно треть всех зарегистрированных (401 из 1286). С большим преимуществом прошел врач А. А. Станкеев, представитель кадетской партии, набравший 304 голоса. Востротин набрал тогда 66 голосов, что стало для него важным политическим уроком: одного только личного авторитета недостаточно для победы; нужна налаженная «партийная машина» и серьезно поставленная избирательная кампания.

На довыборах в III Государственную думу (на место скончавшегося В. А. Караулова) Степан Востротин, уже как лидер местного отделения Конституционно-демократической партии, уверенно победил. Был он в то время гласным городской думы Енисейска, личным почетным гражданином и обладал недвижимостью на 15 000 рублей. Все личные деньги Востротин вложил тогда в развитие Енисейского пароходства. Занимало его также устройство первых русских радиостанций на Югорском Шаре и Маточкином Шаре (Новая Земля), а также на полуострове Ямал, в чем он встретил поддержку министра путей сообщения С. В. Рухлова.

25 октября 1912 года в Красноярске состоялось губернское избирательное собрание по выборам члена IV Государственной думы от Енисейской губернии. Баллотировались семь человек, но в первом туре ни один не набрал большинства. На следующий день баллотировались два кандидата: С. В. Востротин и К. М. Сухарев — доверенный торгового дома купцов Мокроусовых из Ачинска. Победил енисеец с перевесом в три голоса.

Первую большую речь в IV Думе С. В. Востротин произнес 15 марта 1913 года. Обсуждался запрос правительству о необходимости скорейшего введения земства в Сибири. Оратор напомнил, что еще в 1905 году, в царском рескрипте на имя иркутского генерал-губернатора «твердо и повелительно указывалось приступить к разработке вопроса о введении земских учреждений в Иркутском генерал-губернаторстве» (т.е. в Енисейской и Иркутской губерниях, в Забайкальской области, а также в Западной Сибири — губерниях Томской и Тобольской). Однако правительство, по существу, бойкотировало этот вопрос в III Думе, а теперь согласно ограничиться лишь Западной Сибирью (Томской и Тобольской губерниями). Причину этой медлительности и неуступчивости Востротин усматривал в том, что, по мнению высших властей Империи, «земское самоуправление в Сибири будет исключительно состоять из крестьян, мелких торговцев и мещан, а этому крестьянскому мужицкому земству правительство не доверяет».

Выступление привлекло большое внимание депутатов, а потом и общественности, ибо его содержание далеко выходило за пределы формально обсуждаемого во-

проса. По сути дела, речь шла о стратегии развития в целом, об альтернативе: либо бюрократический путь при опоре на деградирующее дворянство — либо интенсификация частнопредпринимательской инициативы, в том числе и для развития дальних пределов страны. «Гг. члены Государственной Думы, — обращался к депутатам Востротин, — если в Европейской России могут еще представители дворянского элемента доказывать, что они будто бы потомки строителей русского государства, то в отношении Сибири у них нет совершенно никаких корней — у них нет там даже и земского земельного ценза. В Сибири имеются заслуги только одного крестьянства, вольного казачества и торговых и промышленных людей. Сибирь... есть продукт вольного народного завоевания, это подарок, который крестьянская масса и вольное казачество преподнесли Европейской России. И вот, казалось бы, что давно наступил момент, когда прямой долг, простая обязанность заплатить по счетам этому народу».

Далее оратор привел слова Александра III, который, в ответ на телеграмму иркутского генерал-губернатора по случаю празднования 300-летия Сибири, сказал: «Надеюсь, что с Божьей помощью, обширный и богатый Сибирский край, составляющий уже три столетия нераздельную часть России, будет в состоянии пользоваться нераздельно с нею одинаковыми общественными и правительственными учреждениями». И добавил: «Прошло после того тридцать лет, а этих одинаковых общественных учреждений в Сибири и до сих пор нет. Правительство совершенно игнорировало обширную Сибирь, оно игнорировало даже Высочайший рескрипт. С проведением Сибирской железной дороги, с организацией усиленного переселенческого движения само правительство вывело Сибирь из его сонного, спокойного, незаметного существования, само содействовало крушению тех бытовых условий, которые гарантировали местному населению экономически обеспеченную жизнь; там совершается теперь огромная экономическая ломка, и в этот период, казалось бы, как можно скорее нужно прийти на помощь этой стране организацией общественных учреждений. Сибирь вступает в мировой рынок и начинает играть все более и более заметную роль в политической жизни страны и приобретает международное значение, а между тем ее земское хозяйство находится в печальном состоянии, вследствие чего положение местного населения несколько не улучшается; оно остается, можно сказать, почти без школ, без медицинской помощи, без путей сообщения, населению грозит одичание и вырождение. Между тем не существует решительно никаких оснований, никаких препятствий для введения земских учреждений в Сибири, они придумываются, создаются искусственно, с целью только затормозить реформу».

Востротин напомнил, что «исторические современницы Сибири» — Северная Америка, Австралия, даже Южная Африка — «пошли совершенно другим путем, они не испугались ни больших расстояний, ни редкости населения, они с давних времен призвали к участию в работе над местными нуждами местных деятелей, местные силы, и это дало великий результат: и экономический расцвет, и культура этих стран вызывают зависть других народов. У нас наоборот, у нас гибнут бесцельно силы, готовые работать на благо своей родины, и Сибирь утрачивает веру в слова, веру в обещания правительства, утрачивает веру в Высочайший рескрипт, когда поколение за поколением сходит без пользы для культуры своей страны, в ожидании реформы (*шум*), в силу невозможности работать для блага своей родины... Выборные земские учреждения — это есть общее право всей России, и распространение этого общего права на все окраины безотлагательно необходимо. Пора же, наконец, иметь доверие, гг., к народу, который плотью и кровью завоевал колоссальные пространства, от Урала до Тихого океана, и создал, можно сказать, величайший резерв для русского народного хозяйства. (*Рукоплескания слева.*)»

Общероссийскую известность Степану Васильевичу Востротину принесли не только думские выступления, но и его новое полярное путешествие по маршруту Тромсё (Норвегия) — Енисейск (1913). В то время «Сибирское Акционерное общество пароходства, промышленности и торговли» планировало наладить регулярные торговые рейсы между Северной Европой и Центральной Сибирью через Карское море, ибо переправка грузов по железной дороге была очень дорога. В 1912 году общество зафрахтовало норвежский пароход «Тулла», специально для плавания во льдах, но тот не сумел пробиться через массы льда в Карском море. Летом следующего года предприняли еще одно путешествие, возглавить которое руководитель Акционерного общества Иона Иванович Лид пригласил знаменитого ученого и полярного исследователя Фритьофа Нансена. У пароходной фирмы «Христенсен» был зафрахтован пароход «Коррект», на который погрузили 1000 тонн цемента в бочках для нужд Сибирской железной дороги.

Другими членами экспедиции стали: молодой, но уже опытный капитан Иоганн Самуэльсон; лоцман Ганс Христиан Иогансен (во время экспедиции Норденшельда на «Веге» в 1878 году он командовал пароходом «Лена», который прошел из Норвегии к устью Лены, а затем поднялся до Якутска); ученый-этнограф Иосиф Григорьевич Лорис-Меликов, знаток малых народов Сибири.

Руководство российской части экспедиции взял на себя С. В. Востротин. Нансен так писал о нем в своей книге «В страну будущего» (изданную в Петрограде в 1915 году): «Степан Васильевич Востротин — золотопромышленник из Енисейска, бывший городской голова этого города, а в настоящее время член Государственной думы, представитель края с почти миллионным населением. Вот страна, достойная зависти! Если бы наш стортинг созывался на таких условиях, в нем было бы два с половиной человека, и с ним было бы полегче сладить, чем с нынешними 123 депутатами. Лучшего спутника по Сибири у нас и быть не могло. Карское море Востротин проехал во время своего свадебного путешествия в 1894 году, а вниз и вверх по Енисею плавал много раз. Свою родину и свое миллионное население он знал вдоль и поперек и являлся настоящим живым справочником по всем интересовавшим нас вопросам относительно условий местной жизни и труда. Кроме того, он сам в девяностых годах долгое время состоял совладельцем пароходства по Карскому морю и Енисею и даже приобрел для этого предприятия на собственные деньги несколько пароходов. В результате потерял немало денег, но обогатился большим личным опытом в этой области».

Из норвежской столицы Христиании путешественники по железной дороге доехали до Троньема, затем на пароходе — до Тромсё, откуда «Коррект» вышел в море во вторник, 5 августа 1913 года. 3 сентября, в устье Енисея, участники экспедиции перегрузились на яхту «Омуль», продолжив плавание до Енисейска. Любопытны полуироничные воспоминания Нансена о первой высадке исследователей на землю и посещении стойбища самоедов: «Первым ступил на берег Востротин, как и полагалось народному представителю этой области. Ведь нас ожидали на берегу граждане, избравшие его в Государственную думу. Мы так и прозвали его „владыкой самоедов“».

Укреплению дружбы Нансена и Востротина способствовали не только совместная работа и обоюдное увлечение фотографией (в архивах остались сотни сделанных ими снимков), но и жаркие политические дискуссии, в том числе о различиях в политическом строе и политической культуре Норвегии и России. Востротин, например, рассказал Нансену такую историю. Лет тринадцать назад он на корабле шел вверх от устья Енисея и повстречал в низовьях реки «стражника», который ехал оповестить рыбаков, подлежащих военному призыву, чтобы они немедленно ехали в Енисейск, а оттуда — в Красноярск, т.к. объявлена мобилизация. «Стражник» не мог толком ответить, с кем Россия воюет. Когда Востротин добрался до Курейки, то узнал, что «царь воюет с семью другими царями» и что война идет успешно для «нашего царя» (кто были те «семь

царей», никто не знал, говорили, что там и «англичанка», и «француженка», и еще кто-то). Только в Енисейске ему объяснили: в Китае вспыхнуло восстание (так называемое «ихэтуаньское»), и союзные войска, включая русские, участвовали в его подавлении. Запомнился Нансену и другой описанный Востротинным эпизод. Во время пребывания в Норвегии, в 1899 году, зашел он как-то попросить воды в дом к одному местному жителю: «Хозяин, крестьянин или рыбак, угостил его чудесным молоком и, разговорившись с гостем насчет того, что делается на белом свете, рассказал о пересмотре дела Дрейфуса со всеми подробностями. Востротина не могла не поразить разница между этим рыбаком на окраине Норвегии, постоянно читавшим газеты, знавшим подробности процесса Дрейфуса, и зажиточным торговым людом в Сибири».

В Енисейске участников экспедиции встретили с большим почетом. Нансен вспоминал: «В числе встретивших нас на пристани находился сам городской голова с цепью на шее, исправник в полной форме, директор гимназии, также в форме, и другие почтенные обитатели города. Были произнесены речи по-русски и по-немецки, потом начались взаимные представления... Потом нас посадили в экипаж и повезли в великолепный большой каменный дом, настоящий дворец, принадлежащий невестке Востротина, Анастасии Алексеевне Китмановой (попечительнице женской гимназии), которая приняла нас с чисто сибирским радушием. Какой контраст представляли эти огромные залы с нашей маленькой каютой на „Омуде“».

А 22 сентября 1913 года Фритьоф Нансен прочел свою знаменитую трехчасовую лекцию в актовом зале енисейской мужской гимназии (туда же привели и девочек-гимназисток) о своем путешествии к Северному полюсу на ледоколе «Фрам» (1895–1896). Востротин переводил с английского на русский. Затем состоялся торжественный завтрак в честь Нансена; позже он вспоминал: «Директор гимназии произнес речь на эсперанто, которого я, впрочем, не понимал и с которого не нашлось даже переводчика. Таким образом, никто ничего не понял. Я, в свою очередь, отвечал на все речи на английском языке, которого не понимал никто из наших хозяев. Но Востротин переводил им мои слова по-русски, и, судя по тому приему, которого они удостоились, я заподозрил, что перевод был много лучше оригинала».

С началом Первой мировой войны депутат Государственной думы С. В. Востротин неоднократно посещал действующую армию. В те месяцы он был избран членом Центрального военно-промышленного комитета (во главе с А. И. Гучковым) и членом Главного комитета Всероссийского союза городов (во главе с М. В. Челноковым). А осенью 1914-го вошел также в руководящий Комитет Сибирского общества помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны (Сибиртет), объездив тогда многие города Сибири.

Думская и общественная активность Востротина выдвинула его в число высших руководителей Конституционно-демократической партии. На VI партийном съезде в феврале 1916 года он был избран в состав кадетского Центрального комитета.

После Февральской революции С. В. Востротина назначили комиссаром по продовольственным вопросам. Во Временном правительстве он занял пост товарища (заместителя) министра земледелия (соратника по кадетской партии А. И. Шингарева). Летом 1917-го был делегирован во Временный совет Российской республики (Предпарламент).

Большевистского переворота Степан Васильевич не принял и вошел в состав подпольного «Национального центра». В начале 1918 года он приехал на Дальний Восток, где попал в ближайшее окружение управляющего КВЖД генерала-лейтенанта Дмитрия Леонидовича Хорвата, объявившего себя «временным верховным российским правителем». В «Деловом кабинете» генерала Хорвата Востротин сначала был министром торговли и промышленности, потом фактически возглавлял правительство.

В конце октября 1918 года в Омске представители «белых правительств» Сибири обсуждали вопрос о формировании единого руководящего центра. В частности, думали пригласить адмирала А. В. Колчака на должность военно-морского министра объединенного правительства. Как свидетельствует участник совещания Л. А. Кроль, Востротин выступил против этой идеи: «По словам Востротина, адмирал Колчак был далеко не тот, что раньше. Он стал человеком, слишком часто меняющим решения, колеблющимся. Очень нервным. Вчера я виделся с адмиралом и нашел, что было бы не вредно дать ему еще трехмесячный отпуск... Определенно указывал на то, что в данный момент эта кандидатура мало подходяща...» Возможно, однако, что именно в силу изложенного кандидатура Колчака удовлетворила все противоборствующие стороны: вероятно, со временем каждая надеялась перетянуть адмирала к себе. При «Верховном правителе» адмирале Колчаке С. В. Востротин снова занял ряд руководящих должностей: председателя Комитета Северо-Морского пути, уполномоченного Российского правительства на Дальнем Востоке, председателя делового комитета Государственной думы города Владивостока, члена Государственного экономического совещания.

После поражения колчаковских войск Востротин эмигрировал в Маньчжурию. Здесь, в Харбине, оказалось тогда до 200 тысяч русских эмигрантов. С июля 1920-го по февраль 1926 года издавал в этой «китайской Женеве» наиболее популярную эмигрантскую газету «Русский голос». А в начале 1930-х переехал во Францию. Скончался Степан Васильевич 1 мая 1943 года в Ницце и был похоронен на местном русском кладбище Кокад.

В апреле 2006 года на фасаде дома в Енисейске, где когда-то жила семья С. В. Востротина, была установлена мемориальная доска.

НИКОЛАЙ ЕЛПИДИФОРОВИЧ
ПАРАМОНОВ:
*«Рано или поздно правда и добро
восторжествуют...»*

Олег Будницкий

«В пору детства моего поколения, — вспоминал в 1976 году известный писатель и библиофил В. Г. Лидин, — одним из тех пахарей, которые широко раскидывали семена просвещения, был издатель Н. Е. Парамонов. Книжечка за книжечкой его дешевой библиотечки широко шли из Ростова-на-Дону, где находилось его издательство. Парамонов, как и И. Д. Сытин, понимал, что лишь доступная, поистине народная книга проникнет в самые глухие углы и найдет нового читателя. Дешевая библиотечка Парамонова с обозначением на обложках книжечек: «Издание Т-ва „Донская речь“ в Ростове-на-Дону» сослужила немалую службу... Имя Парамонова не значится в наших энциклопедических словарях, — добавлял с некоторым недоумением Лидин, — хотя по праву может стоять с именем, например, Ф. Ф. Павленкова». Лидин включал Парамонова в ряд таких издателей, как Смирдин, Глазунов, Макушин, Сойкин, Сабашников...

Нам неизвестно, лукавил ли Лидин, недоумевая, почему имя Парамонова не значится в энциклопедических словарях. Возможно, он действительно не знал, что знаменитый издатель был членом партии кадетов, в 1919 году возглавлял Отдел пропаганды у А. И. Деникина, затем стал «белоэмигрантом», а в 1928 году был даже объявлен советской юстицией вдохновителем «инженеров-вредителей», осужденных по «Шахтинскому делу». Имя Парамонова являлось длительное время табу для историков. Между тем Парамонов — это и есть «Донская речь».

Что побудило Николая Елпидифоровича Парамонова (1876–1951), сына казака Нижне-Чирской станицы, хлеботорговца, владельца мельниц и пароходов, председателя Ростовского биржевого комитета Елпидифора Трофимовича Парамонова, пуститься на это явно не самое прибыльное предприятие? Николай Парамонов принадлежал к новому поколению российских предпринимателей, которым было тесно в рамках существующего режима; они тяготились докучливой опекой власти и сами стремились определять свою судьбу — да и судьбу страны. Рябушинские, С. Т. Морозов или А. И. Коновалов отнюдь не были исключениями; Н. Е. Парамонов на Дону или Н. В. Мешков на Урале относились к этому новому на Руси типу, очень мало напоминавшему купчин из пьес Островского.

Отсюда их столкновения с властями и поддержка тех сил, которые раскачивали самодержавие. Николай Парамонов получил юридическое образование в Киевском университете; уже в студенческие годы он имел неприятности на политической почве. Вернувшись после получения образования в Ростов-на-Дону, Парамонов, по словам его бывшего товарища по университету социал-демократа И. Н. Мошинского, возглавил местную культурническую интеллигенцию. Хотя Парамоновы давно перебрались в Ростов, по инициативе Николая на средства парамоновской фирмы в 1899 году в Нижне-Чирской станице был построен Народный дом. В одном из рабочих районов

Ростова им была устроена воскресная школа для взрослых. Заметим, что в начале века Ростов-на-Дону называли «русским Чикаго»: из-за бурного экономического роста, сочетавшегося с высоким уровнем преступности.

В местном Охранном отделении Николая Парамонова довольно наивно считали главой всех (!) революционных партий, действовавших в Ростове. Это, конечно, было не так. По своим взглядам он был либералом и позднее стал одним из лидеров донских кадетов. 4 декабря 1904 года он выступил с речью на собрании в Коммерческом клубе по случаю сорокалетия Судебных уставов. Требования, сформулированные Парамоновым, соответствовали программе российских либералов: свобода слова, печати, демократизация образования. Однако содействие революционерам Парамонов, несомненно, оказывал. «Н. Е. Парамонов — прелюбопытная фигура в русской революции, — писал о нем уже упоминавшийся выше Мошинский. — Крупный капиталист, человек американской складки, механизировавший свои рудники в Грушевском антрацитном районе по последнему слову техники, — имел пристрастие ко всем крупным затеям, даже в революционном подполье... помогал и социал-демократам, поскольку это было полезно для разрушения самодержавного режима...»

Издательство, основанное в 1903 году, было поставлено с самого начала с парамоновским размахом и не имело ни малейшего налета «провинциализма». Книжки «Донской речи» были, как правило, тонкими, в 20–30 страниц, в обложках из цветной бумаги. На обложках — набранные крупным шрифтом фамилии авторов и названия произведений. Чем был обеспечен успех изданий «Донской речи», в общем, понятно: хороший подбор авторов и крайняя дешевизна изданий. В издательстве выходили произведения Л. Андреева, И. Бунина, В. Вересаева, В. Короленко, А. Куприна и других популярнейших писателей того времени.

Во вступительной статье к литературному сборнику «Зарницы», изданному «Донской речью», делалась попытка охарактеризовать состояние современной литературы. Завершалась она словами: «Время создало новое поколение людей, которые, не желая ждать, сами намерены взять то, чего не дает судьба. Они не страшатся борьбы, они любят бурю... В этом стремлении ломать жизнь по-своему и в надежде, что рано или поздно правда и добро восторжествуют, — вся сила нарождающейся литературы, того света, зарницами которого являются творения новых писателей».

Стремление «ломать жизнь по-своему» было, несомненно, свойственно не только «новым писателям», но и их издателю Н. Е. Парамонову. Знал бы он, чем это в конце концов для него обернется!

Издания «Донской речи» удостоились множества восторженных рецензий. Настоящего панегирика издательство удостоилось на страницах «профессорских» «Русских ведомостей»: «Выбор книг, рассчитанный на самые широкие читательские круги, сделан по определенному плану, с определенным назначением... Чтение большинства из них доставит читателям не только эстетическое удовольствие, но вместе с тем осветит некоторые из важных сторон общественного и народного быта, возбудит ряд существенных вопросов, создаст определенное настроение».

Эвфемизм «определенное» заменял, разумеется, «антиправительственное». Особо подчеркивалось на страницах «Русских ведомостей» «народность», сочетавшаяся с вполне приличным полиграфическим уровнем парамоновского издательства: «Внешняя сторона рассматриваемых изданий не оставляет желать лучшего. Что же касается цены книжек, то с этой стороны издательская деятельность „Донской речи“ представляет на нашем книжном рынке исключительное явление. Так дешево у нас еще не издавались книги. Цена книжек беллетристического содержания — одна, полторы, две, три, четыре и пять копеек, и только в редких случаях она поднимается до десяти копеек за экземпляр. Научные книги сравнительно дороже: от восьми до тридца-

ти пяти коп. Нельзя не пожелать дальнейших успехов этому полезному предприятию в области народного книгоиздательства».

Пик издательской активности «Донской речи» приходится на годы революции 1905–1907 годов. Издательство сочетало в своей деятельности просветительские и пропагандистские задачи. В период становления российского парламентаризма (а, как бы ни расценивать степень влияния Государственной думы и уровень гражданских свобод в России, провозглашенных царским Манифестом 17 октября 1905 года, это, несомненно, были шаги в сторону конституционного строя и правового порядка) очень важно было разъяснить людям, внезапно оказавшимся субъектами российского политического процесса, суть происходящих изменений, научить их грамотно пользоваться своими новыми правами.

Такая возможность издателям представилась, собственно, еще до Манифеста 17 октября; ведь «курс» на формирование выборного представительства в России был провозглашен Николаем II уже в рескрипте на имя министра внутренних дел А. Г. Булыгина, в котором заявлялось о созыве законосовещательной («булыгинской») Думы.

«Донская речь» выпустила книжки В. Голубева «Крестьяне в Государственной Думе» (1905) и «Первые шаги Государственной Думы» (1906), Е. Якушкина «Государственная Дума» (1905), А. К. Дживелегова «Ответственность министров в конституционных государствах» (1905) и другие; книжки зарубежных авторов — «Бюджетное право» Г. Еллинека (1906), «О сущности конституции» Ф. Лассаля (1905) и так далее.

В 1905 году «Донская речь» начала массовый выпуск листовок, в которых разъяснялись «горячие» вопросы дня для не очень подготовленного читателя. Названия этих четырехстраничных, написанных популярным языком листовок говорят сами за себя: «Что такое народное представительство», «Что такое всеобщее, равное, прямое и тайное избирательное право», «Что такое свобода слова и печати», «Как надо расходовать народные деньги», «Права человека и гражданина», «Что такое палата представителей», «Что дают рабочим профессиональные союзы», «Равноправие национальностей», «Что такое тайная подача голосов», «Какие народные представители не нужны народу» и даже «Избирательное право женщин»... Листки отпускались книжным магазинам и складам по сорок копеек за сотню, а в розницу продавались по полторы–одну копейку за экземпляр.

В качестве «примера для подражания» и своеобразных «учебных пособий по демократии» «Донская речь» издала серию книжек, посвященных политическому и экономическому устройству зарубежных конституционных государств, а также опыту борьбы народов этих стран за свои права. Среди них брошюры Н. А. Кабанова «Права и обязанности английских граждан», А. Горбунова «Гарантии личной свободы в Англии», В. В. Водовозова «Всеобщее избирательное право на Западе», А. Быковой «Государственное устройство Северо-Американских Штатов» и тому подобное.

В книжках, издаваемых «Донской речью», демонстрировалось, что в истории России можно найти зачатки самоуправления и оно не является чужеродным продуктом, занесенным из-за рубежа. Этой проблематике были посвящены брошюры В. Алексеева «Народовластие в Древней Руси», «Самодержавие и общественное мнение», «Земские соборы Древней Руси»; «Роль челобитий и земских соборов в управлении Московским государством» и «Когда и почему возникла рознь в России между „командующими классами“ и „народом“» И. И. Дитяткина и другие.

Современную политическую направленность имели тексты, посвященные довольно отдаленным временам — даже английскому Средневековью. Это отлично понимали читатели. В небольшой рецензии, опубликованной в «Русских ведомостях» на издание отдельной брошюрой статьи известного медиевиста Д. М. Петрушевского «Великая хартия вольностей» (1904), ее появление было названо как нельзя более своевременным.

«Великая хартия вольностей, — писал анонимный рецензент, — первая решительная победа английского общества над королевской властью. В этом замечательном документе впервые сгруппированы вместе главнейшие гарантии политической свободы. Англия завоевала их в 1215 году, но еще до сих пор, то есть спустя семь столетий, эти гарантии остаются тщетными дезидератами во многих странах, в том числе и в некоторых европейских. Знаменитая 39-я статья Великой Хартии, которая говорит о том, что ни один свободный человек не может быть арестован или заключен в тюрьму без суда, — эта основа гражданской свободы, — некоторыми считается чересчур большою роскошью даже для культурной страны, и приходится доказывать, что административный произвол, разрушаемый принципами Великой Хартии, не есть что-либо такое, без чего не может жить организованное общество».

Несмотря на дешевизну изданий, издательство, по-видимому, приносило определенную прибыль или, по крайней мере, не было убыточным. То, что терялось на цене, компенсировалось за счет тиражей и скорости оборота. Для оптовых покупателей была предусмотрена гибкая система скидок; так, книжные склады и магазины пользовались скидкой в 30 процентов; в том случае, если они заказывали продукции на сумму свыше 75 рублей, пересылка осуществлялась за счет издательства. Предусмотрены были скидки и для частных лиц; если покупатель выписывал литературу на 2–3 рубля, то за пересылку в пределах Европейской России он не платил.

У издательства была собственная типография в Ростове-на-Дону, однако она, разумеется, не могла справиться со всевозрастающим потоком печатной продукции; в конечном счете заказы «Донской речи» размещались в одиннадцати ростовских типографиях. После 1905 года издательство перенесло значительную часть своей деятельности в Петербург: там были легче цензурные условия, удобнее было распространение книг. В Петербурге издания «Донской речи» печатались по меньшей мере в шестнадцати типографиях.

Всего в 1903–1907 годах издательство «Донская речь» выпустило свыше 500 названий книг и брошюр. В середине 1907 года издательство было закрыто властями, а против его владельцев, подлинного — Парамонова и фиктивного — А. Н. Сурата, было возбуждено уголовное дело. Формально дело «о казаке Николае Елпидифорове Парамонове и мещанине Александре Николаеве Сурате» возникло в связи с тем, что городской заметил непорядок: окно в подвале дома на Екатерининской улице, принадлежавшего купцу Парамонову, было взломано. Явившийся по вызову стражника пристав обнаружил в доме Парамонова книжный склад — три квартиры, состоявшие из девяти комнат, были битком набиты книгами. Полиция насчитала несколько сот тысяч экземпляров. Криминал заключался, разумеется, не в самом наличии книг в доме, а в их крамольном содержании. Трудно сомневаться, что случай со взломом (если это был случай) дал властям повод наконец «разобраться» со строптивым предпринимателем.

Среди книг, издание которых вменялось в вину привлеченным к дознанию, 63 были выделены следователем как «особо возмутительные». В парамоновских изданиях цензура усмотрела и подрыв монархического принципа, и дерзостное неуважение к Верховной власти, и оскорбление памяти «в Бозе почивших императоров Александра II и Александра III».

Поначалу Парамонов был взят под стражу, но затем освобожден под залог в 40 тысяч рублей. Следствие тянулось три с половиной года; в итоге следственное дело составило 68 томов. Вероятно, немалую роль в многочисленных проволочках играли парамоновские деньги и влияние парамоновского клана.

В 1909 году умер Елпидифор Парамонов. Он завещал 60% своего капитала старшему сыну Петру, а 40 процентов — Николаю. Цена завещанного имущества составляла 4,5 миллиона рублей. Однако братья не стали делиться, а образовали Товарищес-

во «Е. Т. Парамонова Сыновья в Ростове-на-Дону». Интересно, что Е. Т. Парамонов завещал раздать своим служащим 20 тысяч рублей; выдать обществу Нижне-Чирской станицы 5 тысяч рублей на устройство приюта или больницы; 50 тысяч рублей — городу Ростову-на-Дону на училища и больницы, а также установить стипендию своего имени в Ростовском коммерческом училище и имени своей жены — в Ростовской женской гимназии. Большую часть семейного бизнеса вел старший брат, Петр. Николаю после ликвидации издательства, чтобы чем-то занять неутомимого просветителя, купили шахту в Александровске-Грушевском. Здесь-то младший Парамонов и развернулся, поставив угледобычу на мировом техническом уровне.

Это был один из парадоксов российской жизни. Крупнейший донской предприниматель находился под судом, параллельно «отвлекаясь» на такие «мелочи», как строительство шахт (ныне бывший Александровск-Грушевский так и называется — Шахты; не пора ли вернуть городу историческое и гораздо более благозвучное название?) и создание, говоря современным языком, городской инфраструктуры. Для иногородних рабочих Парамоновым были построены общежития, дешевые столовые, школы с вечерними курсами для взрослых, больница, детский сад и даже кинематограф! Одновременно последственный строил семейное гнездышко — дворец на одной из красивейших улиц Ростова, Пушкинской.

В конце концов 12–13 мая 1911 года Новочеркасская судебная палата рассмотрела дело Парамонова и Сурата. Палата признала подсудимых виновными по четырем статьям Уголовного уложения и приговорила Парамонова к трем, а Сурата к двум годам заключения в крепости. Однако отбывать наказание осужденным все-таки не пришлось. Парамоновские издания арестовывались время от времени по всей России, и прокуратура возбудила против него дело за распространение литературы подобного рода на основании материалов, поступивших из других городов — от Петербурга до Тифлиса. К счастью для Парамонова, он должен был быть привлечен к суду по месту нахождения центрального склада издательства, то есть в Ростове.

Началось новое следствие, новые проволочки и чиновничья переписка. Новое дело составило 95 томов. Подследственным грозило более суровое наказание; однако адвокатам удалось дотянуть дело до 300-летия воцарения Романовых. Юбилей ознаменовался амнистией, и по царскому указу лица, совершившие преступления до 21 февраля 1913 года, были освобождены от наказания. Тем не менее Николай Парамонов был лишен избирательных прав.

Во время Первой мировой войны Парамоновы пожертвовали на дело обороны в общей сложности около 1 миллиона рублей. Тогда же Николай был полностью «реабилитирован». Произошло это при следующих забавных обстоятельствах. Во время посещения Николаем II Ростова Петр Парамонов был среди встречавшихся с императором. Государь, пожимая всем руки, протянул и ему. Растерявшийся купец сунул руку в боковой карман, достал оттуда заранее приготовленный банковский билет в 100 тысяч рублей и положил в руку царю. Николай посмотрел на деньги, передал их адъютанту и затем вторично протянул руку, на этот раз для рукопожатия. На следующий день в местных «Ведомостях» было опубликовано всемиловиднейшее восстановление Николая Парамонова во всех избирательных правах. Вскоре Николай Парамонов возглавил Донской областной военно-промышленный комитет.

После Февральской революции Николай Парамонов недолгое время возглавлял городскую власть; однако теперь он казался чересчур «правым». После Октябрьского переворота, как известно, именно на Дону образовался очаг сопротивления большевикам. В Ростове и Новочеркасске формировалась генералами М. В. Алексеевым, Л. Г. Корниловым и А. И. Деникиным Добровольческая армия. Штаб ее расположился в парамоновском особняке на Пушкинской. Характерно, что Декларация Добровольче-

ской армии была написана прибывшим на Дон лидером российских либералов П. Н. Милуковым и опубликована впервые в ростовской газете «Донская речь».

Армия остро нуждалась в деньгах; наступил момент, когда Алексеев заявил, что если к определенному сроку добровольцы не получают финансовой поддержки, то он будет вынужден их распустить. Минут за сорок до истечения срока ультиматума к зданию штаба подкатила пролетка. Из нее не спеша вышел Николай Парамонов, тащивший за собой мешок с деньгами, собранными среди ростовских предпринимателей. Любопытно, что если от московских бизнесменов Добровольческая армия получила 800 тысяч рублей, то от ростовских — 6,5 миллиона; да еще 2 миллиона — от новочеркасских.

Со ступенек парамоновского дворца начался 9 февраля 1918 года легендарный Ледяной поход Добровольческой армии. Вынужденные под натиском превосходящих сил красных оставить Ростов, добровольцы совершили с непрерывными боями переход с Дона на Кубань.

Парамонов же ушел в подполье; в то время как большевики искали его в Ростове, он, отрастив бороду и «распределив» детей среди родственников, уехал на время в Москву. Вернулся он в родные места после изгнания большевиков и прихода к власти атамана П. Н. Краснова. Однако с атаманом Парамонов не поладил. Сепаратистская риторика Краснова и его прогерманская ориентация вызывали противодействие Парамонова, избранного товарищем (заместителем) председателя Донского Войскового Круга. Председателем Круга в августе 1918 года был избран кадет В. А. Харламов, депутат всех четырех Государственных дум. Парамонов придерживался союзнической ориентации, чего не скрывал, и был даже арестован на некоторое время немецкими оккупационными властями.

Когда власть на Дону перешла в руки Добровольческой армии, Парамонов был приглашен генералом А. И. Деникиным в январе 1919 года возглавить Отдел пропаганды Особого совещания (фактически деникинское правительство). Дело Парамонов собирался поставить на широкую ногу: в Отделе (по сути, министерстве) пропаганды были образованы подотделы — издательский, художественный, кинематографический, агитационный, лекторский и так далее. Управляющий кинематографическим отделом В. А. Амфитеатров-Кадашев записал в дневнике впечатления о первой встрече с шефом: «энергичен, деловит, не любит даром тратить слов». Парамонов планировал строить отдел как коммерческое предприятие, а не бюрократическое учреждение.

Однако программа кадета Парамонова — привлечь к работе в Отделе демократические элементы, создать широкий антибольшевистский фронт — не встретила поддержки командования; к тому же генералы вмешивались в кадровые вопросы. Парамонова, привыкшего вести дело самостоятельно и с размахом, не устроило ни вмешательство в его компетенцию, ни скудное финансирование его ведомства. Уже в марте 1919 года он подал в отставку. Пропагандистскую войну белые, как известно, проиграли. Не было ли это их самым важным поражением?

А теперь — позволю себе немного личных воспоминаний. В 1994 году я впервые приехал в США, заниматься исследованиями в Стэнфордском университете; заведующая отделом редких книг библиотеки Ростовского университета, энтузиаст-библиограф Светлана Владимировна Кошеверова снабдила меня почтовым адресом Елпидифора Николаевича Парамонова, сына Н. Е. Было известно, что он живет в Лос-Анджелесе. Я отправил ему письмо; через день зазвонил телефон — Е. Н. набрал номер, даже не дочитав моего послания, и сразу же пригласил приехать. Договорились, что в Бербанке (один из аэропортов Лос-Анджелеса) он меня встретит с табличкой «Парамонов». Честно говоря, я не думал, что он будет встречать меня сам: все-таки тогда ему шел 86-й год. Увидев в аэропорту единственного по-европейски одетого человека — в брюках и рубашке, но в галстук, высокого и подтянутого, я подумал, что

табличка совершенно излишня. Не желая ждать лифта, Е. Н. легко поднялся на четвертый этаж гаража, где оставил машину. Дома стол был уже накрыт: несмотря на то что 75 лет Е. Н. прожил за границей, закуски и напитки не оставляли сомнений в происхождении хозяина и его жены Людмилы Ивановны. В тот приезд Лос-Анджелеса я так и не увидел. Два дня мы провели дома — или во дворе у бассейна — за разговорами. Е. Н. расспрашивал, осталась ли арка у входа в городской сад, что теперь находится в его детской в Парамоновском дворце... Родной город он покинул 19 декабря 1919 года. Число он запомнил хорошо. Ведь в этот день ему исполнилось 10 лет.

О дальнейшей судьбе Николая Парамонова и его семьи рассказываю по материалам парамоновского семейного архива и воспоминаниям Елпидифора Николаевича (в семье его для краткости называли Фор; да и трудно предположить, что иностранцы, среди которых Е. Н. провел почти всю жизнь, были бы способны выговорить столь экзотическое имя).

Итак, в декабре 1919 года Парамоновы перебрались в Новороссийск; в феврале 1920 года, накануне катастрофы деникинской армии, семья Парамоновых ушла в Константинополь на собственном пароходе «Принцип». Начались эмигрантские скитания. Пароход оказался единственным, что осталось от некогда многочисленного имущества. Но ведь не увезешь с собой рудники и мельницы.

Около года Парамоновы провели в Константинополе, живя на доходы от парохода, курсировавшего по маршруту Потти–Батуми. В начале следующего, 1921 года, когда стало ясным, что надежды на скорое возвращение в Россию беспочвенны, Парамоновы перебрались в Германию. Дело в том, что еще до начала Первой мировой войны Н. Е. Парамонов перевел в Германию задатки за шахтное оборудование. В связи с начавшейся войной поставки так и не начались; теперь он рассчитывал вернуть вложенные средства. Однако и эти надежды не оправдались: то ли мнение о деловой порядочности и обязательности немцев оказалось преувеличенным, то ли война и последовавшая за ней гиперинфляция разорила германских партнеров Парамонова.

Так или иначе, надо было как-то налаживать жизнь; жизнью для Николая Парамонова было дело, предпринимательство. Сметливый казак вложил большую часть имевшихся у него средств в... пустыри, купив незастроенные участки земли в Берлине, благо что в условиях «сверхинфляции» 1920-х годов земля стоила не очень дорого. Он правильно оценил, что бурное развитие автомобильного транспорта приведет к росту потребности в гаражах, заправках и так далее, в том, что сейчас называют автосервисом. Берлин был в этом отношении почти девственным. В 1926 году завершилась постройка первого парамоновского гаража, в 1929-м — второго. При гаражах были авторемонтные мастерские и заправочные станции. Кроме того, Парамонов построил несколько многоквартирных доходных домов. Все это давало весьма неплохой и стабильный доход и обеспечивало безбедное существование всего многочисленного семейства, включая семью брата Петра (умер в 1940 году). В эмиграции их роли переменялись; если ранее большая часть парамоновского хозяйства была на Петре, то после того, как он осознал, что в Россию никогда не вернется, интерес к делам у него пропал, и занимался он лишь стареньким пароходом, приписанным к одному из румынских портов.

В политической деятельности Н. Е. почти не участвовал, хотя иногда бывал на эмигрантских «мероприятиях»; так, он присутствовал на печально известной лекции в Берлине П. Н. Милюкова, во время которой двое черносотенцев пытались застрелить бывшего кадетского лидера и в результате убили В. Д. Набокова, отца знаменитого впоследствии писателя. Парамонов был среди тех, кто задержал террористов. Кстати, Парамонов был совершенно напрасно объявлен советской юстицией вдохновителем «инженеров-вредителей», осужденных в 1928 году по «Шахтинскому делу». Никаких связей с Россией у него не было.

Приход к власти нацистов в 1933 году поначалу никак не сказался на жизни Парамоновых. Н. Е. вызвали в гестапо на «беседу», интересовались настроениями, отношением к большевизму и почему-то к украинскому вопросу. Претензий не оказалось. Сложнее было со старшим сыном, Елпидифором. Он заканчивал университет и обнаружил недюжинные способности в инженерном деле. Ему предложили остаться при кафедре для написания диссертации и последующей профессуры. Проблема заключалась в том, что в этом случае надо было принимать германское гражданство, что соответственно могло привести к службе в вермахте. Пришлось отказаться от перспективной карьеры; Елпидифор стал инженером-механиком, занялся практической инженерией. Впрочем, научный склад ума, тяга к исследовательской работе, изобретательству осталась «при нем». Впоследствии, уже в США, им были запатентованы десятки изобретений.

22 июня 1941 года раскололо эмиграцию надвое — на тех, кто связывал надежды на «освобождение» России от большевизма с Гитлером, и на тех, для кого подобный путь был неприемлем. Парамоновы, по-видимому, относились ко второй группе; во всяком случае, в отличие от своего друга Краснова (в эмиграции бывшая вражда забылась, Парамоновы и Красновы часто гостили друг у друга, свидетельством чему остались десятки совместных фотографий), возглавившего по предложению германского командования управление казачьих войск, Н. Е. отклонил предложение нацистов вернуться на родину и заняться «восстановлением экономики». Разумеется, с возвращением принадлежавшего ему имущества. После 1941 года «белые» эмигранты, даже отказавшиеся от сотрудничества с нацистами, преследованиям не подвергались — были лишь введены ограничения на поездки в прифронтовую зону. Елпидифор работал на одном из промышленных предприятий и, как все, считался мобилизованным — самовольный уход с предприятия карался смертной казнью.

В 1944 году Н. Е. вместе с женой, Анной Игнатьевной, перебрался в Чехословакию, в Карлсбад. В конце февраля — начале марта 1945 года, выправив себе фальшивые документы, туда же, сбежав со своего предприятия, отправился Елпидифор. В мае 1945 года Парамоновы оказались в советской зоне оккупации. Ничего хорошего им ждать не приходилось. Советская власть не собиралась прощать своих бывших противников. Начались аресты эмигрантов. Не дожидаясь своей очереди, Парамоновы (а именно жена Елпидифора Людмила Ивановна, привлекавшаяся комендантом в качестве переводчицы) получили разрешение на поездку в американскую зону (решающую роль сыграло обещание привезти несколько пар наручных часов) и, разумеется, не вернулись... И вновь семья оказалась у разбитого корыта. Парамоновские дома и гаражи были по большей части или разрушены, или остались в советской оккупационной зоне.

На этом рассказ о предпринимательской деятельности Н. Е. можно было бы закончить, если бы у издательского дела Парамонова не было неожиданного и символического эпилога. В 1946 году Николай Парамонов стал вновь издавать «книжки для народа»! Это были издания, предназначенные для десятков тысяч соотечественников, оказавшихся в лагерях для перемещенных лиц; на этих брошюрах, конечно, не было марки «Донской речи»; однако внешне они удивительно напоминают своих старших «собратьев». Парамонов издавал в основном русских классиков — Лермонтова, Пушкина, Крылова, Гоголя и других. Русский шрифт был приобретен Елпидифором Николаевичем Парамоновым за банку тушенки у немецких наборщиков. Корректуру держал сам Н. Е.

Парамоновы наладили кустарное издательство, приносившее, однако, несмотря на дешевизну книжек (за которые «ди-пи» — перемещенные лица — не могли, конечно, дорого платить), небольшую прибыль. Это позволяло семье, чье имущество сгорело или осталось в восточной части Германии, сводить концы с концами. Лишь болезнь сердца вынудила 74-летнего Николая Парамонова в 1950 году отказаться от издательства. Умер он 21 июня 1951 года и похоронен на городском кладбище баварского города Байройта.

После смерти отца Елпидифор, работавший в американской администрации в Германии, уехал с семьей в США. Главной причиной скорого отъезда был страх перед советским вторжением; служащие находились в состоянии 24-часовой эвакуационной готовности; если американцы, попав в руки большевиков, по разумению Е. Н., могли рассчитывать на снисхождение, то сыну белоэмигранта, тем более Парамонова, пришлось бы туго. Надо сказать, что Парамоновы явно преувеличивали интерес советских спецслужб к их семье. Однако рассчитывать «в случае чего» на теплое отношение не приходилось.

После недолгого пребывания в Нью-Йорке Е. Н. с женой и двумя дочерьми переехал в Калифорнию, в Лос-Анджелес. Практически с первых дней пребывания в новой стране он работал по специальности, инженером-механиком. С языком (точнее, языками — он в совершенстве владел английским и немецким) проблем не было. Как уже упоминалось, на счету Е. Н. десятки изобретений; в основном они касались усовершенствования машин, использовавшихся для производства товаров легкой и пищевой промышленности. До конца 1990-х годов Е. Н. жил с женой в собственном двухэтажном доме в Лос-Анджелесе. Одна из комнат была оборудована под рабочий кабинет. Несмотря на то что он давно вышел на пенсию и ему перевалило далеко за восемьдесят, Е. Н. регулярно получал заказы на сложную проектную работу, а также на переводы технической документации с немецкого на английский. Затем Е. Н. переехал поближе к дочери, недалеко от Сан-Диего в той же Калифорнии.

Предпринимательский дух, присущий семье Парамоновых, так и не проснулся в Елпидифоре Николаевиче. Однако гены взяли реванш в его дочери Марине. Окончив без блеска американскую школу (сказалась, по-видимому, культурно-языковая ситуация — девочка росла в семье с русским укладом, где языком общения был русский, училась сначала в немецкой школе и, соответственно, вращалась в немецкоязычной среде, а затем оказалась в США, где не смогла сразу адаптироваться), она, начав с нуля, завела свое дело. Ей принадлежит небольшой заводик (точнее, мастерская), где производятся небольшие партии сложных деталей для крупных предприятий. Гигантам индустрии невыгодно осваивать технологию производства этих мелкосерийных компонентов, и они предпочитают заказывать их на стороне. Для экономии Марина сама ведет бухгалтерию и делопроизводство; освоив тонкости американского налогового законодательства, энергичная бизнес-вумен открыла параллельно консалтинговую фирму, которая помогает бизнесменам и частным лицам справляться с заполнением десятков страниц налоговых деклараций и изыскивать вполне законные способы минимизировать налоги.

Стало уже банальностью завершать работы о судьбах русских эмигрантов выражением сожаления об утратах, которые понесла Россия, потерявшая целый «культурный слой». Обычно говорится о потерях в области литературы, искусства и так далее. На наш взгляд, как это ни кощунственно звучит, эти потери в известном смысле восполнимы. Хотя и поздно, но произведения Бунина или Набокова, Рахманинова или Цветаевой вернулись на родину. Возможно, что наиболее тяжелой и невосполнимой потерей было искоренение весьма тонкого слоя предпринимателей, а вместе с ними и предпринимательского духа, этики предпринимательства...

Несколько книжек, выпущенных последним парамоновским издательством, Е. Н. Парамонов передал в дар библиотеке Ростовского государственного университета, которая находится... в здании парамоновского особняка на Пушкинской. В городе остался и еще один парамоновский дом — на Малой Садовой (ныне Суворова) улице. Это старое парамоновское гнездо многие годы использовалось различными государственными учреждениями. И ни одной мемориальной доски...

АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ КАРТАШЕВ:
*«Мы были слишком Гамлетами
и не могли угнаться за катастрофическим
ходом событий...»*

АНДРЕЙ ЕГОРОВ

Историкам русской культуры хорошо известно имя Антона Владимировича Карташева, автора непревзойденных по сей день «Очерков по истории русской церкви». Между тем Антон Владимирович был не только выдающимся ученым и религиозным мыслителем, но и известным политиком, членом Центрального комитета кадетской партии, последним обер-прокурором Святейшего синода, министром Временного правительства. Он активно участвовал в политической жизни России в переломные для страны годы революции и Гражданской войны.

Антон Владимирович Карташев родился 11 июля 1875 года в старинном горнозаводском местечке Киштыма на Урале, в семье рудокопа, бывшего крепостного крестьянина. С юных лет Карташев приобщился к религии — уже в восемь с половиной лет он был посвящен в стихарь екатеринбургским епископом Нафанаилом. В 1894 году А. В. Карташев окончил Пермскую духовную семинарию и был направлен за казенный счет в Петербургскую духовную академию. После ее окончания в 1899 году он остался в академии на кафедре истории Русской церкви. В 1905 году под влиянием революционных событий молодой доцент оставил работу в Духовной академии и перешел на светскую работу в Императорскую публичную библиотеку. С 1906 года Карташев стал преподавателем петербургских Высших женских (Бестужевских) курсов на кафедре истории религии и церкви. В то время его статьи по религиозным и церковным вопросам широко публиковались в столичных газетах и журналах.

А. В. Карташев являлся активным сторонником обновления церковной жизни, реформирования отношений между церковью и государством, сторонником свободы церкви в ее внутренних делах. Подлинную популярность Антон Владимирович снискал в качестве председателя петербургского Религиозно-философского общества, которое он возглавил в 1909 году. Его многочисленные доклады, выступления на диспутах имели большой резонанс в Петербурге. Один из основателей кадетской партии — И. В. Гессен в своих мемуарах описывает его как «блестящего оратора с симпатичным лицом и вдохновенными глазами».

А. В. Карташев горячо приветствовал Февральскую революцию и в первые же дни после падения самодержавия вступил в кадетскую партию, стал членом ее ЦК и одним из лидеров. Он входил в группу В. А. Маклакова, А. С. Изгоева, П. И. Новгородцева, которые возглавляли правое крыло партии. Лидер кадетской партии П. Н. Милюков высоко отзывался об участии Карташева в партийной деятельности: «А. В. Карташев, религиозный мыслитель, необыкновенно быстро освоившийся с чуждой ему областью политики, перенес в нее серьезность и честность стремлений, соединенную с большой наблюдательностью и правильностью понимания людей и положений».

Важнейшее направление партийной деятельности А. В. Карташева — культурно-просветительское. В 1917 году кадеты выступили инициаторами создания различных

организаций интеллигенции — профессиональных, женских и прочих, стремясь через них укрепить свое влияние. Антон Владимирович играл заметную роль в литературно-общественном кружке имени Герцена, очень популярном среди петроградской интеллигенции. Весной 1917 года началось сближение А. В. Карташева с известным правым либералом П. Б. Струве. В мае 1917 года Струве создал ассоциацию, предназначенную для пропаганды русских национальных ценностей и названную Лигой русской культуры. «Впервые в русской истории, — писал Струве в манифесте Лиги, — чисто культурная проблема национальности отчетливо отделяется от политических требований и программ». Непосредственная цель Лиги заключалась в том, чтобы внедрять в сознание русской интеллигенции чувство общей национальной судьбы. Формальное учреждение Лиги состоялось 7 июня 1917 года. А. В. Карташев вошел в руководящий орган Лиги — Временный комитет (вместе с председателем IV Государственной думы М. В. Родзянко и депутатами Думы В. В. Шульгиным и Н. В. Савичем).

Кадетская партия стремилась расширить и свое влияние в провинции. Многие члены ЦК отвечали за тот или другой регион. А. В. Карташеву досталась Вологодская губерния. Он установил связи с вологодскими кадетами, неоднократно приезжал в Вологду с лекциями по религиозным и национальным вопросам. Постановлением IX съезда Конституционно-демократической партии Карташев был включен в список головных кандидатов партии на выборах в Учредительное собрание. В конце сентября 1917 года в Вологде состоялся общегубернский съезд кадетской партии с целью определить список кандидатов от партии в Учредительное собрание. «На почве взаимного доверия, — писала местная кадетская пресса, — был составлен и утвержден список кандидатов из десяти человек». Первым в списке стоял Карташев. Остальные — вологодские кадеты из различных городов губернии. Во время выборов в Учредительное собрание в ноябре 1917 года в Вологде за кадетский список проголосовало 5973 человека, что составило 37,9% от всех принявших участие в голосовании (больше, чем за любую другую политическую партию). Кадеты одержали победу и в других городах губернии, однако большинство крестьянского населения проголосовало за эсеров, и ни один кадет в Учредительное собрание от Вологодской губернии не прошел.

К 1917 году Антон Владимирович уже являлся признанным религиозным мыслителем. Поэтому неудивительно, что его политическая деятельность была тесно связана прежде всего с церковными проблемами. До революции многие священники были недовольны существующим состоянием дел, считая, что абсолютная власть Святейшего синода не соответствует церковному канону, так как нарушает принцип соборности и подчиняет духовное светской власти. По мнению большинства иерархов, Церковью должен управлять не Синод, а выборный Поместный собор. Епископы также рекомендовали отменить должность обер-прокурора Святейшего синода как носителя светского господства. В целом церковные иерархи тяготели к переходу от самодержавия к соборности как основному структурному принципу православного общества.

В дни Февральской революции Святейший синод, как и все общество, охватили антимонархические настроения, что выразилось в отказе поддержать рухнувшую монархию и в одобрении передачи вопроса о власти на усмотрение Учредительного собрания. Октябрист Владимир Николаевич Львов был назначен Временным правительством новым обер-прокурором, распустил старый Синод и сформировал новый. Львов стремился привлечь в Синод новых авторитетных деятелей, и, по настоятельному совету многих депутатов IV Государственной думы, 25 марта 1917 года А. В. Карташев был назначен товарищем обер-прокурора Святейшего синода.

Антон Владимирович развил в Синоде бурную деятельность. Он осознавал необходимость церковных преобразований и изменения отношений между Церковью и государством. Он явился одним из инициаторов восстановления патриаршества в России

и созыва в Москве Всероссийского поместного собора Русской православной церкви. Временное правительство с этими предложениями согласилось. 29 апреля Синод выпускает обращение к Церкви восстановить древний православный принцип выборности епископата и учреждает Предсоборный совет для подготовки Поместного собора.

Предсоборный совет духовенства и мирян приступил к делу 12 июня 1917 года. На нем выявились две противостоящие друг другу точки зрения на будущую форму церковного управления. Первая исходила из идеи полного отделения Церкви от государства и принятия синодально-соборной структуры церковного управления. Представители другой точки зрения (которую разделял и Карташев) не подвергали сомнению самый принцип отделения Церкви от государства, но одновременно стояли за то, чтобы за православием, как за церковью национальной, оставался особый статус «первой среди равных». Церковь, по их мнению, столь органически срослась с народом, его культурой и государственностью, что ее уже и невозможно оторвать от общественного организма — национального государства. Немаловажным был и вопрос о патриаршестве. Многие члены Совета считали, что патриаршество противоречит соборности, а значит, его не следует восстанавливать. Эту идею поддерживал и В. Н. Львов. Карташев выступал за восстановление патриаршества и упразднение должности обер-прокурора. Основным принципом Карташева состоял в том, чтобы «под эгидой Временного правительства и с его помощью Русская православная церковь вернула себе присущее ей по природе право самоуправления по каноническим нормам».

25 июля 1917 года под давлением Церкви вместо Львова обер-прокурором Святейшего синода назначается Карташев. В этом качестве, а также как представитель кадетской партии он вошел в состав третьего состава Временного правительства. Новый премьер правительства А. Ф. Керенский так описывал в своих мемуарах причины назначения Карташева: «Когда я стал премьер-министром, я не просил Владимира Львова остаться в составе кабинета. В августе должен был состояться Вселенский церковный собор, которому надлежало рассмотреть новый статус самостоятельности Русской православной церкви. Это требовало от прокурора особого такта и деликатности, а также глубокого знания истории Церкви. Нам казалось, что на такой пост более подходит видный член Петербургской академии А. В. Карташев, который и получил это назначение. А Владимир Львов долгое время держал на меня зуб за, как он выразился, „отстранение“ его от деятельности по лечению Русской православной церкви от паралича, который поразил ее еще в те времена, когда Петр Великий упразднил патриаршество и провозгласил себя главой церкви».

Представляется, что реальные причины смены обер-прокурора были несколько иными. Одна из них состояла в том, что Карташев стоял за патриаршество, а Львов — против. Среди аргументов в пользу патриаршества было широко распространенное мнение, что Церкви, особенно в те Смутные времена, требуется сильное личностное начало — патриаршая власть в сочетании с соборными институтами, которые имели бы достаточно широкие прерогативы и проводили волю Церкви как единого целого.

Другая немаловажная причина заключалась в том, что Карташев был масоном, причем весьма влиятельным. Время его вступления в организацию вольных каменщиков точно не установлено, но известно, что к 1916 году он уже был одним из руководителей столичных масонов. К примеру, когда летом 1916 года состоялся последний масонский конвент в России, Антон Владимирович был одним из одиннадцати делегатов от столицы.

Как известно, масоны для реализации своих решений создавали различные ложи, число которых в период расцвета дореволюционного масонства достигало сорока двух. Только в Петербурге действовало не менее десятка лож. Карташев входил в три столичные ложи — Литературную, ложу Мерезжковского и ложу Верховного Совета

Великого Востока народов России. Руководящим органом русского масонства являлся выборный Верховный Совет (он также работал как ложа). Накануне Февральской революции в число руководящих деятелей Верховного Совета входили А. И. Коновалов, А. Ф. Керенский, Н. В. Некрасов, А. В. Карташев, Н. Д. Соколов и А. Я. Гальперн. По словам Александра Яковлевича Гальперна, в дни Февральской революции «мы все время были вместе, по каждому вопросу обменивались мнениями и сговаривались о поведении». В этом заключается одна из причин, почему А. В. Карташев, едва вступив в кадетскую партию, сразу стал членом ее ЦК. Сразу после формирования Временного правительства масоны еще не могли поставить Карташева обер-прокурором, так как кандидатура Львова была согласована думской оппозицией еще в 1915 году. Но в июле 1917 года, когда влияние Керенского усилилось, он смог без особого труда заменить Львова на Карташева.

В связи с тем что после открытия Поместного собора Церковь должна была выйти из подчинения правительству, 5 августа пост обер-прокурора был отменен, а Карташев назначен первым министром вероисповеданий в новообразованном министерстве. Временное правительство фактически признало положение Православной церкви в стране как «первой среди равных». Это было отражено в определении обязательной принадлежности министра к Православной церкви, как самого министра, так и двух его первых заместителей — по Православной церкви и по всем другим исповеданиям, имеющимся в стране. Права и функции нового министерства предстояло уточнить на основании решений Поместного собора.

15 августа 1917 года, в праздник Успения Пресвятой Богородицы, в Москве открылся первый полноправный Поместный собор за 217 лет. От Временного правительства на открытии присутствовали Керенский и Карташев. 16 августа 1917 года Антон Владимирович от имени правительства приветствовал открывшийся Собор. Он зачитал написанное им обращение к Собору, которое открывалось такими словами: «Временное правительство поручило мне заявить Освященному собору, что оно гордо созданием видеть открытие сего церковного торжества под его сенью и защитой. То, чего не могла дать Русской национальной Церкви власть старого порядка, с легкостью и радостью представляет новое правительство, обязанное насадить и укрепить в России истинную свободу». Как министр по делам вероисповеданий, Карташев заявил, что контроль министерства над Церковью будет минимальным, а также сообщил, что Временное правительство ассигновало 1 миллион рублей на расходы по проведению Собора.

В глазах общественного мнения Карташев стал как бы одним из символов Поместного собора. О. Мандельштам посвятил ему одно из своих стихотворений той поры («Среди священников левитом молодым...»). Впечатления же самого А. В. Карташева о Соборе были далеко не лучшие. Так, в августе 1917 года на заседании ЦК кадетской партии он говорил: «Проявления Собора бледны и вялы, отдают большим провинциализмом. Мирян две трети, что вызывает общий ропот. Епископы молчат. Главным вопросом пока был: как реагировать на разруху в армии? Руководимый учеными-богословами, Собор, по-видимому, не примет резких решений и ложных шагов... Но всероссийского сознания даже в это исключительное время в Соборе не чувствуется, и кажется, что если бы его выступления были правее и ошибочнее, но искреннее, все же было бы лучше». Политическая борьба в Петрограде, участие в деятельности Временного правительства не дали возможности Карташеву принять активное участие в работе Собора — все основные решения принимались без него.

В конце июля 1917 года А. В. Карташев становится членом Временного правительства и по мере сил старается влиять на его политику. 12–15 августа в Москве состоялось Государственное совещание, созванное Временным правительством «ввиду

исключительных переживаемых событий и в целях единения государственной власти со всеми организованными силами страны». Временное правительство надеялось с помощью совещания укрепить свое положение. А. В. Карташев участвовал в совещании в качестве члена правительства. Он внимательно наблюдал за происходящим и на заседании ЦК кадетской партии 20 августа 1917 года высказал свое мнение: «На этом совещании вся нация в лице ее политических и общественных групп совершенно обнажилась и получилась какая-то государственная достоевщина. Каждая группа, пытаясь себя оправдать и выяснить свое поведение, старалась показать все заключавшиеся в ней возможности, и все увидели впервые наглядно весь предел этих возможностей... Правительство проявило государственную гамлетовщину, абсолютную неспособность к действиям, вытекающую из какой-то анархической теории власти... Государственная власть добросовестно реагирует на все совершающееся, но сама в собрание ничего не вкладывает и держит все в оцепенении. Все партии в совещании проявили также добродетели, но ждали, что кто-то придет и спаяет всех в общем движении. Сделать это должна была власть, но власть была только регистратором... До сих пор в лечении всех государственных болезней власть применяла только методы терапии, а когда их оказалось недостаточно, она новых путей не искала... в результате в стране начинается распад, так как страна не получила от власти ответа на свои вопросы и требования. В войске идет распад, проявляются рабские и бунтовские инстинкты. То же и везде, и мы загниваем на корню».

А. В. Карташев, как и другие кадеты, с тревогой наблюдал за ростом большевистских настроений в стране, за нарастанием политического хаоса и анархии. Неудивительно, что на том же заседании ЦК кадеты обсуждали вопрос о возможном установлении временной военной диктатуры. Карташев говорил: «Скоро власть возьмет тот, кто не побоится стать жестоким и грубым. И Партия Народной Свободы скоро будет не в состоянии делать то, что надо для спасения страны. Грустный вывод таков: мы переидеальничали, были слишком Гамлетами и не могли угнаться за катастрофическим ходом событий. Получается рабское тяготение страны к будущей диктаторской власти... Только старые боевые генералы сейчас и могут еще справиться с развалом».

В отечественной литературе получила распространение точка зрения, согласно которой руководство кадетской партии самым прямым и непосредственным образом принимало участие в организации корниловского выступления. Утверждается, в частности, что именно через Карташева осуществлялась связь генерала Л. Г. Корнилова с духовенством, а самому Карташеву предназначался портфель министра исповеданий в корниловском правительстве. Однако, на наш взгляд, версия об активном участии кадетов в заговоре Корнилова не находит серьезных подтверждений.

Наиболее серьезное обвинение в адрес кадетов — это их выход из состава Временного правительства в дни мятежа. Еще 22 августа 1917 года приехавший из ставки В. Н. Львов от имени Корнилова передал министрам-кадетам записку с просьбой к 27 августа выйти из состава кабинета, «чтобы поставить этим Временное правительство в затруднительное положение и самим избежать неприятностей». Корнилов, как известно, не рассчитывал на противодействие Керенского. Вот как известный историк Н. Г. Думова трактует роль кадетов в этой ситуации: «В самый день корниловского выступления организовать министерский кризис, чтобы дать Корнилову возможность, не свергая правительство, сформировать его состав по собственному усмотрению заговорщиков и тем самым поставить страну перед фактом наличия новой законной власти, преемственность которой воплотится в лице Керенского, — вот тот реальный, осязаемый вклад, какой обязывались внести кадеты в общее контрреволюционное дело».

Однако в реальной жизни получилось совсем по-другому. 26 августа 1917 года В. Н. Львов передал А. Ф. Керенскому требования Л. Г. Корнилова: вручить ему всю полноту военной и гражданской власти, уволить в отставку всех министров и в ночь на 27 августа выехать в Ставку. В ответ Керенский на закрытом заседании правительства вечером 26 августа объявил об «измене Корнилова» и потребовал предоставления ему ввиду чрезвычайной обстановки всей полноты власти. С этой целью он предложил «преобразование правительства», суть которого состояла в требовании Керенского всем уйти в отставку. Конечно, большинство министров не могла не смутить похожесть требований генерала Корнилова и требований самого Керенского об отставке министров. С категорическими возражениями против подобного требования выступил государственный контролер кадет Ф. Ф. Кокошкин. «Я первым взял слово, — рассказывал Кокошкин, — и заявил, что для меня не представляется возможным оставаться в составе Временного правительства при диктаторском характере власти его председателя. Если такой характер этой власти будет признан в данный момент необходимым, дальнейшее пребывание в составе правительства окажется, безусловно, для меня невозможным». После этого заявили об отставке и все другие члены правительства, включая Карташева. Разница лишь в том, что министры-кадеты заявили, что они уходят в отставку, не предвещая вопроса о своем будущем участии во Временном правительстве. А министры-социалисты, заявляя о своей отставке, сказали, что предоставляют себя в полное распоряжение Керенского.

Очевидно, что кадеты придали своей отставке характер политической демонстрации, но вряд ли это можно рассматривать как результат некоего сговора с Корниловым. На наш взгляд, все было гораздо проще. Кадеты были бессильны что-либо сделать в данном случае. Выступить против Корнилова они не могли, поскольку во многом сочувствовали его идеям. Но и активно поддержать Корнилова они тоже не могли: это противоречило демократическим установкам партийной программы и, кроме того, шло вразрез с настроениями многих партийных комитетов.

Было очевидно, что за Корниловым стояли политические силы гораздо правее кадетов, и либералы, включая Милюкова, об этом знали. Например, в первом списке членов корниловского правительства кадетов не было вообще, а во втором они хотя и были представлены, но очень скромно и на очень скромных постах. Кадеты не могли поддержать Корнилова и ввиду непопулярности его политики в широких массах. Материалы заседания кадетского ЦК от 20 августа 1917 года абсолютно точно свидетельствуют об этом: о том, что «идет к расстрелу», что «слова бессильны», что «в перспективе уже показывается диктатор», что «партия остается не у дел». Во многом общую позицию сформулировал тогда А. И. Шингарев: «Если бы даже диктатура после кровавых расстрелов захотела опереться на умеренные слои и обратилась к кадетам с предложением спасти отечество, в каком положении очутилась бы партия, принявши эту историческую миссию? Если бы ей и удалось спасти отечество, происхождение ее власти надолго было бы для нее политическим самоубийством...» Что оставалось делать кадетам в такой ситуации? Только одно — уйти в отставку из правительства и во имя собственных интересов попытаться уговорить Корнилова пойти на компромисс с Керенским. Это они и пытались сделать в последние дни августа 1917 года...

Провал корниловского выступления нанес сильный удар кадетской партии — ее руководство в глазах общественного мнения все-таки оказалось скомпрометировано участием в заговоре. Однако кадеты не оставляли надежды на восстановление порядка в стране путем укрепления существующего строя. А. В. Карташев принял активное участие в состоявшемся 22 сентября в Зимнем дворце под председательством Керенского совещании Временного правительства, представителей Демократического совещания, московских общественных деятелей и некоторых членов ЦК кадетской партии,

на котором обсуждался вопрос об организации власти. В результате интенсивных политических переговоров было сформировано третье коалиционное Временное правительство, в которое в числе пяти представителей кадетской партии вошел и Карташев, сохранив за собой пост министра исповеданий. Видимо, немаловажную роль в факте вхождения Карташева в новый кабинет опять сыграло его масонство, и это ставит под еще большее сомнение версию об участии Карташева в заговоре Корнилова. Представляется крайне маловероятным, чтобы Керенский согласился на участие Карташева в правительстве, если бы тот действительно был связан с Корниловым. Стоит добавить, что в эмиграции А. Ф. Керенский потратил немало сил и времени, чтобы выяснить всю подноготную корниловского выступления. При этом он не нашел ни одного факта, который указывал бы на участие Карташева в заговоре.

В правительстве А. В. Карташев занимался в основном идеологическими и церковными вопросами. Он пытался внести в идеологию правительства патриотические нотки. В те тревожные дни для поддержки падающей власти и противодействия зреющему большевистскому перевороту кадетское руководство организовало ежедневные совещания членов ЦК с министрами-кадетами А. В. Карташевым, А. И. Коноваловым, Н. М. Кишкиным, С. Н. Третьяковым. Совещания проходили в шестом часу дня в квартире А. Г. Хрущева на Адмиралтейской набережной. По воспоминаниям В. Д. Набокова, «цель этих совещаний заключалась в том, чтобы, во-первых, держать министров в постоянном контакте с Центральным Комитетом и, с другой стороны, иметь постоянное и правильное осведомление обо всем, происходящем в правительстве». Однако остановить надвигающийся большевистский переворот кадеты были не в силах.

Когда осенью 1917 года министра Карташева спрашивали, что он будет делать по окончании срока своих полномочий, Антон Владимирович отвечал: «Меня ждет келья в монастыре». Однако революционная обстановка не располагала к уединению в монашеской обители. Угроза взятия власти большевиками становилась все реальнее, и Карташев, как мог, пытался этому противодействовать. На заседаниях правительства он говорил о необходимости решительных мер против большевиков, но реальных сил у Временного правительства не было. 25 октября 1917 года, когда судьба правительства уже была решена, А. В. Карташев, П. Н. Малянтович, С. Л. Маслов и К. А. Гвоздев составили последнее воззвание правительства к населению. «Оно разъясняло, — писал в своих воспоминаниях Малянтович, — положение вещей и призывало население к защите государственного порядка и законного всенародного правительства, которое может сдать свои полномочия только Учредительному собранию, против выступления большевиков, имеющего очевидной целью насильственно захватить верховную власть вопреки воле народа и в нарушение суверенных прав Учредительного собрания». А. В. Карташева арестовали вместе с другими членами Временного правительства в ночь с 25 на 26 октября 1917 года в Зимнем дворце и отправили в Петропавловскую крепость.

А. В. Карташев пробыл в заключении три месяца, а после освобождения в конце января 1918 года включился в активную борьбу с большевиками. Он перебрался в Москву, перешел на нелегальное положение, став одним из организаторов антисоветского подполья. Весной 1918 года по инициативе группы кадетов возник «Правый центр», объединивший все правые антисоветские группировки. Карташев стал одним из лидеров «Правого центра». В июне часть кадетов вышла из «Правого центра» из-за его пронемецкой ориентации и организовала другую подпольную организацию — «Национальный центр». «Национальный центр», призванный объединить всю антибольшевистскую общественность, стал боевым штабом кадетской партии в годы Гражданской войны — через него осуществлялась связь партии с Белым движением и представителями Антанты. «Была полная конспирация, — вспоминал впоследствии Н. Астров. —

Собирались тайно, в маленьких квартирах, максимально человек десять–двадцать». Постепенно организация росла, пополнялась новыми членами, становилась более широкой и разветвленной. В Сибирь «Национальный центр» командировал члена кадетского ЦК В. Н. Пепеляева, которому предстояло сыграть одну из главных ролей в колчаковской эпопее. Туда же предполагалось послать и Карташева, но «не хватило техники», чтобы организовать эту поездку. Зная дальнейшую судьбу В. Н. Пепеляева, расстрелянного вместе с А. В. Колчаком, стоит признать, что «технические неполадки» спасли жизнь будущему историку русской Церкви.

В ночь на новый, 1919 год Карташев переправился в Финляндию, чтобы оттуда через Прибалтику перебраться на Юг, к А. И. Деникину. Однако после встреч и бесед с П. Б. Струве Антон Владимирович изменил свое решение и включился в активную работу по объединению русских антибольшевистских сил в Финляндии для организации похода на Петроград. 14 января 1919 года Струве вместе с Карташевым провели в Выборге съезд русских торгово-промышленных деятелей, на котором присутствовало 200 человек. На съезде был создан Русский политический комитет (известен также как Национальный русский комитет) во главе с Карташевым, получившим официальный пост «главноуполномоченного северо-западной границы России». Особо важными делами комитета ведал генерал Н. Н. Юденич, в его руках было и военное управление.

С помощью своих единомышленников в Париже и Сибири Карташев активно поддерживал кандидатуру Юденича на пост главнокомандующего Северо-Западной армией. В письмах Колчаку и Пепеляеву он подчеркивал, что «по совести и убеждению, всеми средствами содействовал созданию авторитета генерала Юденича». Карташев призывал оказать Юденичу материальную поддержку и признать его юридически. Наша политическая линия, писал Антон Владимирович, сводится, «в общем, к самоутверждению здешней внешней организации, возглавляемой Юденичем, и к созданию обстановки, логическим выводом из которой будет быстрое освобождение Петрограда и всей Северной области».

При генерале Юдениче был организован Политический центр во главе с Карташевым. В него входил также известный член ЦК кадетской партии И. В. Гессен. В мае 1919 года Политический центр был преобразован в Политическое совещание. В компетенцию Совещания входили вопросы, связанные с изысканием денежных средств и их распределением, снабжением и снаряжением войск, заготовкой продовольствия и предметов первой необходимости. Кроме чисто хозяйственных вопросов, Совещание претендовало на решение политических проблем. Объясняя необходимость создания нового органа власти, А. В. Карташев в письме В. Н. Пепеляеву писал: «Первейшая задача Политического совещания — это быть представительным органом, берущим на себя государственную ответственность в необходимых переговорах с Финляндией, Эстонией и прочими малыми державами. Без таких ответственных переговоров и договоров невозможна никакая кооперация наша с ними против большевиков. Второй задачей совещания является роль зачаточного и временного правительства для Северо-Западной области».

В состав Совещания Н. Н. Юденич назначил пять человек. Карташев возглавил сношения с иностранными и антибольшевистскими правительствами. Он занимался также вопросами религии и благотворительности. Впоследствии его избрали заместителем председателя Совещания, а еще позже в его ведение перешли печать, информация и агитация. Деятельность Карташева на этом посту современники оценивали довольно критически. Известный участник Белого движения на Северо-Западе России В. Л. Горн так характеризовал Карташева: «Хитрый, неискренний, он старался каждого покорить своей почти неземной кротостью и елейностью. На вид святоша, он вели-

колепно умел ковать козни за спиной ближайших своих политических противников, но вовсе оказывался никуда не годным, когда приходилось делать практическую политическую работу, разбираться в запросах дня или хотя бы удовлетворительно организовать порученную ему функцию — агитации и пропаганды. По общеполитическим вопросам Карташев вел какую-то двойную линию, и часто чрезвычайно было трудно разглядеть его подлинное политическое лицо».

Историк А. В. Смолин, подробно исследовавший Белое движение на Северо-Западе России, отмечал, что лицемерие Карташева ярко просматривалось в его отношениях с Юденичем. Крайне обходительный при личных контактах, он за глаза дал ему кличку «кирпич». В одном из писем к Колчаку Карташев писал о генерале как о человеке слабом, нерешительном, безвольном, неосведомленном, чуждом интересам армии. Но в письмах к самому Юденичу нет даже намека на критику его действий.

В годы Гражданской войны кадетская партия эволюционировала резко вправо. Не был исключением и Карташев. В своих взглядах он проделал путь от христиански окрашенного либерализма к православно-монархическим убеждениям. На встрече в Ревеле 6 июня 1919 года с представителями русской общественности Антон Владимирович заявил: «Мы уже не те кадеты, которые раз выпустили власть; мы теперь сумеем быть жестокими».

В августе 1919 года наступление Юденича на Петроград было остановлено. Тогда англичане потребовали замены слишком откровенной диктатуры Юденича новым демократическим правительством. 10 августа 1919 года большинство членов Политического совещания были вызваны в Ревель в английскую военную миссию, где их ждали представители Антанты. Английский бригадный генерал Марш сказал короткую речь. Русские, сказал он, любят много говорить и ссориться; наступило время кончать разговоры и действовать. Марш вручил приглашенным составленный заранее список будущего кабинета и дал им срок — сорок минут — на то, чтобы, не выходя из комнаты, сформировать правительство. В противном случае, заявил он, «мы вас будем бросать». Правительство должно было быть коалиционным — с участием эсеров и меньшевиков. А. В. Карташев, который своими руками создавал диктатуру Юденича, считал, что «устраивать власть на основах партийной коалиции в период анархии и революции — это государственное преступление». Поэтому он отказался войти в состав созданного англичанами кабинета.

В Финляндии Карташев организовал «Отделение русского национально-государственного объединения (блока) для Северо-Западного фронта». Программа блока сводилась к непримиримой борьбе с большевизмом, признанию военной диктатуры как единственного пути восстановления порядка до Учредительного собрания. Финляндия готова была помогать Белой армии Юденича, но лишь при условии, что она получит полную гарантию политической и экономической независимости в будущем. Кадеты из окружения Юденича считали, что такую гарантию дать необходимо, но шли на это как на большую и несправедливую жертву. Карташев писал Пепеляеву, что купить помощь Финляндии «можно будет лишь ценой невероятно тяжелых уступок, мучительных для национального сознания и нашей совести. И в этом для нас заключается необычайный драматизм нашего положения. С одной стороны, избавление Петрограда и Севера, с другой — ужас согласия на дневной грабеж самых коренных прав России». Но выхода не было, и осенью 1919 года А. В. Карташев и его коллега по антибольшевистской борьбе В. Д. Кузьмин-Караваев опубликовали в Гельсингфорсе заявление, что не сомневаются в благоприятном решении финского вопроса Учредительным собранием.

После провала Белого движения на Северо-Западе России Карташев перебрался в Крым к генералу П. Н. Врангелю. Соратник Карташева, П. Б. Струве, был начальни-

ком управления иностранных дел при Врангеле. Однако Врангель не хотел официально опираться на кадетов, и большинство из них оставались в Крыму как частные лица, не занимая официальных постов. Сам Карташев заведовал отделом просвещения и исповеданий в Южно-Русском правительстве Врангеля.

В ноябре 1920 года после крымской катастрофы армии Врангеля А. В. Карташев уехал в Париж. Он принял активное участие в работе кадетской партии в эмиграции, участвовал в различных совещаниях, проводимых вождями антибольшевизма в Париже и Белграде, восстановил прежние масонские связи. В январе 1921 года в Париже русские масоны создали благотворительный комитет «Добрый Самаритянин». Деятельность комитета не ограничивалась исключительно масонством, но одновременно являлась «прикрытием» для Предварительного комитета по разработке плана учреждения русских лож в Париже. Одним из вице-президентов комитета был соратник Карташева по Политическому центру Е. И. Кедрин. Неудивительно, что Карташев стал и одним из вдохновителей и руководителей Комитета помощи русским писателям и ученым во Франции. Созданный по инициативе масонов комитет уже в середине 1920-х годов превратился во влиятельную общественную организацию, деятельность которой выходила далеко за рамки братства вольных каменщиков.

После поражения армии Врангеля за рубежом стали предприниматься попытки организовать русскую эмиграцию. Активную деятельность в этом направлении развернул известный общественный деятель В. Л. Бурцев. Под эгидой газеты «Общее дело» он учредил организационный комитет по подготовке представительного национального съезда русской диаспоры. А. В. Карташев активно помогал Бурцеву в подготовке съезда. Существенную роль сыграли и масонские круги. Так, членами организационного комитета были видные масонские идеологи В. Д. Кузьмин-Караваев (соратник Карташева по Политическому совещанию при Юдениче), Ю. Ф. Семенов, Д. С. Пасманик и другие. По словам Карташева, организаторы съезда сторонились как левых течений в эмиграции (поскольку не ждали от советского режима никакой спонтанной эволюции), так и правых, ибо не желали предвосхищать форму правления, которая должна будет утвердиться после краха большевизма. Их взгляды представляли собой сочетание «непримиренчества» и «непредрешенства».

Национальный съезд русской эмиграции открылся 5 июня 1921 года в Париже. А. В. Карташев являлся председателем президиума съезда. Из различных политических течений наиболее широко была представлена кадетская партия под политическим руководством правого кадета В. Д. Набокова. Идейным лидером съезда был П. Б. Струве. Открывая съезд, А. В. Карташев заявил, что его целью является сплочение всех антибольшевистских организаций и партий и создание органа, который сможет выступать от имени подлинной России, отстаивать ее интересы и честь, а также координировать борьбу с коммунистическим режимом. Антон Владимирович говорил, что воля русского народа во время революции была «больная воля», воля нездорового народа. Поэтому необходимо перевести эту волю из патологического в культурное состояние, и это благая цель для эмиграции. Участники съезда обсуждали различные аспекты жизни в Советской России и проблемы, с которыми страна может столкнуться в будущем. Большинство выступавших высказывали конституционные и демократические идеи, но было и немало ораторов консервативно-монархического толка. В принятых резолюциях съезд высказался в пользу конституционной монархии, гарантирующей равные права всем гражданам.

Важнейшим практическим достижением съезда стало образование «Национального комитета», который позже выполнял функции главного исполнительного органа несоциалистической и немонархической части эмиграции. А. В. Карташев стал председателем «Национального комитета» из семидесяти четырех человек, в котором

объединились правые кадеты во главе с В. Д. Набоковым, некоторые социалисты, беспартийные центристы и представители консервативно-монархической эмиграции. Среди членов комитета были такие известные деятели культуры, как Бунин и Куприн. Главной целью комитет ставил продолжение борьбы против Советской республики всеми способами, и прежде всего вооруженным путем. Платформа «Национального комитета» подверглась критике за расплывчатость как слева, так и справа. Так, П. Н. Миллюков говорил, что если бы деятелям из «Национального комитета» удалось захватить власть, то у народа было бы еще меньше свободы, чем при Николае II. Несмотря на большую известность, существенной роли в политике «Национальный комитет» не сыграл.

В те годы А. В. Карташев не раз высказывался о задачах кадетской партии. Так, на заседании Белградской группы Партии народной свободы 5 сентября 1921 года он говорил: «Крестьянская масса находится в догосударственном состоянии; это обросшая травой болотная кочка, которая во всякий момент может предать. Маятник еще не остановился на левой точке. Маятник еще долго будет качаться. Как справиться с этой стихией? Нужно усвоить органические импульсы стихии. Затем появятся другие волны, националистические, и явятся другие демагоги, не нашего типа. Нам придется бороться и с этой стихией. Те, кто разбивал святыни, будут заставлять им кланяться. Мы стоим на границе необходимости выработать то, что соответствует народным требованиям. Мы должны идти не враждебно, с органическим мировоззрением, мы должны создавать национальное государство на принципах: национальность и собственность».

В эмиграции А. В. Карташев принимал активное участие в полемической борьбе и различного рода дискуссиях. Некоторые эмигрантские круги стали обвинять Русскую православную церковь и ее видных представителей в антисемитизме. А. В. Карташев на страницах «Еврейской трибуны» выступил в защиту русской Церкви. Он писал: «Церкви всегда были глубоким культурообразующим фактором в чеканке национальных типов и государственных организмов... Русская церковь никогда не была антисемитской».

После поражения Белого движения в кадетской партии выявились различные точки зрения на тактическую линию партии. П. Н. Миллюков предложил «новую тактику», суть которой заключалась в отказе от вооруженной борьбы с советской властью в надежде на разложение большевизма изнутри. Миллюков предлагал строить единый антибольшевистский фронт на основе соглашения с эсерами. А. В. Карташев «новую тактику» не принял. Например, на заседании парижской группы кадетской партии 3 ноября 1921 года он говорил: «Надо признать, что без вооруженной борьбы большевиков не выгнать. Надо вернуться к этой идеологии. Что касается эмиграции, то это все же единственная свободная сила. Ее ждут в России. Россия только и бредит об интервенции, там только на нее вся надежда».

Подобные идеи в начале 20-х годов уже не соответствовали изменившейся обстановке и взглядам многих эмигрантов. Так, в воспоминаниях Д. Мейснера говорится о том, как воспринимались идеи продолжения вооруженной борьбы: «До сих пор помню, как я был ошарашен, когда, приехав в Софию, на большом политическом собрании услышал доклад одного из руководителей правого крыла кадетов А. В. Карташева, говорившего сказки и небылицы о Белом движении. У Карташева была все та же линия — продолжающегося „кубанского похода“. Этот ученый человек говорил перед тысячной аудиторией внимательно слушавших русских беженцев, растерянных, дезориентированных, несчастных, ищущих объяснения случившейся катастрофе. Карташев ораторствовал, закрыв глаза, в данном случае в прямом смысле этого слова — такова была его манера публично выступать. Но глаза его были крепко сомкнуты

и в переносном смысле, иначе он не мог бы так беззастенчиво исказить истину. Карташев говорил о долге политических руководителей эмиграции поддержать своим авторитетом белую армию, потерявшую после своего поражения всякое значение. Он хотел быть одним из ее идеологов. Таким было содержание этого выступления, поразившего меня тогда полной оторванностью от действительности и элементарной правды...»

К середине 1920-х годов А. В. Карташев понял, что продолжать вооруженную борьбу с большевиками бесперспективно. Он объяснял это тем, что «психика масс выше механической силы оружия», что хотя воля народа «преступная, грешная», но это «реальная и решающая политическая сила». Карташев считал, что «народ бы проделал большевистскую революцию даже без Ленина и большевиков — был бы тогда только на месте их Махно или еще кто-нибудь». Именно поэтому Белое движение не смогло победить, и до тех пор, пока не изменится эта воля народа, демократия не сможет победить. Поэтому он призывал отбросить идеи «реставраторства силой». «Просто кулак — это ничто, — говорил он. — Без творческой силы нечего браться за борьбу с большевизмом. Славный ход Белого движения бесславно замрет в песках эмиграции; бесплодно погибнут доблести генерала Кутепова, таланты генерала Врангеля, бескорыстные благородство и мудрость великого князя Николая Николаевича, если короста реставраторства не будет отброшена ими... Россия может быть только демократией по существу». А. В. Карташев неоднократно подчеркивал: «Мы за освобождение воли народа и за свободное устройство России по воле народной».

В то же время даже через много лет после окончания Гражданской войны А. В. Карташев призывал к непримиримой борьбе с большевизмом. В 1949 году, когда советский строй уже существенно изменился и многие русские эмигранты стали относиться к СССР совсем по-другому, он писал, что «большевизм не просто политическая партия, течение, — это тонкое духовное явление. Это „растление совести“, и рано или поздно выздоравливающий народ следует всячески лечить демократией от этого растления духа». Большое значение в процессе выздоровления народа Карташев отводил Русской православной церкви, имея в виду ее традиционное стремление (в лучших проявлениях) к исполнению евангельских идеалов, к принципам справедливости, добра, соборности.

В середине 1920-х годов Антон Владимирович постепенно отходит от политики и все больше занимается научной и церковной деятельностью. Он становится членом епархиального совета Русского экзархата Вселенского престола, участвует в съездах Русского студенческого христианского движения (РСХД), является одним из основателей Свято-Сергиевского богословского института в Париже. Но подлинную известность ему принесли блестящие работы по истории Церкви. Многогранная научная деятельность А. В. Карташева со временем полностью заслонила его политическую роль, и он стал совершенно справедливо восприниматься прежде всего как выдающийся ученый. Скончался А. В. Карташев в Париже 10 сентября 1960 года.

БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ БАХМЕТЕВ: *«Составлять как можно меньше законов и возможно меньше регулировать жизнь...»*

Олег Будницкий

Собственность, народоправство, демократизм, децентрализация и патриотизм — вот идеи, «около которых уже выкристаллизовывается мировоззрение будущей России», — писал в начале 1920-х годов посол демократической России в Вашингтоне Борис Александрович Бахметев (1880–1951). Основой экономической жизни, считал он, должны быть «частная инициатива, энергия и капитал»: «К покровительству им, к охране их приспособится весь правовой и государственный аппарат; в помощи частной инициативе будет заключаться главная функция правительства».

Б. А. Бахметев был сторонником «самосокращения» государства. Он делал ставку на личную инициативу и предприимчивость людей: «Следует прежде всего поставить себе за правило составлять как можно меньше законов и возможно меньше регулировать жизнь». Поразительно, что эти идеи, которые активно обсуждаются современными российскими политиками, были сформулированы Бахметевым восемьдесят лет тому назад.

Б. А. Бахметев родился в Тифлисе, в семье инженера и крупного предпринимателя. Его отец был из категории тех людей, которых американцы называют «self made man» — «сделавший себя сам». В 1898 году Бахметев закончил с золотой медалью 1-ю Тифлискую гимназию (кроме гимназического курса он занимался дома языками — французским, английским и немецким, а также музыкой) и в том же году поступил в Институт путей сообщения в Петербурге. Специальность инженера была одной из наиболее престижных в России того времени, экзамены были очень трудными, а конкурсы — высокими.

Очень быстро Бахметев вошел в политику. «Мы покидали наши родные города политически наивными, — вспоминал он более полувека спустя. — Однако в атмосфере университета, проникнутой политическими ожиданиями и размышлениями, вскоре становились революционерами по духу, а иногда — и по делам». Юный провинциал, каким был Бахметев в то время, быстро прошел путь от политической невинности до участия в студенческом комитете в качестве представителя своего учебного заведения. Вспоминая настроения студенческой среды, ставший со временем убежденным либералом Бахметев говорил о том, что все хотели свободы, конституции, освобождения от власти самодержавия, ответственного правительства. «На самом деле, в то время люди, даже называвшие себя социалистами, — некоторые из них марксистами („Я принадлежал к марксистскому направлению. Не знаю почему“, — добавлял Бахметев. — О. Б.) были далеки от сегодняшних социалистических программ... Они говорили о социализме совершенно абстрактно. Любой социалист тех дней сказал бы, что для начала надо завоевать политическую свободу и затем предоставить людям возможность решать самим».

Вспоминая о своих студенческих днях, бывший социал-демократ говорил, что марксистские взгляды, которых он тогда придерживался, очень отличались от позд-

нейшей коммунистической интерпретации Маркса. «Мои идеи более или менее совпадали со взглядами умеренной европейской социал-демократии. Прежде всего, они были абсолютно демократическими. Я считал, что любые социальные реформы и изменения должны быть проведены в жизнь демократическим путем. Важнейшей вещью была политическая свобода, и это было убеждение социал-демократии по всему миру... Я не верю в социал-демократические идеи теперь, но в те дни, когда я был юным, верил. Но это то же самое... Я верю сейчас, что гуманитарные цели и либеральные цели могут быть достигнуты лучше другими средствами, но в те дни важнейшей вещью была политическая свобода, конституционное правительство, всеобщее избирательное право, которое должно было дать право голоса всем, и затем люди могли бы выразить свою волю для таких социальных изменений, которые были необходимы».

После окончания института Бахметев был направлен на два года за границу для подготовки к преподавательской деятельности в основанном С. Ю. Витте Политехническом институте. По поручению Витте были отобраны способные молодые выпускники различных университетов, которые должны были, по его замыслу, изучить постановку дела за рубежом и привнести в новый институт современный дух. Бахметев готовился к преподаванию по кафедре гидравлики; он провел год в Швейцарии, где в цюрихском Политехникуме изучал гидравлику, затем год в Америке изучал методы инженерной работы в США и работал на постройке канала Эри.

Параллельно развивалась и его политическая карьера. Ее вершиной на том этапе стало избрание в члены ЦК РСДРП на IV съезде партии, от меньшевиков. Он даже участвовал в партийном суде над Лениным по поводу написанной тем оскорбительной для своих товарищей по партии брошюры. Однако Бахметев постепенно начинает отходить от политики такого рода. Он увлекся профессиональной деятельностью.

С 1 сентября 1905 года Бахметев приступил к работе на кафедре гидравлики Политехнического института. Со временем он начал преподавать курсы гидравлики, гидроэнергетики, теоретической и прикладной механики, а также иностранные языки на электромеханическом и кораблестроительном отделениях. В 1911 году Бахметев защитил докторскую диссертацию; в мае 1912 года ему было присвоено звание адъюнкта по кафедре прикладной механики Политехнического института, а 28 января 1913 года высочайшим приказом он был назначен профессором той же кафедры.

Однако Бахметев не был только теоретиком и преподавателем; он организовал частную контору, которая занималась разработкой технических проектов как по заказам правительства, так и частных компаний. Бахметев привлек к работе не только русских, но также французских и швейцарских инженеров. Проекты, над которыми работала бахметевская контора, были достаточно масштабными. Он был увлечен практической деятельностью, которая должна была преобразовать Россию. По мнению Бахметева, эпоха III Думы (1907–1912) была временем бурного развития страны — это касалось народного образования, экономического и технического прогресса. В интервью американскому историку в 1950 году он говорил с явно чувствующейся досадой, что большинство технических достижений коммунистов — гидроэлектростанции, железные дороги и так далее — уходят своими корнями в эпоху III Думы.

Досада Бахметева объяснялась тем, что он стоял у истоков многих проектов, завершенных уже при советской власти и объявленных ею целиком своим достижением. Причем завершенных во многом не так, как мыслилось Бахметеву. В свое время он был, например, главным инженером большой компании, планировавшей построить гидроэлектростанцию на Днепре. Этот первый большой проект Бахметева был претворен в жизнь коммунистами; название этой гидроэлектростанции известно всем — Днепрогэс. Однако при проектировании Днепростроя Бахметев не шел так далеко, как большевики: он считал невозможным переселять деревни, затоплять кладбища и тому

подобное. Сравнивая свой и большевистский проекты с экономической точки зрения, Бахметев говорил, что его проект стоил около 17 миллионов рублей, а большевистский в сопоставимых ценах — 150 миллионов. Это результат неэффективного планирования и работы, считал он. Другая сторона проблемы — использование электроэнергии. Если Бахметев и его «команда» были озабочены продажей электроэнергии и их сдерживало отсутствие достаточной емкости рынка, то большевиков не очень волновали эти проблемы. В результате, по мнению Бахметева, энергия обходилась чересчур дорого для электрохимической и электрометаллургической промышленности.

Кроме Днепростроя, он был главным инженером при проектировании Волховстроя и еще одной гидроэлектростанции в Финляндии, которые должны были наряду с Днепростроем снабжать электроэнергией Петроградскую губернию. Проектирование и постройку всех этих гидроэлектростанций осуществили впоследствии в значительной степени ученики и помощники Бахметева. Принимал он также участие в разработке проекта по ирригации и орошению Средней Азии, в частности Голодной степи.

Эту бурную созидательную деятельность прервала Первая мировая война. По закону Бахметев, как профессор, призыву в армию не подлежал; он мог принести гораздо большую пользу стране на других поприщах. С начала войны он стал работать в Красном Кресте заместителем директора, а затем директором хирургического госпиталя, в который были преобразованы общежития Политехнического института. В сентябре 1915 года по предложению председателя Центрального военно-промышленного комитета А. И. Гучкова и председателя Государственной думы М. В. Родзянко Бахметев, как человек в совершенстве владеющий английским языком и бывавший в Америке раньше, был командирован в США — разобраться, почему происходят задержки с американскими поставками, и выправить ситуацию. В октябре 1915 года Бахметев уехал за океан. Вернулся он в Россию через год в связи со смертью отца.

Вскоре после Февральской революции, 9 марта 1917 года, Бахметев получил назначение на должность товарища министра промышленности и торговли Временного правительства при министре А. И. Коновалове (с оставлением в должности профессора Политехнического института). Ему непосредственно были поручены два департамента: один был связан с коммерческим и техническим образованием, другой — с портами и торговым флотом. К тому же Бахметев, как статс-секретарь министерства, замещал в случае необходимости министра на заседаниях правительства. Бахметев был увлечен своей работой. Занимался он ею, правда, недолго, лишь два месяца до своего нового назначения в Америку, но, как он говорил впоследствии, «я никогда не был так занят, я никогда не был так счастлив, я никогда не был так удовлетворен...».

Назначению Б. А. Бахметева послом Временного правительства в США предшествовала любопытная история. Работая заместителем министра, Бахметев столкнулся с проблемой режима рыболовства в восточных морях — по этому вопросу были большие разногласия с Японией. Бахметева заинтересовала общая политика Министерства иностранных дел по этой проблеме, однако никто из служащих министерства не мог ему дать вразумительного ответа на интересующий его вопрос. В конце концов, пришлось идти на прием к самому министру — П. Н. Милюкову. Милюков сказал Бахметеву, что весьма удивлен: это был первый случай, когда кто-то пришел к нему с конструктивным вопросом. Министр тоже не знал ответа на вопрос о режиме рыболовства, но посоветовал Бахметеву все же разыскать ответственного в министерстве и принять решение по собственному разумению. Милюков также сказал, что рад знакомству, в особенности потому, что слышал, что его собеседник был в Америке и хорошо там поработал. Тут же Бахметев получил неожиданное предложение вновь отправиться в Америку, теперь уже в качестве российского посла. Прежний посол,

однофамилец Бахметева, Георгий Петрович, подал в отставку. Русское посольство в США, по выражению Милюкова, «развалилось на куски». Между тем США только что вступили в войну, что переводило отношения с ними союзников по антигерманской коалиции на новый уровень.

Бахметев поначалу отнекивался, ссылаясь на свою молодость (ему было в тот момент 36 лет, что считалось довольно юным возрастом для посла) и неопытность. Милюков настаивал, подчеркивая, что в данном случае это не только дипломатическая, а правительственная миссия по организации военного сотрудничества и урегулированию экономических проблем. Россия остро нуждалась в получении новых займов. «У нас нет никого, кто знает Америку так хорошо», — убеждал министр. В июне 1917 года Бахметев прибыл в США. Как оказалось впоследствии — навсегда.

Бахметев действительно был тогда совершенно неопытным дипломатом, однако в той конкретной ситуации, в которой он оказался, дипломатический опыт старой школы мог скорее помешать, нежели помочь. Его бесспорным преимуществом было неплохое знание Америки, американских политических нравов и обычаев. Бахметев представлял разительный контраст со своим предшественником и однофамильцем. Первое, что бросается в глаза в его дипломатической деятельности, — публичность, стремление воздействовать на американское общественное мнение, поразительная активность.

С огромным успехом прошли его выступления в конгрессе и сенате США. «Надо понять, что прошло время, когда судьбы народов могли решаться безответственным правительством или немногими личностями, и что люди должны проливать свою кровь за неизвестные им цели, — говорил Бахметев в сенате. — Мы живем в демократическую эпоху, когда люди, жертвующие своими жизнями, должны полностью осознавать причины и принципы, во имя которых они сражаются». «Миролюбивый по натуре, стремящийся к прочному миру, основанному на демократических принципах и установленному волей демократии, — завершил свою речь Бахметев, — русский народ и его армия объединяют свои силы вокруг знамен свободы, крепят свои ряды в бодром сознании: умереть, но не быть рабами. Россия хочет, чтобы мир был безопасен для демократии. Сделать его безопасным означает предоставить демократии управлять миром».

Бахметев был действительно дипломатом нового типа, хорошо понимавшим менталитет и особенности политической культуры Америки. Он предпринял беспрецедентное в истории русской дипломатии пропагандистское турне по стране; с июня по ноябрь 1917 года Бахметев выступал не менее 26 раз на различных митингах, собраниях, банкетах. Помимо Вашингтона и Нью-Йорка, где были сосредоточены его основные политические и экономические интересы, Бахметев выступал в Чикаго, Бостоне, Саратоге, Атлантик-Сити, Олбани, Филадельфии, Балтиморе, Мемфисе.

Ему удалось также установить доверительные личные отношения с высшими чиновниками Госдепартамента, которые отвечали за российское направление, а также с ближайшим сотрудником президента Вильсона и его советником по внешнеполитическим вопросам полковником Эдвардом Хаузом. Бахметев ездил к полковнику в его имение Магнолия в штате Массачусетс и произвел на него весьма благоприятное впечатление. Хаузу особенно понравилось, что Бахметев с сочувствием отнесся к его планам будущего мирного договора, заверив полковника, что «новая Россия будет бок о бок с Соединенными Штатами отстаивать подобную программу». Другой раз Хауз отметил в дневнике, что он и русский посол «говорят на одном языке». Имелись в виду, разумеется, твердые либеральные убеждения Бахметева.

Получив известие о большевистском перевороте, Бахметев направил американскому госсекретарю ноту, в которой «резко и бесповоротно» отделил посольство от

большевистской власти и заявил, что большевики не отражают истинных интересов русского народа. Он писал, что «считает долгом, поскольку обстоятельства позволяют, оставаться на посту, чтобы защищать интересы национальной России». Американское правительство по существу заняло такую же позицию и на протяжении последующих пяти лет признавало дипломатический статус Бахметева.

Б. А. Бахметев стал одной из наиболее влиятельных фигур среди русских дипломатических представителей за рубежом. Несомненно, советы и мнения Бахметева учитывались администрацией Соединенных Штатов при формировании своей российской политики. Это становится совершенно очевидным, если сравнить «служебные записки» и личную переписку российского посла с текстами некоторых нот американского Госдепартамента.

Еще в годы Гражданской войны завязалась переписка Бахметева с российским послом в Париже, одним из лидеров правого крыла партии кадетов, депутатом трех Государственных дум Василием Алексеевичем Маклаковым (1869–1957). Послы в Париже и Вашингтоне играли ключевую роль в деле дипломатического и финансового обеспечения антибольшевистского движения. Их переписка, начавшись на деловой почве, быстро переросла в дружескую и весьма откровенную. Она продолжалась почти тридцать три года, до смерти младшего из корреспондентов. В центре напряженного диалога послов — поиск пути, который может вывести Россию из тупика, в котором она оказалась. Это настоящий «интеллектуальный роман», к счастью практически полностью сохранившийся в личном фонде Маклакова, находящемся в архиве Гуверовского института войны, революции и мира в Стэнфордском университете (Калифорния). В этом году автором этих строк завершена полная публикация этой уникальной переписки. Она составила три увесистых тома общим объемом более 1800 страниц («Совершенно лично и доверительно!» Б. А. Бахметев и В. А. Маклаков. Переписка 1919–1951»).

Уже в январе 1920 года Бахметев пришел к выводу, что главная причина неудачи антибольшевистского движения — отсутствие идеологии, которую можно было бы противопоставить большевистской пропаганде. Он считал необходимым выработать программу, которая наметила бы разрешение аграрного вопроса, вопроса о национальностях и децентрализации, и эту программу «сделать платформой национально-демократического возрождения России».

Бахметев подчеркивал, что в этой программе «абсолютно никаких уступок большевизму быть не должно». Она должна быть построена целиком на идее народоправства, на принципе собственности и включать чисто практические, а не отвлеченные положения. Самым большим вопросом в России Бахметев считал проблему сохранения единства страны при учете в то же время интересов национальностей и местных образований, входящих в ее состав. Он советовал не поднимать вопроса «о хвосте и собаке», не заниматься разбирательством, «кто кого создает и кто кого признает»: «Признайте как факт, из которого все исходит, что существуют местные права и существует единая Россия; единая Россия, которая признает местные образования и местные права, которые признают единую Россию. То же самое и по отношению к национальностям — национальные образования считают себя частью единой России, а единая Россия признает за ними известную совокупность автономных прав». В будущем строительстве России, считал Бахметев, «принцип децентрализации должен быть применен на самых широких основаниях с самого начала».

Проведение в жизнь принципа децентрализации и местного самоуправления особенно волновал Бахметева. Он считал, что процесс восстановления России пойдет снизу — «на местах утрясутся скорее». Центральная власть должна свести свое вмешательство в жизнь к минимуму: «Нужно предоставить как можно больше местным

управлениям. Пусть они будут временно негодны; пусть будет воровство и взяточничество; пусть они будут безграмотны, но пусть они управляются сами собой и на практике искусятся в искусстве управления. Хорошо управлять в России все равно нельзя — по крайней мере, долгое время, и незачем центральной власти брать на себя ответственность...»

Переходя к социально-экономическим вопросам, Бахметев указывал, что Россия «должна быть крестьянско-купеческой». Развитие страны будет связано, с одной стороны, с укреплением и развитием крестьянского землевладения, с другой — промышленности и торговли «на самых ярких капиталистических началах». Для развития второго «нужно только не мешать», подчеркивал Бахметев, и отказаться от какого бы то ни было вмешательства государства в чисто экономические отношения: «Предоставьте всем и каждому обогащаться и наживаться». Государство должно гарантировать невмешательство в дела предпринимателей, если они соблюдают установленные законы, и «заставить поверить банкира, промышленника и торговца, что его инициатива и его риск не пропадут даром и не будут в свое время эскамотированы завистливым чиновником». Остается признать, что опасения Бахметева, высказанные в начале 1920 года, полностью оправдались в России 1990-х годов.

Бахметев точно определил и другие опасности, с которыми столкнется новая Россия после краха большевизма. Это в числе прочего разочарование в демократических ценностях: «Учредительное Собрание, которое соберется на пустом месте, дискредитирует себя и потонет в бездне болтовни... Нельзя же в самом деле думать, что можно собрать 500 или 600 людей и заставить их с какой-либо долей плодотворности выдумывать из головы или даже обсуждать составленные какими-то умниками программы и положения», — предсказывал Бахметев в январе 1920 года будущую печальную участь российского Верховного Совета. Он как будто предвидел «перестройку» за 65 лет до ее начала и еще тогда указал на причину ее неудачи: «Кризис заключается в бесплодности использовать обрывки капиталистической экономики для укрепления социалистического здания».

С точки зрения Бахметева, главную опасность для постбольшевистской России будет представлять великодержавная психология: «Несомненно, что признаки российского великодержавия, осуществляемого даже большевиками, будут льстить известного рода национальным самолюбиям. Само собой разумеется, вместе с падением большевизма рассыплется в прах мираж великодержавия, а между тем и для России самой, и для мировой цивилизации затяжка кризиса может иметь огромные последствия. Вот почему я считаю необходимым объявить самую беспощадную борьбу тому шовинизму, который мог бы увлечься призраком великодержавия. Это все то же, что в просторечии русской военщины называется „кому-то что-то показать“ и „кому-то набить морду“» (2 декабря 1920 года).

Опасения Маклакова, высказанные им по отношению к нэповской России, также кажутся сошедшими со страниц свежей газеты: «Там началось не серьезное производство работы, при которой и рабочий, и собственник, и тот, кто у них покупает, почувствовали связь их интересов, а исключительно спекуляция и нелепое и неприличное проживание даром заработанных денег. Когда смотришь на то, что там делается в области работы и торговли, то невольно боишься, что через скорый промежуток времени собственность и капитал, на которые пока возлагаются такие надежды, покажут себя в таком отвратительном виде, что это вызовет новый и на этот раз гораздо более обдуманный и серьезный прилив ненависти к капиталу и буржуазии» (4 марта 1922 года).

Бахметев более спокойно относился к периоду «хищнического капитализма», считая его неизбежным: «Впереди — огромные возможности. Но если мы не дерзнем и снова окажемся позади, то поле останется безраздельно за большевиками. Что же

дальше? Троглодитный период? Я думаю, что при всяких обстоятельствах в результате придут Колупаевы и Разуваевы и что их-то правительство и будет началом прочного благосостояния и процветания» (23 марта 1922 года).

Несомненно, что на Бахметева заметное влияние оказала американская система ценностей и американский образ жизни; точнее, несколько идеализированные представления о нем. Обозначив в одном из писем искомую Новую Россию как Россию буржуазную, а ее новую идеологию как буржуазное самосознание, Бахметев подчеркнул, что имеет в виду американский вариант капитализма. Бахметев ссылаясь на разговоры с Гербертом Гувером, будущим президентом США, который как-то раз сказал ему, что капитализм европейский и американский — две совершенно различные вещи, что в Америке нет того капитализма, который описан Марксом, и что если в основе капитализма европейского лежит идея эксплуатации, то в основе американского — идея «*equal opportunities*», равных возможностей.

Отсутствие жестких социальных перегородок внутри общества, возможность перемещения «по вертикали» придают обществу стабильность. На человека, достигшего успеха, смотрят не с завистью, а с одобрением. Отсюда отсутствие классовой ненависти, породившей социализм. По наблюдениям Бахметева, в американском обществе «господствующим стимулом является соревнование. Основной тон жизни — стремление „*to climb*“ — восходить. Побуждение к подобному восхождению называется „*ambition*“; люди ценятся по тому, имеют ли они *ambition* или нет. Государство как таковое есть собственность народа, есть коллективный организм, охраняющий его свободу и „равенство возможностей“. В своей государственности американцы видят установление, охраняющее эту свободу, и потому господствующей психологией является не нигилизм, а лояльность государственному строю, преданность и готовность защищать установления, представляющие каждому стремиться и получать плоды своих стремлений».

Наблюдения над американской жизнью привели Бахметева к выводу, что возможен «прочный политический и социальный строй, основанный на действительном народовластии, и что власть народа не противоречит прочному консервативному социальному укладу» (23 марта 1922 года).

Записка, в которой были изложены основные положения новой идеологии, была составлена Бахметевым в сентябре 1922 года. Там он писал, что Россия уже «изжила остатки социалистической идеологии» и идея частной собственности будет лежать в основе будущего экономического строя. «Рыночные» идеи будут «не только отрицать коммунизм; они вызовут реакцию вообще против претензии государства руководить экономической жизнью». Народоправство придет не в результате победы одной власти над другой, а как результат «народного упорства в самостоятельном отстаивании своими силами своих непосредственных интересов и нужд»: «Народоправство поэтому будет впредь не привлекательной формулой политического идеала, а реальным фактором жизни, вне которого не будут мыслиться нормальные отношения населения ни к власти, ни к политическим партиям и вождям». Идея народоправства будет сочетаться с глубокой демократизацией страны, и принцип демократического равенства станет одновременно «фактом жизни и постулатом народного сознания».

«Децентрализация, — считал Бахметев, — всегда сопутствует самоуправлению». В самоуправлении же — ключ к возрождению России: «Нормальная жизнь будет строиться снизу силами самого населения». Однако децентрализация может создать угрозу единству России и привести к ее расчленению. Противоядием этому должно стать чувство патриотизма, которое «будет слагаться из многих и эмоциональных и материальных факторов». К «эмоциональным факторам» Бахметев относил реакцию на интернационалистские увлечения, гордость за страну, которая оказалась в тяжелейшем

положении, но все-таки из него выкарабкалась, и даже «раздражение против иностранцев, которые не поддержали Россию, забыли про жертвы, которые она принесла на общее дело». Хотя последнее, предостерегал он, может принять форму «нежелательной ксенофобии».

Что же касается «материальных факторов» нового патриотического сознания, то они очевидны: «Когда за падением большевистской олигархии управление России станет делом ее населения, когда начнется ее выздоровление и оживление, экономическая зависимость частей России друг от друга, очевидная польза для каждой от тесного общения между собой, сознание выгоды, которая достанется на долю каждой от воссоединения их в великую державу, при полной безопасности от взаимного притеснения, воскресит и осмыслит патриотизм единой великой России».

К сожалению, эта «Записка», составляющая целый этап в развитии российского либерализма и демократизма, так и осталась в бумагах Б. А. Бахметева.

Бахметев и Маклаков пристально следили за происходящим в России; они сразу же и совершенно точно определили значение тех процессов, которые начались в стране в конце 1927 — начале 1928 года, то есть кризиса нэпа и наступления советской власти на крестьянство. Бахметев, отмечая, что нэп себя изжил, сделал вывод, что суть происходящего коренится в политике, а не в экономике: установив господство «в главных областях народного хозяйства», «диктаторская власть не может чувствовать себя прочно и спокойно, поскольку главная отрасль хозяйственной жизни страны — земледелие — зависит в конечном счете от доброй воли многих миллионов индивидуальных крестьянских хозяев». Бахметев справедливо указал на «кризис хлебозаготовок» 1927 года как на исходный толчок к началу наступления на крестьянство.

У Сталина, заключил он, «хватило марксистской логики сделать выводы и признать, что советская власть должна иметь источник земледельческого производства в своих руках, источник, которым она могла бы распоряжаться и маневрируя которым власть будет таким же господином в области земледельческого производства и обмена, каким она является в области промышленной... Сталин ведет в течение нескольких месяцев практическую политику истребления кулака, применяя к нему все чрезвычайные меры военного коммунизма, а теоретически провозглашает совершенно... логическую с коммунистической точки зрения доктрину о необходимости, вместо кулака, иметь фабрики хлеба, то есть колхозы и совхозы, где в сфере правительственных распоряжений будет фабриковаться достаточное количество зерна, чтобы сделать власть независимой от капризов и настроений крестьянских масс» (16 августа 1928 года).

Бахметев считал, что 1930–1931 годы будут решающими для следующих десятилетий жизни России. Ему все более представлялось, что Россия идет к сельскохозяйственной катастрофе. Из чтения советской прессы и других источников он сделал вывод, что «в процессе уничтожения кулачества не только уничтожается наиболее ценный человеческий элемент, то есть наиболее индивидуальные и хозяйственные крестьяне, но равно разбазариваются материальные основы сельскохозяйственного производства, а именно мужицкий сельскохозяйственный инвентарь». «В результате, — предрекал Бахметев, — будет ли это в тридцатом или тридцать первом году... надо ожидать, что производственная анархия и голод проявятся в масштабе, перед которым двадцатый — двадцать первый годы будут игрушкой» (4 марта 1930 года). Это предсказание, увы, оказалось точным, за исключением разве того, что пик голода пришелся на 1933 год...

Бахметев надеялся на крушение коммунистической власти в схватке с крестьянством, однако допускал и другой вариант развития событий — победу, несмотря ни на что, большевизма. «К сожалению, — констатировал он, — я отдаю себе полный отчет

в пассивности и способности русского народа переносить все и вся. Эти ужасные свойства усугублены бедностью и одичанием, которые произошли в результате революционных событий. Россия, и без того пассивная, ослабела до последней меры, и возможно, что даже на фоне голода и земледельческой катастрофы она не сбросит стихийным порывом крепко организованную и решившуюся на все власть». Поэтому, полагал Бахметев, Сталин имеет шансы реализовать свой план государственной организации земледельческого производства: «Крестьянская нужда и страдания ему нипочем, лишь бы достаточно было хлеба, чтобы поддержать города, железные дороги и армию... И за счет резкого сокращения крестьянского потребления подобный эксперимент, при известных условиях, осуществить возможно. Конечно, это значит гибель скота, снова резкое увеличение детской смертности и все другие вещи, но, повторяю, с точки зрения политических задач коммунистической власти эти обстоятельства второстепенные... В этом случае последний самостоятельный, единственный фактор, который во всей большевистской эпопее был непобедим, — крестьянство — окажется уничтоженным. Другими словами, господство большевиков над русской землей станет полным и не ограниченным ничем. Сколько лет тогда продолжится диктатура большевиков, никто сказать не может» (4 марта 1930 года).

Худшее сбылось. Рассчитывать на возвращение в Россию больше не приходилось. После признания в 1933 году Соединенными Штатами СССР Бахметев принял американское гражданство. Он довольно активно участвовал в американской политической жизни, вступил в Республиканскую партию и был даже делегатом съезда республиканцев штата Коннектикут, где у него было что-то вроде имения.

К тому времени он сделал блестящую карьеру для эмигранта. После отставки с должности посла в 1922 году Бахметев поселился в Нью-Йорке, где открыл консультационное агентство по вопросам инженерного дела и международных экономических отношений, преимущественно торговли. Однако дело не пошло. Тогда Бахметев переключился на предпринимательство в промышленной области. Вместе с группой компаньонов он приобрел по случаю оборудование небольшой спичечной фабрики. Бахметев и его партнеры основали спичечную компанию (Lion Match Factory) и развернули производство. Небольшое поначалу предприятие довольно быстро вошло в число четырех крупнейших спичечных фабрик США. Бахметеву его успех на предпринимательском поприще принес достаточные средства для того, чтобы вернуться к своей прежней профессии ученого-инженера. В 1931 году он стал профессором Колумбийского университета, где читал лекции по гидравлике, причем был согласен не получать жалованья в обмен на предоставление ему лаборатории для научных экспериментов. Стараниями Бахметева в Колумбийском университете был основан инженерный факультет.

Вообще, надо сказать, что инженерное дело традиционно понималось в Америке как сумма практических навыков; инженерная теория недооценивалась, что ставило США в зависимость от иностранных талантов. В качестве примера сочетания науки и технологии Бахметев указывал на Германию, которой такой подход обеспечил превосходство (по крайней мере, на начальных этапах) в двух мировых войнах. В конце концов Бахметеву удалось доказать необходимость сочетания науки и технологии, выделения инженерной теории в специальную отрасль. Он стал одним из учредителей Инженерного фонда, оказывающего поддержку исследованиям в области инженерного дела; коллеги избрали Бахметева председателем фонда (начал свою работу в 1945 году, был официально признан в 1950-м). Вернулся Бахметев и к исследовательской работе: его книги по гидравлике и механике стали в Америке классическими. К 70-летию Бахметева вышел большой сборник в его честь, написанный четырнадцатью выдающимися американскими учеными-гидравликами.

Однако все это вовсе не означало ухода Бахметева от русских дел и интересов. Он стал основателем и директором Фонда помощи русским студентам, а также Гуманитарного фонда, направляя на их нужды средства, заработанные в «спичечном бизнесе». «Бахметевский фонд» (фактически его делами по большей части занимался М. М. Карпович, бывший секретарь Российского посольства в Вашингтоне, а затем профессор русской истории Гарвардского университета и редактор «Нового журнала») оказал поддержку для подготовки различных работ Г. В. Вернадскому, Н. В. Валентинову-Вольскому, графу П. Н. Игнатьеву, А. Ф. Керенскому, Н. О. Лосскому, С. П. Мельгунову, С. Н. Прокоповичу, Г. П. Федотову. Оказывал помощь в связи с болезнью И. А. Бунину, А. Л. Толстой, финансировал издание нью-йоркского «Нового журнала», заменившего в известном смысле парижские «Современные записки», выделял средства русскому детскому дому и русской гимназии в Париже и тому подобное. Наконец, средства Бахметева пошли на поддержку ныне знаменитого Архива русской и восточноевропейской истории и культуры в Батлеровской библиотеке Колумбийского университета, более известного среди исследователей как «Бахметевский архив».

Б. А. Бахметев скоропостижно скончался от сердечного приступа 21 июля 1951 года, на 72-м году жизни, близ Нью-Йорка...

...Власть «большевистской олигархии» рухнула лишь через 70 лет после составления Бахметевым программы национально-демократического возрождения России и 40 лет спустя после смерти ее автора. Пришло ли время для ее реализации? Будет ли Россия демократической и процветающей, как мечтал об этом российский посол в Вашингтоне много лет назад? Ответ на эти вопросы не так однозначен, как казалось еще недавно. Возможно, послание Бориса Бахметева, дошедшее до нас только сейчас, окажется ко времени и поможет разобраться в том, «кто такие мы», как однажды написал первый посол демократической России, и чего же мы на самом деле хотим.

СЕМЕН ЛЮДВИГОВИЧ ФРАНК: «Существо человека лежит в его свободе...»

ВЛАДИМИР КАНТОР

Среди крупнейших русских мыслителей либерального направления первое место по праву занимает Семен Людвигович Франк (1877–1950), которого о. В. В. Зеньковский назвал самым оригинальным и значительным русским философом XX века. Американский ученый Ф. Буббайер пишет о Франке как об одном из величайших умов России, подчеркивая при этом, что «как философ он представлял собой русского европейца», а в области общественно-политического движения — выразил основные идеи «русской либеральной интеллигенции». Отечественные исследователи указывают на разработанную Франком «социальную концепцию демократического либерализма», «соборного либерализма» (И. Д. Осипов), «либерального консерватизма» (А. Казаков) и т.д. Либеральные идеи Франка стали складываться еще до первой русской революции, далее первая и вторая революции укрепили его в отрицании радикального пути и утверждении пути эволюционного.

Трудно вообразить себе жизнь, более насыщенную трагическими событиями — бедностью, смертельными угрозами, житейскими неудачами, долгим непечтанием главных трудов, замалчиванием и долгим непризнанием на Западе и в России, — чем жизнь Семена Франка.

Семен Людвигович Франк родился в Москве 16 января 1877 года на Пятницкой улице; вскоре его родители переехали на северный берег Москвы-реки, в Мясницкий околоток. Его отец, Людвиг Семенович Франк, во время Русско-турецкой войны 1877 года служил военным врачом, за что получил личное дворянство и орден Св. Станислава 3-й степени: в числе его заслуг называлось «оказание первой помощи раненым под огнем неприятеля». Людвиг Франк был единственным евреем, удостоенным такой награды за военную службу, не говоря уж о дворянском звании — почти невероятном для русского еврея. Семену дворянское звание отца давало известные преимущества при поступлении в университет, что было важно для человека, ограниченного «пятипроцентной квотой».

Когда мальчику было пять лет, его отец умер от лейкемии. Теперь главным авторитетом для него стал дед по матери, знаток Библии и Талмуда. Он познакомил внука с древнееврейским языком, приучив читать на нем Библию. Разумеется, как и положено молодым людям, к шестнадцати Семен годам утратил веру, но возврат к Богу (причем к православию, а не к иудаизму) прошел тем легче, что с детства он почти наизусть знал тексты Священного Писания. Вообще Франку легко давались языки, особенно хорошо знал он немецкий, с детства свободно говоря как на нем, так и на русском. В 1886 году мальчик, которому еще не исполнилось десяти лет, поступил в Лазаревский институт восточных языков; он проучился там около шести лет. А в 1891 году его мать вышла замуж за Василия Ивановича Зака — бывшего ссыльного народника, идеалиста и революционера. В 1892-м семья переехала в Ниж-

ний Новгород, где началось общественное воспитание подростка, оказавшегося свидетелем споров народников и первых марксистов. Вообще, Волга, как известно, дала чрезвычайно много радикальных мыслителей и деятелей. Под влиянием отчима Семен читал Михайловского, Писарева, Добролюбова, Лаврова и др. Он поступает в гимназию, но интерес к общественной борьбе не пропадает, и Франк оказывается в марксистских кружках, напряженно ища истину общественного бытия. Закончив гимназию, он возвращается в Москву и поступает на юридический факультет Московского университета. При этом активизируется пропагандистско-конспиративная деятельность юного марксиста среди рабочих (место его пропаганды — Сокольники, северный район Москвы).

Однако в 1896 году Франк порывает с этой деятельностью; после мучительных терзаний и объяснений с товарищами он уходит в науку и общественно-философскую публицистику. А в 1898 году знакомится с П. Б. Струве, который с начала 1900-х становится его ближайшим другом на всю жизнь. На два года Семен Людвигович уезжает в Берлин, где слушает неокантианца Георга Зиммеля, изучает труды Виндельбанда и Риккерта. Вернувшись в Москву, он в 1900 году публикует первую критическую в русской марксистской литературе книгу «Теория ценности Маркса и ее значение. Критический этюд». Марксистские ортодоксы уже тогда почувствовали во Франке реального противника. В своем «Дневнике» конца 1901 года он записывал: «Я имел честь быть обруганным и оплеванным самым великим инквизитором российского (да и европейского) ортодоксального марксизма Жоржем Плехановым. Он с пеной у рта, с наглыми инсинуациями и передержками обругал мою книгу. Итак, отлучение от православной церкви марксизма торжественно подтверждено: я уже давно мечтал об этом». Самый главный великий инквизитор (т.е. Ленин, по определению Ильи Эренбурга, одобренному и самим вождем) был еще не очень заметен. Их столкновение состоится позже. Пока же, отойдя от ортодоксального марксизма, Франк пытается противопоставить русскому радикализму либеральные ценности.

В журнале «Новый путь» за 1904 год (№ 11) Франк опубликовал статью «Государство и личность (По поводу 40-летия судебных уставов Александра II)». В ней написано: «Никакое счастье, никакое прочное устройство жизни невозможно при порабощении личности, этого творца всякого общественного прогресса, и, с другой стороны, никакое развитие личной духовной жизни невозможно на почве неустройства внешней, материальной жизни, на почве обездоленности народа. Несмотря на это, как в нравственной жизни отдельной личности, так и в политике общества, оба указанных начала нередко вступают в коллизию между собой, и одно из них приносится в жертву другому». Основные отстаиваемые Франком ценности — это классические либеральные ценности: свобода личности, общества и чувство человеческого достоинства, которое нельзя подчинять никакой внешней доктрине. Тем не менее он вполне отдает себе отчет в необходимости социальных преобразований, призванных преодолеть «обездоленность народа». Но решает ли этот вопрос радикальный нигилизм? Здесь у Франка возникают большие сомнения, ибо обездоленность преодолевается через полноту жизни, а не через запреты духовных интересов. Свою общественно-нравственную позицию, направленную против утилитарной этики русских народников и марксистов, он в 1903 году определил в письме к П. Струве: «Русская национально-историческая задача теперь — это осуществление европейских идеалов. Гегель бы сказал, что европейский „дух“ переселился в Россию и должен в ней себя проявить. Практически это сводится к тому, чтобы указать на неуместность того отрицательного отношения к истинным основам политического либерализма, которое у нас так в ходу». А после мартовских выборов в I Думу он писал о единстве народа и интеллигенции.

Революция 1905 года оказалась весьма серьезной корректировкой и уточнением его взглядов: она открыла путь к стоическому «христианскому реализму» как основе подлинного либерализма в европейской, прежде всего русской, культуре. Быть может, устойчивости его философской позиции послужил на редкость счастливый брак с Татьяной Барцевой, дочерью директора крупного пароходства в Саратове (они обвенчались в 1908 году). Влюбившись, Татьяна Сергеевна из православной стала лютеранкой, поскольку лютеране могли заключать браки с евреями, чего не разрешалось православным. Невеста была младше своего профессора на десять лет, но они прожили в любви и согласии сорок два года, до смерти Франка, пройдя вместе сквозь все исторические и социальные катастрофы. После его смерти вдова написала два удивительно трогательных мемуара «Наша любовь» и «Память сердца». В них она выговорила свое жизненное кредо: «Жестокая жизнь вне родины, всегда везде чужие, борьба за детей, вырастить нужно, научить чему-то, выпустить в жизнь не с пустыми руками. Нужно жить так, чтобы не отвлек отца их от самого важного в жизни его дела — дела мысли и творчества». Но это позже, пока же Франк — сравнительно молодой мыслитель, который обращает на себя все более заинтересованное внимание публики. Как попытка осмысления первой русской революции в 1909 году выходит сверхзнаменитый сборник «Вехи», вызвавший поток откликов. Статья Франка «Этика нигилизма» завершала сборник, как бы подводя итоги высказанного другими соумышленниками. (Вообще, давно замечено, что в сборниках или публикациях конференций читаются главным образом первые две статьи и последняя.) Что же в ней сказано?

Революция 1905 года побудила Франка к анализу метафизики ценностей русского радикализма. Самое интересное, что едва ли не единственный из авторов «Вех», он сумел понять моральный смысл русского нигилизма, который, казалось бы, даже по названию не должен иметь никакого представления о ценностях. При этом Франк, указав на этический пафос русской нигилистической интеллигенции, пытался предложить ей другие ценности, уводящие с гибельного пути, способного привести к катастрофе, самоотрицанию да и к физическому уничтожению. В своей веховской статье он писал: «Символ веры русского интеллигента есть *благо народа*, удовлетворение нужд „большинства“. Служение этой цели есть для него высшая и вообще единственная обязанность человека, а что сверх того — то от лукавого. Именно потому он не только просто отрицает или не приемлет иных ценностей — он даже прямо боится и ненавидит их... Деятельность, руководимая любовью к науке или искусству, жизнь, озаряемая религиозным светом в собственном смысле, т.е. общением с Богом, — все это отвлекает от служения народу, ослабляет или уничтожает моралистический энтузиазм и означает, с точки зрения интеллигентской веры, опасную погоню за призраками». Но именно эта установка и воспитала дьяволов, которые под предлогом принятия интеллигентской веры уничтожали все остальные ценности, а потом и саму интеллигенцию, ибо пришел нигилизм без этики, которому и интеллигентская вера была совсем не нужна.

Русский интеллигент, писал Франк, «хочет сделать народ богатым, но боится самого богатства как бремени и соблазна и верит, что все богатые — злы, а все бедные — хороши и добры; он стремится к „диктатуре пролетариата“, мечтает доставить власть народу и боится прикоснуться к власти, считает власть — злом и всех властвующих — насильниками». Поэтому Ленин и называл интеллигенцию «говном», что она боялась взять власть, а всех властителей считала злодеями, обрекая себя тем самым — парадоксальным образом — как бывших печальников за народ на уничтожение во имя народа под кличкой «враги народа».

Статью «Этика нигилизма» можно прочитать как предостережение русской интеллигенции. Чтобы уцелеть, полагал автор, она должна встать «перед величайшей

и важнейшей задачей пересмотра старых ценностей и творческого овладения новыми. ...На смену старой интеллигенции, быть может, грядет „интеллигенция“ новая, которая очистит это имя от накопившихся на нем исторических грехов, сохранив неприкосновенный благородный оттенок его значения». Но надо было пережить адский промежуток времени, чтобы чудом сохранившиеся остатки русской интеллигенции сумели оценить важность советов, содержащихся в «Вехах». Книги не учат.

В 1910 году Франку довелось откликнуться на теоретическую основу большевизма, книгу Ленина «Материализм и эмпириокритицизм». Он написал, что «более отвратительного сочетания отвлеченных понятий с бранными эпитетами трудно себе представить» и что любой разумный человек понимает: «эта манера отношения к философским проблемам свидетельствует о внутренней несостоятельности автора». Кто бы знал, что этот человек будет вскоре определять судьбу России, ее населения, в том числе и самого Франка! А еще из судьбоносных событий его жизни надо назвать обращение в православие в 1912 году. Речь, конечно же, не о карьерном принятии господствующей религии. Семен Людвигович христианином себя чувствовал давно. Очевидно, живя в России, он принял ту форму христианского вероисповедания, которая не являлась каким-либо общественным или политическим демаршем, чтобы сохранить внутреннюю сосредоточенность на религиозных проблемах. Уже в эмиграции из его текстов станет понятно, что, по сути, он исповедует своего рода философское, надконфессиональное христианство, хотя в форме одной из конфессий.

В 1915 году на средства историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета Франк издает написанный им в первый год войны трактат «Предмет знания». По мнению исследователей его творчества, эта книга наряду с «Непостижимым» и «Светом во тьме» входит в великую триаду основных религиозно-философских сочинений мыслителя, сделавших его одной из центральных фигур европейской мысли XX столетия.

Но шла война; помимо обычных бед, связанных с любой войной, она привела к колоссальной геополитической катастрофе. Если говорить о России, то великая империя не просто рухнула — на ее развалинах установился невиданный в истории человечества тоталитарный строй. И дело не только в его чудовищной жестокости и полном презрении к человеческой жизни — такое бывало и во времена нашествий Аттилы или Тамерлана. Дело в полной смене ценностных ориентиров. Как писал Мераб Мамардашвили, при тоталитаризме у всех людей «образовался новый язык видения, действия стихии». «Слушайте музыку революции», — говорил Блок. После февраля 1917 года вслушивались в эту музыку с надеждой. Но Февральская революция оказалась лишь прелюдией к мощному звуковому удару, потрясшему мир. И не только в те десять дней Октября, о которых писал американец Джон Рид. Потрясение всего состава человеческой жизни длилось несколько десятилетий. Особенно тяжело этот удар перенесли те люди, которые понимали, что произошло.

Бытовая канва жизни Франка такова: после Февральской революции В. И. Вернадский, И. М. Гревс и министр просвещения С. Ф. Ольденбург пригласили его в Саратовский университет ординарным профессором возглавить историко-филологический факультет. В это время там работали известный германист В. М. Жирмунский, славист М. Р. Фасмер и молодой профессор истории Г. П. Федотов; почти все профессора этого университета впоследствии оказались в эмиграции. Франк прожил в Саратове с сентября 1917 года до осени 1921-го. Это были годы Гражданской войны, голода, тифа, продовольственных реквизиций. За Франком чекисты приходили несколько раз, но не заставляли дома. Приходили с вполне ясными намерениями, ибо в эти же дни они расстреляли и повесили несколько десятков интеллигентов.

В 1918 году Семен Людвигович получил от Струве письмо, в котором тот предлагал авторам «Вех» создать новый сборник, который осмыслил бы судьбу России в контексте революции. Сборник «Из глубины» (кстати, это заглавие является, по сути, переводом заглавия статьи Франка «De profundis», тоже заключающей собой этот том) написали и собрали в том же году. Однако публикация его в силу развернувшегося большевистского террора задержалась, и он был выпущен в свет только в 1921 году силами московских наборщиков типографии, самовольно распространивших его по городу. Далее Москвы он тогда не пошел, хотя впоследствии стал одним из наиболее цитируемых сборников русских мыслителей. Именно здесь Франк задал вопрос, мучивший многих русских либеральных мыслителей, и не только задал, но попытался найти на него ответ.

Вопрос этот напрашивался сам собой, однако требовалось интеллектуальное мужество, чтобы сформулировать его с такой прямоотой: «Бессилие либеральной партии, — писал Франк, — объединяющей, бесспорно, большинство наиболее культурных, просвещенных и талантливых русских людей, объясняют теперь часто ее государственной неопытностью». Но и Кромвель, и Робеспьер, и Ленин тоже не имели политического опыта. Это Франк видел ясно. И все же радикалы победили, а либералы проиграли. Почему? Ответ был очень резким: «Основная и конечная причина слабости нашей либеральной партии заключается в чисто духовном моменте: в отсутствии у нее самостоятельного и положительного *общественного мирозерцания* и в ее неспособности, в силу этого, возжечь тот политический *пафос*, который образует притягательную силу каждой крупной политической партии». Надо сказать, что именно Франк сумел в результате сформулировать религиозно-метафизическую основу либеральной позиции, но произошло это уже после Второй мировой войны. Он увидел эту необходимость и осознал ее как проблему русской мысли: «Организирующую силу имеют лишь великие положительные идеи — идеи, содержащие самостоятельное прозрение и зажигающие веру в свою самодовлеющую и первичную ценность. В русском же либерализме вера в ценность духовных начал нации, государства, права и свободы остается философски не уясненной и религиозно не вдохновленной». Задача, как понятно, не простая.

А пока он вернулся из Саратова в Москву, стал профессором в организованной Бердяевым Вольной академии духовной культуры, совместно с Бердяевым, Степуном и Букшпаном принял участие в знаменитом сборнике «Освальд Шпенглер и закат Европы» (1922). Именно этот сборник вызвал невероятное раздражение Ленина, назвавшего сугубо культурфилософское издание «прикрытием белогвардейской организации». Чтение именно этого сборника навело вождя пролетарской революции на мысль изгнать своих интеллектуальных оппонентов из Советской России. Что и было сделано с дьявольским издевательством над лучшими умами России: их арестовали, посадили в камеры, откуда других людей уводили на казнь, а потом предложили выбор между изгнанием и расстрелом. Вот дело Франка, заключение ГПУ от 22 августа 1922 года: «С момента октябрьского переворота и до настоящего времени он не только не примирился с существующей в России в течение 5 лет Рабоче-Крестьянской властью, но ни на один момент не прекращал своей антисоветской деятельности, причем в момент внешних затруднений для РСФСР гражданин Франк свою контрреволюционную деятельность усиливал».

В тот же день у него была взята подписка следующего содержания: «Дана сия мною, гражданином Семеном Людвиговичем Франком, ГПУ в том, что обязуюсь не возвращаться на территорию РСФСР без разрешения Советской власти. Ст. 71 Уголовного кодекса РСФСР, карающая за самовольное возвращение в пределы РСФСР высшей мерой наказания, мне объявлена, в чем и подписуюсь. Москва, 22 августа 1922 года».

Татьяна Сергеевна Франк очень просто повествует о тех временах: «Были много раз на краю гибели и от тифа, и от безумия толпы — от зеленых, от красных. Могли быть повешены и тут, и там, могли быть брошены в тюрьму, но рука Провидения вывела нас из всех испытаний и вела нас все дальше и дальше. Арест, освобождение — наконец, свобода, мы за гранью бессовестной сатанинской власти». Но надо сказать, что Франк боялся эмиграции. В декабре 1917-го, словно предчувствуя высылку, он писал Гершензону: «Наши слабые интеллигентские души просто не приспособлены к восприятию мерзостей и ужасов в таком *библейском* масштабе и могут только впасть в обморочное оцепенение. И исхода нет, п.ч. нет больше родины. Западу мы не нужны, России тоже, п.ч. она сама не существует, оказалась ненужной выдумкой. Остается замкнуться в одиночестве стоического космополитизма, т.е. начать жить и дышать в безвоздушном пространстве». А в протоколе допроса содержится его ответ следователю о перспективах русской эмиграции за границей: «Эмиграция еще сохраняет свои умственные и духовные силы в условиях вынужденного бездействия и оторванности от родины, должна сосредоточиться на культурной подготовке себя к моменту, когда условия позволят ей снова работать на родине».

Но никакого примирения (даже ради России) он не искал, это была абсолютная бескомпромиссная позиция. Впрочем, судя по подписанному им протоколу, возврат в Россию означал путь на тот свет, означал смерть. Возникла экзистенциальная ситуация, из которой, как понятно, нет выхода. Точнее, выход один — пытаться ее преодолеть, причем не только бытовым образом, т.е. выживанием, но и сохранением своей сущности, несмотря на удары судьбы.

В Германии у Франка вышло в 1922 году «Введение в философию в сжатом изложении», в 1923-м — сборник статей «Живое знание». Затем немецкие издательства стали печатать его все менее охотно. В 1924 году его знаменитая книга «Крушение кумиров» появилась уже в американском издательстве «YMCA PRESS»; продолжение этой книги («Смысл жизни»), написанное в 1925 году, издано в 1926-м в Париже.

В 1930 году, тоже в Париже, вышла книга С. Л. Франка «Духовные основы общества» — ставшая своего рода «учебником обществоведения» для эмигрантской молодежи. Говоря о необходимости солидарности и соборности общественной жизни, автор вместе с тем отстаивает основную парадигму либерального мирозерцания — парадигму личности и свободы: «Существо человека лежит в его свободе, и вне свободы немислимо вообще человеческое общество. Какую бы роль в общественной жизни ни играл момент принуждения, внешнего давления на волю, в последнем итоге участником общества является все же личность. ...Самая суровая военная и государственная дисциплина может только регулировать и направлять общественное единство, а не творить его: его творит свободная воля». Франк очень много преподавал и писал для русской молодежи. Как вспоминал его сын, «с 1931 по 1933 год С. Л. читал лекции по-немецки в берлинском университете при кафедре славянской филологии по истории русской мысли и литературы. За 15 лет жизни в Германии С. Л. много разъезжал для чтения публичных лекций и по-русски, и по-немецки (немецким он владел в совершенстве). Бывал в Чехословакии, в Голландии, ездил в Италию, в Швейцарию, во Францию, на Балканы, в Прибалтику».

Жизнь была нелегкой; особенно страшно стало в Европе после прихода к власти Гитлера. Но и в этой ситуации Франк и его жена сохраняли абсолютную верность самим себе, не склоняясь перед обстоятельствами. Франка поразило то, какую поддержку немецкий народ оказал нацистам. Он видел в этом вульгаризацию культуры, «новое варварство», хотя и думал, что покидающие Германию евреи преувеличивают опасность. Однако почти сразу после установления нацистского режима Франка, как еврея, лишили права преподавать. Начался почти настоящий голод. В последней кварти-

ре в Берлине, которую семья снимала с 1933 по 1937 год, не имелось ни холодильника, ни горячей воды. В 1937-м Франк дважды вызывали в гестапо. Стоит подчеркнуть, что Татьяна Сергеевна была стоекски тверда — стоекски, но очень по-русски, в духе типичной преданной жены. Сама она пишет так: «В мире появился новый, небывалый, страшный по сравнению с властью на нашей родине, изувер-безумец Гитлер. ...И вот опять неравная страшная борьба, в которую я должна вступить, страх за самое дорогое в жизни давал нечеловеческие силы и изощренность в способах спасения. Угроза гибели только за то, что родился в народе Его и стал Его учеником, — этого не могло вместить ни мое сердце, ни мой разум... Все отдать, но только не потерять его, спасти, и спасла». Самая серьезная проблема военных лет, когда жизнь стоила ровным счетом нуль, — не впасть в отчаяние. Франк рассматривал эти годы как очередное посланное ему интеллектуальное искушение.

В конце 1937-го они спешно уехали, скорее, бежали из Германии. Сам философ шуточно сказал дочери Наталье: «Главное в жизни — помнить, что жизнь — это путешествие». В 1938 году с помощью Бердяева Семен Людвигович получил вид на жительство во Франции и маленькую стипендию на два года от Национальной кассы научных исследований. Здесь он дорабатывал свой труд «Непостижимое», самим Франком написанный по-немецки — автору казалось, что немецкий язык даст ему как мыслителю более широкую аудиторию. Но на этом языке книга тогда так и не вышла. Семен Людвигович очень переживал эту издательскую неудачу, но тем не менее взялся сам переводить текст на русский язык. «Непостижимое» было опубликовано издательством «Дом книги и Современные записки» в авторском переводе на русском языке в Париже в 1939 году.

После падения Чехословакии все евреи по рекомендации французского правительства выехали из Парижа в провинцию. Франки сначала уехали в Нормандию, потом в Гренобль. Шла страшная жизнь; они переживали бесконечные облавы на евреев, жена прятала Франка на лесной горе,нося туда пищу и питье. Семен Людвигович говорил жене, что если она умрет раньше, то он умрет на ее могиле, как верная собака. Начиная с 1942 года Франки пытались выбраться в Англию. Однажды чудо едва не случилось: они купили билет в Лондон через Лиссабон, но португальская транзитная виза опоздала. И снова начались бедствия беженцев. По воспоминаниям Л. Бинсвангера, Франк «неоднократно повторял, что двух революций слишком много для одной жизни». Но именно в этих условиях он и создал свои основные труды, отвечая на вопрос, поставленный им еще в России. Более того, быть может, постоянное размышление над причинами, породившими апокалиптический взрыв в октябре 1917 года в России, позволило Франку в эпоху интеллектуальной растерянности западноевропейских философов сформулировать и развернуть принцип бытия человека на Земле, чтобы он мог осознанно и достойно быть хранителем света во тьме.

Летом 1945 года с помощью детей, уже перебравшихся в Лондон, Семен и Татьяна Франк переезжают на постоянное жительство в Великобританию, где последние пять лет мыслитель мог провести сравнительно уединенно, в непрестанном научном труде. Не без горькой иронии он заметил в одном из писем: «Хватит уже всемирной истории в моей жизни». Но его работы этих лет ставили именно такую задачу: найти основу достойного существования человека, брошенного в эту самую всемирную историю.

Быть может, центральная его книга, написанная в этих страшнейших условиях, книга, в которой есть ответы на вопросы, заданные им когда-то самому себе и русской (да и европейской) культуре, — трактат «Свет во тьме» (1949). Это — *книга итогов*; внимательный читатель ясно разглядит в ней темы и сюжеты предыдущих работ мыслителя, иногда — почти цитаты (из «Крушения кумиров», «Смысла жизни», «Онтоло-

гического доказательства бытия Божьего», «Непостижимого» и др.). Знаменитая «Ересь утопизма» (1946) является, по сути, парафразой одной из частей этой книги. В предисловии автор замечает: «Предлагаемое сочинение было задумано еще до начала войны и первоначально написано в первый год войны, когда еще нельзя было предвидеть весь размер и все значение разнузданных ею демонических сил. Позднейшие события ни в чем не изменили моих мыслей, а скорее только укрепили и углубили их». Как почти всегда бывало с ним начиная с 1930-х годов, книга вышла спустя несколько лет после ее написания.

Бердяев как-то обронил фразу, что нынешнее время страшно своей возможностью исполнить любую утопию. Франк занимает позицию, близкую Достоевскому. *Исполнение утопии*, на его взгляд, *невозможно в принципе*, ибо реализация человеческого своеволия *перестроить весь мир до основания* ведет только к крови и страданиям, а светлая мечта о спасении и осчастливливании всех людей в этом случае превращается в мрачное прославление ненависти, жестокости, бесчеловечности как нормальных двигателей жизни. Дело в том, что попытка построить новый, идеальный мир натывается на реальное препятствие — существующий, нынешний, по мнению утопистов — несовершенный, мир. Утопия, переведенная из мечты в практику, наталкивается на необходимость «расчистить место», чтобы построить «новый мир», а для этого необходимо полностью уничтожить мир прежний, который вроде бы несовершенен в своей бытийственной основе. Значит, необходимо нечто, напоминающее Всемирный потоп, когда-то сотворенный Богом. Характерна строчка великого поэта русской революции Маяковского: «Мы разливом второго потопа // перемоем миров города!» («Наш марш»). *В результате потоп приходит, но нет ковчега спасения*. Как не раз подчеркивал Франк, трагизм, крушение упований, власть зла на земле, бессмысленность жизни не есть «своеобразие данной исторической эпохи», а «есть имманентное, вечное свойство *всякой* вообще человеческой жизни в ее эмпирическом течении и облике». Зло настолько органически пронизывает состав этого мира, его бытие, что попытка уничтожить зло может привести лишь к уничтожению мира. Более того, желание разрушить основу этого несовершенного мира означает, в свою очередь, «разнуздание в нем сил зла». Франк полагает поэтому, что любое усилие «осуществить „царство Божие“ или „рай“ на земле, в составе этого неизбежно несовершенного мира, с роковой неизбежностью вырождается в фактическое господство в мире *адских сил*».

Он разводит два принципа мирочувствия: признание «власти тьмы» в мире и пытающийся ее преодолеть насилем «демонический утопизм»: «В самом деле, убеждение во „власти тьмы“ имеет своим определяющим моментом отрицание *утопизма*, отрицание веры в осуществимость идеального состояния человеческой и мировой жизни. Напротив, воззрение, в основе которого лежит культ „тьмы“ и которое мы называли *демоническим утопизмом*... противоестественно, противоречиво сочетает отрицание силы добра, веру в силу темных начал именно со своеобразным *утопизмом*, т.е. с верой, что тьма есть творческая сила, которой дано осуществить идеальное состояние мирового и человеческого бытия».

Но поскольку утопическое своеволие так или иначе опирается на идею тьмы, то, на первый взгляд, существование человека в историческом потоке абсолютно безнадежно и бесперспективно. Не случайно в мире воцаряется, по Франку, «скорбное неверие», которое он считает «одним из самых характерных и трогательных явлений духовной жизни» своей эпохи. Глубоко и искренно чувствующий и думающий человек «разочаровался не только в суетной вере утопизма, но и вообще в осуществлении в мире высших ценностей; он пришел к убеждению, что добру и разуму не только не гарантирована победа в мире, а скорее даже предопределено поражение, ибо по общему правилу в мире торжествуют силы зла и безумия». Но Франк — *и в этом задача его*

книги — выстраивает своего рода религиозное оправдание истории, предпринимает попытку найти основу и, стало быть, возможность *достойного существования человека* в мире тьмы.

По существу, книга русского мыслителя явилась попыткой философского истолкования евангельской фразы: «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его» (Ин. 1:5). Как он сам утверждал, обращение к этой фразе было глубоко осознанным, ибо к восприятию и утверждению содержащейся в ней истины человеческое сердце приводила духовная проблематика эпохи. «Свет», пришедший в земную «тьму» и не загашенный земным мраком, — это Иисус Христос. Конечно, многие считают, замечал Франк, что дело Христа постигла неудача, но «дело Христово абсолютно удалось, ибо его удача совсем не измеряется „удачей в мире“ — Христос внес в мир вечный свет любви, который светит во тьме, и тьма не объяла его, — Христос с самого начала знал, что этот свет не будет „иметь удачи“ в мире, будет гоним, и хотел, чтобы он был гоним, потому что этот свет и светит только через страдание. ...И мы должны быть с Ним именно как с вечно гонимым и в *гонении* торжествовать величайшую и абсолютную *победу над всем миром*». В этой идее и состоит пафос грандиозного трактата. Эпоха торжества идеократических режимов говорила о, казалось бы, безусловном поражении даже слабых вариаций либеральных умонастроений. Но надо было быть достаточно чутким к движению времени и вместе с тем — истинным стойком, чтобы увидеть в густой тьме возможность света, который строит духовную свободу человека. Именно в христианстве Франк увидел духовный аналог устремлений современного либерализма, отстаивавшего человеческие честь и достоинство.

Когда-то невероятно глубоко увлекавшийся ницшеанскими идеями, переводивший его тексты на русский язык, Франк, пережив катастрофы XX века, попытался преодолеть антихристианство и мизантропию Ницше, который видел в человеке лишь мост к сверхчеловеку. И это не случайно. Преодолеть Ницше в известном смысле означало найти основу для противостояния большевизму и нацизму. Восприятие Ницше как тайного советника большевистского переворота, высказанное Степуном, по сути дела, являлось общим для русской эмиграции. Когда-то Соловьев в споре с автором «Заратустры» писал, что самое великое деяние для живого существа — преодоление смерти; такой человек был один, это — Христос, поэтому только его мы можем назвать сверхчеловеком; но и это название неточно, ибо он Богочеловек. Франк к этому добавляет, что христианство говорит о богосыновстве каждого человека.

Именно на этом соображении строит Франк свое кредо о достоинстве человека, столь униженного и забитого в страшные десятилетия XX века. В полемике с антихристианской установкой сильных личностей, выдвигая идею о Богосыновстве *каждого человека*, Франк утверждает не принижение людей, а их высшее, аристократическое достоинство. В книге «Свет во тьме» он писал: «Вопреки всем распространенным и в христианских, и в антихристианских кругах представлениям, благая весть возвещала не ничтожество и слабость человека, а его *вечное аристократическое достоинство*. Это достоинство человека — и при том *всякого* человека в первооснове его существа (вследствие чего этот аристократизм и становится основанием — и при том *единственным* правомерным основанием — „демократии“, т.е. *всеобщности* высшего достоинства человека, прирожденных прав *всех* людей) — определено его *родством с Богом*. ...Вся мораль христианства вытекает из этого нового аристократического самосознания человека; она несть, как думал Ницше (введенный в заблуждение историческим искажением христианской веры), „мораль рабов“, „восстание рабов в морали“; она вся целиком опирается, напротив, с одной стороны, на аристократический принцип *noblesse oblige* и, с другой стороны, на напряженное чувство *святыни* человека, как существа, имеющего богочеловеческую основу».

Почему Франку это важно? Потому что дает основу для либерализма и демократии, для тех завоеваний человеческой цивилизации, которые он считал результатом христианизации мира. Здесь мы подходим к его пониманию «христианского реализма». Для Маркса христианство — «опиум народа»; Ницше называет христианство самой острой формой вражды к реальности, какая только до сих пор существовала. Напротив, Франк говорит о *христианском реализме*, который — в отличие от *чисто земного*, равнодушного к царящему в мире злу, — сознавая опасность утопизма, стремится к свободному совершенствованию жизни и отношений между людьми. Он полагает, что *гуманистическая вера в человека*, приведшая через «профанный гуманизм» к отмене рабства, политической свободе и гарантии неприкосновенности личности, социальным и гуманитарным реформам, — «христианского происхождения».

А к концу книги эта мысль сформулирована совершенно отчетливо: «Именно теперь, в тяжкую эпоху сгущения тьмы над миром, когда основным нравственным достижениям европейской культуры грозит гибель, следует отчетливо осознать, что такие достижения, как, например, отмена рабства, отмена пытки, свобода мысли и веры, утверждение моногамной семьи и равноправия между полами, политическая неприкосновенность личности, судебные гарантии против произвола власти, равноправие всех людей вне различия классов и рас, признание принципа ответственности общества за судьбу его членов, — что все это суть достижения на пути христианизации жизни, приближения ее порядков к идеалу Христовой правды. То, что имеет вечную ценность в идеалах демократии и социализма — не как специфических социально-политических систем, а как начал свободы и равенства всех людей, святости личности в качестве „образа“ и „чада“ Божьего, и братской солидарной ответственности всех за судьбу всех, — есть именно осуществление неких порядков и признание неких обязанностей, косвенно и приближенно выражающих — сквозь зло и несовершенство мирового бытия, и в производном плане закона и порядка — новое, просветленное светом Христовой правды, нравственное сознание человечества».

Надо сказать, что Франк прекрасно понимал неосуществимость своих идей при нынешнем конфессиональном разделении христианской церкви. В 1940-х годах он писал о своем религиозном опыте сыну Виктору, перешедшему в католичество: «После бурного увлечения церковной верой я теперь... нахожу... духовную почву только в сознании, что я „христианин“, член вселенской христовой церкви, а... никакого отдельного исповедания; кое-что очень ценное в православии, непонятное европейцам, мне очень близко и дорого, но в принципе я могу только сказать, что я и православный, и католик, и протестант, и никто из всего этого в отдельности и замкнутости». Франка нельзя приписать, разумеется, ни к какому институализованному течению вроде экуменизма — слишком он сам по себе. Себя он называл «христианским универсалистом» или, пользуясь характерным для русской религиозно-философской эмиграции выражением, — «надконфессиональным христианином». Эта позиция исключала и национальную самовлюбленность, воспевающую особность русской культуры. В своем знаменитом письме 1949 года Г. П. Федотову, которого русская эмиграция обвинила в антипатриотизме, он писал: «Ваша способность и готовность видеть и бесстрашно высказывать горькую правду в интересах духовного отрезвления и нравственного самоисправления есть редчайшая и драгоценнейшая черта Вашей мысли. Вы обрели этим право быть причисленным к очень небольшой группе подлинно честных, нравственно трезвых, независимо мыслящих русских умов, как Чаадаев, Герцен, Вл. Соловьев (я лично сюда присоединяю и Струве), знающих, что единственный путь спасения лежит через любовь к истине, как бы горька она ни была. Роковая судьба таких умов — вызывать против себя „возмущение“. ...Русские меньше, чем кто-либо, склонны уважать независимую мысль и склоняться перед правдой. Замечательно

у русских, как склонность к порицанию порядков на родине всегда сочеталась и доселе сочетается с какой-то мистической национальной самовлюбленностью. Русский национализм отличается от естественных национализмов европейских народов именно тем, что проникнут фальшивой религиозной восторженностью и именно этим особенно губителен. „Славянофильство“ есть в этом смысле органическое и, по-видимому, неизменное нравственное заболевание русского духа (особенно усилившееся в эмиграции)... Характерно, что Вл. Соловьев в своей борьбе с этой национальной самовлюбленностью не имел ни одного последователя».

Именно в религиозном осмыслении прав отдельной личности мыслитель видит возможность укоренения в русской культуре ценностей правосознания, противостояния разрушительным началам смуты, ибо для него любая революция — вариация смуты, уничтожающей всяческое представление о чести, достоинстве и свободе человека. А те две смуты-революции, которые он пережил сам (большевизм и нацизм), совершались под прикрытием лозунгов добра. Но добра, как доказывал Франк, не может быть, если уничтожается жизнь и достоинство человека. Поняв религиозную санкцию человеческих прав, европейское общество сможет противостоять разрушительным инстинктам «восстания масс». Но в отличие, скажем, от Федора Степуна, видевшего в XX веке борьбу «интересократии» и «идеократии», где «идеократия» всегда побеждает, Франк увидел в истории борьбу христианского принципа личности и света и антихристианского начала тьмы, массы. В этой ситуации идея «христианского реализма», им выдвинутая, учила и в поражении видеть победу, помня о крестном пути Христа, который в конечном счете победил смерть и сумел дать нравственный ориентир человечеству.

В августе 1950 года Франк заболел раком легких. До самой своей смерти в декабре Семен Людвигович уже не покидал своей комнаты. Но, как вспоминают родственники и близкие, он умирал окруженный заботой жены, переживая совершенно невероятные озарения духовного плана — о них он только говорил, но запечатлеть на бумаге уже был не в состоянии. В какой-то момент от бесконечных мучений ему вполне мистически привиделось, что он, по его словам, «приобщился не только к страданиям Христа, а, как ни дерзновенно это сказать, к самой сущности Христа». Впрочем, он всегда говорил, что страдание — это путь к Христу. В жизни ему пришлось много страдать. Но сама кончина его была очень спокойной, во сне. Похоронен С. Л. Франк на окраине Лондона.

ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ ФЕДОТОВ: *«Духовное спасение России заключается в возрождении потребности в свободе»*

АЛЕКСЕЙ КАРА-МУРЗА

Георгий Петрович Федотов родился в Саратове на праздник Покрова 1 октября 1886 года в семье «правителя дел» губернаторской канцелярии. Саратов и волжские берега навсегда останутся любимой малой родиной Федотова, куда он будет возвращаться в трудные моменты жизни и о которой будет мечтать в годы вынужденной эмиграции.

Окончив первым учеником Николаевскую гимназию в Воронеже, он вскоре поступил в Санкт-Петербургский технологический институт. Однако революционные события 1905 года захватывают Федотова, примкнувшего поначалу к радикальным социалистам. Арест и высылка за границу способствуют продолжению образования — Федотов изучает историю в Берлинском и Йенском университетах. Тогда же в Германии он оказывается под влиянием христианской гуманистической философии и постепенно отходит от марксистского материализма.

Осенью 1908 года Федотов возвращается в Россию и поступает на историко-филологический факультет Петербургского университета, где попадает в кружок выдающегося педагога-просветителя, убежденного европейца Ивана Михайловича Гревса, вырастившего целую плеяду крупных историков и культурологов, среди которых Лев Карсавин и Владимир Вейдле. Увлечшись благодаря Гревсу проблемами европейского Средневековья, Федотов окончательно отходит от политики. Тем не менее он продолжает оставаться под надзором полиции и, подвергшись несколько раз обыскам и опасаясь ареста, уезжает по подложному паспорту в Италию, где работает в библиотеках Рима и Флоренции, зарабатывая на жизнь частными уроками в семьях богатых русских. Впоследствии в работе «Лицо России» (1918) Федотов писал о той огромной роли, которую сыграла Италия в его становлении как историка русской культуры: «Именно более глубокое погружение в источники западной культуры открыло великолепную красоту русской культуры. Возвращаясь из Рима, мы впервые с дрожью восторга всматривались в колонны Казанского собора; средневековая Италия делала понятной Москву».

Вернувшись в Россию, Федотов был приговорен к годичной ссылке и выбрал Ригу, где занялся подготовкой диссертации. После возвращения в Петербург он успешно сдал магистерские экзамены и был оставлен при университете, где вскоре получил приват-доцентуру по кафедре Средних веков, работая одновременно хранителем отдела искусств Публичной библиотеки.

Первую мировую войну Федотов воспринял как совместную борьбу россиян за свободу в союзе с западными демократиями. Февральская революция 1917 года была встречена им без восторга: он понимал, что русская демократия слишком хрупка и бессильна перед натиском разрушительных бескультурных сил. После Октября он остается на службе в Публичной библиотеке, продолжает заниматься наукой, посещает религиозно-философские кружки, участники которых надеялись на мирную эволюцию большевизма.

Тяжело переболев сыпным тифом, Федотов берет отпуск и уезжает в родной Саратов, где становится профессором кафедры средневековой истории. Вскоре, однако, он вынужден был покинуть университет из-за своего демонстративного отказа соблюдать советскую обрядность — посещение собраний, хождение на демонстрации и тому подобное. Убежденный христианин, Федотов решает вскоре вообще уволиться с госслужбы и зарабатывать переводами в частных издательствах, расплодившихся в годы нэпа: это обеспечивало приличный заработок, хотя и лишало госпайка, а также существенно повышало плату за квартиру и обучение дочери.

В 1925 году Федотов получает французскую визу и выезжает сначала в Берлин, а затем в Париж; через некоторое время к нему переезжает из России и семья. Работать и публиковаться во Франции по узкой специальности — медиевистике — оказалось невозможным (хороших специалистов было в избытке), и Федотов в поисках заработка начинает писать историко-публицистические статьи для эмигрантских журналов. Конкуренция и здесь была велика, но уже первые статьи-эссе Федотова («Три столицы» и «Трагедия интеллигенции»), опубликованные в 1926 году в парижском журнале «Версты», получили широкую известность в литературно-политических кругах русской эмиграции. На молодого автора обратила внимание редакция крупнейшего эмигрантского журнала «Современные записки», в котором Федотов затем многократно печатался, снискав себе славу *«первого публициста эмиграции»*, *«Герцена нового времени»*.

В Париже произошло знакомство Федотова с другим русским эмигрантом — крупнейшим философом Федором Степуном, дружба и сотрудничество с которым продлилась долгие годы. Степун позднее вспоминал о первой встрече с Федотовым: «Впечатление было несколько неожиданное... Очень сдержанная речь с паузами и умолчаниями, тихий, но богатый интонациями голос; во внешнем облике, несмотря на заношенный пиджачок, нечто очень изящное, хрупкое и даже декадентское, что не встречалось у писателей-бытовиков и партийцев-общественников. Во всем образе нечто аристократически-отъединенное...»

В 1920–1930-х годах Федотов издал во Франции серию монографий по истории Русской православной церкви, принесших ему европейскую известность. Одновременно он был активным участником экуменического движения, ратуя, в частности, за сближение православной и англиканской епископальной церкви. С 1926 по 1940 год Федотов преподавал историю Западной церкви и латинский язык в Парижском богословском институте. После оккупации Парижа немцами он уезжает на юг Франции, где арестовывается за нелегальный переход демаркационной линии. При содействии друзей-американцев он получает визу в США, но путь туда оказался долгим и трудным. Сначала французский пароход, следующий в Штаты через Бразилию, был блокирован англичанами в порту Дакара (Сенегал), где простоял четыре месяца — все это время Федотов работал в Дакарском музее, а также учил португальский и древнееврейский языки. Затем корабль был отправлен в Касабланку (Марокко), где пассажиры некоторое время жили в палаточном лагере в пустыне, за колючей проволокой. Добыв билеты на испанский пароход, Федотов через Алжир, Испанию, Кубу и Бермуды прибыл, наконец, в сентябре 1941 года в Нью-Йорк.

Некоторое время он работал как «visiting fellow» в колледже при Йельском университете в Нью-Хэйвене, пользуясь стипендией Бахметьевского фонда; затем стал профессором Православной богословской академии Св. Владимира в Нью-Йорке. В конце 40-х годов он издал в США на английском языке два своих последних крупных труда — «The Russian Religious Mind» и «The Treasury of Russian Spirituality».

Между тем болезнь сердца, преследовавшая Федотова на протяжении всей жизни, усиливалась. Крупный поэт и публицист русской эмиграции Юрий Иваск вспоми-

нал о последних месяцах жизни Федотова: «Он становился все хрупче, легче. Как-то необыкновенно бережно, прощаясь, касался вещей. Все меньше говорил. Все больше молчал. Был тихий, светлый и вместе с тем до самого конца — такой живой». 1 сентября 1951 года Георгий Петрович Федотов скончался в госпитале города Бэкон, штат Нью-Джерси.

Несмотря на то что политико-культурологические взгляды и оценки Г. П. Федотова рассредоточены по многочисленным публикациям (в России сейчас, хотя и медленно, продвигается издание собрания его сочинений, предположительно в двенадцати томах), политическое наследие Федотова достаточно цельно. Хорошо знавший его Иваск писал, что делом всей жизни Федотова было утверждение мысли о том, что человеческая свобода может стать результатом не политического переворота, а культурного творчества. «Его дело, — писал Иваск о Федотове, — *оправдание культуры*, которая так страстно и на все лады отрицалась у нас — со времени Белинского и до «Русской идеи» Бердяева. И он боролся с этим отрицанием, которое довело Россию до нового советского варварства и облегчило торжество зла большевизма, способного погубить все человечество».

Согласно общей философско-исторической концепции Федотова, развитие России происходило в условиях острого соперничества по меньшей мере трех тенденций: самодержавно-деспотической, антигосударственно-нигилистической и творческо-европеистской. Только победа этой третьей, европейской тенденции открывала перед Россией перспективу свободного и полного развития. «Судьба, увы, сулила иное», — констатировал Федотов. Изучению причин крушения российского европеизма, анализу истоков большевистского варварства и поиску путей освобождения России и посвящена политическая публицистика Г. П. Федотова.

Профессионально изучая историю России, Федотов считал, что уже в допетровской Руси был заложен немалый потенциал европеизма. Его особенно увлекала самобытно русская и в то же время безусловно европейская культура Русского Севера, более, чем Московия, свободного от деспотическо-азиатских элементов. Федотову были близки многообразие, сложность и межкультурный синтез Псковско-Новгородской земли, которая чудесным образом совмещала «с буйным вечем молитвенный подвиг, с русской иконой ганзейский торг». Уже в своей ранней работе «Трагедия интеллигенции» (1926) Федотов писал, что в самобытно-европейской истории России «главное творческое дело было совершено Новгородом»: «Здесь, на севере, Русь перестает быть робкой ученицей Византии и, не прерывая религиозно-культурной связи с ней, творит свое — уже не греческое, а славянское или, вернее, именно русское — дело. Только здесь Русь откликнулась христианству своим особым голосом». И поэтому прав был Ф. Степун, когда писал о том, что в конкуренции моделей российского развития «живая любовь великоросса Федотова» принадлежит не Москве и не Петербургу, а именно Новгороду.

Петровские реформы, по мысли Федотова, дали новый импульс российскому европеизму. Творческий потенциал этого реформаторства мог двинуть Россию не по пути банального подражательства Европе, а в направлении творческого развития самой «культурной идеи Европы». «Петровская реформа, — писал Федотов в „Письмах о русской культуре“ (1938), — действительно вывела Россию на мировые просторы, поставив ее на перекрестке всех великих культур Запада, и создала породу русских европейцев». Федотов считал, что эта новая порода русских людей могла не только сродниться с Европой, но и стать воплощением «высшей Европы», до чего редко дорастает даже большинство самих западных европейцев: «Их (русских европейцев. — А. К.) отличает прежде всего свобода и широта духа — отличает не только от москвичей, но и от настоящих западных европейцев. В течение долгого времени Европа как целое жила более реальной жизнью на берегах Невы или Москвы-реки, чем на берегах Сены, Темзы или Шпрее».

Тип русского европейца, по мысли Федотова, вовсе не отрицание «старой русскости», а творческое ее преодоление и развитие. В противоположность вульгарным «западникам» (это понятие, в отличие от «европеистов», носит у Федотова негативный оттенок) русские европейцы, напротив, не утратили ни связи с отечеством, ни силы национального характера. «В каждом городе, в каждом уезде остались следы этих культурных подвижников. Где школа или научное общество, где культурное хозяйство или просто память о бескорыстном враче, о гуманном судье, о благородном человеке. Это они не давали России застыть и замерзнуть, когда сверху старались превратить ее в холодильник, а снизу в костер. Если москвич держал на своем хребте Россию, то русский европеец ее строил». И пусть в жизни и политике русским европейцам часто приходилось бороться с «косностью и ленью москвичей», и у тех, и у других был общий нравственный идеал, общая любовь к родной стране. Именно эта плодотворная связка «старых» и «новых» русских, патриотов-москвичей и патриотов-европеистов могла сформировать тип творческой русской элиты, способной, по мысли Федотова, обеспечить для России рывок в экономике, политике, культуре.

К несчастью для страны, человеческий тип русского европейца не успел достаточно развиться и не получил надежного политического представительства, а потому проиграл двум другим национальным типам, принципиально антикультурным и в сущности антинациональным — реакционеру-охранителю и разрушителю-нигилисту.

Общей причиной победы большевизма в России Г. П. Федотов считал потерю страной культурного иммунитета перед варварством, что, в свою очередь, явилось следствием отхода России от высокой гуманистической традиции Европы: «Не хотели читать по-гречески — выучились по-немецки, вместо Платона и Эсхила набросились на Каутских и Леппертов. Лишив себя плодов гуманизма, питаемся теперь его „вершками“, засыхающей ботвой» («Трагедия интеллигенции», 1926). Этой «ботвой», «сухими вершками европейской культуры» считал Федотов и вульгаризированный марксизм, под обаянием простоты которого он сам находился в юности.

Основная вина за большевистскую революцию, согласно Г. П. Федотову, лежит на парализовавшем творческий потенциал общества российском самодержавии. «Разве наше поколение не расплачивается сейчас за грехи древней Москвы? — спрашивал он в статье „Правда побежденных“ (1933). — Разве деспотизм преемников Калиты, уничтоживший и самоуправление уделов, и вольных городов, подавивший независимость боярства и Церкви, — не привел к склерозу социального тела Империи, к бессилию средних классов и к черносотенному стилю народной большевистской революции?»

Но, тяготеющий в зрелые годы к христианскому либерализму, Г. П. Федотов возлагал вину за русский большевизм не только на косную деградировавшую власть, на каждом шагу подменявшую культурный консерватизм откровенной реакционностью, но и на российских либералов, не сумевших воспрепятствовать (а иногда и прямо потакавших) варваризации общества. В работе «Революция идет» (1929) он написал беспощадные слова о недугах отечественного либерализма, увлекшегося безоглядной критикой старых порядков, но оказавшегося неспособными к позитивному строительству. Эту «немошь либерализма» Федотов объяснял тем, что тот был склонен развиваться по пути наименьшего сопротивления — не в направлении творческого европеизма (то есть развития европейского потенциала, заложенного в русской традиции), а по пути поверхностного западнического подражательства: «Русский либерализм долго питался не столько силами русской жизни, сколько впечатлениями заграничных поездок, поверхностным восторгом перед чудесами европейской цивилизации, при полном неумении связать свой просветительский идеал с движущими силами русской жизни...»

Нежелание и неспособность развивать русскую европейскую традицию не позволило отечественным западникам укорениться в собственной истории. «Своим» для них становился далекий и по существу так и непонятый Запад, в то время как собственно русская история, тоже непознанная и непонятая, отрицалась и отбрасывалась: «Западническое содержание идеалов, при хронической борьбе с государственной властью, приводило к болезни антинационализма. Все, что было связано с государственной мощью России, с ее героическим преданием, с ее мировыми или имперскими задачами, было взято под подозрение, разлагалось ядом скептицизма. За правительством и монархией объектом ненависти становилась уже сама Россия: русское государство, русская нация».

Этот порок русского диссидентства — слабость национального чувства, вытекавшая, с одной стороны, из западнического презрения к собственной стране и, с другой — из непонимания смысла государственности как таковой, — привел к тому, что, по выражению Федотова, «за английским фасадом русского либерализма скрывалось подчас чисто русское толстовство, то есть дворянское неприятие государственного дела».

В периоды стабильного развития глубинные пороки русской элиты — как консервативной (явно вырождающейся в тупую реакцию), так и либеральной (тяготеющей к антигосударственному нигилизму) — еще не были фатально губительны для страны. Но в начале XX века, в период обострения внешних и внутренних вызовов и угроз, общая порочность национальной элиты оказалась роковой. И отечественные либералы оказались здесь не на высоте положения. Они поддались общему гипнозу кажущейся мощи русской державности и, будучи непримиримы к «старому режиму», оказались беспощадны и к России: «Такую махину — можно ли сдвинуть? Легкая встряска, удар по шее только на пользу сонному великану. За Севастополь — освобождение крестьян, за Порт-Артур — конституция. Баланс казался недурен. Мы не хотели видеть, что сонный великан дряхл и что огромная лавина, подточенная подземными водами, готова рухнуть, похоронив под обломками не только самодержавие, но и Россию» («Защита России», 1936).

Исследование причин трагедии России, где борьба за человеческую свободу породила в конечном итоге многократное умножение рабства, привело либерала-христианина Федотова к необходимости глубинного анализа самого понятия «свобода». Вопреки известному изречению Ж.-Ж. Руссо о том, что «человек рождается свободным, а умирает в оковах», Федотов, напротив, полагал, что «свобода есть поздний и тонкий цветок человеческой культуры». В примитивных сообществах, как и в биологическом мире, свободе еще нет места: «Там, где все до конца обусловлено необходимостью, нельзя найти ни бреши, ни щели, в которую могла бы прорваться свобода. Где органическая жизнь приобретает социальный характер, она насквозь тоталитарна. У пчел есть коммунизм, у муравьев есть рабство, в звериной стае — абсолютная власть вожака».

Согласно Федотову, не стоит идеализировать (как это делают некоторые не очень глубокие историки) и формы античной полисной демократии. «Нас обманывает часто вольность и легкость жизни в классическую пору афинской демократии, — писал Федотов в статье „Рождение свободы“ (1944). — Но эта вольность — результат разложения, скорее распушенность, чем закон жизни... За полтора века оказались подорваны все нравственные устои демократии, и Афины, как и вся Греция, сделались легкой добычей Филиппа (Македонского. — А. К.)».

Подлинная свобода, согласно Федотову, наступает не тогда, когда государственность подтачивается и разрушается, а тогда, когда происходит «утверждение границ для власти государства, которые определяются неотъемлемыми правами личности». При своем зарождении правовая свобода всегда оказывается свободой для немногих — иной она и не может быть. Человеческая свобода рождается как привилегия, подобно всем другим плодам высокой культуры.

Драма России заключалась в том, что она во многом была воспитана в восточной деспотической традиции. Когда все равны и беззащитны перед лицом деспота (включая и формально элитарные слои), подданные ни за что не соглашаются со «свободой для немногих, хотя бы на время»: «Они желают ее для всех или ни для кого. И потому получают „ни для кого“... И в результате на месте дворянской России — Империя Сталина». Федотов приходит к парадоксальному выводу: призыв к всеобщему уравниванию, прикрывающийся лозунгами предельного демократизма, губителен для либеральных свобод и не только не обеспечивает демократии, но и ведет к новому, еще более тяжкому деспотизму.

Большой заслугой Федотова-интеллектуала является разграничение в русском культурно-политическом контексте понятий «свобода» и «воля». В знаменитой статье «Россия и свобода» (1945) он дал определение, ставшее в русском либерализме классическим: «Личная свобода немыслима без уважения к чужой свободе; воля — всегда для себя... Воля есть прежде всего возможность пожить по своей воле, не стесняясь никакими социальными узами... Воля торжествует или у выхода из общества, на степном просторе, или во власти над обществом, в насилии над людьми».

Поэтому русская «воля» (часто обманчиво принимаемая за подлинную свободу) не страшна для тирании, ибо является лишь ее оборотной стороной. «Она (воля. — А. К.) не противоположна тирании, ибо тиран есть тоже вольное существо... Так как воля, подобно анархии, невозможна в культурном общежитии, то русский идеал воли находит себе выражение в культуре пустыни, дикой природы, кочевого быта, цыганщины, вина, разгула, самозабвенной страсти, разбойничества, бунта и тирании».

Искушение западными свободами и правами, которыми постоянно облучаются не вполне культурные русские слои, включая высокомерных, но, в сущности, тоже полубразованных «западников», оборачивается «русской волей» и порождает не правовой порядок, а анархию и хаос. «Прикосновение московской души к западной культуре, — писал Федотов, — почти всегда скидывается нигилизмом; разрушение старых устоев опережает положительные плоды воспитания. Человек, потерявший веру в Бога и царя, утрачивает и все основы личной и социальной этики».

Духовное спасение России виделось Федотову в «зарождении чувства, потребности, любви к свободе». Но это могло свершиться только как результат осознания очевидной вещи, в которой боялись признаться искатели национальной идеи: «Свобода в своих истоках всегда аристократична». А потому русский культурный класс, считал Федотов, должен как минимум перестать инфантильно восторгаться в отечественной истории победами самодержавного деспотизма над боярской и дворянской фрондой. Федотов был уверен: без укрепления либеральных свобод (пусть поначалу элитарных) невозможна в перспективе и широкая демократизация. «Боярская свобода в средневековье, — писал он, — обеспечила бы нам дворянскую конституцию в XIX веке и всенародную — в XX-м».

Пересматривая национальное прошлое, Федотов призывал внимательнее приглядеться к судьбе соседней, столь близкой и столь далекой Польши. В известной работе «Польша и мы» (1939) он писал о том, что трудность взаимного понимания двух культур нельзя объяснить только памятью прошлых и ощущением настоящих обид — за этим непониманием стоит противоположность духовных типов и социального строя. В общем виде это глубинное противоречие Федотов формулировал так: аристократическая свобода шляхетской Польши против уравнительного деспотизма самодержавной России.

В своей истории Польша шла путем обеспечения либеральных свобод меньшинства, хотя и ценой полного безучастия к закрепощенным массам. Русское самодержавие, напротив, имело в своей основе уравнительные тенденции, нивелирующие всех

подданных без исключения перед лицом высшей власти. Победивший в России большевизм лишь продолжил и развил эту традицию, которую Федотов называл «всеобщим равенством нищеты и рабства».

Опыт Польши, хотя и драматический, мог бы стать полезным уроком для России: «Не с высоты мужицко-пролетарской гордости надо смотреть на ее шляхетское безумие. Если бы нам хоть в малой доле той любви к свободе, которая в чистом виде, в национально-аристократической исключительности, губит Польшу! Ее отравка была бы нашим спасением».

Вслед за Александром Герценом христианский либерал Федотов был лишен малейшего великодержавия по отношению к эмансипации Польши. Как известно, на «польском вопросе» спотыкались многие отечественные диссиденты: стоило полякам в очередной раз заявить о претензиях на независимость, как это немедленно возвращало многих наших интеллектуалов под сень великодержавного официоза. Иначе рассуждал Федотов: он считал, что, борясь за свою независимость, поляки борются и за свободную Россию. (Следуя той же логике, Федотов поддержал и независимую Финляндию в войне против сталинского СССР: «финны борются за русскую свободу».)

Верный своей культурно-исторической концепции, Федотов и в эмиграции продолжал делать ставку на постепенное накопление в России творческо-европейского потенциала. Разумеется, восстановление его в России, подвергшейся небывалой деевропеизации и массовому геноциду культурных слоев, представлялось ему делом долгим и трудным. По его мнению, при большевиках Россия вернулась в допетровскую эпоху, когда не существовало различия между служилым классом и остальным обществом: «„Свободная профессия“ стало каторжным клеймом в России... Россия кишит полуинтеллигенцией, полужнайками... Старые человеческие запасы иссякают...» («Новая Россия», 1930); «Религия, искусство, научная работа, семья и воспитание — все становится функцией государства... Для государства-зверя политика становится человеческой отраслью животноводства» («Социальный вопрос и свобода», 1931). Сознательное понижение русской культуры стало при большевиках государственной политикой, способом выживания режима: «Большевики, ревнивые к военным и финансовым основам своей власти, совершенно не заинтересованы в защите русской культуры. Они предают ее на каждом шагу, вознаграждая приманкой русофобства ограбленные и терроризированные окраины» («Проблемы будущей России», 1931).

Но проблема была еще и в том, что среди радикальных противников сталинизма Федотов очень часто встречал тот же самый антикультурный человеческий тип, который ранее, обрядившись в марксистские одежды, и привел Россию к катастрофе: «Дух ленинского имморализма оживает в стане реакции... В стане контрреволюции происходит настоящий процесс обольшевичения... Люди убеждены, что низость или жестокость средств является прямой гарантией успеха... Так растут у пня поваленного Белого движения ядовитые грибы новой всероссийской Чеки» («Февраль и Октябрь», 1937).

Федотов был одним из первых русских политических мыслителей, кто обратил самое серьезное внимание на то, что и в большевистской России, и в антибольшевистской эмиграции «развелось немало людей, соблазненных легким успехом большевизма, которые не прочь сменить в седле Сталина и хлестать измученную лошадь по глазам и шпорить до кишок окровавленные бока, пока она не издохнет». «Эти люди преступники или сумасшедшие, — заявляет Федотов. — Мы объявляем беспощадную борьбу доктринерам и максималистам, чьим бы именем они ни прикрывались... Пора перестать сумасшедшим управлять Россией».

Время показало, что Федотов не был политически наивен, когда утверждал, что освобождение России, ее возвращение в Европу возможны не путем верхушечных политических переворотов, а лишь как результат поступательного наращивания европейской культуры. «Среди тьмы русской жизни, среди казней, предательства, лжи, окутывающей все густой, непроницаемой пеленой, одна мысль сейчас утешает, дает надежду: в России читают Пушкина, — писал Федотов в работе „Пушкин и освобождение России“ (1937). — Совершается преодоление классового сознания; в рабочем, в крестьянине родился человек, и Пушкин стоит у купели крестным отцом».

Чем объяснить эту «политическую дерзость» режима, этот непонятный «пушкинский либерализм»? Наивностью или политическим расчетом? Скорее всего, рассуждал Федотов, это лишь очередное проявление традиционного на Руси презрения власти к народу: «Пусть читают! Быдло никогда не поймет!»

«А что, если поймет? — вопрошает себя и соотечественников Г. П. Федотов. — И Пушкин станет сеятелем свободы в родной стране?»

ФЕДОР АВГУСТОВИЧ СТЕПУН:
*«Божье утверждение свободного человека
как религиозной основы истории...»*

ВЛАДИМИР КАНТОР

В русской эмигрантской мысли Федор Августович Степун (1884–1965) был «последним из могикан». Он успел увидеть закат сталинизма, эпоху хрущевской оттепели и ее крах. Долгие годы прожив в эмиграции, вдали от родины, он всю свою жизнь сохранял надежду на демократические изменения в России.

Биография Ф. А. Степуна и удивительна, и поучительна. Немец по крови, родившийся в России, он учился в Гейдельбергском университете, где готовил диссертацию по историософии Владимира Соловьева. Именно там, в Гейдельберге, работая в семинаре знаменитого Виндельбанда, он в первый раз ощутил важность *разграничения* душевных «воспарений-излияний» (так привычных для россиянина) и строгого интеллектуального творчества. Именно тогда Степун понял, что подлинное философствование не есть исповедь, тем более не есть исповедание веры; она — наука, строгая наука, ставящая разум преградой бурям бессознательного, таящимся в человеке.

Вернувшись из Германии, он становится издателем российско-европейского журнала по философии культуры «Логос», проповедует неокантианство, слывет в России неозападником. Но с началом Первой мировой войны он — русский артиллерийский прапорщик, сражавшийся на германском фронте и написавший об этом блестящую книгу очерков («Из записок прапорщика-артиллера»); начальник полуправления армии при Временном правительстве, уцелевший после революции; публицист и театральный режиссер; с 1922 года — изгнанник из большевистской России. С этого момента и до самой смерти — немецкий профессор, житель Германии, равно не принимавший коммунизм и нацизм (нацисты запретили ему преподавать за проповедь «жидо-русофильских взглядов») и страстный, как говорили в старину, пропагатор на Западе русской культуры и философии. Не забудем и того, что в 1920–1930-х годах он активный участник двух самых знаменитых журналов русского зарубежья — «Современные записки» и «Новый град»; автор замечательного, отчасти автобиографического, романа «Николай Переслегин», а также многочисленных статей для русских эмигрантских журналов, среди которых выделяется знаменитый цикл «Мыслей о России».

До последнего десятилетия Ф. А. Степун был больше известен в Германии, нежели в России. Философ и писатель, он одинаково блистательно писал на обоих языках. Немцы ставили его в один ряд со столь значительными западными мыслителями, как П. Тиллих, М. Бубер, Р. Гвардини. Но основная его тема — Россия, ее духовные достижения и трагическая судьба. Европа признавала его за своего, но одновременно он был для нее символом свободной русской мысли.

Кредо философско-исторической мысли Степуна, как он сам определял, — «Божье утверждение свободного человека как религиозной основы истории». И, расшифровывая эту мысль, добавлял: «Демократия — не что иное, как политическая проекция этой

верховой гуманистической веры четырех последних веков. Вместе со всей культурой гуманизма она утверждает *лицо* человека как верховную ценность жизни и форму автономии, как форму богопослушного делания».

История вынужденной эмиграции Степуна почти фантазмагорическая, ибо так получилось, что с собой он вывез целый «философский пароход». Ведь именно деятельность Степуна побудила Ленина задуматься о высылке на Запад российской интеллектуальной элиты. Поводом для иррациональной ярости большевистского вождя послужил сборник, посвященный анализу книги Шпенглера «Закат Европы», написанный Степуном в соавторстве с еще тремя русскими интеллектуалами.

Сам Степун вспоминал об этой истории так: «Дошли до нас слухи, что в Германии появилась замечательная книга никому раньше не известного философа Освальда Шпенглера, предсказывающая близкую гибель европейской культуры... Через некоторое время я неожиданно получил из Германии первый том «Заката Европы». Бердяев предложил мне прочесть о нем доклад на публичном заседании Религиозно-философской академии... Прочитанный мной доклад собрал много публики и имел очень большой успех... Книга Шпенглера с такою силою завладела умами образованного московского общества, что было решено выпустить специальный сборник посвященных ей статей».

Сборник, просветительно-европеистский по своему пафосу, вызвал неожиданную для их авторов реакцию вождя большевиков. В разговоре с заместителем председателя ВЧК И. Уншлихтом Ленин назвал сборник, редактором которого был Степун, «литературным прикрытием белогвардейской организации». Спустя некоторое время в Уголовный кодекс по предложению Ленина было внесено положение о «высылке за границу». Уже будучи за границей, Степун писал, что именно «шпенглеровский сборник» стал поводом для выработки плана массовой высылки российских интеллектуалов на Запад.

По своему психологическому складу Степун был внимательный наблюдатель и аналитик. Он прошел войну, еще до войны объездил почти всю Россию, читая лекции. А в качестве начальника Политуправления при военном министерстве во Временном правительстве, вспоминал Степун, он на фронте неустанно носился по передовым позициям, «защищая в армейских комитетах свои резолюции, произнося речи в окопах и тылу, призывая к защите родины и революции и разоблачая большевиков».

Русская катастрофа XX века, явившаяся частью общеевропейской катастрофы, была, по мнению Степуна, во многом предрешена нерешительностью Временного правительства или, выражаясь современным языком, неумением демократии защищаться, противостоять массовым, стихийным движениям. Личность должна уметь отстаивать свои идеалы, но обороняться она должна не только грубо материальной силой — войском и прочее. Идеологи либерально-демократического образа жизни, полагал Степун, обязаны были найти некую высшую идейно-духовную санкцию для своих ценностей, ибо в конечном счете побеждает идея, а не материальный интерес. «Я утверждаю, — писал Степун, — что революционная демократия только потому не спасла своей политической святости — Учредительного собрания, — что для нее ничего не было святее политики; что она самого Бога была склонна мыслить бессмертным председателем транспланетарного парламента и революционные громы семнадцатого года восторженно, но наивно приняла за Его звонок, открывающий исторические прецеденты по вопросу республиканского устройства России...» Степун увидел причину поражения Февраля в «интеллигентском панполитизме». Нельзя было отдавать на откуп реакции и радикализму «национально-религиозные энергии русской жизни», как он называл свое понимание высших духовных ценностей. (Замечу в скобках, что эта проблема — найти высшую, религиозную санкцию своих действий — стоит и перед нынешней либеральной мыслью, желающей утвердить права личности в народном сознании.)

Именно поэтому для Степуна был так важен вопрос об оживлении христианской основы демократии. Либерализм и демократия начала XX века забыли о возможной апелляции к высшим христианским ценностям, которые нисколько не противоречили идеалу свободной личности, более того, давали этому идеалу авторитетнейшую поддержку, укорененную в двухтысячелетней традиции европейской культуры. Диктатура, тоталитаризм иррациональны, ибо живут вне закона и в своей борьбе с либерализмом и демократией поневоле отрицают христианство, как *несущее в себе элемент закона, договора* (как Ветхий, так и Новый Завет есть по существу договор с Богом). Но произошло так, что тоталитарные режимы перехватили у демократии *контакт с высшими ценностями*; большевики и национал-социалисты прикоснулись к вечным истинам, о которых забыла демократия. «Большевики победили демократию, — писал Степун, — потому, что в распоряжении демократии была всего только революционная программа, а у большевиков — миф о революции; потому что забота демократии была вся о предпоследнем, а тревога большевиков — о последнем, о самом главном, о самом большом. Пусть они всего только наплевали в лицо вечности, они все-таки с нею *встретились*, не прошли мимо со скептической миной высокообразованных людей. Эта, самими большевиками естественно отрицаемая, связь большевизма с верой и вечностью чувствуется во многих большевицких кощунствах и поношениях».

И в 1920–1930-х годах, перед лицом нашествия на Европу новых форм тоталитаризма, Степун активно защищал ценности демократии: «Я определенно и до конца отклоняю всякую идеократию коммунистического, фашистского, расистского или евразийского толка; то есть всякое насильствие народной жизни... Пусть современный западноевропейский парламентаризм представляет собою вырождение свободы, пусть современный буржуазный демократизм все больше и больше скатывается к мечанству. Идущий ему на смену идеократизм много хуже, ибо представляет собою нахождение насилия и явно тяготеет к большевицкому сатанизму».

Заявлениям о закате либерально-демократической эпохи Степун противопоставлял веру в возможность демократии на основе христианства. Его призыв к религиозной свободе не означал отказа от политической борьбы. Бердяеву, который в эмиграции предлагал вообще отказаться от политики как чуждой подлинной духовности, Степун возражал: «Христианская республика, конечно, еще меньше возможна, чем православная монархия, но *выбор* между республикой и монархией, между демократией и автократией, между федерализмом и централизмом сейчас обязателен не только для политика, но и для религиозного мыслителя, ибо на политической территории решаются сейчас религиозные судьбы народов».

Заметим, что 1920-е годы, когда писались эти строки, были периодом крушения демократических структур по всей Европе. Задолго до гитлеровского переворота Степун понимал, что Германия обречена; скоро рухнет Франция, и тогда только английская демократия в одиночку будет пытаться противостоять диктаторским и идеократическим режимам. А США слишком далеко...

У испуганных европейских интеллектуалов возникло ощущение, что, наверное, уже никуда не деться, что новая эпоха неизбежно наступает. И быть может, она рано или поздно приведет к добру. К месту и не к месту поминали Гёте и фразу Мефистофеля о том, что он часть той силы, что вечно хочет зла, но творит лишь благо. Значит ли это, иронизировал Степун, что «фактически творящий добро черт становится добром? Очевидно, что нет, что он остается злом». И уже в 1928 году твердо и убежденно писал: «Против становящегося ныне модным убеждения, будто всякий полосатый черт лучше облезлого, затхлого парламентаризма и всякая яркая идеократическая выдумка лучше и выше демократической идеи, необходима недвусмысленно

откровенная защита буржуазных ценностей и добродетелей: самозаконной нравственности правового государства, демократического парламентаризма, социальной справедливости...»

Если большевистская революция, полагал Степун, в какой-то мере была результатом западных влияний (марксизма, правда, понятого по-ленински, то есть антилично), то последствием Октября была страшная европейская *революция справа* — национал-социализм. «Достаточно указать на то, — писал он в статье „Чаемая Россия“, — что все социальные революции на Западе и все национальные на Востоке так или иначе связаны с большевизмом и что большевизм, очевидно, является создателем некоего прообраза всех новейших идеократических диктатур». Против всяческих идеократий, против большевизма и фашизма в совершенно безнадежной, казалось бы, ситуации отстаивали русские европейцы-эмигранты позицию *правды личности и ее свободы*.

Проблемы Германии не могли не волновать изгнанную из своей страны русскую интеллигенцию. Слишком много общего с большевизмом находили эмигранты в поднимавшемся национал-социализме. Русские и немцы слишком тесно сплелись в этих двух революциях — от поддержки Германией большевиков до поддержки нацистов Сталиным. Степун заметил, что и сами нацисты видят эту близость. Он фиксирует слова Геббельса о том, что «Советская Россия самую судьбою намечена в союзницы Германии в ее страстной борьбе с дьявольским смрадом разлагающегося Запада. Кратчайший путь национал-социализма в царство свободы ведет через Советскую Россию, в которой еврейское учение Карла Маркса уже давно принесено в жертву красному империализму, новой форме исконного русского панславизма...».

Содержание немецких статей Степуна — сравнение двух стран с такой похожей судьбой: слабость демократии, вождизм, умелая спекуляция тоталитарных партий на трудностях военной и послевоенной разрухи. Степун отмечал, что, несмотря на самообольщение молодых национал-социалистов о возврате страны в Средневековье (христианское по своей сути), на самом деле Германия прыгнула в новое варварство. Степун писал, что идеократический монтаж Гитлера с утверждением свастики вместо креста, германской крови вместо крови крестной, с ненавистью к немецкой классической философии, к «лучшим немцам типа Лессинга и Гёте» родился «не в немецкой голове, а в некрещеном германском кулаке».

И в этих условиях изгнанный в Германию русский мыслитель, в годы, когда на России и русской культуре многие ставили крест, начинает проповедь русской культуры, ее высших достижений, объясняя Западу специфику и особенности России. Он понимал, что как России нельзя без Запада, так и Западу нельзя без России, что только вместе они составляют то сложное и противоречивое целое, которое называется Европой. Степун и его друзья по эмиграции все свои силы направляли на то, чтобы фашизирующаяся Европа вернулась к своим базовым христианским ценностям. Только так, считал Степун, можно *спасти Европу*. Не случайно одна из эмигрантских писательниц (Е. Жиглевич), знавшая Степуна, именно в этом регистре его и воспринимала: «Что заставляло меня верить, что Европа, вопреки всему, что случилось, зиждется на камне?... Там был Ф. А. Степун. Монолит, магнит, маяк. Атлас, державший на своих плечах две культуры — русскую и западноевропейскую, посредником между которыми он всю свою жизнь и был. Пока есть такой Атлас, Европа не сгинет, устоит».

Особенно сложно стало положение Степуна, когда зеркальные двойники большевиков — нацисты во главе с антиевропеистом Гитлером — пришли в Германии к власти. Степун был по крови немец, а потому под нюрнбергские расовые законы не подпадал. Более того, он был профессором (в Дрездене), а к профессорам немцы — в отличие от российского рабоче-крестьянского люда — традиционно относились с пиететом.

И все же надолго терпения нацистов не хватило. В «Современных записках», в «Новом граде» Степун продолжал писать свои русские, злые аналитические статьи о гитлеровской Германии, но ведь нечто подобное он говорил и в своих лекциях немецким студентам. Конечно же он дождался доноса. Как и большевики, нацисты терпели его ровно четыре года своего режима, пока не увидели, что перековки в сознании профессора Степуна не происходит. В доносе 1937 года говорилось, что он так и не переменил свои взгляды в соответствии с параграфами Закона 1933 года о «переориентации профессионального чиновничества». «Эта переориентация, — говорилось в доносе, адресованном рейхсфюреру Гиммлеру, — не была им исполнена, хотя прежде всего должно было ожидать, что, как профессор, Степун определится по отношению к национал-социалистическому государству и построит правильно свою деятельность. Но Степун с тех пор не предпринял никакого серьезного усилия по позитивному отношению к национал-социализму. Степун многократно в своих лекциях отрицал взгляды национал-социализма прежде всего по отношению к целостности национал-социалистической идеи, как и к значению расового вопроса, точно так же и по отношению к еврейскому вопросу в частности важного для критики большевизма».

Более того, именно «русскость» Степуна ставилась ему отныне в вину: «Степун, несмотря на свое немецкое происхождение, не может рассматриваться как „зарубежный немец“ (Auslandsdeutscher). Его близость с русскостью (Russentum) много теснее, нежели с немецкостью (Deutschentum). Он сам определяет себя как немецкого русско-го, но нигде не исповедует своей немецкости. Его близость к русскости выясняется и из того, что он русифицировал свое исходно немецкое имя Фридрих Степпун (Steppuhn), получил русское гражданство и, в исполнение соответствующих гражданских обязанностей, сражался в русском войске против Германии, а также женился на русской. Также будучи немецким чиновником, чувствовал он и далее свою связь с русскостью и в дрезденской русской эмигрантской колонии играл выдающуюся роль прежде всего как председатель Общества Владимира Соловьева».

Степун был уволен с мизерным выходным пособием и крошечным пенсионом (профессоров нацисты старались по возможности не трогать), но продолжал *нарываться*: печатался в русской эмигрантской прессе, читал доклады о русской философии и культуре, печатал по-немецки статьи о России в журнале «Hochland» и дружил с его издателем Карлом Муттом, одним из создателей знаменитой немецкой антифашистской организации «Белая роза». Но Степун уцелел — современники не случайно называли его любимцем Фортуны...

После разгрома гитлеризма, с конца 40-х годов и до самой своей смерти, Ф. А. Степун работал в Мюнхенском университете на кафедре русской духовности и культуры, специально для него созданной. Любой профессор мог рассчитывать, как вспоминают его коллеги, не более чем на тридцать слушателей; Степун неизменно собирал аудиторию в 300 человек. Если для своих российских соплеменников он был представителем германской культуры, то перед немцами он выступил проповедником и толкователем культуры русской. Его историософская книга «Большевизм и христианская экзистенция» (1959–1962) вызвала буквально шквал рецензий в немецкоязычной печати. Главный смысл книги был усвоен правильно: Россия не азиатский аванпост в Европе, а европейский в Азии. Душой и памятью Степун снова жил в России, писал свои блистательные воспоминания, давшие ему многократно повторенное всеми журналами и газетами имя «философа-художника». Писал в основном по-немецки, но после публикации на немецком языке трехтомных мемуаров сам сделал русский двухтомник («Бывшее и несбывшее») и сумел его опубликовать.

После смерти Степуна в 1965 году в немецких некрологах писали: «Волевым актом он из своей собственной ситуации, как из некоей модели, сделал историософ-

ские выводы и отправился на поиски Европы, в которой Россия и Запад находятся в одном ранге и в сущности должны быть представлены как однородные части Европы».

Понимая Россию как часть христианской Европы, Степун был при этом достаточно трезв, размышляя о возможном постсоветском будущем. Он считал наивным и бесчеловечным ждать от российских людей, уставших от многолетних большевистских требований жить «во имя идеала», что они сразу же после краха большевизма начнут жить во имя «православно-евразийских высших идей». Напротив, он был убежден, что «оспаривать интуитивную уверенность каждого замученного, замызанного советского человека, что царствие небесное — это прежде всего тихая чистая квартира, долгий, спокойный сон, хорошо оплачиваемый труд, законом обеспеченный отдых, отсутствие административного произвола и, главное, — *глубокий идеологический штиль*, — сейчас не только бессмысленно, не только преступно, но просто безбожно».

Не верил Степун и в мгновенную посткоммунистическую демократизацию России. «С трудом представляется, — писал он в своей последней статье, — превращение России, жившей пятьдесят лет под большевистским гнетом, в западноевропейскую парламентарную демократию». Однако для того, чтобы это все-таки произошло, он в который раз призывал соотечественников опираться не только на «интерес», а прежде всего на «истину», истину свободного человека, истину, которая одна лишь и обладает невероятной творческой силой в построении свободного открытого общества.

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ ВЕЙДЛЕ:
*«Чем дальше отходила Россия
от Европы, тем меньше становилась
похожей на себя...»*

АЛЕКСЕЙ КАРА-МУРЗА

В. В. Вейдле (1895–1979) — крупнейший историк, культуролог, эссеист и поэт, одна из последних фундаментальных фигур русской эмиграции XX века. Известный православный богослов протоиерей Александр Шмеман, близко общавшийся с Вейдле в Париже, говорил, что Владимира Васильевича даже как-то «неуклюже и смешно» определять банальным словосочетанием «культурный человек». «Был он не „культурным человеком“, а неким поистине чудесным воплощением культуры: он жил в ней, и она жила в нем с той царственной свободой и самоочевидностью, которых так мало осталось в наш век», — написал он в некрологе на смерть Вейдле. Поразительно также то, что Владимир Васильевич, лично знакомый с Блоком, Андреем Белым, Николаем Гумилевым, Ходасевичем, Маковским, — человек, по сути, современной эпохи. Он прожил длинную жизнь и скончался летом 1979 года в Париже в возрасте 84 лет.

Владимир Вейдле принадлежит к плеяде выдающихся деятелей русской эмиграции (в этом ряду можно назвать Ф. А. Степуна, Г. П. Федотова, Б. К. Зайцева, М. А. Осоргина), к тем, кто в своем неприятии советского большевизма выбрали не прямолинейно-партийную линию политического противостояния, а долговременную стратегию борьбы за русскую культуру, которая — верили они — если возродится и разовьется, непременно рано или поздно сбросит «большевизм», паразитирующий на русском варварстве.

Сам Вейдле говорил о себе так: «Я гожусь в хранители, а не в разрушители. Да и „культурник“ я, а не „общественник“; ничего с этим поделать не могу. Лувр больше люблю, чем Палату депутатов; если пришлось бы выбирать, выбрал бы Лувр. Социальная (как и всякая другая) несправедливость вовсе не мила моей душе, но я выберу ее — для себя выберу лохмотья и черствый хлеб, — если справедливости будут достигать ценой снижения и распыления культуры».

Поразительно, но именно «культурная стратегия», неброская, несуетная, но глубокая и принципиальная, сделала из Владимира Вейдле одну из наиболее действенных фигур антитоталитарной борьбы и культурно-нравственного преодоления большевизма.

Владимир Васильевич Вейдле родился 1 марта 1895 года в Петербурге, в обрусевшей немецкой семье. После окончания Реформатского училища поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета, который окончил в 1916-м. Учился он у таких выдающихся историков, как Дмитрий Власьевич Айналов и Иван Михайлович Гревс. Молодой историк оказался тогда и в центре петербургской литературно-художественной жизни: писал стихи в духе акмеизма, близко знал молодых А. Ахматову и О. Мандельштама.

Большевистского Октябрьского переворота и разгона Учредительного собрания В. В. Вейдле в Петрограде не застал. В поисках свободы мысли и преподавания приват-

доцент отправился, как он писал, «в достославный город Пермь»: сначала на поезде в Рыбинск, оттуда на пароходе вниз по Волге, потом — вверх по Каме. Здесь, в Пермском университете, созданном сначала как филиал Петроградского университета, кафедре истории возглавил друг Вейдле Николай Петрович Оттокар — историк-медиевист, тоже ученик И. М. Гревса. (Вскоре Оттокар стал деканом Пермского истфака, был некоторое время ректором университета. Законченное им уже в Италии исследование о борьбе семейных кланов в средневековой Флоренции, изданное на итальянском языке, принесло автору профессию во Флорентийском университете и звание почетного гражданина города Флоренция. Там он и похоронен.)

С 1918 по 1921 год В. В. Вейдле — профессор Пермского университета. Позднее он вспоминал об этом периоде: «А студенты и студентки ведь пермяками и пермячками были в большинстве. Столичные, однако, наставники их (и я в том числе, когда стал заниматься ими) вполне были ими довольны. И все мы, со своей стороны, не испорченной пищей их питали, не примешивали никакой заранее припасенной и не нами состряпанной идеологии к тем наукам, в которые мы их вводили... Все наши профессора... придерживались умеренно либеральных взглядов и от политики держались вдалеке. Октябрю, когда о нем узнали, не порадовался среди них никто... Но какой-нибудь контрреволюционной активности не проявляли. Считали, что университет при любом режиме — ах, какими оптимистами были! — останется университетом. Физики, мол, никакой большевик не переделает; а римское право тоже ведь исправлению задним числом не подлежит. Насчет фальсификации истории не только никто себе не представлял... но и понятия такого в мыслях ни у кого не было. И насчет марксистского ее истолкования никто у нас, кажется, не беспокоился по той простой причине, что и понятия о нем не имел. ...Одним словом, находились мы в состоянии райской невинности. Не вкусили еще от плодов древа познания добра и зла».

25 декабря 1918 года армия Колчака заняла Пермь, однако вскоре перешла к обороне. Вейдле был призван на военную службу в Белую армию, но служил недолго. После захвата красными летом 1919 года университет эвакуировался в Томск; в марте 1920-го большевистская власть перевела его опять в Пермь. Но работа уже потеряла для Вейдле смысл: идеология и здесь победила науку, — и он возвращается в Петроград.

10 августа 1921 года состоялось важное для В. Вейдле и всей русской культуры событие: хоронили Александра Блока. Вейдле, на плечах несший гроб на Смоленское кладбище, сказал: «Прощание с Блоком — это и прощание с Россией». Именно тогда, в кладбищенской церкви, стоя рядом с Ахматовой и Андреем Белым, почти за три года до отъезда своего из России, Владимир Васильевич ощутил, что Россия распалась надвое и той ее части, к которой он себя относил, по-видимому, уже нет места на родине: «Никогда охоты у меня не было ни к каким группировкам, объединениям, движениям, союзам, партиям принадлежать. Но молчаливое это самомнение мое меня ведь-таки зачисляло в какое-то большое целое, в пишущую, мыслящую Россию. Плохо ей теперь приходилось. Горжусь, что включил я себя в нее, пусть сознанием одним, не подвигом, ни даже малым каким-нибудь делом, тогда, в то тяжкое для нее время, в тот особо трагический и решающий для нее год».

Молодой историк, литератор, поэт пережил в России поражение культуры и ее распад. Участвовать в этом распаде служитель культуры В. В. Вейдле не мог и не хотел. По словам А. Шмемана, «опытом этого распада — любованье оказалось претворенным в служение, любовь к культуре — в борьбу за подлинную ее сущность».

Вейдле никогда (ни в России, ни потом во Франции) не был политическим противником левой доктрины как таковой. Он как-то написал: «Я — не фанатический приверженец какого-либо одного, противопоставляемого всем другим государственного строя. К социальным утопиям не склонен, идеалы социализма считаю убогими,

унижающими человека, но из капитализма отнюдь кумира себе не творю... Дело было в идеологии — не вообще идеологии, хотя бы и коммунистической, — а в тоталитарности ее. Сама она, этой тоталитарностью своей, этим захватом всех областей жизни и духовной жизни вышла за пределы политики (или политическим сделала все на свете), а потому и чуждых политике людей, вроде меня, сделала врагами своей политики». И далее: «Вопрос о присвоении прибавочной стоимости или о том, кому принадлежат орудия производства, мало меня интересовал. Но тирания захватившей власть тоталитарной идеологии страшнее всех тираний, когда-либо существовавших на земле».

В июле 1924 года Владимир Васильевич эмигрировал из большевистской России под предлогом научной командировки; в октябре приехал в Париж, где и прожил до конца жизни. Многие годы он работал профессором христианского искусства в парижском Богословском институте; его фигура, его личность и труды стали одним из важнейших центров русской культурной эмиграции. Это о таких, как Вейдле, сказал писатель Роман Гуль: «Они унесли с собой Россию»...

Протоиерей А. Шмеман вспоминал: «В темные годы немецкой оккупации, читал он на частной квартире, почти „конспиративно“, цикл лекций о русской поэзии. Я убежден, что никто из слушавших его не забудет вдохновенного чтения им Пушкина, Баратынского, Тютчева, Блока, Ахматовой. Этим чтением совершал он некое светлое торжество России и нас, молодых, навсегда посвящал в него».

После Второй мировой войны Владимир Васильевич преподавал в Европейском колледже в Брюгге, университетах Мюнхена, Принстона, Нью-Йорка. Близко знал европейских знаменитостей — Клоделя, Валери, Элиота, Беренсона. Свободно владел пятью европейскими языками. Сам он предпочитал писать по-русски, но и французы считали его блестящим стилистом. Вейдле был удостоен престижной литературной Риварольевской премии, а министр культуры Франции Андре Мальро наградил его званием «Кавалера ордена литературных заслуг».

По формальной классификации исследователей творчества Вейдле его общественные идеи принадлежат к «христианскому либерализму» или, как выразился литератор Юрий Иваск, «новому западничеству»: «Это западничество — не белинско-герценовское, а христианское, но включающее и античное наследие — общее для всей Европы».

Истинная творческая свобода Личности, лишенная всех партийно-идеологических ограничителей, — вот идеал Вейдле. Философской основой этой позиции является противопоставление им «мировоззрения», которое вырабатывается творческим личностным усилием, — «идеологии», всегда тяготеющей к утопичности и партийному упрощению. Вот замечательный философский фрагмент о фундаментальном различии «мировоззрения» и «идеологии»: «Мировоззрение — нестрогое единство, мыслительная протоплазма личности... Идеология — система идей, более или менее умело, но всегда нарочито и для известной цели спаянных друг с другом; система мыслей, которых никто более не мыслит. Их принимают к сведению и тем самым к руководству; мыслить их — это значило бы их подвергнуть опасности изменения. К личности идеология никакого внутреннего отношения не имеет, она даже и навязывается ей не как личности, а как составной части коллектива или массы, как одной из песчинок, образующих кучу песка».

Наиболее органичной основой для творческих мировоззренческих поисков личности, по мысли Вейдле, является христианство — важнейший духовный субстрат европейской культуры. Но там, где выветривается эта первохристианская основа, где понижается тонус культурного творчества, там зарождаются монстры тоталитарных идеологий. Эти идеологии тоже порождены Европой, но Европой дехристианизированной и опошленной.

А что же Россия? Культурная Россия — это неотъемлемая часть христианской Европы; эта христианская Европа была в свое время разделена, и ее православная часть насильно отброшена к Востоку. Но проблема России не столько политико-географическая; она еще и в том, что Россия — самая уязвимая и хрупкая часть европейской культуры: здесь культурный слой как нигде узок. Вейдле часто метафорически уподоблял Россию «огромной ватрушке», которую «скаредная хозяйка едва прикрыла тонким слоем творага».

Вот почему за культуру (и в этом смысле — за Европу) в России приходится постоянно и особенно настойчиво бороться. Огромную роль в выявлении и закреплении европейского призвания России сыграл Петр Великий. Конечно, Петр проделал лишь начатки культурной работы. «Ограниченность его была велика, но все же не превышала его гения... Он воспитывал мастеровых, а воспитал Державина и Пушкина; он думал о верфях и арсеналах, но вернул Европе Россию, а за ней весь православный мир, поворотом с востока на запад восстановил единство христианского мира, нарушенное разделением Римской Империи... Он многое в России покалечил и многое окостенил, но в самом главном он успел — как не слишком заботливый хирург, ничего не спасший больному, кроме жизни...»

Действия Петра — во многом импровизация, порожденная огромной личной волей, но общий вектор развития угадан им правильно. Да и сам Петр воспитывался в европейской христианской традиции. «Когда ему не было еще и двенадцати лет, — писал Вейдле, — в октябре 1683 года, во всех московских церквях служили благодарственные молебны по случаю освобождения Вены от турецкой осады: басурманской столицей та раскольничья, стрелецкая, избяная Белокаменная все же не была. Когда Петр, подросши, растолкал, взбудоражил ее, осрамил и развенчал, когда он всю страну „вздернул на дыбы“ и выстегал заморской плетью, многое так и осталось поруганным и оскверненным, но переворот был все-таки направлен верно, окно прорублено на Запад, а не на Восток. Доказательством этому служат все дальнейшие двести лет, и, прежде всего, тот необыкновенно бодрый и быстрый рост государственной, хозяйственной и созидательно-духовной жизни, которым было отмечено время от Ломоносова до Пушкина».

Владимир Вейдле всю жизнь иронизировал над популярной и до сих пор периодически реанимируемой версией о том, что Россия цивилизационно — не Европа, а некая «Евразия»: «Если называть Евразией Россию, — язвительно замечал он, — то уж, конечно, с неменьшим правом можно называть Испанию Еврафрикой... Остается поэтому объявить Сида, а заодно и Дон-Кихота национальными героями ливийских кочевых племен, а создавшую их страну — начисто исключить из европейского культурного круга».

Европеизация России как «возврат в Европу» после долгого отлучения, по мысли Вейдле, принципиально отличается от модернизации стран Востока. Не стоит путать европеизацию России и модернизацию, например, Индии или Японии. «Эти страны (Индия, Япония) сохраняют своеобразие вопреки европеизации и ровно в той мере, в какой она не завершена; Россия заложенное в ней своеобразие только вернувшись в Европу и смогла полностью осуществить. Она стала, конечно, более похожей на западные страны, чем была до того, но это сходство не уничтожило несходства, а сочеталось с ним и привело к цветению, которое вне такого сочетания было бы немыслимо...» «Если бы Петр был японским микадо или императором ацтеков, — написал как-то Вейдле, — на его земле завелись бы со временем авиационные парки и сталелитейные заводы, но Пушкина она бы не родила».

Итак, воссоединение с Западом означало возвращение Россией своего законного места в Европе, то есть обретение самой себя: «Русской культуре предстояло не поте-

рять свою индивидуальность, а впервые ее целостно приобрести, — как часть другой индивидуальности. Европа — многонациональное единство, неполное без России; Россия — европейская нация, неспособная вне Европы достигнуть полноты национального бытия».

Этот вывод — один из фундаментальных для русского культурного европеизма: свою подлинную самобытность Россия может обрести только в Европе. Наивны или лукавы те, кто думают, что чем дальше от Европы, тем якобы больше самобытности, — дело обстоит как раз противоположным образом: «Утверждаясь в Европе, Россия утверждалась и в себе. Современникам Екатерины это было так ясно, что споры, связанные с этим, касались лишь частных дел, а не существа дела; и почти столь же ясно это было современникам Александра I-го».

Ключевой вывод: в Европе Россия не теряет, а, напротив, обретает свою самобытность. «Золотой век» русской самобытной культуры наступал именно тогда, когда Россия была частью культуры общеевропейской. И наоборот: вне Европы Россия теряет свою самобытность. Поэтому европеизм и самобытность не только не противоречат друг другу, а, напротив, плодотворно подпитывают друг друга. Пример тому — великий Пушкин, в котором подлинный европеизм и глубочайшая русскость слились воедино.

Но что же приключилось с великой петербургской Россией, казалось бы, вернувшейся в Европу? Последующая историческая драма, по мысли Вейдле, заключалась в утрате правящим слоем России «петровского», культурно-просветительского импульса. Более того: сам «культурный класс», сама русская интеллигенция, будучи продуктом и двигателем европеизации, со временем породила в своей среде настроения и тенденции, ставшие орудием отчуждения России от Европы.

Классический русский спор «западников» и «самобытников» был поначалу вполне внутриевропейским явлением высокой культуры. Речь шла о том, на какую Европу ориентироваться: на христианскую и допросвещенческую, еще не затронутую прогрессистскими искушениями, — или уже на секулярную, познавшую вкус гражданственности и правового строя? Но родившийся на вполне европейской почве и ставивший, по сути, общеевропейские проблемы спор отечественных западников и самобытников постепенно внутренне деградировал, что привело к обоюдному партийному самоупрощению обоих лагерей. Личностные культурные усилия заменила «партийность», а мировоззренческий поиск и творчество были подменены все более затвердевающими и не терпящими диссидентства идеологиями. Поэтому как «самобытническая», так и «западническая» партии, равно деградировавшие, внесли общий вклад в понижение русской культуры, а следовательно, и в отчуждение России от Европы. Их общими жертвами часто становились подлинные европеисты, не укладывавшиеся в прокрустово ложе партийных идеологий.

Так, будучи сам убежденным «западником», Вейдле многократно защищал в своих текстах великого поэта, мыслителя и дипломата Федора Тютчева от нападков полуинтеллигентов из формально своего же западнического лагеря, которые записывали европеиста Тютчева в «антизападники» только на том основании, что Тютчев вполне справедливо критиковал «рабское подражание Западу», сравнивая иных русских прогрессистов с «дикарями», «кои бросаются на вещи, выброшенные им кораблекрушением». «Он (Тютчев. — А. К.) не только усвоил европейскую культуру, но и европейскую землю чувствовал своей землей. Мыслил он европейски, т.е. исходя из целого Европы, просто потому, что иначе мыслить не умел, и Россия была для него хоть и Восточной Европой, а Европой. Настоящий Восток был ему чужд, и ничего азиатского он в русском не искал... Тютчев не одобряет русского нарочитого европеизма, т.е. рабского подражания Западу, но это значит также, что двух цивилизаций, двух культур, русской и западной, для него нет, а есть лишь одна европейская, одинаково принадлежащая Западу и России».

По мысли Вейдле, такие фигуры, как Тютчев (сегодня мы и самого Вейдле можем с полным правом поставить рядом), абсолютно правы, считая русский европеизм проблемой культурного творчества, а не подражательства. Потому что в истории русского «западничества» действительно существовали периоды «преувеличений и односторонностей» вроде «галломании» или «пенкоснимательства и западнического чванства, никогда не исчезавших из русской действительности». Псевдоевропеизм русских подражателей, пренебрегавших национальной спецификой и стиравших ее, где только возможно, как это ни парадоксально, мог поставить под угрозу подлинное возвращение России в Европу: «Опасность денационализации России была реальна, и те, кто с ней боролся, были тем более правы, что лишенная национального своеобразия страна тем самым лишилась бы и своего места в европейской культуре». Подлинный русский европеизм обязан быть творческим и синтетичным: он «уже не согласится ни с славянофилом, готовым в некотором роде довольствоваться народным тоническим стихом, ни с западником, уху которого стих Кантемира должен казаться более радикально-„европейским“ и, значит, передовым, нежели стих Пушкина».

Но еще более губительными для русской культуры стали новые «заигрывания» как русского официоза, так и русского нигилистического диссидентства с идеями «самобытности» (равно высокомерные по отношению к культурной Европе). Новое отчуждение (пусть лишь частичное) России от Европы в последней трети XIX века имело для России фатальные последствия: «Как только затуманилось для нас лицо Европы, тотчас постигла нас странная сонливость и повсюду стали замечаться уныние, застой, убыль духовных сил. Наши шестидесятники заклеили окно на Запад прокламациями и подметными листками, отказались от всего его богатства ради горсти лозунгов, ничего не дававших мысли, но пригодных для борьбы. Как бы ни расценивать эту борьбу и всю их деятельность с других точек зрения, с точки зрения культуры она была в высшей степени вредоносна. Недаром проявляли они столь крайнюю нетерпимость ко всем инакомыслящим и столь резкую вражду ко всему, что нельзя было поставить на службу политике (разумеется, их политике): к религии, философии, поэзии, искусству и даже к научному знанию, непригодному для пропаганды и не направленному на непосредственное удовлетворение практических нужд». Все это, по мысли Вейдле, привело к «провинциализации» России, очень верно отраженной великим Чеховым, и в конечном счете послужило к образованию того умственного склада, который вскоре стал характерен уже не только для верхних и даже не для средних, но и для низших слоев интеллигенции. Именно этот слой «полуинтеллигентов», использовавший отчуждение от европейской высокой культуры в качестве своего жизненного субстрата, и восторжествовал в России после Октября: «Полуинтеллигенты пришли к власти, а интеллигенция более высокого культурного уровня оказалась выгнанной или уничтоженной. В России началось снижение культуры, а потом и сдача ее на слом при Сталине, вместе с отчуждением от остальной Европы, достигшим размеров невиданных в послепетровские времена. Россия отходила от Запада... Самобытность она этим не приобретала. Наоборот, чем дальше отходила, тем становилась меньше похожей на себя...»

Каков же конкретный механизм этого понижения и опошления русской культуры в среде русской «псевдоинтеллигенции»? Здесь Вейдле формулирует еще одну историко-философскую мысль, которая в таком целостном и одновременно четко афористическом виде более ни у кого не встречается. Речь идет о проблеме «своего» и «чужого» в культуре и истории. По мнению Вейдле, партийные идеологи-полуинтеллигенты, рядящиеся в тогу либо «западников», либо «самобытников» (по сути, неважно) и в основном имитирующие непримиримые расхождения, на самом деле в главном *едины*. И те и другие равным образом *неправомерно противопоставляют Россию и Европу* и, таким образом, играют в общую контркультурную и в этом смысле антироссийскую

игру. «Безоговорочное и непримиримое противопоставление России Западу, Запада России есть ядро идейного комплекса, любопытного прежде всего тем, что его создали и дружно развивали ни в чем другом не согласные между собой умы: исключительные приверженцы всего русского в России и фанатические поклонники Запада на Западе». И далее: «И те, и другие стремятся возвеличить „свое“ путем умаления „чужого“, не понимая относительности различия между своим и чужим, и само стремление это приносит им заслуженную кару, неизбежно приводя к сужению своего, которому начинает отовсюду угрожать их же собственными усилиями раздутое, разросшееся чужое. Ревнивые европейцы окапываются за Рейном и Дунаем, а наши собственные самобытники отступают от Невы к Москве-реке, покуда и Москва не показалась им еще недостаточно восточной». Отсюда общий драматический результат: «Вместо осознания России, как органической составной части Европы, от нее временно отделенной и имеющей вернуться в ее лоно, сохраняя при этом свою особенность, свое неповторимое лицо, у нас стремились либо закрепить навсегда ее отдельность, либо совершить непоправимый отказ от ее особой судьбы, от исторической ее личности». В этом смысле «грех» русских радикальных западников Вейдле видел в том, что «им очень хотелось сделать Россию Европой, но они упорно забывали, что Россия уже Европа» и в своем прогрессистском усердии часто безжалостно вытаптывали то, что по сути было европейским.

Итак, самобытники отрицали Европу, а западники отрицали Россию. Но и те и другие противопоставляли Россию Европе, и большевикам оставалось проделать лишь нехитрую идеологическую компиляцию — совместить пороки обеих концепций: «Революция в советской ее форме роковым образом унаследовала оба отрицания... Отрицание Европы, от которой она Россию отторгла, и отрицание России, которой она навязала глубоко ей чужой... бездушный техницизм». Иначе говоря, большевики, убив Европу в России, радикально отторгли Россию от Европы, но тем самым они уничтожили и саму Россию, нивелировав ее с другими коммунизирующимися сообществами.

Для Вейдле СССР принципиально не был и не мог быть наследником российской государственности: «Ведь эти четыре буквы или четыре слова всего лишь ко всем услугам готовая и ради них придуманная кличка, которая при случае подошла бы к Патагонии или Австралии не хуже, чем к Московии... И обозначает она, конечно, не душу России и даже не ее тело, а лишь универсального покрова мундир, напаянный на нее совершенно так же, как он напаян на многие другие страны и который закройщики его готовятся напаять на весь мир». Равным образом, и РСФСР («Российская советская...» и проч.) ничего общего не имеет с Россией: «Россия тут хоть и упомянута, но в виде прилагательного, как если бы человека назвали не Иваном, а ивановской разновидностью блондинов среднего роста».

В России произошла трагедия, но эта трагедия, по мысли Вейдле, — общая для всей культурной Европы. Ведь уничтожение России как части Европы не может быть безразлично самой Европе. Важно всем признать, что Россия в данной ситуации расплачивается не только за свои, но и за общие, в том числе общеевропейские, грехи. При этом формой расплаты является не только русский коммунизм, но и итало-немецкий фашизм, и «нет в мире ни одной страны, вполне неповинной во взрощении этой двойной отравы». Не любил Вейдле и американского дегуманизованного техницизма, часто самодовольно противопоставляющего себя «старой Европе». Он полагал, что антикультурный американизм — это такой же «вывих» и «болезнь» Европы, как и советский большевизм: «Россия и Америка... Обе страны поражены наиболее крайней формой утилитарно-технического идолопоклонства, так как все отличия рядом с этим отступают на второй план. В России идола принуждают поклоняться, в Америке поклоняются ему свободно; первое — страшней, но второе, пожалуй, еще безвыходней».

В конце жизни Вейдле надеялся, что, переболев большевизмом, получив этот исторический урок и преподав его другим нациям, Россия сможет вернуться в Европу и там, своим примером, послужит предупреждением для самой Европы от новых возможных всплесков антикультурной, тоталитарной варваризации: «Разучилась Россия — под кнутом разучилась — мыслить себя Европой, а все-таки, если спасется она из-под кнута, если вернет себе свою историю, она воссоединится с Западом и будет снова не только христианской, но и европейско-христианской страной».

Итак: Россия — часть Европы, но она так же самобытна и единственна, как и любая другая страна Европы. Это парадоксальное умозаключение и сегодня может резать слух не только правоверных «самобытников», но и иных западных «идеологов-партийцев», на животном уровне отторгающих сами слова «самобытность», «особое призвание» и др. И европеист Вейдле хорошо понимал это. «Как это я, прославивший западником, — вопрошал он, — могу говорить о единственности России... о ее миссии в отношении остальной Европы? Но отчего же нет? Быть Мессией — одно; обладать особым призванием — совсем другое. Давно пора понять, что Россия так же единственна в европейском целом, как Англия или Италия. Причем значение части для целого как раз и определяется ее несходством с другими ее частями». Европа здесь уподобляется оркестровой гармонии инструментов, где каждый имеет свой смысл, свой стиль и свою задачу, но звук которого может раскрыться только в общем симфоническом звучании.

Какой же вывод следует из этих историософских размышлений? Он ясен: «Пора вернуться в Россию. Не нам, а России, детям и внукам всех тех, с кем мы расстались, когда мы расстались с ней. Пора им зажечь в обновленной, но все же в той самой стране, где мы некогда жили, в России-Европе, в России, чья родина — Европа. Из нерусского, мирового по замыслу, но Европе враждебного СССР пора им вернуться в Россию и тем самым в Европу; пора им вернуться на родину».

Возвращение России в Европу — это возвращение в свою, европейскую культуру. Скончавшийся в 1979 году Вейдле верил в новую постбольшевистскую Россию, которая просто обязана будет «заново прорубить окно — не в Европу даже, на первых порах, а в свое близкое и родное, но наполовину неведомое ей, украденное у нее прошлое». «Чтобы это случилось, — писал он в конце жизни, — нужно вымести сор из избы, убрать гнездящуюся по углам путаницу и мертвечину; нужно совесть раскрепостить, нужно выбросить за окно отрепья давно исчерпавшей себя, давно беспредметной идеологии. Срок для этого настал. Люди для этого есть. Пора нашей стране очнуться, прозреть, пора зажечь на ветру, а не взаперти, новой, зрячей, полноценной жизнью».

...В молодости Владимир Вейдле считался неплохим поэтом, был завсегдаем знаменитого поэтического кабаре «Бродячая собака». Но потом резко бросил стихосложение. И вот, спустя почти полвека, в семидесятилетнем возрасте он вдруг снова ощутил в себе поэтический дар. Вдохновила его Италия — Венеция, Рим, Неаполитанский залив, те самые места, которые он впервые посетил в шестнадцатилетнем возрасте и которыми пропитался на всю жизнь (в Венеции, например, он в конце жизни бывал ежегодно — иногда по нескольку раз). Но что характерно? Начав в юные годы писать вирши в нарочито усложненном акмеистском стиле, в конце жизни Владимир Васильевич «впал» (как сказал бы другой великий поэт) «в невысказанную простоту», кристальную и строгую, очень далекую от старческого сентиментальничанья. Но и здесь, в поздней философской лирике, Вейдле мучается темой «возвращения» (трактуемого также и как христианское «воскресение») и «невозвращения», безвозвратного ускользания, исчезновения и утраты. Именно об этом одно из любимых им самим стихотворений — «Берег Иский». Это вблизи Неаполя, 1965 год, всего двенадцать строк:

Ни о ком, ни о чем. Синева, синева, синева,
Ветерок умиленный и синее, синее море.
Выплывают слова, в синеву уплывают слова,
Ускользают слова, исчезая в лазурном узоре.

В эту синюю мглу уплывать, улетать, улететь,
В этом синем сиянье серебряной струйкой растаять,
Бормотать, умолкать, улетать, улететь, умереть,
В те слова, в те крыла всей душою бескрылой врасая...

Возвращается ветер на круги свои, и она
В синеокою даль неподвижной стрелою несется,
В глубину, в вышину, до бездонного синего дна...
Ни к кому, никуда, ни к тебе, ни в себя не вернется...

...Здесь невольно приходят на память мемуары Владимира Вейдле о его последнем дне на родине, в июле 1924 года, в любимом им Петербурге (иных названий города не признавал), накануне окончательного отъезда в эмиграцию. Он вспоминал, как пошел в тот день в Эрмитаж и в пустом зале опустился на колени перед картиной Рембрандта «Возвращение блудного сына»...

АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ САХАРОВ:
«Свобода нуждается в защите
всех мыслящих людей...»

ВЛАДИМИР КАРА-МУРЗА

«Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой» — этими словами Гёте Андрей Дмитриевич Сахаров (1921–1989) предварил свой первый, написанный в Москве и опубликованный на Западе в 1968 году политический манифест. Написание «Размышлений о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе» обозначило новый период в его жизни: создатель советской водородной бомбы, трижды Герой Социалистического Труда, лауреат Сталинской и Ленинской премий стал борцом с тоталитарным режимом, принципиальным оппонентом советского строя, диссидентом и правозащитником. Как и для тысяч других людей, 1968 год стал для Сахарова переломным — позже он сам напишет, как под «грохот танков на улицах непокорившейся Праги» таяли его последние иллюзии относительно советского режима.

А. Д. Сахарова могли обвинять в наивности, идеализме, незнании житейских реалий, чрезмерной доверчивости, но никто и никогда не смел ставить под сомнение его честность, благородство, принципиальность и мужество. На собственном опыте осознав преступность коммунизма, добровольно обменяв комфортабельное существование академика на гонения, репрессии и ссылку, так подорвавшие его и без того слабое здоровье, Андрей Дмитриевич целиком отдался делу борьбы за демократию и свободу. Взгляды Сахарова оставались неизменными, как и его требования к власти: общая амнистия всех политических заключенных, отмена монополии КПСС и введение многопартийной системы, денационализация и деколлективизация экономики, свобода слова, печати, совести, убеждений, собраний и передвижения, реабилитация репрессированных, подлинное осуждение преступлений сталинизма, демилитаризация и разоружение, охрана окружающей среды, отмена смертной казни.

Андрей Дмитриевич Сахаров рос в многолюдной московской квартире, окруженный любовью родителей и близких, в большой интеллигентной семье. Отец Дмитрий Иванович, профессор физики, привил сыну любовь и интерес к этому предмету; от матери Екатерины Алексеевны ему достались необщительность и упорство — черты, которые останутся с Андреем Сахаровым до конца его жизни. Первые школьные годы Андрей учился дома («для меня влияние семьи было особенно большим», напишет он впоследствии), а в 1938-м, окончив школу, легко поступил на физический факультет Московского университета, где вскоре стал считаться лучшим студентом, когда-либо учившимся в его стенах. Окончил МГУ с отличием Сахаров в ашхабадской эвакуации и в столицу вернулся после окончания войны, будучи уже женатым (со своей первой женой Клавдией Алексеевной Вихиревой он проживет до ее смерти в 1969 году). В Москве Андрей Дмитриевич поступил на работу в Физический институт Академии наук СССР, где его научным руководителем стал лауреат Нобелевской премии по физике академик Игорь Тамм. Работа Сахарова в области исследования атома, предло-

женный им расчет мю-мезонного катализа ядерной реакции в дейтерии были замечены: уже в 1947 году, в возрасте двадцати шести лет, он становится кандидатом физико-математических наук, а годом позже его включают в состав специальной секретной группы академика Тамма по проверке проекта водородной бомбы, над которым работала группа академика Я. Б. Зельдовича. Но молодой ученый предлагает собственный проект водородной бомбы и в 1950 году в составе группы Тамма направляется в сверхсекретный атомный центр в город Саров (знаменитый «Арзамас-16»). «Все мы тогда были убеждены в жизненной важности этой работы для равновесия сил во всем мире и увлечены ее грандиозностью», — позже напишет академик Сахаров об этом времени.

12 августа 1953 года Советский Союз провел успешное испытание своей первой водородной бомбы. В том же году Сахаров защищает докторскую диссертацию, становится самым молодым в истории Академии наук СССР действительным членом и награждается звездой Героя Социалистического Труда и Сталинской премией. «Этот человек сделал для обороны нашей родины больше, чем мы все, присутствующие здесь» — так отозвался об Андрее Сахарове представлявший его на собрании физико-математического отделения АН СССР академик И. В. Курчатов. В 1955 году успешное испытание новой, более мощной водородной бомбы принесло Сахарову вторую медаль Героя Соцтруда и Ленинскую премию. Его последней наградой от советского правительства стала третья медаль Героя, полученная за самый мощный термоядерный взрыв в истории планеты — испытание 50-мегатонной водородной бомбы на Новой Земле 30 октября 1961 года.

Будучи непосредственным участником советской ядерной программы, академик Сахаров не понаслышке знал, какими последствиями чревата любая ошибка, любой сбой в этой сфере. Да и не в ошибках было дело: понемногу он начинал понимать, какому режиму собственными руками создавал смертоносное оружие. Беспокойство появилось уже в 1953 году, когда Андрей Сахаров стал свидетелем массового выселения тысяч людей из окрестностей испытательного полигона, и усилилось после первого испытания бомбы. На праздничном банкете Андрей Дмитриевич поднял бокал за то, «чтобы бомбы взрывались лишь над полигонами, и никогда над городами», после чего прервавший его на полуслове маршал Неделин резко заметил, что, мол, не дело ученых вступать в дела политического руководства.

Первые страницы общественной деятельности академика Сахарова относятся именно к 50-м годам, когда он еще работал в режиме сверхсекретности над усовершенствованием водородной бомбы. Уже в это время возникает его первый конфликт с высшим руководством СССР — председателем Совета министров Никитой Хрущевым и министром среднего машиностроения Ефимом Славским. Хрущеву Андрей Дмитриевич писал о недопустимости планируемого урезания средств на образование, а главное — о необходимости отказаться от ядерных испытаний, которые лишь подгоняют гонку вооружений и интенсифицируют «холодную войну». Тогда же, в 1958 году, Андрей Дмитриевич публикует две статьи, в которых подробно рассказывает об опасности ядерных испытаний для здоровья людей, об их негативном влиянии на наследственность и среднюю продолжительность жизни. На первый план для Сахарова выходят проблемы экологии и защиты окружающей среды, которые будут оставаться для него важнейшими до конца жизни. Андрей Сахаров известил советское руководство о том, что каждый мегатонный ядерный взрыв приводит к десяти тысячам случаев онкологических заболеваний. Ответом советской власти на озабоченность действительного члена АН СССР стал, как уже говорилось, взрыв 50-мегатонной водородной бомбы. Гигантский клубящийся гриб, выросший на 67 км, был виден, несмотря на сильную облачность, на тысячекилометровом расстоянии. В поселке, находившемся в 400 км от эпицентра взрыва, были разрушены все дома. «Я не мог ничего поделаться

с тем, что считал неправильным и ненужным. У меня было ужасное чувство бессилия. После этого я стал другим человеком» — так скажет Сахаров о том моменте своей жизни. После проведения третьего испытания конфликт между ним и властью достиг особой остроты, и все же во многом именно авторитет Сахарова и его давление на власть заставили советское руководство подписать Московский договор 1963 года, запретивший ядерные испытания в трех сферах (атмосфере, воде и космосе).

Важным моментом перехода Андрея Сахарова к активной общественной деятельности стало его выступление на заседании Академии наук 26 июня 1964 года. В тот день Сахарову и его коллегам, академикам Энгельгардту и Тамму, удалось не допустить реванша псевдонаучных идей Трофима Лысенко, получивших столь широкое распространение при Сталине. А первым открытым выступлением академика Сахарова против советского режима стало подписанное им самим, Игорем Таммом, Петром Капицей и еще двадцатью двумя представителями творческой и научной интеллигенции письмо Генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу. Это письмо стало реакцией на процесс над писателями Андреем Синявским и Юрием Даниэлем, осужденными в 1966 году за «антисоветскую пропаганду». Андрей Дмитриевич назвал «величайшим бедствием» возрождение правящим режимом сталинской политики нетерпимости и преследования свободной мысли. Следующий год ознаменовался очередными громкими политическими процессами над Гинзбургом, Галансковым, Буковским, Хаустовым, а 1968-й, вошедший в историю Западной Европы массовыми выступлениями молодых радикалов, в странах восточного блока запомнился «пражской весной». Как уже говорилось, именно появление советских танков на улицах чешской столицы подвигло Андрея Дмитриевича бороться против диктатуры КПСС. Летом 1968 года на Западе выходит первое серьезное политическое эссе Сахарова, названное им «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе». Как позже признавал сам Сахаров, некоторые изложенные в этом труде положения были чересчур наивными, другие — далекими от реалий жизни в Советском Союзе. Многие его тогдашние предположения и прогнозы не подтвердились на практике. Друг и соратник Андрея Сахарова по правозащитному движению Владимир Буковский вспоминает, насколько он был поражен практической неосведомленностью Сахарова, его незнанием каждодневной жизни миллионов советских граждан. Так, в «Размышлениях» можно встретить пассаж о том, что советские люди должны всегда благодарить коммунистическую партию за то, что она освободила женщину и освободила труд. Выйдя из тюрьмы в 1970 году, Буковский на первой же своей встрече с Андреем Дмитриевичем спросил его, видел ли он когда-нибудь, как бабы в грязных спецовках кладут на московских дорогах раскаленный асфальт? На что Сахаров с совершенно искренним изумлением переспросил: «Какие бабы? Какой асфальт?..»

Очевидно, что человеку, который всю свою жизнь провел в закрытых и элитарных академических сферах, было трудно понять советскую жизнь со всеми ее нюансами и «прелестями». Он постигал ее медленно, но основательно и безошибочно. Уже в своих статьях середины 70-х Сахаров пришел к неизбежному выводу о том, что «капиталистические демократические государства ближе к истинно человеческому обществу, чем любые тоталитарные режимы», в то время как «социализм всюду неизбежно означал однопартийную систему, власть алчной и неспособной бюрократии, экспроприацию всей частной собственности, террор ЧК, насилие над свободой совести и убеждений».

То, что многие считали наивностью Андрея Дмитриевича, на самом деле было беспокойством за судьбу каждого отдельного человека, желанием всегда и везде ставить во главу угла не абстрактные идеологические химеры, а главные и непреложные ценности — человеческую жизнь, честность, нравственность. Демократизацию и де-

милитаризацию он считал «единственной альтернативой гибели человечества», а «любые действия, увеличивающие разобщенность человечества, любую проповедь несовместимости мировых идеологий и наций» — «безумием, преступлением».

И конечно же, главной темой «Размышлений» стала свобода. «Человеческому обществу необходима интеллектуальная свобода получения и распространения информации, информационная свобода непредвзятого и бесстрашного обсуждения... Свобода мысли — единственная гарантия от заражения народа массовыми мифами, которые в руках коварных лицемеров-демагогов легко превращаются в кровавую диктатуру», — писал он в своей первой политической работе, предупреждая, что над свободой нависла угроза неосталинизма. Как бы заранее отвечая тем, кто постоянно пытался столкнуть «кучку антисоветских интеллигентов» и «народные массы», Андрей Дмитриевич подчеркивал, что «свобода мысли нуждается в защите всех мыслящих людей. Это задача не только интеллигенции, но и всех слоев общества». Противопоставив официальным данным КГБ о том, что за годы сталинского террора было убито «всего» 700 тысяч человек, свою цифру — 10–15 миллионов (позже исследования Александра Солженицына, Владимира Буковского и западных историков и демографов придут к числу 40–60 миллионов), академик Сахаров потребовал всенародного расследования преступлений сталинизма, которое, разумеется, отнюдь не входило в планы партийной верхушки. Назвав «позором» страны осуждение Буковского, Гинзбурга и десятков других оппонентов советского режима, Андрей Дмитриевич предупредил об опасности надвигающейся волны государственного антисемитизма.

Сам Сахаров охарактеризовал свои «Размышления» как «компиляцию либеральных, гуманистических и наукократических идей». Известный американский журналист Харрисон Солсбери назвал этот текст «высшей отметкой движения за либерализацию в коммунистическом мире». После опубликования сахаровских «Размышлений» на Западе в июле 1968 года Андрей Дмитриевич был отстранен от всех секретных работ и переведен в Физический институт имени Лебедева в качестве старшего научного сотрудника. Это была низшая должность, которую мог занимать советский академик.

Андрей Сахаров прекрасно понимал, что, идя на полный разрыв с советской властью, оставляет в прошлом спокойную и безбедную жизнь физика-ядерщика и вступает на тернистый путь борца с тоталитарным режимом. Последующие годы жизни Андрея Дмитриевича вплоть до ее конца ознаменовались преследованием, репрессиями, гонениями и травлей со стороны коммунистического руководства. В 1970 году вместе с известными диссидентами Чалидзе, Твердохлебовым, Шафаревичем и Подъяпольским Сахаров создает Комитет прав человека. «С 1970 года защита прав человека, защита людей, ставших жертвой политической расправы, выходит для меня на первый план» — так объяснил Андрей Дмитриевич свою инициативу. Наука действительно отошла для него на второй план — все свое существование академик Сахаров посвятил защите тысяч живущих и памяти миллионов погибших, репрессированных советским режимом людей. Уже весной 1971 года Сахаров пишет новое письмо Брежневу, в котором требует у генсека объявить общую амнистию политическим заключенным, прекратить использование психиатрии в целях борьбы с диссидентами (как раз в 1971 году об этом приеме советского режима миру рассказал Владимир Буковский), ввести свободу печати и свободу выезда из СССР, реабилитировать репрессированные народы, начать ядерное разоружение и провести альтернативные, а не бутафорские выборы в Верховный Совет. Одновременно с этим сам Сахаров не пропускал ни одного политического процесса, ездил в места ссылки, бесконечно писал письма в советские и международные организации, проводил голодовки, устраивал, несмотря на запреты КГБ и Генеральной прокуратуры, пресс-конференции, активно

общался с западными журналистами. Помогал всем, чем мог, в том числе и деньгами: в 1969 году все свои сбережения он отдал на строительство Онкологического центра и на помощь Красному Кресту, а на полученную им в 1974 году Международную премию «Чино дель Дука» (25 тысяч долларов) вместе со своей новой супругой, правозащитницей Еленой Боннэр, создал Фонд помощи детям политзаключенных. Судебные процессы над диссидентами подразумевались как закрытые, но Сахарову удавалось их посещать. «Он являлся на наши суды при всех своих орденах и медалях и говорил милиционерам, что он — академик Сахаров, всемирно известный ученый, — вспоминает с улыбкой Владимир Буковский. — И они робели, не осмеливались его не пропускать. Да у него наград было больше, чем у Брежнева!» Правда, потом компартия и КГБ все же распространили специальное распоряжение: Сахарова А. Д. на судебные процессы не пропускать. На процесс самого Буковского в 1972 году Андрея Дмитриевича не пустили — так и простоял все два часа под дверью.

В 1975 году в Западной Германии вышла в свет книга Андрея Дмитриевича «О стране и о мире». В ней Сахаров привлек внимание западной общественности к опасности получающей широкое распространение среди европейской молодежи «левой моды», «леволиберальных» настроений, сочувствия СССР. По его мнению, это грозило потерей единства Запада перед лицом тоталитаризма и сползание его самого к «госкапиталистическому тоталитарному социализму», что не менее опасно. Напомнил академик Сахаров и слова Белинкова, сказавшего как-то, что «социализм — это такая штука, которую легко попробовать, да трудно выплюнуть». От советского же руководства Андрей Дмитриевич в очередной раз потребовал предоставления гражданских свобод, полной амнистии политзаключенных, перехода к многопартийной системе, предоставления республикам права на добровольный выход из СССР. Впервые прозвучали и экономические требования: «денационализация всех видов экономической и социальной деятельности», «деколлективизация в сельском хозяйстве» и свободный обмен рублием на иностранную валюту.

В том же, 1975 году Андрей Дмитриевич Сахаров стал первым советским гражданином, получившим Нобелевскую премию мира (по иронии судьбы, вторым спустя пятнадцать лет станет генсек ЦК КПСС). Нобелевский комитет пояснил, что премия присуждается академику Сахарову за его «бесстрашную поддержку фундаментальных принципов мира между людьми» и «мужественную борьбу со злоупотреблением властью и любыми формами подавления человеческого достоинства». Советские власти не выпустили Андрея Дмитриевича из страны: вместо него получать премию в Осло полетела Елена Боннэр, зачитавшая написанную Сахаровым Нобелевскую лекцию «Мир, прогресс и права человека». Главное место в лекции занимало поименное перечисление 126 узников совести в СССР (в их числе Буковского, Марченко, Плюща, Мороза, Глузмана, Хаустова, Ковалева, Твердохлебова, Любарского) — и это, как подчеркнул Сахаров, была лишь крохотная часть тех, кто страдал за свои убеждения в Советском Союзе. «Я прошу вас считать, что все узники совести, все политзаключенные моей страны разделяют со мной честь Нобелевской премии мира», — подчеркнул Андрей Дмитриевич в своей лекции.

В последующие пять лет Сахаров продолжил свою правозащитную деятельность: ездил в Омск, Ташкент, Якутию и Мордовию для поддержки местных диссидентов, писал все новые письма советскому руководству, сам получал сотни писем со словами поддержки и просьбами о помощи со всех концов огромной страны. С новыми силами академик Сахаров вступил в борьбу за отмену смертной казни в СССР и во всем мире, считая ее «варварским институтом», неэффективным способом борьбы с преступностью и терроризмом, «катализатором более массового исхода безумия, мести и жестокости». «Смертная казнь не имеет моральных и практических оправданий и пред-

ставляет собой пережиток варварских обычаев мести, — писал Андрей Дмитриевич. — Мести, осуществленной хладнокровно и обдуманно... и поэтому особенно позорной и отвратительной».

Именно в эти годы, последние годы перед ссылкой, Андрей Дмитриевич Сахаров четко сформулировал свой политический идеал, который, как и многое написанное Сахаровым, звучит просто и бесспорно — «плюралистическое общество с безусловным соблюдением основных гражданских и политических прав человека; общество со смешанной экономикой, осуществляющее научно регулируемый всесторонний прогресс».

И снова Сахаров требовал открытого осуждения преступлений советского режима, политических действий КПСС и кровавых актов карательной системы ВЧК — ГПУ — НКВД — МГБ — КГБ. «Народ без исторической памяти обречен на деградацию», — повторял Андрей Дмитриевич, говоря, что Советскому государству необходимо вскрыть язвы прошлого, предать гласности и всенародному обсуждению все то, чем вошел в историю Союз Советских Социалистических Республик: массовым кровавым террором, насильственной коллективизацией, ГУЛАгом, геноцидом целых народностей, сотрудничеством и подписанием договора с Гитлером, репрессиями тех, кто в ходе войны оказался в плену, государственным антисемитизмом. Но власть Сахарову не отвечала, по крайней мере открыто. Ответила она ему лишь в 1980 году, после того как академик Сахаров резко и публично (в том числе в интервью ведущим западным средствам массовой информации) осудил советскую агрессию в Афганистане, потребовал от Брежнева немедленного вывода войск и в который раз всеобщей политической амнистии в СССР. Ответ советского правительства был жестким и незамедлительным.

Однако впечатление, что советская власть Сахарова попросту игнорировала, далеко от действительности — она его смертельно боялась и не останавливалась ни перед какими мерами для «пресечения его деятельности» на самом высоком уровне. В 1973 году в «Правде» появляется письмо сорока академиков, «возмущенных» и «осуждающих» «антиобщественную деятельность Сахарова А.Д.». Разумеется, текст писался в ЦК КПСС, и сразу же после публикации письма на Андрея Дмитриевича начались открытые гонения. В феврале того же 1973 года совместный циркуляр ЦК КПСС и КГБ СССР объявляет «нецелесообразным» упоминание Сахарова А.Д. в советской печати — мол, огласка, хотя бы и негативная, только «способствует антиобщественной деятельности» академика. Власти взяли курс на замалчивание деятельности Сахарова — вроде как и нет вообще такого человека. Соответствующая поправка была внесена даже в Советский энциклопедический словарь. «Сахаров А. Д. (р. 1921), сов. физик, акад. АН СССР (1953). Осн. тр. по теоретич. физике. В последние годы отошел от научной деятельности» — вот и все, что следовало знать советским гражданам о Сахарове.

Но, как известно, официальные издания были не единственным источником информации для жителей СССР, а западные «голоса» освещали деятельность Андрея Дмитриевича регулярно и подробно. Уже в январе 1974 года сам председатель КГБ Юрий Андропов пишет в ЦК почти паническое письмо (№ 266-А от 29.01.1974 года) о выявлении случаев распространения на станциях ленинградского метро «политически вредных» листовок в поддержку Сахарова и Солженицына, изъятых сотрудниками госбезопасности в количестве 235 штук. После присуждения академику Сахарову Нобелевской премии мира делать вид, что его не существует, было, разумеется, бесполезно, и 15 октября 1975 года Андропов снова пишет в ЦК записку «О принятии конкретных мер по компрометации присуждения Сахарову А. Д. Нобелевской премии». В этом документе все было изложено действительно очень детально, вплоть до указаний конкретным газетам напечатать конкретные статьи. Любопытен избранный КГБ метод дискредитации Андрея Дмитриевича на Западе: тамошним союзникам СССР пред-

писывалось особо акцентировать внимание на роли Сахарова в создании советской водородной бомбы и говорить об «абсурдности» присуждения Нобелевской премии мира создателю оружия массового поражения. В самом СССР результат андроповской записки проявился немедленно публикацией в «Известиях» письма семидесяти двух советских академиков, «единодушно осудивших» решение Нобелевского комитета. Нашли в себе мужество отказаться от подписания этого пасквиля лишь пять академиков — Зельдович, Гинзбург, Капица, Канторович и Харитон. В беседе с президентом Нью-Йоркской академии наук доктором Лейбовицем президент АН СССР Анатолий Александров, следуя в фарватере партийно-государственной линии, старательно воспроизводил одобренную «наверху» клевету на Сахарова. Поток антисахаровских документов, исходивших с самого верха, не прекращался: известно в числе десятков других бумаг постановление ЦК КПСС «О мерах по пресечению деятельности Сахарова А. Д., наносящей ущерб государственной безопасности» от 4 ноября 1978 года. Хорошо известно и высказывание самого Андропова, назвавшего А.Д. Сахарова «врагом народа номер один».

Арестовали А. Д. Сахарова 22 января 1980 года, после его требования остановить афганскую войну. Решением ЦК КПСС академик Сахаров был лишен всех званий и наград и без суда и следствия сослан в закрытый город Горький, где ему предстояло провести под домашним арестом и неустанным надзором КГБ почти семь лет. В качестве места жительства для Андрея Сахарова и Елены Боннэр была избрана бывшая явочная квартира КГБ. Перед их дверью день и ночь дежурил милиционер, никого к Андрею Дмитриевичу не пропускавший и ни разу за все годы не обмолвившийся с Сахаровым или Боннэр хотя бы одним словом. Кстати, точно так же никого не пускали и в московскую квартиру Сахарова на Земляном Валу, и когда там зимой открылось окно и лопнули батареи, то квартира в таком виде, отсыревшая и засыпанная штукатуркой, и простояла до самого возвращения Андрея Дмитриевича домой в конце 1986-го. Телефона у Сахарова в Горьком, естественно, тоже не было, а написанные им рукописи и дневники, которые он пытался вести в ссылке, периодически выкрадывались КГБ. Именно к годам ссылки относится один из главных общественных трудов Андрея Сахарова «Опасность термоядерной войны», в которой он призывает ко всеобщему разоружению. Трижды (в 1981, 1984 и 1985 годах) Андрей Дмитриевич объявлял голодовку, и каждый раз его насильственно госпитализировали с принудительным кормлением. В октябре 1986 года академик Сахаров пишет письмо новому Генеральному секретарю ЦК КПСС Михаилу Горбачеву с просьбой выпустить Елену Боннэр на лечение за рубеж, обещая при этом отойти от общественной деятельности. 16 декабря 1986 года неожиданно пришедшие в горьковскую квартиру Андрея Дмитриевича сотрудники КГБ установили у него телефон, по которому раздался первый и последний звонок — от Генерального секретаря ЦК КПСС. Горбачев разрешил академику Андрею Сахарову вернуться в Москву после семилетней незаконной ссылки.

Сразу же по приезде домой в конце декабря 1986 года Андрей Сахаров возвращается к активной общественной деятельности: продолжает добиваться освобождения политзаключенных, требует начала ядерного разоружения, демилитаризации и принятия мер по охране экологии, а в 1988 году становится почетным председателем общества «Мемориал», созданного жертвами сталинских репрессий. Андрей Дмитриевич дожил до первых с 1917 года свободных выборов в России, выборов народных депутатов СССР в марте 1989 года. Уступив московский территориальный избирательный округ Борису Ельцину, академик Сахаров баллотировался и был избран в первый и последний советский парламент по списку Академии наук СССР. Опубликованная им предвыборная платформа включала в себя, как и все его мировоззрение, элементы либерализма, экологизма, да и просто общечеловеческих и нравственных

ценностей. Кандидат в депутаты Андрей Сахаров выступал за свободную рыночную экономику, свободу слова, печати, убеждений, совести и передвижений, открытие архивов НКВД — КГБ и создание специальной парламентской комиссии по контролю за деятельностью КГБ, запрет на строительство атомных электростанций, отмену паспортной системы, сокращение срока воинской службы, преобразование СССР в подлинно федеративное образование с правом республик на самоопределение, отмену смертной казни, проведение прямых выборов депутатов Верховного Совета и главы государства.

Последние месяцы своей жизни Андрей Дмитриевич отдал работе в Межрегиональной депутатской группе Съезда — первой легальной оппозиционной группе в СССР, созданной демократически ориентированными депутатами, в которую, кроме самого Сахарова, вошли Борис Ельцин, Анатолий Собчак, Юрий Афанасьев, Гавриил Попов, Галина Старовойтова и многие другие. В работе Съезда академик Сахаров принимал самое активное участие: выступал, полемизировал, предлагал проект демократической федеративной Конституции «Евро-Азиатского Союза», в который предполагал преобразовать СССР. Но ничего сделать так и не смог, как никто из демократов не мог ничего сделать на Съезде с легко управляемым коммунистической верхушкой «агрессивно-послушным большинством». Но ценность Съезда не была в его политических действиях; она заключалась прежде всего в самом факте его существования, его открытости, а главное — в прямых трансляциях его заседаний на всю страну. Вся страна видела, как сгоняет Сахарова с трибуны Горбачев, как затыкает ему рот Лукьянов, как засвистывают его злобные ничтожества, как «прокатывают» его кандидатуру на выборах членов Верховного Совета...

Он ушел от нас 14 декабря 1989 года, успев в последний раз выступить на собрании Межрегиональной депутатской группы в Кремле. Его последнее выступление было таким же честным и принципиальным, как и все предыдущие. Андрей Дмитриевич говорил о том, что разочаровался в Горбачеве и убедился в половинчатости и поверхностности «перестройки», заявлял о необходимости проведения всеобщей политической забастовки и создания мощной оппозиционной партии. «Мы не можем принимать на себя всю ответственность за то, что делает сейчас руководство. Оно ведет страну к катастрофе... Мы... объявляем себя оппозицией, принимая на себя ответственность за предлагаемые нами решения», — сказал тогда Андрей Сахаров, сопредседатель Межрегиональной группы, призвав соратников к активизации борьбы за подлинную демократию и свободу. «Единственным подарком (власти. — В. К.-М.) будет наша критическая пассивность. Ничего другое им не нужно, как это» — так завершил Андрей Дмитриевич Сахаров свое самое последнее выступление.

...В тот же день его не стало. Он не дожил всего две недели до десятилетия, которое ознаменовалось крушением коммунистической диктатуры и всей советской системы, снятием кровавого полотнища с главного кремлевского флагштока, открытием архивов, введением многого из того, что требовал Андрей Сахаров, — свободы слова, совести, убеждений, многопартийности, свободных выборов, рыночной экономики, свободного передвижения. Но многое из того, за что боролся Андрей Дмитриевич, так и не пришло — не было ни суда над коммунистической системой, ни настоящего покаяния... Кстати, КГБ продолжал пристальное наблюдение за академиком Сахаровым до самого конца: последнее письмо председателя КГБ СССР Владимира Крючкова Генеральному секретарю ЦК КПСС Михаилу Горбачеву, озаглавленное «О политической деятельности Сахарова А. Д.», датировано 8 декабря 1989 года...

Андрей Сахаров не был лидером правозащитного движения: у диссидентов по определению не бывает лидеров и подчиненных, там каждый делает, что может, и Андрей Дмитриевич сам неоднократно об этом говорил. Он не был даже политиком, о чем

и написал в годы горьковской ссылки. «Я не профессиональный политик, и, может быть, поэтому меня всегда мучают вопросы целесообразности и конечного результата моих действий. Я склонен думать, что лишь моральные критерии в сочетании с непредвзятостью мысли могут явиться каким-то компасом в этих сложных и противоречивых проблемах. Я воздерживаюсь от конкретных прогнозов, но сегодня, как и всегда, я верю в силу человеческого духа», — писал Сахаров в самые трудные, самые черные годы своей жизни. Но он был человеком, объединившим в себе требования свободного рынка и демократии с нравственными ценностями в политике и государстве. Сам он руководствовался этими ценностями во всем, что делал. Как вспоминает Владимир Буковский, Андрей Сахаров был человеком безупречной честности и какого-то «старомодного благородства» — благородства XIX века, какое сегодня уже почти не встречается. И нельзя не согласиться со сказанным на похоронах Сахарова академиком Дмитрием Сергеевичем Лихачевым: «Он был настоящий пророк. Пророк в древнем, исконном смысле этого слова, то есть человек, призывавший своих современников к нравственному обновлению ради будущего».

Первая книга Андрея Дмитриевича Сахарова на его родине вышла в свет уже после его смерти, в 1990 году. Ее название — «Тревога и надежда» — как нельзя лучше отражало настроение самого Сахарова, смотревшего в наступавшее десятилетие со смешанными чувствами. «Его работы подсказывают, как следует поступать, чтобы выжить и жить и чтобы жизнь была достойной, свободной, справедливой... Сахаров еще *предстоит* — и своей собственной стране, и миру. Надо только его услышать и понять». Эти слова Елены Боннэр, написанные в предисловии к книге Андрея Сахарова, крайне значимы и уместны сегодня, в начале третьего тысячелетия.

Алфавитный указатель статей

А

- Аксаков Иван Сергеевич (1823–1886) 156
Алексеев Михаил Мартынович (1847–1917) 561
Астров Николай Иванович (1868–1934) 758

Б

- Бахметев Борис Александрович (1880–1951) 843
Белоголовый Николай Андреевич (1834–1895) 290
Бунге Николай Христианович (1823–1895) 264

В

- Васильчиков Александр Илларионович (1818–1881) 275
Вейдле Владимир Васильевич (1895–1979) 878
Венюков Михаил Иванович (1832–1901) 302
Винавер Максим Моисеевич (1862–1926) 583
Волконский Николай Сергеевич (1848–1910) 355
Воронцов Александр Романович (1741–1805) 35
Востротин Степан Васильевич (1864–1943) 816
Вяземский Петр Андреевич (1792–1878) 116

Г

- Гейден Петр Александрович (1840–1907) 332
Герцен Александр Иванович (1812–1870) 138
Головнин Александр Васильевич (1821–1886) 204
Гольцев Виктор Александрович (1850–1906) 295
Градовский Александр Дмитриевич (1841–1889) 190
Грановский Тимофей Николаевич (1813–1855) 125
Гучков Александр Иванович (1862–1936) 539
Гучков Николай Иванович (1860–1935) 550

Д

- Долгоруков Павел Дмитриевич (1866–1927) 513
Долгоруков Петр Дмитриевич (1866–1951) 501

Е

- Езерский Николай Федорович (1870–1938) 723

З

Замятнин Дмитрий Николаевич (1805–1881) 211

К

Кавелин Константин Дмитриевич (1818–1885) 175
Караулов Василий Андреевич (1854–1910) 401
Кареев Николай Иванович (1850–1931) 395
Карташев Антон Владимирович (1875–1960) 831
Катков Михаил Никифорович (1818–1887) 146
Кизеветтер Александр Александрович (1866–1933) 675
Кистяковский Богдан Александрович (1868–1920) 649
Ключевский Василий Осипович (1841–1911) 321
Ковалевский Максим Максимович (1851–1916) 456
Кокошкин Федор Федорович (1871–1918) 707
Коновалов Александр Иванович (1875–1948) 788
Корнилов Александр Александрович (1862–1925) 576
Котляревский Сергей Андреевич (1873–1939) 806
Кошелев Александр Иванович (1806–1883) 164
Краевский Андрей Александрович (1810–1889) 132

Л

Ламанский Евгений Иванович (1825–1902) 251
Лунин Михаил Сергеевич (1783–1845) 87
Львов Георгий Евгеньевич (1861–1925) 477
Львов Николай Николаевич (1867–1944) 659

М

Маклаков Василий Алексеевич (1869–1957) 699
Милюков Павел Николаевич (1859–1943) 526
Милютин Дмитрий Алексеевич (1816–1912) 218
Милютин Николай Алексеевич (1818–1872) 229
Михайловский Иосиф Викентьевич (1867–1921) 639
Муравьев Никита Михайлович (1795–1843) 77
Муромцев Сергей Андреевич (1850–1910) 347

Н

Набоков Владимир Дмитриевич (1870–1922) 690
Некрасов Константин Федорович (1873–1940) 731
Некрасов Николай Виссарионович (1879–1940) 798
Никитенко Александр Васильевич (1804–1877) 283
Новгородцев Павел Иванович (1866–1924) 628
Новиков Николай Иванович (1744–1818) 26

П

Панин Никита Иванович (1718–1783) 18
Панина Софья Владимировна (1871–1957) 745
Парамонов Николай Елпидифорович (1876–1951) 822
Петражицкий Лев Иосифович (1867–1931) 683
Петрово-Соловово Василий Михайлович (1850–1908) 566
Петрункевич Иван Ильич (1843–1928) 386
Посников Александр Сергеевич (1846–1922) 436

Р

- РЕЙТЕРН МИХАИЛ ХРИСТОФОРОВИЧ (1820–1890) 240
РОДИЧЕВ ФЕДОР ИЗМАЙЛОВИЧ (1854–1933) 416
РОМАНОВ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ (ВЕЛ. КН.)
(1827–1892) 196
РОСТОВЦЕВ ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ (1863–?) 497
РЯБУШИНСКИЙ ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ (1871–1924) 778

С

- САХАРОВ АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ (1921–1989) 887
СПЕРАНСКИЙ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ (1772–1839) 54
СТАСЮЛЕВИЧ МИХАИЛ МАТВЕЕВИЧ (1826–1911) 307
СТАХОВИЧ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1861–1923) 464
СТЕПУН ФЕДОР АВГУСТОВИЧ (1884–1965) 872
СТРУВЕ ПЕТР БЕРНГАРДОВИЧ (1870–1944) 449

Т

- ТРУБЕЦКОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ (1863–1920) 604
ТУРГЕНЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ (1784–1845) 60
ТУРГЕНЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ (1789–1871) 67
ТЫРКОВА АРИАДНА ВЛАДИМИРОВНА (1869–1962) 737

У

- УРУСОВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ (1862–1937) 484

Ф

- ФЕДОТОВ ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ (1886–1951) 864
ФОНВИЗИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1788–1854) 96
ФРАНК СЕМЕН ЛЮДВИГОВИЧ (1877–1950) 853

Х

- ХОМЯКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (1850–1925) 369

Ч

- ЧАРТОРЫЙСКИЙ АДАМ АДАМОВИЧ (1770–1861) 44
ЧЕЛНОКОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ (1863–1935) 589
ЧЕТВЕРИКОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ (1850–1929) 770
ЧИЧЕРИН БОРИС НИКОЛАЕВИЧ (1828–1904) 182

Ш

- ШАХОВСКОЙ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ (1862–1939) 428
ШЕРШЕНЕВИЧ ГАБРИЭЛЬ ФЕЛИКСОВИЧ (1863–1912) 604
ШИДЛОВСКИЙ СЕРГЕЙ ИЛИОДОРОВИЧ (1861–1922) 571
ШИНГАРЕВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ (1869–1918) 716
ШИПОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ (1851–1920) 339

Щ

- ЩЕПКИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (1854–1919) 668

Я

- ЯКУШКИН ИВАН ДМИТРИЕВИЧ (1793–1857) 105

Справка об авторах

Антонова Татьяна Викторовна — доктор исторических наук, профессор Московского государственного открытого педагогического университета

Бугров Александр Владимирович — кандидат экономических наук

Будницкий Олег Витальевич — доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН

Вдовин Сергей Евгеньевич — кандидат исторических наук

Воробьева Юлия Семеновна — доктор исторических наук

Горнов Владимир Анатольевич — кандидат исторических наук, заместитель директора Института социологии Рязанского педагогического университета

Егоров Андрей Николаевич — кандидат исторических наук, заведующий кафедрой Череповецкого государственного университета

Зими́на Валентина Григорьевна — кандидат исторических наук

Итенберг Борис Самойлович — доктор исторических наук

Канищева Надежда Ивановна — кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института общественной мысли

Кантор Владимир Карлович — доктор философских наук, заместитель главного редактора журнала «Вопросы философии»

КАРА-МУРЗА АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ — доктор философских наук, заведующий отделом Института философии РАН

КАРА-МУРЗА ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ — историк, выпускник Кембриджского университета

КАРНИШИН ВАЛЕРИЙ ЮРЬЕВИЧ — доктор исторических наук, заведующий кафедрой Пензенского государственного университета

КАРПАЧЕВ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ — доктор исторических наук, заведующий кафедрой Воронежского государственного университета

КЛУШИНА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА — кандидат исторических наук, преподаватель Орловского государственного университета

КОРШУНОВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА — кандидат исторических наук, доцент Челябинского государственного педагогического университета

ЛЕВАНДОВСКИЙ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ — кандидат исторических наук, доцент исторического факультета Московского государственного университета

ЛОПАТИН АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ — аспирант Ярославского государственного университета

МЕДУШЕВСКИЙ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ — доктор философских наук, профессор Государственного университета — Высшая школа экономики

МИНАЕВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА — доктор исторических наук

МОГИЛЕВСКИЙ КОНСТАНТИН ИЛЬИЧ — кандидат исторических наук

ОЛЕЙНИКОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ — кандидат исторических наук

ПАРСАМОВ ВАДИМ СУРЕНОВИЧ — кандидат исторических наук, профессор Саратовского государственного университета

ПЕТРОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ — доктор экономических наук

РУДНИЦКАЯ ЕВГЕНИЯ ЛЬВОВНА — доктор исторических наук

Секиринский Сергей Сергеевич — доктор исторических наук, главный редактор журнала «Историк и художник»

Соколов Александр Владимирович — кандидат политических наук

Соловьев Кирилл Алексеевич — кандидат исторических наук, преподаватель Российского государственного гуманитарного университета

Соловьева Юлия Семеновна — доктор исторических наук

Соснер Илья Юрьевич — историк, биограф княжеского рода Львовых

Степанов Валерий Леонидович — доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН

Степанский Александр Давыдович — доктор исторических наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета

Тарасова Ирина Сергеевна — аспирантка Рязанского государственного университета

Хайлова Нина Борисовна — кандидат исторических наук, доцент Финансовой академии при Правительстве РФ

Христофоров Игорь Анатольевич — кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории РАН

Худушина Ирина Федоровна — кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института философии РАН

Чижков Сергей Львович — научный сотрудник Института философии РАН

Шевырин Виктор Михайлович — кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН

Шелохаев Валентин Валентинович — доктор исторических наук, директор Института общественной мысли

Шелохаев Станислав Валентинович — кандидат исторических наук

Российский либерализм: идеи и люди

Редактор Елена Мохова
Дизайн Сергей Андриевич
Корректор Мария Смирнова
Верстка Тамара Донскова
Производство Семен Дымант

Новое издательство
119017, Москва
Пятницкая улица, 41
телефон / факс (495)951 6050
e-mail info@novizdat.ru
<http://www.novizdat.ru>

Подписано в печать 15.10.2007
Формат 70×100 1/16
Гарнитура Charter
Объем 76,37 условных печатных листа
Бумага офсетная
Печать офсетная
Заказ №

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ООО «Типография Момент»
141406, Московская область
Химки, улица Библиотечная, 11